This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer

Leskov, N. S.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Rg

891.73
L711
ed. 3a
v. 9-12

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

НЕКУДА.

РОМАНЪ ВЪ ТРЕХЪ КНИЖКАХЪ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

(Окончаніе).

и

КНИГА ВТОРАЯ.

КНИГА ПЕРВАЯ.
ВЪ ПРОВИНЦІИ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.
Два внутренніе міра.

1.

Какъ всегда бываетъ въ жизни, что смирными и тихими людьми занимаются меньше, чѣмъ людьми смѣло заявляющими о своемъ существованіи, такъ, кажется, идетъ и въ нашемъ романѣ. Мы до сихъ поръ только слегка занимались Женею и гораздо невнимательнѣе входили въ ея жизнь, чѣмъ въ жизнь Лизы Бахаревой, тогда какъ она, по плану романа, имѣетъ не меньшее право на наше вниманіе. Мы должны были въ послѣднихъ главахъ показать ея обстановку для того, чтобы не возвращаться къ прошлому и, не рисуя читателю мелкихъ и неинтересныхъ сценъ однообразной уѣздной жизни, выяснить, при какихъ декораціяхъ и мотивахъ спокойная головка Женни доходила до составленія себѣ ясныхъ и совершенно самостоятельныхъ понятій о людяхъ и ихъ дѣятельности, о себѣ, о своихъ силахъ, о своемъ призваніи и обязанностяхъ, налагаемыхъ на нее долгомъ въ дѣйствительномъ размѣрѣ ея силъ. Наконецъ, мы должны теперь хотя на нѣсколько минутъ еще ближе подойти къ этой нашей героинѣ, потому что, едва знакомые съ нею, мы скоро потеряемъ ее изъ виду надолго, и встрѣтимся съ нею уже въ иныхъ мѣстахъ и при иныхъ обстоятельствахъ.

Въ своей черезчуръ скромной обстановкѣ, Женни, одна-

одинешенька, додумалась до многаго. Въ ней она рѣшила, что ея отецъ простой, очень честный и очень добрый человѣкъ, но не герой, точно такъ же, какъ не злодѣй; что она для него дороже всего на свѣтѣ, и что потому она станетъ жить только такимъ образомъ, чтобы заплатить старику самой теплой любовью за его любовь и освѣтить его закатывающуюся жизнь. Все другое на второмъ планѣ, думала Женни.

Уѣздное общество ей было положительно гадко, и она весьма тщательно старалась избѣгать всякаго съ нимъ сближенія, но дѣлала это чрезвычайно осторожно, во-первыхъ, чтобы не огорчить отца, прожившаго въ этомъ обществѣ свой вѣкъ, а, во-вторыхъ, и потому, что терпимость и мягкость были преобладающими чертами ея добраго нрава.

Кружокъ своихъ близкихъ людей она тоже понимала. Зарницынъ ей представлялся добрымъ, простодушнымъ парнемъ, съ которымъ можно легко жить въ добрыхъ отношеніяхъ, но она его находила немножко фразеромъ, немножко лгуномъ, немножко человѣкомъ смѣшнымъ и до крайности флюгернымъ. Онъ ей ни разу не приснился ночью, и она никогда не подумала, какое впечатлѣніе онъ произвелъ бы на нее, сидя съ нею tête-à-tête за ея утреннимъ чаемъ.

Дьякона Александровскаго и его хорошенькую жену Женни считала очень добрыми людьми, и ей было бы больно всякое ихъ несчастіе.

Доктора она отличала отъ многихъ. Никто изъ близкихъ уѣздныхъ знакомыхъ не рисовался такъ часто надъ туманной пеленою луга. Говорятъ, подлость есть сила. Надо прибавить: скандалъ тоже есть сила. Особенно скандалъ извѣстнаго рода есть сила у женщинъ и притомъ у самыхъ лучшихъ, у самыхъ теплыхъ женщинъ. Докторъ былъ кругомъ оскандализированъ. Въ него метали грязью и плуты, и дураки, среди которыхъ онъ грызся съ судьбою. Его не упрекали темными дѣяніями по службѣ. Онъ постоянно самъ разсказывалъ, что ему безъ взятокъ прожить нельзя, но не изъ этихъ взятокъ свивался кнутъ, которымъ хлестала его уѣздная мораль. Напротивъ, и исправникъ, и судья, и городничій, и эскадронный командиръ находили, что Розановъ «тонеръ», что̀ выражало нѣкоторую, такъ сказать, пренебрежительность доктора къ благамъ міра сего и непріятную для многихъ его разборчивость на *родъ*

взятки. Докторъ бралъ десятую часть того, что онъ могъ бы взять на своемъ мѣстѣ, и не шелъ въ стачки тамъ, гдѣ другимъ было нужно покрыть его медицинскою подписью свою юридически административную неправду. Мстили ему болѣе собственно за эту строптивую черту его характера, но поставить ее въ прямую вину доктору и ею бить его по чемъ ни попало—было невозможно. Одинъ чиновный чудакъ повелъ семью голодать на литературномъ запощеваньѣ и изобразилъ «Полицію внѣ полиціи»; надворный совѣтникъ Щедринъ началъ разсказывать такія вещи, что снова прошелъ слухъ, будто бы народился антихристъ и «дѣйствуетъ въ совѣтницкомъ чинѣ». По газетамъ и другимъ журналамъ закопошились обличители. Неловко было старымъ взяточникамъ и обираламъ въ такое время открыто говорить доктору, что ты подлецъ за то, что ты не съ нами, и мы тебѣ дадимъ почувствовать.

Нужно было стегать доктора другимъ кнутомъ, и кнутъ этотъ не замедлили свить нѣжныя, женскія ручки слабонервныхъ уѣздныхъ барынь и барышень, а тонкіе, гнуткіе ремешки для него выкроила не менѣе нѣжная ручка нимфообразной дочери купца Тихонина. Эта слабонервная дѣвица, возложившая въ первый же годъ, по пріѣздѣ доктора въ городъ, честный вѣнецъ на главу его, на третій день послѣ свадьбы пожаловалась на него своему отцу, на четвертый—замужней сестрѣ, а на пятый—женѣ уѣзднаго казначея, одѣлявшаго каждое первое число пенсіономъ всѣхъ чиновныхъ вдовушекъ города, и понамарю Ефиму, раскачивавшему каждое воскресенье желѣзный языкъ громогласнаго соборнаго колокола.

Дивное было твореніе Божіе эта Оля Тихонина.

Дивно оно для насъ тѣмъ болѣе, что всѣ ее видали въ послѣднее время въ Москвѣ, Сумахъ, Петербургѣ, Бѣлевѣ и Одессѣ, но никто, даже самъ Островскій, катаясь по темному царству, не запримѣтилъ Оли Тихониной, и не срисовалъ ее въ свой безцѣнный, мастерской альбомъ.

Во время благопотребное, тоже не здѣсь и не при здѣшней обстановкѣ, мы встрѣтимся съ этимъ простодушно-подлымъ типомъ нашей цивилизаціи, а теперь не станемъ на немъ останавливаться и пойдемъ далѣе.

Женни знала, что докторъ очень несчастенъ въ своей семейной жизни. Она знала, что его винять только въ двухъ

порокахъ: въ склонности къ разгулу и въ какомъ-то неделикатномъ обращеніи съ женою. Она знала также, что все это идетъ о немъ изъ его же спальни. Она знала, наконецъ, что докторъ страстно, нѣжно и безпредѣльно любитъ свою пятилѣтнюю дочь и, по первому мягкому слову, всепрощаетъ своей женѣ, забывая всю дрянь и нечисть, которую она подняла на него. Женни видѣла, что онъ уменъ, горячъ сердцемъ, искрененъ до дерзости, и она его искренно жалѣла.

«Можетъ ли быть,—думала она, глядя на поле, засѣянное чечевицей,—чтобы добрая, разумная женщина не сдѣлала его на цѣлый вѣкъ такимъ, какимъ онъ сидитъ передо мною? Не можетъ быть этого.—А пьянство?.. Да другіе еще болѣе его пьютъ... И развѣ женщина, если захочетъ, не замѣнитъ собою вина? Хмель — забвеніе: около женщины еще легче забываться.»

Иголка все щелкала и щелкала въ рукахъ Женни, когда она, размышляя о докторѣ, рѣшала, что ей болѣе всего жаль его, что такого человѣка воскресить и приподнять для болѣе трезвой жизни было бы отличною цѣлью для женщины.

И Женни дружилась съ докторомъ и искренно сожалѣла о его печальной судьбѣ, которой, по ея мнѣнію, помочь ужъ было невозможно.

«И зачѣмъ онъ женился?»—съ неудовольствіемъ и упрекомъ думала Женни, быстро дергая вверхъ и внизъ свою стальную иголку.

Вязмитинова она очень уважала и не видѣла въ немъ ни одной слабости, ни одного порока. Въ ея глазахъ это былъ человѣкъ, какимъ, по ея мнѣнію, слѣдовало быть человѣку.

Ее плѣняли и Гретхенъ, и пушкинская Татьяна, и мать Гракховъ, и та женщина, кормящая своею грудью отца, для которой она могла служить едва ли не лучшей натурщицей въ цѣломъ мірѣ.

Она не умѣла мыслить политически, хотя и сочувствовала Корде и брала въ идеалы мать Гракховъ.

Ей хотѣлось, чтобы всѣмъ было хорошо.

— «Пусть всѣмъ хорошо будетъ».

Вотъ былъ ея идеалъ.

— Ну, а какъ достичь этого скромнаго желанія?

«Жить *каждому* въ *своемъ* домикѣ»,—рѣшила Женни, не заходя далеко и не спрашивая, какъ бы это отучить родъ людской отъ черезчуръ корыстныхъ притязаній и дать другъ другу собственные домики.

А уѣздныя дамы все-таки лгали, называя ее дурочкой.

Она только не знала, что нельзя всѣмъ построить собственные домики и безмятежно жить въ нихъ, пока двужильный старикъ Захватъ Ивановичъ сидитъ на большой коробьѣ да похваливается, а свободная человѣчья душа ему молится: научи, молъ, меня, батюшка Захватъ Ивановичъ, какъ самому мнѣ Захватомъ стать!

Не говоря о докторѣ, Вязмитиновъ больше всѣхъ прочихъ отвѣчалъ симпатіямъ Женни. Въ немъ ей нравилась скромность, спокойствіе воззрѣній на жизнь и сердечное сожалѣніе о людяхъ лишнихъ на пиру жизни и о людяхъ, ворующихъ пироги съ жизненнаго пира.

«Скроменъ, разуменъ и трудолюбивъ...»—думала Женни.

— Не красавецъ, и не уродъ, — договаривало ей женское чувство.

А что̀ она думала о Лизѣ? То-есть, что̀ она стала думать въ послѣднее время?

— Лиза умница,—говорила себѣ Женни, смотря на колыхающійся початникъ.—Она героиня, она выйдетъ силой, а я... я...

Тутъ мѣшались Вязмитиновъ, отецъ, даже иногда докторъ, и вдругъ ни съ того, ни съ сего, Татьяна и мать Гракховъ, Корде и Пелагея съ вопросомъ о соусѣ, который особенно любилъ Петръ Лукичъ.

— Вязмитиновъ много знаетъ, трудится, онъ живой человѣкъ, кругозоръ его шире, чѣмъ кругозоръ моего отца, и вѣрнѣе осмотрѣнъ, чѣмъ кругозоръ Зарницына, — разсуждала Женни.

— А докторъ?

«Да, ему ужъ помочь нельзя», — думала она и шла къ Пелагеѣ заправлять соусъ, который особенно любилъ Петръ Лукичъ, всегда возвращающійся мученикомъ изъ своей смотрительской камеры.

— Лиза что̀! — размышляла Женни, заправивъ соусъ и снова сѣвъ подъ своимъ окошкомъ:—Лизѣ все бы это ни на что не годилось, и ничто ее не остановило бы. Она только

напрасно думала когда-то, что моя жизнь на что-нибудь ей пригодилась бы.

«Эта жизнь ничѣмъ ее не удовлетворила бы и ни отъ чего ее не избавила бы», — подумала Женни, глядя, послѣ своей поѣздки къ Лизѣ, на просвирнину гусыню, тянувшую изъ посѣдѣлаго початника послѣдняго растительнаго гренадера.

2.

Внутренній міръ Лизы совершенно не похожъ былъ на міръ Женни.

Не было міра въ этой душѣ. Рвалась она на волю, томилась предчувствіями, изнывала въ темныхъ шарадахъ своего и чужого разума.

Мертва казалась ей книга природы; на ея вопросы не давали ей отвѣта темные люди темнаго царства.

Она страдала и искала повсюду разгадки для живыхъ, ноющихъ вопросовъ, неумолчно взывавшихъ о скорѣйшемъ рѣшеніи.

Ей тоже хотѣлось правды. Но этой правды она искала не такъ, какъ искала ея Женни.

Она искала мира, когда мира не было въ ея костяхъ.

Семья не поняла ея чистыхъ порывовъ; люди ихъ перетолковывали; друзья старались ихъ усыпить; мать кошекъ чесала; отецъ младенчествовалъ. Все обрывалось, *некуда* было дѣться.

Женни не взяла ее къ себѣ по искренней, дѣтской просьбѣ. «Нельзя», говорила. — Мать Агнія тоже говорила «опомнись»; а опомниться нужно было тамъ же, въ томъ же вертепѣ, гдѣ кошекъ чешутъ и злятъ регулярными пріемами черезъ часъ по ложкѣ.

Нельзя въ такихъ мѣстахъ опомниться.

Живыхъ людей по мысли не находилось, и началось безпорядочное чтеніе.

Выборъ недовольныхъ всегда падаетъ на книги протестующія, и чѣмъ сдержаннѣе, чѣмъ темнѣе выражается протестъ, тѣмъ онъ кажется серьезнѣе и даже справедливѣе.

Лиза, отъ природы нѣжная, пытливая и впечатлительная, не нашла дома ничего, таки ровно ничего, кромѣ странной, почти дѣтской ласки отца, аристократическаго вниманія тетки и мягкаго бичеванія отъ всѣхъ прочихъ членовъ своей семьи.

Врожденныя симпатіи еще влекли ее въ семью Гловацкихъ, но куда же годились эти мечтанія?

Ей хотѣлось много понимать, учиться.

Ее повезли на балы.

Все это шло противъ ея желаній.

Она искала сочувствія и нашла это сочувствіе въ книгахъ, гдѣ личность отвергалась во имя общества, и во имя общества освобождалась личность.

И стали смѣшны ей прежнія плачевныя сцены, и сентиментально-глупа показалась собственная просьба къ Женни—увезти ее отсюда.

Застыдившись своего невиннаго прошлаго, она застыдилась и памятниковъ этого прошлаго.

Всѣ близкіе къ ней по своему положенію люди стояли памятниками прошедшихъ привязанностей.

Они были ясны и въ нихъ нечего было доискиваться; а темные намеки манили невѣдомымъ счастьемъ, шириною свободной дѣятельности.

Привязанности были принесены въ жертву стремленіямъ.

Живые люди казались мразью. Духъ виталъ въ мірѣ иныхъ людей, въ мірѣ, износившемъ вѣщіе глаголы, въ средѣ людей чести, безкорыстія и свободы.

Всѣ живыя связи съ прошедшимъ мельчали и рвались.

Безпечальное будущее народовъ рисовалось въ лучезарномъ свѣтѣ. Недомолвки расширяли эти лучи и простыя человѣческія чувства становились буржуазны, мелки, недостойны.

Лиза порѣшила, что окружающіе ее люди — «мразь», и опредѣлила, что настоящіе ея дни есть приготовительный терминъ ко вступленію въ жизнь съ настоящими представителями безкорыстнаго человѣчества, живущаго единственно для водворенія общей высокой правды.

Иногда ей бывало жалко Женни и вообще даже жалко всего этого простенькаго мірка; но что же былъ этотъ мірокъ передъ *міромъ*, который гдѣ-то носился передъ нею, міръ обаятельный, свободный и правдивый?

Лизѣ самой было смѣшно, что она еще такъ недавно могла выходить изъ себя за вздоры и биться изъ-за ничтожныхъ уступокъ въ своемъ семейномъ быту.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Что на русской землѣ бываетъ.

Въ понедѣльникъ на четвертой недѣлѣ Великаго поста, когда во всѣхъ церквахъ города зазвонили къ часамъ, Вязмитиновъ, по обыкновенію, зашелъ на минуточку къ Женни.

Женни сидѣла на своемъ всегдашнемъ мѣстѣ и работала.

— Знаете, какую новость я вамъ могу сообщить?—спросила она Вязмитинова, когда тотъ присѣлъ за ея столикомъ, и, не дождавшись его отвѣта, тотчасъ же добавила:—сегодня къ намъ Лиза будетъ.

— Вотъ какъ!

— Да и еще на цѣлую недѣлю.

— Что̀ за благодать такая?

— Няня непремѣнно хочетъ говѣть на этой недѣлѣ.

— И Лизавета Егоровна тоже?

— Да ужъ, вѣрно, и она будетъ вмѣстѣ говѣть; тамъ, вѣдь, у нихъ церковь далеко, да и холодная.

— И вы, пожалуй, тоже?

— Я хотѣла на Страстной говѣть, но ужъ тоже отговѣю съ ними.

— Значитъ, теперь къ вамъ и глазъ не показывай.

— Отчего же это?

— Да спасаться будете.

— Это одно другому нимало не мѣшаетъ. Напротивъ, приходите почаще, чтобъ Лиза не скучала. Она сегодня пріѣдетъ къ вечеру, вы вечеромъ и приходите, и Зарницыну скажите, чтобы пришелъ.

— Хорошо-съ,—сказалъ Вязмитиновъ:—теперь пора въ классы,—добавилъ онъ, взглянувъ на часы.

— До свиданія.

— До свиданія, Евгенія Петровна.

— Вы не знаете, докторъ въ городѣ?

— Нѣтъ, кажется нѣтъ; а зайти развѣ за нимъ?

— Да, если это васъ не затруднитъ, зайдите, пожалуйста.

Въ три часа Женни увидала изъ своего окна бахаревскія сани, на которыхъ сидѣла Лиза и старуха Абрамовна.

Лиза смѣялась и, замѣтивъ въ окнѣ Женни, весело кивнула ей головой.

Гловацкая тотчасъ встала и вышла на крыльцо, въ ту же минуту, какъ передъ нимъ остановились сани.

— Ну же, ну, вылѣзай, няня, вытаскивай свой прахъ-то,—говорила, смѣясь, Женни.

Абрамовна медленно высвобождалась изъ саней и ничего не отвѣчала.

— Чего ты, Лиза, смѣешься?—спросила Женни.

— Да вотъ няня всю дорогу смѣшитъ.

Няня молча вынимала подушки. Она была очень недовольна, а молодой садовникъ, отряженный состоять Лизинымъ зимнимъ кучеромъ, поглядывая на барышню, лукаво улыбался.

— Что̀ вы няню обижаете, право,—ласково замѣтила Гловацкая.

— Да что̀ имъ, матушка, дѣлать-то, какъ не зубоскалить,—отвѣчала разсерженная старуха.

— Я вотъ хочу, Женни, вѣру перемѣнить, чтобы не говѣть никогда,—подмигнувъ глазомъ, сказала Лиза.—Правда, что и ты это одобришь? Борисъ вонъ тоже согласенъ со мною: хотимъ въ нѣмцы идти.

Абрамовна плюнула и полѣзла на крыльцо; Лиза и ея кучеръ засмѣялись, и даже Женни не могла удержаться отъ улыбки, глядя на смѣшной гнѣвъ старухи.

Прошло пять дней. Женни, Лиза и няня отговѣли. Въ эти дни ихъ навѣщали Вязмитиновъ и Зарницынъ. Доктора не было въ городѣ. Лиза была весела, спокойна, охотно разсуждала о самыхъ обыденныхъ вещахъ и даже нерѣдко шутила и смѣялась.

Женни опять казалось, что Лиза словно та же самая, что и была до отъѣзда на зиму въ городъ.

— Какъ вамъ кажется Лиза?—спрашивала она отца.

— Ничего. Я не знаю, что̀ вы о ней сочинили себѣ: она такая же—какъ была. Посолиднѣла только, и больше ничего.

Вязмитиновъ на такой же вопросъ отвѣчалъ, что Лиза ужасно подвинулась впередъ въ познаніяхъ, но что все это у нея какъ-то мѣшается. Видно, что читаетъ что̀ попало,—заключилъ онъ свое мнѣніе.

Ни съ кѣмъ другимъ Женни не говорила о Лизѣ.

Въ субботу говѣльщицы причащались за ранней обѣдней. Въ этотъ день онѣ рано встали къ заутренѣ, уморились

и, возвратясь домой, тотчасъ послѣ чаю заснули, потомъ пообѣдали и пошли къ вечернѣ.

Зарницынъ и Вязмитиновъ зашли въ церковь, чтобы поздравить причастницъ и проводить ихъ, кстати, оттуда домой.

Погода была теплая и немножко сырая. Дулъ южный вѣтерокъ, съ крышъ капали капели, дорожки по улицамъ чернѣли и маслились, но западъ неба окрашивался холоднымъ розовымъ свѣтомъ и маленькія облачка, съ розовыми окраинами, спѣша обгоняли другъ друга.

— Будетъ морозецъ,—говорили люди, выходя отъ вечерни.

— И съ вѣтромъ,—добавляли другіе.

Посреди улицы, по мягкой, но довольно скользкой отъ саннаго натора дорожкѣ шли Женни и Лиза. Возлѣ нихъ съ обѣихъ сторонъ шли Вязмитиновъ и Зарницынъ. Няня шла сзади. Несмотря на безцеремонность и короткость своего обхожденія съ барышнями, она никогда не позволяла себѣ идти съ ними рядомъ по улицѣ.

У поворота на набережную, компанія лицомъ къ лицу встрѣтилась съ докторомъ.

Онъ велъ за руку свою дочку.

— Докторъ! докторъ! здравствуйте! — заговорили почти всѣ разомъ.

— Здравствуйте, здравствуйте,—проговорилъ докторъ съ радостью, но какъ будто отчего-то растерявшись.

Около нихъ прошла довольно стройная молодая дама въ песцовомъ салопѣ. Она вскользь, но внимательно взглянула на Женни и на Лизу, съ болѣе чѣмъ вѣжливой улыбкой отвѣтила на поклонъ учителей и, прищуривъ глаза, пошла своею дорогою.

Это была докторова жена, которую онъ поджидалъ, тащась съ ноги на ногу съ своимъ ребенкомъ.

— Къ намъ, докторъ, сегодня, — приглашала Розанова Женни. — Мы, вотъ, всѣ идемъ къ намъ; приходите и вы.

— Хорошо, постараюсь.

— Нѣтъ, непремѣнно приходите; мы будемъ васъ ждать.

— Ну, хорошо.

— Придете?

— Приду, приду непремѣнно; вотъ только заведу домой дочку. Пойдемъ, Варюшка,—отнесся онъ къ ребенку, и они разстались.

— Такъ вотъ это его жена?—спросила Лиза.

— Эта,—отвѣчалъ Зарницынъ.

— Не нравится она мнѣ.

— Вы ее не разсмотрѣли: она еще недавно была очень недурна.

— Я не о томъ говорю, а что-то нехорошо у нея лицо: эти разлетающіяся брови... собранный ротикъ, дерзкіе глазки... что-то фальшивое, эгоистическое есть въ этомъ лицѣ. Нѣтъ, не нравится,—а тебѣ, Женни?

— Что-жъ, я одну минуту ее видѣла, пока мы дали ей дорогу, но мнѣ ея лицо тоже не понравилось.

Въ передней ихъ встрѣтили Петръ Лукичъ и дьяконъ съ женою.

— Какъ это мы васъ обогнали?—спрашивалъ дьяконъ, снимая съ Женни салопъ, между тѣмъ какъ его жена цѣловала дѣвицъ своими пунцовыми губками.

— Мы тихо шли и по большой улицѣ,—отвѣчала Женни.

Въ комнатѣ были пріятныя сумерки.

Дѣвицы и дьяконица вышли въ Женнину комнату; дьяконъ открылъ фортепіано, нащупалъ октаву и, взявъ два аккорда, протяжно запѣлъ довольно пріятнымъ басомъ:

Ахъ, о чемъ ты проливаешь
Слезы горькія тайкомъ,
И украдкой утираешь
Ихъ кисейнымъ рукавомъ?

Подали свѣчи и самоваръ. Всѣ усѣлись за столомъ въ залѣ. Доктора долго ждали, но онъ не приходилъ.

Отпивши чай, всѣ перешли въ гостиную: дѣвушки и дьяконица сѣли на диванѣ, а мужчины на стульяхъ, около стола, на которомъ горѣла довольно хорошая, но очень старинная лампа.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, Василій Ивановичъ, будто вашего новаго секретаря фамилія Дюмафисъ?—спрашивалъ Зарницынъ.

— Увѣряю васъ, что Дюмафисъ,—серьезно отвѣчалъ дьяконъ.

— Что̀ это такое? Этого не можетъ быть.

— А почему бы это, по-вашему, не можетъ быть?

— Да какъ же, помилуйте: какой изъ духовнаго званія можетъ быть Дюмафисъ?

— Стало-быть можетъ, когда есть уже.

Вошелъ докторъ и Помада.

— A! excellentissime, illustrissime atque sapientissime doctor!—привѣтствовалъ Александровскій Розанова.

Докторъ со всѣми поздоровался радушно, но довольно сухо.

Женни съ Лизою посмотрѣли на его лицо, плохо скрывающее душевное разстройство, и въ одно и то же время подумали о его женѣ.

— О чемъ вы это спорили?—спросилъ докторъ.

— Да, вотъ и кстати! Докторъ, можетъ ли быть у секретаря консисторіи фамилія Дюмафисъ? — спросилъ Зарницынъ.

— Это въ православной консисторіи или въ католической?

— Въ православной.

— Отчего же? Въ православной очень можетъ.

— А, что!—поддразнилъ дьяконъ.

— Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго.

— Разумѣется. Я вѣдь вотъ вамъ сейчасъ могу разсказать, какъ у насъ происходятъ фамиліи, такъ вы и поймете, что это можетъ быть. У насъ это на шесть категорій подраздѣляется. Первое, теперь фамиліи по праздникамъ: Рождественскій, Благовѣщенскій, Богоявленскій; второе, по высокимъ свойствамъ духа: Любомудровъ, Остромысленскій; третье, по древнимъ мужамъ: Демосѳеновъ, Мильтіадскій, Платоновъ; четвертое, по латинскимъ качествамъ: Сапіентовъ, Аморовъ; пятое, по помѣщикамъ: помѣщикъ села, положимъ, Говоровъ, дьячокъ сына назоветъ Говоровскій; помѣщикъ будетъ Красинъ, ну, дьячковъ сынъ Красинскій. Вотъ наша помѣщица была Александрова, я, въ честь ея, Александровскій. А то, шестое, ужъ по владычней милости: Мольеровъ, Рассиновъ, Мильтоновъ, Боссюэтовъ. Такъ и Дюмафисъ. Ничего тутъ нѣтъ удивительнаго. Просто по владычней милости фамилія, въ честь французскому писателю, да и все тутъ.

Доктору и Помадѣ подали чай.

— Что вы, будто какъ невеселы, нашъ милый докторъ?— съ участіемъ спросилъ, проходя къ столу, Петръ Лукичъ.

Розановъ провелъ рукой по лбу и, вздохнувъ, сказалъ:

— Ничего, Петръ Лукичъ, усталъ очень, не такъ-то здоровится.

— Медику стыдно жаловаться на нездоровье,—замѣтила дьяконица.

Докторъ взглянулъ на нее и ничего не отвѣтилъ.

Женни съ Лизою опять переглянулись и опять почему-то обѣ подумали о докторшѣ.

— Вы гдѣ это побывали цѣлую недѣльку-то?

— Сегодня утромъ вернулся изъ Коробьина.

— Что̀ тамъ, Катерина Ивановна нездорова?

— Что̀ ей дѣлается! Нѣтъ, тамъ ужасное происшествіе.

— Что такое?

— Да жена мужа убила.

— Крестьянка?

— Да, молоденькая бабочка, всего другой годъ замужемъ.

— Какъ же это она его?

— Да не одного его, а двоихъ.

— Двоихъ?

— Ахъ, ты Боже мой!

— Сссс!—раздалось съ разныхъ сторонъ.

— Ну-съ, разскажите, докторъ.

— Да бабочка была такая, молоденькая и хорошенькая, другой годъ, какъ говорю вамъ, всего замужемъ еще. Сталъ мужъ къ ней съ полгода неласковъ, бивалъ ее. Сосѣдки стали запримѣчать, что онъ тамъ за одной солдаткой молодой ухаживаетъ, ну, и разсказали ей. Она все плакала, грустила, а онъ ее, какъ водится, все еще усерднѣе, да усерднѣе за эти слезы поколачивать сталъ. Была ярмарка; люди видѣли, какъ онъ платокъ купилъ. Баба ждетъ, что вотъ, молъ, мужъ сжалился надо мною, платокъ купилъ, а платокъ въ воскресенье у солдатки на головѣ очутился. Она опять плакать; онъ ее опять колотить. На прошлой недѣлѣ пошелъ онъ въ половень копылья тесать, а топоръ позабылъ дома. Жена видитъ топоръ, да и думаетъ: что же онъ такъ пошелъ, должно-быть, забылъ; взяла топоръ, да и несетъ мужу. Приходитъ въ половень — мужа нѣтъ; туда, сюда глянула—нѣтъ нигдѣ. А тутъ въ половнѣ такъ есть плетневая загородочка для ухаботья. Тамъ всего въ поясъ вышины, или даже ниже. Она подошла къ этой перегородкѣ, да только глянула черезъ нее, а мужъ-то тамъ съ солдаткой притаившись и лежитъ. Какъ она ихъ увидала, ни одной секунды не думала. Топоръ разъ-разъ, и пошла валять.

— Ахъ!

— Га!

— Фуй!

— Боже ты мой!—раздались восклицанія.

— Обоихъ и убила?

— Только мозгъ съ ухаботьемъ перемѣшанный остался.

— Ужасное дѣло.

— Вотъ драма-то,—замѣтилъ Вязмитиновъ.

— Да. Но, вотъ видите, — вотъ старый нашъ споръ и на сцену, — вещь ужасная, борьба страстей, любовь, ревность, убійство, все есть, а драмы нѣтъ, — съ многозначительной миной проговорилъ Зарницынъ.

— А отчего же драмы нѣтъ?

— Да какая жъ драма? Что жъ, вы на сценѣ изобразите какъ онъ жену билъ, какъ та выла, глядючи на красный платокъ солдатки, а потомъ головы имъ разнесла? Какъ же это ставить на сцену! Да и борьбы-то нравственной здѣсь не представите, потому что все грубо, коротко. Все не борется, а... рѣшается. Въ такомъ быту народа у него нѣтъ своей драмы, да и быть не можетъ: у него есть уголовныя дѣла, но ужъ никакъ не драмы.

— Ну, это еще старуха на-двое гадала,—замѣтилъ сквозь зубы докторъ.

— По-вашему, что жъ, есть драма?

— Да, по-моему есть ихъ собственная драма. Повѣрьте, бабы коробьинскія отлично входятъ въ борьбу убійцы, а мы въ нее не можемъ войти.

— Да, но искусство не того требуетъ: у искусства есть свои условія.

— А имъ очень нужно ваше искусство и его условія. Вы говорите, что пришлось бы допустить побои на сценѣ, что жъ, если таково дѣло, такъ и допускайте. Только если увидятъ, что актеръ не больно бьетъ, такъ расхохочутся. А о борьбѣ-то не безпокойтесь; борьба есть, только разсказать мы про ту борьбу не сумѣемъ.

— А они сумѣютъ?

— Себѣ они это разъяснятъ толково, а намъ груба ихъ борьба,—вотъ и все.

— Да вѣдь преступленіе послѣдній шагъ, пятый актъ. Явленіе-то вѣдь стоитъ не на своихъ ногахъ, имѣетъ основаніе не въ самомъ себѣ, а въ другомъ. Происхожденіе явленій совершается при безпрерывномъ и безконечномъ посредствѣ самобытнаго элемента,—проговорилъ Вязмитиновъ.

Докторъ посмотрѣлъ на него и опять ничего не сказалъ.

— А по-моему, снова повторяю, въ народной жизни нѣтъ драмы,—настаивалъ Зарницынъ.

— Да, удобной для воспроизведенія на сценѣ, пожалуй; но вѣдь вонъ Островскій и Писемскій нашли же драму.

— Все уголовныя дѣла.

— Напримѣръ, въ *Грозѣ*-то?

— Вездѣ.

— А по-вашему, что же, такъ у насъ нѣтъ ужъ и самобытныхъ драматическихъ элементовъ?

— Конечно; цивилизація равняетъ страсти, нивелируетъ стремленія.

— Нивелируетъ стремленія?

— Разумѣется.

— О, да! Всемѣрно такъ: всѣ стушуемся, сгладимся и будемъ одного поля ягода. Не знаю, Николай Степановичъ, что̀ на это отвѣтитъ Гегель, а по-моему нелѣпо это, не меньше теоріи крайняго національнаго обособленія.

— Однакоже, вы не станете отвергать общечеловѣческаго драматизма въ сочиненіяхъ Шекспира?

— Нѣтъ-съ, не стану. Зачѣмъ же мнѣ его отвергать?

— У всѣхъ людей натуры больше или меньше одинаковы. Воспитывайте ихъ одинаково и будетъ солидарность въ стремленіяхъ.

— Вотъ вамъ и шишка на носу тунисскаго бея!

— Да, это ужъ парадоксъ,—подтвердилъ Вязмитиновъ.

— Что жъ, стало-быть, такъ и у каждаго народа своя философія?

— Ну, еще что̀ выдумаете! Что̀ тутъ о философіи. Говоря о философіи-то, я ужъ тоже позайму у Николая Степановича гегелевской ереси да гегелевскими словами отвѣчу вамъ, что философія невозможна тамъ, гдѣ жизнь поглощена вседневными нуждами. Зри рѣчь ученаго мужа Гегеля, произнесенную въ Берлинѣ, если не ошибаюсь, осенью 1828 года. Такъ, Николай Степановичъ?

Вязмитиновъ качнулъ утвердительно головою.

— Это по философіи,—продолжалъ докторъ:—а я вотъ вамъ еще докажу это своей методой. Можетъ-быть, c'est quelque chose de moujique, ну, да и я вѣдь не имѣю времени заниматься гуманными науками, а такъ сырыми мозгами размышляю. Вы вотъ говорите, что у необразованныхъ

людей драматической борьбы нѣтъ. А я вамъ доложу, что она есть, и есть она у каждаго такого народа своя, съ своимъ складомъ, хоть ее на театрѣ представлять, эту борьбу, и неловко. Возьмите, напримѣръ, орловскую мѣщаночку Матрешу, или Гашу, въ томъ положеніи, когда на ихъ сестру шляпу надѣваютъ, и возьмите Мину, Иду, или Берту изъ Митавы въ соотвѣтственномъ же положеніи. Миночка сейчасъ свою комнатку уберетъ, распятіе повѣситъ и Гете въ золотообрѣзномъ переплетѣ на полку поставитъ, да станетъ опускать деньги въ бронзовую копилочку. И воровствомъ, или другими мастерствами она пренебрегаетъ, а ея положеніе ей не претитъ. А наша пить станетъ, сторублевыми платьями со стола пролитое пиво стираетъ, материнскій образокъ къ стѣнѣ лицомъ завернетъ или совсѣмъ вынесетъ и умретъ голодная и холодная, потому что душа ея ни на одну минуту не успокаивается, ни на одну минуту не смиряется, и драматическая борьба-то идетъ къ ней цѣлый вѣкъ. Это черта или нѣтъ?

— Давно указанная и вовсе ненужная.

Зарницынъ былъ шокированъ темами докторскаго разсказа и всѣмъ было неловко выслушивать это при дѣвицахъ. Одинъ докторъ, увлеченный пылкостью своей желчной натуры, не обращалъ на это никакого вниманія.

— Вы все драматическихъ этюдовъ отыскиваете, — продолжалъ онъ. — Влѣзьте вонъ въ сердце наемщику-рекруту, да и посмотрите, что̀ тамъ порою дѣлается. Въ простой, несложной жизни, разумѣется, борьба проста, и видны только одни конечныя проявленія, входящія въ область уголовнаго дѣла, но это совсѣмъ не значитъ, что въ жизни вовсе нѣтъ драмы.

— Я готовъ перестать спорить, — отвѣчалъ Зарницынъ: — я утверждаю только, что у *образованныхъ* людей всѣхъ націй драматическое въ жизни общее, и это вѣрно.

— И это невѣрно и сто тысячъ разъ невѣрно. «Гроза» не случится у француженки; ну, да это изъ того слоя, которому вы еще, по его невѣжеству, позволяете имѣть нѣкоторыя національныя особенности характера, а я вотъ вамъ возьму драму изъ того слоя, который сравненъ цивилизаціею-то съ Парижемъ и, пожалуй, съ Лондономъ. Я пять лѣтъ знаю эту драму, и теперь, когда послѣдняго ея актера, по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, гложутъ черви, я ее раз-

скажу. Если бъ я былъ писатель, я показалъ бы не вамъ однимъ, какъ происходятъ у насъ дикія, вѣроятно, у насъ однихъ только и возможныя, драмы, да еще въ кружкѣ, который и по русски-то не больно хорошо знаетъ. А я вамъ уступлю это задаромъ: въ десяти словахъ разскажу. Была барыня молодая, умная, красавица, богатая; жила эта барыня не такъ далеко отсюда. Была у нея мать старушка, аристократка коренная, женщина отличнѣйшая, несмотря на свой аристократизмъ. Былъ у молодой барыни мужъ, ужъ такой былъ человѣкъ, что и сказать не могу,— просто прелесть, что̀ за баринъ. Поженилась эта парочка по любви и жили они душа въ душу. Барыня была женщина преданная, самоотверженная, но кипучая, огневая была натура. Пріѣхала къ ней по сосѣдству кузина изъ этихъ московскихъ, съ строгими правилами: что̀ все о морали разговариваютъ. Мужъ у нея мышей не топталъ; восемьдесятъ лѣтъ, что ли, ему было, изъ ума уже выжилъ совсѣмъ. Ну, она и приласкала кузининаго муженька, а тотъ, какъ водится, растаялъ. Пошли у нихъ шуры да муры. Жена плакать, онъ клясться, что все клевета да неправда, ничего, говоритъ, нѣтъ. Жена говоритъ: сознайся и перестань, я тебѣ все прощу,—не признается. Ну, смотри, говоритъ барыня, если мнѣ ты лжешь и я убѣждусь, что ты меня обманываешь, я себя не пощажу, но я тебя накажу такъ, что у тебя въ жизни минуты покойной не будетъ.— А прошу васъ ни на минуту не забывать, что она его любитъ до безумія; готова на крестъ за него взойти.— Жилъ у нихъ отставной пѣхотный капитанъ, такъ, въ родѣ придворнаго шута его мужъ содержалъ. Дуракъ, солдафонъ, гадкій, ну, однимъ словомъ, мерзость. Онъ ухаживалъ за барыней: цвѣты полевые ей приносилъ, записки любовныя писалъ. Все это всѣ знали и дурачились, потѣшались надъ нимъ. Назначила кузина барину rendez-vous ночью. Жена это узнала и ни слова никому. Мужъ легъ въ кабинетѣ, да какъ все въ домѣ заснуло, онъ тягу. Жена услыхала, какъ скрипнула дверь и входитъ со свѣчею въ кабинетъ. Никого. Пустая кровать. Она сѣла и зарыдала. Рыдала, рыдала до истерики. Никто не входитъ. Вдругъ капитанъ этотъ проснулся и является. Брызгаетъ ее, утѣшаетъ. Она смотритъ на эту гадину и вдругъ перестала плакать. Да что̀ было-то? Мужъ воромъ лѣзетъ

въ дверь, да нишкомъ укладывается въ кровать, а жена въ одномъ бѣльѣ со свѣчей изъ капитановой комнаты выходитъ. «Теперь, говоритъ, мы квиты. Я вамъ говорила, что я себя не пощажу, вотъ вамъ и исполненіе», да и упала тутъ же замертво.

— Это французская мелодрама,—замѣтилъ Зарницынъ.

— Да какъ не мелодрама. Французская мелодрама на берегахъ Саванки. По-вашему, вѣдь, вонъ въ духовномъ вѣдомствѣ человѣкъ съ фамиліею Дюмафисъ невозможенъ, что же съ вами дѣлать. Я не виноватъ, что происшествіе, которое какой-нибудь Сарду изъ своего мозга не выколупалъ бы, на моихъ глазахъ разыгралось. Да-съ, *на моихъ глазахъ*. Вотъ эти руки кровь пускали изъ несчастныхъ рукъ, налегшихъ на собственную жизнь *изъ-за любви*, мнѣ сдается. Я сумасшедшую три года навѣщалъ, когда она въ темной комнатѣ безвыходно сидѣла; я ополоумѣвшую мать училъ выговорить хоть одно слово, кромѣ «дочь моя! да дочь моя!» Я всю эту драму просмотрѣлъ, — такъ ужъ это вышло тогда. Я видѣлъ этого несчастнаго въ послѣднюю минуту въ своемъ домѣ. Какъ онъ молилъ жену хоть солгать ему, что ничего не было. Вы знаете, что она сказала: *было все*, и захохотала тѣмъ хохотомъ, послѣ котораго людей въ матрацы сажаютъ, чтобъ головы себѣ не расшибли. Вотъ вамъ и мелодрама!

Всѣ смотрѣли въ полъ или на свои ногти. Женни была красна до ушей: въ ней говорила дѣвичья стыдливость, и только няня, молча, глядѣла на доктора, стоя у притолки. Она очень любила и самого его, и его разсказы. Да Лиза, положивъ на ладонь подбородокъ, прямо и твердо смотрѣла въ глаза разсказчику.

— Это ужасно! — проговорилъ, наконецъ, Гловацкій. — Ужасный разсказъ вашъ, докторъ! Чтобы перемѣнить впечатлѣніе, не запить ли его водочкой? Женичка, распорядись, мой другъ!

— Пейте, а я ко двору.

— Что жъ это, докторъ!

— Да нѣтъ ужъ не удерживайте, пожалуйста; я этого не выношу въ нѣкоторыя минуты.

— Ну, Богъ съ вами.

— Да. Прощайте.

— Послѣзавтра Лиза уѣзжаетъ; я надѣюсь, вы завтра придете къ намъ, — сказала, прощаясь съ докторомъ, Женни.

— Приду,—отвѣчалъ докторъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Кадриль въ двѣ пары.

Лиза крѣпко пожала докторову руку, встрѣтивъ его на другой день при входѣ въ залу Гловацкихъ. Это было воскресенье и двунадесятый праздникъ съ разрѣшеніемъ рыбы, елея, вина и прочихъ житейскихъ льготъ.

— Докторъ! — сказала Лиза, ставъ послѣ чаю у одного окна:—какіе выводы дѣлаете вы изъ вашей вчерашней исторіи и вообще изъ всего того, что̀ вы встрѣчаете въ вашей жизни, кажется, очень богатой самыми разнообразными столкновеніями? Я все думала объ этомъ и желаю, чтобы вы мнѣ отвѣтили, потому что меня это очень занимаетъ.

— Да какіе жъ выводы, Лизавета Егоровна? Если бъ я изобрѣлъ мазь для ращенія волосъ,—употребляю слово мазь для того, чтобы не изобрѣсть помаду при Помадѣ, — то я былъ бы богаче Ротшильда; а если бы я зналъ, какъ людямъ выйти изъ ужасныхъ положеній безкровной драмы, мое имя поставили бы на челѣ человѣчества.

— Да, но у васъ есть же какая-нибудь теорія жизни?

— Нѣтъ, Лизавета Егоровна, и не хочу я имѣть ее. Теоріи-то эти, по моему мнѣнію, погубили и губятъ людей.

— Какъ же, вѣдь есть же теоріи правильныя, вѣрныя?

— Не знаю такихъ и смѣю дерзостно думать, что до сихъ поръ нѣтъ ихъ.

Лиза задумалась.

— Нынѣшняя теорія не гарантируетъ счастья.

— Не гарантируетъ, Лизавета Егоровна.

— А есть другія?

— И тѣ не гарантируютъ.

— Значитъ, теоріи невѣрны?

— Выходитъ такъ.

— А, можетъ-быть, только люди слишкомъ неспособны жить умнѣе?

— Вотъ это всего вѣрнѣе. Кто умѣетъ жить, тотъ уставится во всякой рамкѣ, а если бъ побольше было умѣлыхъ, такъ и неумѣлые поняли бы, что̀ имъ дѣлать.

— Это такъ.

— Такъ мнѣ кажется. Мы вѣдь всѣ неумѣлые.

Лиза пристально на него посмотрѣла.

— Ну, а ваша теорія?—спросила она.

— Я вамъ сказалъ: моя теорія — жить независимо отъ теорій, только не ходить по ногамъ людямъ.

— А это не разладъ съ жизнью?

— Напротивъ, никогда такъ не легко ладить съ жизнью, какъ слушаясь ея и присматриваясь къ ней. Хотите непремѣнно имѣть знамя, ну, напишите на немъ «*испытуй и вижудь*», да и живите.

— Что жъ, по-вашему выйдетъ, что всѣ заблуждаются?

— Бедламъ, Лизавета Егоровна. Давно сказано, что свѣтъ Бедламъ.

— Такъ и мы вѣдь въ этомъ Бедламѣ, — смѣясь замѣтила Лиза.

— И мы тоже.

— Значитъ, чѣмъ же вѣрнѣе ваша теорія?

— Вы слыхали, Лизавета Егоровна, про разбойника Прокрусту?

— Нѣтъ, не слыхала.

— Ну, такъ я вамъ разскажу. У Прокрусты была кровать. Кого бы онъ ни поймалъ, онъ клалъ на эту кровать. Если человѣкъ выходилъ какъ разъ въ мѣру этой кровати, то его спускали съ нея и отпускали; если же коротокъ, то вытягивали какъ разъ въ ея мѣру, а длиненъ, такъ обрубали, тоже какъ разъ въ ея мѣру. Разумѣется, и выходило, что всякаго либо повытянутъ, либо обрубятъ. Вотъ и эти теоріи-то то же самое Прокрустово ложе. Онѣ надоѣдятъ всѣмъ; повѣрьте, придетъ время, когда онѣ всѣмъ надоѣдятъ и какъ бы теоретики ни украшали свои кровати, люди отъ нихъ бѣгать станутъ. Это ужъ теперь видно. Мужчины еще и туда, и сюда. У нихъ дѣла выдуманнаго очень много. А женщины, которымъ главные, простые-то интересы въ жизни ближе, посмотрите, въ какой онѣ омутъ ихъ загонятъ. Либо ужъ тѣ соскочутъ, да сами такую еще теорію отхватаютъ, что только ахнемъ.

— Ну... постойте же еще. Я хотѣла бы знать, какъ вы смотрите на поступокъ этой женщины, о которой вы вчера разсказывали?

— Это какое-то дикое, противоестественное изступленіе, которое, однако, у нашихъ женщинъ прорывается. Богъ ихъ знаетъ, какъ у нихъ тамъ выходитъ, а выходитъ. Ухаживаетъ парень за дѣвкой, а она на него не смотритъ, другого любитъ. Вдругъ тотъ ее обманулъ, она плачетъ-

плачетъ, да разомъ въ ноги другому. «Отколошмать, проситъ, ты его, моего лиходѣя; вымажь ей, разлушницѣ, дегтемъ ворота—я тебя, ей-Богу, любить стану». И вѣдь станетъ любить. На зло ли это дѣлается, или какъ иначе, а уже черта своеобычная, какъ хотите. — Я на вчерашнюю исторію такъ и смотрю, Лизавета Егоровна, какъ на несчастье. Потому-то я предпочитаю мою теорію, что въ ней нѣтъ ни шарлатанства, ни самоувѣренности. Мнѣ одно понятно, что всѣ эти теоріи или вытягиваютъ чувства, или обрубаютъ разумъ, а я вѣрю, что человѣчество не будетъ счастливо, пока не открыто будетъ средство жить по чистому разуму, не подавляя присущаго нашей натурѣ чувства. Вотъ почему, что̀ бы со мною ни сталось въ жизни, я никогда не стану укладывать ея на Прокрустово ложе и надѣюсь, что зато мнѣ не отчего станетъ ни бѣжать, ни пятиться.

— Докторъ! мы всѣ на васъ въ претензіи, — сказала, подходя къ нимъ, Женни: — вы философствуете здѣсь съ Лизой, а мы хотѣли бы обоихъ васъ видѣть тамъ.

— Повинуюсь,—отвѣчалъ докторъ и пошелъ въ гостиную.

Черезъ нѣсколько минутъ туда вошла и Лиза.

Дьяконъ всталъ, обнялъ жену и сказалъ:

— Ну-ка, мать дьяконица, побренчи мнѣ для праздника на фортоплясѣ.

Духовная чета вышла, и черезъ минуту въ залѣ раздался довольно смѣлый аккомпанементъ, подъ который дьяконъ запѣлъ:

Прихожу къ тому ручью,
Съ милой гдѣ гулялъ я.
Онъ бѣжитъ, я слезы лью,
Счастье убѣжало.
Томно ручеекъ журчитъ,
Дѣлитъ грусть со мною,
И какъ будто говоритъ:
Нѣтъ ея съ тобою.

— «Нѣтъ ея съ тобою», — дребезжащимъ голосомъ подтянулъ Петръ Лукичъ, подходя къ старому фортепьяно, надъ которымъ висѣлъ портретъ, подтверждавшій, что игуменья была совершенно права, находя Женни живымъ подобіемъ своей матери.

Дьяконица перемѣнила музыку и взяла другой, веселый аккордъ, подъ который дьяконъ тотчасъ запѣлъ:

Въ залѣ жарко, въ залѣ тѣсно,
Невозможно тамъ дышать;
А въ саду теперь прелестно
Пить, гулять и танцовать.

— Да, теперь тамъ очень прелестно пить, гулять и особенно танцовать по колѣно въ снѣгу,—острилъ Зарницынъ, выходя въ залу.

За нимъ вышли Женни и Вязмитиновъ.

Дьяконица заиграла вальсъ.

Зарницынъ подалъ руку Евгеніи Петровнѣ, всѣ посторонились, и пара замелькала по залѣ.

— Позвольте просить васъ,— отнесся Зарницынъ, входя въ гостиную, гдѣ оставалась въ раздумьѣ Бахарева.

Лиза тихо поднялась съ мѣста и молча подала свою руку Зарницыну.

По залѣ замелькала вторая пара.

— Папа! кадриль съ вами,—сказала Женни.

— Что ты, матушка, Богъ съ тобой. У меня ужъ ноги не ходятъ, а она въ кадриль меня тянетъ. Вонъ, бери молодыхъ.

— Докторъ, съ вами?

— Помилуйте, Евгенія Петровна, я сто лѣтъ ужъ не танцовалъ.

— Пожалуйста!

— Сдѣлайте милость, увольте.

— Фуй! дѣвушка васъ проситъ, а вы отказываетесь.

— Юстинъ Феликсовичъ, вы?

— Извольте,—отвѣчалъ Помада.

— Лиза, а ты бери Николая Степановича.

— Нѣтъ-съ, нѣтъ, я, какъ докторъ, забылъ ужъ какъ и танцуютъ.

— Тѣмъ лучше, тѣмъ лучше. Смѣшнѣе будетъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, нуте-ка ихъ пару неумѣлыхъ, доктора съ Николаемъ Степановичемъ, въ кадриль. Такъ и будетъ кадриль неспособныхъ,—шутилъ Петръ Лукичъ.

— Бери, Лиза. Играйте, душка, Александра Васильевна!

Женни расшалилась.

Дьяконица сыграла ритурнель.

— Ангажируйте же, господа!—крикнулъ Зарницынъ.

— Нѣтъ, позвольте, позвольте! Это вотъ какъ нужно сдѣлать,—заговорилъ дьяконъ:—вотъ мой платокъ, завязы-

ваю на одномъ уголкѣ узелочекъ; теперь, господа, извольте тянуть, кто кому достанется. Узелочекъ будетъ хоть Лизавета Егоровна. Ну-съ, смѣлѣе тяните, докторъ: кто кому достанется?

Дѣвушки стояли рядомъ.

Отступленіе было невозможно, всѣмъ хотѣлось веселиться.

Докторъ взялъ за уголокъ платка и потянулъ. На уголкѣ былъ узелочекъ.

— Господа!—весело крикнулъ дьяконъ:—по мудрому рѣшенію самой судьбы, доктору Розанову достается Лизавета Егоровна Бахарева, а Николаю Степановичу Вязмитинову—Евгенія Петровна Гловацкая.

Обѣ пары стали на мѣста. У дверей показались Абрамовна, Паланя и Яковлевичъ.

«Чортъ знаетъ, что это такое!»—размышлялъ оставшійся за штатомъ Помада, укладывая въ карманъ чистый платокъ, которымъ намѣревался обернуть руку.

Случайности не забывали кандидата.

— Шэнъ! шэнъ! вырабатывайте шэнъ, Николай Степановичъ, — кричалъ Вязмитинову докторъ, отплясывая съ Лизой.

Кадриль часто путалась и, наконецъ, по милости шэновъ, танцоры совсѣмъ спутались и стали.

Всѣ смѣялись; всѣмъ было весело.

Женни вспомнила о дьяконицѣ и сказала:

— Господа, составляйте другую кадриль, я буду играть.

— Нѣтъ, пусти, я, а ты танцуй,—возразила Лиза и сѣла за фортепьяно.

Зарницынъ танцовалъ съ Женни, Помада, обернувъ платкомъ вѣчно потѣвшія у него руки, съ дьяконицей.

Окончивъ кадриль, Лиза заиграла вальсъ.

Зарницынъ понесся съ дьяконицей, а Помада съ Женни.

Докторъ подошелъ къ Абрамовнѣ, нагнулся къ ея уху, какъ бы желая шепнуть ей что-то по секрету и, неожиданно схвативъ старуху за талію, началъ вертѣть ее по залѣ, напѣвая: о мейнъ либеръ Августенъ, Августенъ, Августенъ!

Лиза едва могла играть. Обернувшись лицомъ къ оригинальной парѣ, она помирала со смѣха, такъ же какъ и вся остальная компанія.

Дьяконъ, выбивая ладонями тактъ, совсѣмъ спустился на полъ и какъ-то пищалъ отъ хохота.

У Лизы отъ смѣха глаза были полны слезъ, и она кричала:

— Прахъ, прахъ танцуетъ, вотъ онъ настоящій-то прахъ!

Къ довершенію сцены, докторъ, таская упирающуюся старуху, споткнулся на Помаду, сбилъ его съ ногъ и всѣ втроемъ полетѣли на полъ.

Музыка прекратилась. Лиза легла на клавиши и въ цѣломъ домѣ нѣсколько минутъ раздавалось:

— Охъ! ха, ха, ха! охъ, ха, ха, ха!

Няня была слишкомъ умна, чтобы сердиться, но и не хотѣла не заявить, хоть шутя, своего неудовольствія доктору. Поднимаясь, она сказала:

— Вотъ тебѣ, вертопрахъ ты этакой!

И дала весьма изрядную затрещину подвернувшемуся Юстину Помадѣ.

— О чортъ возьми, однако, что̀ же это такое въ самомъ дѣлѣ? — вскрикнулъ Помада, выходя изъ роли комическаго лица въ балетѣ.

Общій хохотъ возобновился.

— Прости, батюшка, я, вѣдь, совсѣмъ не тебя хотѣла,— говорила старуха, обнимая и цѣлуя ни въ чемъ неповиннаго Помаду.

За полночь уже, съ шапкою въ рукѣ, дьяконъ, проходя мимо фортепьяно, не вытерпѣлъ, еще присѣлъ и запѣлъ, самъ себѣ аккомпанируя:

Сижу на бекетѣ,
Вижу все на свѣтѣ.
О, Зевесъ! помилуй меня и ее!

— «О, Зевесъ! помилуй меня и ее!» — подхватили всѣ хоромъ.

Дьяконъ допѣлъ всю эту пѣсенку съ хоральнымъ припѣвомъ и, при послѣднемъ куплетѣ, измѣнивъ этотъ припѣвъ въ слова: «О, Зевесъ! помилуй Сашеньку мою!» поцѣловалъ у жены руку и рѣшительно закрылъ фортепьяно.

— Полно, набѣсились,—сказалъ онъ.

Всѣ стали прощаться.

— Прощайте,—сказалъ докторъ, протягивая руку Бахаревой.

Лиза отвѣтила:

— До свиданія, докторъ,—и пожала его руку такъ, какъ

женщины умѣютъ это дѣлать, когда хотятъ рукою сказать: будемъ друзьями.

Никто никогда не видалъ Лизы такою оживленною и дѣтски-веселою, какъ она была въ этотъ вечеръ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Глава безъ названія.

Постъ кончался, была Страстная недѣля. Погода стояла прекрасная: дни свѣтлые, тихіе и теплые. Снѣгъ весь подернулся чернымъ тюлемъ и мѣстами показались большія прогалины, особенно по взлобочкамъ. Проходныя дорожки, съ которыхъ зимою изрѣдка сгребали лишній снѣгъ, совсѣмъ почернѣли и лежали черными лентами. Но зато шагъ со двора и окунешься въ воду, которою взялся снѣгъ. Ѣздить можно было только по шоссе. Мужички копались на дворахъ, ладя бороны да сохи, ребятишки пропускали ручейки, которыми стекали въ рѣчку всѣ плодотворные соки изъ наваленныхъ посреди двора навозныхъ кучъ. Запахъ навоза стоялъ надъ деревнями. Среди дня, казалось, что дворы топятся — такъ густы были поднимавшіяся съ нихъ испаренія. Но это никому не вредило, ни людямъ, ни животнымъ, а пѣтухи, стоя на самомъ верху кучъ теплаго, дымящагося навоза, воображали себя какими-то жрецами. Они важно топорщили свои перья, потряхивали красными гребнями и, важно закинувъ головы, возглашали: «да здравствуетъ весна, да здравствуютъ куры!»

— Изъ этого кочета прокъ будетъ; ты его, этого кочета, береги, опираясь на вилы, говорилъ женѣ мужикъ, показывая на гуляющаго по парному навозу пѣтуха.—Это настоящая птица, ласковая къ курамъ, а того рябинькаго-то безпремѣнно надыть его зарѣзать къ празднику: какъ есть онъ пустой пѣтухъ совсѣмъ, все по угламъ одинъ слоняется.

И мужикъ, плюнувъ на руки, снова ковырялъ вилами; баба, пошевеливая плечами и понявой, шла въ сѣни, а обреченный въ лапшу стоикъ поправлялъ свои бурды.

Отлично чувствуешь себя въ эту пору въ деревнѣ, хотя и живешь, зная, что за ворота двора ступить некуда. Природа облагаетъ человѣка зажорами и, по народному выраженію, не рѣка уже топитъ, а лужа.

Была такая пора въ Меревѣ. Рѣка Саванка поднялась, вспучилась, но ледъ еще не трогался.

Всѣ ставни въ бахаревскомъ домѣ были открыты и въ нѣкоторыхъ окнахъ отворены форточки.

На дворѣ вечерѣло. Няня отправилась ставить самоваръ. Лиза стояла у окна. Заложивъ назадъ свои ручки, она глядѣла на покрывавшееся вечернимъ румянцемъ небо и о чемъ-то думала; а кругомъ тишь ненарушимая.

Бахаревскій кабинетъ, въ которомъ обитала Лиза послѣ своего бѣгства, теперь снова не напоминалъ жилого покоя. Въ немъ среди пола стоялъ уложенный чемоданъ, дорожный сакъ и нѣсколько узелочковъ. Подушки, всегда покоившіяся на отоманкахъ, скинули свои бѣлыя рубашечки, и, надѣвъ ситцевые капоты песочнаго цвѣта съ лиловымъ горошкомъ, лежали какъ толстыя барыни. Онѣ своимъ глуповажнымъ видомъ говорили: прощайте; мы теперь путешественницы. На насъ завтра сядутъ и мы будемъ вояжировать, будемъ любоваться природой и дышать чистымъ воздухомъ.

— Здравствуйте, Лизавета Егоровна! — сказалъ кто-то сзади погруженной въ себя Лизы.

Дѣвушка вздрогнула отъ нечаянности и оглянулась: передъ нею стоялъ докторъ.

— Вотъ сюрпризъ-то! — сказала она привѣтливо, протягивая ему свою руку.

— Что, вы уѣзжаете?

— Да, завтра ѣду къ своимъ.

— Надолго?

— Я думаю, ужъ съ ними вмѣстѣ возвращусь. Какъ это вы догадались заѣхать?

— Ѣхалъ мимо изъ Лужковъ.

— Что, опять людей рѣзали?

— Да, опять одного человѣчка порѣзалъ и зашилъ.

Докторъ и Лиза разсмѣялись.

— Какъ вы поѣдете? Дорогъ нѣтъ совсѣмъ. Я верхомъ на своей пристяжной, да и то совсѣмъ-было и себя, и лошадь утопилъ въ зажорѣ за вашимъ садомъ.

— Да мнѣ, вѣдь, по шоссе.

— И то правда. — Вы меня чайкомъ напоите, Лизавета Егоровна?

— Какъ же, какъ же! Няня сейчасъ принесетъ самоваръ.

— Что это на васъ за странный нарядъ?

— Какъ странный?

— Вы точно турчанка.

Лиза была въ темномъ марселиновомъ платьѣ, безъ криполина, и въ домашней длинной мѣховой шубкѣ съ горностаевымъ воротникомъ и горностаевой опушкой. Этотъ нарядъ очень шелъ къ Лизѣ.

Она оглянула себя и сказала:

— Я завтра ѣду, все уложено: это мой дорожный нарядъ. Сегодня открыли домъ, день былъ такой хорошій, я все ходила по пустымъ комнатамъ, такъ славно. Вы знаете весь нашъ домъ?

— Нѣтъ, всего не знаю.

— Хотите, пойдемте, пока еще свѣтло. Я вамъ покажу свою комнату.

Солнце, совсѣмъ спускаясь къ закату, слабо освѣщало блѣдно-оранжевымъ свѣтомъ окна и трепетно отражалось на противоположныхъ стѣнахъ. Однѣ комнаты были совершенно пусты, въ другихъ оставалась кое-какая мебель, закрытая или простынями, или просто рогожами. Только однѣ кровати не были ничѣмъ покрыты и производили непріятное впечатлѣніе своими пустыми досками.

— Вотъ и моя комната,—сказала Лиза.

— Хорошенькая комнатка.

— Да, прежде я жила вотъ въ этой; тутъ гадко и затвориться даже нельзя было. Я тутъ очень много плакала.

— Оттого, что комната нехороша?

— Нѣтъ, оттого, что глупа была.

Докторъ съ Лизой обошли весь домъ и возвратились въ залу, гдѣ Абрамовна уже наливала чай.

Старуха въ шутку избранила доктора за вертопрашество, а потомъ сказала:

— Ты вотъ дай мнѣ, а не то хоть припиши въ аптеку какой-нибудь масти, чтобы можно мнѣ промежъ крылъ себѣ ею мазать. Смерть какъ у меня промежду вотъ этихъ вотъ крылъ-то, смерть, какъ ломитъ съ вечера.

И докторъ, и Лиза были очень въ духѣ. Напившись чаю, Розановъ сталъ прощаться.

— Посидите еще,—сказала Лиза.

— Нѣтъ, не могу, Лизавета Егоровна. Если бъ могъ, я бы и самъ отъ васъ не торопился.

Совсѣмъ свечерѣло, и блѣдная луна освѣтила голубую великолѣпную ночь.

Былъ легонькій вешній морозецъ, покрывшій проталины тонкою, хрупкою слюдой.

Гость и хозяйка вышли на крыльцо. Докторъ взялъ у садовника поводъ своей лошади и протянулъ руку Лизѣ.

— Хотите, я васъ провожу до околицы,—спросила Лиза, кладя свою ручку въ протянутую ей руку доктора.

— Отказываться отъ такого милаго вниманія не смѣю, но чтобъ вы не простудились...

— Ничего, тутъ дорожка вся оттаяла, земля одна, да и я же сейчасъ надѣну калоши.

Не дожидаясь отвѣта, Лиза порхнула за дверь и черезъ минуту вышла на крыльцо въ калошахъ и большомъ мериносовомъ платкѣ.

Они пошли рядомъ; сзади ихъ, опустя голову, потягивая ноздрями воздухъ, шла на поводу осѣдланная розановская лошадь.

Какія этой порой бываютъ ночи прелестныя, нельзя разсказать тому, кто не видалъ ихъ, или, видѣвши, не чувствовалъ крѣпкаго, могучаго и обаятельнаго ихъ вліянія. Въ эти ночи, когда подъ ногою хруститъ бѣленькая слюда, раскинутая по чернымъ талинамъ, нельзя размышлять ни о грозномъ часѣ послѣдняго расчета съ жизнью, ни о ловкомъ обходѣ подводныхъ камней моря житейскаго. Даже сама досужая старушка-нужда забывается легкимъ сномъ и не слышно ея ворчливыхъ соображеній насчетъ завтрашняго дня.

Надеждъ! надеждъ! сколько темныхъ и неясныхъ, но благотворныхъ и здоровыхъ надеждъ слетаютъ къ человѣку, когда онъ дышитъ воздухомъ голубой, свѣтлой ночи, наступающей послѣ теплаго дня въ концѣ марта. «Августъ теплѣе марта», говоритъ пословица. Точно, жарки и сладострастны нѣмыя ночи августа, но нѣтъ у нихъ того таинственнаго могущества, которымъ мартовская ночь каждаго смертнаго хотя на нѣсколько мгновеній обращаетъ въ кандидата правъ Юстина Помаду.

— Какая чудесная ночь! — невольно воскликнула Лиза, выходя съ докторомъ за уголъ сада.

— Поэтическая ночь! — замѣтилъ докторъ, дыша полною грудью.

— А вы вѣрите, докторъ, въ поэзію?

— Какъ же, Лизавета Егоровна, не вѣрить въ то, что существуетъ?

— Странно! доктора всѣ матеріалисты. По крайней мѣрѣ, мнѣ они всегда такими представлялись.

— Это обнаруживаетъ въ васъ большую наблюдательность. Больше или меньше мы, дѣйствительно, всѣ матеріалисты, да и врядъ ли можно идеальничать, возясь со скальпелемъ въ разлагающейся махинѣ, именуемой человѣкомъ.

— То-то я и удивляюсь, что вы восторгаетесь ночью, точно какъ Юстинъ Феликсовичъ.

Докторъ засмѣялся.

— Странны, право, бываютъ въ обществѣ многія понятія, но ужъ страннѣе того, которое досталось этому несчастному матеріализму, и придумать нельзя. Думаютъ, матеріализмъ — это ужъ могила всѣмъ радостямъ земнымъ, а наипаче радостямъ чистымъ, возвышающимъ и укрѣпляющимъ душу. Да, я говорю: *душу*. Вы не забудьте, Лизавета Егоровна, что въ ряду медицинскихъ наукъ есть психіатрія,— наука, можетъ-быть, самая поэтическая и имѣющая дѣло исключительно съ тѣмъ, что отличаетъ насъ отъ ближнихъ и дальнихъ кузеновъ нашей общей родственницы Юліи Пастраны. Странно, право,—продолжалъ онъ, помолчавъ:— будто ужъ за то, что я понимаю, какъ дѣйствуютъ на меня нѣкоторыя внѣшнія условія, я ужъ и не могу чувствовать прекраснаго. Положимъ, Юстину Помадѣ сдается, что онъ въ такую ночь вотъ безпричинно хорошо себя чувствуетъ, а еще кому-нибудь кажется, что тамъ вонъ по проталинкамъ сидятъ этакіе гномики, обязанные веселить его сердце; а я думаю, что мнѣ хорошо потому, что этотъ здоровый воздухъ сильнѣе гонитъ мою кровь, и всѣ мы все-таки чувствуемъ эту прелесть. А поэзію какъ же я стану отвергать, когда я чувствую ее и въ природѣ, и въ сочетаніи звуковъ. Какъ отвергать, что

«Есть сила благодатная
Въ созвучьи словъ живыхъ».

Вотъ ночь, этотъ льющійся воздухъ, трепетный, робкій свѣтъ, искренній разговоръ съ молодой, чуткой женщиной,— тутъ поэзія, а тамъ вонъ проза.

— Гдѣ это?

— Въ городѣ.

Лиза задумалась и потомъ спросила:

— Вамъ, я думаю, тяжело иногда жить, докторъ?

— Да, нелегко иногда бываетъ, Лизавета Егоровна.

— Что̀ вы не вырветесь изъ вашего положенія?

— Да какъ же изъ него вырываться? Тутъ нужно и вырываться, и прорываться, и надрываться, и разрываться, и все, что хотите.

— Ну, и что жъ такое?

— А то, что силъ у меня на это не хватитъ, да и, откровенно скажу вамъ, думаю я, что изгаженнаго въ конецъ ужъ не склеишь и не поправишь.

— Какой вздоръ! Вы вѣдь еще очень молоды, я думаю.

— Да, мнѣ немного лѣтъ.

— И при вашихъ-то дарованіяхъ, въ этомъ возрастѣ, вы считаете себя уже погибшимъ и отпѣтымъ!

— Да, считаю, Лизавета Егоровна, и увѣренъ, что это на самомъ дѣлѣ. Я не могу ничего сдѣлать хорошаго: силъ нѣтъ. Я вѣдь съ дѣтства въ какомъ-то разладѣ съ жизнью. Мать при мнѣ отца поѣдомъ ѣла за то, что тотъ не умѣлъ низко кланяться; молодость моя прошла у моего дяди, такого нравственнаго развратителя, что и нѣтъ ему подобнаго. Еще тогда всѣ мои чистые порывы повытоптали. Попробовалъ полюбить всѣмъ сердцемъ... совсѣмъ чортъ знаетъ что̀ вышло. Вся смѣлость меня оставила.

— Уѣзжайте отсюда въ столицу, ищите каѳедры, — проговорила Лиза послѣ небольшой паузы.

— А семья?

— Да, бракъ ужасное дѣло!—тихо проговорила Лиза.

— Для мужчины дѣло страшное.

— Я думаю, и для женщины.

— Ну, съ извѣстной точки зрѣнія, женщина все-таки меньшимъ рискуетъ.

— Это какъ?

— Да, напримѣръ, въ экономическомъ отношеніи женщина пріобрѣтаетъ себѣ работника и потомъ даже, въ случаѣ неудачи, у женщины, хотя мало-мальски достойной чувства, все-таки еще остается надежда встрѣтиться съ новой привязанностью и отдохнуть въ ней.

— А у мужчины развѣ не то же самое?

— Нѣтъ-съ, далеко не то самое. Женщину ея несчастіе въ бракѣ дѣлаетъ еще гораздо интереснѣе, а для женатаго

мужчины, если онъ несчастливъ, что остается? Связишки, интрижки и всякая такая гадость,—а любви нѣтъ.

— Отчего же?

— Оттого, что порядочная женщина не видитъ себѣ мѣста въ такой любви.

— Странно! Я думаю совсѣмъ напротивъ. *Порядочная*-то, т.-е. настоящая женщина, всегда найдетъ себѣ мѣсто въ такой любви.

— Это по теоріи.

— Но развѣ и эта теорія не вѣрна?

— Нѣтъ, кажется, вѣрна, да на практикѣ только не оправдывается.

— Помилуйте: развѣ можетъ быть что-нибудь пріятнѣе для женщины, какъ поднять человѣка на честную работу?

— Да только какъ-то не бываетъ этого. Это для насъ должно быть философія будущаго. Теперь же мужчина: повѣсился — мотайся, оторвался — катайся... А вонъ катитъ и Помада. Прощайте, Лизавета Егоровна.

Подъѣхалъ въ саночкахъ Помада, возвратившійся изъ города. Докторъ повидался съ нимъ и вспрыгнулъ на лошадь.

— Прощайте,—сказала ему Лиза:—только вы обдумайте нашъ разговоръ. Вы, кажется, очень ошибаетесь на этотъ разъ. По-моему, безысходныхъ положеній нѣтъ.

— Хорошо, Лизавета Егоровна, буду думать, — шутливо отвѣтилъ докторъ и поѣхалъ крупной рысью въ городъ, а Лиза съ Помадою пошли къ дому.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

На одномъ полѣ разныя ягоды.

Вязмитиновъ былъ сынъ писца изъ губернскаго правленія; воспитывался въ училищѣ дѣтей канцелярскихъ служителей, потомъ, въ числѣ двухъ лучшихъ учениковъ, былъ опредѣленъ въ четвертый классъ гимназіи, оттуда въ университетъ и, наконецъ, попалъ на мѣсто учителя исторіи и географіи при знакомомъ намъ трехклассномъ уѣздномъ училищѣ. Раннее сиротство, бѣдность и крутая суровость воспитанія въ заведеніи, устроенномъ для дѣтей канцелярскихъ служителей, положили на Вязмитинова неизгладимые слѣды. Онъ былъ постоянно задумчивъ, кротокъ въ обхожденіи со всѣми, немножко застѣнчивъ, скрытенъ и даже лукавъ, но съ довольно положительнымъ умомъ и постоян-

ствомъ въ преслѣдованіи того, къ чему онъ разъ рѣшился стремиться.

О наружности Вязмитинова распространяться нечего: онъ имѣлъ довольно пріятную наружность, хотя съ того самаго дня, когда его семилѣтнимъ мальчикомъ привели въ суровое училище, онъ пріобрѣлъ странную манеру часто пожиматься и моргать глазами. Первая изъ этихъ привычекъ была усвоена ребенкомъ вслѣдствіе неловкости, ощущенной имъ въ новой курткѣ изъ толстаго сукна, съ натирающимъ до-красна воротникомъ, а вторая получена отъ безпрерывнаго опасенія ежеминутныхъ колотушекъ, затрещинъ, взвошекъ, взъефантуливанья и пришпандориванья. Но ни одна изъ этихъ привычекъ не дѣлала Вязмитинова смѣшнымъ и не отнимала у него права на званіе молодого человѣка съ пріятною наружностью.

Жилъ онъ скромно, въ двухъ комнатахъ у вдовы дьяконицы, неподалеку отъ уѣзднаго училища, и платилъ за свой столъ, квартиру, содержаніе и прислугу двѣнадцать рублей серебромъ въ мѣсяцъ. Такимъ образомъ проживалъ онъ съ самаго поступленія въ должность.

Въ подобныхъ городкахъ и теперь еще живутъ съ такими средствами, съ которыми въ Петербургѣ надо бы умереть съ голоду, живя даже на Малой Охтѣ, а нѣсколько лѣтъ назадъ, еще какъ безнуждно жилось-то съ ними въ какой-нибудь Обояни, Тиму или Карачевѣ, гдѣ за пятьсотъ рублей становился цѣлый домъ, дававшій своему владѣльцу право, по испитіи третьей косушечки, говорить:

— Я, братецъ ты мой, теперь, слава-те, Господи, городской обыватель.

Дьяконицыны знакомые даже находили, что ей ужъ, кто ее знаетъ за что, въ этомъ учителѣ счастье такое Создатель спосылаетъ.

— Ну, пусть, положимъ, теперича, — разсуждали между собою пріятельницы:—двадцать пять рублей за харчи. Какія ужъ тамъ она ему даетъ харчи, ну только ужъ тамъ будемъ считать: ну, двадцать пять рублей. Ну, десять съ полтиной за комнаты: ну, тридцать пять съ полтиной. А, вѣдь, она сорокъ два рубля беретъ! За что̀ она шесть съ полтиной беретъ? Шесть съ полтиной деньги: вѣдь это безъ пятиалтыннаго два цѣлковыхъ.

Собственные труды и безпокойства при этихъ смѣтахъ,

обыкновенно, вовсе не принимаются въ соображенія, потому что время и руки ничего не стоятъ.

При такой дешевизнѣ, бережливости и ограниченности своихъ потребностей, Вязмитиновъ умѣлъ жить такъ, что бѣдность изъ него не глядѣла ни въ одну прорѣху. Онъ былъ всегда отлично одѣтъ, въ квартирѣ у него было чисто и уютно, всегда онъ могъ выписать себѣ журналъ и нѣсколько книгъ, и даже подъ случай у него можно было позаимствоваться деньжонками, включительно отъ трехъ до двадцати пяти рублей серебромъ.

Зарницынъ, единственный сынъ мелкопомѣстной дворянской вдовы, былъ человѣкомъ другого сорта. Онъ жилъ въ одной просторной комнатѣ съ самымъ страннымъ убранствомъ, которое всячески давало посѣтителю чувствовать, что квартирантъ вчера пріѣхалъ, а завтра непремѣнно очень далеко выѣдетъ. Даже большой стѣнной коверъ, составлявшій одну изъ непослѣднихъ «шикозностей» Зарницына, висѣлъ микосъ-накось, какъ будто его здѣсь не стоило прибивать поровнѣе и покрѣпче, потому что владѣлецъ его скоро вонъ выѣдетъ.

Каковъ былъ Зарницынъ въ своей домашней обстановкѣ, таковъ онъ былъ и во всемъ. Докторъ Розановъ его напрасно обзывалъ Рудинымъ: онъ гораздо болѣе былъ Хлестаковымъ, чѣмъ Рудинымъ, а можетъ-быть и это сравненіе не совсѣмъ идетъ ему. Зарницынъ, находясь въ положеніи Хлестакова, при тогдашней средѣ, сильно тяготѣлъ бы и къ хлестаковщинѣ, и къ репетиловщинѣ. Въ эпоху, описываемую въ нашемъ романѣ, тоже нельзя сказать, чтобы онъ не тяготѣлъ къ нимъ. Но въ эту эпоху ни Репетиловъ не хвастался бы тѣмъ, что «шумимъ, братецъ, шумимъ» ни Иванъ Александровичъ Хлестаковъ не разсказывалъ бы о тридцати тысячахъ скачущихъ курьерахъ и неудержимой чиновничьей дрожкѣ, начинающейся непосредственно съ его появленіемъ въ департаментъ. Позволительно думать, что они могли хлестаковствовать и репетиловствовать совсѣмъ иначе, изобличая извѣстную солидарность натуръ съ натурою несмѣтнаго числа Зарницыныхъ (которыхъ нисколько не должно оскорблять такое сопоставленіе, ибо они никакимъ образомъ не могутъ быть почитаемы наихудшими людьми земли русской).

Зарницынъ не любилъ заниматься по-вязмитиновски,

серьезно. Онъ бралъ все кое-какъ, налетомъ, и все у него сходило. Новая весна его застала въ положеніи очень скучномъ. Ему какъ-то все принадоѣло. Онъ не зналъ, чѣмъ заняться, и началъ обличительную повѣсть съ самыми картинными намеками и съ неисчерпаемымъ моремъ гражданскаго чувства. Но повѣсть на первыхъ же порахъ запуталась въ массѣ этого новаго чувства — и стала. Зарницынъ тревожно тосковалъ, суетился, заговаривалъ о темныхъ предчувствіяхъ, о борьбѣ съ собою, наконецъ, прочитавъ нѣсколько народныхъ сценъ, появившихся въ это время въ печати, ужъ задумалъ-было коробейничать. Но милосердому року угодно было указать ему на иной путь, а на этомъ пути и развлеченіе.

Въ одно очень погожее утро одного погожаго дня, Зарницынъ получилъ съ почты письмо, служившее довольно яснымъ доказательствомъ, что мѣстный уѣздный почтмейстеръ вовсе не имѣлъ слабости Шпекина къ чужой перепискѣ.

Получивъ такое письмо, Зарницынъ выросъ на два вершка. Онъ прочелъ его разъ, прочелъ другой, наконецъ третій и побѣжалъ къ Вязмитинову.

— Что, ты на-дняхъ ничего не получалъ?—спросилъ онъ, входя и кладя фуражку.

— Ничего,—отвѣчалъ Вязмитиновъ.

— Ни откуда?

— Ни откуда.

— Гм!

— А что такое?

— Такъ.

Зарницынъ зашагалъ по комнатѣ, то улыбаясь, то приставляя ко лбу палецъ. Вязмитиновъ, зная Зарницына, далъ ему порисоваться. Походивъ, Зарницынъ остановился передъ Вязмитиновымъ и спросилъ:

— Ты помнишь этихъ двухъ господъ?

— Какихъ?—спокойно спросилъ Вязмитиновъ, моргнувъ при этомъ какимъ-то экстраординарнымъ образомъ.

— Ну, Боже мой! что̀ были прошлой осенью на балѣ у Бахарева.

— Да тамъ много было.

— Ну, этотъ, какъ его, иностранецъ... Райнеръ?

— Помню, — съ невозмутимымъ спокойствіемъ отвѣчалъ Вязмитиновъ.

— Съ нимъ былъ молодой человѣкъ Пархоменко.

— И этого помню.

— Вотъ его письмо.

— Что жъ это такое?—спросилъ Вязмитиновъ, безучастно глядя на положенное передъ нимъ письмо.

— Читай!

Вязмитиновъ медленно развернулъ письмо.

— Вотъ отсюда читай,—указалъ Зарницынъ.

«Нужны люди, способные дѣйствовать, вести скорую подземную работу. Я былъ слишкомъ занятъ, находясь въ вашемъ городѣ, но слышалъ о васъ мелькомъ и по тѣмъ *невыгоднымъ* отзывамъ, которые доходили до меня на вашъ счетъ, вы должны быть нашъ человѣкъ, и на васъ можно разсчитывать. Надо приготовлять всѣхъ. На-дняхъ вы получите посылку: *книги.* Старайтесь ихъ распространять вездѣ, особенно между раскольниками: *они всѣ наши* и ими должно воспользоваться. Въ другихъ мѣстахъ дѣло идетъ уже очень далеко и идетъ отлично.

«Пусть моя полная подпись служитъ вамъ знакомъ моего къ вамъ довѣрія. *Вашъ Пархоменко.*

«P. S. Надѣюсь, что вы также не забудете писать все, что совершаютъ ваши безобразники. У насъ теперь это отлично устроено: опасаться нечего и на четвертый день тамъ.

«Еще P. S. Не стѣсняйтесь сообщать свѣдѣнія всякія. Тамъ послѣ разберемся, и если случится ошибка, то каждый можетъ оправдаться».

Вязмитиновъ перечелъ все письмо второй разъ и, оканчивая, произнесъ вслухъ: «а если случится ошибка, то каждый можетъ оправдаться».

— Гдѣ же это оправдаться-то? — спросилъ онъ, возвращая Зарницыну письмо.

— Да, разумѣется, тамъ же!

— А кто же знаетъ туда дорогу?

— Да вотъ дорога,—произнесъ Зарницынъ, ударивъ рукою по Пархоменковому письму.

— Да вѣдь это ты знаешь, а другіе почемъ ее знаютъ?

— Передамъ.

Вязмитинову все это казалось очень глупо, и онъ не сталъ спорить.

— Ну, что же?—спросилъ его Зарницынъ.

— Что?

— Ты готовъ содѣйствовать?

— Я?

Вязмитиновъ собирался сказать самое рѣшительное «нѣтъ», но, подумавъ, сказалъ:

— Да, пожалуй.

— Нѣтъ, не *пожалуй;* это надо дѣлать не въ видѣ уступки, а нужно дѣйствовать съ энергіей.

— Да то-то̀, какъ дѣйствовать? что̀ дѣлать нужно?

— Подогрѣвать, подготовлять, волновать умы.

— На подпись, что ли, склонять? что же вы полагаете-то?

— *Мы*...—Зарницыну очень пріятно прозвучало это *мы.*— Мы намѣрены пользоваться всѣмъ. Ты видишь въ письмѣ и раскольники, и помѣщики, и крестьяне. Одни пусть подписываютъ коллективную бумагу, другіе требуютъ свободы, третьи—земли... понимаешь?

— Понимаю, землю-то требовать будутъ мужики?

— Ну, да.

— Отъ тѣхъ самыхъ помѣщиковъ, которыхъ нужно склонять подписывать коллективную бумагу?

— Ну да, ну да. разумѣется. Неужто ты не понимаешь?

— Нѣтъ, теперь я понимаю: я это только сначала.

— А вотъ, вѣдь, я помню, какъ вы съ докторомъ утверждали, что этотъ Пархоменко глупъ.

— Да, это правда.

— А видишь, какой онъ человѣкъ.

— Да.

— Какъ ты думаешь: доктору сообщить?—шопотомъ спросилъ Зарницынъ.

— На что путать лишнихъ людей!

— И то правда.

Пріятели разстались.

Тотчасъ по уходѣ Зарницына, Вязмитиновъ одѣлся и, идучи въ училище, зашелъ къ доктору, съ которымъ они поговорили въ кабинетѣ и, разставаясь, Вязмитиновъ сказалъ:

— Смотрите же, Дмитрій Петровичъ, держите себя такъ же, какъ я, будто ничего знать не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ.

— Добре,—отвѣчалъ докторъ.

— Да Помаду надрессируйте.

— Добре, добре,—опять отвѣчалъ, запирая двери, докторъ.

Вечеромъ Вязмитиновъ писалъ очень длинное письмо, въ которомъ, между прочимъ, было слѣдующее мѣсто: «Вы, я

полагаю, сами согласитесь, что мы и съ вами вели себя слишкомъ легкомысленно, позволивъ себѣ обѣщать вамъ свое содѣйствіе въ дѣлѣ столь щекотливомъ. Будемъ говорить откровенно. За личность вашу намъ никто и ничто не ручается. Лицо, съ которымъ вы, по вашимъ словамъ, были такъ близки, не снабдило васъ ни одной рекомендательной строчкой, а въ уполномочіи, данномъ вами такому человѣку, какъ П—ко, мы не можемъ не видѣть или крайнѣйшей безтактности и недальновидности, или... просто—плана гораздо худшаго. Вы насъ извините, мы не подозрѣваемъ васъ въ злонамѣренности. Спаси насъ Боже! Мы вамъ вѣримъ, но служить дѣлу, начинаемому по вашей иниціативѣ, съ такими еще сотрудниками мы не можемъ. Намъ нужны старые люди; безъ нихъ ничего въ этомъ родѣ не сдѣлаешь, а они прежде всего недовѣрчивы. Письмо полковника Стопаненки *для насъ* достаточное ручательство, а для нихъ оно ничего не значитъ. Безъ ихъ же участія дѣлу не быть. При связяхъ Роз—ова мы еще надѣялись все кое-какъ подготовить исподволь и незамѣтно; но теперь, когда вашему политическому другу вздумалось ввѣрить наши планы людямъ, на скромность и выдержанность которыхъ мы не разсчитываемъ, намъ не остается ничего болѣе, какъ жалѣть объ этой ошибкѣ и посовѣтовать вамъ искать какія-нибудь другія средства для заявленія умѣренныхъ желаній, которымъ будетъ сочувствовать вся страна.

«Смѣю надѣяться, что это не испортитъ нашихъ добрыхъ отношеній другъ къ другу. Вашъ N. B.»

Письмо это было вложено въ книгу, зашитую въ холстъ и переданную черезъ приказчиковъ Никона Родіоновича его московскому повѣренному, который долженъ былъ собственноручно вручить эту посылку иностранцу Райнеру, проживающему въ домѣ купчихи Козодавлевой, вблизи Лефортовскаго дворца.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Half-yearly review.

Бахаревская придворная швея Неонила Семеновна, сидя у открытаго окна, пѣла:

Прошло лѣто, прошла осень,
Прошла теплая весна,
Наступило злое время,
То холодная зима.

Пѣсня на этотъ разъ выражала, дѣйствительно, то, что̀ прошло и что̀ наступило въ природѣ.

Тонкія паутины плелись по темнѣющему жнивью, по лиловымъ мохрамъ репейника проступала почтенная сѣдина, дикія утки сторожко смотрѣли, тихо двигаясь зарями по сонному пруду, и рѣзвая стрекоза, пропѣвъ свою веселую пору, безнадежно ползла, скользя и обрываясь съ каждаго скошеннаго стебелечка, а по небу низко-низко тащились разорванныя полы широкаго шлафора, въ которомъ разгуливалъ сѣверный волшебникъ, ожидая пока ему позволено будетъ раскрыть старые мѣхи съ холоднымъ вѣтромъ и развязать заиндивѣвшій мѣшокъ съ бѣлоснѣжной зимой.

Двѣ поры года прошли для нѣкоторыхъ изъ нашихъ знакомыхъ не безслѣдно, и мы въ короткихъ словахъ опишемъ, что̀ съ кѣмъ случилось въ это время.

Бахаревы вскорѣ послѣ Святой недѣли всей семьей переѣхали изъ города въ деревню, а Гловацкіе жили, по обыкновенію, безвыѣздно въ своемъ домикѣ.

Женни оставалась тѣмъ, чѣмъ она была постоянно. Она только съ большимъ трудомъ перенесла извѣстіе, что братъ Ипполитъ, котораго и она, и отецъ съ нетерпѣніемъ ожидали къ каникуламъ, арестованъ и попалъ подъ слѣдствіе по дѣлу студентовъ, расправившихся собственнымъ судомъ съ нѣкоторымъ бариномъ, оскорбившимъ одного изъ ихъ товарищей. Это обстоятельство было страшнымъ ударомъ для старика Гловацкаго. Для Женни это было еще тяжелѣе, ибо она страдала и за брата, и за отца, терзанія котораго ей не давали ни минуты покоя. Но, несмотря на все это, она крѣпилась и всячески старалась утѣшить страдающаго старика.

Вязмитиновъ безпрестанно писалъ ко всѣмъ своимъ прежнимъ университетскимъ пріятелямъ, прося ихъ разъяснить Ипполитово дѣло и слѣдить за его ходомъ. Отвѣты приходили рѣдко и далеко не удовлетворительные, а старикъ и Женни дорожили каждымъ словомъ, касающимся арестанта. Самымъ радостнымъ изъ всѣхъ извѣстій, вымоленныхъ Вязмитиновымъ во время этой томительной тревоги, былъ слухъ, что дѣло ожидаетъ прибытія сильнаго лица, въ благодушіе и мягкосердечіе котораго крѣпко вѣровали.

Ни старикъ, ни Женни, ни Вязмитиновъ не осуждали Ипполита, но сильно скорбѣли объ ожидавшей его участи.

Зарницынъ потиралъ отъ радости руки и горой стоялъ за Ипполита.

— Молодецъ! молодецъ! — говорилъ онъ. — Время словъ кончается, надо дѣйствовать и дѣйствовать. Да, надо дѣйствовать, надо. Вѣкъ жертвъ очистительныхъ проситъ; жертвъ вѣкъ проситъ!

Старикъ и Женни не возражали, они чувствовали только неутѣшную скорбь.

Доктора это обстоятельство тоже сильно поразило. Другое дѣло слышать объ извѣстномъ положеніи человѣка, котораго мы лично не знали, и совсѣмъ другое, когда въ этомъ положеніи представляется намъ человѣкъ близкій, да еще столь молодой, что привычка все заставляетъ глядѣть на него, какъ на ребенка. Доктору было жаль Ипполита; онъ злился и молчалъ. Лиза относилась къ этому дѣлу весьма спокойно.

— Что-жъ дѣлать!—сказала она, выслушавъ нервый разъ отчаянный разсказъ Женни. — Береги отца, вотъ все, что ты можешь сдѣлать, а горемъ ужъ ничему не поможешь.

Возвратясь въ деревню съ семьею, послѣ непродолжительнаго житья въ городѣ, Лиза опять измѣнилась. Ея глаза совсѣмъ выздоровѣли; она теперь не раздражалась, не сердилась и даже много меньше читала, но видимо сосредоточилась въ себѣ и не то, чтобы примирилась со всѣмъ ее окружающимъ, а какъ бы не замѣчала его вовсе. Въ Лизѣ обнаружился тонкій житейскій тактъ, котораго до сихъ поръ не было. Свои холодныя, даже презрительныя отношенія къ ежедневнымъ хлопотамъ и интересамъ всѣхъ окружающихъ ее людей она выдерживала ровно, съ невозмутимымъ спокойствіемъ, никому ни въ чемъ не попереча, никого ничѣмъ не задирая. Ольга Сергѣевна находила, что Лиза упрыгалась и начинаетъ браться за умъ. Сестры тоже были ею очень довольны. Она равнодушно выслушивала всѣ ихъ заявленія, ни въ чемъ почти не возражала и давала на все самые терпимые отвѣты. Къ отцу Лиза была очень нѣжна и внимательна, къ Женни тоже. Но какъ ни спокойна была собственная натура Женни, ее не удовлетворяла спокойная внимательность Лизы. Она ничего отъ нея не требовала, старалась избѣгать всякихъ разсужденій о ней, но чуяла сердцемъ, что происходитъ въ подругѣ, и нимало не радовалась ея видимому спокойствію.

Зина, Софи и Ольга Сергѣевна были все тѣ же. Зина не могла застегнуть лифа; ходила въ широкихъ блузахъ, необыкновенно шедшихъ къ ея высокой фигурѣ, и безпрестанно совѣщалась съ докторами и акушерами. Она готовилась быть матерью, но снова уѣхала отъ мужа и проживала въ Меревѣ. Софи тосковала до-нельзя; гусары выступили и въ деревнѣ шла жизнь, невыносимая для женщинъ, подобныхъ этой барышнѣ, безучастной ко всему, кромѣ болтовни и шума. Ольга Сергѣевна Богу молилась, кошекъ чесала, иногда раскладывала гранпасьянсъ и въ антрактахъ ныла. Чаще всего онѣ ныли втроемъ: Ольга Сергѣевна, Зина и Софи. Ныли онѣ обо всемъ: о предстоящихъ родахъ Зины, о грубости Егора Николаевича, объ отсутствіи жениховъ для Сони, о тоскѣ деревенской жизни и объ ехидствѣ прислуги, за которою никакъ не усмотришь. Объ Ипполитѣ Гловацкомъ онѣ не заныли, но по два раза воскликнули:

— Боже мой! Боже мой! — и успокоились на его счетъ.

Бахаревъ горячо принялъ къ сердцу горе своего пріятеля. Онъ сперва полетѣлъ къ нему, дергалъ усами, дымилъ безъ пощады, разводилъ врозь руки и говорилъ:

— Ты, того, Петруха... ты не этого... не падай духомъ. Все, братъ, надо переносить. У насъ въ полку тоже это случилось. У насъ разъ этого ротмистра разжаловали въ солдаты. Разжаловали, пять лѣтъ былъ въ солдатахъ, а потомъ отличился и опять пошелъ: теперь полиціймейстеромъ служитъ на Волгѣ; женился на нѣмкѣ и два дома собственные купилъ. Ты не огорчайся: мало ли что̀ въ молодости бываетъ!

Петра Лукича все это нисколько не утѣшало.

Бахаревъ поѣхалъ къ сестрѣ. Мать Агнія съ большимъ вниманіемъ и участіемъ выслушала всю исторію и глубоко вздохнула.

— Что̀ ты думаешь, сестра?—спросилъ Бахаревъ.

— Что-жъ тутъ думать: не минуетъ, бѣдняжка, красной шапки да ранца.

— Какъ бы помочь?

— Ничѣмъ тутъ не поможешь.

— Написать бы кому-нибудь.

— Ну, и что-жъ выйдетъ?

— Да все-таки...

— Ничего не сдѣлаешь, будетъ солдатомъ непремѣнно.

— Старика жаль.

— Да и его самого не меньше жаль: парень молодой.

— Онъ-то выслужится!

— Хоть и выслужится, а лучшіе годы пропали.

— Ты подумай, сестра, нельзя ли чего попробовать?

Игуменья скрестила на груди руки и задумалась.

— Тамъ кто теперь генералъ-губернаторомъ?—спросила она послѣ долгаго размышленія.

Бахаревъ назвалъ фамилію.

— Я съ его женой когда-то коротка была, да вѣдь это давно; она забыла ужъ, я думаю, что я и на свѣтѣ-то существую.

Вышла пауза.

— Попробуй, попроси,—сказалъ Бахаревъ.

— Да, я сама думаю такъ. Что-жъ: спытокъ—не убытокъ.

Игуменья медленно встала, вынула изъ комода зеленый бархатный портфель, достала листокъ бумаги, аккуратно сравняла его края и, подумавъ съ минутку, написала двѣ заглавныя строчки.

Бахаревъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ, стараясь ступать возможно тише, какъ волтижорскій и дрессированный конь, безпрестанно смотря на задумчивое лицо пишущей сестры.

Подстерегши, когда мать Агнія, дописавъ страничку, повертывала листокъ, опять тщательно сравнивая его уголышки и сглаживая сгибъ длиннымъ розовымъ ногтемъ, Бахаревъ остановился и сказалъ:

— Вѣдь, что публично-то все это надѣлали, вотъ что гадко.

— Да непублично этихъ дѣлъ и не дѣлаютъ,—спокойно отвѣчала игуменья.

— Положимъ, ну вздуй его, каналью, на конюшнѣ, ну, наконецъ, на улицѣ; а то въ такомъ зданіи!

Мать Агнія обмакнула перо и, снимая съ него приставшее волоконце, проговорила: —пословица есть, мой милый, что «дуракамъ и въ алтарѣ не спускаютъ», —и съ этимъ начала новую страницу.

— Ну, вотъ тебѣ и письмо,—посылай. Посмотримъ, что̀ выйдетъ,—говорила игуменья, подавая брату совсѣмъ готовый конвертъ.

— Хоть бы скорѣе одинъ конецъ былъ.

— Будетъ и конецъ.

Помада кипѣлъ и весь расходовался на споры, находя средства поддерживать ихъ даже съ Зиной и Софи, не представлявшими ему никакихъ возраженій.

— За идею, за идею,—шумѣлъ онъ.—Идею должно отстаивать. Ну, что-жъ дѣлать: ну, будетъ солдатъ! Что-жъ дѣлать? За идею права нельзя не стоять; нельзя себя беречь, когда идея права попирается. Отсюда выходитъ индифферентизмъ: самое вреднѣйшее общественное явленіе. Я этого не допускаю. Прежде *идея,* потомъ я, а не я выше моей *идеи.* Отсюда я долженъ лечь за мою идею, отсюда героизмъ, общественная возбужденность, горячее служеніе идеаламъ, отсюда торжество идеаловъ, торжество идей, царство правды!

Помадѣ, обыкновенно, никто не возражалъ въ Меревѣ.

Роль Помады въ домѣ камергерши нѣсколько измѣнилась. Лѣтнее его положеніе въ домѣ Бахаревыхъ не похоже было на его зимнее здѣшнее положеніе. Лизѣ не нравилось болѣе его неотступное служеніе идеѣ, которую кандидатъ воплотилъ для себя въ Лизѣ, и она его поставила на позицію. Кандидатъ служилъ, когда его призывали къ его службѣ, но уже не пажествовалъ за Лизой, какъ это было зимою, и опять нѣсколько возвратился къ болѣе спокойному состоянію духа, которое въ прежнія времена не оставляло его во весь лѣтній сезонъ, пока Бахаревы жили въ деревнѣ.

Новая встрѣча съ давно знакомыми женскими лицами подѣйствовала на него весьма успокоительно, но во снѣ онъ все-таки часто вздрагивалъ и отчаянно искалъ то костяной ножикъ Лизы, то ея носовой платокъ или подножную скамейку.

Многостороннія удобства Лизиной комнаты не совсѣмъ выручали одинъ ея весьма непріятный недостатокъ. Лѣтомъ въ ней съ девяти или даже съ восьми часовъ до четырехъ было до такой степени жарко, что жара этого рѣшительно невозможно было выносить.

Лиза въ это время никакъ не могла оставаться въ своей комнатѣ. Каждое утро, напившись чаю, она усаживалась на легкомъ плетеномъ стулѣ подъ окномъ залы, въ которую

до самаго вечера не входило солнце. Здѣсь Лизѣ не было особенно пріютно, потому что по залѣ часто проходили и сестры, и отецъ, и безпрестанно сновали слуги; но она привыкла къ этой бѣготнѣ и не обращала на нее ровно никакого вниманія. Лиза обыкновенно спокойно шила у открытаго окна и ее никто не отвлекалъ отъ работы. Развѣ отецъ иногда придетъ и выкуритъ возлѣ нея одну изъ своихъ безчисленныхъ трубокъ и при этомъ о чемъ-нибудь перемолвится; или няня подойдетъ да посмотритъ на ея работу и что-нибудь разскажетъ, впрочемъ, для собственнаго удовольствія. Юстинъ Помада являлся къ обѣду.

Лизу теперь бросило на работу: благо глаза хорошо служили. Она не покидала иголки цѣлый день и только вечеромъ гуляла и читала въ постели. Не только трудно было найти швею прилежнѣе ея, но далеко не всякая изъ швей могла сравниться съ нею и въ искусствѣ.

Отъ полотняной сорочки и батистовой кофты до скромнаго жаконетнаго платья и шелковой мантильи, на ней все было сшито ея собственными руками. Лиза съ жадностью училась работать у Неонилы Семеновны и работала, рукъ не покладывая и ни въ чемъ уже не уступая своей учительницѣ.

— Мастерица ты такая!—говорила Марина Абрамовна, разсматривая чистую строчку, которую гнала Лиза на отцовской рубашкѣ, безкорыстно помогая въ этой работѣ Неонилѣ Семеновнѣ.

— Вы, барышня, у насъ хлѣбъ скоро отобьете, — добавляла, любуясь тою же мастерской строчкою, Неонила Семеновна.

Лиза подъ окномъ въ залѣ шила себѣ сѣренькое платье изъ суроваго батиста; было утро знойнаго дня; со стола только-что убрали завтракъ, и въ залѣ было совершенно тихо.

Въ воздухѣ стоялъ страшный зной, мигавшій надъ полями трепещущею сѣткою. Озими налились и сочное зерно быстро крѣпло, распирая эластическую ячейку усатаго колоса. Съ деревенскаго выгона, отчаянно вскидывая спутанными передними ногами, прыгали крестьянскія лошади, отмахиваясь головами и хвостами отъ насѣдавшихъ на нихъ мухъ, оводовъ и слѣпней. Деревья, какъ разслабленныя, тяжело дремали, опустивъ свои размягченные жаромъ листья, и колосистая рожь стояла неподвижнымъ зелено-

бурымъ моремъ, изнемогая подъ невыносимымъ дыханіемъ лѣтняго бога, наблюдающаго своимъ жаркимъ глазомъ за спѣшною химическою работою въ его необъятной лабораторіи. Только одни листья прибрежныхъ водорослей, то многоугольные, какъ листья «мать и мачиха», то длинные и остроконечные, какъ у нѣкоторыхъ видовъ пустынной пальмы, лѣниво покачивались, роскошничая на мелкой ряби тихо бѣжавшей рѣчки. Остальное все было утомлено, все потеряло всякую бодрость и, говоря языкомъ поэтовъ: «просило вечера скорѣе у Бога».

Лиза вшила одну кость въ спину лифа и взглянула въ открытое окно. Въ тѣни дома, лежавшей темнымъ силуэтомъ на ярко освѣщенныхъ кустахъ и клумбахъ палисадника, подъ самымъ окномъ, растянулась Никитушкина Розка. Собака тяжело дышала, высунувъ свой длинный языкъ и безпрестанно отмахиваясь отъ докучливой мухи.

— Что, Розанька?—ласково проговорила Лиза, взглянувъ на смотрѣвшую ей въ глаза собаку: — жарко тебѣ? Пойди искупайся.

Собака подобрала языкъ, потянулась и, зѣвая, отвѣтила дѣвушкѣ протяжнымъ «аиаай».

Лиза вметала другую кость и опять подняла голову. Далеко-далеко за меревскимъ садомъ по дорогѣ завиднѣлась какая-то точка. Лиза опять поработала и опять взглянула на эту точку. Точка разрасталась во что-то въ родѣ экипажа. Видна стала городская, затяжная дуга и что-то бѣлѣлось; очевидно, это была не крестьянская телѣга. Еще нѣсколько минутъ, и все это скрылось за меревскимъ садомъ, но зато вскорѣ выкатилось на спускъ въ формѣ дрожекъ, на которыхъ сидѣла дама въ бѣломъ кашемировомъ бурнусѣ и соломенной шляпкѣ.

«Кто бы эта такая? — подумала Лиза. — Женни? Нѣтъ, это не Женни; и лошадь не ихъ, и у Женни нѣтъ бѣлаго бурнуса. Охота же ѣхать въ такую жару!» — подумала она и, не тревожа себя дальнѣйшими догадками, спокойно начала зашивать накрѣпко вметанную полоску китоваго уса.

За садовою рѣшеткою послышался тяжелый топотъ лошади, аккомпанируемый сухимъ стукомъ колесъ, и дрожки остановились у крыльца Бахаревскаго дома.

Розка было поднялась, залаяла, но тотчасъ же досадливо

махнула головою, протянула «аиаай», и снова улеглась подъ свѣсившуюся травку клумбы.

Въ залу вошелъ лакей. Онъ съ замѣшательствомъ тщательно заперъ за собою дверь изъ передней и пошелъ на цыпочкахъ къ коридору, но потомъ вдругъ повернулъ къ Лизѣ и, остановясь, тихо произнесъ:

— Какая-то дама пріѣхали.

— Какая дама?—спросила Лиза.

— Незнакомыя совсѣмъ.

— Кто жъ такая?

— Ничего не сказали; барина спрашиваютъ-съ, дѣло къ нимъ имѣютъ.

— Ну, такъ чего же ты мнѣ объ этомъ говоришь? Папа въ Зининой комнатѣ,—иди и доложи.

Лакей на цыпочкахъ снова направился къ коридору, а дверь изъ передней отворилась, въ залу взошла пріѣхавшая дама и сѣла на ближайшій стулъ.

Ни Лиза, ни пріѣзжая дама не сочли нужнымъ раскланяться. Дама, усѣвшись, тотчасъ опустила свою голову на руку, а Лиза спокойно взглянула на нее при ея входѣ и снова принялась за иголку.

Пріѣзжая дама была очень молода и недурна собою. Лизѣ казалось, что она ее когда-то видѣла и даже внимательно ее разсматривала, но гдѣ именно—этого она теперь никакъ не могла вспомнить.

По коридору раздались скорые и тяжелые шаги Бахарева, и вслѣдъ затѣмъ Егоръ Николаевичъ, въ бѣломъ кителѣ съ пышнымъ батистовымъ галстучкомъ подъ шеею, вступилъ въ залу.

Гостья приподнялась при его появленіи.

Эксъ-гусаръ подошелъ къ ней, вѣжливо поклонился и ожидалъ, что̀ она скажетъ.

Лиза спокойно шила.

Дама сначала какъ будто немного потерялась и не знала что̀ ей говорить, но тотчасъ же безсвязно начала:

— Я къ вамъ пріѣхала, какъ къ предводителю... Меня некому защитить отъ оскорбленій... У меня никого нѣтъ, и я все должна терпѣть... но я пойду всюду, а не позволю... я пойду пѣшкомъ въ Петербургъ, я скажу самому государю...

— Въ чемъ дѣло? въ чемъ дѣло?—спросилъ съ участіемъ предводитель.

— Мой мужъ... я его не охуждаю и не желаю ему вредить ни въ чьемъ мнѣніи, но онъ подлецъ, я это всегда скажу... я это скажу всѣмъ, передъ цѣлымъ свѣтомъ. Онъ, можетъ-быть, и хорошій человѣкъ, но онъ подлецъ... И нигдѣ нѣтъ защиты! нигдѣ защиты!

Дама заплакала, удерживая платкомъ рыданія.

— Успокойтесь; Бога-ради, успокойтесь,—говорилъ мягкій старикъ. — Разскажите спокойно: кто вы, о комъ вы говорите?

— Мой мужъ—Розановъ,—произнесла, всхлипывая, дама.

— Нашъ докторъ?

— Дддааа,—простонала дама снова.

Лиза взглянула на гостью и теперь ей хорошо припомнились расходившіяся изъ-за платка брови.

Услыхавъ имя Розанова, Лиза быстро встала и начала проворно убирать свою работу.

— Что жъ такое?—спрашивалъ, между тѣмъ, Бахаревъ.

— Онъ разбойникъ, у нихъ вся семья такая и мать его—всѣ они разбойники.

— Но что̀ я тутъ могу сдѣлать?

— Онъ меня мучитъ; я вся исхудала... мое дитя... онъ развратникъ, онъ меня... убьетъ меня.

— Позвольте; Бога-ради, успокойтесь прежде всего.

— Я не могу успокоиться.

Розанова опять закрылась и заплакала.

— Ну, сядьте, прошу васъ,—уговаривалъ ее Бахаревъ.

— Это какъ же... это невозможно... Вы предводитель, вѣдь непремѣнно должны быть разводы.

— Сядьте, прошу васъ,—успокаивалъ Бахаревъ.

По гостиной зашелестѣло шелковое платье; Лиза быстро дернула стулъ и сказала по-французски:

— Папа! да просите же къ себѣ въ кабинетъ.

— Нѣтъ, это все равно,—отозвалась Розанова:—я никого не боюсь, мнѣ нечего бояться, пусть всѣ знаютъ...

Лиза вышла и, встрѣтивъ въ гостиной Зину, сказала ей:

— Не ходи въ залу: тамъ папа занятъ.

— Съ кѣмъ?

— Тамъ съ дамой какой-то, — отвѣчала Лиза и прошла съ работою въ свою комнату.

Передъ обѣдомъ къ ней зашла Марина Абрамовна.

— Слышала ты, мать моя, камедь-то какая? — спросила старуха, опершись ладонями о Лизинъ рабочій столикъ.

— Какая?

— Дохторша-то! Экая шальная бабешка: на мужа-то чи-чи-чи такъ и стрекочитъ. А твоя маменька съ сестрицами, замѣстъ того, чтобъ съудержать глупую, еще съ нею финтифанты разсуждаютъ.

— Какъ, маменька съ сестрами? — спросила удивленная Лиза.

— Да какъ же: вѣдь она у маменьки на постели лежитъ. Шнуровку ей распустили, лодеколономъ брызгаютъ.

— Гм!

Лиза незамѣтно улыбнулась.

— Камедь! — повторила нараспѣвъ старуха, обтирая полотенцемъ губы, и на ея умномъ старческомъ лицѣ тоже мелькнула ироническая улыбка.

— Этакая аларма, право! — произнесла старуха, направляясь къ двери и, вздохнувъ, добавила: — наслалъ же Господь на такого простодушнаго барина, да этакого,— прости Господи,—чорта съ рогами.

Выйдя къ обѣду, Лиза застала въ залѣ всю семью. Тутъ же была и Ольга Александровна Розанова, и Юстинъ Помада.

Розанова сидѣла подъ окномъ, окруженная Ольгой Сергѣевной и Софи. Передъ ними стоялъ, держа сзади фуражку, Помада, а Зина, съ многозначительной миной на лицѣ, тревожно ходила взадъ и впередъ по залѣ.

— Лиза! madame Розанова, очень пріятное знакомство,— проговорила Ольга Сергѣевна вошедшей дочери. — Это моя младшая дочь,—отнеслась она къ Ольгѣ Александровнѣ.

— Очень пріятно познакомиться,—проговорила Розанова съ сладкой улыбкой и тѣмъ самымъ тономъ, которымъ, по нашему соображенію, хорошая актриса должна исполнять главную роль въ пьесѣ: «Въ людяхъ ангелъ—не жена».

Лиза поклонилась молча и, подавъ мимоходомъ руку Помадѣ, стала у другого окна.

Все существо кандидата выражало полнѣйшую растерянность и смущеніе. Онъ никакъ не могъ разгадать причину внезапнаго появленія Розановой въ Бахаревскомъ домѣ.

— Когда жъ Дмитрій Петровичъ возвратился?—разспрашивалъ онъ Ольгу Александровну.

— Третьяго дня, — отвѣчала она тѣмъ же ласковымъ голосомъ изъ пьесы: «Въ людяхъ ангелъ».

— Какъ онъ только живъ съ его перелетами, — сочувственно отозвался Помада.

— О-о! онъ очень здоровъ, ему это ничего не значитъ,— отвѣчала Розанова тѣмъ же нѣжнымъ голосомъ, но съ особымъ оттѣнкомъ.

Лиза полуоборотомъ головы взглянула на собранный ротикъ и разлетающіяся бровки докторши и снова отвернулась.

— Ему, я думаю, еще веселѣе въ разъѣздахъ,—простонала Ольга Сергѣевна.

— Натура сносливая, — шутя замѣтилъ простодушный Помада.—Вода у нихъ на Волгѣ,—этакой все народъ здоровый, крѣпкій, смышленый.

— Разбойники эти поволжцы, — проговорила Ольга Александровна съ такой веселой и нѣжной улыбкой, какъ будто съ ней ничего не было и какъ будто она высказывала какую-то ласку мужу и его землякамъ.

— Нѣтъ-съ, — талантливый народъ, преталантливый народъ: сколько оттуда у насъ писателей, артистовъ, ученыхъ! Преталантливый край!—расписывалъ Помада.

Подали горячее и сѣли за столъ. За обѣдомъ Ольга Александровна совсѣмъ развеселилась и подтрунивала вмѣстѣ съ Софи надъ Помадою, который, однако, очень находчиво защищался.

— Какъ пріѣхала сюда Розанова? — спросилъ онъ, подойдя послѣ обѣда къ Лизѣ.

— Не знаю,—отвѣтила Лиза и ушла въ свою комнату.

— Няня, разскажи ты мнѣ, какъ къ вамъ Розанова пріѣхала?—отнесся Помада къ Абрамовнѣ.

— На мужа, батюшка, барину жалобу произносила. Что же хорошей дамѣ и дѣлать, какъ не на мужа жаловаться?— отвѣчала старуха.

— Ну, а съ Ольгой Сергѣевной какъ же она познакомилась?

— Дурноты да перхоты разныя приключились у барина въ кабинетѣ, ну, и сбѣжались всѣ.

— И Лизавета Егоровна?

— Эта чохъ-мохъ-то не любитъ. Да она про то-жъ, спасибо, и не слыхала.

Немного спустя послѣ обѣда, Лизу попросили въ угольную кушать ягоды и дыню.

Все общество здѣсь снова было въ сборѣ, кромѣ Егора Николаевича, который, по славянскому обычаю, пошелъ къ себѣ всхрапнуть на диванѣ.

Десертъ стоялъ на большомъ столѣ, за которымъ на угольномъ диванѣ сидѣла Ольга Сергѣевна, выбирая булавкой зрѣлыя ягоды малины; Зина, Софи и Розанова сидѣли въ углу за маленькимъ столикомъ, на которомъ стояла чепечная подставка. Помада сидѣлъ поодаль, ближе къ гостиной, и ѣлъ дыню.

Около Розановой стояла тарелка съ фруктами, но она къ нимъ не касалась. Ея пальцы быстро собирали рюшъ, ловко группировали его съ мелкими цвѣточками и приметывали все это къ висѣвшей на подставкѣ наколкѣ.

— Какъ мило!—стонала Ольга Сергѣевна, глядя на работу Розановой и сминая въ губахъ ягодку малины.

— Очень мило!—восклицала томно Зина.

— Все такъ сэмпль, это вамъ будетъ къ лицу, maman,— утверждала Софи.

— Да, я люблю сэмпль.

— Теперь все дѣлаютъ сэмпль — это гораздо лучше,— замѣтила Ольга Александровна.

Лиза сидѣла противъ Помады и съ напряженнымъ вниманіемъ смотрѣла черезъ его плечо на непріятный ротъ докторши съ бѣленькими, дробными мышиными зубками и на ея брови, разлетающіяся къ вискамъ, какъ крылья копчика, отчего этотъ лобъ получалъ какую-то странную форму, не безобразную, но весьма непріятную для каждаго привыкшаго искать на лицѣ человѣка чертъ, болѣе или менѣе выражающихъ содержаніе внутренняго міра.

— Я вамъ говорю, что у меня тоже есть свой талантъ,— весело произнесла докторша.

Затѣмъ она встала и, подойдя къ Ольгѣ Сергѣевнѣ, начала примѣривать на нее наколку.

— Мило!

— Очень мило!

— Очень мило!—раздавалось со всѣхъ сторонъ.

— Я думаю завести мастерскую.

— Что-жъ, прекрасно будетъ, — отвѣчала Ольга Сергѣевна.

— Никакой трудъ не постыденъ.

— Разумѣется.

— Третьяго дня, — отвѣчала она тѣмъ же ласковымъ голосомъ изъ пьесы: «Въ людяхъ ангелъ».

— Какъ онъ только живъ съ его перелетами, — сочувственно отозвался Помада.

— О-о! онъ очень здоровъ, ему это ничего не значитъ,— отвѣчала Розанова тѣмъ же нѣжнымъ голосомъ, но съ особымъ оттѣнкомъ.

Лиза полуоборотомъ головы взглянула на собранный ротикъ и разлетающіяся бровки докторши и снова отвернулась.

— Ему, я думаю, еще веселѣе въ разъѣздахъ,—простонала Ольга Сергѣевна.

— Натура сносливая, — шутя замѣтилъ простодушный Помада.—Вода у нихъ на Волгѣ,—этакой все народъ здоровый, крѣпкій, смышленый.

— Разбойники эти поволжцы, — проговорила Ольга Александровна съ такой веселой и нѣжной улыбкой, какъ будто съ ней ничего не было и какъ будто она высказывала какую-то ласку мужу и его землякамъ.

— Нѣтъ-съ, — талантливый народъ, преталантливый народъ: сколько оттуда у насъ писателей, артистовъ, ученыхъ! Преталантливый край!—расписывалъ Помада.

Подали горячее и сѣли за столъ. За обѣдомъ Ольга Александровна совсѣмъ развеселилась и подтрунивала вмѣстѣ съ Софи надъ Помадою, который, однако, очень находчиво защищался.

— Какъ пріѣхала сюда Розанова? — спросилъ онъ, подойдя послѣ обѣда къ Лизѣ.

— Не знаю,—отвѣтила Лиза и ушла въ свою комнату.

— Няня, разскажи ты мнѣ, какъ къ вамъ Розанова пріѣхала?—отнесся Помада къ Абрамовнѣ.

— На мужа, батюшка, барину жалобу произносила. Что же хорошей дамѣ и дѣлать, какъ не на мужа жаловаться?— отвѣчала старуха.

— Ну, а съ Ольгой Сергѣевной какъ же она познакомилась?

— Дурноты да перхоты разныя приключились у барина въ кабинетѣ, ну, и сбѣжались всѣ.

— И Лизавета Егоровна?

— Эта чохъ-мохъ-то не любитъ. Да она про то-жъ, спасибо, и не слыхала.

Немного спустя послѣ обѣда, Лизу попросили въ угольную кушать ягоды и дыню.

Все общество здѣсь снова было въ сборѣ, кромѣ Егора Николаевича, который, по славянскому обычаю, пошелъ къ себѣ всхрапнуть на диванѣ.

Десертъ стоялъ на большомъ столѣ, за которымъ на угольномъ диванѣ сидѣла Ольга Сергѣевна, выбирая булавкой зрѣлыя ягоды малины; Зина, Софи и Розанова сидѣли въ углу за маленькимъ столикомъ, на которомъ стояла чепечная подставка. Помада сидѣлъ поодаль, ближе къ гостиной, и ѣлъ дыню.

Около Розановой стояла тарелка съ фруктами, но она къ нимъ не касалась. Ея пальцы быстро собирали рюшъ, ловко группировали его съ мелкими цвѣточками и приметывали все это къ висѣвшей на подставкѣ наколкѣ.

— Какъ мило!—стонала Ольга Сергѣевна, глядя на работу Розановой и сминая въ губахъ ягодку малины.

— Очень мило!—восклицала томно Зина.

— Все такъ сэмпль, это вамъ будетъ къ лицу, maman,— утверждала Софи.

— Да, я люблю сэмпль.

— Теперь все дѣлаютъ сэмпль — это гораздо лучше,— замѣтила Ольга Александровна.

Лиза сидѣла противъ Помады и съ напряженнымъ вниманіемъ смотрѣла черезъ его плечо на непріятный ротъ докторши съ бѣленькими, дробными мышиными зубками и на ея брови, разлетающіяся къ вискамъ, какъ крылья копчика, отчего этотъ лобъ получалъ какую-то странную форму, не безобразную, но весьма непріятную для каждаго привыкшаго искать на лицѣ человѣка чертъ, болѣе или менѣе выражающихъ содержаніе внутренняго міра.

— Я вамъ говорю, что у меня тоже есть свой талантъ,— весело произнесла докторша.

Затѣмъ она встала и, подойдя къ Ольгѣ Сергѣевнѣ, начала примѣривать на нее наколку.

— Мило!

— Очень мило!

— Очень мило!—раздавалось со всѣхъ сторонъ.

— Я думаю завести мастерскую.

— Что-жъ, прекрасно будетъ, — отвѣчала Ольга Сергѣевна.

— Никакой трудъ не постыденъ.

— Разумѣется.

— Кто жъ будетъ покупать ваши произведенія? — вмѣшался Помада.

— Кому нужно, — отвѣчала съ веселой улыбкой Ольга Александровна.

— Всѣ изъ губернскаго города выписываютъ.

— Я стану работать дешевле.

— Вставать надо рано.

— Буду вставать.

— Не будете.

— О, не безпокойтесь, буду. Работа займетъ.

— Чего жъ вы теперь не встаете?

— Вы не понимаете, Юстинъ Феликсовичъ: тогда у нея будетъ свое дѣло, она будетъ и знать для чего трудиться. А теперь на что же Ольгѣ Александровнѣ?

— Развѣ докторъ и дочь не ея дѣло? — спокойно, рѣзко замѣтилъ Помада.

Ему никто ничего не отвѣтилъ, но Ольга Сергѣевна, помолчавъ, протянула:

— Всякій трудъ почтененъ, всякій трудъ заслуживаетъ похвалы и поощренія и не унижаетъ человѣка.

Ольга Сергѣевна произнесла это, не ожидая ни откуда никакого возраженія, но, къ величайшему удивленію, Помада вдругъ, не въ бровь, а прямо въ глазъ, бухнулъ:

— Это разсуждать, Ольга Сергѣевна, такъ отлично, а сами вы модистку въ гости не позовете и за столъ не посадите.

Это возраженіе сильно не понравилось матери, двумъ дочерямъ и гостьѣ, но зато Лиза взглянула на Помаду ободряющимъ и удивленнымъ взглядомъ, въ которомъ въ одно и то же время выражалось: «вотъ какъ ты нынче!» и «валяй, братъ, валяй ихъ смѣлѣе!»

Но этотъ взглядъ былъ такъ быстръ, что его не замѣтилъ ни Помада, ни кто другой.

— Мнѣ пора ѣхать,—послѣ нѣкоторой паузы проговорила Розанова.

— Куда же вы? Напейтесь у насъ чаю,—остановили ее Зина и Ольга Сергѣевна.

— Нѣтъ, пора: меня ждетъ...—Ольга Александровна картинно вздохнула и досказала:—меня ждетъ мой ребенокъ.

— А то остались бы. Мы поѣхали бы на озеро: тамъ есть лодка, покатались бы.

— Ахъ, я очень люблю воду! — воскликнула Ольга Александровна.

Въ концѣ концовъ Розанова уступила милымъ просьбамъ и на конюшню послали приказаніе готовить долгуши.

Лиза тихо вышла и, пройдя черезъ гостиную и залу, вошла въ кабинетъ отца.

— Вы спите, папа! Пора вставать,—сказала она, направляясь поднять штору.

Бахаревъ спалъ въ одномъ жилетѣ, закрывъ свое лицо отъ мухъ синимъ фуляромъ.

— Что, мой другъ? — спросилъ онъ, сбрасывая съ лица платокъ.

— Я хочу васъ о чемъ-то просить, папа.

— О чемъ, Лизочка?

— Не вмѣшивайтесь вы въ это дѣло.

— Въ какое дѣло?

— Да вотъ въ эту жалобу.

— Охъ, и не говори! Самому мнѣ смерть это непріятно.

— И не мѣшайтесь.

— Онъ такой милый; всѣ мы его любимъ; всегда онъ готовъ на всякую услугу, и за тобой онъ ухаживалъ, а тутъ вдругъ налетѣла, та-та-та, и вотъ тебѣ цѣлая вещь.

— Не мѣшайтесь, папа, не мѣшайтесь.

— Разумѣется. Семейное дѣло, вспышка женская. Она какая-то взбалмошная.

— Она дрянь,—сказала Лиза съ презрительной гримасой.

— Ну-у, ужъ ты — вторая тетушка Агнесса Николаевна! Гдѣ она, Розанова-то?

— Въ рощу ѣдетъ, по озеру кататься.

— Въ рощу-у?

— Да.

Старикъ расхохотался неудержимымъ хохотомъ и закашлялся.

Лиза не поѣхала на озеро и Бахаревъ тоже. Ѣздили однѣ дамы съ Помадой и возвратились очень скоро.

Сумерками Розанова, уѣзжая, перецѣловала всѣхъ совершенно фамильярно. Съ тою же теплотою она обратилась было и къ Лизѣ, но та холодно отвѣтила ей: «прощайте» и сдѣлала два шага въ сторону.

Прощаясь съ Бахаревымъ, Розанова не возобновила никакой просьбы, а старикъ, шаркнувъ ей у двери, сказалъ:

— Кланяйтесь, пожалуйста, отъ меня вашему мужу,— и, возвратясь въ залъ, опять залился веселымъ хохотомъ.

— Чего это? чего это? — съ недовольной миной спрашивала Ольга Сергѣевна, а Бахаревъ такъ и закатывался.

Лиза понимала этотъ хохотъ.

— Бѣдный Дмитрій Петровичъ!—говорилъ Помада, ходя съ Лизою передъ ужиномъ по палисаднику. — Каково ему это выносить! Каково это выносить, Лизавета Егоровна! Скандалъ! срамъ! сплетни! Жена родная, жена жалуется! Каково! вѣдь это надо имѣть мѣдный лобъ, чтобы еще жить на свѣтѣ.

— И чего она хотѣла!

— Да вотъ пожаловаться хотѣла. Она завтра проспитъ до полудня и все съ нея, какъ съ гуся вода. А онъ? Онъ, вѣдь, теперь...

— Что онъ сдѣлаетъ?

— Запьетъ!—произнесъ Помада, отворачиваясь и смигивая слезу, предательски выбѣжавшую на его сѣрыя совиныя вѣки.

Лиза откинула пальцемъ свои кудри и ничего не отвѣчала.

— Туда же къ государю! Всякую этакую шушвару-то такъ тебѣ предъ государя и представятъ, — ворчала Абрамовна, раздѣвая Лизу и непомѣрно раздражаясь на докторшу.—Вѣдь этакая прыть! «Къ самому царю доступлю». Только ему, царю-то нашему, и дѣла, что васъ, пигалицъ этакихъ, съ мужьями разбирать.

Лиза разсмѣялась.

— Коза драная; право, что коза, — бормотала старуха, крестя барышню и уходя за двери.

Дня черезъ четыре послѣ описаннаго происшествія Помада нашелъ случай съѣздить въ городъ.

— Все это такъ и есть, какъ я предполагалъ,—разсказывалъ онъ, вспрыгнувъ на фундаментъ передъ окномъ, у котораго работала Лиза: — эта сумасшедшая орала, бѣсновалась, хотѣла бѣжать въ одной рубашкѣ по городу къ отцу, а онъ ее удержалъ. Она выбѣжала на дворъ кричать, — а онъ ей зажалъ рукой ротъ, да впихнулъ назадъ въ комнаты, чтобы люди у воротъ не останавливались: только всего и было.

— Почему-жъ это вы сочли долгомъ тотчасъ же сообщить мнѣ эти подробности?—спросила холодно Лиза.

— Я такъ разсказалъ,—отвѣчалъ сконфузясь Помада и, спрыгнувъ съ фундамента, исчезъ за кустами палисадника.

— Папа! дайте мнѣ лошадку съѣздить къ Женни,—сказала Лиза черезъ недѣлю послѣ Помадинаго доклада.

Ей запрягли кабріолетъ, она сѣла въ него съ Помадою, вмѣсто грума, и поѣхала.

На дворѣ былъ въ началѣ десятый часъ утра. День стоялъ суровый: ни грозою, ни дождемъ не пахло и тучъ на небѣ не бѣло, но кругомъ все было сѣро и тянуло холодомъ. Народъ говорилъ, что непремѣнно гдѣ-де-нибудь недалеко градъ выпалъ.

На хорошей лошади отъ Мерева до уѣзднаго города было всего часъ ѣзды, особенно холодкомъ, когда лошадь не донимаетъ ни муха, ни разслабляющій припекъ солнца.

Лиза проѣхала всю дорогу, не сказавъ съ Помадою ни одного слова. Она вообще не была въ расположеніи духа, и въ сѣромъ воздухѣ, нагнетенномъ низко ползущимъ небомъ, было много чего-то такого, что непріятно дѣйствовало на окисленіе крови и дѣлало человѣка способнымъ легко тревожиться и раздражаться.

Съ пьяными людьми часто случается, что, идучи домой, единымъ Божіимъ милосердіемъ хранимы, въ одномъ какомъ-нибудь расположеніи духа, они помнятъ откуда они идутъ, а взявшись за ручку двери, неожиданно впадаютъ въ совершенно другое настроеніе, или вовсе теряютъ понятіе о всемъ, что̀ было съ ними прежде, чѣмъ они оперлись на знакомую дверную ручку. Съ трезвыми людьми происходитъ тоже что-то въ родѣ этого. До двери идетъ одинъ человѣкъ, а въ дверь ни съ того, ни съ сего войдетъ другой.

Въѣхавъ на училищный дворъ и бросивъ Помадѣ вожжи, Лиза бодро вбѣжала на крылечко, которымъ входили въ кухню Гловацкихъ.

Лиза съ перваго визита всегда входила къ Гловацкимъ чрезъ эти двери, и теперь она отперла ихъ безъ всякаго расположенія молчать и супиться, какъ во время всей дороги.

Переступивъ черезъ порогъ небольшихъ, но очень чистыхъ и очень свѣтлыхъ дощатыхъ сѣней, Лиза остановилась въ недоумѣніи.

Посреди сѣней, между двухъ оконъ стояла Женни, одѣтая въ мундиръ штатнаго смотрителя. Довольно полинявшій голубой бархатный воротникъ сидѣлъ хомутомъ на ея бѣленькой шейкѣ, а слежавшіяся отъ долгаго неупотребленія фалды далеко разбѣгались спереди и пресмѣшно растягивались сзади на довольно полной юбкѣ платья. Въ рукахъ Женни держала треугольную шляпу и тщательно водила по ней горячимъ утюгомъ, а возлѣ нея, на доскѣ, закрывавшей кадку съ водою, лежала шпага.

— Что это такое?—спросила, смѣясь, Лиза.

— Ахъ, Лиза, душка моя! Вотъ кстати-то пріѣхала,— вскрикнула Женни и, обнявъ подругу, придавила ей ухо мѣдною пуговицею мундирнаго обшлага.

— Что это такое?—переспросила снова Лиза, осматривая Гловацкую.

— Что?

— Да зачѣмъ ты въ мундирѣ? На службу, что ли, поступаешь?

— Ахъ, объ этомъ-то! Я держу Пелагеѣ мундиръ, чтобъ ей было ловчѣе чистить.

Тутъ Лиза увидѣла Пелагею, которая, стоя на колѣняхъ сзади Гловацкой, ревностно отскребала ногтемъ какое-то пятно, лѣтъ пять тому назадъ попавшее на конецъ фалды мундира Петра Лукича.

— Ты вѣдь не знаешь, какая у насъ тревога!—продолжала Гловацкая, стоя попрежнему въ отцовскомъ мундирѣ и снова принявшись за утюгъ и шляпу, положенные на время при встрѣчѣ съ Лизой:—сегодня, всего съ часъ назадъ, пріѣхалъ чиновникъ изъ округа отъ попечителя,—ревизовать будетъ. И папа, и учители всѣ въ такой суматохѣ, а Яковлевича взяли на парадномъ подъѣздѣ стоять. Говорятъ, скоро будетъ въ училищѣ. Папа тамъ все хлопочетъ и боленъ еще... такъ непріятно, право!

— А-у,—такъ вотъ это что!

Въ сѣни вошелъ Помада.

— Евгенія Петровна! Что это?! — воскликнулъ онъ; но прежде чѣмъ ему кто-нибудь отвѣтилъ, изъ кухни выбѣжалъ Петръ Лукичъ въ бѣломъ жилетѣ съ торчавшею сбоку рыжею портупеею.

— Мундиръ, мундиръ! давай, давай, Женюшка, ужъ некогда чиститься. Ахъ, Лизанька, извините, другъ мой, что

я въ такомъ видѣ. Бѣгаю по дому, а вы вонъ куда зашли... поди тутъ. Эхъ, Женни, да давай, матушка, что ли!

Пока Женни сняла съ себя мундиръ, отецъ надѣлъ треуголку и засунулъ шпагу, но, надѣвъ мундиръ, почувствовалъ, что эфесу шпаги неудобно находиться подъ полою, снова выдернулъ это смертоносное орудіе и, держа его въ лѣвой рукѣ, побѣжалъ въ училище.

— Пойдемъ, Лиза, я тебя напою шоколадомъ: я давно берегу для тебя палочку; у меня нынче есть отличныя сливки,—сказала Женни, и онѣ пошли въ ея комнату, между тѣмъ какъ Помада юркнулъ за двери и исчезъ за ними.

Черезъ пять минутъ онъ явился въ комнату Евгеніи Петровны, гдѣ сидѣла одна Лиза, и, наклонясь къ ней, прошепталъ:

— «Статскій совѣтникъ Сафьяносъ».

— Что такое-е? — съ удареніемъ и наморщивъ бровки спросила Лиза своимъ обыкновеннымъ голосомъ.

— Статскій совѣтникъ Сафьяносъ, — опять еще тише прошепталъ Помада.

— Что же это такое? Пароль или лозунгъ такой?

Помада откашлянулся, закрывъ ладонью ротъ, и отвѣчалъ:

— Это ревизоръ.

— Фу, Боже мой, какой вы шутъ, Помада!

Кандидатъ опять кашлянулъ, заслоняя ладонью ротъ, и, увидя Евгенію Петровну, входящую съ чашкою шоколада въ рукахъ, произнесъ гораздо громче:—Статскій совѣтникъ Сафьяносъ.

— Кто это?—спросила, остановясь, Женни.

— Этотъ чиновникъ: онъ только проѣздомъ здѣсь; онъ будетъ ревизовать гимназію, а здѣсь такъ только проѣздомъ посмотритъ,—отвѣчалъ Помада.

Гловацкая, подавъ Лизѣ сухари, исправлявшіе должность бисквитовъ, принесла шоколаду себѣ и Помадѣ. Въ комнатѣ началась сперва бесѣда о томъ, о семъ и ни о чемъ, а потомъ о докторѣ. Но лишь только Женни успѣла сказать Лизѣ: «да, это очень гадкая исторія!»—въ комнату вбѣжалъ Петръ Лукичъ, попрежнему держа въ одной рукѣ шпагу, а въ другой шляпу.

— Женни! обѣдъ, обѣдъ!—сказалъ онъ, запыхавшись.

— Еще не готовъ обѣдъ, папа; рано еще, — отвѣчала Женни, ставя торопливо свою чашку.

— Ахъ, Боже мой! Что̀ ты это на смѣхъ, что ли, Женни? Я тебѣ говорю, чтобъ былъ хорошій обѣдъ, что ревизоръ у насъ будетъ обѣдать, а ты толкуешь, что не готовъ обѣдъ. Эхъ, право!

— Хорошо, хорошо, папа, я не поняла.

— То-то «не поняла». Есть когда разсказывать.

Смотритель опрометью бросился изъ дома.

— Боже мой! что̀ я дамъ имъ обѣдать? Когда теперь готовить?—говорила Женни, находясь въ затруднительномъ положеніи дочери, желающей угодить отцу, и хозяйки, обязанной не ударить лицомъ въ грязь.

— Женни! Женни! — кричалъ снова вернувшійся съ крыльца смотритель:—пошли кого-нибудь... да и послать-то некого... Ну, сама сходи скорѣе къ Никону Родивонычу въ лавку, возьми вина... разнаго вина и получше: каркавелло, хересу, кагору бутылочки двѣ и того... полушампанскаго... Или, чортъ знаетъ ужъ, возьми шампанскаго. Да сыру, сыру, пожалуйста, возьми. Они сыръ любятъ. Возьми швейцарскаго, а не голландскаго, хорошаго, поноздреватѣе который бери, да чтобы слезы въ ноздряхъ-то были. Съ слезой, непремѣнно съ слезой.

— Хорошо, папа, сейчасъ пойду. Вы только не безпокойтесь.

— Да... да того... что это, бишь, я хотѣлъ сказать?.. Да! изъ приходскаго-то училища учителя вели позвать, только чтобы одѣлся онъ.

— Онъ рыбу пошелъ удить, я его встрѣтилъ,—проговорилъ Помада.

— Рыбу удить! О, Господи! что̀ это за человѣкъ такой! Ну, хоть отца дьякона: онъ все-таки еще законоучитель. Сбѣгайте къ нему, Юстинъ Феликсовичъ.

— А того... Что, бишь, я тоже хотѣлъ?.. Да! Женичка! А Зарницынъ-то хорошъ? Нѣту, всякій понедѣльникъ его нѣту, съ самой весны зарядилъ. О, Боже мой! что̀ это за люди!

Петръ Лукичъ бросился въ залу, заправляя въ десятый разъ свою шпагу въ портупею. Шпага не лѣзла въ свернувшуюся мочку. Петръ Лукичъ сдѣлалъ усиліе, и кожаная мочка портупеи шлепнулась на полъ. Смотритель отчаянно крикнулъ:

— Эхъ, Женни! тоже осматривала!..—швырнулъ на полъ шпагу и выбѣжалъ за двери безъ оружія.

Какъ только смотритель вышелъ за двери, Лиза расхохоталась и сказала:

— Проклятый купчишка Абдулинъ! Не видитъ, что у городничаго старая шпага!

Женни тоже было засмѣялась, но при этомъ сравненіи, хотя сказанномъ безъ злого умысла, но не совсѣмъ кстати, сдѣлалась серьезною и незамѣтно подавила тихій дѣвичій вздохъ.

Лиза прочитала болѣе десяти печатныхъ листовъ журнала, прежде чѣмъ раскраснѣвшаяся отъ стоянія у плиты Женни вошла и сказала:

— Ну, слава Богу: все будетъ въ порядкѣ.

Помада объявилъ, что будетъ и дьяконъ, и докторъ, котораго онъ пригласилъ по желанію Женни.

Въ четыре часа въ передней послышался шумъ. Это входили Гловацкій, Саренко, Вязмитиновъ и Сафьяносъ.

— Пузаносто, пузаносто, не безпокойтесь пузаносто,— раздался изъ передней незнакомый голосъ.

Женни вышла въ залу и стала какъ хозяйка.

Входилъ невысокій, толстенькій человѣкъ, лѣтъ пятидесяти, съ орлинымъ носомъ, черными глазами и кухмистерской рожей.

Вообще грекъ по всѣмъ правиламъ греческой механики и архитектуры. Одѣтъ онъ былъ въ мундирный фракъ министерства народнаго просвѣщенія.

Это былъ ревизоръ, статскій совѣтникъ Апостолъ Асигкритовичъ Сафьяносъ. За нимъ шелъ самъ хозяинъ, потомъ Вязмитиновъ, потомъ дьяконъ Александровскій въ новой рясѣ съ необъятными рукавами и потомъ уже сзади всѣхъ учитель Саренко.

Саренкѣ было на видъ за пятьдесятъ лѣтъ; онъ былъ какая-то глыба грязнаго снѣга, въ которой ничего нельзя было разобрать. Самъ онъ былъ великъ и толстъ, но лицо у него казалось еще болѣе всего туловища. Съ полъ-аршина длины было это лицо, при столь же соразмѣрной ширинѣ, но не было на немъ ни слѣда мысли, ни знака жизни. Свиные глазки тонули въ немъ, ничего не выражая, и самою замѣчательною особенностію этой головы была ея странная растительность. Ни на вискахъ, ни на темени у Саренки не было ни одной волосинки и только изъ-подъ воротника по затылку откуда-то выползала довольно черная косица,

которую педагогъ разстилалъ по всей головѣ и въ видѣ лавроваго вѣнка соединялъ ея концы надъ низенькимъ лбомъ. Кто-то распустилъ слухъ, что эта косица вовсе не имѣетъ своего начала въ головѣ Саренки, но что у него есть очень хорошій, густой хвостъ, который педагогъ укладываетъ кверху вдоль своей спины и конецъ его выпускаетъ подъ воротникъ и разстилаетъ по черепу. Многіе очень серьезно вѣрили этому довольно сомнительному сказанію и разспрашивали цырюльника Козлова о всѣхъ подробностяхъ Саренкинаго хвоста.

Итакъ, гости вошли, и Петръ Лукичъ представилъ Сафьяносу дочь, причемъ тотъ не по чину съежился, и, взглянувъ на роскошный бюстъ Женни, сжалъ кулаки и засосалъ по-гречески губу.

— Оцэнь радъ, цто случай позволяетъ мнэ имѣть такое знакомство, — заговорилъ Сафьяносъ.

Женни вскорѣ вышла и вслѣдъ затѣмъ подали холодную закуску, состоявшую изъ полотка, ветчины, редиски и сыра съ слезами въ ноздряхъ.

— Пожалуйте, ваше превосходительство! — просилъ Гловацкій.

— Мозно! мозно, адмиральтэйскій цасъ ударилъ.

— Давно ударилъ, ваше превосходительство, — бойко отвѣчалъ своимъ бархатнымъ басомъ развязный Александровскій.

— Вы какую кушаете, ваше превосходительство?—спрашивалъ тихимъ, покорнымъ голосомъ Саренко, держа въ рукахъ графинчикъ.

— Зтуо это такое?

— Это рябиновая,—такъ же отвѣчалъ Саренко.

— Нэтъ, я не пью рябиновая.

— Нехороша, ваше превосходительство, — еще покорнѣе разсуждалъ Саренко: — точно, водка она безвредная, но не во всякое время, и, поставивъ графинъ съ рябиновой, взялся за другой.

— Рябиновая слабитъ, — замѣтилъ басомъ Александровскій: — а вотъ мятная, та крѣпитъ, и калгановка тоже крѣпитъ.

— Это справедливо, — точно высказывая государственный секретъ, замѣтилъ опять Саренко, наливая рюмку его превосходительству.

Когда Лиза съ Женни вышли къ парадно-накрытому въ залѣ столу, мужчины уже значительно повеселѣли.

Кромѣ лицъ, вошедшихъ въ домъ Гловацкаго вслѣдъ за Сафьяносомъ, теперь въ залѣ былъ Розановъ. Онъ былъ въ довольно поношенномъ, но ловко сшитомъ форменномъ фракѣ, тщательно выбритый и причесанный, но очень странный. Смирно и потерянно, какъ семинаристъ въ помѣщичьемъ домѣ, стоялъ онъ, скрестивъ на груди руки, у одного окна залы, и по лицу его то тамъ, то сямъ безпрестанно проступали пятна.

Женни подошла къ нему и съ участіемъ протянула свою руку. Докторъ неловко схватилъ и крѣпко пожалъ ея руку, еще неловче поклонился ей передъ самымъ носомъ, и красныя пятна еще сильнѣе забѣгали по его лицу.

Лиза ему очень сухо поклонилась, держа передъ собою стулъ.

Отвѣчая на этотъ сухой поклонъ, докторъ побагровѣлъ всплошную.

Сѣли за столъ.

Женни сѣла въ концѣ стола, Петръ Лукичъ на другомъ. Съ правой стороны Женни помѣстился Сафьяносъ, а за нимъ Лиза.

— Между двухъ прекрасныхъ розъ,—проговорилъ Сафьяносъ, разстилая на колѣняхъ салфетку и стараясь опредѣлить пріятность своего положенія между дѣвушками.

Женни, наливая тарелку супу, струсила, чтобы Лиза не отозвалась на эту любезность словомъ, неотвѣчающимъ обстоятельствамъ, и взглянула на нее со страхомъ, но опасенія ея были совершенно напрасны.

Лиза съ веселой улыбкой приняла изъ рукъ Сафьяноса переданную ей тарелку и ласково сказала: merci.

— Я много слисалъ о васемъ папинькѣ,—началъ, обращаясь къ ней, Сафьяносъ:—они много заботятся о просвисеніи и завтра непремѣнно хоцу къ нимъ визитъ сдѣлать.

— Папа теперь дома,—отвѣчала Лиза, и разговоръ нѣсколько времени шелъ въ этомъ тонѣ.

Однако, Сафьяносъ, сидя между двумя розами, не забылъ удостоить своимъ вниманіемъ и подчиненныхъ.

— Оцэнь созалѣю, оцэнь созалѣю, отецъ дьяконъ, цто вы оставляетэ уцилиссе, — отнесся онъ къ Александровскому.—Хуць минэ некогда било смотрѣть самому, ну, насъ

почтенный хозяинъ рекомэндуетъ васъ съ самой лестной стороны.

— Да, покидаю, покидаю. Линія такая подошла, ваше превосходительство, — отвѣчалъ дьяконъ съ развязностью русскаго человѣка передъ сильнымъ лицомъ, которое, вслѣдствіе особыхъ обстоятельствъ, отнынѣ уже не можетъ попробовать на немъ своей силы.

— Мозетъ бить, тамъ тозэ захоцете заняться?

— Преподаваніемъ? О, нѣтъ! Тамъ уже некогда. То недѣлю нужно править, а тамъ архіерейское служеніе. Нѣтъ, тамъ ужъ не до того.

— Да, да: это тоцно.

— Въ гору пошелъ нашъ отецъ дьяконъ, — замѣтилъ, относясь къ Сафьяносу, Саренко.

— Да цто-зъ! Талантъ усигда найдетъ дорогу.

— И чудесно это какъ случилось,—заговорилъ Александровскій:— за первенствующаго послѣ смерти протодьякона Павла Дмитріевича ѣздилъ по епархіи Савва Благостынскій. Ну, и всѣ говорили, что онъ будетъ настоящимъ протодьякономъ. Такъ всѣ и думали, и полагали на него. А тутъ пріѣхали владыко къ намъ, литургисаютъ въ соборѣ; меня регентъ Омофоровъ второствующимъ назначилъ. Ну, я и дѣйствовалъ; при облаченіи еще даже довольно, могу сказать, себя показалъ, а Апостолъ я сталъ чести, Благостынскій и совсѣмъ оробѣлъ. — Александровскій разсмѣялся и потомъ серьезно добавилъ: — Регентъ Омофоровъ тутъ же на закускѣ у Никона Родивоновича сказалъ: «нѣтъ, говоритъ, ты, Благостынскій, швахъ». А тутъ и владычное предписаніе пришло, что быть мнѣ протодьякономъ на мѣсто покойнаго Павла Дмитріевича.

— Тсссссъ, сказытэ пузаноста!—воскликнулъ Сафьяносъ, качая головою.

— Лестно!—произнесъ Саренко.

— Да! — да вѣдь что пріятно-то? — вопрошалъ Александровскій: — то пріятно, что безъ всякихъ это протекцій. Конечно, регенту нужно что-нибудь, презентикъ какой-нибудь этакой, а все же вѣдь прямо могу сказать, что не по искательству, а по заслугамъ отличенъ и почтенъ.

— Ну, конецно, конецно,—подтвердилъ Сафьяносъ.

Уже доѣдали жаркое, и Женни уже волновалась не подожгла бы Пелагея «кудри», которые должны были явиться

на столъ подъ малиновымъ вареньемъ, какъ въ окно залы со вздохомъ просунулась лошадиная морда, а съ сѣдла веселый голосъ крикнулъ: «хлѣбъ да соль».

Всѣ оглянулись и увидѣли Зарницына.

Онъ сидѣлъ на прекрасной, смѣлой лошади и держалъ у козырька руку въ красножелтой лайковой перчаткѣ.

Увидя чужого человѣка, Зарницынъ догадался, что происходитъ что-то особенное, и отъѣхалъ.

Черезъ минуту онъ картинно вошелъ въ залу въ коротенькой жакеткѣ и съ изящнымъ хлыстикомъ въ огненной перчаткѣ.

Кромѣ дьякона и Лизы, всѣ почувствовали себя очень неловко при входѣ Зарницына, который въ передней успѣлъ мимоходомъ спросить о гостѣ, но, нимало не стѣсняясь своей подчиненностью, бойко подошелъ къ Женни, потомъ пожалъ руку Лизѣ и, наконецъ, изящно и развязно поклонился Сафьяносу.

— Оцэнъ радъ, — произнесъ Сафьяносъ торопливо, протягивая свою руку.

— Зарницынъ, учитель математики, — счелъ нужнымъ отрекомендовать его Гловацкій.

Сафьяносъ хотѣлъ принять начальственный видъ, даже думалъ потянуть назадъ свою пухлую греческую руку, но эту руку Зарницынъ уже успѣлъ пожать, а въ начальственную форму лицо Сафьяноса никакъ не складывалось по милости двухъ розъ, любезно поздоровавшихся съ учителемъ.

— Мнѣ очень мило, — началъ Зарницынъ: — мнѣ очень мило, хоть теперь, когда я уже намѣренъ оставить родъ моей службы, засвидѣтельствовать вамъ мое сочувствіе за тѣ реформы, которыя хотя слегка, но начинаютъ уже чувствоваться по нашему учебному округу.

«Цортъ возьми,— думалъ Сафьяносъ, — еще онъ мнѣ сочувствія изъявляетъ!»—Но сказалъ только.—Я самъ оцэнъ радъ сблизиться съ насыми сотовариссами.

— Да, настала пора взаимодѣйствія, пора, когда и голова, и сердце понимаютъ, что для правильности ихъ отправленій нужно, чтобы правильно дѣйствовалъ желудокъ. Именно, чтобы правильно дѣйствовалъ желудокъ, чтобы былъ здоровъ желудокъ.

— Желудокъ всему голова,—подтвердилъ дьяконъ.

— Я, пока служилъ, всегда говорилъ это всѣмъ, что верх-

ніе безъ нижнихъ ничего не сдѣлаютъ. Ничего не сдѣлаютъ верхніе безъ нижнихъ; я и теперь, разставаясь съ службой, утверждаю, что безъ нижнихъ верхніе ничего не сдѣлаютъ.

Зарницынъ ловко закинулъ руку за спинку стула, поставленнаго нѣсколько въ сторонѣ отъ Сафьяноса, и щелкнулъ себя по сапогу хлыстикомъ.

— Стуо-зъ, вы разви увольняетесь?—спросилъ Сафьяносъ.

— Я сегодня буду имѣть честь представить вамъ прошеніе о своемъ увольненіи,— граціозно кланяясь, отвѣтилъ Зарницынъ.

Саренко тихо кашлянулъ и смялъ въ боковомъ карманѣ тщательно сложенный листикъ, на которомъ было кое-что написано про учителя математики, и разгладилъ по темени концы своего хвоста.

— Стуо-зъ типэрь карьеры отлицныя,—уже совсѣмъ либерально замѣтилъ Сафьяносъ.

— Я не ищу карьеры. Теперь каждому человѣку много дѣятельности открывается и внѣ службы.

— Да, эти компаніи.

— И безъ компаній.

— Стуо-зъ вы хотите?

Зарницынъ пожалъ многозначительно плечами, еще многозначительнѣе улыбнулся и произнесъ:

— Дѣло у каждаго изъ насъ на всякомъ мѣстѣ, возлѣ насъ самихъ,—и, вздохнувъ гражданскимъ вздохомъ, добавилъ:—именно возлѣ насъ самихъ, дѣло повсюду, повсюду дѣло ждетъ рукъ, доброй воли и умѣнья.

— Это тоцно,—отвѣтилъ Сафьяносъ, не понимающій, что онъ говоритъ и что за странное такое обращеніе допускаетъ съ собою.

— Но нужны, ваше превосходительство, и учители, и учители тоже нужны: это фактъ. Я былъ бы очень счастливъ, если бы вы мнѣ позволили рекомендовать вамъ на мое мѣсто очень достойнаго и способнаго молодого человѣка.

— Я усигда готовъ помочь молодымъ людямъ, ну только это полозено типэрь съ согласіемъ близайсаго нацальства дѣлать.

— Ближайшее начальство вотъ—Петръ Лукичъ Гловацкій. Петръ Лукичъ! вы желали бы, чтобы мое мѣсто было отдано Юстину Феликсовичу?

— Да, я буду очень радъ.

— И я буду рада,—весело сказала Лиза.

— И вы?—оскаливъ зубы, спросилъ Сафьяносъ.

— И я тоже, — сказала съ другой стороны закраснѣвшись Женни.

— И вы?—осклабляясь въ другую сторону, спросилъ ревизоръ и, тотчасъ же мотнувъ головою, какъ ужъ, въ обѣ стороны, произнесъ: — Ну, поздравьте васего протязе съ мѣстомъ.

— Поздравляю! — сказала Лиза, указывая пальцемъ на Помаду.

Въ шкапу была еще бутылка шампанскаго и ее сейчасъ же роспили за новое мѣсто Помады.

Сафьяносъ первый поднялъ бокалъ и проговорилъ:

— Поздравляю васъ, господинъ Помада, — чокнулся съ нимъ и съ обѣими розами, также державшими въ своихъ рукахъ по бокалу.

— Вотъ случай!—шепталъ кандидатъ, толкая Розанова:— выпей же хоть бокалъ за меня.

— Отстань, не могу я пить ничего,—отвѣчалъ Розановъ.

Въ числѣ различныхъ практическихъ и непрактическихъ странностей, придуманныхъ англичанами, нельзя совершенно отрицать цѣлесообразность обычая, предписывающаго дамамъ послѣ стола удаляться отъ мужчинъ.

Наши дѣвицы очень умно поступили, отправившись тотчасъ послѣ обѣда въ укромную голубую комнату Женни, ибо даже самъ Петръ Лукичъ черезъ часъ послѣ обѣда вошелъ къ нимъ съ неестественными розовыми пятнышками на щекахъ и до крайности умильно восхищался простотою обхожденія Сафьяноса.

— Не узнаю начальственныхъ лицъ: простота и благодушіе!—восклицалъ онъ.

Было уже около шести часовъ вечера, на дворѣ потеплѣло и показалось солнце.

Ученое общество продолжало благодушествовать въ залѣ. Съ каждымъ новымъ стаканомъ Сафьяносъ все болѣе и болѣе вовлекался въ свою либеральную роль и имъ овладѣвалъ хвастливый бѣсъ многорѣчія, любящій всѣ пьяныя головы вообще, а греческія въ особенности.

Сафьяносъ уже вволю навралъ объ Одессѣ, о греческомъ клубѣ, о предполагаемыхъ реформахъ по министерству, о стремленіи начальства сблизиться съ подчиненными и о

своихъ собственныхъ многостороннихъ занятіяхъ по округу и по ученымъ обществамъ, которыя избрали его своимъ членомъ.

Всѣ благоговѣйно слушали и молчали. Изрѣдка только Зарницынъ или Саренко вставляли какое-нибудь словечко.

Выбравъ удобную минуту, Зарницынъ всталъ и, отведя въ сторону Вязмитинова, сказалъ:

— Добрыя вѣсти.

— Что такое?

Зарницынъ вынулъ листокъ почтовой бумаги и показалъ нѣсколько строчекъ, въ которыхъ было сказано: «У насъ ужъ на фабрикахъ и въ казармахъ вездѣ поютъ эту пѣсню. Посылаю вамъ ея сто экземпляровъ и сто программъ адреса. Распространяйте, и т. д.».

— И это все опять по почтѣ?

— По почтѣ,—отвѣчалъ Зарницынъ и разсмѣялся.

— Что жъ ты будешь дѣлать?

— Пускать, пускать надо.

— Вѣдь это одно противъ другого пойдетъ.

— Ничего, теперь всѣ во всемъ согласны.

— Ты сегодня совсѣмъ весь толкъ потерялъ.

— Разсказывай,—отвѣчалъ Зарницынъ.

— Хоть съ Сафьяносомъ-то будь поосторожнѣе.

— Э! вздоръ! Теперь ихъ ужъ нечего бояться: ихъ надо шевелить, шевелить надо.

Между тѣмъ изъ-за угла показался высокій отставной солдатъ. Онъ былъ босикомъ, въ прежней солдатской фуражкѣ, тарелочкой, въ синей пестрядинной рубашкѣ на выпускъ и въ мокрыхъ холщевыхъ портахъ, закатанныхъ выше колѣнъ. На плечѣ солдатъ несъ три длинныя, гнуткія удилища, съ правильно раскачивавшимися на волосяныхъ лесахъ поплавками и бечевку съ нанизанными на ней карасями, подъязками и плотвой.

— Стуо у васъ много рыбы? — освѣдомился Сафьяносъ, взглянувъ на солдата.

— Есть-съ рыба,—таинственно отвѣтилъ Саренко.

— И какъ она... то-есть, я хоцу это знать... для русскаго географицескаго обсества. Это оцэнъ вазно, оцэнъ вазно въ географицескомъ относеніи.

— И въ статистическомъ,—подсказалъ Зарницынъ.

— Да, и въ статистицескомъ. Я бы дазэ хотѣлъ самъ поразспросить этого рыбаря.

— Служба! служба! — поманулъ въ окно угодливый Саренко.

Солдатъ подошелъ.

— Стань, милый, поближе; тебя генералъ хочетъ спросить.

Услыхавъ слово «генералъ», солдатъ положилъ на траву удилища, снялъ фуражку и вытянулся.

— Стуо ты поньмаесъ рыба?—спросилъ Сафьяносъ.

— Понимаю, ваше превосходительство!—твердо отвѣчалъ воинъ.

— Какую ты больсе поньмаесъ рыбу?

— Всякую рыбу понимаю, ваше превосходительство!

— И стерлядь поньмаесъ?

— И стерлить могу понимать, ваше превосходительство.

— Будто и стерлядь поньмаесъ?

— Понимаю, ваше превосходительство: длинная этакая рыба и съ носомъ,—шиловатая вся. Скусная самая рыба.

— Гм! Ну, а когда ты болсе поньмаесъ?

Солдатъ, растопыривъ врозь пальцы и подумавъ, отвѣчалъ:

— Всегда равно понимаю, ваше превосходительство!

— Гм! И зимою дозэ поньмаесъ?

Солдатъ вовсе потерялся и, выставивъ впередъ ладони, какъ будто держитъ на нихъ передъ собою рыбу, нерѣшительно произнесъ:

— Намъ, ваше превосходительство, такъ показывается, что все единственно рыба, что лѣтомъ, что зимой, и завсегда мы ее одинаково понимать можемъ.

Сафьяносъ далъ солдату за это статистическое свѣдѣніе двугривенный и тотчасъ же занотовалъ въ своей записной книгѣ, что по рѣкѣ Саванкѣ во всякое время года въ изобиліи ловится всякая рыба и даже стерлядь.

— Это все оцэнъ вазно,—замѣтилъ онъ и изъявилъ желаніе взглянуть на самые рыбные затоны.

Затоновъ на Саванкѣ никакихъ не было и удильщики ловили рыбу по колдобинкамъ, но все-таки тотчасъ достали двувесельную лодку и всѣмъ обществомъ поѣхали вверхъ по Саванкѣ.

Докторъ и Вязмитиновъ понимали, что Сафьяносъ и глупъ, и хвастунъ; остальные не осуждали начальство, а Зарницынъ слушалъ только самого себя.

Лодка доѣхала до самаго Разинскаго оврага, откуда пу-

гачъ, сидя надъ черной разсѣлиной, привѣтствовалъ ее крикомъ: «шуты, шуты!» Отсюда лодка поворотила. На дворѣ стояла ночь.

По отъѣздѣ ученой экспедиціи, Пелагея стала мести залу и готовить къ чаю, а Лиза сѣла у окна и, глядя на рѣчную луговину, крѣпко задумалась. Она не слыхала, какъ Женни поставила передъ нею глубокую тарелку съ лѣсными орѣхами и ушла въ кухню готовить новую кормежку.

Лиза все сидѣла какъ истуканъ. Можно было поручиться, что она не видала ни одного предмета, бывшаго передъ ея глазами, и если бы судорожное подергиванье бровей, по временамъ, не нарушало мертвой неподвижности ея безжизненно блѣднаго лица, то можно было бы подумать, что ее хватилъ столбнякъ или она такъ застыла.

— Аахъ! — простонала она, выведенная изъ своего состоянія донесшимся до нея изъ Разинскаго оврага зловѣщимъ крикомъ пугача и, смахнувъ со лба тяжелую думу, машинально разгрызла одинъ орѣхъ и столь же машинально перегрызла цѣлую тарелку, прежде чѣмъ цапля, испуганная подъѣзжающей лодкой, поднялась изъ осоки и тяжело замахала своими длинными крыльями по синему ночному небу.

— И это люди называются! И это называется жизнь, это среда!—прошептала Лиза при приближеніи лодки и, хрустнувъ пальцами, пошла въ комнату Женни.

Пили чай; затѣмъ Сафьяносъ, Петръ Лукичъ, Александровскій и Вязмитиновъ усѣлись за пульку. Зарницынъ явился къ Евгеніи Петровнѣ въ кухню, гдѣ въ это время сидѣла и Лиза. За нимъ вскорѣ явился Помада и еще чрезъ нѣсколько минутъ тихонько вошелъ докторъ.

Странно было видѣть нынѣшнюю застѣнчивость и робость Розанова въ домѣ, гдѣ онъ былъ всегда милымъ гостемъ и держался безъ церемоніи.

— Не мѣшаемъ мы вамъ, Евгенія Петровна? — застѣнчиво спросилъ онъ.

— Вы—нѣтъ, докторъ, а вотъ Алексѣй Павловичъ тутъ толчется и никакъ его выжить нельзя.

— Погодите, Евгенія Петровна, погодите! будетъ время, что и обо мнѣ поскучаете!—шутилъ Зарницынъ.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, куда это вы отъ насъ уходите?

— Землю пахать, пахать землю, Евгенія Петровна. Надо дѣло дѣлать.

— Гдѣ жъ это вы будете пахать? Мы пріѣдемъ посмотрѣть, если позволите.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Вы въ перчаткахъ будете пахать?—спросила Лиза.

— Зачѣмъ? Онъ чужими руками все вспашетъ,—проронилъ Розановъ.

— А ты, Гамлетъ, весь день молчалъ и то заговорилъ.

— Да ужъ очень ты занятенъ нынче.

— Погоди, братъ, погоди,—будетъ время, когда ты перестанешь смѣяться; а теперь прощайте, я нарочно фуражку въ карманѣ вынесъ, чтобы уйти незамѣченнымъ.

Женни удерживала Зарницына, но онъ не остался ни за что.

— Дѣло есть, не могу, ни за что не могу.

— Чья это у тебя лошадь? — спросилъ его, прощаясь, докторъ.

— А что?

— Такъ, ничего.

— Хорошій конь. Это я у Катерины Ивановны взялъ.

— У Кожуховой?

— Да.

— Купилъ?

— Н...нѣтъ, такъ... пока взялъ.

Зарницынъ вышелъ и черезъ нѣсколько минутъ по двору послышался легкій топотъ его быстрой арабской лошади.

— Что это онъ за странности дѣлаетъ сегодня?—спросила Женни.

— Онъ женится,—спокойно отвѣчалъ докторъ.

— Какъ женится?

— Да вы развѣ не видите? Посмотрите, онъ скоро женится на Кожуховой.

— На Кожуховой! — переспросила, расширивъ удивленные глаза, Женни.—Этого не можетъ быть, докторъ.

— Ну, вотъ увидите: она его недаромъ выпускаетъ на своей лошади. А то гдѣ жъ ему землю-то пахать.

— Ей сорокъ лѣтъ.

— Потому-то она и женитъ его на себѣ.

— Любви всѣ возрасты послушны,—проговорилъ Помада.

Женни и Лиза иронически улыбнулись, но эти улыбки нимало не относились къ словамъ Помады.

— Экая все мразь! — подумала, закусивъ губы, Лиза и

гораздо ласковѣе взглянула на Розанова, который, при всей своей распущенности, все-таки болѣе всѣхъ подходилъ, въ ея понятіяхъ, къ человѣку. Въ его натурѣ сохранилось много простоты, искренности, задушевности, безхитростности и въ то же время живой русской смѣтки, которую онъ самъ называлъ мошенническою философіею. Правда, у него не было недостатка въ нѣкоторой рѣзкости, доходящей иногда до nec plus ultra, но о бокъ съ этимъ у него порою шла нѣжнѣйшая деликатность. Онъ былъ неуступчивъ и неспособенъ обидѣть первый никого. Вязмитиновъ давно не нравился Лизѣ. Она не знала о немъ ничего дурного, но во всѣхъ его движеніяхъ, въ его сосредоточенности и сдержанности для нея было что-то непріятное. Она говорила себѣ, что никто никогда не узнаетъ, что этотъ человѣкъ когда сдѣлаетъ. Глядя теперь на покрывшееся пятнами лицо доктора, ей стало жаль его, едва ли не такъ же нѣжно жаль, какъ жалѣла его Женни, и докторшѣ нельзя было бы посовѣтовать заговорить въ эти минуты съ Лизою.

— Гдѣ эта лодка, на которой ѣздили?—спросила Лиза.

— Тутъ у берега,—отвѣчалъ докторъ.

— Я хотѣла бы проѣхаться. Вы умѣете грести?

— Умѣю.

— И я умѣю,—вызвался Помада.

Лиза встала и пошла къ двери. За нею вышли докторъ и Помада.

У самаго берега Лиза остановилась и, обратясь къ кандидату, сказала:

— Ахъ, Юстинъ Феликсовичъ, вернитесь, пожалуйста, попросите мнѣ у Женни большой платокъ, — сыро что-то на водѣ.

Помада пустился бѣгомъ въ калитку, а Лиза, вспрыгнувъ въ лодку, сказала:

— Гребите.

— А Помада?

— Гребите,—отвѣчала Лиза.

Докторъ ударилъ веслами, и лодочка быстро понеслась по теченію, безпрестанно шурша выпуклыми бортами о прибрежный тростникъ извилистой Саванки.

— Гу-гу-гу-у-ой-іой-іой! — далеко уже за лодкою простоналъ овражный пугачъ, а лодка все неслась по те-

ченію и тишина окружающей ее ночи не нарушалась ни однимъ звукомъ, кромѣ мѣрныхъ ударовъ веселъ и тонкаго серебрянаго плеска отъ падающихъ вслѣдъ за ударомъ брызговъ.

Доѣхавъ до лѣса, Лиза сказала:

— Вернемтесь.

Докторъ залаптилъ лѣвымъ весломъ и, повернувъ лодку, сталъ гресть противъ воды съ удвоенною силою.

На небѣ уже довольно высоко проглянула луна. Она играла по мелкой ряби бѣгущей рѣчки и сквозь воду эффектно освѣщала безчисленныя мели, то покрытыя водорослями, то тѣневыми наслоеніями струистаго ила.

Лицо доктора было въ тѣни, лицо же Лизы было ярко освѣщено полною луною.

— Докторъ!—позвала Лиза послѣ долгаго молчанія.

— Что̀ прикажете, Лизавета Егоровна? — отозвался Розановъ.

— Я хочу съ вами поговорить.

Розановъ гребъ и ничего не отвѣтилъ.

— Я хочу говорить съ вами о васъ самихъ,—пояснила Лиза.

Отвѣта снова не было, но усиленный ударъ гребца сказалъ за него: «да, я такъ и думалъ».

— Вы слушаете, по крайней мѣрѣ?—спросила Лиза.

— Я все слышалъ.

— Что, вамъ очень хочется пропасть тутъ? Вѣдь такъ жить нельзя, какъ вы живете...

— Я это знаю.

— Или по-вашему выходитъ, что еще можно?

— Нѣтъ, я знаю, да только...

— Что только?

— Дѣться некуда.

— Ну, это другой вопросъ. Прежде всего вы глубоко убѣждены въ томъ, что *такъ* жить, какъ *вы* живете, *при вашей обстановкѣ* и при вашемъ характерѣ, жить невозможно?

— Позвольте, Лизавета Егоровна...—послѣ короткой паузы началъ было докторъ; но Лиза его прервала.

— Вы хотите потребовать отъ меня отчета, по какому праву я завела съ вами этотъ разговоръ? По такому же

точно праву, по какому вы помѣшали мнѣ когда-то ночевать въ нетопленомъ домѣ.

— Да нѣтъ, напрасно вы объ этомъ говорите. Я совсѣмъ не о томъ хотѣлъ спросить васъ.

— О чемъ же?

— О томъ, что если вы намѣрены коснуться въ вашихъ словахъ извѣстнаго вамъ скандальнаго событія, то, умоляю васъ, имѣйте ко мнѣ жалость,—оставьте это намѣреніе.

— Фуй! Съ чего это вы взяли? Какъ будто это пошлое событіе само по себѣ имѣетъ такую важность...

— Скандалъ.

— Дѣло не въ скандалѣ, а въ томъ, что вы пропадаете, тогда какъ, мнѣ кажется... я, можетъ-быть, и ошибаюсь, но, во всякомъ случаѣ, *мнѣ кажется,* что вы еще можете быть очень полезны.

— Я разбитъ совсѣмъ.

— Для этого-то и нужно, чтобы вы были нѣсколько въ лучшемъ положеніи; чтобы вы были спокойнѣе, счастливѣе: чтобы ваша жизнь наполнялась чѣмъ-нибудь годнымъ.

— Моя жизнь прошла.

— Ну, это хандра и ничего болѣе.

— Нѣтъ ужъ... Энергія моя пропала.

— Тѣмъ настоятельнѣе нужно спасаться.

— Какъ? гдѣ спасаться? отъ кого? Отъ домашнихъ враговъ спасенья нѣтъ.

— Какой вы вздоръ говорите, докторъ! Вы сами себѣ первый врагъ.

— А отъ себя не уйдешь, Лизавета Егоровна.

— Ну, значитъ, и говорить не о чемъ, — вспыльчиво сказала Лиза, и на ея эффектно освѣщенномъ луною молодомъ личикѣ по мѣстамъ намѣтились черты матери Агніи.

— Чортъ знаетъ, что̀ это, въ самомъ дѣлѣ, за проклятіе лежитъ надъ людьми этой благословенной страны! — проговорила она сама къ себѣ послѣ нѣкотораго раздумья.

Она сердилась на неловкій оборотъ, данный разговору, и насупилась. Докторъ, не разъ опускавшій весла при разговорѣ, сталъ гресть съ удвоеннымъ стараніемъ.

Проѣхавъ оврагъ, Лиза сказала совсѣмъ другимъ тономъ:

— Мнѣ все равно, что̀ вы сдѣлаете изъ моихъ словъ, но я хочу сказать вамъ, что вы непремѣнно и какъ можно скорѣе должны уѣхать отсюда. Ступайте въ Москву, въ

Петербургъ, въ Парижъ, куда хотите, но не оставайтесь здѣсь. Вы здѣсь скоро... потеряете даже способность сближаться.

— Я не могу никуда уѣхать.

— Отчего это?

— Мнѣ жаль ребенка.

— А при васъ хорошо ребенку?

— Все-таки лучше.

— Старайтесь устроить ребенка, ищите каѳедры, защищайте диссертацію.

— Мнѣ и ее жаль.

— Кого?

— Ее... жену.

Лиза сдѣлала презрительную гримасу и сказала:

— Это даже смѣшно, Дмитрій Петровичъ.

— Да, я знаю, что смѣшно и даже, можетъ быть, глупо.

— Можетъ быть,—отвѣчала Лиза.

— Что-жъ дѣлать?

— Уѣхать, работать, оставить ее въ покоѣ, заботиться о дѣвочкѣ. Другой міръ, другіе люди, другая обстановка, все это васъ оживитъ. Стыдитесь, Дмитрій Петровичъ! Вы хуже Помады, котораго вы распекаете. Вмѣсто того, чтобы выбиваться, вы грязнете, тонете, пьете водку... фуй!

Докторъ опустилъ весла и закрылъ лицо.

— Вы, кажется, плачете?—спросила Лиза.

— Плачу,—спокойно отвѣчалъ докторъ.

— Это ужъ изъ рукъ вонъ! Что, наконецъ, васъ такъ мучаетъ? Докторъ, докторъ! неужели и вы уже стали ничтожествомъ и въ васъ заглохло все человѣческое?

Розановъ долго молчалъ и разомъ спокойно поднялъ голову.

— Что?—спросила глядѣвшая на него Лиза.

— Вы правы.

— Такъ ступайте же, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— У меня нѣтъ денегъ.

— Это вздоръ. У меня есть около двухсотъ рублей моихъ собственныхъ и вы меня обидите, если не возьмете ихъ у меня взаймы.

— Нѣтъ, не возьму.

— Я вамъ сказала, что вы меня обидите и лишите права принять со временемъ отъ васъ, можетъ-быть, большую

услугу.—Такъ уѣдете?—спросила она, вставая, когда лодка причаливала къ берегу.

— Уѣду,—рѣшительно отвѣчалъ Розановъ.

— Ваше слово.

— Да.

На берегу показался Помада, сидящій съ свернутымъ большимъ платкомъ на колѣняхъ.

— И еще...—сказала Лиза тихо и не смотря на доктора: — еще... не пейте, Розановъ. Работайте надъ собой и вы объ этомъ не пожалѣете: все будетъ, все прійдетъ, и новая жизнь, и чистыя заботы, и новое счастье. Я меньше васъ вижу, но удивляюсь, какъ это вы можете не видѣть ничего впереди.

Сказавъ это, Лиза оперлась на руку Помады и, дойдя съ нимъ молча до крыльца, прошла тихонько въ комнату Женни.

Докторъ отправился-было домой, но Вязмитиновъ и Гловацкій, высунувшись изъ окна, упросили его зайти.

Въ залѣ опять былъ Зарницынъ, неожиданно возвратившійся съ нѣсколькими бутылками шампанскаго, которыя просилъ у Гловацкаго позволенія распить.

Общество было на-веселѣ и продолжалась картежная игра.

Сафьяносъ либеральничалъ съ Зарницынымъ и, по временамъ, обращаясь къ Помадѣ, говорилъ:

— Вы, господинъ Помада, подумайте о васемъ слузэніи. Я вамъ ввѣряю постъ, господинъ Помада, вы долзны руководить дѣтей къ цести: тэпэрь такое время.

— Именно такое время,—подтверждалъ Зарницынъ.

Докторъ сѣлъ у стола, и семинаристъ философскаго класса, взглянувъ на Розанова, могъ бы написать отличную задачку о внутреннемъ и внѣшнемъ человѣкѣ. Здѣсь былъ только зоологическій Розановъ, а былъ еще гдѣ-то другой, безплотный Розановъ, который леталъ то около дѣтской кроватки съ голубымъ ситцевымъ занавѣсомъ, то около постели, на которой спала женщина съ расходящимися бровями, дерзостью и эгоизмомъ на недурномъ, но искаженномъ злостью лицѣ, то бродилъ по необъятной пустынѣ, ловя какой-то неясный женскій образъ, возлѣ котораго ему хотѣлось упасть, зарыдать, выплакать свое горе и, вставши по одному слову на ноги, начать на-ново жизнь сознательную, съ безтрепетнымъ концомъ въ пятомъ актѣ драмы.

А зоологическій Розановъ машинально наливалъ себѣ пятый стаканъ хересу и молча сидѣлъ, держа на рукахъ свою отяжелѣвшую голову.

Когда далеко летавшій Розановъ возвратился въ себя, онъ не узналъ своего жилища: тамъ былъ чадъ, сквозь который все представлялось какъ-то безобразно и чувствовалась неудержимая потребность лично вмѣшаться въ это безобразіе и сдѣлать еще безобразнѣе.

— Стуо мнѣ! стуо мнѣ моздно сдѣлать! — восклицалъ Сафьяносъ, многозначительно засосавъ губу: — у мэнэ есть свой король, свое правительство. Я всегда могу писать король Оттонъ. Стуо мнэ! Наса сторона, хоросая сторона.

— У васъ маслины все ѣдятъ,—замѣтилъ Розановъ.

— Да. У насъ усе, усе растетъ. У насъ рыба усякая, камбола такая, съ изюмомъ.

— Больше все однѣ маслины жрутъ съ прованскимъ масломъ.

— Да, и барабанское масло, и мазулины, усе у насъ, въ насей сторонѣ. Я сицасъ могу туда ѣхать. Я слузылъ въ балаклавская баталіонъ, но сицасъ могу ѣхать. Я имѣю цинъ и мундиръ, но сицасъ могу ѣхать.

— Тамъ на тебя юбку надѣнутъ, — вставилъ Розановъ и засмѣялся.

Сафьяносъ обидѣлся, хозяинъ и гости стѣснились отъ этой неожиданной фамильярности.

— У насъ каздый человѣкъ усигда мозэтъ...

— Юбка носить, ха, ха, ха. Вотъ, господа, хорошъ онъ будетъ въ юбкѣ! Пузаноста, поѣзжай, братъ, въ своя сторона. Пузаносто, ха, ха, ха!

Докторъ совсѣмъ опьянѣлъ.

Вязмитиновъ всталъ, взялъ его подъ руку и тихо вышелъ съ нимъ въ библіотеку Петра Лукича, гдѣ Розановъ скоро и заснулъ на одномъ изъ дивановъ.

Сафьяносъ понялъ, что сближеніе, сдѣланное имъ экспромптомъ, можетъ его компрометировать и, понюхавъ табаку, сталъ сбираться въ гостиницу. Петръ Лукичъ все извинялся и намѣренъ былъ идти извиняться завтра, но сконфуженный Сафьяносъ тотчасъ же, придя домой, послалъ за лошадьми и уѣхалъ, забывъ даже о своемъ намѣреніи повидаться съ Бахаревымъ. Къ конфузу, полученному имъ по милости Розанова, присоединился новый конфузъ. Снимая

съ себя мундирный фракъ, Сафьяносъ нашелъ въ лѣвомъ заднемъ карманѣ пачку литографированной пѣсни, пять тоненькихъ брошюрочекъ и проектъ адреса о дарованіи правъ самоуправленія, и проч. Сафьяносъ обомлѣлъ отъ этой находки. Сначала онъ хотѣлъ все это тотчасъ же уничтожить, но потомъ, раздумавъ, сунулъ все въ чемоданъ и уѣхалъ размышляя: откуда бы это взялось въ его карманѣ? Ревизоръ не пришелъ ни къ какой опредѣленной догадкѣ, потому что онъ не надѣвалъ мундира со дня своего выѣзда изъ университетскаго города, и въ день своего отъѣзда таскался въ этомъ мундирѣ по самымъ различнымъ мѣстамъ. Но болѣе всѣхъ его подозрѣнія все-таки вертѣлись около Саренки, который держалъ себя такъ таинственно и очень близко къ нему подсаживался. Саренко, нашедши точно такой же кладъ въ своемъ карманѣ, рѣшилъ, что это ему сунулъ ревизоръ и что, значитъ, вѣетъ другой вѣтеръ и приходитъ пора запѣвать другія пѣсни. Онъ измѣнился къ Зарницыну, и по задумчивости Петра Лукича отгадалъ, что и тотъ, послѣ ухода Сафьяноса, вернулся въ свою комнату не съ пустымъ карманомъ. Саренко тщательно спряталъ свою находку и хранилъ строгое молчаніе. Петръ Лукичъ тоже ни о чемъ подобномъ не говорилъ, но изъ губернскаго города дошли слухи, что на пикникѣ всѣмъ гостямъ въ карманы наклали запрещенныхъ сочиненій и даже сунули ихъ нѣсколько экземпляровъ пріѣзжему ученому чиновнику. Сафьяносъ роздалъ всѣ свои экземпляры губернскому бомонду.

— Стоуо-то такое дазе въ воздухѣ носится, — заключалъ онъ, потягивая своимъ греческимъ носомъ.

Вслѣдъ за нимъ въ городѣ началось списыванье и толки о густой сѣти революціонныхъ агентовъ.

Вязмитиновъ, проводя Сафьяноса, вернулся за докторомъ.

Розановъ всталъ, пошатнулся, потомъ постоялъ немножко, закрылъ глаза и, безцеремонно отбросивъ руку Вязмитинова, твердо пошелъ домой по пыльной улицѣ.

— Боже мой! никогда нѣтъ покоя отъ этого негодяя! — пронеслось у него надъ ухомъ, когда онъ проходилъ на цыпочкахъ мимо спальни жены.

— Вы даже скоро дойдете до того, что обижаться перестанете,—прозвучалъ ему другой голосъ, и докторъ, вздохнувъ, повалился на свой продавленный диванъ.

Лиза въ это время все еще лежала съ открытыми глазами и думала: —«нѣтъ, такъ нельзя. Гдѣ же нибудь да есть люди!»

Черезъ два дня она опять заѣхала къ Женни и сказала, что ей нездоровится, позвала Розанова, поговорила съ нимъ нѣсколько минутъ и опять уѣхала.

А затѣмъ начинается пробѣлъ, который объяснится слѣдующею главою.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Великое переселеніе народовъ и вообще глава, резюмирующая первую книгу.

Обширная пойма, на которую выходили два окна залы Гловацкихъ, снова была покрыта бѣлымъ, пушистымъ снѣгомъ, и просвирнина гусыня снова растаскивала за ноги посѣдѣвшихъ гренадеровъ.

Въ домѣ смотрителя всѣ ходили на цыпочкахъ и говорили вполголоса. Петръ Лукичъ былъ очень трудно боленъ.

Стоялъ сумрачный декабрьскій день и порошилъ снѣгъ; на дворѣ было два часа.

Женни, по обыкновенію, сидѣла и работала у окна. Глаза у нея были наплаканы до-красна и даже нѣсколько припухли.

Въ дверь, запертую изнутри передней, послышался легкій, осторожный стукъ. Женни встала, утерла глаза и отперла переднюю.

Вошелъ Вязмитиновъ.

— Что?—спросилъ онъ, снимая пальто.

— Ничего: все то же самое, — отвѣчала Женни и тихо пошла къ своему столику.

— Папа не спалъ всю ночь и теперь уснулъ очень крѣпко,—сказала Женни, не поднимая глазъ отъ работы.

— Это хорошо. А докторъ былъ сегодня?

— Нѣтъ не былъ; да что, онъ кажется...

— Ничего не понимаетъ, вы хотите сказать?

— Не знаю, и вообще онъ какъ-то не внушаетъ къ себѣ довѣрія. Папа тоже на него не полагается. Вчера съ вечера онъ все бредилъ, звалъ Розанова.

— Да, теперь Розанова поневолѣ вспомнишь.

— Его всегда вспомнишь, не только теперь. Вы давно не получали отъ него извѣстія?

— Давно. Я всего только два письма имѣлъ отъ него

гачъ, сидя надъ черной разсѣлиной, привѣтствовалъ ее крикомъ: «шуты, шуты!» Отсюда лодка поворотила. На дворѣ стояла ночь.

По отъѣздѣ ученой экспедиціи, Пелагея стала мести залу и готовить къ чаю, а Лиза сѣла у окна и, глядя на рѣчную луговину, крѣпко задумалась. Она не слыхала, какъ Женни поставила передъ нею глубокую тарелку съ лѣсными орѣхами и ушла въ кухню готовить новую кормежку.

Лиза все сидѣла какъ истуканъ. Можно было поручиться, что она не видала ни одного предмета, бывшаго передъ ея глазами, и если бы судорожное подергиванье бровей, по временамъ, не нарушало мертвой неподвижности ея безжизненно блѣднаго лица, то можно было бы подумать, что ее хватилъ столбнякъ или она такъ застыла.

— Аахъ! — простонала она, выведенная изъ своего состоянія донесшимся до нея изъ Разинскаго оврага зловѣщимъ крикомъ пугача и, смахнувъ со лба тяжелую думу, машинально разгрызла одинъ орѣхъ и столь же машинально перегрызла цѣлую тарелку, прежде чѣмъ цапля, испуганная подъѣзжающей лодкой, поднялась изъ осоки и тяжело замахала своими длинными крыльями по синему ночному небу.

— И это люди называются! И это называется жизнь, это среда!—прошептала Лиза при приближеніи лодки и, хрустнувъ пальцами, пошла въ комнату Женни.

Пили чай; затѣмъ Сафьяносъ, Петръ Лукичъ, Александровскій и Вязмитиновъ усѣлись за пульку. Зарницынъ явился къ Евгеніи Петровнѣ въ кухню, гдѣ въ это время сидѣла и Лиза. За нимъ вскорѣ явился Помада и еще чрезъ нѣсколько минутъ тихонько вошелъ докторъ.

Странно было видѣть нынѣшнюю застѣнчивость и робость Розанова въ домѣ, гдѣ онъ былъ всегда милымъ гостемъ и держался безъ церемоніи.

— Не мѣшаемъ мы вамъ, Евгенія Петровна? — застѣнчиво спросилъ онъ.

— Вы—нѣтъ, докторъ, а вотъ Алексѣй Павловичъ тутъ толчется и никакъ его выжить нельзя.

— Погодите, Евгенія Петровна, погодите! будетъ время, что и обо мнѣ поскучаете!—шутилъ Зарницынъ.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, куда это вы отъ насъ уходите?

— Землю пахать, пахать землю, Евгенія Петровна. Надо дѣло дѣлать.

— Гдѣ жъ это вы будете пахать? Мы пріѣдемъ посмотрѣть, если позволите.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— Вы въ перчаткахъ будете пахать?—спросила Лиза.

— Зачѣмъ? Онъ чужими руками все вспашетъ,—проронилъ Розановъ.

— А ты, Гамлетъ, весь день молчалъ и то заговорилъ.

— Да ужъ очень ты занятенъ нынче.

— Погоди, братъ, погоди,—будетъ время, когда ты перестанешь смѣяться; а теперь прощайте, я нарочно фуражку въ карманѣ вынесъ, чтобы уйти незамѣченнымъ.

Женни удерживала Зарницына, но онъ не остался ни за что.

— Дѣло есть, не могу, ни за что не могу.

— Чья это у тебя лошадь? — спросилъ его, прощаясь, докторъ.

— А что?

— Такъ, ничего.

— Хорошій конь. Это я у Катерины Ивановны взялъ.

— У Кожуховой?

— Да.

— Купилъ?

— Н...нѣтъ, такъ... пока взялъ.

Зарницынъ вышелъ и черезъ нѣсколько минутъ по двору послышался легкій топотъ его быстрой арабской лошади.

— Что это онъ за странности дѣлаетъ сегодня?—спросила Женни.

— Онъ женится,—спокойно отвѣчалъ докторъ.

— Какъ женится?

— Да вы развѣ не видите? Посмотрите, онъ скоро женится на Кожуховой.

— На Кожуховой! — переспросила, расширивъ удивленные глаза, Женни.—Этого не можетъ быть, докторъ.

— Ну, вотъ увидите: она его недаромъ выпускаетъ на своей лошади. А то гдѣ жъ ему землю-то пахать.

— Ей сорокъ лѣтъ.

— Потому-то она и женитъ его на себѣ.

— Любви всѣ возрасты послушны,—проговорилъ Помада.

Женни и Лиза иронически улыбнулись, но эти улыбки нимало не относились къ словамъ Помады.

— Экая все мразь! — подумала, закусивъ губы, Лиза и

гораздо ласковѣе взглянула на Розанова, который, при всей своей распущенности, все-таки болѣе всѣхъ подходилъ, въ ея понятіяхъ, къ человѣку. Въ его натурѣ сохранилось много простоты, искренности, задушевности, безхитростности и въ то же время живой русской смѣтки, которую онъ самъ называлъ мошенническою философіею. Правда, у него не было недостатка въ нѣкоторой рѣзкости, доходящей иногда до nec plus ultra, но о бокъ съ этимъ у него порою шла нѣжнѣйшая деликатность. Онъ былъ неуступчивъ и неспособенъ обидѣть первый никого. Вязмитиновъ давно не нравился Лизѣ. Она не знала о немъ ничего дурного, но во всѣхъ его движеніяхъ, въ его сосредоточенности и сдержанности для нея было что-то непріятное. Она говорила себѣ, что никто никогда не узнаетъ, что̀ этотъ человѣкъ когда сдѣлаетъ. Глядя теперь на покрывшееся пятнами лицо доктора, ей стало жаль его, едва ли не такъ же нѣжно жаль, какъ жалѣла его Женни, и докторшѣ нельзя было бы посовѣтовать заговорить въ эти минуты съ Лизою.

— Гдѣ эта лодка, на которой ѣздили?—спросила Лиза.

— Тутъ у берега,—отвѣчалъ докторъ.

— Я хотѣла бы проѣхаться. Вы умѣете грести?

— Умѣю.

— И я умѣю,—вызвался Помада.

Лиза встала и пошла къ двери. За нею вышли докторъ и Помада.

У самаго берега Лиза остановилась и, обратясь къ кандидату, сказала:

— Ахъ, Юстинъ Феликсовичъ, вернитесь, пожалуйста, попросите мнѣ у Женни большой платокъ, — сыро что-то на водѣ.

Помада пустился бѣгомъ въ калитку, а Лиза, вспрыгнувъ въ лодку, сказала:

— Гребите.

— А Помада?

— Гребите,—отвѣчала Лиза.

Докторъ ударилъ веслами, и лодочка быстро понеслась по теченію, безпрестанно шурша выпуклыми бортами о прибрежный тростникъ извилистой Саванки.

— Гу-гу-гу-у-ой-іой-іой! — далеко уже за лодкою простоналъ овражный пугачъ, а лодка все неслась по те-

ченію и тишина окружающей ее ночи не нарушалась ни однимъ звукомъ, кромѣ мѣрныхъ ударовъ веселъ и тонкаго серебрянаго плеска отъ падающихъ вслѣдъ за ударомъ брызговъ.

Доѣхавъ до лѣса, Лиза сказала:

— Вернемтесь.

Докторъ залаптилъ лѣвымъ весломъ и, повернувъ лодку, сталъ гресть противъ воды съ удвоенною силою.

На небѣ уже довольно высоко проглянула луна. Она играла по мелкой ряби бѣгущей рѣчки и сквозь воду эффектно освѣщала безчисленныя мели, то покрытыя водорослями, то тѣневыми наслоеніями струистаго ила.

Лицо доктора было въ тѣни, лицо же Лизы было ярко освѣщено полною луною.

— Докторъ!—позвала Лиза послѣ долгаго молчанія.

— Что̀ прикажете, Лизавета Егоровна? — отозвался Розановъ.

— Я хочу съ вами поговорить.

Розановъ гребъ и ничего не отвѣтилъ.

— Я хочу говорить съ вами о васъ самихъ,—пояснила Лиза.

Отвѣта снова не было, но усиленный ударъ гребца сказалъ за него: «да, я такъ и думалъ».

— Вы слушаете, по крайней мѣрѣ?—спросила Лиза.

— Я все слышалъ.

— Что, вамъ очень хочется пропасть тутъ? Вѣдь такъ жить нельзя, какъ вы живете...

— Я это знаю.

— Или по-вашему выходитъ, что еще можно?

— Нѣтъ, я знаю, да только...

— Что только?

— Дѣться некуда.

— Ну, это другой вопросъ. Прежде всего вы глубоко убѣждены въ томъ, что *такъ* жить, какъ *вы* живете, *при вашей обстановкѣ* и при вашемъ характерѣ, жить невозможно?

— Позвольте, Лизавета Егоровна...—послѣ короткой паузы началъ было докторъ; но Лиза его прервала.

— Вы хотите потребовать отъ меня отчета, по какому праву я завела съ вами этотъ разговоръ? По такому же

точно праву, по какому вы помѣшали мнѣ когда-то ночевать въ нетопленомъ домѣ.

— Да нѣтъ, напрасно вы объ этомъ говорите. Я совсѣмъ не о томъ хотѣлъ спросить васъ.

— О чемъ же?

— О томъ, что если вы намѣрены коснуться въ вашихъ словахъ извѣстнаго вамъ скандальнаго событія, то, умоляю васъ, имѣйте ко мнѣ жалость,—оставьте это намѣреніе.

— Фуй! Съ чего это вы взяли? Какъ будто это пошлое событіе само по себѣ имѣетъ такую важность...

— Скандалъ.

— Дѣло не въ скандалѣ, а въ томъ, что вы пропадаете, тогда какъ, мнѣ кажется... я, можетъ-быть, и ошибаюсь, но, во всякомъ случаѣ, *мнѣ кажется*, что вы еще можете быть очень полезны.

— Я разбитъ совсѣмъ.

— Для этого-то и нужно, чтобы вы были нѣсколько въ лучшемъ положеніи; чтобы вы были спокойнѣе, счастливѣе: чтобы ваша жизнь наполнялась чѣмъ-нибудь годнымъ.

— Моя жизнь прошла.

— Ну, это хандра и ничего болѣе.

— Нѣтъ ужъ... Энергія моя пропала.

— Тѣмъ настоятельнѣе нужно спасаться.

— Какъ? гдѣ спасаться? отъ кого? Отъ домашнихъ враговъ спасенья нѣтъ.

— Какой вы вздоръ говорите, докторъ! Вы сами себѣ первый врагъ.

— А отъ себя не уйдешь, Лизавета Егоровна.

— Ну, значитъ, и говорить не о чемъ, — вспыльчиво сказала Лиза, и на ея эффектно освѣщенномъ луною молодомъ личикѣ по мѣстамъ намѣтились черты матери Агніи.

— Чортъ знаетъ, что̀ это, въ самомъ дѣлѣ, за проклятіе лежитъ надъ людьми этой благословенной страны! — проговорила она сама къ себѣ послѣ нѣкотораго раздумья.

Она сердилась на неловкій оборотъ, данный разговору, и насупилась. Докторъ, не разъ опускавшій весла при разговорѣ, сталъ гресть съ удвоеннымъ стараніемъ.

Проѣхавъ оврагъ, Лиза сказала совсѣмъ другимъ тономъ:

— Мнѣ все равно, что̀ вы сдѣлаете изъ моихъ словъ, но я хочу сказать вамъ, что вы непремѣнно и какъ можно скорѣе должны уѣхать отсюда. Ступайте въ Москву, въ

Петербургъ, въ Парижъ, куда хотите, но не оставайтесь здѣсь. Вы здѣсь скоро... потеряете даже способность сближаться.

— Я не могу никуда уѣхать.

— Отчего это?

— Мнѣ жаль ребенка.

— А при васъ хорошо ребенку?

— Все-таки лучше.

— Старайтесь устроить ребенка, ищите каѳедры, защищайте диссертацію.

— Мнѣ и ее жаль.

— Кого?

— Ее... жену.

Лиза сдѣлала презрительную гримасу и сказала:

— Это даже смѣшно, Дмитрій Петровичъ.

— Да, я знаю, что смѣшно и даже, можетъ быть, глупо.

— Можетъ быть,—отвѣчала Лиза.

— Что-жъ дѣлать?

— Уѣхать, работать, оставить ее въ покоѣ, заботиться о дѣвочкѣ. Другой міръ, другіе люди, другая обстановка, все это васъ оживитъ. Стыдитесь, Дмитрій Петровичъ! Вы хуже Помады, котораго вы распекаете. Вмѣсто того, чтобы выбиваться, вы грязнете, тонете, пьете водку... фуй!

Докторъ опустилъ весла и закрылъ лицо.

— Вы, кажется, плачете?—спросила Лиза.

— Плачу,—спокойно отвѣчалъ докторъ.

— Это ужъ изъ рукъ вонъ! Что, наконецъ, васъ такъ мучаетъ? Докторъ, докторъ! неужели и вы уже стали ничтожествомъ и въ васъ заглохло все человѣческое?

Розановъ долго молчалъ и разомъ спокойно поднялъ голову.

— Что?—спросила глядѣвшая на него Лиза.

— Вы правы.

— Такъ ступайте же, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— У меня нѣтъ денегъ.

— Это вздоръ. У меня есть около двухсотъ рублей моихъ собственныхъ и вы меня обидите, если не возьмете ихъ у меня взаймы.

— Нѣтъ, не возьму.

— Я вамъ сказала, что вы меня обидите и лишите права принять со временемъ отъ васъ, можетъ-быть, большую

услугу.—Такъ уѣдете?—спросила она, вставая, когда лодка причаливала къ берегу.

— Уѣду,—рѣшительно отвѣчалъ Розановъ.

— Ваше слово.

— Да.

На берегу показался Помада, сидящій съ свернутымъ большимъ платкомъ на колѣняхъ.

— И еще...—сказала Лиза тихо и не смотря на доктора: — еще... не пейте, Розановъ. Работайте надъ собой и вы объ этомъ не пожалѣете: все будетъ, все прійдетъ, и новая жизнь, и чистыя заботы, и новое счастье. Я меньше васъ вижу, но удивляюсь, какъ это вы можете не видѣть ничего впереди.

Сказавъ это, Лиза оперлась на руку Помады и, дойдя съ нимъ молча до крыльца, прошла тихонько въ комнату Женни.

Докторъ отправился-было домой, но Вязмитиновъ и Гловацкій, высунувшись изъ окна, упросили его зайти.

Въ залѣ опять былъ Зарницынъ, неожиданно возвратившійся съ нѣсколькими бутылками шампанскаго, которыя просилъ у Гловацкаго позволенія распить.

Общество было на-веселѣ и продолжалась картежная игра.

Сафьяносъ либеральничалъ съ Зарницынымъ и, по временамъ, обращаясь къ Помадѣ, говорилъ:

— Вы, господинъ Помада, подумайте о васемъ слузэніи. Я вамъ ввѣряю постъ, господинъ Помада, вы долзны руководить дѣтей къ цести: тэпэрь такое время.

— Именно такое время,—подтверждалъ Зарницынъ.

Докторъ сѣлъ у стола, и семинаристъ философскаго класса, взглянувъ на Розанова, могъ бы написать отличную задачку о внутреннемъ и внѣшнемъ человѣкѣ. Здѣсь былъ только зоологическій Розановъ, а былъ еще гдѣ-то другой, безплотный Розановъ, который леталъ то около дѣтской кроватки съ голубымъ ситцевымъ занавѣсомъ, то около постели, на которой спала женщина съ расходящимися бровями, дерзостью и эгоизмомъ на недурномъ, но искаженномъ злостью лицѣ, то бродилъ по необъятной пустынѣ, ловя какой-то неясный женскій образъ, возлѣ котораго ему хотѣлось упасть, зарыдать, выплакать свое горе и, вставши по одному слову на ноги, начать на-ново жизнь сознательную, съ безтрепетнымъ концомъ въ пятомъ актѣ драмы.

А зоологическій Розановъ машинально наливалъ себѣ пятый стаканъ хересу и молча сидѣлъ, держа на рукахъ свою отяжелѣвшую голову.

Когда далеко летавшій Розановъ возвратился въ себя, онъ не узналъ своего жилища: тамъ былъ чадъ, сквозь который все представлялось какъ-то безобразно и чувствовалась неудержимая потребность лично вмѣшаться въ это безобразіе и сдѣлать еще безобразнѣе.

— Стуо мнѣ! стуо мнѣ моздно сдѣлать! — восклицалъ Сафьяносъ, многозначительно засосавъ губу: — у мэнэ есть свой король, свое правительство. Я всегда могу писать король Оттонъ. Стуо мнэ! Наса сторона, хоросая сторона.

— У васъ маслины все ѣдятъ,—замѣтилъ Розановъ.

— Да. У насъ усе, усе растетъ. У насъ рыба усякая, камбола такая, съ изюмомъ.

— Больше все однѣ маслины жрутъ съ прованскимъ масломъ.

— Да, и барабанское масло, и мазулины, усе у насъ, въ насей сторонѣ. Я сицасъ могу туда ѣхать. Я слузылъ въ балаклавская баталіонъ, но сицасъ могу ѣхать. Я имѣю цинъ и мундиръ, но сицасъ могу ѣхать.

— Тамъ на тебя юбку надѣнутъ, — вставилъ Розановъ и засмѣялся.

Сафьяносъ обидѣлся, хозяинъ и гости стѣснились отъ этой неожиданной фамильярности.

— У насъ каздый человѣкъ усигда мозэтъ...

— Юбка носить, ха, ха, ха. Вотъ, господа, хорошъ онъ будетъ въ юбкѣ! Пузаноста, поѣзжай, братъ, въ своя сторона. Пузаносто, ха, ха, ха!

Докторъ совсѣмъ опьянѣлъ.

Вязмитиновъ всталъ, взялъ его подъ руку и тихо вышелъ съ нимъ въ библіотеку Петра Лукича, гдѣ Розановъ скоро и заснулъ на одномъ изъ дивановъ.

Сафьяносъ понялъ, что сближеніе, сдѣланное имъ экспромптомъ, можетъ его компрометировать и, понюхавъ табаку, сталъ сбираться въ гостиницу. Петръ Лукичъ все извинялся и намѣренъ былъ идти извиняться завтра, но сконфуженный Сафьяносъ тотчасъ же, придя домой, послалъ за лошадьми и уѣхалъ, забывъ даже о своемъ намѣреніи повидаться съ Бахаревымъ. Къ конфузу, полученному имъ по милости Розанова, присоединился новый конфузъ. Снимая

съ себя мундирный фракъ, Сафьяносъ нашелъ въ лѣвомъ заднемъ карманѣ пачку литографированной пѣсни, пять тоненькихъ брошюрочекъ и проектъ адреса о дарованіи правъ самоуправленія, и проч. Сафьяносъ обомлѣлъ отъ этой находки. Сначала онъ хотѣлъ все это тотчасъ же уничтожить, но потомъ, раздумавъ, сунулъ все въ чемоданъ и уѣхалъ размышляя: откуда бы это взялось въ его карманѣ? Ревизоръ не пришелъ ни къ какой опредѣленной догадкѣ, потому что онъ не надѣвалъ мундира со дня своего выѣзда изъ университетскаго города, и въ день своего отъѣзда таскался въ этомъ мундирѣ по самымъ различнымъ мѣстамъ. Но болѣе всѣхъ его подозрѣнія все-таки вертѣлись около Саренки, который держалъ себя такъ таинственно и очень близко къ нему подсаживался. Саренко, нашедши точно такой же кладъ въ своемъ карманѣ, рѣшилъ, что это ему сунулъ ревизоръ и что, значитъ, вѣетъ другой вѣтеръ и приходитъ пора запѣвать другія пѣсни. Онъ измѣнился къ Зарницыну, и по задумчивости Петра Лукича отгадалъ, что и тотъ, послѣ ухода Сафьяноса, вернулся въ свою комнату не съ пустымъ карманомъ. Саренко тщательно спряталъ свою находку и хранилъ строгое молчаніе. Петръ Лукичъ тоже ни о чемъ подобномъ не говорилъ, но изъ губернскаго города дошли слухи, что на пикникѣ всѣмъ гостямъ въ карманы наклали запрещенныхъ сочиненій и даже сунули ихъ нѣсколько экземпляровъ пріѣзжему ученому чиновнику. Сафьяносъ роздалъ всѣ свои экземпляры губернскому бомонду.

— Стоуо-то такое дазе въ воздухѣ носится, — заключалъ онъ, потягивая своимъ греческимъ носомъ.

Вслѣдъ за нимъ въ городѣ началось списыванье и толки о густой сѣти революціонныхъ агентовъ.

Вязмитиновъ, проводя Сафьяноса, вернулся за докторомъ.

Розановъ всталъ, пошатнулся, потомъ постоялъ немножко, закрылъ глаза и, безцеремонно отбросивъ руку Вязмитинова, твердо пошелъ домой по пыльной улицѣ.

— Боже мой! никогда нѣтъ покоя отъ этого негодяя! — пронеслось у него надъ ухомъ, когда онъ проходилъ на цыпочкахъ мимо спальни жены.

— Вы даже скоро дойдете до того, что обижаться перестанете,—прозвучалъ ему другой голосъ, и докторъ, вздохнувъ, повалился на свой продавленный диванъ.

Лиза въ это время все еще лежала съ открытыми глазами и думала: —«нѣтъ, такъ нельзя. Гдѣ же нибудь да есть люди!»

Черезъ два дня она опять заѣхала къ Женни и сказала, что ей нездоровится, позвала Розанова, поговорила съ нимъ нѣсколько минутъ и опять уѣхала.

А затѣмъ начинается пробѣлъ, который объяснится слѣдующею главою.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Великое переселеніе народовъ и вообще глава, резюмирующая первую книгу.

Обширная пойма, на которую выходили два окна залы Гловацкихъ, снова была покрыта бѣлымъ, пушистымъ снѣгомъ, и просвирнина гусыня снова растаскивала за ноги посѣдѣвшихъ гренадеровъ.

Въ домѣ смотрителя всѣ ходили на цыпочкахъ и говорили вполголоса. Петръ Лукичъ былъ очень трудно боленъ.

Стоялъ сумрачный декабрьскій день и порошилъ снѣгъ; на дворѣ было два часа.

Женни, по обыкновенію, сидѣла и работала у окна. Глаза у нея были наплаканы до-красна и даже нѣсколько припухли.

Въ дверь, запертую изнутри передней, послышался легкій, осторожный стукъ. Женни встала, утерла глаза и отперла переднюю.

Вошелъ Вязмитиновъ.

— Что?—спросилъ онъ, снимая пальто.

— Ничего: все то же самое, — отвѣчала Женни и тихо пошла къ своему столику.

— Папа не спалъ всю ночь и теперь уснулъ очень крѣпко,—сказала Женни, не поднимая глазъ отъ работы.

— Это хорошо. А докторъ былъ сегодня?

— Нѣтъ не былъ; да что, онъ кажется...

— Ничего не понимаетъ, вы хотите сказать?

— Не знаю, и вообще онъ какъ-то не внушаетъ къ себѣ довѣрія. Папа тоже на него не полагается. Вчера съ вечера онъ все бредилъ, звалъ Розанова.

— Да, теперь Розанова поневолѣ вспомнишь.

— Его всегда вспомнишь, не только теперь. Вы давно не получали отъ него извѣстія?

— Давно. Я всего только два письма имѣлъ отъ него

съ себя мундирный фракъ, Сафьяносъ нашелъ въ лѣвомъ заднемъ карманѣ пачку литографированной пѣсни, пять тоненькихъ брошюрочекъ и проектъ адреса о дарованіи правъ самоуправленія, и проч. Сафьяносъ обомлѣлъ отъ этой находки. Сначала онъ хотѣлъ все это тотчасъ же уничтожить, но потомъ, раздумавъ, сунулъ все въ чемоданъ и уѣхалъ размышляя: откуда бы это взялось въ его карманѣ? Ревизоръ не пришелъ ни къ какой опредѣленной догадкѣ, потому что онъ не надѣвалъ мундира со дня своего выѣзда изъ университетскаго города, и въ день своего отъѣзда таскался въ этомъ мундирѣ по самымъ различнымъ мѣстамъ. Но болѣе всѣхъ его подозрѣнія все-таки вертѣлись около Саренки, который держалъ себя такъ таинственно и очень близко къ нему подсаживался. Саренко, нашедши точно такой же кладъ въ своемъ карманѣ, рѣшилъ, что это ему сунулъ ревизоръ и что, значитъ, вѣетъ другой вѣтеръ и приходитъ пора запѣвать другія пѣсни. Онъ измѣнился къ Зарницыну, и по задумчивости Петра Лукича отгадалъ, что и тотъ, послѣ ухода Сафьяноса, вернулся въ свою комнату не съ пустымъ карманомъ. Саренко тщательно спряталъ свою находку и хранилъ строгое молчаніе. Петръ Лукичъ тоже ни о чемъ подобномъ не говорилъ, но изъ губернскаго города дошли слухи, что на пикникѣ всѣмъ гостямъ въ карманы наклали запрещенныхъ сочиненій и даже сунули ихъ нѣсколько экземпляровъ пріѣзжему ученому чиновнику. Сафьяносъ роздалъ всѣ свои экземпляры губернскому бомонду.

— Стоуо-то такое дазе въ воздухѣ носится, — заключалъ онъ, потягивая своимъ греческимъ носомъ.

Вслѣдъ за нимъ въ городѣ началось списыванье и толки о густой сѣти революціонныхъ агентовъ.

Вязмитиновъ, проводя Сафьяноса, вернулся за докторомъ.

Розановъ всталъ, пошатнулся, потомъ постоялъ немножко, закрылъ глаза и, безцеремонно отбросивъ руку Вязмитинова, твердо пошелъ домой по пыльной улицѣ.

— Боже мой! никогда нѣтъ покоя отъ этого негодяя! — пронеслось у него надъ ухомъ, когда онъ проходилъ на цыпочкахъ мимо спальни жены.

— Вы даже скоро дойдете до того, что обижаться перестанете,—прозвучалъ ему другой голосъ, и докторъ, вздохнувъ, повалился на свой продавленный диванъ.

Лиза въ это время все еще лежала съ открытыми глазами и думала: —«нѣтъ, такъ нельзя. Гдѣ же нибудь да есть люди!»

Черезъ два дня она опять заѣхала къ Женни и сказала, что ей нездоровится, позвала Розанова, поговорила съ нимъ нѣсколько минутъ и опять уѣхала.

А затѣмъ начинается пробѣлъ, который объяснится слѣдующею главою.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Великое переселеніе народовъ и вообще глава, резюмирующая первую книгу.

Обширная пойма, на которую выходили два окна залы Гловацкихъ, снова была покрыта бѣлымъ, пушистымъ снѣгомъ, и просвирнина гусыня снова растаскивала за ноги посѣдѣвшихъ гренадеровъ.

Въ домѣ смотрителя всѣ ходили на цыпочкахъ и говорили вполголоса. Петръ Лукичъ былъ очень трудно боленъ.

Стоялъ сумрачный декабрьскій день и порошилъ снѣгъ; на дворѣ было два часа.

Женни, по обыкновенію, сидѣла и работала у окна. Глаза у нея были наплаканы до-красна и даже нѣсколько припухли.

Въ дверь, запертую изнутри передней, послышался легкій, осторожный стукъ. Женни встала, утерла глаза и отперла переднюю.

Вошелъ Вязмитиновъ.

— Что?—спросилъ онъ, снимая пальто.

— Ничего: все то же самое, — отвѣчала Женни и тихо пошла къ своему столику.

— Папа не спалъ всю ночь и теперь уснулъ очень крѣпко,—сказала Женни, не поднимая глазъ отъ работы.

— Это хорошо. А докторъ былъ сегодня?

— Нѣтъ не былъ; да что, онъ кажется...

— Ничего не понимаетъ, вы хотите сказать?

— Не знаю, и вообще онъ какъ-то не внушаетъ къ себѣ довѣрія. Папа тоже на него не полагается. Вчера съ вечера онъ все бредилъ, звалъ Розанова.

— Да, теперь Розанова поневолѣ вспомнишь.

— Его всегда вспомнишь, не только теперь. Вы давно не получали отъ него извѣстія?

— Давно. Я всего только два письма имѣлъ отъ него

изъ Москвы; одно вскорѣ послѣ его отъѣзда, такъ въ концѣ сентября, а другое въ октябрѣ; онъ на мое имя выслалъ дочери какія-то бездѣлушки.

— А вы ему давно писали?

— Тоже давно.

— Зачѣмъ же вы не пишете?

— Да о чемъ писать-то, Евгенія Петровна?

Разговоръ на нѣсколько минутъ прекратился.

— Я тоже давно не имѣю о немъ никакого извѣстія: Лиза и о себѣ почти ничего не пишетъ.

— Что̀ она, въ самомъ дѣлѣ, тамъ дѣлаетъ? Вѣдь навѣрное же докторъ у нихъ бываетъ.

— Богъ ихъ знаетъ. Я знаю только одно, что мнѣ очень жаль Лизу.

— И кто бы могъ думать?..—проговорила про себя Женни послѣ нѣкоторой паузы.—Кто бы могъ думать, что все пойдетъ такъ какъ-то... Странно какъ идетъ нынче жизнь!

— Каждому, Евгенія Петровна, его жизнь кажется и странною, и трудною.

— Ну, нѣтъ. Всѣ говорятъ, что нынче какъ-то все пошло скорѣе, что ли, или тревожнѣе.

— Старымъ людямъ всегда представляется, что въ ихъ время все было какъ-то умнѣе и лучше. Конечно, у всякаго времени свои стремленія и свои заботы: климатъ и тотъ мѣняется. Но только во всемъ, что̀ произошло около насъ съ тѣхъ поръ, какъ вы дома, я не вижу ничего, что было бы изъ ряда вонъ. Зарницынъ женился на Кожуховой, — это дѣло самое обыкновенное. Мужъ ея умеръ, она стала увядать, исторія съ княземъ стала ей надоѣдать, а Зарницынъ молодъ, хорошъ, говорить умѣетъ, отчего жъ ей было не женить его на себѣ? Бахаревы уѣхали въ Москву, да отчего жъ имъ было и не ѣхать туда, имѣя деньги и дочерей-невѣстъ? Розановъ уѣхалъ потому, что тутъ ужъ его совсѣмъ дошли.

— То-то все и странно. Зарницынъ все толковалъ о свободѣ дѣйствій, о трудѣ и женился такъ, какъ-то...

— Не безпокойтесь о немъ: онъ очень счастливъ и либералъ еще болѣе, чѣмъ когда-нибудь. Что жъ ему? Кожухова еще и теперь очень мила, деньги есть, вездѣ приняты. Бахаревы...

— Я о нихъ не говорю,—осторожно предупредила Женни.

— Ну, а доктору нельзя было оставаться.

— Отчего же нельзя? развѣ, думаете, ему тамъ лучше?

— Конечно, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Тутъ было все: и недостатки, и необходимость пользоваться источниками доходовъ, которые ему всегда были гадки, и вражда внѣ дома, и вражда въ домѣ: вѣдь это каторга! Я не знаю, какъ онъ до сихъ поръ терпѣлъ.

— Странная его барыня,—проговорила Женни.

— Да-съ, это звѣздочка! Сколько она скандаловъ надѣлала, Боже ты мой! То убѣжитъ къ отцу, то къ сестрѣ; перевозитъ да переноситъ по городу свои вещи. То расходится, то сходится. Люди, которымъ Розановъ сапогъ бы своихъ не далъ чистить, вонъ, напримѣръ, какъ Саренкѣ, благодаря ей, хозяйничали въ его домашней жизни, давали совѣты, читали ему нотаціи. Развѣ это можно вынести?

— Да что, она не любитъ, что ли?

— А Богъ ее вѣдаетъ! Ее никакъ разобрать нельзя. Ее вѣдь если разспросить по совѣсти, такъ она и сама не знаетъ, изъ-за чего у нея сыръ-боръ горитъ.

— Не хотятъ уступить другъ другу. Ему бы ужъ поравнодушнѣй смотрѣть на нее, что ли?

— Да вѣдь нельзя же, Евгенія Петровна, чтобъ онъ одобрялъ ея чудотворства. Чужимъ людямъ это случай свои гуманныя словеса въ ходъ пустить, а вѣдь ему они больны.

— Да, это правда, — проронила съ сожалѣніемъ Женни и замѣтила послѣ короткой паузы:—а все-таки она жалка.

— Ни капли она мнѣ не жалка.

Женни покачала неодобрительно головою.

— Право,—подтвердилъ Вязмитиновъ:—что̀ тутъ жалѣть палача. Скверная должность, да вѣдь сама такую выбрала.

— Вы думаете—она злая?

— Прежде я этого не думалъ, а теперь утверждаю, что она женщина злая.

- И какъ же онъ ее именно выбралъ?

— Что выбралъ, Евгенія Петровна! Русскій человѣкъ зачастую сапоги покупаетъ осмотрительнѣе, чѣмъ женится. А вы то скажите, что вѣдь Розановъ молодъ и для него возможны не безнадежныя привязанности, а вотъ, сколько лѣтъ его знаемъ, въ этомъ родѣ ничего похожаго у него не было.

Женни промолчала.

— Вы не припомните, Николай Степановичъ, когда докторъ сталъ собираться ѣхать въ Москву?—спросила Женни послѣ долгой паузы.

— Не помню, право. Да онъ и не собирался, а какъ-то разомъ въ одинъ день уѣхалъ.

— Это было послѣ того, какъ пріѣзжала сюда Лиза и говорила, что братъ Ольги Сергѣевны выписываетъ ихъ въ Москву.

— Не помню, право. У меня плохая память, да я и не видалъ никакой связи въ этихъ событіяхъ.

— И я тоже... Я только такъ спросила.

— Я не замѣтилъ, какъ это все разсыпалось и мы съ вами остались одни.

— Да,—задумчиво произнесла Женни.

— Вамъ говорилъ Помада, что и онъ собирается въ Москву?

— Говорилъ,—отвѣчала спокойно Женни.

— Сидѣлъ, сидѣлъ сиднемъ въ Меревѣ, а тутъ разошелся,—замѣтилъ Вязмитиновъ.

Гловацкій кашлянулъ въ своемъ кабинетѣ.

Женни встала, подошла на цыпочкахъ къ его двери, послушала и черезъ пять минутъ возвратилась и снова сѣла на свое мѣсто.

Въ комнатѣ было совершенно тихо.

Женни дошила нитку, вдернула другую и, взглянувъ на Вязмитинова, стала шить снова.

Вязмитиновъ долго сидѣлъ и молчалъ, не сводя глазъ съ Женни.

— Въ самомъ дѣлѣ, я какъ-то ничего не замѣчалъ, — началъ онъ, какъ бы разговаривая самъ съ собою.—Я видѣлъ только себя, и ни до кого остальныхъ мнѣ не было дѣла.

Женни спокойно шила.

— Въ жизни каждаго человѣка хоть разъ бываетъ такая пора, когда онъ бываетъ эгоистомъ,—продолжалъ Вязмитиновъ тѣмъ же тономъ, нѣсколько сконфуженно и робко.

— Не должно быть такой поры,—замѣтила Женни.

— Когда человѣкъ... когда человѣку... одно существо начинаетъ замѣнять весь міръ, въ его головѣ и сердцѣ нѣтъ мѣста для этого міра.

— Это очень дурно.

— Но это всегда такъ бываетъ.

— Можетъ быть и не всегда. Почему вы можете знать, что происходитъ въ чужомъ сердцѣ? Вы можете говорить только за себя.

Вязмитиновъ порывисто всталъ и хотѣлъ ходить по комнатѣ.

Женни остановила его среди залы, сказавъ:

— Сядьте, пожалуйста, Николай Степановичъ; папа очень чутко спитъ, его могутъ разбудить ваши шаги, а это ему вредно.

— Простите, Бога ради,—сказалъ Вязмитиновъ и снова сѣлъ противъ хозяйки.

— Евгенія Петровна!—началъ онъ, помолчавъ.

— Что?—спросила, взглянувъ на него, Женни.

— Я васъ давно хотѣлъ спросить...

— Спрашивайте.

— Вы мнѣ будете отвѣчать искренно, откровенно?

— Franchement? — спросила Женни съ легкой улыбкой, которая мелькнула по ея лицу и тотчасъ же уступила мѣсто прежнему грустному выраженію.

— Нѣтъ, вы не смѣйтесь. То, о чемъ я хочу спросить васъ, для меня вовсе не смѣшно, Евгенія Петровна. Здѣсь дѣло идетъ о счастьѣ цѣлой жизни.

Женни слегка смутилась и сказала:

— Говорите.

А сама нагнулась къ работѣ.

— Я хотѣлъ вамъ сказать... и я не вижу, зачѣмъ мнѣ молчать далѣе... Вы сами видите, что... я васъ люблю.

Женни покраснѣла какъ маковъ цвѣтъ, еще пристальнѣе потупила глаза въ работу, и игла быстро мелькала въ ея ручкѣ.

— Я люблю васъ, Евгенія Петровна, — повторилъ Вязмитиновъ: — я хотѣлъ бы быть вашимъ другомъ и слугою на цѣлую жизнь... Скажите же, скажите одно слово!

— Какое вы странное время выбрали! — могла только выговорить совершенно смущенная Женни.

— Развѣ не все равно время?

— Нѣтъ, не все равно: мой отецъ боленъ, можетъ-быть опасенъ, и вы въ такую минуту вызываете меня на отвѣтъ о... личныхъ чувствахъ. Я теперь должна заботиться объ отцѣ, а не... о чемъ другомъ.

— Но развѣ я не заботился бы съ вами о вашемъ отцѣ

и о васъ? Вашъ отецъ давно знаетъ меня, вы тоже знаете, что я люблю васъ.

Гловацкая не отвѣчала.

— Евгенія Петровна!—началъ опять еще покорнѣе Вязмитиновъ: — я вѣдь ничего не прошу: я только хотѣлъ бы услышать изъ вашихъ устъ одно, *одно* слово, что вы не оттолкнете моего чувства.

— Я васъ не отталкиваю,—прошептала Женни, и на ея шитье скатились двѣ чистыя слезки.

— Такъ вы любите меня? — счастливо спросилъ Вязмитиновъ.

— Какъ вамъ нужны слова!—прошептала Женни и, закрывъ платкомъ глаза, быстро ушла въ свою комнату.

Петру Лукичу послѣ покойнаго сна было гораздо лучше. Онъ сидѣлъ въ постели, обложенный подушками, и пилъ потихоньку воду съ малиновымъ сиропомъ. Женни сидѣла возлѣ его кровати; на столикѣ горѣла свѣча подъ зеленымъ абажуромъ.

Въ восемь часовъ вечера пришелъ Вязмитиновъ.

— Вотъ, Евгенія Петровна,—началъ онъ послѣ перваго привѣтствія:—Розановъ-то нашъ легокъ на поминѣ. Только поговорили о немъ сегодня, прихожу домой, а отъ него письмо.

— Что жъ онъ пишетъ вамъ? — спросила Женни, нѣсколько конфузясь того, о чемъ сегодня говорили.

— Ему прекрасно: онъ опредѣлился ординаторомъ въ очень хорошую больницу, работаетъ, готовитъ диссертацію, и тамъ въ больницѣ и живетъ. Кромѣ того перезнакомился тамъ съ разными знаменитостями, съ литераторами, съ артистами. Его очень обласкала извѣстная маркиза де-Бараль; она очень извѣстная, очень просвѣщенная женщина. Ну, и другія около нея, все ужъ такъ сгруппировано, конечно. И въ другихъ кружкахъ, говоритъ, встрѣтилъ отличныхъ людей, честныхъ, энергическихъ. Удивляюсь, говоритъ, какъ я могъ такъ долго вязнуть и гнить въ этомъ болотѣ.

— Ну, это для насъ, куликовъ-то, небольшой комплиментъ,—проговорилъ слабымъ голосомъ больной старикъ.

— А о Лизѣ онъ ничего не пишетъ? — спросила уже смѣлѣе Женни.

— Пишетъ, что видѣлся съ нею и со всѣми, но далеко, говоритъ, живу, и дѣла много.

— Что-жъ это за маркиза де-Бараль?

— Это извѣстность.

— Молодая она женщина?

— Нѣтъ, судя по тому, сколько лѣтъ ее знаютъ всѣ, она должна быть очень немолодая: ей, я думаю, лѣтъ около пятидесяти.

Прошли святки и время уже подходило къ масленицѣ.

Былъ опять вечеръ.

Гловацкій обмогался; онъ сидѣлъ на постели и перетиралъ деревянною ложечкою свой нюхательный табакъ на синемъ чайномъ блюдцѣ, а Женни сидѣла у свѣчки съ зеленымъ абажуромъ и читала вслухъ книгу.

Вязмитиновъ вошелъ, поздоровался и сказалъ:

— Знаете, какая новость? Идучи къ вамъ, встрѣтился съ madame Розановой, и она мнѣ возвѣстила, что ѣдетъ надняхъ къ мужу.

— Въ Москву? — спросили въ одно слово смотритель и его дочь.

— Что-жъ это будетъ?—спросила Женни, поднеся къ губамъ тоненькій мизинецъ своей ручки.

— Да, любопытенъ бы я былъ, какъ выражается Саренко, видѣть, что̀ тамъ теперь сотворится въ Москвѣ?—произнесъ съ улыбкою Вязмитиновъ.

По мнѣнію Женни, шутливый тонъ не долженъ былъ имѣть мѣста при этомъ разговорѣ, и она, подвинувъ къ себѣ свѣчки, начала вслухъ прерванное чтеніе новаго тома русской исторіи Соловьева.

Въ Москву, читатель.

КНИГА ВТОРАЯ.

ВЪ МОСКВѢ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Дальнее мѣсто.

Даже въ такія зимы, когда овесъ въ Москвѣ бывалъ по два съ полтиной за куль, навѣрно никому не удавалось нанять извозчика въ Лефортово дешевле, какъ за тридцать копеекъ. Въ Москвѣ ужъ какъ-то укрѣпилось такое убѣжденіе, что Лефортово есть самое дальнее мѣсто *отовсюду*.

Авторъ «*Капризовъ и Раздумья*» позволяетъ себѣ настаивать на томъ, что на землѣ нѣтъ ни одного далекаго мѣста, которое не было бы откуда-нибудь близко. Можно полагать, что выводъ этотъ не лишенъ своей доли основательности, потому что если бы его можно было опровергнуть на основаніи общихъ данныхъ, то ужъ это давно не преминули бы сдѣлать наши ученые. Но въ разсужденіи Лефортова выводъ этотъ перестаетъ имѣть общее значеніе. По крайней мѣрѣ, онъ не можетъ имѣть этого значенія для непосредственной Москвы, въ которой до Лефортова рѣшительно *отовсюду* далеко.

Въ одно погожее августовское утро, по улицамъ, прилегающимъ къ самому Лефортовскому дворцу, шелъ нашъ знакомый докторъ Розановъ. По медленности, съ которою онъ разсматривалъ оригинальный фасадъ стараго дворца и читалъ нѣкоторыя надписи на воротахъ домовъ, можно бы подумать, что онъ гуляетъ отъ нечего дѣлать, или ищетъ квартиры.

Постоявъ передъ дворцомъ, онъ повернулъ въ длинную улицу налѣво и опять сталъ читать приклеенныя у воротъ бумажки. Одною изъ нихъ объявлялось, что «сдесь отдаюца чистые, сухіе углы съ жильцами», другою, что «отдаеца большая кухня въ видѣ комнаты у Авдотьи Аликсѣвны, спросить у прачку» и т. п. Наконецъ, надъ одною калиткой докторъ прочелъ: «Слѣдственный приставъ».

Докторъ вынулъ изъ кармана записную книжку, взглянулъ на сдѣланную тамъ замѣтку, потомъ посмотрѣлъ на домъ, на табличку и вошелъ во дворъ.

Домъ этотъ былъ похожъ на многіе дома лефортовской части. Онъ былъ деревянный, на каменномъ полуэтажѣ. По улицѣ онъ выходилъ въ пять оконъ, во дворъ въ четыре, съ подъѣздомъ сбоку. Каменный полуэтажъ былъ густо выбѣленъ мѣломъ, а деревянный верхъ выкрашенъ грязновато-желтою охрой.

Надъ дверью деревяннаго подъѣзда опять была дощечка съ надписью: «Слѣдственный приставъ»; въ нижній этажъ вело особое крылечко, устроенное посрединѣ задней части фасада. Налѣво былъ низенькій флигелекъ въ три окна, но съ двумя крыльцами. По ушатамъ, стоявшимъ на этихъ крыльцахъ, можно было догадаться, что это кухни. Далѣе шелъ длинный дровяной сарайчикъ, примкнутый къ сосѣдскому забору, и собачья конура съ круглымъ лазомъ.

Тощая цѣпная собака, завидя Розанова, громыхнула цѣпью, выскочила и залаяла.

Докторъ дернулъ за веревочку у подъѣзда съ надписью: «Слѣдственный приставъ».

Черезъ минуту крючокъ упалъ и въ растворенной двери Розановъ увидѣлъ очень хорошенькую и очень чисто одѣтую семилѣтнюю дѣвочку съ кудрявой русой головкой и съ ямками на розовыхъ щечкахъ.

— Что вамъ надо?—шепелявя, спросилъ ребенокъ.

— Пристава мнѣ нужно видѣть,—отвѣчалъ докторъ.

— Папа одѣваются.

— Пожалуйте, пожалуйте, Евграфъ Ѳедоровичъ сейчасъ выйдутъ,—крикнулъ сверху веселый женскій голосъ изъ разряда свойственныхъ молодымъ москвичкамъ пріятныхъ, хотя и довольно рѣзкихъ контральтовъ.

Докторъ взглянулъ наверхъ. Надъ лѣстницею, въ свѣтлой стеклянной галлереѣ стояла довольно миловидная, молодая,

бѣлокурая женщина, одѣтая въ голубую холстинковую блузу. Передъ нею на гвоздикѣ висѣлъ форменный вицмундиръ, а въ рукахъ она держала тонкій широкій вѣникъ изъ зеленаго клоповника.

«Что̀ бы это за особа такая?» подумалъ Розановъ, но женщина тотчасъ же помогла его раздумью.

— Мужъ сейчасъ выйдетъ, пожалуйте пока въ залу,— сказала она своимъ звонкимъ контральтомъ, указывая вѣникомъ на двери, выкрашенныя сѣрою масляною краскою.

«А ничего, миленькая», подумалъ Розановъ и, поклонясь хозяйкѣ, вошелъ въ довольно темную переднюю, изъ которой были открыты двери въ свѣтленькую зальцу.

Въ залѣ было довольно чисто. Въ углу стояло фортепіано, по стѣнамъ ясеневые стулья съ плетенками, вязаныя занавѣски на окнахъ и двѣ клѣтки съ веселыми канарейками.

Докторъ не успѣлъ осмотрѣться, какъ въ одну изъ боковыхъ дверей мужской голосъ крикнулъ:

— Даша! что-жъ вицмундиръ-то?

— Сейчасъ, Евграфъ Ѳедоровичъ, сейчасъ, — отвѣтилъ контральтъ изъ галлереи.

— Да гдѣ твоя Устинья?

— Въ лавку побѣжала. Всѣ мурашки у соловья вышли: послала мурашекъ купить.

Дверь пріотворилась и на порогѣ въ залу показался еще довольно молодой человѣкъ съ южно-русскимъ лицомъ. Онъ былъ въ одномъ жилетѣ и, выглянувъ, тотчасъ спрятался назадъ и проговорилъ:

— Извините.

— Ничего, ничего, Евграфъ, выходи, пожалуйста, поскорѣе,—произнесъ Розановъ, направляясь къ двери.

Приставъ выглянулъ, посмотрѣлъ нѣсколько мгновеній на доктора и, крикнувъ:

— Розановъ! дружище! ты ли это?—бросился ему на шею.

Слѣдственный приставъ, Евграфъ Ѳедоровичъ Нечай, былъ университетскій товарищъ Розанова. Хотя они шли по разнымъ факультетамъ, но жили вмѣстѣ и были большіе пріятели.

— Откуда ты взявся?—спрашивалъ Нечай, вводя Розанова въ свой незатѣйливый кабинетъ.

— Мѣста пріѣхалъ искать,—отвѣчалъ Розановъ, чувствуя самую непріятную боль въ сердцѣ.

— Охъ, эти мѣста, мѣста!—проговорилъ Нечай, почесывая въ затылкѣ.

— И не говори.

— А протэкцыи маешь?

Нечай имѣлъ общую многимъ малороссамъ черту. Несмотря на долгое пребываніе въ Москвѣ, онъ любилъ мѣшать свою русскую рѣчь съ малороссійскою, а если съ кѣмъ могъ, то и совсѣмъ говорилъ по-малороссійски. Докторъ же свободно понималъ это нарѣчіе и кое-какъ могъ на немъ объясняться по нуждѣ, или шутки ради.

— Ни, братику, жаднои не маю,—отвѣчалъ докторъ.

— Это кепсько.

— Ну, якъ зауважишь.

— А со всей фамиліей придрапавъ?

— Нѣтъ, семья дома осталась.

— Ну, это еще байдуже; а вотъ якъ бы у купи, то вай, вай, вай... лягай, та и помри, то шкоды только-жъ.

— Нѣтъ, я одинъ здѣсь,—невесело проронилъ докторъ.

— И давно?

— Вотъ ужъ другая недѣля.

— Что-жъ ты дося ховався?

— Да такъ. То въ университетъ ходилъ, то адреса твоего не зналъ. Да и вообще какъ-то...

— Ты, коллежка, не спѣши носъ-то вѣшать; живы будемъ и хлиба добудемъ. А ты съ моей бабой, вѣдь, не знакомъ?

— Нѣтъ; когда-жъ я тебя видѣлъ? Я даже не зналъ, что ты и женился.

— Даша!—крикнулъ Нечай.

Вошла молодая женщина, встрѣтившая Розанова на лѣстницѣ.

— Вотъ тебѣ моя московка: баба добрая, жалѣетъ меня: поздоровъ ее Боже за это. Это мой старый товарищъ, Даша,—отнесся Нечай къ женѣ.

— Очень рада,—произнесла привѣтливо жена Нечая.— Вы гдѣ остановились?

— Я у Челышева.

— Это возлѣ театра, знаю; дорого тамъ?

— Да... такъ себѣ.

— Ты что платишь?

— Да по рублю въ сутки.

— Фю, фю, фю! Этакъ, братъ, тебѣ накладно будетъ.

— Вы бы искали квартирку постоянную.

— Да не знаю еще, зачѣмъ искать-то? — отвѣтилъ докторъ.—Можетъ быть въ Петербургъ придется ѣхать.

— А вы какъ тутъ: по дѣламъ?

Розановъ разсказалъ въ коротких словахъ цѣль своего появленія въ Москвѣ.

— Да, такъ, конечно, пока что будетъ, устроиваться нельзя,—замѣтила жена Нечая и сейчасъ же добавила:— Евграфъ Ѳедоровичъ! да что вы къ намъ-то ихъ, пока что будетъ, не пригласите? Пока что будетъ, пожили бы у насъ,— обратилась она привѣтливо къ Розанову.

Такой это былъ простой и искренній привѣтъ, что не смѣшалъ онъ доктора и не сконфузилъ, а только съ самаго его пріѣзда въ Москву отъ этихъ словъ ему впервые сдѣлалось веселѣе и отраднѣе.

— И до правди! Ай да Дарья Аѳанасьевна, что̀ ты у меня за умница. Чего, въ самомъ дѣлѣ: переѣзжай, Розановъ; часомъ съ тобою въ шахи заграемъ, часомъ старину вспомнимъ.

Докторъ отговаривался, а потомъ согласился, выговорилъ себѣ только, однако, право платить за столъ.

Въ существѣ, онъ плохо и отговаривался. Простая теплота этихъ людей манила его въ ихъ тихій уголокъ изъ грязнаго челышевскаго номера.

— А вотъ тебѣ мое потомство, — рекомендовалъ Нечай, подводя къ Розанову кудрявую дѣвочку и коротко остриженнаго мальчика лѣтъ пяти. — Это Милочка, первая наслѣдница, а это Грицко Голопупенко, второй экземпляръ, а тамъ въ спальнѣ есть третій, а четвертаго Дарья Аѳанасьевна еще не показываетъ.

— Ого, братъ!—проговорилъ Розановъ.

— Да, братику, Господь памятуетъ, — отвѣчалъ Нечай, крякнувъ и отпуская дѣтей.

— А гроши есть?

— Чортъ ма. Ничего нѣтъ.

— Какъ же живешь?

— А отъ и живу, якъ горохъ при дорози.

— И мѣсто у тебя непріятное такое.

— И не кажи лучше. Сказываю тебѣ: живу, якъ горохъ при дорози: кто йда, то и скубне. Э! Бодай она неладна була ся жисть проклятая, якъ о ней думать. Отъ пожалѣлъ еще Господь, что жену далъ добрую; а то бы, просто, хоть повѣситься.

— Доходовъ нѣтъ?

— Бываетъ иной разъ, да что это!..

— Погано, братъ, знаю, что погано.

— А нельзя и безъ того.

— Знаю.

Пріятели оба вздохнули.

— У тебя жена здѣшняя?—спросилъ Розановъ.

— Здѣшняя; дьяконская дочь съ Арбата. А ты, Дмитрій, счастливъ въ семьѣ?

— Да, ничего, — отвѣчалъ докторъ, стараясь смотрѣть въ сторону.

Въ тотъ же день Розановъ передъ вечеромъ переѣхалъ изъ челышевскихъ номеровъ къ Нечаю и поселился въ его кабинетѣ, гдѣ Дарья Аѳанасьевна поставила желѣзную кровать, ширмы и маленькій комодецъ.

Докторъ былъ очень тронутъ этимъ теплымъ вниманіемъ и, прощаясь послѣ ужина, крѣпко пожалъ хозяевамъ руку.

— А этотъ вашъ пріятель, Евграфъ Ѳедоровичъ, очень несчастливъ чѣмъ-то, — говорила мужу, раздѣваясь, Дарья Аѳанасьевна.

— Почему ты такъ думаешь, Даша?

— Да такъ, я ужъ это вижу. Какъ онъ вечеромъ сталъ ласкать нашу Милочку, я сейчасъ увидала, что у него въ жизни есть большое несчастье.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Первые дни и первыя знакомства.

Нечай только напрасно разсчитывалъ вспоминать съ Розановымъ на свободѣ старину или играть съ нимъ въ шахи. Ни для того, ни для другого у него не было свободнаго времени. Утро выгоняло его изъ дома и поздній вечеръ не всегда заставалъ его дома.

Тяжелая, неблагодарная, безпокойная и многоотвѣтственная служба поглощала все время пристава. Она не дозволяла ему даже налюбоваться семьею, для которой онъ былъ и слугой, и кормильцемъ. Даже, возвратясь домой, онъ не

имѣлъ свободнаго времени. Все корпѣлъ онъ надъ своими запутанными и перепутанными слѣдственными дѣлами.

Дарью Аѳанасьевну очень огорчала такая каторжная жизнь мужа. Она часто любила помечтать, какъ бы имъ выбиться изъ этой проклятой должности, а самъ Нечай даже ни о чемъ не мечталъ. Онъ везъ, какъ ломовая лошадь, которая, шатаясь и дрожа, вытягиваетъ возъ изъ одного весенняго зажора, для того, чтобы попасть съ нимъ въ другой, потому что свернуть въ сторону некуда.

Благодаря строгой бережливости Дарьи Аѳанасьевны, въ домѣ Нечая не было видно грязной, неряшливой нужды, но концы едва-едва сходились съ концами и чистенькая бѣдность была видна каждому, кто умѣлъ бы повсмотрѣться въ дѣтскія платьица и перештопанные холстинковые капотики самой Дарьи Аѳанасьевны.

Сравнивая повременамъ здѣшнюю жизнь съ своею уѣздною, Розановъ находилъ, что тутъ живется гораздо потруднѣе, и переполнялся еще большимъ почтеніемъ и благодарностью къ Нечаю и особенно къ его простодушной женѣ. Съ ней они съ перваго же дня стали совершенно своими людьми и довѣрчиво болтали другъ съ другомъ обо всемъ, что брело на умъ.

Въ концѣ второй недѣли послѣ переѣзда къ Нечаямъ, докторъ, рывшійся каждый день въ своихъ книгахъ и запискахъ, сшилъ изъ бумаги большую тетрадь и сталъ писать психіатрическую диссертацію. Наверху, подъ заглавіемъ, Розановъ выставилъ очень красивое мѣсто изъ апофтегмъ Гиппократа: «Quod medicamenta non sanant—ignis sanat, quod ignis non sanat—ferrum sanat, quod ferrum non sanat—mors sanat». *Hippocrates: Apophthegmata.* То-есть: чего не вылѣчиваютъ лѣкарства — вылѣчиваетъ огонь; чего не вылѣчиваетъ огонь — вылѣчиваетъ желѣзо; чего не вылѣчиваетъ желѣзо — вылѣчиваетъ смерть».

Но на этомъ и стала докторская диссертація лѣкаря cum eximia laude Дмитрія Розанова. Скоро ему стало не до диссертаціи.

Въ томъ каменномъ полуэтажѣ, надъ которымъ находилась квартира Нечая, было также пять жилыхъ комнатъ. Три изъ нихъ занимала хозяйка дома, штабсъ-капитанша Давыдовская, а двѣ нанималъ корректоръ одной большой московской типографіи, Ардаліонъ Михайловичъ Араповъ.

Давыдовская была дородная, бѣлокурая барыня съ проборомъ на боку, съ побѣдоноснымъ взоромъ, веселымъ лицомъ, полнымъ подбородкомъ и обиліемъ всякихъ тѣлесъ. Она была природная дѣдичка своего дома и распоряжалась имъ полновластною госпожею.

Всѣ знали, что у Давыдовской былъ нѣкогда мужъ, маленькій, черненькій человѣчекъ, ходившій по праздникамъ въ мундирѣ, съ узенькими фалдочками, и въ треугольной шляпѣ, съ чернымъ перомъ. Но съ давнихъ поръ это маленькое существо перестало показываться въ своемъ мундирчикѣ со шляпою на головѣ, и о немъ всѣ позабыли. Никуда не уѣзжалъ мужъ Давыдовской и не выносили его на кладбище, а такъ не стало его видно, да и только. И никто о немъ не толковалъ. Если, бывало, кому-нибудь изъ сосѣдокъ доводилось, проходя мимо дома Давыдовской, увидать, какъ она стоитъ съ длиннымъ чубукомъ въ одной рукѣ, а другою рукою обираетъ сухіе листья съ волкомеріи, то сосѣдка только замѣчала: «а вѣдь Давыдовчихинъ мужъ-то должно что еще живъ», и всякая совершенно довольствовалась этимъ предположеніемъ. А дѣло было въ томъ, что всѣми позабытый штабсъ-капитанъ Давыдовскій восьмой годъ преспокойно валялся безъ рукъ и ногъ въ параличѣ и любовался, какъ полнѣла и добрѣла во всю мочь его грозная половина, съ утра до ночи курившая трубку съ длиннымъ черешневымъ чубукомъ и кропотавшаяся на семнадцатилѣтнюю дѣвочку Липку, имѣвшую нарочитую склонность къ истребленію зажигательныхъ спичекъ, которыя вдова Давыдовская имѣла другую слабость тщательно хранить на своемъ образникѣ, какъ нѣкую особенную драгоцѣнность, или святыню.

Кромѣ этой слабости, штабсъ-капитанша имѣла двѣ другія: она терпѣть не могла всякое начальство въ огулѣ и рабски обожала всѣхъ молодыхъ людей. Начальство она ненавидѣла искони: всѣхъ начальствующихъ лицъ, какого бы они сана и возраста ни были, называла почему-то «Моркобрунами» и готова была всегда устроить имъ какую-нибудь пакость. Эта ненависть штабсъ-капитанши особенно проявлялась въ разговорахъ о пенсіяхъ, и въ сопротивленіи всякимъ объявленіямъ, доходящимъ до нея черезъ полицейскаго хожалаго. Она, напримѣръ, не позволяла дворнику мести тротуаровъ, когда это требовалось полиціею; не

зажигала въ положенные дни плошекъ; не красила трубъ и вообще демонстрировала. Причина такого озлобленія штабсъ-капитанши противъ начальства лежала въ отказѣ, полученномъ ею на просьбу о полномъ пенсіонѣ за службу мужа. Раболѣпная же любовь къ молодежи имѣла, разумѣется, другія причины, до которыхъ намъ столько же дѣла, сколько разбитому параличомъ и недвижимому капитану. Люди толковали разное; но люди, какъ извѣстно, бываютъ иногда черезчуръ подозрительны. Дворникъ Антропъ Ивановичъ и Липка, и нечаевская кухарка Устинья даже порѣшили себѣ кое-что насчетъ тѣсной пріязни Давыдовчихи съ ея жильцомъ Араповымъ, но достовѣрно, что въ этомъ случаѣ они совершенно ошибались. Тутъ дѣло было совершенно чистое. Давыдовская любила Арапова просто потому, что онъ молодъ, что съ нимъ можно врать всякую скоромь и, сидя у него, можно встрѣчаться съ разными молодыми людьми.

Араповъ нанималъ у Давыдовской двѣ комнаты, въ которыя ходъ былъ, однако, изъ общей передней. Въ первой комнатѣ, съ диваномъ и двумя большими зеркалами, у него былъ гостиный покой, а во второй онъ устроилъ себѣ кабинетъ и спальню.

Кромѣ того, при этой задней, совершенно удаленной отъ всякаго сосѣдства, комнаткѣ въ стѣнѣ была маленькая дверь въ небольшой чуланчикъ съ каменнымъ погребомъ, въ которомъ у Арапова сидѣлъ на цѣпи злющій барсукъ.

Арапову было лѣтъ тридцать отъ роду. Это былъ плотный, довольно сильный человѣкъ, съ сверкающими черными глазами во впалыхъ орбитахъ, съ черными, какъ смоль, волосами, густою окладистою бородою и смуглымъ цыганскимъ лицомъ. Онъ былъ не глупъ, очень легкомысленъ, но началу предпріимчивъ, упрямъ и падокъ на рискъ. Воспитывался онъ въ одной изъ гимназій серединной губерніи, пріѣхалъ въ Москву искать счастья и, добывъ, послѣ долгихъ скитальчествъ, мѣсто корректора, доставлявшее ему около шестидесяти рублей въ мѣсяцъ, проводилъ жизнь довольно безпечную и о будущемъ нимало не заботился.

По своимъ средствамъ, онъ давно бы могъ перенестись изъ Лефортова въ другую, болѣе удобную часть Москвы, но ему никогда и въ голову не приходило разстаться съ Давыдовскою и вытаскивать изъ погреба прикованнаго тамъ барсука.

Кромѣ того, у Арапова, въ окрестностяхъ Лефортовскаго дворца и въ самомъ дворцѣ, было очень большое знакомство. Въ другихъ частяхъ города у него тоже было очень много знакомыхъ. По должности корректора, онъ зналъ многихъ московскихъ литераторовъ, особенно второй руки; водился съ музыкантами и вообще съ самою разнородною московскою публикою.

У нѣкоторыхъ дамъ онъ слылъ за очень умнаго человѣка и передъ ними обыкновенно печоринствовалъ.

И Давыдовская, и ея постоялецъ были ежедневными посѣтителями Нечаевъ. Даже мало сказать, что они были *ежедневными* посѣтителями,—они вертѣлись тамъ постоянно, когда имъ некуда было дѣться, когда у себя имъ было скучно, или когда никуда не хотѣлось идти изъ дома.

Такимъ образомъ Розанову пришлось познакомиться съ этими лицами въ первый же день своего переѣзда къ Нечаю, потомъ онъ сталъ встрѣчаться съ ними по нѣскольку разъ каждый день, и они-то серьезно помѣшали ему приняться вплотную за свою диссертацію.

Не успѣетъ Розановъ усѣсться и вчитаться, вдуматься, какъ по лѣстницѣ идетъ Давыдовская, то будто бы покричать на нечаевскихъ дѣтей, рискующихъ сломать себѣ на дворѣ шею, то поругать мѣстнаго квартальнаго надзирателя или квартирную комиссію, то сообщить Дарьѣ Аѳанасьевнѣ новую сплетню на ея мужа. Придетъ, да и сядетъ, и куритъ трубку за трубкою.

Послѣ двухъ часовъ возвращался домой Араповъ. Онъ съ перваго же своего знакомства съ докторомъ удостоивалъ его своего особеннаго вниманія и, съ своей стороны, успѣлъ очень сильно заинтересовать Розанова собою.

Розановъ хотя былъ человѣкъ достаточно умный и достаточно опытный для того, чтобы не поддаваться излишнимъ увлеченіямъ, но все-таки онъ былъ провинціалъ. Араповъ стоялъ передъ нимъ какъ новый типъ и казался ему существомъ въ высшей степени загадочнымъ. То Араповъ ругаетъ на чемъ свѣтъ стоитъ все существующее, но ругаетъ не такъ, какъ ругалъ иногда Зарницынъ, по-фатски, и не такъ, какъ ругалъ самъ Розановъ, съ сознаніемъ какой-то неотразимой необходимости оставаться весь вѣкъ въ пассивной роли, — Араповъ ругался яростно, съ пѣною у рта, съ сжатыми кулаками и съ искрами неумолимой мести

КНИГА ВТОРАЯ.

ВЪ МОСКВѢ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Дальнее мѣсто.

Даже въ такія зимы, когда овесъ въ Москвѣ бывалъ по два съ полтиной за куль, навѣрно никому не удавалось нанять извозчика въ Лефортово дешевле, какъ за тридцать копеекъ. Въ Москвѣ ужъ какъ-то укрѣпилось такое убѣжденіе, что Лефортово есть самое дальнее мѣсто *отовсюду*.

Авторъ *«Капризовъ и Раздумья»* позволяетъ себѣ настаивать на томъ, что на землѣ нѣтъ ни одного далекаго мѣста, которое не было бы откуда-нибудь близко. Можно полагать, что выводъ этотъ не лишенъ своей доли основательности, потому что если бы его можно было опровергнуть на основаніи общихъ данныхъ, то ужъ это давно не преминули бы сдѣлать наши ученые. Но въ разсужденіи Лефортова выводъ этотъ перестаетъ имѣть общее значеніе. По крайней мѣрѣ, онъ не можетъ имѣть этого значенія для непосредственной Москвы, въ которой до Лефортова рѣшительно *отовсюду* далеко.

Въ одно погожее августовское утро, по улицамъ, прилегающимъ къ самому Лефортовскому дворцу, шелъ нашъ знакомый докторъ Розановъ. По медленности, съ которою онъ разсматривалъ оригинальный фасадъ стараго дворца и читалъ нѣкоторыя надписи на воротахъ домовъ, можно бы подумать, что онъ гуляетъ отъ нечего дѣлать, или ищетъ квартиры.

Постоявъ передъ дворцомъ, онъ повернулъ въ длинную улицу налѣво и опять сталъ читать приклеенныя у воротъ бумажки. Одною изъ нихъ объявлялось, что «сдесь отдаюца чистые, сухіе углы съ жильцами», другою, что «отдаеца большая кухня въ видѣ комнаты у Авдотьи Аликсѣвны, спросить у прачку» и т. п. Наконецъ, надъ одною калиткой докторъ прочелъ: «Слѣдственный приставъ».

Докторъ вынулъ изъ кармана записную книжку, взглянулъ на сдѣланную тамъ замѣтку, потомъ посмотрѣлъ на домъ, на табличку и вошелъ во дворъ.

Домъ этотъ былъ похожъ на многіе дома лефортовской части. Онъ былъ деревянный, на каменномъ полуэтажѣ. По улицѣ онъ выходилъ въ пять оконъ, во дворъ въ четыре, съ подъѣздомъ сбоку. Каменный полуэтажъ былъ густо выбѣленъ мѣломъ, а деревянный верхъ выкрашенъ грязновато-желтою охрой.

Надъ дверью деревяннаго подъѣзда опять была дощечка съ надписью: «Слѣдственный приставъ»; въ нижній этажъ вело особое крылечко, устроенное посрединѣ задней части фасада. Налѣво былъ низенькій флигелекъ въ три окна, но съ двумя крыльцами. По ушатамъ, стоявшимъ на этихъ крыльцахъ, можно было догадаться, что это кухни. Далѣе шелъ длинный дровяной сарайчикъ, примкнутый къ сосѣдскому забору, и собачья конура съ круглымъ лазомъ.

Тощая цѣпная собака, завидя Розанова, громыхнула цѣпью, выскочила и залаяла.

Докторъ дернулъ за веревочку у подъѣзда съ надписью: «Слѣдственный приставъ».

Черезъ минуту крючокъ упалъ и въ растворенной двери Розановъ увидѣлъ очень хорошенькую и очень чисто одѣтую семилѣтнюю дѣвочку съ кудрявой русой головкой и съ ямками на розовыхъ щечкахъ.

— Что вамъ надо?—шепелявя, спросилъ ребенокъ.

— Пристава мнѣ нужно видѣть,—отвѣчалъ докторъ.

— Папа одѣваются.

— Пожалуйте, пожалуйте, Евграфъ Ѳедоровичъ сейчасъ выйдутъ,—крикнулъ сверху веселый женскій голосъ изъ разряда свойственныхъ молодымъ москвичкамъ пріятныхъ, хотя и довольно рѣзкихъ контральтовъ.

Докторъ взглянулъ наверхъ. Надъ лѣстницею, въ свѣтлой стеклянной галлереѣ стояла довольно миловидная, молодая,

бѣлокурая женщина, одѣтая въ голубую холстинковую блузу. Передъ нею на гвоздикѣ висѣлъ форменный вицмундиръ, а въ рукахъ она держала тонкій широкій вѣникъ изъ зеленаго клоповника.

«Что̀ бы это за особа такая?» подумалъ Розановъ, но женщина тотчасъ же помогла его раздумью.

— Мужъ сейчасъ выйдетъ, пожалуйте пока въ залу,— сказала она своимъ звонкимъ контральтомъ, указывая вѣникомъ на двери, выкрашенныя сѣрою масляною краскою.

«А ничего, миленькая», подумалъ Розановъ и, поклонясь хозяйкѣ, вошелъ въ довольно темную переднюю, изъ которой были открыты двери въ свѣтленькую зальцу.

Въ залѣ было довольно чисто. Въ углу стояло фортепіано, по стѣнамъ ясеневые стулья съ плетенками, вязаныя занавѣски на окнахъ и двѣ клѣтки съ веселыми канарейками.

Докторъ не успѣлъ осмотрѣться, какъ въ одну изъ боковыхъ дверей мужской голосъ крикнулъ:

— Даша! что-жъ вицмундиръ-то?

— Сейчасъ, Евграфъ Ѳедоровичъ, сейчасъ, — отвѣтилъ контральтъ изъ галлереи.

— Да гдѣ твоя Устинья?

— Въ лавку побѣжала. Всѣ мурашки у соловья вышли: послала мурашекъ купить.

Дверь пріотворилась и на порогѣ въ залу показался еще довольно молодой человѣкъ съ южно-русскимъ лицомъ. Онъ былъ въ одномъ жилетѣ и, выглянувъ, тотчасъ спрятался назадъ и проговорилъ:

— Извините.

— Ничего, ничего, Евграфъ, выходи, пожалуйста, поскорѣе,—произнесъ Розановъ, направляясь къ двери.

Приставъ выглянулъ, посмотрѣлъ нѣсколько мгновеній на доктора и, крикнувъ:

— Розановъ! дружище! ты ли это?—бросился ему на шею.

Слѣдственный приставъ, Евграфъ Ѳедоровичъ Нечай, былъ университетскій товарищъ Розанова. Хотя они шли по разнымъ факультетамъ, но жили вмѣстѣ и были большіе пріятели.

— Откуда ты взявся?—спрашивалъ Нечай, вводя Розанова въ свой незатѣйливый кабинетъ.

— Мѣста пріѣхалъ искать,—отвѣчалъ Розановъ, чувствуя самую непріятную боль въ сердцѣ.

— Охъ, эти мѣста, мѣста!—проговорилъ Нечай, почесывая въ затылкѣ.

— И не говори.

— А протэкцыи маешь?

Нечай имѣлъ общую многимъ малороссамъ черту. Несмотря на долгое пребываніе въ Москвѣ, онъ любилъ мѣшать свою русскую рѣчь съ малороссійскою, а если съ кѣмъ могъ, то и совсѣмъ говорилъ по-малороссійски. Докторъ же свободно понималъ это нарѣчіе и кое-какъ могъ на немъ объясняться по нуждѣ, или шутки ради.

— Ни, братику, жаднои не маю,—отвѣчалъ докторъ.

— Это кепсько.

— Ну, якъ зауважишь.

— А со всей фамиліей придрапавъ?

— Нѣтъ, семья дома осталась.

— Ну, это еще байдуже; а вотъ якъ бы у купи, то вай, вай, вай... лягай, та и помри, то шкоды только-жъ.

— Нѣтъ, я одинъ здѣсь,—невесело проронилъ докторъ.

— И давно?

— Вотъ ужъ другая недѣля.

— Что-жъ ты дося ховався?

— Да такъ. То въ университетъ ходилъ, то адреса твоего не зналъ. Да и вообще какъ-то...

— Ты, коллежка, не спѣши носъ-то вѣшать; живы будемъ и хлиба добудемъ. А ты съ моей бабой, вѣдь, не знакомъ?

— Нѣтъ; когда-жъ я тебя видѣлъ? Я даже не зналъ, что ты и женился.

— Даша!—крикнулъ Нечай.

Вошла молодая женщина, встрѣтившая Розанова на лѣстницѣ.

— Вотъ тебѣ моя московка: баба добрая, жалѣетъ меня: поздоровъ ее Боже за это. Это мой старый товарищъ, Даша,—отнесся Нечай къ женѣ.

— Очень рада,—произнесла привѣтливо жена Нечая.— Вы гдѣ остановились?

— Я у Челышева.

— Это возлѣ театра, знаю; дорого тамъ?

— Да... такъ себѣ.

— Ты что платишь?

— Да по рублю въ сутки.

— Фю, фю, фю! Этакъ, братъ, тебѣ накладно будетъ.

— Вы бы искали квартирку постоянную.

— Да не знаю еще, зачѣмъ искать-то? — отвѣтилъ докторъ.—Можетъ быть въ Петербургъ придется ѣхать.

— А вы какъ тутъ: по дѣламъ?

Розановъ разсказалъ въ короткихъ словахъ цѣль своего появленія въ Москвѣ.

— Да, такъ, конечно, пока что будетъ, устроиваться нельзя,—замѣтила жена Нечая и сейчасъ же добавила:— Евграфъ Ѳедоровичъ! да что вы къ намъ-то ихъ, пока что будетъ, не пригласите? Пока что будетъ, пожили бы у насъ,— обратилась она привѣтливо къ Розанову.

Такой это былъ простой и искренній привѣтъ, что не смѣшалъ онъ доктора и не сконфузилъ, а только съ самаго его пріѣзда въ Москву отъ этихъ словъ ему впервые сдѣлалось веселѣе и отраднѣе.

— И до правди! Ай да Дарья Аѳанасьевна, что̀ ты у меня за умница. Чего, въ самомъ дѣлѣ: переѣзжай, Розановъ; часомъ съ тобою въ шахи заграемъ, часомъ старину вспомнимъ.

Докторъ отговаривался, а потомъ согласился, выговорилъ себѣ только, однако, право платить за столъ.

Въ существѣ, онъ плохо и отговаривался. Простая теплота этихъ людей манила его въ ихъ тихій уголокъ изъ грязнаго челышевскаго номера.

— А вотъ тебѣ мое потомство, — рекомендовалъ Нечай, подводя къ Розанову кудрявую дѣвочку и коротко остриженнаго мальчика лѣтъ пяти. — Это Милочка, первая наслѣдница, а это Грицко Голопупенко, второй экземпляръ, а тамъ въ спальнѣ есть третій, а четвертаго Дарья Аѳанасьевна еще не показываетъ.

— Ого, братъ!—проговорилъ Розановъ.

— Да, братику, Господь памятуетъ, — отвѣчалъ Нечай, крякнувъ и отпуская дѣтей.

— А гроши есть?

— Чортъ ма. Ничего нѣтъ.

— Какъ же живешь?

— А отъ и живу, якъ горохъ при дорози.

— И мѣсто у тебя непріятное такое.

— И не кажи лучше. Сказываю тебѣ: живу, якъ горохъ при дорози: кто йда, то и скубне. Э! Бодай она неладна була ся жисть проклятая, якъ о ней думать. Отъ пожалѣлъ еще Господь, что жену далъ добрую; а то бы, просто, хоть повѣситься.

— Доходовъ нѣтъ?

— Бываетъ иной разъ, да что это!..

— Погано, братъ, знаю, что погано.

— А нельзя и безъ того.

— Знаю.

Пріятели оба вздохнули.

— У тебя жена здѣшняя?—спросилъ Розановъ.

— Здѣшняя; дьяконская дочь съ Арбата. А ты, Дмитрій, счастливъ въ семьѣ?

— Да, ничего, — отвѣчалъ докторъ, стараясь смотрѣть въ сторону.

Въ тотъ же день Розановъ передъ вечеромъ переѣхалъ изъ челышевскихъ номеровъ къ Нечаю и поселился въ его кабинетѣ, гдѣ Дарья Аѳанасьевна поставила желѣзную кровать, ширмы и маленькій комодецъ.

Докторъ былъ очень тронутъ этимъ теплымъ вниманіемъ и, прощаясь послѣ ужина, крѣпко пожалъ хозяевамъ руку.

— А этотъ вашъ пріятель, Евграфъ Ѳедоровичъ, очень несчастливъ чѣмъ-то, — говорила мужу, раздѣваясь, Дарья Аѳанасьевна.

— Почему ты такъ думаешь, Даша?

— Да такъ, я ужъ это вижу. Какъ онъ вечеромъ сталъ ласкать нашу Милочку, я сейчасъ увидала, что у него въ жизни есть большое несчастье.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Первые дни и первыя знакомства.

Нечай только напрасно разсчитывалъ вспоминать съ Розановымъ на свободѣ старину или играть съ нимъ въ шахи. Ни для того, ни для другого у него не было свободнаго времени. Утро выгоняло его изъ дома и поздній вечеръ не всегда заставалъ его дома.

Тяжелая, неблагодарная, безпокойная и многоотвѣтственная служба поглощала все время пристава. Она не дозволяла ему даже налюбоваться семьею, для которой онъ былъ и слугой, и кормильцемъ. Даже, возвратясь домой, онъ не

имѣлъ свободнаго времени. Все корпѣлъ онъ надъ своими запутанными и перепутанными слѣдственными дѣлами.

Дарью Аѳанасьевну очень огорчала такая каторжная жизнь мужа. Она часто любила помечтать, какъ бы имъ выбиться изъ этой проклятой должности, а самъ Нечай даже ни о чемъ не мечталъ. Онъ везъ, какъ ломовая лошадь, которая, шатаясь и дрожа, вытягиваетъ возъ изъ одного весенняго зажора, для того, чтобы попасть съ нимъ въ другой, потому что свернуть въ сторону некуда.

Благодаря строгой бережливости Дарьи Аѳанасьевны, въ домѣ Нечая не было видно грязной, неряшливой нужды, но концы едва-едва сходились съ концами и чистенькая бѣдность была видна каждому, кто умѣлъ бы повсмотрѣться въ дѣтскія платьица и перештопанные холстинковые капотики самой Дарьи Аѳанасьевны.

Сравнивая повременамъ здѣшнюю жизнь съ своею уѣздною, Розановъ находилъ, что тутъ живется гораздо потруднѣе, и переполнялся еще большимъ почтеніемъ и благодарностью къ Нечаю и особенно къ его простодушной женѣ. Съ ней они съ перваго же дня стали совершенно своими людьми и довѣрчиво болтали другъ съ другомъ обо всемъ, что брело на умъ.

Въ концѣ второй недѣли послѣ переѣзда къ Нечаямъ, докторъ, рывшійся каждый день въ своихъ книгахъ и запискахъ, сшилъ изъ бумаги большую тетрадь и сталъ писать психіатрическую диссертацію. Наверху, подъ заглавіемъ, Розановъ выставилъ очень красивое мѣсто изъ апофтегмъ Гиппократа: «Quod medicamenta non sanant—ignis sanat, quod ignis non sanat—ferrum sanat, quod ferrum non sanat—mors sanat». *Hippocrates: Apophthegmata.* То-есть: чего не вылѣчиваютъ лѣкарства — вылѣчиваетъ огонь; чего не вылѣчиваетъ огонь — вылѣчиваетъ желѣзо; чего не вылѣчиваетъ желѣзо — вылѣчиваетъ смерть».

Но на этомъ и стала докторская диссертація лѣкаря cum eximia laude Дмитрія Розанова. Скоро ему стало не до диссертаціи.

Въ томъ каменномъ полуэтажѣ, надъ которымъ находилась квартира Нечая, было также пять жилыхъ комнатъ. Три изъ нихъ занимала хозяйка дома, штабсъ-капитанша Давыдовская, а двѣ нанималъ корректоръ одной большой московской типографіи, Ардаліонъ Михайловичъ Араповъ.

Давыдовская была дородная, бѣлокурая барыня съ проборомъ на боку, съ побѣдоноснымъ взоромъ, веселымъ лицомъ, полнымъ подбородкомъ и обиліемъ всякихъ тѣлесъ. Она была природная дѣдичка своего дома и распоряжалась имъ полновластною госпожею.

Всѣ знали, что у Давыдовской былъ нѣкогда мужъ, маленькій, черненькій человѣчекъ, ходившій по праздникамъ въ мундирѣ, съ узенькими фалдочками, и въ треугольной шляпѣ, съ чернымъ перомъ. Но съ давнихъ поръ это маленькое существо перестало показываться въ своемъ мундирчикѣ со шляпою на головѣ, и о немъ всѣ позабыли. Никуда не уѣзжалъ мужъ Давыдовской и не выносили его на кладбище, а такъ не стало его видно, да и только. И никто о немъ не толковалъ. Если, бывало, кому-нибудь изъ сосѣдокъ доводилось, проходя мимо дома Давыдовской, увидать, какъ она стоитъ съ длиннымъ чубукомъ въ одной рукѣ, а другою рукою обираетъ сухіе листья съ волкомеріи, то сосѣдка только замѣчала: «а вѣдь Давыдовчихинъ мужъ-то должно что еще живъ», и всякая совершенно довольствовалась этимъ предположеніемъ. А дѣло было въ томъ, что всѣми позабытый штабсъ-капитанъ Давыдовскій восьмой годъ преспокойно валялся безъ рукъ и ногъ въ параличѣ и любовался, какъ полнѣла и добрѣла во всю мочь его грозная половина, съ утра до ночи курившая трубку съ длиннымъ черешневымъ чубукомъ и кропотавшаяся на семнадцатилѣтнюю дѣвочку Липку, имѣвшую нарочитую склонность къ истребленію зажигательныхъ спичекъ, которыя вдова Давыдовская имѣла другую слабость тщательно хранить на своемъ образникѣ, какъ нѣкую особенную драгоцѣнность, или святыню.

Кромѣ этой слабости, штабсъ-капитанша имѣла двѣ другія: она терпѣть не могла всякое начальство въ огулѣ и рабски обожала всѣхъ молодыхъ людей. Начальство она ненавидѣла искони: всѣхъ начальствующихъ лицъ, какого бы они сана и возраста ни были, называла почему-то «Моркобрунами» и готова была всегда устроить имъ какую-нибудь пакость. Эта ненависть штабсъ-капитанши особенно проявлялась въ разговорахъ о пенсіяхъ, и въ сопротивленіи всякимъ объявленіямъ, доходящимъ до нея черезъ полицейскаго хожалаго. Она, напримѣръ, не позволяла дворнику мести тротуаровъ, когда это требовалось полиціею; не

зажигала въ положенные дни плошекъ; не красила трубъ и вообще демонстрировала. Причина такого озлобленія штабсъ-капитанши противъ начальства лежала въ отказѣ, полученномъ ею на просьбу о полномъ пенсіонѣ за службу мужа. Раболѣпная же любовь къ молодежи имѣла, разумѣется, другія причины, до которыхъ намъ столько же дѣла, сколько разбитому параличомъ и недвижимому капитану. Люди толковали разное; но люди, какъ извѣстно, бываютъ иногда черезчуръ подозрительны. Дворникъ Антропъ Ивановичъ и Липка, и нечаевская кухарка Устинья даже порѣшили себѣ кое-что насчетъ тѣсной пріязни Давыдовчихи съ ея жильцомъ Араповымъ, но достовѣрно, что въ этомъ случаѣ они совершенно ошибались. Тутъ дѣло было совершенно чистое. Давыдовская любила Арапова просто потому, что онъ молодъ, что съ нимъ можно врать всякую скоромь и, сидя у него, можно встрѣчаться съ разными молодыми людьми.

Араповъ нанималъ у Давыдовской двѣ комнаты, въ которыя ходъ былъ, однако, изъ общей передней. Въ первой комнатѣ, съ диваномъ и двумя большими зеркалами, у него былъ гостиный покой, а во второй онъ устроилъ себѣ кабинетъ и спальню.

Кромѣ того, при этой задней, совершенно удаленной отъ всякаго сосѣдства, комнаткѣ въ стѣнѣ была маленькая дверь въ небольшой чуланчикъ съ каменнымъ погребомъ, въ которомъ у Арапова сидѣлъ на цѣпи злющій барсукъ.

Арапову было лѣтъ тридцать отъ роду. Это былъ плотный, довольно сильный человѣкъ, съ сверкающими черными глазами во впалыхъ орбитахъ, съ черными, какъ смоль, волосами, густою окладистою бородою и смуглымъ цыганскимъ лицомъ. Онъ былъ не глупъ, очень легкомысленъ, но началу предпріимчивъ, упрямъ и падокъ на рискъ. Воспитывался онъ въ одной изъ гимназій серединной губерніи, пріѣхалъ въ Москву искать счастья и, добывъ, послѣ долгихъ скитальчествъ, мѣсто корректора, доставлявшее ему около шестидесяти рублей въ мѣсяцъ, проводилъ жизнь довольно безпечную и о будущемъ нимало не заботился.

По своимъ средствамъ, онъ давно бы могъ перенестись изъ Лефортова въ другую, болѣе удобную часть Москвы, но ему никогда и въ голову не приходило разстаться съ Давыдовскою и вытаскивать изъ погреба прикованнаго тамъ барсука.

Кромѣ того, у Арапова, въ окрестностяхъ Лефортовскаго дворца и въ самомъ дворцѣ, было очень большое знакомство. Въ другихъ частяхъ города у него тоже было очень много знакомыхъ. По должности корректора, онъ зналъ многихъ московскихъ литераторовъ, особенно второй руки; водился съ музыкантами и вообще съ самою разнородною московскою публикою.

У нѣкоторыхъ дамъ онъ слылъ за очень умнаго человѣка и передъ ними обыкновенно печоринствовалъ.

И Давыдовская, и ея постоялецъ были ежедневными посѣтителями Нечаевъ. Даже мало сказать, что они были *ежедневными* посѣтителями,—они вертѣлись тамъ постоянно, когда имъ некуда было дѣться, когда у себя имъ было скучно, или когда никуда не хотѣлось идти изъ дома.

Такимъ образомъ Розанову пришлось познакомиться съ этими лицами въ первый же день своего переѣзда къ Нечаю, потомъ онъ сталъ встрѣчаться съ ними по нѣскольку разъ каждый день, и они-то серьезно помѣшали ему приняться вплотную за свою диссертацію.

Не успѣетъ Розановъ усѣсться и вчитаться, вдуматься, какъ по лѣстницѣ идетъ Давыдовская, то будто бы покричать на нечаевскихъ дѣтей, рискующихъ сломать себѣ на дворѣ шею, то поругать мѣстнаго квартальнаго надзирателя или квартирную комиссію, то сообщить Дарьѣ Аѳанасьевнѣ новую сплетню на ея мужа. Придетъ, да и сядетъ, и куритъ трубку за трубкою.

Послѣ двухъ часовъ возвращался домой Араповъ. Онъ съ перваго же своего знакомства съ докторомъ удостоивалъ его своего особеннаго вниманія и, съ своей стороны, успѣлъ очень сильно заинтересовать Розанова собою.

Розановъ хотя былъ человѣкъ достаточно умный и достаточно опытный для того, чтобы не поддаваться излишнимъ увлеченіямъ, но все-таки онъ былъ провинціалъ. Араповъ стоялъ передъ нимъ какъ новый типъ и казался ему существомъ въ высшей степени загадочнымъ. То Араповъ ругаетъ на чемъ свѣтъ стоитъ все существующее, но ругаетъ не такъ, какъ ругалъ иногда Зарницынъ, по-фатски, и не такъ, какъ ругалъ самъ Розановъ, съ сознаніемъ какой-то неотразимой необходимости оставаться весь вѣкъ въ пассивной роли, — Араповъ ругался яростно, съ пѣною у рта, съ сжатыми кулаками и съ искрами неумолимой мести

въ глазахъ, наливавшихся кровью; то онъ ходилъ по цѣлымъ днямъ, понуривъ голову, и только повременамъ у него вырываются безсвязныя, но грозныя слова, за которыми слышатся таинственные планы міровыхъ переворотовъ; то онъ начнетъ разспрашивать Розанова о провинціи, о духѣ народа, о настроеніи высшаго общества, и разспрашиваетъ придирчиво, до мельчайшихъ подробностей, внимательно вслушиваясь въ каждое слово и стараясь всему придать смыслъ и значеніе.

А то отправятся докторъ съ Араповымъ гулять ночью и долго бродятъ, Богъ знаетъ гдѣ, по пустыннымъ улицамъ, не боясь ни ночныхъ воровъ, ни усталости. Араповъ все идетъ тихо и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, сдѣлаетъ доктору такой вопросъ, что тотъ не знаетъ, что̀ и отвѣтить, и еще болѣе убѣждается, что правленье корректуръ не составляетъ главной заботы Арапова.

Въ одну прелестную лунную ночь, такъ въ концѣ августа или въ началѣ сентября, они вышли изъ дома погулять и шагъ за шагомъ, молча, дошли до Театральной площади. Кто знаетъ Москву, тотъ можетъ себѣ представить, какой это былъ сломанъ путь.

Докторъ не замѣтилъ, какъ онъ прошелъ это разстояніе, на которомъ могла утомиться добрая почтовая лошадь. Онъ былъ далеко; ему рисовался покинутый имъ ребенокъ, рисовалось нерадостное будущее дитяти, съ полусумасшедшею отъ природы матерью. Не замѣтилъ онъ, какъ чрезъ Никольскія ворота вступили они въ Кремль, обошли Ивана Великаго и остановились надъ кремлевскимъ рвомъ, гдѣ тонула въ тѣни маленькая церковь, а вокругъ извивалась зубчатая стѣна съ оригинальными азіатскими башнями, а тамъ тихая Москва-рѣка, съ перекинутымъ черезъ нее Москворѣцкимъ мостомъ, а еще дальше облитое луннымъ свѣтомъ Замоскворѣчье и сіяющій куполъ Симонова монастыря.

О чемъ думалъ Араповъ — неизвѣстно, но, остановясь здѣсь, онъ вздохнулъ, окинулъ взоромъ широкую картину и, взявъ Розанова за руку, сказалъ:

— Нравится вамъ этотъ видикъ?

Докторъ, выйдя изъ своего забытья, молча взглянулъ кругомъ и отвѣчалъ:

— Да, очень хорошо...

— А что, — началъ тихо Араповъ, крѣпко сжимая руку

Розанова:—что, если бы все это освѣтить другимъ свѣтомъ? Если бы все это въ темную ночь залить огнемъ? Набатъ, кровь, зарево!..

— Было-бъ ужасно!

— Пришла пора!..

Во весь обратный путь они не сказали другъ съ другомъ ни слова.

Докторъ никакъ не могъ сообразить, для какихъ цѣлей необходимо залить Москву кровью и заревомъ пожара, но страшное выраженіе лица Арапова, когда онъ высказывалъ мысль, и его загадочная таинственность въ эту ночь еще болѣе усилили обаятельное вліяніе корректора на Розанова.

«Что это за человѣкъ?» думалъ, засыпая на зорькѣ, докторъ, и ему снилось Богъ знаетъ что. То по кремлевскимъ стѣнамъ гуляли молодцы Стеньки Разина, то въ огнѣ стонали какіе-то слабые голоса, гудѣлъ царь-колоколъ, стрѣляла царь-пушка, гдѣ-то пѣли по-французски марсельезу. Все это былъ какой-то хаосъ. Зачѣмъ это все? обращался докторъ къ проходившимъ людямъ; и люди ему ничего не отвѣчали. Они останавливались, снимали шапки, крестились передъ Спасскими воротами, и надъ Кремлемъ попрежнему сіяло солнце, башенные часы играли «Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ», бронзовый Мининъ поднималъ подъ руку бронзоваго Пожарскаго, купцы Ножевой линіи, поспѣшно крестясь, отпирали лавки. Все было тихо; все жило тою жизнью, которою оно умѣло жить и которою хотѣло жить. Розановъ спалъ спокойно до полудня. Его разбудила черезъ дверь Дарья Аѳанасьевна.

— Вставайте, докторъ!—кричала ему она, стуча рукою:—стыдно валяться. Кофейку напьемтесь. У меня что-то маленькая куксится: натерла ей животикъ бабковою мазью, все не помогаетъ, опять куксится. Вставайте, посмотрите ее, пожалуйста: можетъ-быть лѣкарства какого-нибудь нужно.

— Сейчасъ, Дарья Аѳанасьевна, — отвѣтилъ докторъ, и черезъ пять минутъ, совсѣмъ одѣтый, пришелъ въ спальню, гдѣ куксилась маленькая.

— Что съ нею?

— Ничего; дайте ревеньку, и ничего больше не надо.

— Гдѣ это вы всю ночь проходили, Дмитрій Петровичъ? А! Вотъ женѣ-то написать надо!—шутливо и ласково проговорила Дарья Аѳанасьевна.

— Мы такъ съ Араповымъ проходили,—отвѣчалъ докторъ.

Дарья Аѳанасьевна покачала головкою.

— Что вы?—спросилъ, улыбаясь, Розановъ.

— Да охота вамъ съ нимъ возиться.

— А что?

— Да такъ.

— Развѣ онъ нехорошій человѣкъ?

— Н... нѣтъ, я о немъ ничего дурного не знаю, только не люблю я его.

— Не любите! А мнѣ казалось, что вы съ нимъ всегда такъ ласковы.

— Да я ничего, только...

— Только не любите?—смѣясь договорилъ Розановъ.

— Да,—коротко отвѣтила Дарья Аѳанасьевна.

— За что же вы его не любите-то?

— Такъ,—актеръ онъ большой. Все только комедіи изъ себя представляетъ.

Прошло два дня. Араповъ нѣсколько разъ заходилъ къ доктору мрачный и таинственный, но не заводилъ никакихъ загадочныхъ рѣчей, а только держался какъ-то трагически.

— Что ты думаешь объ Араповѣ? — спросилъ однажды Розановъ Нечая, перебиравшаго на своемъ столѣ бумаги.

— О комъ?—наморщивъ брови, переспросилъ приставъ.

— Объ Араповѣ?—повторилъ докторъ.

— А бодай уси воны поиздыхали, — съ нетерпѣніемъ отозвался Нечай.

— Нѣтъ, серьезно?

— Такъ соби ледащица, якъ и уси.

— Ну, врешь, братъ, онъ парень серьезный,—возразилъ докторъ.

Нечай посмотрѣлъ на него и, засмѣявшись, спросилъ:

— Это онъ тебѣ не про революцію ли про свою нагородывъ? Слухай его! Ему тольки и дѣла, что побрехеньки свои распускать. Знаю я сію революцію-то съ московьскими панычами: пугу покажи имъ, такъ геть, геть — наче зайцы драпнутъ. Ты можэ чому и справди повиривъ? Плюнь, да перекрестысь. Се мара. Нехай воны на сѣли дурятъ, гдѣ люди просты, а мы бачимо на чемъ свинья хвостъ носитъ.

Это можэ у васъ тамъ на провинцыи такъ заразъ и виру даютъ...

— Ну, нѣтъ, братъ, у насъ-то не очень. Поговорить— такъ, а что другое, такъ нѣтъ...

— Ну, о то-жъ само и тутъ. А ты думаешь, что якъ воны що скажуть, такъ вже и Богъ зна що поробыться! Чортъ ма! Ничого не буде зъ московьскими панычами. Якъ ту письню спиваютъ у нихъ: «Ножки тонки, бочка звонки, хвостикъ закорючкой». Хиба ты ихъ за людей зважаешь? Хиба отъ цэ люди? Цэ крученые панычи, та й годи.

Докторъ имѣлъ въ своей жизни много доводовъ въ пользу практическаго смысла Нечая и взялъ его слова, какъ говорятъ въ Малороссіи, «въ думку», но не усвоилъ себѣ нечаевскаго взгляда на дѣла и на личность Арапова, а продолжалъ въ него всматриваться внимательнѣе.

На той же недѣлѣ Розановъ передъ вечеромъ зашелъ къ Арапову. День былъ жаркій, и Араповъ въ однихъ панталонахъ валялся въ своей спальнѣ на клеенчатомъ диванѣ.

Напротивъ его сидѣла Давыдовская, въ широчайшей холстинковой блузѣ, съ волосами, зачесанными по-дѣтски, сбоку, и курила свою неизмѣнную трубку.

И хозяйка, и жилецъ были въ духѣ и вели оживленную бесѣду. Давыдовская повторяла свой любимый разсказъ, какъ одинъ важный московскій генералъ пріѣзжалъ къ ней нѣсколько разъ въ гости и по три графина холодной воды выпивалъ, да такъ ни съ чѣмъ и отошелъ.

— Ну, ты! Зачѣмъ ты сюда пришелъ?—смѣясь спросила Розанова штабсъ-капитанша.

Нужно замѣтить, что она всѣмъ мужчинамъ, послѣ самаго непродолжительнаго знакомства, говорила *ты* и звала ихъ полуименемъ.

— А что? помѣшалъ, что ли, чему?—спросилъ Розановъ.

— Да нечего тебѣ здѣсь дѣлать: ты вѣдь женатый,— отвѣчала, смѣясь, Давыдовская.

— Ничего, Прасковья Ивановна: онъ вѣдь ужъ три рѣки переѣхалъ,—примирительно замѣтилъ Араповъ.

— О! Въ самомъ дѣлѣ переѣхалъ? Ну, такъ ты, Митька, теперь холостой, — садись, братъ. Нашъ еси, воспляшемъ съ нами.

— О чемъ дѣло-то?—спросилъ, садясь, докторъ.

— Да вотъ, про людей говоримъ,—отвѣчалъ Араповъ.

— Ничего не понимаю,—отвѣчалъ докторъ.

— О, толкушка безтолковая! Ты, Арапка, куда его по ночамъ водишь?—перебила хозяйка.

— Куда знаю, туда и вожу.

— Кто-то тамъ безъ него къ его женѣ ходитъ? — спросила Давыдовская, смѣясь и подмаргивая Арапову.

Доктора непріятно кольнула эта наглая шутка: въ немъ шевельнулись и сожалѣніе о женѣ, и оскорбленная гордость, и унизительное чувство ревности, пережившей любовь.

Дорого далъ бы докторъ, чтобы видѣть въ эту минуту горько досадившую ему жену и избавить ее отъ малѣйшей возможности подобнаго намека.

— Моя жена не таковская, — проговорилъ онъ, чтобы сказать что-нибудь и скрыть чувство ѣдкой боли, произведенное въ немъ наглымъ намекомъ.

— А ты почемъ знаешь? Ребята, что ли, говорили? — смѣясь продолжала Давыдовская. — Нѣтъ, братъ Митюша, люди говорятъ: кто вѣритъ женѣ въ домѣ, а лошади въ полѣ, тотъ дуракъ.

— Мало ли сколько глупостей говорятъ люди!

— Да, люди глупы...

Доктора совсѣмъ передернуло, но онъ сохранилъ все наружное спокойствіе и, чтобы перемѣнить разговоръ, сказалъ:

— Не пройдемтесь ли немножко, Араповъ?

— Пожалуй,—отвѣчалъ корректоръ и сталъ одѣваться.

Давыдовская вышла, размахивая трубкой, которая у нея неудачно закурилась съ одной стороны.

Розановъ съ Араповымъ пошли за Лефортовскій дворецъ, въ поле. Вечеръ стоялъ тихій, безоблачный, по мостовой отъ Сокольниковъ изрѣдка трещали дрожки, а то все было невозмутимо кругомъ.

Докторъ легъ на землю, Араповъ послѣдовалъ его примѣру и, опустясь, запѣлъ изъ «Руслана»:

Поле, поле! кто тебя усѣялъ мертвыми костями?

— Какая у васъ всегда мрачная фантазія, Араповъ,— замѣтилъ сквозь зубы докторъ.

— Каково, батюшка, на сердцѣ, такова и пѣсня.

— Да что у васъ такое на сердцѣ?

— Горе людское, неправда человѣческая, — вотъ что! Проклятъ человѣкъ, который спокойно смотритъ на все,

что происходитъ вокругъ насъ въ наше время. Надо помогать, а не сидѣть сложа руки. Настаетъ грозный часъ кроваваго расчета.

— Зачѣмъ же кроваваго?

— Нѣтъ-съ, дудки! Кроваваго-съ, кроваваго...

— Не понимаю я, чего вы хотите.

— Правды хотимъ.

— Какая это правда,—кровью! Въ силѣ нѣтъ правды.

— Клинъ клиномъ-съ выбиваютъ,—пожавъ плечами, отвѣчалъ Араповъ.

— Да какой же клинъ-то вы будете выбивать?

— Враждебную намъ силу, силу, давящую свободныя стремленія лучшихъ людей страны.

— Эхъ, Араповъ! Все это мечтанія.

— Нѣтъ-съ, не мечтанія.

— Нѣтъ, мечтанія. Я знаю Русь не по писанному. Она живетъ сама по себѣ и ничего вы съ нею не подѣлаете. Если что дѣлать еще, такъ надо ладомъ дѣлать, а не на грудцы лѣзть. Никто съ вами не пойдетъ, и что вы мнѣ ни говорите, у васъ у самихъ-то нѣтъ людей.

— А можетъ быть и есть! Почемъ вы это знаете?

— Такъ, знаю, что нѣтъ. Я въ этомъ случаѣ Ѳома невѣрный.

— А если вамъ покажутъ людей?

— Что-жъ покажутъ! Покажутъ словесниковъ, такъ я ихъ и дома видывалъ.

— Нѣтъ, вы такихъ дома не видали...

— Ну, это будетъ новость, а я себѣ такого современнаго русскаго человѣка какъ-то не могу представить.

— Какіе вы всѣ, господа, странные,—воскликнулъ Араповъ.—Зачѣмъ вамъ непремѣнно русскаго!

— Какъ же? Кому же до насъ дѣло, какъ не намъ самимъ?

— Отечество человѣческое безгранично.

Доктору вдругъ почему-то припомнился Райнеръ.

— Кто-жъ это будетъ нашимъ спасителемъ? Чужой человѣкъ, стало-быть?

— Да, если хотите смотрѣть съ своей узкой, патріотической точки зрѣнія, это будетъ, можетъ статься, чужой человѣкъ.

— И вы его знаете?

— И я его знаю,—самодовольно отвѣтилъ Араповъ.

«Языня ты, братъ, въ самомъ дѣлѣ»,—подумалъ докторъ.

— И вы его можете узнать,—продолжалъ Араповъ, если только захотите и дадите слово быть скромнымъ.

— Я болтливъ никогда не былъ,—отвѣчалъ докторъ.

— Ну, такъ вы его увидите. Въ слѣдующій четвергъ вечеромъ пойдемте, я васъ введу въ одно общество, гдѣ будутъ всѣ свои.

— И тамъ будетъ этотъ *чужой человѣкъ?*

— И тамъ будетъ этотъ *чужой человѣкъ*,—отвѣчалъ съ удареніемъ Араповъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Чужой человѣкъ.

Въ одну темную и чрезвычайно бурную ночь 1800 года, черезъ озеро Четырехъ-Кантоновъ переплыла небольшая черная лодка. Отчаянный гребецъ держался направленія отъ кантона Швица къ Люцерну. Казалось, что въ такую пору ни одинъ смертный не рѣшился бы переплыть обыкновенно спокойное озеро Четырехъ-Кантоновъ, но оно было переплыто. Швицкій смѣльчакъ за полночь причалилъ къ одной деревушкѣ кантона Ури, привязалъ къ дереву наполненный до половины водою челнокъ и постучалъ въ двери небольшого, скромнаго домика. Въ одномъ окнѣ домика мелькнулъ огонь и къ стеклу прислонилось испуганное женское лицо. Пріѣзжій изъ Швица постучалъ еще разъ. Смѣлый мужской голосъ изъ-за двери спросилъ:

— Кто тамъ?

— Изъ Швица отъ ландсмана,—отвѣчалъ пріѣзжій.

Ему отперли дверь и вслѣдъ затѣмъ снова тщательно заперли ее крѣпкимъ засовомъ. Республика была полна французовъ и въ окрестностяхъ стояли гренадеры Серрюрье.

Посланецъ вынулъ изъ-за пазухи довольно большой конвертъ съ огромною офиціальною печатью и подалъ хозяину.

Конвертъ былъ весь мокрый, какъ и одежда человѣка, который его доставилъ, но расплывшіяся чернила еще позволяли прочесть содержаніе сложеннаго вчетверо квадратнаго листа толстой бумаги.

На немъ было написано:

«Любезный союзникъ!

«Утѣснители швейцарской свободы не знаютъ предѣловъ своей дерзости. Ко всѣмъ оскорбленіямъ, принесеннымъ

Ребенокъ дрожалъ въ платьѣ, насквозь пробитомъ озерными волнами, но глядѣлъ бодро.

Ландсманъ погладилъ его по головкѣ, а жена ландсмана напоила его теплымъ виномъ и уложила въ постель своего мужа.

Она знала, что мужъ ея не ляжетъ спать въ эту ночь.

Люцернскій пасторъ говорилъ удивительную проповѣдь. Честь четырехъ кантоновъ, для слушателей этой проповѣди, была воплощена въ кускѣ бѣлаго полотна съ краснымъ крестомъ. Люди дрожали отъ ненависти къ французамъ.

Шайноха говоритъ, что современники видятъ только факты и не прозираютъ на результаты.

Ни ландсманъ, ни пасторъ, ни прихожане Люцерна не видѣли, что консульскія войска Франціи въ существѣ несли болѣе свободы, чѣмъ хранили ея консерваторы старой швейцарской республики.

На сценѣ были французскіе штыки, пьяные офицеры и распущенные солдаты, помнящіе времена либеральнаго конвента.

Въ роковой часъ полудня взводъ французскихъ гренадеръ вынесъ изъ дома ландсмана шестъ съ кускомъ бѣлаго полотна, на которомъ былъ нашитъ красный крестъ *).

Это былъ штандартъ четырехъ кантоновъ, взятый силою, несмотря на геройское сопротивленіе люцернцевъ.

За штандартомъ четыре гренадера несли высокаго человѣка съ круглою, рыжею головою, англійскаго склада. По его обуви струилась кровь.

За раненымъ вели ребенка, съ руками, связанными назади очень тонкимъ шнурочкомъ.

— Ну, что, bourgre allemand, попался?—шутилъ съ ребенкомъ гренадеръ.

— Я иду съ моимъ отцомъ,—отвѣчалъ на чистомъ французскомъ языкѣ ребенокъ.

— Tion!—ты говоришь по-французски?

— Да, моя мать не умѣетъ говорить иначе,—отвѣчало дитя.

Черезъ два дня послѣ этого происшествія изъ дома, въ которомъ квартировалъ sous-lieutenant, вынесли длинную

---

*) Авторъ надѣется, что для него не обязательно слѣдовать неотступно свидѣтельствамъ Тьера.

тою короткою формальностью, съ которою осудилъ на смерть молодого козленка.

Пасторъ твердо, насколько ему позволяли раненыя ноги, подошелъ и сталъ у столба.

— Вы имѣете предсмертную просьбу?—спросилъ пастора капралъ.

— Имѣю.

— Что вы хотите?

— Чтобъ мнѣ не завязывали рукъ и глазъ, и чтобъ меня разстрѣляли на той сторонѣ озера: я хочу лежать ближе къ Рютли.

Капралъ передалъ просьбу sous-lieutenant'у, и черезъ минуту сообщилъ осужденному, что первая половина его просьбы будетъ исполнена, а на Рютли онъ можетъ смотрѣть отсюда.

Пасторъ взглянулъ на блестящую, алмазную митру горы, сжалъ ручонку сына и, опершись другою рукою о плечо гренадера, спокойно сталъ у столба надъ выкопанною у него ямою.

— Подвяжите меня только подъ плечи: этого совершенно довольно,—сказалъ онъ капралу.

Просьбу его исполнили.

— Теперь хорошо, — сказалъ пасторъ, поддерживаемый веревкой.—Теперь подайте мнѣ сына.

Ему подали ребенка.

Пасторъ взялъ сына на руки, прижалъ его къ своей груди и, обернувъ дитя задомъ къ выступившимъ изъ полувзвода впередъ десяти гренадерамъ, сказалъ:

— Смотри, Ульрихъ, на Рютли. Ты видишь, вонъ она тамъ, наша гордая Рютли, вонъ тамъ—за этою бѣлою горою. Тамъ, въ той долинѣ, давно-давно сошлись наши рыбаки и поклялись умереть за свободу...

До ушей пастора долетѣлъ неистовый вопль.

Онъ ждалъ выстрѣла, но не этихъ раздирающихъ звуковъ знакомаго голоса.

Пасторъ боялся, что ребенокъ также вслушается въ этотъ голосъ и заплачетъ. Пасторъ этого очень боялся и, чтобы отвлечь дѣтское вниманіе отъ материнскихъ стоновъ, говорилъ:

— Они поклялись умереть за то... чтобы по чистой Рютли не ходили подлыя ноги имперскихъ фогтовъ.

— Пали! — послышался пастору сердитый крикъ sous-lieutenant'a.

— Смотри на Рютли,—шепнулъ сыну пасторъ.

Дитя было покойно, но выстрѣла не раздавалось.

— Боже, подкрѣпи меня!—молился въ душѣ пасторъ.

А въ четырнадцати шагахъ передъ нимъ происходила другая драма.

— Мы не будемъ стрѣлять въ ребенка: эта женщина — француженка. Мы не будемъ убивать французское дитя! — вполголоса произнесли плохо державшіе дисциплину солдаты консульской республики.

— Что это? бунтъ! — крикнулъ sous-lieutenant и, толкнувъ замершую у его ногъ женщину, громко кликнулъ то самое «пали», которое заставило пастора указать сыну въ послѣдній разъ на Рютли.

Солдаты молча опустили къ ногѣ заряженныя ружья.

— Der Teufel!—произнесъ страсбургскій sous-lieutenant и велѣлъ взять ребенка.

— Прощай!—сказалъ пасторъ, отдавая капралу сына.— Будь честенъ и люби мать.

Черезъ пять минутъ въ деревнѣ всѣмъ послышалось, какъ будто на столъ ихъ была брошена горсть орѣховъ и тотъ же звукъ, хотя гораздо слабѣе, пронесся по озеру и тихо отозвался стонущимъ эхомъ на Рютли.

Пастора Губерта Райнера не стало.

Его жена пришла въ себя, когда все уже было кончено.

Увидѣвъ маленькаго Райнера въ живыхъ, она думала, что видитъ привидѣніе: она ничего не слыхала послѣ сердитаго крика: «пали».

Вдова Райнера покинула прелестную Рютли и переѣхала съ сыномъ изъ Швица въ Женеву. Здѣсь, отказывая себѣ въ самомъ необходимомъ, она старалась дать Ульриху Райнеру возможно лучшее воспитаніе.

Въ двадцать одинъ годъ Ульрихъ Райнеръ сталъ платить матери свой денежный долгъ. Онъ давалъ уроки и перемѣнилъ съ матерью мансарду на довольно чистую комнату, и у нихъ всякій день кипѣла кастрюлька вкуснаго бульона.

Но Ульрихъ Райнеръ не былъ доволенъ этимъ.

Ему было мало одного бульона и тѣсна ему казалась Женева.

Одни и тѣ же виды, несмотря на все свое великолѣпіе, приглядываются, какъ женина красота, и подстрекаютъ любопытное влеченіе приподнять завѣсу другихъ красотъ, отдохнуть на другой груди, послушать, какъ бьется иное сердце.

Въ это время Европа поклонялась предъ могуществомъ Россіи и полна была разсказовъ о славѣ, великодушіи и просвѣщеніи Александра I.

Ульрихъ Райнеръ съ великимъ трудомъ скопилъ небольшую сумму денегъ, обезпечилъ на годъ мать и, оплаканный ею, уѣхалъ въ Россію. Это было въ 1816 году.

Ульрихъ Райнеръ пріѣхалъ въ Россію статнымъ, прекраснымъ юношею. Онъ былъ похожъ на своего могучаго отца, но выраженіе его лица смягчилось нѣкоторыми тонкими чертами матери. Съ этого лица постоянно не сходило серьезное выраженіе Губерта Райнера, но на немъ не было губертовой холодности и спокойной флегмы: вмѣсто нихъ, лицо это дышало французскою живостью характера. Оно было вмѣстѣ и серьезно, и живо.

Въ то время иностранцамъ было много хода въ Россіи, и Ульрихъ Райнеръ не остался долго безъ мѣста и безъ дѣла. Тотчасъ же послѣ пріѣзда въ Москву онъ поступилъ гувернеромъ въ одинъ пансіонъ, а оттуда, черезъ два года, уѣхалъ въ Калужскую губернію наставникомъ къ дѣтямъ богатаго князя Тотемскаго.

Здѣсь Ульрихъ Райнеръ провелъ семь лѣтъ, скопилъ малую толику капитальца и, въ исходѣ седьмого года, женился на русской дѣвушкѣ, служившей вмѣстѣ съ нимъ около трехъ лѣтъ гувернанткой въ томъ же домѣ князей Тотемскихъ.

Жена Ульриха Райнера была прелестное созданіе. Въ ней могло плѣнять человѣка все, начиная съ ея ангельской русой головки до ангельской души, смотрѣвшей сквозь кроткіе глубокіе глаза.

Это была русская женщина, поэтически восполняющая прелестные типы женщинъ Бертольда Ауэрбаха. Она не была второю Женни и здѣсь не мѣсто говорить о ней много; но авторъ, находясь подъ неотразимымъ вліяніемъ этого типа, будетъ очень жалѣть, если у него недостанетъ силъ и умѣнья когда-нибудь въ другомъ мѣстѣ разсказать, что за лицо была Марья Михайловна Райнеръ, и напомнить

ею одинъ изъ нашихъ улетающихъ и всѣми позабываемыхъ женскихъ типовъ.

Женясь на Марьѣ Михайловнѣ, Ульрихъ Райнеръ переѣхалъ въ Петербургъ и открылъ съ женою частный пансіонъ, въ которомъ самъ былъ и начальникомъ, и училъ языкамъ воспитанниковъ старшихъ классовъ.

Затрудняясь говорить по-русски, Райнеръ довольствовался скромнымъ званіемъ учителя языковъ, и въ исторіи литературы читалъ своимъ ученикамъ исторію народовъ.

Дѣла Райнера шли отлично. Капиталъ его росъ, здоровье служило, врожденной энергіи было много, женою былъ счастливъ безъ мѣры,—чего же болѣе?

Но Райнеръ не былъ изъ числа людей, довольныхъ однимъ матеріальнымъ благосостояніемъ.

Черезъ два года послѣ его женитьбы у него родился сынъ, опять представившій въ себѣ самое счастливое и гармоническое сочетаніе наружныхъ чертъ своего твердаго отца съ женственными чертами матери.

Рожденіе этого мальчика было поводомъ къ тяжелымъ семейнымъ сценамъ, дорого обошедшимся и Райнеру, и его женѣ, и самому ребенку.

Ульрихъ Райнеръ хотѣлъ, чтобы сынъ его былъ названъ Робертомъ, въ честь его стараго университетскаго друга, кельнскаго пивовара Блюма, отца прославившагося въ 1848 году нѣмецкаго демократа Роберта Блюма.

Этого нельзя было сдѣлать: сынъ швейцарца Райнера и его русской жены не могъ быть лютераниномъ.

Ульрихъ Райнеръ рѣшилъ никакъ не крестить сына, и ему это удалось.

Ребенокъ, пососавъ нѣсколько дней материнское молоко, отравленное материнскимъ горемъ, зачахъ, покорчился и умеръ.

Марія Райнеръ цѣлые годы неутѣшно горевала о своемъ некрещеномъ ребенкѣ и оставалась бездѣтною. Только весною 1840 года она сказала мужу: «Богъ услышалъ мою молитву: я не одна».

Четвертаго ноября 1840 года у Райнера родился второй сынъ.

Ульрихъ Райнеръ былъ теперь гораздо старше, чѣмъ при рожденіи перваго ребенка, и не сумасшествовалъ.

Ребенка при св. крещеніи назвали Васильемъ.

Отецъ звалъ его Вильгельмъ Робертъ. Мать, лаская дитя у своей груди, звала его Васей, а прислуга Вильгельмомъ Ивановичемъ, такъ какъ Ульрихъ Райнеръ въ Россіи именовался, для простоты рѣчи, Иваномъ Ивановичемъ. Вскорѣ послѣ похоронъ перваго сына, въ декабрѣ 1825 года, Ульрихъ Райнеръ рѣшительно объявилъ, что онъ ни за что не останется въ Россіи и совсѣмъ переселится въ Швейцарію.

Этотъ планъ очень огорчалъ Марью Михайловну Райнеръ и, несмотря на то, что крутой Ульрихъ, видя страданія жены, годъ отъ году откладывалъ свое переселеніе, но, тѣмъ не менѣе, все это терзало Марью Михайловну. Она была далеко не прочь съѣздить въ Швейцарію и познакомиться съ родными мужа, но совсѣмъ туда переселиться, съ тѣмъ, чтобы уже никогда болѣе не видать Россіи, она ни за что не хотѣла. Одна мысль объ этомъ повергала ее въ отчаяніе. Марья Михайловна любила родину такъ горячо и просто.

Въ такомъ состояніи была душа Марьи Михайловны Райнеръ, когда она дождалась второго сына, по ея словамъ, «вымоленнаго и выпрошеннаго у неба».

Марья Михайловна вся отдалась сыну. Она пользовалась первыми проявленіями умственныхъ способностей ребенка — старалась выучить его молиться по-русски Богу, спѣшила выучить его читать и писать по-русски и никогда не говорила съ нимъ ни на какомъ другомъ языкѣ. Предчувствуя, что рано или поздно ея Вася очутится въ средѣ иного народа, она всѣми силами старалась какъ можно болѣе посѣять и возрастить въ его душѣ русскихъ сѣмянъ и укоренить въ немъ любовь къ материнской родинѣ. Одна мысль, что ея Вася будетъ *иностранцемъ* въ Россіи, заставляла ее млѣть отъ ужаса и, падая ночью у дѣтской кровати передъ освѣщеннымъ образомъ Спасителя, она шептала: — «Господи! ими же вѣси путями спаси его; но пусть не моя совершится воля, а Твоя».

Отецъ не мѣшалъ матери воспитывать сына въ духѣ ея симпатій, но не оставлялъ его внѣ всякаго знакомства и съ своими симпатіями.

Пламенно восторгаясь, онъ читалъ ему Вильгельма Телля, избранныя мѣста изъ Орлеанской Дѣвы и заставлялъ наизусть заучивать огненные стихи Фрейлиграта, подготовлявшаго германскіе умы къ великому пожару 1848 года.

Мать Василья Райнера это ужасно пугало, но она не

смѣла противорѣчить мужу и только старалась усилить на сына своего кроткое вліяніе.

Такъ росъ ребенокъ до своего семилѣтняго возраста въ Петербургѣ. Онъ безмѣрно горячо любилъ мать, но питалъ глубокое уваженіе къ каждому слову отца и благоговѣлъ передъ его строгимъ взглядомъ.

Ребенокъ былъ очень благонравенъ, добръ и искрененъ. Онъ съ почтеніемъ стоялъ возлѣ матери за долгими всенощными въ церкви Всѣхъ Скорбящихъ; молча и со страхомъ вслушивался въ громовыя проклятія, которыя его отецъ въ кругу пріятелей слалъ Наполеону Первому и всѣмъ роялистамъ; каждый вечеръ повторялъ передъ образомъ: «но не моя, а Твоя да совершится воля», и засыпалъ, носясь въ нарисованномъ ему мірѣ швейцарскихъ рыбаковъ и пастуховъ, сломавшихъ несокрушимою волею желѣзныя цѣпи несноснаго рабства.

Собою осьмилѣтній Райнеръ былъ очаровательно хорошъ. Онъ былъ высокъ не по лѣтамъ, крѣпко сложенъ, имѣлъ русыя кудри, тонкій, правильный носъ, съ кроткими, синими глазами матери и рѣшительнымъ подбородкомъ отца. Лучшаго мальчика вообразить было трудно.

Приближался 1847 годъ. Въ Европѣ становилось неспокойно: опытные люди предвидѣли бурю, которая и не замедлила разразиться.

Въ концѣ 1847 года Ульрихъ Райнеръ имѣлъ нѣсколько непріятностей по пансіону. Это его меньше огорчало, чѣмъ сердило.

Наконецъ, возвратясь въ одинъ день съ довольно долгаго объясненія, онъ громко запретилъ дѣтямъ играть въ «республику» и объявилъ, что болѣе не будетъ держать пансіона.

Марья Михайловна, блѣдная и трепещущая, выслушала мужа, запершись въ его кабинетѣ, и уже не плакала, а тихо объявила: «Мы, Васенька, должны ѣхать съ отцомъ въ Швейцарію».

Пансіонъ былъ распущенъ, деньги собраны, Марья Михайловна съѣздила съ сыномъ въ Москву поклониться русскимъ святынямъ, и Райнеры оставили Россію.

На границѣ Марья Михайловна съ сыномъ стали на колѣни, поклонились до земли востоку и заплакали; а старый

Райнеръ сжалъ губы и сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе. Онъ стыдился уронить слезу.

Они ѣхали на Кельнъ.

Ульрихъ Райнеръ, какъ молодой, нетерпѣливый любовникъ, считалъ минуты, когда онъ увидитъ старика Блюма.

Наконецъ предсталъ и Блюмъ, и его пивной заводъ, и его сынъ Робертъ Блюмъ.

Это было очень хорошее свиданіе. Я такихъ свиданій не умѣю описывать.

Въ домѣ стараго пивовара всѣмъ было хорошо. Даже Марья Михайловна вошла въ очень хорошее состояніе духа и была очень благодарна молодому Роберту Блюму, который водилъ ея сына по историческому Кельну, объяснялъ ему каждую достопримѣчательность города и напоминалъ его исторію. Марья Михайловна и сама сходила въ неподражаемую каѳедру, но для ея религіознаго настроенія здѣсь было тяжело. Причудливость и грандіозность стиля только напоминали ей объ удаленіи отъ темнаго уголка въ Чудовомъ монастырѣ и боковомъ придѣлѣ Всѣхъ Скорбящихъ.

Зато съ сыномъ ея было совсѣмъ другое.

По цѣлымъ часамъ онъ стоялъ передъ «Снятіемъ со креста», вглядываясь въ каждую черту геніальной картины, а Робертъ Блюмъ тихимъ, симпатичнымъ голосомъ разсказывалъ ему исторію этой картины и рядомъ съ нею исторію самого геніальнаго Рубенса, его безалаберность, пьянство, его униженіе и возвышеніе. Ребенокъ стоитъ пораженный величіемъ общей картины кельнскаго Дома, а Робертъ Блюмъ опять говоритъ ему хватающія за душу рѣчи по поводу недоконченнаго собора.

Ульрихъ Райнеръ оставилъ семью у Блюма и уѣхалъ въ Швейцарію. Съ помощью старыхъ пріятелей онъ скоро нашелъ очень хорошенькую ферму подъ одною изъ горъ, вблизи боготворимой имъ долины Рютли, и перевезъ сюда жену и сына.

Домикъ Райнера, какъ и всѣ почти швейцарскіе домики, былъ построенъ въ два этажа и мѣстился у самаго подножія высокой горы, на небольшомъ, зеленомъ уступѣ, выходившемъ плоскою косою въ одинъ изъ неглубокихъ заливцевъ Фирвальдштетскаго озера. Нижній этажъ, сложенный изъ сѣраго камня, былъ занятъ службами, и тутъ же было помѣщеніе для скота; во второмъ этажѣ, обшитомъ

вычурною тесовою рѣзьбою, были жилыя комнаты, и наверху мостился еще небольшой мезонинъ въ два окна, обнесенный узорчатою галлереею.

Марья Михайловна поселилась съ сыномъ въ этомъ мезонинѣ, и по этой галлереѣ бѣгалъ кроткій, но рѣзвый Вильгельмъ - Робертъ Райнеръ, засматриваясь то на блестящія снѣговыя шапки горъ, окружающихъ со всѣхъ сторонъ долину, то слѣдя за тихимъ, медлительнымъ шагомъ коровъ, переходившихъ въ бродъ озерной заливецъ. Иногда ребенокъ взбирался съ галлереи на заросшую травою крышу и, усѣвшись на одномъ изъ лежащихъ здѣсь камней, цѣлые вечера смотрѣлъ на картины, согрѣваемыя краснымъ, горячимъ закатомъ солнца. Теплы, сильны и своеобычны эти вечернія швейцарскія картины. По мѣрѣ того, какъ одна сторона зеленаго дуба темнѣетъ и впадаетъ въ коричневый тонъ, другая согрѣвается, краснѣетъ; иглистыя ели и сосны становятся синими, въ водѣ вырастаетъ другой, опрокинутый лѣсъ; босые мальчики загоняютъ дойныхъ коровъ съ мелодическими звонками на шеяхъ; пробѣгаютъ крестьянки въ черныхъ спензеряхъ и яркоцвѣтныхъ юбочкахъ, а на рѣшетчатой скамейкѣ въ высокой швейцарской шляпѣ и сѣрой курткѣ сидитъ отецъ и ведетъ горячіе споры съ сосѣдомъ или заѣзжимъ гостемъ изъ Люцерна или Женевы.

Германская революція была во всемъ разгарѣ. Старикъ Райнеръ оставался дома и не принималъ въ ней, повидимому, никакого непосредственнаго участія, но къ нему безпрестанно заѣзжали какіе-то новые люди. Онъ всегда говорилъ съ этими людьми, запершись въ своемъ кабинетѣ, давалъ имъ проводниковъ, лошадей и денегъ, и самъ находился въ постоянномъ волненіи.

Пришло извѣстіе, что Робертъ Блюмъ разстрѣлянъ. Семья Райнеровъ впала въ ужасъ. Старушка мать Ульриха Райнера, переѣхавшая было къ сыну, отпросилась у него опять въ тихую іезуитскую Женеву. Старая француженка вездѣ ждала гренадеровъ Сюррирье и просила отпустить съ нею и внука въ ея безмятежно-молитвенный городъ.

Отцу было не до сына въ это время и онъ согласился, а мать была рада, что бабушка увезетъ ея сокровище изъ дома, который съ часу на часъ болѣе и болѣе наполнялся революціонерами.

Бабушка опредѣлила молодого Райнера въ женевскую гим-

назію и водила его по воскресеньямъ въ домъ къ Джемсу Фази, но, несмотря на то, онъ черезъ годъ вернулся къ отцу ультра-клерикальнымъ ребенкомъ.

А между тѣмъ революція кончилась; Марисъ и Фрейлигратъ сидѣли за конторками у лондонскихъ банкировъ; Роберта Блюма уже не было на свѣтѣ и старческія трепетанія одряхлѣвшей нѣмецкой Европы успокоились подъ усмиряющія пѣсни публицистовъ и философовъ 1850 года. Все было тихо, и германскіе владѣльцы думали, что сдѣлать съ скудной складчиной, собранной на отстройку кельнской каѳедры?

Предсказанія Роберта Блюма исполнились: недостало цемента, чтобы спаять имъ со стѣною церкви камень, оставленный безъ заливки подневольнымъ каменщикомъ старой имперіи.

Старикъ Райнеръ, разбитый въ своихъ упованіяхъ, сидѣлъ одинъ, гнулся и, какъ ощипанный пѣтухъ, пряталъ свой обдерганный хвостъ.

— Эге, любезный сынокъ; да ты совсѣмъ женевскій піэтистъ сталъ у меня! — воскликнулъ, наконецъ, ощипанный старикъ и, рѣшивъ схоронить въ глубинѣ души свои разбитыя надежды, взялся самъ за воспитаніе сына.

Это воспитаніе продолжалось болѣе шести лѣтъ. Добрый германскій народъ, пошумѣвъ о единой Германіи, спокойно спалъ, пробуждаясь только для юристенъ-вальса, отвлеченныхъ словопреній и вполнѣ достигнутаго права на единое дешевое пиво. За ледяными горами Швейцаріи не такъ жарки казались вѣсти, долетавшія изъ Франціи, и старикъ Райнеръ оставался при своемъ дѣлѣ. Онъ училъ сына, пѣлъ гортанныя рулады къ республиканскимъ пѣснямъ, насвистывалъ аріи изъ Телля и, къ ужасу своей жены, каждый обѣдъ разражался адскими ругательствами надъ наполеонистами, ожидая отъ нихъ всеобщаго зла повсюду.

А время все шло.

На пятнадцатомъ году молодой Райнеръ лишился своей матери. Это былъ ужасный ударъ для юноши. Онъ вообще не видалъ своей матери счастливою и веселою со дня переселенія на озеро Четырехъ-Кантоновъ. Марья Михайловна постоянно грустила между чужими людьми, рвалась на родину и, покоряясь необходимости, смирялась и молилась передъ образомъ въ русской золоченой ризѣ. Она только одинъ

разъ была весела и счастлива. Это было вскорѣ послѣ сорокъ-осьмого года, по случаю пріѣзда къ Райнеру одного русскаго, съ которымъ бѣдная женщина ожила, припоминая то бѣлокаменную Москву, то калужскіе лѣса, живописныя чищобы и волнообразныя нивы съ лѣнивой Окой. Этотъ русскій былъ очень чуткій, мягкій и талантливый человѣкъ. Онъ не превосходилъ себя въ дарованіяхъ, будя въ душѣ Маріи Райнеръ томительно сладкія воспоминанія. Уйдя съ Ульрихомъ Райнеромъ послѣ ужина въ его комнату, онъ еще убѣдительнѣе и жарче говорилъ съ нимъ о другихъ сторонахъ русской жизни, далеко забрасывалъ за уши свою буйную гриву, дрожащимъ, нервнымъ голосомъ съ искрящимися глазами развивалъ старику свои молодыя думы и жаркія упованія.

Старикъ Райнеръ все слушалъ молча, положивъ на руки свою серебристую голову. Кончилась огненная, живая рѣчь, приправленная всѣми ѣдкими остротами красиваго и горячаго ума. Разсказчикъ сѣлъ въ сильномъ волненіи и опустилъ голову. Старый Райнеръ все не сводилъ съ него глазъ, и оба они долго молчали. Изъ-за горъ показался сѣрый утренній свѣтъ и сталъ наполнять незатѣйливый кабинетъ Райнера, а собесѣдники все сидѣли молча и далеко носились своими думами. Наконецъ Райнеръ приподнялся, вздохнулъ и сказалъ ломанымъ русскимъ языкомъ:

— Ню, а слюшайте, што я вамъ будетъ сказать: это, што вы мнѣ сказаль, никогда будетъ.

— Это будетъ!—крикнулъ русскій.

— Повѣрьте, мой друкъ, какъ это никогда будетъ.

— Вы не знаете Россіи.

— О, о-о! Я ошень карашо знаетъ Россія. Вы это никогда говорить. Я ошень карашо... Moi, je connais la Russie parfaitement. Это совсѣмъ не приходило время. Для Россіи... C'est trop tôt pour la Russie; cela n'est pas dans son esprit national. Cela ne lui porterait pas de bonheur. Oh! je la connais bien, la Russie... Я никому буду вѣрилъ, какъ этотъ планъ рекомендовать, я знаю, какъ онъ не придить теперь.

— Я это доказалъ въ моей брошюрѣ.

— И ви это никогда будете доказать на практика... Vous ne saurez jamais appliquer! jamais!

— У насъ *der* binen mus.

— Bravo!

— Увидимъ!

— Eh bien! qui vivra, verra!

Жена Райнера, разумѣется, не слыхала этого разговора.

— Какъ странно,—сказала она мужу, проводивъ гостя:— мнѣ этотъ человѣкъ всегда представлялся такимъ желчнымъ, насмѣшливымъ и сердитымъ, а онъ такой милый и простой.

— Это всего чаще случается,—отвѣчалъ Райнеръ.

— Право, я желала бы, чтобы мой Вася походилъ на него,—проговорила Марья Михайловна, глядя съ нѣжностью на сына.

— А я не желалъ бы этого,—отвѣчалъ мужъ.

— Отчего же? Такой умъ, такая задушевность, прямота...

— Очень много говоритъ. Очень большіе планы задумываетъ, фантазеръ и поэтъ.

— Не понимаю, что̀ ты говоришь.

— Говорю, что Вильгельмъ долженъ быть похожъ прежде всего самъ на себя.

Мать опять взглянула на сына, который молча стоялъ у окна, глядя своимъ взоромъ на пастуха, прыгавшаго по обрывистой тропинкѣ скалы. Она любовалась стройною фигурой сына и чувствовала, что онъ скоро будетъ хорошъ тою прелестною красотою, которая долго остается въ памяти.

Это, какъ сказано, былъ лучшій день въ швейцарской жизни Марьи Михайловны.

Къ гробу она сходила тихо и кротко, какъ жила на свѣтѣ. Не болѣла, не горѣла, какъ говоритъ народъ, а таяла, таяла и умерла. За три дня до смерти мужъ привезъ ей русскаго священника изъ посольства. Она была чрезвычайно рада этому; благодарила мужа, причастилась и три послѣдніе дня жизни все говорила съ сыномъ. Много она говорила ему обо всемъ, стараясь прозрѣть въ его будущность. Благодарила его за почтеніе къ ней, говорила объ обязанностяхъ человѣка къ Богу, къ обществу, къ семьѣ и къ женщинѣ. Послѣдній пунктъ особенно занималъ умирающую!

— Отъ жены зависитъ все твое счастіе, Вася. Выбирай жену осмотрительно. Слушай отцовскаго совѣта. Онъ опытенъ и уменъ,—заключала она долгій разговоръ, и потомъ, подумавъ и взявъ сына за руку, добавила: — И вотъ что еще, Вася. Ты ужъ не маленькій, все понимаешь. Исполни

еще одну мою предсмертную просьбу; я изъ-за могилы буду тебя благодарить и буду тобой гордиться. Храни ты, Вася, себя чистымъ. Это не такъ трудно, какъ говорятъ. Подумай, какая обида женщинѣ... когда ее не ждали. Подумай опять, какъ это гадко... и какъ честно, какъ пріятно сберечь себя. Берегись, другъ мой, и чистымъ веди къ алтарю женщину въ союзъ, опредѣленный Богомъ. Я не хочу тебя обязывать словомъ, но мнѣ было бы очень отрадно умирать, надѣясь, что ты, Вася, не забудешь моей просьбы.

— Я ее исполню, матушка,—отвѣчалъ молодой Райнеръ, становясь на колѣни и цѣлуя материну руку.

Такъ умерла madame Райнеръ вдалекѣ отъ нѣжно любимой родины и схоронена на приходскомъ кладбищѣ близъ долины Рютли.

Былъ опять русскій священникъ съ дьячкомъ, который пѣлъ надъ гробомъ Марьи Михайловны о мірѣ, гдѣ нѣтъ печали и воздыханія, но жизнь безконечная.

Оба Райнера плакали, слушая эту поэтическую пѣснь о безконечной жизни, въ которую такъ крѣпко и такъ тепло вѣрила незлобивая покойница.

Послѣ этихъ похоронъ въ жизни Райнеровъ произошла большая перемѣна. Старикъ какъ-то осунулся и неохотно занимался съ сыномъ. Въ домъ переѣхала старушка-бабушка, забывшая счетъ своимъ годамъ, но отсутствіе Марьи Михайловны чувствовалось на каждомъ шагу. Болѣе всѣхъ отдавалось оно въ сердцѣ молодого Райнера.

Онъ былъ очень тщательно обученъ многому, между прочимъ, и былъ замѣчательный лингвистъ. Теперь онъ уже могъ и самъ продолжать свое домашнее образованіе безъ руководителя! Онъ могъ даже и такъ поступить въ любой университетъ, но разбитый старикъ объ этомъ пока не думалъ.

Молодому Райнеру послѣ матери часто тяжелъ былъ видъ опустѣвшаго дома, и онъ нерѣдко уходилъ изъ него на цѣлые дни. Съ книгою въ рукахъ ложился онъ на живописный обрывъ какой-нибудь скалы и читалъ, читалъ, или думалъ, пока усталость сжимала его глаза.

Молодой человѣкъ засыпалъ, начитавшись Тацита, или біографій Плутарха, и горячо настроенное воображеніе принималось рисовать передъ нимъ могучіе образы, высокія,

вдохновляющія картины. То видитъ онъ перепуганное лицо, которое молитъ рыбака перевезть его черезъ озеро изъ Люцерна въ Швицъ. «Я убилъ цезарскаго фогта за то, что онъ хотѣлъ оскорбить мою жену», говоритъ испуганный человѣкъ, блѣднѣя и озираясь во всѣ стороны. А озеро бушуетъ, высокіе черные валы ходятъ и воютъ. «Никто не поѣдетъ теперь черезъ озеро», говоритъ рыбакъ испуганному человѣку. «Спасите, умоляю васъ, за мною гонятся, спасите, у меня есть жена и дѣти», молитъ убійца фогта. «Что дѣлать! Мы оба погибнемъ,—отвѣчаетъ рыбакъ,—а у меня тоже есть жена и дѣти». Райнеръ слышитъ отчаянныя мольбы и видитъ сердитое озеро, грозящее смертью за дерзкія покушенія переѣхать его въ такую пору. Сердце его замираетъ отъ жалости и негодованія, а онъ не знаетъ, что дѣлать. Но вотъ изъ-за горы выходитъ рослый человѣкъ самаго кроткаго вида. За спиною у него сильный охотничій лукъ. Стрѣлокъ строго разспрашиваетъ убійцу о всѣхъ обстоятельствахъ убійства и потомъ вскакиваетъ въ лодку. «Посмотри на озеро, Телль,—говоритъ ему рыбакъ.—Сегодня день Симеона и Іуды и Фирвальдштетъ требуетъ своей жертвы. Не искушай Бога безумствомъ; у тебя жена и дѣти.» — «Честный человѣкъ послѣ всего думаетъ о себѣ: уповай на Бога твоего и спасай твоего брата», отвѣчаетъ стрѣлокъ, отвязывая лодку. «Телль, не искушай Бога безумствомъ»,—говоритъ ему рыбакъ. «Посмотри на озеро и вспомни, что сегодня день Симеона и день Іуды, въ который непремѣнно кто-нибудь долженъ погибнуть въ этихъ волнахъ.» — «Озеро еще можетъ смилостивиться, а цезарскій фогтъ никогда не смилуется», отвѣчаетъ охотникъ, отталкивая лодку, и челнокъ съ двумя сѣдоками то нырнетъ на свинцовыхъ волнахъ озера, то снова мелькнетъ на бѣломъ гребнѣ. Райнеръ узнаетъ въ гребцѣ лучшаго стрѣлка изъ Бюрглена въ кантонѣ Ури; онъ всматривается въ его одушевленное лицо и въ ушахъ его звучатъ простыя, евангельскія слова Вильгельма Телля: «Честный человѣкъ послѣ всего думаетъ самъ о себѣ». — Послѣ всего самъ о себѣ думаетъ въ эти минуты сонный Райнеръ и находитъ, что именно такъ только и можно думать человѣку, который хочетъ называться честнымъ. А воображеніе рисуетъ новую картину. За неумолимыми волнами озера показываются грозные всадники еще болѣе неумо-

лимаго фогта, слышны ихъ проклятія и тяжелые удары по оставшимся на берегу беззащитнымъ людямъ. Потомъ виднѣется площадь въ Альторфѣ. Люди работаютъ себѣ темницу и постыдно шутятъ надъ своей неволей. — «Кто поселится въ этомъ подземельѣ, о томъ и пѣтухъ не запоетъ», говоритъ каменщикъ, сгибаясь подъ тяжелой ношей. — «Что руками состроено, то руки и разобрать могутъ», отвѣчаетъ прохожій. Этотъ прохожій опять Телль. Вотъ съ кровли тюрьмы падаетъ человѣкъ и убивается на мѣстѣ; кто-то разсказываетъ, что у него отняли воловъ цезарскіе солдаты; кто-то говоритъ о старикѣ, ослѣпленномъ пытальщиками. «Смерть фогтамъ за ослѣпленіе моего отца! Пора положить конецъ нашимъ угнетеніямъ!» восклицаетъ молодой голосъ. «Фогтъ живетъ въ недоступномъ Зарингѣ», говоритъ другой голосъ. — «Хоть бы онъ жилъ выше того мѣста, гдѣ вѣчная Юнгфрау сидитъ въ своемъ туманномъ покрывалѣ,—я найду его», отвѣчаетъ молодой голосъ.

И все опять тихо; шопотъ совсѣмъ не слышенъ и Райнеръ только отличаетъ тихій голосъ Телля: «Я не пойду на Рютли. Разсуждайте сами, а если вамъ понадобится дѣло, тогда зовите меня».

Райнеру видится его дѣдъ, стоящій у столба надъ выкопанной могилой. «Смотри, тамъ Рютли», говоритъ онъ ребенку, заслоняя съ одной стороны его дѣтскіе глаза. «Я не люблю много словъ. Пусть Вильгельмъ будетъ похожъ самъ на себя», звучитъ ему отцовскій голосъ.—«Что я сдѣлаю, чтобъ походить самому на себя?» спрашиваетъ сонный юноша. «Они сдѣлали уже все, что имъ нужно было сдѣлать для этихъ горъ.»

«Рютли! прекрасная Рютли! Было время, когда ты была такъ же прекрасна, и трава твоя щедро поливалась слезами», думаетъ Райнеръ, забываясь новымъ сномъ. И другое время встаетъ передъ нимъ. Стоитъ знойный полдень. По зеленой долинѣ и по горнымъ откосамъ шныряютъ фогтскіе сыщики. По лѣстницамъ, скользя и обрываясь, торопливо взбираются на скалы испуганные люди и слышатся свистящіе удары ремней. Потомъ ночь, — темная швейцарская ночь. Озеро спитъ спокойнымъ зеркаломъ, отражая рѣдкія звѣзды, взошедшія на небо. По скаламъ, со стороны Унтервальдена, осторожно, безъ малѣйшаго звука, опускаются десять человѣкъ и становятся въ тем-

ной Рютли. Стража прокричала два, изъ Швица слышенъ тонкій, замирающій звукъ монастырскаго колокола. — «Зажгите кучу хвороста, а то они не найдутъ насъ», говоритъ молодой голосъ. Краснымъ пламенемъ вспыхиваетъ хворостъ и освѣщаетъ еще десять человѣкъ, идущихъ со стороны Швица. Изъ-за горъ, надъ озеромъ, восходятъ двѣ луны. Это старая пора, это тысяча триста шестой годъ. Только въ этотъ годъ надъ озеромъ Четырехъ-Кантоновъ всходила двойная луна. «Гдѣ же люди изъ Ури?» спрашиваютъ, оглядываясь, швицы. Кто-то отвѣчаетъ, что «имъ нужно обходить собакъ фогта». Со стороны Ури пробираются тридцать три человѣка. Урійцы отыскали вѣрныхъ людей болѣе, чѣмъ было условлено. Мелихталь разсказываетъ. Его разсказъ ужасенъ. «Я былъ вездѣ, — говоритъ онъ, — я видѣлъ моего слѣпого отца, лежащаго на чужой соломѣ, и... я не заплакалъ. Любовь отворила мнѣ двери фогта и я его видѣлъ, и я... его не убилъ. Но я высосалъ изъ кровавыхъ глазъ моего отца месть и отмщу нашимъ злодѣямъ».—«Мы не должны мстить за старое;—мы имѣемъ только право не допускать зла въ будущемъ», произнесъ симпатичный голосъ.

И. Райнеръ видитъ два воткнутые въ землю меча и слышитъ взаимныя клятвы не храбриться напрасно, не гибнуть безслѣдно порознь. Слышитъ разсказы о равнодушіи германскаго императора къ жалобамъ швейцарцевъ и грозный обѣтъ собирать людей и отстоять свою свободу. Все предписываетъ осторожность. «Даже излишняя ревность къ дѣлу будетъ преступленіемъ, ибо кто осмѣлится самовольно вступаться въ общее дѣло, тотъ грабитъ общее достояніе», рѣшаетъ ночное рютлійское собраніе, расходясь въ виду зари, заигравшей на дѣвственномъ снѣгу окружныхъ горъ...

— «Кто осмѣлится самовластно вступиться въ общее дѣло, тотъ грабитъ чужое достояніе», — пробудясь, повторяетъ Райнеръ.

И еще разъ засыпаетъ Райнеръ и видитъ шестъ, а на шестѣ пустая шляпа, и возлѣ нея стоятъ два часовыхъ. Издали идетъ Телль съ сыномъ. Они не замѣчаютъ шляпы и разговариваютъ.—«Отецъ! правда ли, что тотъ лѣсъ заколдованъ и изъ его листьевъ сочится кровь?» — спрашиваетъ ребенокъ.—«Да,—говоритъ Телль,—лѣсъ заколдованъ,

чтобъ сдерживать лавины; но дитя мое, для каждой страны страшны не заколдованные лѣса и лавины, а люди, не имѣющіе вѣры другъ къ другу».—«Онъ не оказалъ почтенія къ шляпѣ!»—кричатъ солдаты, хватаясь за Телля. Выскакиваютъ изъ домовъ лучшіе граждане Альторфа, просятъ, молятъ за Телля — все напрасно. «У двухъ солдатъ немудрено взять и насильно»,—говоритъ кто-то изъ толпы.— «Бунтъ!» — кричатъ солдаты, и на планѣ картины показывается кавалькада. Фогтъ Геслеръ на конѣ и съ соколомъ, а съ нимъ красавица швейцарка Берта, впереди прочихъ. Фогтъ судитъ Телля.

Ребенка ставятъ у тополя и кладутъ яблоко на его головку:—«Меня не нужно привязывать»,—говоритъ дитя и стоитъ твердо. Телль поднимаетъ лукъ, всѣ дрожатъ и закрываютъ глаза.—И видитъ потомъ Райнеръ кроткаго Телля, натягивающаго лукъ изъ ущелья, видитъ мертваго Геслера... шумъ, кровь, смерть, стоны! Наступаетъ роковая минута при Моргартенѣ: цезарскіе латники двинулись, ихъ закованныя груди невредимы; Винкельридъ бросается впередъ... втыкаетъ себѣ въ грудь пукъ вражескихъ копій и тѣмъ открываетъ своимъ дорогу. Ужасная картина! Когда она приснилась Райнеру, онъ проснулся и, увидавъ мирную Рютли и тихія окрестности, подумалъ: «Какъ хорошо, что это уже прошло и навѣрно никогда не возвратится снова. Ты теперь спокойная, счастливая сторона, на тебѣ не лежитъ чужеземное иго».

— Дайте мнѣ напиться,— проситъ юноша у крестьянки, сгибающейся подъ тяжелыми кувшинами и тянущей за собою четырехлѣтнее дитя.

«Странное дѣло! — думаетъ онъ, глотая свѣжую воду. — Этотъ ребенокъ такъ тощъ и блѣденъ, какъ мучной червякъ, посаженный на пробку. И его мать... Эта яркая юбка ветха и покрыта прорѣхами; этотъ спензеръ виситъ на ея тощей груди, какъ на палкѣ, ноги ея босы и исцарапаны, а издали это было такъ хорошо и живописно!»

— Отчего такъ худъ твой ребенокъ? — спрашиваетъ Райнеръ.

— Плохая пища, фермеръ. У меня нѣтъ дома. Я вдова, я работаю людямъ изъ хлѣба. Мнѣ некуда идти съ моимъ дитятей, я кормлю его тѣмъ, чего не съѣдятъ хозяйскія дѣти.

«Плохая пища!—думаетъ Райнеръ. — Этотъ мучной чер-

вякъ скоро умретъ, сидя на пробкѣ. Зачѣмъ люди не умѣютъ жить иначе? Какъ же иначе?.. Пусть хоть не такъ тѣсно межуютъ землю. Зачѣмъ они тѣснятся? Затѣмъ, чтобы расходиться на поиски хлѣба, потѣшать голодными пѣснями сытый развратъ. Твои свободные сыны, Швейцарія, служили наемными солдатами у деспотовъ; твои дочери ѣдутъ въ Петербургъ, Парижъ, Вѣну за такимъ хлѣбомъ, который становится поперекъ горла, пока его не смочатъ горючія слезы. Тѣсно людямъ! Мало имъ мѣста на широкомъ свѣтѣ!..»

И вотъ Райнеру рисуется просторъ, необъятный просторъ, не загроможденный скалами, не угрожаемый лавинами. По этому широкому раздолью тянутся широкія, голубыя ленты рѣкъ, стоятъ мѣстами дремучіе лѣса, колышатся буйныя нивы и въ воздухѣ носится сильный, немножко удушливый запахъ головастой конопли и пустоцвѣтныхъ замашекъ. Изрѣдка только по этому простору сидятъ убогія деревеньки, въ которыхъ живутъ люди, незнакомые почти ни съ какими удобствами жизни; еще рѣже видны бѣдныя церкви, куда народъ вноситъ свое горе, свою радость. Все здѣсь дѣлается не спѣша, тихо, опустя голову. Протяжно и уныло звучитъ изъ-за горки караульный колоколъ ближайшей церкви и еще протяжнѣе, еще унылѣе замираетъ въ воздухѣ пѣсня, весь смыслъ которой меньше заключается въ словахъ, чѣмъ въ надрывающихъ душу аханьяхъ и оханьяхъ, которыми эти слова пересыпаны.—А тамъ серебряная лампада, слабо мерцающая надъ серебряной ракой, мать, Робертъ Блюмъ и отецъ, заказывающій не многорѣчить и походить самому на себя...

Таково было дѣтство и ранняя юность Вильгельма Райнера.

— Тебѣ надо ѣхать въ университетъ, Вильгельмъ,—сказалъ старый Райнеръ, послѣ этого грустнаго, поэтическаго лѣта сновъ и мечтаній сына.—Въ Женевѣ теперь піитисты, въ Лозаннѣ и Фрейбургѣ іезуиты. Надо быть подальше отъ этихъ католическихъ пауковъ. Я тебя посылаю въ Германію. Сначала поучись въ Берлинѣ, а потомъ можешь перейти въ Гейдельбергъ и Боннъ.

Вильгельмъ Райнеръ уѣхалъ. Полтора года онъ слушалъ лекціи въ Берлинѣ и подружился здѣсь съ Оскаромъ Бекеромъ, сдѣлавшимъ себѣ впослѣдствіи такую печальную извѣстность. Потомъ сходился на лекціяхъ въ Боннѣ съ молодыми владѣтельными принцами въ Германіи и, нако-

нецъ, попалъ въ Гейдельбергъ. Теперь онъ былъ совершеннымъ красавцемъ. Прелестныя русыя кудри вились и густыми локонами падали на плечи, открывая только съ боковъ античную бѣлую шею; по лицу проступалъ легкій пушокъ, обозначалась небольшая раздваивающаяся бородка и надъ верхней губою вились тоненькіе усики. Сентиментальныя нѣмочки Гейдельберга, любуясь очаровательною головою Райнера, въ шутку прозвали его *Christuskopf*, и скоро эта кличка замѣнила для него его настоящее имя.

Гедвига и Ида изъ Bier-Halle, около которыхъ всегда толпилась цѣлая куча студентовъ, дѣлали глазки Райнеру и весьма недвусмысленно улыбались, подавая ему кружку пива; но Райнеръ не замѣчалъ этого, какъ онъ не замѣчалъ и всѣхъ остальныхъ женщинъ, со стороны ихъ притягательнаго вліянія на мужчину.

Въ Гейдельбергѣ Райнеръ ближе всѣхъ держался славянскаго кружка и преимущественно сходился съ русскими и поляками. Чеховъ здѣсь было немного, но зато изъ среды ихъ Райнеръ выбралъ себѣ крѣпкаго друга. Это былъ Іосифъ Коляръ, поэтъ, энтузіастъ и славянскій федералистъ, родомъ изъ окрестностей Карлова Тына.

На двадцать второмъ году Вильгельмъ Райнеръ возвратился домой, погостилъ у отца и съ его рекомендательными письмами поѣхалъ въ Лондонъ. Отецъ рекомендовалъ сына Марису, Фрейлиграту и своему русскому знакомому, прося ихъ помочь молодому человѣку пристроиться къ хорошему торговому дому и войти въ общество.

Просьба старика была выполнена самымъ удовлетворительнымъ образомъ. Черезъ мѣсяцъ послѣ пріѣзда въ Лондонъ, молодой Райнеръ былъ подручнымъ клеркомъ у Джемса Смита и имѣлъ входъ въ нѣсколько семейныхъ домовъ самыхъ разныхъ слоевъ.

Болѣе Райнеръ держался континентальнаго революціоннаго кружка и знакомился со всѣми, кто мало-мальски примыкалъ къ этому кружку. Отсюда, черезъ годъ, у Райнера составилось весьма обширное знакомство, и кое-кто изъ революціонныхъ эмигрантовъ стали поглядывать на него съ надеждами и упованіями, что онъ будетъ отличный слуга дѣлу.

Личныя симпатіи Райнера влекли его къ соціалистамъ. Ихъ теорія сильно отвѣчала его поэтическимъ стремленіямъ.—Поборниковъ національной независимости онъ ува-

жалъ за проявляемыя ими силу и настойчивость и даже желалъ имъ успѣха; но къ ихъ планамъ не лежало его сердце. Никакого обособленія онъ не признавалъ нужнымъ при раздѣлѣ естественныхъ правъ человѣческаго рода.

Строгая англійская семья, съ чинными, благовоспитанными женщинами, имѣла на Райнера свое вліяніе. Онъ пересталъ избѣгать и бояться женщинъ и держался истымъ джентльменомъ, но природная застѣнчивость его не оставляла. Большого удовольствія въ этомъ обществѣ онъ не находилъ съ самаго начала, и къ концу перваго же года оно ему совершенно опротивѣло своею чопорностью, мелочностью и искусственностью. Его возмущало, что и хозяйка, и ея дочери, и ихъ кузины могутъ смертельно поблѣднѣть оттого, напримѣръ, что неосторожный гость свалитъ головою плетеный, бумажный «макассаръ» съ кресла, или совершитъ другое, столь же возмутительное преступленіе противъ общественнаго благоприличія. Онъ былъ въ семьяхъ квакеровъ и ирвингитовъ; говорилъ съ ихъ «ангелами» и ѣлъ ростбифъ съ ихъ «серафимами». Онъ всматривался въ женщинъ этого оригинальнаго кружка, и онѣ ему тоже не нравились. А между тѣмъ, Райнеръ сталъ подумывать о женщинахъ, удаляя, впрочемъ, всякій сладострастный помыселъ и стремясь къ отысканію какого-то чистаго, сильнаго, героическаго, но весьма туманнаго идеала.

Въ это время Райнеру совершенно опротивѣлъ Лондонъ. Онъ уѣхалъ въ Парижъ, и черезъ полгода ему сталъ гадокъ и Парижъ съ его императорскими бульварами, зуавами, галлереями, съ его сонными cochers, важными sergents de ville, голодными и раскрашенными raccrocheuse, ложью въ семьѣ и утопленницами на выставкѣ сенскаго Морга.

Революціонные парижскіе кружки тоже не нравились Райнеру. Еще онъ могъ симпатизировать федеративнымъ стремленіямъ чеховъ, но участіе католическаго духовенства и аристократіи въ дѣлахъ польской національности отворачивало его отъ этихъ дѣлъ. Брошенныя отцомъ сѣмена презрѣнія къ папизму крѣпко разрослись въ молодомъ Райнерѣ, и онъ не могъ вообразить себѣ никакой роли въ какомъ бы то ни было участіи съ католическимъ попомъ. Къ тому же, какъ уже сказано, Райнеръ не былъ почитателемъ принципа національностей.

И тутъ-то ему вспомнились опоэтизированные разсказы

о русской общинѣ, о прирожденныхъ наклонностяхъ русскаго народа къ соціализму: припомнились русскіе люди, которые заявили свою рѣшительность, и люди, пріѣзжавшіе изъ Россіи съ разсказами о своей рѣшительности и объ удобствѣ настоящей поры для коренного соціальнаго переворота, къ которому общество созрѣло, а народъ готовъ искони, и все ждетъ только опытныхъ вождей и смѣлыхъ застрѣльщиковъ.

Вильгельмъ Райнеръ вернулся въ Англію. Долго не раздумывая и вовсе не списываясь съ отцомъ, онъ спѣшно покончилъ свои дѣла съ конторою, обвертѣлъ себя листами русской лондонской печати и весною того года, въ который начинается нашъ романъ, явился въ Петербургѣ.

По соображеніямъ Райнера, самымъ логическимъ образомъ выведеннымъ изъ слышанныхъ разсказовъ русскихъ либераловъ-туристовъ, раздумывать было некогда: въ Россіи каждую минуту могла вспыхнуть революція въ пользу дѣла, которое Райнеръ считалъ законнѣйшимъ изъ всѣхъ дѣлъ человѣческихъ и за которое давно рѣшилъ положить свою голову.

Таковъ былъ Райнеръ, съ которымъ мы мелькомъ встрѣтились въ первой книгѣ романа и съ которымъ намъ не разъ еще придется встрѣтиться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Свои люди.

Наступилъ вечеръ великаго дня, въ который Араповъ долженъ былъ ввести Розанова къ *своимъ людямъ* и при этомъ случаѣ показать *чужого человѣка*.

Это былъ тяжелый, сѣрый день, безъ утренняго разсвѣта и безъ вечернихъ сумерекъ; день, непосредственно смѣняющій замѣшкавшуюся ночь и торопливо сгоняемый другою ночью.

Араповъ былъ не въ духѣ. Его что-то разстроило съ самаго утра и, къ тому же, онъ, какъ человѣкъ очень нервный, былъ весьма чувствителенъ къ атмосфернымъ вліяніямъ.

— Идемте,—сухо сказалъ онъ Розанову, взойдя къ нему въ семь часовъ вечера.

И они пошли.

Выйдя за ворота, Розановъ хотѣлъ взять извозчика, но Араповъ сказалъ, что не надо.

Они держали путь прямо къ старому казенному зданію.

— Здѣсь намъ надо повидать одного человѣка,—говорилъ Араповъ, входя подъ темную арку стараго зданія.

«Юлія, или подземелья замка Мадзини» и всѣ картинные ужасы эффектныхъ романовъ лэди Редклифъ вставали въ памяти Розанова, когда они шли по темнымъ коридорамъ оригинальнаго дворца. Взошли въ какую-то круглую комнату, ощупью добрались до одной двери и опять коридоръ, опять шаги раздаются какъ-то страшно и торжественно, а навстрѣчу никого не попадается. Потомъ пошли какіе-то завороты, лѣсенки и опять снова коридоръ. Въ темнотѣ, да для человѣка непривычнаго — точнѣя катакомбы. Наконецъ впереди мелькнуло сѣрое пятно: это была выходная дверь на какой-то дворикъ.

Приближаясь къ этому выходу, Розановъ сталъ примѣчать, что по сторонамъ коридора есть тоже двери, и у одной изъ нихъ Араповъ остановился и стукнулъ три раза палкой.

Въ отвѣтъ на этотъ стукъ послышались сначала очень глухіе шаги, потомъ они раздались близко и, наконецъ, дверь отворилась.

Передъ посѣтителями стоялъ солдатъ съ сальною свѣчою въ рукахъ.

— Дома?—спросилъ Араповъ, безцеремонно проходя мимо солдата.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе,—отвѣтилъ денщикъ.

— Ну, все равно: дай мнѣ, Трошка, огня, я напишу ему записочку.

Солдатикъ пошелъ на цыпочкахъ, освѣщая сальною свѣчкою длиннѣйшую комнату, въ окна которой свѣтилъ огонь изъ противоположнаго флигеля. За первою комнатою начиналась вторая, немного меньшая; потомъ третья, еще меньшая, и, наконецъ, опять большая, въ которой были растянуты длинныя ширмы, оклеенныя обойною бумагою.

Вездѣ было очень пусто, даже почти совсѣмъ пусто, и только поразительнѣйшій безпорядокъ послѣдняго покоя придавалъ ему нѣсколько жилой видъ.

— Господинъ Райнеръ былъ у васъ нынче? — спросилъ Араповъ.

— Это французъ?

— Французъ.

— Были-съ.

— А чортъ дома? — спросилъ еще Араповъ, садясь за столъ, который столько же могъ назваться письменнымъ, сколько игорнымъ, обѣденнымъ или даже швальнымъ.

Здѣсь въ безпорядкѣ валялись книги, бумага, недошитый сапогъ, разбитыя игорныя карты, и тутъ же стояла тарелка съ сухарями и кровяной колбасой, бутылка съ пивомъ и чернильница.

Араповъ велѣлъ позвать къ себѣ «чорта» и оторвалъ кусокъ бумаги отъ какой-то тетради; а Розановъ присѣлъ было на придвинутое къ столу кресло, но тотчасъ же, вмѣстѣ съ нимъ, полетѣлъ на полъ.

— Садитесь на диванъ; оно безъ ножки, — проговорилъ, засмѣявшись, Араповъ и опять сталъ писать.

Изъ двери, въ которую исчезъ денщикъ, сопя и покачиваясь, выступила тяжелая, массивная фигура въ замасленномъ, дубленомъ полушубкѣ.

— Это ты, чортъ?—спросилъ, не оборачиваясь, Араповъ.

— Я-съ,—произнесла сиплымъ голосомъ фигура.

— Отыщи ты сейчасъ капитана.

— Слушаю-съ.

— Ты знаешь, гдѣ онъ?

— Нѣтъ, не знаю-съ.

— Ну, разыщи.

Араповъ сталъ складывать записку, а докторъ разсматривалъ стоящаго у двери «чорта».

Богъ знаетъ, что̀ это было такое: роста огромнаго, ручищи длинныя, ниже колѣнъ, голова какъ малый пивной котелъ, говоритъ сиплымъ басомъ, ротъ до ушей и такой непріятный, и подлый, и чувственный, и холодно-жестокій.

— На, и иди, — сказалъ Араповъ, подавая «чорту» записку, послѣ чего тотъ сейчасъ же исчезъ за дверью.

— У кого это мы были? — спрашивалъ Арапова Розановъ, выходя изъ-подъ темной арки на улицу.

— Узнаете,—нехотя отвѣтилъ Араповъ.

— А что̀ это за чортъ?

— А это, батюшка, артистъ: иконописаніемъ занимался и бурлакомъ былъ и чортъ его знаетъ, чѣмъ онъ не былъ.

— А теперь, что̀ онъ тутъ дѣлаетъ?

— Ничего, — папиросы намъ дѣлаетъ, да паспорта себѣ ожидаетъ съ того свѣта,—отвѣчалъ, улыбнувшись, Араповъ.

Розановъ видѣлъ, что «чортъ» одна изъ тѣхъ многочисленныхъ личностей, которыя обитаютъ въ Москвѣ, цѣлый вѣкъ таясь и пресмыкаясь, и понималъ, что этому созданію съ вѣроятностью можно ожидать паспорта только на тотъ свѣтъ; но какъ могли эти ручищи свертывать и подклеивать тонкую папиросную гильзу—Розановъ никакъ не могъ себѣ вообразить, однакоже ничего не сказалъ угрюмому Арапову.

По трехпогибельному тротуару одной изъ недальнихъ улицъ Розановъ вмѣстѣ съ Араповымъ дошли до параднаго подъѣзда одного очень опрятнаго домика и по чистенькой лѣсенкѣ, освѣщенной мѣдною лампочкою, вошли въ тепленькую и опрятную квартиру.

Пока человѣкъ бралъ ихъ верхнее платье, въ довольно ярко освѣщенномъ зальцѣ показался весьма миловидный молодой офицеръ въ нѣсколько длинноватомъ сюртукѣ.

Въ то время нѣкоторое удлиненіе полъ противъ форменнаго покроя, въ извѣстныхъ военныхъ кружкахъ, считалось признакомъ благовоспитанности, солиднаго либерализма и порядочности.

— Хозяинъ дома, Казимиръ Викентьевичъ Рациборскій,— сказалъ Розанову Араповъ: — вамъ честь имѣю рекомендовать Дмитрія Петровича Розанова, — добавилъ онъ, обращаясь къ хозяину.

Рациборскій очень любезно пожалъ руку Розанова и поблагодарилъ его за знакомство.

— Что-жъ, никого еще нѣтъ?—спросилъ Араповъ, когда они перешли изъ маленькаго зальца въ столь же маленькую и уютную гостиную.

— Нѣтъ, кое-кто есть,—отвѣчалъ Рациборскій.

— До «шваховъ» еще долго?

— Да, теперь въ началѣ восьмой; раньше восьми никто не будетъ,—отвѣчалъ скромно хозяинъ.

Вообще всѣ его слова и манеры были какъ нельзя болѣе подъ-стать его сюртуку, краснорѣчиво говорили о его благовоспитанности и съ перваго же раза располагали въ его пользу.

— Такъ время дорого,—замѣтилъ Араповъ.

— Да,—произнесъ, улыбаясь, Рациборскій:—оно всегда

дорого,—и не спѣша добавилъ:—Позвольте попросить васъ, г. Розановъ, въ мою рабочую комнату.

Всѣ втроемъ они перешли по мягкому ковру въ третью комнату, гдѣ стояла кровать хозяина и хорошенькая спальная мебель.

Рациборскій подошелъ къ приставленному у стѣны шкапу краснаго дерева и не повернулъ, а подавилъ внутрь вложенный въ двери ключъ.

Шкапъ открылся и показалъ другую дверь, которую Рациборскій отперъ, потянувъ ключъ на себя.

За второю дверью висѣло толстое зеленое сукно.

Рациборскій отдернулъ за шнурокъ эту плотную занавѣску, и они вошли въ большую, ярко освѣщенную комнату, застланную во весь полъ толстымъ плетенымъ ковромъ и съ окнами, закрытыми тяжелыми шерстяными занавѣсками.

Убранство этой комнаты было также весьма мило и изящно, но придавало покою какой-то двойственный характеръ. Вдоль всей стѣны, подъ окнами,—стоялъ длинный, некрашеный столъ, въ которомъ были въ рядъ четыре выдвижные ящика съ мѣдными ручками. На этомъ столѣ помѣщалось нѣсколько картонныхъ коробокъ для бумагъ, небольшая гальваническая батарея, двѣ модели нарѣзныхъ пушекъ, двѣ чертежныя доски, съ натянутыми на нихъ листами ватманской бумаги; доска съ закрытымъ чертежомъ, роскошная чернильница, портретъ Лелевеля, портретъ Герцена и художественно-исполненная свинцовымъ карандашомъ женская головка съ подписью:

«To Litwinka, dziewica bohater,
Wodz Powstancôw: Emilia Plater».

Надъ столомъ еще висѣлъ портретикъ прекрасной молодой женщины, подъ которымъ изъ того же поэта можно было бы написать:

«I nie potrzeba tlumaczyé,
Co chce slyszaé, co zobacyé».

Столъ освѣщался большою солнечною лампою.

Далѣе, въ углубленіи комнаты, стояли мягкій полукруглый диванъ и нѣсколько такихъ же мягкихъ креселъ, обитыхъ зеленымъ трипомъ. Передъ диваномъ стоялъ небольшой орѣховый столикъ съ двумя свѣчами. Къ стѣнѣ, выходившей къ спальнѣ Рациборскаго, примыкала длинная

оттоманка, на которой свободно могли улечься два человѣка, ноги къ ногамъ. У четвертой стѣны, прямо противъ дивана и орѣховаго столика, были два шкапа съ книгами и между ними опять тяжелая занавѣска изъ зеленаго сукна, ходившая на кольцахъ по мѣдной проволокѣ.

— Господа! позвольте мнѣ представить вамъ новое лицо, которое мы должны принять по-братски,—произнесъ Рациборскій, подводя Розанова за руку къ столику, передъ которымъ сидѣли четыре человѣка.

Гости встали и вѣжливо поклонились вошедшимъ.

— Студентъ Каетанъ Слободзиньскій, съ Волыня,—рекомендовалъ Розанову Рациборскій:—капитанъ Тарасъ Никитичъ Барилочка,—продолжалъ онъ, указывая на огромнаго офицера, — иностранецъ Вильгельмъ Райнеръ и мой дядя, старый офицеръ бывшихъ польскихъ войскъ, Владиславъ Ѳомичъ Ярошиньскій. Съ послѣднимъ и вы, Араповъ, незнакомы: позвольте васъ познакомить,—добавилъ Рациборскій и тотчасъ же пояснилъ: — мой дядя соскучился обо мнѣ, не вытерпѣлъ, пока я возьму отпускъ, и вчера пріѣхалъ на короткое время въ Москву, чтобы повидаться со мною...

— Да, давно южъ не видѣлись, захотѣлъ повидѣться, — проговорилъ бывшій офицеръ польскихъ войскъ, пожавъ руки Арапову и Розанову.

Райнеръ поклонился Розанову, какъ совершенно незнакомому человѣку, и, отойдя, сталъ у рабочаго стола Рациборскаго.

Араповъ сказалъ Барилочкѣ, что они сейчасъ заходили къ нему и послали за нимъ «чорта», и тотчасъ же завязалъ разговоръ съ Ярошиньскимъ, стараясь держаться какъ-то и таинственно, и рѣшительно, и ловко.

Розановъ присѣлъ на концѣ длинной оттоманки и сталъ разсматривать комнату и лицъ, въ ней находящихся.

Изъ неодушевленной обстановки онъ замѣтилъ то, что мы упомянули, описывая физіономію рабочаго покоя Рациборскаго. Розановъ зналъ, въ какую сферу его вводитъ новое знакомство, и обратилъ свое вниманіе на живыхъ людей, которые здѣсь присутствовали.

Капитанъ Барилочка былъ хохолъ не хитрой расы, но типъ, прямо объясняющій «звиткіля вінъ узявся». Если бы Барилочку привезти на полтавскую или на роменскую яр-

марку, то непремѣнно бы заговорили: «Дывись, дывись отъ цэ, якъ вырядився Фонфачки сынокъ, що зъ Козельце».

Капитанъ былъ человѣкъ крупный, тѣлесный, нрава на видъ мягкаго, веселаго и тоже на видъ откровеннаго. Голосъ имѣлъ громкій, бакенбарды густѣйшія, носъ толстый, глазки слащавые, и что въ его мѣстности называется «очи пивныя». Усы, закрывавшіе его длинную верхнюю губу, не позволяли видѣть самую характерную черту его весьма незлого, но до крайности ненадежнаго лица. Лѣтъ ему было подъ сорокъ.

Студентъ Слободзинскій былъ на видъ весьма кроткій юноша, — высокій, довольно стройный, съ нѣсколько ксендзовскимъ, острымъ носомъ, сѣрыми умными глазами и очень сдержанными манерами. Ему было двадцать два, много двадцать три года.

Офицеръ польскихъ войскъ была фигура показная. Это былъ типъ старопольскаго пана средней руки. Онъ имѣлъ на видъ лѣтъ за пятьдесятъ, но на головѣ у него была густая шапка сѣдыхъ, буйно разметанныхъ волосъ. Подбородокъ его и щеки были тщательно выбриты, а ротъ совсѣмъ закрывался сѣдыми усищами, спускавшимися съ угловъ губъ длинными концами ниже челюстей. Высокій, умный, но холодный лобъ Ярошиньскаго былъ правильно подлиненъ двумя почти сходившимися бровями, изъ которыхъ еще не совсѣмъ исчезъ черный волосъ молодости, но еще болѣе молодости было въ черныхъ, тоже очень умныхъ его глазахъ. Манеры Ярошиньскаго были вкрадчивыя, но пріятныя. Одѣтъ онъ былъ въ суконную венгерку со шнурами, и руки почти постоянно держалъ въ широкихъ шароварахъ со сборами.

Не успѣлъ докторъ осмотрѣть эти лица, на что было истрачено гораздо менѣе времени, сколько израсходовалъ читатель, пробѣжавъ сдѣланное мною описаніе, какъ надъ суконною занавѣсою, противъ дивана, раздался очень тихій звонокъ.

— Швахи наступаютъ,—произнесъ, обращаясь къ Рациборскому, Араповъ.

Рациборскій ничего не отвѣтилъ, но тотчасъ же вышелъ въ дверь черезъ свою спальню.

Райнеръ все стоялъ, прислонясь къ столу и скрестя на

груди свои сильныя руки; студентъ и Барилочка сидѣли молча, и только одинъ Араповъ спорилъ съ Ярошиньскимъ.

— Нѣтъ-съ,—говорилъ онъ Ярошиньскому въ то время, когда вышелъ Рациборскій и когда Розановъ пересталъ смотрѣть, а началъ вслушиваться.—Нѣтъ-съ, вы не знаете, въ какую мы вступаемъ эпоху. Наша молодежь теперь не прежняя, вездѣ есть движеніе и есть люди на все готовые.

— Оповядалъ мнѣ Казя, оповядалъ, и шкода мнѣ этихъ людзей, если они есть такіе.

— Какъ же вы жалѣете ихъ? Нужно же кому-нибудь гибнуть за общее дѣло. Вы же сами сражались вѣдь за свободу.

— О, да! Мы стары люди: мы не терезнейшихъ... Мы не тэпершнейшего вѣку, — снисходительно говорилъ Ярошиньскій.

— Да вѣдь вотъ то-то и есть несчастье Польши, что она Россіи не знаетъ и не понимаетъ.

— Вотъ этое, что правда, то правда,—подтвердилъ полякъ, зная, что уста его надежно декорированы усами, сквозь которые ничей глазъ не замѣтитъ презрительно насмѣшливой улыбки.

— А вотъ передъ вами сколько человѣкъ? Одинъ, два, три... ну, четвертый, положимъ, полякъ... и всѣ одного мнѣнія и всѣ пойдемъ и ляжемъ.,.

Подъ сѣдыми усами, вѣроятно, опять что-то шевельнулось, потому что Ярошиньскій не сразу заговорилъ:

— Обронь васъ Боже, панове. Я и Ка́зю про̀силъ и тебѣ говору, Каетанцю,—обратился онъ къ студенту,—не рушгесь вы. Хи́ба еще мало и польской и россійской шляхетной крови пролялось. Сѣдьте тихо, посядайте науки, да молите Пана Бога. Остружность, велика остружность потребна въ такей порѣ. На́родъ злый сталъ. Цо я тутай слышалъ отъ Ка̀зи и что вы мнѣ говорите, я разумѣю за дзецинады... за дѣтинство, — пояснилъ Ярошиньскій, очень затрудняясь наборомъ русскихъ словъ:—Але якъ вы можете такъ зврацать увагу на иньшихъ людзей! Якій-кольвекъ блазень, якій кольвекъ лёкай, хлопъ, а наигоржей хлопъ тыле людзей може загубить, же самъ и сотки одъ нихъ не вартъ.

— О, нѣтъ-съ! Ужъ этого вы не говорите. Нашъ народъ не таковъ, да ему не изъ-за чего насъ выдавать. Наше начало тѣмъ и вѣрно, тѣмъ несомнѣнно вѣрно, что мы стремимся къ революціи, на совершенно иномъ принципѣ.

Въ комнату снова вошелъ Рациборскій и, подойдя къ Арапову, подалъ ему сложенную бумажку.

— Что это?

— Вѣрно ваше письмо.

— Какое?

— «Чортъ» принесъ, Тараса Никитича отыскивалъ.

— Вы сказали, что его нѣтъ.

— Да, сказалъ, что нѣтъ.

— А тамъ кто у васъ?

— Никого еще пока: это «чортъ» звонилъ.

— Co to za nazwisco ciekawe? Powiedz mnie Kaziu, prosze ciebie,—произнесъ удивленный старикъ, обращаясь къ племяннику.—Co to jest takiego: chyba już doprawdy wy i z diablami tutaj poznajomiliscie?—добавилъ онъ смѣючись.

— Да, это вотъ они, мужики, одного «чортомъ» зовутъ,—отвѣчалъ по-русски Рациборскій.

— То-то, а я, якъ провинцыялъ, думаю, что можетъ тутейшая наука млодыхъ южъ и дьябла до ўслугъ сѐбѣ забрала,—проговорилъ опять играя старикъ.

Надъ занавѣскою снова раздался мелодическій звонъ, и Рациборскій опять ушелъ черезъ свою спальню.

— Гости?—спросилъ старикъ Арапова.

— Вѣрно гости.

— Все такіе, якъ и вы?

— Нѣтъ, тамъ всякіе бываютъ: мы ихъ зовемъ «швахами».

— Ну, такъ я къ нимъ; бесѣдуйте себѣ,—я мое сдѣлалъ, лучше волю не слышать, ежели не хотите меня послухать,—проговорилъ шутя старикъ и поднялся.

Проходя мимо Арапова, онъ потрепалъ его, на старческомъ правѣ, по плечу и тихо проронилъ со вздохомъ:

— Охъ, глòва, глòва горячая, не даромъ тебѣ згинуты.

Совершивъ свою манипуляцію и пророческое предсказаніе надъ головою Арапова, Ярошиньскій ушелъ въ ту же дверь, въ которую передъ тѣмъ вышелъ его племянникъ.

Надъ занавѣскою опять прозвонило и вслѣдъ затѣмъ голосъ Рациборскаго произнесъ въ комнатѣ:

— Идите кто-нибудь, много чужихъ.

Розановъ съ изумленіемъ оглядѣлъ комнату: Рациборскаго здѣсь не было, а голосъ его раздавался у нихъ надъ самымъ ухомъ.

Араповъ и Барилочка расхохотались.

— Механика, батюшка,—произнесъ Араповъ съ видомъ авторитетнаго старѣйшинства:—каменія глаголятъ.

Въ двери, которою до сихъ поръ входили, показался Рациборскій и сказалъ:

— Идите, господа, понемножку; идите вы, Тарасъ Никитичъ.

Барилочка всталъ и исчезъ за занавѣскою, надъ которой повременамъ раздавался тоненькій звонъ серебрянаго колокольчика.

— Чего вы смѣетесь, Араповъ?—спросилъ Рациборскій.

Араповъ разсказалъ, въ смѣшномъ видѣ, розановское удивленіе при звонкахъ и таинственномъ зовѣ, и вышелъ изъ этой комнаты.

— Это простая вещь, я виноватъ, что не разсказалъ вамъ ранѣе,—любезно проговорилъ Рациборскій:—я живу одинъ съ человѣкомъ, часто усылаю его куда-нибудь, а самъ сижу постоянно за работою, въ этой комнатѣ, такъ долженъ былъ позаботиться о нѣкоторыхъ ея удобствахъ. Отсюда ничего не слышно; этотъ коверъ и мебель удивительно скрадываютъ звуки, да я и самъ заботился, чтобы мнѣ ничто не мѣшало заниматься; поэтому звонокъ, который вы здѣсь слышите, просто соединенъ, на случай выхода слуги, съ наружнымъ колокольчикомъ. А голосъ... это просто... видите,—Рациборскій подошелъ къ открытому мѣдному отдушнику и пояснилъ:—это не въ печкѣ, а въ деревянной стѣнѣ, печка вотъ гдѣ. Это я сдѣлалъ, чтобы знать кто приходитъ, потому что иногда нѣтъ покоя отъ посѣтителей. Когда тотъ конецъ открытъ, здѣсь все слышно, что говорится въ передней. Вы извините, пожалуйста, что я не предупредилъ васъ, здѣсь нѣтъ никакихъ тайнъ,—проговорилъ Рациборскій и, пригласивъ гостей идти въ общія комнаты, вышелъ.

За Рациборскимъ тотчасъ же ушелъ за занавѣску подъ звонкомъ Слободзинскій.

Розановъ остался одинъ съ Райнеромъ.

— Какъ вамъ живется, Райнеръ?—освѣдомился докторъ.

— Благодарю. Какими вы здѣсь судьбами?

Розановъ наскоро сообщилъ цѣль своего пріѣзда въ Москву и спросилъ:

— Зачѣмъ вы меня не узнали?

— Такъ, я не сообразилъ, какъ мнѣ держаться съ вами:

вы вошли такъ неожиданно. Но мы можемъ сдѣлать видъ, что слегка знакомы. Секретъ не годится: Пархоменко все сболтнетъ.

— Да и здѣсь, можетъ-быть, стѣны слышатъ, что мы говоримъ съ вами,—прошепталъ ему на ухо Розановъ.

— Идемте, однако,—сказалъ Райнеръ.

— Пойдемте.

— Нѣтъ, вмѣстѣ нельзя; идите вы впередъ, вотъ въ эту дверь: она ведетъ въ буфетъ и васъ тамъ встрѣтитъ человѣкъ.

Розановъ отодвинулъ занавѣску, потомъ отворилъ дверь, за нею другую дверь, и вышелъ изъ шкапа въ чистенькую каморочку, гдѣ стояла опрятная постель слуги и буфетный шкапъ.

Его встрѣтилъ слуга и черезъ дверь, сдѣланную въ дощатой перегородкѣ, отдѣлявшей переднюю отъ буфета, проводилъ до залы.

По залѣ ходили два господина. Одинъ высокій, стройный брюнетъ, лѣтъ двадцати пяти; другой маленькій блондинчикъ, щупленькій и какъ бы сжатый въ комочекъ. Брюнетъ былъ очень хорошъ собою, но въ его фигурѣ и манерахъ было очень много изысканности и чего-то говорящаго: «не тронь меня». Черты лица его были тонки и правильны, но холодны и дышали эгоизмомъ и безучастностью. Вообще физіономія этого красиваго господина тоже говорила «не тронь меня»; въ ней видимо преобладали цинизмъ и половая чувственность, мелкая завистливость и злобная мстительность исподтишка. Красавецъ былъ одѣтъ безукоризненно и не снималъ съ рукъ тонкихъ лайковыхъ перчатокъ блѣднозеленаго цвѣта.

Блондинчикъ, напротивъ, былъ грязноватъ. Его сухіе, изжелта-сѣрые, нѣсколько волнистые волосы лежали весьма некрасиво; бѣлье его не отличалось такою чистотою, какъ у брюнета; одѣтъ онъ былъ въ пальто безъ таліи, сшитое изъ коричневаго трико, съ какою-то малиновою искрой. Маленькіе сѣрые глазки его безпрестанно щурились и смотрѣли умно, но измѣнчиво. Минутою въ нихъ глядѣла самонадѣянность и заносчивость, а потомъ вдругъ это выраженіе быстро падало и уступало мѣсто какой-то робости, самоуничиженію и задавленности. Маленькія сѣрыя ручки и сморщенное сѣрое личико блондина придавали всему ему

какой-то неотмываемо грязный и непріятный видъ. Словно сквозь кожистые покровы проступала внутренняя грязь.

Розановъ, проходя, слегка поклонился этимъ господамъ, и въ отвѣтъ на его поклонъ брюнетъ отвѣчалъ самымъ вѣжливымъ и изысканнымъ поклономъ, а блондинъ только прищурилъ глазки.

Въ гостиной сидѣли панъ Ярошиньскій, Араповъ, хозяинъ дома и какой-то рыжій, растрепанный коренастый субъектъ. Араповъ продолжалъ бесѣду съ Ярошиньскимъ, а Рациборскій разговаривалъ съ рыжимъ.

При входѣ Розанова, Рациборскій всталъ, пожалъ ему руку и потомъ отрекомендовалъ его Ярошиньскому и рыжему, назвавъ при этомъ рыжаго Петромъ Николаевичемъ Бычковымъ, а Розанова—пріятелемъ Арапова.

При вторичномъ представленіи Розанова Ярошиньскому полякъ держалъ себя такъ, какъ будто онъ до сихъ поръ ни разу нигдѣ его не видѣлъ.

Не успѣлъ Розановъ занять мѣсто въ укромной гостиной, какъ въ залѣ послышался веселый, громкій говоръ и вслѣдъ затѣмъ въ гостиную вошли три человѣка; блондинъ и брюнетъ, которыхъ мы видѣли въ залѣ, и Пархоменко.

Пархоменко былъ черномазенькій хлопчикъ, лѣтъ весьма молодыхъ, съ широкими скулами, непропорціонально узкимъ лбомъ и еще болѣе непропорціонально узкимъ подбородкомъ, на которомъ, по вычисленію пріятелей, съ одной стороны росло семнадцать коротенькихъ волосинокъ, а съ другой — двадцать четыре. Держалъ себя Пархоменко весьма развязнымъ и весьма нескладнымъ развихляемъ, питалъ національное предубѣжденіе противъ носовыхъ платковъ и въ силу того безпрестанно дергалъ лѣвою щекою и носомъ, а въ минуты размышленія съ особеннымъ тщаніемъ и ловкостью выдавливалъ пальцемъ свой правый глазъ. Лиза нимало не ошиблась, назвавъ его «дурачкомъ» послѣ меревскаго бала, на которомъ Пархоменко впервые показался въ нашемъ романѣ. Пархоменко былъ такъ себѣ, шальной, дурашливый, петербургскій хохликъ, что называется «безглуздая ледащица».

При входѣ Пархоменки, опять началась рекомендація.

— Прохоръ Матвѣевичъ Пархоменко, — сказалъ Рациборскій, представивъ его разомъ всей компаніи, и потомъ поочередно назвалъ ему Ярошиньскаго и Розанова.

— А мы давно знакомы!—воскликнулъ Пархоменко при имени Розанова, и протянулъ ему по-пріятельски руку.

— Гдѣ же вы были знакомы?

— Мы познакомились нынѣшнимъ лѣтомъ въ провинціи, когда я ѣздилъ съ Райнеромъ.

— Такъ и вы, Райнеръ, старые знакомые съ докторомъ?

— Да, я мелькомъ видѣлъ господина Розанова и, виноватъ, не узналъ его съ перваго раза, — отвѣчалъ Райнеръ.

Рациборскій познакомилъ Розанова съ блондиномъ и брюнетомъ. Брюнета онъ назвалъ Петромъ Сергѣевичемъ Бѣлоярцевымъ, а блондина Иваномъ Семеновичемъ Завулоновымъ.

«Такъ и есть, что изъ семи-овчинныхъ утробъ», подумалъ Розановъ, принимая крохотную, костлявую ручку сѣренькаго Завулонова, который тотчасъ же крякнулъ, зашелестилъ ладонью по своей желтенькой гривкѣ и, взявъ за локоть Бѣлоярцева, потянулъ его опять въ залу.

— Ну что, Пархомъ удобоносительный, что̀ новаго? — спросилъ шутливо Араповъ Пархоменку.

Пархоменко, значительно улыбнувшись, вытащилъ изъ кармана нѣсколько вчетверо свернутыхъ листиковъ печатной бумаги, ударилъ ими шутя по головѣ Арапова и сказалъ:

— Семь дней всего какъ изъ Лондона.

— Что это: *Колоколъ?*

— А то что̀ жъ еще?—съ улыбкою отвѣтилъ Пархоменко и, сѣвъ съ нѣкоторою, такъ-сказать, либеральною важностію на кресло, тотчасъ же засунулъ указательный палецъ правой руки въ глазъ и выпятилъ его изъ орбиты.

Араповъ сталъ читать новый нумеръ лондонскаго журнала и прочелъ его отъ первой строчки до послѣдней. Всѣ слушали, кромѣ Бѣлоярцева и Завулонова, которые, разговаривая между собою полушопотомъ, продолжали попрежнему ходить по залѣ.

Начался либеральный разговоръ, въ которомъ Ярошиньскій мастерски облагалъ сомнѣніями всякую мысль о возможности революціоннаго успѣха, оставляя, однако, всегда незагороженнымъ одинъ какой-нибудь выходъ. Но зато выходъ этотъ, послѣ высказанныхъ сомнѣній Ярошиньскаго во всемъ прочемъ, незамѣтно становился такимъ яснымъ, что Араповъ и Бычковъ внѣ себя хватались за него и начинали именно его отстаивать, уносясь, однако, каждый

разъ опрометчиво далѣе, чѣмъ слѣдовало, и открывая вновь другія слабыя стороны. Ярошиньскій неподражаемо мягко бралъ ихъ за эти нагіе бока и, слегка пощекочивая своимъ скептицизмомъ, началъ обоихъ разомъ доводить до нѣкотораго бѣшенства.

— Все такъ, все такъ, — сказалъ онъ, наконецъ, послѣ двухчасового спора, въ которомъ никто не принималъ участія, кромѣ его, Бычкова и Арапова, только шкода людей, да и нима людей.—Что жъ эта газета, этіихъ мыслѣй еще никто въ Россіи не понимаетъ.

— Что! что! Этихъ мыслей мы не понимаемъ? — закричалъ Бычковъ, давно уже оравшій во всю глотку. — Это мысль наша родная; мы съ ней родились; ее сосали въ материнскомъ молокѣ. У насъ правда по закону свята, принесли ту правду наши дѣды черезъ три рѣки на нашу землю. Еще Гагстгаузенъ это видѣлъ въ нашемъ народѣ. Вы думаете тамъ, въ Польшѣ, что онъ намъ образецъ?.. Онъ намъ тьфу!—Бычковъ плюнулъ и добавилъ:—вотъ что это онъ намъ теперь значитъ.

Ярошиньскій тихо и внимательно глядѣлъ молча на Бычкова, какъ будто видя его насквозь, и только соображая, какъ идутъ и чѣмъ смазаны въ немъ разныя, то безъ пардона бѣгущія, то заскакивающія колесца и пружинки; а Бычковъ входилъ все въ бо́льшій азартъ.

Такъ прошло еще съ часъ. Говорилъ ужъ рѣшительно одинъ Бычковъ; даже араповскимъ словамъ не было мѣста.

«Что за чортъ такой!»—думалъ Розановъ, слушая страшныя угрозы Бычкова. Это не были нероновскія желанія Арапова полюбоваться пылающей Москвою и слушать стонъ и плачъ des boyards moskovites. Араповскія стремленія были нѣжнѣйшая сентиментальность передъ тѣмъ, чего желалъ Бычковъ. Этотъ бралъ шире: «залить кровью Россію, перерѣзать все, что къ штанамъ карманъ пришило. Ну пятьсотъ тысячъ, ну милліонъ, ну пять милліоновъ, говорилъ онъ. Ну, что жъ такое? Пять милліоновъ вырѣзать, зато пятьдесятъ пять останется и будутъ счастливы».

— Пятьдесятъ пять не останется,—замѣтилъ Ярошиньскій.

— Отчего такъ?

— Такъ. Вотъ мы, напримѣръ, первые такей революціи не потрпебуемъ: не въ нашемъ характѐрѣ. У насъ зѐмля

купіона, альбо тожъ унаслѣдовàна. Кажденъ повиненъ удовольниться тимъ, що ему Панъ Богъ далъ, и благодарить Его.

— Ну, это у васъ... Впрочемъ, что жъ: отдѣляйтесь. Мы васъ держать не станемъ.

— И Литва тежъ такей революціи не прагнетъ.

— И Литва пусть идетъ.

— И козаччина.

— И она тоже. Пусть всѣ отдѣляются, кому съ нами не угодно. Мы стараго, какого-то мнимаго права собственности признавать не станемъ; а кто не хочетъ съ нами: живи самъ себѣ. Пусть и финны, и лифляндскіе нѣмцы, пусть всѣ идутъ себѣ доживать свое право.

— Запомнилъ панъ мордву и цыганъ, — замѣтилъ, улыбаясь, Ярошиньскій.

— Всѣ, всѣ пусть идутъ, мы съ своимъ народомъ все сдѣлаемъ...

— А вашъ народъ собственности не любитъ?

Бычковъ нѣсколько затруднился, но тотчасъ же вмѣсто отвѣта сказалъ:

— Читайте Гагстгаузена: народъ нашъ исповѣдуетъ естественное право аграрнаго коммунизма. Онъ гнушается правомъ поземельной собственности.

— Правда, такъ панове?—спросилъ Ярошиньскій, обратясь къ Розанову, Райнеру, Барилочкѣ, Рациборскому, Пархоменкѣ и Арапову.

— Да, правда,—твердо отвѣтилъ Араповъ.

— Да,—произнесъ такъ же утвердительно и съ сознаніемъ Пархоменко.

— Мое дѣло, «скачи враже, якъ *міръ* каже», — шутливо сказалъ Барилочка, измѣняя однимъ русскимъ словомъ значеніе грустной пословицы: «Скачи, враже, якъ панъ каже», выработавшейся въ дни польскаго панованья. — А что до революціи, то я и душой, и тѣломъ за революцію.

Оба молодые поляка ничего не сказали и, къ тому же, Рациборскій всталъ и вышелъ въ залу, а оттуда въ буфетъ.

— Ну, а вы, пане Розановъ?—вопросилъ Ярошиньскій.

— Для меня, право, это все ново.

— Ну, однако, якъ вы уважаете на то?

— Я знаю одно, что такой революціи не будетъ. Утверждаю, что она невозможна въ Россіи.

— Отъ чловѣкъ, такъ чловѣкъ! — радостно подхватилъ Ярошиньскій:—Рòссія повинна сѣдзець и чакаць.

— А отчего-съ это она невозможна?—сердито вмѣшался Бычковъ.

— Оттого, что народъ не захочетъ ея.

- А вы знаете народъ?

- Мнѣ кажется, что знаю.

— Вы знаете его, какъ чиновникъ, — ядовито замѣтилъ Пархоменко.

— А! Такъ бы вы и сказали: я бы съ вами и спорить не сталъ, — отозвался Бычковъ. — Народъ съ служащими русскими не говоритъ, а вы послушайте, что народъ говоритъ съ нами. Вотъ, разспросите Бѣлоярцева или Завулонова: они ходили по Россіи, говорили съ народомъ и знаютъ, что̀ народъ думаетъ.

— Ничего, значитъ, народъ не думаетъ,—отвѣтилъ Бѣлоярцевъ, который незадолго передъ этимъ вошелъ съ Завулоновымъ и сѣлъ въ гостиной, потому что въ залѣ человѣкъ началъ приготовлять закуску.—Думаетъ теперича онъ, какъ ему, что ни въ самомъ что ни есть наилучшемъ видѣ сосѣда поприжать.

— По-душевному, милый человѣкъ, по-душевному, по-божинному,—подсказалъ въ тонъ Бѣлоярцеву Завулоновъ.

Оба они чрезвычайно искусно подражали народному говору и этими короткими фразами заставили всѣхъ разсмѣяться.

— Закусить, господа,—пригласилъ Рациборскій.

Господа проходили въ залу группами и доканчивали свои разговоры.

— Конечно, мы ему за прежнее благодарны, — говорилъ Ярошиньскому Бычковъ: — но для теперешняго нашего направленія онъ отсталъ; онъ слабъ, сентименталенъ; слишкомъ церемонливъ. Размягченіе мозга ужъ чувствуется... Ужъ такой возрастъ... Разумѣется, мы его вызовемъ, но только съ тѣмъ, чтобы ужъ онъ насъ слушалъ.

— Да,—говорилъ Райнеру Пархоменко:—это необходимо для однообразія. Теперь въ тамошнихъ школахъ будутъ читать и въ здѣшнихъ. Я двумъ распорядителямъ ужъ роздалъ по четыре экземпляра «звѣздъ» и Фейербаха на школу, а то черезъ васъ вышлю.

— Да вы еще останьтесь здѣсь на нѣсколько дней.

— Не могу; то-то и есть, что не могу. Птицынъ пишетъ, чтобы я немедленно ѣхалъ: они тамъ безъ меня не знаютъ, гдѣ что̀ пораспахано.

— Такъ, или нѣтъ? — раболѣпно спрашивалъ, проходя въ двери, Завулоновъ Бѣлоярцева.

— Я постараюсь, Иванъ Семеновичъ, — отвѣчалъ пріятнымъ баскомъ Бѣлоярцевъ.

— Пожалуйста, — приставалъ молитвенно Завулоновъ:— мнѣ только бы съ нею развязаться, и чортъ съ ней совсѣмъ. А то я сейчасъ сяду, изображу этакую штучку въ листикъ, или въ полтора. Только бы хоть двадцать пять рубликовъ впередъ.

— Да ужъ я постараюсь,— отвѣчалъ Бѣлоярцевъ, а Завулоновъ только крякнулъ селезнемъ и сдѣлалъ движеніе, въ которомъ было что-то говорившее: «знаемъ мы, какъ ты, подлецъ, постараешься! Еще нарочно отсовѣтуешь».

Какъ только всѣ выпили водки, Ярошиньскій ударилъ себя въ лобъ ладонью и проговорилъ:

— О, до сту дьзябловъ; и запомнилъ потрактовать пановъ моей старопольской водкой; не пейте панове, я заразъ,— и Ярошиньскій выбѣжалъ.

Но предостереженіе послѣдовало поздно: паны уже выпили по рюмкѣ. Однако, когда Ярошиньскій появился съ дорожною фляжкою въ рукахъ и съ серебряною кружечкою съ изображеніемъ Косцюшки, всѣ еще попробовали и «польской старки».

Перваго Ярошиньскій попотчивалъ Розанова и обманулъ его, выпивъ самъ рюмку, которую держалъ въ рукахъ.

Райнеръ и Рациборскій не пили «польской старки», а всѣ прочіе, кромѣ Розанова, во время закуски два раза приложились къ мягкой, маслениcтой водкѣ, безъ всякаго сивушнаго запаха. Розановъ не повторилъ, потому что ему показалось, будто и первая рюмка какъ-то ужъ очень сильно ударила ему въ голову.

Ярошиньскій выпилъ двѣ рюмки, и за каждою изъ нихъ проглотилъ по маленькой сахарной лепешечкѣ.

Онъ ничего не ѣлъ; жаловался на слабость стараго желудка.

А гости сильно опьянѣли и опьянѣли сразу: языки развязались и болтали вздоръ.

— Пейте, Райнеръ,— приставалъ Араповъ.

— Я никогда не пью и не могу пить, — спокойно отвѣчалъ Рейнеръ.

— Эхъ вы, нѣмецъ!

— Что нѣмецъ,—нѣмецъ еще пьетъ, а онъ баба, — подсказалъ Бычковъ.—Нѣмецъ говоритъ: Wer liebt nicht Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang.

Райнеръ покраснѣлъ.

— А панъ Райнеръ и женщинъ не любитъ? — спросилъ Ярошиньскій.

— И пѣсенъ тоже не люблю, — отвѣтилъ, мѣшаясь, застѣнчивый въ подобныхъ случаяхъ, Райнеръ.

— Ну, да. Пословица какъ разъ по шерсти,—замѣтилъ неспособный стѣсняться Бычковъ.

Райнера эта новая наглость бросила изъ краски въ мертвенную блѣдность, но онъ не сказалъ ни слова.

Ярошиньскій всѣхъ наблюдалъ внимательно и не давалъ застыть живымъ темамъ. Разговоръ о женщинахъ, вѣроятно, представлялся ему очень удобнымъ, потому что онъ его поддерживалъ во время всего ужина и, начавъ полушутя, полусерьезно говорить объ эротическомъ значеніи женщины, перешелъ къ значенію ея, какъ матери, и, наконецъ, какъ патріотки и гражданки.

Райнеръ весь обращался въ слухъ и вниманіе, а Ярошиньскій все болѣе и болѣе распространялся о значеніи женщинъ въ исторіи, цитировалъ цѣлыя латинскія мѣста изъ Тацита, изобличая познанія, нисколько не отвѣчающія званію простого офицера бывшихъ войскъ польскихъ, и, наконецъ, свелъ какъ-то все на необходимость женскаго участія во всякомъ прогрессивномъ движеніи страны.

— Да, у насъ есть женщины, — у насъ была Мароа Посадница новгородская!—воскликнулъ Араповъ.

— А что̀ было, то не есть и не пишется въ реестръ,—отвѣтилъ Ярошиньскій.

Между тѣмъ со стола убрали тарелки и оставалось одно вино.

— Цѣли Мароы Посадницы узки,—крикнулъ Бычковъ.— Что-жъ, она стояла за вольности новгородскія, ну, и что-жъ такое? Что-жъ такое государство? — фикція. Аристократическая выдумка и ничего больше, а свобода отношеній есть фактъ естественной жизни. Наша задача и задача нашихъ женщинъ шире. Мы прежде всѣхъ разовьемъ свободу отно-

шеній. Какое право нераздѣлимости? Женщина не можетъ быть собственностью. Она родится свободною: съ какихъ же поръ она дѣлается собственностью другого?

Розановъ улыбнулся и сказалъ:

— Это напоминаетъ старый анекдотъ изъ римскаго права: когда яблоко становится собственностью человѣка: когда онъ его сорвалъ, когда съѣлъ или еще позже?

— Что̀ намъ ваше римское право!—еще пренебрежительнѣе крикнулъ Бычковъ:—у насъ свое право. Наша правда по закону свята, принесли ту правду наши дѣды, черезъ три рѣки на нашу землю.

— У насъ такое право: заперъ покрѣпче въ коробью, такъ вотъ и *мое*,—произнесъ Завулоновъ.

— Мы бракъ долой.

— Такъ зачѣмъ же наши женщины замужъ идутъ?—спросилъ Ярошиньскій.

— Оттого, что еще неурядица пока во всемъ стоитъ; а устроимъ общественное воспитаніе дѣтей и будутъ свободныя отношенія.

— Маткамъ шкода будетъ дѣтей покидать.

— Это вздоръ: родительская любовь предразсудокъ — и только. Связь есть *потребность*, законъ природы, а остальное должно лежать на обязанностяхъ общества. Отца и матери, въ извѣстномъ смыслѣ слова, вѣдь нѣтъ же въ естественной жизни. Животныя, вырастая, не соображаютъ своихъ родословныхъ.

У Райнера набѣжали на глаза слезы, и онъ, выйдя изъ-за стола, прислонился лбомъ къ окну въ гостиной.

— У женщины, съ которой я живу, есть ребенокъ, но что̀ это до меня касается?..

Становилось ужъ не одному Райнеру гадко.

Ярошиньскій всталъ, взялъ изъ угла очень хорошую гитару Рациборскаго и, сыгравъ нѣсколько аккордовъ, запѣлъ:

«Kwarta, da półkwarty
To półtory kwarty,
A jeszcze półkwarty,
To będzie dwie kwarty.
O la, o la!
To będzie dwie kwarty.»

Бѣлоярцевъ и Завулоновъ вполголоса попробовали подтянуть refrain.

Ярошиньскій сыгралъ маленькую варіаційку, и продолжалъ:

«Terezniejsze chłopcy,
To co wietrzne młyny,
Latają od jednéj
Do drugiéj dziewczyny.
O la! o la!
Do drugiéj dziewczyny.»

Бѣлоярцевъ и Завулоновъ хватили:

«О ля! о ля!
До другой дѣвчины.»

Пѣсенка пропѣта.

Ярошиньскій заигралъ другую и запѣлъ:

«Wypił Kuba,
Do Jakóba,
Paweł do Michała.
Cupu, łupu,
Łupu, cupu,
Kompanja cała.»

— Ну-те, россійскую,—попросилъ Ярошиньскій.

Бѣлоярцевъ взялъ гитару и заигралъ «Ночь осеннюю».

Спѣли хоромъ.

— Вотъ еще, якъ это поется: «Ты помнишь ли, товарищъ славы бранной!»—спросилъ Ярошиньскій.

— Э, нѣтъ, чортъ съ ними, эти патріотическіе гимны!—возразилъ опьянѣвшій Бычковъ, и запѣлъ, пародируя извѣстную арію изъ оперы Глинки:

«Славься свобода и честный нашъ трудъ!»

— О, сильныя эти россійскія спѣвы! Поментаю, якъ ихъ поютъ на Волгѣ,—проговорилъ Ярошиньскій.

Гитара заныла, застонала въ рукахъ Бѣлоярцева какимъ-то широкимъ, разметистымъ стономъ, а Завулоновъ, зажавъ рукою ухо, запѣлъ:

«Эхъ, что жъ вы, ребята, призауныли;
Иль у васъ, ребята, денегъ нѣту?»

Араповъ и Бычковъ были внѣ себя отъ восторга.

Араповъ мычалъ, а Бычковъ выбивалъ тактъ и при послѣднихъ стихахъ запѣлъ въ разладъ:

«Разводите, братцы, огонь пожарчѣе,
Кладите въ огонь вы мого дядю съ теткой.
Тутъ-то дядя скажетъ: «денегъ много»;
А тетушка скажетъ: «смѣты пѣту».

У Бычкова даже ротъ до ушей растянулся отъ удовольствія, возбужденнаго словами пѣсни. Выраженіе его рыжей физіономіи до отвращенія вѣрно напоминало морду борзой собаки, лижущей въ окровавленныя уста молодую лань, загнанную и загрызанную ради безчеловѣчной человѣческой потѣхи.

Русская публика становилась очень пьяна; хозяинъ и Ярошиньскій пили мало; Слободзинскій пилъ, но молчалъ, а Розановъ почти ничего не пилъ. У него все ужасно кружилась голова отъ рюмки польской старки.

Бѣлоярцевъ началъ скоромить.

Онъ сдѣлалъ гримасу и запѣлъ нѣсколько въ носъ солдатскимъ отхватомъ:

«Ты куды, куды, ежъ ползешь?
Ты куды, куды, собачій сынъ, идешь?
Я иду, иду на барскій дворъ,
Къ Акулини Стипановнѣ,
Къ Лизавети Богдановнѣ.»

— «Стукъ, стукъ у воротъ»,—произнесъ театрально Завулоновъ.

— «Кто тамъ?»—спросилъ Бѣлоярцевъ.

Завулоновъ отвѣчалъ:

— «Ежъ».

— «Куда, ежъ, ползешь?»

— «Попить, погулять, съ красными дѣвушками поиграть».

— «Много ли денегъ несешь?»

— «Грошъ».

— «Ступай къ чорту, не гожъ».

Пьяный хоръ подхватилъ припѣвомъ, въ которомъ «ежъ» жаловался на жестокость красныхъ дѣвушекъ, старухъ и молодушекъ.

Это была такая грязь, такое сало, такой цинизмъ и насмѣшка надъ чувствомъ, что даже Розановъ не утерпѣлъ, всталъ и подошелъ къ Райнеру.

Черезъ нѣсколько минутъ къ нимъ подошелъ Ярошиньскій.

— Какое знаніе народности!—сказалъ онъ по-французски, восхищаясь удалью пѣвцовъ.

— Только на что оно употребляется, это знаніе,—отвѣтилъ Розановъ.

— Ну, молодежь... Что ее осуждать строго,—проговорилъ снисходительно Ярошиньскій.

А пѣвцы все пѣли одну гадость за другою и потомъ вдругъ заспорили. Вспоминали разныя женскія и мужскія имена, дѣлали изъ нихъ грязнѣйшія комбинаціи, и, наконецъ, остановясь на одной изъ такихъ пошлыхъ и совершенно нелѣпыхъ комбинацій, раздѣлились на голоса. Одни утверждали, что *да*, а другіе, что *нѣтъ*.

На сценѣ было имя маркизы: Розановъ, Ярошиньскій и Райнеръ это хорошо слышали.

— Что̀ тамъ спорить, воскликнулъ Бѣлоярцевъ: — дѣло всѣмъ извѣстное, коли про то ужъ пѣсня поется; изъ пѣсни слова не выкинешь, — и, дернувъ рукою по струнамъ гитары, Бѣлоярцевъ запѣлъ на голосъ «Ивушки»:

«Ты Баралиха, Баралиха,
Шальная голова,
Что жъ ты, Баралиха,
Не весела сидишь?
— Что жъ ты, Баралиха,
Не весела сидишь?»

подхватывалъ хоръ, и, продолжая пародію, пропѣлъ подлѣйшее предположеніе о причинахъ невеселаго сидѣнья «Баралихи».

Розановъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Это ужъ изъ рукъ вонъ подло.

Но Райнеръ совсѣмъ не совладѣлъ собой. Блѣдный, дрожа всѣмъ тѣломъ, со слезами, брызнувшими на щеки, онъ скоро вошелъ въ залу и сказалъ:

— Господа, объявляю вамъ, что это низость.

— Что такое?—спросили остановившіеся пѣвцы.

— Низость, это низость, ходить въ домъ къ честной женщинѣ и пѣть на ея счетъ такія гнусныя пѣсни. Здѣсь нѣтъ ея дѣтей, и я отвѣчаю за нее каждому, кто еще скажетъ на ея счетъ хоть одно непристойное слово.

Вмѣшательствомъ Розанова, Ярошиньскаго и Рациборскаго сцена эта прекращена безъ дальнѣйшихъ послѣдствій.

Райнера увели въ спальню Рациборскаго; веселой компаніи откупорили новую бутылку.

Но у пѣвцовъ уже не заваривалось новое веселье. Они полушопотомъ подтрунивали надъ Райнеромъ и пробовали-было запѣть что-то, чтобы не изобличать своей трусости и конфуза, но ужъ все это не удавалось, и они стали собираться домой.

Только не могли никакъ уговорить идти Барилочку и Аранова. Эти упорно отказывались, говоря, что у нихъ здѣсь еще дѣло.

Бычковъ, Пархоменко, Слободзинскій, Бѣлоярцевъ и Завулоновъ стали прощаться.

— Вы не сердитесь, Райнеръ, — увѣщательно сказалъ Бѣлоярцевъ.

— Я и не сердился,—отвѣчалъ тотъ вѣжливо.

— То-то, это вѣдь смѣшно.

— Ну, это мое дѣло, — проговорилъ Райнеръ, высвобождая слегка свою руку изъ руки Бѣлоярцева.

Переходя черезъ залу, компанія застала Аранова и Барилочку за музыкальными занятіями.

Барилочка щипалъ безъ толку гитару и пѣлъ.

«Попереду иде Согайдачный,
Що промінявъ жинку,
Да тютунъ, да люльку
Необачный».

А Араповъ дурѣлъ:

«Славься свобода и честный нашъ трудъ!»

Какъ ихъ ни звали, чѣмъ ни соблазняли «въ ночной тишинѣ», — «дѣло есть», отвѣчалъ коротко Араповъ и опять, хлопнувъ себя ладонями по колѣнямъ, задувалъ:

«Славься свобода и честный нашъ трудъ!»

А Барилочка, въ отвѣтъ на приглашеніе, махалъ головой и ревѣлъ:

«Эй, вирныся Согайдачный,
Возьми свою жинку,
Подай мою люльку
Необачный.»

Бычковъ пошелъ просить Розанова, чтобы онъ взялъ Аранова.

Когда онъ вошелъ въ спальню Рациборскаго, Райнеръ и Розановъ уже прощались.

— Вотъ то-то я и мувю,—говорилъ Ярошиньскій, держа въ своей рукѣ руку Розанова.

— Да. Надо ждать; все же теперь не то, что было. «Сила есть и въ терпѣньѣ». Надо испытать всѣ мирныя средства, а не подводить народъ подъ страданія.

— Такъ, такъ,—утверждалъ Ярошиньскій.

— По крайней мѣрѣ вѣрно, что задача не въ томъ, чтобы мстить,—тихо сказалъ Райнеръ.

— Народъ и не помышляетъ ни о какихъ революціяхъ.

— Такъ, такъ,—хлопы всегда хлопы.

— Нѣтъ, не то, а они благодарны теперь,—вотъ что.

— Такъ, такъ, — опять подтвердилъ Ярошиньскій: — якъ это отъ разу видать, что панъ Розановъ знаетъ свою краину.

— Къ чорту, этакое знаніе! — крикнулъ Бычковъ. — Народъ нужно знать по его духу, а въ вицмундирѣ его не узнаютъ.

Райнеръ и Розановъ пошли вонъ, ничего не отвѣчая на эту выходку.

— Ой, шкода людей, шкода такихъ отважныхъ людей, якъ вы,—говорилъ Ярошиньскій, идучи сзади ихъ съ Бычковымъ.—Цалый край еще дикій.

— Мы на то идемъ,—отвѣчалъ Бычковъ.—Отмстимъ за вѣковое порабощеніе и ляжемъ.

— Жалую васъ, вельми жалую.

— На наше мѣсто вырастетъ поколѣніе: мы удобримъ ему почву, мы польемъ ее кровью,—яростно сказалъ Бычковъ и захохоталъ.

Ярошиньскій только пожалъ ему сочувственно руку.

Прощаясь, гости спрашивали Ярошиньскаго, увидятся ли они съ нимъ снова.

— Я мыслю, я мыслю, — это якъ мой племянникъ. Якъ не выгонитъ, такъ я посѣдю еще дней кильки. Do jutra,— сказалъ онъ, прощаясь съ Слободзинскимъ.

— Do jutra, — отвѣтилъ Слободзинскій, и компанія, топоча и шумя, вышла на улицу.

У воротъ дома капитанши Давыдовской компанія приглашала Розанова и Арапова ѣхать провести повеселѣе ночку.

Розановъ наотрѣзъ отказался, а Райнера и не просили.

— Отчего вы не ѣдете? — приставалъ Араповъ къ Розанову.

— Полноте, у меня есть семья.

— Что жъ такое, семья? И у Бѣлоярцева есть жена, и у Барилочки есть жена и дѣти, да вѣдь ѣдутъ же.

— А я не поѣду—усталъ и завтра буду работать.

Компанія сѣла. Суетившійся Завулоновъ занялъ у Розанова три рубля и тоже поѣхалъ.

По улицѣ раздавался пьяный голосъ Барилочки, кричавшаго:

«Мени съ жинкой не возыться,
А тютюнъ да люлька
Казаку въ дорози
Знадобится.»

Чтобъ отвязаться отъ веселаго товарищества, Райнеръ зашелъ ночевать къ Розанову, въ кабинетъ Нечая.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Патеръ Роденъ и аббатъ д'Егриньи.

Какъ только орава гостей хлынула за двери квартиры Рациборскаго, Ярошиньскій быстро повернулся на каблукахъ и, пройдя молча черезъ залъ, гостиную и спальню, вошелъ въ уединенную рабочую хозяина.

Ласковое и внимательное выраженіе съ лица Ярошиньскаго совершенно исчезло: онъ былъ серьезенъ и сухъ.

Проходя по гостиной, онъ остановился и, указавъ Рациборскому на кучу пепла и сора, сказалъ:

— Велите убирать эту мерзость.

Рациборскій поклонился и вернулся къ человѣку, а Ярошиньскій вошелъ въ рабочую.

Черезъ десять минутъ Рациборскій два раза стукнулъ въ дверь этой комнаты.

— Войдите, — отвѣчалъ изнутри голосъ Ярошиньскаго по-польски.

Но Ярошиньскаго здѣсь не было. Не было здѣсь добродушнаго, сѣдого офицера бывшихъ войскъ польскихъ. По комнатѣ быстрыми шагами ходилъ высокій, сухой человѣкъ, лѣтъ тридцати-пяти или сорока. Его черные какъ смоль и блестящіе волосы изрѣдка начинали покрываться раннею серебряною искрой. Судя по живому огню глазъ и живости движеній, сѣдина очень торопилась сходить на эту, подъ бритву остриженную, голову. Лицо незнакомца дышало энергіей. Его далеко выдававшійся впередъ широкій подбородокъ говорилъ о волѣ, прямыя и тонкія блѣдныя губы — о холодности и хитрости, а прекрасный, гордый польскій лобъ съ ранними, характерно ломавшимися надъ тонкимъ носомъ морщинами, — о сильномъ умѣ и искушенномъ тяжелыми опытами прошломъ.

Теперь на томъ, кого мы до сихъ поръ называли Яро-

шиньскимъ, былъ надѣтъ длинный черный сюртукъ. Толсто-настеганная венгерка, въ которой онъ сидѣлъ до этого времени, лежала на диванѣ, а на столѣ, возлѣ лампы, былъ брошенъ артистически-устроенный сѣдой, клочковатый парикъ и длинные польскіе усы.

Рациборскій, взойдя, переложилъ ключъ и заперъ за собою дверь. Онъ дернулъ-было занавѣску другой двери, что вела въ буфетъ, но Ярошиньскій сказалъ:

— Здѣсь уже заперто.

Рациборскій подошелъ къ печкѣ и, заложивъ назадъ руки, сталъ молча.

— Велите ложиться спать лакею,—сказалъ Ярошиньскій, продолжая быстро ходить по комнатѣ и смотря въ полъ.

— Михаль! ложись спать, — крикнулъ по-польски Рациборскій въ фальшивый отдушникъ и, тотчасъ же закрывъ его войлочнымъ колпачкомъ, лежавшимъ на шкафѣ, сталъ снова у печки.

Съ минуты выхода гостей здѣсь всѣ говорили по-польски.

Прошло болѣе часа, какъ загадочный человѣкъ сдѣлалъ послѣднее домашнее распоряженіе, а онъ все ходилъ по комнатѣ, опустивъ на грудь свою умную голову и смотря на схваченныя спереди кисти бѣлыхъ рукъ. Онъ былъ необыкновенно интересенъ: его длинная черная фигура, съ широко-раздувающимися длинными полами тонкаго матерчатаго сюртука, придавала ему видъ какого-то мрачнаго духа, а мрачная печать, лежавшая на его бѣломъ лбу, и неслышные шаги по мягкому ковру еще болѣе увеличивали это сходство. Онъ не ходилъ, а точно леталъ надъ поломъ на своихъ черныхъ, крылообразно-раздувающихся фалдахъ.

Рациборскій стоялъ молча. Столовые часы мелодически прозвонили три раза.

— Это все, что я видѣлъ?—спросилъ незнакомецъ, продолжая ходить и смотрѣть на свои опущенныя къ колѣнямъ руки.

— Это все, панъ канонникъ,—отвѣчалъ тихо, но съ достоинствомъ Рациборскій.

— Странно!

— Это такъ есть.

Опять началось долгое молчаніе.

— И другого ничего?

— Ксендзъ канонникъ можетъ мнѣ вѣрить.

— Я вѣрю,—отвѣчалъ канонникъ, и послѣ долгой паузы сказалъ: — Я желаю, чтобы вы мнѣ изложили, почему вы такъ дѣйствовали, какъ дѣйствуете.

— Я сходился и наблюдалъ; болѣе я ничего не могъ дѣлать.

— Почему вы увѣрены, что, кромѣ этихъ господъ, нѣтъ другихъ удобныхъ людей?

— Я съ ними сходился: здѣшніе почти всѣ въ этомъ родѣ.

— Въ этихъ *родахъ* скажите: они всѣ разно мыслятъ.

— Таковы всѣ; у нихъ что̀ ни человѣкъ, то партія.

По тонкимъ губамъ каноника пробѣжала презрительная улыбка.

— Нужно выбрать что-нибудь поэффектнѣе и поглупѣе. Эти скоты ко всему пристанутъ.

Канонникъ опять походилъ и добавилъ:

— Араповъ и рыжій весьма удобные люди.

— Фразеры.

— А что̀ вамъ до этого?—сказалъ канонникъ, остановясь и быстро вскинувъ голову.

— Съ ними ничего нельзя сдѣлать.

— Отчего?

— Пустые люди: всѣхъ выдадутъ и все испортятъ.

— А вамъ что за дѣло?

— Общество очень скоро пойметъ ихъ.

— А пока пойметъ?

— Они попадутся.

— А вамъ что за дѣло?

— И перегубятъ другихъ.

— Вамъ что за дѣло? Что вамъ за дѣло?—спрашивалъ съ удареніемъ канонникъ.

Рациборскій молчалъ.

— Ваше дѣло не разсуждать, а повиноваться: законы ордена вамъ извѣстны?

— Я прошу позволенія...

— Вы должны слушать, молчать.

— Ксендзъ канонникъ Кракувка!—вспыльчиво вскрикнулъ Рациборскій.

— Что, панъ поручикъ московской службы?—съ презрительной гримасой произнесъ Кракувка, оглянувшись черезъ плечо на Рациборскаго.

Рациборскій вздохнулъ, медленно провелъ рукою по лбу и, сдѣлавъ шагъ на середину комнаты, спокойно сказалъ:

— Я прошу извиненія.

— Прощенія, а не извиненія,—сухо замѣтилъ каноникъ, не обращая никакого вниманія на Рациборскаго.

— Я прошу прощенія,—выговорилъ молодой человѣкъ.

Каноникъ не отвѣтилъ ни слова и продолжалъ ходить молча.

— Принесите мнѣ стаканъ воды съ сиропомъ,—прошепталъ онъ черезъ нѣсколько минутъ.

Рациборскій вышелъ и, пока онъ возвратился, Кракувка что-то черкнулъ карандашомъ въ своемъ бумажникѣ.

— Вы дурно дѣйствовали, — началъ Кракувка, выпивъ воды и поставивъ стаканъ на столъ.

— Здѣсь ничего нельзя дѣлать.

— Неправда; дураковъ можно заставлять плясать, какъ куколъ. Зачѣмъ они у васъ собираются?

— Они любятъ сходиться.

— Бездѣльники! Что жъ они думаютъ, зачѣмъ они собираются у васъ?

— Имъ кажется, что они дѣлаютъ революцію.

— Только и умно, что вы тѣшите ихъ этой обстановкой. Но что они ничего не дѣлаютъ—это ваша вина.

— Ксендзъ каноникъ многаго отъ меня требуетъ.

— Многаго?—съ презрѣніемъ спросилъ Кракувка.—Они бредятъ коммунизмомъ своего народа, да?

— Да.

— Такъ я имъ завтра дамъ, что̀ дѣлать, — сказалъ съ придыханіемъ Кракувка.

— Но и это не все; лучшіе, умнѣйшіе изъ нихъ не пойдутъ на это.

— А зачѣмъ вамъ лучшіе? Зачѣмъ вамъ этотъ лѣкарь?

— Мнѣ его рекомендовалъ Араповъ.

— Это очень глупо: онъ только можетъ мѣшать.

— Онъ знаетъ страну.

— Надо держать крѣпче тѣхъ, которые меньше знаютъ. У васъ есть Араповъ, рыжій, этотъ Пархоменко и капитанъ, да Райнеръ, — помилуйте, чего жъ вамъ? А что̀ эти Бѣлоярцевъ и Завулоновъ?

— Трусы.

— Совсѣмъ трусы?

— Совсѣмъ трусы и не глупы.

— Гм! Ну, этихъ можно бросить, а тѣхъ можно употребить въ дѣло. При первой возможности, при первомъ случаѣ, пустить ихъ. Каждый дуракъ имѣетъ себѣ подобныхъ.

— Райнеръ не дуракъ.

— Энтузіастъ и неоплатоникъ, — это все равно, что и дуракъ: матеріалъ лѣпкій.

— Розановъ тоже уменъ.

— Одолжить его. Въ чемъ онъ нуждается?

— Онъ ищетъ мѣста.

— Дать ему мѣсто. Послѣзавтра вышлите мнѣ въ Петербургъ его бумаги,—и онъ можетъ пригодиться. Ваше дѣло, чтобъ онъ только зналъ, что онъ намъ обязанъ. А что это за маркиза?

— Женщина очень пылкая и благородная.

— А, это прекрасно.

— Она «*бѣлая*».

— Это все равно.

— Она ни къ чему не годна: только суетится.

— Надо ее увѣрить, что она дѣйствуетъ.

— Она это и такъ думаетъ.

— И прекрасно. Спутать ихъ какъ можно больше.

— Ксендзъ канонникъ...

— Панъ поручикъ!

— Между ними есть честнѣйшіе люди. Я не смѣю возражать ничего противъ всѣхъ, но Розанова, Райнера и маркизу... за что же ихъ? Они еще могутъ пригодиться?

— Кому? кому?—опять съ придыханіемъ спросилъ канонникъ.—Этой шизмѣ вы бережете людей. Ей вы ихъ сберегаете?

— Я не могу не уважать человѣческихъ достоинствъ во всякомъ.

— Кто хвалитъ чужое, тотъ уменьшаетъ достоинства своего.

— Они также могутъ содѣйствовать человѣческому счастью.

Канонникъ остановился посреди комнаты, заложилъ назадъ руки и, закинувъ голову, спросилъ:

— Вы вѣруете въ чистоту и благость стремленій общества Іисусова?

— Свято вѣрую,—отвѣчалъ съ искреннимъ убѣжденіемъ Рациборскій.

— Такъ помните же, — подлетая на своихъ черныхъ крыльяхъ къ Рациборскому, началъ каноникъ,—помните, что со временъ Поссевина намъ нѣтъ здѣсь мѣста и мы пресмыкаемся здѣсь или въ этомъ шутовскомъ маскарадѣ (ксендзъ указалъ на свой парикъ и венгерку), или въ этомъ московскомъ мундирѣ, который хуже всякаго маскарада. Помните это!

— Я помню.

— Австрія, эта проклятая ракушанка, даетъ намъ пріютъ, а въ нашей хваленой Россіи мы хуже жидовъ.

— Они не понимаютъ святыхъ заботъ общества.

— Такъ надо, чтобъ они ихъ поняли,—произнесъ, захохотавъ, Кракувка.—Первый случай, и въ ходъ всѣхъ этихъ дураковъ. А пока пріобрѣтайте ихъ довѣріе.

— Это, ксендзъ каноникъ, не стоитъ труда: эти готовы вѣрить всякому, и никѣмъ не пренебрегаютъ,—даже «чортомъ».

— И отлично; нѣтъ ли еще гдѣ жида крещенаго?

— Можетъ-быть, найдутъ.

— И отлично. Чего же вамъ? Съ такимъ-то матеріаломъ не заложить постройки!

— Я искалъ другихъ людей.

— Лучше этихъ не надо. Полезнѣе дураковъ и энтузіастовъ нѣтъ. Ихъ можно заставить дѣлать все.

— Глупое,—сказалъ Рациборскій.

— Ничего умнаго и не надо намъ; поручикъ не стоитъ au courant съ интересами отечества.

Рациборскій грустно молчалъ.

Кракувка остановился, посмотрѣлъ на него, и, медленно подойдя къ висѣвшему надъ столомъ женскому портрету, сказалъ съ разстановкой:

— Урсула слишкомъ поторопилась дать свое слово: она не можетъ быть и никогда не будетъ женою нерѣшительнаго человѣка.

Рациборскій встрепенулся и взглянулъ на ксендза умоляющимъ взоромъ.

— Дайте мнѣ еще воды и простимся, — день наступаетъ,—тихо произнесъ Кракувка.

Если читатель вообразитъ, что весь описанный нами разговоръ шелъ съ безконечными паузами, встрѣчающимися въ разговорахъ обыкновенныхъ людей, то ему станетъ по-

нятно, что при этихъ словахъ, сквозь густыя шторы Рациборскаго, на іезуитовъ взглянуло осеннее московское утро.

Въ десять часовъ Ярошиньскій давалъ аудіенцію нѣкоему Доленговскому, пожилому человѣку, занимающемуся въ Москвѣ стряпческими дѣлами.

Главнымъ предметомъ разговора было внушеніе Доленговскому строгой обязанности неуклонно наблюдать за каждымъ шагомъ Рациборскаго и сообщать обо всемъ Ярошиньскому, адресуя въ Вѣну, poste-restante, на имя сеньора Марцикани.

Потомъ дана была аудіенція Слободзинскому, на которой молодому человѣку, между прочимъ, было велѣно слѣдить за его университетскими товарищами и обо всемъ писать въ Парижъ, патеру Кракувкѣ, rue St.-Sulpice, № 6, для передачи Ярошиньскому.

При этомъ Слободзинскому оставлена нѣкоторая сумма на безнуждное житье въ университетѣ.

Въ двѣнадцать часовъ Рациборскій проводилъ Ярошиньскаго на петербургскую желѣзную дорогу, постоялъ у барьера, пока тронулся поѣздъ и, кивнувъ другъ другу, іезуитъ подчиненный разстался съ іезуитомъ начальникомъ.

Ѣдучи съ Рациборскимъ на желѣзную дорогу, Кракувка объявилъ, что онъ долженъ брать отпускъ за границу и готовиться въ Парижъ, гдѣ онъ получитъ обязанности болѣе сообразныя съ его характеромъ, а на его мѣсто въ Москву будетъ назначено другое лицо.

Эту ночь не спали еще Розановъ и Райнеръ.

Райнеръ говорилъ, что въ Москвѣ все ненадежные люди, что онъ ни въ комъ не видитъ серьезной преданности, и что, наконецъ, не знаетъ даже, съ чего начинать. Онъ разсказывалъ, что былъ у многихъ изъ извѣстныхъ людей, но что всѣ его приняли холодно и даже подозрительно.

— Это же,—добавлялъ Райнеръ:—все деморализовано до конца.

Райнеръ очень жалѣлъ, что онъ сошелся съ Пархоменко; говорилъ, что Пархоменко непремѣнно напутаетъ чего-нибудь сквернаго, и сѣтовалъ, что онъ никому, ни здѣсь, ни въ Петербургѣ, ни въ другихъ мѣстахъ, не можетъ открыть глазъ на этого человѣка.

Вообще Райнеръ казался какъ-то разбитымъ и, при ночномъ разговорѣ съ Розановымъ, на него будто находили порою столбняки.

Розановъ рѣшительно говорилъ, что надо все бросить и не возиться; что никакихъ элементовъ для революціи нѣтъ.

Райнеръ слушалъ терпѣливо все, что̀ Розановъ сообщалъ ему о настроеніи народа и провинціальнаго общества, но не могъ отказаться отъ своей любимой идеи произвести соціально-демократическій переворотъ, начавъ его въ Россіи.

— Все это такъ, но мы, вѣдь, не знаемъ, что̀ народъ думаетъ,—говорилъ онъ.

— Отчего же не знаемъ?

— Да такъ. Мы слышимъ, что̀ онъ говоритъ, а не знаемъ, что̀ онъ думаетъ.

О партіи московскихъ умѣренныхъ Райнеръ отозвался съ сострадательной улыбкой, что на нихъ вовсе нечего разсчитывать.

— Или кабинетныя муміи, или шуты,—говорилъ онъ:— та же фраза, та же рисовка и ничего болѣе. Вотъ поѣдемте въ воскресенье къ маркизѣ, — тамъ разный народъ бываетъ,—увидите сами.

— Какъ она такъ рискуетъ, принимая людей, за которыми навѣрное уже смотрятъ?

— Ахъ, ничѣмъ она не рискуетъ: тамъ ничего не дѣлаютъ, только болтаютъ.

— Она, говорятъ, всегда была близка съ передовыми людьми.

— Лжетъ, какъ мавзолей,—ничему вѣрить нельзя.

— Такъ изъ-за чего же она бьется?

— Все это эффекты и ничего болѣе. Да вотъ присмотритесь, сами увидите, — добавилъ онъ и, закрывъ глаза, задремалъ въ креслѣ, въ то самое время, когда Рациборскій подалъ Кракувкѣ второй стаканъ воды съ морсомъ.

На слѣдующее утро Розановъ познакомилъ Райнера съ Нечаемъ и его женою.

Райнеръ имъ очень понравился, а Нечай тоже произвелъ на него хорошее впечатлѣніе.

Рациборскій отдалъ Розанову визитъ на другой день послѣ отъѣзда Кракувки.

Онъ былъ необыкновенно милъ, любезенъ и такъ дели-

катно вызвался помочь Розанову, въ полученіи *пока* ординаторскаго мѣста, что тотъ и не замѣтилъ, какъ отдалъ Рациборскому свои бумаги, немедленно уѣхавшія въ Петербургъ къ галиційскому помѣщику Ярошиньскому.

Рациборскій, между словъ, узналъ, что Розановъ скоро познакомится съ маркизой, и сказалъ, что ему будетъ очень пріятно съ нимъ тамъ встрѣчаться, что это домъ очень почтенный.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Углекислыя феи Чистыхъ-Прудовъ.

На Чистыхъ-Прудахъ всѣ дома имѣютъ какую-то пытливую физіономію. Всѣ они точно къ чему-то прислушиваются и спрашиваютъ: что̀ тамъ такое? Между этими домами самую любопытную физіономію имѣлъ домъ полковника Сте—цкаго. Этотъ домъ не только спрашивалъ: что̀ тамъ такое? но онъ говорилъ: ахъ, будьте милосердны, скажите, пожалуйста, что̀ тамъ такое?

Домъ этотъ состоялъ изъ главнаго двухъэтажнаго корпуса, выходившаго на Чистые-Пруды, и множества самыхъ странныхъ флигелей, настроенныхъ въ серединѣ двора.

Въ бель-этажѣ главнаго дома обитала маркиза Ксенія Григорьевна де-Бараль, съ сыномъ, девятнадцатилѣтнимъ маркизомъ, и двумя взрослыми дочерьми, дѣвицами.

Въ нижнемъ этажѣ жилъ либеральный московскій архитекторъ, Истукарій Михайловичъ Брюхачевъ, съ молоденькою женою и недавно произошедшимъ отъ сего союза приплодомъ.

Во флигеляхъ мѣстилось множество самыхъ разнородныхъ людей, но самый большой изъ этихъ флигелей занимали пять сестеръ Ярославцевыхъ: Серафима Романовна, Рогнѣда Романовна, Аріадна Романовна, Раиса Романовна и Зоя Романовна.

Всѣ сестры Ярославцевы жили въ дѣвствѣ, а маркиза вдовствовала.

Эти-то шесть женщинъ, т.-е. пять сестеръ Ярославцевыхъ и маркиза де-Бараль, назывались въ нѣкоторыхъ московскихъ кружкахъ углекислыми феями Чистыхъ-Прудовъ, а домъ, въ которомъ онѣ обитали, былъ извѣстенъ подъ именемъ вдовьяго загона.

Мы непремѣнно должны познакомиться и съ углекислыми феями Чистыхъ-Прудовъ, и съ законами вдовьяго загона.

Старшею феею, по званію, состоянію и общественному положенію, была маркиза де-Бараль. У нея былъ соединенный гербъ. Въ одной сторонѣ щита были изображены колчанъ со стрѣлами и накрестъ татарская ногайка, а въ другой вертелъ. Первая половина щита свидѣтельствовала о какой-то услугѣ, оказанной предкомъ маркизы, казанскимъ татариномъ Маймуловымъ, отцу Ивана IV, а вторая должна была символически напоминать, что какой-то предокъ маркизинаго мужа накормилъ сбившагося съ дороги короля Людовика Святого.

Маркизѣ было подъ пятьдесятъ лѣтъ. Теперь о ея красотѣ, конечно, уже никто и не говорилъ; а смолоду, разсказывали, она была очень неавантажна. Маленькая, вертлявая и сухая, съ необыкновенно подвижнымъ лицомъ, она была весьма непрезентабельна. Разсуждала она рѣшительно обо всемъ, о чемъ вы хотите, но болѣе всего любила говорить о томъ, какое значеніе можетъ имѣть просвѣщенное содѣйствіе, или просвѣщенная оппозиція просвѣщенныхъ людей, «стоящихъ на челѣ общественной лѣстницы». Маркиза не могла разсуждать спокойно и послѣдовательно; она не могла, такъ сказать, *разсуждать разсудительно*. Она, какъ говорятъ поляки, «miala zajaca w glowie», и этотъ заяцъ до такой степени безпутно шнырялъ подъ ея черепомъ, что догнать его не было никакой возможности. Даже никогда нельзя было видѣть ни его заднихъ лапокъ, ни его куцаго, поджатаго хвостика. Безпокойное шныряньe этого торопливаго звѣрка чувствовалось только потому, что изъ-подъ его ножекъ вылетали: «чела общественной лѣстницы» и прочія умныя слова, спутанныя въ самыя безпутныя фразы.

Однако, несмотря на то, что маркиза была персона не видная, и что у нея шнырялъ въ головѣ очень безпокойный заяцъ, были въ Москвѣ люди, которые очень долго этого вовсе не замѣчали. По уставу, царицею углекислыхъ фей непремѣнно должна быть дѣвица и притомъ настоящая, совершенно непорочная дѣвица, но для маркизы, даже въ этомъ случаѣ, было сдѣлано исключеніе: въ описываемую нами эпоху она была ихъ царицею. Феи оперлись на то, что маркизѣ совершенно безопасно можно было ввѣрить огонь, и вручили ей всѣ знаки старшинства.

Принявъ во вниманіе возрастъ, котораго достигла мар-

киза, на Чистыхъ-Прудахъ никто не думалъ упрекалъ фей въ легкомысліи. Всѣ одобряли ея избраніе. Къ тому же, маркиза была поэтъ: ее любила погребальная муза. У маркизы хранилось шесть большихъ стихотвореній: на смерть Пушкина, который, во время ея дѣтства, посадилъ ее однажды къ себѣ на колѣни; на смерть Лермонтова, который, однажды, во время ея дѣтства, подарилъ ей бонбоньерку; на смерть двухъ-трехъ московскихъ ученыхъ, которыхъ она знала и считала своими друзьями, и на смерть Шарлотты Кордай, Маріи Антуанеты и madame Роланъ, которыхъ она хотя лично не знала, но тоже считала своими друзьями. Кромѣ того, у маркизы было заготовлено стихотвореніе на смерть Мирабо, но оно было написано только до половины и остановлено безъ окончанія, до тѣхъ поръ, пока будетъ нѣкоторое основаніе опровергнуть весьма распространенный слухъ о политической продажности этого умѣреннаго либерала. Далѣе, было у нея нѣсколько стихотвореній только начатыхъ. Въ нихъ маркиза намѣрена была оплакивать кончину своихъ живущихъ друзей. Углекислыя феи каждая имѣла себѣ по отдѣльному стихотворенію, и самое большое изъ нихъ назначалось Рогнѣдѣ Романовнѣ. Это прекрасное стихотвореніе было уже совсѣмъ отдѣлано и даже переписано на почтовую бумагу. Оно называлось «Пѣснь женщины надъ гробомъ чистѣйшаго созданія», и начиналось такъ:

Дружбѣ вѣнокъ безкорыстный
Женскою, слабой рукою, и т. д.

Стихи были бѣлые и бѣлизна ихъ доходила до такой степени, что когда маркизъ случайно зажегъ ими свою трубку, то самая бумага, на которой они были написаны, сгорѣла совершенно безцвѣтнымъ пламенемъ.

Это печальное обстоятельство случилось на третью весну послѣ бракосочетанія маркиза, а послѣ этой весны маркиза уже видѣла двадцать два раза, какъ таетъ зимній ледъ на Чистыхъ-Прудахъ.

Несмотря на то, что маркиза никогда не была оцѣнена по достоинству своимъ мужемъ и рано осталась одна съ двумя дочерьми и двумя сыновьями, она все-таки была замѣчательно счастливою женщиною. У нея всегда была хорошенькая квартирка, попугай, лошадь съ дрожками, лакей въ нитяныхъ бѣлыхъ перчаткахъ, канарейка въ клѣткѣ и множество друзей. Главнѣйшимъ образомъ счастье маркизы

заключалось во множествѣ друзей. Они ей были рѣшительно необходимы и у нея въ нихъ никогда не было никакого недостатка. У нея были друзья всякіе: были друзья, которые ей льстили; были друзья, которые ее злили, какъ кошку; были друзья, которые считали ее набитою дурою и сумасшедшею; но зато у нея былъ одинъ истинный другъ, имѣвшій всѣ нужныя свойства, чтобы назваться истиннымъ другомъ. Онъ былъ безкорыстенъ, мягкосердеченъ, благодаренъ и глупъ. Вдобавокъ, этотъ другъ былъ женщина, потерявшая всякую надежду вкусить сладости любви. Звали эту женщину Рогнѣдой Романовной. Словомъ, это была вторая углекислая фея Чистыхъ-Прудовъ.

Конечно, не всякій можетъ похвалиться, что онъ имѣлъ въ жизни такого друга, какимъ была для маркизы Рогнѣда Романовна, но маркиза была еще счастливѣе. Ей казалось, что у нея очень много людей, которые ее нѣжно любятъ и готовы за нею на край свѣта. Положимъ, что маркиза въ этомъ случаѣ очень сильно ошибалась, но, тѣмъ не менѣе, она все-таки была очень счастлива, заблуждаясь такимъ пріятнымъ образомъ. Это сильно поддерживало ея духовныя силы и давало ей то, что въ Москвѣ называется «форсомъ».

У маркизы былъ сынъ Орестъ, который долго назывался «Оничкой», дочь Антонина, дѣвица взрослая, дочь Сусанна, дѣвица на возрастѣ, и сынъ Веніаминъ, молодой человѣкъ еще въ самой зеленой порѣ. Маркиза относилась къ своему Веніамину совсѣмъ не такъ, какъ относился къ своему Веніамину патріархъ Іаковъ. Она боготворила Оничку. Одни увѣряли, что это идолослуженіе Оничкѣ основано на томъ, яко бы, что извѣстная Ленорманъ, посмотрѣвъ на этого мальчика, закричала: «Vicomte! — Marquis! — Ministre! — Poète! Homme célèbre»; другіе же просто говорили, что маркиза любила Оничку болѣе всѣхъ потому, что онъ былъ ея первенецъ, и этому можно вѣрить, потому что родительская нѣжность маркизы къ Оничкѣ нимало не пострадала даже послѣ того, когда московскій пророкъ Иванъ Яковлевичъ назвалъ его «ослицей Вааловой».

Дочерей маркиза тоже любила не ровно. Антонина пользовалась у нея несравненно большимъ фаворомъ, чѣмъ Сусанна, и зато Антонина любила свою мать на маковое зерно болѣе, чѣмъ Сусанна, которая не любила ея вовсе.

Сусанна росла недовольною Коринной у одной своей

тетки, а Веніаминъ, обличавшій въ своемъ характерѣ нѣкоторую весьма раннюю нетерпимость, получалъ отъ родительницы каждое первое число по двадцати рублей и жилъ съ нѣкоторыми военными людьми въ одномъ казенномъ заведеніи. Онъ оттуда какимъ-то образомъ умѣлъ приходить на университетскія лекціи, но къ матери являлся только разъ въ мѣсяцъ. Да, впрочемъ, и сама мать стѣснялась его посѣщеніями.

— Онъ какъ-то огрубѣлъ и опустился,—говорила Рогнѣда Романовна болтливымъ людямъ, удивлявшимся, что у маркизы никогда не видно ея Веніамина.

Рогнѣда Романовна отъ природы была очень правдива, и, можетъ-быть, она не лгала даже и въ настоящемъ случаѣ, но все-таки ей нельзя было во всемъ вѣрить на слово, потому что она была женщина «политичная». — Давно извѣстно, что въ русскомъ обществѣ недостатокъ людей *политическихъ* всегда щедро вознаграждался обиліемъ людей *политичныхъ*, и Рогнѣда Романовна была однимъ изъ лучшихъ экземпляровъ этого завода.

Вообще было много основаній съ большою обстоятельностью утверждать, что политичность Рогнѣды Романовны, всѣхъ ея сестеръ и самой маркизы много выигрывала отъ того, что онѣ не знали ничего такого, что̀ стоило бы скрывать особенно ловкими пріемами, но умѣли жить какъ-то такъ, что какъ-то всѣмъ о нихъ хотѣлось разспросить.

Маркизинъ зайчикъ тутъ больше всѣхъ работалъ, и нужно ему отдать справедливость, онъ былъ самый первый политиканъ во всемъ вдовьемъ загонѣ.

Кромѣ того, этотъ маленькій звѣрёкъ обладалъ непомѣрнымъ самолюбіемъ. Онъ никогда не занимался обыкновенными, недальновидными людьми и предоставлялъ имъ полное право вѣрить въ маркизинъ умъ, предполагать въ ней обширныя способности и даже благоговѣть предъ ея фразами. Но зато онъ вволю потѣшался надъ людьми умными.

Когда умнымъ людямъ случалось заходить къ маркизѣ, а уходя отъ нея размышлять о томъ, что̀ она при нихъ наговорила, умные люди обыкновенно спрашивали себя:

— Однако, чортъ меня возьми совсѣмъ, если можно понять, что̀ у нея сидитъ въ мозгу!

— Чортъ возьми, что же это у нея сидитъ въ мозгу?— спрашивалъ себя умный человѣкъ, даже задувая дома свѣчку

и оборачиваясь къ стѣнкѣ; но ни одного раза ни одинъ умный человѣкъ не отгадалъ, что въ мозгу у маркизы просто сидитъ заяцъ.

Это открытіе принадлежитъ къ самымъ позднѣйшимъ открытіямъ и оно совершилось гораздо позже избранія маркизы царицею углекислыхъ фей на Чистыхъ-Прудахъ.

По справедливости этотъ санъ гораздо болѣе шелъ къ Аріаднѣ Романовнѣ, чѣмъ къ маркизѣ; онъ болѣе шелъ бы даже къ Серафимѣ Романовнѣ, но онѣ его не получили.

Рогнѣда Романовна не могла претендовать ни на какое первенство, потому что въ ней надо всѣмъ преобладало чувство преданности, а Раиса Романовна и Зоя Романовна были особы безъ рѣчей. Судьба ихъ нѣкоторымъ образомъ имѣла нѣчто трагическое и общее съ судьбою Тристрама Шанди. Когда онѣ только-что появились близнецами на свѣтъ, повивальная бабушка, растерявшись, взяла вмѣсто пеленки пустой мѣшочекъ и обтерла имъ головки новорожденныхъ. Съ той же минуты младенцы сдѣлались совершенно глупыми и остались такими на цѣлую жизнь.

Таковы были, въ общихъ чертахъ, углекислыя феи, которыя въ свое время играли нѣкоторыя роли на Чистыхъ-Прудахъ и не могутъ пройти совсѣмъ незамѣтными для снисходительныхъ читателей этого романа.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Красные, бѣлые, пестрые и буланые.

Прекраснымъ осеннимъ вечеромъ, когда румяная заря яркимъ полымемъ догорала на золоченыхъ кремлевскихъ вышкахъ, Розановъ съ Райнеромъ выѣхали изъ одного переулка въ Чистые-Пруды и остановились у воротъ дома полковника Сте—цкаго.

Углекислыя феи нынѣшній годъ немножко замѣшкались въ Кунцовѣ, и только около двухъ недѣль перенеслись въ свои зимовыя обиталища.

Тотчасъ за воротами было два подъѣзда: направо къ маркизѣ, налѣво къ Ярославцевымъ.

Маркиза жила въ бель-этажѣ, начинавшемся съ параднаго подъѣзда не совсѣмъ чистою переднею.

Розанова и Райнера встрѣтилъ высокій, смуглый лакей въ сѣромъ казинетовомъ сюртукѣ, не по сезону, и въ бѣ-

лыхъ бумажныхъ перчаткахъ. Онъ не пошелъ о нихъ докладывать, а только отворилъ имъ двери въ залу.

По залѣ прогуливались: молодая дѣвушка весьма развязнаго вида, часто встряхивавшая черныя кудри своей совершенно круглой головки, некрасивой, но весьма оригинальной; высокая, худая фея, съ черными вороньими глазами, длиннымъ, мертвенно-синимъ носомъ и съ чернобурыми веснушками. Этихъ двухъ особъ сопровождали: съ одной стороны низенькій офицеръ въ темнозеленомъ сюртукѣ, съ бѣлыми аксельбантами, и молодой человѣкъ весь въ черномъ. Офицеръ былъ съ виду очень невзрачный, желтенькій и плюгавенькій, съ бурымъ войлокомъ, вмѣсто волосъ, на головѣ. Молодой же человѣкъ, въ черномъ, не могъ нравиться ни одной женщинѣ, достигшей извѣстнаго возраста, но его непремѣнно должны были обожать институтки. Онъ былъ похожъ на всѣхъ Малекъ-Аделей, которыхъ «кафушки» начинаютъ рисовать карандашами, а выпускныя иллюминуютъ красками и видятъ во снѣ крадущимися изъ-за шторъ полутемнаго дортуара. Смугленькій, чистенькій, съ черными, лоснящимися и слегка вьющимися волосами, черными, продолговатыми глазками, тоненькими, черными же усиками, слегка выпушающеюся бородкою и маленькимъ ротикомъ, съ остренькими пунцовыми губками, въ видѣ выпуклой пуговочки. Совсѣмъ, такъ-таки совсѣмъ былъ институтскій Малекъ-Адель: вотъ сейчасъ поцѣлуетъ, завернется краснымъ плащомъ и, улегшись въ мусульманскую гробницу, скажетъ: «плачь обо мнѣ, прекрасная христіанка, и умри на моемъ гробѣ».

Райнеръ подошелъ къ этой группѣ, поздоровался со всѣми и потомъ отрекомендовалъ Малекъ-Аделю Розанова.

Малекъ-Адель былъ старшій сынъ маркизы, надъ которымъ madame Ленорманъ и Иванъ Яковлевичъ сдѣлали два разнорѣчивыя предсказанія.

Малекъ-Адель поздоровался съ Розановымъ вѣжливо, но холодно, съ тѣмъ особымъ оттѣнкомъ, который умѣютъ придавать своимъ привѣтствіямъ министры и вообще люди, живущіе открытымъ домомъ и равнодушно смотрящіе на всякаго новаго посѣтителя.

— Maman у себя въ гостиной, — сказалъ онъ Райнеру, и молодой маркизъ присталъ опять къ разгуливающей тройкѣ.

Во время этого короткаго церемоніала Розановъ слышалъ,

какъ изъ гостиной несся шумный говоръ, изъ котораго выдавался восторженный женскій голосъ.

Розановъ только могъ разобрать, что этотъ голосъ произносилъ: «звонокъ дзынь, влетаетъ одинъ: il est mort; опять дзынь,—другой: il est mort, и еще, и еще. Полноте, говорю, господа, вы мнѣ звонокъ оборвете».

Въ довольно хорошенькой гостиной была куча народа, располагавшагося и группами, и вразбивку. Здѣсь было человѣкъ болѣе двадцати пяти обоего пола.

Самая живая группа, изъ семи особъ, располагалась у одного угольнаго окна, на которомъ сидѣлъ бѣлый попугай, а возлѣ него, на довольно высокомъ креслѣ, сама маркиза въ черномъ чепцѣ, черномъ кашемировомъ платьѣ, безъ кринолина и въ яркой полосатой турецкой шали.

Около нея помѣщались рыжій Бычковъ, Пархоменко, Аріадна Романовна — фея собой довольно полная и пріятная, но все-таки съ вороньимъ выраженіемъ въ глазахъ и въ очертаніи губъ и носа, Серафима Романовна — фея мечтательная, Раиса Романовна и Зоя Романовна—феи прихлопнутыя. Воронье выраженіе было у всѣхъ углекислыхъ. Исключеніе составляла Серафима Романовна, въ которой было что-то даже пріятное. Тутъ же помѣщался Бѣлоярцевъ и нѣкій господинъ Сахаровъ. Послѣдній очень смахивалъ на большого, выращеннаго и откормленнаго кантониста, отпущеннаго для пропитанія родителей. Его солдатское лицо хранило выраженіе завистливое, искательное, злое и, такъ сказать, человѣконенавистное; но онъ могъ быть человѣкомъ способнымъ всегда «стать на точку вида» и спрятать въ карманъ довѣрчиваго ближняго. Бѣлоярцевъ былъ нынче выхоленъ, какъ показной конь на выводъ, и держался показно, позволяя любоваться собою со всѣхъ сторонъ. Онъ сидѣлъ какъ куколка, не прислоняясь къ стѣнкѣ, но выдвигаясь впередъ,—образецъ мужской скромности, своего рода московской изящности и благовоспитанности; гладко вычищенную шляпочку онъ держалъ на колѣняхъ, а на ея поляхъ держалъ свои правильныя руки, въ туго натянутыхъ лайковыхъ перчаткахъ.

Райнеръ представилъ маркизѣ Розанова.

Она сердечно обрадовалась, съ радушіемъ встала, потрясла ему руку и усадила въ свой кружокъ.

— Я, мой милый Райнеръ, — начала она, оживляясь и

слегка дергаясь на стулѣ, только-что разсказывала, какъ мнѣ приносили вѣсть. Только-что я встала и еще не была одѣта, какъ вдругъ «дзынь», входитъ одинъ: «il est mort»; потомъ другой...

— Вы мнѣ это говорили.

— Говорила? Да, это ужасно было,— обратилась она къ Розанову.—Только одинъ взойдетъ, другой «дзынь»,—il est mort, а по улицамъ люди, люди, люди...

— Маркиза!—произнесъ у двери гармоническій женскій голосъ.

Всѣ оглянулись на дверь, а лицо маркизы одушевилось артистическимъ восторгомъ и слезка блеснула на ея черныхъ глазкахъ.

На порогѣ, опустясь на колѣни, сложивъ на груди руки и склонивъ очаровательную головку, стояла прелестная молодая женщина въ легкомъ черномъ платьѣ и черной тюлевой наколкѣ.

Надъ этой изящной, колѣнопреклоненной фигурой рисовалась широкая грудь, на которой сидѣла большая русая голова, съ русою же окладистою бородою и голубыми глазами.

Задняя фигура могла быть очень удобна въ живой картинѣ, гдѣ былъ бы нуженъ типъ извѣстнаго русскаго человѣка, торгующаго своимъ братомъ, скотомъ.

— Мареичка!—воскликнула маркиза.—Икаръ, поднимите ее и подведите ко мнѣ.

Русая головища нагнулась, безцеремонно подняла за локти красивую даму и подвела ее къ маркизѣ.

Всѣ встали и дали дамѣ мѣсто преклониться предъ маркизой, а маркизѣ обнять и облобызать даму.

— Маркиза, я преступница!—шутливо, но съ сознаніемъ тяжкой вины начала дама, не вставая съ колѣней и обнимая маркизу за талію.

— Что такое? въ чемъ это?

— Нѣтъ, прежде простите меня: до тѣхъ поръ не скажу.

— Ну, прощаю, прощаю,—шутила маркиза.

— Браслетъ,— проговорила дама, наморщивъ брови, но не скрывая внутренняго смѣха.

— Что браслетъ, моя милясюсинька?

— Потеряла, маркиза.

— Потеряла?

— Да, я знаю, что это фамильная вещь, что вы ею дорожите, и хотѣла умереть, чтобъ ужъ не сказать вамъ этого горя.

— О, моя миля, миля, что-жъ дѣлать,—произнесла маркиза, поцѣловала взасосъ поднявшуюся даму и, посадивъ ее противъ, стала любоваться ею, оглаживая ея головку и роскошные черные волосы.

Это были заброшенный сирота, пріемышъ маркизы (нынѣ архитекторъ) Брюхачевъ и его жена Марья Николаевна, окрещенная маркизою, по страсти къ передѣлкѣ именъ въ ласкательныя клички, изъ Марьи въ Мареичку.

Марья Николаевна Брюхачева была очень красива, изящна, граціозна и все, что вы хотите, но полюбить ее могъ только Брюхачевъ, волочиться за нею могли только пламенные кавалеристы до штабъ-офицерскаго чина. Но зато, если бы ея дѣвственная юность была обставлена повальяжнѣй, на ней смѣло могъ бы жениться кто-нибудь пофигурнѣе.

Потѣсненный новымъ наплывомъ, кружокъ маркизы раздвинулся, разбился и заговорилъ на разныя темы.

— Какая сласть, — сказалъ Бычковъ Бѣлоярцеву, глядя на Мареичку.

— Марья Маревна, Киперская королевна-то? — спросилъ Бѣлоярцевъ и сейчасъ же добавилъ:—недурна, должно быть, въ натуральномъ видѣ.

А между тѣмъ гости снова оглядывались и ворошились.

По гостиной, съ таинственнымъ, мрачнымъ видомъ проходилъ Араповъ. Онъ не далъ перваго, обычнаго привѣтствія хозяйкѣ, но проходилъ, пожимая руки всѣмъ по ряду и не смотря на тѣхъ, кого удостоивалъ своего рукожатія. Къ маркизѣ онъ тоже отнесся съ рядовымъ привѣтствіемъ, но что-то ей буркнулъ такое, что она, эффектно улыбнувшись, сказала:

— Ну, батюшка, неисправимъ, хоть брось.

— Красный, совершенно красный, яростный, — шепнула маркиза, съ серьезной миною, стоявшему возлѣ нея Розанову и сейчасъ же снова обратилась къ Мареичкѣ. А Араповъ, обойдя знакомыхъ, взялъ за руку Бычкова и отвелъ его въ уголъ.

— Конвентъ въ маломъ видѣ, — опять проговорила маркиза, кивнувъ съ улыбкой на Бычкова и Арапова. — А

смотрите, какая фигура у него, — продолжала она, глядя на Арапова, — какіе глаза-то, глаза — страсть. А тотъ-то, тотъ-то—просто Маратъ.—Маркиза засмѣялась и злорадно сказала:—Будетъ имъ, будетъ, какъ эти до нихъ доберутся да начнутъ ихъ трепать.

А судя по портрету надо полагать, что маркиза не обидѣла Бычкова, сравнивая его съ Маратомъ. Въ звѣрскомъ, сорока-лѣтнемъ лицѣ Марата не было, по крайней мѣрѣ, низкой чванливости и преступнаго легкомыслія, лежавшихъ между всякой всячины на лицѣ Бычкова.

— И они это напечатали?—спрашивалъ Бычковъ разсказывавшаго ему что-то Арапова.

— Какъ же: я хочу вздуть ихъ, вздуть.

— Подлецы!

— Они тамъ этакъ фигурничаютъ, «съ точки зрѣнія справедливости», да то, да другое, а все-таки не честно объ этомъ говорить.

— Разумѣется; вы напишите, что это подло, растолкуйте имъ, что смертная казнь должна быть, но она должна быть только въ странахъ республиканскихъ...

— Батюшка! батюшка мой, пожалуйте-ка сюда! — говорилъ Араповъ, подзывая къ себѣ Сахарова. — Что-жъ это у васъ печатается?

— Отстаньте, Бога ради, ничего я этого не знаю, — отвѣчалъ, смѣясь, кантонистъ, пущенный для пропитанія родителей.

— Какъ не знаете?

— Такъ, не знаю: «мы люди скромные, не строимъ баррикадъ и преспокойнѣйше гніемъ въ своемъ болотѣ».

— Да гадости копаете?

— Да гадости копаемъ, — отвѣчалъ также шутливо кантонистъ. — Нѣтъ, вотъ вамъ, Бычковъ, спасибо: пробрали вы насъ. Я сейчасъ узналъ по статейкѣ, что это ваша. Терпѣть не могу этого бѣлаго либерализма: то-есть чортъ знаетъ, что за гадость.

— Они все говорить будутъ, когда нужно дѣло. Вонъ въ Петербургѣ ужъ дѣлаютъ.

— Что-жъ, что̀ тамъ дѣлаютъ?—впился Сахаровъ.

— Помилуйте, тамъ ужъ аресты идутъ. Недѣлю назадъ, говорятъ, двадцать человѣкъ въ одну ночь арестовали.

Къ товарищамъ подошелъ высокій, благообразный юноша лѣтъ двадцати-двухъ.

— Вонъ, Персіянцевъ, людей ужъ арестовываютъ десятками: видно идетъ дѣло.

— Ахъ, когда бы, когда бы дѣло какое-нибудь!—тоскливо проговорилъ Персіянцевъ, смотря своими чистыми, но тоскливо скучающими дѣтскими глазами.

— Мой милый! мой милый!—звала кантониста маркиза:—вы тамъ съ ними не очень сближайтесь: вы еще довѣрчивы, они васъ увлекутъ.

— Да-съ, увлечемъ,—отвѣтилъ, глядя исподлобья, Араповъ.

— Любви никакой нѣтъ-съ, это иллюзія и только,—гортанилъ Пархоменко, выпячивая колѣни къ платью Мареички.

— Какъ нѣтъ любви? Какъ нѣтъ любви?—вскипѣла маркиза:—Гггааа! это ихъ петербургскій матеріализмъ: радуйтесь. Вы матеріалистъ? Вы матеріалистъ? — пристала она къ Пархоменкѣ.

Пархоменко сробѣлъ и сказалъ, что онъ не матеріалистъ.

— Я только противъ брака. Я разсуждаю по разуму,—говорилъ онъ, стараясь поправиться отъ конфуза.

— Ну, и что-жъ такое? Ну, и что-жъ такое вы разсуждаете противъ брака?—взъѣлась на него опять маркиза.

— Что брака не должно быть въ наше время.

— А что-жъ должно быть? Развратъ?

— Гм!.. что̀ вы еще называете развратомъ,—надо знать.

— А я называю развратомъ вотъ этакую пошлую болтовню при молодой женщинѣ, которая только-что вышла замужъ и, слѣдовательно, уважаетъ бракъ.

Пархоменко заковыривалъ все глубже глазъ и видя, что къ нему подходятъ Бычковъ и Араповъ, воодушевлялся.

— Да мало ли что̀ въ Москвѣ могутъ уважать!—произнесъ онъ, засмѣявшись и хракнувъ носомъ.

Маркиза закусила поводья, зайчикъ нырнулъ ей въ самый затылокъ и мозги у нея запрыгали:

— Гггааа! Что вы этимъ хотите сказать? То, что Москва сберегла свою физіономію; то, что по ней можно читать исторію народа; то, что она строена не по плану присяжнаго архитектора и взведена не на человѣческихъ костяхъ; то, что въ ней живы памятники великаго прошлаго; то, что...

Маркиза понеслась зря. Всѣ ее слушали, кто удерживая

смѣхъ, кто съ изумленіемъ, и только одна Рогнѣда Романовна, по долгу дружбы, съ восторгомъ, да Малекъ-Адель— съ спокойною важностью, точно барышня вырѣзала его изъ картинки и приставила дыбки постоять у стѣнки. А Бѣлоярцевъ, смиренно пригнувшись къ уху Арапова, слегка отпрукивалъ маркизу, произнося съ разстановкой: «тпру, тпру, тпрусь, милочка, тпрусь».

Заяцъ швырялъ и ногами, и ушами: неоцѣнимыя заслуги Москвы и богопротивныя мерзости Петербурга такъ и летѣли, закидывая съ головы до ногъ ледащинькаго Пархоменку, который все силился насмѣшливо и ядовито улыбаться, но вмѣсто того только мялся и не зналъ, какъ подостойнѣе выйти изъ своего положенія.

Онъ ухватился за казармы и сказалъ:

— Наши казармы, по крайней мѣрѣ, менѣе вредны.

— Да, въ нихъ воздухъ чище, — насмѣшливо возразила, оглядываясь по сторонамъ, маркиза.

— Именно воздухъ чище: въ нихъ меньше все прокурено ладаномъ, какъ въ вашихъ палатахъ. И еще въ Москвѣ нѣтъ разума: онъ потерянъ. Здѣсь идетъ жизнь не по разуму, а по предразсудкамъ. Свободомыслящихъ людей нѣтъ въ Москвѣ,—говорилъ ободренный Пархоменко.

— Какъ нѣтъ?

— Нѣтъ.

— Это вы серьезно говорите?

— Серьезно.

— Господинъ Араповъ! я рѣшительно не могу васъ благодарить за доставленіе мнѣ знакомства съ господиномъ Пархоменко.

Маркиза дернулась и отворотилась лицомъ къ окну.

Араповъ сдѣлалъ поклонъ, который можно было истолковать различно, а Бѣлоярцевъ опять прошепталъ у него надъ ухомъ: «тпрюсь, милая, тпрю».

Ново было впечатлѣніе, произведенное этою сценою на Розанова и Райнера, но всѣ другіе оставались совершенно покойны, будто этому всему непремѣнно такъ и надо быть.

Никто даже не удивился, что маркиза, послѣ сдѣланнаго ею реприманда Пархоменкѣ, не усидѣла долго, оборотясь къ окну, и вдругъ, дернувшись снова, обратилась къ нему съ словами:

— А у васъ что? Что тамъ у васъ? Гггааа! ни одного

человѣка путнаго не было, нѣтъ и не будетъ. Не будетъ, не будетъ!—кричала она, доходя до истерики.—Не будетъ потому, что вашъ воздухъ и болота не годятся для русской груди.... И вы... (маркиза задохнулась) вы смѣете говорить о нашихъ людяхъ, и мы васъ слушаемъ, а у васъ нѣтъ терпимости къ чужимъ мнѣніямъ; у васъ Маратъ — богъ; золото, чины, золото, золото да развратъ—вотъ ваши боги.

— Все же это положительное,—возразилъ Пархоменко.

— Да что жъ это положительное-то?

— Все. А ваши ученые, что они сдѣлали? Что вашъ Грановскій?

— Гггааа!

Маркиза закатилась.

— Ma chère,—шепнула сзади Рогнѣда Романовна.

— Ну, ну, что Грановскій?

— Ma chère!—щелкнула опять Рогнѣда Романовна, тронувшись за плечо маркизы.

— Постой, Нэда,—отвѣчала маркиза и пристала:—ну, что, что нашъ Грановскій? Не честный человѣкъ былъ, что ли? Не свѣтлыя и высокія имѣлъ понятія?..

— Какія же понятія? Извѣстное дѣло, что онъ вѣрилъ въ безсмертіе души.

— Ну такъ что жъ?

— И только.

— И только?

— И этого довольно. Одной только пошлости довольно.

— Да, ужъ вашей къ этому прибавить нельзя,—прошептала, совсѣмъ вскипѣвъ, маркиза и, вставъ à la Ristori, съ протянутою къ дверямъ рукою, произнесла:—господинъ Пархоменко! прошу васъ выйти отсюда и болѣе сюда никогда не входить.

Выговоривъ это, маркиза схватила съ окна бѣлый платокъ и побѣжала на балконъ.

Видно было, что она душитъ рыданія.

За нею вышли три феи, Мареичка, Брюхачевъ, который мимоходомъ наступилъ на ногу одиноко сидѣвшему Завулонову, и попугай, который имѣлъ страсть исподтишка долбить людей въ ноги и теперь мимоходомъ прорвалъ сапогъ и пустилъ слегка кровь Сахарову.

— Сапогомъ его чорта,—сказалъ Бычковъ; но Саха-

ровъ не ударилъ попугая сапогомъ, а только всѣмъ показывалъ дырку.

Какъ праотецъ, изгнанный изъ рая, вышелъ изъ воротъ маркизинаго дома Пархоменко на улицу и, увидѣвъ на балконѣ маркизино общество, самымъ твердымъ голосомъ сторговалъ, за пятиалтынный, извозчика въ гостиницу Шевалдышева.

Когда успокоившаяся маркиза возвратилась и сѣла на свой пружинный тронъ, Бычковъ тянулъ человѣкъ трехъ въ ребра и подступилъ къ ней съ словами:

— Однако, хороша и ваша терпимость мнѣній! За что вы человѣка выгнали вонъ?

— Я не могу слушать мерзостей, — отвѣчала маркиза, снова уже кипятясь и кусая кончикъ носового платка.

— Значитъ, то же самое.

— Я не за мнѣніе, а за честную память вступилась.

— За память мертваго обижать живого.

— Память такихъ людей священна.

— Съ памятью извѣстныхъ людей связано почтеніе къ извѣстной идеѣ,—произнесъ тихо, но твердо Персіянцевъ.

Розановъ оглянулся: ему почудилось, будто онъ Помаду слышитъ.

— Ерундища какая-то,—произнесъ Бычковъ:—мертвые берегутъ идеи для живыхъ, вмѣсто привѣта—вонъ, и толковать еще о какой-то своей терпимости.

— А у васъ, что ли, у васъ, что ли, терпимость? — забарабанила маркиза: — Гггааа! у васъ ножъ, а не слово, вотъ ваша терпимость.

И пошло. Только порою можно было слышать:

— Такъ всѣхъ, что ли, порѣжете?

— Всѣхъ,—рѣшалъ Бычковъ.

— А съ кѣмъ сами останетесь?

— Кто уцѣлѣетъ, тотъ останется,—вмѣшивался Араповъ.

— Ггаа!—гоготала, всплескивая руками, маркиза.

— Ггаа!—гоготали и каркали за нею углекислыя феи.

Брюхачевъ стоялъ за женою и по-временамъ цѣловалъ ея ручки, а Бѣлоярцевъ, стоя рядомъ съ Брюхачевымъ, не цѣловалъ рукъ его жены, но далеко запускалъ свои черные глаза подъ ажурную косынку, закрывавшую трепещущія, еще почти дѣвственныя груди Марьи Маревны, Киперской королевны. Сахаровъ все старался залѣпить вырванный по-

пугаемъ клочокъ сапога, въ то время, какъ Завулоновъ, ударяя себѣ въ грудь, говорилъ ему:

— Сдѣлайте милость, Сергѣй Сергѣевичъ, выхлопочите мнѣ хоть рублей бы такъ съ восемь или десять: очень нужно, ей-Богу, очень нужно. Настасья больна, и гроша нѣтъ.

— Да что вы съ ней не развяжетесь?—шутливо и язвительно замѣчалъ Сахаровъ.

Завулоновъ кряхтѣлъ и увѣрялъ, что непремѣнно развяжется, только бы денежонокъ.

— Вонъ просилъ этого буланаго,—говорилъ онъ, указывая на Бѣлоярцева: — такъ что жъ, развѣ онъ скажетъ за кого слово: адъ холодный.

Персіянцевъ вздыхалъ около Райнера и, смотря на него скучающими, дѣтскими глазками, говорилъ:

— Ахъ, Боже мой, Боже мой! хоть бы какое-нибудь дѣло.

Райнеръ молча слушалъ споръ маркизы съ Бычковымъ и дослушалъ его какъ разъ до тѣхъ поръ, пока маркиза стала спрашивать:

— Такъ по-вашему и Робеспьеръ, въ самомъ дѣлѣ, былъ хорошій человѣкъ?

— Робеспьеръ дуракъ.

— Насилу-то!

— Онъ даже подлецъ, не умѣлъ рѣзать въ то время, когда надо было все вырѣзать до конца.

— Маратъ, значитъ, лучше?

— Еще бы! Не будь этой мерзавки, онъ бы спасъ человѣчество.

— Это кого же, кого назвали мерзавкой?

— Корде. Не угодно ли вамъ и меня выгнать вонъ!

— Нѣтъ, зачѣмъ же; вы еще зарѣжете, — пошутила маркиза.

— Да я и такъ зарѣжу.

— И насъ всѣхъ зарѣжете?

— Еще бы! Всѣхъ.

Картина, дѣйствительно, выходила живенькая и характерная: Бычковъ сидитъ, точно лупоглазый ночной филинъ, а около него стрекочутъ и каркаютъ денныя вороны.

— Гаа! гаа! гаа! — каркаютъ всѣ встревоженныя феи, а онъ сидитъ, да словно и въ самомъ дѣлѣ думаетъ: «дайте-ка вотъ еще понадвинетъ потемнѣе, такъ я васъ перещелкаю».

— Общество краснѣетъ! краснѣетъ общество! — восклицала маркиза, отбирая отъ всѣхъ показаніе, кто красный, кто бѣлый.

Искренно отвѣтили только Араповъ и Бычковъ, назвавшіе себя прямо красными. Остальные, даже не исключая Райнера, играли словами и выходили какими-то пестрыми. Неприкосновенную бѣлизну сохранили однѣ феи, да еще Брюхачевъ съ Бѣлоярцевымъ не солгали. Первый ничего не отвѣтилъ и цѣловалъ женину руку, а Бѣлоярцевъ сказалъ, что онъ въ жизни понимаетъ только одно прекрасное и никогда не будетъ принадлежать ни къ какой партіи.

Впрочемъ, Бѣлоярцевъ тѣмъ и отличался, что никогда не вмѣшивался ни въ какой разговоръ, ни въ какой серьезный споръ, вѣчно отходя отъ нихъ своимъ художественнымъ направленіемъ. Онъ съ мужчинами или сквернословилъ, или пѣлъ, и только иногда развязывалъ языкъ съ женщинами, да и то тамъ, гдѣ надъ его словами не предвидѣлось серьезнаго контроля.

— Да, я и забыла, что вы поэтъ и художникъ,—отозвалась маркиза.

Часъ былъ поздній и стали прощаться. Кажется, ужъ не изъ чего бы начаться новымъ спорамъ, но маркиза въ два слова дошла съ Бычковымъ до того, что, вмѣсто прощанья, Бычковъ кричалъ:

— Да ужъ не жирондисты съ Чистыхъ-Прудовъ что-нибудь сдѣлаютъ.

— И не монтаньяры со Вшивой-Горки, — отвѣчала въ экстазѣ маркиза.

— Да ужъ не жирондисты.

— Да ужъ и не монтаньяры.

— И не жирондисты.

— И не монтаньяры.

Розановъ и Райнеръ оставались еще нѣсколько минутъ, послушали, какъ маркиза поносила монтаньяровъ со Вшивой-Горки и говорила о печальной необходимости принимать этихъ неотесовъ, свидѣтельствуясь въ этомъ, безъ всякой нужды, примѣромъ madame Роланъ, которая пускала въ свой салонъ нѣкоторыхъ якобинцевъ.

Чортъ знаетъ, что дѣлалось съ Райнеромъ и Розановымъ отъ этихъ столкновеній съ особеннымъ выдѣленіемъ московскаго люда.

Розановъ только чувствовалъ, что и здѣсь опять какъ-то все гадко и неумно будто. Но иногда, такъ же какъ Райнеръ размышлялъ о народѣ, онъ размышлялъ объ этихъ людяхъ: это они кажутся такими, а чортъ ихъ знаетъ, что̀ они думаютъ и что̀ могутъ сдѣлать.

Онъ еще завернулъ раза три къ маркизѣ и всякій разъ заставалъ у нея Сахарова. Маркиза ему искала мѣста. Розанову она тоже взялась протежировать и отдала ему самому письмо для отправленія въ Петербургъ, къ одному важному лицу. Розановъ отправилъ это письмо, а черезъ двѣ недѣли къ нему заѣхалъ Рациборскій и привезъ извѣстіе, что Розановъ опредѣленъ ординаторомъ при одной гражданской больницѣ; сообщая Розанову это извѣстіе, Рациборскій ни однимъ словомъ не далъ почувствовать Розанову, кому онъ обязанъ за это опредѣленіе.

Розановъ благодарилъ и Рациборскаго, и маркизу, которая была серьезно увѣрена, что это она его устроила.

Розановъ ей пока очень нравился умѣренностью своихъ воззрѣній, что̀ маркиза принимала за чистый жирондизмъ.

Такъ нашъ Розановъ и сдѣлался временнымъ московскимъ гражданиномъ. При больницѣ были холостыя помѣщенія для четырехъ ординаторовъ и одно изъ нихъ теперь доставалось Розанову.

Дмитрій Петровичъ былъ очень обрадованъ, со слезами благодарилъ за радушіе Нечаевъ, надарилъ на послѣднія деньги платьевъ и рубашечекъ ихъ дѣтямъ, простился съ Лефортовымъ и, переѣхавъ въ больницу, занялся службой.

Оглавленіе.

IX ТОМА.

Некуда. Романъ въ трехъ книжкахъ.

Книга первая: **Въ провинціи.**

		стр.
XXV.	Два внутренніе міра	5
XXVI.	Что на русской землѣ бываетъ	12
XXVII.	Кадриль въ двѣ пары	23
XXVIII.	Глава безъ названія	29
XXIX.	На одномъ полѣ разныя ягоды	35
XXX.	Half-yearly review	41
XXXI.	Великое переселеніе народовъ и вообще глава, резюмирующая первую книгу	79

Книга вторая: **Въ Москвѣ.**

I.	Дальнее мѣсто	86
II.	Первые дни и первыя знакомства	91
III.	Чужой человѣкъ	102
IV.	Свои люди	125
V.	Патеръ Роденъ и аббатъ д'Егриньи	149
VI.	Углекислыя феи Чистыхъ-Прудовъ	157
VII.	Красные, бѣлые, пестрые и буланые	162

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ДЕСЯТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

НЕКУДА.

РОМАНЪ ВЪ ТРЕХЪ КНИЖКАХЪ.

КНИГА ВТОРАЯ.

(Окончаніе).

КНИГА ВТОРАЯ.

ВЪ МОСКВѢ.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Люди древняго письма.

Доктору Розанову очень нравилось его новое мѣсто. Онъ уютно устроился въ двухъ комнатахъ казеннаго флигеля и рѣшился немедленно же приняться за диссертацію. Отличное пошло житье, и полное, и довольно стройное. Утромъ, только-что Розановъ проснется, а иногда еще прежде, чѣмъ онъ проснется, къ нему является его новый товарищъ, молодой ординаторъ Лобачевскій, необыкновенно трудящійся, симпатичный, свѣтлый человѣкъ и хорошій медикъ. Всегда они пили утренній чай вмѣстѣ, поспоривая кое-о-чемъ, кое-о-чемъ совѣтуясь, кое-надъ-чѣмъ подтрунивая. Лобачевскій былъ лѣтъ на пять моложе Розанова, но въ немъ обнаруживалось больше зрѣлости и спокойнаго отношенія къ жизни, чѣмъ въ Розановѣ. Лобачевскій только третій годъ окончилъ курсъ, но уже напалъ на торную дорогу. Онъ неусыпно занимался женскими и дѣтскими болѣзнями и успѣлъ составить себѣ репутацію хорошаго спеціалиста. Въ это же время онъ отдѣлывалъ свою докторскую диссертацію и мечталъ о заведеніи собственной, частной лѣчебницы. Лобачевскій былъ не охотникъ до знакомствъ и сидѣлъ почти безвыходно дома, или, въ послѣднее время, у Розанова, съ которымъ они жили дверь обо дверь и съ первой же встрѣчи какъ-то стали очень коротки.

Послѣ утра, проведеннаго вмѣстѣ, врачи отправлялись на раннія визитаціи по своимъ палатамъ. Это брало около трехъ часовъ времени, особенно у Розанова, получившаго себѣ сыпную палату, гдѣ требовались безпрестанныя ванны, да промыванья и обтиранья. Въ два часа Розановъ съ Лобачевскимъ съѣдали вмѣстѣ обѣдъ, за который каждый изъ нихъ платилъ эконому по семи рублей въ мѣсяцъ. Затѣмъ Лобачевскій начиналъ читать тотъ или другой иностранный клиническій или медицинскій журналъ, а Розановъ слушалъ, лежа на диванѣ. Въ пять часовъ снова нужно было идти на вечернія визитаціи, которыя хотя были короче утреннихъ, но все-таки брали около получаса времени. А ужъ попозже Розанова подмывало или въ Лефортово, или на Чистые-Пруды, и онъ исчезалъ до полуночи, или даже и за полночь; Лобачевскій же читалъ у себя тоже до полуночи, или и за полночь.

Лобачевскій никогда не освѣдомлялся, гдѣ бываетъ Розановъ, и, встрѣчая его выходящимъ изъ квартиры въ пальто и съ палочкой въ рукѣ, только говорилъ, улыбаясь:

— Во походъ пошли гусары.

— Во походъ,—улыбаясь, отвѣчалъ Розановъ и уходилъ.

«А странно,—нѣсколько разъ думалъ докторъ, — всегда на меня непріятно дѣйствуютъ этотъ вопросъ и эта улыбка».

Такъ шло время мѣсяца съ полтора. Розановъ все входилъ въ большій фаворъ и довѣріе и въ Лефортовѣ, и на Чистыхъ-Прудахъ, но кругъ его знакомства не разнообразился.

Въ одинъ погожій осенній день медики послѣ обѣда занимались чтеніемъ, когда въ дверь просунулась русая голова, съ волосами, подстриженными на лбу, и спросила:

— Можно войти?

— Можно, можно, Парменъ Семеновичъ,—отозвался Лобачевскій.

Въ комнату Розанова вступилъ человѣкъ, остриженный по-купечески, въ длиннополомъ коричневомъ сюртукѣ, съ цѣпочкою гранатнаго бисера по жилету и въ узкихъ шароварахъ, заправленныхъ въ козловые сапоги. Лицо гостя напоминало лица охотниковъ въ княжеской охотѣ кіевскаго Ярославова собора.

— Рекомендую вамъ, Розановъ: Парменъ Семеновичъ Канунниковъ, главноуправляющій дѣлами нашего подрядчика, древняго обычая поборникъ,—проговорилъ Лобачевскій.

— Просимъ быть знакомыми, — произнесъ Канунниковъ, протягивая свою руку плашмя къ Розанову.

Они познакомились.

— Ты говори о древнемъ-то, — началъ Канунниковъ, усаживаясь противъ Лобачевскаго и пригладивъ подстриженные надо лбомъ волосы, — а какое теперича скудоуміе, я тебѣ скажу, я слышалъ.

— Ну!

— Слышалъ, сударь ты мой, я такія рѣчи, что ужъ ни стараго, ни новаго, никакого закона не надо.

— Да.

— Скудоуміе, — говорю.

— Гдѣ жъ это ты слышалъ, Парменъ Семеновичъ?

— Да такъ, у нашего частнаго маіора, именинишки были, такъ тамъ его сынокъ разсуждалъ. «Никакой, говоритъ, вѣры не надо. Еще, говоритъ, лютареву ересь одну кое время можно попотерпѣть, а то, говоритъ, не надыть никакой». Такъ вотъ ты и говори: не то, что нашу, а и вашу-то новую и тое подъ сокрытіе хотятъ, — добавилъ смѣясь Канунниковъ. — Подъ лютареву ересь теперича всѣхъ произведутъ.

— Что ты ихъ, молокососовъ, слушаешь? — шутя произнесъ Лобачевскій.

— О! исправди не слушать ихъ? — лукаво улыбаясь, спросилъ Канунниковъ; — ну, будь по-твоему: будь они не ладны, не стану ихъ слушать. Спасибо, научилъ. Такъ я, братъ, и хлѣба-соли имъ теперь не дамъ, а тебя съ товарищемъ попотчую. Послѣзавтра моя баба именины справляетъ; пріѣзжайте вечеромъ пирога поѣсть.

— Если можно будетъ.

— Вечеромъ-то?

— А, вечеромъ; я не разслышалъ. Вечеромъ буду.

— А вы, новый баринъ? — отнесся Канунниковъ къ Розанову.

— Покорно васъ благодарю, и я буду.

— Ну, вотъ. Вы, милостивый государь, съ нами познакомьтесь. Мы хоша и мужики пишемся, но мы людей понимаемъ, какой сортъ къ чему относится. Мы тебя не обидимъ... только насъ не обидь, — опять усмѣхнувшись, докончилъ Канунниковъ.

— Пріѣзжай, — продолжалъ онъ: — у насъ тоже барышни

наши будутъ; позабавитесь, на фортопьянѣ сыграютъ. Имѣемъ эти забавки-то. Хоть и не достоитъ было, да что ты съ ними, съ бабами-то подѣлаешь! Въ мірѣ живя, грѣха мірскаго огребатися по всякъ часъ не можно.

— Только вотъ, Розановъ, если васъ Парменъ Семеновичъ позоветъ лѣчить у себя кого-нибудь, такъ ужъ, предупреждаю васъ, не ѣздите,—сказалъ Лобачевскій.

— Экой язвительный баринъ! Ты его не слушай,—отшучивался Канунниковъ.

— Какъ же! Капустой больныхъ кормитъ, у женщины молока нѣтъ, а онъ кормить ребенка велитъ, да и лѣчи, говоритъ.

— Ишь, ишь! Каково вретъ рѣчисто, — опять улыбаясь и кивая на Лобачевскаго, произнесъ Парменъ Семеновичъ.

— А что жъ, не правда? Согласился ты взять кормилицу?

— Баринъ! баринъ! что ты это поешь-то? Какія такія въ нашемъ званіи кормилицы полагаются? Это у васъ кормилицы. Въ законѣ сказано: «сосцы матэрэ моэя, ими же воспита мя». Ну, что жъ ты можешь противъ закона?

— Ну, вотъ, и толкуйте съ нимъ!

— «Толкуй больной съ подлѣкаремъ»,—проговорилъ вставая Канунниковъ: — у меня еще дѣловъ и Боже мой. Прощайте. Прощай, лукавый рабе,—отнесся онъ къ Лобачевскому. — Молокососовъ-то не одобряешь, а самъ такой же, только *потаенный*. *Потаенный*, — шутилъ онъ, тряся руку молодому медику;—волки, всѣ вы волки, отличные господа передъ Господомъ. А ты, новый баринъ, древности тоже сопротивникъ?

— Я ни древней, ни новой не порочу, — отвѣчалъ Розановъ.

— Значитъ, ты *опытный*, а тѣ-то *неиспытанные*. Прощайте, — произнесъ онъ и до самыхъ воротъ больницы донесъ на лицѣ насмѣшливую улыбку.

У Пармена Семеновича былъ собственный двухъ-этажный домъ у Введенья въ Барашахъ. Когда Розановъ съ Лобачевскимъ подъѣхали къ этому дому, изъ него во всѣ окна глядѣлъ теплый, веселый свѣтъ.

Вечеринка уже началась.

Парменъ Семеновичъ встрѣчалъ гостей въ передней, жалъ имъ руки, привѣтливо кланялся и разводилъ кого въ залъ и гостиную, гдѣ былъ собранъ женскій полъ и нѣсколько

мужчинъ помоложе, а кого прямо на лѣстницу, въ собственные покои Пармена Семеновича съ его холостымъ сыномъ.

Лобачевскаго и Розанова онъ провелъ въ гостиную и представилъ своей сожительницѣ, толстой особѣ, въ повязочкѣ, съ черными зубами и добродушно глупымъ лицомъ.

— Нюра! Нюрочка! Шаша! — позвалъ Парменъ Семеновичъ, подойдя къ двери, и на этотъ зовъ предстали двѣ весьма миловидныя дѣвушки, одна на видъ весьма скромная, а другая съ смѣлыми, лукавыми глазками, напоминающими глаза отца, но обѣ во вкусѣ такъ называемаго «размое-мое».

— Позаймитесь вотъ съ гостями-то,—указалъ имъ Парменъ Семеновичъ и опять побѣжалъ въ переднюю.

Дѣвушки смѣло подали руки Лобачевскому и сѣли съ нимъ обѣ.

Розанова здѣсь никто не зналъ, и онъ сидѣлъ молча, наблюдая новое общество.

Въ двери ему было видно, какъ по залѣ, сплетясь руками, взадъ и впередъ ходили длинною вереницею розовыя, бѣлыя, палевыя и голубыя барышни, то прекоренастыя и приземистыя, то высокія и роскошныя, а около нихъ ходили два кавалера, одинъ въ панталонахъ на выпускъ, другой по законному, въ сапоги.

Дѣвицы чаще заворачивали свои головки къ господину въ панталонахъ на выпускъ и не безъ пріятности съ нимъ разговаривали.

Въ гостиной на диванѣ и вдоль по стѣнамъ на стульяхъ сидѣли дамы, лѣтъ по преимуществу почтенныхъ; нѣкоторыя въ повязочкахъ, другія въ наколкахъ.

Разговора общаго не было.

Розанову, наконецъ, наскучило сидѣть молча, и онъ подошелъ къ хозяйкѣ.

— Славный домикъ у васъ, — началъ онъ, помѣстясь у дивана.

— М-мъ! Да, невеликъ только, — застѣнчиво отвѣчала хозяйка, кашлянувъ и заслоняя ротъ рукою.

— Будто для васъ здѣсь тѣсно?

— Семейство большое и сродники тоже есть: сестра Пармена Семеновича у насъ живетъ. А вы не здѣшніе?

— Нѣтъ, я недавно пріѣхалъ..

— По какой части?

— Я лѣкарь.

— А, лѣкарь! А я думала такъ, что по нашей части, по торговой.

— Нѣтъ, я лѣкарь.

— У меня вотъ все гулька по спинѣ катается, такъ и катается. Вотъ такая въ орѣшекъ будетъ гуличка.

— Это ничего!

— О? А я все боюсь; говорятъ, какъ бы она на сердце не пала. Такъ-то сказываютъ у одного полковника было: тоже гуличка, да кататься, да кататься, да кататься, кататься, да на сердце пала—тутъ сейчасъ ему и конецъ сдѣлался.

— Нѣтъ, не бойтесь, не упадетъ,—успокаивалъ Розановъ.

— Всѣмъ бы вотъ, всѣмъ благодарю моего Господа, да вотъ эта страсть мучитъ все. Просто, не повѣрите, покоя себѣ даже во снѣ не могу найти. Все мнѣ кажется, какъ эта гулька къ сердцу будто идетъ. Я вотъ теперь ужъ бальзамъ такой достала,—дорогой бальзамъ, сейчасъ покажу вамъ.

Хозяйка встала и принесла склянку, завернутую въ печатную бумажку.

Розановъ развернулъ бумажку и читалъ:

«Балсамъ іерусалимскій изъ новыхъ и старыхъ рецептовъ».

«Сей балсамъ пользуетъ салвомо оному Стомахе помогаетъ ему къ варенію укрѣпляетъ сердце утоляетъ запоръ чрева полезный противо утесненія персей и стараго кашля. Испѣляетъ внутреннія раны персей и лехна то (то суть вѣлія нитгаины) дипзоетъ и прогоняетъ мѣсячныя тови женски нанѣсонныя раны коликіи стары толикіе новыя напримѣръ съ удареніями меча иля ножа и иныя сѣченія употребляется съ травомъ завомо лануонитъ исцѣляетъ всякую фистулу и вся смраднія нужда кіисти достиго долны чудно полезный есть и за текущею ухо капляучи у тодленаи три капли съ гукно виномъ омодойною полагается и на раненія зубныя десны и иснѣдаетъ ю утверждаетъ и колсыушіяся и испасти хотяща зубы сохраняетъ отъ умори т. е. куги и помогаетъ отъ всѣхъ скорбей душевныхъ и вкупѣ тѣлесныхъ, внутреннее ево употребленіе да Будутъ Ю или АЪ до 15 капаиума а віна или воды вечеръ и заутра кто его употребитъ и саміамъ искуствомъ чудное богодѣйствіе разумѣти Будетъ».

— Не все понимаемъ,—сказала хозяйка.—Это изъ Бѣлой иноки, что по поповщинѣ, принесли. Помогать, точно, во всемъ помогаетъ, а не понимаемъ. Тови-то это мы поняли; должно, что поняли; а *стомаха*, ужъ все споръ идетъ. Что такое это *стомаха?*

— Желудокъ,—отвѣчалъ Розановъ, продолжая разсматривать курьезную рекламу.

— Желудокъ? Агаѳья Ивановна! а Агаѳья Ивановна!—назвала хозяйка.

— Слышите: *стомаха*-то, это желудокъ называется, а не то, что мы думали. А мы совсѣмъ, вѣдь, что другое думали,—пояснила она, обратясь къ Розанову.

— Ну, впрочемъ, отличный бальзамъ. Нюрочка застудилась разъ, такъ сейчасъ ей помогло.

— А есть бальзамъ Кіръ Аншидъ, знаете? Извѣстенъ онъ вамъ?—таинственно спрашивала дама, къ которой хозяйка отнеслась, разъясняя истинное значеніе *стомахи*.—Только настоящаго этого бальзама нѣтъ, а все поддѣльный дѣлаютъ.

— Нѣтъ, вотъ, говорятъ, гаремскія капли на ночь хорошо принимать.

— Вамъ не годятся гаарлемскія капли: вы полны очень.

— То-то я и говорю, что мнѣ, при моей полнотѣ, совсѣмъ надобны особенныя лѣкарства, потому я, какъ засну съ вечера, очень крѣпко засну, а какъ къ заутренямъ въ колоколъ, сейчасъ у меня вступитъ противъ сердца, тутъ вотъ въ горлѣ меня сдушитъ и за спину хватаетъ.

Розанову становилось скучно, и онъ шатался, подсаживаясь то къ той, то къ другой кучкѣ, но нигдѣ не могъ встрять въ бесѣду.

Въ чайной комнатѣ засѣдали нѣсколько старушекъ въ темненькихъ платьицахъ и темненькихъ платочкахъ. Докторъ присѣлъ-было къ нимъ и заговорилъ съ хозяйской сестрой: не пошло дѣло. Только одна старушка, держа ладонь на груди у другой старушки, стѣсняясь, шептала: «по розовому песочку и алыя вѣточки, — очень хороши пошли ситцы». Около самаго чайнаго стола еще женская группа. Здѣсь всѣ тоже слушаютъ другую старушенцію, а старушенція разсказываетъ: «Мать хоть и приспитъ дитя, а все-таки душеньку его не приспитъ, и душа его жива будетъ и къ Богу отъидетъ, а свинья, если ребенка съѣстъ, то она его

совсѣмъ съ душою пожираетъ, потому она и на небо не смотритъ, очи горѣ не можетъ возвести,—поясняла разсказчица, поднимая кверху ладони и глядя на потолокъ.

Парменъ Семеновичъ захватилъ Розанова наверхъ. Тутъ засѣдалъ одинъ мужской полъ. У доктора опять никого не оказалось знакомыхъ. Хозяинъ ему назвалъ человѣкъ съ десятокъ, но Розановъ какъ-то не сумѣлъ никого запомнить и отличить; все древнее письмо: лобочки съ подстриженнымъ начесомъ, штанцы со скромностью въ голенищи прячутся, сюртучки длинные, законные. Нѣсколько человѣкъ новѣйшаго фасона тоже стереотипны, какъ всѣ рыцари Ножевой линіи. Вниманіе Розанова еще удержалось на Ильѣ Артамоновичѣ Нестеровѣ, хозяинѣ Пармена Семеновича, высокомъ, совершенно бѣломъ, какъ лунь, старикѣ, съ очень умнымъ и честнымъ лицомъ; на кавалерѣ древняго же письма, но имѣющемъ одежду вкратцѣ «еллинскую» и штаны на выпускъ, да на какой-то тупоумнѣйшей головѣ.

Эта голова сидѣла во второй комнатѣ, на самомъ почетномъ мѣстѣ и неустанно молчала. Только нерѣдко она тупо ухмылялась и кланялась подходящимъ къ ней людямъ древняго письма и опять сидѣла, сложивъ на колѣняхъ руки.

А около нея шелъ оживленный и веселый разговоръ.

— Ну, такъ, пускай есть науки, а что по тѣмъ наукамъ значится? — говорилъ пожилой человѣкъ господину, имѣющему одежду вкратцѣ и штаны на выпускъ.—Ты вотъ книжки еретическія читаешь, а изъясни ты намъ, какого звѣря въ Ноевомъ ковчегѣ не было?

— Всѣ звѣри тамъ были: чистые по семи паръ, а нечистые по парѣ,—отвѣчалъ щеголь.

— А какого звѣря не было-то? — смѣясь допрашивалъ начетчикъ.

- Всѣ звѣри были.

— Анъ не всѣ. Вотъ ты и уменъ называешься, а не знаешь... А рыба была въ ковчегѣ?

Всѣ разсмѣялись надъ щеголемъ.

Розановъ перешелъ къ кружку, гдѣ раздавался голосъ Лобачевскаго. Здѣсь сидѣлъ Илья Артамоновичъ, Парменъ Семенычъ и еще нѣсколько человѣкъ.

— Все это, сударь, не наше, не русское; все это эллинскія забавы, да блуду человѣческому потворство,—говорилъ Илья Артамоновичъ.

— Помилуйте, извѣстное дѣло, что воспитательные домы до сихъ поръ единственное средство остановить дѣтоубійство,—возражалъ Лобачевскій.

— Я противъ этого ничего-съ. Пусть пріютъ для младенцевъ будетъ, только при этихъ-то порядкахъ это все грѣхъ одинъ. Мы во грѣхѣ живемъ, во грѣхѣ и каемся, а тутъ будто все твердо. А что твердаго-то? Теперь дѣвка мальчика родила, несетъ его въ воспитательный домъ, принимаютъ, и ни записи никакой, ничего, а черезъ годъ она еще дѣвочкой раздобылась и опять такимъ же манеромъ несетъ. Тѣ тамъ черезъ сколько лѣтъ подросли да побрались, да и вотъ тебѣ есть мужъ и жена. Блудомъ на землю потопъ низведенъ былъ; блудомъ Данилова обитель разрушилась; блудомъ и весь свѣтъ окаянный зле погибнетъ,— что̀ тутъ еще говорить!

Тутъ надъ Лобачевскимъ смѣялись.

— Или адресные билеты, — зачиналъ другой. — Что̀ это за билеты? Склыка одна да безпокойство. Нѣтъ, это не такъ надо устроить! Это можно устроить въ два слова по цѣлой Россіи, а не то, что здѣсь да въ Питерѣ, только склыка одна. Деньги нужны—зачѣмъ не брать, только съ чего-жъ бы и насъ не спросить.

— Или опять пятипроцентные, — замѣчалъ третій. — Съ чего они упали? Какъ объ этомъ ученые понимаютъ? А мы просто это дѣло понимаемъ. Мѣняло скупаетъ пятипроцентные: куда онъ дѣваетъ? Ему деньги нужны, а онъ билеты скупаетъ. Дѣло-то видно, куда они идутъ: все въ однѣ руки и идутъ и оттуда опять къ цѣнѣ выйдутъ, а казна въ сторонѣ.

Пошли внизъ къ ужину.

Проходя мимо головы въ коричневомъ парикѣ, Розановъ слышалъ, какъ молчаливыя уста разверзлись и вѣщали:

«Вы объ этомъ не стужайтесь. Есть-бо и правда въ пагубу человѣкомъ, а ложь во спасеніе. Апостолъ Петръ и солгалъ, отрекаясь Христа, да спасся и ключи отъ царствіи Его держитъ, а Іюда беззаконный и правду рекъ, яко азъ вамъ предамъ его, да зле окаянный погибе, яко и струпъ его разсѣдся на полы.»

Ужинъ былъ безконечный.

Розановъ сидѣлъ между Лобачевскимъ и щеголемъ въ штанахъ на выпускъ.

Щеголь держался съ достоинствомъ, но весьма привѣтливо угощалъ медиковъ.

— Какъ вамъ наши старики показываются? — спросилъ онъ Розанова.

— Ничего, очень нравятся.

— Крѣпкіе старики, — объяснилъ щеголь: — упрямы бываютъ, но крѣпкіе, настоящіе люди, своему отечеству патріоты. Я, разумѣется, человѣкъ центральный; я, можно сказать, въ самомъ центрѣ нахожусь: политику со всѣми веду, потому что у меня всѣ расчеты и отправки, и со всякими людьми я имѣю обращеніе, а только наши старики—крѣпкіе люди: нельзя ихъ ничѣмъ покорить.

— Вы съ Парменомъ Семеновичемъ вмѣстѣ дѣла ведете?

— Да-съ. Мы служащіе у Ильи Артамоновича Нестерова, только Парменъ Семеновичъ надъ всѣми дѣлами надзираютъ, въ родѣ какъ директора, а я часть имѣю; рыбными промыслами завѣдую. Вы пожалуйте ко мнѣ какъ-нибудь, вотъ вмѣстѣ съ господиномъ Лобачевскимъ пожалуйте. Я тамъ же въ нестеровскомъ домѣ живу. Въ контору пожалуйте. Спросите Андреяна Николаева: это я и есть Андреянъ Николаевъ.

Розановъ поблагодарилъ.

Послѣ безконечнаго ужина, мужчины опять пошли наверхъ.

При входѣ Розановъ замѣтилъ, что голова въ парикѣ сидѣла въ низенькомъ клобучкѣ, изъ-подъ котораго вились длинные черные волосы.

— Кто это такой? — спросилъ Розановъ Адріана Николаева.

— Инокъ изъ скитовъ, — шопотомъ отвѣтилъ Адріанъ Николаевъ.—Ни рыбы, ни вина не вкушаетъ и съ мірскими не трапезуетъ: ему сюда подавали на рабскомъ столѣ.

На столѣ, передъ инокомъ, дѣйствительно, стояли двѣ тарелки съ остатками грибного соуса и отваренныхъ плодовъ.

— Кушали, отецъ Разслоней? — внимательно спросилъ инока Парменъ Семеновичъ.

— Вкушая, вкусивъ мало и се отъиду,—отвѣчалъ инокъ, подобравъ однимъ пріемомъ волосы, и, надѣвъ снова парикъ, всталъ и началъ прощаться.

— Даже чаю не употребляетъ, — опять шопотомъ замѣтилъ Розанову Адріанъ Николаевъ.

Два молодца внесли въ комнаты два огромные серебряные подноса, уставленные бутылками различнаго вина и стаканами.

Старики, проводивъ отца Разслонея, возвратились, и началась попойка.

Долго пили безъ толку и безъ толку же шумѣли. Розановъ все сидѣлъ съ Адріаномъ Николаевымъ у окошка, смѣняли бутылочки и вели искреннюю бесѣду, стараясь говорить какъ можно тише.

Впрочемъ, большую осторожность наблюдалъ Розановъ, а Адріанъ Николаевъ часто забывался и покрикивалъ:

— Мы ему за это весьма благодарны, весьма благодарны. Богато, богато пишетъ.

— Потише,—остерегалъ Розановъ.

— Ничего-съ, у насъ насчетъ этого будьте покойны. Мы всѣ свои, — но Адріанъ Николаевъ начиналъ говорить тише. Однако, это было не надолго; онъ опять восклицалъ: — Богато, одно слово богато; честь мужу сему. Мнѣ эти всѣ штучки исправно доставляютъ, — добавилъ онъ съ значительной улыбкой. Пріятель есть военный офицеръ, шкиперомъ въ морской флотиліи служитъ: все черезъ него имѣемъ.

Парменъ Семеновичъ, проходя нѣсколько разъ мимо Адріана Николаева и Розанова, лукаво на нихъ посматривалъ и лукаво улыбался въ свою русую бороду.

Въ третьей комнатѣ что-то зарыдало и заплакало разрывающимъ душу тихимъ рыданіемъ. Изъ двухъ первыхъ комнатъ всѣ встали и пошли къ дверямъ, откуда несся мѣрный плачъ.

— Что это?—спросилъ Розановъ.

— Э, глупости, это Финогешка поетъ.

— Что онъ поетъ?

— Заставили его вѣрно: Стихъ поетъ; плачъ іосифовскій называется стихъ, — отвѣчалъ Адріанъ Николаевъ. — Илья Артамонычъ его любятъ.

— Пойдемте, пожалуйста, — сказалъ Розановъ; и они встали.

Третья комната была полна гостей; Илья Артамоновичъ сидѣлъ на диванѣ, возлѣ него сидѣлъ Парменъ Семенычъ, потомъ, стоя и сидя, мѣстились другіе, а изъ уголка несся плачъ, собравшій сюда всю компанію.

Въ уголкѣ стоялъ худенькій, маленькій человѣкъ, съ бѣлокурою головою и жиденькой бородкой. Длинный сюртукъ висѣлъ на немъ какъ на вѣшалкѣ, маленькіе его голубые глазки, сверкающіе фанатическимъ воодушевленіемъ, были постоянно подняты къ небу, а руки сложены крестомъ на груди, изъ которой съ пѣвучимъ рыданіемъ летѣлъ плачъ Іосифа, ѣдущаго на верблюдахъ въ неволю и видящаго гробъ своей матери, среди пустыни, покинутой ихъ родомъ.

Когда Розановъ смѣшался со слушателями, Финогешка пѣлъ:

Кто бы мнѣ далъ источникъ слезъ,
Я плакалъ бы и день, и нощь.
Рыдалъ бы я о грѣхахъ своихъ.
Проливалъ бы я слезы отъ очію.
Рѣки, рѣки эдемскія,
Погасите огни геенскіе!

Илья Артамоновичъ выбивалъ слегка тактъ, всѣ внимательно слушали, два старика плакали.

Кто бы мнѣ далъ голубицу,
Вѣщающу бесѣдами,

продолжалъ Финогешка:

Возвѣстила бы Израилю,
Отцу моему Іакову:
Отче, отче Іакове!
Пролей слезы ко Господу.
Твои дѣти, мои братія,
Продаше мя во ину землю.
Исчезнуша мои слезы
О моемъ съ тобой разлученіи.

Къ двумъ плачущимъ старикамъ присоединилось еще нѣсколько, а Финогешка взывалъ и выплакивалъ:

Земле! земле, возопившая
За Авеля ко Господу!
Возопій нынѣ къ Іакову,
Отцу моему Израилю.
Видѣхъ я гробъ моей матере
Рахили, началъ плачъ многій:
Отверзи гробъ, моя мати,
Прими къ себѣ чадо свое
Любимое, во ину землю
Ведомое погаными.
Пріими, мати, лишеннаго,
Отъ отца моего разлученнаго...

И рыдалъ, и рыдалъ приказчикъ Финогешка, тянучи долгій плачъ Іосифа, разсказывая по порядку, какъ:

Злая жена Пентеферія
Прельстить его умыслила.
Дерзни на мя, Іосифе,
Иди ко мнѣ, преспи со мной.
Держитъ крѣпко Іосифа,
Влечетъ къ себѣ во ложницу...

и какъ Іаковъ:

Возопи съ плачемъ и рыданіемъ
И съ горькимъ воздыханіемъ:
Сія риза моего сына,
Козья несетъ отъ нея псина.
Почто не съѣлъ меня той звѣрь,
Токмо бы ты былъ, сыне, цѣлъ.

Розановъ не замѣтилъ, какъ понемножку, одинъ за другимъ, всѣ стали подтягивать пѣвцу и гнусящимъ хоромъ доканчивали плачевный стихъ.

— Смотрите, смотрите, Илья Артамоновичъ-то тоже плачетъ, — шепнулъ Розанову умилившійся духомъ Адріанъ Николаевъ.—Это они всегда, про сына вспомнятъ и заплачутъ. Сынъ у нихъ Матвѣй съ француженкой закороводился и пропалъ.

— Гдѣ же онъ?

— Богъ его знаетъ. Былъ въ Петербургѣ, говорятъ, а теперь совсѣмъ пропалъ. Пріѣзжалъ съ нею какъ-то въ Москву, да Илья Артамоновичъ ихъ на глаза не приняли. Совѣстно, знаете, противъ своихъ, что съ французинкой,— и не приняли. Крѣпкій народъ и опять дикій, въ разсужденіи любви,—дикій, суровый нравъ у стариковъ.

Внимательно смотрѣлъ Розановъ на этихъ стариковъ, изъ которыхъ въ каждомъ сидѣлъ семейный тиранъ, способный прогнать свое дитя за своеволіе сердца, и въ каждомъ рыдалъ Израиль «о своемъ съ сыномъ разлученіи».

«Экая порода задалася!—думалъ Розановъ, разсматривая начинавшихъ расходиться гостей, — пробей ее вотъ чѣмъ хочешь! Кремни, что называется, ни крестомъ, ни пестомъ ихъ не проймешь».

— Идемте?—спросилъ Лобачевскій, подойдя къ Розанову.

— Пойдемте.

Они стали прощаться.

— Ну, спасибо, спасибо, что покучились,—говорилъ Канунниковъ, тряся Розанову обѣ руки.—А еще спасибо, что бабамъ стомаху-то разобралъ,—добавилъ онъ смѣючись:—у насъ изъ-за этой стомахи столько, скажу тебѣ, споровъ

было, что бѣда, а тутъ, наконецъ того, дѣло совсѣмъ другое выходитъ.

— Стомаха желудокъ означаетъ, — вмѣшался Адріанъ Николаевъ.

— Дыть, чудакъ ты этакой! Теперь, какъ докторъ разъяснилъ, такъ и мы понимаемъ, что желудокъ.

— Это и безъ нихъ можно было понять по писанію. У апостола же Павла въ первомъ посланіи, глава пятая, читаете: «Къ тому не пій воды, но мало вина пріемли стомаха ради твоего и чистыхъ недугъ твоихъ».

— Тсъ! Ахъ ты башка съ кишкамъ! Экой даръ у него къ писанію! — воскликнулъ удивленный и восхищенный Парменъ Семеновичъ и обратился къ другимъ отходящимъ гостямъ.

Розановъ, Лобачевскій и Адріанъ Николаевъ вышли вмѣстѣ и переулочка два прошли пѣшкомъ, пока нашли извозчиковъ.

— Нѣтъ, этакую штучку-то пустить бы этакъ въ оборотъ, — разсуждалъ, прощаясь у угла, Адріанъ Николаевъ:—богато.

— Да какъ же пустить?—спросилъ Розановъ.

— Какъ? Одно слово: взялъ да и пустилъ. Теперь, къ примѣру скажемъ, я. Я небольшой человѣкъ, кто какъ разумѣетъ, можетъ и совсѣмъ человѣкъ маленькій, а я центральный человѣкъ. У насъ теперь по низовью рыбацкія артели: нѣсколько сотъ артель одна, такъ что-жъ мнѣ.

Розановъ посмотрѣлъ ему въ самые глаза.

— Вотъ слово-то, — произнесъ сквозь смѣхъ Адріанъ Николаевъ:—Чего только это стоитъ?—и смѣясь же зашагалъ по переулку, увертываясь воротникомъ лисьей шубы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Два гриба въ одинъ борщъ.

— Evrica, Розановъ, evrica!—восклицалъ Араповъ, котораго докторъ засталъ у себя на другой день, возвратясь съ ранней визитаціи.

— Что это такое обрѣтено?

— Человѣкъ.

— Безъ фонаря нашли?

— Да, Діогенъ дуракъ былъ; ну ихъ совсѣмъ покойниковъ... нехай гніютъ.

«Великій Цезарь нынѣ прахъ и тлѣнъ
И на поправку онъ истраченъ стѣнъ».

— Ну ихъ! Человѣкъ найденъ и баста.

— Да, а какой человѣкъ скажу вамъ...

— «Великій Цезарь прахъ и»...

— «Тлѣнъ», — нетерпѣливо подсказалъ Араповъ и, надвинувъ таинственно брови, избоченился и сталъ эффектно выкладывать по пальцамъ, приговаривая:—безъ рода и племени, — разъ; еврей, угнетенная національность, — это два; полонъ ненависти и злобы,—это три; смѣлъ, какъ чортъ,— четыре; изворотливъ и хитеръ, пылаетъ мщеніемъ, ищетъ дѣла и *литографъ-съ!*—Что скажете?—произнесъ, отходя и становясь въ позу, Араповъ.

— Гдѣ вы такого звѣря нашли?

— Ужъ это, батюшка, секретъ.

Розановъ промолчалъ.

— Теперь сборамъ конецъ, начнемъ дѣйствовать,—продолжалъ Араповъ.

Розановъ опять промолчалъ и сталъ доставать изъ шкапа холодный завтракъ.

— Что-жъ вы молчите?—спросилъ Араповъ.

— Не нравится мнѣ это.

— Почему же-съ?

— Такъ: что это за жидокъ, откуда онъ, что у него въ носу?—чортъ его знаетъ. Я и дѣлъ-то не вижу, да если бъ они и были, то это дѣла не жидовскія.

— Какъ средство! какъ орудіе! Какъ орудіе все хорошо. Мы будемъ играть на его національныхъ стремленіяхъ.

— Помилуйте, какія у жидка стремленія!

— Что это вы говорите, Розановъ! А Гейне не жидъ? А Берне не жидъ?

— Да и Маккавеи, и Гедеонъ были жиды, — были жиды еще и почище ихъ.

— Такъ что-жъ вы говорите!

— Я то говорю, что оставьте вы вашего жидка. Жидъ, ктурый пришивыкъ тарговаць цибулько, гужалькемъ, ходзить въ ляпсардаку, попиратьця палькемъ, — такъ жидомъ всегда и будетъ.

— Пошелъ рефлекторствовать?

— Ну, какъ хотите.

— Хотите сегодня вечеромъ къ маркизѣ?—спросилъ Араповъ, перемѣняя разговоръ.

— Нѣтъ, я сегодня буду спать: я всю ночь не спалъ,— отвѣчалъ Розановъ.

— Гдѣ-жъ это вы были?

Розановъ разсказалъ свое вчерашнее пированье у Канунникова, привелъ нѣсколько разговоровъ, описалъ личности и особенно распространился насчетъ Адріана Николаевича и его рѣчей.

Араповъ такъ и впился въ Розанова.

— Какъ хотите, познакомьте. Вы должны познакомить меня съ нимъ. Не ради любопытства васъ прошу, а это нужно. У насъ ни одного раскольника еще нѣтъ, а они сила. Давайте мнѣ этого.

— Да вы увлекаетесь, Араповъ. Я вѣдь вамъ говорю, съ какой точки онъ на все смотритъ.

— Это все равно-съ,—возражалъ Араповъ:—надо всѣмъ пользоваться. Можно что-нибудь такое и въ ихъ духѣ. Ну, благочестіе, ну и благочестіе, а тамъ чортъ съ ними. Лишь бы на первый разъ деньги и содѣйствіе.

«Зарницынъ нумеръ второй», — подумалъ Розановъ, замкнувъ за Араповымъ дверь и ложась соснуть до обѣда.

Дня черезъ три Розановъ, передъ вечеркомъ, мимоѣздомъ, забѣжалъ къ Арапову и засталъ у него молодого толстоносаго еврейчика, въ довольно оборванномъ сюртучкѣ.

— Нафтула Соловейчикъ, — отрекомендовалъ Розанову своего новаго гостя Араповъ.

Еврей неловко съёжился.

— Вы изъ какихъ странъ?—спросилъ докторъ Соловейчика.

— Я изъ Курляндъ.

Розановъ заговорилъ съ Араповымъ о какихъ-то пустякахъ и, неожиданно обратясь къ Соловейчику, спросилъ его по-польски:

— Вы давно въ Москвѣ?

— Juz kilka mies...—началъ-было Нафтула Соловейчикъ, но спохватился и добавилъ:—я совсѣмъ мало понимаю по-польски.

Розановъ еще поддержалъ общій разговоръ и у Соловейчика еще два раза вырвалось польское *co?* Русская же рѣчь его была преисполнена полонизмовъ.

— Онъ изъ Бердичева или вообще изъ-за днѣпровской Украйны, — сказалъ Розановъ, прощаясь на крыльцѣ съ Араповымъ.

— Это вы почему думаете?

— По разговору.

— Развѣ онъ въ Митавѣ не могъ научиться по-польски?

— Нѣтъ, это польскій жидъ.

— Э, полноте; ну, а наконецъ польскій и пусть будетъ польскій: что намъ до этого за дѣло? А вы вотъ меня съ тѣмъ-то, съ раскольникомъ-то, сведите.

— Да постойте, я самъ еще его не знаю: всего разъ одинъ видѣлъ. Вотъ, дайте срокъ, побываю, тогда и улажу какъ-нибудь.

— Позовите его къ себѣ.

Докторъ обѣщалъ на-дняхъ съѣздить къ Адріану Николаеву и какъ-нибудь попросить его къ себѣ.

— Нѣтъ-съ, не на-дняхъ, а ступайте завтра, — настаивалъ Араповъ.

— Ну, ладно, ладно, поѣду завтра,—отвѣтилъ Розановъ.

Трясясь отъ Лефортова до своей больницы, Розановъ все ломалъ голову, что̀ бы эта за птица такая этотъ либеральный Соловейчикъ.

А человѣкъ, котораго Араповъ называетъ Нафтулою Соловейчикомъ, и самъ бы не отвѣтилъ, что̀ онъ такое за птица. Родился онъ въ Бердичевѣ; до двухъ лѣтъ пилъ козье молоко и ѣлъ селедочную утробку, которая валялась по грязному полу; трехъ лѣтъ стоялъ, выпяливъ пузо, на порогѣ отцовской закуты; съ четырехъ до восьми, въ ермолкѣ и широкомъ отцовскомъ ляпсардакѣ, обучался бердичевскимъ спеціальностямъ: воровству-кражѣ и воровству-мошенничеству, а девяти сданъ въ рекруты, подъ видомъ двѣнадцатилѣтняго, на основаніи присяжнаго свидѣтельства двѣнадцати добросовѣстныхъ евреевъ, утверждавшихъ за полкарбованца, что мальчику уже сполна минуло двѣнадцать лѣтъ, и онъ можетъ поступить въ рекруты за свое чадолюбивое общество.

Тутъ жизнь отдѣленнаго члена бердичевской общины пошла скачками да прыжками. Во-первыхъ, онъ излѣчился въ военномъ госпиталѣ отъ паршей и золотухи, потомъ совершилъ длинное путешествіе на сѣверо-востокъ, потомъ окрестился въ православіе, выучился читать, писать и спу-

скать бабамъ за четвертаки натертыя ртутью копейки. Потомъ онъ сдѣлалъ себѣ паспортикъ, бѣжалъ съ нимъ, окрестился второй разъ, получилъ сто рублей отъ крестной матери и тридцать изъ казначейства, поступилъ въ откупную контору, присмотрѣлся, между дѣломъ, какъ литографируютъ ярлыки къ штофамъ, отлитографировалъ себѣ новый паспортъ и, обокравъ кассу, очутился въ Одессѣ. Здѣсь восточная чувственность, располагавшая теперь не копейками, натертыми ртутью, а почтенною тысячною суммою, свела его съ черноокой гречанкой, съ которою они, страшась ревнивыхъ угрозъ прежняго ея любовника, за неимѣніемъ заграничнаго паспорта, умчались въ Гапсаль. Счастливое лѣто шло въ Гапсалѣ быстро; въ вокзалѣ показался статный итальянскій графъ, засматривающійся на жгучую красоту гречанки; толстоносый Іоська становился ей все противнѣе и противнѣе, и въ одно прекрасное утро гречанка исчезла, вмѣстѣ съ значительнымъ еще остаткомъ украденной въ откупѣ касы, а съ этого же дня никто болѣе не встрѣчалъ въ Гапсалѣ и итальянскаго графа— поѣхали въ тотъ край, гдѣ апельсины зрѣютъ и яворы шумятъ.

Человѣкъ, котораго нынче называютъ Нафтулою Соловейчикомъ, закручинился.

Младая, но вѣроломная гречанка въ шкатулкѣ захватила и его перстни, и паспортъ, и ничего не заплатила даже за квартиру.

Безъ паспорта и безъ гроша денегъ въ карманѣ, іерусалимскій дворянинъ явился въ древней русской столицѣ и потерялся въ ней, среди изобилія всего съѣстного, среди дребезги, трескотни, шума каретъ и сиплаго голоса голоднаго разврата.

Первая мысль была еще разъ окреститься и взять вспомоществованіе, но негдѣ было достать еврейскаго паспорта, не изъ чего было сдѣлать печати, даже русскаго паспорта пріобрѣсть не на что.

Да и что въ немъ проку. Жить? Такъ прожить-то въ Москвѣ, съ умомъ живучи, и безъ паспорта можно хоть до второго пришествія.

А все-таки худо было бѣдному страннику, и Богъ вѣсть, что̀ бы онъ предпринялъ, если бы случай не столкнулъ его съ Араповымъ.

Чуткое ухо еврея давно слышало о какихъ-то особенныхъ людяхъ; тонкое еврейское пониманіе тотчасъ связало эти слухи съ одесской торговлей запрещенными газетами, и Нафтула Соловейчикъ, раскусивъ сразу Арапова, выдаивалъ у него четвертаки и вторилъ его словесамъ, выдавая себя за озлобленнаго представителя непризнанной націи.

— Чортъ ихъ знаетъ, знакомить ли ихъ съ Адріаномъ Николаевымъ? — размышлялъ Розановъ, вертясь изъ переулка въ переулокъ.

— Все это какъ-то... нелѣпо очень... А впрочемъ,—приходило ему опять въ голову: — что жъ такое? Тотъ такой человѣкъ, что его не оплетешь, а какъ знать, чего не знаешь. По началу конецъ точно виденъ, ну да и иначе бываетъ.

— Нѣтъ, поѣду завтра къ Адріану Николаеву, — рѣшилъ Розановъ, разсчитываясь съ извозчикомъ.

А случилось такъ, что рѣшеніе это и не исполнилось.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Бахаревы въ Москвѣ.

Розановъ хотѣлъ побывать у Адріана Николаева въ конторѣ, между своими утренними визитаціями и обѣдомъ.— Обойдя отдѣленіе и вымывъ руки, онъ зашелъ домой, чтобы перемѣнить платье и ѣхать къ Введенію, что въ Барашахъ, но, отворивъ свою дверь, изумился. На крайнемъ стульцѣ его пріемной комнаты сидѣлъ бахаревскій казачокъ Гриша.

— Гриша! — воскликнулъ Розановъ, протягивая руки къ румяному мальчику съ размасленной головой и ватными патронами на синемъ казакинѣ.

— Я-съ, Дмитрій Петровичъ,—отвѣчалъ мальчикъ.

Они обнялись и три раза поцѣловались, а потомъ Гриша поймалъ Розанова руку и поцѣловалъ ее.

— Съ господами?

— Точно такъ-съ, Дмитрій Петровичъ.

— Гдѣ же вы стоите?

— У барынинаго братца пока пристамши.

— У Богатырева?

— Да-съ, только должно квартеру будемъ искать.

— Когда же вы пріѣхали?

— Шестой день ужъ, Дмитрій Петровичъ.

— Что жъ ты, сверчокъ этакой, до сихъ поръ не прибѣжалъ?

— Некогда, Дмитрій Петровичъ. Непорядки все. Я вѣдь да няня, поваръ Сергѣй, да швея Ненила, только всего и людей. Нынче вотъ барышня Лизавета Егоровна пожаловали на извозчика и приказали разыскать васъ и просить. Я ужъ съ полчаса мѣста дожидаюсь.

— Ну, на̀ тебѣ еще на извозчика и валяй домой, а я тоже сейчасъ буду.

Менѣе чѣмъ черезъ часъ докторъ остановился у подъѣзда довольно большого дома, въ приходѣ Николы Явленнаго.

На мѣдной дощечкѣ, довольно неряшливо прибитой гвоздиками къ двери, значилось: «Сенаторъ Алексѣй Сергѣевичъ Богатыревъ».

Розановъ позвонилъ, и ему отперъ дверь лакей въ довольно грязномъ коричневомъ сюртукѣ, но въ жилетѣ съ гербовыми пуговицами и въ гороховыхъ штиблетахъ.

Входъ, передняя и залъ также подходили къ лакею. Въ передней помѣщалась массивная, ясневая вѣшалка и мизерное зеркальце съ фольговой лирой вверху черной рамки; въ углу стояла ширма, сверхъ которой виднѣлись вбитые въ стѣнку гвозди и развѣшанная на нихъ простыня. Залъ ничѣмъ не изобличалъ сенаторскаго жилья. Въ немъ стояли только два большія зеркала съ хорошими подзеркальниками. Остальное все было грязновато и ветхо, далѣе была видна гостиная поопрятнѣе, а еще далѣе — довольно роскошный женскій будуаръ.

Изъ темной передней шли двери направо и налѣво, но разсмотрѣть ихъ, за темнотою, было невозможно.

— Батюшки! батюшки! Русью духъ пахнетъ, и самъ Гуфеландъ нашъ здѣсь!—закричалъ знакомый голосъ, прежде чѣмъ Розановъ успѣлъ снять калоши, и вслѣдъ затѣмъ старикъ Бахаревъ обнялъ Розанова и сталъ тыкать его въ лицо своими прокопчеными усищами.—Ай да, Дмитрій Петровичъ! Вотъ уважилъ, голубчикъ, такъ уважилъ: пойдемте же къ намъ наверхъ. Мы, тутъ, на антресоляхъ.

По коридорчику да по узенькой лѣстничкѣ Розановъ съ Бахаревымъ взошли на антресоли, состоящія изъ трехъ довольно просторныхъ, но весьма низенькихъ комнатокъ.

— Сюда, сюда, — звалъ Бахаревъ, указывая на малень-

кую дверцу.—Ну, что вы? какъ?—разспрашивалъ Бахаревъ Розанова.

— Ну, а вы какъ? — разспрашивалъ въ свою очередь Розановъ Бахарева.

Извѣстны ужъ эти разговоры. Кто спрашиваетъ — спрашиваетъ безъ толку, и кто отвѣчаетъ—тоже не гонится за толковостью. Не скоро или, по крайней мѣрѣ, ужъ никакъ не сразу, на дорогу выйдутъ.

— И таки-ничего вамъ здѣсь?

— Ничего, Егоръ Николаевичъ.

— Хорошо?

— Пока я всѣмъ очень доволенъ.

— Ну, и хвалите Бога, благодарите Его.

— А какъ же это вы-то?

— Да вотъ, видите, пріѣхали.

— И надолго?

— Да, какъ Богъ грѣхамъ потерпитъ. Зимку бы надо прожить. Вѣдь ужъ засидѣлись, батюшка.

— А выборы?

— Да Богъ съ ними. Я ужъ старъ, — пора и костямъ на мѣсто.

— Ну, а ваши жъ гдѣ?—спросилъ, осматриваясь, Розановъ.

— Да Лиза съ матерью пошли квартирку тутъ одну посмотрѣть, а Соня сейчасъ только поѣхала. Я думалъ, вы ее встрѣтили.

— Я встрѣтилъ какую-то незнакомую даму на лѣстницѣ.

— А, это брата Ольги Сергѣвнинаго Алексѣя Сергѣевича Богатырева жена, Варвара Ивановна. Модница, батюшка, и щеголиха: въ большомъ свѣтѣ стоитъ.

Дамы не возвращались, но минутъ черезъ пять послѣ этого разговора въ комнатку Бахарева просунулась маленькая, подъ гребенку остриженная, сѣденькая головка, съ кротчайшими голубыми глазками. Головка эта сидѣла на крошечномъ, худенькомъ туловищѣ, получавшемъ нѣкоторую представительность единственно лишь отъ высокаго атласнаго галстука, довольно граціозно возносившаго головку надъ узенькими плечиками. Общее выраженіе лица этого старичка было самое добродушное, привѣтливое и весьма симпатичное. Несмотря на далеко запавшій ротъ и на ямки въ щекахъ, закрывающихъ беззубыя челюсти, лицо это исключало всякую необходимость освѣдомиться: не братъ

ли это Ольги Сергѣевны? Всякій, съ перваго взгляда, видѣлъ, что это ея братъ.

Бахаревъ познакомилъ Розанова съ Алексѣемъ Сергѣевичемъ, который тотчасъ же внимательно пожалъ Розанову руку, разспросилъ, гдѣ онъ служитъ, каково ему живется, какіе у нихъ въ больницѣ порядки и проч.

— Алексѣй Сергѣевичъ у насъ, вѣдь, самъ полуврачъ,— замѣтилъ Бахаревъ;—онъ никогда не лѣчится у докторовъ.

— И прекрасно дѣлаете,—сказалъ Розановъ.

— Да-съ, я все самъ.

— Гомеопатіей,—подсказалъ Бахаревъ.

— Вы вѣрите въ гомеопатію?

— Да какъ же не вѣрить-то-съ? Шестой десятокъ съ нею живу, какъ не вѣрить? Жена не вѣритъ, а самъ я, люди, прислуга, крестьяне, когда я бываю въ деревнѣ: всѣ изъ моей аптечки пользуются. Вотъ вы не знаете ли, гдѣ хорошей оспы на лѣто достать? Не понимаю, что̀ это значитъ! Въ прошломъ году пятьдесятъ стеклышекъ взялъ, какъ ѣхалъ. Вы сами посудите, пятьдесятъ стеклышекъ,— вѣдь это не бездѣлица, а царапалъ, царапалъ все лѣто — ни у одного ребенка не принялась.

— Алексѣй Сергѣевичъ! — позвалъ снизу повелительный женскій голосъ.

— Сейчасъ, Варинька,—отвѣчалъ, вскочивъ, старичокъ, пожалъ Розанову руку и торопливо побѣжалъ къ двери.

— Смерть боится жены,—прошепталъ Бахаревъ:—а самъ отличныхъ правилъ и горячій родной.

Вся эта рекомендація была какъ нельзя болѣе справедлива. Несмотря на свою поразительную кротость, сенаторъ Богатыревъ не умѣлъ шутя смотрѣть на свои гражданскія обязанности. По натурѣ онъ былъ болѣе поэтъ, рыболовъ, садоводъ и охотникъ; вообще мирный помѣщикъ, равнодушный ко всѣмъ приманкамъ почести и тщеславія, но служилъ весь свой вѣкъ, былъ прокуроромъ въ столицѣ, потомъ губернаторомъ въ провинціи, потомъ сенаторомъ въ несравненной Москвѣ, и на всякомъ мѣстѣ онъ стремился быть человѣкомъ и былъ имъ, насколько позволяли обстоятельства. Повсюду онъ неуклонно слѣдовалъ идеѣ справедливости, не увлекаясь, однако, неумытною строгостію, не считая грѣхомъ снисхожденіе человѣческимъ слабостямъ и не ставя кару главною задачею правосудія. Добрые, го-

лубые глаза Алексѣя Сергѣевича смотрѣли прямо и безтрепетно, когда онъ отстаивалъ чужое право и писалъ подъ протоколомъ «остаюсь при особомъ мнѣніи». Только собственнаго своего права дома онъ никогда отстоять не умѣлъ. Варвара Ивановна до такой степени поработила и обезправила Богатырева, что онъ ужъ отрекся даже и отъ всякой мечты о какой бы то ни было домашней самостоятельности. Все служебное время года онъ читалъ дѣла, обрабатывалъ свои «мнѣнія», да исподтишка любовался сыномъ Сержемъ, только-что перешедшимъ во второй курсъ университета, а лѣтомъ подбивалъ дорожки въ саду своей подмосковной, лѣчилъ гомеопатіею бабъ и мужиковъ, да прививалъ оспу ребяткамъ, опять издали любуясь сыномъ, поставленнымъ матерью въ положеніе, совершенно независимое отъ семейства. Въ поэтической душѣ старичка, правда, было и нѣчто маниловское, но это маниловское выходило какъ-то такъ мило, что чувствующему человѣку надъ этимъ никакъ нельзя было засмѣяться ядовито и злобно. Сенаторъ очень любилъ родню. Если бы воля ему была отъ Варвары Ивановны, онъ бы пособралъ около себя всѣхъ племянниковъ, племянницъ, всѣхъ внучатныхъ и четвероюродныхъ, искалъ бы ихъ, какъ Фамусовъ, «на днѣ морскомъ» и всѣмъ бы имъ порадѣлъ. Варвара Ивановна терпѣть не могла этого радѣтельства, и Алексѣй Сергѣевичъ смирялся. Онъ давно не видался съ сестрою Ольгою Сергѣевною и выписалъ Бахаревыхъ погостить къ себѣ. Только Лиза, да даже и сама Ольга Сергѣевна съ перваго же дня своего пребыванія увидѣли, что имъ жить въ домѣ Алексѣя Сергѣевича неудобно, и рѣшились поселиться отдѣльно отъ него, гдѣ-нибудь по сосѣдству.

— Егоръ Николаевичъ, мы еще съ Лизой квартирку нашли,—произнесла, входя въ шляпкѣ, Ольга Сергѣевна и, увидѣвъ Розанова, тотчасъ добавила:—ахъ, Дмитрій Петровичъ! Вотъ сюрпризъ-то! Ну, какъ вы? что съ вами?

— Ничего; покорно васъ благодарю, Ольга Сергѣевна,—живу,—отвѣчалъ, вставая, Розановъ.—Какъ васъ Богъ милуетъ?

— Слава Богу. Ну, а семейство ваше? Гловацкіе вамъ кланяются, Вязмитиновъ, Зарницынъ. Онъ женился.

— На Кожуховой?

— Да. А вы почемъ знаете? Писали вамъ? Да, да-съ,

женился, передъ самымъ нашимъ отъѣздомъ свадьба была. Гловацкіе ѣздили, и насъ звали, да мы не были... Егоръ Николаевичъ, впрочемъ, былъ.

— Докторъ, здравствуйте!—весело произнесла Лиза, нѣсколько раскраснѣвшись, не то отъ усталости, не то отъ чего другого.

Розановъ крѣпко пожалъ ея руку.

— Ну?—спросила она, глядя ему въ глаза.

— Живу, Лизавета Егоровна.

— Очень рада, очень рада! — отвѣтила она и еще разъ пожала ему руку.

Взошла и Софи, сказала нѣсколько казенныхъ радостей по поводу свиданія.

Потомъ вошла Варвара Ивановна, — крупная, довольно еще свѣжая и красивая барыня, съ высокимъ греческимъ профилемъ и низкимъ замоскворѣцкимъ бюстомъ.

Ей представили Розанова, какъ стараго друга; она сказала: «очень пріятно» и обратилась къ Ольгѣ Сергѣевнѣ.

Взошелъ молодой, довольно рыхлый студентъ, съ гривкой; Бахаревъ назвалъ его Розанову Сергѣемъ Алексѣевичемъ Богатыревымъ.

Молодой человѣкъ поклонился Розанову и, тряхнувъ гривкой, отошелъ грѣть у печки себѣ спину.

Старичокъ Богатыревъ пришелъ извѣстить, что обѣдъ поданъ, и пригласилъ Розанова остаться отобѣдать.

«Отчего же и не остаться?» подумалъ Розановъ и пошелъ со всѣми въ столовую. Ему очень хотѣлось поговорить наединѣ съ Лизой, но это ему не удалось.

За обѣдомъ все шли толки о квартирѣ, или держался другой общій разговоръ о предметахъ, весьма неинтересныхъ.

Розановъ сидѣлъ между Бахаревымъ и Сержемъ Богатыревымъ.

— Ты давно, Сержъ, вернулся съ лекцій? — спросила между разговоромъ Варвара Ивановна.

— Я не былъ сегодня на лекціяхъ, — отвѣчалъ юноша, съ прежнимъ строгимъ достоинствомъ.

— Развѣ нынче не было лекцій?

— Нѣтъ были, да мнѣ было некогда.

— Чѣмъ же ты былъ занятъ?—допрашивала ласковымъ голосомъ мать.

Старикъ только молча смотрѣлъ на сына.

— Я былъ у маркиза.

— Что онъ боленъ?

— Нѣтъ-съ. Дѣло было.

— Охъ, Сержъ, что̀ тебѣ до этихъ сходокъ? Положимъ, маркизъ очень милый молодой человѣкъ, но что̀ это за сборища у васъ заводятся?

— Нельзя же, maman, не собраться, когда дѣло касается бѣдныхъ товарищей.

— Полно, пожалуйста: ты меня этимъ тревожишь. Я не знаю, право, какъ на это смотритъ маркиза, зачѣмъ она все это позволяетъ сыну. На нее самоё, я думаю, во сто глазъ смотрятъ, а она еще позволяетъ сыну.

Молодой Богатыревъ презрительно улыбнулся и сказалъ:

— Маркиза не такая женщина, чтобы стала растлѣвать натуру сына и учить его эгоизму.

— Все это вздоры вы выдумываете. О бѣдныхъ студентахъ заботятся правительство и общество, даютъ въ ихъ пользу вечера, концерты, а это все ваши пустыя выдумки.

Студентъ улыбнулся еще презрительнѣе и проговорилъ:

— Конечно, что же можетъ быть пустѣе, какъ выдумка жить круговою порукою и стоять другъ за друга.

— Другъ о другѣ, а Богъ обо всѣхъ, — произнесъ Алексѣй Сергѣевичъ и, не замѣтивъ брошеннаго на него женою холоднаго взгляда, продолжалъ спокойно кушать.

Послѣ обѣда Бахаревъ отправился, по деревенской привычкѣ, всхрапнуть; старикъ Богатыревъ, извинившись, также ушелъ подремать; Ольга Сергѣевна съ Варварой Ивановной ушли въ ея будуаръ, а Софи сѣла за фортепіано. Она играла, что у насъ называется, «*съ чувствомъ*», т. е. значитъ играла не про господъ, а про свой расходъ, играла какъ играютъ дѣвицы, которымъ не дано ни музыкальной руки, ни музыкальнаго уха, и игра которыхъ отличается *чувствомъ* оскорбительной дерзости перевирать великія творенія, не видя ни въ пасторальной симфоніи Бетховена, ни въ великой ораторіи Гайдна ничего, кромѣ значковъ, написанныхъ на чистой бумагѣ.

Лиза зажгла папироску и сѣла у окна; Розановъ тотчасъ же помѣстился возлѣ нея, а Сержъ Богатыревъ, молча, ходилъ по залѣ.

— Ну, и какъ же, Дмитрій Петровичъ?—начала Лиза:— прежде всего спокойны ли вы?

— Да, мнѣ хорошо, Лизавета Егоровна.

— Тамъ тоже все хорошо: вамъ тревожиться нечего. Теперь скажите, какъ называется ваше мѣсто и какіе у васъ виды на будущее?

— Я служу ординаторомъ, а виды какіе же? Надо служить.

— Да, надо служить. А диссертація?.. Пишете?

— Началъ,—отвѣчалъ сквозь зубы докторъ.

— Вотъ и прекрасно.

— Кузина!—произнесъ, остановясь передъ ними, Сержъ Богатыревъ.—А вѣдь дѣло рѣшили.

— Рѣшили?

— Да.

— Ну, и что же?

— Будетъ все.

— Будетъ! Это очень похвально. Вы знаете, Дмитрій Петровичъ, что̀ затѣвается въ университетѣ? — спросила Лиза, обратясь къ Розанову.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ, взглянувъ на Богатырева.—Я ничего особеннаго не слышалъ.

— Они всѣ хотятъ идти на кладбище и отслужить тамъ панихиду.

— По комъ?.. Ахъ, да! Это-то я слышалъ какъ-то. Что жъ, дѣйствительно прекрасное дѣло.

— Въ этомъ есть огромный смыслъ,—торжественно произнесъ студентъ.

— Конечно, есть свой смыслъ. Въ странѣ, гдѣ не умѣютъ цѣнить и помнить заслугъ, никогда не мѣшаетъ напоминать о нихъ.

Студентъ улыбнулся.

— Нѣтъ-съ, это имѣетъ несравненно бо̀льшее значеніе, чѣмъ вы думаете,—проговорилъ онъ.

— Панихида?

— По комъ панихида-съ? Все это отъ того зависитъ— *по комъ?*

— Ну, да, я это понимаю; только что жъ—эта панихида будетъ по самомъ мирномъ и честномъ гражданинѣ.

— А то-то и дѣло, что у насъ этого и не дозволятъ.

— Ну, я думаю, вамъ никто мѣшать не станетъ.

— Почемъ знать? — пожавъ плечами, произнесъ студентъ.—Мы готовы на все. Другіе могутъ поступать какъ

хотятъ, а мы отъ своего не отступимъ: мы это сегодня рѣшили. Я, маркизъ и еще двое, мы пойдемъ и отслужимъ.

— Да и всѣ пойдутъ.

— Какъ кому угодно.

— Пойдемте и мы, Лизавета Егоровна.

— Я непремѣнно пойду,—отвѣтила Лиза.

— Не совѣтую, кузина.

— Да чего же вы опасаетесь за вашу кузину?

— Кто знаетъ, что̀ можетъ случиться?

— Помилуйте! Я маркиза хорошо знаю. Если не ошибаюсь, вы говорите о маркизѣ де-Бараль?

— Да.

— О, пойдемте Лизавета Егоровна!

— Да, я непремѣнно пойду.

— А теперь мнѣ пора; мнѣ еще нужно обойти свою палату.

Розановъ сталъ прощаться. Онъ поклонился Варварѣ Ивановнѣ и пожалъ руки Ольгѣ Сергѣевнѣ, Софи, Лизѣ и Сержу Богатыреву.

Стариковъ здѣсь не было.

— Вы хорошо знакомы съ маркизой?—спросила его Лиза.

— Да.

— Настолько, что можете познакомить съ нею другое лицо?

— Да.

— Я о ней ужъ очень много слышу интереснаго.

— Хотите, я ей скажу?

— Да, я ужъ вамъ говорилъ, кузина,—вмѣшался Сержъ:— что это и я могу сдѣлать.

— Какъ ты берешься, Сержъ!—замѣтила Богатырева.

— Отчего же не браться-съ?

— Она не чванлива,—примирительно сказалъ докторъ.

— Да, можетъ-быть; но у ней столько серьезныхъ занятій, что я не думаю, чтобъ ей доставало времени на мимолетныя знакомства. Да и Лизанька ничего не найдетъ въ ней для своихъ лѣтъ.

— Отчего же?—опять примирительно произнесъ Розановъ.

— Нѣтъ, оставьте, Дмитрій Петровичъ, не надо, — спокойно отвѣтила Лиза, не глядя на тетку, и Розановъ ушелъ, давши Бахаревымъ слово навѣщать ихъ часто.

Только-что Розановъ зашелъ за уголъ, какъ носъ къ носу встрѣтился съ Бѣлоярцевымъ.

— Куда это вы?—спрашиваетъ его.

— Къ вамъ, въ морельницу.

— Что у васъ тамъ за дѣло?

— Барышню знакомую навѣстить.

— Какую барышню?

— Есть тамъ, въ седьмой палатѣ, весьма пріятная барышня.

— А, въ седьмой! Навѣстите, навѣстите. Сзади бросишь, впереди найдешь.

— Безпремѣнно такъ,—отвѣчалъ, смѣясь, Бѣлоярцевъ.

Они взяли извозчика и поѣхали вмѣстѣ. Было довольно холодно, и Бѣлоярцевъ высоко поднялъ воротникъ своего барашковаго пальто.

— Что вы Райнера давно не видали? — спросилъ Розановъ.

— Давно. Онъ, сказывалъ, совсѣмъ собрался-было въ Петербургъ и вдругъ опять вчера остался.

— Вчера?

— Да, вчера Персіянцевъ видѣлъ его у маркизы.

— Докторъ! докторъ!—позвалъ женскій голосъ.

— Вотъ она на поминѣ-то легка, — произнесъ Бѣлоярцевъ, еще глубже вдвигая въ воротникъ свой подбородокъ.

Розановъ всталъ и подошелъ къ маркизѣ, которая остановила своего кучера.

— Мой милый!—начала она торопливѣе обыкновеннаго, по-французски:—заходите ко мнѣ послѣзавтра, непремѣнно. Въ четвергъ на той недѣлѣ чтобъ всѣ собрались на кладбищѣ. Всѣ будутъ, Оничка и всѣ, всѣ. Пусть ихъ лопаются. Только держите это въ секретѣ.

— Да что же здѣсь за секретъ, маркиза?

— Гггааа! Какъ можно? Могутъ предупредить и выйдетъ фіаско.

— Во второй разъ слышу и никакъ въ толкъ не возьму. Что жъ тутъ такого? Вѣдь рѣчей неудобныхъ, конечно, никто не скажетъ.

— О, конечно! Зачѣмъ рисковать попусту; но, понимаете, вѣдь это протестъ. Вѣдь это, милый, протестъ!

— Не понимаю.

— Гггааа! Приходите, я вамъ многое сообщу.

— Что она вамъ разсказывала?—спросилъ Бѣлоярцевъ.

— Чортъ знаетъ, что это такое. Вы не слыхали ни о какой панихидѣ?

— Слышалъ.

— Ну, вотъ, въ секретѣ держать, говоритъ, дѣло важное.

Бѣлоярцевъ, вмѣсто отвѣта, проговорилъ:

Черная галка,
Чистая полянка,
Ты же, Марусенька,
Черноброва,
Врать всегда здорова.

— Что вы думаете, это неправда?

— Кто же ихъ знаетъ.

— Да какое жъ это можетъ имѣть политическое-то значеніе?

— Ничего я въ политикѣ не понимаю.

— Опять увертываться.

— Чѣмъ? Надоѣдаете вы мнѣ, право, господа, вашими преслѣдованіями. Я просто, со всею откровенностью говорю, что я художникъ и никакихъ этихъ ни жирондистовъ, ни соціалистовъ не знаю и знать не хочу. Не мое это дѣло. Вотъ барышни,—добавилъ онъ шутя,—это наше дѣло.

— Экая натура счастливая!—сказалъ Розановъ, прощаясь съ Бѣлоярцевымъ у дверей своей палаты.

— Что, вы слышали новость-то? — спросилъ Розановъ, зайдя по окончаніи визитаціи къ Лобачевскому.

Лобачевскій въ своей комнатѣ писалъ лежа на полу. Отъ безпрерывной работы онъ давно не могъ писать сидя и уставалъ стоять.

— Слышалъ,—отвѣчалъ онъ, пожавъ плечами и бросивъ препаратъ, который держалъ лѣвой рукою.

— Ну, и какого вы мнѣнія?

— Мнѣнія скорбнаго, Розановъ.

— А я думаю, что это вздоръ.

— Вздоръ! Нѣтъ, покорно васъ благодарю. Когда гибнетъ дѣло, такъ хорошо начатое, такъ это не вздоръ. По крайней мѣрѣ для меня это не вздоръ. Я положительно увѣренъ, что это какой-нибудь негодяй нарочно подстраиваетъ. Помилуйте, — продолжалъ онъ, вставая: — сегодня еще передъ утромъ зашелъ, какъ нарочно, и всѣ три были здоровехоньки, а теперь вдругъ приходитъ и говоритъ: «пуздыхалы воны».

— Да вы о чемъ это говорите? — спросилъ удивленный Розановъ.

— А вы о чемъ?

Розановъ разсказывалъ свои разговоры съ маркизою и молодымъ Богатыревымъ.

Лобачевскій плюнулъ и разсмѣялся.

— Что?

— Слышалъ я это; ну, да что намъ за дѣло до этихъ глупостей.

— А вы о чемъ же говорили?

— Кролицы мои издохли.

Теперь Розановъ плюнулъ, и оба расхохотались.

— Экой вздоръ какой вышелъ,—произнесъ Розановъ.

— Да еще вы съ такимъ вздоромъ пріѣхали. Вѣдь охота же, право, вамъ, Розановъ, Богъ знаетъ съ кѣмъ якшаться. Дѣло бы дѣлали. Я вотъ васъ запрячь хочу.

— Ну-те?

— Да вотъ. Давайте людей учить.

— Чему учить?

— А вотъ чему: я вѣдь отъ своего не отстану. Если не умру еще пятнадцать лѣтъ, такъ въ Россіи хоть три женщины будутъ знать медицину. А вы мнѣ помогите начать. Я сегодня ужъ началъ слегка съ Бекомъ. Онъ намъ позволитъ по воскресеньямъ читать въ секціонной. Поѣду къ Пармену Семенову, къ Лучкову, къ Тришину, уговорю пускать къ намъ ребятъ; вы человѣкъ народный, разсказывайте имъ попонятнѣе гигіеническіе законы, говорите о лѣченіи шарлатановъ и все такое. Вы это отлично можете дѣлать; а я дѣвушекъ ужъ найду такихъ, что захотятъ дальше учиться.

— Пожалуй, только что̀ изъ этого выйдетъ?

— Ужъ вреда не выйдетъ, а у меня изъ двадцати хотя пять, хоть двѣ найдутся способныя идти далѣе. Терпѣніе ужъ необходимое.

— А чѣмъ онѣ жить будутъ?

— Найдемъ, чѣмъ жить.

— Не лучше ли бы, ужъ если такъ, то примкнуть къ воскреснымъ школамъ,—сказалъ Розановъ.

— Къ воскреснымъ школамъ! Нѣтъ, намъ надо дѣло дѣлать, а онѣ частенько тамъ... Нѣтъ, мы сами по себѣ. Вы только идите со мною къ Беку, чтобъ не заподозрилъ,

что это я одинъ варганю. А современемъ я вамъ дамъ за то каѳедру судебной медицины въ моей академіи. Только нѣтъ, — продолжалъ онъ, махнувъ весело рукою: — вы неисправимы. Бѣгучій господинъ. Долго не посидите на одномъ мѣстѣ. Провинція да идеализмъ загубили васъ.

— Меня идеализмъ загубилъ?—смѣясь переспросилъ Розановъ.

— Да какъ же? Водитесь съ какими-то химеристами, ко всему этому химерному провинціально довѣрчивы, все вѣдь это что? Провинціальная довѣрчивость сама собою, а прежде всего идеализмъ.

— Ну, это первое такое обвиненіе слышу, что я идеалистъ.

— Пламеннѣйшій!

— Нельзя же, мой милый Лобачевскій, всѣмъ быть только спеціалистами.

— Зачѣмъ? и не надо; только зачѣмъ попусту разбрасываться.

— А можетъ быть человѣчеству полезнѣе будетъ, чтобъ мы были помногостороннѣе, такъ сказать, *увлекались* бы немножко.

— Ну, какъ же!

Въ это же время въ домѣ Богатырева на антресоляхъ горѣла свѣчечка, за которою Лиза строчила шестую записочку.

Пять мелко изорванныхъ листковъ почтовой бумаги свидѣтельствовали, что записка, составляемая Лизою, выходила изъ ряда ея обычной корреспонденціи.

Наконецъ записка была кончена, надписана, запечатана и положена въ карманъ платья.

На другой день казачокъ Гриша отдалъ ее на городскую почту, а еще черезъ день онъ подалъ Лизѣ элегантный конвертикъ, съ штемпелемъ московской городской почты.

Вотъ что было написано въ полученномъ Лизою письмѣ:

«Вы меня плѣнили прелестью вашего милаго письма и я очень благодарна вамъ за желаніе со мною познакомиться. Никакія занятія не должны мѣшать сходиться сочувствующимъ людямъ,—особенно въ наше живое время. Я встаю въ десять часовъ и пью чай въ постели. Такъ я принимаю иногда нѣкоторыхъ друзей, между которыми одна

женщина, съ которою я васъ познакомлю, есть неотступная тѣнь моя. Мы съ ней дружны скоро двадцать лѣтъ и вмѣстѣ жили вездѣ, и за границею, и въ Ниццѣ, и въ Россіи. Потомъ я беру холодную ванну въ 8 R. и только въ это время никого изъ постороннихъ не принимаю, а затѣмъ ѣмъ мой завтракъ и работаю. Въ часъ я ѣду кататься на своей Люси: такъ называется моя лошадь. Къ тремъ бываю дома. Въ это время всего лучше меня видѣть. Послѣ обѣда я сижу у себя съ моими друзьями; а вечеромъ приходитъ разный народъ, но преимущественно свои, хорошіе знакомые и мои друзья. Въ двѣнадцать часовъ я ложусь спать, а иногда засиживаемся и до бѣлаго утра. Такъ вы можете сами выбрать время, когда мы свидимся, я всегда къ вашимъ услугамъ».

«Кс. де-Бараль».

— Отъ кого это, Лизочка, ты получила письмо? — спросила Ольга Сергѣевна.

— Отъ маркизы,—спокойно отвѣчала Лиза.

— Что жъ она вамъ пишетъ? — освѣдомилась Варвара Ивановна.

— Она зоветъ меня къ себѣ; я хочу съ ней познакомиться.

Лиза купила себѣ дешевой цѣной перваго врага въ Москвѣ, въ лицѣ своей тетушки Варвары Ивановны.

Розановъ былъ у маркизы на минуточку и засталъ ее въ страшной агитаціи. Она сидѣла калачикомъ на оттоманкѣ, крутила полосочку пахитосной соломинки и вся дергалась, какъ въ родимцѣ. Передъ нею, молча, сидѣлъ Персіянцевъ.

Она ни о чемъ не могла говорить складно и все стояла на панихидѣ.

— Гдѣ Орестъ Григорьевичъ?—спросилъ ее Розановъ.

— Что?

Розановъ повторилъ вопросъ.

— Гггааа! — воскликнула маркиза: — Оничка тамъ. Онъ часъ одинъ спалъ во всю ночь и не завтракалъ.

— Что жъ такъ?

— Нельзя же, мой милый: взялись, такъ ужъ надо дѣлать.

— Да что тамъ такъ много хлопотъ?

— Гггааа! Какъ же? Цвѣты будутъ и все.

Персіянцевъ поднялся и, вынувъ изъ кармана коротень-

кую германскую трубочку и бумажку съ кнастеромъ, пошелъ въ залу.

Розановъ смотрѣлъ на маркизу. Она сидѣла молча и судорожно щипала соломинку, на глазахъ у нея были слезы, и она старалась сморгнуть ихъ, глядя въ сторону.

Доктору стало жаль ее.

— Чего вы такъ безпокоитесь? - сказалъ онъ успокоительно.

— За Оничку страшно мнѣ,—отвѣчала маркиза голосомъ, въ которомъ слышна была наша простоволосая русская мать, питательница, безучастная ко всякой политикѣ.

— Да успокойтесь, ему ничто не угрожаетъ.

— Гггааа! какъ вы это говорите, мой милый докторъ.

— Вѣдь это не заговоръ, ничто, а самая простая вещь, панихида по почтенномъ человѣкѣ и только.

— Да, да, только эти монтаньяры со Вшивой горки чтобъ не надѣлали какихъ-нибудь гадостей.

— Они, я думаю, совсѣмъ къ этому равнодушны.

— Да, помилуй Богъ! Надо все сдѣлать тихо, смирно. Одно слово глупое, одинъ жестъ и сейчасъ придерутся. Вы, мой милый, идите возлѣ него, пожалуйста; пожалуйста, будьте съ нимъ,—упрашивала маркиза, какъ будто сыну ея угрожала опасность, при которой нужна была скорая медицинская помощь.

«Экъ натолковала себѣ!»—подумалъ Розановъ, прощаясь съ маркизою, которую все болѣе оставляла храбрость.

— Черезъ два дня увидимся? — спросила она, отирая глаза.

— Увидимся, маркиза.

— Что будетъ черезъ эти два дня... Боже мой!.. А я васъ познакомлю съ одной замѣчательной дѣвушкой. Въ ней виденъ положительный талантъ и чувство, — добавила маркиза, вставая и впадая въ свою обычную колею.

— Кто это такая?

— Весьма замѣчательная дѣвушка. Я теперь о ней еще не хочу говорить. Мнѣ нужно прежде хорошенько поэкзаменовать ее, и если она стóитъ, то мы должны ею заняться.

Розановъ чуть было не запкнулся о Лизѣ, но ничего не сказалъ и уѣхалъ, думая: «Можетъ-быть и къ лучшему, что Лизавета Егоровна отказалась отъ своего намѣренія. Кто знаетъ, чтò выйдетъ, если онѣ познакомятся?»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Разворошенный муравейникъ.

Предсказанія Розанова сбылись вполнѣ: никто не помѣшалъ панихидѣ, тревожившей маркизу. Радость на Чистыхъ-Прудахъ была большая; но въ этой радости было что-то еще болѣе странное, чѣмъ въ томъ непонятномъ унынiи, въ которое здѣсь приходили въ ожиданiи этого торжественнаго обстоятельства. Всѣ какъ-то неимовѣрно высоко задрали носы и подняли головы. Точно была одержана блистательнѣйшая побѣда и побѣдители праздновали свой тріумфъ, влача за своими колесницами надменныхъ вождей вражьяго стана. Маркиза совсѣмъ ужъ, какъ говорятъ въ Москвѣ, даже въ мысляхъ разстроилась: сидитъ да прядетъ между пальцевъ обрывочки пахитосокъ и вся издергалась, словно окунь на удочкѣ. Что ни вечеръ,—да что вечеръ!—что ни часъ, то у нея экстраординарное собраніе. Madame Роланъ уже совсѣмъ позабыта. Страсти славянской натуры увлекли маркизу. Собственно чему она радовалась — самъ чортъ не зналъ этого. У народа есть пословица: «Радъ зайка, что желѣзце нашелъ». Невѣдомо, на что̀ было зайкѣ это желѣзце, точно такъ, какъ невѣдомо, что̀ приводило теперь въ высокоторжественное настроеніе маркизу. Было дѣло совсѣмъ простое и прошло оно совсѣмъ попросту, никѣмъ не отмѣченное ни въ одной лѣтописи, а маркиза всклохталась, какъ строившаяся пчелиная матка.

— Слышали вы?—спрашивала она, встрѣчая Розанова.

— Я самъ былъ, — отвѣчалъ Розановъ, догадавшись о чемъ идетъ дѣло.

— Гггааа! это ужасно! Оничка шелъ и всѣ... Пусть лопаются.

«Фу ты, дьяволъ возьми, что это такое! — думалъ Розановъ,—изъ-за чего это у нея сыръ-боръ горитъ?»

— Ужасно, — разсказывала маркиза другимъ: — народъ идетъ, и Оничка идетъ, и все это идетъ, идетъ...

«Экъ, чортъ возьми, фантазируетъ»,—думали другіе.

— Теперь ужъ не удержать,—радостно смѣясь, замѣчала маркиза:—общество краснѣетъ.

Нѣкоторые, точно, краснѣли. Въ числѣ краснѣющихъ былъ Розановъ, Райнеръ и Рациборскій.

Въ тотъ вечеръ, когда происходилъ этотъ разговоръ, было

и еще одно существо, которое было бы очень способно покраснѣть отъ здѣшнихъ ораторствъ, но оно здѣсь было еще ново и не успѣло осмотрѣться.

Маркиза возвѣщала объ этомъ существѣ необыкновенно торжественно.

— Какую я, батюшка, дѣвочку пріобрѣла!—говорила она Розанову, цѣлуя кончики своихъ пальцевъ,—матеріялъ. Мы за нее возьмемся.

— Какую я, батюшка, дѣвушку пріобрѣла!—говорила она Рациборскому, цѣлуя кончики своихъ пальцевъ,—матеріялъ. Мы за нее возьмемся.

То же самое она сказала и Бычкову, и Бѣлоярцеву, и Брюхачеву.

Бѣлоярцевъ сейчасъ же усики по губкѣ расправилъ и ножки засучилъ, какъ зеленый кузнечикъ: «мы, дескать, насчетъ дѣвочки всегда какъ должно; потому женскій полъ наипаче передъ всѣмъ принадлежитъ свободному художеству».

Этимъ временемъ въ гостиную изъ заднихъ комнатъ вошли три дѣвушки. Одна изъ нихъ была Рогнѣда Романовна, другая—дочь маркизы, а третья—Лиза.

Лиза-то и была тотъ матеріалъ, о которомъ говорилось.

Пренепріятно было маркизѣ, что Розановъ оказался старымъ знакомымъ Лизы.

Она о немъ ужъ слишкомъ много ей наговорила.

— Матеріялъ,—говорила она: — не глупъ, связи имѣетъ и практиченъ! Мы за него возьмемся.

— Кто же это такой?—пытала Лиза.

— Увидите, мое дитя, — отвѣчала таинственно маркиза.

А тутъ вышло, что и глядѣть имъ другъ на друга нечего.

Другимъ Лиза не понравилась. Брюхачевъ сказалъ о ней, что это сверчокъ, а Бѣлоярцевъ буркнулъ: «карандашъ».

Такъ она въ этотъ вечеръ и звалась «карандашомъ».

Лизу теребили нарасхватъ и не давали Розанову сказать съ нею ни одного слова.

Розановъ только зналъ, что Лиза попала сюда «сама», но какъ это она сама сюда попала—онъ не могъ добраться.

Отъ маркизы честная компанія зашла въ Барсовъ трактиръ и, угощаясь пивомъ и прочими назидательностями, слушала Бѣлоярцевскія предположенія насчетъ «карандаша» въ натурѣ.

Райнера здѣсь не было, а Розановъ могъ все слушать,

и его способность слушать *все* насчетъ Лизы черезъ нѣсколько страницъ, можетъ-быть, и объяснится.

По привычкѣ возиться въ грязи и тинѣ, Розановъ не замѣчалъ нѣкоторой особенной теплоты въ участіи Лизы и, не будучи самъ циникомъ, безъ особаго возмущенія могъ слушать о ней такіе разговоры, которыхъ Лиза не могла слышать на губернаторскомъ балѣ о Женни.

То прекрасное качество, которое благовоспитанные люди называютъ «терпимостью», въ нѣкоторыхъ случаяхъ было усвоено Розановымъ въ весьма достаточномъ количествѣ. Онъ не вытерпѣлъ бы, если бы Лизу злословили, ну, а цинически разбирать женщину.—Это что же? Это не вредитъ. Остановить—въ другомъ мѣстѣ заговорятъ еще хуже.

Прошло нѣкоторое время. Бахаревы переѣхали на собственную квартиру; Лиза еще побывала раза три у маркизы; докторъ досконально разузналъ, какъ совершилось это знакомство, и тоже навѣдывался.

Побѣдный духъ маркизы все еще торжествовалъ, но торжество это начинало пріѣдаться.

Съ неимовѣрною быстротою свѣдѣнія о городскихъ со студентами событіяхъ облетѣли Москву, и Розановъ съ яростнѣйшимъ негодованіемъ бросился къ маркизѣ.

Онъ весь дрожалъ отъ безсильной злобы.

Маркиза сидѣла на стулѣ въ передней и вертѣла пахитосную соломинку. Передъ нею стоялъ Брюхачевъ и Мареичка. Брюхачевъ доказывалъ, что студенты поступаютъ глупо, а маркиза слушала: она никакъ не могла опредѣлить, какую роль въ подобномъ дѣлѣ приняла бы madame Роланъ.

Розановъ рыкнулъ на Брюхачева и сказалъ:

— Все это вздоръ; надо стоять тамъ, гдѣ людей бьютъ, а не ораторствовать.

Это было въ четвертомъ часу пополудни.

Лобачевскій посмѣялся надъ подбитымъ носомъ Розанова и сказалъ:

— Такъ вамъ и слѣдовало.

— За что же это?—спросилъ Розановъ.

— Такъ, чтобъ не болтались попусту.

Розановъ немножко разсердился и пошелъ въ свою комнату.

— Я у васъ одну барышню велѣлъ дегтемъ помазать,— крикнулъ вслѣдъ ему Лобачевскій.

— Какую это?

— Тамъ увидите,—на пятой койкѣ лежитъ.

— А вы были въ моей палатѣ?

— Надобно жъ было кому-нибудь посмотрѣть на больныхъ,—отвѣчалъ Лобачевскій.

Тѣмъ этотъ день и покончился, а черезъ три дня нашихъ московскихъ знакомыхъ ужъ и узнать нельзя было. Только одно усиленное стараніе Лобачевскаго работать по больницѣ за себя и Розанова избавляло послѣдняго отъ дурныхъ послѣдствій его крайней неглижировки службой. Онъ исчезалъ по цѣлымъ суткамъ и пропадалъ безъ вѣсти. Квартира Арапова сдѣлалась мѣстомъ сходокъ всѣхъ нашихъ знакомыхъ. Тамъ кипѣла дѣятельность. По другимъ мѣстамъ тоже часто бывали собранія; у маркизы были «эписпастики» — какъ Араповъ называлъ собранія, продолжавшіяся у ней.

На этихъ собраніяхъ бывали: Розановъ, Араповъ, Райнеръ, Слободзинскій, Рациборскій и многіе другіе. Теперь маркиза уже не начинала разговора съ «il est mort», или «толпа идетъ, и онъ идетъ». Она теперь говорила преимущественно о жандармахъ, постоянно окружающихъ ея домъ.

Романовны также каркали объ опасномъ положеніи маркизы, но отставали въ сторону; Брюхачевъ отзывался недосугами; Бычковъ велъ какое-то особенное дѣло и не показывался; Сахаровъ ничего не дѣлалъ; Бѣлоярцевъ и Завулоновъ исчезли съ горизонта.

Лиза слушала, жадно слушала и забывала весь міръ. Маркиза росла въ ея глазахъ, и жандармы, которыхъ ждала маркиза, не тронулись бы до нея, иначе какъ черезъ Лизу.

Персіянцева тоже нѣкоторое время не было видно.

Наконецъ, по городской почтѣ въ домѣ маркизы получилась пустая и ничтожная литографированная записочка, относящаяся къ происходящимъ обстоятельствамъ.

Маркиза взбѣленилась; показывала ее всѣмъ по секрету и всѣхъ просила молчать.

Рѣшено было, что въ Москвѣ уже сложилась оппозиціонная сила.

Все было болѣзненно встревожено этою запискою; каждый звонокъ заставлялъ маркизу блѣднѣть и вздрагивать.

Только Араповъ, Райнеръ и Розановъ оставались спокойными.

Выходя отъ маркизы, Араповъ много смѣялся, Райнеръ упрямо молчалъ, а Розановъ какъ-то словно разслабѣлъ, раскисъ и одинъ уѣхалъ въ свою больницу.

Съ тѣхъ поръ Розановъ, по выраженію Арапова, началъ отлынивать, и Араповъ сталъ поговаривать, что Розановъ тоже «швахъ».

Лобачевскій только сказалъ:

— Это хорошо, что вы, Розановъ, возвратились изъ бѣговъ: а то Бекъ ужъ сильно сталъ на васъ коситься.

Такъ прошло недѣли съ двѣ. Розановъ только и отлучался, что къ Бахаревымъ. Онъ ввелъ къ нимъ въ это время Райнера и изрѣдка попадалъ на студентскія сходки, къ которымъ невѣдомо какимъ образомъ примыкали весьма различные люди.

Лиза то-и-дѣло была у маркизы, даже во время ваннъ, при чемъ въ прежнія времена обыкновенно вовсе не было допускаемо ничье присутствіе.

Между Розановымъ и Лизою не послѣдовало ни одного сердечнаго разговора; все поглотила изъ ничего возникшая суматоха, оставившая вдалекѣ за собою университетское дѣло, съ котораго все это распочалось.

Общество было неспокойно; въ городѣ шли разные слухи.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Que femme veut, Dieu le veut.

Варвара Ивановна Богатырева, возвратясь одинъ разъ домой въ первомъ часу ночи, была до крайности изумлена кучею навѣшаннаго въ ея передней платья и длинною шеренгою различныхъ калошъ.

Прежде чѣмъ лакей успѣлъ объяснить ей, что это значитъ, слухъ ея былъ пораженъ многоголоснымъ крикомъ изъ комнаты сына.

— Кто у молодого барина?—спросила она человѣка.

— Студенты-съ.

Варвара Ивановна бросилась въ залу.

— Гдѣ Алексѣй Сергѣевичъ?—спросила Варвара Ивановна, остановясь посреди комнаты, въ чрезвычайной ажитаціи.

— Они тамъ-съ.

— Гдѣ?

— Съ господами. Тамъ двери отъ молодого барина въ кабинетъ открыли.

— Боже мой!—простонала Варвара Ивановна и опустилась на стулъ.

— Чего стоишь? Позови ко мнѣ барина!—крикнула она черезъ нѣсколько минутъ человѣку.

— Ну, не глупецъ ли вы? Не врагъ ли вы семейному благополучію? — начала она, какъ только Алексѣй Сергѣевичъ показался на порогѣ комнаты: — затворите, по крайней мѣрѣ, двери.

Богатыревъ затворилъ двери въ переднюю.

— Что это такое?—спросила его съ грознымъ придыханіемъ Варвара Ивановна.

— Что?—робко переспросилъ Богатыревъ.

— Сходка? Да? Отвѣчайте же: сходка у нихъ, да? Что жъ вы онѣмѣли, что ли?

— Да никакой нѣтъ сходки. Ничего тамъ законопротивнаго нѣтъ. Такъ сошлись у Сережи, и больше ничего. Я самъ тамъ былъ все время.

— Самъ былъ все время! О, Создатель! Онъ самъ тамъ былъ все время! И еще признается! Колпакъ вы, батюшка, колпакъ. Вотъ какъ сына упекутъ, а васъ пошлютъ съ женою гусей стеречь въ рязанскую губернію, такъ вы и узнаете, какъ «я самъ тамъ былъ».

— Но ужъ нѣтъ, извините меня, Фалилей Трифоновичъ!— начала она съ декламаціей. — Васъ пусть посылаютъ куда угодно, а ужъ себя съ сыномъ я спасу. Нѣтъ, извините. Сами можете отправляться куда вамъ угодно, а я нѣтъ. Извините...

— Да чѣмъ же я виноватъ?—казанскою сиротою произнесъ Алексѣй Сергѣевичъ.

— Чѣмъ? И вы смѣете спрашивать чѣмъ? Двухъ молодыхъ людей только-что наказали, а вы потихоньку отъ жены учреждаете у себя сходки и еще смѣете спрашивать, чѣмъ вы виноваты.

— Да это не я, а Сергѣй. Я съ какой же стати... Это его знакомые.

— А! а! Вотъ вамъ и отецъ! Головою сына выдаю, молъ: извольте его вамъ, только меня, сѣдого дурака, не трогайте. Прекрасно! прекрасно! Вотъ отецъ такъ отецъ!

— Да что вы пугаете? Кого наказали и какая тутъ сходка?

— А о чемъ тамъ говорятъ? — спросила Варвара Ивановна съ придыханіемъ и указывая большимъ пальцемъ руки въ сторону, откуда долетали студентскіе голоса.

— Объ университетскихъ порядкахъ говорятъ.

— Какъ калоши ставить въ швейцарской, или что другое?

— Нѣтъ, о начальствѣ.

— Какъ его не слушаться?

— Нѣтъ, только о деньгахъ говорятъ.

— Ну да, то-то, чтобъ денегъ не платить?

— Да.

— Это оборвыши эти разсуждаютъ?

— Всѣ говорятъ.

— А вы слушали?

— Да, что же тутъ такого, право? Они разсуждаютъ резонно.

Варвара Ивановна отодвинулась отъ мужа одинъ шагъ назадъ, окинула его взоромъ неописаннаго презрѣнія и, плюнувъ ему въ самый носъ, шибко выбѣжала изъ залы.

Оставивъ въ залѣ совершенно потерявшагося мужа, madame Богатырева перебѣжала гостиную, вскочила въ свой будуаръ и, затворивъ за собою дверь, щелкнула два раза ключомъ.

Алексѣй Сергѣевичъ постоялъ въ залѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ давалъ отчетъ своей супругѣ, потомъ подошелъ къ зеркалу, приподнялъ съ подзеркальнаго столика свѣчу и, внимательно осмотрѣвъ свое лицо, тщательно вытеръ бѣлымъ платкомъ глаза и переносицу.

Затѣмъ онъ потихоньку подошелъ къ жениному будуару и взялся за ручку замка.

Дверь была заперта на-глухо.

— Варвара Ивановна!—произнесъ, откашлянувшись, Богатыревъ.

Отвѣта не было.

— Варинька!—повторилъ Алексѣй Сергѣевичъ.

— Что вамъ нужно здѣсь? — сердито крикнула изъ-за двери Варвара Ивановна.

— Я на минуточку.

— Нечего вамъ здѣсь дѣлать.

— Да я хочу только посовѣтоваться,—умолялъ Богатыревъ, поспѣшно прикладывая ухо къ створу дверей.

— Не о чемъ.

— Да что же дѣлать? Я не знаю, что̀ дѣлать.

— Такъ я знаю, что̀ нужно дѣлать, — отвѣтила Варвара Ивановна.

И Алексѣй Сергѣевичъ слышалъ, какъ она перешла изъ будуара въ спальню и затворила за собою другую дверь.

Въ это же время въ передней послышался топотъ и гомонъ. Сходка расходилась.

Послѣдніе изъ комнаты Сержа Богатырева ушли Розановъ и Райнеръ. Для нихъ еще подали закусить, и они ушли ужъ въ третьемъ часу утра.

Сергѣй Богатыревъ самъ заперъ за ними дверь и, возвратясь, легъ спать.

Варвара Ивановна на другой день встала ранѣе обыкновеннаго. Она не позвала къ себѣ ни мужа, ни сына и страшно волновалась, безпрестанно посматривая на часы. Въ одиннадцать часовъ она велѣла закладывать для себя карету и къ двѣнадцати выѣхала изъ дома.

Глаза у Варвары Ивановны были сильно наплаканы и лицо немножко подергивалось, но дышало рѣшимостью и притомъ такою рѣшимостью, какая нисходитъ на лицо людей, изобрѣтшихъ геніальный путь къ своему спасенію и стремящихся осуществить его во что бы то ни стало.

Карета Варвары Ивановны остановилась сначала у одного большого дома неподалеку отъ университета.

Варвара Ивановна вошла въ круглый, строго-меблированный залъ и сказала свою фамилію дежурному чиновнику.

Черезъ двѣ минуты ее попросили въ кабинетъ.

Варвара Ивановна начала плачевную рѣчь, въ которой призывалось великодушное вмѣшательство начальства, упоминалось что-то объ обязанностяхъ старшихъ къ молодости, о высокомъ постѣ лица, съ которымъ шло объясненіе, и, наконецъ, объ общественномъ судѣ и слезахъ бѣдныхъ матерей.

— Но что же я могу сдѣлать, сударыня? Вашъ сынъ, слава Богу, еще даже ни въ чемъ не замѣшанъ, — возражалъ ей хозяинъ.

— Да, это правда; но онъ можетъ быть замѣшанъ; его могутъ увлечь.

— Удержите его.

— Я васъ прошу объ этомъ. Я васъ прошу защитить его.

— Да отъ чего же защитить? Помилуйте, я васъ увѣряю, его ни въ чемъ не подозрѣваютъ.

— Это все равно: онъ ходитъ... или можетъ ходить на сходки.

— Уговорите его, чтобъ не ходилъ.

— Развѣ они слушаютъ?

— Вы мать,—онъ васъ скорѣе всѣхъ послушается.

— Ахъ, развѣ они слушаютъ.

— Но что же я-то могу для васъ сдѣлать?

— Вы начальникъ.

— Да ужъ если матери не слушаютъ, то какъ же вы надѣетесь, чтобы начальника послушались.

— Запретите имъ собираться на сходки.

— Ихъ давно объ этомъ просили.

— Что просить? Запретите просто.

— Мы не можемъ ходить за ними въ каждый домъ. Москва велика,—они вездѣ собираются.

— Прекратить какъ-нибудь всѣ эти безпорядки.

— Только объ этомъ и заботимся; но это вовсе не такъ легко, какъ нѣкоторые думаютъ; нужно время, чтобы все пришло въ порядокъ.

— О, Боже мой! ну, выслать ихъ вонъ изъ города, ну, закрыть университетъ.

Хозяинъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Сударыня, это отъ насъ не зависитъ и желательно, чтобы этого не случилось.

«Баба! я всегда говорила, что ты баба, — баба ты и есть,»—подумала Варвара Ивановна, усѣвшись въ карету и велѣвъ ѣхать вверхъ по Тверской.

Въ другомъ офиціальномъ домѣ объясненія Богатыревой были неудачнѣе первыхъ. Здѣсь также успокоивали ее отъ всякихъ тревогъ за сына, но все-таки она опять выслушала такой же рѣшительный отказъ отъ всякаго вмѣшательства, способнаго оградить Сержа на случай всякихъ его увлеченій.

— Ну, наконецъ, арестуйте его, пока это все кончится!— воскликнула Богатырева, выведенная изъ всякаго терпѣнія спокойнымъ тономъ хозяина.

— Что такое?—переспросилъ тотъ, полагая, что ослышался.

— Арестуйте его, — повторила Богатырева: — я мать, я имѣю право на моего сына, и если вы не хотите сдѣлать ничего въ удовлетвореніе моей справедливой просьбы, то я мать, *сама мать*, прошу васъ арестуйте его, чтобъ онъ только ни во что не попался.

Хозяинъ посмотрѣлъ на Богатыреву и нетерпѣливо отвѣтилъ:

— Я вамъ уже имѣлъ честь доложить, что у насъ нѣтъ въ виду ни одного обстоятельства, обвиняющаго вашего сына въ поступкѣ, за который мы могли бы взять его подъ арестъ. Можетъ-быть, вы желаете обвинить въ чемъ-нибудь, тогда, разумѣется, другое дѣло: мы къ вашимъ услугамъ. А безъ всякой вины у насъ людей не лишаютъ свободы.

— Нѣтъ, я не обвиняю, но я прошу васъ арестовать его, чтобъ впередъ чего не случилось... я прошу васъ...

— Извините, сударыня: у меня много дѣла. Я вамъ сказалъ, что людей, которыхъ ни въ чемъ не обвиняютъ, нельзя сажать подъ арестъ. Это, наконецъ, запрещено закономъ, а я внѣ закона не въ правѣ поступать. Впередъ мало ли кто что можетъ сдѣлать: не посажать же подъ арестъ всѣхъ. Повторяю вамъ, *это запрещено закономъ.*

— И это запрещено закономъ! И это запрещено закономъ!—воскликнула отчаянная мать.

Начальникъ, взглянувъ еще разъ на Богатыреву, удерживая улыбку, подтвердилъ:

— Да-съ, это запрещено закономъ,—а затѣмъ обратился къ другимъ просителямъ.

— Это запрещено закономъ! когда жъ это было запрещено закономъ? Знаемъ мы васъ, законниковъ. Небось своего сына ты бы такъ упряталъ, что никто бы его и не нашелъ, а къ чужимъ такъ ты законы подбираешь,—ворчала Варвара Ивановна, возвращаясь домой съ самымъ растерзаннымъ и замирающимъ сердцемъ.

Но материнскій инстинктъ великъ и силенъ.

У поворота къ бульварамъ Варвара Ивановна велѣла кучеру ѣхать назадъ, проѣхала Тверскую, потомъ взяла налѣво Софійкой и, наконецъ, остановилась у маленькаго деревяннаго домика въ одномъ изъ переулковъ, прилегающихъ къ Лубянской площади.

Здѣсь жилъ частный стряпчій, завѣдывавшій дѣлами Богатыревыхъ.

На счастье Варвары Ивановны стряпчій былъ дома. Онъ выслушалъ ея разсказъ, предложилъ ей воды и затѣмъ разспросилъ, чего ей хочется.

— Удалить его хоть изъ Москвы,—отвѣчала Богатырева.

— Такъ пошлите его въ рязанскую губернію.

— Да не ѣдетъ. Вѣдь не связаннаго же его отправить!

Стряпчій подумалъ съ минуту и потомъ отвѣтилъ:

— Мы это уладимъ.

Черезъ полчаса богатыревская карета остановилась въ одномъ изъ переулковъ Арбата. Изъ кареты сначала вышелъ стряпчій и вошелъ въ дверь, надъ которою была табличка, гласившая: «квартира надзирателя такого-то квартала».

Варвара Ивановна осталась въ каретѣ.

Спустя десять минутъ пришла и ея очередь вступить въ «квартиру надзирателя квартала».

Въ очень хорошо и со вкусомъ меблированной комнатѣ ее встрѣтилъ военный господинъ, съ нѣмецкимъ лицомъ и очень страшными усами.

Въ его фигурѣ и лицѣ было что-то весьма сложное, такъ сказать, нѣмецко-вахмистровски-полицейско-гусарское. Видно было, однако, что онъ уменъ, ловокъ, не разборчивъ на средства и съ извѣстной стороны хорошій знатокъ человѣческаго сердца.

Онъ внимательно усадилъ Варвару Ивановну въ кресло, терпѣливо выслушалъ ея отчаянный разсказъ, соболѣзновалъ ей и, наконецъ, сказалъ, что онъ тоже не въ правѣ для нея сдѣлать многаго, но, видя ея безпомощное положеніе, готовъ сдѣлать, что̀ можетъ.

— Бога ради,—умоляла его Варвара Ивановна.

— Будьте спокойны, сударыня.

— Я васъ прошу принять отъ меня эту бездѣлицу, — проговорила самымъ сладкимъ голосомъ Варвара Ивановна, подавая надзирателю сторублевую бумажку.

Надзиратель сказалъ:

— Напрасно безпокоитесь,—и спряталъ бумажку.

Богатырева встала и, разъинтимничавшись, порицала нерѣшительное, по ея мнѣнію, начальство.

— Какое это начальство!—восклицала она:—удалить такое начальство нужно, а не давать ему людьми распоряжаться.

Надзиратель посмотрѣлъ на нее при этомъ приговорѣ и подумалъ:

«Вотъ тебя бы, дуру, такъ сейчасъ можно спрятать даже и безъ всякой благодарности»,—но не сказалъ ни слова и спокойно проводилъ ее съ лѣстницы.

Варвара Ивановна уѣхала совершенно спокойная. Передъ вечеромъ она пожаловалась на головную боль; попросила сына быть дома̀ и затѣмъ ушла къ себѣ въ спальню.

У Сережи были два товарища, сосѣдъ Бахарева — Ступинъ, и сынъ одесскаго купца, Іона Каценъ.

Молодые люди уснули и, кажется, весь домъ заснулъ до полуночи. Но это только такъ казалось, потому что Варвара Ивановна быстро припрыгнула на постели, когда въ четвертомъ часу ночи въ передней послышался смѣлый и громкій звонокъ.

Прежде чѣмъ сонный лакей успѣлъ повернуть ключъ въ двери, звонокъ раздался еще два раза и съ такою силою, что заводъ, на которомъ тянули проволоку, соединявшую звонокъ съ ручкою, имѣлъ бы полное право хлопотать о привилегіи.

Наконецъ дверь отворили, и въ переднюю, брязгая шпорами и саблей, вошелъ квартальный нѣмецко-вахмистровски-полицейски-гусарскаго вида.

Лакей зажегъ свѣчу и побѣжалъ за шкапъ надѣть что-нибудь сверхъ бѣлья.

Изъ-за разныхъ дверей высунулись и тотчасъ же спрятались назадъ разныя встревоженныя, мужскія и женскія, лица.

Квартальный стоялъ, подперши руки фертомъ, и ожидалъ, пока лакей снова появится изъ-за шкапа.

Въ это время Варвара Ивановна успѣла накинуть на себя платье и, выйдя въ залу, сама пригласила надзирателя.

— Бога ради скорѣе все кончите,—говорила она, ломая руки.

— Не безпокойтесь, — отвѣчалъ надзиратель: — я только боюсь одного.

— Ничего не бойтесь.

— Я боюсь, чтобы вашъ мужъ не надѣлалъ завтра тревоги.

— О, за это я вамъ даю мое слово.

— Что это такое? — тихо спросилъ входящій Алексѣй Сергѣевичъ.

— За Сергѣемъ, — вздохнувъ, отвѣчала Варвара Ивановна, не глядя на мужа.

— Сережу арестуютъ?

— Вѣдь видите; что же тутъ еще спрашивать?

— Наша печальная обязанность...—началъ-было надзиратель, но въ залу вошелъ Сергѣй Богатыревъ. Онъ дрожалъ какъ въ лихорадкѣ и старался держать себя какъ можно смѣлѣе.

— За мной?—спросилъ онъ.

— За вами.

— Что жъ, я готовъ.

У него стукнули зубы.

— Лошади внизу,—спокойно отвѣчалъ надзиратель:—но мнѣ для порядка нужно взглянуть на вашу комнату. Тамъ, конечно, ничего нѣтъ?

— Не знаю, можетъ-быть, что-нибудь и есть,—отвѣчалъ блѣдный студентъ.

— Сережа! Сережа! что ты говоришь? — простонала съ упрекомъ Варвара Ивановна.

— Я вѣрю на слово вашей матушкѣ,—съ достоинствомъ сказалъ надзиратель:—и прошу васъ собраться.

Варвара Ивановна взяла сына въ спальню, дала ему пачку ассигнацій, заплакала, долго-долго его крестила и, наконецъ, вывела въ залу. Здѣсь арестантъ простился еще разъ съ матерью, съ отцомъ, съ лакеемъ и дрожащими ногами вышелъ изъ дома.

Долго они ѣхали молча въ открытыхъ дрожкахъ надзирателя, наконецъ тому надоѣло это.

— Послушайте,—сказалъ онъ:—мнѣ жаль вашу мать: я самъ имѣю дѣтей. Если вы можете скрыться изъ Москвы, я пущу васъ и скажу, что не нашелъ васъ дома. А между тѣмъ все это кончится, и вы возвратитесь.

— Вы! вы меня пустите?

— Да, пущу. Со мной не было понятыхъ. Если вы дадите слово удирать отсюда подальше, я пущу васъ.

— О, клянусь вамъ.

— Не клянитесь, я и такъ повѣрю.

— Я уѣду въ Рязань.

— Ступайте.

— Только нѣтъ подорожной.

— Какой вздоръ. Были бы деньги. Возьмите вольныхъ у Рогожской.

Сергѣй Богатыревъ предложилъ надзирателю ассигнацію, отъ которой тотъ благородно отказался, потомъ спрыгнулъ съ дрожекъ, взялъ перваго ваньку и запрыгалъ къ Рогожской.

— Что?—спросила Варвара Ивановна мужа, когда надзиратель вышелъ съ Сережей за двери.

— Пропадетъ теперь.

— Нё, теперь нюни: «пропадетъ», — передразнила Варвара Ивановна.

— Господа!—крикнула она студентамъ, войдя въ комнату сына: — вы видѣли, что̀ было съ Сережей? За это я вамъ обязана: вчера была сходка, а сегодня арестантъ. Прошу васъ оставить мой домъ.

Студенты только этого теперь и желали.

— А вы у меня ни во что не смѣйте мѣшаться, — пригрозила она стоявшему посреди залы мужу: — не смѣйте ничего разсказывать: Сержъ черезъ три дня будетъ въ Богатыревкѣ.

— Ка-а-къ?

— Т-а-а-къ, какъ вы не знаете, — проговорила Варвара Ивановна, отходя въ свою комнату.

И Алексѣй Сергѣевичъ до самаго разсвѣта простоялъ въ залѣ.

Обстоятельства совершенно смутили его.

Вечеромъ въ этотъ же день были три сходки, на которыхъ толковали о внезапномъ арестѣ Сергѣя Богатырева и всячески допытывались, кто бы могъ донесть о богатыревской сходкѣ.

— Изъ нашихъ никто; за это можно ручаться головою! — кричали нѣсколько молодыхъ голосовъ.

— Такъ кто же? Кто? нужно знать доносчика.

Кто-то громче другихъ произнесъ имя Райнера.

— А въ самомъ дѣлѣ, кто онъ? Кто этотъ Райнеръ?

— Что онъ?

— Зачѣмъ онъ здѣсь?

— Зачѣмъ онъ на сходкахъ?

Ни на одинъ этотъ вопросъ никто не умѣлъ дать отвѣта.

- Кто ввелъ его?

— Докторъ Розановъ,—отвѣчалъ кто-то.

— А что такое самъ Розановъ?

— Онъ знакомый маркизы; его многіе знаютъ.

— Вытребовать Розанова, вытребовать Розанова! — закричало нѣсколько голосовъ.

— И судить его.

— За что судить? Пусть объяснится.

— Гдѣ жъ собираться?

— У маркиза, послѣзавтра, у маркиза.

— А завтра тамъ?

— Ну да, только одни свои.

Завтра уже во всѣхъ либеральныхъ кружкахъ Москвы заговорили о бывшей у Богатыревыхъ сходкѣ и о послѣдовавшемъ затѣмъ внезапномъ арестѣ молодого Богатырева.

Не очень чуткое ухо могло легко слышать, какъ при этихъ разсказахъ вполголоса поминалось имя Райнера.

Содержаніе этихъ полголосныхъ разсказовъ, вѣроятно, было довольно замысловато, потому что докторъ, услыхавъ одинъ такой разговоръ, прямо объявилъ, что кто позволяетъ себѣ распускать такіе слухи, тотъ человѣкъ нечестный.

Теперь докторъ догадывался, какихъ отъ него потребуютъ объясненій и собирался говорить круто и узловато.

А въ эту ночь была еще сходка, послѣ которой, передъ утромъ дня, назначеннаго для допроса Розанова, было арестовано нѣсколько студентовъ.

Изъ этихъ арестантовъ уже ни одинъ не соскочилъ съ полицейскихъ дрожекъ и не уѣхалъ на вольныхъ въ свою Богатыревку.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Delirium tremens.

Новыя трепетанія не успокоивались. Москва ждала скандала и чуть не дождалась его.

Утромъ одного дня Араповъ вышелъ изъ своего дома съ Персіянцевымъ, взяли извозчика и поѣхали ко Введенію въ Барашахъ.

Они остановились у Нестеровскаго дома.

— Ступайте, — сказалъ Араповъ, тревожно оглядываясь и подавая Персіянцеву изъ-подъ своей шинели тючокъ, обшитый холстомъ.

— А вы?—спросилъ Персіянцевъ.

— Я подожду здѣсь: всюду надо смотрѣть.

Персіянцевъ вошелъ на чистый купеческій дворъ и, отыскавъ двери съ надписью: «*контора*», поднялся по лѣстницѣ.

Посланный имъ артельщикъ возвратился съ Адріаномъ Николаевымъ.

— Отъ Розанова,—сказалъ Персіянцевъ.

— А! милости прошу, пожалуйте, — воскликнулъ центральный человѣкъ.—Какъ они, въ своемъ здоровьѣ?

— Ничего, — отвѣчалъ, краснѣя, непривычный ко лжи Персіянцевъ.

— Давно вы ихъ видѣли?

— Вчера,—отвѣчалъ, еще болѣе краснѣя, Персіянцевъ.— Вы получили вчера его письмо?

— Получили-съ, получили. А это что: товаръ?

— Да.

— Сколько же тутъ?

— Триста.

— Что жъ, поскупились, али недостача? — шутилъ центральный человѣкъ и, взявъ тючокъ изъ рукъ Персіянцева, пригласилъ войти далѣе.

Проходя третью комнату конторы, Персіянцевъ увидѣлъ Пармена Семеновича, любезно бесѣдовавшаго съ частнымъ приставомъ.

— Андріяша! чайку не хочешь ли?—спросилъ Парменъ Семеновичъ.

— Нѣтъ, Парменъ Семеновичъ, только что пилъ,—отвѣтилъ, проходя, центральный человѣкъ.

— Дѣй Митревъ! — крикнулъ онъ, сѣвъ за конторку и усадивъ Персіянцева, нѣсколько растерявшагося при видѣ частнаго пристава.

Показался артельщикъ самаго древняго письма.

— Положь-ка эту штучку, да завтра ее въ низовой посылкѣ отправь Жилину.

— Слушаю, — отвѣчалъ Дѣй Митревъ и унесъ съ собою тючокъ въ кладовую почетнаго гражданина и 1-й гильдіи купца Нестерова.

— Будетъ исполнено, — сказалъ Персіянцеву центральный человѣкъ, и они простились.

Проходя мимо Пармена Семеновича, Персіянцевъ раскланялся съ нимъ и съ частнымъ приставомъ.

— Кланяйтесь господину доктору,—сказалъ опять Адріанъ Николаевъ Персіянцеву у порога.

Арапова не было у воротъ.

Персіянцевъ глянулъ туда, сюда—нѣту.

Онъ пошелъ одинъ.

Но не успѣлъ Персіянцевъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, его нагналъ Араповъ.

— Что?—спросилъ онъ мрачно.

Персіянцевъ ему разсказалъ все, что мы знаемъ.

— А гдѣ это вы были? Я васъ не видалъ за воротами.

— Я сидѣлъ въ трактирѣ, оттуда виднѣе. Я видѣлъ, какъ вы вышли.

— Ну,—говорилъ Араповъ, усѣвшись дома передъ Персіянцевымъ и Соловейчикомъ: — теперь за новую работу, ребята.

День цѣлый Араповъ строчилъ, потомъ бѣгалъ къ Райнеру, къ Рациборскому. Правили, переправляли и, наконецъ, сочинили что-то.

— Теперь черти, Соловейчикъ,—сказалъ Араповъ.

И Соловейчикъ сталъ чертить.

За полночь Соловейчикъ кончилъ свое ковырянье на литографическомъ камнѣ, сдѣлалъ валькомъ пару пробныхъ оттисковъ и ушелъ изъ квартиры Арапова.

На Чистыхъ-Прудахъ становилось скучновато. Новостей эффектныхъ не было. Маркизъ жаловался, что сходка топчетъ въ его комнатѣ полы и раздавила зубную щеточку накладного серебра.

Самымъ пріятнымъ занятіемъ маркизы было воспитаніе Лизы. Ей внушался бѣлый либерализмъ и изъяснялось его превосходство передъ монтаньярствомъ. Маркиза сидѣла какъ Калипсо въ своемъ гротѣ; около нея феи, а передъ ними Лиза, и онѣ дудѣли ей объ образцахъ, приводя для контраста женщинъ изъ времени упадка нравовъ въ Римѣ, женщинъ развратнѣйшихъ дней Франціи и нѣкую московскую дѣвицу Бертольди, возмущающую своимъ присутствіемъ чистоту охраняемыхъ феями нравственныхъ принциповъ.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Московскіе мизерабли.

Въ ряду московскихъ особенностей не послѣднее мѣсто должны занимать *пустые домы*. Такіе домы еще въ наше время изрѣдка встрѣчаются въ нѣкоторыхъ старыхъ губернскихъ городахъ. Въ Петербургѣ такихъ домовъ вовсе не видно, но въ Москвѣ они есть и ихъ хорошо знаютъ многіе, а особенно люди извѣстнаго закала.

Пустой домъ въ губерніи исключительно бываетъ домъ или спорный, или выморочный, или за безцѣнокъ взятый въ залогъ одурѣвшимъ скрягою. Встрѣчаются такіе домы преимущественно въ городахъ, гдѣ требованіе на помѣщенія относительно не велико, доходъ съ домовъ не вѣренъ, а

обыватель не охотникъ ни до какихъ затратъ на ремонтъ зданія. Но страннѣе всего, что встрѣчаются такіе домы и въ нашей оригинальной столицѣ и даже нерѣдко стоятъ они среди самой густонаселенной мѣстности. Кругомъ биткомъ набито всякаго народа, а тутъ вдругъ стоитъ домъ: никогда въ его окнахъ не видно свѣта, никогда не отворяются его ворота и никто имъ, повидимому, не интересуется. Словно никому этотъ домъ не принадлежитъ и никому онъ не нуженъ.

Иногда въ такомъ домѣ обитаетъ какой-нибудь солдатъ, занимающійся починкою старой обуви, и солдатка, ходящая на повой. Платитъ имъ жалованье какой-то опекунъ, и живутъ они такъ десятки лѣтъ, сами не задавая себѣ никакого вопроса о судьбахъ обитаемаго ими дома. Сидятъ въ укромной теплой каморкѣ, а по хоромамъ вѣтеръ свищетъ, да бѣгаютъ рослыя крысы и бархатныя мышки.

Одинъ такой домъ стоялъ невдалекѣ отъ московской Сухаревой башни. Домъ этотъ былъ довольно большой, двухъэтажный, въ одинъ корпусъ, безъ всякихъ флигелей. Домъ стоялъ посреди большого двора, нѣкогда вымощеннаго камнемъ, а нынѣ заросшаго шелковистою муравкою. На улицу выходила одна каменная ограда съ давно неотворявшимися воротами и ветхой калиткой. Въ кухнѣ дома жилъ дворникъ, какой и долженъ находиться въ такомъ домѣ. Это былъ отставной солдатъ, промышлявшій теркою и продажею особеннаго нюхательнаго табаку, а въ сожительствѣ онъ имѣлъ солдатку, не свою, а чужую солдатку, гадавшую сосѣдямъ пустого дома на картахъ. Въ конурѣ у калитки еще жила старая цѣпная собака, и болѣе, казалось, никто не обиталъ въ этомъ домѣ.

Но это только такъ казалось.

По вечерамъ въ калитку дома входили три личности. Первая изъ этихъ личностей былъ высокій, рыжій атлетъ, въ полушубкѣ, человѣкъ свирѣпаго и рѣшительнаго вида; вторая — его товарищъ, былъ прекоренастый черный мужикъ, съ волосами, нависшими на лобъ. Онъ былъ слѣпъ, угрюмъ и молчаливъ.

Далѣе, сюда входилъ еще молодой парнекъ, котораго здѣсь звали Андреемъ Тихоновичемъ.

Все это были люди безпаспортные и никому изъ ближнихъ сосѣдей ни съ какой стороны не извѣстные.

Слѣпецъ и его рыжій товарищъ жили въ большой, пустой комнатѣ второго этажа и платили сторожу по три четвертака въ мѣсяцъ, а молодой жидокъ, котораго здѣсь звали Андреемъ Тихоновичемъ, жилъ въ продолговатой узенькой комнатѣ за ними.

Обѣ эти комнаты были совершенно пусты такъ же, какъ и всѣ остальные покои пустого дома.

У мужиковъ на полу лежали два войлока, по одной засаленной подушкѣ въ набойчатыхъ наволочкахъ, синій глиняный кувшинъ съ водою, деревянная чашка, двѣ ложки и мѣшечекъ съ хлѣбомъ; у Андрея же Тихоновича въ покоѣ не было совсѣмъ ничего, кромѣ пузыречка съ чернилами, засохшаго гусинаго пера и трехъ или четырехъ четвертушекъ измаранной бумаги. Бумага, чернила и перья скрывались на полу въ одномъ уголкѣ, а Андрей Тихоновичъ ночлеговалъ, сворачиваясь на окнѣ, безъ всякой подстилки и безъ всякаго возглавія.

Андрей Тихоновичъ тоже былъ безпаспортный и проживалъ здѣсь съ половины лѣта, платя сторожу въ мѣсяцъ по полтинѣ серебра.

Теперь и Андрею Тихоновичу, и рыжему съ слѣпымъ приходилось плохо. Сторожъ не выгонялъ ихъ; но холода, доходившіе до восьми градусовъ, дѣлали дальнѣйшее пребываніе въ пустомъ, нетопленномъ домѣ довольно затруднительнымъ.

Перелетнымъ птицамъ приходилось искать новаго, болѣе или менѣе теплаго и притомъ опять дешеваго и безопаснаго пріюта; а по этому случаю жильцы пустого дома желчны и безпокойны.

Въ ночь, когда Араповъ поручилъ Нафтулѣ Соловейчику послѣднюю литографскую работу, и когда Соловейчикъ, окончивъ ее, сдѣлалъ два пробные оттиска, онъ, дойдя до забора пустого дома, перескочилъ его за собачьей конурою и, такъ сказать, перекинувшись Андреемъ Тихоновичемъ, прошелъ въ свою пустую казарму.

Часъ былъ поздній, но сосѣди жидка еще не спали: они ругались съ холода.

Андрей Тихоновичъ постоялъ одну минутку, послушалъ и потомъ началъ ходить, безпрестанно останавливаясь и приставляя палецъ ко лбу.

По гримасамъ и ужимкамъ жидовскаго лица видно было,

что въ душѣ Нафтулы Соловейчика кипитъ какой-то смѣлый и опасный планъ, заставляющій его не слыхать ругательствъ сосѣдей и не чувствовать немилосердаго холода пустой горницы.

— Да, такъ, такъ, — проговорилъ къ полуночи Соловейчикъ и, вынувъ изъ кармана бумажный сверточекъ, досталъ оттуда стеариновый огарочекъ. Изъ другого кармана онъ вынулъ спичку и, добывъ ею огня, сталъ мститься въ уголышкѣ. Сначала Соловейчикъ капнулъ нѣсколько разъ на полъ стеариномъ и приставилъ къ незастывшимъ еще каплямъ огарокъ. Потомъ подошелъ къ двери сосѣдей, послушалъ и, отойдя опять на цыпочкахъ, прилегъ къ огарку, досталъ изъ кармана сверточекъ чистой бумаги, разложилъ его передъ собою и, вынувъ ломанный перочинный ножикъ, сталъ поправлять перо.

Черезъ пять минутъ жидокъ, скосоротившись, вывелъ титулъ должностного лица, которому назначалась бумага, и остановился. Потомъ покусалъ верхушку пера, пососалъ губы и началъ: «хотя и находясь въ настоящую время въ противозаконномъ положеніи безъ усякій письменный видъ, но по долгу цести и совѣсти свяссенною обязанностію за долгъ себѣ всегда поставляю донести, что...» и т. д. Соловейчикъ все писалъ, словно исторію сочинялъ, или новое поминанье заводилъ. Именъ, именъ въ его сочиненіи было, какъ блохъ въ собачьей шкурѣ: никого не забылъ и всѣмъ нашелъ мѣстечко. Прошло болѣе часа, прежде чѣмъ Соловейчикъ окончилъ свое сочиненіе строками: «а посему, если благоугодно будетъ дозволить мнѣ жительство и снабдить приказаніями, то я надѣюсь въ сей должности еще полнѣе оправдать довѣріе начальства».

— Нѣтъ, брешешь! Семь пачекъ я самъ знаю, что есть, да что въ нихъ въ семи-то пачкахъ? Чортъ ты! Антихристъ ты, дьяволъ ты этакой; ты меня извести хочешь; ты думаешь, я не вижу, чего ты хочешь, ворище ты треанаѳемскій!—ругался въ сосѣдствѣ слѣпой.

— Молчи!—прошипѣлъ рыжій.

— Молчи! Нѣтъ, не замолчу, не замолчу, а я тебя въ Сибирь сошлю.

— Молчи, чтобъ тебѣ высадило.

— Не стану молчать: ты подай мнѣ свою подушку, а

мою возьми. Ты меня обворовалъ: бумажекъ мнѣ навязалъ, а деньги себѣ взялъ.

— Молчи!—прошипѣлъ рыжій.

— Не замолчу, я до государя доведу. Я виноватъ, я и повинюсь, что я виноватъ: казните, милуйте: загубилъ христіанскую душу. Тебя просилъ: не грѣши, Антошка; дѣли какъ по-божинскому. Вмѣстѣ били почтальона, вмѣстѣ намъ и казна пополамъ, а ты теперь, видя мое калѣчество, что̀ мнѣ напхалъ въ подушку?

— Молчи, чортъ, въ подушкѣ твои деньги.

— Врешь: ты деньги вытащилъ, а напхалъ бумажекъ. Я вчера досталъ одну, всѣмъ показывалъ: вотъ, говорю, баринъ одинъ мнѣ сигнацію подарилъ; говорятъ: чайная бумажка. Это ты, разбойникъ, это твое дѣло.

Соловейчикъ обезумѣлъ.

— Подай мнѣ свою подушку, — кричалъ разъяренный слѣпецъ.

— Молчи, дьяволъ!—шипѣлъ рыжій.

— Подай.

— Убью, молчи.

— А, убьешь!—проревѣлъ слѣпой, и вслѣдъ затѣмъ рыжій вскрикнулъ.

Соловейчикъ толкнулъ дверь и увидалъ, что слѣпой сидитъ на рыжемъ и душитъ его за горло, а тотъ одною рукою слабо защищается, а въ другой держитъ набойчатую подушку.

Еврей въ одно мгновеніе сообразился: онъ схватилъ свой перочинный ножикъ, подскочилъ съ нимъ къ борющимся, ловко воткнулъ лезвее ножа въ лѣвый глазъ рыжаго, и въ то же мгновеніе схвативъ выпущенную нищимъ подушку, слетѣлъ съ лѣстницы и, перебросившись съ своимъ пріобрѣтеніемъ черезъ заборъ, ударился по улицѣ.

На дворѣ былъ холодъ, звонили къ заутренямъ и изъ переулочковъ выныривали темныя личности, направлявшіяся съ промышленнымъ ночью товарцемъ къ Сухаревой, Лубянкѣ и Смоленскому рынку.

Соловейчикъ, разумѣется, никому не продалъ своей подушки и теперь уже не думалъ о забытомъ на прежней квартирѣ сочиненіи, со множествомъ знакомыхъ и незнакомыхъ намъ именъ.

Сочиненіе это, въ числѣ прочихъ бумагъ бѣжавшаго Со-

ловейчика, черезъ нѣкоторое время было взято сторожемъ пустого дома и поступило на коническія заверточки, при мелочной продажѣ нюхательнаго табаку.

Дальнѣйшая судьба этого сочиненія достовѣрно неизвѣстна. Но если въ это время у сторожа никто не купилъ табаку полфунта разомъ, то врядъ ли сочиненіе Соловейчика сохранится для потомка, который задумаетъ вполнѣ изобразить своимъ современникамъ всѣ многоразличныя чудеса вашего достославнаго времени.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Генералъ Стрепетовъ.

Вскорѣ послѣ описанныхъ послѣднихъ событій, Розановъ съ Райнеромъ спѣшно проходили по одному разметенному и усыпанному пескомъ московскому бульвару. Стоялъ ясный осенній день, и бульваръ былъ усѣянъ народомъ. На Спасской башнѣ пробило два часа.

Райнеръ съ Розановымъ шли довольно скоро и не обращали вниманія на бульварную толпу.

На одной лавочкѣ, въ концѣ бульвара, сидѣлъ высокій сутуловатый человѣкъ, съ большою головою, покрытою совершенно бѣлыми волосами и съ сильнымъ выраженіемъ непреклонной воли во всѣхъ чертахъ умнаго лица. Онъ былъ одѣтъ въ ватную военную шинель старой формы, съ капюшономъ и въ широкодонной военной фуражкѣ, съ бархатнымъ околышемъ и красными кантами.

Рядомъ съ этимъ человѣкомъ сидѣлъ Илья Артамоновичъ Нестеровъ.

Оба эти лица вели между собою спокойный разговоръ, который, однако, не тёкъ плавнымъ потокомъ, а шелъ лаконически, отдѣльными замѣчаніями, насмѣшечками и сдержанными улыбками, дополнявшими лаконическія недомолвки устной рѣчи.

Изъ толпы людей, проходившихъ мимо этой пары, многіе отвѣшивали ей низкіе поклоны. Кланялись и старики, и кремлевскіе псаломщики, и проходившій казанскій протопопъ, и щеголеватый комми съ Кузнецкаго моста, и толстый хозяинъ трехъ лавокъ изъ Охотнаго ряда, и университетскій студентъ въ ветхихъ панталонахъ съ обитыми низками и въ зимнемъ пальто, подбитомъ весеннимъ вѣтромъ.

Военный старикъ спокойно снималъ свою фуражку и совершенно съ одинаковымъ вниманіемъ отвѣчалъ на каждый поклонъ. Съ нимъ вмѣстѣ откланивался и Илья Артамоновичъ. Иногда военный старикъ останавливалъ кого-нибудь изъ извѣстныхъ ему людей и предлагалъ одинъ-два короткіе вопроса и затѣмъ опять дѣлалъ своему сосѣду короткія односложныя замѣчанія, послѣ которыхъ они улыбались едва замѣтною улыбкою и задумывались.

Поровнявшись съ этою парою, Розановъ, несмотря на свою сосредоточенность, замѣтилъ ее и поклонился.

— Кому это вы кланялись? — спросилъ, оглядываясь, Райнеръ.

— Вонъ тому старику.

— Кто жъ это такой?

— Генералъ Стрепетовъ, — съ нѣкоторою національною гордостью отвѣчалъ докторъ.

— Вотъ это-то Стрепетовъ!—воскликнулъ Райнеръ.

— Будто вы его не узнали?

— Я его никогда не видалъ. Какая голова львиная!

— Да, это голова.

— Вы съ нимъ знакомы?

— Нѣтъ: ему здѣсь всѣ кланяются.

— Съ кѣмъ же это онъ сидитъ?

— А это купецъ Нестеровъ, старовѣръ.

Докторъ съ Райнеромъ повернули съ бульвара направо и исчезли въ одномъ переулкѣ.

Можно было предположить, что докторъ только отвелъ куда-то Райнера, гдѣ не требовалось его собственнаго присутствія, ибо онъ вскорѣ снова появился на бульварѣ и такъ же торопливо шелъ въ обратную сторону.

Генералъ и старовѣръ еще сидѣли на той же лавочкѣ. Толпа стала рѣдѣть.

— Господину доктору, — произнесъ Нестеровъ, кланяясь во второй разъ Розанову.

— Здравствуйте, Илья Артамоновичъ, — отвѣтилъ Розановъ, откланиваясь и не останавливая своего шага.

— Здравствуйте, господинъ докторъ!—вдругъ неожиданно произнесъ генералъ Стрепетовъ.

Доктора очень удивило это неожиданное привѣтствіе, и онъ, остановясь, сдѣлалъ почтительный поклонъ генералу.

— Не хотите ли присѣсть? — спросилъ его Стрепетовъ, показывая рукою на свободную половину скамейки.

Розановъ поблагодарилъ.

— Присядьте, прошу,—повторилъ генералъ.

Розановъ сѣлъ.

— Устали? — началъ Стрепетовъ, внимательно глядя въ лицо доктора.

— Нѣтъ, не особенно усталъ.

— Что, вы давно въ Москвѣ?

— Нѣтъ, очень недавно.

— Здѣшняго университета?

— Нѣтъ, я былъ въ кіевскомъ университетѣ.

— Значитъ, панъ муви по-польску: «бардзо добжэ».

— Я говорилъ когда-то по-польски.

— Ну, а что у насъ въ университетѣ?

— Кажется, ничего теперь.

— Депутація вернулась?

— Да, они возвратились.

— Не солоно хлебавши, — досказалъ генералъ съ ядовитою улыбкой, въ которой, впрочемъ, не было ничего особенно обиднаго для депутатовъ, о которыхъ шла рѣчь.

Генералъ еще пошутилъ съ Розановымъ и простился съ нимъ и Нестеровымъ у конца бульвара.

Вечеромъ въ этотъ день докторъ зашелъ къ маркизѣ: она сидѣла запершись въ своемъ кабинетѣ съ полковникомъ Степаненко.

Докторъ ушелъ къ себѣ, взялъ книгу и завалился на диванъ.

Около полночи къ нему зашелъ Райнеръ.

— Что это у нашей маркизы?—спросилъ онъ на первомъ шагу, входя къ Розанову.

— А что?

— Такая таинственность. Шторы спущены, двери кругомъ заперты и никого не принимаетъ.

— Она съ Степаненко сидитъ.

— То-то, что жъ это тамъ за секреты вдругъ.

— Да такъ, другъ друга на выгонки пугаютъ.

Райнеръ засмѣялся.

— Комедія, право,—весело вставилъ докторъ:—трусъ труса пугаетъ. Вотъ, Райнеръ, нѣтъ у насъ знакомаго полицейскаго, надѣть бы мундиръ да въ дверь. Только духъ бы сильный пошелъ.

Райнеръ опять засмѣялся.

— А что на сходкѣ?—спросилъ докторъ.

— Ахъ, тоже безтолковщина. Начнутъ о дѣлѣ, а свернутъ опять на шпіоновъ.

— Вы заходили къ Бахаревымъ?

— Да, на минутку былъ, — отвѣчалъ Райнеръ довольно сухо и какъ бы вовсе нехотя.

Докторъ пересталъ спрашивать и продолжалъ чтеніе. Райнеръ остался у него ночевать, раздѣлся и тотчасъ же уснулъ.

Утромъ Райнеръ съ докторомъ собирались выйти вмѣстѣ и, снаряжаясь, пошучивали надъ вчерашнимъ экстреннымъ засѣданіемъ у маркизы. Райнеръ говорилъ, что ему надо ѣхать въ Петербургъ, что его вызываютъ.

Въ это время въ воротахъ двора показался высокій человѣкъ въ волчьей шубѣ съ капюшономъ и въ киверообразной фуражкѣ. Онъ докликался дворника, постоялъ съ нимъ съ минуту и пошелъ прямо въ квартиру Розанова.

Розановъ все это видѣлъ изъ окна и никакъ не могъ понять, что̀ бы это за посѣтитель такой?

Черезъ минуту это объяснилось: это былъ лакей генерала Стрепетова, объявившій, что генералъ приказали кланяться и просятъ побывать у нихъ сегодня вечеромъ.

Лакей ничего не сказалъ больше.

Докторъ обѣщался прійти. Цѣлый день онъ ломалъ себѣ голову, отыскивая причину этого приглашенія и путаясь въ разныхъ догадкахъ. Райнера тоже это занимало.

Вечеромъ въ половинѣ восьмого часа, Розановъ выпилъ наскоро стаканъ чаю, вышелъ изъ дома, сторговалъ извозчика на Мясницкую и поѣхалъ.

На Мясницкой докторъ остановился у невысокаго каменнаго дома съ мезониномъ и вошелъ въ калитку. Вечеръ былъ темный, какъ вообще осенніе вечера въ серединной Россіи, и домъ, выкрашенный грязно-желтою краскою, смотрѣлъ нелюдимо и непривѣтливо. Въ двухъ окнахъ ближе къ старинному крыльцу свѣтилось, а далѣе въ окнахъ было совсѣмъ черно и только въ одномъ изъ нихъ вырѣзалась слабая полоска свѣта, падавшаго изъ какого-то другого помѣщенія.

Въ передней на желтомъ коникѣ сидѣлъ довольно пожилой лакей и сладко клевалъ носомъ. Около него, обло-

котясь руками на столъ, спалъ казачокъ. Въ передней было чисто: стояла ясеневая вѣшалка съ военными шинелями, пальто и тулупчикомъ, маленькій столикъ, зеркало и коникъ, а на стѣнѣ висѣлъ жестяной подсвѣчникъ съ зеркальнымъ рефлекторомъ, такой подсвѣчникъ, какой въ Москвѣ почему-то называется «передней лампой».

При входѣ доктора старый лакей проснулся и толкнулъ казачка, который всталъ, потянулся и опять опустился на коникъ.

Розанову вся эта обстановка нѣсколько напоминала губернскіе нравы.

— Дома генералъ?—спросилъ онъ лакея.

— У себя-съ,—отвѣчалъ старикъ.

— Могу я его видѣть?

— Вы чиновникъ?

— Нѣтъ, не чиновникъ,—отвѣчалъ докторъ.

— Пожалуйте,—ласково пригласилъ старикъ, вѣшая докторское пальто.

— Кто же доложитъ обо мнѣ?—спросилъ докторъ.—Надо доложить, что Розановъ, за которымъ Александръ Павловичъ присылалъ нынче утромъ.

— Пожалуйте, пожалуйте, докладывать не надо. Я вотъ только посвѣчу вамъ: генералъ въ своемъ кабинетѣ, въ мезонинѣ.

Докторъ, слѣдуя за лакеемъ, прошелъ черезъ залу, которая, при минутномъ освѣщеніи, обратила на себя его вниманіе крайнею простотою убранства; затѣмъ они повернули въ коридоръ и стали подниматься по деревянной лѣстницѣ.

Дойдя до поворота, гдѣ лѣстница образовывала небольшую площадку, лакей со свѣчою остановился и, сдѣлавъ доктору знакъ, пропустилъ его впередъ.

Докторъ одинъ, безъ провожатаго, поднялся на вторую половину лѣстницы и очутился въ довольно большой комнатѣ, гдѣ за столомъ сидѣлъ весьма почтенный человѣкъ и читалъ газету.

При появленіи доктора человѣкъ всталъ, окинулъ его съ ногъ до головы спокойнымъ, умнымъ взглядомъ и, взявшись за ручку одной изъ боковыхъ дверей, произнесъ вполголоса:

— Пожалуйте.

Въ отворенную дверь Розановъ увидѣлъ еще большую комнату, съ диванами и большимъ письменнымъ столомъ посрединѣ. На этомъ столѣ горѣли двѣ свѣчи и ярко освѣщали величественную фигуру колоссальнаго сѣдого орла.

Этотъ орелъ былъ генералъ Стрепетовъ.

Генералъ Стрепетовъ сидѣлъ на креслѣ по самой серединѣ стола и, положивъ на руки большую бѣлую голову, читалъ толстую латинскую книжку. Онъ былъ одѣтъ въ сѣрый тулупчикъ на лисьемъ мѣху, синія суконныя шаровары со сборками на животѣ и безъ галстука. Ноги мощнаго старика, обутыя въ узорчатые азіатскіе сапоги, покоились на раскинутой подъ столомъ медвѣжьей шкурѣ.

При входѣ доктора генералъ поднялъ голову, покрылъ ладонью глаза и, всмотрѣвшись въ гостя, произнесъ:

— Прошу покорно.

Докторъ поклонился.

— Очень благодаренъ, что пожаловали, — сказалъ опять Стрепетовъ и, указывая на стулъ, стоявшій сбоку стола, добавилъ:—прошу садиться.

Докторъ ничего не отвѣчалъ и молча сѣлъ на указанный ему стулъ.

Стрепетовъ вынулъ изъ кармана синій футляръ съ бѣлыми кольцами, осмотрѣлъ его и, громко высморкавшись, спросилъ:

— Вы вѣдь изъ революціонеровъ?

Розановъ смѣшался.

Стрепетовъ, свертывая платокъ, взглядывалъ исподлобья на Розанова.

— Это не хорошо отрекаться отъ своего званія, — замѣтилъ Стрепетовъ, послѣ довольно долгой паузы.

— Я не знаю, что̀ вы хотите сказать этимъ?— проговорилъ смущенный Розановъ.

Стрепетовъ посмотрѣлъ на него и, не сводя своего орлинаго взгляда, сверкавшаго изъ-подъ нависшихъ бѣлыхъ волосъ, началъ:

— Я васъ сконфузилъ. Это утѣшительно: значитъ, вы, дѣйствительно, еще русскій человѣкъ, своего смысла не утратили. Чувствуете, что затѣваютъ дѣло не ладное.

Докторъ выжидалъ, что будетъ далѣе.

— Р-е-в-о-л-ю-ц-і-я!— произнесъ съ большою разстановкою Стрепетовъ.—Это какое слово? Слышится, будто что-то

какъ нерусское, а? Съ кѣмъ же это вы хотите дѣлать революцію на Руси?

— Вы мнѣ, Александръ Павловичъ, уже разъ замѣтили, что я отрекаюсь отъ своего званія, а мнѣ и еще разъ придется отречься. Я никакой революціи не затѣваю.

— Вѣрю. Ну, а другіе?

— Почемъ же мнѣ знать, что̀ думаютъ другіе! «У всякаго барона своя фантазія».

— У всякаго есть свой царь въ головѣ, говорится по-русски,—замѣтилъ Стрепетовъ.—Ну, а я съ вами говорю о тѣхъ, у которыхъ свой царь-то въ отпускѣ. Вы, вѣдь, ихъ знаете, а Стрепетовъ старый солдатъ, а не сыщикъ, и ему, кромѣ плутовъ и воровъ, всѣ вѣрятъ.

— И я вамъ вѣрю,—произнесъ Розановъ, смѣло и откровенно глядя въ грозное лицо старика.

Теперешній Стрепетовъ былъ не похожъ на Стрепетова, сидѣвшаго вчера на лавочкѣ бульвара. Онъ былъ суровъ и гнѣвенъ. Умный лобъ его морщился, брови сдвигались, онъ шевелилъ своими большими губами и грозно смотрѣлъ въ сторону изъ-подъ нависшихъ бровей. Даже бѣлый стогъ волосъ на его головѣ какъ будто двигался и шевелился.

«Недаромъ тобой дѣтей-то пугали»,—подумалъ Розановъ, сидя спокойно и храня мертвое молчаніе.

Это тянулось нѣсколько минутъ.

— Асессоръ! — крикнулъ, наконецъ, Стрепетовъ, ударяя два раза въ ладоши.

По лѣстницѣ раздались шаги спускающагося человѣка, потомъ по ней кто-то быстро взбѣжалъ и въ комнату вошелъ казачокъ.

— Прикажи подать чаю, — велѣлъ Стрепетовъ, и опять водворилось молчаніе.

Черезъ десять минутъ подали генералу большую чайную чашку чаю, а Розанову стаканъ.

— Вы и *должны* мнѣ вѣрить,—раздражительно произнесъ Стрепетовъ, проглотивъ два глотка чаю.

— Я вамъ и вѣрю,—отвѣчалъ Розановъ.

— Со мной нечего бояться откровенности. Откровенничаете же съ кѣмъ попало, лишь бы вамъ потакали по васъ.

— Я съ вами готовъ быть совершенно откровеннымъ,— спокойно произнесъ Розановъ.

Генералъ взглянулъ на него и потребовалъ себѣ другую чашку чаю.

Онъ видимо обезоруживался, но оставался чрезвычайно возбужденнымъ и серьезнымъ.

— Кто жъ это у васъ коноводомъ? Кто этимъ дѣломъ коноводитъ?

— Я хочу отвѣчать вамъ, Александръ Павловичъ, совершенно откровенно, а мой отвѣтъ опять вамъ можетъ показаться уверткой: никакого коновода я не знаю, и никто, мнѣ кажется, ничѣмъ не коноводитъ.

Стрепетовъ взглянулъ на доктора, потомъ хлебнулъ чаю и проговорилъ:

— Ну, это значитъ еще умнѣе.

— Такъ оно и есть, какъ я говорю.

— А какой это иностранецъ тутъ у васъ сидитъ?

— Вѣрно вы изволили слышать о Райнерѣ?

— Можетъ-быть. Что жъ оно такое этотъ, какъ вы его называете, Райнеръ?

— Очень честный и умный человѣкъ.

— Отзывъ завидный. Вы его хорошо знаете?

— Утвердительно на этотъ вопросъ отвѣчать не могу; но мы пріятели.

— А-а?

— Да.

— Откуда жъ у васъ началось съ нимъ знакомство?

Докторъ разсказалъ въ общихъ чертахъ все, что мы знаемъ.

— И вамъ не пришло въ голову ничего разузнать, чего онъ сидитъ здѣсь, въ Россіи?

— Онъ очень скрытенъ.

— Значитъ, одинъ за всѣхъ молчитъ. Ну-съ, а если онъ?..

— Это клевета, Александръ Павловичъ, это невозможно: я головою отвѣчаю, что онъ честный человѣкъ.

— Ну, съ головою-то, батюшка, не торопитесь: она вѣдь пока одна у васъ. Вѣдь не за деньгами же онъ пріѣхалъ?

— Нѣтъ.

— Значитъ, что же онъ такое?

— Если вамъ угодно... пожалуй, революціонеръ.

— Ну, да, *соціалистъ*, конечно. Другого-то вѣдь ничего быть не можетъ.

Докторъ промолчалъ.

— Ну, вотъ. А говорите: *умный человѣкъ* онъ; какой ужъ тутъ умъ.

— Эхъ-ма хма!—протянулъ, немного помолчавъ и глубоко вздохнувъ, Стрепетовъ: — какіе-то соціалисты, да клубисты! Бѣдная ты, наша матушка Русь. Съ такими опекунами да помощниками не скоро ты свою муштру отмуштруешь.

— Ну, а эти мокроногія у васъ при какихъ же должностяхъ?

— Вы говорите о...

— Ну, о вашихъ француженкахъ-то.

— Ни при какихъ, мнѣ кажется. Болтаютъ и только.

— Экія сороки! Нѣтъ, ей-ей, право, это начальство совсѣмъ безъ сердца. Ну, что бы такое хоть одну изъ нихъ попугать; взять бы, да попугать блохъ-то.

— Да взять-то не за что.

— Да такъ, изъ вѣжливости, а то бьются, бьются бабы, и никакого имъ поощренія нѣтъ.

Докторъ улыбнулся и самъ генералъ не выдержалъ, разсмѣялся.

— Зачѣмъ же вы, господа, раскольниковъ-то путаете?— началъ Стрепетовъ.—Ну, помилуйте скажите: есть ли тутъ смыслъ? Ну, что общаго, напримѣръ, скажемъ, хоть съ этими вашими сойгами у русскаго человѣка?

— Мнѣ кажется, ихъ не мѣшаютъ.

— А книженки на Волгу черезъ кого посылали?

Докторъ недоумѣвалъ.

— Вы полагаете, что я этого не знаю. Слухомъ, батюшка, земля полнится. Я съ-диву дался, узнавши это. Вчера ихъ мужики только отколотили при всемъ честномъ народѣ, а они опять съ ними заигрываютъ.

— Я ни о чемъ такомъ не имѣю никакого понятія,— проговорилъ Розановъ.

Стрепетовъ зорко посмотрѣлъ на него исподлобья и проговорилъ:

— Какъ же-съ, какъ же! Илья Артамоновичъ всю эту кладь въ воду спустилъ.

— Бросилъ книжки въ воду?

— Бросилъ-съ.

— Въ обществѣ полагаютъ, что раскольники недовольный элементъ.

— А вы какъ полагаете, господинъ докторъ?

— И я такъ же думаю.

— И думаете, что они пойдутъ войною противъ царя?

— Нѣтъ, я этого не думаю.

— То-то и есть: вы вѣдь живали въ народѣ, вамъ стыдно не знать его; ну, какой же онъ революціонеръ? Эхъ, господа! господа!

— Мнѣ будетъ странно говорить вамъ, Александръ Павловичъ, что я, вѣдь, самъ опальный. Я безъ мало почти то же самое часто разсказываю. До студентской исторіи я вѣрилъ въ общественное сочувствіе; а съ тѣхъ поръ я вижу, что все это сочувствіе есть одна модная фраза.

— И умно дѣлаете. Затѣмъ-то я васъ и позвалъ къ себѣ. Я старый солдатъ; мнѣ, можетъ-быть (извините меня), съ *революціонерами* и говорить бы, пожалуй, не слѣдовало. Но пусть каждый думаетъ, кто какъ хочетъ, а я по-своему всегда думалъ и буду думать. Молодежь есть наше упованіе и надежда Россіи. Къ такому положенію нельзя оставаться равнодушнымъ. Ихъ жалко. Я не говорю объ университетскихъ исторіяхъ. Тутъ что жъ говорить! Тутъ говорить нечего. А есть, говорятъ, другія затѣи...

Генералъ вдругъ остановился и проницательно посмотрѣлъ въ глаза доктору. Тотъ выдержалъ этотъ взглядъ спокойно.

— Вѣдь все вздоры какіе-то.

— Это ясно,—проговорилъ докторъ.

— Да какъ же не ясно? Надо изъ ума выжить, чтобъ не видать, что все это безуміе. Изъ раскольниковъ, смирнѣйшихъ людей въ мірѣ, которымъ дай только право молиться свободно, да вѣрить по-своему, революціонеровъ посочинили. Тутъ... вонъ... общину въ коммуну перетолковали: сумасшествіе, да и только! Недостаетъ, чтобъ еще въ храмѣ Божіемъ манифестацію сдѣлали: разныя этакія афиши, что ли, бросили... такъ народъ-то еще одинъ разъ кулаки почешетъ.

Генералъ опять воззрился въ глаза доктора. Тому очень трудно было сохранить спокойствіе, но онъ сохранилъ его, тоже какъ человѣкъ, который рѣшилъ, что онъ будетъ дѣлать.

— Дѣти!—произнесъ генералъ, и послѣ нѣкоторой паузы, началъ опять.—А вы вотъ что, господинъ докторъ! Вы ихъ тамъ болѣе или менѣе знаете, и всѣхъ ихъ поопытнѣе,

такъ вы должны вести себя честно, а не хромать на оба колѣна. Говорите имъ прямо въ глаза правду, пользуйтесь вашимъ положеніемъ... На вашей совѣсти будетъ, если вы имъ не воспользуетесь.

— Я принимаю вашъ совѣтъ и что могу сдѣлаю,—отвѣчалъ, подумавъ, Розановъ.

— Ну, давайте руку. Я очень радъ, что я въ васъ не ошибся. Теперь прощайте. Мы все переговорили и я усталъ: силы плохи.

Докторъ поднялся.

— Прощайте, — ласково сказалъ Стрепетовъ. — Богъ дастъ еще, можетъ-быть, увидимся, не на этомъ свѣтѣ, такъ на томъ.

Докторъ пожалъ протянутую ему старикомъ руку.

«Такъ вотъ вы какіе гуси! Кротами подъ землей роетесь, а наружу щепки летятъ. Нечего сказать, ловко дѣйствуете!» — подумалъ Розановъ и, не возвращаясь домой, нанялъ извозчика въ Лефортово.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Измѣна.

Было уже близко къ полуночи, когда Розановъ остановился въ Лефортовѣ у дома, гдѣ жилъ слѣдственный приставъ Нечай и Араповъ.

Долго докторъ дергалъ за веревку, прежде чѣмъ заспанный Антропъ Ивановичъ вышелъ и отперъ ему калитку.

Розановъ не зашелъ къ Нечаю, а прямо постучался въ квартиру Арапова. Босая Липка откинула дверной крючокъ и, впустивъ Розанова безъ всякаго опроса, бросилась опрометью на свой блошливый войлокъ.

Розановъ потрогалъ дверь араповскаго ложемента, — она была заперта. Не поднимая никакого шума, докторъ отперъ дверь своимъ ключомъ и, войдя, тотчасъ же заперъ за собою двери и не вынулъ ключа, такъ чтобы уже еще никто не могъ отпереть ее, а долженъ былъ бы постучаться.

Въ комнатахъ Арапова было тихо и темно. Только чуть-чуть на этой темнотѣ намѣчались туманныя пятна, обозначавшія мѣста оконъ.

Докторъ, пройдя первую комнату, кликнулъ вполголоса Арапова и Персіянцева; никто не отзывался. Онъ нащу-

палъ араповскую кровать и диванъ, — тоже никого нѣтъ. Розановъ толкнулъ дверь въ узенькій чуланчикъ. Изъ-подъ пола показалась свѣтлая линія. Наклонясь къ этой линіи, Розановъ взялся за желѣзное кольцо и приподнялъ люкъ погреба. Изъ творила на него пахнуло сыростью, а трепетный свѣтъ изъ ямы въ одно мгновеніе погасъ, и доктора окружила совершенная тьма и сверху, и снизу, и со всѣхъ сторонъ.

— Араповъ!—крикнулъ докторъ, наклонясь надъ открытымъ твориломъ.

Отвѣта не было.

— Араповъ! — произнесъ онъ во второй разъ. — Это я, Розановъ, и больше никого нѣтъ.

— Это вы, Дмитрій Петровичъ? — отозвался изъ ямы голосъ Персіянцева.

— Да я же, я,—откликнулся докторъ.

Вслѣдъ за тѣмъ, въ погребѣ черкнула фосфорная спичка, и опять освѣтилась и яма, и творило.

Докторъ полѣзъ въ яму.

Подземная картина была очень оригинальна.

Она помѣщалась въ узенькомъ, но довольно глубокомъ погребкѣ, какіе московское купечество весьма часто устраиваетъ въ отдаленныхъ комнатахъ своихъ домовъ для храненія винъ, мариновки, варенья и прочихъ вещей, до которыхъ не положено касаться наемной рукѣ, а за которыми ходитъ сама хозяйка, или ея дочь, или свояченица, или падчерица.

Въ дальнемъ углу, на кирпичномъ полу этого кирпичнаго погреба стоялъ на колѣняхъ Персіянцевъ. Передъ Персіянцевымъ лежалъ весьма небольшой литографическій камень, черепокъ съ типографской краской, кожаный валикъ, полоскательная чашка съ водою, губка и огромная грязная тряпка. На одной изъ прилаженныхъ по стѣнамъ полокъ можно было замѣтить кучку бумажныхъ листовъ маленькаго формата, такъ, менѣе чѣмъ въ осьмушку. Съ краевъ полокъ свѣшивалось и торчало много, много такихъ же клочковъ. На полу, въ углу, шагахъ въ трехъ отъ Персіянцева, свернувшись, лежалъ барсукъ.

Все это слабо освѣщалось одною стеариновою свѣчкою, стоявшею передъ литографическимъ камнемъ, за которымъ на корточкахъ сидѣлъ Персіянцевъ. — При этомъ слабомъ

освѣщеніи, совершенно исчезавшемъ на темныхъ стѣнахъ погреба, и только съ грѣхомъ пополамъ озарявшемъ камень и работника, молодой энтузіастъ какъ нельзя болѣе напоминалъ собою швабскаго поэта, обращеннаго хитростью Ураки въ мопса и обязаннаго кипятить горшокъ у вѣдьмы до тѣхъ поръ, пока его не размопситъ совершенно непорочная дѣвица.

При входѣ Розанова онъ разогнулся, поправилъ поясницу и сказалъ: «ухъ! работаю».

— А много ли сдѣлали?

— Да вотъ четвертую сотню качаемъ. Бумага паскудная такая, что мочи нѣтъ. Красная и желтая ничего еще, а эта синяя,—чортъ ее знаетъ,—вся подъ валокомъ крутится. Или опять и зеленая; вотъ и глядите, ни чорта на ней не выходитъ.

Персіянцевъ прокатилъ валькомъ.

— Мастеръ вы, видно, плохой,—сказалъ Розановъ.

— И у Арапова такъ точно выходило.

— А гдѣ Араповъ?

— Онъ въ городѣ долженъ быть.

— Что жъ, вы еще много будете печатать?

— Да, до пятисотъ надо добить. Только спать мочи нѣтъ хочется. Двѣ ночи не спалъ.

— То-то я и зашелъ: ложитесь, а я поработаю.

Персіянцевъ всталъ и зажегъ папироску.

Докторъ сѣлъ на его мѣсто, внимательно осмотрѣлъ камень, стеръ губкой, намазалъ его, потомъ положилъ листокъ и тиснулъ.

— Это пятно ужъ на всѣхъ есть? — спросилъ онъ Персіянцева, показывая оттискъ.

— На всѣхъ. Никакъ его нельзя было обойти на камнѣ.

— Ну, идите, спите спокойно. Ключъ тамъ въ двери; вы его и не вынимайте. Я не лягу спать, и если Араповъ вернется, услышу.

Персіянцевъ вышелъ изъ погреба и повалился на диванъ. Онъ былъ очень утомленъ и заснулъ въ ту же минуту.

По выходѣ Персіянцева, Розановъ, сидя на корточкахъ, опустилъ руки на колѣни и тяжело задумался. Въ погребъ уже болѣе часа долетали рулады, которыя вырабатывалъ носомъ и горломъ сонный Персіянцевъ; приготовленныя бумажки стали вянуть и съ уголковъ закручиваться; стеари-

новая свѣчка стала много ниже ростомъ, а Розановъ все находился въ своемъ столбняковомъ состояніи.

Это продолжалось еще и другой часъ, и третій. Свѣчи ужъ совсѣмъ оставалось намалѣ; ночь проходила.

Докторъ, наконецъ, очнулся и тихо сказалъ самъ себѣ:

— Нѣтъ, ничего все это не стоитъ.

Затѣмъ онъ спокойно всталъ, потеръ ладонями пересиженныя колѣни, собралъ всѣ отпечатанныя литографіи и приготовленные листки, сложилъ ихъ вмѣстѣ съ губкою и валькомъ въ большую тряпку и пронесъ мимо Персіянцева въ большую комнату. Здѣсь докторъ открылъ осторожно трубу, сунулъ въ печку все принесенное имъ изъ погреба и, набивъ туда еще нѣсколько старыхъ араповскихъ корректуръ, сжегъ все это и самымъ тщательнымъ образомъ перемѣшалъ пепелъ съ печною золою. Послѣ этой операціи Розановъ вернулся въ погребъ, подобралъ окурки папиросъ и всякій соръ, выкинулъ все это наверхъ, потомъ взялъ камень, вынесъ его наружу, опустилъ люкъ и опять, пройдя мимо крѣпко спавшаго Персіянцева, осторожно вышелъ изъ Араповской квартиры съ литографскимъ камнемъ подъ полою.

Дворъ уже былъ отпертъ и Антропъ Ивановичъ привязывалъ спущенную на ночь Алегру.

Докторъ долго шелъ пѣшкомъ, потомъ взялъ извозчика и поѣхалъ за Москву-рѣку.

На небѣ чуть сѣрѣло, и по улицамъ уже встрѣчались люди, но было еще темно.

У Москворѣцкаго моста Розановъ отпустилъ извозчика и пошелъ пѣшкомъ. Черезъ двѣ минуты что-то бухнуло въ воду и потонуло.

Два проходившіе мѣщанина оглянулись на доктора: онъ оглянулся на нихъ, и каждый пошелъ своею дорогою.

Съ моста докторъ взялъ переулкомъ налѣво и, встрѣтивъ другого извозчика, порядилъ его домой и поѣхалъ.

На дворѣ все еще не было настоящаго свѣта, а такъ только—сѣрѣлось.

ГЛАВЫ СЕМНАДЦАТАЯ и ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

На столѣ въ своей пріемной комнатѣ Розановъ нашелъ записку Арапова.

«Я, Бычковъ и Персіянцевъ были у васъ и всѣ втроемъ

будемъ снова въ 12-ть часовъ. Надѣюсь, что въ это время вы будете дома и потрудитесь на нѣсколько минутъ оставить свою постель. Мы имѣемъ къ вамъ дѣло».

Подписано: «А. А.»

По тону записки и торжественности разъѣздовъ въ трехъ лицахъ, Розановъ догадался, за какимъ объясненіемъ явятся Бычковъ, Персіянцевъ и Араповъ

Онъ посмотрѣлъ на свои часы, было четверть двѣнадцатаго.

Розановъ сѣлъ и распечаталъ конвертъ, лежавшій возлѣ записки Арапова. Это было письмо отъ его жены. Ольга Александровна въ своемъ письмѣ и лгала, и ползала, и бѣсилась. Розановъ все читалъ равнодушно, но при послѣднихъ строкахъ вскочилъ и поблѣднѣлъ. Письмо вдругъ переходило въ тонъ исключительно нѣжный и заключалось выраженіемъ рѣшительнѣйшаго намѣренія Ольги Александровны въ самомъ непродолжительномъ времени прибыть въ Москву для совмѣстнаго сожительства съ мужемъ, на томъ основаніи, что онъ ей мужъ и что она еще надѣется на его исправленіе.

— Еще мало!—произнесъ, опускаясь на стулъ Розановъ, и, дѣйствительно, этого было еще мало, даже на сегодня этого было мало.

У дверей Розанова послышался лошадиный топотъ.

Это вваливали Араповъ, Бычковъ и Персіянцевъ.

Впереди всѣхъ шелъ Араповъ.

Огонь горѣлъ въ его очахъ,
И шерсть на немъ щетиной зрилась.

За нимъ съ простодушно-кровожаднымъ рыломъ двигался въ-развалъ Бычковъ, въ огромныхъ ботикахъ и спущенной съ плечъ шинели, а за ними дѣвственный Персіянцевъ.

Вошедшіе не поклонились Розанову и не протянули ему рукъ, а остановились молча у стола, за которымъ его застали.

— Господинъ Розановъ, вы уничтожили въ самомъ началѣ общее дѣло, вы злоупотребляли нашимъ довѣріемъ.

— Да, я это сдѣлалъ.

— Зачѣмъ же вы это сдѣлали?

— Затѣмъ, чтобы всѣхъ васъ не послали понапрасну въ каторгу.

Араповъ постоялъ молча и потомъ, обратясь къ Бычкову и Персіянцеву, произнесъ:

— Разговаривать болѣе нечего; господинъ Розановъ врагъ нашъ и человѣкъ достойный всякаго презрѣнія. Господинъ Розановъ!—добавилъ онъ, обратясь къ нему:—вы человѣкъ, съ которымъ мы отнынѣ не желаемъ имѣть ничего общаго.

— Сердечно радуюсь,—отвѣтилъ Розановъ.

Араповъ завернулся и пошелъ къ двери. За нимъ слѣдовали Бычковъ и воздыхающій Персіянцевъ.

— Что это за таинственные посѣтители? — спросилъ, входя къ Розанову, Лобачевскій, изъ комнаты котораго чрезъ двери былъ слышенъ этотъ разговоръ.

— Это мои знакомые,—отвѣчалъ сквозь зубы Розановъ.

— Съ которыми вы строили планы?—самымъ серьезнымъ тономъ спросилъ Лобачевскій.

Розанову стало очень совѣстно; всѣ его московскія похожденія представились ему какъ на ладони.

«Гдѣ же умъ былъ?» — спрашивалъ онъ себя, шагая по комнатѣ.

«Бросилъ одну прорву, попалъ въ другую, и все это даже не жалко, а только смѣшно и для моихъ лѣтъ непростительно глупо. Вонъ диссертація валяется... а дома Варинька...»

Тутъ опять ему припоминался труженикъ Нечай, съ его нескончаемою работою и спокойнымъ презрѣніемъ къ либеральному шутовству, а потомъ этотъ спокойно слѣдящій за нимъ глазами Лобачевскій, весь сколоченный изъ трудолюбія, любознательности и настойчивости; Лобачевскій, не удостоивающій эту суету даже и нечаевскаго презрительнаго отзыва, а просто игнорирующій ее, не дающій Араповымъ, Баралямъ, Бычковымъ и tutti frutti даже никакого мѣста и значенія въ общей экономіи общественной жизни.

Лобачевскій долго слѣдилъ за Розановымъ, и въ его спокойныхъ сѣрыхъ глазахъ даже засвѣтилось какое-то сожалѣніе къ Розанову, душевныя терзанія котораго ясно отражались на его подвижномъ лицѣ.

Наконецъ Лобачевскій всталъ, молча зажегъ свою свѣчку и, молча протянувъ Розанову свою руку, отправился въ свою комнату. А Розановъ проходилъ почти цѣлую зимнюю

ночь и только передъ разсвѣтомъ забылся непріятнымъ, тревожнымъ сномъ, нисходящимъ къ человѣку послѣ сильнаго потрясенія его оскорбленіями и мучительнымъ сознаніемъ собственныхъ промаховъ, отнимающихъ у очень нервныхъ и нетерпѣливыхъ людей вѣру въ себя и въ собственный свой умъ.

Розанову сдавалось, что Лобачевскій, выходя отъ него, проговорилъ въ себѣ: «пустой вы человѣкъ, мой милый», и это очень щипало его за сердце.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Различныя послѣдствія тяжелаго дня.

Араповъ съ Бычковымъ и Персіянцевымъ, несмотря на поздній ночной часъ, не поѣхали отъ Розанова домой, а отправились къ маркизѣ. Они хорошо знали, что тамъ обыкновенно засиживаются далеко за полночь и позднее ихъ прибытіе никого не потревожитъ, а къ тому же бурный водоворотъ признаваемыхъ этимъ кружкомъ политическихъ событій разрѣшалъ всѣхъ членовъ этого кружка отъ многихъ стѣсненій.

Маркиза еще не спала; у нея была Лиза и всѣ пять углекислыхъ фей.

Араповъ, торопливо поздоровавшись со всѣми, тотчасъ же попросилъ маркизу въ сторонку. Здѣсь онъ эффектно сообщилъ ей, по секрету, что Розановъ и Райнеръ шпіоны, что ихъ нужно остерегаться и что теперь, когда они открыты и разоблачены, отъ нихъ можно ожидать всего.

Маркиза вскудахталась, взяла Рогнѣду Романовну и ей пошептала, потомъ Серафиму Романовну, — той пошептала; потомъ третьей, четвертой и такъ далѣе, всѣмъ по секрету и, наконецъ, вышло, что ужъ секретничать нечего.

— Га! га-аа! ггааха!—раздавалось по комнатѣ.

Лиза вспыхнула; она жарко вступилась за Розанова и смѣло настаивала, что этого не можетъ быть. Ей не очень вѣрили, но все-таки она въ значительной мѣрѣ противодѣйствовала безапелляціонному обвиненію Райнера и Розанова въ шпіонствѣ.

Маркиза ужъ колебалась. Ей очень нравилась «опасность», но она была слишкомъ честна для того, чтобы играть чужимъ именемъ изъ одной прихоти.

— Вы, мой другъ, не знаете, какъ они хитры,—только

говорила она, обобщая фактъ.—Они меня какими людьми окружали?.. Ггга! Я это знаю... а потомъ оказывалось, что это все ихъ шпіоны. Вонъ Корней человѣкъ или Оничкинъ Прохоръ, кто ихъ знаетъ,—пожалуй, все шпіоны,—я даже увѣрена, что они шпіоны.

— Да вы знаете, ужъ если на то пошло, то Розановъ съ Райнеромъ сегодня осуждены нами, — произнесъ торжественно Араповъ.

— Каааакъ!—вспрыгнула маркиза.

— Такъ-съ; они ни больше, ни меньше, какъ выдали студента Богатырева, котораго увезли въ Петербургъ въ крѣпость; передавали все, что слышали на сходкахъ и въ домахъ, и, наконецъ, Розановъ укралъ, да-съ, укралъ у меня вещи, которыя, вѣроятно, сведутъ меня, Персіянцева и еще кого-нибудь въ каторжную работу. Но тутъ дѣло не о насъ. Мы люди, давно обреченные на гибель, а онъ убилъ этимъ все дѣло.

— Гггааа! и такіе люди были у меня! И я въ моемъ домѣ принимала такихъ людей!—вопила маркиза, закрывая рукою свой лобъ.—Гдѣ Оничка?

Оказалось, что Онички нѣтъ дома. У маркизы сдѣлалась лихорадка; феи уложили ее въ постель, укутали и сѣли по сторонамъ кровати; Лиза поѣхала домой, Араповъ пошелъ ночевать къ Бычкову, а Персіянцева упросилъ слетать завтра утромъ въ Лефортово и привезти ему, Арапову, оставленныя имъ на столѣ корректуры.

Маркиза всю ночь вскрикивала:

— Обыскъ? а! идутъ? Ну, такъ что жъ такое?

При этомъ она дергалась и стучала зубами.

— Это убьетъ ее!—говорили феи.

Лиза возвратилась домой, сѣла въ ногахъ своей кровати и такъ просидѣла до самаго утра: въ ней шла сильная нравственная ломка.

Утромъ, выйдя къ чаю, Лиза чувствовала, что бо́льшая часть разрушительной работы въ ней кончена, и когда ей подали письмо Женни, въ которомъ та, съ своимъ всегдашнимъ добродушіемъ, освѣдомлялась о Розановѣ, Лиза почувствовала что-то гадкое, въ родѣ непріятнаго напоминанія о прошлой глупости.

Такъ кончилось прежде начала то чувство, которое могло бы, можетъ-быть, во что-нибудь сформироваться, если бы

внутренній міръ Лизы не раздвигался, ослабляя прежнюю почву, въ которой держалось нѣкоторое вниманіе къ Розапову, начавшееся на провинціальномъ безлюдьѣ.

Маркизинъ кружокъ не былъ для Лизы тѣмъ высокимъ міромъ, къ которому она стремилась, гадя людьми къ ней близкими со дня ея выхода изъ института, но все-таки этотъ міръ заинтересовалъ ее, и она многаго отъ него ожидала.

«Шпіонъ!—думала Лиза.—Ну, это навѣрно какой-нибудь вздоръ; но онъ трусъ, мелкій и пустой, робкій, ничтожный человѣкъ,—это ясно.»

Персіянцевъ на другой день утромъ пріѣхалъ къ Бычкову безъ лица.

Никакихъ корректуръ на столѣ Арапова онъ не нашелъ, но привезъ ему вальяжную новость.

— У васъ ночью былъ обыскъ,—сказалъ онъ Арапову, который при этомъ извѣстіи привскочилъ на диванѣ и поблѣднѣлъ пуще Персіянцева.

— Ну?—произнесъ онъ робко.

— Ну, и ничего.

— Ничего не нашли?

— Ничего: да что жъ было находить!

Араповъ смотрѣлъ то на Бычкова, то на Персіянцева.

— И что же еще?—спросилъ онъ, совсѣмъ теряясь.

— Только всего: васъ спрашивали.

— Спрашивали?

— Спрашивали.

— Меня? меня?

— Ну да, васъ.

— А васъ?

— А меня не спрашивали.

— А его?

Араповъ указалъ на Бычкова.

— И его не спрашивали,—отвѣчалъ Персіянцевъ.

— Да меня съ какой же кстати?—какъ-то отчуждающимся тономъ произнесъ Бычковъ.

— Эко, братъ, «съ какой кстати»! «съ какой кстати»! будутъ они «тебѣ» стать разбирать,—совершенно другимъ, какимъ-то привлекающимъ тономъ возразилъ Араповъ.

— Ну, какъ же! Такъ и чирій не сядетъ, а все почесать прежде надо, — отрекался Бычковъ.

— А Розанова спрашивали?—отнесся Араповъ къ Персіянцеву.

— Зачѣмъ же Розанова? Нѣтъ, никого, кромѣ васъ, по спрашивали.

— Возьмутъ?—произнесъ Араповъ, глядя на Бычкова и на Персіянцева.

— Вѣроятно,—отвѣчалъ Бычковъ.

— Теперь мнѣ отсюда и выйти нельзя.

— Да ужъ не отсидишься. А по-моему иди лучше самъ.

— Какъ самъ? Чортъ знаетъ, что̀ ты выдумываешь! Съ какой кстати я пойду самъ? Ни за что я самъ не пойду.

— Такъ поведутъ.

— Ну, ужъ пусть ведутъ, а самъ я не пойду. Лучше вотъ что,—началъ онъ:—лучше слетайте вы, милый Персіянцевъ...

— Куда?—спросилъ тотъ, пыхнувъ своей трубочкой.

— Въ Лефортово опять, спросите тамъ Нечая, знаете, полицейскаго, что живетъ наверху.

— Ну, знаю.

— Попросите его развѣдать обо мнѣ и пріѣзжайте скорѣе сюда.

Персіянцевъ ушелъ.

Араповъ посмотрѣлъ на Бычкова, который спокойно стоялъ у окна, раздувая свои щеки и подрѣзывая перочиннымъ ножичкомъ застывшее на рукавѣ халата пятнышко стеарина.

«У! у! скотина жестокая!»—подумалъ Араповъ, глядя на тщательную работу Бычкова, а тотъ какъ будто услыхалъ это, тотчасъ же вышелъ за двери и, взявъ въ другой комнатѣ своего ребенка, запѣлъ съ нимъ:

«Ципки, ципки, ципки, ципки,
Ципки, ципки, ципки»,

а потомъ

«Та-та-ри, Та-та-ри,
Та-та-ри-ри».

Араповъ завернулся, поскребъ себя ногтями по лѣвому боку и жалостно охнулъ.

Болѣе полутора часа пролежалъ въ такомъ положеніи одинъ-одинёшенекъ бѣдный корректоръ. Никто къ нему не входилъ въ комнату, никто о немъ не понавѣдался: хозяина и слуха и духа не было.

Наконецъ дверь отворилась: Араповъ судорожно приподнялся и увидѣлъ Персіянцева.

— Ну, что?—спросилъ онъ въ одно и то же время робко и торопливо.

— Ничего,—все хорошо.

— Ну!—вскрикнулъ, привскочивъ, обрадованный Араповъ.

— У васъ ничего подозрительнаго не нашли, и на томъ дѣло и кончено. Только одно подозрѣніе было.

Араповъ всталъ и началъ скоро одѣваться.

— Ничего! — радостно произнесъ онъ навстрѣчу входившему Бычкову, съ которымъ они только что наблюдали другъ друга безъ масокъ. — Подозрѣніе было, и теперь все кончено. Хорошо, что я дома не ночевалъ, а то, чортъ возьми, напрасно бы сцена могла выйти: я бы ихъ всѣхъ въ шею.

— Поблагодари лучше Розанова,—замѣтилъ Бычковъ.

— Да, — но, впрочемъ, нѣтъ. При мнѣ бы ничего; я бы не допустилъ.

— Въ погребѣ были. Прямо туда и пошли, — произнесъ Персіянцевъ.

Араповъ опять отупѣлъ.

— Однако, указаньица вѣрныя были, — проронилъ, помолчавъ, Бычковъ.

Араповъ съ Персіянцевымъ вышли и разстались за воротами: Араповъ уѣхалъ въ Лефортово; Персіянцевъ пошелъ къ себѣ.

— Арапка! — крикнула Давыдовская, входя вслѣдъ за корректоромъ въ его комнаты.—А у тебя ночью гости были.

— Знаю-съ,—мрачно отвѣчалъ Араповъ.

— Цѣлое маркобрунство.

— Знаю-съ, знаю. А вы бы, Прасковья Ивановна, могли не допустить до обыска: безъ хозяина квартиры обыскивать не позволено.

— Ахъ, батюшка Аника воинъ, не ширись такъ, сдѣлай свое одолженіе! Ты прежде разспроси, мало ли я тутъ съ ними страженія имѣла: я, можетъ-быть, горло все надсадила. Го-го-го! не бойся, будутъ помнить. Я, говорю, знаю такихъ лицъ, къ которымъ васъ и въ переднюю-то не пустятъ. Ко мнѣ, говорю, самъ князь ѣзжалъ, по три графина холодной воды выпивалъ, возлѣ меня сидя. — А то я ихъ, маркобруновъ, бояться стану! Но вѣдь ни-

чего нельзя сдѣлать, — нахрапомъ лѣзутъ: позвали Нечая, сосѣда Ларивонова, дворника Антропа Иванова и пошли шарить.

— Чего они искали?

— Не сказали; я спрашивала—не сказали. Ревизію, говорятъ, имѣемъ предписаніе произвести. Ну, да ужъ за то скажу тебѣ, Арапка, и смѣху жъ было! Только спустились двое хожалыхъ въ погребъ, смотримъ, летятъ оба. «Ай! ай! тамъ чортъ, говорятъ, сидитъ». Смотрю, у одного всѣ штаны такъ и располосованы. Впотьмахъ-то, дуракъ, на твоего барсука налѣзъ. Много хохотали послѣ.

— Гм!—крякнулъ Араповъ:—а вы вотъ что, Прасковья Ивановна, вы велите Антропу, если ко мнѣ покажется этотъ маленькій жидокъ, что у меня перепиской занимался, такъ въ шею его. Понимаете: отъ воротъ прямо въ шею.

— Хорошо.

— И другихъ тоже.

— Всѣхъ гнать?

— Въ шею, отъ воротъ и въ шею. Никого ко мнѣ не пускать.

Оставшись одинъ, Араповъ покусалъ губы, пожалъ лобъ, потомъ вошелъ въ чуланчикъ, взялъ съ полки какую-то ничтожную бумажку и разорвалъ ее; наконецъ, снялъ со стѣны висѣвшій надъ кроватью револьверъ и остановился, смотря то на окно комнаты, то на дуло пистолета.

Въ такомъ колебаніи прошло нѣсколько минутъ: въ глазахъ Арапова выражалась совершенная потерянность.

Однако онъ, наконецъ, сдѣлалъ рѣшительный шагъ, вошелъ въ чуланчикъ, открылъ погребъ, сталъ на самый край чернаго квадрата, обозначавшаго поднятое творило, и взялъ пистолетъ въ правую руку.

Черезъ нѣсколько секундъ раздался выстрѣлъ, послѣ котораго въ погребѣ послышался отчаянный визгъ боли и испуга. Цѣпь громыхнула, дернулась и въ это же время послышался крикъ Арапова, опять визгъ; еще пять одинъ за другимъ въ мгновеніе ока послѣдовавшихъ выстрѣловъ, и Араповъ, блѣдный и растрепанный, съ лѣвою ладонью у сердца и съ теплымъ пистолетомъ въ правой рукѣ выбѣжалъ изъ чулана.

Онъ напоминалъ собою Макбета болѣе, чѣмъ всѣ современные актеры, терзающіе Шекспира, и это ему было

тѣмъ легче, что тутъ онъ не «игралъ изъ себя комедіи», какъ говорила жена Нечая, а дѣйствительно былъ объятъ страшнымъ ужасомъ и, выронивъ пистолетъ, тяжело рухнулся на полъ въ сильномъ обморокѣ, закончившемъ его безумство.

Барсукъ былъ убитъ наповалъ, и очнувшійся къ вечеру Араповъ самъ не понималъ, зачѣмъ онъ убилъ бѣднаго звѣря.

Хожалый былъ отомщенъ. Барсукъ былъ облитъ кровью, а самъ Араповъ заставлялъ жалѣть, что въ теченіе этихъ трехъ или четырехъ часовъ его жизни не могъ наблюдать хоть Розановъ, для своей психіатрической диссертаціи, или великій драматическій талантъ, для типическаго созданія героя современной комедіи.

Розановъ писалъ свою диссертацію. Недѣля шла за недѣлей и уже приближались рождественскіе праздники, а Розановъ не дѣлалъ ни шагу за ворота больницы. Онъ очень хорошо зналъ, что слухи о его «подлости» и «шпіонствѣ» непремѣнно достигли до всѣхъ его знакомыхъ, и сначала не хотѣлъ идти никуда, чтобъ и людей не волновать своимъ появленіемъ, и себя не подвергать еще длинному ряду незаслуженныхъ оскорбленій. Оправдываться же онъ не могъ. Во-первыхъ, все это было ему до такой степени больно, что онъ не находилъ въ себѣ силы съ должнымъ хладнокровіемъ опровергать взведенныя на него обвиненія, а во-вторыхъ, что же онъ и могъ сказать? Одни обвиненія были просто голословныя клеветы или подозрѣнія, для опроверженія которыхъ нельзя было подыскать никакихъ доказательствъ, а другихъ нельзя было опровергать, не подводя нѣкоторыхъ людей прямо къ неминуемой тяжелой отвѣтственности. Докторъ не хотѣлъ купить этою цѣною возстановленіе своей репутаціи и молчалъ, сидя безвыходно дома и трудясь надъ своей диссертаціей. Единственнымъ отдыхомъ ему была бесѣда съ Лобачевскимъ, который оставался съ Розановымъ въ прежнихъ, неизмѣнно хорошихъ, не то что пріятельскихъ, а товарищескихъ отношеніяхъ. Но, несмотря на то, что въ этихъ отношеніяхъ не было ни особенной теплоты, ни знаковъ нѣжнаго сочувствія, они дѣйствовали на Розанова чрезвычайно успокоительно и до такой степени благотворно, что ему стало казаться, будто онъ еще никогда не былъ такъ хорошо пристроенъ, какъ

нынче. Въ этакомъ-то положеніи онъ работалъ, забывъ о всей Москвѣ и самъ забытый, повидимому, всею Москвою.

Мало-по-малу Розановъ такъ освоился съ своимъ положеніемъ, что ужъ и не думалъ о возобновленіи своихъ знакомствъ и даже находилъ это окончательно неудобнымъ.

Диссертація подвигалась довольно успѣшно, и Лобачевскій былъ ею очень доволенъ, хотя нѣсколько и подтрунивалъ надъ Розановымъ, утверждая, что его диссертація болѣе художественное произведеніе, чѣмъ диссертація. «Она, такъ сказать, *пріятная* диссертація», говорилъ онъ, добавляя, что «впрочемъ, ничего; для медицинскаго поэта весьма одобрительна».

Розановъ шелъ скоро и написалъ болѣе половины.

Кромѣ Лобачевскаго, его два или три раза посѣщалъ Парменъ Семеновичъ, вообразившій, что у него либо восса, либо волосъ въ пяткѣ.

— Свербитъ мочи нѣтъ, — говорилъ онъ: — бабка выливала, и волосъ шелъ по водѣ, а опять точитъ.

Лобачевскій съ Розановымъ лѣчили Пармена Семеновича для его утѣхи, а сами для своей потѣхи всѣ втроемъ травили другъ друга. Парменъ Семеновичъ въ это время вообще глумился надъ медициной. Въ это время его супруга нашла магнетизера.

— Щупаетъ,—говорилъ Парменъ Семеновичъ:—ни самъ ничѣмъ не дѣйствуетъ, ни изъ аптекъ не прописываетъ, а только все ее щупаетъ, просто руками щупаетъ и, хвалить Бога,—зримымъ веществомъ идетъ помощь.

Былъ и Адріанъ Николаевъ; навѣстить заѣхалъ и съ различными ужимками говорилъ Розанову, чтобъ онъ былъ покоенъ, что все пошло въ порядкѣ.

— Что такое пошло?—спросилъ удивленный Розановъ.

Центральный человѣкъ разсказалъ о бумагахъ, полученныхъ имъ для отсылки на Волгу.

— Батюшка мой! я и сномъ и духомъ не вѣдаю!—отвѣчалъ Розановъ.

Адріанъ Николаевъ успокоивалъ его, что это ничего и, наконецъ, пересталъ спорить и возымѣлъ о Розановѣ сугубо выгодное понятіе, какъ о человѣкѣ «остромъ», осторожномъ.

Розановъ никакъ не могъ додумать, что это за штука, и теперь ему стали понятны слова Стрепетова; но какъ

дѣло уже было кончено, то Розановъ такъ это и бросилъ. Ему ужасно тяжело и непріятно было возвращаться къ памятникамъ прошедшаго, кипучаго періода его московской жизни.

О томъ, что дѣлалось въ кружкѣ его прежнихъ знакомыхъ, онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія: всѣ связи его съ людьми этого кружка были разорваны; но, тѣмъ не менѣе, Розанову иногда сдавалось, что тамъ, вѣроятно, что-нибудь чудотворятъ и суетятъ суету.

Розановъ въ этомъ ошибался; нашъ знакомый кружокъ вдругъ не разошелся, а просто какъ-то разсыпался. Люди не узнавали себя. Самъ Розановъ, вызывавшій нѣкогда Илью Муромца съ булавой стопудовою, не замѣчалъ, какъ онъ перешелъ далеко за свой радикализмъ, но оправдывалъ себя только тѣмъ, что именно нуженъ былъ Илья Муромецъ, а безъ Ильи Муромца и дѣлать нечего. Фіаско, погрозившее опрометчивымъ попыткамъ сдѣлать что-то безъ ясно опредѣленнаго плана, безъ средствъ и безъ общественнаго сочувствія, вдругъ отрезвило большинство людей этого кружка.

Все это не объяснялось, не разошлось, вслѣдствіе формальнаго разлада, а такъ бросило то, что еще такъ недавно считало своимъ главнымъ дѣломъ, и сидѣло по своимъ норамъ. Нѣкоторые, впрочемъ, сидѣли и не въ своихъ норахъ, но изъ нашихъ знакомыхъ эта доля выпала только Персіянцеву, который былъ взятъ тотчасъ по возвращеніи домой, въ тотъ день, когда Араповъ разстрѣлялъ своего барсука, а Бычковъ увлекся впервые родительскою нѣжностью къ отрасли своего естественнаго брака.

Въ Лизѣ эта возбужденность не ослабѣвала ни на минуту. Она, напротивъ, только укрѣплялась въ своихъ убѣжденіяхъ о необходимости радикальнаго перелома и, не заходя въ вопросъ глубоко и практически, ждала разрѣшенія его горстью людей, не похожихъ на всѣ тѣ личности, которыя утомляли и въ провинціи, и на тѣ, которыя сначала обошли ее либеральными фразами въ Москвѣ, открывъ всю внутреннюю пустоту и безсодержательность своихъ натуръ. Послѣ смиренства, налегшаго на этотъ кружокъ съ арестомъ кроткаго Персіянцева, взявшаго на себя грѣхи сумасбродства своего кружка, и нѣсколько скандальнаго возвращенія Сережи Богатырева изъ рязанской деревни, передъ Лизою

какъ-то вдругъ обнажилась вся комическая сторона этого дѣла. Но, несмотря на это, Лиза все-таки продолжала навѣщать маркизу, ожидая, что не можетъ же быть, чтобы столь либеральный кружокъ такъ-таки выходилъ совсѣмъ *ничего*. Дни шли за днями; домъ маркизинъ замѣтно пустѣлъ, феи хотя продолжали презрительно говорить объ одной партіи, но столь же презрительно, и даже еще болѣе презрительно, отзывались и о другой. Особенно часто былъ терзаемъ Бычковъ и нѣкая дѣвица Бертольди. Эта «стриженая дѣвка», какъ ее называла маркиза въ своихъ бурно-пламенныхъ очистительныхъ критикахъ, выходила какимъ-то чортомъ, какимъ-то вреднымъ общественнымъ наростомъ, какимъ-то полипомъ, который непремѣнно надо взять и съ корнемъ вырвать изъ общественнаго организма и выжечь раскаленнымъ желѣзомъ самое мѣсто, на которомъ этотъ полипъ гнѣздится.

— Иначе,—говорила маркиза:—эта монтаньярская гидра разсадится по лицу земли русской и погубитъ насъ въ Россіи, какъ она погубила насъ во Франціи.

А какъ собственно феи ничего не дѣлали и даже не умѣли сказать, что̀ бы такое именно, по ихъ соображеніямъ, слѣдовало обществу начать дѣлать, то Лиза, слушая въ сотый разъ ихъ анаѳематство надъ дѣвицей Бертольди, подумала: «Ну, это, однако, было бы не совсѣмъ худо, если бы въ числѣ прочей мелочи могли бы смести и васъ». И Бертольди стала занимать Лизу.—«Это совсѣмъ новый закалъ, должно быть, — думала она, — очень интересно бы посмотрѣть, что̀ это такое».

Лиза даже какъ-то постарѣла и пожелтѣла, ее мучили тоска, бездѣйствіе и безлюдье. Розановъ оправдался, не произнося ни одного слова въ свое оправданіе. Его оправдалъ Персіянцевъ,—который, идучи домой отъ Бычкова, въ послѣдній день своей свободы, встрѣтилъ Рогнѣду Романовну и разсказалъ ей исторі съ Араповымъ, прибавивъ, что «насъ всѣхъ спасъ Розановъ».

Его только, бѣдняжку, не спасло розановское благоразуміе. Чистый и фанатически преданный дѣлу Персіянцевъ несъ на себѣ всю опасность предпріятія, и такъ неловко обставился въ своей маленькой комнаткѣ, что ему, застигнутому врасплохъ, не было никакого спасенія. Онъ и не спасся.

Но еще болѣе оправдало Розанова возвращеніе Сережи

Богатырева изъ деревни. Это было такъ смѣшно, что ужъ никто не позволялъ себѣ и заикнуться насчетъ Розанова.

Шпіономъ остался одинъ Райнеръ.

Углекислый либерализмъ поступалъ иначе. Дорожа правомъ говорить о своемъ безпристрастіи и другихъ качествахъ, отличающихъ людей высшаго развитія, онъ торжественно возстановилъ доброе имя Розанова и напрасно тотъ избѣгалъ встрѣчъ съ углекислыми: здѣсь ему готовы были честь и мѣсто.

Но мнѣнія углекислыхъ не уходили дальше своей сферы и если бы они даже вышли за предѣлы ея, то не принесли бы этимъ никакой пользы для Розанова, а только были бы новымъ поводомъ къ вящшимъ для него обвиненіямъ. Бѣлые были въ это время жертвами искупленія общей глупости.

На Лизу, впрочемъ, все это очень мало вліяло. Она знала и безъ того, что обвиненія, взводимыя на Розанова, чистѣйшій вздоръ, но Розановъ ей былъ совсѣмъ чужой человѣкъ и жалкая, досадившая ей «*посредственность*». И потому она не понимала, какъ этотъ человѣкъ, бывшій въ уѣздной глуши радикаломъ, здѣсь сталъ вдругъ удерживать другихъ отъ крушительной работы Ильи Муромца. Когда одинъ разъ Розановъ прислалъ ей со сторожемъ деньги, занятыя имъ у нея предъ отъѣздомъ въ Москву, она равнодушно прочла его вѣжливую записочку, надписала на своей карточкѣ «получила и благодарю», и только.

Старикъ Бахаревъ не выѣзжалъ: у него обнаружились признаки каменной болѣзни; у Софи наклевывались женишки, но какъ-то все только наклевывались, а изъ скорлупы не вылѣзали.

Лиза желтѣла и становилась чрезвычайно раздражительная. Она сама это замѣчала, большую часть дня сидѣла въ своей комнатѣ и только предъ обѣдомъ выходила гулять неподалеку отъ дома.

Изъ Петербурга получилось извѣстіе, что Пархоменко также нашелъ себѣ казенную квартиру, о Райнерѣ не было ни слуха, ни духа. Одни утверждали, что онъ въ Петербургѣ, но что его нельзя узнать, потому что онъ ходитъ переодѣтый, въ синихъ очкахъ и съ выкрашенными волосами; другіе утверждали, что видѣли Райнера въ Парижѣ, гдѣ онъ слоняется между русскими и всякій день ходитъ то въ парижскую префектуру, то въ наше посольство. На-

конецъ прошелъ слухъ, что Райнеръ вовсе не Райнеръ, а польскій жидъ Ренарскій. Нѣсколько пріятелей получали письма, пришедшія на имя Райнера, во время его отсутствія, распечатали ихъ и ничего въ нихъ не нашли, хотя, тѣмъ не менѣе, все-таки остались о немъ при своемъ мнѣніи. А Райнеръ, между тѣмъ, былъ на Рютли и обкладывалъ зеленымъ швейцарскимъ дерномъ свѣжую могилу своего отца. Затѣмъ онъ, собравъ окрестныхъ пауперовъ, сдалъ имъ свою ферму, выговоривъ себѣ только одни проценты на капиталъ, и сталъ спѣшно собираться въ Россію, къ своимъ политическимъ друзьямъ, требушившимъ здѣсь его письма.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Скоропостижная дама.

Неудачи въ это время падали на нашихъ знакомыхъ какъ періодическіе дожди: даже Лобачевскій не ушелъ отъ нихъ. Главный докторъ больницы рѣшительно отказалъ ему въ дозволеніи устроить при заведеніи приватную медицинскую школу для женщинъ. Сколько Лобачевскій его ни убѣждалъ, сколько ни упрашивалъ, нѣмецъ сталъ на своемъ—и баста.

Это ужасно огорчило Лобачевскаго, вообще неспособнаго отставать отъ того, за что онъ разъ взялся и что положилъ себѣ непремѣнною обязанностію, во что бы то ни стало, сдѣлать.

Онъ, не долго думая, объяснился съ Бекомъ, въ томъ родѣ, что такъ какъ онъ, Бекъ, не можетъ позволить ему, Лобачевскому, завести приватную медицинскую школу для женщинъ, которая никому и ничему мѣшать не можетъ, то, въ силу своего непреодолимаго влеченія къ этому дѣлу, онъ, Лобачевскій, не можетъ болѣе служить вмѣстѣ съ нимъ, Бекомъ, и проситъ отпуска.

Беку жаль было хорошаго ординатора, но еще болѣе жаль было бы ему своего хорошаго мѣста, и Лобачевскій получилъ отпускъ.

Проводивъ Лобачевскаго на двѣ недѣли въ Петербургъ, Розановъ сидѣлъ одинъ-одинёшенекъ и часто раздумывалъ о своемъ давно-прошедшемъ и недавно-прошедшемъ. Изъ этихъ думъ невольно вытекали вопросы о будущемъ. Розановъ никакъ не могъ сдѣлать ни одного болѣе или менѣе

вѣроятнаго предположенія о томъ, что̀ будетъ далѣе съ нимъ самимъ и съ его семействомъ? Сначала неопредѣленность собственнаго положенія, потомъ хлопотливая суета и ожиданія, вытекавшія изъ временной политической возбужденности кружка, удаляли Розанова отъ этихъ размышленій; но теперь, съ возвращеніемъ въ самого себя, онъ крѣпко задумывался.

«Ну, что жъ, — думалъ онъ, — ну, я здѣсь, а они тамъ; что жъ тутъ прочнаго и хорошаго. Конечно, все это лучше, чѣмъ быть вмѣстѣ и жить чортъ знаетъ какъ, а все же и такъ мало проку. Все кругомъ пустота какая-то... несносная пустота. Ничего, таки рѣшительно ничего впереди, кромѣ труда, труда и труда изъ-за одного насущнаго хлѣба. Ребенокъ?.. Да Богъ его знаетъ, что̀ и изъ него выйдетъ при такой обстановкѣ»,—думалъ докторъ, засыпая.

Часу въ четвертомъ его разбудили и подали ему телеграфную депешу: Ольга Александровна извѣщала его изъ ближайшаго губернскаго города, что она ѣдетъ и завтра будетъ въ Москвѣ.

Розановъ привскочилъ съ постели, протеръ глаза и опять взялъ брошенную на столѣ депешу: ясно и четко синимъ карандашомъ было написано: «Мы ѣдемъ къ вамъ съ попутчиками и завтра будемъ въ Москвѣ. Встрѣтьте насъ на Солянкѣ, домъ Рѣпина».

— Вотъ тебѣ и орѣхъ съ масломъ!—произнесъ Розановъ и сталъ поспѣшно одѣваться.

Надо было куда-нибудь пріютить ѣдущихъ, а въ тѣсной казенной квартиркѣ это было рѣшительно невозможно. Съ одной стороны здѣсь очень тѣсно, а съ другой... Ольга Александровна... Какъ за нее поручиться? А тутъ Лобачевскій, которому Розановъ даже никогда не говорилъ, что онъ женатъ. Не годится это. Розановъ вспомнилъ Нечаева, но это опять не подходило: тамъ тѣснота и дѣти, да и снова Ольга Александровна можетъ сразу выкинуть колѣно, которое развернетъ передъ чужими людьми то, что̀ Розановъ всегда старался тщательно скрывать и маскировать. Пойти къ Бахаревымъ! Эти ужъ болѣе или менѣе все знаютъ и отъ нихъ скрываться нечего. Розановъ, дождавшись утра, взялъ извозчика и поѣхалъ къ Бахаревымъ.

Дорогою Розановъ все смотрѣлъ на бумажки, означавшія свободныя квартиры, и думалъ, какъ бы это такъ устроиться,

чтобы подальше отъ людей; чтобы никто не видалъ никакихъ сценъ.

— А можетъ-быть теперь и сценъ никакихъ не будетъ: она пожила, упрыгалась, ѣдетъ сама, безъ зова... а я буду поравнодушнѣе, стану учить Варюшку...

Розанову даже становилось весело, и онъ, забывая всѣ тревоги, радовался, что черезъ нѣсколько часовъ онъ снова будетъ съ семьею, и потомъ пойдетъ тихая, осмысленная жизнь на пользу ребенка, и т. п.

Розанову это представлялось совершенно возможнымъ.

Бахаревыхъ докторъ засталъ за утреннимъ чаемъ и замѣтилъ, что всѣ они, кромѣ Лизы, были необыкновенно веселы. Это объяснилось тѣмъ, что маркиза сдѣлала визитъ Ольгѣ Сергѣевнѣ и, встрѣтясь здѣсь съ Варварой Ивановной Богатыревой, очень много говорила о себѣ, о людяхъ, которыхъ она знала, о преслѣдованіяхъ, которыя терпѣла отъ правительства въ теченіе всей своей жизни, и, наконецъ, объ обществѣ, въ которомъ она трудится на пользу просвѣщенія народа. Въ концѣ концовъ маркиза завербовала Богатыреву въ это полезное общество, сказавъ: «у меня все-таки будетъ на моей сторонѣ лишній голосъ», и уѣхала.

Визитъ этотъ былъ сдѣланъ въ тѣхъ соображеніяхъ, что нехорошо быть знакомой съ дочерью и не знать семейства. За окончаніемъ всего этого маркиза снова дѣлалась дамой, чтущей законы свѣта, и спѣшила обставить свои зады сообразно всѣмъ требованіямъ этихъ законовъ. Перваго же шага она не боялась, во-первыхъ, по своей добротѣ и взбалмошности, а во-вторыхъ и потому, что считала себя достаточно высоко поставленною для того, чтобы не подвергнуться обвиненіямъ въ искательствѣ.

Лизѣ отъ этого визита было ни жарко, ни холодно, но онъ ей былъ почему-то непріятенъ. Къ тому же, вѣтреная маркиза во время полуторачасового пребыванія у Бахаревыхъ, какъ нарочно, не удостоивала Лизу никакого вниманія и исключительно занималась съ Богатыревой, которая ей очень понравилась своимъ свѣтскимъ видомъ и положеніемъ.

Ольга Сергѣевна не замѣчала этого, но Варвара Ивановна это замѣтила и порѣшила, что маркиза сразу отличила ее какъ женщину, стоящую всѣмъ выше здѣшнихъ хозяевъ.

— А у насъ вчера была гостья!—начала, встрѣтивъ Розанова, Ольга Сергѣевна:—а какая—не отгадаете.

— А у меня завтра будутъ двѣ,—отвѣчалъ Розановъ.

— Кто жъ такія?

— Тоже не отгадаете.

Наконецъ, Ольга Сергѣевна похвалилась своею вчерашнею гостьею, похвалился и Розановъ своими завтрашними гостями.

— Умница Ольга Александровна, — сказала Ольга Сергѣевна.

— Да куда мнѣ ихъ дѣть-то-съ?

— Ну... развѣ мало квартиръ.

Лиза, выслушавшая весь этотъ разговоръ безъ всякаго участія, встала изъ-за стола и вышла въ гостиную.

Розановъ торопился и сталъ тотчасъ же прощаться.

— Прощайте, Лизавета Егоровна, — сказалъ онъ, входя съ фуражкою въ гостиную, гдѣ никого не было, кромѣ Лизы.

— Прощайте, — отвѣчала она, кладя книгу: — скажите, какъ же это случилось?

Розановъ разсказалъ о неожиданной депешѣ.

— Удивительно!—произнесла Лиза:—Что же вы теперь думаете дѣлать?

— Что же дѣлать: надо устраиваться и жить.

— Вмѣстѣ!—воскликнула Лиза.

— Да какъ же иначе?

— Вмѣстѣ! Вмѣстѣ съ женщиной, съ которой вы доходили до такихъ сценъ?

— Да что же дѣлать, Лизавета Егоровна?

— Что, вы думаете, этого здѣсь не повторится?

— Да ужъ теперь я могу смотрѣть на это равнодушнѣе.

— Нѣтъ, Дмитрій Петровичъ, извините, я въ хроническое равнодушіе не вѣрю.

— Да вѣдь нечего дѣлать: что же дѣлать-то, скажите?

Лиза отвѣчала:

— Ну, ужъ это вамъ больше знать, что̀ должно дѣлать.

Розановъ пожалъ плечами и простился.

Выходя, онъ думалъ: «только надо подальше отъ всѣхъ», и мимоходомъ нанялъ первую попавшуюся имъ квартиру въ четыре комнаты; купилъ у Сухаревой подержанную мебель, нанялъ дѣвушку и заказалъ топить, а на другой день, передъ вечеромъ, встрѣтилъ на дворѣ купца Рѣпина на

чтобы подальше отъ людей; чтобы никто не видалъ никакихъ сценъ.

— А можетъ-быть теперь и сценъ никакихъ не будетъ: она пожила, упрыгалась, ѣдетъ сама, безъ зова... а я буду поравнодушнѣе, стану учить Варюшку...

Розанову даже становилось весело, и онъ, забывая всѣ тревоги, радовался, что черезъ нѣсколько часовъ онъ снова будетъ съ семьею, и потомъ пойдетъ тихая, осмысленная жизнь на пользу ребенка, и т. п.

Розанову это представлялось совершенно возможнымъ.

Бахаревыхъ докторъ засталъ за утреннимъ чаемъ и замѣтилъ, что всѣ они, кромѣ Лизы, были необыкновенно веселы. Это объяснилось тѣмъ, что маркиза сдѣлала визитъ Ольгѣ Сергѣевнѣ и, встрѣтясь здѣсь съ Варварой Ивановной Богатыревой, очень много говорила о себѣ, о людяхъ, которыхъ она знала, о преслѣдованіяхъ, которыя терпѣла отъ правительства въ теченіе всей своей жизни, и, наконецъ, объ обществѣ, въ которомъ она трудится на пользу просвѣщенія народа. Въ концѣ концовъ маркиза завербовала Богатыреву въ это полезное общество, сказавъ: «у меня все-таки будетъ на моей сторонѣ лишній голосъ», и уѣхала.

Визитъ этотъ былъ сдѣланъ въ тѣхъ соображеніяхъ, что нехорошо быть знакомой съ дочерью и не знать семейства. За окончаніемъ всего этого маркиза снова дѣлалась дамой, чтущей законы свѣта, и спѣшила обставить свои зады сообразно всѣмъ требованіямъ этихъ законовъ. Перваго же шага она не боялась, во-первыхъ, по своей добротѣ и взбалмошности, а во-вторыхъ и потому, что считала себя достаточно высоко поставленною для того, чтобы не подвергнуться обвиненіямъ въ искательствѣ.

Лизѣ отъ этого визита было ни жарко, ни холодно, но онъ ей былъ почему-то непріятенъ. Къ тому же, вѣтреная маркиза во время полуторачасового пребыванія у Бахаревыхъ, какъ нарочно, не удостоивала Лизу никакого вниманія и исключительно занималась съ Богатыревой, которая ей очень понравилась своимъ свѣтскимъ видомъ и положеніемъ.

Ольга Сергѣевна не замѣчала этого, но Варвара Ивановна это замѣтила и порѣшила, что маркиза сразу отличила ее какъ женщину, стоящую всѣмъ выше здѣшнихъ хозяевъ.

— А у насъ вчера была гостья!—начала, встрѣтивъ Розанова, Ольга Сергѣевна: —а какая—не отгадаете.

— А у меня завтра будутъ двѣ,—отвѣчалъ Розановъ.

— Кто жъ такія?

— Тоже не отгадаете.

Наконецъ, Ольга Сергѣевна похвалилась своею вчерашнею гостьею, похвалился и Розановъ своими завтрашними гостями.

— Умница Ольга Александровна, — сказала Ольга Сергѣевна.

— Да куда мнѣ ихъ дѣть-то-съ?

— Ну... развѣ мало квартиръ.

Лиза, выслушавшая весь этотъ разговоръ безъ всякаго участія, встала изъ-за стола и вышла въ гостиную.

Розановъ торопился и сталъ тотчасъ же прощаться.

— Прощайте, Лизавета Егоровна, — сказалъ онъ, входя съ фуражкою въ гостиную, гдѣ никого не было, кромѣ Лизы.

— Прощайте, — отвѣчала она, кладя книгу: — скажите, какъ же это случилось?

Розановъ разсказалъ о неожиданной депешѣ.

— Удивительно!—произнесла Лиза:—Что же вы теперь думаете дѣлать?

— Что же дѣлать: надо устраиваться и жить.

— Вмѣстѣ!—воскликнула Лиза.

— Да какъ же иначе?

— Вмѣстѣ! Вмѣстѣ съ женщиной, съ которой вы доходили до такихъ сценъ?

— Да что же дѣлать, Лизавета Егоровна?

— Что, вы думаете, этого здѣсь не повторится?

— Да ужъ теперь я могу смотрѣть на это равнодушнѣе.

— Нѣтъ, Дмитрій Петровичъ, извините, я въ хроническое равнодушіе не вѣрю.

— Да вѣдь нечего дѣлать: что же дѣлать-то, скажите?

Лиза отвѣчала:

— Ну, ужъ это вамъ больше знать, что̀ должно дѣлать.

Розановъ пожалъ плечами и простился.

Выходя, онъ думалъ: «только надо подальше отъ всѣхъ», и мимоходомъ нанялъ первую попавшуюся имъ квартиру въ четыре комнаты; купилъ у Сухаревой подержанную мебель, нанялъ дѣвушку и заказалъ топить, а на другой день, передъ вечеромъ, встрѣтилъ на дворѣ купца Рѣпина на

Солянкѣ дорожный возокъ, изъ котораго вылѣзли три незнакомыя барыни, а потомъ и Ольга Александровна съ дочкой.

Ну, были и радости, и поцѣлуи, и объятія, и даже слезы раскаянія и сожалѣнія о прошломъ.

Началась у Розанова семейная жизнь въ Москвѣ, жизнь весьма тяжелая, въ которой концы трудно связывались съ концами.

Не замедлили къ этимъ трудностямъ поспѣшить и другія.

Ольга Александровна не ссорилась и старалась быть всѣмъ довольною. Только квартира ей не совсѣмъ нравилась: сыровата оказалась, да Ольгѣ Александровнѣ хотѣлось имѣть при жильѣ разныя хозяйственныя удобства, которыхъ Розановъ не имѣлъ въ виду при спѣшномъ наймѣ. Еще Ольгѣ Александровнѣ очень не понравилась купленная мужемъ тяжелая мебель изъ краснаго дерева, но она и въ этомъ случаѣ ограничилась только тѣмъ, что почасту называла эту мебель то дровами, то убоищемъ.

Кто знаетъ, какъ бы это шло далѣе мѣсяца, но случай не далъ дѣлу затянуться и такъ долго.

Маркиза въ это время, за отсутствіемъ всякой гражданской дѣятельности, страдала необузданнымъ стремленіемъ благодѣтельствовать.

— Какъ-таки держать молодую бабочку взаперти? — говорила она всѣмъ и каждому при разспросахъ о пріѣздѣ Розановой.

Лиза при этихъ разговорахъ обыкновенно молчала; да она и довольно рѣдко видалась теперь со всѣмъ углекислымъ гнѣздомъ.

Маркиза одинъ разъ освѣдомилась у Лизы, знаетъ ли она madame Розанову? но Лиза коротко отвѣчала, что не знаетъ.

— Какъ же это, онъ, стало-быть, и тамъ ее никому не показывалъ? — крикнула въ изступленіи маркиза. — Гаааа! Нэда! что жъ это такое? Это какой-то уѣздный Отелло: слышишь, онъ и тамъ никуда не пускалъ жену.

Репутація Розанова въ другихъ отношеніяхъ, однако, еще держалась, и въ силу того съ нимъ еще пока церемонились. Положено было только подрессировать его; мягкимъ образомъ заставить его дать женѣ «свободу и жизнь».

Но пока это ходило въ предположеніяхъ, къ которымъ, къ тому же, никто, кромѣ Рогнѣды Романовны, не изъяв-

лялъ горячаго сочувствія, маркиза столкнулась у Богатыревой съ Ольгою Сергѣевной Бахаревой, наслушалась отъ той, какъ несчастная женщина бѣгала просить о защитѣ, додумала три короба собственныхъ словъ сильнаго значенія, и надъ Розановымъ грянулъ судъ, ошельмовавшій его заочно до степеней самыхъ невозможныхъ. Даже самый его либерализмъ ставился ему въ вину. Маркиза сопѣла, говоря:

— Либераль! вѣдь тоже либераль! жену тиранить и либераль.

Непонятно было, изъ-за чего такъ кипятилась маркиза, а ей случалось такъ кипятиться не въ рѣдкость. Словно муха злая ее укуситъ, такъ и лѣзетъ, какъ вѣтряная опухоль. Но, несмотря на все бѣснованіе, положено было все-таки дѣйствовать на Розанова осторожно: высвободить жертву тонко, такъ, чтобы тиранъ этого и не замѣтилъ. Даже предполагалось, что тиранъ еще можетъ до извѣстной степени исправиться.

— Вѣдь онъ не глупъ,—говорила маркиза:—нужно ближе взять его въ наше общество; онъ увидитъ, какъ живутъ другіе, какъ живетъ Икаръ съ Мареичкой, и измѣнится.

Между тѣмъ къ Розанову, какъ онъ только попадался на глаза, приставали, чтобы онъ привелъ свою жену и дочку.

Думалъ, думалъ Розановъ и понималъ, что худая для него игра начинается, и повелъ Ольгу Александровну къ маркизѣ.

Послѣ перваго знакомства съ маркизою и феями, Ольга Александровна начала къ нимъ учащать и учащать. Ее тамъ нѣжили и ласкали, и она успѣла ужъ разсказать тамъ всѣ свои несчастія.

Маркиза и феи, слушая ее, только дивились, какъ можно было столько лѣтъ прожить съ такимъ человѣкомъ, какъ Розановъ.

Ольга Александровна тоже стала этому удивляться, и дома опять началась старая пѣсня, затѣвавшаяся по поводу тяжелыхъ стульевъ «убоищъ» и оканчивавшаяся тѣмъ, какъ добрые люди «женамъ все доставляютъ, а есть и подлецы, которые...» Выходило обыкновенно, что всѣ подлецы всегда живутъ именно такъ, какъ живетъ Розановъ.

Розановъ нашъ засмутился: чуялъ онъ, что дѣло плохо.

Впрочемъ, Ольга Александровна иногда бывала и до-

вольно благодушна; но въ ней зато начали обнаруживаться самовластіе и упрямство.

Разъ приходитъ Розановъ домой, а Ольга Александровна тихо и мирно ему объявляетъ, что они переходятъ на другую квартиру.

— Какъ на другую квартиру? Куда? — освѣдомился Розановъ.

— Въ домѣ, гдѣ живетъ маркиза, я наняла квартиру и лучше, и дешевле,—отвѣчала Ольга Александровна.

Розановъ хотѣлъ-было поудержать жену отъ этого перехода, но квартира, дѣйствительно, была и лучше, и дешевле. Ольга Александровна съ видомъ крайней покорности сообщила маркизѣ, что мужъ ея не хочетъ брать этой квартиры, пошли толки, и Розановъ уступилъ.

Черезъ нѣсколько дней онъ жилъ на новой квартирѣ, а еще чрезъ нѣсколько дней увидалъ, что онъ спеленутъ по всѣмъ членамъ и ему остается работать, смотрѣть, слушать и молчать.

Работы у него было много, а смотрѣть тоже было на что: Ольга Александровна дѣлала разныя чудеса и стала брать у Рогнѣды Романовны какіе-то уроки.

Феи дружно заботились о ея развитіи. Одна только Серафима Романовна стояла въ сторонкѣ, и хотя не одобряла Розанова, но не любила его и порицать въ глаза женѣ.

Розановъ и не оглянулся, какъ его смяли и стигостили. Онъ снова увидѣлъ себя въ переплетѣ крѣпче прежняго; но молчалъ.

Лобачевскій, возвратясь изъ Петербурга, съ удивленіемъ разспрашивалъ:

— Когда же это вы, Розановъ, женились?

— Да ужъ было такое время,—отвѣчалъ Розановъ, стараясь сохранять видимое спокойствіе и даже нѣкоторую веселость.

Впрочемъ, разъ онъ прорвался при Лобачевскомъ и, помогая ему укладывать книги и препараты, которые тотъ перевозилъ въ Петербургъ, гдѣ получилъ новое мѣсто, сказалъ:

— Грустно мнѣ будетъ безъ васъ, Лобачевскій.

— Работайте, Розановъ.

— Да что работать?

— Всего лучше: полно вамъ лошачкомъ-то скакать. У васъ жена.

Поговорили на эту тему и договорились до того, что Лобачевскій сказалъ:

— Я видѣлъ, что ваша жена съ душкомъ, ну, да что жъ такое, женщины вѣдь всѣ сумасшедшія. А вы себѣ табакерку купите: она капризничать, а вы табачку понюхайте, да свое дѣло дѣлайте.

Лобачевскій уѣхалъ въ Петербургъ: прощались они съ Розановымъ по-дружески. Розановъ даже заплакалъ, цѣлуясь съ нимъ на дебаркадерѣ: иначе онъ не умѣлъ проститься съ человѣкомъ, который ему сталъ милъ и близокъ. Лобачевскій тоже поцѣловалъ Розанова теплыми устами.

По отъѣздѣ Лобачевскаго, для Розанова опустѣла даже и больница. Ему даже нерѣдко становилось жаль и своего уѣзднаго захолустья. Тамъ, бывало, по крайней мѣрѣ всѣ его знали; тамъ былъ Вязмитиновъ, веселый Зарницынъ, кроткій Петръ Лукичъ, привѣтливая, добрая Женни. Все тамъ было *свое*, какъ-то: нажгутъ дома, на происшествіе поѣдешь, лошадки фыркаютъ, обдавая тонкимъ облакомъ взметеннаго снѣга, ночь въ избѣ, на соломѣ, споръ съ исправникомъ, курьезные извороты прикосновенныхъ къ дѣлу крестьянъ, или ѣзда теплою вешнею ночью, проталины, жаворонки такъ и замираютъ, рѣя въ воздухѣ, или, наконецъ, еще позже, ѣдешь и думаешь... тарантасикъ подкидываетъ, а поле какъ посеребренное, и по немъ ходятъ то тяжелыя драхвы, то стальнокрылые стрепеты... А тутъ... служба, потомъ дома игра въ молчанку или задиранье. Уйти? да и уйти некуда; въ театръ—часомъ денегъ нѣтъ; въ трактиръ—подло, да и скучно одному и, наконецъ, совѣстно. Ну, а пойдешь, попьешь чаю, и опять скучно. Маркиза и феи разжеваны до мякоти. Ребенокъ? Но онъ и занимался ребенкомъ, да и на этотъ разъ не умѣлъ всецѣло отдаться одному дѣлу. Табакерки онъ тоже не купилъ. О диссертаціи забылъ и думать. Что жъ ему оставалось? Лиза?.. совсѣмъ стала холодная: она имѣла на это свои причины. Ей жаль было Розанова, да больше всего все это ей гадко не въ мѣру стало. — «Ну, что это за люди?» — спрашивала она себя.

Ей тоже было нестерпимо скучно.

Бахаревское Мерево, переѣхавъ въ Москву, осталось тѣмъ же Меревомъ. Только дворнѣ да Софи стало повеселѣе: у нихъ общества поприбыло и разговоровъ поприба-

вилось, а Егору Николаевичу, Ольгѣ Сергѣевнѣ и Лизѣ все было то же. Егоръ Николаевичъ даже еще болѣе скучалъ въ Москвѣ, чѣмъ въ своемъ городѣ или въ Меревѣ. Онъ не сдѣлался ни членомъ, ни постояннымъ гостемъ никакого клуба, а сидѣлъ почти безвыходно дома и бесѣдовалъ только съ Богатыревымъ, который заходилъ къ нему по субботамъ и воскресеньямъ. Ольга Сергѣевна обмѣняла мать-попадью на странницу Алену Лукьяновну; Софи женихалась и выѣзжала съ Варварою Ивановною, которая для выѣздовъ была сто разъ удобнѣе Ольги Сергѣевны, а Лиза... она опять читать начала и читала.

Зато ей и былъ ниспосланъ старый сюрпризъ: она ослѣпла.

Хуже этой муки Лизѣ трудно было изобрѣсти; исчезло послѣднее утѣшеніе—нельзя было читать.

Сидитъ она, сидитъ въ своей комнатѣ, заставляя горничную читать чуть не по складамъ, броситъ и сама возьмется; прочитаетъ полчаса, глаза болятъ, она и сойдетъ внизъ.

А внизу, въ трехъ парадныхъ, вѣчно пустыхъ комнатахъ, тоже тошно. Лиза пойдетъ въ столовую и видитъ Елену Лукьяновну и слушаетъ все одинъ разговоръ Елены Лукьяновны о волшебствѣ, да о чудахъ.

— Чудо, мать моя,—говоритъ Елена Лукьяновна: — въ казанской губерніи разбойникъ объявился. Объявился и сталъ онъ народъ смущать. Идите, говоритъ, я поведу въ златыя обители. Стали его разстригивать, а онъ подъ землю. Какъ только офицеръ по-своему скомандовалъ, а онъ подъ землю.

— Все влашебство,—говорила Елена Лукьяновна.—Мужикъ былъ и на духъ хаживалъ, а тутъ его разстригнули, а онъ подъ землю. Офицеръ: «пали», а онъ подъ землю.

Ольга Сергѣевна удивляется.

— Теперь,—продолжаетъ Елена Лукьяновна:—теперь два отрока сидѣли въ темницѣ, въ подводной, не забудь ты, темницѣ.

Слышитъ Лиза, какъ разсказчица сахарочку откусила.

— Ну, и сидѣли, и отлично они сидѣли. Крѣпость подводная со всѣхъ сторонъ; никуда имъ выйти невозможно.

— Да!—говоритъ Ольга Сергѣевна.

— Все отлично, такъ что же, ты думаешь, выдумали?

«Дайте, говорятъ начальнику своему, дайте намъ свѣчечки кусочекъ». Доложили сейчасъ генералу, генералъ и спрашиваетъ:—«на что вамъ свѣчечки кусочекъ?»

— Это въ подводной крѣпости? — спрашиваетъ Ольга Сергѣевна.

— Тамъ,—отвѣчаетъ странница:— «священную Библію», говорятъ, «почитать». Вѣдь разумѣй, что выдумать надо было. Ну, и дали. Утромъ приходятъ, а они ушли.

— Ушли?

— Ушли.

— Какъ же такъ?

— Такъ подъ водою и прошли.

— Съ огарочкомъ?

— Такъ съ огарочкомъ и прошли.

Слушаетъ все это Лиза равнодушно; все ей скучнѣе и скучнѣе становится.

«Гдѣ же эти люди? — спрашиваетъ она нерѣдко себя.— Что это за Бертольди такая еще? что это за чудовище? — думаетъ Лиза.—Вѣрно это лицо смѣлое и оригинальное.»

А тутъ Елена Лукьяновна сидитъ да и разсказываетъ:

— Ну, ужъ, мать, былъ кіятеръ. Были мы въ суконныхъ баняхъ. Вспарились, сѣли въ передбанникъ, да и говоримъ, какъ его солдаты-то изъ ружьевъ разстригнули, а онъ подъ землю. Странница одна и говоритъ: онъ, говоритъ, опять по землѣ ходитъ.—Какъ, говоримъ, по землѣ ходитъ?—Ходитъ, говоритъ. А тутъ бабочка одна въ баню пошла, да какъ, мать моя, выскочитъ оттуда, да какъ гаркнетъ безъ ума, безъ разума: «мужикъ въ банѣ». Глянули, исправда онъ. Такъ и стоитъ такъ, то-есть такъ и стоитъ.

— Боже мой!—простонала Ольга Сергѣевна.

— Да. Какъ женщины увидали, сичасъ въ-разбродъ. Банчикъ сичасъ ворота. Мы подъ ворота. Ну, опять насъ загнали.—Трясемся. Чего, говоритъ, спужались? Говоримъ, влашебникъ ходитъ. Глядимъ, а она женскую рубашку одѣваетъ въ предбанникѣ. — Ну, барышня вышла. Вотъ грѣха-то набрались! Смерть. Ей-Богу, смерть, что было: стриженая, ловкая какъ есть мужчина, Бертолева барышня называется.

— Экая мерзавка,—замѣчала Ольга Сергѣевна.

— Стриженая.

— Фуй.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Дѣвица Бертольди.

Лиза гуляла. Былъ одиннадцатый часъ очень погожаго и довольно теплаго дня.

Лиза обошла Патріаршіе пруды и хотѣла уже идти домой, какъ изъ воротъ одного деревяннаго дома вышла молодая дѣвушка, въ драповомъ бурнусѣ и черномъ атласномъ капорѣ, изъ-подъ котораго спереди выглядывали клочки подстриженныхъ въ кружокъ золотистыхъ волосъ.

Дѣвушка шла довольно скоро, нѣсколько въ-развалъ. Въ рукахъ у нея были двѣ книги, пачка папиросныхъ гильзъ, склянка съ безцвѣтной жидкостью.

Поровнявшись съ Лизой, дѣвушка хотѣла ее обойти, но поскользнулась, уронила папиросныя гильзы и склянку, которая тотчасъ же разбилась и пролилась.

Лиза инстинктивно нагнулась, чтобы поднять разбитую склянку и гильзы.

— Не трогайте, — спокойно произнесла тонкимъ дискантомъ дѣвица.

— Я хотѣла поднять ваши гильзы.

— Нѣтъ, это ужъ ни на что не годится. Онѣ облиты ѣдкимъ веществомъ, ихъ теперь нельзя набивать. Какая досада!—окончила дѣвушка, отряхивая марселиновую юбку.— Это все прогоритъ теперь, — продолжала она, указывая на брызги.

— Что жъ это было въ этой склянкѣ?

— Это была кислота для опытовъ.

— Скажите, пожалуйста, вы не modemoiselle Бертольди?— спросила, нѣсколько конфузясь, Лиза.

— Допустимъ-съ, что это такъ.

— Я слыхала о васъ.

— Бранятъ меня?

— Да... нѣкоторые.

— А васъ какъ зовутъ?

— Бахарева,—отвѣчала Лиза.

— Слыхала, Бычковъ говорилъ о васъ. Вы гдѣ живете?

— Я далеко.

— Зачѣмъ же вы идете сюда на Бронную? А впрочемъ, я не знаю, зачѣмъ я объ этомъ васъ спрашиваю.

— Я гуляю,—отвѣчала Лиза.

— Вы работаете надъ чѣмъ-нибудь?

Лиза затруднилась отвѣтомъ.

— Я читаю,—отвѣчала она.

— Я теперь работаю надъ Прудономъ. Онъ часто завирается и надъ нимъ надо работать, да работать, а то сейчасъ загородитъ вздоръ. Вы знакомы съ Прудономъ?

— Только по журнальнымъ рецензіямъ.

— О! Наша спеціальность—доведеніе мысли до состоянія непроизводительности. Это фактъ.

— Ну, не все же пропадаетъ,—возразила Лиза.

— Фактъ.

— Я, впрочемъ, не читала Прудона.

— Зайдите ко мнѣ, я вамъ дамъ.

Лиза поблагодарила.

— Только работайте надъ нимъ, а не берите ничего на вѣру: у него тоже есть подлая жилка.

— У Прудона?

— Фактъ,—зарѣшила Бертольди и, остановясь у калитки одного грязнаго двора въ Малой Бронной, сказала:—входите.

Лиза вошла во дворъ, за нею перешагнула Бертольди.

— Прямо! — сказала она, направляясь къ флигелю съ мезониномъ.

Лиза пошла за Бертольди на деревянное крылечко, съ котораго онѣ поднялись по покосившейся деревянной лѣстницѣ въ мезонинъ.

Бертольди отворила дверь и опять сказала:

— Входите.

Лиза очутилась въ довольно темной передней, изъ которой шло нѣсколько тонкихъ дощатыхъ дверей, оклеенныхъ обоями. Одна дверь была отворена и въ ней виднѣлась кухня.

— Акулина Ивановна дома? — крикнула ни къ кому не относясь Бертольди.

— Нѣтути, ушедчи, съ полчаса будетъ какъ ушедчи,— отвѣчалъ женскій голосъ изъ кухни.

— Досадно, — проговорила Бертольди, и сейчасъ же добавила:—поставьте, Елена, мнѣ самоваръ, я ѣсть хочу.

Бертольди отворила дверь, которой Лиза до сихъ поръ вовсе не замѣчала, и ввела свою гостью въ маленькую, довольно грязную комнатку съ полукруглымъ окномъ, задернутымъ до половины полинялою ситцевою занавѣскою.

— Кореневъ!—крикнула она, стукнувъ рукою въ сосѣднюю дверь.

— Асиньки!—отозвался мужской голосъ.

— Есть у васъ гильзы?

— Имѣемъ.

— Доставьте нѣкоторое количество.

— Гутъ.

Между тѣмъ Лиза оглядѣлась.

Комната Бертольди была непредставительна и не отличалась убранствомъ.

Въ углу, между сосѣднею дверью и круглою желѣзною печью, стояла узкая деревянная кроватка, закрытая стеганымъ бумажнымъ одѣяломъ; развернутый ломберный столъ, на которомъ валялись книги, листы бумаги, высыпанный на бумагу табакъ, половина булки и тарелка колотаго сахару со сверточкомъ чаю; три стула, одно кресло съ засаленной спинкой и ветхая этажерка, на которой опять были книги, бумаги, картузикъ табаку, человѣческій черепъ, акушерскіе щипцы, колба, стеклянный сифонъ и лакированный поясъ съ бронзовою пряжкой.

Гардероба Бертольди было вовсе не замѣтно. Въ уголку, на деревянной вѣшалкѣ, висѣло что-то въ родѣ люстриноваго платья и полотенца, но ни запасной юбки, ничего прочаго, повидимому, не имѣлось.

Бурнусъ свой и капоръ Бертольди какъ вошла, такъ и бросила на кровать и не трогала ихъ оттуда.

— А у меня какая досада,—начала она, встрѣчая отворившаго дверь рослаго студента:—пролила acidum nitricum, что далъ Суровцовъ.

— Ну!—воскликнулъ студентъ, не затворяя за собою двери.

— Фактъ, вотъ и свидѣтельница. Да! знакомьтесь: студентъ Кореневъ, естественникъ, и дѣвица Бахарева.

Студентъ и Лиза холодно поклонились другъ другу.

— Въ Прудона безусловно вѣритъ, — произнесла Бертольди, показывая на Лизу и уходя изъ комнаты.

Студентъ дунулъ въ гильзу и началъ набивать себѣ папироску.

Бертольди возвратилась съ бутылкою молока и ломтемъ хлѣба.

— Хотите?—спросила она Лизу.

Та поблагодарила.

— А вы?—отнеслась она къ Кореневу.

Тотъ тоже отказался.

— А что сходка?—спросила студента Бертольди.

— Что сходка?—переспросилъ студентъ.

— Когда будетъ?

— Не знаю.

— Да вѣдь третьягодня оповѣщали.

— Ну, она и была вчера.

— Какая подлость! Зачѣмъ же вы мнѣ не сказали?

— Такъ не сказалъ,—отвѣчалъ спокойно студентъ.

— Вы, можетъ-быть, такъ же поступите, когда состоится опытъ?

— Нѣтъ, не поступлю.

— Вы имѣете понятіе объ искусственномъ оплодотвореніи?—отнеслась Бертольди къ Лизѣ, жуя и прихлебывая изъ бутылки.

— Нѣтъ,—отвѣчала Лиза.

— Это очень интересный опытъ. Онъ у насъ будетъ производиться на одной частной квартирѣ надъ кроликами. Ни одного ученаго генерала не будетъ. Хотите видѣть.

Лиза не знала что̀ отвѣчать.

— Я думаю, что это для меня будетъ безполезно: я вѣдь не имѣю нужныхъ свѣдѣній для того, чтобы судить объ этомъ опытѣ, — проговорила она, скрывая застѣнчивость.

— Это пустяки. Вы заходите къ намъ какъ - нибудь въ это время; у Коренева есть отличный препаратъ; онъ вамъ разскажетъ все обстоятельно и объяснитъ, что̀ нужно знать при опытахъ.

Студентъ и Лиза не сказали при этомъ ни слова.

— Или вы работаете исключительно надъ гуманными науками?—продолжала Бертольди.—Гуманныя науки сами по себѣ однѣ ничего не значатъ. Всему корень матерія. Въ нашъ вѣкъ нельзя быть узкимъ спеціалистомъ. Я недавно работала надъ Прудономъ, а теперь занимаюсь органической химіей, переводами и акушерствомъ.

— Вы что̀ переводили изъ Прудона?—спросила Лиза.

— Я не переводила Прудона. Я перевожу тутъ для одного пошляка-редактора кое-что въ газету, изъ насущнаго хлѣба. А кстати, чтобъ не забыть о Прудонѣ, — вотъ онъ подъ табакомъ.

Лиза поблагодарила и взяла книгу.

— Вы заходите, мы вами займемся,—сказала, прощаясь съ нею, Бертольди. — Бычковъ говорилъ, что у васъ есть способности. Вамъ для вашего развитія нужно близко познакомиться съ Бычковымъ; онъ не откажется содѣйствовать вашему развитію. Онъ талантъ. Его теперешнюю жену нельзя узнать, что онъ изъ нея сдѣлалъ въ четыре мѣсяца, а была совсѣмъ весталка.

Лиза ушла домой съ Прудономъ и черезъ пять дней понесла его назадъ Бертольди.

Скоро они близко познакомились, и чѣмъ усерднѣе углекислыя феи порицали стриженую барышню, тѣмъ быстрѣе шло ея сближеніе съ Лизой, которой въ существѣ Бертольди вовсе не нравилась.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Независимая пора.

Такъ жили наши знакомые не весело и разъединенно до самой весны, а весна пришла хорошая и ранняя. Еще какъ только солнышко стало нагрѣвать и начались просовы, — пошли толки и предположенія насчетъ лѣта. Сергѣй Сергѣевичъ Богатыревъ Христомъ Богомъ умолялъ сестру и Егора Николаевича не возвращаться домой, а прожить лѣто у него въ подмосковной и потомъ на зиму остаться опять въ Москвѣ. Егоръ Николаевичъ поупрямился было, но его дружнымъ нападеніемъ сбили съ пункта: согласился. Лиза осталась въ Москвѣ, потому что ея глаза требовали лѣченія и потому, что она терпѣть не могла своей тетки, точно такъ, какъ та не любила ея. Сонюшку же Варвара Ивановна непремѣнно обѣщалась выдать замужъ за богатаго сосѣда.

Феи тоже уѣзжали на лѣто въ свою небольшую деревушку въ калужской губерніи и брали съ собою Ольгу Александровну съ ребенкомъ.

Розановъ былъ ко всему этому совершенно равнодушенъ; онъ даже радовался, что останется на нѣкоторое время одинъ.

Ярославцевъ съ Ольгой Александровной отъѣхалъ въ первыхъ числахъ мая, а пятнадцатаго мая уѣхали и Богатыревы съ Бахаревыми. Лиза осталась одна съ дѣвушкой.

Въ опустѣвшихъ домахъ теперь пошла новая жизнь. Ро-

заповъ, проводивъ Бахаревыхъ, въ тотъ же день вечеромъ зашелъ къ Лизѣ и просидѣлъ долго за полночь. Говорили о многомъ, и попрежнему пріятельски, но не касались въ этихъ разговорахъ другъ друга.

На другой день Розановъ, зайдя къ Лизѣ, засталъ у нея Бертольди, съ которой они познакомились безъ всякихъ церемоній, и знакомство это скоро сблизило ихъ до весьма короткихъ пріятельскихъ отношеній, такъ что Розановъ шутя подтрунивалъ надъ Бертольди, какъ она перепугала бабъ въ банѣ, и даже называлъ ее въ шутку злосчастной Бертольдинькой.

Бертольди не умѣла держать себя постоянно въ роли и открывала много довольно смѣшныхъ сторонъ, надъ которыми и Розановъ, и даже Лиза изрѣдка позволяли себѣ подсмѣиваться.

Прошла еще недѣлька, и Лизинъ кружокъ увеличился еще однимъ новымъ лицомъ. Лиза случайно встрѣтилась съ однимъ своимъ старымъ институтскимъ другомъ, Полинькой Рѣжневой, которая двумя годами ранѣе Лизы окончила курсъ и уже успѣла выйти замужъ за нѣкоего отставного корнета Калистратова. Особа эта была молода и не столько хороша собою, сколько изящна своею граціозною простотою. Она была высокая, очень тоненькая блондинка, съ черными глазами, розовымъ прозрачнымъ лицомъ, гибкою таліею и необыкновенно мягкими бѣлыми ручками. Въ лицѣ Полиньки Калистратовой, какъ называла ее Лиза, преобладало передъ всѣмъ выраженіе не грустное, а какое-то несчастное. Впечатлѣніе, производимое ея лицомъ, еще болѣе поддерживалось звукомъ Полинькинаго голоса. Она говорила мягкимъ, разбитымъ голосомъ, такимъ голосомъ, какимъ люди начинаютъ говорить, обмогаясь послѣ остраго воспаленія легкихъ.

Полинька Калистратова, въ самомъ дѣлѣ, была женщина очень несчастная. Довольно богатая сирота, она, выйдя изъ института, очутилась въ домѣ своего опекуна и дяди: прожила тамъ съ полгода и совершенно несмыслимо вышла замужъ за корнета Калистратова, которому приглянулась на коренской ярмаркѣ и которому была очень удобна для поправленія его до крайности разстроеннаго состоянія. Полинька сама не знала, любила ли она своего мужа, но ей было его жаль, когда вскорѣ послѣ свадьбы она стала слы-

шать о немъ самые дурные отзывы. Полинька болѣе всѣхъ слышала такіе отзывы отъ тѣхъ самыхъ своихъ дядей, которые общими усиліями устраивали ея свадьбу съ Калистратовымъ, и приписывала большинство дурныхъ толковъ о мужѣ злобѣ дядей, у которыхъ Калистратовъ, наступя на горло, отбиралъ каждую порошинку, принадлежавшую Полинькѣ. Но вскорѣ ей самой стало очень не нравиться поведеніе мужа: онъ все водился съ какими-то странными героями; въ домѣ у нихъ никто почти не показывался, а самъ мужъ нисколько не заботился восполнить одиночество Полиньки и леталъ Богъ знаетъ гдѣ, исчезая на цѣлыя недѣли. Наконецъ, на домъ ихъ стали цѣлою оравою наѣзжать «владѣльцы троекъ удалыхъ и покровители цыганокъ»; пошла игра, попойки, ночной развратъ, дневное спанье, и домъ превратился въ балаганъ коренской ярмарки.

Полинька долго плакала молча и скрывала отъ мужа свое страданіе.

Въ одну ночь мужъ подошелъ къ ея постели со свѣчой и листкомъ бумаги и заставилъ ее подписать свое имя подъ его подписью.

— Что такое это?—спросила трепещущая Полинька, принимая перо изъ рукъ мужа.

— Подписывай скорѣе,—это пустое.

— Да что же такое?

— Ну, что ты за меня ручаешься.

Полинька вздохнула и подписала.

Это было за два мѣсяца передъ тѣмъ, какъ Полинька сдѣлалась матерью.

Съ появленіемъ ребенка, Полинька стала смѣлѣе и нѣсколько разъ пыталась остановить мужа, но это уже не имѣло никакого значенія.

Калистратовъ давно велъ большую игру и, спустивъ все свое состояніе, ухнулъ болѣе половины Полинькинаго.

Полинькѣ написалъ дядя, чтобы она береглась, что она скоро будетъ нищею. Она попробовала отказаться отъ подписи новыхъ векселей; Калистратовъ взбѣсился, открылъ окно и сказалъ, что сейчасъ выкинетъ ребенка.

Полинька подписала вексель на все свое состояніе и къ утру была нищая.

Съ тѣхъ поръ мужъ обращался съ нею звѣремъ. Вѣчно пьяный, онъ выгонялъ ее ночью изъ дома, грозился раз-

давить голову ребенку, обзавелся солдаткой, но никуда не выѣзжалъ.

Жизнь Полиньки была невыносима: умъ ея словно присохъ, и она жила, не видя никакого выхода изъ своего печальнаго положенія.

Между тѣмъ, мужъ ея вдругъ поправился: отрезвился, сталъ снова разъѣзжать, привозя каждый разъ довольно цѣнные подарки женѣ и ребенку.

Полинька не понимала, что̀ это значитъ, и не смѣла ни о чемъ спросить мужа.

Наконецъ все разрѣшилось: въ одно прелестное утро все имѣніе Полиньки описали въ удовлетвореніе кредиторовъ, представившихъ векселя Калистратова, съ поручительною подписью его жены. Полинька сознала свою подпись, долги мужа превышали ея состояніе, и ее выгнали изъ ея имѣнія.

Они переѣхали въ городъ, но не успѣла Полинька здѣсь осмотрѣться, какъ мужа ея взяли въ острогъ за составленіе и выдачу фальшивыхъ векселей.

Полинька осталась одна съ ребенкомъ.—Къ дядямъ она не хотѣла возвращаться и быть имъ обязанной.

Оставались у нея еще маленькія деньжонки и вещицы. Полинька подумала, погадала и открыла маленькую гостиницу для пріѣзжающихъ.

Дѣло у нея кое-какъ пошло и при ея неутомимыхъ стараніяхъ обѣщало ей сдѣлаться дѣломъ очень выгоднымъ. Но въ это же время окончился судъ надъ мужемъ.

Калистратовъ, по недостатку доказательствъ, былъ освобожденъ изъ острога и оставленъ въ сильномъ подозрѣніи.

Оставаясь въ городѣ, онъ сталъ осаждать Полиньку безпрерывными требованіями вспомоществованія, приходилъ къ ней, заводилъ дебошъ и, наконецъ, обратился къ полиціи съ требованіемъ обязать жену къ совмѣстному съ нимъ сожительству.

Въ Полинькѣ нѣкоторыя губернскія власти приняли участіе, на̀скоро свертѣли передачу ея гостиницы другому лицу, а ее самоё съ ребенкомъ выпроводили изъ города. Корнету же Калистратову было объявлено, что если онъ хоть маломальски будетъ безпокоить свою жену, то немедленно будетъ начато дѣло о его жестокомъ обращеніи съ нею и о неоднократномъ его покушеніи на жизнь ребенка.

Корнетъ утихомирился и куда-то исчезъ, такъ что и слуха

о немъ не было, а Полинька явилась со своимъ сыномъ въ Москву, придумывая, за что бы взяться и чѣмъ жить.

У нея теперь оставались ужъ самыя ничтожныя деньги.

Съ наступленіемъ весны, Полинька пріютилась въ одной комнатѣ въ Сокольникахъ и стала работать чепчики на одну лавочку въ Ножовой линіи.

Работа эта была меледа, игра не стоющая свѣчъ; но Полинька все-таки работала и жила нуждно и одиноко, не имѣя въ виду ничего лучшаго.

Знакомыхъ у нея никого не было; ребенокъ часто хворалъ.

Въ такомъ-то положеніи Полинька Калистратова встрѣтилась съ Лизой и очень ей обрадовалась.

— Тебя нельзя узнать, Полинька!—говорила ей Лиза.

— Ахъ, мой другъ! Поживи съ мое, такъ и сама себя не узнаешь!—отвѣчала Полинька.

— Да много ли ты меня старше? Три, четыре года какіе-нибудь?

— Горе, другъ мой, а не годы считать надо.

— Ты очень несчастлива?

— Я очень несчастлива.

— Гдѣ же твой мужъ?

— Не знаю: можетъ-быть въ острогѣ, можетъ-быть въ кабакѣ, можетъ-быть въ каторгѣ,—ничего я о немъ не знаю и на все готова.

Разсказывать о своемъ несчастіи Полинька не любила и уклонялась отъ всякаго разговора, имѣющаго что-нибудь общее съ ея судьбою. Поэтому, познакомясь съ Розановымъ, она тщательно избѣгала всякой рѣчи о его положеніи, и не говорила о себѣ ничего никому, кромѣ Лизы, да и той сказала только то, что̀ мы слышали, что̀ невольно сорвалось при первомъ свиданіи.

Полинька была довольно умна и еще болѣе благоразумна, горда и несловоохотлива.

Таково прошлое и таковъ въ общихъ чертахъ характеръ этого новаго лица. Лиза познакомила Полиньку и съ Бертольди, и Полинька пришлась по нраву Бертольди, которой она нравилась болѣе какъ лицо подлежащее развитію. Онѣ навѣстили разъ Полиньку въ Сокольникахъ и вздумали сами переѣхать на дачу.

Не успѣлъ Розановъ услыхать объ этомъ предположеніи,

которое онъ вполнѣ одобрялъ, какъ узналъ, что Бертольди уже слетала и наняла двѣ комнаты въ Богородицкомъ.

Дача была отвратительная, на голомъ косогорѣ, подъ вѣчнымъ солнечнымъ припекомъ.

Городской квартиры Бахаревыхъ нельзя было оставить совсѣмъ пустою, и Лиза переѣхала на дачу съ одною Бертольди.

Отношенія Лизы къ Бертольди были таковы, что хотя Бертольди при ней была совершенно свободна и ничѣмъ не стѣснялась, но она не получила не только никакого вліянія на Лизу, а, напротивъ, даже сама на нее посматривала. Можетъ-быть, это въ значительной степени происходило и оттого, что у Лизы были деньги, и Бертольди чувствовала, что живетъ на ея счетъ.

Какъ только переѣхали Лиза съ Бертольди, Розановъ немедленно отправился навѣстить ихъ и остался очень недоволенъ ихъ дачею.

Лиза тоже была ею недовольна, но молчала, а Розановъ раскорилъ ее ни къ стру, ни къ смотру.

Дѣйствительно, дача была изъ рукъ вонъ гадкая.

Бертольди никакъ не хотѣла съ этимъ согласиться, надулась на Розанова и ушла за дощатую переборку.

— Бертолина! гдѣ вы скрылись?—позвалъ Розановъ, вовсе не подозрѣвая, что она обидѣлась.

Бертольди не отвѣчала.

— Прощайте, Бертольдинька,—сказалъ Розановъ, уходя вмѣстѣ съ Калистратовою, которую вызвался проводить до Сокольниковъ.

— Я васъ прошу не фамильярничать со мною,—рѣзко отозвалась Бертольди.

Лиза улыбнулась и проводила своихъ гостей.

— Что это она разсердилась, кажется?—спросилъ Калистратову Розановъ, когда они вышли.

— Разумѣется.

— За что же?

— Не знаю; она вѣдь смѣшная.

Для Калистратовой Бертольди была только *смѣшная*.

О Розановѣ она думала хорошо: ей нравилось, что онъ говоритъ, большею частію, дѣло и знаетъ людей не по писанному.

Навѣстивъ еще раза два дачницъ, Розановъ прельстился

ихъ жизнью и рѣшилъ самъ перебраться изъ города. Онъ раздобылся за недорогую цѣну на все лѣто незавидною верховою лошадкою, чтобы ѣздить въ больницу, и поселился въ Сокольникахъ неподалеку отъ Полиньки.

Докторъ ожидалъ, что они своимъ маленькимъ кружечкомъ превесело проведутъ лѣто и наберутся силы на повтореніе пережитой зимней скуки, суши и дрязгъ.

Отчего жъ было на это и не надѣяться?

Но, однако, это не такъ вышло. Лиза жила, отдыхая довольно спокойно, и Богъ знаетъ, что она думала. Она была порою очень весела, порою довольно зла, и презрительно начала выражаться о чрезвычайно большомъ числѣ людей, и даже нерѣдко подтрунивала и надъ общимъ человѣческимъ смысломъ. Вообще, возобновивъ прежнее близкое знакомство съ Лизой, Розановъ сталъ замѣчать въ ней какія-то странныя противорѣчія самой себѣ. То она твердо отстаивала то, въ чемъ сама сомнѣвалась; то находила удовольствіе оставлять подъ сомнѣніемъ то, чему вѣрила; читала много и жаловалась, что всѣ книги глупы; задумывалась и долго смотрѣла въ пустое поле, смотрѣла такъ, что не было сомнѣнія, какъ ей жаль кого-то, какъ ей хотѣлось бы что-то облегчить, поправить, — и сейчасъ же на языкѣ насмѣшка, часто холодная и непріятная, насмѣшка надъ чувствомъ и надъ людьми чувствительными. Потомъ въ Лизѣ было равнодушіе, такое равнодушіе, что ей все равно, что̀ около нея ни происходитъ; но вдругъ она во что-нибудь вслушается, во что-нибудь всмотрится и ни съ того, ни съ сего приметъ въ этомъ горячее участіе, тогда какъ собственно дѣло ея нимало не интересуетъ, и она ему болѣе не сочувствуетъ, чѣмъ сочувствуетъ.

Такъ она, напримѣръ, вовсе не имѣла опредѣленнаго плана, какой характеръ придать своему лѣтнему житью въ Богородицкомъ, но ей положительно хотѣлось прожить потише, безъ тревогъ,—просто отдохнуть хотѣлось. Бертольди же не искала такой жизни и подбивала Лизу познакомиться съ ея знакомыми. Она настаивала позвать къ себѣ на первый разъ хоть Бычкова, съ которымъ Лиза встрѣчалась у маркизы и у Бертольди.

Настаивала Бертольди на этомъ до тѣхъ поръ, пока Лиза, думая о чемъ-то другомъ, проговорила: да дѣлайте, Бертольди, какъ знаете.

Бертольди тотчасъ сѣла къ столу и начала писать. Сочиненіе у нея не ладилось, и она разорвала нѣсколько записокъ.

Въ это время къ Лизѣ зашли Калистратова и Розановъ, который обыкновенно провожалъ Полиньку въ Богородицкое.

Бертольди кивнула головою пришедшимъ и спѣшно докончила свою записку.

Послѣдняя редакція ей нравилась.

— Слушайте, Бахарева, что̀ я написала,—сказала она вставши и прочла вслухъ слѣдующее: «Мы живемъ самостоятельною жизнью и, къ великому скандалу всѣхъ маменекъ и папенекъ, набираемъ себѣ знакомыхъ порядочныхъ людей. Мы знаемъ, что ихъ немного, но мы надѣемся сформировать настоящее общество. Мы войдемъ въ сношенія съ Красинымъ, который живетъ въ Петербургѣ и о которомъ вы знаете: онъ дастъ намъ письма. Мѣтя на васъ, *только какъ на порядочнаго человѣка,* мы предлагаемъ быть у насъ въ Богородицкомъ, съ того угла въ домѣ Шуркина». Хорошо?

— Что это такое?—спросилъ Розановъ.

— Письмо, — отвѣчала, не обращая на него вниманія, Бертольди.

— Знаю, что письмо, да къ кому же это такое торжественное письмо?

— Вамъ оно не нравится?

— Нѣтъ, напротивъ, это въ своемъ родѣ совершенство, но къ кому же это?

— Къ Бычкову.

Розановъ засмѣялся.

— Дайте-ка письмо,— сказала Лиза.

Бертольди подала ей листокъ.

— Да, письмо очень хорошо написано, — сказала Лиза, возвращая листокъ Бертольди.

— Помилуйте, Лизавета Егоровна, что̀ за охота давать на себя такіе документы!—возразилъ Розановъ.

— Какіе документы? Что это такое *документы?* — съ гримаской спросила Бертольди. — Кого это можетъ компрометировать? Намъ надоѣла шваль, мы ищемъ порядочныхъ людей,—и только. Что жъ, пусть всѣ это знаютъ: не генерала же мы къ себѣ приглашаемъ.

— Да не то-съ, а зачѣмъ это—«къ скандалу всѣхъ маменекъ и папенекъ», зачѣмъ этотъ Красинъ?..

— Такъ.

— Да зачѣмъ же? Вы вѣдь съ Бычковымъ давно знакомы: можете просто пригласить его и только. Къ чему же тутъ все это путать? И то, что вы его приглашаете «только какъ порядочнаго человѣка» совсѣмъ лишнее. Неужто онъ такъ глупъ, что истолкуетъ ваше приглашеніе какъ-нибудь иначе, а это письмо просто васъ компрометируетъ своею...

— Глупостью, вы хотите сказать?—перебила его Бертольди.

— Нѣтъ, письмо очень хорошо,—спокойно произнесла Лиза:—пошлите его завтра или запечатайте, Дмитрій Петровичъ бросить его завтра въ ящикъ.

Розановъ пересталъ возражать, но ему это было непріятно, ему казалось, что начнутся разныя знакомства, одинъ по одному найдетъ народу, изъ сообщества котораго едва ли выйдетъ что-нибудь хорошее, а Лизѣ это не обойдется безъ большихъ непріятностей отъ родства и свойства.

Розановъ, спустя нѣкоторое время, замѣтилъ это Лизѣ; но она сказала:

— Не безпокойтесь напрасно, Дмитрій Петровичъ; я такъ хочу и такъ сдѣлаю.

— То-то и дѣло, Лизавета Егоровна, что вы этого даже и не хотите, а дѣлаете.

— Это, однако, смѣшно,—отвѣчала иронически Лиза.

Розановъ такъ и оставилъ.

Черезъ нѣсколько дней Розановъ засталъ у Лизы Бычкова и съ его женою.

Подруга Бычкова была вдвое его моложе: ей было лѣтъ девятнадцать. Это была простенькая, миловидная и добродушная московская швейка, благоговѣющая передъ его непонятными словами и неумѣющая никакъ опредѣлить себѣ своего положенія. Ее всѣ звали просто Стешей, какъ звали ее, когда она училась въ магазинѣ.

Въ Бычковѣ, послѣ окончанія московскаго революціоннаго періода, произошла весьма рѣзкая перемѣна. Онъ теперь не свирѣпствовалъ, а все поучалъ всѣхъ, и тонъ крайне грозный измѣнилъ на тонъ крайне наглый.

— Я ужъ васъ разовью непремѣнно,—говорилъ онъ,

косоротясь и развалившись противъ Лизы. — Вы только должны идти неуклонно по дорогѣ, которую я вамъ буду показывать. Вы тутъ, все равно, ничѣмъ не рискуете: я вѣдь всѣхъ умныхъ людей знаю. Ну, есть умнѣе меня два, ну три, ну четыре, наконецъ, человѣка, да и только. Да и то, гдѣ они? Въ Лондонѣ одинъ, въ Петербургѣ одинъ, ну даже хоть два, да въ Парижѣ одинъ и тотъ завирается, да и всѣ они завираются. А здѣсь и ихъ нѣтъ. Здѣсь я одинъ, и вы, стало быть, ничѣмъ не рискуете, ввѣряя мнѣ свое развитіе.

— Фу ты чортъ возьми, что-жъ это за наглость? — говорилъ Розановъ, идучи домой съ Калистратовою, послѣ двухчасового наслажденія новымъ краснорѣчіемъ Бычкова.

— Очень смѣшно,—замѣчала Полинька.

Предчувствія Розанова сбылись. Въ двѣ недѣли домика Лизы ужъ узнать было невозможно: Бычковъ любилъ полныя аудиторіи, и у Лизы часто недоставало чайныхъ стакановъ.

Бѣлоярцевъ, молодой маркизъ, оставшійся единственною особою въ Москвѣ, студентъ Кореневъ, нѣкій студентъ Незабитовскій (изъ богородицкихъ дачниковъ), и вообще всѣ уцѣлѣвшія особы разсыпавшагося кодла стали постоянно стекаться къ Лизѣ на ея вечерніе чаи и засиживались долго за полночь, препровождая время въ преніяхъ, или, чаще всего, въ безмолвномъ слушаніи Бычковскихъ лекцій.

Розанова это общество стало утомлять и становилось ему досаднымъ, тѣмъ болѣе, что, среди Бычковскихъ разглагольствованій, Розанову часто-часто случалось подмѣчать выраженіе несносной скуки и усталости на молодомъ, не живя отживающемъ личикѣ Лизы.

Къ тому же, Бертольди при всѣхъ разсказала Бычкову, что Розановъ уговаривалъ Лизу не приглашать его.

Розанову это было очень непріятно, и онъ сдѣлалъ Бертольди замѣчаніе, что это не годится.

— Отчего же? — возразила Бертольди. — Надо всегда жить такъ, чтобы не было секретовъ. Если вы считаете его дурнымъ человѣкомъ, такъ говорите въ глаза, а не интригуйте.

Розановъ только порою сердился на Бертольди, а то бо-

лѣе относился къ ней весело и шутя; но она его уже очень недолюбливала, и скоро вдругъ совсѣмъ возненавидѣла.

Случилось это такимъ образомъ: Лиза возвратила Розанову одну книгу, которую брала у него за нѣсколько времени. Розановъ, придя домой, сталъ перелистывать книгу и нечаянно нашелъ въ ней листокъ почтовой бумаги, на которомъ рукою Бертольди, съ особеннымъ тщаніемъ были написаны стишки. Розановъ прочелъ сверху «*Рай*» и, не видя здѣсь ничего секретнаго, сталъ читать далѣе:

«Какъ все небесное прекраснѣй,
Мы ужъ привыкли отличать,
Такъ сладострастье сладострастнѣй
Въ раю мы въ правѣ ожидать,
И Магометъ, пророкъ и геній,
Недаромъ эту мысль развилъ,
Для лучшихъ рая наслажденій
Туда онъ гурій насадилъ.»

— Чортъ знаетъ, что̀ за гадость такая!—воскликнулъ, разсмѣявшись, Розановъ:—вѣдь это она вѣрно сама такую чепуху сочинила, и Розановъ, не посмотрѣвъ болѣе на листокъ, спряталъ его въ свой бумажникъ, чтобы отдать Бертольди.

При первомъ же свиданіи, Розановъ вынулъ бумажку и подалъ Бертольди.

— Что это такое?—спросила она.

— Стишки,—отвѣчалъ Розановъ.

— Вѣчныя пошлости!

— Да возьмите, вамъ говорятъ: это ваши стихи.

Бертольди отвернулась.

— Ну-те-ка, покажите,—произнесъ Бычковъ и безцеремонно выдернулъ сложенный листокъ изъ рукъ Розанова, развернулъ и сталъ читать: «Рай православныхъ и рай Магомета».

Всѣ хохотали, а Бертольди хранила совершенное спокойствіе; но когда Бычковъ перевернулъ бумажку и прочелъ: «А. Т. Кореневу на память, Елена Бертольди», Бертольди, по женской логикѣ, разсердилась на Розанова до послѣдней степени.

— То-то, Бертольдинька, надо всегда жить такъ, чтобы не было никакихъ секретовъ,—говорилъ ей Розановъ, повторяя въ шутку ея собственныя слова.

Бертольди его возненавидѣла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Старый другъ.

По поводу открытой Бычковымъ приписки на «раѣ Магомета» у Лизы задался очень веселый вечеръ. Переходя отъ одного смѣшного предмета къ другому, гости засидѣлись такъ долго, что когда Розановъ, проводивъ до воротъ Полиньку Калистратову, пришелъ къ своей калиткѣ, былъ уже второй часъ ночи.

Входя въ свою комнату, Розановъ на самомъ порогѣ столкнулся въ темнотѣ съ какою-то фигурою и, отскочивъ, крикнулъ:

— Кто это?

— Дмитрій! душа! здравствуй!—отозвался голосъ, котораго Розановъ никакъ не узналъ сразу.

— Не узнаешь, не ждалъ, шельмецъ ты этакой!—продолжалъ гость, цѣлуя Розанова и сминая его въ своихъ объятіяхъ.

— Помада!—крикнулъ Розановъ.

— Онъ, онъ, братъ, самый!—отвѣчалъ Помада.

— Какъ это ты?

— Такъ, просто. Зажигай скорѣе огня.

— Что же ты-то сидишь въ потемкахъ?

— Да я, братъ, давно; я еще засвѣтло пріѣхалъ: все жду тебя. Такъ все ходилъ; славно здѣсь. Ну, ужъ Москва ваша!

— Что?

— Отличный, братецъ, городъ. Ѣхалъ, ѣхалъ, да и чортъ возьми совсѣмъ: дома какіе,—фу-ты, Господи!—Ну, что Бахаревы?

Розановъ зажегъ свѣчку.

— Ну, а ѣлъ ли ты что-нибудь?

— Голоденъ, братъ, какъ волкъ.

— Постой же, я разстараюсь чего-нибудь.

— И водочки, Дмитрій.

— Всего, если достану.

— Куда же ты пойдешь?

— Тутъ трактирчикъ есть: вѣрно отопрутъ сзади.

— Такъ пойдемъ вмѣстѣ; что жъ я одинъ буду тутъ дѣлать. Ну, Москва!—говорилъ Помада, надѣвая сапоги, которые онъ снялъ, чтобы дать отдохнуть ногамъ.

— Экъ ты загорѣлъ-то какъ.

— Жаръ, братъ, пыль.

— Чего жъ ты это пріѣхалъ?

— На каникулярное время, повидаться пріѣхалъ.

— А это, что жъ это такое Сокольники? Деревня, что-ль это такая?—спрашивалъ Помада, выйдя за ворота и оглянувшись назадъ по улицѣ.

— Дача.

— Отлично, братъ,—ну ужъ городъ! Ивана Великаго ямщикъ за пятнадцать верстъ показывалъ; непремѣнно надо будетъ сходить. Какъ же-то... ты мнѣ и не сказалъ: какъ Лизавета Егоровна?

— Да ничего; вотъ завтра вечеромъ пойдемъ къ ней.

— Они въ городѣ?

— Нѣтъ, тутъ на дачѣ.

— Отлично,—ну, я, братъ, утромъ долженъ сходить; вечеромъ не хорошо: цѣлый день пріѣхалъ, и вечеромъ идти. Я утромъ.

Розановъ проникъ заднимъ ходомъ въ заведеніе, набралъ тамъ посудину водочки, пару бутылокъ пива, бутербродовъ, закусокъ—въ родѣ крутыхъ яицъ и огурцовъ.

Черезъ пять минутъ Розановъ и Помада были дома.

Розановъ, тотчасъ по приходѣ домой, сталъ открывать водку и пиво, а Помада бросился въ уголъ къ крошечному старенькому чемоданчику, изъ разряда тѣхъ «конвертиковъ», которые нерѣдко покупаютъ по три четвертака за штуку солдатики, отправляющіеся въ отпускъ.

— Тутъ, братъ, я тебѣ привезъ и письма, и подарокъ отъ Евгеніи Петровны...

— О!

— Да, — и Лизаветѣ Егоровнѣ тоже... Ей, братъ, еще что,—я ей еще вотъ что привезъ!—воскликнулъ Помада, вскакивая и ударяя рукою по большой связкѣ бумаги.

— Что же это такое?

— Ага! Смотри.

Помада торопливо развязалъ шнурочекъ и сталъ перебирать и показывать Розанову тетрадь за тетрадью.

— «Вопросы жизни», Пирогова, — самъ списалъ изъ «Морского Сборника»: она давно хотѣла ихъ; Кантъ «О чувствахъ высокаго и прекраснаго»,—съ заграничнаго изданія списалъ; «Русскій народъ и соціализмъ», письмо къ Мишле,—тоже списалъ у Зарницына.

— У нея это есть печатное.

— О!

— Право, есть; да ты оставь, а вотъ ѣшь-ка пока.

— Сейчасъ. А вотъ это: Милль «О свободѣ», этого нѣтъ?

— Этого, кажется, нѣтъ.

— Ну, вотъ и отлично. Я, братъ, все, что у Зарницына могъ достать, все списалъ.

Розановъ со вниманіемъ смотрѣлъ на счастливаго Помаду.

— Добролюбова одна, двѣ, три, четыре, пять статей вырвалъ изъ «Современника» и переплелъ.

— Это же зачѣмъ?

— Дивныя, братецъ, статьи.

— Знаю; да вѣдь у нея есть это все.

— Есть?—досадно; ну, да все равно. Шевченки «Сонъ», Огарева, тутъ много еще...

— Ѣшь прежде.

— Сейчасъ. Видъ фотографическій изъ ея оконъ въ Меревѣ.

— Это ты какъ добылъ?

— А-а! То-то вы Помаду не хвалите. Фотографъ-жидъ пріѣзжалъ; я ему пять цѣлковыхъ далъ и работки кое у кого досталъ,—онъ и сдѣлалъ.

— Сейчасъ и видно, что жидовская фотографія.

— Ну, а это?

— Евгеніи Петровны портретъ.

— Да, и тебѣ тоже прислала: все здѣсь уложено. Ну, а это?

— Да полно, ѣшь, сдѣлай милость.

— Нѣтъ, ты смотри.

— Нѣтъ, ужъ полно.

Розановъ взялъ новый узелокъ изъ рукъ Помады и, сунувъ его назадъ, закрылъ чемоданчикъ.

Помада выпилъ рюмку водки и съѣлъ нѣсколько яицъ.

— Ну, какъ же тамъ у васъ живется?—спросилъ Розановъ, когда гость его подкрѣпился и они принялись за пиво.

— Живемъ, братъ. Евгенія Петровна, знаешь вѣрно,—замужъ идетъ.

— Знаю.

— За Вязмитинова: онъ, братъ, въ гору пойдетъ.

— Это какъ?

— Какъ же,—его статью вездѣ расхвалили.

— Ну, это еще вилами писано.

— Нѣтъ, напечатано, и попечитель о немъ директора спрашивалъ.

— А старикъ?

— Плохъ, кашляетъ все, а ужъ Евгенія Петровна, я тебѣ скажу...

Помада поцѣловалъ свои пальчики.

— И такая жъ добрая?

— Все такая жъ. Ахъ!..

Помада вскочилъ, вынулъ изъ чемоданчика маленькій сверточекъ и, подавъ Розанову, сказалъ:

— Это тебѣ.

Въ сверточкѣ была вышитая картина для столоваго портфеля.

— Поцѣлуй,—это ея ручки шили.

— Спасибо ей, — сказалъ Розановъ и въ самомъ дѣлѣ поцѣловалъ картину, на которой долго лежали ручки Женни.

— О тебѣ, братъ, часто, часто мы вспоминали: на твоемъ мѣстѣ теперь такой лекаришка... гордый, интересанъ. Разъ не заплати,—другой не поѣдетъ.

— Вотъ это пуще всего,—сказалъ, смѣясь, Розановъ.

— Нѣтъ, таки-дрянь. А Зарницынъ, братъ! Вотъ баринъ какой сталъ: на лежачихъ рессорахъ дрожки, карета, арапа нанялъ.

— Ну-у!

— Право, арапа нанялъ. А скука у насъ... ужъ скука! У васъ-то какая прелесть!

— Да что̀ тебѣ тутъ такъ нравится?

— Помилуй, братъ: чувствуешь себя въ большомъ городѣ. Жизнь кипитъ, а у насъ ничего.

— Эхъ, братъ, Юстинъ Феликсовичъ: надо, милый, дѣло дѣлать, надо трудиться, снискивать себѣ добрую репутацію, вотъ что надо дѣлать. Никакими форсированными маршами тутъ идти некуда.

— Ну, однако...

— Поживи, братъ, здѣсь, такъ и увидишь. Я все видѣлъ, и съ опыта говорю: некуда метаться. Россія идетъ своей дорогой, и никому не свернуть ее.

— А Лизавета Егоровна?

— Что это ты о ней при этой стати вспомнилъ?

— Да такъ; что она теперь какъ смотритъ?

Розановъ легъ на постель и долго еще разговаривалъ съ Помадой о Лизѣ, о себѣ и о своихъ новыхъ знакомыхъ.

— Ну, а какъ денегъ у тебя?—спросилъ Помада.

— А денегъ у меня никогда нѣтъ.

— И безъ прислуги живешь?

— Хозяинъ лошадь мою кормитъ, а хозяйка самоваръ ставитъ, вотъ и вся прислуга.

— А Ольга Александровна?

— Что?

— Такая жъ какъ была?

Розановъ махнулъ рукой и отвернулся къ стѣнкѣ.

Помада задулъ свѣчу и легъ-было на диванъ, но черезъ нѣсколько минутъ всталъ и началъ все снова перекладывать въ своемъ чемоданчикѣ.

Работа эта видно его очень занимала. Сидя въ одномъ бѣльѣ на полу, онъ тщательнѣйшимъ образомъ разобралъ вещи, пересмотрѣлъ ихъ, и когда уложилъ снова, то на дворѣ было уже свѣтло.

Помада посмотрѣлъ съ четверть часа въ окна и, увидя прошедшаго по улицѣ человѣка, сталъ одѣваться.

— Розановъ!—побудилъ онъ доктора.

— Ну! — отозвался Розановъ и, взглянувъ на Помаду, который стоялъ передъ нимъ съ фуражкой въ рукѣ и съ чемоданчикомъ подъ мышкой, спросилъ:—куда это ты?

— Выпусти меня, мнѣ не спится.

— Куда жъ ты пойдешь?

— Такъ, погуляю.

— А чемоданъ-то зачѣмъ тащишь?

— Я погуляю и зайду прямо къ Лизаветѣ Егоровнѣ.

— Вѣдь ты не найдешь одинъ.

— Нѣтъ, найду; ты только встань, выпусти меня.

Розановъ пожалъ плечами и проводилъ Помаду, заперъ за нимъ двери и легъ досыпать свою ночь, а Помада самымъ торопливымъ шагомъ подралъ по указанной ему дорожкѣ къ Богородицкому.

Частые свертки не сбили Помаду: звѣзда любви безошибочно привела его къ пяти часамъ утра въ Богородицкое и остановилась надъ крылечкомъ дома крестьянина Шуркина, ярко освѣщеннымъ раннимъ солнышкомъ.

Гдѣ стала звѣзда, тутъ подъ нею сѣлъ и Помада.

Солнышко погрѣвало его и сонъ сталъ его омаривать.

Помада крѣпился, смотрѣлъ зорко въ синѣющую даль и видитъ, что идетъ оттуда Лиза, веселая такая, кричитъ: «здравствуйте, Юстинъ Феликсовичъ! здравствуйте, мой старый другъ!»

Помада захотѣлъ что-то крикнуть, издалъ только какой-то звукъ и вскинулъ глазами.

Передъ нимъ стояла баба съ ведрами и коромысломъ.

— Не скоро они встанутъ-то, молодецъ, — говорила она Помадѣ:—гости у нихъ вчера долго были; не скоро теперь встанутъ.

— Ничего, я подожду.

— Ну, жди; извѣстно, коли тебѣ такъ приказано, надо ждать.

Баба проходила.

Помада смотритъ на дымящіяся тонкимъ парочкомъ верхушки сокольницкаго бора и видитъ, какъ по вершинкамъ сосенъ ползетъ туманная пелена, и все она рѣдѣетъ, рѣдѣетъ и, наконецъ, исчезаетъ вовсе, оставляя во всей утренней красотѣ иглистую сосну, а изъ-за окраины лѣса опять выходитъ уже настоящая Лиза, такая, въ самомъ дѣлѣ, хорошая, въ бѣломъ платьѣ, съ голубымъ поясомъ.—Здравствуйте, говоритъ. — Помада ей кланяется. — Мы старые друзья,—говоритъ Лиза, — что намъ такъ здороваться, давайте, поцѣлуемтесь.—Помада хотѣлъ дружески обнять Лизу, но она вдругъ поскользнулась, покатилась въ оврагъ.—Ай, ай, помогите!—закричалъ Помада, бросаясь съ обрыва за Лизою, но его удержала за плечо здоровая, сильная десница.

— Ахъ ты, парень, парень: какъ тебя омариваетъ-то! Вѣдь это долго ль, сейчасъ ты съ этого крыльца можешь себѣ шею сломать, а нѣтъ, всее морду себѣ расквасить,— говоритъ Помадѣ стоящій возлѣ него мужикъ въ розовой ситцевой рубахѣ и синихъ китайчатыхъ шароварахъ.

— Ранецъ-то свой подыми,—продолжалъ мужикъ, указывая на валяющійся подъ крылечкомъ чемоданчикъ.

Помада поднялъ чемоданчикъ и усѣлся снова.

— Поди холодною водою умойся, а то тебя моритъ.

Помада пошелъ умыться.

— Издалека?—спросилъ хозяинъ, подавая ему полотенце.

Помада назвалъ губернію.

— Стало, ихній, что ли, будешь?

— Ихній,—отвѣчалъ Помада.

— Дворовый, или какъ съ родни доводишься?

— Нѣтъ, такъ знакомый.

— А-а!—сказалъ мужикъ и, почесавъ спину на крылечкѣ, пошелъ почесать ее въ горницѣ.

Сонъ Помады былъ въ руку. Какъ только хозяйка побудила Лизу и сказала, что ее, еще гдѣ тебѣ, давно ждетъ какой-то разносчикъ, Лиза встала и, выглянувъ немножко изъ окна, крикнула:

— Помада! Юстинъ Феликсовичъ!

Черезъ двѣ минуты Лиза въ бѣломъ пеньюарѣ встрѣчала Помаду, взяла его за обѣ руки и сказала:

— Ну, мы старые друзья, что намъ такъ здороваться; давайте поцѣлуемтесь.

И Лиза поцѣловала Помаду.

Много перевернулъ и порѣшилъ этотъ простой, дружескій поцѣлуй въ жизни Помады.

Нужно быть хорошимъ художникомъ, чтобы передать благородное и полное, едва ли не преимущественно нашей русской женщинѣ свойственное, выраженіе лица Лизы, когда она, сидя у окна, принимала изъ рукъ Помады одну за другой ничтожныя вещицы, которыя онъ везъ какъ нѣкое безцѣнное сокровище, хранилъ ихъ паче зѣницы ока и теперь ликовалъ нетерпѣливо, принося ихъ въ даръ своему кумиру.

Лиза вся обложилась Помадиными подарками. Послѣдними были ей поданы два письма и три затѣйливо вышитые воротничка работы Женни Гловацкой.

Когда Помада вынулъ изъ своего ранца послѣдній свертокъ, въ которомъ были эти воротнички, и затѣмъ, не подпимаясь отъ ногъ Лизы, скаталъ трубочкою свой чемоданчикъ, Лиза смотрѣла на него до такой степени тепло, что, казалось, одного движенія со стороны Помады было бы достаточно, чтобы она его расцѣловала не совсѣмъ только лишь дружескимъ поцѣлуемъ.

Лиза была тронута, видя, что Помада, живучи за сотни верстъ, помнилъ только одну ее.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Самая маленькая главка.

Помада устроился въ Москвѣ очень скоро. Лиза захотѣла, чтобы онъ жилъ къ нимъ ближе, а онъ ничего иного и не хотѣлъ. Бертольди свела его съ Незабитовскимъ, и

Помада поселился у Незабитовскаго, считая только для блезира, что онъ живетъ у Розанова.

При всей своей расположенности къ Розанову, Помада отошелъ отъ него далеко въ первое же время, ибо въ первое же время, чтобы долго не раздумывать, онъ послалъ просьбу объ отставкѣ.

Онъ сдѣлалъ это потому, что Лиза сказала, что ей съ нимъ лучше.

Между тѣмъ, дружба Помады съ Розановымъ въ существѣ хранилась ненарушимо: Розановъ очень мягко относился къ увлеченію Помады, и Помада цѣнилъ это.

Мало-по-малу Помада входилъ въ самую суть новой жизни и привѣшивался къ новымъ людямъ, но новые люди его мало понимали, и сама Бертольди, у которой сердца все-таки было больше, чѣмъ у иныхъ многихъ, только считала его «монстромъ» и «дикобразомъ».

Въ эти дни у нашихъ знакомыхъ случилось маленькое происшествіе, для короткаго описанія котораго собственно и посвящена эта короткая главка.

Назвалась Лиза и Полинька къ Розанову на чай. Напились чаю, скушали по порціи мороженаго и задумали идти въ лѣсъ.

Бертольди захотѣла показать «монстру» сокольницкую террасу и общество. Желаніе вовсе и не свойственное Бертольди, тѣмъ не менѣе оно пришло ей.

Лизѣ очень не хотѣлось идти на террасу, а Полиньку просто страхомъ обдавало при мысли показаться на люди.

У Полиньки Калистратовой, какъ говорятъ женщины, предчувствіе было, что ей не должно идти къ террасѣ, и предчувствіе ея оправдалось.

Только-что общество наше вышло на площадку, оно повстрѣчалось съ тремя ухарскими франтами, изъ которыхъ средній, атлетъ, страшнаго роста, косая сажень въ плечахъ, съ усами à la Napoléon III, выпятивъ впередъ высоко поднятый локоть лѣвой руки, сорвалъ съ себя шляпу и, сдѣлавъ Полинькѣ гримасу, сказалъ:

— Же ву салю, мадамъ.

Докторъ, съ которымъ Полинька и Лиза шли подъ руку, почувствовалъ, что Калистратова отъ этой встрѣчи такъ и затрепетала, какъ подстрѣленная голубка. Въ эту же минуту голіаѳъ, оставивъ товарищей и нагнувшись къ По-

линькиному ребенку, который шелъ впереди матери, схватилъ и понесъ его.

— Что это такое? — спросилъ Розановъ блѣднѣющую и падающую Полиньку.

— Молчите, молчите,—отвѣчала она, стараясь удержаться за его руку.

Розановъ направился къ скамейкѣ и попросилъ для Полиньки мѣста. Калистратова сѣла, но, шатаясь, рвалась впередъ и опять падала къ спинкѣ; дыханье у нея судорожно спиралось, и докторъ ожидалъ, что вотъ-вотъ у нея начнется обморокъ.

Лиза, Бертольди и Розановъ стали около Полиньки такъ, чтобы, по возможности, закрыть ее отъ безчисленныхъ глазъ гуляющей толпы, но все-таки, разумѣется, не могли достичь того, чтобы Полинька своимъ состояніемъ не обратила на себя непріятнаго вниманія очень большого числа людей.

Прошла минута, двѣ, пять, Розановъ съ Лизою перешепнулись и послали Помаду нанять первый экипажъ, какъ въ это же мгновеніе сіяющій голіаѳъ поставилъ передъ Полинькой ребенка, опять высоко поднявъ локоть, сорвалъ съ себя шляпу, опять сказалъ съ насмѣшливою важностью «же ву салю, мадамъ» и, закрутивъ усъ, пошелъ по дорожкѣ.

Полинька съ минуту, послѣ прощанья голіаѳа, молча смотрѣла ему вслѣдъ и потомъ вдругъ схватила своего ребенка и зарыдала.

У нея сдѣлался сильный истерическій припадокъ, котораго ни остановить, ни скрыть среди толпы народа было невозможно, и наши знакомые провели пренепріятную четверть часа, прежде чѣмъ Полиньку посадили въ карету, которую предложилъ какой-то старичокъ.

Вмѣстѣ съ Полинькою сѣлъ Розановъ, какъ медикъ, и Полинькинъ мальчикъ.

Въ ручкахъ у ребенка оказался довольно длинный кусокъ розоваго рагатъ-лакума и новенькій серебряный гривенничекъ.

Это были родительскіе подарки.

Полинька довольно долго не могла успокоиться и просила кого-нибудь изъ дѣвицъ переночевать у нея.

— Я боюсь теперь быть одна,—говорила Полинька.

— Чего ты боишься?

— Его, Лиза, его, моего мужа: вы не знаете, какой онъ человѣкъ.

И Лиза, и Бертольди охотно остались ночевать у Полиньки; а такъ какъ ни Лиза, ни Бертольди спать не ложились, а Полинька лежала въ блузѣ, то и докторъ съ Помадою остались проводить эту страшную ночь вмѣстѣ.

Когда всѣ собрались къ Полинькѣ вечеромъ, на другой день послѣ этого происшествія, она уже совсѣмъ поправилась; смѣясь надъ своею вчерашнею истерикою и трусостью, говорила, что она теперь ничего не боится, что ее испугало не внезапное появленіе мужа, а то, что онъ схватилъ и унесъ дитя.

— Такъ вдругъ мысль пришла, что онъ убьетъ ребенка,— говорила Полинька.

Полинька, успокоившись, была веселѣе обыкновеннаго и нѣсколько нарушила свое обычное молчаніе, скромно, но прехарактерно разсказавъ нѣкоторые трагикомическіе случаи своей жизни.

Разсказы эти почти совсѣмъ не касались мужа и относились къ тому, какъ Полинька передѣлывалась изъ богатой помѣстной барыни въ бѣдненькую содержательницу провинціальной гостиницы съ номерами, буфетомъ и бильярдомъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Новыя наслоенія въ обществѣ и кое-что новое въ романѣ.

«Чтобы чортъ меня взялъ,—думалъ Розановъ,—прекрасная эта бабочка Полинька Калистратова! Вотъ если бы вмѣсто Ольги-то Александровны была такая женщина,—и громъ бы меня не отшибъ. Да, только ужъ видно такъ и шабашъ.»

— Розановъ!—крикнулъ звонкій дискантъ.

— Что, Бертольдинька?

— Можно?

— Очень возможно, я въ покровахъ.

— Идите со мною.

— Куда это? Вы меня, можетъ-быть, убить хотите.

— Не стоитъ рукъ марать. Я съ вами не шутить пришла, а идемте къ Полинькѣ Калистратовой: ея сынъ умираетъ.

Докторъ взялъ шляпу и пошелъ съ Бертольди.

Онъ первый разъ шелъ въ квартиру Калистратовой.

Полинька Калистратова жила въ одной комнаткѣ, вы-

ходившей окнами на дорожку, за которой начинался Сокольницкій лѣсъ. Въ комнаткѣ было бѣдно, но замѣтно, что здѣсь живетъ молодая женщина со вкусомъ и привычкою къ опрятности и даже къ изяществу. Бѣлый деревянный столикъ былъ обколотъ ловко собранной бѣлой кисеей, на окнахъ тоже были чистыя занавѣски, дѣтская кроватка подъ зеленымъ ситцевымъ пологомъ, сундукъ, нѣсколько игрушекъ на полу, пять стульевъ, крашеный столикъ, диванъ и на стѣнѣ деревянная вѣшалка, закрытая бѣлою простынею, — это было все убранство жилища Полины Петровны и ея ребенка.

Теперь это жилище было нѣсколько въ большемъ безпорядкѣ. Не до порядковъ было его хозяйкѣ. Когда докторъ и Бертольди вошли къ Полинькѣ Калистратовой, она стояла у дѣтской кроватки. Волосы у нея были наскоро собраны пукомъ на затылкѣ, и платье, видно, не снималось нѣсколько сутокъ.

Увидя Розанова и Бертольди, она кивнула имъ молча головою и не отошла отъ кроватки.

— Что̀ съ вашимъ ребенкомъ?—произнесъ шопотомъ Розановъ.

— Не знаю, докторъ. Я ходила въ Москву, въ почтамтъ, и долго тамъ прождала. Вернулась, онъ спалъ, и съ тѣхъ поръ едва откроетъ глазки и опять заводитъ, опять спитъ. Послушайте, какъ онъ дышитъ... и ничего не проситъ. Это вѣдь не простой же сонъ?

У ребенка была головная водянка. Розановъ опредѣлилъ болѣзнь очень вѣрно и сталъ лѣчить внимательно, почти не отходя отъ больного. Но что̀ было лѣчить! Ребенокъ былъ въ состояніи совершенно безпомощномъ, хотя для неопытнаго человѣка и въ состояніи обманчивомъ. Казалось, ребенокъ вотъ отоспится, да и встанетъ розовый и веселенькій.

Розановъ третьи сутки почти безвыходно сидѣлъ у Калистратовой. Былъ вечеръ чрезмѣрно тихій и теплый, надъ Сокольницкимъ лѣсомъ стояла полная луна. Ребенокъ лежалъ въ забытьѣ, Полиньку тоже докторъ уговорилъ прилечь, и она, послѣ многихъ безсонныхъ ночей, крѣпко спала на диванѣ. Розановъ сидѣлъ у окна и, облокотясь на руку, совершенно забылся.

Думы его начались тѣмъ, какъ будетъ все, когда умретъ этотъ ребенокъ, а умретъ этотъ ребенокъ непремѣнно очень

скоро—не завтра, такъ послѣзавтра. Потомъ ему представлялась несчастная разбитая Полинька, съ ея разбитымъ голосомъ и мягкими руками; потомъ ея мѣдно-красный мужъ съ циничными, дерзкими манерами и жестокостью; потомъ свой собственный ребенокъ и, наконецъ, жена. Но жена припомнилась какъ-то такъ холодно, какъ еще ни разу она не вспоминалась. Ни гнѣва, ни любви, ни ревности, ни досады,—ничего не было въ этомъ воспоминаніи. Такъ промелькнулъ какъ-то ея капризный, сварливый образъ и тотчасъ же исчезъ, не оставивъ даже за собою слѣда. Даже состраданіе, обыкновенно неразлучное съ этимъ воспоминаніемъ, явилось какимъ-то такимъ жиденькимъ, что самъ докторъ его не замѣтилъ.

Къ полуночи Полинька Калистратова проснулась, приподняла голову и осмотрѣлась.

Дитя попрежнему лежало тихо, докторъ попрежнему тихо сидѣлъ.

Полинька встала, поправила голову и сѣла къ окну.

Въ комнатѣ долго только раздавалось тяжелое дѣтское дыханіе.

Докторъ съ Калистратовою просидѣли молча цѣлую ночь и обоимъ имъ сдавалось, что всю эту ночь они вели самую задушевную, самую понятную бесѣду, которую только можно бы испортить всякимъ звукомъ голоса.

Утромъ ребенокъ тихо умеръ.

Прошли тяжелыя сцены похоронъ, вынесли дѣтскую кроватку изъ комнаты Полиньки Калистратовой.

— Пусто стало, — говорила дрожащимъ голосомъ Полинька, относя къ комнатѣ внутреннюю пустоту своей нѣжной натуры, у которой смерть отняла послѣдній предметъ необходимой живой привязанности.

Докторъ ежедневно приходилъ къ осиротѣлой Полинькѣ и, какъ умѣлъ, старался ее развлечь и успокоить. Часто они ходили вдвоемъ вечеркомъ въ Богородицкое къ Лизѣ и вдвоемъ оттуда возвращались въ Сокольники.

Такъ прошло съ мѣсяцъ послѣ смерти ребенка. Разъ Розановъ получилъ непріятное извѣстіе отъ жены и, встревоженный, зашелъ въ семь часовъ вечера къ Калистратовой, чтобы идти къ Лизѣ.

Лизу они застали за чтеніемъ. Она была не въ духѣ и потому не очень привѣтлива.

Помада стругалъ палочку.

— Что это ты сооружаешь?—спросилъ его докторъ.

— Это мухоловка будетъ.

— Какъ же ты ее сдѣлаешь?

Помада надѣлъ на рогульки мѣшокъ изъ кисеи и замахалъ имъ по комнатѣ.

— Полноте, пожалуйста, вертѣться,—остановила его Лиза.

— Видишь сколько,—показывалъ Помада Розанову, держа жужжащихъ въ мѣшкѣ мухъ.

— Механикъ! — замѣтилъ, улыбаясь, Розановъ. — А гдѣ ваша Бертольдинька?

— Она сейчасъ будетъ, — отвѣчалъ Помада, излавливая мухъ, летавшихъ у порога:—она въ городъ поѣхала.

— Вы ничего не слыхали, докторъ, о Красинѣ? — спросила Лиза.

— Нѣтъ, ничего не слыхалъ, Лизавета Егоровна.

— Его сейчасъ привезетъ Бертольди.

— Что жъ это за Красинъ?

— Соціалистъ.

— Изъ Петербурга?

— Да.

— Ну ужъ...

— Что такое?

— Знаемъ мы этихъ русскихъ соціалистовъ изъ Петербурга!

— Что вы знаете? Ничего вы не знаете.

— Нѣтъ, знаю-съ кое-что.

— Зная кое-что, вы еще не имѣете права чернить честныхъ людей.

— Да Богъ святой съ ними; я ихъ не черню и не бѣлю. Что̀ мнѣ до нихъ. Имъ одна дорога, а мнѣ другая.

— Да, вамъ словами играть, а они дѣло дѣлаютъ.

— Какое такое они дѣло дѣлаютъ, Лизавета Егоровна?

— Какое бы ни дѣлали, да они первые его дѣлаютъ.

— Да это что жъ... А вотъ Бертольди.

Бертольди разсчитывалась съ извозчикомъ; возлѣ нея стоялъ высокій долгогривый человѣкъ съ смуглымъ лицомъ, въ гарибальдійской шляпѣ и широкомъ мэкъ-ферланѣ.

— Вонъ какой!—произнесъ подъ ухомъ Розанова Помада.

— Да, и по рылу видать, что не изъ простыхъ свиней,— замѣтилъ Розановъ.

— Господинъ Красинъ,—произнесла Бертольди, входя и представляя Лизѣ гостя.

Красинъ поклонился довольно неловко и тотчасъ же сѣлъ.

Розановъ во всѣ глаза смотрѣлъ на петербуржца, а Бертольди во всѣ глаза смотрѣла на доктора и съ сіяющимъ лицомъ набивала для Красина папироски.

— Что будутъ дѣлать ваши? — спросила Лиза, единственное лицо, начавшее разговоръ съ петербуржцемъ.

— Опровергать лжеученія идеалистовъ и экономистовъ, стремиться къ уничтоженію семейственнаго и общественнаго деспотизма, измѣнять понятія о нравственности и человѣческомъ правѣ. Первое дѣло—раздѣлить поровну хлѣбъ по желудкамъ.

— Это не легко.

— Трудное — не невозможно. Не нужно терять много словъ, а нужно дѣлать. Живой примѣръ — самый лучшій способъ убѣжденія.

— Но что вы сдѣлаете съ деспотизмомъ семьи и общества?

— Откроемъ пріютъ для угнетенныхъ; сплотимся, дружно поможемъ общими силами частному горю и защитимъ личность отъ семьи и общества. Сильный поработаетъ за безсильнаго: желудки не будутъ пугать, такъ и головы смѣлѣе станутъ. Дѣло простое.

Разговоръ шелъ все въ этомъ родѣ часовъ до десяти. У Полиньки Калистратовой, вообще все еще разстроенной и не отдохнувшей, стала болѣть голова. Розановъ замѣтилъ это и предложилъ ей идти въ Сокольники?

— Что вы сегодня такой молчаливый?— спросила Бертольди, прощаясь съ Розановымъ и торжественно глядя на Красина.

— Вами, мой другъ, любуюсь,—отвѣтилъ ей на ухо Розановъ.

— Вѣчныя пошлости! — пропищала Бертольди, вырвавъ у него свою руку.

— Кто это такой? — спросилъ Красинъ по уходѣ Розанова и Калистратовой.

— Это врачъ одной больницы,—мой старый знакомый,— отвѣчала Лиза.

— Онъ медикъ?

— Да.

— И идеалистъ,—подсказала Бертольди.

— То-есть, какъ идеалистъ? Зачѣмъ клеветать? — замѣтила Лиза. — Онъ очень не глупый и честный человѣкъ, только тяжелый спорщикъ и пессимистъ.

— Что-жъ, это хорошо.

— Да вы что думаете, что онъ ничего не признаетъ? Нѣтъ, онъ все стоитъ за какой-то непонятный правильный прогрессъ,—возразила Бертольди.

— Постепеновецъ, значитъ.

— Какъ вы назвали?

— *Постепеновецъ.*

— Вотъ, Бахарева! вотъ именно для Розанова слово: *постепеновецъ.*

— Ну, изъ этихъ господъ прока не будетъ: они сто разъ вреднѣе ретроградовъ,—замѣтилъ Красинъ.

— А! Бахарева, какъ это, въ самомъ дѣлѣ, идетъ къ нему *постепеновецъ*,—опять приставала Бертольди.

— А что это очень умный человѣкъ? — спрашивала Розанова Полинька Калистратова, подходя къ дому.

Розановъ засмѣялся и сказалъ:

— А вамъ какъ кажется?

— Я, право, не поняла.

— Я тоже,—отвѣчалъ докторъ, пожавъ у воротъ ея ручку.

На другой день Розановъ съ Калистратовой пришли къ Лизѣ нѣсколько позже и застали у нея цѣлое общество.

Былъ Помада, Незабитовскій, Бычковъ со Стешей и съ сынишкомъ, маркизъ, Бѣлоярцевъ и Красинъ.

Когда Розановъ и Калистратова вошли, Лиза сидѣла на своемъ мѣстѣ у окна, Бертольди насыпала папироски, а всѣ остальные молча слушали Красина.

— Физіологія все это объясняетъ, — говорилъ Красинъ, при входѣ Розанова:—человѣкъ одинаково не имѣетъ права насиловать свой организмъ. Каждое требованіе природы совершенно въ равной степени заслуживаетъ удовлетворенія. Функція и ничего болѣе.

— Фактъ,—подтвердила Бертольди.

Маркизъ косился и вертѣлъ нижнюю губу. Бѣлоярцевъ разсматривалъ сердечко розы, остальные молча смотрѣли на Красина.

— Вотъ Розановъ тоже долженъ съ этимъ согласиться,— сказала Бертольди, чтобы втянуть въ споръ Розанова.

— Съ чѣмъ это я долженъ согласиться? — спросилъ Розановъ, пожимая руки гостей и кланяясь Красину.

— Съ законами физіологіи.

— Ну-съ?

— Естественно ли признавать законность однихъ требованій организма и противодѣйствовать другимъ?

— Нѣтъ, не естественно.

— И вредно?

— Конечно, и вредно. Противодѣйствіе природѣ не можетъ совершаться въ интересахъ той же природы.

— А что же ваши разглагольствованія о любви?

— Какія разглагольствованія? Мы съ вами объ этомъ столько перетолковали, что всего не припомнишь.

— О вѣрности и ревности.

— Ну, при чемъ же онѣ тутъ?

— Какъ же, во имя вѣрности вы должны жить сдержанно.

— Да.

— Ну, гдѣ же естественность?

— Право не понимаю, о чемъ тутъ шла рѣчь до моего прихода.

— О томъ, что никто не имѣетъ права упрекать и осуждать женщину за то, что она живетъ какъ ей хочется.

— Совершенно справедливо.

— Ну, и только.

— Фактъ,—смѣясь подтвердилъ докторъ.

— А вы же разсказывали о нравственныхъ обязательствахъ.

— Да, такъ что-жъ такое?

— А эти ваши нравственныя обязательства не согласны съ правилами физіологіи. Они противорѣчатъ требованіямъ природы; ихъ нѣтъ у существъ, живущихъ естественною жизнью.

— Фу ты пропасть! Словъ-то, словъ-то сколько! Въ чемъ дѣло? Вы хотите сказать, что, любя человѣка, вы не признаете себя обязанною хранить къ нему вѣрность?

— Если...

— Если ваша природа этого потребуетъ? Отлично. Вы имѣете полнѣйшее право сдѣлать что вамъ угодно, точно такъ же, какъ онъ имѣетъ право перестать васъ любить.

— За это? Перестать любить за пользованіе своимъ правомъ?!

— Да, хоть и за это.

— На какихъ же это разумныхъ началахъ?—иронически спросилъ Красинъ.

— На началахъ взаимнаго довѣрія и уваженія, — отвѣчалъ Розановъ.

— Да за что же вы перестанете уважать? Развѣ вы перестанете уважать вашу любовницу, если она напилась, когда ей пить хотѣлось? Функція.

— Но я не стану ее уважать, если она, сидя здѣсь вотъ, напримѣръ, вздумаетъ здѣсь же непремѣнно отправлять всѣ свои функціи, а животныя вѣдь ничьимъ сообществомъ не стѣсняются.

Мужчины засмѣялись.

— И мы стѣсняемся только изъ предразсудковъ,—отвѣтилъ Красинъ.

— Ну, покорно благодарю за такую свободу. Если я поберегу немножко чужія чувства, еще не произойдетъ никакого зла.

— Вы вѣдь медикъ?

— Да, я учился медицинѣ.

— И вы отрицаете право природы?

— Нѣтъ-съ. Я его не отрицаю, а я только понимаю любовь къ женщинѣ, а не къ животному.

— Что же, вы—платонистъ?

— Я медикъ.

— Вы, значитъ, держитесь матеріалистическихъ воззрѣній?

— Я не люблю идеальной философіи.

— И соглашаетесь съ шутами, что...

— «Если изба безъ запора, то и свинья въ ней бродитъ», какъ говоритъ пословица. Соглашаюсь, и всегда буду съ этимъ соглашаться. Я не стану осуждать женщину за то, что она даетъ широкій просторъ своимъ животнымъ наклонностямъ. Какое мнѣ дѣло? Это ея право надъ собою. Но не стану и любить эту женщину, потому что любить животное нельзя такъ, какъ любятъ человѣка.

— А вы медикъ?

— Я медикъ и все-таки позволю вамъ напомнить, что извѣстная разнузданность въ требованіяхъ человѣческаго организма является вслѣдствіе разнузданности воли и фантазіи. И наконецъ, скажу вамъ не какъ медикъ, а какъ че-

ловѣкъ, видѣвшій и наблюдавшій женщинъ: женщина съ цѣльной натурой не полюбитъ человѣка только чувственно.

— У васъ какая-то идеальная любовь. Мы допускаемъ, что женщина можетъ жить гражданскою любовью къ обществу и на все остальное смотрѣть разумно... такъ... Функція.

— И это называется *разумно?*

— Функція, — отвѣчалъ, пожавъ презрительно плечами, Красинъ.

Розановъ глядѣлъ на него молча.

— Вы слѣдите за тѣмъ, что̀ вырабатываетъ мысль передовыхъ людей?—спросилъ наставительно Красинъ.

— Стараюсь.

— Вы читаете этотъ журналъ? — опять вопросилъ въ томъ же тонѣ Красинъ, поднимая вверхъ лежавшую на столѣ книгу.

— Нѣтъ, этого я не читаю.

— Почему же-съ, смѣю спросить?

— Да потому, что я всегда мѣсяца за четыре впередъ въ оригиналахъ читаю все, о чемъ здѣсь пишутъ, и переводныхъ извращеній терпѣть не могу.

— Напрасно. Если бы вы вникли, такъ увидѣли бы, что здѣсь есть особая мысль.

— Да, я это и не читая вижу, — отвѣчалъ Розановъ и, закуривъ сигару, вышелъ походить по садику.

— Каковъ, батюшка, разговоръ при дѣвушкахъ?—спрашивалъ его, колтыхая по дорожкѣ, косолапый маркизъ.

— Да.

— И вамъ-то охота поддерживать.

— Да ужъ тутъ нечего отмалчиваться, когда слушаютъ во всѣ уши: полезнѣе же разбивать, чѣмъ молчать.

— А до васъ-то что было: ужасъ! ужасъ! просто къ свободно-перемѣнному сожительству приглашалъ.

— Ну, вотъ видите.—Петръ Сергѣевичъ!—позвалъ докторъ, остановясь у окна и толкнувъ Бѣлоярцева.

Бѣлоярцевъ оглянулся и высунулся въ окно.

— Что вы тамъ сидите? Гулять бы идти.

— Пожалуй.

— Или бесѣда нравится?

— Мнѣ вотъ цвѣтокъ нравится, — отвѣчалъ, улыбаясь, Бѣлоярцевъ. — Видите, какъ это расходится; видите, все

изъ одной точки, а, а, а! — восклицалъ онъ, указывая на лепестки розы:—все изъ одной точки.

— Бертольди!—крикнулъ слегка докторъ:—гулять пойдемте.

Бертольди махнула отрицательно головою, какъ молящаяся женщина, у которой спрашиваютъ, не брала ли она ключей отъ комода.

— Штучку скажу, право скажу, — соблазнялъ ее докторъ,—хорошенькую штучку.

Бертольди молча отошла дальше.

Въ садикъ вышелъ Помада и Полинька Калистратова да Бѣлоярцевъ, а прогулка до чаю такъ и не состоялась.

— Что, вы какого мнѣнія о сихъ разговорахъ?—спрашивалъ Розановъ Бѣлоярцева; но всегда уклончивый Бѣлоярцевъ отвѣчалъ, что онъ художникъ, и внѣ сферы чистаго художества его ничто не занимаетъ,—такъ съ тѣмъ и отошелъ. Помада говорилъ, что «все это просто скотство»; косолапый маркизъ дѣлалъ ядовито-лукавыя мины и изображалъ изъ себя крайнее вниманіе, а Полинька Калистратова сказала,—что «это, Богъ знаетъ, что-то такое совсѣмъ неподобное».

За чаемъ Лиза вызвалась провожать сокольничанъ и москвичей.

Напились чаю и пошли, разбившись на двѣ группы. Бѣлоярцевъ шелъ съ Бычковымъ, Лизой, Бертольди, Калистратовой и Незабитовскимъ. Вторая группа шла, окружая Стешу, которая едва могла тащить свой животъ и соннаго полугодового ребенка. Дитятю у нея взяли; Розановъ и Помада несли его на рукахъ попеременно, а маркизъ колтыхалъ рядомъ съ переваливающейся уточкою Стешею и внимательно разсматривалъ ея лицо своими утомляющими, круглыми глазами.

На полянѣ вошли на холмикъ и присѣли подъ тремя соснами.

Стеша сѣла немножко поодаль отъ другихъ, взяла у Помады своего ребенка и закрыла его платкомъ.

— Холодно,—сказала она.

— Какой вздоръ!—возразилъ Бычковъ.

— Намъ ничего, а ему холодно, — отвѣчала покорно Стеша, укутывая своего ребенка.

— А зачѣмъ таскаешь,—замѣтилъ Бычковъ.

— Вамъ лишь бы спорить, Розановъ.

— Полноте, Лизавета Егоровна, что̀ мнѣ за радость препровождать свою жизнь въ спорахъ.

— Однако, вотъ препровождаете.

— Потому что не могу согласиться съ тѣмъ, что̀ часто слышу.

— Солидарности не видите?

— Да-съ, солидарности не вижу.

— Какъ же это: ни съ кѣмъ не видите въ себѣ солидарности?—иронически спросилъ Красинъ.

— Да, ни съ кѣмъ-съ,—спокойно отвѣчалъ докторъ.

— Особенный человѣкъ,—замѣтила Лиза:—съ Чистыми Прудами былъ несогласенъ...

— Несогласенъ,—подсказалъ Розановъ.

— Съ Лефортовымъ тоже несогласенъ.

— Несогласенъ.

— Съ студентами разошелся,—продолжала Лиза.

— Разошелся,—спокойно подтверждалъ докторъ.

— Съ теоріями петербургскихъ молодыхъ людей несогласенъ: готовъ даже за неразрѣшимый бракъ стоять.

— Ну, это, Лизавета Егоровна, вы сами придумали, а мое мнѣніе о теоріяхъ я еще сто лѣтъ назадъ вамъ высказывалъ. Не вѣрю въ теоретиковъ, что-жъ мнѣ дѣлать.

— Ну, вотъ поляки ужъ не теоретики.

— О полякахъ и говорить нечего. Съ ними у меня общаго менѣе, чѣмъ съ кѣмъ-нибудь.

— Отчего-жъ это?—перегинаясь спросилъ Красинъ.

— Такъ. Оттого, что я ихъ знаю.

— Отчего-жъ мы находимъ солидарность?

— Оттого, что, вѣрно, не понимаете дѣла.

— Это интересно,—смѣясь сказала Бертольди.

— Очень даже интересно, — отвѣчалъ Розановъ. — Вы, г. Красинъ, человѣкъ нелогичный. Я вамъ сейчасъ это докажу. Вы вчера говорили объ узкости національныхъ интересовъ и о стремленіи вашей секты дать человѣчеству широкія, равныя права и уничтожить принципы семьи. Поляки этого не хотятъ. Поляки бьются за національное обособленіе; они католики, слѣдовательно не матеріалисты; они собственники, а вашъ девизъ — общность имущества; ваши женщины должны руководиться функціями, а у каждой польки сидитъ по три ксендза во лбу и, наконецъ,

инціатива нынѣшнихъ стремленій поляковъ аристократически-католическая, а не соціально-демократическая. Вы, г. Красинъ, заигрываете съ Незабитовскимъ, когда увѣряете его въ вашей солидарности съ поляками. У васъ нѣтъ этой солидарности, и я вызываю васъ доказать мнѣ, что я ошибаюсь.

— У насъ одинъ общій врагъ.

— Врагъ одинъ у всего человѣчества. Это—его невѣжество и упадокъ нравовъ. Противодѣйствуйте ему.

— Чѣмъ же-съ?

— Чѣмъ хотите, только не насиліемъ и не ксендзами.

— Полиціей,—пропищала Бертольди.—Вотъ, Розановъ, нѣтъ ли у васъ съ нею солидарности?

Многіе засмѣялись.

Розановъ помолчалъ и потомъ, обратясь къ Бертольди, сказалъ:

— Я вамъ сто разъ говорилъ, Бертольдинка, что вы выше закона и обращать вниманіе на ваши слова непозволительно.

— А о католичествѣ, панъ Розановъ, ошибаешься,—сказалъ по-польски Незабитовскій.

— Не думаю,—по-польски же отвѣчалъ Розановъ.

— Мы терпимъ ксендзовъ, пока они теперь намъ нужны, а потомъ къ чорту ихъ всѣхъ.

— Э! дудки это, панове! Ксендзы похитрѣе васъ. У васъ въ каждомъ домѣ, что ни женщина, то ксендзовскій адвокатъ. Ксендзы да жиды крѣпче васъ самихъ въ Польшѣ. Разоряйтесь понемножку, такъ жиды васъ всѣхъ заберутъ въ лапы, и будетъ новое еврейское царство.

— Если всѣ такъ будутъ разсуждать только,—вмѣшался, понявъ послѣднія слова, Бычковъ:—то, разумѣется, ничего не будетъ, а нужно дѣлать.

— Да дѣлайте, кто-жъ вамъ мѣшаетъ, дѣлайте. Идите въ польскіе лѣса, ложитесь костьми.

— И пойдутъ.

— Кто?

— Люди пойдутъ.

— Можетъ-быть, кто-нибудь и пойдетъ, а ужъ вы не пойдете, за это я вамъ ручаюсь. Ну, кто, господа, въ повстанье? записывайте Незабитовскій.

— Полноте шумѣть,—внушительно замѣтилъ Бычковъ.

— А, шумѣть!

— Нѣтъ, вы серьезно несносны сдѣлались, Розановъ, съ вашимъ резонерствомъ,—проговорила, вставая, Лиза.

— Можетъ-быть, Лизавета Егоровна. Я не виноватъ, что въ такіе дни живу, когда люди умъ теряютъ. А вотъ, не угодно ли вамъ спросить поляка Незабитовскаго, что они думаютъ о нашемъ либерализмѣ? Они дорожатъ имъ, какъ прошлогоднимъ снѣгомъ, и болѣе готовы уважать рѣзкое слово, чѣмъ безплодныя заигрыванія. Наши либералы надули того, на кого сами молились; надуютъ и поляковъ, и васъ, и себя, и всѣхъ, кто имѣетъ слабость вѣрить ихъ заученнымъ фразамъ. Самоотверженныхъ людей столько сразу не родится, сколько ихъ вдругъ откликнулось въ это время. Мы съ вами видѣли одного самоотверженнаго человѣка-то, такъ онъ похожъ на нашихъ, какъ колесо на уксусъ? Одно воспитаніе выдѣляетъ Богъ знаетъ какъ. А это что? Пустозвоны, да и только.

— Только и есть будто на свѣтѣ людей, Розановъ?

— Нѣтъ, еще одного знаю.

— Покажите же намъ,—пропищала Бертольди.

— Не разглядите.

— Что это такое?

— Да такъ; не умѣли до сихъ поръ разглядѣть, Лизавета Егоровна, такъ ужъ не разглядите.

— Это не вы ли?—спросила Бертольди.

— Нѣтъ, не я и не вы, Бертольдинька.

— А кто это былъ первый?—спросилъ Красинъ.

— Я думаю, онъ говорилъ о Райнерѣ,—отвѣчала Лиза.

— О Райнерѣ! — воскликнулъ изумленный Красинъ. — Помилуйте, Райнеръ шпіонъ.

— Ну, вотъ вамъ и поздравляю,—замѣтилъ Розановъ.

И пошелъ споръ о Райнерѣ, закончившійся тѣмъ, что Райнеръ, точно, человѣкъ сомнительный.

— Да, шутъ гороховый этотъ Райнеръ, — произнесъ въ концѣ спора Розановъ:—несло его сюда къ намъ; говорилъ ему, упрашивалъ уѣхать, нѣтъ-таки, ну, упрямая овца волку жъ корысть.

— Что жъ это по-вашему, мы такая ужъ дрянь, — начала, было, Бертольди, но Розановъ перебилъ ее.

Давно всѣ знали въ Москвѣ, что и въ Петербургѣ политическая возбужденность совсѣмъ упала, и въ обществѣ на-

чался критическій разборъ либерализма, но еще въ Москвѣ не знали хорошо, во что̀ ударились разсѣянные остатки петербургскихъ псевдолибераловъ. Теперь это разомъ объяснилось Розанову; они не сложили рукъ, какъ московскіе, и не взялись за работу, а выдумали новый, совершенно безопасный и невызывающій ничьего противодѣйствія союзъ, придавая ему характеръ псевдо-соціальной борьбы. Розановъ понялъ это и, остановивъ Бертольди, сказалъ:

— Да, мы съ вами ужъ такая дрянь, что и нѣтъ хуже. Говорить даже гадко: и въ коробъ не лѣземъ, и изъ короба не идемъ; дрянь, дрянь, ужасная дрянь.

А на дворѣ ужъ занималась зорька, оттѣняя верхушки высокихъ сосенъ сокольницкаго лѣса. Общество разсталось довольно холодно; Розановъ повелъ домой Калистратову.

— А вы большой спорщикъ, — говорила она, подходя къ дому.

— Надоѣдаютъ мнѣ эти хлыщи, Полина Петровна. Это, вѣдь, что же? Былъ застой; потомъ люди проснулись, ну, поддались несбыточнымъ увлеченіямъ, надѣлали глупостей, порастеряли даромъ людей, но все, вѣдь, это было человѣческое, а это что же? Воевать съ вѣтряными мельницами, воевать съ обществомъ, злить понапрасну людей и покрывать это именемъ какого-то новаго союза. Ну, что̀ это за *союзъ?* Вы посмотрите, что̀ это такое: женщинокъ побольше посбивать съ толку, пожить съ ними до безстыдства, до наглости, а потомъ будь, что̀ будетъ. Имъ, вѣдь, ничего, а тѣ будутъ рѣпку пѣть. О, подлецы, подлецы неописуемые!

— Полноте браниться-то такъ, Дмитрій Петровичъ, — смѣясь проговорила Полинька.—Ну, что вамъ до нихъ?

— Какъ что-съ? Они слабыхъ людей сколько могутъ увлечь? Попробовали бороться съ правительствомъ, видятъ— кусается, ну, такъ вотъ теперь другое выдумали. Дѣло, точно, безопасное. Что жъ, развратъ вездѣ терпится, подъ весьма различными формами, только зачѣмъ же изъ него дѣлать какое-то общественное служеніе. Любви у насъ и такъ нѣтъ; женщинъ мы всегда умѣли перемѣнять; трудиться серьезно никогда не умѣли; дѣтей тоже прикидывали на долю одной матери, либо на заботы опекунскаго совѣта; но зачѣмъ же опять все это формулировать въ какую-то революцію? Честность, честность въ отношеніи съ женщинами. Чтобъ любовь-то была, а не «волненье крови

молодой», чтобъ нравственныя обязательства, вытекающія изъ союза съ любимой женщиной, были крѣпки и святы, а не считались вздоромъ. Я самъ нищъ и убогъ на всѣхъ пунктахъ, такъ мнѣ бы нечего ихъ оспаривать: пусть дѣлятъ чертковскій домъ, авось и мнѣ уголочекъ бы какой-нибудь достался; пусть.

— Что *пусть*?

— Ничего-съ.

— Это, вѣрно, насчетъ женщинъ?

— Да-съ, насчетъ женщинъ.

— Что же это такое?

— Да, что жъ вы думаете, мнѣ полюбить-то и быть любимымъ не хочется, что ли?

— Хочется?

— Еще бы! даже и очень.

— Зачѣмъ же дѣло стало?

— Какъ зачѣмъ?

— Вѣдь вы были влюблены въ Бахареву.

— Господи помилуй! и въ помышленіи никогда не было.

— Напрасно; а она не изъ тѣхъ, чтобы передъ чѣмъ-нибудь остановилась.

— Да это что говорить, Полина Петровна!

— Что?

— Это не идетъ намъ.

— Отчего это?

— Такъ; я человѣкъ съ большими недостатками и слабостями, а она дѣвушка сильная и фанатичка. Мы не можемъ ладить. Я ей благодаренъ за многое, но любить ее...

— Не можете?

— Не могу-съ.

— Отчего же не можете любить сильной женщины?

— Да такъ; оттого что лычко съ ремешкомъ не вяжется. Она меня не поддержитъ, а я человѣкъ разбитый: мнѣ нужно много снисхожденія. Я хотѣлъ бы хоть каплю простого, теплаго участія.

— Какая сентиментальность!

— Нѣтъ-съ, не сентиментальность. Любить человѣка въ моемъ положеніи надо много смѣлости. Сентиментальная трусиха и эгоистка на такую любовь не годится.

— А какая же годится?

— Такъ вотъ, простая, здравомыслящая и добрая женщина.

— Простая, здравомыслящая и добрая: вы сущихъ пустяковъ желаете, Дмитрій Петровичъ.

— А что жъ вы думаете?

— Ну, поищите же ее до второго пришествія.

— Отчего? Да вонъ ваша же подруга, Женни Гловацкая...

— Ну, не думаю; правда, я ее знала ребенкомъ; можетъ-быть, теперь она очень перемѣнилась, а когда я ее знала въ институтѣ, она не подавала такихъ надеждъ. Я, вѣдь, раньше ихъ вышла за два года, но все-таки не думаю, чтобы Женни на такую штуку рискнула,—произнесла тономъ опытной женщины Калистратова.

— А вы сами? Вы тоже не рискнули бы?

Калистратова слегка покраснѣла, но твердо сказала:

— Я еще объ этомъ не думала.

— А вы, вѣдь, прелестная женщина!

— Будто?

— Право, прелестная. Ни при одной женщинѣ такъ хорошо себя не чувствуешь, какъ при васъ.

— Все это вы себѣ сочиняете,—проговорила Полина, и ея блѣдныя щеки еще болѣе зарумянились.

— Нѣтъ, это не сочиненіе, а...

— Полноте,—сказала, перервавъ его серьезно, Полина.

— Отчего же не сказать правды? Я очень часто о васъ думаю.

— Полноте,—еще строже остановила Калистратова.

— Какъ хотите; а я радъ, что, узнавъ васъ, я еще почувствовалъ, что могу привязаться къ женщинѣ. Да...

— Розановъ! я васъ два раза просила перестать. Это мнѣ, наконецъ, непріятно.

— Если это васъ оскорбляетъ.

— Не оскорбляетъ, — оскорбляться нечѣмъ, а... зачѣмъ такіе разговоры.

Они дошли молча.

— Вы сердитесь?—спросилъ Розановъ у калитки.

— Я ужъ вамъ сказала, что сердиться мнѣ не за что,—отвѣчала Полинька, и спокойно дала ему поцѣловать свою руку.

Чортъ знаетъ какъ гадко послѣ такого разговора очутиться въ пустой, одинокой комнатѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Разрывъ.

Розановъ три вечера кряду ходилъ съ Полинькой Калистратовой къ Лизѣ и три раза не заставалъ дома ни Лизы, ни Бертольди, ни Помады.

Спустя два дня, онъ опять зашелъ послѣ обѣда къ Калистратовой, чтобъ идти съ нею къ Лизѣ.

— Да что жь ходить, Дмитрій Петровичъ, — отвѣчала Полинька:—пожалуй опять не застанемъ.

— Попробуемте; все равно—вечеръ хорошій, пройдемся.

— Пожалуй; гдѣ это они пропадаютъ?

— Диковина.

— Эта Лизочка все суетится, бѣдная.

— Какъ это? Что вы думаете?

— Да вѣрно все съ этимъ Красинымъ возится.

— Ну, Богъ знаетъ, что!

— Да отчего же.

Полинька Калистратова ни духомъ, ни словомъ не давала Розанову замѣтить, что она помнитъ о его признаніи. Все шло такъ, какъ будто ничего не было.

Лизу на этотъ разъ они застали дома и притомъ одну; Бертольди и Помады не было. Розановъ освѣдомился о нихъ и получилъ въ отвѣтъ, что они поѣхали къ Красину.

— А вы какъ же дома?—спросилъ онъ съ притворнымъ удивленіемъ.

— Я дѣлаю то, что̀ я хочу,—отвѣчала Лиза.

Никакъ разговоръ не клеился.

— Вы больны сегодня, Лизавета Егоровна? — спросилъ Розановъ.

— Нѣтъ, я здорова,—и сейчасъ же добавила: — что ты, Полинька, какъ поживаешь, чѣмъ занимаешься?

— Ничѣмъ, мой другъ; бѣлье себѣ шью, понемножку поправляю кое-что.

— Этакъ твой капиталъ скоро изсякнетъ.

— Да у меня остается пятьсотъ рублей.

— Гм! не много.

— Что дѣлать.

Вышла довольно большая и довольно тяжелая пауза.

— Пойду на мѣсто, какъ оправлюсь немного.

— Въ гувернантки?

— Да, теперь я одна: вездѣ могу быть.

— Все это очень непрочно.

— Да что жъ дѣлать, Лиза.

— И осуждаетъ на вѣчное одиночество.

— Ну, ужъ объ этомъ, душка, и говорить нечего, я давно съ этимъ свыклась.

— Есть другія возможности устроиться независимо; напримѣръ,—самостоятельный трудъ.

— Надо имѣть капиталъ, Лизавета Егоровна, чтобъ было къ чему приложить трудъ, а однѣми руками ничего не сдѣлаешь.

— Нѣтъ, въ Петербургѣ уже это устраивается.

— Исторія!—крикнула, влетая, Бертольди.

— Что это вы?—спросила ее Лиза.

— Красинъ поспорилъ съ Бычковымъ о вѣрности; мнѣнія раздѣлились, и Красинъ разбилъ всѣхъ на-голову; фактами доказалъ, что должно противодѣйствовать этому застарѣлому понятію.

— О вѣрности?—спросилъ Розановъ.

— Да-съ, о вѣрности въ бракѣ. Красинъ всѣмъ доказалъ, что женщина не имѣетъ права быть вѣрною отсутствующему человѣку.

— Ибо?

— *Ибо* она лишаетъ тѣмъ полноты жизни другихъ ее окружающихъ.

— Экая скотина!

— Кто это: Красинъ?

— Да, разумѣется.

— Дмитрій Петровичъ, мы съ вами старые знакомые, это правда; но это не даетъ вамъ права оскорблять при мнѣ моихъ новыхъ знакомыхъ,—вспыльчиво произнесла Лиза.

— Этотъ шальной Красинъ вашъ другъ?

— Прошу васъ такъ о немъ не выражаться!—еще вспыльчивѣе проговорила Лиза.

— Человѣкъ, проповѣдующій такой цинизмъ, можетъ быть вашимъ другомъ?

— Я вамъ сказала, и болѣе намъ говорить не о чемъ. Бертольди, куда вы послали Помаду?

— Я ему велѣла зайти купить для васъ стаканъ. Онъ тамъ тоже спорилъ.

— Отвергалъ вѣрность?—спросилъ Розановъ.

— Нѣтъ, онъ съ вами и со всѣми отсталыми.

— Слава Богу, что не съ вами. А вы позволите откровенно спросить, Лизавета Егоровна, вы тоже за красинское мнѣніе?

— Разумѣется,—поспѣшила сказать Бертольди:—предразсудки не должны останавливать женщину, желающую содѣйствовать гражданскому успѣху. Волокитствомъ да любовью есть время заниматься только пустымъ идеалистамъ.

Розановъ вдругъ всталъ, посмотрѣлъ на Бертольди, потомъ на Лизу, хотѣлъ ее спросить что-то, но опять сѣлъ и сталъ смотрѣть въ окно.

Бертольди захохотала.

— А вы думали, что еще долго люди будутъ развлекаться любовью?—спросила она Розанова.

— Ну, извините, я ужъ не могу съ вами и говорить послѣ того, что̀ вы сказали при двухъ женщинахъ.

— А по-вашему, честнѣе обмануть женщину любовью? Зачѣмъ же ложь,—лучше поступать откровенно.

— Вы просто ничего неспособны понимать.

— Фактъ.

— Что это *фактъ*?

— То, что̀ я вамъ сказала.

— Нѣтъ, это ужъ выше силъ. Я не знаю, какъ вы все это слушаете, Лизавета Егоровна.

— Я пріучила себя *все* слушать; вы вѣдь тоже говорите не стѣсняясь,—отвѣчала сухо Лиза.

— Но я не оскорбляю человѣческихъ чувствъ моими словами.

— Въ словахъ Бертольди есть свои основанія.

— Вы этого не думаете, Лизавета Егоровна.

— Почемъ знать. Не думаете ли вы, что я согласна съ вами, потому что я съ вами съ нѣкотораго времени не спорю.

— Вы меня хотите обидѣть, Лизавета Егоровна, или такъ это говорите?

— Какой наивный вопросъ!—воскликнула, засмѣявшись, Бертольди.

— Что же, однако, это не идетъ Помада?— спрашивала Лиза.

— Онъ, вѣрно, еще зайдетъ къ прачкѣ, я его посылала туда, да онъ не засталъ ее утромъ дома,—отозвалась Бертольди.

— Лизавета Егоровна,—началъ послѣ паузы Розановъ:— я былъ бы очень радъ, если бы вы мнѣ позволили получить отъ васъ прямой и откровенный отвѣтъ.

— Извольте,—спокойно отвѣчала Лиза.

— Мы съ вами только натягиваемъ наши отношенія.

— Это правда.

— Я это давно вижу.

— Еще бы?—буркнула Бертольди, набивая себѣ папироску.

— Мы стали во всемъ расходиться.

— Мы никогда и не сходились.

— Ну, нѣтъ; было время, что мы находили о чемъ говорить.

— Да, я тогда принимала васъ совсѣмъ за другого человѣка; а вы вовсе не то, что я о васъ думала.

— То-есть, что же я, негодяй какой, или предатель, врагъ чего-нибудь хорошаго?

— Нѣтъ, но вы эгоистъ.

— Я! я эгоистъ!

— Да, въ пространномъ смыслѣ слова; вы все-таки больше всѣхъ любите себя.

— Лизавета Егоровна! это не вамъ бы говорить, не мнѣ бы слушать.

— Отчего же съ: что вы любили когда-то свою жену и что любите, можетъ-быть, ребенка,—это еще не велика заслуга передъ человѣчествомъ. Вы себя въ нихъ любите.

— Лизавета Егоровна, это не такъ!

— А какъ же? человѣкъ любитъ семью для себя. Вѣдь вы же перестали любить жену, когда она стала дѣлать вамъ гадости.

— Нѣтъ, не тогда я пересталъ ее любить.

— Ну, это все равно. Дѣло не въ томъ, а вы равнодушны къ человѣческому горю; вы только пугаете людей и стараетесь при каждомъ, рѣшительно при каждомъ случаѣ, отклонять людей отъ готовности служить человѣчеству. Вы портите дѣло, вы отстаиваете рутину, — вы, по-моему, человѣкъ рѣшительно вредный. Это мое откровенное о васъ мнѣніе.

— Покорно васъ благодарю за эту откровенность,—сказалъ, приподнимаясь, Розановъ.—Что жъ, послѣ такого разговора, я полагаю, нѣтъ причины продолжать наше знакомство.

— Какъ хотите, Дмитрій Петровичъ,—спокойно отвѣчала Лиза:—я на васъ не сержусь, но общаго между нами ничего нѣтъ, и вы, дѣйствительно, только разъединяете наше общество своимъ присутствіемъ.

— Я этого болѣе не буду дѣлать,—отвѣчалъ, поднимаясь и берясь за шляпу, Розановъ. — Но я тоже хотѣлъ бы заплатить вамъ, Лизавета Егоровна, за вашу откровенность откровенностью же. Вы мнѣ наговорили много о моемъ эгоизмѣ и равнодушіи къ ближнимъ; позвольте же и мнѣ указать вамъ маленькое пятнышко въ вашей гуманности, пятнышко, которое тоже очень давно заставляетъ меня сомнѣваться въ этой гуманности.

— Какое пышное словоизверженіе, — пропищала Бертольди.

Калистратова встала и начала надѣвать шляпку.

— Вы когда-нибудь останавливались въ вашихъ размышленіяхъ надъ положеніемъ человѣка, который весь одна любовь къ вамъ?

— Это вы о комъ говорите?

— Я говорю о Помадѣ.

— Что это такое? что такое о Помадѣ?

— Я говорю о Помадѣ, котораго вы губите, вмѣсто того чтобы быть ему полезною.

— Какъ вы смѣете мнѣ говорить это!

— Смѣю-съ, смѣю, Лизавета Егоровна, потому что вы поступаете съ нимъ жестоко, безчеловѣчно, гадко. Вы ничего, таки ровно ничего для него не сдѣлали; скажу еще разъ: вы его погубили.

— Дмитрій Петровичъ!

— Ничего-съ, положено быть откровенными. Помада...

— Помада никогда ничего не дѣлалъ всю свою жизнь.

— Ну, какъ это сказать: было же время, что онъ учился и отлично учился, а это онъ ужъ послѣ опустился и ошалѣлъ.

— Не я, надѣюсь, въ этомъ виновата.

— Въ этомъ не вы виноваты, а въ томъ, что онъ совсѣмъ потерялъ голову теперь,—виноваты вы. Вы видѣли, что онъ влюбляется въ васъ, и держали его возлѣ себя, позволяли ему еще болѣе и болѣе къ вамъ привязываться. Я васъ и въ этомъ еще строго не осуждаю: этому способствовали и обстоятельства, и его привязчивая натура; но вы должны были, по крайней мѣрѣ, оцѣнить эту преданность,

а вы ея не оцѣнили: вы только были съ нимъ презрительно холодны. Вы могли, очень легко могли употребить его привязанность въ его пользу, пробудить въ немъ вашимъ вліяніемъ дѣятельность, гордость, энергію, — вы этого не сдѣлали. Вы могли не любить его, если онъ вамъ не нравится, но вы должны были заплатить этому бѣдняку за все, что̀ онъ вамъ отдалъ, самою теплою дружбою и вниманіемъ. Онъ вѣдь не дуракъ, онъ даже, можетъ-быть, поумнѣе многихъ умниковъ; онъ бы не полѣзъ на стѣну и удовольствовался бы вашей дружбой, онъ бы васъ слушался и вы бы могли сдѣлать изъ него человѣка, а вы что̀ изъ него дѣлаете? За посудой его посылаете; гоняете къ прачкѣ и равнодушно смѣетесь надъ тѣмъ, что онъ ничего не дѣлаетъ и живетъ, какъ птица небесная, только для того, чтобы служить вамъ?

— Это говоритъ въ васъ злоба,—замѣтила Бертольди.

— Какая злоба?

— Хотите выйти отсюда героемъ, защитникомъ угнетенныхъ и обиженныхъ.

— Отчего вы не говорили мнѣ прежде?—спросила Лиза.

— Стѣснялся; не хотѣлъ васъ смущать; ждалъ, что вы сжалитесь надъ нимъ; а теперь, когда мы съ вами разстаемся, я вамъ это высказываю.

— Потрудитесь, пожалуйста, ужъ образумить и вашего Помаду.

— Какой же онъ мой? Онъ болѣе вашъ, чѣмъ мой.

— А мнѣ до него съ этихъ поръ нѣтъ дѣла: я попрошу его оставить меня и дѣлать, что̀ ему тамъ нужно и полезно.

— Вотъ и прекрасно: этого только недоставало. Вотъ ваша и гуманность: съ рукъ долой—и кончено.

— Да чего же вы, наконецъ, отъ меня хотите?—запальчиво крикнула Лиза.

— Хочу? Ничего я отъ васъ не хочу, а желаю, чтобы необъятная ширь вашихъ стремленій не мѣшала вамъ, любя человѣчество, жалѣть людей, которые васъ окружаютъ, и быть къ нимъ поснисходительнѣе. Пока мы не будемъ считать для себя обязательнымъ участіе къ каждому человѣку, до тѣхъ поръ всѣ эти гуманныя теоріи—вздоръ, ахинея и ложь, только вредящая дѣлу. Вы вонъ Красина-то за человѣка считаете, а Красинъ сто разъ хуже Арапова, хуже Зарницына, хуже всѣхъ. Васъ отуманиваетъ ваша горячая

натура и честныя стремленія, и вы не видите, кого вы принимаете за людей. Это трусы, которымъ хочется прослыть дѣятелями и которые выдумали играть безопасную для себя комедію, разславляя, что это какое-то политическое дѣло. Отлично! За это въ Сибирь не сошлютъ и даже подъ арестъ не посадятъ; а между тѣмъ нѣкоторое время мы этакъ порисуемся. Но зато, вотъ помяните мое слово, проснется общественное сознаніе, очнутся нѣкоторые изъ нихъ самихъ, и не будетъ для нихъ на русской землѣ людей поганѣе этихъ Красиныхъ; не будетъ ни одного изъ нихъ самими ими неразоблаченнаго и незаплеваннаго. Это не то увлеченіе, которое недавно прошло и которому рѣдкій, рѣдкій не поддавался, это даже не фанатизмъ; такой фанатизмъ вотъ можетъ проявляться въ васъ, въ другихъ честныхъ людяхъ, а это просто игра человѣческою глупостью и страстями, это эксплоатація людей, легко увлекающихся. Погодите: теперь они легко вербуютъ оттого, что люди еще гонятся за именемъ либерала, а вотъ они окажутъ отечеству иную услугу. Они устраиваютъ такъ, что порядочный человѣкъ станетъ стыдиться названія русскаго либерала. Да-съ, Лизавета Егоровна, *стыдиться* станутъ, и это устроятъ они, а не ретрограды, не рутинисты. Вы думаете, это что-нибудь новое? Вѣдь все это ужъ старо. Въ 1802 году дѣды наши читали «Естественный Законъ» изъ сочиненій господина Вольтера. Помилуйте, да въ наше университетское время тоже было стремленіе къ радикализму; всѣ мы болѣе или менѣе были радикалы, и многіе до сихъ поръ ими остаются.

— Не вы ли, напримѣръ?—спросила Бертольди.

— Я, напримѣръ, да-съ.

— А что же вы сдѣлали? женились и скверно жили съ женою?

— Да-съ. Мы довели общество до того, что оно, ненавидя насъ, все-таки начинало насъ уважать и за насъ пока еще нынче церемонится съ вами, а вы его избавите и отъ этой церемонности.

— И лучше,—на чистоту.

— Ну, увидимъ.

— Не думаете ли вы, что мы вашего *общества* побоимся.

— Да кто вы? Кто это вы? Много ли *васъ-то?* Васъ и пугать не станутъ, — сами попрячетесь, какъ мыши. Силачи какіе! Вы посмотрите, вѣдь на это не надо ни воли,

ни знаній, ни смѣлости; на это даже, я думаю, Бѣлоярцевъ, и тотъ пойдетъ.

— Еще бы? да онъ нашъ. Что-жъ вы такъ разсуждаете о Бѣлоярцевѣ?

— Милосердный Боже! и Ты это видишь и терпишь! И Бѣлоярцевъ во либералахъ! Еда и Саулъ во пророцѣхъ!— Лизавета Егоровна! да я готовъ васъ на колѣняхъ умолять, осмотритесь вы, прогоните вы отъ себя эту сволочь.

— Вы забыли, что отсюда прогоняютъ *васъ?*—съ презрительною улыбкой сказала Бертольди.

Лиза хранила мертвое молчаніе.

— Да, я это, дѣйствительно забылъ, — произнесъ Розановъ и, поклонившись Лизѣ, пошелъ за двери.

— Подождите же меня, Дмитрій Петровичъ, — крикнула ему въ окно Калистратова и, простясь съ Лизой и Бертольди, тоже вышла вслѣдъ за Розановымъ.

Лиза все сидѣла и молча смотрѣла на полъ.

— Какая свиньища, однакоже, этотъ Розановъ: его тоже непремѣнно нужно будетъ похѣрить, — проговорила Бертольди, сдѣлавъ нѣсколько концовъ по комнатѣ.

— Всѣ очень хороши въ своемъ родѣ, — тихо отвѣтила Лиза и, перейдя на диванъ, прислонилась къ подушкѣ и завела вѣки.

На дворѣ отходилъ густой и необыкновенно теплый вечеръ и надвигалась столь же теплая ночь.

Розановъ съ Калистратовой, отойдя съ полверсты, встрѣтили Помаду. Онъ шелъ съ большимъ узломъ на плечѣ и съ палкой. Можно было догадаться, что Помада очень веселъ, потому что онъ задувалъ въ разладъ:

Nos habeeeebit huuuumus.
Nos habeeebit huumus.

— Помада,—окрикнулъ его докторъ.

— Э!—отозвался Помада и соскочилъ съ высокой окраины дорожки, которою шелъ.

— Откуда?

— Изъ разныхъ мѣстъ, братецъ; здравствуйте, Полина Петровна, — добавилъ онъ, снимая свой неизмѣнный блинъ съ голубымъ околышемъ, и сейчасъ же продолжалъ: — взопрѣлъ, братецъ, какъ лошадь; такой узлище тяжелый, чтобъ его чортъ взялъ совсѣмъ.

— Что это у тебя въ узлѣ-то?

— Бѣлье отъ прачки несу Елизаветѣ Егоровнѣ.

Калистратова засмѣялась, а Розанову было досадно.

— Слуга-личарда вѣрный,—сказалъ онъ Помадѣ:—когда ты дѣло-то будешь дѣлать?

— А мнѣ, братъ, ужъ мѣсто обѣщано.

— Какое жъ мѣсто?

— Богатыревъ меня въ сенатъ опредѣляетъ.

— Писателемъ?

— Да, пока; чудакъ ты; вѣдь нельзя же разомъ.

— Десять сребрениковъ будешь получать въ мѣсяцъ?

— Нѣтъ, я думаю больше.

— Хорошо жъ твое дѣло! Прощай, спѣши съ бѣльемъ.

— Или спать ложатся?

— Кажется.

— О, чортъ меня возьми!—воскликнулъ Помада и, взваливъ на плечо узелъ, замаршировалъ бѣглымъ шагомъ, даже забывъ проститься.

Розановъ съ Калистратовой обернулись и молча смотрѣли на Помаду, пока бѣлѣвшійся на его плечѣ огромный узелъ съ бѣльемъ исчезъ въ темнотѣ ночи.

— Это у него, значитъ, и на извозчика нѣту, — произнесла Полинька.

— Да нѣту же, нѣту.

И Розановъ, и Калистратова почти ничего не говорили во всю дорогу. Только у своей калитки Калистратова, пожавъ руку Розанову, сказала:

— Вы, Дмитрій Петровичъ, не огорчайтесь. Я очень жалѣю, что все это такъ вышло; но вѣдь это не нынче, такъ завтра должно было непремѣнно случиться.

— Да, я ужъ привыкъ къ такимъ встрепкамъ, только досадно подумать, за что это на мою долю ихъ такъ много выпадаетъ. Вѣдь вотъ всегда такъ, какъ видите. Ну, чѣмъ я виноватъ сегодня?

— Вы сегодня совершенно правы и потому должны быть совсѣмъ спокойны.

— А между тѣмъ я же все сиротѣю и сиротѣю; даже жизнь иной разъ становится постылой!

— Не вамъ однимъ такъ,—отвѣчала своимъ разбитымъ голоскомъ Калистратова, дружески пожавъ его руку, и Розановъ потянулся по пустымъ улицамъ Сокольниковъ на свою квартиру.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Осенняя Liebesfieber.

Послѣ разрыва съ Лизою, Розанову некуда стало ходить, кромѣ Полиньки Калистратовой; а лѣто, хотя уже и пришло къ концу, но дни стояли прекрасные, теплые и дачники еще не собирались въ пыльный городъ. Даже Помада сталъ избѣгать Розанова. На другой день послѣ описаннаго въ прошедшей главѣ объясненія, онъ рано прибѣжалъ къ Розанову, взволнованнымъ, обиженнымъ тономъ выговаривалъ ему за желаніе поссорить его съ Лизою. Никакого средства не было урезонить его и доказать, что такого желанія вовсе не существовало.

— На что тебѣ было говорить обо мнѣ! на что мѣшать мое имя! хотѣлъ самъ ссориться, ну и ссорься, а съ какой стати мѣшать меня. Я очень дорожу ея вниманіемъ, что тебѣ мѣшать меня! Я вѣдь не маленькій, чтобы за меня заступаться, — частилъ Помада и съ этихъ поръ началъ избѣгать встрѣчъ съ Розановымъ.

Онъ не разошелся съ Розановымъ и не разлюбилъ его, а сталъ его бояться и, къ тому же, въ отчужденіи отъ Розанова онъ полагалъ заслугу передъ своимъ идоломъ.

Калистратова навѣщала Лизу утрами, но гораздо рѣже, отговариваясь тѣмъ, что вечеромъ ей не съ кѣмъ ходить.

Лиза никогда не спрашивала о Розановѣ и какъ рыба молчала при всякомъ разговорѣ, въ которомъ съ какой бы то ни было стороны касались его имени.

Розановъ же въ первый одинокій вечеръ опять-было развернулъ свою диссертацію, но не усидѣлъ за столомъ и пошелъ къ Калистратовой.

Съ того дня онъ аккуратно каждый вечеръ являлся къ ней, и они до поздней ночи бродили по сокольницкому лѣсу.

Въ этихъ ночныхъ бесѣдахъ ни она, ни онъ никогда не говорили о своемъ будущемъ, но незамѣтно для нихъ самихъ, самымъ тщательнымъ образомъ разсказали другъ другу свое прошедшее. Передъ Розановымъ все болѣе и болѣе раскрывалась нѣжная душа Полиньки, а въ Полинькѣ укрѣплялось сожалѣніе къ доктору.

Дружба и теплота ихъ взаимныхъ отношеній все заходили далѣе и далѣе. Часто цѣлыя короткія ночи просиживали они на холмикѣ, говоря о своемъ прошедшемъ. О

своемъ будущемъ они никогда не говорили, потому что они были *люди безъ будущаго*.

Темная синева московскаго неба, истыканная серебряными звѣздами, блѣднѣетъ, роса засеребрится по сѣрѣющей въ полумракѣ травкѣ, потомъ поползетъ рѣдкій сѣдой туманъ и спокойно поднимается къ небу, то ласкаясь на прощанье къ дремлющимъ березкамъ, то расчесывая свою рѣдкую бороду о колючія полы сосенъ; въ сторонѣ отчетисто и звучно застучатъ зубами лошади, чешущіяся по законамъ взаимнаго вспоможенія; гудя пройдетъ тяжелымъ шагомъ убѣжавшій быкъ, а люди безъ будущаго все сидятъ. Розановъ сидитъ, обхвативъ руками свои колѣни и уткнувъ въ нихъ свой подбородокъ, а Полинька, прислоня къ щечкѣ палецъ и облокотясь рукою на брошенное на травѣ розановское пальто.

Такъ проводили время наши сокольницкіе пустынники, какъ московское небо стало хмуриться, и въ одно прекрасное утро показался снѣжокъ. Снѣжокъ, конечно, былъ пустой, только выпалъ и сейчасъ же растаялъ; но, тѣмъ не менѣе, онъ оповѣстилъ дачниковъ, что зима стоитъ недалеко за Валдайскими горами. Надо было переѣзжать въ городъ.

Это обстоятельство очень непріятно напомнило Розанову о томъ страшномъ житьѣ, которое, того и гляди, снова начнется съ возвращеніемъ жены и углекислыхъ фей. А Розанову было такъ хорошо стало, жизнь будто еще разъ начиналась послѣ всѣхъ досадныхъ тревогъ и опостылѣвшихъ сухихъ споровъ.

Прощались они съ Полинькою самымъ теплымъ, самымъ задушевнымъ образомъ, даже давали другъ другу совѣты, какъ жить въ Москвѣ.

Розановъ возвращался на Чистые Пруды, а Полинька переѣзжала въ Грузины, къ нѣкоей благодѣтельницѣ Варварѣ Алексѣевнѣ, у которой приставали отыскивающія мѣстъ гувернантки и бонны. У Варвары Алексѣевны было десять или двѣнадцать коморочекъ, весьма небольшихъ, но довольно чистенькихъ, сухихъ, теплыхъ и свѣтлыхъ; да и сама Варвара Алексѣевна была женщина весьма теплая и весьма честная: обращалась съ своими квартирантками весьма ласково, охраняла ихъ отъ всякихъ обидъ; брала съ нихъ по двѣнадцати рублей со всѣмъ: со столомъ, чаемъ

и квартирой и, вдобавокъ, нерѣдко еще «обжидала» деньжонки. Варвару Алексѣевну очень любили ея разбитыя и безпомощныя жилицы почти тою же самою любовью, которая очень надолго остается у нѣкоторыхъ женщинъ къ ихъ бывшимъ институтскимъ наставницамъ и воспитательницамъ. Полинька ни за что не хотѣла возвращаться къ дядѣ, не хотѣла жить одна или съ незнакомыми людьми, и возвращалась подъ крылышко Варвары Алексѣевны, у которой жила она до переѣзда въ Сокольники.

Въ розановской квартирѣ было все въ безпорядкѣ; навороченная мебель стояла грудами, — все глядѣло нехорошо какъ-то.

Но Розанову недолго приходилось скучать безпорядкомъ и одиночествомъ. За послѣдними, запоздавшими журавлями, поднялось и потащилось къ городамъ русское дворянство, и въ одно подлѣйшее утро Ольга Александровна пріѣхала дѣлать порядокъ въ розановской жизни.

Въ первый день Ольга Александровна, по обыкновенію, была не въ мѣру нѣжна; во второй — не въ мѣру чувствительна и придирчива, а тамъ у нея во лбу сощелкивало, и она несла зря, что ни попало.

Нынѣшній разъ процессъ этотъ совершился даже гораздо быстрѣе: Ольга Александровна обругала мужа къ вечеру же на второй день пріѣзда и объявила, что она возвратилась къ нему только для того, чтобы какъ должно устроиться и потомъ разстаться. Ольга Александровна не могла не торопиться отдѣлкою своего мужа, ибо, во-первыхъ, въ теченіе цѣлаго лѣта онъ могъ совсѣмъ отвыкнуть отъ проборокъ, могъ, какъ она выражалась, «много о себѣ возмечтать»; а во-вторыхъ, и удобный случай къ этому представился. Ребенокъ, по мнѣнію доктора, былъ дурно содержанъ въ теченіе лѣта. Дѣвочка вернулась нимало не поправившись, такая же изнѣженная, слабая,—вдобавокъ съ нѣкоторыми, весьма нехорошими, по мнѣнію Розанова, наклонностями.

Съ перваго же указанія на это, Ольга Александровна поставила себя въ отношеніи къ мужу на военное положеніе. Ея всегдашняя безцеремонность въ обращеніи съ мужемъ не только нимало не смягчилась отъ долговременнаго общенія съ углекислыми феями, но, напротивъ, стала еще рѣзче. Къ тому жо, Ольга Александровна вообразила

себѣ, что она въ кого-то платонически влюблена и имъ платонически любима. При столь благопріятныхъ шансахъ Ольга Александровна хотѣла быть нарочито рѣшительною: — разводъ, и кончено. Прошла недѣля, другая,—содомъ не унимался. Розановъ сталъ серьезно втупикъ. Скандалъ скандаломъ, но и ребенка жаль, да куда же дѣться? а жить порознь въ Москвѣ, въ виду этого самаго кружка, онъ ни за что бы не согласился.

Пока Розановъ волновался такими тяжелыми раздумьями и съ совершеннымъ отчаяніемъ видѣлъ погибшими всѣ свои надежды довести жену до житья, хоть не сладкаго, но, по крайней мѣрѣ, и не постыднаго, Ольга Александровна шла forte-fortissime. Ей непремѣнно нужно было «*стать на ногу*», а стоять на своей ногѣ, по ея соображеніямъ, можно было только начавъ сепаратныя отношенія съ мужемъ. Углекислыя феи давно уже смотрѣли на Розанова, какъ на человѣка скупого, грубаго и неудобнаго для совмѣстнаго жительства съ «нѣжною женщиною». Давно онѣ склонялись на сторону разъединенія этой смѣшной и жалкой пары, но еще останавливались передъ вопросомъ о дѣвочкѣ, которую Розановъ, какъ отецъ, имѣлъ право требовать. Теперь же это все порѣшилось разомъ. На основаніи новыхъ свѣдѣній, сообщенныхъ Ольгою Александровною о грубости мужа, дошедшей до того, что онъ неодобрительно относится къ воспитанію ребенка, въ которомъ принимали участіе сами феи, — всѣ нашли несообразнымъ тянуть это дѣло долѣе, и Дмитрій Петровичъ, возвратясь одинъ разъ изъ больницы, не засталъ дома ни жены, ни ребенка. Въ женниной спальнѣ онъ увидалъ комодъ съ выдвинутыми пустыми ящиками; образа изъ образника были вынуты; дѣтскій занавѣсъ снятъ; мелкія вещицы съ комода куда-то убраны,—вообще все, какъ послѣ отъѣзда.

«Что бы это такое?»—подумалъ Розановъ, зная, что хорошаго это предвѣщать не можетъ.

Ничего хорошаго и не было. По показанію кухарки и горничной, Ольга Александровна часовъ въ одиннадцать вышла изъ дома съ ребенкомъ, черезъ полчаса возвратилась безъ ребенка, но въ сопровожденіи Рогнѣды Романовны, на скорую руку забрала кое-что въ узлы, остальное замкнула и ушла. Куда ушла Ольга Александровна— этого не могли Розанову сообщить ни горничная, ни ку-

харка, хотя обѣ эти женщины весьма сочувствовали Розанову и, какъ умѣли, старались его утѣшить. Главнѣйшимъ утѣшеніемъ онѣ ставили то, что Ольга Александровна испорчена и что ее надо отчитывать. Впрочемъ, вѣрила порчѣ одна кухарка, женщина недавно пришедшая изъ села; горничная же, дѣвушка давно обжившаяся въ городѣ и насмотрѣвшаяся на разныя супружескія траги-комедіи, только не спорила объ этомъ при Розановѣ, но въ кухнѣ говорила: «точно ее, барыню-то нашу, надо отчитывать: разложить, хорошенько пороть, да и отчитывать ей: живи, молъ, съ мужемъ, не срамничай, не бѣгай по чужимъ дворамъ. А больше всего, — резонировала горничная,—больше всего мнѣ эти сороки длиннохвостыя. Вмѣсто того, чтобы добру научить, онѣ только съ толку сбиваютъ. Ухъ, ужъ я бъ ихъ, будь я теперь на бариновомъ мѣстѣ, какъ бы я ихъ теперича отдѣлала, только любо-бъ два. Будь это моя жена, сейчасъ бы на его мѣстѣ пошла бы и всѣхъ бы оттрепала».

Между тѣмъ день сталъ склоняться къ вечеру; на столѣ у Розанова все еще стоялъ нетронутый обѣдъ, а Розановъ, мрачный и задумчивый, ходилъ по опустѣвшей квартирѣ. Наконецъ и стемнѣло; горничная подала свѣчи и еще разъ сказала:

— Да кушайте, баринъ.

Розановъ отказался ѣсть. Горничная убрала со стола и подала самоваръ. Розановъ не сталъ пить и чаю. Внутреннее состояніе его дѣлалось съ минуты на минуту тревожнѣе. «Гдѣ онѣ странствуютъ? Гдѣ мычется это несчастное дитя?» раздумывалъ онъ, чувствуя, что его оставляетъ не только внутренняя твердость, но даже и физическія силы.

— И зачѣмъ ѣхала? — спрашивалъ онъ себя. — Чтобы еще разъ согнать меня съ пріюта, который достался мнѣ съ такими трудами; чтобы и здѣсь обмарать меня и надѣлать скандаловъ. А дитя? дитя? что оно вынесетъ изъ всего этого!

— Вы, Дмитрій Петровичъ, не убивайтесь,—говорила ему съ участіемъ горничная: — съ ними ничего не случилось: онѣ здѣсь-съ.

— Гдѣ здѣсь?—спросилъ Розановъ.

— Да извѣстно гдѣ: у энтихъ сорокъ. Я, какъ огни зажгли, все подъ окна смотрѣла. Тамъ онѣ... и барышня наша тамъ, на полу сидятъ, съ собачкой играютъ.

— Съ собачкой?

— Да-съ, съ собачкой съ нашей играютъ. Тамъ гости теперь; вы обождите, да и подите туда.

— Нѣтъ, Паша, не надо.

— Отчего? Вотъ глупости какія! Вы—супругъ, возьмите за ручки, да и домой.

— Нѣтъ, Паша.

— Гм! Ну, записочку напишите.

Розановъ подумалъ, потомъ всталъ и написалъ: «Перестаньте срамиться. Васъ никто даже не обижаетъ; возвращайтесь. Лучше же все это уладить мирно, съ общаго согласія, или, по крайней мѣрѣ, отпустите ко мнѣ ребенка».

Паша проходила съ этой записочкой болѣе получаса и возвратилась ни съ чѣмъ. Ольга Александровна не дала никакого отвѣта.

Розановъ далъ Пашѣ денегъ и послалъ ее за Помадой. Это былъ единственный человѣкъ, на котораго Розановъ могъ положиться и которому не больно было повѣрить свое горе.

Помада довольно скоро явился съ самымъ живымъ участіемъ и готовностью на всякую услугу.

Дѣвушка еще дорогой разсказала ему все, что у нихъ произошло дома. Помада зналъ Ольгу Александровну такъ хорошо, что много о ней ему разсказывать было нечего.

— Что жъ, братъ, дѣлать?—спросилъ онъ Розанова.

— Сходи ты къ ней и попробуй ее обрезонить.

— Хорошо.

— Скажи, что я самъ безъ всякихъ скандаловъ готовъ все сдѣлать, только пусть она не дѣлаетъ срама. О, Боже мой! Боже мой!

Помада пошелъ и черезъ полчаса возвратился, объявивъ, что она совсѣмъ сошла съ ума; сама не знаетъ, чего хочетъ; ребенка ни за что не отпускаетъ и собирается завтра ѣхать къ генералъ-губернатору.

— Чего же къ генералъ-губернатору?

— А вотъ спроси ее.

— А дѣвочка моя?

— Спать ее при мнѣ повели: просилась съ тобою проститься.

— Просилась?

— Да.

— Господи! что жъ это за мука!

Въ передней послышался звонокъ.

— Вотъ во-время гости-то,—сказалъ Розановъ, стараясь принять спокойный видъ.

Вошелъ Сахаровъ, веселый, цвѣтущій, съ неизмѣнною злорадною улыбкою на лицѣ, раскланялся Розанову и освѣдомился о его здоровьѣ.

Докторъ отвѣчалъ казенною фразою.

— А я къ вамъ не своей охотою, — началъ весело Сахаровъ:—я отъ барынь...

— Ну-съ,—произнесъ Розановъ.

— Вы, Дмитрій Петровичъ, оставьте все это: вамъ о ребенкѣ нечего безпокоиться.

— Ужъ объ этомъ предоставьте знать мнѣ.

— Ну, какъ хотите, только его вамъ не отдадутъ.

— Какъ это не отдадутъ.

— Такъ-таки не отдадутъ. Для этого завтра будутъ приняты мѣры.

— А вы думаете, я не приму своихъ мѣръ?

— Ну, вы свои, а мы—свои.

— Вы-то здѣсь что же такое?

— Я? я держу правую сторону.

— Кто жъ васъ сдѣлалъ моимъ судьей?

Сахаровъ состроилъ обидную гримасу и отвѣчалъ:

— Я всегда буду заступаться за женщину, которую обижаютъ.

— Уйдите, однако, отъ меня,—проговорилъ Розановъ.

— Извольте, — весело отвѣчалъ Сахаровъ и, пожавъ руку Помадѣ, вышелъ.

— Пойдемъ ко мнѣ ночевать,—сказалъ Помада, чувствуя, что Розанову особенно тяжелъ теперь видъ его опустѣвшей квартиры.

Розановъ подумалъ, одѣлся, и они вышли.

Долго шли они молча; зашли въ какой-то трактирчикъ, попили тамъ чайку, ни о чемъ не говоря другъ съ другомъ, и вышли.

На дворѣ былъ девятый часъ вечера.

Дойдя до Помадиной квартиры, Розановъ остановился и сказалъ:

— Нѣтъ, я не пойду къ тебѣ.

— Отчего не пойдешь?

— Такъ, я домой пойду.

Сколько Помада ни уговаривалъ Розанова, тотъ настоялъ-таки на своемъ, и они разстались.

Помада въ это время жилъ у одной хозяйки съ Бертольди и нѣсколькими студентами, а Розановъ вовсе не хотѣлъ теперь встрѣчаться ни съ кѣмъ и тѣмъ болѣе съ Бертольди.

Простившись съ Помадою, онъ завернулъ за уголъ и остановился среди улицы. Улица, несмотря на ранній часъ, была совершенно пуста; подслѣповатые московскіе фонари слабо свѣтились, двѣ цѣпныя собаки хрипло лаяли въ подворотни, да въ окна одного большого купеческаго дома тихо и безмятежно смотрѣли строгіе лики окладныхъ образовъ, ярко освѣщенныхъ множествомъ теплящихся лампадъ.

Розановъ пошелъ зря.

Ничего не понимая, дошелъ онъ до театральной площади и забрелъ къ Барсову.

Заведеніе уже было пусто: только за однимъ столикомъ сидѣли два человѣка, передъ которыми стояла водка и ветчина съ хрѣномъ.

— Можно чайку?—спросилъ Розановъ знакомаго полового.

— Еще можно-съ, Дмитрій Петровичъ,—отвѣчалъ половой.

Розановъ сталъ полоскать поданный ему стаканчикъ и отъ нечего дѣлать всматривался въ сидящую неподалеку отъ него пару съ ветчиной и водкой.

Одинъ изъ этихъ господъ былъ толстый, сѣрый человѣкъ, съ маленькимъ носомъ и плутовскими, предательскими глазками; лицо его было блѣдно, а голова покрыта желто-сѣрыми клочьями. Вообще это былъ типъ мелкостатейнаго трактирнаго шулера на бильярдѣ, биксѣ и въ трынкѣ. Собесѣдникъ его былъ голіаѳъ, смуглый, съ быстрыми, чрезвычайно лживыми коричневыми глазами, гладко и довольно кокетливо причесанными напередъ черными волосами и усами à la Napoleon III. Голіаѳъ смотрѣлъ молодцомъ, но молодцомъ тоже темнаго разбора: это былъ не столько тонкій плутъ и пролазъ, сколько безпутникъ и нахальный шулеръ, но, однако, шулеръ степенью покрупнѣе своего товарища. Это былъ, что называется, шулеръ *воинствующій*, шулеръ способный, сдѣлавъ подлость, не ускользать, а обидѣться за первое замѣчаніе и неотразимо стремиться расшибить мощнымъ кулачищемъ всякую личность, которая посмѣла бы пикнуть не въ его пользу. Лицо голіаѳа не

было лишено даже своего рода благообразности, — благообразности, напоминающей, напримѣръ, лицо провинціальныхъ актеровъ, когда они изображаютъ «благородныхъ отцовъ» въ драмахъ, трагедіяхъ и траги-комедіяхъ. Глядя на него, вы чувствовали, что онъ не только трактирный завсегдатель, но и внѣ трактировъ членъ извѣстнаго общества; что онъ, сокрушивъ одну, двѣ обобранныя имъ бѣлогубыя рожи, могъ не безъ пріятности и не безъ надежды на успѣхъ пройтись между необъятными кринолинами разрумяненныхъ и подсурмленныхъ дамъ жирнаго Замоскворѣчья, Рогожской, Таганки и Преображенскаго кладбища. Вы чувствовали, что дамы этихъ краевъ, узрѣвъ этого господина, весьма легко могли сказать своей или сосѣдской кухаркѣ: «вотъ, погляди, Акулинушка, какой чудесный мужчина ходитъ. Очень мнѣ такіе мужчины ндравятся».

Розанову показалось, что онъ когда-то видѣлъ эту особу, и, дѣйствительно, онъ ее мелькомъ видѣлъ одинъ разъ на сокольницкомъ гуляньѣ и теперь узналъ ее: это былъ мужъ Полиньки Калистратовой.

Розановъ отъ нечего дѣлать сталъ теперь всматриваться въ Калистратова и старался открыть въ немъ хоть слабые внѣшніе слѣды тѣхъ достоинствъ, которыми этотъ герой когда-то покорилъ себѣ Полиньку или расположилъ въ свою пользу ея дядей.

Ничего этого въ немъ не было, и Розановъ задумался надъ странною игрою, которая происходитъ при подтасовкѣ паръ, соединяемыхъ по волѣ случая, расчета или собственныхъ увлеченій.

Между шулерами шла бесѣда.

— Видишь,—говорилъ Калистратовъ сѣрому, поставивъ ребромъ ладонь своей руки на столѣ:—я иду такъ по тротуару, а она вотъ такъ изъ-за угла выѣзжаетъ въ каретѣ (Калистратовъ взялъ столовый ножъ и положилъ его подъ прямымъ угломъ къ своей ладони). Понимаешь?

Сѣрый мотнулъ утвердительно головою.

— Лошади вдругъ хватили, понимаешь?

Сѣрый опять мотнулъ головою.

— У кучера вожжа хлопъ, перелетѣла... лошади на дыбы и понеслись. Она распахнула дверцы и кричитъ: «спасите! спасите!» а карета рррръ-рррръ изъ стороны въ сторону.

Она все кричитъ своимъ голоскомъ: «спасите!» а народъ, разиня ротъ, стоитъ. Понимаешь?

Сѣрый еще кивнулъ.

— Я сейчасъ,—продолжалъ нараспѣвъ Калистратовъ:— разъ, два, рукою за дверцу, а она ко мнѣ на руки. Крохотная такая и вся разодѣтая какъ херувимчикъ. «Вы, говоритъ, мой спаситель; я вамъ жизнью обязана. Примите, говоритъ, отъ меня это на память». Видишь тамъ ея портретъ?

— Вижу,—отвѣчалъ сѣрый, прищуривая глаза и поднося къ свѣчѣ дорогой браслетъ съ женскимъ портретомъ.

— Хороша?—спросилъ Калистратовъ.

— Худенькая должна быть.

— Ну, худенькая! Тебѣ все коврягъ бы купеческихъ; тѣ ужъ надоѣли, а это субтиль-жантиль миньёночка: про праздники беречь будемъ.

Калистратовъ все вралъ: онъ не спасалъ никакой дамы, никакая женская ручка не дарила ему этого браслета, а взялъ онъ его самъ посредствомъ четверки и сыпнòго туза у нѣкоего другого корнета, пріобрѣтшаго страстишку къ картамъ и ключикъ къ туалетному ящику своей жены.

Сѣрый отлично понималъ это, но не разочаровывалъ голіаѳа, зная, что тотъ сейчасъ же заоретъ: «да я тебѣ, подлецу, всю рожу растворожу, щеку на щеку умножу, носъ вычту, а зубы въ дробь обращу».

Калистратовъ взялъ изъ рукъ сѣраго браслетъ и, дохнувъ на него, сказалъ:

— Я, братъ, разъ тарантасъ за задній ходъ удержалъ.

— Тссъ!—протянулъ, какъ бы изумляясь, сѣрый.

— Я ѣхалъ изъ своей деревни жениться, — продолжалъ Калистратовъ, тщательно вытирая платкомъ браслетъ:— вещей со мною было на сто тысячъ. Я сошелъ дорогой, а ямщикъ, рррракалья этакая, хвать по лошадямъ. Я догналъ сзади и за колеса: тпру, и стой.

— А то ты знаешь какъ я женился? — продолжалъ Калистратовъ, завертывая браслетъ въ кусокъ «Полицейскихъ Вѣдомостей»: — дяди моей жены рррракальи были, хотѣли ее обобрать. Я всталъ и говорю: переломаю.

— И отдали?—спросилъ сѣрый.

— Сполна цѣлостію. Нѣтъ, говорю: она моя жена теперь, шабашъ. У меня женщину трогать ни-ни. Я вотъ этой

Колобихѣ говорю: дай пять тысячъ за разводъ, сейчасъ разведусь и благородною тебя сдѣлаю. Я ужъ не отопрусь. Я слово далъ и не отопрусь.

Калистратовъ выпилъ водки и началъ снова.

— Я даже, какъ женюсь, такъ сейчасъ прежней женѣ пенсію: получай и живи. Только честно живи: гдѣ хочешь, но только честно, не марай моего имени. А теперь хочешь уѣхать, такъ разставайся. Дай тысячу рублей, я тебѣ сейчасъ свидѣтельство и живи гдѣ хочешь; только опять честно живи, моего имени не марай.

— А Колобиха скряга!

— Ну да скряжничай, не скряжничай — не отвертится. Мое слово олово. Я сказалъ: внѣ брака болѣе ничего не будетъ, ни-ни-ни... А перевѣнчаемся, ужъ я ей это припомню, какъ скряжничать.

— Тогда забудете.

— Увѣчить ее, стерву, буду, а не забуду!—воскликнулъ, ударивъ по столу, Калистратовъ.

Пара разошлась и вышла.

Приходилось идти и Розанову. Некуда было ему идти, до такой степени некуда, что онъ, подозвавъ полового, спросилъ:

— Нельзя ли мнѣ тутъ соснуть, Василій?

— Не позволено, сударь, — отвѣчалъ половой. — Развѣ вамъ утромъ куда нужно рано-съ?

— Да, тутъ по близости нужно.

— Буфетчика спрошу, въ диванной не дозволитъ ли?

Розановъ посмотрѣлъ въ отворенную дверь темной диванной, вообразилъ, какъ завтра рано утромъ купцы придутъ сюда парить свои слежавшіяся за ночь души, и сказалъ:

— Нѣтъ ужъ, не надо.

— Здѣсь почти рядомъ по семи гривенъ можно имѣть номеръ,—говорилъ ему половой.

— Да, пойду туда,—отвѣчалъ Розановъ.

И въ больницѣ, и на Чистыхъ-Прудахъ головы потеряли, доискиваясь, куда бы это дѣлся Розановъ. Даже съ Ольги Александровны разомъ соскочилъ весь форсъ, и она очутилась дома.

Розановъ пропадалъ третій день: онъ не возвращался съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ съ Помадой.

Отыскать Розанова было довольно трудно. Выйдя отъ Барсова, онъ постоялъ на улицѣ, посмотрѣлъ на мигавшіе фонари и, вздохнувъ, пошелъ въ то отдѣленіе сосѣдней гостиницы, въ которомъ онъ стоялъ съ пріѣзда въ Москву.

— Номерочекъ! — спросилъ онъ знакомаго коридорнаго.

— Пожалуйте, вы одни-съ?

— Одинъ,—отвѣчалъ Розановъ.

— Пожалуйте.

Коридорный ввелъ гостя въ чистенькій номеръ съ мягкою мебелью и чистою постелью, зажегъ двѣ свѣчи и остановился.

— Иди,—сказалъ Розановъ, садясь на диванъ.

— Ничего не прикажете?

— Нѣтъ, ничего.

— Закусить, или чаю?

— Ну, дай ужъ закусить что-нибудь.

— И водочки?

— Пожалуй, дай и водочки.

Розанову подали котлетку и графинчикъ водочки, и съ тѣхъ поръ графинчика у него не снимали со стола, а только одинъ на другой перемѣняли.

Помада ноги отходилъ, искавши Розанова, и наконецъ, напавъ на его слѣдъ, по разсказамъ барсовскаго полового, нашелъ Дмитрія Петровича одиноко сидящимъ въ номерѣ. Онъ снова запилъ мертвымъ запоемъ.

Помада забѣжалъ на Чистые-Пруды и сказалъ, чтобы о Розановѣ не безпокоились, что онъ цѣлъ и никуда не пропалъ.

Слухъ о розановскомъ пьянствѣ разнесся по Чистымъ-Прудамъ и произвелъ здѣсь дикій гоготъ, бури дыханью подобный. Бѣдная madame Розанова была оплакана и ей ужъ не оставалось никакихъ средствъ спастись отъ опеки углекислыхъ. Маркиза даже предложила ей чуланъ на антресоляхъ, чтобы къ ней какъ-нибудь ночью не ворвался пьяный мужъ и не задушилъ ее, но Ольга Александровна не воспользовалась этимъ приглашеніемъ. Ей надоѣлъ уже чуланчикъ, въ которомъ она высидѣла двое сутокъ у Рогнѣды Романовны, и она очень хорошо знала, что мужъ ее не задушитъ. Она даже ждала его въ эту ночь, но ждала совершенно напрасно. Розановъ и на четвертую ночь домой не явился, даже не явился онъ и еще двое сутокъ и ужъ

о мѣстѣ пребыванія его въ теченіе этихъ двухъ сутокъ никто не имѣлъ никакихъ свѣдѣній. Но мы можемъ посмотрѣть, гдѣ онъ побывалъ и что подѣлывалъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Не знаешь, гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь.

Помада съ горькимъ соболѣзнованіемъ сообщилъ о пьянствѣ Розанова и Лизѣ. Онъ разсказалъ это при Полинькѣ Калистратовой, объяснивъ по порядку все, какъ это началось, какъ шло и чѣмъ кончилось, или чѣмъ должно кончиться.

— Несчастный человѣкъ!—сказала Лиза съ жалостью и съ презрѣніемъ.—Такъ онъ и пропадетъ?

— Какъ же, Лиза, надо бы что-нибудь сдѣлать, — тихо сказала послѣ Помадинаго разсказа Полинька Калистратова.

— Что же съ пьянымъ человѣкомъ дѣлать?

— Остановить бы его какъ-нибудь.

— Какъ его остановить? Я ужъ пробовала это, — добавила, помолчавъ, Лиза: — человѣкъ безъ воли и характера: ничего съ нимъ не сдѣлаешь.

Лиза была въ это время въ разладѣ со своими и не выходила за порогъ своей комнаты. Полинька Калистратова навѣщала ее аккуратно каждое утро и оставалась у ней до обѣда. Бертольди Ольга Сергѣевна ни за что не хотѣла позволить Лизѣ принимать въ своемъ домѣ; изъ-за этого-то и произошла новая размолвка Лизы съ матерью.

Полинька Калистратова обыкновенно уходила отъ Лизы домой около двухъ часовъ, и нынче она ушла отъ Лизы въ это же самое время. Во всю дорогу и дома за обѣдомъ Розановъ не выходилъ изъ головы у Полиньки. Жаль ей очень его было. Ей приходили на память его теплая расположенность къ ней и хлопоты о ребенкѣ, его одиночество и неумѣнье справиться со своимъ положеніемъ. А впрочемъ, что можно и сдѣлать изъ такого положенія? думала Полинька и вышла немножко погулять.

Розановъ опять былъ съ Полинькой и до такой степени неотвязчиво онъ ее преслѣдовалъ, что она начала раздражаться. Искреннее сожалѣніе о немъ быстро смѣнялось пылкимъ гнѣвомъ и досадой. Полинька вдругъ приходила въ такое состояніе, что, какъ женщины иногда выражаются,

«вотъ просто взяла бы да побила его». И въ эти-то минуты гнѣва она шла торопливыми шагами, точно она не гуляла, а спѣшила на трепетное роковое свиданіе, на которомъ ей нужно обличить и осыпать укорами человѣка, играющаго какую-то серьезную роль въ ея жизни. Да, Полинька и сама не думала теперь, что она просто гуляетъ: она сердилась и спѣшила. На дворѣ начинался вечеръ.

Въ одинокомъ номеркѣ тоже вечерѣло. Румяный свѣтъ заката черезъ крышу сосѣдняго дома весело и тепло смотрѣлъ между двухъ занавѣсокъ и освѣщалъ спокойно сидящаго на диванѣ Розанова.

Докторъ сидѣлъ въ вицъ-мундирѣ, какъ возвратился четыре дня тому назадъ изъ больницы, и завивалъ въ рукахъ длинную полоску бумажки. Въ номерѣ все было въ порядкѣ, и самъ Розановъ тоже казался въ совершенномъ порядкѣ: во всей его фигурѣ не было замѣтно ни слѣда четырехдневнаго пьянства, и лицо его смотрѣло одушевленно и опрятно. Даже оно было теперь свѣжѣе и счастливѣе, чѣмъ обыкновенно. Это бываетъ у нѣкоторыхъ людей, страдающихъ запоемъ, въ первые дни ихъ болѣзни.

Передъ Розановымъ стоялъ графинчикъ съ водкой, ломоть ржаного хлѣба, солонка и рюмка.

Въ комнатѣ была совершенная тишина.

Розановъ вздохнулъ, приподнялся отъ стѣнки дивана, налилъ себѣ рюмку водки, проглотилъ ее и принялъ снова свое спокойное положеніе.

Въ это время дверь изъ коридора отворилась и вошелъ коридорный лакей, а за нимъ высокая дама въ длинномъ, клѣтчатомъ плюшевомъ бурнусѣ, съ густымъ вуалемъ на лицѣ.

— Выйди отсюда,—сказала дама лакею, спокойно входя въ номеръ, и сейчасъ же спросила Розанова:

— Вы это что дѣлаете?

Розановъ промолчалъ.

— Это что?—повторила дама, ударивъ рукою возлѣ графина и рюмки.—Что это, я васъ спрашиваю?

— Водка,—отвѣчалъ тихо Розановъ.

— Водка! — произнесла презрительно дама и, открывъ форточку, выбросила за нее графинъ и рюмку.

— Вы узнаете меня?—спросила дама.

— Какъ же, узнаю: вы Калистратова.

— А я васъ не узнаю.

— Я гадокъ: я это знаю.

— И пьянствуете? Гдѣ вы были все это время?

— Я все здѣсь сидѣлъ. Мнѣ очень тяжело, Полина Петровна.

— Еще бы вы больше пили!

— Тяжело мнѣ очень. Какъ Каинъ безпріютный... Я бы хотѣлъ поскорѣе... покончить все разомъ.

Полинька, не снимая шляпы, позвонила лакея и велѣла подать счетъ.

Розановъ пропилъ на водкѣ, или на него насчитали на водкѣ, шестнадцать рублей.

Онъ вынулъ портмонэ и отдалъ деньги.

— Дайте мнѣ ваши деньги,—потребовала Калистратова.

Розановъ отдалъ. Въ портмонэ было еще около восьмидесяти рублей.

Полинька пересчитала деньги и положила ихъ себѣ въ карманъ.

— Теперь собирайтесь домой,—сказала она Розанову.

— Я не могу идти домой.

— Отчего это не можете?

— Не могу,—мнѣ тамъ скверно.

— Сударыня! они не спали совсѣмъ, вы имъ позвольте уснуть покрѣпче,—вмѣшался лакей, внесшій тазъ и кувшинъ со свѣжей водой.

— Умывайтесь, — сказала Полинька: — ничего не отвѣчая лакею.

Розановъ сталъ подниматься, но тотчасъ же сѣлъ и началъ отталкивать отъ себя что-то ногою.

— Пожалуйте, сударь,—позвалъ его лакей.

— Ты прежде выкинь это,—отвѣчалъ Розановъ, указывая пальцемъ лѣвой руки на полъ.

— Что такое выкинуть? — съ нѣсколько нетерпѣливою гримаскою спросила Калистратова, хорошо понимая, что у Розанова начинаются галлюцинаціи.

— Змѣйка, вонъ, вонъ на полу змѣйка зелененькая,— говорилъ Розановъ, указывая лакею на пустое мѣсто.

— Не сочиняйте вздоровъ, — сказала Полинька, наморщивъ строго брови.

Розановъ всталъ и пошелъ за занавѣску.

Полинька стала у окна и, глядя на блѣднѣющую закатную зорьку, вспомнила своего буйнаго пьянаго мужа,

вспомнила его дикія ругательства, которыми онъ угощалъ ее за ея участіе; гнѣвъ Полинькинъ исчезъ при видѣ этого смирнаго, покорнаго Розанова.

Лакей раздѣлъ и уложилъ доктора въ кровать. Полинька велѣла никого не пускать сюда и говорить, что Розановъ уѣхалъ. Потомъ она сняла шляпу, бурнусъ и калоши, разорвала полотенце и, сдѣлавъ компрессъ, положила его на голову больного.

Розановъ вдрогнулъ отъ холода и робко посмотрѣлъ на Полиньку.

Часа полтора сряду она перемѣняла ему компрессы, и въ это время больной не разъ ловилъ и жадно цѣловалъ ея руки.

Полинька смотрѣла теперь добро и снисходительно.

— Вамъ пора домой, — сказалъ Розановъ, стуча зубами отъ лихорадки.

— Старайтесь заснуть,—отвѣчала Полинька.

— Поздно будетъ,—настаивалъ докторъ.

— Спите, вамъ говорятъ,—тѣмъ же спокойнымъ, но настойчивымъ тономъ отвѣчала Калистратова.

Розановъ даже и на этотъ разъ оказался весьма послушнымъ, и Калистратова, видя, что онъ забывается, перестала его безпокоить компрессами.

Розановъ спалъ цѣлыя сутки и, проснувшись, ничего не могъ вспомнить. Онъ не забылъ только того, что произошло у него дома, но все послѣдующее для него исчезало въ какомъ-то дикомъ чаду. Глядя въ темный потолокъ комнаты, онъ старался припомнить хоть что-нибудь, хоть то, гдѣ онъ и какъ сюда попалъ? но ничего этого Розановъ припомнить не могъ. Наконецъ ему какъ-то мелькнула Полинька, будто какъ онъ ее недавно видѣлъ, вотъ тутъ гдѣ-то, близко, будто разговаривалъ съ нею. Розановъ вздохнулъ и, подумавъ, «какой хорошій сонъ», началъ тихо одѣваться въ лежавшее возлѣ него платье.

Одѣвшись, Розановъ вышелъ за драпировку и остолбенѣлъ: онъ подумалъ, что у него продолжаются галлюцинаціи. Онъ протеръ глаза и, несмотря на стоявшій въ комнатѣ густой сумракъ, ясно отличилъ лежащую на диванѣ женскую фигуру. — Боже мой! неужто это было не во снѣ? Неужто, въ самомъ дѣлѣ, здѣсь Полинька? И она видѣла меня здѣсь!.. Это гостиница! — припомнилъ онъ, взглянувъ на номерную обстановку.

Спящая пошевелилась и приподнялась на одну руку.

— Это вы, Дмитрій Петровичъ? — спросила она чуть слышно.

— Я,—отвѣчалъ шопотомъ Розановъ.

— Зажгите свѣчу,—здѣсь у зеркала спички.

Розановъ очень долго зажигалъ свѣчу: ему было совѣстно взглянуть на Полиньку.

Но не такова была Полинька, чтобы человѣкъ не нашелся сказать слова въ ея присутствіи.

Черезъ полчаса Розановъ сидѣлъ противъ нея за столомъ, на которомъ кипѣлъ самоваръ, и толково разсуждалъ съ нею о своемъ положеніи.

— Дмитрій Петровичъ,—говорила ему Полинька:—совѣтовать въ такихъ дѣлахъ мудрено, но я не считаю грѣхомъ сказать вамъ, что вы непремѣнно должны уѣхать отсюда. Это смѣшно: Лиза Бахарева присовѣтовала вамъ бѣжать изъ одного города, а я теперь совѣтую бѣжать изъ другого, но ужъ дѣлать нечего: при вашемъ несчастномъ характерѣ и неумѣньи себя поставить, вы должны отсюда бѣжать. Оставьте ее въ покоѣ, оставьте ей ребенка...

— Ни за что!—воскликнулъ Розановъ,

— Позвольте. Оставьте имъ ребенка: дѣвочка еще мала ей ничего очень дурного не могутъ сдѣлать. Это вы ужъ такъ увлекаетесь. Подождите полгода, годъ, и вамъ отдадутъ дитя съ руками и съ ногами. А такъ что же будетъ: дойдетъ, вѣдь, до того, что очень можетъ быть худо.

Долго приводила Полинька сильные и ясные доводы, доказывая Розанову неотразимую необходимость оставить Москву и искать себѣ новаго пріюта.

— Да не только новаго пріюта, а и новой жизни, Дмитрій Петровичъ,—говорила Полинька:—теперь я ясно вижу, что это будетъ безконечная глупая пѣсенка, если вы не устроитесь какъ-нибудь умнѣе. Ребенка вамъ отдадутъ, въ этомъ будьте увѣрены. Некуда имъ дѣть его: это, вѣдь, дѣло не легкое; а жену обезпечьте; откупитесь, наконецъ.

Розановъ не противорѣчилъ.

— Богъ съ ними, деньги: спокойны будете, такъ заработаете; а тосковать глупо и не о чемъ.

— Ахъ, хорошо вы говорите, Полина Петровна, а все это не такъ легко, право.—Развѣ къ Лобачевскому съѣздить въ Петербургъ?

— А что-жъ? Съѣздите. Лучше ужъ вамъ въ Петербургѣ чего-нибудь искать. Будемъ тамъ видаться.

— Какъ будемъ видаться?

— Такъ; и я тоже ѣду на-дняхъ въ Петербургъ.

— А ваши бумаги?

— Вотъ для нихъ-то я и поѣду.

— Это вамъ не поможетъ.

— Нѣтъ, я знаю; ужъ бывали примѣры. Вотъ видите, Дмитрій Петровичъ, я женщина и кругомъ связанная, да не боюсь, а вы трусите.

— Я слабый человѣкъ, никуда негодный.

— Нѣтъ, не то что никуда негодный, а слишкомъ впечатлительный. Вамъ нужно отряхнуться, оправиться... да вотъ такихъ чудесъ болѣе не выкидывать.

— Не говорите, пожалуйста...

— Да я васъ не упрекаю, а совѣтую вамъ, — сказала Полинька и стала надѣвать шляпку.

— Тоска ужасная! вотъ пока вы здѣсь были, было отлично, а теперь опять.

— Господи Боже мой! ну, будемъ жить друзьями; ходите ко мнѣ, если мое присутствіе вамъ такъ полезно.

— Да, если бы... вы меня выслушали.

— Ничего я, Дмитрій Петровичъ, не буду слушать, — проговорила Полинька, краснѣя и отворачиваясь къ зеркалу завязывать шляпку.

Розановъ сидѣлъ молча.

— Пока...—начала Полинька и снова остановилась.

— Пока что?—спросилъ Розановъ.

— Пока вы не устроите вашей жены, до тѣхъ поръ вы мнѣ не должны ни о чемъ говорить ни слова.

— А тогда? Я это и безъ того готовъ сдѣлать для нея все, что могу.

— Да все, *все, что бы можете.*

— А тогда?—опять спросилъ Розановъ.

— Дмитрій Петровичъ! я провела у васъ сутки здѣсь: для васъ должно быть довольно этого въ доказательство моей дружбы; чего же вы меня спрашиваете.

Розановъ сжалъ и поцѣловалъ Полинькину руку, а другая его рука тронулась за ея талію, но Полинька тихо отвела эту руку.

— Если хотите быть счастливы, то будьте благораз-

умны; все зависитъ отъ васъ: а теперь дайте мнѣ мой бурнусъ.

Докторъ подалъ Полинькѣ бурнусъ и надѣлъ свое пальто.

Взявшись за ручку двери, Полинька остановилась, постояла молча и, обернувшись къ Розанову лицомъ, тихо сказала:

— Ну.

Розановъ вѣрно понялъ этотъ звукъ и поцѣловалъ Полиньку въ розовыя губки, или, лучше сказать, Полинька, не дѣлая никакого движенія, сама поцѣловала его своими розовыми губками.

Если любовь молоденькихъ дѣвушекъ и страстныхъ женщинъ бальзаковской поры имѣетъ для своего изображенія своихъ спеціалистовъ, то нельзя не пожалѣть, что нѣтъ такихъ же спеціалистовъ для описанія своеобычной, причудливой и въ своемъ родѣ прелестной любви нашихъ разбитыхъ женщинъ, дожившихъ до тридцатой весны безъ сочувствія и радостей. — А хороша эта прихотливая любовь, часто начинающаяся тѣмъ, чѣмъ другая кончается, но тѣмъ не менѣе любовь нѣжная и преданная. Если бы на Чистыхъ Прудахъ знали, что Розанова поцѣловала такая женщина, то даже и тамъ бы не удивлялись рѣзкой перемѣнѣ въ его поведеніи.

Розановъ даже до сцены съ собою не допустилъ Ольгу Александровну. Ровно и тепло сдержалъ онъ радостные восторги встрѣтившей его прислуги, спокойно повидался съ женою, которая сидѣла за чаемъ и находилась въ тонахъ; отвѣтилъ спокойнымъ поклономъ на холодный поклонъ сидѣвшей здѣсь Рогнѣды Романовны и, освѣдомясь у дѣвушки о здоровьѣ ребенка, прошелъ въ свою комнату.

Цѣлую ночь Розановъ не ложился спать. Ольга Александровна слышала, что мужъ все шуршалъ бумагами и часто открывалъ ящики своего письменнаго стола. Она придумала какъ встрѣтить каждое слово мужа, который, по ея соображеніямъ, непремѣнно не нынче, такъ завтра сдастся и пойдетъ на мировую; но дни шли за днями, а такого поползновенія со стороны Розанова не обнаруживалось. Онъ казался очень озабоченнымъ, но былъ ровенъ, спокоенъ и, по обыкновенію, нѣженъ съ ребенкомъ и ласковъ съ прислугою. Ольга Александровна нѣсколько разъ пробовала заводить его, заговаривая съ ребенкомъ, какіе бываютъ хо-

рошіе мужья и отцы и какіе дурные, причемъ обыкновенно всѣ дурные были похожи капля въ каплю на Розанова; но Розановъ точно не понималъ этого и оставался невозмутимо спокойнымъ.

Черезъ пять или шесть дней послѣ его возвращенія, одна изъ углекислыхъ дѣвъ, провожая въ Тверь другую углекислую дѣву, видѣла, какъ Розановъ провожалъ въ Петербургъ какую-то молоденькую даму, и представилось дѣвѣ, что эта дама, проходя къ вагонамъ, мимолетно поцѣловала Розанова.

На другой день Дмитрій Петровичъ слушалъ разговоръ Ольги Александровны,—какіе на свѣтѣ бываютъ подлецы и развратники, грубые съ женами и нѣжные съ метресками. Но и это нимало не вывело Розанова изъ его спокойнаго положенія. Онъ только поблѣднѣлъ немножко при словѣ *метреска:* не шло оно къ Полинькѣ Калистратовой.

А Полинька Калистратова, преслѣдуемая возобновившимися въ послѣднее время нашествіями своего супруга, уѣхала въ Петербургъ одна. Розановъ всячески спѣшилъ управиться такъ, чтобы ѣхать съ нею вмѣстѣ, но не успѣлъ; да и сама Полинька говорила, что этого вовсе не нужно.

— Очень трогательно будетъ, — шутила она за день до своего отъѣзда.—Вы прежде успокойте всѣмъ, чѣмъ можете, вашу жену, да тогда и пріѣзжайте; я васъ буду ждать.

— Будете ждать?— спросилъ ее Розановъ.

Полинька какъ бы не слыхала этого и продолжала укладываться.

Прошла недѣля. Розановъ получилъ изъ Петербурга два письма, а изъ больницы отпускъ. Въ этотъ же день, вечеромъ, онъ спросилъ у дѣвушки свой чемоданчикъ и началъ собственноручно укладываться.

Ольга Александровна часу во второмъ ночи отворила дверь въ его комнату и сказала:

— Вы бы позаботились о ребенкѣ.

— Какъ прикажете позаботиться? — спросилъ ее Розановъ, убирая свои бумаги.

— Васъ, вѣдь, правительство заставитъ о немъ заботиться.

— Да я не отказываюсь и безъ правительства.

— Я вашимъ словамъ не вѣрю.

— Ну, вотъ вамъ бумага.

— Что это? — спросила Ольга Александровна, принимая поданный ей мужемъ листъ.

— Мое обязательство выдавать вамъ ежегодное вспоможеніе.

— Это мнѣ; а на ребенка?

— Я вамъ даю сколько въ силахъ. Вы сами очень хорошо знаете, что я болѣе не могу.

— Не пьянствуйте съ метресками, такъ будете въ силахъ дать болѣе.

Розановъ промолчалъ.

— Васъ заставитъ правительство, — задорно продолжала Ольга Александровна.

— Пусть заставляетъ

— Я знаю законъ.

— Вамъ же лучше.

— У васъ будутъ вычитать изъ жалованья.

— Пусть вычитаютъ: сто рублей получите.

— Что сто рублей! Не храбритесь, батюшка, и все возьмутъ. Я все опишу. Найдутся такіе люди, что опишутъ, какое вы золото.

Розановъ опять ничего не отвѣтилъ.

Ольгѣ Александровнѣ надоѣло стоять, и она повернулась, говоря:

— Я завтра еще покажу эту бумагу маркизѣ, а отъ васъ всякой подлости ожидаю.

— Показывайте хоть чорту,—сказалъ Розановъ и заперъ за женою дверь на ключъ.

— Мерзавецъ!—послышалось ему изъ-за двери.

Отбирая бумаги, которыя намѣревался взять съ собою, Розановъ вынулъ изъ стола свою диссертацію, посмотрѣлъ на нее, прочелъ нѣсколько страницъ и, вздохнувъ, положилъ ее на прежнее мѣсто. На эту диссертацію легла лаконическая печатная программа диспута Лобачевскаго; потомъ долженъ былъ лечь какой-то литографированный листокъ, но докторъ, пробѣжавъ его, поморщился, разорвалъ бумажку въ клочки и съ негодованіемъ бросилъ эти кусочки въ печку.

«До чего ты, жизнь моя, довела меня, домыкала!» — подумалъ онъ и, задвинувъ столовые ящики, легъ уснуть до утра.

Передъ отъѣздомъ доктору таки выпала не легкая ми-

нутка: съ дитятею ему тяжело было проститься; смущало оно его своими невинными рѣчами.

— Ты, вѣдь, скоро вернешься, папочка?

— Скоро, дружокъ мой,—отвѣчалъ докторъ.

— Мнѣ скучно будетъ безъ тебя,—лепеталъ ребенокъ.

— Ну, поѣдемъ со мной,—пошутилъ докторъ.

— Мнѣ будетъ безъ мамы скучно.

— Ну, какъ же быть?

— Я хочу, чтобъ вы были вмѣстѣ. Я и тебя люблю, и маму.

— Люби, мой другъ, маму, — отвѣчалъ докторъ, поцѣловавъ ребенка и берясь за свой саквояжъ.

— А ты пріѣдешь къ намъ?

— Пріѣду, пріѣду.

Ольга Александровна не прощалась съ мужемъ.

Онъ ее только спросилъ:

— Вы болѣе не сомнѣваетесь въ моемъ обязательствѣ?

— Маркиза покажетъ его юристамъ,—отвѣчала madame Розанова.

— А! это прекрасно, — отвѣчалъ докторъ, и уѣхалъ на желѣзную дорогу въ сопровожденіи Юстина Помады.

— Что жъ ты думаешь, Дмитрій?—спросилъ его дорогою Помада.

— Ничего я, братъ, не думаю,—отвѣчалъ Розановъ.

— Ну, а такъ-таки?

— Такъ-таки ничего и не думаю.

— Разойдитесь вы, наконецъ.

— Мы ужъ разошлись,—отвѣчалъ Розановъ.

— А какъ она опять пріѣдетъ?

— А ты ее не пускай.

— А я какъ ее не пущу?

— А я какъ?

— Ну, и что-жъ это будетъ?

— А чортъ его знаетъ, что будетъ.

— Пропадешь ты, братъ, совсѣмъ.

— Ну, это еще старуха надвое ворожила, — процѣдилъ сквозь зубы докторъ.

Такъ они и разстались.

Розановъ, выѣхавъ изъ Москвы, сверхъ всякаго ожиданія, былъ въ такомъ хорошемъ расположеніи духа всю дорогу до Петербурга, что этого расположенія изъ него не выко-

лотилъ даже переѣздъ отъ московскаго вокзала до Калинкина моста, гдѣ жилъ Лобачевскій.

Лобачевскаго Розановъ не засталъ дома, сложилъ у него свои вещи и улетучился.

Проснувшись утромъ, Лобачевскій никакъ не могъ понять, гдѣ бы это запропастился Розановъ, а Розановъ не могъ сказать правды, гдѣ онъ былъ до утра.

Дѣла Розанова шли ни хорошо и ни дурно. Мѣстъ служебныхъ не было, но Лобачевскій обѣщалъ ему хорошую работу въ одномъ изъ спеціальныхъ изданій, — обѣщалъ и сдѣлалъ. Слово Лобачевскаго имѣло вѣсъ въ своемъ мірѣ. Розановъ прямо становился на полторы тысячи рублей годового заработка, и это ему казалось очень довольно.

Все это обдѣлалось въ три или четыре дня, и Розановъ могъ бы свободно возвращаться для окончательнаго расчета съ Москвою, но онъ медлилъ.

Отчего жъ ему было и не помедлить?.. Въ первое же утро послѣ его пріѣзда Полинька такъ хорошо пустое *вы* сердечнымъ *ты* ему, обмолвясь, замѣнила.

— У васъ, Розановъ, вѣрно есть здѣсь романчикъ?—шутилъ надъ нимъ Лобачевскій.

— Ну, съ какой стати?

— Да ужъ такъ: вы вѣдь ни на шагъ безъ жизненныхъ прикрасъ.

— А мы лучше о васъ поговоримъ.

— Да обо мнѣ что̀ говорить.

— Хорошо вамъ?

— Ничего.—Мнѣ каѳедру предлагаютъ.

— А вы что жъ?

— А я не беру.

— Это отчего?

— Что жъ въ каѳедрѣ. На каѳедрѣ всякій свое дѣло дѣлаетъ, а я тутъ подъ рукой институтецъ заведу. Тутъ просвѣщенные монголы мнѣ въ этомъ дѣлѣ помогаютъ.

— Это опять о женщинахъ.

— Да, опять о нихъ, все о нихъ.

— У васъ нѣтъ ли еще мѣста ученицѣ?

— Это вашъ романъ?

— Нѣтъ, какой романъ!

— Ну, да это все равно.

Розановъ свозилъ Лобачевскаго къ Полинькѣ.

Полинька получила бумагу, разрѣшавшую ей жить, гдѣ угодно, и ограждавшую ея личность отъ всякихъ притязаній человѣка, который владѣлъ правомъ называться ея мужемъ.

Лобачевскому Полинька очень понравилась, и онъ взялся ее пристроить.

— Это у васъ очень пріятный романъ, — говорилъ онъ Розанову, возвращаясь отъ Полиньки.

— Какой романъ, съ чего вы берете?

— Да такъ ужъ *сочиняю.*

— Да вы читали ли хоть одинъ романъ отъ роду?

— Четыре читалъ.

— Удивительно; а больше ужъ не читаете?

— Нѣтъ; все одно во всѣхъ повторяется.

— Какъ же одно во всѣхъ?

— А такъ, влюбился да женился влюбился да застрѣлился: скучно ужъ очень.

— А страданія?

— Страданія все отъ бездѣлья.

Была такая длинная ночь, которую Полинька Калистратова цѣликомъ провела, читая Розанову длинную нотацію, и затѣмъ наступило утро, въ которое она поила его кофеемъ и была необыкновенно тревожна, а затѣмъ былъ часокъ, когда она его раструнивала, говоря, что онъ въ Москвѣ снова растаетъ, и, наконецъ, еще была одна минута, когда она ему шептала: «пріѣзжай скорѣй, я тебя ждать буду».

Розановъ хорошо ѣхалъ и въ Москву, только ему непріятно было, когда онъ вспоминалъ, какъ легко относился къ его роману Лобачевскій. «Я вовсе не хочу, чтобъ это была интрижка, я хочу, чтобъ это была любовь», — рѣшалъ онъ настойчиво.

Москва стояла Москвою. Быстрыя повышенія въ чины и не менѣе быстрыя разжалованія попрежнему были свойственны углекислому кружочку. Розановъ не могъ понять, откуда вдругъ взялась къ нему крайняя ласка де-Бараль. Маркиза прислала за нимъ тотчасъ послѣ его пріѣзда, радостно сжала его руку, заперлась съ нимъ въ кабинетъ и спросила:

— Ну что, мой милый, въ Петербургѣ?

— Ничего, маркиза.

— Тихо?

— Не шелохнетъ.

— Гааа! И красные молчатъ?

— Можетъ-быть и говорятъ, только шопотомъ.

— Такъ тамъ рѣшительно тихо? Гааа! Нѣтъ, въ этой сторонушкѣ жить дольше невозможно.

«Да,—думалъ докторъ,—въ этой сторонушкѣ на какихъ вздумаешь крыльяхъ летать—летать просторно, только бываетъ, что сѣсть некуда».

— Вашъ документъ, мой милый, отлично сдѣланъ. Я его показывала юристамъ.

— Напрасно и безпокоились, я его писалъ посовѣтовавшись съ юристами,—отвѣчалъ Розановъ.

— Я порѣшила съ вашей женой: я возьму ее съ дѣвочкой на антресоли и буду...

— Оставьте, пожалуйста, маркиза: я этого не могу равнодушно слушать.

— Вашей дѣвочкѣ хорошо будетъ.

— Ну, тѣмъ лучше.

Въ послѣднюю ночь, проведенную Розановымъ въ своей московской квартирѣ, Ольга Александровна два раза приходила въ комнату искать зажигательныхъ спичекъ. Онъ видѣлъ это и продолжалъ читать. Передъ утромъ она пришла взять свой платокъ, который будто забыла на томъ диванѣ, гдѣ спалъ Розановъ, но онъ не видалъ и не слыхалъ.

Прошелъ для Розанова одинъ прелестный зимній мѣсяцъ въ холодномъ Петербургѣ, и онъ получилъ письмо, которымъ жена приглашала его возвратиться въ Москву; прошелъ другой, и она приглашала его уже только взять отъ нея хоть ребенка.

— Ну, вотъ! я была права,—сказала Полинька.

Розановъ поѣхалъ и возвратился въ Петербургъ съ своей дѣвочкой, а его жена поѣхала къ отцу.

Разлука ихъ была весьма дружеская. Углекислота умаяла Ольгу Александровну, и, усаживаясь въ холодное мѣсто дорожнаго экипажа, она грѣлась *дружбою*, на которую оставилъ ей право нѣкогда горячо любившій ее мужъ. О Полинькѣ Ольга Александровна ничего не знала.

Съ Лизою Розановъ въ послѣдній разъ вовсе не видался. Они ужъ очень разбились, да, къ тому же, и тамъ шла своя семейная драма, пятый актъ которой читатель увидитъ въ слѣдующей главѣ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Послѣдняя сцена изъ пятаго акта семейной драмы.

Собственныя дѣла Лизы шли очень худо: всегдашніе плохіе лады въ семьѣ Бахаревыхъ, по возвращеніи ихъ въ Москву отъ Богатыревыхъ, смѣнились сплошнымъ разладомъ. Первый поводъ къ этому разладу подала Лиза, не перебиравшаяся изъ Богородицкаго до самаго пріѣзда своей семьи въ Москву. Это очень не понравилось отцу и матери, которые ожидали встрѣтить ее дома. Пошли упреки съ одной стороны, рѣзкіе отвѣты съ другой, и кончилось тѣмъ, что Лиза, наконецъ, объявила желаніе вовсе не переходить домой и жить отдѣльно.

— Убей, убей отца, матушка; заплати ему за его любовь этимъ! — говорила Ольга Сергѣевна, послѣ самой раздирающей сцены по поводу этого предположенія.

Лиза попросила мать перестать, не говорить ничего отцу и въ тотъ же день переѣхала въ семью.

Егоръ Николаевичъ ужасно быстро старѣлъ; Софи рыхлѣла; Ольга Сергѣевна ни въ чемъ не измѣнилась. Только къ кошкамъ прибавила еще левретку.

Однако, несмотря на первую уступчивость Лизы, трудно было надѣяться, что въ семьѣ Бахаревыхъ удержится хоть какой-нибудь миръ, который былъ бы лучше доброй ссоры. Такъ и вышло.

Въ одинъ прекрасный день въ передней Бахаревыхъ показалась Бертольди: она спросила Лизу и ее проводили къ Лизѣ.

— Ma chère, ma chère!—позвала Ольга Сергѣевна, когда Бертольди черезъ полчаса вышла въ сопровожденіи Лизы въ переднюю.

Бертольди благоразумно не оглянулась и не отозвалась на этотъ окликъ.

— Я васъ зову, madame,—съ провинціальною ядовитостью проговорила Ольга Сергѣевна.

— Госпожа Бертольди!

— Что-съ? — спросила, глянувъ черезъ плечо, Бертольди.

— Я васъ прошу не удостоивать насъ вашими посѣщеніями.

— Я васъ и не удостоиваю; я была у вашей дочери.

— Моя дочь пока еще вовсе не полновластная хозяйка

въ этомъ домѣ. Въ этомъ домѣ я хозяйка и ся мать,—отвѣчала Ольга Сергѣевна, показывая пальцемъ на свою грудь. — Я хозяйка-съ, и я прошу васъ не бывать здѣсь, потому что у меня дочери дѣвушки, и мнѣ дорога ихъ репутація.

— Я не съѣмъ ее.

— Бертольди! я никогда не забуду этого незаслуженнаго оскорбленія, которое вы изъ-за меня перенесли сейчасъ,— съ жаромъ произнесла Лиза.

— Я не сержусь на грубость. Прощайте, Лиза: приходите ко мнѣ,—отвѣчала Бертольди, выходя въ двери.

— Да, я буду приходить къ вамъ.

— Нѣтъ, не будешь, — запальчиво крикнула Ольга Сергѣевна.

— Нѣтъ, буду,—спокойно отвѣчала Лиза.

— Нѣтъ, не будешь, не будешь, не будешь!

— Отчего это не буду?

— Оттого, что я этого не хочу, оттого, что я пойду къ генералъ-губернатору: я мать, я имѣю всякое право, хоть бы ты была генеральша, а я имѣю право; слово скажу и тебя выпорютъ, да, даже выпорютъ, выпорютъ.

— Полноте срамиться-то, — говорила Абрамовна Ольгѣ Сергѣевнѣ, которая, забывшись, кричала свои угрозы во все горло по-русски.

— Я ее въ смирительный домъ, — кричала Ольга Сергѣевна.

— Пожалуйста, пожалуйста, —проговорила шопотомъ молчавшая во все это время Лиза.

— Мнѣ въ этомъ никто не помѣшаетъ: я мать.

— Пожалуйста, отправляйте, — опять шопотомъ и кивая головою проговорила Лиза.

У нея, какъ говорится, голосъ упалъ: очень ужъ все это на нее подѣйствовало.

Старикъ Бахаревъ вышелъ и спросилъ только: что такое? что такое?

Ольга Сергѣевна застрекотала; онъ не сталъ слушать, сейчасъ же замахалъ руками и ушелъ.

Лиза ушла къ себѣ совершенно разбитая нечаянностью всей этой сцены.

— Охота тебѣ такъ безпокоить maman,—сказала ей вечеромъ Софи.

— Оставь, пожалуйста, Соничка,—отвѣчала Лиза.

— Если ты убьешь мать, то ты будешь виновата.

— Я, я буду виновата,—отвѣчала Лиза.

Проходили сутки за сутками; Лиза не выходила изъ своей комнаты и къ ней никто не входилъ, кромѣ няни и Полиньки Калистратовой.

Няня не читала Лизѣ никакой морали; она даже отнеслась въ этомъ случаѣ безразлично къ обѣимъ сторонамъ, махнувъ рукою и сказавъ:

— Ну васъ совсѣмъ, срамницъ этакихъ.

Горячая расположенность Абрамовны къ Лизѣ выражалась только въ жаркихъ баталіяхъ съ людьми, распространявшими сплетни, что барыня поймала Лизу, остригла ее и заперла.

Абрамовна отстаивала Лизину репутацію даже въ глазахъ самыхъ ничтожныхъ людей, каковы для нея были: дворникъ, кучеръ, сосѣдскія дѣвушки и богатыревскій поваренокъ.

— А то ничего; у насъ по Москвѣ въ барышняхъ этого фальшу много бываетъ; у насъ и въ газетахъ какъ-то писали, что даже младенца...—начиналъ поваренокъ, но Абрамовна его сейчасъ сдерживала: «то ваши московскіе; а мы не московскіе».

— Это точно; ну, только ничего. Въ столицѣ всякую сейчасъ могутъ обучить, — настаивалъ поваренокъ и получалъ отъ Абрамовны подзатыльникъ, отъ котораго старухиной рукѣ было очень больно, а праздной дворнѣ весьма весело.

Полинькѣ Калистратовой Лиза никакихъ подробностей не разсказывала, а сказала только, что у нея дома опять большія непріятности. Полинькѣ это происшествіе разсказала Бертольди, но она могла разсказать только то, что̀ произошло до ея ухода, а остального и она никогда не узнала.

Кромѣ Полиньки Калистратовой, къ Лизѣ допускался еще Юстинъ Помада, съ которымъ Лиза въ эту пору опять стала несравненно теплѣе и внимательнѣе.

Заключеніе, которому Лиза сама себя подвергла, вообще не было слишкомъ строго. Не говоря о томъ, что ее никто не удерживалъ въ этомъ заключеніи, къ ней несомнѣнно свободно допустили бы всѣхъ, кромѣ Бертольди; но никто изъ ея знакомыхъ не показывался. Маркиза, встрѣтясь съ

Ольгой Сергѣевной у Богатыревой, очень внимательно разспрашивала ее о Лизѣ и показала необыкновенную терпѣливость въ выслушиваніи жалостныхъ материнскихъ намековъ. Маркиза вспомнила аристократическій тактъ и разыграла, что она ничего не понимаетъ. Но, однако, все-таки маркиза дала почувствовать, что съ мнѣніями силою бороться неразумно.

А Варвара Ивановна Богатырева, напротивъ, говорила Ольгѣ Сергѣевнѣ, что это очень разумно.

— Она очень умная женщина,—говорила Варвара Ивановна о маркизѣ: — но у нея ужъ умъ за разумъ зашелъ; а мое правило просто: ты дѣвушка и повинуйся. А то нынче онѣ очень ужъ сòвки, да неловки.

— Да мы, бывало, какъ идетъ покойница мать... бывало, духу ея боимся: невѣстою ужъ была, а материнскаго слова трепетала; а нынче... вонъ хоть вашъ Сержъ надѣлалъ...

— Сынъ другое дѣло, ma chère, а дочь вся въ зависимости отъ матери, и мать несетъ за нее отвѣтственность передъ обществомъ.

Пуще всего Ольгѣ Сергѣевнѣ понравилось это новое открытіе, что она несетъ за дочерей отвѣтственность передъ обществомъ: такъ она и стала смотрѣть на себя, какъ на лицо весьма отвѣтственное.

Егоръ Николаевичъ, ко всеобщему удивленію, во всей этой передрягѣ не принималъ ровно никакого участія. Старъ ужъ онъ становился, удушье его мучило, и къ этому удушью присоединилась еще новая болѣзнь, которая очень пугала Егора Николаевича и отнимала у него послѣднюю энергію.

Онъ только говорилъ:

— Не ссорьтесь вы, Бога ради не ссорьтесь.

— Что ты все сидишь тутъ, Лиза? — говорилъ онъ въ другое время дочери.

— Что жъ мнѣ, папа, выходить? Выходить туда только для оскорбленій.

— Какія ужъ оскорбленія! Развѣ мать можетъ оскорбить?

— Я думаю, папа.

— Чѣмъ? чѣмъ она тебя можетъ оскорбить?

— Да, maman хотѣла меня отправить въ смирительный домъ, что жъ! Я ожидаю: отправляйте.

— Полно врать,—какой тамъ еще смирительный домъ?

— Я не знаю какой.

— Ну, что тамъ: въ-сердцахъ мать что-нибудь сказала, а ты ужъ и поднялась.

— Это, папа, можетъ повторяться, потому что я такъ жить не могу.

— Э, полно вздоръ городить!

Тѣмъ это и кончилось: но Лиза ни на волосъ не измѣнила своего образа жизни.

Въ это время разыгралась извѣстная намъ исторія Розанова.

Маркиза и Романовны совсѣмъ оставили Лизу. Маркиза охладѣла къ Лизѣ по крайней живости своей натуры, а Романовны охладѣли потому, что охладѣла маркиза. Но какъ бы тамъ ни было, а о «молодомъ дичкѣ», какъ нѣкогда называли здѣсь Лизу, теперь не было и помина: маркиза устала отъ долгой политической дѣятельности.

Съ отъѣздомъ Полиньки Калистратовой, кругъ Лизиныхъ посѣтителей сократился рѣшительно до одного Помады, черезъ котораго шла у Лизы жаркая переписка и дѣлались кое-какія дѣла.

У Лизы шелъ заговоръ, въ которомъ Помада принималъ непосредственное участіе, и заговоръ этотъ разразился въ то время, когда мало-способная къ послѣдовательному преслѣдованію Ольга Сергѣевна смягчилась до-зѣла и начала сильно желать искренняго примиренія съ дочерью.

Шло обыкновенно такъ, какъ всегда шло въ семьѣ Бахаревыхъ и какъ многое идетъ въ другихъ русскихъ семьяхъ. Безповодная, или весьма малопричинная злоба смѣнялась столь же безпричинною снисходительностью и уступчивостью, готовою доходить до самыхъ непонятныхъ размѣровъ.

Среди такого положенія дѣлъ, въ одно морозное февральское утро, Абрамовна съ совершенно потеряннымъ видомъ вошла въ комнату Ольги Сергѣевны и доложила, что Лиза куда-то собирается.

— Какъ собирается?—спросила, не совсѣмъ понявъ дѣло, Ольга Сергѣевна.

— Рано, гдѣ тебѣ, встала сегодня и укладывается.

Ольга Сергѣевна поблѣднѣла и бросилась въ комнату Лизы.

— Что это?—спросила она у стоявшей надъ чемоданомъ Лизы.

— Ничего-съ,—отвѣчала спокойно Лиза.

— Зачѣмъ это ты укладываешься?

— Я сегодня уѣзжаю.

— Какъ уѣзжаешь? Какъ ты смѣешь уѣзжать?

— Увидите.

— Ахъ ты, разбойница,—прошипѣла мать и крикнула:— Егоръ Николаевичъ!

— Не поднимайте, maman, напрасно шуму, — проговорила Лиза.

— Егоръ Николаевичъ! — повторила еще громче Ольга Сергѣевна и, покраснѣвъ какъ буракъ, сѣла, сложа на груди руки.

Лиза продолжала соображать, какъ ей что удобнѣе размѣстить по чемодану.

— Какъ же это вы однѣ поѣдете, сударыня?

— Это для васъ все равно, maman. Я у васъ жить рѣшительно не могу: вы меня лишаете общества, которое меня интересуетъ; вы меня грозили посадить въ смирительный домъ, ну, сажайте. Я съ вами не ссорюсь, но жить съ вами не могу.

— Ахъ, ахъ, разбойница! ахъ, разбойница! она не можетъ жить съ родителями! Но я за тебя несу отвѣтственность передъ обществомъ.

— Передъ обществомъ, maman, всякій отвѣчаетъ самъ за себя.

— Но я, милостивая государыня, наконецъ, ваша мать!— вскрикнула со стула Ольга Сергѣевна. — Понимаете ли вы съ вашими науками, что значитъ слово *мать:* мать отвѣчаетъ за дочь передъ обществомъ.

— Maman, если бъ вы меня знали...

— Гдѣ мнѣ понимать такую умницу!

— Положимъ и такъ.

— Философка, сочиненія сочинять будетъ, а мать дура.

— Я этого не говорю.

— Еще бы! А я понимаю одно, что я слабая мать; что я съ тобою церемонилась; не умѣла учить, когда поперекъ лавки укладывалась.

— Прошлаго, maman, не воротишь; но если васъ безпо-

коитъ ваша отвѣтственность за меня передъ обществомъ, то я вамъ ручаюсь...

— Гм! въ чемъ это вы ручаетесь?

— Я потому и сказала, что вы меня не знаете...

— Да.

— Я неспособна...

— Вы только неспособны къ благодарности, къ хорошему вы неспособны; къ остальному ко всему вы очень способны.

— Положимъ и такъ, maman. Я только хочу успокоить васъ, что вы никогда не будете компрометированы передъ обществомъ.

— Какъ! какъ я не буду компрометирована? А это что? Ольга Сергѣевна указала на чемоданъ.

— Это ничего, maman: я уѣду и буду жить честно; вы не будете краснѣть за меня ни передъ кѣмъ.

— Ахъ, ты, разбойница этакая!—прошептала Ольга Сергѣевна и порывисто бросилась къ Лизѣ.

Лиза осторожно отвела ее отъ себя и сказала:

— Успокойтесь, maman, успокойтесь.

— Вонъ, вынимай вонъ вещи.

По лѣстницѣ поднимался Егоръ Николаевичъ.

— Что это такое?—спрашивалъ онъ.

— Вотъ вамъ, батюшка-баловникъ, любуйтесь на свою балованную дочку! Охъ! охъ! воды мнѣ, водды.... воддды!

Ольга Сергѣевна упала въ обморокъ, продолжавшійся болѣе часа. Послѣ этого припадка ее снесли въ спальню, и по дому пошелъ шопотъ.

— Чтобъ я этого и не слыхалъ болѣе! — строго сказалъ Лизѣ отецъ и вышелъ.

— Папа, я рѣшилась, и меня ничто не удержитъ,—отвѣчала вслѣдъ ему Лиза.

— И слышать не хочу,—махнувъ рукой, крикнулъ Бахаревъ и ушелъ въ свою комнату.

Лиза окончила свою работу и сѣла надъ уложеннымъ чемоданомъ.

Вошла няня. Говорила, говорила, долго и много говорила старуха; Лиза ничего не слыхала.

Наконецъ, ударило одиннадцать часовъ. Лиза встала, сослала внизъ свои вещи и, одѣвшись, твердою поступью сошла въ залу.

Егоръ Николаевичъ сидѣлъ и курилъ у окна.

— Прощайте, папа,—сказала, подойдя къ нему, Лиза.

Старикъ не взглянулъ на нее и ничего не отвѣтилъ.

Лиза подош. къ дверн материной комнаты; сестра ее не пустила къ Ольгѣ Сергѣевнѣ.

— Ну, прощай,—сказала Лиза сестрѣ.

Онѣ холодно поцѣловались.

— Папа, прощайте, я уѣзжаю, — сказала Лиза, подойдя снова къ отцу.

— Иди отъ меня,—отвѣчалъ старикъ.

— Я васъ ничѣмъ не огорчаю, папа; а не могу здѣсь жить: я хочу трудиться.

— Пошла, пошла отъ меня.

Лиза поймала и поцѣловала его руку.

— Да, что это, однако, за вздоръ въ самомъ дѣлѣ,—сказалъ со слезами на глазахъ старикъ.—Я тебѣ приказываю.

Лиза молчала.

— Я тебѣ приказываю, чтобъ это все сейчасъ было кончено.

— Не могу, папа.

— Съ кѣмъ же ты ѣдешь? Безъ бумаги, безъ денегъ ѣдешь?

— У меня есть мой дипломъ и деньги.

— Ты врешь! Какія у тебя деньги? Что ты врешь!

— У меня есть деньги; я продала мой фермуаръ.

— Боже мой! фермуаръ, такой прелестный фермуаръ!—застонала, выходя изъ дверей гостиной, Ольга Сергѣевна.—Кто смѣлъ купить этотъ фермуаръ?

— Этотъ фермуаръ мой, maman; онъ принадлежалъ мнѣ, и я имѣла право его продать. Его мнѣ подарила тетка Агнія.

— Фамильная вещь, Боже мой! наша фамильная вещь!—стонала Ольга Сергѣевна.

Лизѣ становилось все тяжелѣе, а часовая стрѣлка безучастно заползала за половину двѣнадцатаго.

— Прощай,—сказала Лиза нянѣ.

Абрамовна стояла молча, давая Лизѣ цѣловать себя въ лицо, но сама ее не цѣловала.

— Оставаться!—крикнулъ Егоръ Николаевичъ:—иначе... я велю людямъ...

— Папа, насильно вы можете приказать дѣлать со мною все, что̀ вамъ угодно, но я здѣсь не останусь,— отвѣчала, сохраняя всю свою твердость, Лиза.

— Мы поѣдемъ въ деревню.

— Туда я вовсе ни за что не поѣду.

— Какъ не поѣдешь? Я тебѣ велю.

— Связанную меня можете везти всюду, но добровольно я не поѣду. Прощайте, папа.

Лиза опять подошла къ отцу, но старикъ отдернулъ отъ нея руку.

— Варварка! варварка! убійца!—вскрикнула, падая, Ольга Сергѣевна.

Лиза, блѣдная какъ смерть, повернула къ двери.

Мимоходомъ она еще разъ обняла и поцѣловала Абрамовну.

Старуха вынула изъ-подъ шейнаго платка принесенный ею на этотъ случай небольшой образочекъ въ серебряной ризѣ и подняла его надъ Лизой.

— Дай сюда образъ! — крикнулъ, сорвавшись съ мѣста, Егоръ Николаевичъ:—дай я благословлю Лизавету Егоровну, — и, выдернувъ изъ рукъ старухи икону, онъ поднялъ ее надъ своею головой противъ Лизы и сказалъ:

— Именемъ Всемогущаго Бога да будешь ты отъ меня проклята, проклята, проклята; будь проклята въ сей и въ будущей жизни!

Съ этими словами старикъ уронилъ образъ и упалъ на первый стулъ.

Лиза зажала уши и выбѣжала за двери.

Минутъ десять въ залѣ была такая тишина, такое мертвое молчаніе, что, казалось, будто всѣ лица этой живой картины окаменѣли и такъ будутъ стоять въ этой комнатѣ до скончанія вѣка. По полу только раздавались чокающіе шаги бродившей левретки.

Наконецъ, Егоръ Николаевичъ поднялъ голову и крикнулъ:

— Лошадь, скорѣе лошадь.

Черезъ десять минутъ онъ почти вскачь несся къ петербургской желѣзной дорогѣ.

При поворотѣ на площадь старикъ услышалъ свистокъ.

— Гони!—крикнулъ онъ кучеру.

Лошадь понеслась вскачь.

Егоръ Николаевичъ бросился на крыльцо вокзала.

Въ эту же минуту раздалось мѣрное пыхтѣнье локомотива, и изъ дебаркадера выскочило и понеслось густое облако сѣраго пара.

Поѣздъ ушелъ.

Егоръ Николаевичъ схватился руками за перила и закачался. Мимо его проходили люди, жандармы, носильщи-

ки, — онъ все стоялъ, и въ глазахъ у него мутилось. Наконецъ, мимо его прошелъ Юстинъ Помада, но Егоръ Николаевичъ никого не видалъ, а Помада, увидя его, свернулъ въ сторону и быстро скрылся.

«Воротить!» — хотѣлось крикнуть Егору Николаевичу, но онъ понялъ, что это будетъ безполезно, и тутъ только вспомнилъ, что онъ даже не знаетъ, куда поѣхала Лиза.

Ее никто не спросилъ объ этомъ: кажется, всѣ думали, что она только пугаетъ ихъ.

Изъ оставшихся въ Москвѣ людей, извѣстныхъ Бахаревымъ, все дѣло зналъ одинъ Помада, но о немъ въ это время въ цѣломъ домѣ никто не вспомнилъ, а самъ онъ никакъ не желалъ туда показываться.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Ночь въ Москвѣ, ночь надъ рѣкой Саванкой и ночь въ «Италіи».

1.

Я видѣлъ мать, только-что проводившую въ рекруты единственнаго сына, и видѣлъ кошку, возвращавшуюся въ домъ хозяина, закинувшаго ея котятъ.

Мой дѣдъ былъ птичный охотникъ. Я спалъ у него въ большой низенькой комнатѣ, гдѣ висѣли соловьи. Наши соловьи признаются лучшими въ цѣлой Россіи. Соловьи другихъ мѣстъ не умѣютъ такъ хорошо пѣть о любви, о разлукѣ и обо всемъ, о чемъ сложена соловьиная пѣсня.

Комната, въ которой я спалъ съ соловьями, выходила окнами въ старый плодовитый садъ, заросшій густымъ вишенникомъ, крыжовникомъ и смородиною.

Въ хорошія ночи я спалъ въ этой комнатѣ съ открытыми окнами и въ одну такую ночь въ этой комнатѣ произошелъ бунтъ, имѣвшій весьма печальныя послѣдствія.

Одинъ соловей проснулся, ударился о зеленый, коленкоровый подбой клѣтки и затѣмъ началъ неистово метаться. За однимъ поднялись всѣ и начался бунтъ. Дѣдъ былъ въ ужасѣ.

— Ему приснилось, что онъ на волѣ и онъ умретъ отъ этого, — говорилъ дѣдъ, указывая на клѣтку начавшаго бунтъ соловья.

Птицы нещадно метались и къ утру три изъ нихъ были

мертвы. Я смотрѣлъ, какъ околѣвалъ соловей, которому приснилось, что онъ можетъ летѣть куда ему хочется. Онъ не могъ держаться на жердочкѣ и его круглые черные глазки безпрестанно закрывались, но онъ будилъ самъ себя и до послѣдняго зѣвка дергалъ ослабѣвшими крыльями.

У красивой, сильной львицы, сидящей въ Jardin des plantes въ Парижѣ, раннею весною прошлаго года родился львенокъ. Я не знаю, какъ его взяли отъ матери, но я его увидѣлъ первый разъ, должно быть, такъ въ концѣ февраля; онъ тогда лежалъ на крылечкѣ большой галлереи и грѣлся. Это была красивая граціозная крошка и передъ нею стояла куча всякаго народа и особенно женщинъ. Львенокъ былъ привязанъ только на тоненькой цѣпочкѣ и, катаясь по крылечку, обтиралъ свою мордочку бархатною лапкою, за которую его тормошили хорошенькія лапочки парижскихъ львицъ въ лайковыхъ перчаткахъ.

Это было запрещено и это всѣмъ очень нравилось.

Одна маленькая ручка очень надоѣла львенку, и онъ тряхнулъ головенкою, издалъ короткій звукъ, на который тотчасъ же раздался страшный ревъ.

Въ ту же минуту нѣсколько служителей бросились къ наружной части галлереи и заставили отдѣленіе львицы широкими черным досками, а сзади въ этомъ отдѣленіи послышались скрипъ и стукъ желѣзной кочерги по желѣзнымъ полосамъ. Вскорѣ неистовый ревъ смѣнило тихое, глухое рычаніе.

Я дождался, пока снова отняли доски отъ клѣтки львицы. Львица казалась спокойною. Прижавшись въ заднемъ углу, она лежала, пригнувъ голову къ лапамъ; она только вздыхала и, не двигаясь ни однимъ членомъ, тревожно бросала во всѣ стороны взоры, исполненные въ одно и то же время и гордости, и отчаянья.

Львенка увели съ крыльца, и толпа, напутствуемая энергическими замѣчаніями служителей, разошлась. Передъ галлереей проходилъ служитель въ синей курткѣ и робеспьеровскомъ колпакѣ изъ краснаго сукна.

Этотъ человѣкъ, по виду, не былъ такъ сердитъ, какъ его товарищи, и я подошелъ къ нему.

— Monsieur,—спросилъ я: — сдѣлайте милость, скажите, что̀ это сдѣлалось съ львицей?

— Tiens?—отвѣчалъ французъ:—elle rève qu'elle est libre.

Я еще подошелъ къ клѣткѣ и долго смотрѣлъ сквозь же, лѣзныя полосы въ страшныя глаза львицы. Она хотѣла за щитить свое дитя и, понявъ, что это для нея невозможно она была велика въ своемъ грозномъ молчаніи.

Егоръ Николаевичъ Бахаревъ теперь какъ-то напоминалъ собою всѣхъ: и мать, проводившую сына въ рекруты, и кошку, возвращающуюся послѣ поиска утопленныхъ котятъ, и соловья, вспомнившаго о минувшихъ дняхъ короткаго счастія, и львицу, смирившуюся въ желѣзной клѣткѣ.

Возвратясь домой, онъ все молчалъ. До самаго вечера онъ ни съ кѣмъ не сказалъ ни слова.

— Что̀ съ тобою, Егоръ Николаевичъ?—спрашивала его Ольга Сергѣевна.

Онъ только махалъ рукою. Не грозно махалъ, а какъ-то такъ, что, молъ, «силъ моихъ нѣтъ,—отвяжитесь отъ меня, ради Создателя».

Въ сумерки онъ прилегъ на диванѣ въ гостиной и задремалъ.

— Тссъ! — командовала по заднимъ комнатамъ Абрамовна.—Успокоился баринъ, не шумите.

Баринъ, точно, чуть не успокоился. Когда Ольга Сергѣевна пришла со свѣчою, чтобы побудить его къ чаю, онъ лежалъ съ открытыми глазами, давалъ знакъ одною рукою и лепеталъ какой-то совершенно непонятный вздоръ заплетающимся языкомъ.

Въ домѣ начался адъ. Людей разослали за докторами. Ольга Сергѣевна то выла, то обмирала, то цѣловала мужнины руки, согрѣвая ихъ своимъ дыханіемъ. Остальные всѣ заурядъ потеряли головы и суетились. По дому только слышалось: «барина въ гостиной параличъ ударилъ», «переставляется баринъ».

Каждый посланецъ нашелъ по доктору, и черезъ часъ Егора Николаевича, выдержавшаго лошадиное кровопусканіе, отнесли въ его спальню.

Къ полуночи одинъ докторъ заѣхалъ еще разъ навѣстить больного; посмотрѣлъ на часы, пощупалъ пульсъ, велѣлъ аккуратно перемѣнять компрессы на голову и уѣхалъ.

Старикъ тяжело дышалъ и не смотрѣлъ глазами.

Съ Ольгой Сергѣевной въ гостиной поминутно дѣлались дурноты; ее оттирали одеколономъ и давали нюхать спиртъ.

Софи ходила скорыми шагами и ломала руки.

Къ тремъ часамъ Бахареву не было лучше, ни крошечки лучше.

Абрамовна вышла изъ его комнаты съ бѣлымъ салатникомъ, въ которомъ растаялъ весь ледъ, приготовленный для компрессовъ. Возвращаясь съ новымъ льдомъ черезъ гостиную, она подошла къ столу и задула догоравшую свѣчу. Свѣтъ былъ здѣсь не нуженъ. Онъ только могъ мѣшать крѣпкому сну Ольги Сергѣевны и Софи, пріютившихся въ теплыхъ уголкахъ мягкаго плюшеваго дивана.

Абрамовна опять усѣлась у изголовья больного и опять принялась за свою фельдшерскую работу.

Старческая кожа была не довольно чутка къ температурнымъ измѣненіямъ. Абрамовна положила одинъ очень холодный компрессъ, отъ котораго больной поморщился и, открывъ глаза, остановилъ ихъ на старухѣ.

— Что, батюшка?—прошептала съ ласковымъ участіемъ Абрамовна.

Больной только тяжко дышалъ.

— Трудно тебѣ? — спросила она, продолжая глядѣть въ тѣ же глаза, черезъ полчаса.

Старикъ кивнулъ головою: дескать «трудно».

— Гдѣ она?—пролепеталъ онъ черезъ нѣсколько минутъ, однако, такъ невнятно, что ничего нельзя было разобрать.

— Что, батюшка, говоришь?—спросила Абрамовна.

— Гдѣ она? — съ большимъ напряженіемъ и разстановкою произнесъ явственнѣе Бахаревъ.

— Кто, родной мой? О комъ ты спрашиваешь?

— О Лизѣ, — съ тѣмъ же усиліемъ и разстановкою выговорилъ Егоръ Николаевичъ.

Старуха хотѣла отмолчаться и стала выжимать смоченный компрессъ.

— Она умерла?—устремивъ глаза, спрашивалъ Бахаревъ.

— Нѣтъ, батюшка, Христосъ Царь небесный съ нею, она жива. Уѣхала. Вы, батюшка, успокойтесь: она вернется. Не тревожь себя, родной, понапрасну.

— У-ѣ-х-а-л...—опять совсѣмъ уже невнятно прошепталъ больной.

Онъ какъ будто впалъ въ забытье; но черезъ четверть часа опять широко раскрылъ глаза и скоро-скоро, какъ бы боясь, что ему не будетъ время высказать свое слово, залепеталъ:

— Я полковникъ: я старикъ, я израненный старикъ. Меня всѣ знаютъ... мои ордена... мои раны... она дочь моя... Гдѣ она? Гдѣ о-н-а?—произнесъ онъ, тупѣя до совершенной невнятности. — О-д-н-а!.. р-а-з-в-р-а-т-ъ... Разбойники! не обижайте меня; отдайте мнѣ мою дочь,—выговорилъ онъ вдругъ съ усиліемъ, но довольно твердо, и заплакалъ.

Сѣрый свѣтъ зарождающагося утра заглянулъ изъ-за спущенныхъ шторъ въ комнату больного, но былъ еще слишкомъ слабъ и робокъ для того, чтобы сконфузить мигавшую подъ зеленымъ абажуромъ свѣчу. Бахаревъ снова лежалъ спокойно, а Абрамовна, оперщись рукою о кресло, тихо, усыпляющимъ тономъ, ворчала ему:

— Иная, батюшка, и при отцѣ съ матерью живетъ, да ведетъ себя такъ, что за стыдъ головушка гинетъ, а другая и сама по себѣ, да чиста и передъ людьми, и передъ Господомъ. На это взирать нечего. Къ чистому поганое не пристанетъ.

— Ты по-ѣз-жай,—прошепталъ старикъ

Старуха промолчала.

— Возь-ми де-негъ и по-ѣз-жай,—повторялъ больной.

— Хорошо, сударь, поѣду.

— Дда, поѣзжай... а куда?

Старуха зачесала головной платокъ.

— К-у-д-а?—повторилъ больной.

Старуха пожала плечами и пошла потушить свѣчу. Тяжелая ночь прошла и наступило еще болѣе тяжелое утро.

Недавно публика любовалась картинкою, помѣщенною въ одномъ изъ остроумныхъ сатирическихъ изданій. Рисунокъ изображалъ отца, у котораго дочь *ушла*. Отецъ былъ изображенъ на этомъ рисункѣ съ ослиными ушами.

Мы сомнѣваемся, что художникъ самъ видѣлъ когда-нибудь отца, у котораго *ушла* дочь. Художественная правда не позволила бы заглушить себя гражданской тенденціи и заставила бы его, кромѣ ослиныхъ ушей, увидать и отцовское сердце.

2.

Во флигелѣ Гловацкихъ ничего нельзя было узнать. Комнаты были ярко освѣщены и набиты различными гостями; подъ окнами стояла и мерзла толпа мѣщанъ и мѣщанокъ, кабинетъ Петра Лукича вовсе исчезъ изъ дома, а къ дѣв-

ственной кроваткѣ Женни была смѣло и твердо приставлена другая кровать.

Полтора часа назадъ Женни перевѣнчали съ Николаемъ Степановичемъ Вязмитиновымъ, занявшимъ должность штатнаго смотрителя, вмѣсто Петра Лукича, который выслужилъ полный пенсіонъ и получилъ отставку.

Сегодня въ четыре часа послѣ обѣда Петръ Лукичъ отправилъ въ домъ покойной жены свой ветхій гардеробъ и книги. Сегодня же онъ проведетъ первую ночь внѣ училищнаго флигеля, уступая новому смотрителю, вмѣстѣ съ мѣстомъ, и свою радость, свою красавицу Женни.

Между гостями, наполняющими флигель уѣзднаго училища, мы прежде всѣхъ узнаемъ Петра Лукича. Онъ постарѣлъ еще болѣе, голова его совсѣмъ бѣла, и длинная фигура нѣсколько горбится; онъ и веселъ, и озабоченъ, и задумчивъ. Потомъ на почетномъ мѣстѣ сидитъ посаженый отецъ жениха, нашъ давній знакомый Алексѣй Павловичъ Зарницынъ. Онъ пополнѣлъ, и въ лицѣ его много важности и самоувѣренности. Онъ ораторствуетъ и заставляетъ всѣхъ себя слушать. Къ нему часто подходитъ и благопристойно его ласкаетъ немолодая, но еще очень красивая и изящная дама. Это Катерина Ивановна, бывшая вдова Кожухова (нынѣ madame Зарницына), владѣтельница богатаго села Коробина. Она одѣта по-бальному, роскошно и нѣсколько молодо; но этотъ нарядъ никому не бросается въ глаза. Онъ даже заставляетъ всѣхъ чувствовать, что хотя сама невѣста здѣсь, безъ сомнѣнія, есть самая красивая женщина, но и эта барыня совсѣмъ не вздоръ въ нашъ вѣкъ болѣзненный и хилый. Катерина Ивановна здѣсь едва ли не самое видное лицо: она всѣмъ распоряжается и на всемъ лежитъ ея иниціатива. Благодаря ей, пиръ великолѣпенъ и роскошенъ. Петръ Лукичъ самъ не знаетъ, откуда у него что берется. Саренко, въ высочайшемъ жабо, тоже здѣсь съ своею Лурлеей и съ половиной въ желтой шали. Онъ сочиняетъ приличныя, по его мнѣнію, настоящему торжеству пошлости и, разглаживая по головѣ свой хвостъ, ищетъ случая ихъ позамѣтнѣе высказать новобрачной парѣ.

О новобрачной парѣ говорятъ разно. Женни утомлена и задумчива. Мужчины находятъ ее красавицей, женщины говорятъ, что она тонируетъ. Изъ дамъ ласковѣе всѣхъ къ ней madame Зарницына, и Женни это чувствуетъ, но она,

дѣйствительно, черезчуръ разсѣяна; ей припоминается и Лиза, и лицо, отсутствіе котораго здѣсь въ настоящую минуту очень замѣтно. Женни думаетъ объ умершей матери.

Вязмитиновъ нехорошъ. Ему не идетъ бѣлый галстукъ съ бѣлымъ жилетомъ. Вырѣзаясь изъ чернаго фрака, они непріятно оттѣняютъ гладко выбритое лицо и дѣлаютъ Вязмитинова какъ будто совсѣмъ безъ груди. Онъ сосредоточенъ и часто моргаетъ.

Вообще онъ всегда былъ несравненно лучше, чѣмъ сегодня.

Въ кучкахъ гостей мужчины толкуютъ, что Вязмитинову будетъ трудно съ женою на этомъ мѣстѣ; что Алексѣй Павловичъ Зарницынъ пристроился гораздо умнѣе, и что Катерина Ивановна не въ эти выборы, такъ въ другіе непремѣнно выведетъ его въ предводители.

— А тутъ что? — добавляли къ этимъ разсужденіямъ.— Любовь! Любовь, батюшка,—морковь: полежитъ и завянетъ.

— Она премилая дѣвушка!—замѣчали дѣвицы.

— Что, сударыня, милая!—возражала жена Саренки.—Съ лица-то не воду пить, а жизнь пережить—не поле перейти.

Изъ постороннихъ людей не злоязычили втихомолку только Зарницынъ съ женою. Первому было некогда, да онъ и не былъ злымъ человѣкомъ, а жена его не имѣла никакихъ основаній въ чемъ бы то ни было завидовать Женни, и искренно желала ей добра въ ея скромной долѣ.

Самое преданное Женни женское сердце не входило въ пиршественные покои. Это сердце билось въ груди сестры Ѳеоктисты.

Еще при первомъ слухѣ о помолвкѣ Женни, мать Агнія запретила Петру Лукичу готовить что бы то ни было къ свадебному наряду дочери.

— Оставь это, батюшка, мнѣ. Я хочу вмѣсто матери сама все приготовить для Геши, и ты не въ правѣ мнѣ въ этомъ препятствовать.

Петръ Лукичъ и не препятствовалъ.

Вечеромъ, подъ самый день свадьбы, изъ губернскаго города пріѣхала сестра Ѳеоктиста съ длиннымъ ящикомъ, до крайности стѣснявшимъ ее на монастырскихъ саняхъ.

Въ ящикѣ, который привезла сестра Ѳеоктиста, было цѣлое приданое. Тутъ лежалъ великолѣпный подвѣнечный уборъ: платье, дѣвичья фата, гирлянда и даже бѣлые атласные ботинки. Далѣе, здѣсь были четыре атласные розовые

чехла на подушки съ нынѣшними оборками, два великолѣпно выстеганныя атласныя одѣяла, вышитая кофта, ночной чепецъ, маленькія женскія туфли, вышитыя золотомъ по масаковому бархату, и мужскія туфли, вышитыя золотомъ по черной замшѣ, коверъ подъ ноги и синій атласный халатъ на мягкой тафтяной подкладкѣ, тоже съ вышивками и съ шнурками. Игуменья по-матерински справила къ вѣнцу Женни. Даже между двухъ образовъ, которыми благословили новобрачныхъ, стоялъ оригинальный образъ св. Іуліаніи, княжны Ольшанской. Образъ этотъ былъ въ дорогой золотой ризѣ, не кованой, но шитой, съ нѣсколькими яхонтами и изумрудами. А на фіолетовомъ бархатѣ, покрывавшемъ заднюю часть доски, золотомъ же было вышито: «Симъ образомъ св. дѣвственницы, княжны Іуліаніи, благословила на бракъ Евгенію Петровну Вязмитинову настоятельница Введенскаго Богородицкаго дѣвичьяго монастыря смиренная инокиня Агнія».

Въ брачный вечеръ Женни всѣ эти вещи были распредѣлены по мѣстамъ, и Ѳеоктиста, похаживая по спальнѣ, то оправляла оборки подушекъ, то осматривала кофту, то передвигала мужскія и женскія туфли новобрачныхъ.

Въ два часа ночи Катерина Ивановна Зарницына вошла въ эту спальню и открыла одѣяла кроватей. Вслѣдъ затѣмъ она вышла и ввела сюда за руку Женни.

Въ домѣ уже никого не было постороннихъ.

Послѣдній, крестясь и перхая, вышелъ Петръ Лукичъ. Теперь и онъ былъ здѣсь лишній.

Катерина Ивановна и Ѳеоктиста раздѣли молодую и накинули на нее бѣлый пеньюаръ, вышитый собственными руками игуменьи.

Ѳеоктиста надѣла на ноги Женни туфли.

Женни дрожала и безмолвно исполняла все, что ей говорили.

Облаченная во все бѣлое, она, отъ усталости и волненія, робко присѣла на край кровати.

— Помолитесь Заступницѣ,—шепнула ей Ѳеоктиста.

Женни стала на колѣни и перекрестилась.

Свѣчи погасли и осталась одна лампада передъ образами.

— Молитесь Ей, да ниспошлетъ Она вамъ бракъ честенъ и соблюдетъ ложе ваше нескверно,—опять учила Ѳеоктиста, стоя въ своей черной рясѣ надъ бѣлою фигурою Женни.

Женни молилась.

Изъ бывшаго кабинета Гловацкаго, Катерина Ивановна ввела за руку Вязмитинова въ синемъ атласномъ халатѣ.

Ѳеоктиста нагнулась къ головѣ Женни, поцѣловала ее въ темя и вышла.

Женни еще жарче молилась.

Катерина Ивановна тоже вышла и сѣла съ Ѳеоктистой въ свою карету.

Дальше мы не имѣемъ права оставаться въ этой комнатѣ.

3.

Поднимаемъ третью завѣсу.

Слуга взнесъ за Бертольди и Лизою ихъ вещи въ третій этажъ, получилъ плату для кучера и вышелъ.

Лиза осмотрѣлась въ маленькой комнаткѣ, съ довольно грязною обстановкою.

Здѣсь былъ пружинный диванъ, два кресла, четыре стула, комодъ и полинялая драпировка, за которою стояла женская кровать и разбитый по всѣмъ пазамъ умывальный столикъ.

Лакей подалъ спрошенный у него Бертольди чай, повѣсилъ за драпировку чистое полотенце, чего-то поглазѣлъ на пріѣхавшихъ барышень, спросилъ ихъ паспорты и вышелъ.

Лиза какъ вошла — сѣла на диванъ и не трогалась съ мѣста. Эта обстановка была для нея совершенно нова: она еще никогда не находилась въ подобномъ положеніи.

Бертольди налила двѣ чашки чаю и подала одну Лизѣ, а другую выпила сама и непосредственно затѣмъ налила другую.

— Пейте, Бахарева,—сказала она, показывая на чашку.

— Я выпью,—отвѣчала Лиза.

— Что вы повѣсили носъ?

— Нѣтъ, я ничего,—отвѣчала Лиза и, вставши, подошла къ окну.

Улица была ярко освѣщена газомъ, по тротуарамъ мелькали прохожіе, по серединѣ неслись большіе и маленькіе экипажи.

Допивъ свой чай, Бертольди взялась за бурнусъ и сказала:

— Ну, вы сидите тутъ, а я отправлюсь, разыщу кого-нибудь изъ нашихъ и сейчасъ буду назадъ.

— Пожалуйста, поскорѣе возвращайтесь, — проговорила Лиза.

— Вы боитесь?

— Нѣтъ... а такъ, непріятно здѣсь одной.

— Романтичка!

— Это вовсе не романтизмъ, а кто знаетъ, какіе тутъ люди.

— Что жъ они вамъ могутъ сдѣлать? Вы тогда закричите.

— Очень пріятно кричать.

— Да это въ такомъ случаѣ, если бы что случилось.

— Нѣтъ, лучше пусть ничего не случается, а вы возвращайтесь-ка поскорѣе. Тутъ есть въ двери ключъ?

— Непремѣнно.

— Вы посмотрите, запираетъ ли онъ?

— Запираетъ, разумѣется.

— Ну, попробуйте.

Бертольди повернула въ замкѣ ключъ, произнесла: «фактъ», и вышла за двери.

Лиза встала и заперлась.

Инстинктивно она выпила остывшую чашку чаю и начала ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

Комната была длиною въ двѣнадцать шаговъ.

Долго ходила Лиза.

На улицѣ движеніе становилось замѣтно тише, прошелъ часъ, другой и третій: Бертольди не возвращалась.

Кто-то постучалъ въ двери.

Лиза остановилась.

Стукъ повторился.

— Что здѣсь нужно?—спросила Лиза черезъ двери.

— Приборъ.

— Какой приборъ?

— Чайный приборъ принять.

— Это можно послѣ; я не отопру теперь, — отвѣтила Лиза и снова стала ходить взадъ и впередъ.

Прошло еще два часа.

«Гдѣ бы это запропала Бертольди?» — подумала Лиза, зѣвнувъ и остановясь противъ дивана.

Она очень устала и ей хотѣлось спать, но она постояла, взглянула на часы и сѣла.

Былъ третій часъ ночи.

Теперь только Лиза замѣтила, что этотъ часъ въ здѣшнемъ мѣстѣ не считается позднимъ.

За боковыми дверями съ обѣихъ сторонъ ея комнаты шла

оживленная бесѣда и по коридору безпрестанно слышались то тяжелые мужскіе шаги, то чокающій, пріятный стукъ женскихъ каблучковъ и раздражающій шорохъ платьевъ.

Лиза до сихъ поръ какъ-то не замѣчала этого, ожидая Бертольди; но теперь, потерявъ надежду на ея возвращеніе, она стала прислушиваться.

— Это какіе жъ порядки? — говорилъ за лѣвою дверью пьяный басъ.

— Какіе порядки! — презрительно отзывалась столь же пьяная мужская фистула.

— Теперь опять же хучь-ба, скажемъ такъ, гробовщики,— начиналъ басъ: — что съ меня, что типеръ съ гробовщика одна подать, потому въ одномъ расчисленіи. Что я, значитъ, что гробовщикъ, все это въ одномъ званіи: я столарь, и онъ столарь. Ну, порядки жъ это? Какъ типеръ кто можетъ нашу работу супроть гробовщиковъ равнять. Наше дѣло, ты вотъ хоть столъ, — это я такъ къ примѣру говорю, будемъ располагать къ примѣру, что вотъ этотъ столъ взялся я представить. Что же теперь должонъ я съ нимъ сдѣлать? Должонъ я его теперь сперва-наперво сичасъ въ лучшемъ видѣ отдѣлать, потомъ должонъ его сполировать, должонъ въ него замокъ врѣзать, или рѣзьбу тамъ какую сичасъ приставить...

— Что говорить! — взвизгнула фистула. — Выпейте-ка, Петръ Семеновичъ.

Слышно, что выпили, и басъ, хрустя зубами, опять начинаетъ:

— А гробовщикъ теперь что? Гробовщика мебель тлѣнная. Онъ посуду покупаетъ оптомъ, а тутъ цвяшки, да бляшки, да и сто рублей. Это что? Это порядки называются?

— Что говорить,—отрицаетъ фистула.

— Нѣтъ, я васъ спрашиваю: это порядки или нѣтъ?

— Какіе порядки!

— Съ гробовщиковъ-то и съ столарей одну подать брать порядки это?

— Какъ можно!

— А-а! Поняли теперь. Нашъ братъ, будь я бѣлодеревной, будь я краснодеревной, все я долженъ работу въ своемъ видѣ сдѣлать, а гробовщикъ мастеръ тлѣнный. Вѣрно я говорю или нѣтъ?

— Выпьемте, Петръ Семеновичъ.

— Нѣтъ, вы прежде объясните мнѣ, какъ вѣрно я говорю или нѣтъ? Или неправильно я разсуждаю? А! Ну, какое вы объ этомъ имѣете расположеніе? Пущай вы и пріѣзжій человѣкъ, а я вотъ на вашу совѣсть пущаюсь. Вѣдь вы хоть и пріѣзжій, а все же, вѣдь, вы можете же какое-нибудь разсужденіе имѣть.

За другою дверью, справа, шелъ разговоръ въ другомъ родѣ.

— Проститъ, — сквозь свистъ и сапъ гнусилъ сильно пьяный мужчина.

— Нѣтъ, Барановъ, не говори ты этого, — возражалъ довольно молодой, но тоже не совсѣмъ трезвый женскій голосъ. — Нашей сестрѣ никогда, Барановъ, прощенья не будетъ.

— Врешь, будетъ.

— Нѣтъ, и не говори этого, Барановъ.

— А впрочемъ, чортъ васъ возьми совсѣмъ.

— Да не говори этого, — продолжала, не разслушавъ, женщина.

Послышался храпъ.

— Барановъ!—позвала женщина.

— М-мъ?

— Можно еще графинчикъ?

— Чортъ съ тобою, пей.

Женщина отворила дверь въ коридоръ и велѣла подать еще графинчикъ водочки.

Въ концѣ коридора стукнула дверь и по полу зазвенѣла кавалерійская сабля.

— Номеръ!—громко крикнулъ голосъ.

Лакей побѣжалъ и заговорилъ что-то на ходу.

— Какая такая пріѣзжая?—спросилъ голосъ.

— Ей-Богу-съ, пріѣзжая.

— Покажи намъ ее!

— Нѣтъ-съ, ей-Богу-съ, настоящая пріѣзжая, и паспортъ вонъ у меня на шкапѣ лежитъ.

— Врешь.

— Нѣтъ, ей-Богу-съ: вотъ посмотрите.

Лиза слышала, какъ развернули ея институтскій дипломъ и прочитали вслухъ: «дочь полковника Егора Николаевича

Бахарева, дѣвица Елизавета Николаевна Бахарева, семнадцати лѣтъ».

— Одна?—спросилъ голосъ тише.

— Теперь одна-съ,—отвѣчалъ лакей.

— А съ кѣмъ пріѣхала?

— Тоже, должно съ подругою, да та уѣхала куда-то съ вечера.

— Ты завтра за ней помастери.

— Слушаю-съ.

— Ну, а теперь чортъ съ тобою, давай хоть тотъ номеръ.

Мимо Лизиныхъ дверей прошли сапоги въ шпорахъ, сапоги безъ шпоръ и шумливое шелковое платье.

У Лизы голова ходила ходуномъ.

— Гдѣ я? Боже мой! Гдѣ я? Куда насъ привезли!—спрашивала она сама себя, боясь шевельнуться на диванѣ.

А свѣчка уже совсѣмъ догорала.

— Такъ вотъ ты, Барановъ, и сообрази, —говорилъ гораздо тише совсѣмъ опьянѣвшій женскій голосъ.—Что жъ она, Жанетка, только, вѣдь, что французинка называется, а что она противъ меня? Тьфу, вотъ что она. Гдѣ жъ теперь, Барановъ, правда!

— Нѣтъ, вы теперь объясните мнѣ: согласны вы, чтобы гробовщики жили на одномъ правилѣ съ столярами?—приставалъ басъ съ другой стороны Лизиной комнаты. — Согласны,—такъ, такъ и скажите. А я на это ни въ жизнь, ни за что не согласенъ. Я самъ доступлю къ князю Суворову и къ министру, и скажу такъ и такъ и извольте это дѣло разсудить, потому какъ ваша на все это есть воля. Какъ вамъ угодно, такъ это дѣло и разсудите, но только моего на это согласія никакого нѣтъ.

Огарокъ догорѣлъ и потухъ, оставивъ Лизу въ совершенной темнотѣ. Нѣсколько минутъ все было тихо, но вдругъ одна дверь съ шумомъ распахнулась настежь, кто-то вылетѣлъ въ коридоръ и упалъ, тронувшись головою о Лизину дверь.

Лиза вскочила и бросилась къ окну, но дверь устояла на замкѣ и петляхъ.

Въ коридорѣ сдѣлался шумъ. Отворилось еще нѣсколько дверей. Лакей помогалъ подниматься человѣку, упавшему къ Лизиной комнатѣ.

Потомъ зашелестѣло шелковое платье и женскій голосъ сталъ кого-то успокоивать.

— Нѣтъ, это не шутка,—возражалъ плачевнымъ тономъ упавшій. — Онъ, если шутитъ, такъ онъ долженъ говорить, что онъ это шутя дѣлаетъ, а не бить прямо въ-серьезъ.

— Душенька штатскій, ну, полноте, ну, помиритесь, ну, что вамъ изъ-за этого обижаться,—уговаривало шелковое платье.

— Нѣтъ, я не обижаюсь, а только я послѣ этого не хочу съ нимъ быть въ компаніи, если онъ дерется, — отвѣчалъ душенька штатскій.—Согласитесь, это не всякому же можетъ быть пріятно, — добавилъ онъ, и рѣшительно отправился къ выходу.

Шелковое платье вернулось въ номеръ, щелкнуло за собою ключомъ, и все утихло.

Трепещущая Лиза, ни жива, ни мертва, стояла, прислонясь къ холодному окну.

Уличные фонари погасли и по комнатѣ засѣрѣлось.

Лиза еще подождала съ полчаса и дернула за сальную сонетку.

Вошелъ заспанный коридорный въ одномъ бѣльѣ.

Лиза попросила себѣ самоваръ.

Черезъ часъ явился чайный приборъ, но самовара все-таки не было.

Видъ растерзаннаго лакея, въ одномъ бѣльѣ, окончательно вывелъ Лизу изъ терпѣнія.

Она мысленно рѣшила не пить чаю, а уйти куда-нибудь отсюда, хоть походить по улицѣ.

Въ этихъ соображеніяхъ, она попросила дать ей адресъ гостиницы и тихо опустилась въ уголъ дивана.

Усталость и молодость брали свое. Лизу клонилъ сонъ.

Чтобы не заснуть, она взяла выброшенную Бертольди изъ сака книжку. Это было Молешотово «Ученіе о пищѣ».

Лиза стала читать, ожидая, пока ей дадутъ адресъ, безъ котораго она, не зная города, боялась выйти на улицу.

«Ничто не подавляетъ до такой степени наши духовныя силы, какъ голодъ. Отъ голода голова и сердце пустѣютъ. И хотя потребность въ пищѣ поразительно уменьшается при напряженной духовной дѣятельности, тѣмъ не менѣ ничего нѣтъ вреднѣе голода для спокойнаго мышленія. Потому голодный во сто разъ сильнѣе чувствуетъ всякую не-

справедливость и, стало-быть, не прихоть породила идею о правѣ каждаго на трудъ и хлѣбъ. Мудрость и любовь требуютъ обсудить всякій взглядъ, но мы считаемъ себя обязанными неотразимую убѣдительность фактовъ противопоставить той жестокой мысли, по которой право человѣческое становится въ зависимость отъ милости человѣческой.»

— Нельзя, нельзя мечтать, какъ Помада... — шепчетъ Лиза, откидывая отъ себя книгу. — Мнѣ здѣсь холодно, я теперь *одна*, на всю жизнь одна, но Богъ съ ними, со всѣми. Что̀ въ ихъ теплотѣ! Они вертятся около своего вѣчнаго солнца, а мнѣ не нужно этого солнца. Тяжело мнѣ, и пусть...

Лиза взяла маленькій англійскій волюмчикъ «The poetical works of Longfellow», и прочла:

«Въ моей груди нѣтъ иного свѣта и, кромѣ холоднаго свѣта звѣздъ, я ввѣряю первую стражу ночи красной планетѣ Марсу.

«Звѣзда непобѣдимой воли, она восходитъ въ моей груди: ясная, тихая и полная рѣшимости, спокойная и самообладающая.

«И ты также, кто бы ни былъ ты, читающій эту короткую пѣсню, если одна за другой уходятъ твои надежды, будь полонъ рѣшимости и спокоенъ.

«Не пугайся этого ничтожнаго міра, и ты скоро узнаешь, какое высокое наслажденіе страдать и быть крѣпкимъ духомъ».

Лиза опять взяла Молешота, но онъ уже не читался, и видѣла Лиза сквозь опущенныя вѣки, какъ по свалившемуся на полъ «Ученію о пищѣ» шевелилась какая-то знакомая группа. Тутъ были: няня, Женни, Розановъ и вдругъ мартовская ночь, а не комната съ сальной обстановкой. Въ небѣ поютъ жаворонки, Розановъ говоритъ, что

Есть сила благодатная
Въ созвучьѣ словъ живыхъ.

Потомъ Райнеръ. Гдѣ онъ? Онъ долженъ быть здѣсь... Отецъ клянетъ... Образъ падаетъ изъ его рукъ... Какая тяжкая сцена!.. «Укоръ невѣждъ, укоръ людей...» Отецъ! отецъ!

— Бахарева! что съ вами? Чего вы рыдаете во снѣ,— спрашиваетъ Лизу знакомый голосъ.

Она подняла утомленную головку.

Въ комнатѣ свѣтло. Передъ ней Бертольди развязываетъ шляпку, на полу «Ученіе о пищѣ», у двери двое незнакомыхъ людей снимаютъ свои пальто, на столѣ потухшій самоваръ и карточка.

— Ревякинъ и Прорвичъ, — произнесла Бертольди, торжественно показывая на высокаго, рыжаго, угреватаго господина и его замурзаннаго черненькаго товарища.

Заспавшаяся Лиза ничего не могла сообразить въ одно мгновеніе. Она закрыла рукою глаза и, открывъ ихъ снова, случайно прежде всего прочла на лежащей у самовара карточкѣ: Въ С.-Петербургѣ, по Караванной улицѣ, № 7, гостиница для пріѣзжающихъ съ номерами «Италія».

Прорвичъ и Ревякинъ протянули Лизѣ свои руки.

Оглавленіе

X ТОМА.

Некуда. Романъ въ трехъ книжкахъ.

Книга вторая: **Въ Москвѣ.**

		стр.
VIII.	Люди древняго письма	5
IX.	Два гриба въ одинъ борщъ	18
X.	Бахаревы въ Москвѣ	23
XI.	Разворошенный муравейникъ	38
XII.	Que femme veut, Dieu le veux	42
XIII.	Delirium tremens	52
XIV.	Московскіе мизерабли	54
XV.	Генералъ Стрепетовъ	59
XVI.	Измѣна	69
XVII и XVIII		72
XIX.	Различныя послѣдствія тяжелаго дня	75
XX.	Скоропостижная дама	86
XXI.	Дѣвица Бертольди	96
XXII.	Независимая пора	100
XXIII.	Старый другъ	111
XXIV.	Самая маленькая главка	117
XXV.	Новыя наслоенія въ обществѣ, и кое-что новое въ романѣ	120
XXVI.	Разрывъ	136
XXVII.	Осенняя Liebesfiber	145
XXVIII.	Не знаешь гдѣ найдешь, гдѣ потеряешь	157
XXIX.	Послѣдняя сцена изъ пятаго акта семейной драмы	170
XXX.	Ночь въ Москвѣ, ночь надъ рѣкой Саванкой и ночь въ «Италіи»	179

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

НЕКУДА.

РОМАНЪ ВЪ ТРЕХЪ КНИЖКАХЪ.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

НА НЕВСКИХЪ БЕРЕГАХЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Старые знакомые на новой почвѣ.

Прошло два года. На дворѣ стояла сырая, ненастная осень; сѣрые петербургскіе дни смѣнялись темными холодными ночами; столица была неопрятна и видъ ея неспособенъ былъ плѣнять ничьего воображенія. Но какъ ни безотрадны были въ это время картины людныхъ мѣстъ города, онѣ не могли дать и самаго слабаго понятія о впечатлѣніяхъ, производимыхъ на свѣжаго человѣка видами пустырей и безконечныхъ заборовъ, огораживающихъ болотистыя улицы одного изъ печальнѣйшихъ угловъ Петербургской Стороны.

По одной изъ такихъ пустынныхъ улицъ, часу въ двѣнадцатомъ самаго ненастнаго дня, по ступицу въ жидкой, болотистой грязи плыли маленькія одномѣстныя дрожечки, запряженныя парою бойкихъ, рыженькихъ шведокъ. Толстенькія, крѣпкія лошадки съ тщательно переваленными гривками и ловко подвязанными куколкою хвостами; хорошая упряжь и хорошій кожаный армякъ кучера давали чувствовать, что это собственныя, хозяйскія лошадки, а спокойное вниманіе, съ которымъ сѣдокъ глядѣлъ черезъ пристяжную впередъ и предостерегалъ кучера при объѣздахъ затопленныхъ камней и водомоинъ, въ одно и то же время позволяли догадываться, что этотъ сѣдокъ есть самъ владѣлецъ шведокъ и экипажа, и что ему какъ пять паль-

цевъ собственной руки знакомы подводные камни и бездонныя пучины этого угла Петербургской Стороны. Лицо этого господина было неудобно разсмотрѣть, потому что, защищаясь отъ досадливо бьющей въ лицо мги, онъ почти до самыхъ глазъ закрывалъ себя поднятымъ воротникомъ камлотовой шинели; но по бодрости, съ которою онъ держится на балансирующей эгоисткѣ, видно, что онъ еще силенъ и молодъ. На немъ, какъ выше сказано, непромокаемая камлотовая шинель, высокіе юхтовые сапоги, какіе часто носятъ студенты, и форменная фуражка съ кокардою.

Прыгая съ тряской взбуравленной мусорной насыпи въ болотистыя колдобины и потомъ тащась безконечною полосою жидкой грязи, дрожки повернули изъ пустынной улицы въ узенькій кривой переулочекъ, потомъ не безъ опасности повернули за уголъ и остановились въ началѣ довольно длиннаго пустого переулка. Далѣе невозможно было ѣхать по переулку, представлявшему сплошное болото, гдѣ пролегала только одна узенькая полоска жидкой грязи, обозначавшая проѣзжую дорожку, и на этой дорожкѣ стояли три воза, наполненные диванчиками, стульями, ширмами и всякимъ домашнимъ скарбомъ, плохо покрытымъ изодранными извозчичьими рогожами, не защищавшими мебель отъ всюду проникающей осенней мги.

Около остановившихся подводъ вовсе не было видно ни одного человѣка. Только впереди слышались неистовыя ругательства, хлопанье кнутьевъ и отчаянные возгласы, заглушавшіе сердитые крики кучера, требовавшаго дороги.

Человѣкъ, ѣхавшій на дрожкахъ, привсталъ, посмотрѣлъ впередъ и, спрыгнувъ въ грязь, пошелъ къ тому, что на подобныхъ улицахъ называется «тротуарами». Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ по тротуару, онъ увидалъ, что передняя лошадь обоза лежала, барахтаясь въ глубокой грязи. Около несчастнаго животнаго, крича и ругаясь, суетились извозчики, а въ сторонкѣ, немножко впереди этой сцены, прислонясь къ заборчику, сидѣла на корточкахъ старческая женская фигура въ ватошникѣ и съ двумя узелками въ бѣлыхъ носовыхъ платкахъ.

— Что жъ теперь будемъ дѣлать, ребята?—крикнулъ извозчикамъ проѣзжій.

Мужики оглянули его недовольнымъ взглядомъ, крикнули, и кнутья опять засвистали.

Старушка, сидѣвшая подъ заборомъ, встала, взяла свои узелочки и, подойдя къ проѣзжему, остановилась отъ него въ двухъ шагахъ. Проѣзжій на мгновеніе обернулся къ старушкѣ, посмотрѣлъ на торчавшій изъ узелка бѣлый носикъ фарфороваго чайника, сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе плечами и опять обернулся къ извозчикамъ, немилосердно лупившимъ захлебывающуюся въ грязи клячу.

— Что я васъ хочу спросить, батюшка, ваше высокоблагородіе,—начала тихонько старушка, относясь къ проѣзжему.

— Что, матушка, говорите?—отвѣчалъ тотъ, быстро обернувшись къ старушкѣ.

— Извините, пожалуйста, сударь, не Дмитрій ли Петровичъ Розановъ вы будете?

— Няня! Абрамовна!—вскрикнулъ Розановъ.

— Я же, батюшка; я, другъ ты мой милый!

— Откуда ты?

Розановъ обнялъ и радостно нѣсколько разъ поцѣловалъ старуху въ ея сморщенныя и влажныя отъ холодной мги щеки.

— Какими ты здѣсь судьбами? — разспрашивалъ Абрамовну Розановъ.

— А вотъ, видишь, на квартиру, батюшка, переѣзжаемъ.

— Куда это?

— Да вотъ, вонъ видишь, вонъ въ тотъ домъ.

Старуха костлявою рукою указала на огромный, старый, весьма запущенный домъ, одиноко стоящій среди тянущагося по переулку безконечнаго забора.

— Кто жъ тутъ изъ вашихъ?

— Одна барышня.

— Лизавета Егоровна?

— Да съ нею я. Вотъ ужъ два года какъ я здѣсь съ нею. Господи, твоя воля! вотъ радость то Богъ послалъ. Я ужъ про тебя спрашивала - спрашивала, да и спрашивать перестала.

— Что жъ это вы однѣ здѣсь?

— Да то-жъ, вотъ все, какъ и знаешь, какъ и прежде бывало: моркотно молоденькой,—нигдѣ мѣста не найдемъ.

— Ну, а Егоръ Николаевичъ?

— Приказалъ тебѣ, сударь, долго жить.

— Умеръ!

— Скончался; упокой его Господи! Его-то волю соблюдаючи, только здѣсь и мычусь на старости лѣтъ.

Розановъ внимательно посмотрѣлъ въ глаза старухи: видно было, что ей очень не по себѣ.

— Ну, а Софья Егоровна? — спросилъ онъ ее спокойно.

— Замужъ вышла,—отвѣчала старуха, смаргивая набѣгающую на глаза слезу.

— За кого жъ она вышла?

— За гаціанта одного вышла, тутъ на своей дачѣ жили,— тихо объяснила старуха, продолжая управляться съ слезою.

— А Ольга Сергѣевна?

— Все примерло: черезъ полгодочка убралась за покойникомъ.—Ну, а вы же какъ, Дмитрій Петровичъ?

— Вотъ, живу, няня.

— Вы зайдите къ моей-то,—зайдите. Она рада будетъ.

— Гдѣ же теперь Лизавета Егоровна?

— Да вотъ въ этомъ же домѣ,— отвѣчала старуха, указывая на тотъ же угрюмо-смотрящій домъ. — Рада будетъ, моя-то,—продолжала она убѣждающимъ тономъ.—Поминали мы съ ней про тебя не разъ; сбили вѣдь ее: охъ, разумъ нашъ, разумъ нашъ женскій! Зайди, батюшка, утѣшь ты меня, старуху, поговори ты съ ней! Можетъ, она тебя въ чемъ и послушаетъ.

— Что ты это, няня!

— Охъ, такъ... и не говори лучше... что наша только за жизнь,—одурь возьметъ въ этой жизни.

Абрамовна тихо заплакала.

Розановъ тихо сжалъ старуху за плечо и, оставивъ ее на мѣстѣ, пошелъ по тротуару къ уединенному дому.

— Смотри же, зайди къ моей-то,—крикнула ему вслѣдъ няня, поправляя выползавшій изъ ея узелочка чайникъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Domus.

Домъ, къ которому шелъ Розановъ, нѣсколько напоминалъ собою и покинутыя барскія хоромы, и острогъ, и складочный пакгаузъ, и богадѣльню. Сказано уже, что онъ одинъ-одинёшенекъ стоялъ среди пустыннаго, болотистаго переулка и не то уныло, а какъ-то озлобленно смотрѣлъ на окружающую его грязь и сѣрые заборы. Домъ этотъ былъ построенъ въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны и правленіе приснопамятнаго Россіи герцога Курляндскаго. Архитектура дома какъ нельзя болѣе хранила

характеръ своего времени. Это было довольно длинное и несоразмѣрно высокое каменное строеніе, несмотря на то, что въ немъ было два этажа съ подваломъ и мезониномъ во фронтонѣ. Весь домъ былъ когда-то густо выбѣленъ мѣломъ, но побѣлка на немъ отстала и обнаружила огромныя пятна желтобурой охры. Крыша на домѣ была изъ почернѣвшихъ отъ времени черепицъ.

По низу, почти надъ самымъ тротуаромъ, въ домѣ было прорѣзано девять узкихъ параллелограммовъ, безъ стеколъ, но съ крѣпкими желѣзными рѣшетками, скрѣпленными кольчатою вязью. Надъ этимъ подвальнымъ этажемъ, аршина на два вверхъ, начинался другой, уже жилой этажъ, съ оконными рамами, до которыхъ тоже нельзя было дотронуться иначе, какъ сквозь крѣпкія желѣзныя рѣшетки. Опять вверхъ, гораздо выше перваго жилого этажа, шелъ второй, въ которомъ только въ пяти окнахъ были желѣзныя рѣшетки, а четыре остальныя съ гражданскою самоувѣренностью смотрѣли на свѣтъ Божій только одними мелкошибчатыми дубовыми рамами съ зеленоватыми стеклами. Еще выше надо всѣмъ этимъ возвышался выступавшій изъ крыши фронтонъ съ однимъ полукруглымъ окномъ, въ которомъ хотя и держалась дубовая рама съ остатками разбитыхъ зеленоватыхъ стеколъ, но теперь единственное противодѣйствіе вѣтрамъ и непогодамъ представляла снова часто повторяющаяся съ уличной стороны этого дома желѣзная рѣшетка. Въ самомъ нижнемъ, такъ сказать, въ подземномъ этажѣ дома, шли огромные подвалы, развѣтвлявшіеся подъ всѣмъ строеніемъ и представлявшіе собою огромныя удобства для всякихъ хозяйственныхъ сбереженій и для изученія неэкономности построекъ минувшаго періода въ архитектурномъ отношеніи. Здѣсь, кромѣ камеръ съ дырами, выходившими на свѣтъ Божій, шелъ цѣлый лабиринтъ, въ который лучъ солнечнаго свѣта не западалъ съ тѣхъ поръ, какъ послѣдній кирпичъ заключилъ собою тяжелые своды этихъ подземныхъ норъ. Въ нѣкоторыхъ стѣнахъ этихъ вѣчно-темныхъ погребовъ были вдѣланы толстыя желѣзныя кольца подъ впадинами, въ половинѣ которыхъ выдавались каменные уступы. Къ этимъ кольцамъ древнее боярство присаживало когда-то подневольныхъ ему холопей. Это были пытальныя, которыя человѣкъ, пишущій эти строки, видѣлъ назадъ тому лѣтъ около пяти,—пытальныя, въ которыя не

западалъ лучъ солнца. По мокрому, давно заплывшему грязью плитяному полу этого этажа давно не ступала ничья нога, и только одно холодное шлепанье медленно скачущихъ по немъ пузатыхъ жабъ нарушало печальное безмолвіе этого подземелья. Первый жилой этажъ представлялъ нѣсколько иное зрѣлище. Сюда вели два входа. Одинъ тотчасъ изъ воротъ, по каменному безобразному крыльцу съ далеко выдающимся навѣсомъ велъ въ большія комнаты, удобныя скорѣе для солдатской швальни, чѣмъ для жилого помѣщенія. Съ другого крылечка можно было входить въ огромную низкую кухню, соединявшуюся съ рядомъ меньшихъ покоевъ перваго этажа. Всѣхъ комнатъ здѣсь было восемь и половина изъ нихъ была темныхъ. Въ двухъ комнатахъ, примыкавшихъ къ кухнѣ, вовсе не было оконъ: это были не то кладовыя, не то спальни. Этажъ этотъ вообще производилъ тяжелое впечатлѣніе, свойственное виду пустыхъ казармъ.

Изъ просторныхъ сѣней этого этажа шла наверхъ каменная лѣстница безъ перилъ и съ довольно выбитыми кирпичными ступенями. Наверху тоже было восемь комнатъ, представлявшихъ гораздо болѣе удобства для жилого помѣщенія. Весь домъ окруженъ былъ просторнымъ заросшимъ травою дворомъ, на заднемъ планѣ котораго тянулась нѣкогда окрашенная, но нынѣ совершенно полинявшая рѣшетка, а за рѣшеткой былъ старый, но весьма негустой садъ.

Домъ этотъ лѣтъ двѣнадцать былъ въ спорномъ искѣ и стоялъ пустой; а потому, на каждомъ кирпичѣ, на каждомъ кускѣ штукатурки, на каждомъ вершкѣ двора и сада, здѣсь лежала печать враждебнаго запустѣнія.

Розановъ, подойдя къ калиткѣ этого дома, поискалъ звонка, но никакого признака звонка не было. Докторъ отошелъ немного въ сторону и посмотрѣлъ въ окно верхняго этажа. Сквозь давно немытыя стекла на нѣкоторыхъ окнахъ видны были какіе-то узлы и подушки, а на одномъ можно было отличить двѣ женскія фигуры, сидѣвшія спиною къ улицѣ.

Розановъ, постоявъ съ минуту, опять вернулся къ калиткѣ и крѣпко толкнулъ ее ногою. Калитка быстро отскочила и открыла передъ Розановымъ большой мокрый дворъ и сѣрый мрачный подъѣздъ, съ растворенными настежь желтыми дверями.

Розановъ взошелъ на крыльцо, взглянулъ въ отворенную дверь нижняго этажа и остановился. Все тихо. Онъ опять подумалъ на мгновеніе и съ нарочитымъ стукомъ сталъ подниматься по лѣстницѣ.

Вверху лѣстницы была довольно широкая платформа, выстланная дурно отесанными плитами; одна узенькая дверь, выбѣленная мѣломъ, и другая, обитая войлокомъ и старою поспенною клеенкою.

Розановъ отворилъ дверь, обитую поспенною клеенкою.

Передъ нимъ открылась довольно большая и довольно темная передняя, выкрашенная сѣрою краскою. Прямо противъ входной двери виднѣлся длинный коридоръ, а влѣво была отворена дверь въ большую залу. Въ залѣ лежало нѣсколько огромныхъ узловъ, увязанныхъ въ простыни и ватныя одѣяла. На одномъ изъ оконъ этой комнаты сидѣли двѣ молодыя женщины, которыхъ Розановъ видѣлъ сквозь стекла съ улицы; обѣ онѣ курили папироски и болтали подъ платьями своими ногами; а третья женщина, тоже очень молодая, сидѣла въ углу на полу надъ тростниковою корзиною и намазывала масломъ ломоть хлѣба стоящему возлѣ нея пятилѣтнему мальчику въ изорванной бархатной поддевкѣ.

Сидѣвшія на окнѣ женщины, при появленіи Розанова въ открытой передъ ними передней, не сдѣлали ни малѣйшаго движенія и не сказали ни слова.

Розановъ бросилъ на каминъ передней свою непромокаемую шинель и тихо вошелъ въ залу.

— Извините,—началъ онъ, обращаясь къ сидѣвшимъ на окнѣ дамамъ: — мнѣ сказали, что въ эту квартиру переѣзжаетъ одна моя знакомая, и я хотѣлъ бы ее видѣть.

Дама, приготовлявшая бутербродъ для ребенка, молча оглянулась на Розанова, и сидящія на окнѣ особы женскаго пола тоже смотрѣли на него самымъ равнодушнымъ взглядомъ, но не сказали ни слова, давая этимъ чувствовать, что относящійся къ нимъ вопросъ недостаточно ясно формулированъ и въ такой редакціи не обязываетъ ихъ къ отвѣту.

— Я желалъ бы видѣть Лизавету Егоровну Бахареву,— пояснилъ, стоя въ прежнемъ положеніи, Розановъ.

— Пошлите сюда Бахареву, — крикнула въ сосѣднюю дверь одна изъ сидящихъ на окнѣ дамъ и, стряхнувъ мизинцемъ пепелъ своей папироски, опять замолчала.

Розановъ молча отошелъ къ другому окну и сталъ смотрѣть на грязную улицу.

— Кто зоветъ Бахареву?—спросилъ новый голосъ.

Розановъ оглянулся и на порогѣ дверей залы увидѣлъ Бертольди. Она почти нимало не измѣнилась: тѣ же короткіе волосы, то же неряшество наряда, только развѣ въ глазахъ виднѣлось еще больше суетной самоувѣренности, довольства собою и сознанія достоинствъ окружающей ее среды.

— Здравствуйте, Бертольди,—произнесъ докторъ.

— Ахъ, Розановъ! вотъ встрѣча!

— Неожиданная?

— Да. Вы хотите видѣть Бахареву. Я скажу ей сейчасъ.

Бертольди повернулась и исчезла.

Розановъ видѣлъ, что Бертольди что-то какъ будто неловко, и, повернувшись опять къ окну, сталъ опять смотрѣть на улицу.

Черезъ двѣ минуты въ комнату вошла Лиза и сказала:

— Здравствуйте, Дмитрій Петровичъ!

Розановъ радостно сжалъ ея руки и ничего ей не отвѣтилъ.

— Какъ давно...—начала-было Лиза.

— Очень давно, Лизавета Егоровна,—подтвердилъ докторъ.

— Какъ это вы вспомнили...

— Я никогда не забывалъ, — отвѣчалъ Розановъ, снова сжавъ ея руки.

— Ну, пойдемте ко мнѣ, въ мою комнату; я нездорова и, кажется, совсѣмъ разболѣюсь съ этою перевозкою.

— Вы очень перемѣнились,—замѣтилъ Розановъ.

— Худѣю, старѣюсь?

— Не стану лгать,—и похудѣли, и постарѣли.

— Часто хвораю,—отвѣчала спокойно Лиза и, еще разъ позвавъ за собою Розанова, пошла впереди его черезъ переднюю по коридору.

Вдоль темнаго коридора Розановъ замѣтилъ нѣсколько дверей влѣво и, наконецъ, вошелъ за Лизою въ довольно большую комнату, окрашенную желтою краскою.

Въ этой комнатѣ стоялъ старенькій, вѣроятно, съ какого-нибудь чердачка снесенный столикъ, за которымъ, стоя, ѣли изъ деревянной чашки три прехорошенькія горничныя дѣвушки. Съ ними вмѣстѣ помѣщался на бѣлой деревянной табуреткѣ, обѣдалъ и, повидимому, очень ихъ смѣшилъ молодой человѣкъ въ коричневомъ, домашнемъ архалучкѣ.

Проходя мимо трапезующихъ, Розановъ взглянулъ на молодого господина и, остановясь, вскрикнулъ:

— Ба, Бѣлоярцевъ!

Бѣлоярцевъ положилъ на столъ ложку, медленно приподнялся, обтеръ усики и, направляясь къ Розанову, произнесъ съ достоинствомъ:

— Здравствуйте, Дмитрій Петровичъ.

— Какими вы судьбами здѣсь?

— И волей, и неволей, и своей охотой, батюшка Дмитрій Петровичъ,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ шутя, но съ тѣмъ же достоинствомъ.—Вы къ Лизаветѣ Егоровнѣ идете?

— Да,—отвѣчалъ Розановъ.

— Ну, тамъ мы увидимся, — произнесъ онъ, пожимая руку Розанова.

Докторъ направился въ дверь, которою вышла Лиза.

Здѣсь опять ему представился новый коридоръ съ четырьмя дверями и въ одной изъ этихъ дверей его ожидала Лиза.

— Что это, Лизавета Егоровна? — недоумѣвая спросилъ шопотомъ Лизу Розановъ.

— Что?—переспросила его она.

— Какъ эта... тутъ что же?.. Ваша комната?

— Да, это моя комната: входите, Дмитрій Петровичъ.

— Вы тутъ какъ же? нанимаете, что ли?

— Да, нанимаю.

— Со столомъ?

— Да...

— Что вы такъ далеко забрались?

— Отъ чего же далеко?

— Ну, отъ города.

— А что мнѣ городъ?

— И дорого платите здѣсь?

— Нѣтъ, очень дешево. Мы наняли весь этотъ домъ за восемьсотъ рублей въ годъ.

— На что же вамъ весь домъ? — спросилъ съ удивленіемъ Розановъ.

— Жить,—отвѣчала ему, улыбаясь, Лиза.

— Да; но кто же вашъ хозяинъ?.. у кого вы здѣсь живете?

— Сами у себя. Что это васъ такъ удивляетъ?

— Да кто же у васъ хозяинъ?

— Ахъ, никто особенно не хозяинъ и, если хотите, всѣ

хозяева. Будто ужъ безъ особеннаго антрепренера и жить нельзя!

— Лиза!—позвала, отворивъ дверь, Бертольди:—скажите, не у васъ ли я оставила списокъ вопросовъ?

— Не знаю,—въ такомъ хаосѣ ничего не замѣтишь; поищите,—лѣниво проговорила, оглядываясь по комнатѣ, Лиза.

Бертольди впорхнула въ комнату и начала рыться на окнѣ.

— Ну, что, какъ вы нынче живете, mademoiselle Бертольди?—спросилъ ее Розановъ.

— Весьма хорошо,—отвѣчала она.

— Надъ чѣмъ работаете?

— Надъ собою.

— Почтенное занятіе.

— А вы давно въ Петербургѣ? — обратился Розановъ къ Лизѣ.

— Да вотъ уже третій годъ.

— Удивительное дѣло: никогда и не встрѣтились. Вы гдѣ же жили?

— Въ разныхъ сторонахъ, Дмитрій Петровичъ.

— Папа вашъ умеръ?

— Умеръ.

— Ну, а матушка, а сестра?

— Сестра вышла замужъ и, кажется, здѣсь теперь.

— А вы не видаетесь?

— Нѣтъ, не видаемся.

— За кого же вышла Софья Егоровна?

— За какого-то австрійскаго барона Альтерьона.

— Хорошій человѣкъ?

— Не видала я его.

— Ну, а мать Агнія?

— Тетка жива.

— И болѣе ничего о ней не знаете?

— Ничего не знаю.

— Кто это такая, Лиза, мать Агнія?—спросила Бертольди.

— Сестра моего отца.

— Что она, монахиня?

— Да.

— Какихъ антиковъ у васъ нѣтъ въ родствѣ!

Лиза ничего не отвѣчала.

— Ну, а что же вы меня ни о чемъ не спросите, Лизавета Егоровна: я вѣдь вамъ о многомъ кое о чемъ могу разсказать.

— Въ самомъ дѣлѣ, какъ же вы живете?

— Да я не о себѣ; я служу.

— При университетѣ?

— Нѣтъ, при полиціи; mademoiselle Бертольди когда-то предсказала мнѣ сойтись съ полиціей, — судьба меня и свела съ нею.

— Что же вы такое при полиціи?

— Я полицейскій врачъ этой счастливой части.

— Вотъ какъ!

— Да, Лизавета Егоровна, — достигъ степеней извѣстныхъ.

— А вы знаете, что Полина Петровна и Евгенія Петровна съ мужемъ тоже здѣсь въ Петербургѣ?

— Нѣтъ, не знала,—равнодушно проговорила Лиза.

— Что это такое, Лизавета Егоровна? — произнесъ съ тихимъ упрекомъ Розановъ. — Я думалъ, что обрадую васъ, а вы...

— Я очень рада... Зачѣмъ же здѣсь Женни?

— Ея мужъ получилъ тутъ мѣсто очень видное.

— Вотъ какъ! —опять еще равнодушнѣе замѣтила Лиза.

— Да онъ пойдетъ. Они ужъ около мѣсяца здѣсь и тоже устраиваются.—Мы очень часто видимся,—добавилъ, помолчавъ, Розановъ.

— А что Полинька?

— Она живетъ.

— Съ вами?—неожиданно спросила Бертольди.

Розановъ сначала немножко покраснѣлъ, но тотчасъ же поправился и, разсмѣявшись, отвѣчалъ:

— Нѣтъ, не со мною. Я живу съ моей дочерью и ея нянькою, а Полина Петровна живетъ одна. Вы не знаете,—она вѣдь повивальная бабка.

— Полинька акушерка!

— Какъ же: у нея дѣла идутъ.

— Это не диковина,—вставила Бертольди.

— Ну, однако: не такъ-то легко устроиться въ этомъ омутѣ.

— Если заботиться только о своей собственной особѣ, то вездѣ можно отлично устроиться.

Розановъ промолчалъ.

— Другое дѣло жить, преслѣдуя общее благо, да еще имѣя на каждомъ шагу скотовъ и пошляковъ, которые всему вредятъ и все портятъ...

Прежде чѣмъ Бертольди могла окончить дальнѣйшее развитіе своей мысли, въ дверѣ раздались два легкіе удара; Лиза крикнула: «войдите», и въ комнатѣ появился Бѣлоярцевъ.

Онъ вошелъ тихо, медленно опустился въ кресло и, взявъ съ окна гипсовую статуэтку Гарибальди, длиннымъ ногтемъ лѣваго мизинца началъ вычищать пыль, набившуюся въ углубляющихся мѣстахъ фигуры.

— У нея много практики?—равнодушно спросила Лиза.

— Есть: то-есть я хотѣлъ сказать бываетъ; но у ней есть жалованье и квартира при заведеніи.

— Это у кого?—сквозь зубы спросилъ Бѣлоярцевъ.

— У Полиньки Калистратовой,—отвѣтила Бертольди.—Вы знаете: Розановъ говоритъ, что она акушерка и отлично устроилась, а я говорю, что, заботясь только о самомъ себѣ, всякому очень легко устроиться. Права я?

— Разумѣется,—отвѣтилъ сквозь зубы Бѣлоярцевъ.

— Ну, а вы, Бѣлоярцевъ, что подѣлываете?

— Работаемъ, Дмитрій Петровичъ, работаемъ.

— Вы видѣли его послѣднюю работу? — спросила Бертольди, тряхнувъ кудрями.

— Не видѣли?

— Не видѣлъ.

— И ничего о ней не знаете?

— Не знаю.

— Ничего не знаете объ «отцѣ семейства»?

— Не знаю же, не знаю.

Бертольди захохотала.

— Что это за работа?—спросилъ Розановъ.

— Такъ себѣ, картинка,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ:—«Отецъ семейства» да и только.

— Посмотрите, такъ и поймете, что и искусство можетъ служить не для одного искусства,—наставительно проговорила Бертольди: — голодныя дѣти и зеленая жена въ лохмотьяхъ повернутъ ваши понятія о семейномъ бытѣ. Глядя на нихъ поймете, что семья есть безобразнѣйшая форма того, что дураки называютъ цивилизаціею.

— Ну, это еще вопросъ, mademoiselle Бертольди.

— Вопросъ-съ, только вопросъ давно рѣшенный отрицательно.

— Кѣмъ же это онъ такъ ясно рѣшенъ?

— Свѣтлыми и честными людьми.

— Отчего же это рѣшеніе не всѣмъ ясно?

— Оттого, что человѣчество подло и глупо. Отрѣшитесь отъ своихъ предразсудковъ и вы увидите, что семья только вредна.

— То-то я съ этимъ вотъ не согласенъ.

— Нѣтъ, это такъ, — примирительно замѣтилъ Бѣлоярцевъ.—Что семья — учрежденіе безнравственное, объ этомъ спорить нельзя.

— Отчего же нельзя? Неужто вы находите, что и взаимная любовь, и отцовская забота о семьѣ, и материнскія попеченія о дѣтяхъ безнравственны?

— Конечно,—горячо замѣтила Бертольди.

— Все это удаляетъ человѣка отъ общества и портитъ его натуру,—попрежнему безстрастнымъ тономъ произнесъ Бѣлоярцевъ.

— Даже портитъ натуру!—воскликнулъ Розановъ.

— Да,—разслабляетъ ее, извращаетъ.

— Боже мой! Я не узнаю васъ, Бѣлоярцевъ. Вы, человѣкъ, жившій въ области чистаго художества, говорите такія вещи! Неужто вашему сердцу ничего не говоритъ мать, забывающая себя надъ колыбелью больного ребенка.

— Фю, фю, фю, какая идиллія, — произнесла Бертольди.

— Дѣло въ томъ-съ, Дмитрій Петровичъ, что какая же польза отъ этого материнскаго сидѣнья? По-моему въ тысячу разъ лучше, если надъ этимъ ребенкомъ сядетъ не мать съ своею сентиментальною нѣжностью, а простая, опытная сидѣлка, умѣющая ходить за больными.

— Еще бы!—воскликнула Бертольди.

— И материнскія слезы, и материнскія нѣжности, по-вашему, что жъ: тоже...

— Слезы — глупость, а нѣжности — разнузданное сладострастіе. Мать, цѣлуя своего ребенка, только удовлетворяетъ въ извѣстной мѣрѣ своимъ чувственнымъ стремленіямъ.

Розановъ ничего не нашелся отвѣчать. Онъ только обвелъ глазами маленькое общество и остановилъ ихъ на Лизѣ, которая сидѣла молча и, повидимому, весьма спокойно.

— Мать, цѣлуя своего ребенка, удовлетворяетъ своей чувственности!—повторилъ Розановъ и спросилъ:—Какъ вы думаете объ этомъ, Лизавета Егоровна?

— Это вамъ сказалъ Бѣлоярцевъ, а не я, — спокойно отвѣчала Лиза, не измѣняя своего положенія и не поднимая даже глазъ на Розанова.

— И это вамъ скажетъ всякій умный человѣкъ, понимающій жизнь, какъ ее слѣдуетъ понимать,—проговорила Бертольди: — отъ того, что матери станутъ лизать своихъ дѣтей, дѣти не будутъ ни умнѣе, ни красивѣе.

— Тутъ все дѣло въ узкости. Надо, чтобъ не было узкихъ заботъ только о себѣ или только о тѣхъ, кого сама родила. Наши силы — достояніе общественное, и терпѣться должно только то, что полезно,—опять поучалъ Бѣлоярцевъ:—задача въ томъ, чтобъ всѣмъ равно было хорошо, а не въ томъ, чтобы нѣкоторымъ было отлично.

— Высокая задача!

— И легкая.

— Но едва ли достижимая.

— Ну, вотъ мы посмотримъ!—весело и многозначительно крикнула Бертольди.

Бѣлоярцевъ и Лиза не сдѣлали никакого движенія, а Розановъ, продолжая свою мысль, добавилъ:

— Трудно есть противъ рожна прати. Человѣчество живетъ приговаривая: мнѣ своя рубашка ближе къ тѣлу; такъ что жъ тутъ толковать.

— Не толковать, monsieur Розановъ, а дѣлать. Вы говорите о человѣчествѣ, о дикой толпѣ, а забываете, что въ ней есть люди и люди эти будутъ дѣлать.

— То-то, гдѣ эти люди: не московскій ли Бычковъ, не здѣшній ли Красинъ?

— Да, да, да, и Бычковъ, и Красинъ, и я, и она,—высчитывала Бертольди, показывая на себя, на Лизу и на Бѣлоярцева,—и тамъ вонъ еще есть люди,—добавила она, махнувъ рукой въ сторону залы.

— Ну, слава Богу, что собралось вмѣстѣ столько хорошихъ людей, — отвѣчалъ, удерживаясь отъ улыбки, Розановъ:—но вѣдь это одинъ домъ.

— Да, одинъ домъ и именно *домъ*, а не семейная тюрьма. Этотъ одинъ домъ покажетъ, что нѣтъ нужды глодать свою плоть, что сильный и безсильный должны одинаково досыта наѣсться и вдоволь выспаться. Это домъ... это... дѣдушка осмысленнаго русскаго быта, это домъ... какими должны быть и какими непремѣнно будутъ всѣ дома въ

мірѣ: здѣсь всѣ равны, всѣ понесутъ поровну и никто судьбой не будетъ обиженъ.

— Давай Богъ, давай Богъ!—произнесъ Розановъ полусерьезно, полушутливо и обернулся къ двери, за которою послышалось шлепанье мокрыхъ башмаковъ и старческій кашель Абрамовны.

Старуха вошла молча съ тѣмъ же узлочкомъ, съ которымъ Розановъ ее увидѣлъ на улицѣ, и молча зашлепала къ окну, на которое и положила свой узелокъ.

— Что ты, няня, устала?—спросила ее, не оборачиваясь, Лиза.

— Гдѣ, сударыня, устать: всего верстъ десять прошла, да часа три по колѣни въ грязи простояла. Съ чего жъ тутъ устать? дождичекъ Божій, а косточки молодыя, — помылъ,—хорошо.

— Хотите водочки, няня?—отозвался Бѣлоярцевъ.

— Нѣтъ, покорно благодарю, батюшка, — отвѣчала старуха, развязывая платокъ.

— Выпейте немножко.

— Съ роду моего ее не пила и пить не стану.

— Да чудная вы: съ холоду.

— Ни съ холоду, сударь, ни съ голоду.

— Для здоровья.

— Какое отъ дряни здоровье.

— Простудитесь.

— Простужусь—выздоровѣю, умру—жалѣть некому.

Лиза поморщилась и прошептала:

— Ахъ, какъ это несносно!

Розановъ всталъ и, протягивая руку Лизѣ, сказалъ:

— Ну, однако, у меня дѣло есть; прощайте, Лизавета Егоровна.

— Прощайте,—отвѣчала ему Лиза:—простите, что я не пойду васъ проводить: совсѣмъ разнемогаюсь.

— Крѣпитесь; а я, если позволите, заверну къ вамъ: я вѣдь про всякій случай все-таки еще врачъ.

Лиза поблагодарила Розанова.

— Ну, а что прикажете сказать Евгеніи Петровнѣ?—спросилъ онъ.

— Ахъ, пожалуйста, поклонитесь ей,—отвѣчала неловко Лиза.

Розанову тоже стало такъ неловко, что онъ, какъ бы

растерявшись, простился со всѣми и торопливо пошелъ за двери.

— Другъ ты мой дорогой! что ты это сказалъ? — задыхаясь спросилъ его въ темномъ коридорѣ дрожащій голосъ Абрамовны, и старуха схватила его за руку. — Мнѣ словно послышалось, какъ ты будто про Евгенію Петровну вспомнилъ.

— Да, да: здѣсь она, няня, здѣсь!

— Какъ здѣсь, что ты это шутишь!

— Нѣтъ, право, пріѣхали они сюда и съ мужемъ, и съ дѣтьми.

— И съ дѣтьми!

— Двое.

— Красотка ты моя! и дѣти у ней ужъ есть! Гдѣ жъ она? Стой, ну, на минутку, я тебѣ сейчасъ карандашъ дамъ, адресъ мнѣ напиши.

Когда Розановъ писалъ адресъ Вязмитиновой, няня, увлекаясь, говорила:

— Пойду, пойду къ ней. Ты ей только не сказывай обо мнѣ, я такъ изъ изнависти къ ней хочу. Чай, безпримѣнно мнѣ обрадуется.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Гражданская семья и генералъ безъ чина.

Послѣ выхода Розанова изъ Лизиной комнаты, общество сидѣло молча нѣсколько минутъ; наконецъ, Бѣлоярцевъ поставилъ на окно статуэтку Гарибальди и, потянувъ носомъ, сказалъ:

— Оказывается, что въ нынѣшнемъ собраніи мы не можемъ ограничиться рѣшеніемъ однихъ общихъ вопросовъ.

Бертольди отошла отъ окна и стала противъ его стула.

— Представляются новые вопросы, которые требуютъ экстреннаго рѣшенія.

Бертольди, тряхнувъ головою, пошла скорыми шагами къ двери, и по коридору раздался ея звонкій голосокъ:

— Ступина! Петрова! Жимжикова! Каверина! Прорвичъ!— кричала она, направляясь къ залѣ.

Бѣлоярцевъ всталъ и тоже вслѣдъ за Бертольди вышелъ изъ Лизиной комнаты.

Лиза оставалась неподвижною одна-одинешенька въ своей комнатѣ. Мертвая апатія, недовольство собою и всѣмъ окру-

жающимъ, съ усиліемъ подавлять все это внутри себя, рѣзко выражались на ея болѣзненномъ личикѣ. Немного нужно было имѣть проницательности, чтобы, глядя на нее теперь, сразу видѣть, что она во многомъ обидно разочарована и ведетъ свою странную жизнь только потому, что твердо рѣшилась не отставать отъ своихъ намѣреній — до послѣдней возможности содѣйствовать попыткѣ избавиться отъ семейнаго деспотизма.

Лиза, давно отбившаяся отъ семьи и отъ прежняго общества, сдѣлала изъ себя многое для практики того соціальнаго ученія, въ которомъ она искала исхода изъ лабиринта сложныхъ жизненныхъ условій, такъ или иначе спутавшихъ ея вольную натуру съ перваго шага въ свѣтъ и сдѣлавшихъ для нея эту жизнь невыносимою.

Лиза давно стала очень молчалива, давно заставляла себя стерпливать и сносить многое, чего бы она не стерпѣла прежде ни для кого и ни для чего. Своему идолу она приносила въ жертву всѣ свои страсти и, разочаровываясь въ искренности жрецовъ, раздѣлявшихъ съ нею одно кастовое служеніе, даже лгала себѣ, стараясь по возможности оправдывать ихъ и въ то же время не дать повода къ первому ренегатству.

Лиза съ самаго пріѣзда въ Петербургъ поселилась съ Бертольди на небольшой квартиркѣ. Ихъ скоро со всѣхъ сторонъ обложили *люди дѣла*. Это была самая разнокалиберная орава. Тутъ встрѣчались молодые журналисты, подрукавные литераторы, артисты, студенты и даже два приказчика.

Женская половина этого кружка была тоже не менѣе пестраго состава: жены, отлучившіяся отъ мужей; дѣвицы, бѣжавшія отъ семействъ; дѣвицы, полюбившія всѣми сердцами людей, не имѣвшихъ никакого сердца и оставившихъ имъ живые залоги своихъ увлеченій, и tutti quanti въ этомъ родѣ.

Все это были особы того умственнаго пролетаріата, о судьбѣ котораго недавно перепугались у насъ нѣкоторые умные люди, прочитавшіе печальныя разсужденія и выводы Риля. Изъ всѣхъ этихъ пролетаріевъ Лиза была самый богатый человѣкъ.

Егоръ Николаевичъ Бахаревъ, скончавшись на третій день послѣ отъѣзда Лизы изъ Москвы, хотя и не сдѣлалъ

никакого основательнаго распоряженія въ пользу Лизы, но оставивъ все состояніе во власть жены, онъ, однако, успѣлъ сунуть Абрамовнѣ восемьсотъ рублей, съ которыми старуха должна была ѣхать разыскивать бунтующуюся бѣглянку, а жену въ самыя послѣднія минуты неожиданно прерванной жизни клятвенно обязалъ давать Лизѣ до ея выдѣла въ годъ по тысячѣ рублей, гдѣ бы она ни жила и даже какъ бы ни вела себя. Лиза и жила постоянно съ этими средствами съ той самой поры, какъ старуха Абрамовна, схоронивъ старика Бахарева, отыскала ее въ Петербургѣ. Другіе изъ *людей дѣла* вовсе не имѣли никакихъ опредѣленныхъ средствъ и жили непонятнымъ образомъ, паразитами на счетъ имущихъ, а имущіе тоже были не Богъ-вѣсть какъ сильны и притомъ же вели дѣла свои въ послѣдней степени безалаберно. Здѣсь не было замѣтно особенной хлопотливости о мѣстахъ, которая можетъ служить врядъ ли не самою характерною чертою петербургскаго умственнаго пролетаріата. Напротивъ, здѣсь преобладала полная беззаботливость о себѣ и равносильное равнодушіе къ имущественнымъ сбереженіямъ ближняго. Жизнь не только не исчезла въ заботахъ о хлѣбѣ, но самые недостатки и лишенія почитались необходимыми украшеніями жизни. Неимущій считалъ себя въ правѣ пожить на счетъ имущаго и это все не изъ одолженія, не изъ-за содѣйствія, *а по принципу*, «по гражданской обязанности». Такимъ образомъ, на долю каждаго болѣе или менѣе работающаго человѣка приходилось, по крайней мѣрѣ, по одному человѣку ничего не работающему, но постоянно собирающемуся работать. Лиза хотя и не жила своими трудами, но, какъ имущая, содержала Бертольди и снабжала чѣмъ могла кое-кого изъ прочей компаніи. Абрамовна жила постоянно съ Лизой и постоянно старчески раздражала ее, возставая противъ непривычныхъ для нея порядковъ. Здравый умъ диктовалъ старухѣ ея горячія рѣчи противъ этихъ людей, ихъ образа жизни, взаимныхъ отношеній другъ къ другу. Несмотря на видную простоту и безыскусственность этихъ отношеній, они сильно не нравились старухѣ, и она съ ожесточеніемъ смотрѣла на связь Лизы съ людьми, изъ которыхъ, по мнѣнію Абрамовны, одни были простяки и подаруи, а другіе — дармоѣды и объѣдалы. Къ разряду простодушныхъ у нея относились ея собственная Лиза, одна изъ ея новыхъ

сверстницъ, безмужняя жена Анна Львовна Ступина и Райнеръ. Послѣдній съ полгода опять появился на петербургскомъ горизонтѣ. Симпатіи молодого соціалиста крѣпко гнули его къ Россіи и нимало не ослабѣли послѣ минованія угасшаго политическаго раздраженія: Райнеръ, владѣвшій прекрасно почти всѣми европейскими языками, нашелъ себѣ здѣсь очень хорошую работу при одномъ изъ ученыхъ учрежденій и не могъ отбиться отъ весьма выгодныхъ уроковъ въ частныхъ домахъ.

Вскорѣ по пріѣздѣ его въ Петербургъ, онъ встрѣтился случайно съ Лизой, сталъ навѣщать ее вечерами, перезнакомился со всѣмъ кружкомъ, къ которому судьба примкнула Бахареву, и самъ сдѣлался однимъ изъ самыхъ горячихъ членовъ этого кружка. Нѣсколько наглая безцеремонность отношеній многихъ изъ этихъ господъ и ихъ образъ жизни рѣзко били по чувствительнымъ струнамъ Райнерова сердца, но зато постоянно высказываемое ими презрѣніе къ формамъ стараго общежитія, ихъ равнодушіе къ карьерамъ и небреженіе о кошелькахъ заставляли Райнера примиряться со всѣмъ, что его въ нихъ возмущало.

«Это и есть тѣ полудикіе, но не повихнутые цивилизаціею люди, съ которыми должно начинать дѣло»,—подумалъ Райнеръ, и съ тѣхъ поръ всю нравственную нечисть этихъ людей сталъ разсматривать какъ остатки дикости свободолюбивыхъ, широкихъ натуръ.

Проявленія этой дикости нерѣдко возмущали Райнера, но зато они никогда не приводили его въ отчаяніе, какъ англійскіе мокассары, разсужденія нѣмцевъ о національномъ превосходствѣ или французскихъ буржуа о слабости существующихъ полицейскихъ законовъ. Словомъ, эти натуры болѣе отвѣчали пламеннымъ симпатіямъ энтузіаста и, какъ мы увидимъ, онъ долго всѣми неправдами старался отыскивать въ ихъ широкомъ размахѣ силу для водворенія въ жизни тѣмъ или другимъ путемъ новыхъ соціальныхъ положеній.

Въ отношеніяхъ Райнера къ этимъ людямъ было много солидарнаго съ отношеніями къ нимъ Лизы.

Райнеръ получалъ очень хорошія деньги. Свою ферму въ Швейцаріи онъ сдалъ бѣднымъ работникамъ на самыхъ невыгодныхъ для себя условіяхъ, но онъ личнымъ трудомъ зарабатывалъ въ Петербургѣ болѣе трехсотъ рублей

серебромъ въ мѣсяцъ. Это давало ему средство занимать въ одной изъ лучшихъ улицъ города очень просторную квартиру, представлявшую съ своей стороны полную возможность помѣститься въ ней часто измѣняющемуся, но всегда весьма немалому числу широкихъ натуръ, состоявшихъ не у дѣлъ.

Таковые порядки вскорѣ не замедлили заявить свои нѣкоторыя неудобныя стороны.

Разговоры о неестественности существующаго распредѣленія труда и капитала, какъ и разсужденія о вредѣ семейнаго начала, начинали прискучивать: всѣ давно были между собою согласны въ этихъ вопросахъ. Многимъ чувствовалась потребность новыхъ темъ, а нѣкоторымъ еще крѣпче чувствовалась потребность перейти отъ толковъ къ дѣлу.

У однихъ эта потребность вытекала изъ горячаго желанія основать образцовую общину на безкорыстныхъ началахъ. Такихъ было немного и къ числу ихъ принадлежали: Лиза, Райнеръ, Ступина и Каверина. Другимъ просто хотѣлось суетиться; третьимъ, полагаю, хотѣлось и суетиться, и половчѣе уйти отъ безцеремонныхъ приживальщиковъ, заставивъ и ихъ что-нибудь да дѣлать, или, по крайней мѣрѣ, не лежать всею тяжестію на одной чужой шеѣ. Ко всему же этому всѣ уже чувствовали необходимость переходить отъ словъ къ дѣлу, ибо иначе духовный союзъ угрожалъ рушиться за недостаткомъ матеріальныхъ средствъ.

При такихъ обстоятельствахъ со стороны давно извѣстнаго намъ художника Бѣлоярцева послѣдовало заявленіе о возможности прекраснаго выхода изъ тѣснаго положенія гражданъ путемъ еще бо́льшаго ихъ сближенія и отожествленія ихъ частныхъ интересовъ въ интересѣ общемъ.

Въ послѣдніе два года, когда они перенесли свои силы и раздраженіе на общество и въ его симпатіяхъ и антипатіяхъ открыли своего настоящаго, давно искомаго врага, духъ противорѣчія обществу во всемъ сдѣлался главнымъ направленіемъ этихъ силъ. Но какъ противорѣчія эти никого не обязывали ни къ какимъ рискованнымъ предпріятіямъ, а между тѣмъ, представляли извѣстную возможность *дѣйствовать* внѣ обыденной сферы и выдѣляться изъ общественной среды, то кружки недовольныхъ и протестующихъ

составлялись необыкновенно быстро и легко. — Въ составъ этихъ кружковъ попадали и Фальстафы, непобѣждаемые въ крикѣ и «воины смирные средь мечей». Даже не только они попадали въ эти кружки, но нерѣдко становились во главѣ ихъ и дѣлались ихъ генералами.

Это было такое безхитростное время, въ которое изолировавшійся кружокъ, толковавшій объ общественныхъ реформахъ, не видалъ ничего у себя подъ носомъ и легко подчинялся каждому, кто бы захотѣлъ подумать и, изловчившись, покрѣпче схватить его за носъ.

Такимъ положеніемъ лучше всѣхъ успѣлъ воспользоваться нашъ почитатель отвлеченнаго искусства Бѣлоярцевъ. Онъ также уже давненько переселился въ Петербургъ и фланируя надумался нѣсколько измѣнить свое служеніе искусству для искусства. Онъ понялъ счастливый оборотъ дѣлъ, при которомъ, служа только себѣ и ровно ничѣмъ не рискуя, можно было создать себѣ же самому амплуа нѣсколько повліятельнѣе, и пожелалъ этимъ воспользоваться. Для перваго дебюта онъ написалъ картинку «Отецъ семейства», о которой такъ эффектно объявляла Бертольди и которая, недуманно-негаданно для самого Бѣлоярцева, сразу дала ему въ своемъ кружкѣ имя великаго *гражданскаго художника*. Бѣлоярцевъ пріосанился, въ самомъ дѣлѣ сталъ показывать себя гражданиномъ, надвинулъ брови и началъ вздыхать гражданскими вздохами.

Продолжая фланировать въ новой маскѣ, онъ внимательно прислушивался къ частымъ жалобамъ недовольныхъ порочными наклонностями общества, болѣлъ передъ ними гражданскою болѣзнью и сносилъ свои скорби къ Райнеру, у котораго, тотчасъ же послѣ его пріѣзда въ Петербургъ, водворилась на жительствѣ цѣлая импровизованная семья. По диванамъ и козеткамъ довольно обширной квартиры Райнера разселились: 1) студентъ Лукьянъ Прорвичъ, молодой человѣкъ, недовольный университетскими порядками и желавшій утвержденія въ обществѣ коммунистическихъ началъ, безбрачія и вообще *естественной* жизни; 2) Неофитъ Кусицынъ, студентъ, окончившій курсъ, — маленькій, вострорыленькій, гнусливый человѣкъ, лишенный средствъ совладать съ своимъ самолюбіемъ, также поставившій себѣ обязанностью написать свое имя въ ряду первыхъ поборниковъ *естественной* жизни; 3) Ѳесфанъ Котырло, то, что

поляки характеристично называютъ wielke nic, — человѣкъ, не умѣющій ничего понимать иначе, какъ понимаетъ Кусицынъ, а впрочемъ, тоже коммунистъ и естественникъ; 4) лѣкарь Сулима, человѣкъ безъ занятій и безъ опредѣленнаго направленія, но съ непреодолимымъ влеченіемъ къ бездѣйствію и покою; лицомъ черенъ, глаза словно двѣ маслины; 5) Никонъ Ревякинъ, уволенный изъ духовнаго вѣдомства иподіаконъ, умѣющій вездѣ пристроиваться на чужой счетъ и почитаемый неповрежденнымъ типомъ широкой русской натуры. Искателенъ и не прочь дѣйствовать исподтишка противъ лучшаго изъ своихъ благодѣтелей; 6) Емельянъ Бочаровъ, толстый, бѣлокурый студентъ, способный на все и ничего не дѣлающій; изъ всѣхъ его способностей болѣе другихъ разрабатывается имъ способность противорѣчить себѣ на каждомъ шагу и не считаться деньгами, и 7) Авдотья Григорьевна Быстрова, двадцатилѣтняя дѣвица, не знающая, что̀ ей дѣлать, но полная презрѣнія къ обыкновенному труду.

Шесть объѣдалъ Райнера, принадлежавшіе къ мужскому полу, какъ выше сказано, размѣщались по диванамъ его квартиры, а Авдотьѣ Григорьевнѣ Быстровой Райнеръ уступилъ свою послѣднюю комнату, а самъ съ тѣхъ поръ помѣщался на коврѣ между диванами, занятыми Кусицынымъ и Ревякинымъ.

Кромѣ этихъ лицъ, въ квартирѣ Райнера жила кухарка Афимья, московская баба, весьма добрая и безалаберная, но усердная и искренно преданная Райнеру. Афимья, съ тѣхъ поръ какъ поступила сюда въ должность кухарки, еще ни разу не упражнялась въ кулинарномъ искусствѣ и пребывала въ нескончаемыхъ посылкахъ у приживальщиковъ.

Несмотря на собственную безалаберность, Афимья презрительно относилась къ такой жизни и говорила:

— Такъ ужъ мы тутъ живемъ, такъ живемъ, что всѣмъ намъ пропасть надо, да и давно слѣдуетъ. Ни порядку у насъ, ни распорядку—живемъ, какъ испорченые.

Райнера Афимья любила, но считала его ребенкомъ.

— Маломысленный совсѣмъ баринъ,—говорила она, разсказывая о его пропадающихъ вещахъ и деньгахъ.—А это, вотъ это оравище-то,—это самые, что есть черти. Жулики настоящіе: такъ бы вотъ и взяла бы лопату, да — вонъ! кышь, дрянь вы этакая!

Изъ всѣхъ объѣдалъ одинъ Бѣлоярцевъ умѣлъ снискать расположеніе Афимьи, ибо онъ умѣлъ съ нею разговориться по-любезному и на глаза ей не лѣзъ, счастливый около Райнера чистымъ метальцемъ, такъ что Афимья объ этомъ не знала и не вѣдала.

Въ этомъ кодлѣ Бѣлоярцевъ былъ постояннымъ гостемъ. Сюда онъ приносилъ свои первыя гражданскія воздыханія и здѣсь же воспитывалъ въ себѣ гражданскую болячку.

За исключеніемъ Райнера, здѣсь никто ничего не дѣлалъ и толковать всегда было съ кѣмъ вволю.

Райнеръ, рано утромъ, выпивъ наскоро стаканъ молока, убѣгалъ на свои уроки, а въ квартирѣ его только около полудня начиналось вставанье, или, правильнѣе, просыпанье и питье чая. Самоваръ ставился за самоваромъ, по мѣрѣ того, какъ одинъ приживальщикъ продиралъ за другимъ свои глаза. Цѣлые дни шла безконечная сутолока и неумолчныя рѣчи о томъ, при какихъ мѣрахъ возможно достиженіе общей гармоніи житейскихъ отношеній? Обыкновенно выходило, что надо непремѣнно жить совсѣмъ иначе. Это ужъ такъ велось и прилаживалось. Прямымъ послѣдствіемъ такихъ рѣчей явилась мысль зажить *на новыхъ началахъ;* создать вмѣсто вредной, родовой семьи, семью разумную, соединяемую не родствомъ, а единствомъ интересовъ и стремленій, и такимъ образомъ защитить каждаго общими силами отъ недостатковъ, притѣсненій и напастей. Словомъ, рѣшено было основать тотъ «общественный домъ», въ которомъ Розановъ встрѣтилъ Лизу въ началѣ третьей книги этого романа.

Бѣлоярцевъ такъ часто толковалъ объ этомъ «*домѣ*», такъ красно и горячо увлекалъ всѣхъ близкихъ къ своему кружку людей описаніемъ всѣхъ прелестей общежительства, что, по мѣрѣ того, какъ эта мысль распространялась, никто не умѣлъ ни понять, ни выразить ее отдѣльно отъ имени Бѣлоярцева. Бѣлоярцевъ, развлекаясь сладкими разговорами о сладкомъ житьѣ гражданской семьи, и самъ не замѣтилъ, какъ это дѣло подвигалось къ осуществленію и какъ самъ онъ попадалъ въ генералы зачинающагося братства. Нѣсколько мужчинъ и нѣсколько женщинъ (въ числѣ послѣднихъ и Лиза Бахарева) рѣшились сойтись жить вмѣстѣ, распредѣливъ между собою обязанности хозяйственныя и соединивши усилія на добываніе работъ и составленіе

общественной кассы, при которой станетъ возможно достиженіе высшей цѣли братства: *огражденіе работающаго пролетаріата отъ произвола, обидъ и насилій тучнѣющаго капитала и разубѣжденіе слѣпотствующаго общества живымъ примѣромъ въ возможности правильной организаціи труда, безъ антрепренеровъ-капиталистовъ.*

Случай помогъ скоро осуществиться этой великой мысли.

Въ числѣ разнородныхъ лицъ, посѣщавшихъ открытую для всѣхъ квартиру Райнера, былъ молодой человѣкъ, Грабилинъ, сынъ одного изъ извѣстныхъ золотопромышленниковъ.

Грабилинъ, воспитанный въ модномъ пансіонѣ, гнушался торговыми занятіями и, гоняясь за репутаціею современнаго молодого человѣка, очень дорожилъ знакомствомъ такихъ либераловъ, какіе собирались у Райнера.

Отношенія Грабилина къ Бѣлоярцеву какъ нельзя болѣе напоминали собою отношенія подобныхъ Грабилину личностей въ уѣздныхъ городахъ къ соборному дьякону, въ губернскихъ—къ регенту архіерейскаго дома, а въ столицахъ—къ пѣвцамъ и актерамъ. Грабилинъ съ благопокорностью переносилъ отъ Бѣлоярцева самыя оскорбительныя насмѣшки, улыбался прежде, чѣмъ тотъ собирался что-нибудь сказать, поилъ его шампанскимъ и каталъ въ своей коляскѣ.

У этого-то Грабилина Бѣлоярцевъ и предложилъ взять взаймы двѣ тысячи рублей серебромъ подъ общею другъ за друга порукою въ уплатѣ. Грабилинъ, дорожа знакомствомъ столь высокаго въ его мнѣніи либеральнаго кружка, не посмѣлъ отказать Бѣлоярцеву въ его просьбѣ, и такимъ образомъ, посредствомъ этого займа, образовался первый общественный фондъ, поступившій тоже въ руки Бѣлоярцева.

Бѣлоярцевъ пріобрѣталъ все болѣе силы и значенія. Получивъ въ свои руки деньги, онъ вдругъ развернулся и сталъ распоряжаться энергически и самостоятельно. Онъ объѣздилъ городъ, осмотрѣлъ множество домовъ и, наконецъ, въ одинъ прекрасный день объявилъ, что имъ нанято прекрасное и во всѣхъ отношеніяхъ удобное помѣщеніе. Это и былъ тотъ самый изолированный домъ на Петербургской Сторонѣ, въ которомъ мы встрѣтили Лизу.

Произвольный выборъ этого дома былъ очень неловкимъ поступкомъ со стороны Бѣлоярцева. Домъ былъ осмотрѣнъ всѣми, собирающимися на новое жительство, и большинство

было довольно его устройствомъ, хотя многіе и находили, что дальность разстоянія его отъ людныхъ мѣстъ города имѣетъ много неудобствъ.

Бѣлоярцеву, однако, не трудно было успокоить эти неудовольствія.

— Здѣсь далеко, да смѣло,—отвѣчалъ онъ.—Я удивляюсь, какъ вы, господа, не хотите сообразить, что мы только и безопасны, живя въ такой мѣстности, гдѣ за нами неудобно слѣдить и мѣшать намъ.

Труднѣе гораздо ему было сладить съ другимъ нападеніемъ.

Лиза замѣтила, что все это прекрасно, что со всѣмъ можно помириться, но что она удивляется, какимъ образомъ Бѣлоярцевъ могъ позволить себѣ сдѣлать выборъ квартиры, не получивъ на этотъ выборъ предварительно общаго согласія всей собирающейся семьи. Бѣлоярцевъ смѣшался, убѣждалъ Лизу, что въ этомъ съ его стороны нѣтъ никакого самовластія, что онъ просто дорожилъ случаемъ не упустить удобной квартиры и проч. Лиза находила, что все это не резонъ, что это опять смахиваетъ на родительскую опеку, о которой Бѣлоярцева никто не просилъ, и что онъ во всякомъ случаѣ нарушилъ общественное равноправіе на первомъ шагу.

Новые семьяне старались убѣдить Лизу, что это пустяки, вздоръ, на которые не стоитъ обращать такъ много вниманія, но она оставалась при своемъ мнѣніи и утверждала, что Бѣлоярцевъ былъ не въ правѣ такъ распоряжаться.

Это былъ первый ударъ, полученный Бѣлоярцевымъ въ его генеральскомъ чинѣ, и онъ его очень затруднялъ. Бѣлоярцеву хотѣлось выйти съ достоинствомъ изъ этого спора и скорѣе затушевать его. Онъ подошелъ къ Лизѣ и сказалъ:

— Ну, прекрасно, Лизавета Егоровна, ну, если я, дѣйствительно, по вашему мнѣнію, поступилъ опрометчиво,— простите меня, каюсь, только перестанемте объ этомъ говорить.

Бѣлоярцевъ мало зналъ Лизу и не понималъ, какой новый и довольно рѣшительный ударъ онъ наносилъ своему генеральству, прося у нея извиненія.

Онъ понялъ свой промахъ только тогда, когда Лиза вмѣсто того, чтобы пожать протянутую ей Бѣлоярцевымъ въ знакъ примиренія руку, холодно отвѣтила:

— Вы не меня обидѣли, а всѣхъ, и я не имѣю права извинять вамъ вашего самовольничанья.

Всѣ, однако, были гораздо снисходительнѣе къ Бѣлоярцеву. Дѣло это замялось, и въ тотъ ненастный день, когда мы встрѣчаемъ Розанова въ глухомъ переулкѣ, начался переѣздъ въ общественный домъ, который положено было впередъ называть «*Domus concordiae*» (*Домомъ Согласія*).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Вопросы дня.

Въ большой, довольно темной и еще совсѣмъ неубранной залѣ «*Дома Согласія*», сохранявшей всѣ слѣды утрешняго переѣзда, въ восемь часовъ вечера кипѣлъ на кругломъ столѣ самоваръ, за которымъ сидѣли новыя семьянки: Ступина, Каверина, Жимжинова, Бертольди и Лиза. Бертольди наливала чай, Каверина шила дѣтскую рубашечку, Лиза внимательно читала, ношевеливая свои волосы костянымъ книжнымъ ножикомъ. Бѣлоярцевъ въ архалучкѣ ходилъ вдоль стѣны, держа подъ руку маленькаго, черненькаго Прорвича, нѣкогда встрѣтившаго Лизу въ гостиницѣ «Италія» (Прорвичъ былъ пока единственное лицо, принятое сюда изъ Райнеровской богадѣльни).

— Этого жизнь не можетъ доказать, — толковалъ Бѣлоярцевъ вполголоса и съ важностью Прорвичу. — Вообще цѣлое это положеніе есть глупость и притомъ глупость, сочиненная во вредъ намъ. Спорьте смѣло, что если теорія вѣрна, то она оправдается. Что такое теорія?—Ноты. Отчего же не пѣть по нотамъ, если умѣешь?

У дамъ шелъ довольно оживленный разговоръ, въ которомъ не принимала участія только одна Лиза, не покидавшая своей книги, но у нихъ не было общаго согласія.

— Бѣлоярцевъ!—позвала Бертольди:—разрѣшите, пожалуйста, нашъ споръ.

Бѣлоярцевъ остановился у стола и выпустилъ руку Прорвича.

— Есть смыслъ въ томъ, чтобы мужчина отворялъ мнѣ двери?

— Куда?—спросилъ Бѣлоярцевъ.

— Куда? ну, куда-нибудь? Если я иду съ вами рядомъ и подхожу къ двери,—разумно ли, чтобы вы ее передо мною растворяли, какъ будто у меня своихъ рукъ нѣтъ?

Бѣлоярцевъ затянулся папироской.

— Это меня унижаетъ, какъ женщину; какъ человѣка, меня унижаетъ; напоминаетъ мнѣ о какой-то моей конфектности,—чекотала Бертольди.

— Да, ничтожныя услуги въ этомъ родѣ вредны,—проговорилъ Бѣлоярцевъ.

— Ну, не правда ли!—подхватила Бертольди:—вѣдь это все лицемѣріе, пошлость и ничего болѣе. Ступина говоритъ, что это пустяки, что это такъ принято: тѣмъ-то и гадко, что принято. Они подаютъ бурнусы, поднимаютъ съ полу носовые платки, а на каждомъ шагу, въ серьезномъ дѣлѣ, подставляютъ женщинѣ ногу; не даютъ ей хода и свободы.

— Что жъ тутъ носовые платки мѣшаютъ?—произнесла мягкимъ и весьма пріятнымъ голосомъ та, которую называли Ступиной.

— А нѣтъ, Анна Львовна, этого нельзя говорить,—снисходительно замѣтилъ Бѣлоярцевъ. — Это только такъ кажется, а въ существѣ это и есть тотъ тонкій путь, которымъ развратъ вводится въ человѣческое общество. Я вамъ подаю бурнусъ, я вамъ поднимаю платокъ, я передъ вами растворяю двери, потому что это ничего не стоитъ, потому что это и вамъ самимъ легко было бы сдѣлать безъ моей помощи.

— А если дверь трудно отворяется, тогда можно?—пошутила Ступина.

— Нѣтъ, вы не шутите. Вы сами вникните, вамъ самимъ же отъ этого плохо. Платокъ вамъ помогутъ поднять, а, напримѣръ, обзаведись вы ребенкомъ, такъ...

— Бросятъ,—подсказала Ступина.

— Ну, вотъ вамъ и слѣды такого отношенія къ женщинѣ.

— А если не станете поднимать платковъ, такъ не будете бросать, что ли?—весело отвѣчала Ступина.—Хороши вы всѣ, господа, пока не наигрались женщиной! А тамъ и съ глазъ долой, по первому капризу.—Нѣтъ, ужъ кланяйтесь же, по крайней мѣрѣ; хоть платки поднимайте,—добавила она, разсмѣявшись:—больше съ васъ взять нечего.

— Ну, это хоть бы и въ Москвѣ такое разсужденіе,—произнесла Бертольди.

— Нѣтъ, позвольте, m-lle Бертольди. Сердиться здѣсь не за что,—замѣтилъ Бѣлоярцевъ.—Анна Львовна немножко односторонне смотритъ на дѣло, но она имѣетъ основаніе.

При нынѣшнемъ устройствѣ общества это зло, дѣйствительно, неотвратимо. Люди злы по натурѣ.

— То-то и дѣло,—замѣтила Ступина.—Если бы вы были добрѣе, такъ и несчастій бы столькихъ не было, и мы бы вамъ вѣрили.

— Да, что это вы говорите, — вмѣшалась Бертольди. — Какое же дѣло кому-нибудь вѣрить или не вѣрить. На пріобрѣтеніе ребенка была ваша воля; что жъ, вамъ за это деньги платить, что ли? Это, наконецъ, смѣшно! Ну, отдайте его въ воспитательный домъ. Удивительное требованіе: я рожу ребенка и въ награду за это должна получать право на чужой трудъ.

— Не совсѣмъ чужой...—тихо произнесла Ступина.

— А, вы такъ смотрите! Ну, такъ считайтесь; подавайте просьбу; а по-моему, лучше ничьего содѣйствія и ничьего вмѣшательства.

— Все это уладится гораздо умнѣе и справедливѣе, — тихо замѣтилъ Бѣлоярцевъ.

— Да, должно быть, что уладится, — съ легкой ироніей отвѣчала Ступина и, вставъ изъ-за стола, вышла изъ залы.

— А эта барыня ненадежна,—проговорила, по уходѣ Ступиной, Бертольди.—Не понимаю, зачѣмъ она съ нами сошлась.

— Да-съ, оказывается, что намъ нужно много подумать о томъ, кто съ нами сходится и съ кѣмъ намъ сходиться. Я вотъ по этому именно поводу и хотѣлъ сегодня попросить васъ посовѣтоваться.

Бѣлоярцевъ откашлянулся и сѣлъ за столъ на табуретку.

— Какъ бы обдуманнымъ ни казалось всякое новое дѣло, а всегда выходитъ, что что-нибудь недодумано и забыто,— началъ онъ своимъ бархатнымъ баскомъ.—Мы рѣшили, какъ намъ жить и какъ расширить свое дѣло, а вотъ сегодняшній случай показалъ, что это далеко не все. Сегодня вотъ у Лизаветы Егоровны былъ гость.

Лиза подняла свою головку отъ книги.

— Это показываетъ, что у каждаго изъ насъ, кромѣ гостей, извѣстныхъ нашему союзу, могутъ быть свои, особые, прежніе знакомые, и эти знакомые, чуждые по своему направленію стремленіямъ нашей ассоціаціи, могутъ насъ посѣщать: не здѣсь, — не такъ ли? — Рождается отсюда вопросъ: какъ мы должны вести себя въ отношеніи къ такимъ гостямъ?

— Я думаю, какъ кому угодно,—отвѣчала Лиза.

— Я хотѣлъ сказать: принимать ихъ, или нѣтъ?

— Я своихъ буду принимать.

— Да; но позвольте, Лизавета Егоровна: вѣдь это дѣло общее. Вѣдь вы же мнѣ дѣлали выговоръ за мнимое самоволіе.

— Это совсѣмъ другое дѣло: вы дѣлали выборъ, зависѣвшій отъ всѣхъ, а я распоряжаюсь сама собою. Мои гости касаются меня.

— Нѣтъ, позвольте: каждый входящій въ домъ ассоціаціи касается всѣхъ.

— Я не понимаю такой зависимости,—отвѣчала Лиза.

— Не зависимости, а безопасности, Лизавета Егоровна. Насъ могутъ предать.

— Кому?

— Правительству.

— А мы что дѣлаемъ правительству? Развѣ у насъ заговоръ,—или прокламаціи печатаются?

— Да положимъ, что не заговоръ и не прокламаціи, а все же мы не друзья существующаго порядка и намъ могутъ помѣшать, могутъ разстроить наше дѣло.

Лиза подумала и сказала:

— Ну, хорошо, это будетъ видно.

— Такъ отложимъ это,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ:—и обратимся къ другому, не менѣе важному вопросу. Насъ должно быть четырнадцать членовъ, а теперь насъ здѣсь пока всего шестеро, если прислугу не считать нашими сочленами, такъ какъ вопросъ о ней до сихъ поръ еще не совсѣмъ рѣшенъ. Остальные наши члены должны перейти къ намъ на этихъ же дняхъ. Бо̀льшая часть этихъ членовъ должны присоединиться къ намъ вмѣстѣ съ Васильемъ Ивановичемъ Райнеромъ, съ которымъ они живутъ теперь. Обстоятельство, по поводу котораго я заговорилъ о гостяхъ, даетъ мнѣ мысль заявить вамъ: не найдете ли нужнымъ нѣсколько поотложить переходъ Райнера и его товарищей въ домъ ассоціаціи? Конечно, намъ отъ этого будетъ нѣсколько тяжелѣе на одинъ мѣсяцъ, но зато мы себя оградимъ отъ большихъ опасностей. Райнеръ—человѣкъ, за которымъ смотрятъ.

— Ахъ! нѣтъ, возьмемте Райнера: онъ такой хорошій человѣкъ,—вмѣшалась вошедшая Ступина.

— Хорошій, Анна Львовна, да только все-таки лучше подождемте. Онъ можетъ здѣсь бывать, но не жить *пока*... понимаете, *пока* мы не окрѣпли. А тогда всѣхъ, и его, и всѣхъ, кто у него живетъ, всѣхъ примемъ. До тѣхъ же поръ вотъ Грабилину уступимъ три комнаты: онъ одинъ можетъ платить за три.

— Да Грабилинъ что же за членъ нашей ассоціаціи?

— Да такъ *пока*.

— Смѣшно,—сказала, вставая, Лиза.—Розанова принимать опасно; Райнера опасно пустить жить, а принимать можно; людей, которые живутъ у Райнера, тоже нельзя пустить жить съ нами, тогда какъ на нихъ разсчитывали при устройствѣ этого жилья, а какого-то Грабилина, у котораго только деньги заняли, надо пускать, чтобы комнаты не гуляли! Какое же это соціальное общежительство! Это выходятъ chambres garnis Бѣлоярцева съ компаніею — и только.

— Ахъ, Лизавета Егоровна, какъ вы странно иногда понимаете простыя вещи!—воскликнулъ Бѣлоярцевъ.

— Да-съ, я ихъ понимаю.

— Вотъ вы еще и сердитесь.

— Вамъ непріятно видѣть Розанова, потому что онъ напоминаетъ вамъ ваше прошлое и неловко укололъ васъ вашимъ бывшимъ художественнымъ направленіемъ.

Бѣлоярцевъ сдѣлалъ недоумѣвающую мину.

— Райнеръ, — продолжала Лиза: — представляетъ намъ вашу совѣсть.

— Лизавета Егоровна!—позвольте, однако, если я человѣкъ съ плохою совѣстью, то я...

— Позвольте, я знаю, что вы художникъ, можете сыграть всякую роль, но я вамъ говорю, что вы хитрите и съ перваго же дня оттираете людей, которые могутъ вамъ мѣшать.

— Въ чемъ-съ, смѣю спросить?

— Рисоваться.

— Я стараюсь не обижаться и поставлю вамъ на видъ, что я не одного Райнера прошу повременить, а всю его компанію. Неужели же я всѣхъ боюсь.

— Конечно. Вы ихъ знали, пока они были вамъ нужны, а теперь... вы братоваться съ ними не хотите. Вамъ нравится первая роль.

— Вотъ и начало!—грустно произнесъ Бѣлоярцевъ.

— Да, скверное начало: старайтесь поправить, — произнесла Лиза и, поклонившись всѣмъ, пошла къ дверямъ коридора.

— Ну, характерецъ,—сказала ей вслѣдъ Бертольди.

Бѣлоярцевъ покачалъ головой, другіе не сказали ни слова.

«Выгнать ее, или все бросить,—другого спасенья нѣтъ»,— подумалъ Бѣлоярцевъ, и, подойдя къ окну, съ неудовольствіемъ крикнулъ:

— Чей это образъ тутъ на виду стоитъ?

— Моя, сударь, моя икона, — отозвалась вошедшая за Лизинымъ платкомъ Абрамовна.

— Такъ уберите ее,—нервно отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.

Няня молча подошла къ окну, перекрестясь взяла икону и, вынося ее изъ залы, вполголоса произнесла:

— Видно мутитъ тебя ликъ-то Спасовъ,—не стерпишь.

— Ну, господа, а другіе вопросы,—возгласила Бертольди и, вынувъ изъ кармана бумажку, начала читать:—«*Вопросъ первый:* о прислугѣ, о ея правахъ и обязанностяхъ въ ассоціаціи, какъ ея сочленовъ». — Впрочемъ, я съ ними уже говорила: они ничего не понимаютъ и хотятъ платы.— «*Вопросъ второй*: о дняхъ отдохновенія и собраній». — Мнѣніе Бѣлоярцева, Красина, Прорвича и Ревякина устранить христіанскій календарь и принять раздѣленіе на декады. Десятый день будетъ днемъ отдохновеній и собраній. — Къ вопросу о прислугѣ, Бѣлоярцевъ, вы говорили присоединить, гдѣ наши слуги должны обѣдать: особо, или съ нами? Вносить завтра этотъ вопросъ?

— А? вносите, что хотите, — порывисто отвѣтилъ Бѣлоярцевъ и, ни съ кѣмъ не простившись, пошелъ въ свою комнату.

Женщины посидѣли еще нѣсколько минутъ въ раздумьѣ и тоже одна за другой тихо разошлись по своимъ комнатамъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Дуэнья.

Ступина, проходя мимо двери Лизы, зашла къ ней на одну минутку.

— Знаете, какъ, однако, что-то непріятно.

— Холодно въ домѣ,—проронила Лиза.

— Нѣтъ, какая-то пустота, тоска... Право, мнѣ, кажется, ужъ стало жаль своей квартирки.

— Охъ, пожалѣешь, матушка! еще и не разъ одинъ пожалѣешь, — отозвалась ей няня, внося тюфячокъ и подушки.

— Тебѣ же, няня, поставлена постель въ особой комнатѣ,—замѣтила Лиза.

— А поставлена, пусть тамъ и стоитъ.

— Гдѣ же ты тутъ будешь спать?

— А вотъ, гдѣ стою, тутъ и лягу. Пора спать, матушка,— отнеслась она къ Аннѣ Львовнѣ, разстилая тюфячокъ поперекъ двери.

— И охота вамъ, няня, здѣсь валяться.

— Охота, другъ ты мой, охота. Боюсь одна спать въ комнатѣ. Непривычна къ особымъ покоямъ.

Няня, проводивъ Ступину, затворила за нею дверь, не запиравшуюся на ключъ, и легла на тюфячокъ, постланный поперекъ порога. Лиза читала въ постели. По коридору два раза раздались шаги пробѣжавшей горничной, и въ домѣ все стихло. Ночь стояла бурная. Вѣтеръ со взморья рвалъ и сердито гудѣлъ въ трубахъ.

— Разбойники,—тихо, какъ бы во снѣ, проговорила няня.

— Такъ ихъ и папенька покойный, отпуская свою душечку честную, назвалъ разбойниками, — прошептала она еще черезъ нѣсколько минутъ.

— Господи! Господи, за что только я-то на старости лѣтъ гублю свою душу въ этомъ вертепѣ анаѳемскомъ,— начала она въ-третьи.

Лиза молча читала, не обращая никакого вниманія на эти монологи.

— Сударыня!—воскликнула, наконецъ, старуха.

— Ну,—отозвалась Лиза.

— Я завтра рано уйду.

— Иди.

— Пойду къ Евгеніи Петровнѣ.

— Иди, иди, пожалуйста.

— Хоть, посмотрю, какъ добрые люди на свѣтѣ живутъ.

Лиза опять промолчала.

— А мой вотъ тебѣ сказъ,—начала няня:—срамъ намъ такъ жить. Что это?

— Что?—спросила Лиза.

— Это... распутные люди такъ живутъ.

Лиза вспыхнула.

— Гдѣ ты живешь? ну гдѣ? гдѣ? Этакъ развѣ дѣвушки добрыя живутъ? Ты со вставанья съ голой шеей пройдешь, а на тебя двадцать человѣкъ смотрѣть будутъ.

— Оставь, няня,—серьезно произнесла Лиза.

— Не оставлю, не оставлю, пока я здѣсь, черезъ кости мои старыя развѣ кто перейдетъ. Лопнетъ мое терпѣнье, тогда что хочешь, то и твори.—Срамница!

Лизой овладѣло совершенное бѣшенство.

— Ты просто глупа,—сказала она рѣзко Абрамовнѣ.

— Глупа, мать моя, глупа,—повторила старуха, никогда не слыхавшая такого слова.

— Не глупа, а просто дура, набитая, старая дура,—повторяла еще злѣе Лиза и, дунувъ на свѣчку, завернулась съ головою въ одѣяло.

Обѣ женщины молчали и обѣимъ имъ было очень тяжело; но няня не умилялась надъ Лизой и не слыхала горькихъ слезъ, которыми до бѣла свѣта проплакала подъ своимъ одѣяломъ со всѣми и со всѣмъ расходящаяся дѣвушка.

Не спалъ въ этомъ домѣ еще Бѣлоярцевъ. Онъ проходилъ по своей комнатѣ цѣлую ночь въ сильной тревогѣ. То онъ бралъ въ руки одинъ готовый слѣпокъ, то другой, потомъ опять онъ бросалъ ихъ и тоже только передъ утромъ совсѣмъ одѣтый упалъ на диванъ, не зная какъ вести себя завтра.

«Чортъ меня дернулъ заварить всю эту кашу и взять на себя такую обузу, особенно еще и съ этимъ чертенкомъ въ придачу»,—думалъ онъ, стараясь заснуть и позабыть непріятности своего генеральскаго поста.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Тополь да березка.

На разсвѣтѣ слѣдующаго дня Абрамовна, приготовивъ все нужное ко вставанью своей барышни, перешла пустынный дворъ ассоціаціоннаго дома и поплелась въ Измайловскій полкъ. Долго она освѣдомлялась объ адресѣ и, наконецъ, нашла его.

Абрамовна не пошла на указанный ей парадный подъѣздъ, а отыскала черную лѣстницу и позвонила въ дверь въ третьемъ этажѣ. Старуха сказала дѣвушкѣ свое имя и

присѣла на стульцѣ, но не успѣла она вздохнуть, какъ за дверью ей послышался радостный восклікъ Женни, и въ ту же минуту она почувствовала на своихъ щекахъ теплый поцѣлуй Вязмитиновой.

— Голубка моя, красавица моя!—лепетала старуха, ловя ручку Евгеніи Петровны. — Ручку-то, ручку-то мнѣ свою пожалуй.

— Какъ это ты, няня? Откуда ты? — спрашивала ее между тѣмъ Женни, и ничего нельзя было разобрать, кто о чемъ спрашивалъ и кто что отвѣчалъ.

Евгенія Петровна показала старухѣ дѣтей, квартиру и, наконецъ, стала поить ее чаемъ.

Черезъ полчаса вышелъ Вязмитиновъ, тоже встрѣтилъ старуху привѣтливо и скоро уѣхалъ.

Послѣ его отъѣзда Евгенія Петровна въ десятый разъ принялась разспрашивать старуху о житьѣ Лизы и все никакъ не брала въ толкъ ея разсказа.

— Я и сама, другъ мой, ничего не понимаю, что это они дѣлаютъ,—отвѣчала няня, покачивая на колѣняхъ двухлѣтняго сынишку Евгеніи Петровны.

— Поѣдемъ къ ней, няня!

— Поѣдемъ, душа моя, пожалуйста поѣдемъ!

Евгенія Петровна накинула бурнусъ и вышла со старухой. Черезъ часъ онѣ остановили своего извозчика у дома ассоціаціи.

— Пойдемъ по черной лѣстницѣ,—сказала няня и, введя Евгенію Петровну въ узенькій коридоръ, отворила передъ нею дверь въ комнату Лизы.

Лиза стояла спиною къ двери и чесала сама свою голову. Услыхавъ, что отворяютъ дверь, она оглянулась.

— Безстыдница, безстыдница,—произнесла, покачивая головой, Вязмитинова и остановилась.—Не узнаешь?—спросила она, дрожа отъ нетерпѣнія.

— Женни!—спокойно сказала Лиза.

— Я, душа моя, я, Лиза моя милая, злая, недобрая, я это,—отвѣчала Евгенія Петровна и, обнявъ Бахареву, цѣловала ея лицо.

— И не стыдно, — говорила она, прерывая свои поцѣлуи:—за что, про что разорвала дѣтскую дружбу, пропала, не отвѣчала на письма и теперь не рада! Ну, скажи, вѣдь не рада совсѣмъ?

— Нѣтъ, очень рада. Какъ ты похорошѣла, Женни.

— Помилуй, двое дѣтей, какое ужъ похорошѣть! Ну, а ты?

— А я, вотъ какъ видишь.

— Одна все?

— Нѣтъ, съ людьми, — отвѣчала Лиза, слегка улыбнувшись.

— Замужъ нейдешь.

— Никто не беретъ.

— За капризы?

— Вѣрно такъ. Чаю, Женни, хочешь?

— Давай, будемъ пить.

— Вотъ прекрасно-то! — раздался изъ-за двери голосъ, который нѣсколько удивилъ Лизу.

— Можно взойти?—спросилъ тотъ же голосъ.

— Это Розановъ,—идите, идите!—крикнула Женни.

На порогѣ показался Розановъ и съ нимъ дама подъ густымъ чернымъ вуалемъ.

Лиза взглянула на этотъ сюрпризъ, насупивъ бровки.

Дама откинула вуаль и, улыбнувшись, сказала:

— Здравствуйте, Лиза.

— Полинька! Вотъ гостиный день у меня неожиданно.

— А вы отшельницей живете, скрываетесь. Мы съ Женни сейчасъ же отыскали другъ друга, а вы!.. Цѣлые годы въ одномъ городѣ и не дать о себѣ ни слуху, ни духу. Дѣлаютъ такъ добрые люди?

— Господа! не браните меня, пожалуйста: я вѣдь одичала, отвыкла отъ васъ. Садитесь лучше, дайте мнѣ посмотрѣть на васъ. Ну, что ты теперь, Полина?

— Я?—Бабушка, мой другъ, бабушка-повитушка. Выходи замужъ, принимать буду.

— Боже мой! что это тебя кинуло?

— А что?—я очень довольна.

— А ты, Женни?

— Мать двухъ дѣтей.

— Чиновница?

— Да.

— И счастлива?

— Да, и мужъ не бьетъ, какъ ты когда-то предсказывала.

— Значитъ, счастлива?

— Значитъ, счастлива.

Кто-то постучалъ въ двери.

— Войдите, — произнесла Лиза, и на порогѣ показался высокій, стройный Райнеръ.

Онъ возмужалъ и даже немножко не по лѣтамъ постарѣлъ.

Розановъ съ Райнеромъ встрѣтились горячо, по-пріятельски.

— Здравствуйте, шпіонъ! — произнесъ Розановъ при его появленіи.

Райнеръ весело улыбнулся въ отвѣтъ, и они поцѣловались.

Въ залѣ общество сидѣло нахмурившись: все по-вчерашнему еще было въ безпорядкѣ, окна плакали, затопленная печка гасла и забивала дымомъ.

Бѣлоярцевъ молча прохаживался по залѣ и, останавливаясь у окна, дѣлалъ нетерпѣливыя движенія при видѣ стоящихъ у подъѣзда двухъ дрожекъ.

— Бахарева наша уѣзжаетъ куда-то,—сказала, входя въ залу, Бертольди.

— Куда это?—буркнулъ Бѣлоярцевъ.

— Съ своими друзьями.

— И отлично дѣлаетъ.

Евгенія Петровна упросила Лизу погостить у нея дватри дня, пока домъ немножко отогрѣется и все приведется въ порядокъ.

Лиза сдалась на общую просьбу и уѣзжала.

— А сегодняшнее засѣданіе?—крикнула Бертольди проходившей черезъ переднюю Лизѣ.

— Я не буду.

— Какое это у васъ засѣданіе?—спросилъ ее Розановъ на лѣстницѣ.

У Вязмитиновыхъ въ Измайловскомъ полку была прехорошенькая квартира. Она была не очень велика, всего состояла изъ шести комнатъ, но расположеніе этихъ комнатъ было обдумано съ большимъ соображеніемъ и давало возможность расположиться необыкновенно удобно. Кромѣ очень изящной гостиной, зальца и совершенно уединеннаго кабинета Николая Степановича, влѣво отъ гостиной шла спальня Евгеніи Петровны, передѣленная зеленой шелковой драпировкой, за которой стояла ея кровать, и тутъ же въ стѣнѣ была дверь въ маленькую закрытую нишь, гдѣ стояла бѣлая каменная ванна. Затѣмъ были еще двѣ комнаты для стола и для дѣтей и, наконецъ, не въ счетъ покоевъ,

шли дѣвичья съ чернаго входа и передняя съ парадной лѣстницы.

У Вязмитиновыхъ уже все было приведено въ порядокъ, все глядѣло тепло и пріятно.

— Рай у тебя, моя умница, — говорила, раздѣвшись въ дѣтской, няня.

— Дѣйствительно хорошо,—подтвердила Лиза.

Вязмитиновъ, возвратясь къ обѣду домой, былъ очень радъ, заставъ у себя неожиданную гостью. Вечеромъ пріѣхалъ Розановъ, и они посидѣли, вспоминая многое изъ своего прошлаго. Лиза только тщательно уклонялась отъ пытливыхъ вопросовъ Николая Степановича о ея настоящемъ житьѣ. Они взаимно произвели другъ на друга непріятное впечатлѣніе. Лиза сказала о Вязмитиновѣ, что онъ сталъ неисправимымъ чиновникомъ, а онъ отозвался о ней же, какъ о какой-то безпардонной либералкѣ, которая непремѣнно хочетъ передѣлать весь свѣтъ на какой-то свой особенный ладъ, о которомъ и сама она едва ли имѣетъ какое-нибудь опредѣленное понятіе.

На ночь Евгенія Петровна уложила Лизу на диванѣ за драпри въ своей спальнѣ и нѣсколько разъ пыталась добиться у нея откровеннаго мнѣнія о томъ, что она думаетъ съ собой сдѣлать, живя такимъ страннымъ и непонятнымъ для нея образомъ.

— Мой другъ, оставь меня самой себѣ, — тихо, но рѣшительно отвѣчала ей Лиза.

На другой день Розановъ привезъ къ вечеру Райнера. Вязмитинову это очень не понравилось.

— Вѣдь ты же съ нимъ былъ знакомъ, — убѣждалъ его докторъ.

— Да мало ли съ кѣмъ я былъ знакомъ,—отвѣчалъ Вязмитиновъ.

— Чудно, братъ, какъ ты такъ въ генералы и лѣзешь.

— Да, Николая Степановича трудно иногда становится узнавать, — произнесла, краснѣя, Женни, при которой происходилъ этотъ разговоръ. — Ему какъ будто мѣшаютъ теперь люди, которыхъ онъ прежде любилъ и хвалилъ.

Вязмитиновъ замолчалъ и былъ очень вѣжливъ и внимателенъ къ Райнеру.

— Тебѣ, кажется, нравится Райнеръ? — спросила Лизу, укладываясь въ постель, Женни.

— Да, онъ лучше всѣхъ, кого я до сихъ поръ знала,— отвѣчала спокойно Лиза и тотчасъ же добавила:—чудо какъ хорошо спать у тебя на этомъ диванѣ.

Бахарева прогостила у подруги четверо сутокъ и стала собираться въ *домъ*. Въ это время произошла сцена: няня расплакалась и Христомъ-Богомъ молила Лизу не возвращаться.

— Я здѣсь по лѣстницѣ двѣ комнатки нашла,—говорила она со слезами. — Пятнадцать рублей на мѣсяцъ всего. Отлично намъ съ тобою будетъ: кухмистеръ есть на дворѣ, по восьми рублей беретъ, столъ, говоритъ, у меня всегда свѣжій. Останься, будь умница, утѣшь ты хоть разъ меня, старуху.

Лиза сердилась.

— Матушка, Женюшка! умоли-жъ хоть ты ее неумолимую,—приставала, рыдая, старушка.

Ничто не помогло: Лиза уѣхала.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Мірское и гражданское житье.

Прошло полгода. Зима кончилась и начиналась гнилая петербургская весна. Въ положеніи нашихъ знакомыхъ произошло нѣсколько незначительныхъ перемѣнъ. Николай Степановичъ Вязмитиновъ получилъ еще одно повышеніе по службѣ и орденъ, который его директоръ привезъ ему сюрпризомъ во время его домашняго обѣда. Николай Степановичъ, увидя на себѣ орденъ, растерялся, заплакалъ... Вязмитиновъ шелъ въ гору. У него была толпа завистниковъ и ему предсказывали чины, кресты, деньги и блестящую карьеру. Вся эта перемѣна имѣла на бывшаго уѣзднаго педагога свое вліяніе. Онъ много и усердно трудился и не задиралъ еще носа; не говорилъ ни «какъ-съ?», ни «что-съ», но уже видимо солиднѣлъ и не желалъ якшаться съ невинными людьми, величавшими себя въ эту пору громкимъ именемъ *партіи прогресса*. Николай Степановичъ твердымъ шагомъ шелъ впередъ по простой дорогѣ. Начавъ съ отреченія отъ людей и партіи безпардоннаго прогресса, онъ очень въ скоромъ времени нашелъ случай вовсе отречься отъ всѣхъ молодыхъ людей.

Ему предложили очень хорошее мѣсто начальника одного учебнаго заведенія. Николай Степановичъ отказался, объ-

явивъ, что «при его образѣ мыслей, съ теперешними молодыми людьми дѣлать нечего».— Этотъ характерный отзывъ далъ Вязмитинову имя свѣтскаго человѣка съ «либерально-консервативнымъ направленіемъ», а вскорѣ затѣмъ и мѣсто, а съ нимъ и дружеское расположеніе одного директора департамента,—консервативнаго либерала и генерала Горностаева, нѣкогда сотрудника-корреспондента заграничныхъ русскихъ публицистовъ, а нынѣ кстати и некстати повторяющаго: «des reformes toujours, des outopies jamais».

Вмѣстѣ съ этимъ Николай Степановичъ попалъ, черезъ Горностаева, въ члены нѣсколькихъ ученыхъ обществъ и вошелъ въ кружокъ чиновной аристократіи съ либерально-консервативнымъ направленіемъ, занимавшей въ это время видныя мѣста въ департаментской іерархіи.

Новому положенію, новымъ стремленіямъ и симпатіямъ Николая Степановича только немножко не совсѣмъ отвѣчала его жена.

Всѣ консервативные либералы разныхъ вѣдомствъ, сошедшіеся съ Николаемъ Степановичемъ, были очень внимательны и къ Женни. Кроткая, простодушная и красивая Евгенія Петровна производила на нихъ самое выгодное впечатлѣніе, но сама она оставалась равнодушною къ новымъ знакомымъ мужа, не сближалась ни съ ними, ни съ ихъ женами и скоро успѣла прослыть нелюдимкою и даже дурочкой. Женни же, привыкшая къ тишинѣ и безмятежности своей уѣздной жизни, просто тяготилась новыми знакомствами въ той же мѣрѣ, въ какой она дорожила юношеской дружбой Лизы и расположенностью своихъ старыхъ знакомыхъ. Къ тому же, ее не занимали вопросы, интересовавшіе ея мужа, и кружокъ его новыхъ знакомыхъ. Вязмитинову это было очень непріятно. Сначала онъ жаловался женѣ на ея нелюдимство, вредное для его отношеній, потомъ сталъ надѣяться, что это пройдетъ, старался втянуть жену въ новые интересы и съ этою цѣлью записалъ ее въ члены комитета грамотности и общества для вспомоществованія бѣднымъ. Но Женни въ комитетѣ грамотности заскучала о дѣтяхъ и уѣхала, не дождавшись конца засѣданія, а о благотворительномъ обществѣ, въ которое ее записали членомъ, отозвалась, что она тамъ сконфузится и скажетъ глупость.

Вязмитиновъ отказался отъ усилій дать женѣ видное

положеніе и продолжалъ уравнивать себѣ дорогу. Только изрѣдка онъ покашивался на Женни за ея вниманіе къ Розанову, Лизѣ, Полинькѣ и Райнеру, тогда какъ онъ не могъ отъ нея добиться такого же или даже хотя бы меньшаго вниманія ко многимъ изъ своихъ новыхъ знакомыхъ.

Впрочемъ, они жили довольно дружно и согласно. Женни ни въ чемъ не измѣнилась, ни въ нравѣ, ни въ привычкахъ. Сдѣлавшись матерью, она только еще болѣе полюбила свой домашній уголъ и разставалась съ нимъ лишь въ крайней необходимости, и то весьма неохотно. Мужу она ни въ чемъ не противорѣчила, но если бы всмотрѣться въ жизнь Евгеніи Петровны внимательно, то можно бы замѣтить, что Николай Степановичъ въ глазахъ своей жены не вырастаетъ, а малится.

Между различными посѣтителями дома Вязмитиновыхъ исключительными гостями Евгеніи Петровны были только ея прежніе знакомые: Розановъ, Лиза, Полинька Калистратова и Райнеръ.

Если эти лица заходили къ Евгеніи Петровнѣ въ такое время, когда мужа ея не было дома и не случалось никого постороннихъ, то они обыкновенно проходили къ ней черезъ драпированную спальню въ ея розовую чайную, и здѣсь заводились долгія задушевныя бесѣды, напоминавшія былую простоту дома Главацкихъ. Обыкновенно эти гости набѣгали къ Женни около одиннадцати или двѣнадцати часовъ и частехонько засиживались до звонка, возвѣщавшаго въ четыре часа возвращеніе Вязмитинова къ обѣду. Случалось, что Николай Степановичъ, входя въ свою квартиру, въ передней какъ разъ сталкивался съ уходящими пріятелями своей жены и каждый разъ послѣ этого дулся.

Какъ многіе люди, старающіеся изолировать себя отъ прежнихъ знакомствъ, Николай Степановичъ раздражался, видя, что прежніе знакомые понимаютъ его и начинаютъ сами отъ него удаляться и избѣгать съ нимъ натянутыхъ отношеній. Вязмитиновъ не требовалъ, чтобы жена его не принимала въ его отсутствіе своихъ провинціальныхъ друзей, но каждый разъ, встрѣтясь съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ или со всѣми вмѣстѣ въ передней, надувался на нѣсколько дней на жену и тщательно хранилъ многознаменательное молчаніе. Иногда онъ заходилъ нѣсколько далѣе и, наскучивъ молчаніемъ, начиналъ за обѣдомъ разговоръ съ того:

— А что, если бы васъ спросили, какъ относится madame Калистратова къ Розанову? Что бы вы на это отвѣтили?

— Никто меня объ этомъ не спроситъ, — обыкновенно очень спокойно отвѣчала въ такихъ случаяхъ Женни, подавая мужу тарелку, и тотчасъ же мягко переводила разговоръ на другую тему.

Или другой разъ Николай Степановичъ начиналъ рѣчь съ вопроса о томъ, какъ записанъ Полинькинъ ребенокъ?

— Почемъ мнѣ знать это,—отвѣчала Женни.

— А, однако, странно ея положеніе, — замѣчалъ Вязмитиновъ.

Женни конфузилась.

Не менѣе оскорбительные и непріятные запросы Вязмитиновъ часто предлагалъ женѣ насчетъ Лизы и Райнера, но, впрочемъ, всѣхъ ихъ, даже самъ, иногда приглашалъ къ себѣ на ужинъ или чашку чаю.

Въ отношеніи къ Розанову онъ держался иной, не то болѣе искренней, не то болѣе осторожной политики. Розановъ ему служилъ напоминаніемъ прошлаго и, не обращая вниманія на перемѣну, происшедшую въ положеніи Вязмитинова, держалъ себя съ нимъ съ прежнею короткостью, заставлявшею Вязмитинова хотя нехотя жить по-старому. Розановъ говорилъ ему попрежнему *ты;* когда тотъ начиналъ топорщиться, онъ, шутя, называлъ его «царемъ Берендеемъ», подтрунивалъ надъ привычкою его носить постоянно орденъ въ петлицѣ фрака и даже съ нѣкоторымъ цинизмомъ отзывался о достоинствахъ консервативнаго либерализма. Но Вязмитиновъ все это сносилъ и не могъ ни отбиться отъ Розанова, ни поставить его къ себѣ въ болѣе почтительныя отношенія.

Старуха Абрамовна водворилась въ домѣ Вязмитиновыхъ вслѣдствіе нѣсколько ошибочнаго расчета и жила здѣсь, выдерживая «карахтеръ».

Погостивъ съ Лизою у Женни во время приведенія въ порядокъ общественнаго *Дома*, старушка совершенно упилась мирными прелестями тихаго семейнаго житья, къ которому она привыкла, и не могла безъ трепета вспомнить о гражданскомъ *Домѣ* и житьѣ подъ командою Бѣлоярцева, при новыхъ, совершенно непріятныхъ ей порядкахъ. Она просила, умоляла Лизу позволить ей увезти оттуда всѣ ихъ вещи; плакала, бранилась и, наконецъ, объявила:

— Ну, когда такъ хочешь жить, такъ я тебѣ не слуга.

Старушка разсчитывала запугать Лизу и очень грустно ошиблась. Лиза спокойно отказалась отъ ея услугъ и даже похвалила ее за это намѣреніе.

— И что-жъ такое! И Богъ съ тобою совсѣмъ: я и останусь. Авось безъ куска хлѣба не пропаду. Найдутся добрые люди, хоть изъ куска хлѣба возьмутъ еще. На старости лѣтъ хоть болонокъ на дворъ выпущать гожусь.

Лиза не упрашивала, но предложила старухѣ на особое житье денегъ, отъ которыхъ та съ гордостью отказалась и осталась у Женни. Здѣсь она взялась вводить въ дѣтской патріархальные порядки и съ болѣзненнымъ нетерпѣніемъ выжидала, когда Лиза придетъ и сознается, что ей безъ нея плохо.

Время шло; Лиза изрѣдка навѣщала Вязмитинову, но рѣчи о томъ, что ей плохо безъ Абрамовны, никогда не заходило.

Абрамовна съ своей стороны выдерживала характеръ. Съ каждымъ приходомъ Лизы она въ ея присутствіи удвоивала свои заботы о дѣтяхъ Вязмитиновой и вертѣлась съ младшимъ около чайнаго стола, за которымъ обыкновенно шли бесѣды.

Только когда Лиза поднималась идти домой, старуха исчезала изъ комнаты и выползала въ переднюю боковой дверью. Кропочась на прислугу, она съ серьезной физіономіей снимала съ вѣшалки теплое пальто Лизы и, одѣвая ее, ворчала:

— Хоть бы вѣшалку-то, сударыня, приказала прикрѣпить своимъ фрелинамъ.

Полинька Калистратова жила въ небольшой уютной квартиркѣ у Египетскаго моста. Жилье ея состояло изъ двухъ удобныхъ и хорошо меблированныхъ комнатъ, кухни и передней. Съ нею жила опрятная кухарка-нѣмка и то маленькое, повитое существо, которое, по мнѣнію Вязмитинова, ставило Полиньку Калистратову въ весьма фальшивое положеніе. Полинька сама любила это существо со всею материнской горячностью, но еще не привыкла, когда Лиза или Женни освѣдомлялись у нея о ребенкѣ. Одной Абрамовнѣ, когда той случалось навѣстить Полиньку, она показывала ребенка съ восторгомъ. Старушка ласкала дитя, ласкала мать и утѣшала ихъ, говоря:

— Живите, други, живите. А ихъ-ма-хма, что дѣлать-то! Богъ грѣшниковъ прощаетъ.

Розановъ былъ у Полиньки каждый день и привязанность его къ ней нимало не уменьшалась. Напротивъ, гдѣ бы онъ ни былъ, при первомъ удобномъ случаѣ рвался сюда и отдыхалъ отъ всѣхъ трудовъ и непріятностей въ уютной квартиркѣ у Египетскаго моста.

Взглянемъ на житье гражданъ.

Въ *мірѣ* изъ *Дома* доходило очень мало извѣстій, и тѣ, которыя доходили до мірскихъ ушей, были, по бо́льшей части, или слишкомъ преувеличены, или совсѣмъ чудовищно извращены и носили самый грязный, циничный характеръ. Въ мірѣ *Домъ* представлялся прежде всего чѣмъ-то въ родѣ турецкаго гарема или такого жилища, гдѣ главною задачею стоитъ самое безцеремонное отношеніе живущихъ тамъ гражданъ съ живущими гражданками. О нравахъ обитателей этого *Дома* разсказывались чудеса. Въ мірѣ о нравахъ и жизни новаго гражданскаго *Дома* имѣли гораздо меньше вѣрныхъ свѣдѣній, чѣмъ о жизни въ старыхъ католическихъ монастыряхъ, о которыхъ когда-то любили разсуждать.

Гдѣ только міряне интересовались *Домомъ*, тамъ они и сочиняли о немъ разныя небылицы самаго рѣшительнаго характера, не додумываясь до воспроизведенія простыхъ, обыденныхъ будничныхъ явленій обитателей *Дома*. Копошась въ безднѣ грѣховной, міряне, которыхъ гражданскій *Домъ* интересовалъ своею оригинальностью и малодоступностью, судили о его жильцахъ по своимъ склонностямъ и побужденіямъ, упуская изъ виду, что «граждане Дома» старались ни въ чемъ не походить на обыкновенныхъ смертныхъ, а стремились стать выше ихъ; стремились быть для нихъ нравственнымъ образцомъ и выкройкою для повсемѣстнаго распространенія въ Россіи новаго соціальнаго устройства.

Въ *Домѣ* жилось сообразно особымъ уставамъ, безпрестанно обсуживавшимся, реформировавшимся и никогда ни на одну недѣлю не устанавливавшимся statu quo. Комплектъ жильцовъ *Дома* до сихъ поръ считался неполнымъ. Не проходило дня, чтобы тотъ или другой членъ общей квартиры или, какъ ее называлъ Бѣлоярцевъ, «ассоціаціи» не предлагалъ новаго кандидата или кандидатки, но Бѣлояр-

цевъ всегда находилъ въ предлагаемомъ лицѣ тысячу разныхъ дурныхъ сторонъ, по которымъ оно никакъ не могло быть допущено въ «ассоціацію». Безгласный сателлитъ Бѣлоярцева, Прорвичъ, не могъ сдѣлать ему никакой оппозиціи; другихъ мужчинъ въ *Домъ* до сихъ поръ еще не было допущено, женщины молчали, недоумѣвая, что съ ними дѣлаютъ и что имъ дѣлать, чтобы все шло иначе. Онѣ уже ясно начинали чувствовать, что равноправія и равносилія въ ихъ ассоціаціи не существуетъ, что вся сила и воля сосредоточивались въ Бѣлоярцевѣ. Такъ прошелъ первый и другой мѣсяцъ совмѣстнаго житья. Въ теченіе этихъ двухъ мѣсяцевъ каждый день разбирались вопросы: можно ли брать за работу дороже, чѣмъ она стоитъ, хотя бы это и предлагали? Справедливо ли заставлять слугъ открывать двери гостямъ, которые ходятъ не къ нимъ, а къ самимъ гражданамъ? Можно ли писать къ своимъ родителямъ? Можно ли оставаться въ гражданствѣ, обвѣнчавшись церковнымъ бракомъ? и т. п. А главное, все твердилось о трудѣ: о формѣ труда, о правильномъ раздѣленіи труда, о выгодахъ ассоціаціонной жизни, о равномѣрномъ раздѣлѣ заработковъ, а самаго труда производилось весьма мало и заработковъ ни у кого, кромѣ Бѣлоярцева, Прорвича и Кавериной, не было никакихъ.

Протянувъ первый мѣсяцъ, Бѣлоярцевъ свелъ счетъ произведеннымъ въ этотъ мѣсяцъ издержкамъ и объявилъ, что онъ прочитаетъ отчетъ за прошедшій мѣсяцъ въ день первой декады второго.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Первый блинъ.

Дни декадъ, учрежденные гражданами *Дома*, тоже прививались плохо. Въ *Домъ* вообще было вхожихъ немного, но и тѣ часто путали декады и являлись не въ урочные дни. Третья декада имѣла особенный интересъ, потому что въ день ея окончанія долженъ былъ огласиться мѣсячный отчетъ *Дома*, а этимъ интересовались не только граждане, обитающіе въ *Домѣ*, но и всѣ прочіе граждане, связанные съ ними духовнымъ единствомъ. Поэтому, въ день третьей декады, въ *Домъ*, къ восьми часамъ вечера, наѣхало около пятнадцати человѣкъ все гражданскаго направленія. Въ числѣ гостей были: Красинъ, одна молодая дама, не живу-

щая съ мужемъ маіорша Мечникова, съ молоденькою шестнадцатилѣтнею сестрою, только что выпущенною съ пансіонерской скамейки, Райнеръ съ своимъ пансіономъ, Ревякинъ, нѣкогда встрѣтившій Лизу вмѣстѣ съ Прорвичемъ въ гостиницѣ «Италія», и два молодыхъ человѣка, приведенныхъ Красинымъ въ качествѣ стороннихъ посѣтителей, которыхъ надлежало убѣдить въ превосходствѣ новаго рода жизни.

Пустынная зала, приведенная относительно въ лучшій порядокъ посредствомъ сбора сюда всей мебели изъ цѣлаго дома, оживилась шумными спорами гражданъ. Женщины, сидя около круглаго чайнаго стола, говорили о трудѣ; мужчины говорили о женщинахъ, въ углу залы стоялъ Бѣлоярцевъ, окруженный пятью или шестью человѣками. Передъ нимъ стояла госпожа Мечникова, держа подъ руку свою шестнадцатилѣтнюю сестру.

— Прекрасно-съ, прекрасно-съ, — говорилъ Бѣлоярцевъ молоденькой дѣвушкѣ: — даже и такимъ образомъ я могу доказать вамъ, что никто не имѣетъ права продать или купить землю. Пусть будетъ по-вашему, но почитайте-ка внимательнѣе и вы увидите, что тамъ сказано: «*наслѣдите землю*», а не «продайте землю», или не «купите землю».

— Да, это, точно, тамъ сказано такъ, — отвѣчала очень мило и смѣло дѣвочка.

— Вотъ видите!

— Да, только позвольте, тогда вѣдь, когда было это сказано, не у кого было ее покупать, — вмѣшалась сама Мечникова.

— А, это совсѣмъ другое дѣло,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.

— Нѣтъ, какъ же, это необходимо надо разобрать,— вставила Бертольди.

— Ахъ, это совсѣмъ не о томъ рѣчь, — отвѣчалъ нетерпѣливо Бѣлоярцевъ.

— Ну, а если у меня, напримѣръ, есть наслѣдственная земля?—спросила Мечникова.

— Такъ это не въ томъ же смыслѣ совсѣмъ сказано.

— Стало-быть, если я получу по наслѣдству тысячу десятинъ, то я имѣю право одна наслѣдовать эту землю?— освѣдомилась Бертольди.

— Ничего вы не получите по наслѣдству, — отшутился Бѣлоярцевъ.

— Нѣтъ, это непремѣнно надо разобрать, — отвѣчала Бертольди.

Въ девять часовъ убрали самоваръ, и Бѣлоярцевъ, попросивъ гостей къ столу, развернулъ мелко исписанный листъ бумаги, откашлянулся и началъ читать:

«Отчетъ свободной русской ассоціаціи, основанной на началахъ полнаго равенства, за первыя три декады ея существованія.

«Ассоціація наша, основанная въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ для того, чтобы избѣжать всякихъ опасностей, возможныхъ при новизнѣ дѣла и преслѣдованіи его полиціей, въ теченіе трехъ декадъ, или одного христіанскаго мѣсяца своего существованія, имѣла, милостивые государи, слѣдующіе расходы».

Начинались самыя подробныя исчисленія всѣхъ расходовъ на житье въ теченіе прошедшаго мѣсяца.

По окончаніи исчисленія расходовъ, Бѣлоярцевъ продолжалъ:

«Такимъ образомъ, милостивые государи, вы можете видѣть, что на покрытіе всѣхъ рѣшительно нуждъ семи наличныхъ членовъ ассоціаціи, получавшихъ въ *Домѣ* рѣшительно все имъ нужное, какъ-то: квартиру, отопленіе, прислугу, столъ, чай и чистку бѣлья (что составляетъ, при отдѣльномъ житьѣ, весьма немаловажную статью), на все это издержано триста двадцать шесть рублей восемьдесятъ три копейки, что на каждаго изъ насъ составляетъ по двадцати пяти рублей съ ничтожными копейками. Надѣюсь, милостивые государи, что это недорого и что въ раздѣльности каждый изъ насъ не могъ бы прожить на эту сумму, имѣя всѣ тѣ удобства, какія намъ дало житье ассоціаціей».

— И освѣщеніе въ этомъ же числѣ? — спросилъ кто-то изъ гостей.

— Освѣщеніе? Нѣтъ, освѣщенія нѣтъ въ этомъ счетѣ. Въ теченіе первой декады опытъ показалъ, что общественное освѣщеніе неудобно. Нѣкоторые изъ членовъ ассоціаціи желали заниматься въ своихъ комнатахъ; нѣкоторые исключительно занимались по ночамъ, и потому было составлено экстренное засѣданіе, на которомъ положено имѣть общественное освѣщеніе только для прислуги.

— А въ общественныхъ комнатахъ?

— До сихъ поръ у насъ было приготовленное сначала освѣщеніе для этой комнаты.

— Ну, это, однако, надо обсудить, —замѣтила Бертольди.

— Такъ вотъ, господа,—началъ Бѣлоярцевъ:—вы сами видите на опытѣ несомнѣнныя выгоды ассоціаціи. Ясное дѣло, что, издержавъ въ мѣсяцъ только по двадцати пяти рублей, каждый изъ насъ можетъ сдѣлать невозможныя для него въ прежнее время сбереженія и ассоціація можетъ дозволить себѣ на будущее время несравненно большія удобства въ жизни и даже удовольствія.

— Менъ, но нужно же капитализировать сначала эти сбереженія, — замѣтилъ, гнуся и раскачиваясь, Кусицынъ, проживающій у Райнера на «ласковомъ хлѣбѣ».

— Они и будутъ капитализироваться. На мою долю падаетъ двадцать пять рублей съ копейками, вотъ я ихъ и представляю въ кассу ассоціаціи.

Бѣлоярцевъ вынулъ изъ кармана двадцатипятирублевую ассигнацію съ мелкою серебряною монетою и положилъ ихъ на столъ передъ Прорвичемъ, избраннымъ въ кассиры ассоціаціи.

Прорвичъ сдѣлалъ то же, положивъ свои деньги къ деньгамъ Бѣлоярцева.

Лиза приподнялась, посмотрѣла серебряную монету, положенную Бѣлоярцевымъ вмѣстѣ съ ассигнаціею, и вышла въ свою комнату.

Черезъ минуту она воротилась съ двадцатипятирублевымъ билетомъ и серебряной монетой, которые положила къ деньгамъ Прорвича и Бѣлоярцева.

Во время склада этихъ денегъ общество хранило молчаніе.

Когда Лиза положила деньги и сѣла на свое мѣсто, Бѣлоярцевъ постоялъ нѣсколько минутъ и, обратясь къ Ступиной, которая, краснѣя, шептала что-то Бертольди, спросилъ вполголоса:

— Что вы хотите сказать, Анна Львовна?

Ступина еще болѣе покраснѣла и, смотря на свою мантилію, съ принужденной улыбкой выговорила:

— У меня нѣтъ денегъ; я не могла ничего заработать.

— Что жъ такое, — снисходительно отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.—Ассоціація можетъ вамъ кредитовать.

— Въ этомъ-то и сила ассоціаціи,—замѣтила Бертольди.

— Это васъ не должно отѣснять.

— Какъ же не должно? — еще болѣе конфузясь, проронила Ступина, чувствуя, что на нее всѣ смотрятъ.

— Вотъ madame Каверина имѣла заработокъ,—разсуждалъ Бѣлоярцевъ, — но она имѣла непредвидѣнные расходы по случаю болѣзни своего ребенка, и ей ассоціація тоже кредитуетъ, такъ же какъ и другимъ, которые еще не оріентировались въ своемъ положеніи.

— Менъ, но я думаю, что лѣченіе больныхъ должно быть общею обязанностью ассоціаціи,—замѣтилъ опять Кусицынъ.

— Да-съ, это такъ; но пока все это еще не совсѣмъ конституировалось,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ: — это нѣсколько трудно.

— Менъ, что жъ тутъ труднаго: внести на общій счетъ, и только.

— Да, это будетъ, это все будетъ современемъ.

— Объ этомъ, однако, надо разсудить, — вставила Бертольди.

— Да, конечно: можно ангажировать будетъ доктора.

— Розановъ охотно согласится лѣчить безъ всякой платы,—замѣтила Лиза, глядя сквозь свои пальцы на свѣчу.

— Ну, видите... Розановъ... Это не такъ удобно, — отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.

— Отчего же это неудобно?

— Мы можемъ найти другого врача. Наконецъ, изъ сбереженій... Да вотъ и Сулима не откажется.

— Я очень радъ,—отвѣчалъ Сулима.

— Да, а то Розановъ, конечно, человѣкъ свѣдущій, но... Неудобно какъ-то. Полицейскій врачъ, — пояснилъ Бѣлоярцевъ, обращаясь ко всему обществу.

— У васъ все неудобно,—тихо произнесла Лиза.

— Да, наконецъ, это все, Лизавета Егоровна, можетъ устроиться и безъ одолженій. Начало хорошо и будемъ тѣмъ пока довольны.

Бѣлоярцевъ сложилъ свой отчетъ и всталъ съ своего мѣста.

— Мм... ну, а что же вторая половина отчета?—освѣдомился, не оставляя стула, Кусицынъ.

— Отчетъ конченъ.

— Мм... а гдѣ же доходы ассоціаціи?

— Какіе же еще доходы?

— Ну, прибыль отъ труда?

— Да, это самое интересное,—отозвался Красинъ.

— Какая же, господа, прибыль? Теперь еще нѣтъ сбереженій.

— Мм... ну, а что же въ кассу поступило?

— Да, вотъ, семьдесятъ пять рублей поступаетъ въ возвратъ.

— Менъ, ну, а остатки отъ вашего заработка?

— Какъ отъ моего заработка!

— Ну, да, отъ заработка. Вы сколько заработали въ теченіе этого мѣсяца?

— Я?

— Мм... ну, да, вы.

— Я... я, право, не считалъ.

— Ну, какъ же. Это надо считать.

— Позвольте, для чего же это считать?

— Мм... ну, для того, чтобы знать, что поступаетъ въ общую кассу прибылью.

Бѣлоярцевъ затруднялся.

— Позвольте, господа, — началъ онъ:—я думаю, что никому изъ насъ нѣтъ дѣла до того, какъ кто поступитъ съ своими собственными деньгами. Позвольте, вы, если я понимаю, не того мнѣнія о нашей ассоціаціи. Мы только складываемся, чтобы жить дешевле и удобнѣе, а не преслѣдуемъ другихъ идей.

— Менъ! Ну, такъ это значитъ все пустое дѣло стало. Я думалъ, что весь заработокъ складывается вмѣстѣ и изъ него общій расходъ: вотъ это дѣло достойное вниманія.

— Нѣтъ, совсѣмъ не то...

— Менъ,—ну, да: это значитъ у васъ общія комнаты съ общимъ столомъ.

— Нѣтъ, опять не то-съ.

— Нѣтъ, именно то.

— Господа! — сказалъ, поднимаясь, молчавшій до сихъ поръ Райнеръ. — При первой мысли объ устройствѣ этой общины, въ обсужденіи котораго мнѣ позволено было участвовать, я имѣлъ честь много разъ заявлять, что община эта будетъ имѣть значеніе тогда, если въ ней станутъ трудиться *всѣ*, не считаясь, кто сколько можетъ заработать, и *соединять заработокъ*, чтобы изъ него производить расходъ на всѣхъ. Тогда положеніе дамъ, вошедшихъ въ этотъ

общественный союзъ, было бы, дѣйствительно, улучшено, потому что онѣ, трудясь столько же, какъ всѣ прочіе, получили бы столько же и удобствъ, и сбереженій, какъ всѣ прочіе члены союза. Мнѣ кажется, что такъ это было понято и всѣми.

Всѣ молчали.

— Нѣтъ, это только говорилось, — произнесъ Бѣлоярцевъ.

— Ну, по крайней мѣрѣ, я пока понималъ это такъ и искалъ чести принадлежать только къ такому союзу, гдѣ бы избытки средствъ, данныхъ мнѣ природою и случайностями воспитанія, могли быть раздѣлены со всѣми по праву, которое я признаю за обществомъ, но о такомъ союзѣ, какимъ онъ выходитъ, судя по послѣднимъ словамъ господина Бѣлоярцева, я такого же мнѣнія, какъ и господинъ Кусицынъ.

— Менъ, ну, конечно: это комнаты съ мебелью и общимъ столомъ.

— И только,—подтвердилъ, садясь, Райнеръ.

Женщины *Дома* и гости молчали. Бѣлоярцевъ находился въ замѣшательствѣ.

— Господа!—началъ онъ весьма тихо:—всякое дѣло сначала должно вести полегоньку. Я очень хорошо понимаю, къ совершенію чего призвана наша ассоціація, и надѣюсь, что при дружныхъ усиліяхъ мы достигнемъ своей цѣли, но пока не будьте къ намъ строги, дайте намъ осмотрѣться; дайте намъ, какъ говорятъ, на головѣ поправить.

— Да, объ этомъ надо разсудить, это нельзя такъ оставить,—возгласила Бертольди.

Засѣданіе считалось конченнымъ.

Райнеръ и нѣсколько другихъ встали и начали ходить по смежной комнатѣ.

Черезъ полчаса *Домъ* опустѣлъ отъ всѣхъ стороннихъ посѣтителей, кромѣ Райнера, котораго Бѣлоярцевъ упросилъ ночевать, чтобы посовѣтоваться.

— Менъ, Райнеръ, вы остаетесь здѣсь?—спросилъ, вступая изъ передней въ залу, Кусицынъ.

— Да, я останусь,—отвѣчалъ Райнеръ.

— Менъ, ну, такъ дайте же мнѣ денегъ на извозчика.

Райнеръ покопался въ карманѣ и сказалъ:

— Со мною нѣтъ денегъ.

— Ну, а какъ же завтра на обѣдъ? Вы займите у кого-нибудь.

Райнеръ взялъ у Прорвича три рубля и отдалъ ихъ Кусицыну.

— Гм! а туда же о трудѣ для общей пользы толкуетъ,— произнесъ, туша лишнія свѣчи, Бѣлоярцевъ.

— Тс! полноте, — остановилъ его, покраснѣвъ до ушей, Райнеръ.

Бѣлоярцевъ уложилъ Райнера въ своей комнатѣ и долго толковалъ съ нимъ, стараясь всячески держаться передъ Райнеромъ покорнымъ ученикомъ, который послушенъ во всемъ, но только имѣетъ опытъ, обязывающій его принимать теоретическіе уроки, соображая ихъ съ особенными условіями, въ которыхъ учитель не компетентенъ.

Загасивъ часа въ три свѣчу и завернувшись въ одѣяло, Бѣлоярцевъ думалъ:

«Это, значитъ, подъ весь заработокъ подходитъ. Ахъ, ты чортъ васъ возьми! Вотъ если бы теперь вмѣшалась въ это полиція, да разогнала насъ! Милое бы дѣло было. Не зналъ бы, кажется, которому святителю молиться и которымъ чудотворцамъ обѣщаться.»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Девятый валъ.

Со страхомъ, какъ мореходецъ ждетъ девятаго вала, ждалъ Бѣлоярцевъ девятой декады, въ которую должно было происходить третье общее собраніе гражданъ.

Трепка, вынесенная имъ въ первомъ общемъ собраніи, его еще не совсѣмъ пришибла. Онъ скоро оправился, просилъ Райнера не обращать вниманія на то, что сначала дѣло идетъ не совсѣмъ на полныхъ соціальныхъ началахъ, и все-таки помогать ему словомъ и содѣйствіемъ. Потомъ обошелъ другихъ съ тою же просьбою; со всѣми ласково поговорилъ и успокоился.

Преданный всякому общественному дѣлу, Райнеръ хотѣлъ вѣрить Бѣлоярцеву и нимало не сердился на то, что тотъ оттеръ его отъ *Дома*, хотя и хорошо понималъ, что весь этотъ маневръ произведенъ Бѣлоярцевымъ единственно для того, чтобы не имѣть возлѣ себя никого, кто бы могъ помѣшать ему играть первую роль и еще вдобавокъ вносить

такія невыгодныя для собственнаго кармана начала, какихъ упорно держался энтузіастъ Райнеръ.

Ничего этого Райнеръ не помнилъ, когда дѣло касалось до дѣла.

Какъ Алексѣй Сергѣевичъ Богатыревъ отыскивалъ родственниковъ, такъ онъ ползкомъ, на днѣ морскомъ, гдѣ только могъ, добывалъ работу для гражданокъ *Дома*; которой добылъ переводы, которой нашелъ музыкальные уроки, которой уступилъ часть своихъ уроковъ, — словомъ, въ теченіе мѣсяца всѣмъ досталъ занятій, кромѣ Бертольди, которая, какъ вышло на повѣрку, хвастала своими трудами у какого-то извѣстнаго ей московскаго пошляка-редактора. Она, за исключеніемъ папиросъ, ничего не умѣла дѣлать, и чистосердечный Райнеръ съ полнѣйшею наивностью предлагалъ ей клеить папиросныя гильзы для табачной лавочки, обѣщаясь самъ всегда сбывать ихъ. Бертольди очень оскорбилась этимъ предложеніемъ и съ гордостью его отвергнула.

— Вѣдь все равно трудъ,—говорилъ ей Райнеръ.

— Нѣтъ-съ, это еще нужно обсудить, — отвѣчала Бертольди. — Заготовленіе предметовъ роскоши я не признаю трудомъ, достойнымъ развитого работника. Дѣлать букли, перчатки или кружева, по-моему, значитъ поощрять человѣческую пошлость.

— Но вѣдь вы говорили, что папиросы потребность.

— Да, но не первая потребность.

— Ну, я не знаю,—отвѣчалъ Райнеръ, опять ломая голову, какую бы работу приноровить этому гражданскому экземпляру.

— Посовѣтуйте ей давать танцовальные уроки,—сказалъ шутя Розановъ, у котораго Райнеръ при встрѣчѣ просилъ, нельзя ли достать Бертольди какихъ-нибудь занятій.

Райнеръ при своемъ взглядѣ на трудъ и это принялъ серьезно.

— Вотъ, mademoiselle Бертольди, и для васъ нашлось занятіе, — сказалъ онъ, усаживаясь къ чайному столу, за которымъ сидѣло общество.

— Что такое?—пискнула Бертольди.

— Не хотите ли давать уроки танцевъ?

— Что тако-ое?

— Танцовать учить не хотите ли?—повторилъ Райнеръ,

и не могъ понять, отчего это не только Бѣлоярцевъ и Прорвичъ, но всѣ дамы и случившійся здѣсь Красинъ и даже Лиза такъ и покатились отъ смѣха, глядя на кругленькую фигурку Бертольди.

Райнеръ нѣсколько смѣшался и, глядя на всѣхъ, не понималъ, что случилось, достойное такого смѣха. По его понятіямъ о трудѣ, онъ съ совершеннымъ спокойствіемъ передалъ бы ни къ чему неспособной Бертольди предложеніе даже прыгать въ обручъ въ манежѣ или показывать фокусы, или, наконецъ, приготовлять блестящую ваксу, такъ какъ она когда-то, по ея собственнымъ словамъ, «работала надъ химіей».

— Танцовальные уроки, — объяснялъ онъ: — обѣщался для васъ найти Розановъ.

— А, такъ это онъ! О, этотъ Розановъ всесовершеннѣйшій подлецъ! — воскликнула Бертольди, раздражаемая нескончаемымъ смѣхомъ гражданъ.

Райнеръ, круглый невѣжда въ женской красотѣ, все-таки не понималъ, что дурного или смѣшного было въ переданномъ имъ предложеніи Розанова, но, однако, рѣшился впередъ оставить Бертольди въ покоѣ и прекратилъ неудачные поиски удобныхъ для нея занятій.

Впрочемъ, кромѣ Кавериной, всѣ прочія женщины работали плохо. Каверина зарабатывала болѣе всѣхъ. Лиза влегла въ работу, какъ горячая лошадь въ потный хомутъ, но работа у ней не спорилась и требовала поправокъ; другія работали еще безуспѣшнѣе.

Райнеръ помогалъ каждой насколько былъ въ силахъ, и это не могло не отозваться на его собственныхъ занятіяхъ, въ которыхъ начали замѣчаться сильныя упущенія. Къ концу мѣсяца Райнеру отказали за неглежировку отъ нѣсколькихъ уроковъ. Онъ перенесъ это весьма спокойно и продолжалъ еще усерднѣе помогать въ работахъ женщинамъ *Дома*.

Такимъ образомъ, не допущенный въ дѣйствительные члены союза, онъ на самомъ дѣлѣ былъ главнымъ и притомъ совершенно безкорыстнымъ его работникомъ.

Бѣлоярцевъ очень радовался такому обороту дѣлъ и оказывалъ Райнеру всѣ видимые знаки вниманія.

Бѣлоярцевъ, впрочемъ, никогда никого не осаживалъ въ

глаза и никому не отказывалъ въ знакахъ своего благорасположенія.

У него была другая метода для расчета съ людьми, которые ему не нравились или которыхъ почему-нибудь просто ему нужно было спрятать въ карманъ.

Онъ, напримѣръ, не тронулъ Кусицына, залившаго ему сала за шкуру въ засѣданіи третьей декады и не выругалъ его передъ своими, послѣ его отъѣзда, а такъ, спустя денька два, началъ при каждомъ удобномъ случаѣ представлять его филантропію въ жалко-смѣшномъ видѣ. И ужъ при этомъ не позабыто было ничто: ни его лисья мордочка, ни его мычащій говоръ, ни его проживательство у Райнера, ни даже занятые, по его безцеремонному требованію, три рубля. И все это дѣлалось всегда такъ во-время, такъ кстати, что никто не заподозрилъ бы Бѣлоярцева въ затаенной враждѣ къ гражданину Кусицыну; всякому этотъ Кусицынъ становился жалокъ и смѣшонъ и самыя замѣчанія, сдѣланныя имъ Бѣлоярцеву, обращались въ укоръ ему же самому.

Такъ и всегда поступалъ Бѣлоярцевъ со всѣми и, надо ему отдать честь, умѣлъ онъ дѣлать подобныя дѣла съ неподражаемымъ артистическимъ мастерствомъ. Проснется послѣ обѣда, покушаетъ въ своей комнатѣ конфетокъ или орѣшковъ, надѣнетъ свой архалучокъ и выйдетъ въ общую залу пошутить свои шуточки—и ужъ пошутитъ!

Къ концу шестой декады Бѣлоярцевъ былъ въ самомъ игривомъ расположеніи духа. Ожидая второго общаго собранія, онъ сдѣлывался съ нѣкоторыми господами не только за прошлое, но устанавливалъ нѣкоторыхъ на точку вида и для будущаго. «Такъ какъ, молъ, вы, милочки мои, можете говорить то-то и то-то,—соображалъ Бѣлоярцевъ,—такъ я сдѣлаю, чтобъ ваши слова принимались вотъ такъ-то и такъ-то». Вообще Бѣлоярцеву довольно было открыть, что извѣстный человѣкъ его видитъ и понимаетъ, и этотъ человѣкъ тотчасъ же становился предметомъ его заботливости до тѣхъ поръ, пока удавалось дискредитовать этого человѣка въ мнѣніи всѣхъ людей, нужныхъ такъ или иначе Бѣлоярцеву. Зато Бѣлоярцевъ любилъ и поощрять своихъ сателитовъ и вербовать ихъ, особенно въ послѣднее время, безъ особенной трудности.

Авторитетъ Бѣлоярцева въ *Домѣ* росъ и крѣпъ, какъ

сказочный богатырь, не по днямъ, а по часамъ. Этого авторитета не признавали только Райнеръ и Лиза, видѣвшіе Бѣлоярцева насквозь, но они молчали, а онъ передъ ними до поры до времени тоже помалчивалъ.

Второго общаго собранія онъ ожидалъ съ нетерпѣніемъ. Община крѣпла, можно было показать заработки и поговорить о сбереженіяхъ. Чтобы оправдать свои соображенія насчетъ близкой возможности доставлять членамъ союза не только одно полезное, но даже и пріятное, Бѣлоярцевъ одинъ разъ возвратился домой въ сопровожденіи десяти человѣкъ, принесшихъ за нимъ болѣе двадцати вазоновъ разныхъ экзотическихъ растеній, не дорогихъ, но весьма хорошо выбранныхъ.

Дамы безъ конца благодарили за этотъ любезный сюрпризъ, и Бѣлоярцевъ прелюбезно устранялъ отъ себя эти благодарности.

А между тѣмъ наступила шестая декада и въ восемь часовъ вечера начали сходиться граждане.

Засѣданіе шестой декады началось очень оживленно.

Райнеръ пріѣхалъ въ *Домъ* часа за два до сбора гражданъ и привезъ съ собою рѣдкость, китайца Фи-ю-фи, съ которымъ онъ былъ знакомъ, живя въ Англіи. Китаецъ былъ человѣкъ весьма молодой и любознательный: онъ прожилъ около двухъ лѣтъ въ Европѣ, объяснялся немного по-англійски, много видѣлъ и теперь возвращался домой черезъ Россію. Отличительною чертою характера Фи-ю-фи было то, что онъ никогда ничему не удивлялся, или, по крайней мѣрѣ, весьма тщательно скрывалъ свое удивленіе и любилъ для всѣхъ чудесъ европейской цивилизаціи отыскивать подобія въ китайской жизни. Онъ былъ консерваторъ и пессимистъ. Онъ не вѣрилъ ни въ какія реформы, считалъ все существующее на землѣ зло необходимымъ явленіемъ своего времени, и хотя не отвергалъ какого-то прогресса, но ожидалъ его не отъ людей, а отъ времени, и людямъ давалъ во времени только пассивное значеніе. Райнеръ, познакомясь съ Фи-ю-фи, часто бесѣдовалъ съ нимъ объ учрежденіяхъ поднебесной имперіи и указывалъ ему на поражающую нищету бѣднаго китайскаго населенія; Фи-ю-фи указывалъ Райнеру на то же самое въ Англіи и Италіи и другихъ мѣстахъ цивилизованной Европы. Райнеръ показывалъ ему Poor Union въ Борнетѣ,—Фи-ю-фи нашелъ,

что это для него вовсе не ново. Райнеръ разъяснялъ ему трактаты объ экономическихъ реформахъ, — китаецъ и къ нимъ относился совершенно равнодушно.

— Да, говорятъ, говорятъ,—отвѣчалъ онъ, но только.

Встрѣтясь съ этимъ азіатскимъ экземпляромъ въ Петербургѣ, Райнеръ сдѣлался его чичероне и привезъ его, между прочимъ, въ качествѣ рѣдкаго посѣтителя, въ *Домъ*, предупредивъ, что здѣсь будутъ жить такъ, какъ онъ читалъ въ нѣкоторыхъ трактатахъ.

Китаецъ очень радъ былъ видѣть все, что̀ имѣло для него какую-нибудь новизну.

Важно расшаркиваясь и внимательно, съ крайнею осторожностью, осматриваясь во всѣ стороны, онъ вступилъ за Райнеромъ въ *Домъ Согласія*. Они застали всѣхъ гражданъ *Дома* въ залѣ, бесѣдующими о трудѣ. Бѣлоярцевъ всталъ при входѣ необычайнаго посѣтителя и привѣтствовалъ его съ тонкостью образованнаго европейца и съ любезностью фермера, приготовляющагося удивить посѣтителя своимъ стадомъ тонкорунныхъ овецъ.

— Это жрецъ?—спросилъ китаецъ Райнера.

Райнеръ объяснилъ ему, что̀ такое Бѣлоярцевъ и женщины, которыхъ они видятъ за столомъ.

Китаецъ мотнулъ головой, Райнеръ сталъ объяснять ему порядки *Дома:* китаецъ опять моталъ головою.

— Это *Фо*; это значитъ они принадлежатъ къ религіи *Фо*, — говорилъ онъ Райнеру, тономъ глубочайшаго убѣжденія.

— Что онъ говоритъ?—безпрестанно освѣдомлялась Бертольди.

Райнеръ перевелъ ей это замѣчаніе.

— Странно! Онъ глупъ вѣрно,—произнесла Бертольди.

— Вы ему разъясните, что это не всѣ мы здѣсь, что у насъ есть свои люди и въ другихъ мѣстахъ.

— Да, это какъ *Фо*, — говорилъ китаецъ, выслушавъ объясненія Райнера.—*Фо* всѣ живутъ въ кумирняхъ и ихъ поклонники тоже приходятъ. Они вмѣстѣ работаютъ: это я знаю. Это у всѣхъ *Фо*.

— Вы разскажите, что мы это разовьемъ, что у насъ будутъ и удобства. Вотъ цвѣты уже у насъ.

— Вотъ этотъ человѣкъ сюда цвѣты принесъ,—говорилъ Райнеръ китайцу.

— Да это все какъ у *Фо*; *Фо* всегда вмѣстѣ живутъ и цвѣты приносятъ.

— Что за пошлякъ!—отозвалась Бертольди, допытавшись у Райнера, о чемъ говоритъ китаецъ.

Между тѣмъ собрались граждане. Собраніе было больше прежняго. Явилось нѣсколько новыхъ гражданъ и одна новая гражданка Чулкова, которая говорила, что она не намѣрена себѣ ни въ чемъ отказывать; что она разъ встрѣтила въ Лѣтнемъ саду человѣка, который ей понравился, и прямо сказала ему:

— Не хотите ли быть со мною знакомымъ?

— Это такъ и слѣдовало, — сказалъ ей тихонько Бѣлоярцевъ.

Чтеніе отчета за вторыя три декады началось въ девять часовъ вечера и шло довольно безпорядочно. Прихожіе граждане развлекались разговорами и плохо слушали отчетъ *Дома*. Резюме отчета было то же, что и въ первый разъ: расходовъ приходилось по двадцати семи рублей на человѣка; уплатили свои деньги Бѣлоярцевъ, Прорвичъ, Лиза и Каверина. Прочіе хотя и имѣли кое-какой заработокъ, но должны были употребить его на покрытіе другихъ нуждъ своихъ и въ уплату ничего представить не могли. Бѣлоярцевъ утѣшался и снова повторялъ объ ожидаемыхъ сбереженіяхъ и объ удобствахъ, которыя съ помощію ихъ станутъ возможны для ассоціаціи. Многіе, однако, чуяли, что это вздоръ и что никакихъ сбереженій не будетъ.

Засѣданіе кончилось довольно рано и довольно скучно. Гости стали расходиться въ одиннадцатомъ часу, торопясь каждый уйти къ своему дому. Китаецъ всталъ и захлопалъ глазами.

— Это когда же начнется? — спросилъ онъ тихонько Райнера.

— Что такое когда начнется?

— Театръ.

— Театръ! Какой театръ?

— Развѣ не будетъ театра?

Райнеръ всталъ и потащилъ съ собою своего азіатскаго друга, ожидавшаго все время театральнаго представленія.

Представленіе началось вскорѣ, но безъ постороннихъ зрителей.

— Сколько стоятъ эти цвѣты?—спросила Лиза Бѣлояр-

цева, когда онъ возвратился, проводивъ до передней послѣдняго гостя.

— Что-то около шестнадцати рублей, Лизавета Егоровна.

— Какъ же вы смѣли опять позволить себѣ такое самоволіе! Зачѣмъ вы купили эти цвѣты?

— Господи Боже мой! сколько вы времени видите здѣсь эти цвѣты и вдругъ такой букетъ, — отвѣчалъ обиженнымъ тономъ Бѣлоярцевъ.

— Я васъ спрашиваю, какъ вы смѣли ихъ купить на общественный счетъ?

— Да отчего же вы ничего не говорили прежде? Вѣдь это, Лизавета Егоровна, странно: такъ жить нельзя.

— И такъ нельзя, нельзя,—отвѣчала запальчиво Лиза.— Mesdames! Васъ не оскорбляетъ этотъ поступокъ? Вспомните, что это второй разъ господинъ Бѣлоярцевъ дѣлаетъ, что хочетъ.

— Вѣдь онъ подарилъ эти цвѣты?—вмѣшалась Ступина.

— Вы подарили эти цвѣты? Ваши они, наконецъ, или общіе? Надѣюсь, общіе, если вы записали ихъ въ отчетъ? Да? Ну, говорите же... Ахъ, какъ вы жалки, смѣшны и... гадки, Бѣлоярцевъ, — произнесла съ неописуемымъ презрѣніемъ Лиза и, вставъ изъ-за стола, пошла къ двери.

— Лизавета Егоровна! — позвалъ ее обиженно Бѣлоярцевъ.

Лиза остановилась и молча оглянулась черезъ плечо.

— По крайней мѣрѣ, мы съ вами послѣ этого говорить не можемъ,—произнесъ, стараясь поправиться, Бѣлоярцевъ.

Лиза пошла далѣе, не удостоивъ его никакимъ отвѣтомъ.

— Это ужасно! это ужасно! — повторяли долго въ залѣ, группируясь около Бѣлоярцева и упоминая часто имя Лизы.

— Или она, или я,—говорилъ Бѣлоярцевъ.

Рѣшено было, что, конечно, не Бѣлоярцевъ, а Лиза должна оставить *Домъ Согласія*.

Лиза узнала объ этомъ рѣшеніи въ тотъ же вечеръ и объявила, что она очень рада никому не мѣшать пресмыкаться передъ кѣмъ угодно, даже передъ Бѣлоярцевымъ.

Съ Лизою поднялась и Ступина, которой все не жилось въ *Домѣ*.

Дней пять онѣ ѣздили, отыскивая себѣ квартиру, но не находили того, чего имъ хотѣлось, а въ это время случились два непріятныя обстоятельства: Райнеръ простудился

и заболѣлъ острымъ воспаленіемъ легкихъ, и прислуга *Дома Согласія*, наскучивъ безтолковыми требованіями гражданъ, взбунтовалась и требовала расчета.

— Что вамъ такое? чѣмъ вамъ худо?—урезонивалъ Бѣлоярцевъ кухарку и дѣвушекъ.

— Какъ не худо, помилуйте,—отвѣчала въ одинъ голосъ прислуга:—не знаемъ, у кого живемъ и кого слушаться.

— Да на что вамъ слушаться!

— Да какъ же хозяина не слушаться! А тутъ, кто тутъ старшій?

— А на что тебѣ старшій! Ну, я вамъ всѣмъ старшій. Надя! приказываю тебѣ, чтобъ ты нынче пришла мнѣ пятки почесать. — Я тебѣ старшій, ты, смотри, слушайся, — приходи.

Дѣвушки фыркали надъ бѣлоярцевскими прибаутками, но дня черезъ два опять начинали:

— Нѣтъ, вы, какъ вамъ угодно, а вы извольте себѣ другую прислугу имѣть.

Надо было перемѣнять прислугу.

Лизы никогда не было дома. На вопросы, которые Бѣлоярцевъ предлагалъ о ней другимъ, ему отвѣчали, что Лиза теперь занята, что она днюетъ и ночуетъ у Райнера, но что она непремѣнно ихъ оставитъ.

Обстоятельство это было для Бѣлоярцева очень непріятно. Онъ началъ поговаривать, что въ интересахъ ассоціаціи это нужно бы прекратить, что онъ готовъ пожертвовать своимъ самолюбіемъ, и проч., и проч.

Ассоціація соглашалась, что лишаться такого члена, какъ Лиза, да еще на первыхъ порахъ, для нихъ весьма не выгодно.

— Это такъ,—подтвердилъ Бѣлоярцевъ, и на слѣдующій день утромъ прочелъ всѣмъ своимъ слѣдующее письмо: «Лишивъ себя права говорить съ вами, я встрѣтилъ въ васъ, Лизавета Егоровна, въ этомъ отношеніи такое сочувствіе, которое меня поставило въ совершенную невозможность объясниться съ вами еще разъ. Вы, повидимому, не находите въ этомъ надобности, но я нахожу и еще разъ хочу испытать, насколько возможно разъяснить возникшія между нами недоразумѣнія. Рѣшившись писать къ вамъ, я вовсе не имѣю въ виду оправдываться въ вашихъ глазахъ въ чемъ бы то ни было. Въ настоящую минуту, если на-

строеніе вашихъ мыслей еще не измѣнилось, если вы ничего сами себѣ не разъяснили,—то я считаю это дѣломъ безполезнымъ. Странно было бы объяснять кому-нибудь, что я вовсе не то, что обо мнѣ думаютъ, въ то время, когда, можетъ-быть, вовсе не желаютъ никакъ обо мнѣ думать. Я хочу говорить не о себѣ, а о васъ и, устранивъ на время всѣ личные счеты, буду съ вами объясняться просто, какъ членъ извѣстной ассоціаціи съ другимъ членомъ той же ассоціаціи.

«Я слышалъ, что вы насъ покидаете. Въ числѣ прочихъ я считаю необходимымъ высказать по этому поводу мое мнѣніе.

«Еще очень недавно я желалъ, чтобы вы насъ оставили, потому что видѣлъ въ васъ причину всѣхъ раздоровъ, возникавшихъ у насъ въ послѣднее время. Я даже высказалъ это мнѣніе въ полной увѣренности, что вы его узнаете. Нѣсколько позже, когда я уже успѣлъ освободиться изъ-подъ вліянія того предубѣжденія, которое развилось у меня относительно васъ, — нѣсколько позже, положивъ руку на сердце, я могъ уже безпристрастнѣе взглянуть на дѣло и, слѣдовательно, быть строже и къ самому себѣ; я пришелъ къ тому заключенію, что высказывать свои личныя желанія относительно другого никто изъ насъ не въ правѣ, тѣмъ болѣе, если эти желанія клонятся къ удаленію одного изъ членовъ. Если двое не уживаются, то, повидимому, справедливѣе всего было бы предоставить это дѣло сужденію общаго собранія, которое можетъ по этому случаю назначить экстренное засѣданіе и рѣшить этотъ спорный вопросъ на томъ основаніи: кто изъ двухъ полезнѣе для общества, т. е. ассоціаціи.

«Это мнѣніе я высказалъ всѣмъ нашимъ, но тутъ же убѣдился, что эта мѣра, несмотря на всю свою справедливость, вовсе не такъ практична и легко примѣнима, какъ мнѣ казалось прежде.—Разсуждать о возможной полезности людей, не принесшихъ еще никакой существенной пользы, дѣйствительно неловко. Богъ знаетъ, что еще мы сдѣлаемъ; во всякомъ случаѣ заставить нашихъ почтенныхъ членовъ разсуждать объ этомъ, отрывать ихъ для того только, чтобы они, проникнувшись пророческимъ духомъ, изрекли каждый, по мѣрѣ силъ своихъ, прорицанія по поводу нашихъ домашнихъ дрязгъ, — желать этого, по-моему, очень безраз-

судно.—Такимъ образомъ самъ я разрушилъ мною самимъ созданныя предположенія и планы и пришелъ къ тому заключенію, что время, и одно только время, сдѣлаетъ все, что нужно, и притомъ гораздо лучше того, какъ мы думаемъ. Время устроитъ правильныя отношенія и покажетъ людей въ настоящемъ ихъ свѣтѣ и вообще поможетъ многому.

«Все это, разумѣется, можетъ случиться только тогда, когда мы всецѣло рѣшимся довѣриться тѣмъ истинамъ, которыя выработаны частію людьми нашего взгляда за границею, а частію нами самими. Будемъ лучше руководиться тѣмъ, что выработаетъ время, т.-е. самая жизнь, нежели своимъ личнымъ, минутнымъ и, слѣдовательно, не безпристрастнымъ мнѣніемъ.

«Все это въ переводѣ на разговорный русскій языкъ можетъ быть выражено въ слѣдующей формѣ:

«Лизавета Егоровна!

«Хотя я твердо увѣренъ, что вы противъ меня не правы, но для общаго блага я прошу васъ:

«Лизавета Егоровна!

«Попробуйте *на-время* забыть все, что между нами было, и не покидайте насъ.

«Съ отличнымъ уваженіемъ имѣю честь быть Бѣлоярцевъ».

— Это надо прочесть въ экстренномъ засѣданіи,—замѣтила, по окончаніи письма, Бертольди.

— Помилуйте, на что же тутъ экстренное засѣданіе, когда мы все равно всѣ въ сборѣ?

— Да, но все-таки...

— Э, вздоръ: одобряете вы, господа, такое письмо?

Всѣ одобрили письмо, и въ первый разъ, какъ Лиза пріѣхала домой отъ больного Райнера, оно было вручено ей черезъ Бертольди.

Лиза, пробѣжавъ письмо, сказала «хорошо» и снова тотчасъ же уѣхала.

— Что же значитъ это *хорошо*?—добивался Бѣлоярцевъ у Бертольди.

— Ну, разумѣется, остается,—отвѣчала она съ увѣренностью.

А между тѣмъ приближалась девятая декада, тотъ девятый валъ, котораго Бѣлоярцевъ имѣлъ много основаній опасаться. По болѣзни Райнера, ни у кого изъ женщинъ не было никакой работы; самъ Бѣлоярцевъ, находясь въ тре-

вогѣ, тоже ничего не сдѣлалъ въ этотъ мѣсяцъ; прислуга отошла и вновь никого нельзя было нанять. Жили съ одной кухаркой, деревенской бабой Мареой, и ея мужемъ, маленькимъ мужиченкомъ, Мартемьяномъ Ивановымъ, носившимъ необыкновенно огромные сапожищи, подбитые въ три ряда шляпными гвоздями. Мужиченко этотъ состоялъ истопникомъ, ставилъ самовары и исправлялъ должность лакея и швейцара.

Бѣлоярцевъ вовсе и не составлялъ отчета за три послѣднія декады. Нечего было составлять; все шло въ дефицитъ. Онъ ухищрялся выдумать что-нибудь такое, чему бы дать значеніе вопроса, не терпящаго ни малѣйшаго отлагательства, и замять рѣчь объ отчетѣ.

Вопросъ о прислугѣ помогъ ему. Бѣлоярцевъ рѣшилъ предложить, чтобы дать болѣе мѣста равенству, обходиться вовсе безъ прислуги и самимъ раздѣлить между собою всѣ домашнія обязанности.

— Бахарева можетъ наливать чай,—говорилъ онъ, сдѣлавъ это предложеніе въ обыкновенномъ засѣданіи и стараясь, такимъ образомъ, упрочить самую легкую обязанность за Лизою, которой онъ сталъ не въ шутку бояться.— Я буду мести комнаты, накрывать на столъ, а подавать блюда будетъ Бертольди, или нѣтъ, лучше эту обязанность взять Прорвичу. Бертольди нѣтъ нужды часто ходить изъ дому—она пусть возьметъ на себя отпирать двери.

— Я согласна,—отвѣчала Бертольди:—только не ночью; я ночью крѣпко сплю.

— Ночью Мартемьянъ Ивановъ спитъ въ передней.

— Ну, а днемъ я согласна.

— А остальныя обязанности вы, mesdames, разберите между собою.

Такъ рѣшено было жить безъ прислуги и въ день общаго собранія занять публику изложеніемъ выгодъ отъ этой новой мѣры, выработанной самою жизнью.

Вечеръ, въ который должно было происходить третье общее собраніе, былъ темный, гадкій, туманный, какими нерѣдко наслаждается Петербургская Сторона.

По дому давно все было готово къ принятію гостей, но гостей никого не было. Такъ прошелъ часъ и другой. Бѣлоярцевъ похаживалъ по комнатѣ, поправлялъ свѣчи, пере-

вертывалъ цвѣточные вазоны и опять усаживался, а гостей попрежнему не было.

— Вѣрно, никого не будетъ,—проговорилъ онъ.

— Да, надо обсудить, при сколькихъ лицахъ мы можемъ составлять общее собраніе,—замѣтила Бертольди.

— Что жъ тутъ обсуждать: общее собраніе наличныхъ членовъ, да вотъ и все...

— Стало-быть, мы сейчасъ можемъ открыть общее собраніе.

— Конечно, можемъ.

— Господа! по мѣстамъ; интересная вещь: вопросъ о прислугѣ. Бахарева, кажется, еще не знакома съ этимъ вопросомъ.

Лиза, по обыкновенію читавшая, приподняла голову и посмотрѣла вопросительно на Бертольди.

Бѣлоярцевъ воспользовался этимъ движеніемъ и, остановясь противъ Лизы въ полупочтительной, полунебрежной позѣ, самымъ вкрадчивымъ дипломатическимъ баскомъ произнесъ: «Въ одномъ изъ экстренныхъ засѣданій, бывшихъ въ ваше отсутствіе, мы имѣли разсужденіе по вопросу о прислугѣ. Вамъ, Лизавета Егоровна, извѣстно, что всѣ попытки ввесть бывшихъ здѣсь слугъ въ интересы ассоціаціи и сдѣлать ихъ нашими товарищами были безуспѣшны. Выросши въ своекорыстномъ обществѣ, они не могли себѣ усвоить нашихъ взглядовъ и настаивали на жалованьи. Потомъ и жалованье ихъ не удовлетворяло, имъ захотѣлось имѣть *хозяина* (Бѣлоярцевъ пожалъ плечами съ сострадательнымъ удивленіемъ). Мы должны были отпустить трехъ дѣвушекъ и остались при одной Марѳѣ съ ея мужемъ. Вновь приходившіе слуги тоже оказываются неудобными: ни одной нельзя растолковать выгодъ ея положенія въ нашемъ устройствѣ. Что жъ дѣлать! (Бѣлоярцевъ вздохнулъ).

«Мы, Лизавета Егоровна, рѣшили, какъ въ видахъ экономіи, такъ и преслѣдуя идею совершеннаго равенства и братства, жить безъ прислуги. Мы вотъ какъ полагали раздѣлить наши обязанности по дому. (Бѣлоярцевъ разсказалъ то, что мы уже знаемъ, и добавилъ). Мы ждали только вашего согласія для того, чтобы считать это дѣло вполнѣ рѣшеннымъ и практиковать его».

— Что жъ, если это нужно, я согласна,—отвѣчала Лиза,

едва удостоивая Бѣлоярцева во все время этого разговора лѣнивымъ и равнодушнымъ полувзглядомъ.

— Значитъ, мы, господа, можемъ считать этотъ вопросъ вполнѣ рѣшеннымъ.

— Да, если другіе на него согласны,—отвѣчала Лиза.

— Другіе всѣ уже вотировали этотъ вопросъ въ экстренномъ засѣданіи, — отвѣчалъ Бѣлоярцевъ и, измѣнивъ тонъ въ еще болѣе ласковый, благодарилъ Лизу за ея вниманіе къ его просьбѣ.

— Я осталась потому, что это находили нужнымъ для дѣла, а вовсе не для васъ. Вамъ благодарить меня не за что,—отвѣчала Лиза.

Прескучно и пренатянуто становилось, а вечера еще оставалось много. Бѣлоярцевъ кропотался и упрекалъ русскія натуры, неспособныя ничего держаться постоянно.

— Два раза пришли и конецъ, и надоѣло, — разсказывалъ онъ, все болѣе вдохновляясь и расходясь на русскую натуру.

— Они очень умно поступаютъ, — произнесла во время одной паузы Лиза.

— Умно, Лизавета Егоровна?

— Конечно. Здѣсь тоска, комедіи и больше ничего.

Бѣлоярцевъ сталъ оправдываться. Лиза дала ему возможность наговорить бездну умныхъ словъ и потомъ сказала:

— Вы, пожалуйста, не думайте, что я съ вами примирилась. Я не уважаю людей, которые ссорятся для того, чтобы мириться, и мирятся для того, чтобы опять ссориться. Я въ васъ не вѣрю и не уважаю васъ. (Растерявшійся Бѣлоярцевъ краснѣлъ и даже поклонился. Онъ, вѣроятно, хотѣлъ поклониться съ ироніей, но ироніи не вышло въ его неумѣстномъ поклонѣ).—Я думаю, что наше дѣло пропало въ самомъ началѣ, и пропало оно потому, что между нами находитесь вы,—продолжала Лиза.—Вы своимъ мелкимъ самолюбіемъ отогнали отъ насъ полезныхъ и честныхъ людей, преданныхъ дѣлу безъ всякаго сравненія больше, чѣмъ вы, человѣкъ фальшивый и тщеславный. (Бѣлоярцевъ пунсовѣлъ: раздувавшіяся ноздерки Лизы не обѣщали ему ни пощады, ни скораго роздыха).—Вы,—продолжала Лиза,—все постарались перепортить и ничему не умѣете помочь. Безъ всякой нужды вы отдѣлили насъ отъ всего міра.

— Этого требовала безопасность.

— Полноте, пожалуйста: этого требовали ваши эгоистическіе виды. Вмѣсто того, чтобы привлекать людей удобствами жизни нашего союза, мы замкнулись въ своемъ узкомъ кружочкѣ и обратились въ шутовъ, надъ которыми начинаютъ смѣяться. Прислуга насъ бросаетъ; люди не хотятъ идти къ намъ; у насъ скука, тоска, которыя вамъ нужны для того, чтобы только всѣ слушали здѣсь васъ, а не кого другого. Вмѣсто чистыхъ началъ демократизма и всепрощенія, вы ввели самый чопорный аристократизмъ и нетерпимость. Вы вводите теперь равенство, заставляя насъ обтирать башмаки другъ другу, и сортируете людей, искавшихъ возможности жить съ нами, строже и придирчивѣе, чѣмъ каждый, сдѣлавшійся губернскимъ аристократомъ. Вы толкуете о беззаконности наказанія, а сами отлучаете отъ нашего общества людей, имѣющихъ самые обыкновенные пороки. Если бы вы были не фразеръ, если бы вы искали прежде всего возможности спасти людей отъ дурныхъ склонностей и привычекъ, вы бы не такъ поступали. Мы бы должны принимать всякаго, кто къ намъ просится, и дѣйствовать на его нравственность добрымъ примѣромъ и готовностью служить другъ другу. Я полагала, и всѣ или многіе такъ думали, что это такъ и будетъ, а вышло... вотъ эта комедія, разговоры, споры, засѣданія, трата занятыхъ подъ общую поруку денегъ и больше ничего.

— Деньги же цѣлы; онѣ восполняются.

— Неправда. Вы читаете отчеты, въ которые не включается плата за квартиру; вы не объявляете, сколько остается занятыхъ денегъ.

— Денегъ еще много.

— А напримѣръ?

— Около девятисотъ рублей.

— Всего около девятисотъ рублей!

— Да, это за исключеніемъ того, что заплачено за квартиру, на обзаведеніе и на все, на все.

— Ну, господа, мы, значитъ, можемъ себя поздравить. Въ три мѣсяца мы издержали тысячу сто рублей, кромѣ нашего заработка; а домъ у насъ пустъ и о работѣ только разговоры идутъ. Можно надѣяться, что еще черезъ три мѣсяца у насъ ничего не будетъ.

— Что жъ? если вы рисуете себѣ все это такими черными красками и боитесь...—началъ было Бѣлоярцевъ, но

Лиза остановила его словами, что она ничего не боится и остается вѣрною своему слову, но уже ничего не ожидаетъ ни отъ кого, кромѣ времени.

— А наши личныя отношенія съ вами, monsieur Бѣлоярцевъ,—добавила она:—пусть останутся прежнія: намъ съ вами говорить не о чемъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Камрады.

Райнеръ очень медленно оправлялся послѣ своей тяжкой и опасной болѣзни. Во все это время Лиза не оставляла его: она именно у него дневала и ночевала. Ея должность въ чайной *Дома* исправляла Ступина. Райнера навѣщали и Полинька, и Евгенія Петровна; но постоянной и неотлучной сидѣлкой его все-таки была одна Лиза. Въ это время въ *Домѣ* и за *Домомъ* стали ходить толки, что Лиза влюблена въ Райнера, и въ это же время Лиза имѣла случай болѣе, чѣмъ когда-нибудь, узнать Райнера и людей его окружающихъ. Она пришла къ нему на четвертый день его болѣзни, заставъ его совершенно одинокаго съ растерявшейся и плачущей Афимьей, которая разсказала Лизѣ, что у нихъ нѣтъ ни гроша денегъ, что она боится, какъ бы Василій Ивановичъ не умеръ, и чтобы ее не потащили въ полицію.

— За что же въ полицію?—спросила Лиза.

— Да какъ же, матушка барышня. Я ужъ не знаю, что̀ мнѣ съ этими архаровцами и дѣлать. Словъ моихъ они не слушаютъ, драться съ ними у меня силушки нѣтъ, а они все тащатъ, все тащатъ: кто что̀ зацѣпитъ, то и тащитъ. Придутъ будто навѣстить, чаи имъ ставь, да въ лавкѣ колбасы на книжечку бери, а оглянешься — кто-нибудь какую вещь зацѣпилъ и тащитъ. Стану останавливать, мы, говорятъ, его спрашивали. А его что̀ спрашивать! Онъ все равно, что подаруй безштанный. Какъ дитя малое, все у него бери.

Лиза освѣдомилась, гдѣ же товарищи Райнера?

— Да вотъ ихъ, всѣ разбѣжались. Какъ вороны, почуяли, что корму нѣтъ больше, и разбѣжались всѣ. Теперь, докладываю вамъ, который только наскочитъ, цапнетъ что ему надо и мчитъ.

— Кто жъ его лѣчитъ?—освѣдомилась опять Лиза.

— Да кто лѣчитъ? Сулима нашъ прописываетъ. Вотъ сейчасъ передъ вашимъ приходомъ чуть съ нимъ не подралась: рецептъ прописалъ, да смотрю, свои осматки съ ногъ скидаетъ, а его новые сапожки надѣваетъ. Вамъ, говоритъ, пока вы больны, выходить некуда. А онъ молчитъ. Ну, что же это такое: послѣдніе сапожонки, и то у живого еще съ ногъ волокутъ! Вѣдь это жъ аспиды, а не люди.

Лиза взяла извозчика и поѣхала къ Евгеніи Петровнѣ. Оттуда тотчасъ же послала за Розановымъ. Черезъ часъ Розановъ вмѣстѣ съ Лобачевскимъ были у Райнера, назначили ему лѣченіе и послали за лѣкарствомъ на розановскихъ же лошадяхъ.

Лиза возвратилась къ больному отъ Евгеніи Петровны съ бѣльемъ, вареньемъ, лимонами и деньгами. Она застала еще у него Розанова и Лобачевскаго.

— Что?—спросила она шопотомъ Розанова.

— Ничего пока, болѣзнь трудная, но отчаиваться не слѣдуетъ.

— А вы, докторъ, какого мнѣнія? — отнеслась она къ Лобачевскому.

— Наблюдайте, чтобъ не было вѣтру, но чтобъ воздухъ былъ чистъ и чтобъ не шумѣли, не тревожили больного.— Вы заѣзжайте часамъ къ десяти, а я буду передъ утромъ,— добавилъ онъ, обратясь къ Розанову, и вышелъ, никому не поклонившись.

Это было въ началѣ вечера.

Лиза зажгла свѣчу, надѣла на нее лежавшій на каминѣ темненькій, бумажный абажурчикъ и, усѣвшись въ уголкѣ, развернула какую-то книгу. Она плохо читала. Ее занимала судьба Райнера и вопросъ, что онъ дѣлаетъ и что сдѣлаетъ? А тутъ эти странные люди! Что же это такое за подборъ странный,—думала Лиза.—Тамъ вездѣ было чортъ знаетъ что такое, а это ужъ совсѣмъ изъ рукъ вонъ. Неужто этому нахальству нѣтъ никакой мѣры и неужто все это дѣлается во имя принципа?

Часовъ въ десять къ больному заѣхалъ Розановъ, посмотрѣлъ, попробовалъ пульсъ и сказалъ:

— Ничего новаго.

Въ четвертомъ часу ночи заѣхалъ Лобачевскій, перемѣнилъ лѣкарство и ничего не сказалъ.

Передъ утромъ Лиза задремала въ креслѣ и, проспавъ

около часа, встрепенулась и опять начала давать больному лѣкарство.

Въ десять часовъ Райнера навѣстили Розановъ и Лобачевскій.

— Слава Богу, ему лучше, — сказалъ Лизѣ Розановъ.— Наблюдайте только, Лизавета Егоровна, чтобы онъ не говорилъ и чтобы его ничѣмъ не безпокоили. Лучше всего,— добавилъ онъ:—чтобы къ нему не пускали посѣтителей.

Доктора обѣщались заѣхать вечеромъ.

Въ два часа Лиза слышала, какъ Афимья выпроваживала лѣкаря Сулиму.

— Тутъ ужъ настоящіе лѣкаря были,—говорила она ему.

— Поди ты, дура, прочь,—говорилъ Сулима.

— Ну, дура, не дура, а васъ пускать не приказано и ходить вамъ сюда нечего,—отвѣчала раздраженная баба.

Сулима чертокнулъ ее, хлопнулъ дверью и ушелъ.

Около полудня, когда Афимья пошла въ аптеку за новымъ лѣкарствомъ, въ комнату Райнера явились Котырло и Кусицынъ.

— Ну, что, каково вамъ, Райнеръ? — громкимъ и веселымъ голосомъ крикнулъ Котырло.

Лиза остановила его, но было уже поздно: больной проснулся, открылъ на нѣсколько секундъ глаза и завелъ ихъ снова.

— Лучше ему?—нѣсколько тише спросилъ Лизу Котырло.

— Не знаю: ему очень нуженъ покой, — отвѣчала Лиза, кладя конецъ разговору.

— Ну, я пойду, Кусицынъ. Мы себѣ наняли очень хорошенькую квартиру,—счелъ онъ нужнымъ объяснить Лизѣ, которую встрѣчалъ на общихъ собраніяхъ въ *Домѣ Согласія*, кивнулъ головой и вышелъ.

— У него, мнѣ кажется, нѣтъ и денегъ, — прошепталъ Кусицынъ.

Лиза кивнула утвердительно головою.

Кусицынъ подошелъ къ столику, взялъ Райнерово портмонэ и пересмотрѣлъ деньги. Тамъ были три рублевые билета и очень немного мелочи.

— Это что! это еще что такое!—раздался громкій голосъ Афимьи въ узенькомъ коридорчикѣ, какъ разъ за спальнею Райнера.—Положьте, вамъ говорю, положьте! (Слышно было, что Афимья у кого-то что-то вырываетъ.)

Лиза встала и поспѣшно вышла въ залу.

Въ дверяхъ, у входа въ узенькій коридорчикъ, ей представилась фигура Афимьи, которая съ яростью вырывала у кого-то, стоящаго въ самомъ коридорѣ, сѣрый Райнеровъ халатъ на бѣлыхъ мерлушкахъ.

При появленіи Лизы, бѣдная женщина сдѣлала отчаянное усиліе и халатъ упалъ къ ея ногамъ.

— Халатъ послѣдній уже волокутъ! — воскликнула она, показывая Лизѣ свои трофеи. — Ахъ, вы, глотики проклятые, нѣтъ на васъ пропасти!

— Кто же это?—освѣдомилась Лиза.

— Да вотъ же все эти, что опивали да объѣдали его, а теперь тащатъ, кто за что схватится. Ну, вотъ видите, не правду жъ я говорила: послѣдній халатъ, — вотъ онъ, — одинъ только и есть, ему самому, станетъ обмогаться, не во что будетъ одѣться, а этотъ глотикъ ужъ и тащитъ безъ меня.—«Онъ, говоритъ, самъ обѣщалъ», перекривляла Афимья.—Да кто вамъ, нищебродамъ, не пообѣщаетъ! Выпросите.—А вонъ онъ обѣщалъ, а я не даю: вотъ тебѣ и весь сказъ.

Шумъ, произведенный Афимьею и Котырло при ихъ сраженіи за халатъ, разбудилъ больного, и онъ тревожно спросилъ о причинѣ этого шума. Кусицынъ, мыча и расхаживая по комнатѣ, разсказалъ ему, что это и за что происходитъ.

Райнеръ сдѣлалъ нетерпѣливо раздражительное движеніе и попросилъ Кусицына кликнуть къ нему Афимью.

— Отдавайте; зачѣмъ вы отнимаете, Афимья!

— А какъ же: такъ и давать имъ все?

— Ахъ, пусть ихъ!—болѣзненно произнесъ Райнеръ.

Афимья разставила руки и пошла, бормоча: «ну, что-жъ, пусть тащатъ! Видно надо бросить все: волоки, ребята, кто во что гораздъ».

Кусицынъ продолжалъ ходить по комнатѣ и, остановясь передъ столикомъ у Райнерова изголовья, произнесъ:

— Гмъ, у васъ, Райнеръ, тутъ три рубля: я вамъ рубль оставлю, а два мнѣ нужны перевезтись на квартиру.

Райнеръ качнулъ головою въ знакъ согласія и закрылъ вѣки. Кусицынъ вынулъ изъ его портмонэ два рубля, спокойно положилъ ихъ въ свой жилетный карманъ и еще спокойнѣе вышелъ.

Лиза, наблюдавшая всю эту сцену, остолбенѣла.

Лиза остановила его словами, что она ничего не боится и остается вѣрною своему слову, но уже ничего не ожидаетъ ни отъ кого, кромѣ времени.

— А наши личныя отношенія съ вами, monsieur Бѣлоярцевъ,—добавила она:—пусть останутся прежнія: намъ съ вами говорить не о чемъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Камрады.

Райнеръ очень медленно оправлялся послѣ своей тяжкой и опасной болѣзни. Во все это время Лиза не оставляла его: она именно у него дневала и ночевала. Ея должность въ чайной *Дома* исправляла Ступина. Райнера навѣщали и Полинька, и Евгенія Петровна; но постоянной и неотлучной сидѣлкой его все-таки была одна Лиза. Въ это время въ *Домѣ* и за *Домомъ* стали ходить толки, что Лиза влюблена въ Райнера, и въ это же время Лиза имѣла случай болѣе, чѣмъ когда-нибудь, узнать Райнера и людей его окружающихъ. Она пришла къ нему на четвертый день его болѣзни, заставъ его совершенно одинокаго съ растерявшейся и плачущей Афимьей, которая разсказала Лизѣ, что у нихъ нѣтъ ни гроша денегъ, что она боится, какъ бы Василій Ивановичъ не умеръ, и чтобы ее не потащили въ полицію.

— За что же въ полицію?—спросила Лиза.

— Да какъ же, матушка барышня. Я ужъ не знаю, что̀ мнѣ съ этими архаровцами и дѣлать. Словъ моихъ они не слушаютъ, драться съ ними у меня силушки нѣтъ, а они все тащатъ, все тащатъ: кто что̀ зацѣпитъ, то и тащитъ. Придутъ будто навѣстить, чаи имъ ставь, да въ лавкѣ колбасы на книжечку бери, а оглянешься — кто-нибудь какую вещь зацѣпилъ и тащитъ. Стану останавливать, мы, говорятъ, его спрашивали. А его что̀ спрашивать! Онъ все равно, что подаруй безпутанный. Какъ дитя малое, все у него бери.

Лиза освѣдомилась, гдѣ же товарищи Райнера?

— Да вотъ ихъ, всѣ разбѣжались. Какъ вороны, почуяли, что корму нѣтъ больше, и разбѣжались всѣ. Теперь, докладываю вамъ, который только наскочитъ, цапнетъ что ему надо и мчитъ.

— Кто жъ его лѣчитъ?—освѣдомилась опять Лиза.

— Да кто лѣчитъ? Сулима нашъ прописываетъ. Вотъ сейчасъ передъ вашимъ приходомъ чуть съ нимъ не подралась: рицептъ прописалъ, да смотрю, свои осматки съ ногъ скидаетъ, а его новые сапожки надѣваетъ. Вамъ, говоритъ, пока вы больны, выходить некуда. А онъ молчитъ. Ну, что же это такое: послѣдніе сапожонки, и то у живого еще съ ногъ волокутъ! Вѣдь это жъ аспиды, а не люди.

Лиза взяла извозчика и поѣхала къ Евгеніи Петровнѣ. Оттуда тотчасъ же послала за Розановымъ. Черезъ часъ Розановъ вмѣстѣ съ Лобачевскимъ были у Райнера, назначили ему лѣченіе и послали за лѣкарствомъ на розановскихъ же лошадяхъ.

Лиза возвратилась къ больному отъ Евгеніи Петровны съ бѣльемъ, вареньемъ, лимонами и деньгами. Она застала еще у него Розанова и Лобачевскаго.

— Что?—спросила она шопотомъ Розанова.

— Ничего пока, болѣзнь трудная, но отчаиваться не слѣдуетъ.

— А вы, докторъ, какого мнѣнія? — отнеслась она къ Лобачевскому.

— Наблюдайте, чтобъ не было вѣтру, но чтобъ воздухъ былъ чистъ и чтобъ не шумѣли, не тревожили больного.— Вы заѣзжайте часамъ къ десяти, а я буду передъ утромъ,— добавилъ онъ, обратясь къ Розанову, и вышелъ, никому не поклонившись.

Это было въ началѣ вечера.

Лиза зажгла свѣчу, надѣла на нее лежавшій на каминѣ темненькій, бумажный абажурчикъ и, усѣвшись въ уголкѣ, развернула какую-то книгу. Она плохо читала. Ее занимала судьба Райнера и вопросъ, что̀ онъ дѣлаетъ и что̀ сдѣлаетъ? А тутъ эти странные люди! Что же это такое за подборъ странный,—думала Лиза.—Тамъ вездѣ было чортъ знаетъ что такое, а это ужъ совсѣмъ изъ рукъ вонъ. Неужто этому нахальству нѣтъ никакой мѣры и неужто все это дѣлается во имя принципа?

Часовъ въ десять къ больному заѣхалъ Розановъ, посмотрѣлъ, попробовалъ пульсъ и сказалъ:

— Ничего новаго.

Въ четвертомъ часу ночи заѣхалъ Лобачевскій, перемѣнилъ лѣкарство и ничего не сказалъ.

Передъ утромъ Лиза задремала въ креслѣ и, проспавъ

около часа, встрепенулась и опять начала давать больному лѣкарство.

Въ десять часовъ Райнера навѣстили Розановъ и Лобачевскій.

— Слава Богу, ему лучше, — сказалъ Лизѣ Розановъ.— Наблюдайте только, Лизавета Егоровна, чтобы онъ не говорилъ и чтобы его ничѣмъ не безпокоили. Лучше всего,— добавилъ онъ:—чтобы къ нему не пускали посѣтителей.

Доктора обѣщались заѣхать вечеромъ.

Въ два часа Лиза слышала, какъ Афимья выпроваживала лѣкаря Сулиму.

— Тутъ ужъ настоящіе лѣкаря были,—говорила она ему.

— Поди ты, дура, прочь,—говорилъ Сулима.

— Ну, дура, не дура, а васъ пускать не приказано и ходить вамъ сюда нечего,—отвѣчала раздраженная баба.

Сулима чертокнулъ ее, хлопнулъ дверью и ушелъ.

Около полудня, когда Афимья пошла въ аптеку за новымъ лѣкарствомъ, въ комнату Райнера явились Котырло и Кусицынъ.

— Ну, что, каково вамъ, Райнеръ? — громкимъ и веселымъ голосомъ крикнулъ Котырло.

Лиза остановила его, но было уже поздно: больной проснулся, открылъ на нѣсколько секундъ глаза и завелъ ихъ снова.

— Лучше ему?—нѣсколько тише спросилъ Лизу Котырло.

— Не знаю: ему очень нуженъ покой, — отвѣчала Лиза, кладя конецъ разговору.

— Ну, я пойду, Кусицынъ. Мы себѣ наняли очень хорошенькую квартиру,—счелъ онъ нужнымъ объяснить Лизѣ, которую встрѣчалъ на общихъ собраніяхъ въ *Домѣ Согласія*, кивнулъ головой и вышелъ.

— У него, мнѣ кажется, нѣтъ и денегъ, — прошепталъ Кусицынъ.

Лиза кивнула утвердительно головою.

Кусицынъ подошелъ къ столику, взялъ Райнерово портмонэ и пересмотрѣлъ деньги. Тамъ были три рублевые билета и очень немного мелочи.

— Это что! это еще что такое!—раздался громкій голосъ Афимьи въ узенькомъ коридорчикѣ, какъ разъ за спальнею Райнера.—Положьте, вамъ говорю, положьте! (Слышно было, что Афимья у кого-то что-то вырываетъ.)

Лиза встала и поспѣшно вышла въ залу.

Въ дверяхъ, у входа въ узенькій коридорчикъ, ей представилась фигура Афимьи, которая съ яростью вырывала у кого-то, стоящаго въ самомъ коридорѣ, сѣрый Райнеровъ халатъ на бѣлыхъ мерлушкахъ.

При появленіи Лизы, бѣдная женщина сдѣлала отчаянное усиліе и халатъ упалъ къ ея ногамъ.

— Халатъ послѣдній уже волокутъ! — воскликнула она, показывая Лизѣ свои трофеи. — Ахъ, вы, глотики проклятые, нѣтъ на васъ пропасти!

— Кто же это?—освѣдомилась Лиза.

— Да вотъ же все эти, что опивали да объѣдали его, а теперь тащатъ, кто за что схватится. Ну, вотъ видите, не правду жъ я говорила: послѣдній халатъ, — вотъ онъ, — одинъ только и есть, ему самому, станетъ обмогаться, не во что будетъ одѣться, а этотъ глотикъ ужъ и тащитъ безъ меня.—«Онъ, говоритъ, самъ обѣщалъ», перекривляла Афимья.—Да кто вамъ, нищебродамъ, не пообѣщаетъ! Выпросите.—А вонъ онъ обѣщалъ, а я не даю: вотъ тебѣ и весь сказъ.

Шумъ, произведенный Афимьею и Котырло при ихъ сраженіи за халатъ, разбудилъ больного, и онъ тревожно спросилъ о причинѣ этого шума. Кусицынъ, мыча и расхаживая по комнатѣ, разсказалъ ему, что это и за что происходитъ.

Райнеръ сдѣлалъ нетерпѣливо раздражительное движеніе и попросилъ Кусицына кликнуть къ нему Афимью.

— Отдавайте; зачѣмъ вы отнимаете, Афимья!

— А какъ же: такъ и давать имъ все?

— Ахъ, пусть ихъ!—болѣзненно произнесъ Райнеръ.

Афимья разставила руки и пошла, бормоча: «ну, что-жъ, пусть тащатъ! Видно надо бросить все: волоки, ребята, кто во что гораздъ».

Кусицынъ продолжалъ ходить по комнатѣ и, остановясь передъ столикомъ у Райнерова изголовья, произнесъ:

— Гмъ, у васъ, Райнеръ, тутъ три рубля: я вамъ рубль оставлю, а два мнѣ нужны перевезтись на квартиру.

Райнеръ качнулъ головою въ знакъ согласія и закрылъ вѣки. Кусицынъ вынулъ изъ его портмонэ два рубля, спокойно положилъ ихъ въ свой жилетный карманъ и еще спокойнѣе вышелъ.

Лиза, наблюдавшая всю эту сцену, остолбенѣла.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Совершенно независимая дама.

Мѣсяцевъ за семь до описываемой нами поры, когда еще въ Петербургѣ было тепло, и бѣлыя ночи, утомляя глаза своимъ непріятнымъ полусвѣтомъ, сокращали расходы на освѣщеніе бѣдныхъ лачугъ, чердаковъ и подземельевъ, въ довольно просторной, но до крайности неопрятной и невеселой квартирѣ происходила довольно занимательная сцена.

Квартира, о которой идетъ рѣчь, была въ четвертомъ этажѣ огромнаго, неопрятнаго дома въ Офицерской улицѣ. Подниматься въ нее нужно было по черной, плитяной лѣстницѣ, всегда залитой брызгами зловонныхъ помоевъ и мѣстами закопченной теплящимися здѣсь, по зимнимъ вечерамъ, ночниками. Со входа въ квартиру была довольно большая и совершенно пустая передняя, съ тремя дверями. Одна изъ этихъ дверей, налѣво отъ входа, вела въ довольно просторную кухню; другая, прямо противъ входа,— въ длинную узенькую комнатку съ однимъ окномъ и каминомъ, а третья, направо противъ кухонной двери, — въ залъ, за которымъ въ сторонѣ была еще одна, совершенно изолированная, спокойная комната съ двумя окнами. Все убранство первой, узенькой комнаты состояло изъ мягкаго пружиннаго дивана, обитаго нѣкогда голубою матеріею, двухъ плохенькихъ стульевъ и ломбернаго стола, на которомъ были разложены разныя письменныя принадлежности. Въ залѣ было еще пустѣе. Кромѣ шести плетеныхъ стульевъ и круглаго обѣденнаго стола, здѣсь не было ровно ничего. Задняя комната служила спальнею. Меблировка ея тоже не отличалась ни роскошью, ни вкусомъ, ни особеннымъ удобствомъ, но все-таки эта комната была много полнѣе прочихъ. Здѣсь около стѣнъ стояли двѣ ясеневыя кровати, изъ которыхъ одна была покрыта сѣрымъ байковымъ, а другая ватнымъ кашемировымъ одѣяломъ. Въ головахъ у кровати, покрытой кашемировымъ одѣяломъ, стоялъ орѣховый спальный шкапикъ, а въ ногахъ женская поясная ванна. Далѣе, здѣсь были два мягкія кресла съ ослабѣвшими пружинами; столъ наподобіе письменнаго; шкапъ для платья, комодъ и этажерка, на которой въ безпорядкѣ лежало нѣсколько книгъ и двѣ мацерованныя человѣческія кости.

Въ этой квартирѣ жила, разъѣхавшаяся съ мужемъ, красивая маіорша Мечникова, которую мы встрѣчали въ *Домѣ Согласія.*

Маіорша Мечникова, смѣлая, красивая и не столько страстная, сколько чувственная женщина, имѣла лѣтъ около двадцати семи или восьми. Она была очень неглупа, воспріимчива и способна легко понимать и усвоивать многое, но, по крайней живости своего характера, не останавливалась серьезно ни надъ чѣмъ въ теченіе всей своей жизни. Умъ и нравственныя достоинства людей она могла разбирать довольно ясно, но положительно не придавала имъ никакого особеннаго значенія. Она сходилась съ тѣми, съ кѣмъ ее случайно сталкивали обстоятельства, и сближалась весьма близко, но безъ всякой дружбы, безъ любви, безъ сочувствій: вообще безъ всякаго участія какого-нибудь чистаго, глубокаго чувства. Она никогда не толковала ни о какой потерѣ и легко переходила къ новымъ знакомствамъ и новымъ связямъ, которыя судьба бросала на ея дорогу. Она не была злою женщиной и способна была помочь встрѣчному и поперечному чѣмъ только могла; но ее надо было или прямо попросить объ этой помощи, или натолкнуть на нее: сама она ни на чемъ не останавливалась и постоянно неслась стремительно впередъ, отдаваясь своимъ неразборчивымъ инстинктамъ и побужденіямъ. Въ два года, которые провела разставшись съ дѣтьми и мужемъ, она успѣла совершенно забыть и о дѣтяхъ, и о мужѣ, и считала себя лицомъ, вполнѣ свободнымъ отъ всякихъ нравственныхъ обязательствъ.

По образу своей жизни и нѣкоторымъ своимъ воззрѣніямъ, Мечникова вовсе не имѣла ничего общаго съ женщинами новыхъ гражданскихъ стремленій. Она дорожила только свободою дѣлать, что̀ ей захочется, но до всего остального міра ей не было никакого дѣла. Ей было все равно, благоденствуетъ ли этотъ міръ, или изнываетъ въ безысходныхъ страданіяхъ: ей и въ голову не приходило когда-нибудь помогать этимъ страданіямъ. Трудиться она не умѣла и никогда не пускалась ни въ какія разсужденія о трудѣ, а съ младенческою безпечностью проживала свои приданыя деньжонки, сбереженныя для нея мужемъ. О томъ, что̀ будетъ впереди, когда эта небольшая казна изсякнетъ, Мечникова не задумывалась ни на минуту.

Жила она безалаберно, тратила много и безразсчетливо, давала взаймы и начинала послѣднюю сотню рублей такъ же весело и безпечно, какъ тогда, когда, пріѣхавъ въ столицу, расщипала трехтысячную связку ассигнацій.

Съ гражданами она познакомилась черезъ Красина, къ которому по пріѣздѣ въ Петербургъ отнеслась какъ къ другу своего дѣтства, и съ которымъ весьма скоро успѣла вступить въ отношенія, значительно согрѣвшія и восполнившія ихъ дѣтскую дружбу.

Въ это время въ Петербургѣ происходилъ наборъ гражданъ.

Красинъ очень хорошо зналъ, что печень Мечниковой не предрасположена ни къ какой гражданской хворобѣ, но неразборчивость новой корпораціи, вербовавшей въ свою среду все, что̀ стало какъ-нибудь въ разладъ съ такъ-называемой разумной жизнью, — все, что̀ приняло положеніе исключительное и относилось къ общественному суду и общественной морали болѣе или менѣе пренебрежительно или равнодушно, дѣлала умѣстнымъ сближеніе всякаго такого лица съ этою новою гражданскою группою. Образъ жизни Мечниковой, по принципамъ этой группы, не могъ казаться ни зазорнымъ, ни неудобнымъ для сопричисленія ея къ этой же группѣ.

Красинъ познакомилъ Мечникову съ Бертольди, та поговорила съ нею, посмотрѣла на ея житье-бытье и объявила своимъ, что Мечникова глупа, но фактическая гражданка.

Съ сей поры это почетное званіе осталось за Мечниковой, и она при иныхъ смѣтахъ сопричислялась къ разбросанному еще въ то время кружку гражданъ.

Сталъ заводиться *Домъ Согласія.* Бѣлоярцевъ первый явился къ Мечниковой, красно и убѣдительно развилъ ей всѣ блага, которыя ожидаютъ въ будущемъ соединяющихся гражданъ, и приглашалъ Мечникову. Мечникова сначала, было, и согласилась, но потомъ, раздумавъ непривычною къ размышленію головою, нашла, что все это какъ-то непонятно, неудобно, даже стѣснительно, и отказалась.

— Отчего же? Вы будете совершенно свободны во всѣхъ вашихъ дѣйствіяхъ,—безуспѣшно убѣждалъ ее, позируя, Бѣлоярцевъ.

— Нѣтъ, monsieur Бѣлоярцевъ,—отвѣчала съ своей всегдашней улыбкой Мечникова: — я не могу такъ жить: я

люблю совершенную независимость и, къ тому же, у меня есть сестра, ребенокъ, которая въ нынѣшнемъ году кончаетъ курсъ въ пансіонѣ. Я на-дняхъ должна буду взять къ себѣ сестру.

— Что же, это тѣмъ лучше,—настаивалъ Бѣлоярцевъ.— Для правильнаго развитія молодой дѣвушки будетъ гораздо болѣе шансовъ тамъ, въ сообществѣ людей, выработавшихъ себѣ истинные жизненные принципы, чѣмъ въ средѣ людей, развращенныхъ рутиною. Мнѣ кажется, что это обстоятельство именно и должно бы склонить васъ въ пользу моего предложенія. Вы видите, сколькихъ трудовъ и усилій надъ собою стоило намъ, чтобы выдѣлиться изъ толпы и стать выше ея предразсудковъ. Зачѣмъ же вашу сестру опять вести тою же тяжелой дорогой? Одно поколѣніе должно приготовлять и вырабатывать для другого. Мы прошли одно —они должны идти дальше насъ. Имъ не нужно терять попусту времени на черную работу, которую мы должны были производить, вырывая изъ самихъ себя завѣты нашего гнилого прошедшаго. Помилуйте! За что же оставлять ее съ ворами и лицемѣрами. Если вы несомнѣнно вѣрите (а этому нельзя не вѣрить), что всѣ наши пороки и своекорыстныя стремленія, и ложный стыдъ, и ложная гордость прививаются намъ въ цвѣтущіе годы нашей юности, то какъ же вамъ не позаботиться удалить дѣвушку отъ растлѣвающаго вліянія среды. Надо поставить ее въ сообщество людей, понятія которыхъ о жизни свѣтлы, честны и свободны.

— Нѣтъ, нѣтъ, monsieur Бѣлоярцевъ,—рѣшительно отозвалась Мечникова, позволившая себѣ слегка зѣвнуть во время его пышной рѣчи:—моя сестра еще слишкомъ молода и еще, Богъ ее знаетъ, что̀ теперь изъ нея вышло. Надо прежде посмотрѣть, что̀ она за человѣкъ,—заключила Мечникова и, наскучивъ этимъ разговоромъ, рѣшительно встала съ своего мѣста.

— Я вамъ говорила, что она дура, — сказала Бертольди, выслушавъ разсказъ Бѣлоярцева о его разговорѣ съ Мечниковою.—Она по натурѣ прямая гражданка, но такъ глупа.

Вскорѣ послѣ этого разговора госпожа Мечникова вышла у своей квартиры изъ извозчичьей кареты и повела на черную, облитую зловонными помоями лѣстницу молодое

семнадцатилѣтнее дитя въ легкомъ бѣленькомъ платьицѣ и съ гладко причесанной русой головкой.

— Вотъ здѣсь мы будемъ спать съ тобою, Агата,—говорила Мечникова, введя за собою сестру въ свою спальню:— здѣсь будетъ наша зала, а тутъ твой кабинетецъ, — докончила она, введя дѣвушку въ извѣстную намъ узенькую комнатку. — Здѣсь ты можешь читать, пѣть, работать и вообще дѣлать, что тебѣ угодно. Въ своей комнатѣ ты полная госпожа своихъ поступковъ.

Пансіонерка расцѣловала сестру за комнату, за дарованную ей свободу, за конфеты, за ленты, которыми ее дарила госпожа Мечникова, и водворилась на жительство въ ея квартирѣ.

Отсюда начинается одинъ анекдотъ, который случился съ этою дѣвушкою и былъ поводомъ къ самымъ печальнымъ явленіямъ для нѣкоторыхъ лицъ въ нашемъ романѣ.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Анекдотъ.

Сестрѣ госпожи Мечниковой шелъ только семнадцатый годъ. Она принадлежала къ натурамъ не рано складывающимся и формирующимся. Фигура ея была еще совершенно дѣтская, талія прямая и узенькая, руки длинныя, въ плечахъ не было еще той пріятной округлости, которая составляетъ ихъ манящую прелесть, грудь едва обозначалась, губы довольно блѣдны и въ глазахъ преобладающее выраженіе наивнаго дѣтскаго любопытства.

— Уморительный человѣкъ моя Агата, совершенный ребенокъ еще, — говорила Мечникова, обращаясь къ кому-нибудь изъ своихъ обыкновенныхъ посѣтителей.

Агата, точно, была ребенокъ, но ребенокъ весьма замѣчательный и всѣми силами рвавшійся разстаться съ своимъ дѣтствомъ.

Сестра была къ ней всегда ласкова и довольно внимательна къ ея матеріальнымъ нуждамъ, но нимало не способна позаботиться о ея духовныхъ интересахъ. Агата очень любила читать и разсуждать. Сестриныхъ книгъ ей стало не надолго, а разсуждать madame Мечникова не любила. Красинъ вступился въ спасенье Агаты: онъ приносилъ ей книгъ исключительнаго направленія и толковалъ съ нею по цѣлымъ часамъ. Не столько подъ вліяніемъ

этихъ книгъ, сколько подъ впечатлѣніемъ устныхъ разсужденій Красина, молоденькая сестра Мечниковой начала сочувствовать самостоятельности и задачамъ женщинъ, о которыхъ ей разсказывалъ Красинъ. Самостоятельность сестры проходила мимо ея вниманія. Она не видѣла ничего привлекательнаго ни въ ея житьѣ, ни въ ея положеніи. Ей хотѣлось дѣйствовать, распоряжаться собою сознательно, сдѣлать изъ себя *гражданку*. Гражданки, съ которыми ее познакомилъ Красинъ, смотрѣли на нее, какъ на ребенка. Никто изъ нихъ не замѣчалъ, какъ вытягивается впередъ тоненькая, смуглая шейка и какъ внимательно смотрятъ огромные, черные глаза Агаты при всякомъ разговорѣ о правахъ и обязанностяхъ человѣка; а этими разговорами исключительно и были полны гражданскія бесѣды. Дѣвушкѣ часто хотѣлось вмѣшаться въ эти разговоры, она чувствовала, что уже много понимаетъ и можетъ вмѣшаться во многое, а ее считали ребенкомъ, и только одинъ Красинъ да Бѣлоярцевъ говорили съ ней, хотя въ наставительномъ тонѣ, но все-таки какъ со взрослой женщиной. Агату очень обижало это, какъ ребенка, который непремѣнно хочетъ, чтобы его признали большимъ. Она, какъ ребенокъ же, часто плакала, сама не зная о чемъ. Дѣвочка со дня на день становилась впечатлительнѣе и раздражительнѣе.

Мечникова говорила, что Агата скучаетъ и со скуки начинаетъ капризничать, что ей непремѣнно нужно развлеченіе, а не однѣ книги.

Въ это счастливое лѣто на долю Петербурга выпадали нерѣдко погожіе дни, и Мечникова, пользуясь ими, возила сестру по окрестностямъ столицы.

Обыкновеннымъ спутникомъ ихъ въ этихъ прогулкахъ бывалъ Красинъ или одинъ, или же вдвоемъ съ извѣстнымъ намъ Ревякинымъ, огромнымъ, сильнымъ мужчиною, съ рыжею головой, саженными плечами и непомѣрной силищей. Ревякинъ былъ непривлекателенъ лицомъ, но останавливалъ на себѣ вниманіе своимъ геркулесовскимъ сложеніемъ. Онъ служилъ въ гражданахъ, но не пользовался тамъ никакимъ авторитетомъ. Отъ природы онъ былъ не очень уменъ, воспитаніе получилъ грошевое и вдобавокъ смѣшно косноязычилъ. Толстый, мясистый, какъ у попугая, языкъ занималъ такъ много мѣста во рту этого геркулеса, что для многихъ звуковъ въ этомъ рту не оставалось ни-

какого мѣста. Ревякинъ самъ рекомендовалъ себя обыкновенно «Левякинымъ», вмѣсто пора говорилъ «пола», вмѣсто рѣчь—«лѣчь» и т. п. Бѣлоярцевъ, великій охотникъ подтрунить надъ ближнимъ, очень ловко умѣлъ наводить Ревякина на разсказы о томъ, какъ къ нему въ окно одинъ разъ залѣзъ воръ. Ревякинъ говорилъ:

— Визу лѣзетъ волъ; я его плямо за волосы, а онъ по тлубѣ внизъ.

— Это кто же соскочилъ по трубѣ?—каждый разъ переспрашивалъ Бѣлоярцевъ.

— Волъ,—спокойно отвѣчалъ разсказчикъ.

Этотъ Ревякинъ съ нѣкотораго времени сталъ учащать къ Мечниковой и, повидимому, не наскучалъ ей. Красинъ смотрѣлъ на это, какъ на новый, свойственный этой женщинѣ капризъ, и держался съ Ревякинымъ въ добрыхъ отношеніяхъ, благопріятствующихъ общему ихъ положенію въ этомъ домѣ.

Въ одинъ изъ хорошихъ, теплыхъ дней,—именно въ тотъ день, когда случился нижеслѣдующій анекдотъ,—Ревякинъ, Красинъ и Мечникова съ Агатой наняли карету и отправились въ Парголово. Оставивъ экипажъ, они пошли побродить по лѣсу и разбрелись. Агата шла съ Красинымъ, а Мечникова какъ-то пріотстала съ Ревякинымъ, и очень долго одна пара не могла въ лѣсу найти другую.

Нагулявшись досыта, компанія кое-какъ собралась въ ресторанѣ, у котораго была оставлена карета. Они слегка закусили, даже выпили пару бутылокъ шампанскаго, за которое заплатила Мечникова, и поѣхали въ Петербургъ. Спокойная, убаюкивающая качка довольно спокойнаго экипажа дѣйствовала нѣсколько различно на путешественниковъ. Мечникова закрыла глаза и не хотѣла смотрѣть на свѣтъ Божій. Она не то дремала, не то нѣжилась и, подчиняясь качкѣ, подвигалась къ сидѣвшему напротивъ нея Ревякину. Ревякинъ сидѣлъ молча и тупо глядѣлъ въ окно, какъ бы не замѣчая приближенія своей vis-à-vis. Красинъ, сидѣвшій напротивъ Агаты, былъ спокоенъ и курилъ папироску за папироскою, не сводя при этомъ своихъ глазъ съ Агаты. Агата же сидѣла, положивъ локотокъ на поднятое стекло дверцы, и то супила бровки, то тревожно переводила свои глаза съ одного лица на другое.

Разговоровъ никакихъ не было во всю дорогу.

Бѣлая, подслѣповатая ночь стояла надъ Петербургомъ, когда карета нашихъ знакомыхъ остановилась у квартиры Мечниковой. По случаю праздничнаго дня кухарка была отпущена, загулялась и не возвращалась, а между тѣмъ Мечниковою, тотчасъ по возвращеніи домой, овладѣлъ весьма естественный послѣ долгой прогулки аппетитъ и необыкновенная веселость.

— Господа! — крикнула она, снявъ шляпу: — допируемте хорошенько этотъ день дома. Давайте сами поставимъ самоваръ, кто-нибудь сходитъ купить чего-нибудь поѣсть; купимте бутылку вина и посидимте.

Гости охотно согласились на это предложеніе.

Мечникова подала Красину двадцать рублей, и онъ отправился за покупками. Самоваръ взялась ставить Агата.

Она была очень скучна и ей хотѣлось что-нибудь дѣлать, чтобы занять свое время.

Ревякинъ молча усѣлся на стулѣ въ большой комнатѣ, спиною къ окну, и курилъ папироску.

Madame Мечникова походила по комнатамъ, принесла на столъ чашки, потомъ опять походила и, подойдя къ Ревякину, стала у самаго его стула и начала смотрѣть на сосѣднюю крышу.

Ревякинъ протянулъ лѣвую руку и обнялъ Мечникову. Она не сопротивлялась. Ревякинъ нагнулся и поцѣловалъ ее. Мечникова молча наклонилась къ геркулесу и тихо поцѣловала его страстнымъ, но беззвучнымъ поцѣлуемъ, потомъ тотчасъ же оглянулась, отвела его руку и, направляясь къ кухнѣ, гдѣ Агата ставила самоваръ, сильнымъ контральтомъ запѣла изъ Троватора:

«Въ милыя горы
Мы возвратимся:
Тамъ ты на лютнѣ
Будешь игрррать».

«*Играть*» Мечникова не спѣла, а, сжавъ свой сладострастный ротикъ, сыграла на губахъ, подражая раскатывающимся звукамъ духового инструмента.

Агата стояла у кухоннаго окна съ красными глазами.

— Ты опять плачешь?—спросила ее сестра.

— Тутъ дымъ отъ самовара, — отвѣтила, отворачиваясь, дѣвушка.

— Чего же тебѣ недостаетъ? — спросила ее, послѣ довольно долгой паузы, Мечникова.

— Ничего, — еще тише буркнула Агата и начала снова раздувать лѣниво закипавшій самоваръ.

— Все ребячества, — равнодушно замѣтила Мечникова, выходя изъ кухни.

Агата ничего не отвѣтила ей на это замѣчаніе и, оставивъ самоваръ, приняла свое прежнее положеніе у открытаго окна, изъ котораго черезъ крышу низенькаго сосѣдняго флигеля видны были блѣдные образы, бѣгающіе по неуспокоившейся еще блѣдной улицѣ.

Полтора часа спустя, компанія имѣла нѣсколько иной, болѣе оживленный характеръ. Красинъ распорядился отлично: было чего ѣсть, пить и закусывать. Былъ хересъ, ванильный ликеръ, коньякъ и шампанское. За столомъ было всячески весело.

— Люба моя!—начиналъ нѣсколько разъ Ревякинъ, обращаясь къ Мечниковой, но та каждую такую фамильярную попытку останавливала.

Красинъ ни на что это не обращалъ никакого вниманія и все говорилъ съ Агатой, которая казалась не въ духѣ, что̀ въ Москвѣ называютъ «въ нерасположеніи».

— Зачѣмъ вы, Агата Осиповна, не пьете ничего?—спрашивалъ Ревякинъ.

— Она еще молода; ей рано пить,—отвѣчала Мечникова.

Сестра Мечниковой встала и выпила рюмку ликера.

— Пьешь?—спросила Мечникова.

— Пью,—отвѣчала дѣвушка, наливая себѣ другую рюмку, и опять ее выпила.

— Агата, тебѣ будетъ вредно, — произнесла madame Мечникова.

— А вамъ не угодно? — спросила ее сестра и выпила третью рюмку.

— Посмотрите, что̀ она дѣлаетъ! — говорила, смѣясь, Мечникова:—она будетъ пьяна; непремѣнно пьяна будетъ.

— Не буду, — отвѣчала, улыбаясь, Агата, чувствуя, что у нея, въ самомъ дѣлѣ, въ глазахъ все какъ-то начинало рябить и двоиться. — Вы думаете, что я, въ самомъ дѣлѣ, пятилѣтняя дѣвочка: я могу дѣлать то же, что̀ и всѣ; я вотъ беру еще стаканъ шампанскаго и выпиваю его.

Агата, произнося эти слова, подняла стаканъ, выпила его однимъ пріемомъ и захохотала.

— Нѣтъ, она, господа, пьяница будетъ,—шутила madame Мечникова, находившаяся такъ же, какъ и всѣ, подъ вліяніемъ вина, волновавшаго ея и безъ того непослушную кровь.

Дѣвушка встала, хотѣла пойти и споткнулась на ногу Красина.

— Пьяна, пьяна, — твердили, глядя на нее, и хозяйка, и гости.

— Пьяна? Вы говорите, что я пьяна? А хотите, я докажу вамъ, что я трезвѣе всѣхъ васъ? Хотите? — настойчиво спрашивала Агата и, не ожидая отвѣта, принесла изъ своей комнаты англійскую книгу и положила ее передъ Красинымъ. — Выбирайте любую страницу, — сказала она самонадѣянно: — я обязываюсь, не выходя изъ своей комнаты, сдѣлать переводъ безъ одной ошибки.

Красинъ заломилъ уголъ страницы и подалъ книгу Агатѣ; та повернулась и пошла въ свою комнату.

— Я буду смотрѣть за вами, — проговорилъ Красинъ, и вышелъ вслѣдъ за нею.

Дѣвушка присѣла къ окну и торопливо писала карандашомъ поставленный на споръ переводъ, а Красинъ, положивъ ногу на ногу, нѣжился на ея оттоманкѣ.

Съ небольшимъ черезъ полчаса Агата перечитала свой переводъ, сдѣлала въ немъ нужныя, по ея соображенію, поправки и, весело спрыгнувъ съ подоконника, выбѣжала въ залу. Черезъ нѣсколько секундъ она возвратилась совершенно растерянная, сминая исписанный ею полулистъ бумаги.

— Что̀ сказали? Мнѣ лѣнь встать,—спросилъ ее Красинъ.

— Н-ничего,—отвѣтила, потупляясь, Агата.

— Какъ ничего?

— Ну, ничего,—еще растеряннѣе отвѣчала дѣвушка.

— Что̀ такое!—произнесъ вполголоса Красинъ и, лѣниво поднявшись съ дивана, пошелъ въ залу.

Зала, къ небольшому, впрочемъ, удивленію Красина, была пуста.

Красинъ подумалъ съ минуту и слегка стукнулъ въ запертыя двери комнаты Мечниковой.

— Что̀ тамъ нужно? — произнесла изъ-за дверей m-me Мечникова.

Красинъ махнулъ рукой и на цыпочкахъ возвратился въ узенькую комнату Агаты.

Дѣвушка, при входѣ Красина, покраснѣла еще болѣе.

И онъ, и она сидѣли неподвижно и хранили мертвое молчаніе.

Такъ прошелъ битый часъ. Ни о Мечниковой, ни о Ревякинѣ не было ни слуху, ни духу.

Красинъ всталъ и началъ искать шляпу.

— Куда вы спѣшите?—спросила Агата.

— Пора домой.

— Подождите.

Красинъ сѣлъ, зѣвнулъ и потянулся.

— Усталъ,—произнесъ онъ.

Агата поднялась съ своего мѣста, придерживая рукою шумѣвшія юбки, вышла въ залу и возвратилась оттуда съ бутылкою вина и двумя стаканами.

— Пейте, — сказала она, подавая Красину одинъ стаканъ, а другой сама выпила до половины.

— Я выпью,—говорилъ Красинъ:—но зачѣмъ вы шалите?

— Такъ хочу... скучно.

Агата молча допила вино и снова налила стаканы.

— Отчего это за мной никто не ухаживаетъ?

Красинъ посмотрѣлъ на нее: она, очевидно, была совсѣмъ пьяна.

— Оттого, что васъ окружаютъ развитые люди,—произнесъ онъ.—Развитый человѣкъ не можетъ тратить времени на эти, какъ вы называете, ухаживанья. Мы уважаемъ въ женщинѣ равноправнаго человѣка. Ухаживать, какъ вы выражаетесь, надо имѣть цѣль, иначе—это глупо.

— Какъ?..—уронила Агата.

— А такихъ женщинъ немного, которыя не имѣютъ въ виду сдѣлать человѣка своимъ оброчникомъ, — продолжалъ Красинъ.—Для этого нужно много правильнаго развитія.

Агата поднялась и стала ходить по комнатѣ, пощелкивая своими пальчиками.

Красинъ помолчалъ и, взявъ опять свою шляпу, сказалъ:

— У каждой женщины есть своя воля и каждая сама можетъ распорядиться собою, какъ хочетъ. Человѣкъ не въ правѣ склонять женщину, точно такъ же, какъ не въ правѣ и останавливать ее, если она распоряжается собою сама.

Дѣвушка остановилась передъ лежащимъ на диванѣ Красинымъ и закрыла ручкою глаза...

— Сама, да, сама, сама,—пролепетала она и, пошатнувшись, упала на колѣни Красина...

Въ три часа ночи раздался звонокъ запоздавшей кухарки. Ей отперъ Красинъ и, идучи за шляпой, столкнулся въ залѣ съ Мечниковой и Ревякинымъ. Оба они раскланялись съ хозяйкой и пошли благополучно.

Агата проспала всю ночь, одѣтая, на диванѣ, и проснулась поздно съ страшно спутанными волосами и еще болѣе спутанными воспоминаніями въ больной головѣ.

Этому такъ тихо совершившемуся анекдоту не суждено было остаться въ безгласности. Ни Агата, ни Красинъ ничего о немъ, разумѣется, никому не разсказывали. Самой m-me Мечниковой ничего на этотъ счетъ не приходило въ голову, но Бертольди одинъ разъ, сидя дома за вечернимъ чаемъ, нашла въ книжкѣ, взятой ею у Агаты, клочокъ почтовой бумажки, на которой было сначала написано женскою рукою: «Я хотя и не намѣрена дѣлать васъ своимъ оброчникомъ и ни въ чемъ васъ не упрекаю, потому что во всемъ виновата сама, но меня очень обижаютъ ваши ко мнѣ отношенія. Вы смотрите на меня только какъ на нужную вамъ подчасъ вещь и, кажется, вовсе забываете, что я женщина, и, дойдя до сближенія съ человѣкомъ, хотѣла бы, чтобъ онъ смотрѣлъ на меня, какъ на человѣка: словомъ, хотѣла бы хоть пріязни, хоть вниманія; а для васъ,—я вижу,—я только вещь. Я много думала надъ своимъ положеніемъ, много плакала, не безпокоя, однако, васъ своими слезами, и находя, что вы ставите меня въ роль, которая меня унижаетъ въ моихъ собственныхъ глазахъ, рѣшилась сказать вамъ: или перемѣните свое обращеніе со мною, и я стану беречь и любить васъ, или оставьте меня въ покоѣ, потому что такимъ, каковы вы были со мною до этой поры, вы мнѣ рѣшительно противны, и я представляюсь себѣ ничтожною и глупою».

Подписи не было, но тотчасъ же подъ послѣднею строкою начиналась приписка бойкою мужскою рукою: «Такъ какъ, вслѣдствіе особенностей женскаго организма, каждая женщина имѣетъ право иногда быть пошлою и надоѣдливою, то я смотрю на ваше письмо, какъ на проявленіе патологическаго состоянія вашего организма и не при-

даю ему никакого значенія; но если вы и черезъ нѣсколько дней будете разсуждать точно такъ же, то придется думать, что у васъ есть та двойственность въ принципахъ, встрѣчая которую въ человѣкѣ, отъ него нужно удаляться. Во всякомъ случаѣ, я не сдѣлаю перваго шага къ возобновленію тѣхъ простыхъ отношеній, которыя вамъ угодно возводить на степень чего-то очень важнаго». Подписано: «Красинъ».

Бертольди прочла это письмо при всѣхъ и въ томъ числѣ при Райнерѣ. Бѣлоярцевъ узналъ почеркъ Агаты.

Письмо это было, по настоянію Бѣлоярцева, положено обратно въ книгу и возвращено съ нею по принадлежности, а о самой исторіи, сколь она ни представлялась для нѣкоторыхъ возмутительною, положено не разносить изъ кружка, въ которомъ она случайно сдѣлалась извѣстною.

Зимою m-me Мечникова, доживая послѣднюю сотню рублей, простудилась, катаясь на тройкѣ, заболѣла и въ нѣсколько дней умерла. Сестрѣ ея нечего было дѣлать въ этой квартирѣ. Она забрала доставшуюся ей по наслѣдству ветхую мебелишку и переѣхала въ комнату, нанятую за четыре рубля въ одномъ изъ разрушающихся деревянныхъ домовъ Болотной улицы.

Съ этой поры объ Агатѣ вспоминали очень рѣдко.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Опыты и упражненія.

Съ тѣхъ поръ какъ Лиза, по поводу болѣзни Райнера только числилась въ *Домѣ* и показывалась тамъ лишь гостьею, здѣсь, въ самомъ дѣлѣ, водворилось гораздо болѣе тишины и согласія, на что Бѣлоярцевъ и не пропускалъ случая обращать вниманіе своихъ сожителей. Въ теченіе мѣсяца, прожитаго безъ Лизы, Бѣлоярцевъ день-ото-дня чувствовалъ себя лучше: къ нему возвратилась его прежняя веселость, аппетитъ его не страдалъ отъ ежечасной боязни сценъ, раздражительность успокоилась и смѣнилась самымъ благодушнымъ настроеніемъ. Дѣла *Дома* шли постарому, т. е. у большинства домашнихъ гражданъ не было никакой работы, и готовыя деньги проживались съ невозмутимымъ спокойствіемъ, но зато спокойствіе это было ужъ истинно невозмутимое.

Проснется Бѣлоярцевъ утромъ, выйдетъ въ своемъ арха-

лучкѣ въ залу, походитъ, польетъ цвѣты, оботретъ мокрою тряпочкой листья. Потомъ явится въ залу Прорвичъ,—Бѣлоярцевъ поговоритъ съ нимъ о трудѣ и о хорошихъ принципахъ. Еще попозже выйдутъ дамы, начнется чай. Бѣлоярцевъ сядетъ къ круглому столику, погуляетъ насчетъ какого-нибудь ближняго, поговоритъ о своихъ соображеніяхъ насчетъ неизбѣжнаго распространенія въ обществѣ исповѣдуемыхъ имъ принциповъ, потрактуетъ о производительномъ и непроизводительномъ трудѣ и, взявъ половую щетку, начнетъ мести комнаты. Затѣмъ Бѣлоярцевъ уходитъ до обѣда изъ дому, или иногда посидитъ часокъ-другой за мольбертомъ. Въ четыре часа Прорвичъ накроетъ на столъ, подастъ чашу съ супомъ, начнется обѣдъ и всегда непремѣнно съ наставительною бесѣдою. Потомъ Бѣлоярцевъ пойдетъ поспать, въ сумерки встанетъ, съѣстъ у себя въ комнатѣ втихомолочку вареньица или миндальныхъ орѣшковъ и выходитъ въ томъ же архалучкѣ въ залу, гдѣ уже кипитъ самоваръ и гдѣ всѣ готовы слушать его веселыя и умныя рѣчи. Иногда Бѣлоярцевъ бывалъ и не въ духѣ, хмурился, жаловался на нервы и выражался односложными, отрывистыми словами; но это случалось съ нимъ не очень часто и, къ тому же, нервность его успокоивалась, не встрѣчая со стороны окружающихъ ничего, кромѣ вниманія и сочувствія къ его страданіямъ.

Бѣлоярцевъ вообще былъ очень нетребователенъ; онъ, какъ Хлестаковъ, любилъ только, чтобы ему оказывали «преданность и уваженіе,—уваженіе и преданность».

Встрѣчая въ людяхъ готовность платить ему эту дань, онъ смягчался; нервы его успокоивались; онъ начиналъ жмурить котикомъ свои черные глазки и вести бархатнымъ баскомъ разумныя и поучительныя рѣчи.

При Лизѣ у Бѣлоярцева только одинъ разъ случился нервный припадокъ, ожесточавшійся въ теченіе часа отъ всякой бездѣлицы: отъ стука стакана за чаемъ, отъ хрустѣнья зубовъ кусавшаго сухарикъ Прорвича, отъ бѣганья собачки Ступиной и отъ шлепанья башмаковъ ухаживавшей за Лизою Абрамовны. Это болѣзненное явленіе приключилось съ Бѣлоярцевымъ вечеромъ на первый, не то на второй день по переходѣ въ *Домъ* и выражалось столь нестерпимымъ образомъ, что Лиза посовѣтовала ему уйти успокоиться въ свою комнату, а Абрамовна, постоянно игнори-

ровавшая по своему невѣжеству всякое присутствіе нервовъ въ человѣческомъ тѣлѣ, по уходѣ Бѣлоярцева, замѣтила:

— А какъ мой згадъ,—взять бы въ руки хорошую жичку, да хорошенько ею тебя по нервамъ-то, да по нервамъ.

— Какую это *жичку?*—спросила, смѣясь, Ступина.

— А ременную, матушка, ременную,—отвѣчала нелюбившая Бѣлоярцева старушка.

— И какъ же его бить *по нервамъ?*

— А такъ, просто бить пониже спины да приговаривать: расти великъ, будь счастливъ.

Теперь Бѣлоярцеву выпала лафа, и онъ наслаждался въ домѣ основанной имъ ассоціаціи спокойнѣйшею жизнью старосвѣтскаго помѣщика.

Зря и не боясь никакой критики, онъ выдумывалъ новые планы, ставилъ новыя задачи и даже производилъ нѣкоторыя эволюціи.

Такъ, напримѣръ, одно время со скуки онъ увѣрялъ Ступину, что въ ея умѣ много игры и способностей къ художественной воспроизводительности.

— Вамъ только надобно бы посмотрѣть на народъ въ его собственной исключительной обстановкѣ,—твердилъ онъ Ступиной:—и вы бы, я увѣренъ, могли писать очень хорошіе разсказы, сцены и очерки. Посмотрите, какая гадость печатается въ журналахъ: срамъ! Я нимало не сомнѣваюсь, что вы съ перваго же шага стали бы выше всѣхъ ихъ.

— Знаете что? — говорилъ онъ ей въ другой разъ, уже нажужжавъ въ уши о ея талантахъ: — одѣньтесь попроще; возьмите у Марѳы ея платье, покройтесь платочкомъ, а я надѣну мою поддевку и пойдемте смотрѣть народныя сцены. Я увѣренъ, что вы завтра же захотите писать и напишете отлично.

Ступина долго не вѣрила этому, смѣялась, отшучивалась и, наконецъ, повѣрила.

«Чѣмъ чортъ, дескать, не шутитъ! А можетъ-быть и въ самомъ дѣлѣ правда, что я могу писать», — подумала она и одѣлась въ Марѳино платье, а Бѣлоярцевъ въ поддевочку, и пейзанами пошли вечеркомъ посидѣть въ портерную.

Другой разъ сходили они въ помѣщавшееся въ какомъ-то подвалѣ питейное заведеніе, потомъ еще въ такое же подвальное трактирное заведеніе. Наконецъ, эти экскурсіи пе-

рестали забавлять Бѣлоярцева, а Ступина ничего не написала и изъ всѣхъ слышанныхъ ею словъ удержала въ памяти только одни оскорблявшія ея уши площадныя ругательства.

Бѣлоярцевъ пересталъ говорить о талантахъ Ступиной и даже не любилъ, когда она напоминала о совершенныхъ ею, по его совѣту, походахъ.

Онъ началъ говорить о томъ, что они своимъ кружкомъ могли бы устроить что-нибудь такое веселое, что̀ дѣлало бы жизнь ихъ интереснѣе и привлекало бы къ нимъ ихъ знакомыхъ, лѣниво посѣщающихъ ихъ въ дальнемъ захолустьѣ.

— Театръ домашній,—говорила Каверина.

— Да, но театръ требуетъ расходовъ.—Нѣтъ, надо придумать что-нибудь другое, чтобы было занимательно и не стоило денегъ.

— Вотъ что̀ сдѣлаемъ, — говорилъ онъ на другой вечеръ:—составимъ живыя картины.

— Опять же нужны расходы.

— Въ томъ-то и дѣло, что никакихъ расходовъ не нужно: мы такія картины составимъ. Напримѣръ, торгъ невольницами; пиръ дикихъ; похищеніе сабинянокъ... Да мало ли можно придумать такихъ картинъ, гдѣ не нужно никакихъ расходовъ?

Женщины, выслушавъ это предложеніе, такъ и залились истерическимъ хохотомъ.

Это обидѣло Бѣлоярцева. Онъ всталъ съ своего мѣста и, пройдясь по залѣ, замѣтилъ:

— Вотъ то-то и есть, что у насъ отъ слова-то очень далеко до дѣла. На словахъ вотъ мы отрицаемся важныхъ чувствъ, выдуманныхъ цивилизаціею, а на дѣлѣ какой-нибудь ужъ чисто-ложный стыдъ сейчасъ насъ и останавливаетъ.

Женщины разсмѣялись еще искреннѣе.

Бѣлоярцевъ прошелся во время продолжавшагося хохота по комнатѣ и, разсмѣявшись самъ надъ своимъ предложеніемъ, обратилъ все это въ шутку.

А то онъ обратился къ женщинамъ съ упрекомъ, что онѣ живутъ даромъ и никого не любятъ.

— Что-жъ дѣлать, когда не любится? — отвѣчала Ступина. — Давайте кого любить! Некого любить; нѣтъ людей по сердцу.

— Ну да, вотъ то-то и есть, что все вамъ «*по сердцу*» нужно,—отвѣчалъ съ неудовольствіемъ Бѣлоярцевъ.

— А то какъ же?

— А вы любите по разуму, по долгу, по обязанности.

— По какой это обязанности?

— По весьма простой обязанности. По обязанности тѣснѣе соединять людей въ нашъ союзъ, по обязанности поддерживать наши принципы.

— Такъ это, Бѣлоярцевъ, будетъ служба, а не любовь.

— Ну, пускай и служба.

Женщины наотрѣзъ отказались отъ такой службы и только одна Бертольди говорила, что это надо обсудить.

— А сами вы развѣ такъ каждую женщину подъ-рядъ можете любить?—спросила Ступина.

— Разумѣется,—отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.

Ступина сдѣлала презрительную гримаску и замолчала.

Бѣлоярцевъ дулся нѣсколько дней послѣ этого разговора и высказывалъ, что во всякомъ дѣлѣ ему съ часу на часъ все приходится убѣждаться, что его не понимаютъ.

Въ утѣшеніе Бѣлоярцева судьба послала одно внѣшнее обстоятельство.

Въ одинъ прекрасный день онъ получилъ по городской почтѣ письмо, въ которомъ довольно красивымъ женскимъ почеркомъ было выражено, что «слухъ о женскомъ пріютѣ, основанномъ имъ, Бѣлоярцевымъ, разнесся повсюду и обрадовалъ не одно угнетенное женское сердце; что имя его будетъ болѣе драгоцѣннымъ достояніемъ исторіи, чѣмъ имена всѣхъ людей, величаемыхъ ею героями и спасителями; что съ него только начинается новая эпоха для лишенныхъ всѣхъ правъ и обезсиленныхъ воспитаніемъ русскихъ женщинъ» и т. п. — Далѣе авторъ письма сообщалъ, что она дѣвушка, что ей девятнадцатый годъ, что ея отецъ ругинистъ, мать ханжа, а братья бюрократы, что изъ нея дѣлаютъ куклу, тогда какъ она чувствуетъ въ себѣ много силы, энергіи и желанія жить жизнью самостоятельной. Она поясняла, что готова на все, чтобы избавиться отъ своего тяжелаго положенія, и просила у Бѣлоярцева совѣта. Въ концѣ письма былъ адресъ, по которому отвѣтъ черезъ горничную автора могъ дойти по назначенію.

Письмо это было написано по-французски, а какъ Бѣлоярцевъ не умѣлъ свободно справляться съ этимъ языкомъ,

то его читала и переводила Каверина. Ее же Бѣлоярцевъ просилъ перевести на французскій языкъ и переписать составленный имъ отвѣтъ. Отвѣтъ этотъ былъ нарочито великъ, полонъ умныхъ словъ и самыхъ курьезныхъ совѣтовъ.

На письмо Бѣлоярцева отвѣчали другимъ письмомъ, и завязалась переписка, весьма жаркая и весьма занимавшая нашего гражданина. Но, наконецъ, ему надоѣло переписываться съ незнакомкой, и онъ пожелалъ видѣть свою новую обожательницу.

— Надо ее просто вырвать изъ дома и увезти къ намъ: другихъ средствъ я не вижу,—твердилъ онъ нѣсколько дней и, наконецъ, одѣвшись попроще, отправился, въ видѣ лакея, по извѣстному адресу, къ горничной, черезъ которую происходила переписка.

Незнакомка Бѣлоярцева была дочь одного генерала, жившаго въ бель-этажѣ собственнаго дома, на одной изъ лучшихъ улицъ Петербурга. Въ этомъ домѣ знали о Бѣлоярцевѣ и о его заведеніи по разсказамъ одного мѣстнаго Репетилова, привозившаго сюда разныя новости и, между прочимъ, разсказывавшаго множество самыхъ невѣроятныхъ чудесъ о сожительствѣ гражданъ.

Изъ разспросовъ у дворника Бѣлоярцевъ узналъ, съ кѣмъ ему приходится имѣть дѣло, и освѣдомился, каковъ генералъ?

— Генералъ ничего, — говорилъ дворникъ: — генералъ у насъ баринъ добрый. Онъ теперь у насъ такой: въ порядкахъ справедливъ, ну, ужъ а только жа-шь и строгъ же!

— Строгъ?—переспросилъ Бѣлоярцевъ.

— У-у! и Боже мой! Съѣсть онъ готовъ тебя на этомъ на самомъ мѣстѣ. Настоящій, вотъ какъ есть, турка. Сейчасъ тебѣ готовъ башку ссѣчь. — А ты иль дѣло къ нему имѣешь?—разспрашивалъ Бѣлоярцева дворникъ.

— Нѣтъ, я такъ думалъ, что лакея имъ не требуется ли.

— Нѣтъ, лакея намъ, другъ ты милый, не требуется.

«Вотъ она, на какого чорта было наскочилъ», — подумалъ, заворачивая лыжи, Бѣлоярцевъ, и, возвратясь домой не въ духѣ, объявилъ, что съ этою дѣвочкою много очень хлопотъ можно нажить; что взять ее изъ дому, конечно, можно, но что послѣ могутъ выйти исторіи, весьма невыгодныя для общаго дѣла.

— Жаль ее, однако,—говорили женщины.

— Да-съ, да вѣдь лучше одному человѣку пропадать,

чѣмъ рисковать дѣломъ, важнымъ для всего человѣчества,— отвѣчалъ Бѣлоярцевъ.

Лестныя для самолюбія Бѣлоярцева письма незнакомки окончательно дѣлали его въ своихъ глазахъ великимъ человѣкомъ.

Онъ отказался отъ небезопаснаго намѣренія похитить генеральскую дочь и даже пересталъ отвѣчать ей на полученныя послѣ этого три письма; но задумалъ сдѣлаться въ самомъ дѣлѣ наставникомъ и руководителемъ русскихъ женщинъ, видящихъ въ немъ, по словамъ незнакомки, свой оплотъ и защиту.

Бѣлоярцевъ только думалъ, какъ бы за это взяться и съ чего бы начать.

Въ это время, онъ, противъ своего обыкновенія, рѣшился прочесть рекомендованную ему кѣмъ-то скандалезную книжечку: «Правда о мужчинѣ и женщинѣ».

Эта книжечка опредѣлила Бѣлоярцеву его призваніе и указала ему, что̀ дѣлать. Бѣлоярцевъ сталъ толковать о гигіенѣ и, наконецъ, рѣшился прочесть нѣсколько лекцій о физическомъ воспитаніи женщинъ. Эти лекціи многимъ доставили обильный матеріалъ для подтруниванья надъ Бѣлоярцевымъ. Онъ было, послѣ первой попытки, хотѣлъ оставить педагогическое поприще, но слушательницы упросили его продолжать, — и онъ прочелъ свой полный курсъ, состоявшій изъ пяти или шести лекцій. Бертольди довела до свѣдѣнія Бѣлоярцева, что «женщины ждутъ отъ него другихъ наукъ». Бѣлоярцевъ купилъ два вновь вышедшія въ русскомъ переводѣ географическія сочиненія и заговорилъ, что намѣренъ читать курсъ географіи для женщинъ.—Мужчинъ на своихъ лекціяхъ Бѣлоярцевъ терпѣть не могъ и въ крайнемъ случаѣ допускалъ ужъ только самыхъ испытанныхъ гражданъ, ставящихъ выше всего общій выводъ и направленіе. Надѣялись, что Бѣлоярцевъ современемъ прочтетъ и курсъ математики для женщинъ, и курсъ логики для женщинъ; но Бѣлоярцевъ не оправдалъ этихъ надеждъ. Человѣку, не пріучившему себя къ усидчивому труду, читать, да выбирать, да компилировать—работа скучная. Бѣлоярцевъ почувствовалъ это весьма скоро и, забросивъ свои географическія книги, пересталъ и вспоминать о лекціяхъ. Онъ опять началъ понемножку скучать, но не оказывалъ большой нетерпимости и частенько даже сознавался въ нѣ-

которомъ пристрастіи къ мірскимъ слабостямъ. Онъ самъ разсказывалъ, какъ бывало въ мірѣ они сойдутся, выпьютъ бездѣлицу, попоютъ, поскоромятъ, посмѣются, да и привздохнетъ, глядя на зѣвающій и самъ себѣ надоѣвшій народъ *Дома*. Бѣлоярцевъ въ это время ужъ не боялся даже дискредитоваться. Онъ до такой степени чувствовалъ превосходство своего положенія, что уже не стѣснялся постоянно дѣлать и самого себя, и каждое свое дѣйствіе образцовыми. Скажетъ ли кто-нибудь, что ему скучно, Бѣлоярцевъ сейчасъ замѣчаетъ: «Отчего же мнѣ не скучно?»— У кого-нибудь животъ заболитъ.—Бѣлоярцевъ сейчасъ поучаетъ: «Да, да, болитъ! вотъ теперь и болитъ. Разумѣется, что будетъ болѣть, потому что ѣдите безъ толку. Отчего-жъ у меня не болитъ?» — Кто-нибудь пріѣдетъ и разскажетъ, что нынче на Невскомъ на торцахъ очень лошади падаютъ; Бѣлоярцевъ и тутъ остановитъ и скажетъ: «Падаютъ! Нужно смотрѣть, чтобъ у извозчика лошадь была на острыхъ шипахъ, такъ и не упадетъ. Отчего же у моихъ извозчиковъ никогда лошади не падаютъ?»

Бѣлоярцевъ доходилъ до самообожанія и изъ-за этого даже часто забывалъ объ обязанностяхъ, лежащихъ на немъ по званію соціальнаго реформатора. Хотя онъ и говорилъ: «отчего же мнѣ не скучно?» но въ существѣ нудился болѣе всѣхъ и одинъ разъ при общемъ восклике: «какая скука! какая скука!» не отвѣтилъ: «отчего же мнѣ не скучно?», а походилъ и сказалъ: «Да, надо кого-нибудь позвать. Я убѣдился, что намъ ихъ бояться такимъ образомъ нечего. Въ жизни, въ принципахъ мы составляемъ особое цѣлое, а такъ, одною наружною стороною, отчего же намъ не соприкасаться съ ними?.. Я подумаю, и мы, кажется, даже уничтожимъ декады, а назначимъ простые дни въ недѣлю,— это даже будетъ полезно для пропаганды».

На другой же день послѣ такого разговора, Бѣлоярцевъ пошелъ погулять и, встрѣчаясь съ старыми своими знакомыми по житью въ мірѣ, говорилъ:

— А что вы къ намъ никогда не завернете? Заходите, пожалуйста.

— Да вы, — Богъ васъ тамъ знаетъ, — совсѣмъ особеннымъ какъ-то образомъ живете и не принимаете старыхъ знакомыхъ,—отвѣчалъ мірянинъ.

— Ахъ, фуй! Что это вы такое! Полноте, пожалуйста,—

останавливалъ мірянина Бѣлоярцевъ. — Никакихъ у насъ особенностей нѣтъ: живемъ себѣ вмѣстѣ, чтобъ дешевле обходилось, да и только. Вы, сдѣлайте милость, заходите. Вотъ у насъ въ пятницу собираются, вы и заходите.

Бѣлоярцевъ, благодушно гуляя, зашелъ навѣстить и Райнера. Больной спалъ, а въ его залѣ за чаемъ сидѣли Розановъ, Лобачевскій, Полинька и Лиза.

— Ситуайэнъ Бѣлоярцевъ!—произнесъ вполголоса Розановъ при входѣ гостя.

Они поздоровались и удовлетворили бѣлоярцевскіе вопросы о Райнеровомъ здоровьѣ.

— А что съ вами, Дмитрій Петровичъ? Гдѣ вы побываете, что подѣлываете? Вы совсѣмъ запропастились, — заигрывалъ съ Розановымъ Бѣлоярцевъ.

— Всегда на виду, — отвѣчалъ Розановъ: — занимаюсь прохожденіемъ службы; начальствомъ, могу сказать, любимъ, подчиненныхъ не имѣю.

— Что же вы къ намъ никогда?

Розановъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ и отвѣчалъ:

— Помилуйте, зачѣмъ же я буду ходить къ вамъ, когда мое присутствіе васъ стѣсняетъ?

Бѣлоярцевъ нѣсколько смутился и сказалъ:

— Нѣтъ... Это совсѣмъ не такъ, Дмитрій Петровичъ, я именно противъ личности вашей ничего не имѣю, а если я что-нибудь говорилъ въ этомъ родѣ, то говорилъ о несходствѣ въ принципахъ.

— Какихъ принципахъ?—спросилъ Розановъ.

— Ну, мы во многомъ же не можемъ съ вами согласиться...

Розановъ пожалъ въ недоумѣніи плечами.

— Вы выходите изъ однихъ началъ, а мы изъ другихъ...

— Позвольте, пожалуйста: я отъ васъ всегда слыхалъ одно...

— Ну да,—то было время.

— Вы всегда утверждали, что вы художникъ и вамъ нѣтъ дѣла ни до чего внѣ художества: я васъ не оспаривалъ и никогда не оспариваю. Какое мнѣ дѣло до вашихъ принциповъ?

— Да, да, это все такъ, но все же вѣдь всѣ наши недоразумѣнія выходятъ изъ-за несходства нашихъ принциповъ. Мы отрицаемъ многое, за что стоитъ...

— Э! полноте, Бѣлоярцевъ! Повторяю, что мнѣ нѣтъ никакого дѣла до того, что съ вами произошелъ какой-то куркенъ-переверкенъ. Если между нами есть, какъ вы ихъ называете, недоразумѣнія, такъ тутъ ни при чемъ ваши отрицанія. Мой пріятель Лобачевскій несравненно бо̀льшій отрицатель, чѣмъ всѣ вы; онъ даже вонъ отрицаетъ васъ самихъ со всѣми вашими хлопотами и всего ждетъ только отъ выработки вещества человѣческаго мозга, но между нами нѣтъ же подобныхъ недоразумѣній. Мы не мѣшаемъ другъ другу.—Какіе тамъ особенные принципы!..

Бѣлоярцевъ выносилъ это объясненіе съ спокойствіемъ, дѣлающимъ честь его умѣнью владѣть собою, и довелъ дѣло до того, что въ первую пятницу въ *Домѣ* было нѣчто въ родѣ вечерочка. Были тутъ и граждане, было и нѣсколько мірянъ. Даже здѣсь появился и пріѣхавшій изъ Москвы нашъ давній знакомый Завулоновъ. Бѣлоярцевъ былъ въ самомъ пріятномъ духѣ: каждаго онъ привѣтилъ, каждому, кѣмъ онъ дорожилъ хоть каплю, онъ попалъ въ ноту.

— Вотъ чѣмъ люди прославлялись!—сказалъ онъ Завулонову, который разсматривалъ фотографическую копію съ бруніевскаго «Мѣднаго змѣя».—Хороша идея!

Завулоновъ молча покряхтывалъ.

— Родись мы съ вами въ то время,—начиналъ Бѣлоярцевъ:—что бы... можно сдѣлать?

— Все равно, васъ бы тогда не оцѣнили, — подсказывала Бертольди, не отлучавшаяся отъ Бѣлоярцева во всѣхъ подобныхъ случаяхъ.

— Ну, и что жъ такое?—говорилъ Бѣлоярцевъ въ другомъ мѣстѣ, защищая какого-то мелкаго газетнаго сотрудника, побиваемаго маленькимъ путейскимъ офицеромъ. — Можно и сто разъ смѣшнѣе написать, но что же въ этомъ за цѣль? Онъ, напримѣръ, написалъ: «*свинья въ ермолкѣ*», и смѣшно очень, а я напишу: «собака во фракѣ», и будетъ еще смѣшнѣе. Вотъ вамъ и весь вашъ Гоголь; вотъ и весь его юморъ!

Черезъ нѣсколько минутъ не менѣе рѣзкій приговоръ былъ высказанъ и о Шекспирѣ.

— А чортъ его знаетъ; можетъ-быть, онъ былъ дуракъ.

— Шекспиръ дуракъ!

— Ну да, нужныхъ мыслей у него нѣтъ.—Про героевъ сочинялъ, что такое?

— Шекспиръ дуракъ! — вскрикивалъ, весь побагровѣвъ, путейскій офицеръ.

— Очень можетъ быть. Въ Отеллѣ, тамъ какую-то бычачью ревность изобразилъ... Можетъ быть, это и дорого стоитъ... А что онъ человѣкъ безполезный и ничтожный,— это фактъ.

— Шекспиръ?

— Ну, Шекспиръ же-съ, Шекспиръ.

Вечеръ, впрочемъ, шелъ совсѣмъ безъ особыхъ гражданскихъ онеровъ. Только Бертольди, когда кто-нибудь изъ мірянъ, прощаясь, протягивалъ ей руку, спрашивала:

— Зачѣмъ это?

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Начало конца.

Райнеръ выздоровѣлъ и въ первый разъ выѣхалъ къ Евгеніи Петровнѣ. Онъ встрѣтилъ тамъ Лизу, Полиньку Калистратову и Помаду. Появленіе послѣдняго несказанно его удивило. Помада пріѣхалъ изъ Москвы только нѣсколько часовъ и прежде всего отправился къ Лизѣ. Лизы онъ не засталъ дома и пріѣхалъ къ Евгеніи Петровнѣ, а вещи его оставилъ у себя Бѣлоярцевъ, который встрѣтилъ его необыкновенно привѣтливо и радушно, пригласилъ погостить у нихъ. Бѣлоярцевъ въ это время хотя и пересталъ почти совсѣмъ бояться Лизы и даже опять самымъ искреннимъ образомъ желалъ, чтобы ея не было въ *Домѣ*, но съ одной стороны ему хотѣлось, пригласивъ Помаду, показать Лизѣ свое доброжелательство и поворотъ къ простотѣ, а съ другой—непрезентабельная фигура застѣнчиваго и неладнаго Помады давала ему возможность погулять за глаза на его счетъ и показать гражданамъ, что вотъ-де у нашей умницы какіе друзья.

Лиза поняла это и говорила Помадѣ, что онъ напрасно принялъ бѣлоярцевское приглашеніе; она находила, что лучше бы ему остановиться у Вязмитиновыхъ, гдѣ его знаютъ и любятъ.

— А вы, Лизавета Егоровна, ужъ и знать мнея не хотите развѣ?—отвѣчалъ съ кроткимъ упрекомъ Помада.

Лизѣ невозможно было разъяснить ему своихъ соображеній.

Помада очень мало измѣнился въ Москвѣ. По крайней

ветхости всего его костюма, можно было безошибочно полагать, что житье его было не сахарное. О службѣ своей онъ разговаривалъ неохотно и только нѣсколько разъ принимался разсказывать, что долги свои онъ уплатилъ всѣ до копеечки.

— Я бы давно былъ здѣсь,—говорилъ онъ:—но все должишки были.

— Зачѣмъ же вы пріѣхали?—спрашивали его.

— Такъ, повидаться захотѣлось.

— И надолго къ намъ?

— Денька два пробуду,—отвѣчалъ Помада.

Въ этотъ день Помада обѣдалъ у Вязмитиновыхъ и тотчасъ же послѣ стола поѣхалъ къ Розанову, обѣщаясь къ вечеру вернуться, но не вернулся. Вечеромъ къ Вязмитиновымъ заѣхалъ Розановъ и крайне удивился, когда ему сказали о внезапномъ пріѣздѣ Помады: Помада у него не былъ. У Вязмитиновыхъ его ждали до полуночи и не дождались. Лиза поѣхала на розановскихъ лошадяхъ къ себѣ и прислала оттуда сказать, что Помады и тамъ нѣтъ.

— Сирена какая-нибудь похитила, — говорилъ утромъ Бѣлоярцевъ.

На другое утро Помада явился къ Розанову. Онъ былъ, по обыкновенію, сердеченъ и тепелъ, но Розанову показалось, что онъ какъ-то неспокоенъ и разсѣянъ. Только о Лизѣ онъ разспрашивалъ со вниманіемъ, а ни городъ, ни положеніе всѣхъ другихъ извѣстныхъ ему здѣсь лицъ не обращали на себя никакого его вниманія.

— Что ты такой странный?—спрашивалъ его Розановъ.

— Я, братъ, давно такой.

— Гдѣ же ты ночевалъ?

— Тутъ у меня родственникъ есть.

— Откуда у тебя родственникъ взялся?

— Давно... всегда былъ тутъ дядя... у него ночевалъ.

Этотъ день и другой затѣмъ Помада или пребывалъ у Вязмитиновыхъ, или уѣзжалъ къ дядѣ.

У Вязмитиновыхъ онъ впадалъ въ самую дѣтскую веселость, цѣловалъ ручки Женни и Лизы, обнималъ Абрамовну, цѣловалъ Розанова и даже ни съ того, ни съ сего плакалъ.

— Что ты это, Помада?—спрашивалъ его Розановъ.

— Что? Такъ, Богъ его знаетъ, дѣтскіе годы... старое все какъ-то припомнилъ, и скучно разстаться съ вами.

Чѣмъ его болѣе ласкали здѣсь, тѣмъ онъ становился разстроеннѣе и тѣмъ чаще у него просились на глаза слезы. Вещи свои, заключающіяся въ давно извѣстномъ намъ ранцѣ, онъ еще съ вечера перевезъ къ Розанову и отъ него хотѣлъ завтра уѣхать.

— Увидимся еще завтра? — спрашивала его Женни. — Поѣздъ идетъ въ Москву въ двѣнадцать часовъ.

— Нѣтъ, Евгенія Петровна, я завтра у дяди буду.

Никакъ нельзя было уговорить его, чтобы онъ завтра показался.

Прощаясь у Вязмитиновыхъ со всѣми, онъ расцѣловалъ руки Женни и вдругъ поклонился ей въ ноги.

— Что вы! что вы дѣлаете? Что съ вами, Юстинъ Феликсовичъ?—спрашивала Женни.

— Такъ... разстроился, — тихо произнесъ Помада и, вдругъ измѣнивъ тонъ, подошелъ спокойною, твердою поступью къ Лизѣ.

— Я вамъ много надоѣдалъ,—началъ онъ тихо и ровно.— Я помню каждое ваше слово. Мнѣ безъ васъ было скучно. Ахъ, если бы вы знали, какъ скучно! Не сердитесь, что я пріѣзжалъ повидаться съ вами.

Лиза подала ему обѣ руки.

— Прощайте!—пролепеталъ Помада и, припавъ къ рукѣ Лизы, зарыдалъ какъ ребенокъ.

— Живите съ нами,—сказала ему сквозь слезы Лиза.

— Нѣтъ, другъ мой, — Помада улыбнулся и сказалъ: — можно васъ назвать «другомъ»?

Лиза отвѣчала утвердительнымъ движеніемъ головы.

— Нѣтъ, другъ мой, мнѣ съ вами нельзя жить. Я такъ долго жилъ безъ всякой опредѣленной цѣли. Теперь мнѣ легко. Это только такъ кажется, что я разстроенъ, а я въ самомъ дѣлѣ очень, очень спокоенъ.

— Что съ нимъ такое? — говорила Лиза, обращаясь къ Розанову и Женни.

— Ну вотъ! Ахъ вы, Лизавета Егоровна!— воскликнулъ Помада сквозь грустную улыбку. — Ну, скажите, ну, что я за человѣкъ такой? Пока я скучалъ да томился, никто надъ этимъ не удивлялся, а когда я, наконецъ, спокоенъ, это всѣмъ удивительно. На свою дорогу напалъ: вотъ и все.

Пріѣхавъ къ Розанову, Помада попросилъ его дать ему бумаги и тотчасъ же сѣлъ писать. Онъ окончилъ свое писаніе далеко за полночь, а въ восемь часовъ утра стоялъ передъ Розановымъ во всемъ дорожномъ облаченіи.

— Куда ты такъ рано? — спросилъ его, просыпаясь, докторъ.

— Прощай, мнѣ пора.

— Да напейся же чаю.

— Нѣтъ, пора.

— Вѣдь до двѣнадцати часовъ еще долго.

— Нѣтъ, пора, пора: прощай, братъ Дмитрій.

— Постой же, лошадей запрягутъ.

Розановъ крикнулъ человѣка и велѣлъ скорѣе запрячь лошадей, а самъ сталъ наскоро одѣваться.

— Ты что хочешь дѣлать?

— Проводить тебя хочу.

— Нѣтъ! Бога ради, не надо, не надо этого! Ни лошадей твоихъ не надо, ни ты меня не провожай.

Розановъ остановился, выпяливъ на него глаза.

— Прощай! Вотъ это письмо передай, только не по почтѣ. Я не знаю адреса, а Красинъ его знаетъ. Передай и оставайся.

— Да что же это такое за мистификація! Куда ты ѣдешь, Помада? Ты не въ Москву ѣдешь.

— Будь же уменъ и деликатенъ: простимся, и оставь меня.

Съ этими словами Помада поцѣловалъ Розанова и быстро вышелъ.

— Живи! — крикнулъ онъ ему изъ-за двери, взялъ перваго извозчика, и поѣхалъ.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Механики.

Письмо, оставленное Помадою въ рукахъ Розанова, было надписано сестрѣ Мечниковой, Агатѣ.

Розановъ положилъ это письмо въ карманъ и около десяти часовъ того же утра завезъ его Райнеру, а при этомъ разсказалъ и странности, обнаруженныя Помадою при его отъѣздѣ.

— Да, все это странно, очень странно, — говорилъ Райнеръ: — но, погодите, у меня есть нѣкоторыя догадки... Съ этой дѣвушкой дѣлаютъ что-нибудь очень скверное.

Райнеръ взялъ письмо и обѣщался доставить его самъ. Вечеромъ Розановъ, встрѣтивъ его у Вязмитиновыхъ и, улучивъ минуту, когда остались одни, спросилъ:

— Ну, что ваши догадки?

— Оправдались.

— Что же съ этой дѣвушкой?

— Очень нехорошо. О, Боже мой! если бъ вы знали, какіе есть мерзавцы на свѣтѣ!

— Очень знаю.

— Нѣтъ, не знаете.

— Помилуйте, на землѣ четвертый десятокъ начинаю жить.

— Нѣтъ, ни на какой *землѣ* не встрѣчалъ я такихъ мерзавцевъ, какъ здѣсь.

— Болотные,—подсказалъ Розановъ.

Послѣ этого разговора, при которомъ Райнеръ казался нѣсколько взволнованнымъ, его противъ обыкновенія не было видно около недѣли, и онъ очень плохо могъ разсказать, гдѣ онъ все это время исчезалъ и чѣмъ занимался.

Разскажемъ, что дѣлалъ въ теченіе этого времени Райнеръ.

Тотчасъ, разставшись съ Розановымъ, онъ отправился съ письмомъ Помады въ Болотную улицу и обойдя, съ безполезными разспросами, нѣсколько печальныхъ домовъ этой улицы, наконецъ, нашелъ квартиру Агаты.

— Пожалуйте, пожалуйте за мной,—трещала ему кривая грязная баба, идя впереди его по темному, вонючему коридорчику, съ неровнымъ поломъ, заставленнымъ ведрами, корытами, лаханками и всякой нечистью.— Онѣ давно ужъ совсѣмъ собрамшись; давно ждутъ васъ.

— Пріѣхали за вами!—крикнула баба, отворивъ дверь въ небольшой чуланчикъ, оклеенный засаленными бумажками.

Къ двери быстро подскочила Агата. Она много измѣнилась въ теченіе того времени, какъ Райнеръ не видалъ ее: лицо ея позеленѣло и немного отекло, глаза сдѣлались еще больше, фигура сильно испортилась въ таліи. Агата была беременна, и беременности ея шелъ седьмой мѣсяцъ. Бѣлоярцевъ давно разсказывалъ это; теперь Райнеръ видѣлъ это своими глазами. Беременность Агаты была очевидна, несмотря на то, что бѣдная женщина встрѣтила Райнера въ дорожномъ платьѣ. На ней былъ надѣтъ шерстяной линючій ватошникъ и сверху драповый бурнусъ, подъ которымъ былъ поддѣтъ большой ковровый платокъ; другой та-

кой же платокъ лежалъ у нея на головѣ. При входѣ Райнера, она тотчасъ начала связывать концы этого платка у себя за спиною и торопливо произнесла:

— Вотъ какъ! Такъ это вы за мною, monsieur Райнеръ?

— Я къ вамъ, а не за вами. Вотъ вамъ письмо.

— Отъ кого это?—спросила Агата и, поспѣшно разорвавъ конвертъ, пробѣжала коротенькую записочку.

— Что это значитъ?—спросила она, блѣднѣя.

— Не знаю,—отвѣчалъ Райнеръ.

Агата передала ему записку:

«Я васъ не могу взять съ собою,—писалъ Помада,—я уѣзжаю одинъ. Я вамъ хотѣлъ это сказать еще вчера, когда видѣлись у № 7, но это было невозможно, и это было безполезно въ присутствіи № 11. Въ вашемъ положеніи вы не можете вынесть предпріятія, за которое беретесь, и взять васъ на него было бы подлостью и притомъ подлостью безполезною и для васъ, и для дѣла. Видѣться съ вами я не могъ, не зная вашего адреса и будучи обязанъ не знать его. Я рѣшился васъ обмануть и оставить. Я все это изложилъ въ письмѣ къ лицамъ, которыя должны знать это дѣло, и беру всю отвѣтственность на себя. Васъ никто не упрекнетъ ни въ трусости, ни въ безхарактерности, и всѣ честные люди, которыхъ я знаю по нашему дѣлу, вполнѣ порадуются, если вы откажетесь отъ своихъ намѣреній. Повѣрьте, что они вамъ будутъ не подъ силу. Вспомните, что вы вѣдь *русская*. Зачѣмъ вамъ быть съ нами? Примите мой совѣтъ: успокойтесь; будьте русскою женщиною и посмотрите, не вѣрно ли то, что странѣ вашей нужны прежде всего хорошія матери, безъ которыхъ трудно ждать хорошихъ людей.» Подписано: «Гижицкій».

— Вы хотѣли ѣхать въ Польшу?—спросилъ Райнеръ, возвращая Агатѣ письмо Помады, подписанное чужою фамиліею.

— Ну, да, я должна была сегодня ѣхать съ Гижицкимъ. Видите, у меня все готово,—отвѣчала Агата, указывая на лежавшій посреди комнаты крошечный чемоданчикъ и связокъ въ кашемировомъ платкѣ.

— Что жъ вы тамъ хотѣли дѣлать?

— Ходить за больными.

— Да вы развѣ полька?

— Нѣтъ, не полька.

— Ну, сочувствуете польскому дѣлу: аристократическому дѣлу?

— Ахъ, Боже мой! Боже мой! что только они со мною дѣлаютъ!—произнесла вмѣсто отвѣта Агата и, опустившись на стулъ, поникла головою и заплакала.—То уговариваютъ, то оставляютъ опять на эту муку въ этой проклятой конурѣ,—говорила она, раздражаясь и нервно всхлипывая.

По коридору и за стѣнами конуры со всѣхъ сторонъ слышались человѣческіе шаги и то любопытный шопотъ, то сдержанный сиплый смѣхъ.

— Перестаньте говорить о такихъ вещахъ, — тихо проговорилъ по-англійски Райнеръ.

— Что мнѣ беречь! Мнѣ нечего терять и нечего бояться. Пусть будетъ все самое гадкое. Я очень рада буду,—отвѣчала по-русски и самымъ громкимъ, нервнымъ голосомъ Агата.

Райнеръ постоялъ нѣсколько секундъ молча и, еще понизивъ голосъ, опять по-англійски сказалъ ей:

— Поберегите же другихъ, которымъ можетъ повредить ваша неосторожность.

Дѣвушка, прислонясь лбомъ къ стѣнкѣ дивана, старалась душить свои рыданія, но, спустя пару минутъ, быстро откинула голову и, взглянувъ на Райнера покраснѣвшими глазами, сказала:

— Выйдите отъ меня, сдѣлайте милость! Оставьте меня со всякими своими совѣтами и нравоученіями.

Райнеръ взялъ съ чемодана свою шляпу и сталъ молча надѣвать калоши, стараясь не давать пищи возрастающему раздраженію Агаты.

— Фразеры гнусные!—проговорила она вслухъ, запирая на крючокъ свою дверь тотчасъ за Райнеровой спиной.

Райнера нимало не оскорбили эти обидныя слова: сердце его было полно жалости къ несчастной дѣвушкѣ и презрѣнія къ людямъ, желавшимъ сунуть ее куда попало для того только, чтобы спустить съ глазъ.

Райнеръ понималъ, что Агату ничто особенное не тянуло въ Польшу, но что ее склонили къ этому, пользуясь ея печальнымъ положеніемъ. Онъ вышелъ за ворота грязнаго двора, постоялъ нѣсколько минутъ и пошелъ, куда вели его возникавшія соображенія.

Черезъ часъ Райнеръ вошелъ въ комнату Красина, заставъ гражданина готовящимся выйти изъ дома.

Они поздоровались.

— Красинъ, перестали ли вы думать, что я шпіонъ?— спросилъ ex abrupto Райнеръ.

— О, конечно, какъ вамъ не стыдно и говорить объ этомъ!—отвѣчалъ Красинъ.

— Мнѣ нужно, во что бы то ни стало, видѣть здѣшняго комиссара революціоннаго польскаго правительства: помогите мнѣ въ этомъ.

— Но... позвольте, Райнеръ... почему вы думаете, что я могу вамъ помочь въ этомъ?

— Я это знаю.

— Ошибаетесь.

— Я это достовѣрно знаю: № 7 третьяго дня видѣлся съ № 11.

— Вы хотите идти въ возстаніе?

— Да,—тихо отвѣчалъ Райнеръ.

Красинъ подумалъ и походилъ по комнатѣ.

— Я тоже имѣю это намѣреніе,—сказалъ онъ, остановясь передъ Райнеромъ, и началъ качаться на своихъ высокихъ каблукахъ.—Но, вы знаете, въ польской организаціи можно знать очень многихъ ниже себя, а старше себя только того, отъ кого вы получили свою номинацію, а я еще не имѣю номинаціи. То-есть, я могъ бы ее имѣть, но она мнѣ пока еще не нужна.

— Укажите же мнѣ хоть кого-нибудь,—упрашивалъ Райнеръ.

— Не могу, батюшка. Вы напишите, что̀ вамъ нужно, я поищу случая передать; но указать, извините, никого не могу. Самъ не знаю.

Райнеръ сѣлъ къ столику и взялъ четвертку писчей бумаги.

— Пишите безъ излишней скромности: если вы будете бояться ихъ, они вамъ не повѣрятъ.

Райнеръ писалъ: «Я, швейцарскій подданный Вильгельмъ Райнеръ, желаю идти въ польское народное возстаніе и прошу дать мнѣ возможность видѣться съ кѣмъ-нибудь изъ петербургскихъ агентовъ революціонной организаціи». Засимъ слѣдовала полная подпись и полный адресъ.

— Постараюсь передать,—сказалъ Красинъ.

На другой день, часу въ восьмомъ вечера, Афимья подала Райнеру карточку, на которой было написано: «*Кол-*

лежскій совѣтникъ Иванъ Венедиктовичъ Петровскій». Райнеръ попросилъ г. Петровскаго. Это былъ человѣкъ лѣтъ 35, блондинъ, съ чисто выбритымъ благонамѣреннымъ лицомъ и со всѣми пріемами благонамѣреннѣйшаго департаментскаго начальника отдѣленія. Мундирный фракъ, въ которомъ Петровскій предсталъ Райнеру, и аннинскій крестъ въ петлицѣ усиливали это сходство еще болѣе.

— Я имѣю честь видѣть господина Райнера? — началъ мягкимъ, вкрадчивымъ голосомъ Петровскій.

Райнеръ далъ гостю надлежащій отвѣтъ, усадилъ его въ спокойномъ креслѣ своего кабинета и спросилъ, чему онъ обязанъ его посѣщеніемъ.

— Вашей записочкѣ, — отвѣчалъ коллежскій совѣтникъ, вынимая изъ бумажника записку, отданную Райнеромъ Красину.—А вотъ не угодно ли вамъ будетъ,—продолжалъ онъ спустя немного,—вглянуть на другую бумажку.

Петровскій положилъ передъ Райнеромъ тонкій листокъ, величиною съ листки, употребляемые для телеграфическихъ депешъ. Это была номинація г. Петровскаго агентомъ революціоннаго правительства. На лѣвомъ углу бумаги была круглая голубая печать Rzadu Narodowego.

Райнеръ немного смѣшался и, торопливо пробѣжавъ бумагу, взглянулъ на двери: Петровскій смотрѣлъ на него совершенно спокойно. Не торопясь, онъ принялъ изъ рукъ Райнера его записку и вмѣстѣ съ своею номинаціей опять положилъ ихъ въ бумажникъ.

— Я беру вашу записку, чтобы возвратить ее тому, отъ кого она получена.

Райнеръ молча поклонился.

— Чѣмъ же прикажете служить? — тихо спросилъ коллежскій совѣтникъ. — Вы вѣдь не имѣете желанія идти въ возстаніе: мы знаемъ, что это съ вашей стороны былъ только предлогъ, чтобы видѣть комиссара. Я самъ не знаю комиссара, но, увѣряю васъ, что онъ ни васъ, никого принять не можетъ. Что вамъ угодно довѣрить, вы можете, не опасаясь, сообщить мнѣ.

Это начало еще болѣе способствовало Райнерову замѣшательству, но онъ оправился и съ полною откровенностью разсказалъ революціонному агенту, что, подъ видомъ сочувствія польскому дѣлу, имъ навязываютъ дѣвушку въ такомъ положеніи, въ которомъ женщина не можетъ скитаться

по лѣсамъ и болотамъ, а имѣетъ всякое право на человѣческое снисхожденіе.

— Если вы отправите ее,—прибавилъ Райнеръ:—то тысячи людей объ этомъ будутъ знать; и это не будетъ выгодно для вашей репутаціи.

— Совершенно такъ, совершенно такъ,—подтверждалъ коллежскій совѣтникъ, пошевеливая аннинскимъ крестомъ.— Я былъ пораженъ вчера этимъ извѣстіемъ и будьте увѣрены, что эта дѣвица никогда не будетъ въ возстаніи. Ей еще вчера послано небольшое вспоможеніе за безпокойство, которому она подверглась, и вы за нее не безпокойтесь.— Мы вѣдь въ людяхъ не нуждаемся,—сказалъ онъ съ снисходительной улыбкой, и, тотчасъ же принявъ тонъ благородно-негодующій, добавилъ: — а это насъ подвели эти благородные русскіе друзья Польши. Конечно,—началъ онъ послѣ короткой паузы: — въ нашемъ положеніи здѣсь мы должны молчать и терпѣть, но эта почтенная партія можетъ быть увѣрена, что ея серьезныя занятія не останутся тайною для исторіи.

— Чѣмъ вы думаете испугать ихъ! — съ горькой улыбкой проговорилъ Райнеръ.

— Чѣмъ можемъ.

— Что имъ судъ исторіи, когда они сами увѣрены, что лгутъ себѣ и людямъ, и все-таки ничѣмъ не стѣсняются.

— Они полагаютъ, что цѣлый свѣтъ такъ же легко обманывать, какъ они обманываютъ своимъ соціализмомъ полсотни какихъ-нибудь юбокъ.

Петровскій сдѣлалъ тонкую департаментскую улыбку и сказалъ:

— Да, на русской землѣ выросли соціалисты, достойные полнѣйшаго удивленія.

— Какіе жъ это соціалисты!—вскричалъ Райнеръ.

— Ну, фурьеристы.

— Это... просто...

— Дрянь!—горячо сорвалъ Петровскій.

— Н-нѣтъ, игра въ лошадки, маскарадъ, въ которомъ интригуютъ для забавы. Конечно, они... иногда... пользуются увлеченіями...

— И все во имя теоріи! Нѣтъ, Богъ съ ними, съ ихъ умными теоріями и съ ихъ сочувствіемъ. Мы ни въ чемъ

отъ нихъ не нуждаемся и будемъ очень рады какъ можно скорѣе освободиться отъ ихъ вниманія. Наше дѣло, — продолжалъ Петровскій, не сводя глазъ съ Райнера: — добыть нашимъ бѣднымъ хлопкамъ землю, раздѣлить ее по-братски,—и пусть тогда будетъ народная воля.

Райнеръ посмотрѣлъ на коллежскаго совѣтника во всѣ глаза.

— Прощайте, господинъ Райнеръ, очень радъ, что имѣлъ случай познакомиться съ такимъ благороднымъ человѣкомъ, какъ вы.

— Какую вы новую мысль дали мнѣ о польскомъ движеніи! Я его никогда такъ не разсматривалъ и, признаюсь, его такъ никто не разсматриваетъ.

Коллежскій совѣтникъ улыбнулся и проговорилъ:

— Что жъ намъ дѣлать!—и простился съ Райнеромъ.

Петровскаго, какъ онъ только вышелъ на улицу, встрѣтилъ молодой человѣкъ, которому коллежскій совѣтникъ отдалъ свой бумажникъ съ номинаціею и другими бумагами. Тутъ же они обмѣнялись нѣсколькими словами и пошли въ разныя стороны. У перваго угла Петровскій взялъ извозчика и велѣлъ ѣхать въ Нѣмецкій клубъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Неожиданный оборотъ.

Агата осталась въ Петербургѣ. Съ помощью денегъ, полученныхъ ею въ запечатанномъ конвертѣ черезъ человѣка, который встрѣтилъ ее на улицѣ и скрылся прежде, чѣмъ она успѣла сломать печать, бѣдная дѣвушка наняла себѣ уютную коморочку у бабушки-голландки и жила, совершенно пропавъ для всего свѣта.

Она ждала времени своего разрѣшенія и старалась всячески гнать отъ себя всякую мысль о будущемъ. Райнеръ пытался отыскать ее, чтобы, по крайней мѣрѣ, утѣшить обѣщаніемъ достать работу, но Агата спряталась такъ тщательно, что поиски Райнера остались напрасными.

Въ *Домѣ Согласія* все шло попрежнему, только Бѣлоярцевъ все болѣе заявлялъ себя доступнымъ міру и мірянамъ. Въ одинъ вечеръ, занимаясь набивкою чучела зайца, котораго застрѣлила какая-то его знакомая мірянка, онъ даже выразилъ насчетъ утилитарности такое мнѣніе, что «полезно все то, что никому не вредно и можетъ доставлять

удовольствіе». Тутъ же онъ какъ-то припомнилъ нѣсколько знакомыхъ и, между прочимъ, сказалъ:

— Вотъ и Райнеръ выздоровѣлъ, вездѣ бываетъ, а къ намъ и глазъ не кажетъ. — А я полагаю, что теперь мы бы безъ всякаго риска могли предложить ему жить съ нами.

Мысль эта была выражена Бѣлоярцевымъ въ виду совершеннаго истощенія занятаго фонда: Бѣлоярцевъ давненько началъ подумывать, какъ бы сложить нѣкоторыя непріятныя обязанности на чужія плечи, и плечи Райнера представлялись ему весьма удобными для этой перекладки.

Женщины и самый Прорвичъ удивительно обрадовались мысли, выраженной Бѣлоярцевымъ насчетъ Райнера, и пристали къ Лизѣ, чтобы она немедленно же уговорила его переходить въ *Домъ*. Просьба эта отвѣчала личнымъ желаніямъ Лизы, и она на нее дала свое согласіе.

— Пойдетъ ли только теперь къ намъ Райнеръ? — усомнилась Ступина.—Онъ вѣрно обиженъ. — Но это сомнѣніе было опровергнуто всѣми.

— Райнеръ не такой человѣкъ, чтобы подчиняться личностямъ,—утвердила Лиза, приставая къ голосамъ, не раздѣлявшимъ опасеній Ступиной.

На другой день Лиза поѣхала къ Вязмитиновой.

Лиза вообще въ послѣднее время рѣдкій день не бывала у Женни, гдѣ собирались всѣ извѣстныя намъ лица: Полинька, Розановъ, Райнеръ и Лиза. Здѣсь они проводили время довольно не скучно и вовсе не обращали вниманія на являвшагося букою Николая Степановича.

Къ великому удивленію Лизы, полагавшей, что она знаетъ Райнера, какъ самоё себя, онъ, выслушавъ ея разсказъ о предложеніи, сдѣланномъ вчера Бѣлоярцевымъ, только насмѣшливо улыбнулся.

— Что̀ значитъ эта острая гримаса? — спросила его недовольная Лиза.

— То, что господинъ Бѣлоярцевъ очень плохо меня понимаетъ.

— И что же дальше?.

— Дальше, очень просто: я не стану жить съ нимъ.

— Можно полюбопытствовать почему?

— Потому, Лизавета Егоровна, что онъ въ моихъ гла-

захъ человѣкъ вовсе негодный для такого дѣла, за которымъ нѣкогда собирались мы.

— То-есть, собирались и вы?

— Да, и я, и вы, и многіе другіе. Женщины въ особенности.

— Такъ вы въ нѣкоторыхъ вѣрите же?

— Вѣрю. Я вѣрю въ себя, въ васъ. Въ васъ я очень вѣрю, вѣрю и въ другихъ, особенно въ женщинъ. Ихъ самая пылкость и увлеченіе говоритъ, если не за ихъ твердость, то за ихъ чистосердечность. А такіе господа, какъ Красинъ, какъ Бѣлоярцевъ, какъ множество имъ подобныхъ... Помилуйте, развѣ съ такими людьми можно куда-нибудь идти!

— Некуда?

— Совершенно некуда.

— Такъ что же по вашему теперь: бросить дѣло?

Райнеръ пожалъ плечами.

— Это какъ-то мало походитъ на все то, что вы говорили мнѣ во время вашей болѣзни.

— Я ничего не дѣлаю, Лизавета Егоровна, безъ причины. Дѣло это, какъ вы его называете, выходитъ вовсе не дѣло. По милости всякаго шутовства и лжи, оно сдѣлалось общимъ посмѣшищемъ.

— Такъ спасайте его!

Райнеръ опять пожалъ плечами и сказалъ:

— Испорченнаго въ конецъ нельзя исправить, Лизавета Егоровна. Я вамъ говорю, что при внутренней безладицѣ всего, что у васъ дѣлается, васъ преслѣдуетъ всеобщая насмѣшка. Это погибель.

— Ничтожная людская насмѣшка!

— Насмѣшка не ничтожна, если она основательна.

— Мнѣ кажется, что все это родится въ вашемъ воображеніи,—сказала, постоявъ молча, Лиза.

— Нѣтъ, къ несчастію, не въ моемъ воображеніи. Вы, Лизавета Егоровна, далеко не знаете всего, что очень многимъ давно извѣстно.

— Что же по-вашему нужно дѣлать? — спросила Лиза опять послѣ долгой паузы.

— Я не знаю. Если есть средства начинать снова на иныхъ простыхъ началахъ, такъ начинать.—Когда я говорилъ съ вами больной, я именно это разумѣлъ.

— Ну, начинайте.

— Средствъ нѣтъ, Лизавета Егоровна. Нужны люди и нужны деньги, а у насъ ни того, ни другого.

— Такъ клиномъ земля русская и сошлась для насъ!

— Мы, Лизавета Егоровна, русской земли не знаемъ и она насъ не знаетъ. Можетъ-быть на ней есть и всякіе люди, да съ нами нѣтъ такихъ, какіе намъ нужны.

— Вы же сами признаете искренность за нашими женщинами.

— Да средствъ, средствъ нѣтъ, Лизавета Егоровна! Ничего начинать вновь при такихъ обстоятельствахъ невозможно.

— И вы рѣшились все оставить?

— Не я, а само дѣло показываетъ вамъ, что вы должны его оставить.

— И жить по-старому?

— И эту исторію тянуть дальше невозможно. Все это неминуемо должно будетъ разсыпаться само собою при такихъ учредителяхъ.

— Ну, идите же къ намъ: ваше участіе въ дѣлѣ можетъ его поправить.

— Не можетъ, не можетъ, Лизавета Егоровна, и я не желаю вмѣшиваться ни во что.

— Пусть все погибнетъ?

— Пусть погибнетъ, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Это говорите вы, Райнеръ!

— Я, Райнеръ.

— Соціалистъ!

— Я, соціалистъ Райнеръ, я, Лизавета Егоровна, отъ всей души желаю, чтобы такъ или иначе скорѣе уничтожилась жалкая, смѣшная попытка, профанирующая ученіе, въ которое я вѣрю. Я, соціалистъ Райнеръ, буду радъ, когда въ Петербургѣ не будетъ *Дома Согласія.* Я благословлю тотъ часъ, когда эта безобразная, эгоистичная и безнравственная куча самозванцевъ разойдется и не станетъ мотаться на людскихъ глазахъ.

Лиза стояла молча.

— Поймите же, Лизавета Егоровна, что я не могу, я не въ силахъ видѣть этихъ ничтожныхъ людей, этихъ самозванцевъ, по милости которыхъ въ человѣческомъ обществѣ безчестятся и предаются позору и посмѣянію принципы, въ

которыхъ я выросъ и за которые готовъ сто разъ отдать всю свою кровь по каплѣ.

— Понимаю,—тихо и презрительно произнесла Лиза.

Оба они стояли молча у окна пустой залы Вязмитиновыхъ.

— Вы сами скоро убѣдитесь,—началъ Райнеръ:—что...

— Всѣ соціалисты вздоръ и чепуха, — подсказала Лиза.

— Зачѣмъ же подсказывать не то, что человѣкъ хотѣлъ сказать.

— Что же? Вы человѣкъ, которому я вѣрила, съ которымъ мы во всемъ согласились, съ которымъ... даже думала никогда не разставаться...

— Позвольте: изъ-за чего же намъ разставаться?

— И вы вотъ что вышли! Трусить, идти на попятный дворъ и, наконецъ, желать всякаго зла соціализму!—перебила его Лиза.

— Не соціализму, а... вздорамъ, которые во имя его затѣяны пустыми людьми.

— Гдѣ же ваше снисхожденіе къ людямъ? Гдѣ же то всепрощеніе, о которомъ вы такъ красно говорили?

— Вы злоупотребляете словами, Лизавета Егоровна,— отвѣчалъ, покраснѣвъ, Райнеръ.

— А вы дѣлаете еще хуже. Вы злоупотребляете...

— Чѣмъ-съ?

— Довѣріемъ.

Райнеръ вспыхнулъ и тотчасъ же поблѣднѣлъ какъ полотно.

— И это человѣкъ, которому... на которомъ... съ которымъ я думала...

— Но Бога ради: вѣдь вы же видите, что ничего нельзя дѣлать!—воскликнулъ Райнеръ.

— Тому, у кого коротка воля и кто мало дорожитъ довѣріемъ къ своимъ словамъ.

Райнеръ хотѣлъ что-то отвѣчать, но слово застряло у него въ горлѣ.

— А какъ красно вы умѣли разсказывать!—продолжала Лиза.—Трудно было думать, что у васъ меньше рѣшимости и мужества, чѣмъ у Бѣлоярцева.

— Вы пользуетесь правами вашего пола,—отвѣчалъ, весь дрожа, Райнеръ.—Вы меня нестерпимо обижаете съ тѣмъ, чтобы возбудить во мнѣ ложную гордость и заставить дѣй-

ствовать противъ моихъ убѣжденій. Этого еще никому не удавалось.

Въ отвѣтъ на эту тираду Лиза сдѣлала нѣсколько шаговъ на середину комнаты и, окинувъ Райнера уничтожающимъ взглядомъ, тихо выговорила:

— Безысходныхъ положеній нѣтъ, monsieur Райнеръ.

Черезъ четверть часа она уѣхала отъ Вязмитиновой, не простясь съ Райнеромъ, который оставался неподвижно у того окна, у котораго происходилъ разговоръ.

— Что тутъ у васъ было?—спрашивала Райнера Евгенія Петровна, удивленная внезапнымъ отъѣздомъ Лизы.

Райнеръ уклончиво отдѣлался отъ отвѣта и уѣхалъ домой.

— Ну, что, Бахарева?—встрѣтили Лизу вопросомъ женщины *Дома Согласія!*

— Райнеръ не будетъ жить съ нами.

— Отчего же это?—освѣдомился баскомъ Бѣлоярцевъ.— Манерничаетъ! Ну, я къ нему схожу завтра.

— Да, сходите теперь; покланяйтесь хорошенько: это и идетъ къ вамъ,—отвѣтила Лиза.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

И сырыя дрова загораются.

Три дня, непосредственно слѣдовавшіе за этимъ разговоромъ, имѣютъ большое право на наше вниманіе.

Въ теченіе этихъ трехъ дней Райнеръ не видался съ Лизою. Каждый вечеръ онъ приходилъ къ Женни часомъ ранѣе обыкновеннаго и при первыхъ привѣтствіяхъ очень внимательно прислушивался, не отзовется ли изъ спальни хозяйки другой знакомый голосъ, не покажется ли въ дверяхъ Лизина фигура. Лизы не было. Она не только не выѣзжала изъ дома, но даже не выходила изъ своей комнаты и ни съ кѣмъ не говорила. Въ эти же дни Николай Степановичъ Вязмитиновъ получилъ командировку, взялъ подорожную и собирался черезъ нѣсколько дней уѣхать мѣсяца на два изъ Петербурга и, наконецъ, въ одинъ изъ этихъ дней Красинъ обронилъ на улицѣ свой бумажникъ, о которомъ очень сожалѣлъ, но не хотѣлъ объявить ни въ газетахъ, ни въ кварталѣ и даже вдругъ вовсе пересталъ говорить о немъ.

Вечеромъ послѣдняго изъ этихъ трехъ дней Женни сидѣла у печки, топившейся въ ея спальнѣ. На колѣняхъ

она держала младшаго своего ребенка и шутя говорила ему, когда онъ будетъ жить и расти. Няня Абрамовна сидѣла на креслѣ и сладко позѣвывала.

— Будемъ красавицы, умницы, добрыя, будутъ насъ любить, много, много будутъ насъ любить,—говорила Евгенія Петровна съ разстановкой, заставляя ребенка ласкать самого себя по щечкамъ собственными ручонками.

— Гадай, гадай, дитятко, — произнесла въ отвѣтъ ей старуха.

— Да ужъ угадаемъ, ужъ угадаемъ, — шутила Женни, цѣлуя дѣвочку.

— А на мой згадъ, какъ Фараонъ царь мальчиковъ побивалъ, такъ теперь слѣдуетъ выдать законъ, чтобъ побивали дѣвочекъ.

— За что это насъ убивать? за что убивать насъ?— относилась Женни къ ребенку.

— А за то, что нынче дѣвки не въ модѣ. Право, посмотришь,—свѣтъ-то навыворотъ пошелъ. Бывало, въ домахъ ли гдѣ, въ собраніяхъ ли какихъ, видишь все-то кавалеры съ дѣвушками, съ барышнями, а барышни съ кавалерами, и таково-то славно, таково-то весело и пристойно. Парка парку себѣ отыскиваетъ. А нынче ужъ нѣтъ! Все пошло какъ-то таранты на вонъ. Всѣ мужчины, какъ идолы какіе оглашенные, все только около замужнихъ женщинъ такъ и вертятся, такъ и кривляются, какъ пауки; а тѣ тоже чичи-чи! да га-га-га! Сами на шею и вѣшаются.

Женни засмѣялась.

— Гадостницы,—проговорила Абрамовна.

Кто-то позвонилъ у дверей.

Абрамовна встала и отперла. Вошелъ Райнеръ.

— Идите сюда, Василій Ивановичъ, здѣсь печечка топится.

— Вы однѣ?—спросилъ, тихо входя, Райнеръ.

— Вотъ съ няней, да съ дочерью бесѣдую. Садитесь вы къ намъ.

— Я думалъ, что и Николай Степановичъ здѣсь.

— Нѣтъ; его нѣтъ совсѣмъ дома. Онъ уѣзжаетъ въ концѣ этой недѣли. Все ѣздитъ теперь къ своему начальнику. Лизы вы не видали?

— Нѣтъ, не видалъ.

— Хотите сейчасъ ее выпишемъ?

— Какъ вамъ угодно.

— Вамъ какъ угодно?

Райнеръ слегка покраснѣлъ, а Женни зажгла свѣчечку и написала нѣсколько строчекъ къ Лизѣ.

— Няня милая! возьми извозчика прокатайся, — сказала она Абрамовнѣ.

— Куда это, матушка?

— Привези Лизу.

— Это въ вертепъ-то ѣхать!

Райнеръ и Женни засмѣялись.

— Ну, давай, давай съѣзжу, — отвѣчала старуха, черезъ десять минутъ одѣлась и отправилась въ вертепъ.

Въ это время, шагахъ въ тридцати не доходя дома, гдѣ жили Вязмитиновы, на тротуарѣ стоялъ Розановъ съ какимъ-то мѣщаниномъ въ калмыцкомъ тулупѣ.

— Уморительный маскарадъ!—говорилъ Розановъ тулупу.

— Именно *уморительный*, потому что умариваешься, какъ чортъ,—отвѣчалъ тулупъ.

— И долго вы еще здѣсь проиграете?

— Нѣтъ: птица сейчасъ юркнула куда-то сюда. Сейчасъ вынырнетъ, а дома тамъ его ждутъ.

— Да, что это воръ, что ли?

— Какой воръ! Иностранецъ по политическому дѣлу. этихъ ловить не трудно.

— А кто такой, если можно?

— Райнеръ какой-то.

— Чортъ его знаетъ, не знаю, — отвѣчалъ Розановъ и, пожавъ руку переодѣтаго въ тулупъ, пошелъ не торопясь по улицѣ и скрылся въ воротахъ дома, гдѣ жили Вязмитиновы.

Райнеръ преспокойно сидѣлъ съ Евгеніей Петровной у печки въ ея спальнѣ, и они не замѣтили, какъ къ нимъ черезъ дѣтскую вошелъ Розановъ, поднявшійся по черной лѣстницѣ.

Войдя въ спальню, Розановъ торопливо пожалъ руку хозяйки и, тронувъ слегка за плечо Райнера, поманилъ его за собою въ гостиную.

— Васъ сейчасъ схватятъ, — сказалъ онъ безъ всякихъ обиняковъ и въ сильномъ волненіи.

— Меня? Кто меня схватитъ?—спросилъ, блѣднѣя, Райнеръ.

— Извѣстно кто беретъ: полиція. Что вы сдѣлали въ это время, за что васъ могутъ преслѣдовать?

— Я, право, не знаю,—началъ-было Райнеръ, но тотчасъ же ударилъ себя въ лобъ и сказалъ:—ахъ, Боже мой! вѣрно эта бумага, которую я писалъ къ полякамъ.

Онъ вкратцѣ разсказалъ извѣстную намъ исторію, по скольку она относилась къ нему.

Подозрѣнія его были вѣрны: его выдавала извѣстная намъ записка, представленная въ полицейскій кварталъ городовымъ, поднявшимъ бумажникъ Красина.

— Кончено: спасенья нѣтъ,—произнесъ Розановъ.

— Господи! къ счастію вы такъ неосторожно говорили, что я поневолѣ все слышала,—сказала, входя въ гостиную, Вязмитинова. — Говорите, въ чемъ дѣло, можетъ-быть, что-нибудь придумаемъ.

— Нечего придумывать, когда полиція слѣдитъ его по пятамъ и у вашего дома люди.

— Боже мой! Я поѣду, отыщу моего мужа, а вы подождите здѣсь. Я буду просить мужа сдѣлать все, что можно.

Розановъ махнулъ рукой.

— Мужъ вашъ не можетъ ничего сдѣлать, да и не станетъ ничего дѣлать. Кто возьметъ на себя такія хлопоты? Это не о мѣстѣ по службѣ попросить.

Надъ дверью громко раздался звонокъ и, жалбоно звеня, закачался на дрожащей пружинѣ.

Розановъ и Женни остолбенѣли. Райнеръ всталъ совершенно спокойный и поправилъ свои длинные русые волосы.

— Мужъ!—прошептала Женни.

— Полиція!— произнесъ еще тише Розановъ.

— Бѣгите заднимъ ходомъ, — захлебываясь, прошептала Женни и, посадивъ на кушетку ребенка, дернула Райнера за руку въ свою спальню.

— Невозможно!—остановилъ ихъ Розановъ:—тамъ ваши люди: вы его не спасете, а всѣхъ запутаете.

Ребенокъ, оставленный на диванѣ въ пустой гостиной, заплакалъ, а надъ дверью раздался второй звонокъ вдвое громче прежняго.

За дѣтскою послышались шаги горничной.

— Сюда!—кликнула Женни и, схвативъ Райнера за рукавъ, толкнула его за драпировку, закрывавшую ея кровать.

Дѣвушка въ то же мгновеніе пробѣжала черезъ спальню

и отперла дверь, надъ которою въ это мгновеніе раздался уже третій звонокъ.

Розановъ и Женни ни живы, ни мертвы стояли въ спальнѣ.

— Что это ты, матушка, ребенка-то одного бросила? — кропотливо говорила, входя, Абрамовна.

— Такъ, это ты няня?

— Что такое я, сударыня?

— Звонила?

— Да я же, я, вотъ видишь.

— А мы думали... что ты по черной лѣстницѣ войдешь.

— Носъ тамъ теперь расшибить.

Евгенія Петровна немножко оправилась и взяла ребенка.

— Не поѣхала,—сказала няня, входя и протягивая руки за ребенкомъ.

Женни вспомнила, что няня ѣздила за Лизой.

— Не поѣхала?—переспросила она ее. — Отчего же она не поѣхала?

— А не поѣхала, да вотъ тебѣ и только. Знаешь, чай, у ней сказъ коротокъ.

Женни была какъ на ножахъ. Мало того, что каждую минуту за драпировку ея спальни могли войти горничная или Абрамовна, тутъ могъ войти мужъ, котораго она ожидала безпрестанно.

Женни вертѣлась около опущенныхъ занавѣсокъ драпировки и понимала, что, во-первыхъ, ея караульное положеніе здѣсь неестественно, а, во-вторыхъ, она не знала, что̀ дѣлать, если горничная или няня подойдетъ къ ней и попроситъ ее дать дорогу за драпировку.

Бѣдная женщина стояла, держа палецъ одной руки у рта, а другою удерживая крѣпко стучавшее сердце.

— Что намъ дѣлать?—шепнула она Розанову.

Тотъ пожалъ плечами и поникнулъ головою въ совершенномъ недоумѣніи.

Вязмитинова неслышными шагами подвинулась за занавѣску, и черезъ полминуты Розановъ услыхалъ, какъ щелкнулъ замокъ въ ея ванной. Вслѣдъ затѣмъ Женни выскочила, какъ бы преслѣдуемая страшнымъ привидѣніемъ, схватила со стола свѣчу и побѣжала черезъ залъ и гостиную въ кабинетъ мужа. Во все это время она судорожно совала что-то въ карманъ своего платья и, остановясь у мужнинаго письменнаго стола, что-то уронила на полъ.

Розановъ нагнулся и поднялъ ключъ.

Женни сѣла и оперлась обѣими локтями на письменный столъ. Голова ея шаталась отъ тяжелаго дыханія.

— Дайте мнѣ воды,—прошептала она Розанову.

Докторъ налилъ ей стаканъ воды. Она выпила полстакана и вопросительно посмотрѣла на Розанова.

— Возьмите ключъ,—сказалъ онъ ей тихо.

Евгенія Петровна схватила ключъ, дрожащею рукою сунула его въ карманъ и закрыла разрѣзъ складкою широкой юбки.

— Что ему могутъ сдѣлать?—начала она очень тихо.

— Могутъ сдѣлать очень дурное. Законъ строгъ въ такихъ случаяхъ.

— Боже мой, и неужто нѣтъ никакой возможности спасти его? Пусть бѣжитъ.

— Какъ, куда и съ чѣмъ?

— За границу.

— А гдѣ паспортъ?

— Пусть скроется пока въ Россіи.

— Все-таки нуженъ видъ, нужны деньги.

— Я найду немного денегъ.

— А видъ?

Женни замолчала.

— Что это за бумага? — спросила она черезъ нѣсколько минутъ, указывая на лежащую на столѣ подорожную мужа.— Это подорожная,—да? Съ нею можно уйти изъ Петербурга,— да? Говорите же: да или нѣтъ?

— Да,—отвѣчалъ Розановъ.

Женни взяла бумагу и, поднявъ ее вверхъ, встала со стула.

— А что будетъ, если эта бумага пропадетъ?—спросила она, глядя тревожными и восторженными глазами на Розанова.—Отвѣчайте мнѣ чистую правду.

— Если эту подорожную у Николая Степановича украдутъ?

— Да, если ее у него украдутъ? Скорѣе, скорѣе отвѣчайте.

— Если украдутъ, то... ему выдадутъ новую, а объ этой объявятъ въ газетахъ.

— И только? Говорите же: и только!

— И только, если она будетъ украдена и пропадетъ

безъ вѣсти. Въ противномъ случаѣ, если Райнеръ съ нею попадется, то... будетъ слѣдствіе.

— Да, но мой мужъ все-таки не будетъ отвѣчать, потому что онъ ничего не зналъ? Я скажу, что я... сожгла ее, изорвала...

— Да, что до вашего мужа, то онъ внѣ всякихъ подозрѣній.

— Держите же ее, берите, берите, — произнесла дрожа Женни.

Она выбѣжала изъ кабинета и черезъ часъ вернулась съ шелковымъ кошелькомъ своей работы.

— Здѣсь что-то около сорока рублей. У меня болѣе ничего нѣтъ,—лепетала она, безпрестанно мѣняясь въ лицѣ.— Берите это все и ступайте домой.

— Что̀ вы такое задумали, Евгенія Петровна! Вспомните, что̀ вы дѣлаете!

— Берите и ступайте, приготовьте ему какое-нибудь платье: онъ ночью будетъ у васъ.

— Какъ вы это сдѣлаете? Подумайте только, у насъ не старая, не прежняя полиція.

— Ахъ, идите Бога ради домой, Дмитрій Петровичъ. Я все обдумала.

Розановъ положилъ въ карманъ подорожную, деньги и отправился домой.

Женни возвратилась въ свою спальню, пожаловалась, что она нехорошо себя чувствуетъ и, затворивъ за собою дверь изъ дѣтской, опустилась передъ образникомъ на колѣни.

Темные лики иконъ, озаренные трепетнымъ свѣтомъ лампады, глядѣли на молящуюся строго и спокойно.

Въ дѣтской послышался легкій старческій сапъ няни.

Евгенія Петровна тихо прошла со свѣчою по заднимъ комнатамъ. Въ другой маленькой дѣтской спала крѣпкимъ сномъ мамка, а далѣе, закинувъ голову на спинку дивана, похрапывала полнокровная горничная. Хозяйка тѣмъ же осторожнымъ шагомъ возвратилась въ спальню. Вязмитиновъ еще не возвращался. Въ залѣ стучалъ медленно раскачивающійся маятникъ стѣнныхъ часовъ.

Женни осторожно повернула ключъ въ завѣтной двери.

Райнеръ спокойно сидѣлъ на краю ванны.

— Вы можете уходить нынче ночью,—начала торопливо его спасительница.—Вотъ вамъ свѣча, зеркало и ножницы:

стригите ваши волосы и бороду. Ночью я васъ выпущу черезъ подъѣздъ. Розановъ будетъ ждать васъ дома. Если услышите шаги, гасите свѣчу.

— Евгенія Петровна! зачѣмъ вы...

— Тссъ,—произнесла Женни, и ключъ снова повернулся.

Въ одиннадцать часовъ возвратился Вязмитиновъ. Онъ очень удивился, заставъ жену въ постели.

— Я очень нездорова, — отвѣчала дрожа Евгенія Петровна.

— Что у тебя, лихорадка?—разспрашивалъ Вязмитиновъ, взявъ ее за трепещущую руку.

— Вѣрно лихорадка: мнѣ нуженъ покой.

— За докторомъ послать?

— Ахъ, мнѣ покой нуженъ, а не докторъ. Дайте же мнѣ покою.

— Ну, Богъ съ тобой, если ты нынче такая нервная.

— Да, я въ самомъ дѣлѣ чувствую себя очень разстроенной.

— Я тоже усталъ, — отвѣчалъ Вязмитиновъ и, поцѣловавъ жену въ лобъ, ушелъ въ свой кабинетъ.

Женни отослала горничную, сказавъ, что она раздѣнется сама.

Наступила ночь; движеніе на улицѣ совершенно стихло; часы въ залѣ ударили два.

Женни осторожно приподнялась съ кровати и, подойдя неслышными шагами къ дверямъ, внимательно слушала: вездѣ было тихо. Изъ кабинета не доходило ни звука, повсюду темнота.

— Пора! — шепнула Женни, отворивъ дверь Райнеровой темницы.

Райнера невозможно было узнать. Ни его прекрасныхъ волосъ, ни усовъ, ни бороды не было и слѣда. Неровно и клочковато, но весьма коротко, онъ снесъ съ своей головы всю растительность.

— Скорѣй и тише,—шепнула Женни.

Райнеръ вышелъ по мягкому ковру за драпировку.

— Вы губите себя,—шепталъ онъ.

— Вы здѣсь губите меня болѣе, чѣмъ когда вы уйдете,— такъ же тихо отвѣчала, оглядываясь, Женни.

— Я никогда не прощу себѣ, что послушался васъ сначала.

— Тсс!—произнесла Женни.

— Для кого и для чего вы такъ рискуете? Боже мой!

— Я такъ хочу... для васъ самихъ... для Лизы. Тсс! — опять произнесла она, держа одною рукою свѣчу, а другою холодную руку Райнера.

Все было тихо, но Женни оставила Райнера и, подойдя къ двери дѣтской, отскочила въ испугѣ: свѣча ходенемъ заходила у нея въ рукѣ.

Съ той стороны двери въ эту же щель створа глядѣлъ на нее строгій глазъ Абрамовны.

— Зачѣмъ ты, зачѣмъ ты здѣсь, няня!—нервно шептала, глотая слова, Женни.—Спи, иди спи!

Абрамовна отворила дверь, перешагнула въ спальню и, посмотрѣвъ на Райнера, повертѣла свою головную повязку.

— Я тебѣ разскажу, все разскажу послѣ, — пролепетала Женни и, быстро вскочивъ, взяла Райнера за руку.

— Куда? страмовщица: опомнись! — остановила ее старуха.—Только того и надо, чтобы на лѣстницѣ кто-нибудь встрѣтилъ.

Старуха вырвала у Евгеніи Петровны свѣчу, махнула головою Райнеру и тихо вышла съ нимъ изъ залы.

Женни осталась словно окаменѣлая; даже сильно бившееся до сихъ поръ сердце ея не стучало.

Легкій звонъ ключа сказалъ ей, что няня съ Райнеромъ прошли залу и вышли на лѣстницу.

Женни вздрогнула и опять упала на колѣни.

Абрамовна съ Райнеромъ такъ же тихо и неслышно дошли по лѣстницѣ до дверей параднаго подъѣзда. Старуха отперла своимъ ключомъ дверь и, толкнувъ Райнера на улицу, закричала пронзительнымъ старушечьимъ крикомъ: «Если не застанешь нашего доктора, бѣги къ другому, да скорѣе бѣги-то; скорѣе; скажи: очень, молъ, худо».

Райнеръ побѣжалъ бѣгомъ.

— Да ты бери извозчика! — крикнула вдогонку старуха и захлопнула двери.

Райнеръ взялъ перваго извозчика и, виляя на немъ изъ переулка въ переулокъ, благополучно доѣхалъ до розановской квартиры.

Докторъ ждалъ гостя. Онъ не обременялъ его никакими вопросами, помогъ ему хорошенько обриться; на счастье Розановъ умѣлъ стричь, онъ наскоро поправилъ Райнерову

стрижку, далъ ему теплые сапоги, шапку, немного бѣлья и выпроводилъ на улицу часа за полтора до разсвѣта.

— Боже! за что я всѣхъ васъ подвергаю такому риску, я, одинокій, никому ненужный человѣкъ,—говорилъ Райнеръ.

— Вы уходите скорѣй и подальше: это всего нужнѣе. Теперь ужъ раздумывать нечего,—отвѣчалъ Розановъ.

Когда послышался щелкъ ключа въ двери, которую запирала няня, Евгенія Петровна вскочила съ колѣнъ и остановилась передъ поднятыми занавѣсками драпировки.

Старушка вошла въ спальню строгая и суровая.

— Няня!—позвала ее Евгенія Петровна.

— Ну!

Евгенія Петровна заплакала.

— Перестань,—сказала старуха.

— Ты... не думай, няня... Я клянусь тебѣ дѣтьми, отцомъ клянусь, я ничего...

— Ложись, говорю тебѣ. Будто я не знаю, что ли, глупая ты!

Старуха поправила лампаду, вздохнула и пошла въ свою комнату.

Райнера не стало въ Петербургѣ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Землетрясеніе.

Четвертыя сутки Лизѣ не удалось просидѣть въ своей комнатѣ.

Бѣлоярцевъ въ этотъ день не обѣдалъ дома и прискакалъ только въ шесть часовъ. Онъ вошелъ, придавая своему лицу самый встревоженный и озабоченный видъ.

— Всѣ дома?—спросилъ онъ, пробѣгая въ свою комнату.

— Всѣ,—лѣниво отвѣтила Бертольди.

— А Бахарева?—спросилъ онъ, снова выбѣжавъ въ залу.

— Она въ своей комнатѣ.

— Зовите ее скорѣе сюда. У насъ сегодня непремѣнно будетъ полиція.

— Полиція!—воскликнуло разомъ нѣсколько голосовъ.

— Да, да, да, ужъ когда я говорю, такъ это такъ. Сегодня ночью арестовали Райнера; квартира его опечатана и всѣ бумаги взяты.

Бертольди бросилась съ этой новостью къ Лизѣ.

— Нужно все сжечь, все, что можетъ указать на наши

сношенія съ Райнеромъ, — говорилъ Бѣлоярцевъ, оглядываясь на всѣ стороны и соображая, что бы такое начать жечь.

Вошла Лиза. Она была блѣдна и едва держалась на ногахъ. Ее словно расшибло извѣстіе объ арестѣ Райнера.

— У васъ, Лизавета Егоровна, могутъ быть письма Райнера?—отнесся къ ней Бѣлоярцевъ.

— Есть,—отвѣчала Лиза.

— Ихъ нужно немедленно уничтожить.

— Все пустыя, обыкновенныя письма: они не имѣютъ никакого политическаго значенія.

— Все-таки ихъ нужно уничтожить: они могутъ служить указаніемъ на его связь съ нами.

Лиза встала и черезъ пять минутъ возвратилась съ пачкою записокъ.

— Сжигайте,—сказала она, положивъ ихъ на столъ.

Бѣлоярцевъ развязалъ пачку и началъ кидать письма по одному въ пылающій каминъ.

Лиза молча глядѣла на вспыхивающую и берущуюся чернымъ пепломъ бумагу. Въ душѣ ея происходила ужасная мука. «Всѣхъ ты разогнала и растеряла», шептало ей чувство, болѣзненно сжимавшее ея сердце.

— У васъ есть еще что-нибудь?—освѣдомился Бѣлоярцевъ.

— Ничего, — отвѣчала Лиза, и то же чувство опять словно съ хохотомъ давнуло ея сердце и сказало: — да, у тебя больше нѣтъ ничего.

— Что же еще жечь?—Давайте что жечь? — добивался Бѣлоярцевъ.

Ступина принесла и бросила какія-то два письма, Каверина бросила въ огонь свой давній дневникъ, Прорвичъ—составленный имъ лѣтъ шесть тому назадъ проектъ демократической республики, умѣщавшійся всего на шести писанныхъ страничкахъ. Одна Бертольди нашла у себя очень много матеріала, подлежащаго сожженію. Она безпрестанно подносила Бѣлоярцеву цѣлыя кипы и съ торжествомъ говорила:

— Жгите.

Но, наконецъ, и ея запасъ горючаго вещества изсякъ.

— Давайте же?—спрашивалъ Бѣлоярцевъ.

— Все,—отвѣтила Бертольди.

Бѣлоярцевъ всталъ и пошелъ въ свою комнату. Долго онъ тамъ возился и, наконецъ, вынесъ оттуда огромную

груду бумагъ. Бросивъ все это въ каминъ, онъ раскопалъ кочережкою пепелъ и сказалъ:

— Ну, теперь милости просимъ.

Женщины сидѣли молча въ весьма непріятномъ раздумьѣ; скука была страшная.

— Да, — началъ Бѣлоярцевъ: — пока пожалуютъ дорогіе гости, намъ нужно условиться, что говорить. Надо сказать, что всѣ мы родственники, и говорить это въ одно слово. Вы, mademoiselle Бертольди, скажите, что вы жена Прорвича.

— Отлично,—отозвалась Бертольди.

— Вы назовитесь хоть моею женою, — продолжалъ онъ, относясь къ Ступиной:—а вы, Лизавета Егоровна, скажите, что вы моя сестра.

— Къ чему же это?

— Такъ, чтобы замаскировать нашу ассоціацію.

— Это очень плохая маска: никто не повѣритъ такой баснѣ.

— Отчего же-съ?

— Оттого, что если полиція идетъ, такъ ужъ она знаетъ, куда идетъ, и, наконецъ, вмѣстѣ жить и чужимъ людямъ никому не запрещено.

— Ну, вѣдь вотъ то-то и есть, что съ вами не сговоришь. Отчего-жъ я думаю иначе? Вѣрно ужъ я имѣю свои основанія, — заговорилъ Бѣлоярцевъ, позволившій себѣ по поводу экстреннаго случая и съ Лизою бесѣдовать въ своемъ любимомъ тонѣ.

Лиза ничего ему не отвѣтила. Не до него ей было.

— И опять, надо знать, какъ держать себя, — началъ Бѣлоярцевъ.—Надо держать себя съ достоинствомъ, но безъ выходокъ, вѣжливо, надо лавировать.

— А пока они придутъ, надо сидѣть вмѣстѣ или можно ложиться?—спросила Бертольди.

Бѣлоярцевъ походилъ молча и отвѣчалъ, что надо посидѣть.

— Можетъ-быть, разойтись по своимъ комнатамъ?

— Зачѣмъ же по своимъ комнатамъ. Семья развѣ не можетъ сидѣть въ залѣ.

Всѣ просидѣли съ часокъ: скука была нестерпимая и, несмотря на тревожное ожиданіе обыска, иные начали позѣвывать.

— Возьмите какія-нибудь тетради, будто переводите, что ли, или работу возьмите,—командовалъ Бѣлоярцевъ.

— На переводахъ есть райнеровскія поправки,—отозвалась Ступина.

— Что жъ такое, что поправки: никто не станетъ листовать вашихъ тетрадей.

Бертольди принесла двѣ тетради, изъ которыхъ одну положила передъ собою, а другую передъ Ступиной. Каверина вышла къ своему ребенку, который былъ очень боленъ.

Въ залѣ снова водворилось скучное молчаніе. Бѣлоярцевъ прохаживался, поглядывалъ на часы и, остановясь у одного окна, вдругъ воскликнулъ:

— Ну да, да, да: вотъ у насъ всегда такъ! О поправкахъ на тетрадяхъ помнимъ, а вотъ такіе документы разбрасываемъ по окнамъ!

Онъ поднесъ къ столу пустой конвертъ, надписанный когда-то Райнеромъ «Ступиной въ квартирѣ Бѣлоярцева».

— Еще и «въ квартирѣ Бѣлоярцева», — произнесъ онъ съ упрекомъ, сожигая на свѣчѣ конвертъ.

— Это пустяки,—проговорила Ступина.

— Пустяки-съ! Я только не знаю, отчего вы не замѣчаете, что я не пренебрегаю никакими пустяками?

— Вы особенный человѣкъ,—отвѣчала та съ легкой ироніей.

Вышла опять скучнѣйшая пауза.

— Который часъ?—спросила Ступина.

— Скоро десять.

— Не идти ли спать со скуки?

— Какой же сонъ! Помилуйте, Анна Львовна, ну, какой теперь сонъ въ десять часовъ!

— Да чего жъ напрасно сидѣть. Ничего не будетъ.

— Ну да; вамъ больше знать, — полупрезрительно протянулъ Бѣлоярцевъ.

Въ это мгновеніе на дворѣ стукнула калитка, потомъ растворилась дверь, ведущая со двора на лѣстницу, и по кирпичнымъ ступенямъ раздался тяжелый топотъ, кашель и голоса.

— А что-съ!—воскликнулъ, блѣднѣя, Бѣлоярцевъ, злобно глянувъ на Ступину.

Блѣдность разомъ покрыла всѣ лица. Изъ коридора показалась блѣдная же Каверина, а изъ-за нея спокойное широкое лицо Марѳы.

Шаги и говоръ раздались у самой лѣстницы и, наконецъ, дрогнулъ звонокъ.

Бѣлоярцевъ присѣлъ на окно. Зала представляла неподвижную живую картину ужаса.

Послышался второй звонокъ.

— Ну, отпирайте, вѣдь не отсидимся ужъ,—сказала Каверина.

Бертольди пошла въ переднюю, въ темнотѣ перекрестилась и повернула ключъ.

Тяжелый роковой топотъ раздался въ темной передней, и на порогъ залы выползла небольшая круглая фигурка въ крытомъ сукномъ овчинномъ тулупѣ, воротникъ котораго былъ завернутъ за уши.

Фигура приподняла-было ко лбу руку съ сложенными перстами, но, не находя по угламъ ни одного образа, опустила ее снова и, слегка поклонившись, проговорила:

— Наше почтенье-съ.

Граждане переглянулись.

— Я, господа, къ вашей милости,—начала фигура.

Ступина подошла со свѣчою къ тулупу и увидала, что за нимъ стоитъ мужъ Мареы, да держащаяся за дверь Бертольди и болѣе никого.

— Я, какъ вамъ угодно, только я не то, что изъ капризу какого-нибудь, а я рѣшительно вамъ говорю, что, имѣя себѣ капиталъ совершенно, можно сказать, что самый незначительный, то я болѣе ожидать не могу-съ. По мелочной торговлѣ, это нельзя-съ. Сорокъ рублей тоже для нашего брата въ оборотѣ свой расчетъ имѣютъ.

Ступина не выдержала и залилась самымъ веселымъ смѣхомъ.

— Отчего же я не смѣюсь?—тономъ слабаго упрека остановилъ ее Бѣлоярцевъ.

Упрекъ этотъ, при общей обстановкѣ картины, такъ мало отвѣчавшей совершенно другимъ ожиданіямъ, заставилъ расхохотаться не только всѣхъ женщинъ, но даже Прорвича. Не смѣялись только Лиза, лавочникъ да Бѣлоярцевъ.

— Я вѣдь это по чести только пришелъ,—началъ лавочникъ, обиженный непонятнымъ для него смѣхомъ:—а то я съ вами, милостивый вы государь, и совсѣмъ иначе завтра сдѣлаюсь,—отнесся онъ къ Бѣлоярцеву.

— Да что же тутъ я? Мы всѣ брали и заплатимъ. Чудной ты человѣкъ, Аѳанасій Ивановичъ! Брали и заплатимъ.

— Нѣтъ, это чудакъ, ваше благородіе, баранъ, что до

Петрова дня матку сосетъ, а мы здѣсь въ своемъ правилѣ. На насъ также нѣ ждутъ. Моя рѣчь вся вотъ-она: денежки на столъ и душа на просторъ, а то я завтра и въ фарталъ сведу.

Ступина, глянувъ на Бѣлоярцева, опять прыснула неудержимымъ смѣхомъ.

Это окончательно взбѣсило лавочника.

— А если и мамзели въ томъ же расчетѣ, такъ мы тоже попросимъ туда и мамзелей, — проговорилъ онъ, озирая женщинъ.

При этихъ словахъ Лиза сорвалась съ мѣста и, вынеся изъ своей комнаты пятидесяти-рублевую ассигнацію, сказала:

— Вотъ тебѣ деньги; принеси завтра сдачу и счетъ.

Лавочникъ ушелъ и за нимъ загромыхалъ своими бахилами Мартемьянъ Ивановъ.

Бѣлоярцевъ былъ совершенно разбитъ и тупо ждалъ, когда умолкнетъ дружный, истерическій хохотъ женщинъ.

— Ну-съ, господинъ Бѣлоярцевъ!—взялась за него Лиза.—До чего вы насъ довели?

Бѣлоярцевъ молчалъ.

— Завтра мнѣ мой счетъ чтобъ былъ готовъ: я ни минуты не хочу оставаться въ этомъ смѣшномъ и глупомъ домѣ.

Лиза вышла; за нею, посмѣиваясь, потянули и другія. Въ залѣ остались только Мареа и Бертольди.

— А вамъ очень нужно было отпирать!—накинулся Бѣлоярцевъ на послѣднюю. — Отчего жъ я не летѣлъ, какъ вы, сломя голову?

— Это, я думаю, моя обязанность,—нѣсколько обиженно отозвалась Бертольди.

— И твой мужъ, Мареа, тоже хорошъ,—продолжалъ Бѣлоярцевъ:—лѣзетъ, какъ будто цѣлый полкъ стучитъ.

— Батюшка мой, да у него, у моего мужа, сапожищи-то вѣдь демоны,—оправдывала Мареа супруга.

— Демоны! демоны! отчего же...

Бѣлоярцевъ по привычкѣ хотѣлъ сказать: «отчего же у меня сапоги не демоны», но спохватился и уже, не ставя себя образцомъ, буркнулъ только:

— Пусть другіе сдѣлаетъ. Нельзя же такъ... тревожить весь домъ своими демонами.

— А Кавериной ребенокъ очень плохъ,—зашелъ сказать ему Прорвичъ.

— Ахъ, ты Боже мой!—воскликнулъ Бѣлоярцевъ, сорвавъ съ себя галстукъ.—Начнется еще теперь это бабье вытье; похороны; пятьсотъ гробовъ наставятъ въ залъ! Ну, что жъ это за пытка такая!

Онъ побѣгалъ по комнатѣ и, остановясь передъ Прорвичемъ, озадаченнымъ его грубою выходкою, спросилъ, выставя впередъ руки:

— Ну, скажите же мнѣ, пожалуйста, ну, гдѣ же? гдѣ она ходитъ, эта полиція? Когда же всему этому будетъ послѣдній конецъ?

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Въ Бѣловѣжѣ.

Заповѣдный заказникъ, занимающій огромное пространство въ гродненской губерніи, извѣстенъ подъ именемъ Бѣловѣжской пущи. Этотъ безконечный лѣсъ съ незапамятныхъ поръ служилъ любимымъ и лучшимъ мѣстомъ королевскихъ охотъ; въ немъ водится туръ или зубръ и онъ воспѣтъ Мицкевичемъ въ одномъ изъ самыхъ безсмертныхъ его твореній. Теперь въ густой пущѣ давно уже нѣтъ и слѣда той бѣлой башни, отъ которой она, по догадкамъ польскихъ историковъ, получила свое названіе, но съ мыслью объ этомъ лѣсѣ у каждаго литвина и поляка, у каждаго человѣка, кто когда-нибудь бродилъ по его дебрямъ или плелся по узенькимъ дорожкамъ, насыпаннымъ въ его топкихъ внутреннихъ болотахъ, связаны самыя грандіозныя воспоминанія. Видѣвъ одинъ разъ пущу, цѣлую жизнь нельзя забыть того тихаго, но обыкновенно глубокаго впечатлѣнія, которое она производитъ на теряющагося въ ней человѣка. Непроглядныя чащи, засѣвшія на необъятныхъ пространствахъ, обитаемыя зубрами, кабанами, ланями и множествомъ разнаго другого звѣря, всегда молчаливы и серьезны. Углубляясь въ нихъ, невольно вспоминаешь исчезнувшіе лѣса тевтоновъ, описанные съ неподражаемою прелестью у Тацита. Самая большая изъ проложенныхъ черезъ пущу дорожекъ пряма, но узка, и окружающія ее деревья, если смотрѣть впередъ на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ, сливаются въ одну темную массу. Слѣдуя этой дорожкой, человѣкъ видитъ только землю подъ ногами, двѣ

лиственныя стѣны и узенькую полоску свѣтлаго неба сверху. Идешь по этой дорожкѣ, какъ по дну какого-то глубокаго рва или по безконечной могилѣ. Кругомъ тишина, изрѣдка только нарушаемая шорохомъ кустовъ, раздвигаемыхъ торопливою ланью или трескомъ валежника, хрустящаго подъ тяжелымъ копытомъ рогатаго тура. На каждомъ шагу, въ каждомъ звукѣ, въ каждомъ легкомъ движеніи вѣтра по вершинамъ задумчиваго лѣса вездѣ чувствуется сила цѣлостной природы, гордой своею независимостью отъ человѣка. Непроглядныя чащи мѣстами пересѣкаются болотистыми потовинами, заросшими лозою. Черезъ эти болота тянутся колеблющіяся, узенькія насыпныя дорожки, на которыхъ очень трудно разъѣхаться двумъ встрѣчнымъ литовскимъ фурманкамъ. Шагъ въ сторону съ этой дорожки невозможенъ: болото съ неимовѣрною быстротою обойметъ своею холодною грязью и затянетъ. Крестьяне нерѣдко видали въ этихъ болотахъ торчащіе изъ трясины рога тура или окоченѣвшую головку замерзшей въ страданіяхъ данельки. Деревень въ пущѣ очень немного и тѣ, кромѣ самаго селенія Бѣловѣжи, раскинуты по окраинамъ, а средина дебри совершенно пуста. Только въ нѣсколькихъ пунктахъ можно наткнуться на одинокую хату одинокаго стражника, а то все звѣрь да дерево. Пуща представляла очень много удобствъ для возстанія. Кромѣ того, что отрядамъ инсургентовъ въ ней можно было формироваться и скрываться отъ преслѣдованія сильнѣйшихъ отрядовъ русскаго войска, въ пущѣ есть поляны, на которыхъ стоятъ стога сѣна, заготовляемаго для зубровъ на все время суровой зимы; здѣсь по лѣсу пробѣгаетъ нѣсколько ручьевъ и рѣчекъ и, наконецъ, лѣсъ полонъ смѣлой и ненапуганной крупной звѣрины, которою всегда можно пропитать очень большую партію.

Послѣднее возстаніе отлично понимало всѣ выгоды, которыя ему представляла собою непроходимая дебрь, съ своими полянами, заготовленнымъ сѣномъ и звѣриною.

Пуща одно время была пріютомъ для многихъ формировавшихся шаекъ и въ нее старались прорываться сформированные отряды, нуждавшіеся въ роздыхѣ или укомплектованіи.

Поздними осенними сумерками холоднаго литовскаго дня одинъ изъ такихъ отрядовъ, состоявшій изъ тридцати хо-

рошо вооруженныхъ всадниковъ, осторожно шелъ узенькою болотною дорожкою по пущѣ, на сѣверъ отъ Бѣловѣжи. Отрядъ этотъ двигался довольно рѣдкою цѣпью по два въ рядъ, наблюдая притомъ глубочайшую тишину. Не только не брячала ни одна сабля, но даже не пырхала ни одна усталая лошадь, и, несмотря на все это, молодой предводитель отряда все-таки безпрестанно останавливался, строго произносилъ «тс!» и съ заячьей осторожностью то прислушивался къ трепетному шопоту слегка колеблющихся вершинъ, то старался, кажется, пронизать своимъ взглядомъ чащу, окружающую трясину.

Только перейдя болото и видя, что послѣдняя пара его отряда сошла съ дорожки, кое-какъ насыпанной черезъ топкое болото, онъ остановилъ лошадь, снялъ темно-малиновую конфедератку съ бѣлой опушкой и, обернувшись къ отряду, перекрестился.

— Ну, вынесъ Богъ, — сказалъ молодой человѣкъ, стараясь говорить какъ можно тише. — Будь здѣсь спрятаны десять москалей, мы бы всѣ, какъ куры, пропали въ этомъ болотѣ.

Отрядъ тоже снялъ шапки, и всѣ набожно перекрестились: старикъ трубачъ, ѣхавшій возлѣ предводителя, сложилъ на груди свои костлявыя руки и, склонивъ къ нимъ сѣдую голову, началъ шептать пацержи.

— Огеръ, давай сигналъ! — такъ же тихо произнесъ предводитель, не сводя глазъ съ той стороны пройденнаго болота.

Молодой мальчикъ, стоявшій на первомъ ряду, обернулся на сѣдлѣ и, опершись рукою о крупъ своей лошади, пронзительно вскрикнулъ лѣсною иволгой.

Нѣсколько повстанцевъ повернулись на своихъ сѣдлахъ и стали смотрѣть на ту сторону болота.

Въ густой чащѣ того берега простоналъ пугачъ.

— Идутъ, — сказалъ молодой предводитель и осторожно тронулся впередъ съ своимъ отрядомъ.

На болотной дорожкѣ съ той стороны показался новый отрядъ человѣкъ въ шестьдесятъ. Въ такой же точно тишинѣ этотъ второй отрядъ благополучно перешелъ болото и соединился на противоположной сторонѣ съ первымъ.

Какъ только передняя пара задняго отряда догнала послѣднюю лошадь перваго, человѣкъ, ѣхавшій во главѣ этого

второго отряда, обскакалъ нѣсколько паръ и, догнавъ передняго предводителя, поѣхалъ съ нимъ рядомъ.

Новый предводитель былъ гораздо старше того, который перешелъ болото съ передовымъ отрядомъ, и принадлежалъ несомнѣнно къ чистой польской расѣ, между тѣмъ какъ первый ничуть не напоминалъ собою сарматскаго типа и немногія сказанныя имъ польскія слова произносилъ не чисто. По службѣ революціонному правительству, предводитель задней партіи тоже долженъ былъ имѣть несомнѣнное старшинство надъ первымъ. Когда они поровнялись, пожилой полякъ, не удостоивая молодого человѣка своего взгляда, тихо проворчалъ изъ-подъ нависшихъ усовъ:

— Я очень благодарю пана Кулю; переходъ сдѣланъ осторожно.

Молодой человѣкъ, котораго назвали Кулею, приложилъ руку къ околышу конфедератки и, осадивъ на одинъ шагъ своего коня, поѣхалъ, уступая старшему на полъ-лошади переда.

Отрядъ продолжалъ идти въ могильной тишинѣ. На дворѣ совсѣмъ смеркалось.

Пройдя такимъ образомъ еще около половины польской мили, повстанцы достигли довольно большой поляны, на которой сквозь сѣрый сумракъ можно было отличить два высокіе и длинные стога сѣна.

— Ну, прошу ротмистра освѣдомиться, — произнесъ старшій.

Куля позвалъ съ собою стараго трубача да двухъ рядовыхъ повстанцевъ и тихо выѣхалъ съ ними на поляну, правя прямо къ чернѣвшимся стогамъ.

Отрядъ остался на дорогѣ.

Куля впереди трехъ человѣкъ уже почти доѣхалъ до одного стога, какъ его молодая лошадь вдругъ вздрогнула, поднялась на дыбы и бросилась въ сторону.

Куля осадилъ коня на первыхъ же шагахъ и, давъ ему крѣпкія шпоры, заставилъ карьеромъ броситься къ стогу. Добрая лошадь повиновалась, но на полукурсѣ снова вдругъ неожиданно метнулась и смяла трубачеву лошадь.

— Вѣрно старикъ стоитъ у сѣна,—проговорилъ шопотомъ трубачъ.—Не муштруйте, панъ ротмистръ, напрасно коня: непривычный конь не пойдетъ на старика.

— А, можетъ-быть, это засада!

— Нѣтъ, не засада. Пусть панъ ротмистръ мнѣ вѣритъ, я тутъ взросъ. Это старикъ гдѣ-нибудь стоитъ подъ стогомъ.

Въ эту минуту облачное небо какъ бы нарочно прорвалось въ одномъ мѣстѣ, и блѣдная луна, глянувъ въ эту прорѣху, освѣтила пожелтѣвшую поляну, стоящіе на ней два стога и передъ однимъ изъ нихъ черную, чудовищную фигуру стараго зубра. Громадное животное, отогнанное стадомъ за преклонность лѣтъ и тяжесть своего тѣла, очевидно, ужъ было очень старо и искало покоя у готоваго сѣна. Нужно полагать, что зубръ уже наѣлся и отдыхалъ. Онъ стоялъ задомъ къ стогу и, слегка покачивая своими необъятными рогами, смотрѣлъ прямо на подъѣзжавшихъ къ нему всадниковъ.

— Панъ ротмистръ видитъ теперь, что это старикъ! Вотъ былъ бы добрый ужинъ намъ и добрая полендвица офицерамъ.

Куля качнулъ отрицательно головою и, повернувъ лошадь въ объѣздъ стогу, направился къ пересѣкавшей поляну узкой лѣсной косѣ, за которою днемъ довольно ясно можно было видѣть, сквозь черные пни деревъ, небольшую хатку стражника.

Быкъ тоже тронулся съ мѣста и лѣниво, престарѣвшимъ Собакевичемъ, зашагалъ съ поляны въ чащу.

— Не ужинъ это стоялъ намъ, а гробъ. Старикъ никогда не попадается даромъ, — съ суевѣрнымъ страхомъ прошепталъ здоровый рыжій повстанецъ.

— Ври больше, — отвѣчалъ, также шопотомъ, старый трубачъ.

У перелѣска, отдѣлявшаго хатку отъ поляны, Куля соскочилъ съ сѣдла и, обратясь къ трубачу, сказалъ:

— Пойдемъ, Бачинскій, со мною.

— Въ сей моментъ, панъ ротмистръ, — отвѣчалъ старикъ, соскочивъ съ лошади и кидая поводья рыжему повстанцу.

Куля и Бачинскій пошли осторожно пѣшкомъ.

— Темно въ окнахъ,—прошепталъ Куля.

— Нарочно чортовъ сынъ захова́лся,—отвѣчалъ Бачинскій.—А здѣсь самое первое мѣсто для насъ. Тамъ, сзади, проѣхали одно болото, тутъ вотъ, за хатою, съ полверсты всего — другое, а ужъ тутъ справа идетъ такая трясина,

что не то что москаль, а и самъ дьяволъ черезъ нее не переберется.

Вѣтеръ расхаживался съ каждою минутою и бросалъ въ глаза что-то мелкое и холодное, не то снѣгъ, не то ледяную мглу.

— Поганая погода поднимается,—ворчалъ Бачинскій.

Съ старой плакучей березы сорвался филинъ и тяжело замахалъ своими крыльями. Сначала онъ низко потянулъ по полянѣ, цѣпляясь о сухія бурылья чернобыла и полыни, а потомъ поднялся и, сѣвши наверху стога, захохоталъ своимъ глупымъ и непріятнымъ хохотомъ.

— Проклятая птица!—произнесъ Бачинскій.

— Она мышей ищетъ: за что̀ ты ее клянешь.

— О! чортъ съ нею, панъ ротмистръ: пропала бы она совсѣмъ. Погано ее слушать.

Бачинскій нагнулся и шопотомъ прочелъ:

— Pod twoje obrone uciekamy.

Тѣмъ временемъ они перешли перелѣсокъ и остановились.

Старикъ тихо подошелъ къ темнымъ окнамъ хаты, присѣлъ на завалинку и сталъ вслушиваться.

— Что?—спросилъ его шопотомъ Куля.

— Ничего... все тихо... Кто-то какъ будто стонетъ.

— Слушай хорошенько.

— Стонетъ кто-то, — повторилъ Бачинскій, подержавъ ухо у тонкой стѣны хатки.

— Ну, стучи ужъ.

Старикъ слегка постучалъ въ стекло: отвѣта не было; онъ постучалъ еще и еще разъ — изъ хаты не было ни звука, ни оклика; даже стоны стихли.

— Вотъ и дѣлай съ ними что̀ знаешь, — произнесъ Бачинскій. — Смотрите, панъ ротмистръ, здѣсь, а я пролѣзу подъ застрѣху и отворю двери.

Старикъ сбросилъ чемарку и ловко заработалъ руками, взбираясь на заборчикъ. На дворѣ залаяла собачонка и, выскочивъ въ подворотню наружу, сѣла противъ воротъ и жалостно взвыла.

Старикъ, взобравшійся въ эту минуту подъ самый гребень застрѣхи, съ ожесточеніемъ плюнулъ на выскочившаго пса, послалъ ему сто тысячъ дьяволовъ и однимъ прыжкомъ очутился внутри стражникова дворика.

Вслѣдъ затѣмъ, небольшія ворота тихо растворились, и

Куля ушелъ за Бачинскимъ. Оставленные ими два всадника, съ четырьмя лошадьми, въ это же мгновеніе приблизились и остановились подъ деревьями, наблюдая ворота и хату.

На лай собачонки, которая продолжала завывать, глядя на отворенныя ворота дворика, въ сѣнныхъ дверяхъ щелкнула деревянная задвижка и на порогѣ показался высокій худой мужикъ въ одномъ бѣльѣ.

— Ты стражникъ?—спросилъ его Бачинскій, заходя впередъ своего ротмистра.

— Охъ! стражникъ, пане, стражникъ,—отвѣчалъ, вздыхая, крестьянинъ.

— У тебя были нынче повстанцы?

— Охъ! были же, были, пане.

— Что жъ они оставили намъ?

— Ой, не знаю, пане: смилуйтесь надо мною, ничего я не знаю.

— А москалей тутъ не чутно?

— Не знаю, пане; — да нѣтъ, не чутно, здѣсь москалей не чутно.

— Кто жъ это у тебя стонетъ?

— А вотъ ваши, что прошли, такъ двухъ бидаковъ у меня сегодня покинули: умираютъ совсѣмъ несчастливые. Говорятъ, потычка у нихъ была гдѣ-то съ москалями: ранены да разболѣлись, заслабѣли.

— Ну, веди насъ въ хату и топи печь.

— Идите, пане, дѣлайте, что хотите: вся ваша тутъ будетъ воля.

Куля подозвалъ двухъ повстанцевъ, стоявшихъ съ лошадьми, и, отдавъ одному изъ нихъ черное чугунное кольцо съ своей руки, послалъ его на дорогу, къ командиру отряда, а самъ сѣлъ на завалинку у хатки и, снявъ фуражку, задумчиво глядѣлъ на низко ползущія темныя облака.

Въ черныхъ оконцахъ хаты блеснулъ слабый красноватый свѣтъ и черезъ минуту на порогѣ сѣней показался старый трубачъ.

Опершись ладонями о притолки двери, онъ посмотрѣлъ на небо и сказалъ:

— Ночью будетъ снѣгъ, а въ хатѣ ночевать никакъ невозможно.

— Отчего?—спросилъ Куля.

— Смрадъ нестерпимый: тамъ двое умираютъ.

Куля молча поднялся и вошелъ черезъ крошечныя сѣни въ тѣсную хату стражника.

Маленькая хатка, до половины занятая безобразною печью, была освѣщена лучиной, которая сильно дымила. Въ избѣ было очень душно и стоялъ сильный запахъ гніющаго трупа.

На лавкахъ, голова къ головѣ, лежали двѣ человѣческія фигуры, закрытыя сѣрыми суконными свитками. Куля взялъ со свѣтца горящую лучину и, подойдя съ нею къ одному изъ раненыхъ, осторожно приподнялъ свитку, закрывающую его лицо.

Сильный гангренозный запахъ ошибъ Кулю и заставилъ опустить приподнятую полу. Онъ постоялъ и, сдѣлавъ усиліе подавить поднимавшійся у него позывъ къ рвотѣ, зажавъ платкомъ носъ, опять приподнялъ отъ лица раненаго уголъ свитки.

Глазамъ Кули представилась черная африканская голова, съ кучерявою шерстью вмѣсто волосъ. Негръ лежалъ широко раскрывъ остолбенѣвшіе глаза. Онъ тяжело дышалъ ускореннымъ смраднымъ дыханіемъ и шевелилъ пурпурнымъ языкомъ между запекшимися губами.

Куля оглянулся, взялъ ковшъ, висѣвшій на деревянномъ ведрѣ, зачерпнулъ воды и полилъ нѣсколько капель въ распаленныя уста негра. Больной проглотилъ и на нѣсколько мгновеній сталъ дышать тише.

Куля подошелъ къ другому страдальцу. Этотъ лежалъ съ открытою головою и, казалось, не дышалъ вовсе.

Куля поднялъ со лба больного волосы, упавшіе на его лицо, и приложилъ свою руку къ его головѣ. Голова была тепла.

Куля нагнулся къ лицу больного, взглянулъ на него и въ ужасѣ вскрикнулъ:

— Боже мой! Помада!

Повстанецъ открылъ глаза, повелъ ими вокругъ и, остановивъ на Кулѣ, хотѣлъ приподняться, но тотчасъ же застоналъ и снова упалъ на дерюжное изголовье.

— Это вы, Помада?—повторилъ по-русски Куля.

Больной посмотрѣлъ долгимъ пристальнымъ взглядомъ на

Кулю и, вмѣсто отвѣта, тихимъ равнодушнымъ голосомъ произнесъ:

— Райнеръ!

Кто-то забарабанилъ пальцами по стеклу и крикнулъ:— «панъ Куля!»

— Иду,—отозвался Райнеръ и, сжавъ полумертвую руку Помады, засунулъ лучину въ свѣтецъ и торопливо выскочилъ изъ хаты.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Что предсказывали старый зубръ, филинъ и собака.

Не густыми, мягкими хлопьями, а рѣденькими, ледянистыми звѣздочками уже третій часъ падалъ снѣгъ и завывала буря, шумя вершинами качавшихся деревъ и приподнимая огромные клоки сѣна со стоговъ, около которыхъ расположился ночлегомъ лагерь встрѣченныхъ нами инсургентовъ.

Скверная была ночь, способная не одного человѣка заставить вспомнить о тепломъ углѣ, за жарко-истопленною домашнею печью.

Измученныя лошади не пользовались отпущенными имъ сѣдельными подпругами. Рѣдкая, какъ бы нехотя, дернетъ клочокъ сѣна изъ стога, къ которому ихъ поставили, лѣниво повернетъ два-три раза челюстями и съ непроглоченнымъ сѣномъ во рту начинаетъ дрожать и жаться къ опустившей голову и такъ же дрожащей сосѣдкѣ. Люди проводятъ ночь не веселѣе своихъ коней. Укутавшись въ свиты и раскатанныя изъ ремней попоны, они жмутся и дрожатъ подъ стогомъ, не выпуская намотанныхъ на локти чембуровъ, потому что лошадей привязать у стоговъ не къ чему, а по опушкѣ поляны разбиваться опасно. Холодъ проникаетъ всюду и заставляетъ дрожать усталую партію, которая вдобавокъ, ожидая посланныхъ за пищею квартирьеровъ, улеглась не ѣвши и, боясь преслѣдованія, не смѣетъ развести большого огня, у котораго можно бы согрѣться и обсушиться. Сонъ, которымъ забылись нѣкоторые изъ людей этого отряда, скорѣе похожъ на окоченѣніе, чѣмъ на сонъ, способный обновить истощенныя силы. По опушкѣ поляны въ нѣсколькихъ мѣстахъ, также коченѣя и корчась, трясутся оставленные сигнальщики; около стога, служащаго центральнымъ мѣстомъ расположенія отряда,

тихо бродятъ четверо часовыхъ, уткнувъ подбородки въ поднятые воротники своихъ свитъ и придерживая локтями обледенѣвшіе карабины. Въ одномъ мѣстѣ, подрывшись подъ стѣнку стога, два человѣка, стуча зубъ-о-зубъ, изрѣдка шопотомъ обмѣниваются другъ съ другомъ отрывочными фразами.

— Хоть бы сухарь, — говоритъ одинъ изъ нихъ, молоденькій мальчикъ съ едва пробивающимся пушкомъ на губахъ.

— Жди, Стась, жди,—отвѣчаетъ другой, болѣе мужественный голосъ, и опять оба молчатъ.

— А если ихъ москали поймаютъ? — опять шепчетъ ребенокъ, запахиваясь попоной.—Я не могу больше терпѣть, Томашъ, я очень голоденъ... я умру съ голоду.

— Ты знаешь, — опять шепчетъ тотъ же слабый голосъ: — я видѣлъ сегодня мать: задремалъ на сѣдлѣ и увидѣлъ.

— Мать—наша отчизна,—отвѣчаетъ другой голосъ.

— Томашъ!—опять зоветъ шопотомъ ребенокъ:—знаешь, что̀ я хочу тебѣ сказать: я вѣдь пропаду тутъ. У меня силы нѣтъ, Томашъ.

Томашъ ничего не отвѣчалъ.

— Я уйду, Томашъ,—совсѣмъ почти беззвучно шепнулъ мальчикъ и задрожалъ всѣмъ тѣломъ.

Томашъ опять ничего не отвѣтилъ.

Въ другомъ мѣстѣ, въ глубокой впадинѣ стога, укрывшись теплыми бараньими пальто, лежали другіе два человѣка и говорили между собою по-французски. По ихъ выговору можно было разобрать, что одинъ изъ нихъ чистый французъ, другой итальянецъ изъ Неаполя или изъ другихъ мѣстъ южной Италіи.

— У меня въ сумкѣ есть еще маленькій кусокъ сыру хотите—мы подѣлимся?—спрашивалъ французъ.

— Оставьте его; это не годится, когда наши люди голодаютъ и мерзнутъ.

— Что̀ вы дѣлали въ такихъ положеніяхъ въ Италіи?

— У насъ никогда не было такихъ положеній, — отвѣчалъ итальянецъ.

— Боже, какая природа, какіе люди и какіе порядки!— проговорилъ, увертываясь, голодный французъ.

Около стражнической хаты стояли два часовыхъ. Пред-

водитель отряда, напившись теплаго чая съ ромомъ, ушелъ въ небольшой сѣнной сарайчикъ стражника и спалъ тамъ, укрывшись теплою медвѣжьей шубой съ длиннѣйшими рукавами. У дверей этого сарайчика, сидя на корточкахъ, дремалъ рядовой повстанецъ. Въ сѣняхъ, за вытащеннымъ изъ избы столикомъ, сидѣлъ извѣстный намъ старый трубачъ и пилъ изъ мѣднаго чайника кипятокъ, взогрѣтый на остаткахъ спирта командирскаго чая; въ углу, на кучѣ мелкихъ сосновыхъ вѣтвей, спали два повстанца, состоящіе на ординарцахъ у командира отряда, а задомъ къ нимъ, съ стеариновымъ огарочкомъ въ рукахъ, дрожа и безпрестанно озираясь, стоялъ самъ стражникъ.

— Ну, а сколько было фурманокъ? — спрашивалъ трубачъ стражника.

— Двѣ, пане.

— Нѣтъ, четыре.

— Ей-Богу, пане, двѣ видѣлъ.

— А по скольку коней?

— По парѣ, пане,—парныя, пане, были фурманки.

— И сколько было рудыхъ коней?

— Два сдается.

— А вотъ же брешешь—одинъ.

— Можетъ, пане, и одинъ. Мряка была; кони были мокрые. Можетъ, и точно такъ говоритъ ваша милость, рудый конь одинъ былъ.

— И обѣщали они привезть провіантъ къ вечеру?

— О! Богъ же меня убей, если не обѣщали.

— И бумаги никакой не оставляли нашему полковнику?

— Боже мой! да что жъ вы меня пытаете, пане?

— Бо ты брешешь.

— А чтобъ мои очи повылазали, если мнѣ брехать охота.

Старикъ опрокинулъ пустой чайникъ, разбудилъ спавшихъ на хворостѣ повстанцевъ и, наказавъ имъ строго смотрѣть за стражникомъ, улегся на хворостъ, читая вполголоса католическую молитву.

— Какъ это нашъ ротмистръ въ этой смердячей хатѣ пишетъ?—сказалъ онъ, ни къ кому не относясь и уворачиваясь въ свиту.

— Тепло, да смрадъ тамъ великій, — отозвался въ темнотѣ стражникъ.

Въ теплой хатѣ съ великимъ смрадомъ на одной лавкѣ

былъ прилѣпленъ стеариновый огарокъ и лежали двѣ законвертованныя бумаги, которыя Райнеръ, стоя на колѣняхъ у лавки, приготовилъ по приказанію своего отряднаго командира.

Окончивъ спѣшно эту работу, Райнеръ всталъ и, подойдя тихонько къ Помадѣ, сѣлъ возлѣ него на маленькомъ деревянномъ обрубкѣ.

— Какъ вы себя чувствуете, Помада?—спросилъ онъ съ участіемъ.

Больной тяжело вздохнулъ и не отвѣтилъ ни слова.

Райнеръ посидѣлъ молча и спросилъ:

— Не надо ли васъ перевязать?

— Не надо, — тихо процѣдилъ сквозь зубы Помада и попробовалъ приподняться на локоть, но тотчасъ же закусилъ губы и остался въ прежнемъ положеніи.—Не могу,— сказалъ онъ, и черезъ двѣ минуты съ усиліемъ добавилъ:— вотъ гдѣ мы встрѣтились съ вами, Райнеръ! Ну, я при васъ умру.

— Постойте, мы возьмемъ васъ.

— Нѣтъ, тутъ вотъ она... (Помада потрогалъ себя правою рукою за грудь)... я ее чувствую... Смерть чувствую,— произнесъ онъ съ очевидной усталостью.

— Вотъ,—заговорилъ опять словоохотливо Помада:—три раны вдругъ получилъ, я непремѣнно долженъ умереть, а пятый день не умираю.

— Не говорите, это вамъ вредно,—остановилъ его Райнеръ.

— Нѣтъ... мнѣ все равно. У меня здѣсь пуля подъ лѣвой... подъ лѣвымъ плечомъ... я умру скоро... Да, черезъ нѣсколько часовъ я, наконецъ, умру.

— Какъ вы сюда попали?

— Я самъ просилъ, чтобы меня оставили... тряско ѣхать... хуже. Все равно, гдѣ ни умереть. Этотъ негръ, — у него большая рана въ паху... онъ тоже не могъ ѣхать...

— Отъ него гангренозный запахъ.

— Не слышу... У меня ужъ нѣтъ ни вкуса, ни обонянія... Я радъ, что я...

— Вы радуетесь близкой смерти?

Помада сдѣлалъ головою легкій знакъ согласія.

— Мнѣ давно надоѣло жить,—началъ онъ послѣ долгой паузы.—Я пустой человѣкъ... ничего не умѣлъ, не пони-

малъ, не нашелъ у людей ничего. Да, я... моя мать была полька... А вы... Я недавно слышалъ, что вы въ инсуррекціи... Не вѣрилъ... Думалъ, зачѣмъ вамъ въ возстаніе? Да... Ну, а вотъ и правда... вотъ вы смѣялись надъ національностями, а пришли умирать за нихъ.

— За землю и свободу крестьянъ!

— Какъ?.. Не слыхалъ я...

— Я пришелъ умереть не за національную Польшу, а за Польшу, кающуюся передъ народомъ.

— Да... а я такъ, я... Правда, я вѣдь ничего...

Помада слегка махнулъ рукой.

Райнеръ молчалъ.

— Вотъ видите, какъ я умираю, — опять началъ Помада.—Лизавета Егоровна думаетъ, можетъ-быть, что я... что я и умереть не могу твердо. Вы ей скажите, какъ я «съ свинцомъ въ груди»... Охъ!

Райнеръ еще ближе нагнулся къ больному.

— Нѣтъ, ничего... Это мнѣ показалось смѣшно, что я «съ свинцомъ въ груди».... да больно сдѣлалось... А впрочемъ, все это не то... Вотъ Лизавета Егоровна... знаете? Она васъ...

— Какое это лицо! Какое это лицо посмотрѣло въ окно? — вскрикнулъ онъ разомъ, уставивъ противъ себя здоровую руку.

Райнеръ посмотрѣлъ въ окно: ничего не было видно, кромѣ набившихся на стекла полосъ снѣга.

Райнеръ всталъ, взялъ револьверъ и вышелъ черезъ сѣни за дверь хаты.

Буря попрежнему злилась, бросая облаками леденистаго снѣга, и за нею ничего не было слышно. Коченѣющаго лагеря не было и примѣтъ.

Райнеръ вернулся и снова сѣлъ возлѣ Помады.

— Я вѣдь вамъ десять копеекъ заплатилъ?—проговорилъ больной, глядя на Райнера.—Да, да, я заплатилъ... Теперь... теперь я свою шинель... перекрасить отдамъ... да... Она еще... очень хорошая... Да, а десять копеекъ я заплатилъ...

Райнеръ всталъ, чтобы намочить свой платокъ и положить его на голову впавшаго въ бредъ Помады.

Когда онъ повернулся съ компрессомъ къ больному, ему самому показалось, что что-то живое промелькнуло мимо окна и скрылось за стѣною.

Помада вздрогнулъ отъ компресса, быстро вскочилъ и напряженно крикнулъ:

— Ей больно! Евгенія Петровна, пустите ея голову—и, захрапѣвъ, повалился на руки Райнера.

Черезъ Райнерову руку хлынула и ручьемъ засвистала алая кровь изъ растревоженной грудной раны.

Помада умиралъ.

Райнеръ, удерживая одною рукою хлещущую фонтаномъ кровь, хотѣлъ позвать кого-нибудь изъ ночевавшей въ сѣняхъ прислуги, но прежде чѣмъ онъ успѣлъ произнесть чье-нибудь имя, хата потряслась отъ страшнаго удара и въ углу ея, надъ самою головою Райнера, образовалась щель, въ которую такъ и зашипѣла змѣею буря.

— Do broni, do broni!—отчаянно крикнулъ Райнеръ, выскочивъ въ сѣни, и, снова вбѣжавъ въ хату, изорвалъ свои пакеты и схватилъ заливающагося кровью Помаду.

Сквозь мечущихся въ перепугѣ повстанцевъ, Райнеръ съ своею тяжелою ношею бросился къ двери, но она была заперта снаружи.

— Мы погибли!—крикнулъ Райнеръ и метнулся во дворъ.

Съ одного угла крошечнаго дворика на крышу прыгнулъ зайцемъ синій огонекъ и, захлопавъ длиннымъ языкомъ, сразу охватилъ постройку.

— За мною, ребята!—скомандовалъ онъ хватавшимся за оружіе повстанцамъ.—Все равно пропадать *за свободу хлоповъ*, за мною!

Онъ перескочилъ сѣни и, неся на себѣ Помаду, со всей силы бросился въ окно.

Два штыка впились и засѣли въ спинѣ Помады; но онъ былъ уже мертвъ, а четыре крѣпкія руки схватили Райнера за локти.

— Спасайтесь!—крикнулъ Райнеръ и почувствовалъ, что ему крѣпко стягиваютъ сзади руки.

Сквозь вой бури онъ слышалъ на полянѣ нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ, ружейную пальбу, даже долетѣли до него стоны и знакомый голосъ начальника отряда, который несся, крича:

— Налѣво, налѣво, дьяволы!—тамъ болото!

Дворъ и стога пылали.

Черезъ десять минутъ все было кончено. По полянѣ метались только перепуганныя лошади, потерявшія своихъ

сѣдоковъ, да валялись истекавшіе кровью трупы. Казаки бросились впогонь за ничтожнымъ остаткомъ погибшаго отряда инсургентовъ; но продолжительное преслѣдованіе при такой теми было невозможно.

Возлѣ Райнера стоялъ такъ же крѣпко связанный рыжій повстанецъ, съ которымъ они пять часовъ назадъ подъѣзжали къ догоравшей теперь хатѣ.

— Чья это была банда? — спросилъ, подходя къ плѣннымъ, начальникъ русскаго отряда.

— Моя,— спокойно отвѣчалъ Райнеръ.

— Ваше имя?

— Станиславъ Куля.

— Такъ это?—обратился русскій командиръ къ повстанцу.

— Такъ,—отвѣчалъ тотъ, глядя на Райнера.

— Сколько у васъ было человѣкъ?

— Сорокъ,—съ увѣренностью произнесъ Райнеръ.

Убитыхъ тѣлъ насчитано тридцать семь. Раненыхъ только два. Солдаты, озлобленные утомительнымъ скитаньемъ по дебрямъ и пустынямъ, не отличались мягкосердіемъ.

Отрядъ считался разбитымъ на-голову. Изъ сорока—тридцать семь было убиты, два взяты и одинъ найденъ обгорѣвшимъ въ обращенной въ пепелъ хатѣ.

Райнеръ, назвавшись начальникомъ банды, зналъ, что онъ цѣлую ея половину спасаетъ отъ дальнѣйшаго преслѣдованія; но онъ не зналъ, что бѣглецовъ встрѣтило холодное литовское болото, на которое они бросились въ темнотѣ этой ужасной ночи.

Передъ утромъ связаннаго Райнера положили на фурманку; въ головахъ у него сидѣлъ подводчикъ, въ ногахъ часовой солдатъ съ ружьемъ. Отдохнувшій отрядъ снялся и тронулся въ походъ.

Усталый до послѣдней степени, Райнеръ, несмотря на свое печальное положеніе, заснулъ дѣтски-спокойнымъ сномъ.

Около полудня отрядъ остановился на роздыхъ. Сонъ Райнера нарушался стукомъ оружія и веселымъ говоромъ солдатъ; но онъ еще не приходилъ къ сознанію всего его окружающаго. Долетавшія до слуха русскія слова стали пробуждать его.

— Это нешто война!—говорилъ солдатикъ, составляя ранецъ на колесо фурманки.

— Одна слабая фантазія,—отвѣчалъ другой.

Райнеръ открылъ глаза и, припомнивъ ужасную ночь, понялъ свое положеніе.

На дворѣ стояла оттепель; солнце играло въ капляхъ тающаго на иглистыхъ листьяхъ сосны снѣга; невдалекѣ на землѣ было большое черное пятно, вылежанное ночевавшимъ здѣсь стадомъ зубровъ, и съ этой проталины несся сильный запахъ парного молока.

Прискакалъ какой-то верховой: ударили въ барабанъ.

— Подводчики къ командиру! — раздалось по лагерю.— Воля вамъ съ землею отъ царя пришла. Ступай всѣ, сейчасъ будутъ читать про волю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Баронъ и баронесса.

Лизавета Егоровна Бахарева не могла оставить *Дома Согласія* на другой же день послѣ происшедшей тамъ тревоги; здоровье ее не выпустило. И безъ того давно слабая и разстроенная, она не могла вынести послѣдняго извѣстія о Райнерѣ. Силы, еще кое-какъ державшія ее во время совершаемаго Бѣлоярцевымъ ауто-да-фе и при сценѣ съ лавочникомъ, оставили ее вовсе какъ только она затворилась въ свой комнатѣ. Ночь всю до бѣла свѣта она провела одѣтая въ своемъ креслѣ, и когда Ступина утромъ осторожно постучалась въ ея дверь, привскочила съ выраженіемъ страшнаго страданія. Легкіе удары тоненькаго женскаго пальца въ дощатую дверь причиняли ей такое несносное мученіе, которое можно сравнить только съ тѣмъ, какъ если бы начали ее бить по головѣ желѣзными молотами. Тихій голосъ Ступиной, звавшей ее изъ двери къ чаю, раздавался въ ея ушахъ раздирающимъ, непріятнымъ трескомъ, какъ отъ щипанья лучины. Лиза попробовала было сказать, что она не хочетъ чаю и не выйдетъ, но первый звукъ ея собственнаго голоса дѣйствовалъ на нее такъ же раздражающе, какъ и чужой. Лиза испугалась и не знала, что съ собой дѣлать: ей пришла на умъ жена Фарстера въ королевѣ Маабъ, и перспектива быть погребенною заживо ее ужаснула.

Лиза взяла клочокъ бумаги, написала: «пошлите кого-нибудь сейчасъ за Розановымъ», передала эту записочку въ дверь и легла, закрывъ голову подушками.

У нея было irritatio systemae nervorum, доходящее до

такой чувствительности, что не только самый тихій человѣческій голосъ, но даже едва слышный шелесть платья, самый ничтожный скрипъ пера, которымъ Розановъ писалъ рецептъ, или звукъ отъ бумажки, которую онъ отрывалъ отъ полулиста,—все это причиняло ей несносныя боли.

Дружескія заботы Розанова, спокойствіе и тишина, которыя доставляли больной жильцы *Дома*, и отсутствіе лишнихъ людей въ три дня значительно уменьшили жестокость этихъ припадковъ. Черезъ три дня Лиза могла читать глазами книгу и переносила вблизи себя тихій разговоръ, а еще черезъ день заговорила сама.

— Дмитрій Петровичъ! — были первыя слова, обращенныя ею къ Розанову. — Вы мой старый пріятель, и я къ вамъ могу обратиться съ такимъ вопросомъ, съ которымъ не обратилась бы ни къ кому. Скажите мнѣ, есть у васъ деньги?

— Сколько вамъ нужно, Лизавета Егоровна?

— Хоть тысячу рублей.

Розановъ улыбнулся и покачалъ отрицательно головой.

— Я вѣдь получу мой выдѣлъ.

— Да нѣтъ у меня, Лизавета Егоровна, а не о томъ забота, что вы отдадите. Вотъ сто или полтораста рублей— это есть, за удовольствіе сочту, если вы ихъ возьмете. Я вѣдь вашъ должникъ.

— А у Женни, не знаете—нѣтъ денегъ?

— Такихъ большихъ?

— Ну, да, тысячи или двухъ.

— Навѣрно знаю, что нѣтъ. Вотъ, возьмите пока у меня полтораста рублей.

— Мнѣ столько никуда не годится,—отвѣчала Лиза.

Черезъ день она спрашивала Розанова: можно ли ей выйти безъ опасности получить рецидивъ.

— Куда же вы пойдете?—освѣдомился Розановъ.

— Развѣ это не все равно?

— Нѣтъ, не все равно. Къ Евгеніи Петровнѣ дня черезъ два будетъ можно; къ Полинѣ Ивановнѣ тоже можно, а сюда, въ свою залу, положительно нельзя, и нельзя ни подъ какимъ видомъ.

— Я хотѣла съѣздить къ сестрѣ

— Къ какой сестрѣ?

— Къ Софи.

— Къ Софьѣ Егоровнѣ! Вы!?

— Ну, да,—только перестаньте, пожалуйста, удивляться: это... тоже раздражаетъ меня. Мнѣ нужно у нея быть.

Розановъ промолчалъ.

— Я вамъ говорила, что мнѣ нужны деньги. Просить взаймы я не хочу ни у кого, да и не дастъ никто; вѣдь никому же неизвѣстно, что у меня есть состояніе.

Розановъ кивнулъ головой въ знакъ согласія.

— Такъ видите, что я хотѣла... мнѣ деньги нужны очень... какъ жизнь нужны... мнѣ безъ нихъ нечего дѣлать.

— А съ двумя тысячами?—спросилъ Розановъ.

Лиза помолчала и потомъ сказала тихо:

— Я заведу мастерскую съ простыми дѣвушками.

Розановъ опять молчалъ.

— Такъ видите, я хочу уладить, чтобы сестра или ея мужъ дали мнѣ эти деньги до выдѣла моей части. Какъ вы думаете?

— Конечно... я только не знаю, что̀ это за человѣкъ мужъ Софьи Егоровны.

— Я тоже не знаю, но это все равно.

— Ну, какъ вамъ сказать: нѣтъ, это не все равно! А лучше, не поручите ли вы этого дѣла мнѣ? Повѣрьте, это будетъ гораздо лучше.

Лиза согласилась уполномочить Розанова на переговоры съ барономъ и баронессою Альтерзонъ, а сама, въ ожиданіи, пока дѣло уладится, на другой же день уѣхала погостить къ Вязмитиновой. Здѣсь ей, разумѣется, были рады, особенно во вниманіе къ ея крайне-раздраженному состоянію духа.

Въ одинъ изъ дней, слѣдовавшихъ за этимъ разговоромъ Лизы съ Розановымъ, послѣдній позвонилъ у подъѣзда очень параднаго дома на невской набережной Васильевскаго Острова.

Ему отперъ пожилой и очень фешенебельный швейцаръ.

— Теперь, разумѣется, засталъ дома? — спросилъ Розановъ, показывая старику свои карманные часы, на которыхъ было три четверти девятаго.

Швейцаръ улыбнулся, какъ улыбаются старые люди именитыхъ баръ, говоря о своихъ новыхъ хозяевахъ изъ карманной аристократіи.

— Спитъ?—спросилъ Розановъ.

— Нѣтъ-съ, не спитъ; съ полчаса ужъ какъ вставши, да вѣдь... не приметъ онъ васъ.

— Ну, это мы увидимъ,—отвѣчалъ Розановъ и, сбросивъ шубу, досталъ свою карточку, на которой еще прежде было написано: «Въ четвертый и послѣдній разъ прошу васъ принять меня на самое короткое время. Я долженъ говорить съ вами по дѣлу вашей свояченицы, и смѣю васъ увѣрить, что если вы не удостоите меня этой чести въ вашемъ кабинетѣ, то я заговорю съ вами въ другомъ мѣстѣ».

Швейцаръ позвонилъ два раза и передалъ карточку появившемуся на лѣстницѣ человѣку, одѣтому, какъ одѣваются нѣкоторые концертисты.

Артистъ взялъ карточку, обмѣрилъ съ верхней ступени своего положенія стоявшаго внизу Розанова и черезъ двадцать минутъ снова появился въ зеленыхъ дверяхъ, произнеся:

— Баронъ проситъ господина Розанова.

Дмитрій Петровичъ поднялся по устланной мягкимъ ковромъ лѣстницѣ въ переднюю, изъ которой этотъ же концертистъ повелъ его по длинной анфиладѣ комнатъ необыкновенно изящно и богато убраннаго бель-этажа.

Въ концѣ этой анфилады проводникъ оставилъ Розанова, а черезъ минуту въ другомъ концѣ покоя зашевелилась массивная портьера. Вошелъ небольшой человѣкъ съ неизгладимыми признаками еврейскаго происхожденія и съ непомѣрными усиліями держать себя англичаниномъ извѣстнаго круга.

Это и былъ баронъ Альтерзонъ, доселѣ неизвѣстный намъ мужъ Софьи Егоровны Бахаревой.

— Розановъ,—назвалъ себя Дмитрій Петровичъ.

Альтерзонъ поклонился молча и не вынимая рукъ, спрятанныхъ до половины пальцевъ въ карманы.

— Я имѣю къ вамъ дѣло,—началъ, стоя, Розановъ.

Альтерзонъ снова молча поклонился.

— Извините меня, я не люблю разговаривать стоя, — произнесъ Розановъ и, сѣвши съ нарочитою безцеремонностью, началъ:—Само собою разумѣется, и вамъ, и вашей супругѣ извѣстно, что здѣсь, въ Петербургѣ, живетъ ея сестра, а ваша свояченица Лизавета Егоровна Бахарева?

— Да-съ,—процѣдилъ Альтерзонъ.

— Она сама не можетъ быть у васъ...

— Да мы и не можемъ ее принимать,—подсказалъ Альтерзонъ съ сильнымъ еврейскимъ акцентомъ.

Розанову показалось, что онъ когда-то и гдѣ-то слыхалъ этотъ голосъ.

— Отчего вы не можете ее принимать? — спросилъ онъ довольно мягко.

— Оттого... что она себя такъ странно аттестуетъ.

— Какъ же это, позвольте узнать, она себя такъ аттестуетъ, что даже родная сестра не можетъ ее принять?

— Моя жена принадлежитъ къ извѣстному обществу, мы имѣемъ свою репутацію, — надменно произнесъ Альтерзонъ.

Розановъ посмотрѣлъ на барона, и еще страннѣе ему показалось, что даже черты лица барона ему не совсѣмъ незнакомы.

— Лизавета Егоровна такая честная и непорочная въ своемъ поведеніи дѣвушка, какихъ дай намъ Богъ побольше, — началъ онъ, давая вѣсъ каждому своему слову, но съ прежнею сдержанностью. — Она не уронила себя ни въ какомъ кружкѣ, ни въ коммерческомъ, ни въ аристократическомъ.

— Я знаю, что она дѣвица образованная.

— Но что же такое-съ?

— Она живетъ въ такомъ домѣ!

— Гм! Вы это говорите такъ, что кто не знаетъ Лизаветы Егоровны, можетъ, по тону вашего разговора, подумать, что сестра вашей жены живетъ Богъ знаетъ въ какомъ домѣ.

— Да это почти все равно, — отвѣчалъ Альтерзонъ, топорщась индѣйскимъ пѣтухомъ.

Розановъ вспыхнулъ.

— Ну, это только показываетъ, что до васъ о житьѣ Лизаветы Егоровны доходили слишкомъ невѣрные и преднамѣренно извращенные въ дурную сторону слухи.

— Мы не собираемъ о ней никакихъ слуховъ, — процѣдилъ Альтерзонъ съ презрительной гримасой.

— Впрочемъ, мы можемъ оставить этотъ споръ,—примирилъ Розановъ.

— Я тоже такъ полагаю, — еще обиднѣе замѣтилъ Альтерзонъ.

«А дьяволъ тебя побирай, жида шельмовскаго», — подумалъ Розановъ, но опять удержался и заговорилъ тихо:

— Лизаветѣ Егоровнѣ очень нужны небольшія деньги.

— Она получаетъ, что̀ ей назначено.

— Да, но она хочетъ получить разомъ нѣсколько болѣе, въ счетъ того, что̀ ей будетъ слѣдовать по раздѣлу.

— По какому раздѣлу?

— По раздѣлу ихъ наслѣдственнаго имѣнія.

Альтерзонъ оттопырилъ губы и помоталъ отрицательно головою.

— Какъ прикажете понимать это ваше движеніе?—спросилъ Розановъ.

— Я ничего въ этомъ дѣлѣ не знаю. Я знаю только, что Лизавета Егоровна была непочтительная дочь къ своимъ родителямъ.

— Такъ что же, она лишена наслѣдства, что ли?

— Я такъ полагаю. На это есть духовное завѣщаніе матери.

— Это басни!—воскликнулъ Розановъ.—Имѣнье родовое, отцовское.

— Это до меня не касается.

— Конечно, — на это есть судъ, и вы, разумѣется, въ этомъ не виноваты. Судъ разберетъ, имѣла ли Ольга Сергѣевна право лишить, по своему завѣщанію, одну дочь законнаго наслѣдства изъ родового отцовскаго имѣнія. Но теперь дѣло и не въ этомъ. Теперь я пришелъ къ вамъ только затѣмъ, чтобы просить васъ отъ имени Лизаветы Егоровны, какъ ея родственника и богатаго капиталиста, ссудить ее, до раздѣла, небольшою суммою.

— Какою, напримѣръ?

— Ей нужны двѣ тысячи рублей.

— И это вы называете небольшою суммою!

— Относительно. Для состоянія, которое должна получить Лизавета Егоровна, и тѣмъ болѣе для вашего состоянія, я думаю, что двѣ тысячи рублей можно назвать совершенно ничтожною суммою.

— Моего состоянія никто не считалъ! — заносчиво отвѣтилъ Альтерзонъ.

— Но вы извѣстный негоціантъ!

— Такъ что жъ? Мнѣ мои деньги нужны на честные

торговые обороты, а не на то, чтобы раздавать ихъ всякой распутной дѣвчонкѣ на ея распутства.

— Что! — крикнулъ, весь позеленѣвъ и громко стукнувъ по столу кулакомъ, Розановъ.

Альтерзонъ вздрогнулъ и бросился къ сонеткѣ.

Розановъ ожидалъ этого движенія. Однимъ прыжкомъ онъ кинулся на негоціанта, схватилъ его сзади за локти.

— Ты зналъ Нафтула Соловейчика?—спросилъ онъ Альтерзона.

— Зналъ,—довольно спокойно для своего положенія отвѣчалъ Альтерзонъ. — Соловейчикъ мнѣ подарилъ нѣсколько корректуръ, на которыхъ есть разныя поправки.

— Да,—ну, такъ что жъ?

— Ничего больше.

— А ничего, такъ гляди, разочти повѣрнѣй: намъ вѣдь нечего много терять, а ты, небось, отвыкъ отъ sledziane wotrobki *).

Негоціантъ молчалъ.

— Такъ дашь, жидъ, денегъ?

— Не дамъ.

— Ну, чортъ тебя возьми!—произнесъ Розановъ и посадилъ Альтерзона въ кресло такъ, что даже пружины задребезжали.

— Не ворошись, а то будешь битъ всенародно, — сказалъ онъ ему въ назиданіе и взялъ шляпу.

Въ дверяхъ кабинета показалась Софья Егоровна.

— Мнѣ здѣсь послышался шумъ,—сказала она, распахнувъ драпировку.

— Ахъ, Софья Егоровна!

— Дмитрій Петровичъ!

— Сколько лѣтъ, сколько зимъ! Пополнѣли, похорошѣли,— говорилъ Розановъ, стараясь принять беззаботный видъ и не сводя глазъ съ сидящаго неподвижно Альтерзона.

— А вы знакомы съ моимъ мужемъ?

— Какъ же-съ! мы давнишніе, старые пріятели съ барономъ.

— Видаетесь вы съ Лизой?

— Да, мы другъ друга не забываемъ.

— Она, говорятъ, сильно измѣнилась.

---

*) Селедочной требушки.

— Не всѣ цвѣтутъ, какъ вы!

— Полноте, пожалуйста! Я Женни видѣла: та очень авантажна и такъ одѣта. Она бываетъ въ свѣтѣ?

— Изъ него не выходитъ.

— Вы все шутите. — А Лиза: Боже мой, какую жизнь она ведетъ!

— Да, вотъ, чтобы перестроить эту жизнь, ей нужны взаймы двѣ тысячи рублей: ихъ вотъ именно я и просилъ у вашего благовѣрнаго, такъ не даетъ. Попросите вы, Софья Егоровна.

— Мнѣ,—я, право, никогда не мѣшаюсь въ эти дѣла.

— Ну, для сестры отступите отъ своего похвальнаго правила; вмѣшайтесь одинъ разъ. Лизаветѣ Егоровнѣ очень нужно.

— И куда это Лиза дѣваетъ свои деньги? Вѣдь ей даютъ каждый годъ девятьсотъ рублей: это не шутка для одной женщины.

— Софья Егоровна, я думаю, у васъ есть платья, которыя стоятъ болѣе этихъ денегъ.

— Да, это конечно, — проронила, нѣсколько сконфузясь, Софи.

Розановъ видѣлъ, что здѣсь болѣе нечего пробовать.

— Прощай, голубчикъ, — сказалъ онъ съ притворной лаской попрежнему безмолвно сидѣвшему Альтерзону и, раскланявшись съ Софьею Егоровною, благополучно вышелъ на улицу.

Розановъ только Евгеніи Петровнѣ разсказалъ, что отъ Альтерзоновъ ожидать нечего и что Лизѣ придется отнимать себѣ отцовское наслѣдство не иначе, какъ тяжбою. Лизѣ онъ медлилъ разсказать объ этомъ, ожидая, пока она оправится и будетъ въ состояніи равнодушнѣе выслушать во всякомъ случаѣ весьма непріятную новость. Онъ сказалъ, что Альтерзона нѣтъ въ городѣ и что онъ пріѣдетъ не прежде, какъ недѣли черезъ двѣ.

Наконецъ прошли и двѣ недѣли. У Лизы недоставало болѣе терпѣнія сидѣть сложа руки.

— Пока что будетъ, я хоть достану себѣ переводовъ,— рѣшила она,—и если завтра не будетъ Альтерзона, то пойду сама къ сестрѣ.

Чтобы предупредить возможность такого свиданія, которое могло очень непріятно подѣйствовать на Лизу, Ро-

зановъ сказалъ, что Альтерзонъ вчера возвратился и что завтра утромъ они непремѣнно будутъ имѣть свиданіе, а потому личное посѣщеніе Лизы не можетъ имѣть никакого мѣста.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

У редактора отсталаго журнала.

Въ одиннадцать часовъ слѣдующаго утра Лиза показалась пѣшкомъ на Кирочной и, найдя нумеръ одного огромнаго дома, скрылась за тяжелыми дубовыми дверями параднаго подъѣзда.

Она остановилась у двери, на которой была мѣдная доска съ надписью: «Савелій Савельевичъ Папошниковъ».

Здѣсь Лиза позвонила.

Опрятный и вѣжливый лакей снялъ съ нея шубку и теплые сапожки и отворилъ ей дверь въ просторную комнату, съ довольно простою, но удобною и разсудительно размѣщенною мебелью.

Въ этой комнатѣ Лиза застала четырехъ человѣкъ, которые ожидали хозяина. Тутъ былъ молодой блондинъ съ ничего незначащимъ лицомъ, безпрестанно старающійся бросить на что-нибудь взглядъ, полный презрѣнія, и бросающій вмѣсто него взглядъ, вызывающій самое искреннее состраданіе къ нему самому. Рядомъ съ блондиномъ, непристойно развалясь и потягиваясь въ креслѣ, помѣщался испитой человѣкъ, который могъ быть рѣшительно всѣмъ, чѣмъ вамъ угодно въ гадкомъ родѣ, но преимущественно трактирнымъ шуллеромъ или таперомъ. Третій гость былъ скромненькій старичокъ, повидимому, изъ старинныхъ барскихъ людей. Онъ былъ одѣтъ въ длинномъ табачневомъ сюртукѣ, камзолѣ со стоячимъ воротничкомъ и въ чистенькихъ козловыхъ сапожкахъ. Голубые глазки старичка смотрѣли тихо, ласково и спокойно, но смѣло и неискательно. Четвертый гость, человѣкъ лѣтъ шестидесяти, выглядывалъ Бурцевымъ не Бурцевымъ, а такъ во всей его фигурѣ и нетерпѣливыхъ движеніяхъ было что-то такое задорное: не то забіяка-гусаръ старыхъ временъ, не то «петербургскій гражданинъ», ищущій популярности. Лиза была пятая.

Она вошла тихо и сѣла на диванъ. Длиннополый старичокъ подвигался вдоль ряда висѣвшихъ по стѣнѣ картинъ, стараясь переступать такъ, чтобы его скрипучіе козловые

сапожки не издали ни одного трескучаго звука. Блондинъ, стоя возлѣ развалившагося тапера, искательно разговаривалъ съ нимъ, но получалъ отъ нахала самые невнимательные отвѣты. Суровый старикъ держался совсѣмъ гражданиномъ: заговорить съ нимъ о чемъ-нибудь надо было напустить на себя смѣлость.

— Отчего же это?—жалобно вопрошалъ тапера блондинчикъ, пощипывая свою ужасно глупенькую бородочку.

— Да вотъ оттого же,—зѣвая и смотря въ сторону, отвѣчалъ таперъ.

— Да вѣдь они же солидарные журналы!—опять приставалъ блондинчикъ.

— Ну-съ!

— Такъ изъ-за чего же между ними полемика?.. Вѣдь они одного направленія держатся?.. они одно цѣлое, — лепеталъ блондинчикъ.

— Одно?—окрикнулъ его таперъ.

— Ну, да-съ... По крайней мѣрѣ, и я, и всѣ такъ понимаютъ.

— Вы этого, по крайней мѣрѣ, не говорите! Не говорите этого, по крайней мѣрѣ, потому что стыдно говорить такую пошлость,—обрѣзалъ таперъ.

Блондинчикъ застыдился и сталъ робко чистить залегшее горлышко.

— Какъ же вы не понимаете?—гораздо снисходительнѣе началъ таперъ. — Одни въ принципѣ только соціальны, а проводятъ идеи коммунистическія; а тѣ въ принципѣ коммунисты, но проводятъ начала чистаго соціализма.

— Понимаю,—отвѣчалъ блондинчикъ, и солгалъ.

Ничего онъ не понялъ и только старался запомнить это опредѣленіе, чтобы проводить его дальше.

Таперъ опять зѣвнулъ, потянулся, погладивъ себя отъ жилета до колѣнъ, и произнесъ:

— Однако, эти постепеновскіе редакторы тоже свиньи изрядныя, живутъ у чорта въ зубахъ, да еще ожидать себя заставляютъ.

— Ну, ужъ и Тузовъ,—заикнулся-было блондинчикъ.

— Что̀ Тузовъ?—опять окрикнулъ его таперъ.

— Тоже... ждешь-ждешь, да еще лакей въ передней скотина такая... и самъ тоже обращается чрезвычайно обидно.

Просто иной разъ какъ мальчика приметъ: «я васъ не помню, да я васъ не знаю».

— Пхъ! Такъ тотъ вѣдь сила!

— А этотъ что?

Таперъ плюнулъ и произнесъ:

— А этотъ вотъ что,—и растеръ ногою.

Въ это время отворилась запертая до сихъ поръ дверь кабинета и на порогѣ показался высокій, рябоватый человѣкъ, лѣтъ около сорока пяти или шести. Онъ былъ довольно полонъ, даже съ небольшимъ брюшкомъ и небольшою лысинкою; небольшіе сѣрые глаза его смотрѣли очень проницательно и даже немножко хитро, но въ нихъ было такъ много чего-то хорошаго, умнаго, располагающаго, что съ нимъ хотѣлось говорить безъ всякой хитрости и лукавства.

Редакторъ Папошниковъ, очень мало заботящійся о своей популярности, на самомъ дѣлѣ былъ истинно прекраснымъ человѣкомъ, съ которымъ каждому хотѣлось имѣть дѣло и съ которымъ многіе умѣли доходить до безобиднаго разъясненія извѣстной шарады: «неудобно къ напечатанію», и за всѣмъ тѣмъ все-таки думали: «этотъ Савелій Савельевичъ хоть и смотритъ кондитеромъ, но *«человѣкъ онъ»*.

На кондитера же редакторъ Папошниковъ точно смахивалъ какъ нельзя болѣе и особенно теперь, когда онъ вышелъ къ ожидавшимъ его пяти особамъ.

— Извините, господа,—началъ онъ, раскланиваясь.—Я не хотѣлъ отмѣнить пріемнаго дня, чтобы не заставить кого-нибудь пройтись понапрасну, а у меня боленъ ребенокъ; цѣлую ночь не спали, и вотъ я получасомъ замѣшкался.

— Чѣмъ могу служить? — обратился онъ прежде всѣхъ къ Лизѣ.

— Я ищу переводной работы, — отвѣчала она спокойно.

Папошниковъ задумался, посмотрѣлъ на Лизу своими умными глазами, придававшими доброе выраженіе его некрасивому, но симпатичному лицу, и попросилъ Лизу подождать, пока онъ кончитъ съ другими ожидающими его особами.

Лиза опять сѣла на кресло, на которомъ ожидала выхода Папошникова.

— Я пришелъ за рѣшительнымъ отвѣтомъ о моихъ ра-

бутахъ, — приступилъ къ редактору суровый старикъ.— Меня зовутъ Жерлицынъ; я доставилъ двѣ работы: экономическую статью и повѣсть.

— Помню-съ, — отвѣчалъ Папошниковъ. — «Экономическая статья о коммерческихъ двигателяхъ»?

— Да.

— Она для насъ неудобна.

— Почему?

— Неудобна; не отвѣчаетъ направленію нашего журнала.

— А у васъ какое же есть направленіе?

Папошниковъ посмотрѣлъ на него и отвѣчалъ:

— Я вамъ ее сейчасъ возвращу: она у меня на столѣ.

— Ну-съ, а повѣсть?

— Повѣсть я не успѣлъ прочесть: потрудитесь навѣдаться на той недѣлѣ.

— Мнѣ мое время дорого,—отвѣчалъ Жерлицынъ.

— И мнѣ тоже,—сухо произнесъ редакторъ.

— Такъ отчего же вы не прочитали, повѣсть у васъ цѣлую недѣлю пролежала?

— Оттого, что не имѣлъ времени, оттого, что много занятій. У меня не одна ваша рукопись, и вамъ, вѣроятно, извѣстно, что рукописи въ редакціяхъ зачастую остаются по цѣлымъ мѣсяцамъ, а не по недѣлямъ.

— Имѣйте помощниковъ.

— Имѣю,—спокойно отвѣчалъ Папошниковъ.

— Сидите по ночамъ. У меня, когда я буду редакторомъ, все въ одну ночь будетъ очищаться.

Папошниковъ ушелъ въ кабинетъ и, возвратясь оттуда съ экономическою статьею Жерлицына, подалъ ее автору.

Старикъ положилъ статью на столъ, закурилъ папиросу и началъ считать листы рукописи.

— Вы что прикажете?—отнесся Папошниковъ къ блондину.

— Разсказъ «Роды» прочтенъ или нѣтъ еще?

— Прочтенъ-съ давно.

— И когда вы его напечатаете?

Папошниковъ погладилъ усы и, глядя въ глаза блондину, тихо проговорилъ:

— И его нельзя печатать.

— Отчего-съ?

Блондинъ безпокойно защипалъ бородку.

— Помилуйте, такія сцены.

— Тамъ невѣжество крестьянъ выставляется.

— Да не въ томъ, а что жъ это: все это до голой подробности, какъ въ курсѣ акушерства, разсказывается...

— Да вѣдь это все такъ бываетъ!

— Помилуйте, да мало ли чего на свѣтѣ не бываетъ, нельзя же все такъ прямо и разсказывать. Журналъ читается въ семействахъ, гдѣ есть и женщины, и дѣвушки, нельзя же нимало не щадить ихъ стыдливости.

— Будто онѣ, вы думаете, не понимаютъ! Онѣ всѣ лучше насъ съ вами все знаютъ.

— Да извольте, я и это вамъ уступлю, но пощадите же ихъ уши, дайте что-нибудь приличію, пожалѣйте эстетическій вкусъ.

— Нужно развивать вкусъ не эстетическій, а гражданскій.

Папошниковъ добродушно разсмѣялся и, тронувъ блондина за руку, сказалъ:

— Ну, развѣ можно описывать, какъ ребенокъ, сидя на полу, невѣжливо ведетъ себя, пока мать разрядится? Ну, что же тутъ художественнаго и что тутъ гражданскаго?

— Правда обстановки,—отстаивалъ блондинъ.

Редакторъ засмѣялся.

— А п-п-позвольте узнать, — вскрикнулъ изъ-за стола Жерлицынъ, перелистовавшій свою рукопись:—что же тутъ въ моей статьѣ развѣ содержится что-нибудь противъ нравственности?

— Нѣтъ-съ,—отвѣчалъ Папошниковъ.

— Ну, противъ религіи?

— Тоже нѣтъ-съ.

— Ну, противъ вашей эстетики?

— Нѣтъ-съ.

— Такъ противъ чего же?

— Противъ здраваго смысла.

— А-а! Это другое дѣло,—протянулъ Жерлицынъ и, закуривъ новую папиросу, сталъ опять перелистывать рукопись, провѣряя ее со стороны здраваго смысла.

Папошниковъ вынесъ блондину его разсказъ и обратился къ таперу.

— Повѣсть госпожи Жбановой?

— Будетъ напечатана,—отвѣчалъ редакторъ.

— Будетъ! въ такомъ случаѣ когда деньги?

— По напечатаніи-съ.

— Она проситъ половину впередъ.

— Она этого не пишетъ.

— Она мнѣ пишетъ; я ея мужъ, и она мнѣ поручила получать деньги.

— Нѣтъ-съ, она просила деньги выслать ей за границу, и онѣ такъ будутъ высланы, какъ она просила.

— Ну, это и я вѣдь могу сдѣлать; я здѣсь служу, можете обо мнѣ узнать въ придворной конторѣ,—съ обиженнымъ лицомъ резонировалъ таперъ.

— Ну, такъ я скажу вамъ, что это ужъ сдѣлано.

— Тогда не о чемъ и толковать по-пустому.

Таперъ всталъ и, разваливаясь, ушелъ, никому не поклонившись.

— Я,—залебезилъ блондинчикъ:—думалъ вамъ, Савелій Савельичъ, предложить вотъ что: такъ какъ, знаете, я служу при женскомъ учебномъ заведеніи и могу близко наблюдать женскій вопросъ, то я могъ бы открыть у васъ рядъ статей по женскому вопросу.

— Цъ! нѣтъ-съ, — отвѣчалъ, отмахиваясь руками, редакторъ.

— Отчего же?

— Не читаютъ-съ, прокисло, надоѣло.

— Но я могу съ другой стороны, не съ отрицательной.

— Съ какой хотите, все равно.

— Да, а вы съ какой хотите?

— Нѣтъ, ужъ Богъ съ ними. Барынямъ самимъ это прискучило.

— П-п-п-пааазвольте-съ! — крикнулъ опять все сидящій за столомъ Жерлицынъ, дочитавъ скороговоркою во второй разъ свою рукопись.—Вы у Жбановой повѣсть купили?

— Купилъ-съ.

— И напечатаете ее?

— И напечатаю.

— А эта госпожа Жбанова ни больше, ни меньше, какъ совершеннѣйшій стервецъ.

Редакторъ слегка надвинулъ брови и замѣтилъ Жерлицыну, что онъ довольно странно выражается о женщинѣ.

— Нѣтъ-съ, я выражаюсь вѣрно, — отвѣчалъ тотъ. — Я читалъ ея повѣсти: — бездарнѣйшій стервецъ, и только, а

вы вотъ ею потчуете нашихъ читателей; грузите ее вмѣсто балласта.

Папошниковъ ничего не отвѣчалъ Жерлицыну и обратился къ скромно ожидавшему въ амбразурѣ окна смирненькому старичку.

— Нижнедѣвицкій купецъ Семенъ Лазаревъ, — отрекомендовался старичокъ и протянулъ свою опрятную руку.— Года съ три будетъ назадъ, сюда наши въ Петербургъ ѣхали по дѣламъ, такъ я съ ними проектикъ прислалъ.

— О чемъ-съ?

— Обо всемъ, тамъ на гулянкахъ написано, — весело разговаривалъ старичокъ.

Папошниковъ задумался.

— Большая рукопись?—спросилъ онъ.

— Большая-съ, полторы стопы слишкомъ,—еще веселѣе разсказывалъ Лазаревъ.

— Называется: «Размышленія ипохондрика»?

— Вотъ, вотъ, вотъ, она и есть! Не напечатана еще?

— Нѣтъ-съ, еще не напечатана.

— То-то, я думаю, все не слышно ничего; вѣрно, думаю, еще не напечатана. А можетъ-быть, не годится?—добавилъ онъ, спохватившись.

— Велика-съ очень.

— Ну, тамъ вѣдь зато обо всемъ заключается: какъ все улучшить.

— Отличныя, отличныя есть мысли, помню хорошо, но объемъ!

— Это, впрочемъ, все дѣло рукъ нашихъ: сократимъ.

— Нѣтъ, вы позвольте, мы сами выборку сдѣлаемъ. Выберемъ, что идетъ къ теперешнему времени, листка на четыре, на пять.

— Что-жъ, я извольте, а только имя же вѣдь мое внизу подпечатаютъ?

— Ваше, ваше.

— То-то, а то я, знаете, разъ желаю, чтобы читатели опять въ одномъ и томъ же журналѣ мое сочиненіе видѣли.

— А вы развѣ писали въ нашемъ журналѣ?

— Какъ же-съ! Въ 1831 году напечатано мое стихотвореніе. Не помните-съ?

— Не помню.

— Нѣтъ-съ, есть. А повторительно опять тоже такое

дѣло: имѣлъ я въ юныхъ лѣтахъ, когда еще находился въ господскомъ домѣ, товарища, Ивана Ивановича Чашникова, и очень ихъ любилъ, а они пошли въ откупа, разбогатѣли и меня, маленькаго купца, не равно забыли, но, можно сказать, съ презрѣньемъ даже отвергли,— такъ я вотъ желаю, чтобы они увидали, что нижнедѣвицкій купецъ Семенъ Лазаревъ, хотя и бѣдный человѣкъ, а можетъ держать себя на точкѣ вида.

— Будетъ, будетъ ваше имя, — успокоилъ и проводилъ до дверей нижнедѣвицкаго купца Семена Лазаревича редакторъ Папошниковъ

— А п-п-пааазвольте!—удержалъ его на обратномъ пути Жерлицынъ. — Завулоновъ свой разсказъ мнѣ поручилъ продать.

— Ну-съ?

— Угодно вамъ купить?

— Оставьте, я прочту.

— Я не могу оставить: купите и оставляйте.

— Я такъ не покупаю, — отозвался редакторъ и попросилъ Лизу въ кабинетъ.

— А п-позвольте! На одну минуту позвольте, — остановилъ Жерлицынъ. — Вы читаете, что̀ покупаете у Тургенева?

— Читаю-съ.

— Не полагаю.—Вы вотъ въ своихъ журналахъ издѣваетесь надъ нигилистами, а...

— Нигилисты не читая покупаютъ?

— Конечно! Общій выводъ и направленіе,—вотъ все, что̀ нужно. Вы знаете Эразма Очевиднаго?

— Нѣтъ, не знаю.

— Мой зять?

— Не имѣю чести.

— Редакторъ же онъ.

— Что дѣлать, все-таки я не имѣю чести его знать и не имѣю времени о немъ говорить.

Редакторъ увелъ Лизу въ свой кабинетъ и предложилъ ей кресло.

— Видите, сударыня,— началъ онъ: — мнѣ нужно знать, какого рода переводы вы можете дѣлать и съ какихъ языковъ?

Лиза разсказала.

— Да... Это значитъ, вы статей чисто научнаго содержанія переводить не можете.

— Я не переводила.

Редакторъ задумался.

— Прискорбно мнѣ огорчать васъ, — началъ онъ: — такимъ отвѣтомъ, что работы, которую вы могли бы дѣлать, у меня въ настоящее время нѣтъ.

Лиза сухо встала.

— Позвольте! Куда же вы?

— У васъ работы нѣтъ:—намъ говорить не о чемъ.

Редакторъ слегка поморщился отъ этого тона и сказалъ:

— Я попрошу у васъ позволенія записать у себя вашъ адресъ. Работа можетъ случиться, и я удержу ее для васъ, я вамъ напишу. Книжки, видите, болѣе тридцати листовъ, ихъ возможности нѣтъ наполнить отборнымъ матеріаломъ.

— Это меня мало интересуетъ и вовсе не касается.

Папошниковъ положилъ книгу журнала и взялъ адресную тетрадь. Лиза продиктовала ему свой адресъ.

— Это тамъ, гдѣ коммунисты живутъ?

— Это аккуратно тамъ, гдѣ я вамъ сказала,—опять еще суше отвѣтила Лиза, и они разстались.

Сходя по лѣстницѣ, она увидѣла Жерлицына, сидящаго на окнѣ одной террасы и листующаго свою рукопись.

— Ищу здраваго смысла,— произнесъ онъ, пожавъ плечами при видѣ сходящей Лизы.

Лиза проходила мимо его молча.

— Позвольте,—догонялъ ее Жерлицынъ.—Какъ это онъ сказалъ: противъ здраваго смысла? Развѣ можетъ человѣкъ писать противъ здраваго смысла?

Лиза не отвѣчала.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Post scriptum.

Розанова Лиза застала уже у Вязмитиновой. По ихъ лицамъ она тотчасъ замѣтила, что доктору не было никакой удачи у Альтерзона и что они сговорились какъ можно осторожнѣе сообщить ей отвѣтъ сестры и зятя. Лиза терпѣть не могла этихъ обдуманныхъ и осторожныхъ введеній.

— Альтерзонъ отказалъ въ деньгахъ? — спросила она прямо Розанова.

— Да, почти,—отвѣчалъ тотъ.

— Ну, вотъ! Вы говорите *почти*, а Женни смотритъ какими-то круглыми глазами, точно боится, что я отъ денегъ въ обморокъ упаду,—забавные люди! Тутъ не можетъ быть никакого *почти*, и отказалъ, такъ, значитъ, на-чисто отказалъ.

— Ну, да.

— И сестра тоже?

— Она что жъ? Она ничего.

— Ну, я обращусь къ Зиночкину мужу,—спокойно отвѣчала Лиза и болѣе не стала говорить объ этомъ.

— А что ваши попытки, Лизавета Егоровна? — освѣдомился Розановъ.

— Такъ же счастливы, какъ и ваши,— отвѣчала она и, повидимому, была совершенно спокойна.

Пообѣдали вмѣстѣ; Розановъ попросилъ позволенія отдохнуть въ кабинетѣ Вязмитинова.

Былъ сѣрый часъ; Лиза сидѣла въ уголкѣ дивана; Евгенія Петровна скорыми шагами ходила изъ угла въ уголъ комнаты, потомъ остановилась у фортепіано, сѣла и взявъ два полные аккорда, запѣла «Плачъ Ярославны», къ которому сама очень удачно подобрала голосъ и музыку.

— Спой еще разъ,—тихо попросила Лиза, когда смолкли послѣдніе звуки.

Евгенія Петровна взяла аккордъ и опять запѣла:

Я быстрѣй лѣсной голубки
По Дунаю полечу,
И рукавъ бобровой шубки
Я въ Каялѣ обмочу;
Князю милому предстану,
И на тѣлѣ на больномъ
Окровавленную рану
Оботру тѣмъ рукавомъ.

Пѣсня опять кончилась, а Лиза оставалась подъ ея вліяніемъ, погруженною въ глубокую думу.

— Гдѣ летаешь? — спросила, цѣлуя ее въ лобъ, Евгенія Петровна.

Лиза слегка вздохнула.

Надъ дверью задняго хода послышался звонокъ, потомъ шушуканье въ дѣвичьей, потомъ медленное шлепанье абрамовниныхъ башмаковъ и, наконецъ, въ темную залу предстала сама старуха, освѣдомляясь, гдѣ докторъ?

— Спитъ,—отвѣчала Женни.

— Спитъ,—не чуетъ, кто дома ночуетъ.

— А что такое?

— Суприз, генеральша моя хорошая, да ужъ такой суприз, что на-на! Вихорная-то его вѣдь сюда прилетѣла!

— Кто-о?

— Ну, жена же его, жена. Кучеръ его сейчасъ прибѣжалъ, говоритъ, въ гостиницѣ остановилась, а теперь къ нему прибыла и вотъ распорядилась, послала. Видно нашъ атласъ не идетъ отъ насъ!

— Ахъ, Боже мой, что̀ за несносная женщина! — воскликнула Евгенія Петровна и смѣшалась, потому что на порогѣ изъ кабинета показался Розановъ.

— Прощайте, — сказалъ онъ, протягивая руку Евгеніи Петровнѣ.

— Куда вы, Дмитрій Петровичъ?

— Домой! вѣдь надо же это какъ-нибудь уладить: податься-то некуда.

— Вы развѣ слышали?

Розановъ качнулъ утвердительно головою, простился и уѣхалъ.

Въ залѣ опять настала вызывающая на размышленіе сумрачная тишина. Няня хотѣла погулять насчетъ докторши, но и это не удалось.

— Тую-то мнѣ только жаль, — Полину-то Петровну,— завела-было старуха; но, не дождавшись и на это замѣчаніе никакого отвѣта, зашлепала въ свою дѣтскую.

Прошелъ часъ, подали свѣчи; Лиза все попрежнему сидѣла, Евгенія Петровна ходила и часто вздыхала.

— Зачѣмъ ты вздыхаешь, Женни? — произнесла шопотомъ Лиза.

— Такъ, мой другъ, развздыхалось что-то.

Евгенія Петровна сѣла возлѣ Лизы, обняла ее и положила себѣ на плечо ея головку.

— Какіе вы всѣ несчастные! Боже мой, Боже мой! какъ посмотрю я на васъ, сердце мое обливается кровью: тому такъ, другому этакъ,— каждый изъ васъ не жизнь живетъ, а муки оттерпливаетъ.

— Такъ нужно,—отвѣчала послѣ паузы Лиза.

— Нужно! Отчего это, зачѣмъ такъ нужно?

— Вѣкъ жертвъ очистительныхъ проситъ.

— Жертвъ! — произнесла, сложивъ губки, Евгенія Петровна. — Мало ему безъ васъ жертвъ? Нѣтъ, просто вы несчастные люди. Что ты, что Розановъ, что Райнеръ,— всѣ вы сбились и не знаете, что дѣлать:—совсѣмъ несчастные люди.

— А ты счастливая?

— Я, конечно, счастливѣе васъ всѣхъ.

— Да чѣмъ же, напримѣръ, несчастливъ Райнеръ?—произнесла, морща лобъ и тупясь, Лиза.

— Райнеръ!

— Да. Онъ молодъ, свободенъ, дѣлаетъ что хочетъ, слава Богу, не женатъ на дурѣ и никого особенно не любитъ.

Евгенія Петровна остановилась передъ Лизою, махнула съ упрекомъ головкою и опять продолжала ходить по комнатѣ.

— Такъ не любятъ, — прошептала послѣ долгой паузы Лиза, разбиравшая все это время бахрому своей мантиліи.

— Нѣтъ, скорѣй вотъ этакъ-то не любятъ, — отвѣчала Женни, опять остановясь противъ подруги и показавъ на нее рукою.—Разговоръ снова прекратился.

Въ седьмомъ часу въ передней послышался звонокъ. Женни сама отперла дверь въ темной передней и вскрикнула голосомъ, въ которомъ удивленіе было замѣтно не менѣе радости.

Передъ нею стоялъ ея мужъ, неожиданно возвратившійся до совершеннаго окончанія возложеннаго на него порученія, для объясненій съ своимъ начальствомъ.

Пошли обычныя при подобномъ случаѣ сцены. Люди ставили самоваръ, бѣгали, суетились. Евгенія Петровна тоже суетилась и летала изъ кабинета въ дѣвичью и изъ дѣвичьей въ кабинетъ, гдѣ переодѣвался Николай Степановичъ, собиравшійся тотчасъ послѣ чая къ своему начальнику.

Чужому человѣку нечего дѣлать въ такія минуты. Лиза чувствовала это. Она встала, побродила по залѣ, черезъ которую суетливо перебѣгала то хозяйка, то слуги, и, наконецъ, безотчетно присѣла къ фортепіано и одною рукою подбирала музыку къ Ярославнину плачу.

Одѣвшись, Вязмитиновъ вышелъ въ залу, съ пачкою полученныхъ въ его отсутствіе писемъ, сѣлъ у стола съ стаканомъ чаю и началъ ихъ перечитывать.

У Лизы совсѣмъ отчетливо выходило:

Князю милому предстану
И на тѣлѣ, на больномъ,
Окровавленную рану
Оботру тѣмъ рукавомъ.

— Ба-ба-ба! — вскричалъ не совсѣмъ спокойно Вязмитиновъ,—Вотъ, mesdames, въ пустѣйшемъ письмѣ изъ Гродно необыкновеннѣйшій post scriptum.

— Ну,—сказала Женни, проходившая съ вынутымъ изъ дорожнаго чемоданчика бѣльемъ.

Лиза перестала перебирать клавиши.

«Десять дней тому назадъ, — началъ читать Вязмитиновъ, — къ намъ доставили изъ Пружанъ молодого предводителя мятежнической банды Станислава Кулю».

У Лизы сердце затрепетало, какъ голубь, и Евгенія Петровна прижала къ себѣ пачку бѣлья, чтобы не уронить его на полъ.

«Этотъ Станиславъ Куля, — продолжалъ Вязмитиновъ,— какъ оказалось изъ захваченныхъ нашимъ отрядомъ бумагъ, есть фигурировавшій нѣкогда у насъ въ Петербургѣ швейцарецъ...»

— Райнеръ! — отчаянно крикнула Евгенія Петровна, не смотря вовсе на мертвѣющую Лизу.

«Вильгельмъ Райнеръ, — спокойно прочиталъ Вязмитиновъ и продолжалъ:—Онъ во всемъ сознался, но наотрѣзъ отказался назвать кого бы то ни было изъ своихъ сообщниковъ, и вчера приговоренъ къ разстрѣлянію. — Приговоръ будетъ исполняться ровно черезъ недѣлю у насъ «за городомъ».

Вязмитиновъ посмотрѣлъ на дату и сказалъ:

— Это, значитъ, какъ разъ послѣзавтра утромъ нашъ Вильгельмъ Ивановичъ покончитъ свое земное странствованіе.

— Какъ?—переспросила шопотомъ Лиза.

— По расчету, какъ здѣсь написано, выходитъ, что казнь Райнера должна совершиться утромъ послѣзавтра.

— Да... его будутъ разстрѣливать? — произнесла Лиза тѣмъ же шопотомъ, водя по комнатѣ блуждающими глазами.—Его будутъ разстрѣливать? — спросила она громче, блѣдно-зеленое лицо ея судорожно искривилось, и она пошатнулась на табуретѣ.

Ее съ одной стороны схватила Женни, съ другой—Вязмитиновъ. Евгенія Петровна плакала.

— Отойдите отъ меня, — проговорила тихо Лиза, отводя отъ себя руками.

Она твердо встала, спросила свой капоръ, надѣла шубу и стала торопливо прощаться.

Евгенія Петровна уцѣпилась за нее и старалась ее удержать силою.

— Отойдите прочь отъ меня, Женни,—съ гробовымъ спокойствіемъ прошептала Лиза и, оторвавъ пальцы Евгеніи Петровны отъ шубы, вышла за двери.

— Что это такое?—добивался Вязмитиновъ.—Любила она его, что ли?

Евгенія Петровна съ полными слезъ глазами отошла къ окну и ничего не отвѣчала.

Николай Степановичъ хотѣлъ разспросить объ этомъ жену послѣ своего возвращенія отъ начальника, но Евгенія Петровна, которая уже была въ постели, заслышавъ въ залѣ его туфли, крѣпко закуталась въ одѣяло и на всѣ шутливыя попытки мужа развеселить ее и заставить разговориться, нервно проронила только:

— Ахъ, какъ это, однако, несносно! Не знаю, куда бы иногда отъ всего этого броситься.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Смерть.

Въ *Домѣ Согласія* могли бы очень долго не хватиться Лизы, которая, выйдя отъ Евгеніи Петровны, заѣхала туда только на минуту, молча прошла въ свою комнату, молча вышла оттуда и уѣхала, ничего не сказавши. Въ *Домѣ Согласія* всѣ знали и странности Лизы, и то, что она послѣднее время постоянно гоститъ у Вязмитиновой, такъ на это и не обратили никакого вниманія. Вопросъ: куда дѣлась Лиза? здѣсь возникъ только на третій день, когда встревоженная Евгенія Петровна пріѣхала узнать, что дѣлается съ Лизой? Оказалось, что Лизы третій день никто не видалъ, и о ней ни откуда не было никакого слуха.— Начались различныя соображенія. Евгенія Петровна съѣздила къ Полинькѣ Калистратовой—Лизы тамъ не было. У Розанова ея и не могло быть, но и туда съѣздили. Евгенія Петровна съѣздила даже къ баронессѣ Альтерзонъ и была ею

принята очень радушно, но о Лизѣ нигдѣ ни слуха. Все встревожилось: всѣ знали, что въ городѣ Лизѣ быть болѣе не у кого. Пошли самыя странныя предположенія, что̀ бы это могло значить и что̀ теперь дѣлать?

— Надо подать объявленіе въ кварталъ,—говорилъ Бѣлоярцевъ.—Мы въ такомъ положеніи, что должны себя отъ всего ограждать, а Бертольди кипятилась, что не надо подавать объявленія.

— Наше соціальное положеніе,—доказывала она:—не позволяетъ намъ, за чѣмъ бы то ни было, обращаться къ содѣйствію правительственной полиціи.

— Но, помилуйте:—если у васъ шубу украдутъ, къ кому же вы обратитесь?—обрезонивалъ ее Бѣлоярцевъ.

Бертольди затруднялась и лепетала только:

— Это другое дѣло! то совсѣмъ другое дѣло, да и то объ этомъ про всякій случай надо разсудить: можемъ ли мы, при нашей соціальной задачѣ, имѣть какія-нибудь отношенія къ полиціи.

Это казусное обстоятельство, однако, осталось неразрѣшеннымъ, и объявленіе о пропажѣ Лизы не было подано въ теченіе пяти дней, потому что всѣ эти пять дней Бѣлоярцевъ былъ оживленъ самою горячечною дѣятельностью. Онъ имѣлъ счастливый случай встрѣтить на улицѣ гонимую судьбою Ольгу Александровну Розанову, узналъ, что она свободна, но не знаетъ, что дѣлать, сообразилъ, что Ольга Александровна баба шаломонная, которую, при извѣстной безсовѣстности, можно вертѣть куда хочешь, и пріобрѣлъ въ ея лицѣ новаго члена для Дома Согласія. Четвертый день онъ устраивалъ ея комнату, прибивалъ вѣшалки, устанавлялъ мебель, импровизировалъ экранъ къ камину и даже перенесъ изъ своей комнаты ширмы. Вообще, Бѣлоярцевъ ухаживалъ за Ольгой Александровной самымъ внимательнымъ образомъ, всячески стараясь при каждомъ удобномъ случаѣ затушевать самою густою краскою ея отсутствующаго мужа. Ему было очень пріятно, что онъ могъ теперь злить Розанова и заливать ему сала за кожу.

Гражданкамъ не понравилась Ольга Александровна. Бертольди сказала, что это фаля нетлѣнная, а прочихъ Ольга Александровна изумляла своею съ перваго шага худо скрываемою обидчивостью и поразительнѣйшимъ невѣжествомъ. Въ первый же день своего прибытія, при разговорѣ объ

оперѣ «Юдиѳь», она спросила: въ самомъ ли дѣлѣ было такое происшествіе, или это фантазія? и съ тѣхъ поръ не уставала утѣшать серьезно начитанныхъ гражданокъ самыми непостижимыми вопросами. Утромъ на пятый день своей гражданской жизни Ольгѣ Александровнѣ стало ужъ очень грустно и непереносно. Она ушла помолиться въ Казанскій соборъ, поплакала передъ образомъ Богоматери, переходя черезъ улицу, видѣла мужа, пролетѣвшаго на своихъ шведочкахъ съ молодою миловидною Полинькою, расплакалась еще больше и, возвратившись совершенно разбитая домой, провалялась до вечера въ неутѣшныхъ слезахъ, а вечеромъ вышла веселая, сіяющая и разражающаяся почти на всякое даже собственное слово непристойно громкимъ хохотомъ. Къ ночи съ ней сдѣлалась истерика, и Бѣлоярцевъ началъ за ней ухаживать.

— Однако, наша Юдиѳь, кажется, начинаетъ кокетничать,—заговорила Бертольди.

— Со злости,—замѣчала Ступина.

— Да, это бываетъ,—подсказала Каверина.—Рокъ милосердъ къ Бѣлоярцеву, про его долю не забывается.

— Да,—проговорила, потянувшись на креслѣ, Ступина.—Это вотъ только, какъ говорятъ у насъ на Украйнѣ: «do naszego brzega, nie ptynie nic dobrego»,—и пошла въ свою холодную комнату.

Въ девятый день Лизинаго исчезновенія изъ Петербурга, часа въ четыре пополудни, Евгенія Петровна сидѣла и шила за столомъ въ своей угольной спальнѣ. Противъ нея тоже съ работою въ рукахъ сидѣла Полинька Калистратова. Николая Степановича Вязмитинова не было дома: онъ, переговоривъ съ своимъ начальствомъ, снова отправился въ командировку; дѣвушка растапливала печи въ кабинетѣ, залѣ и гостиной; няни и мамки не было дома. Пользуясь хорошею зарею, вырвавшеюся среди то холодной, то гнилой зимы, Евгенія Петровна послала ихъ поносить по воздуху дѣтей.

Блѣднорумяная заря узкою полоскою обрѣзала небосклонъ столицы и, рефлективно отражаясь сквозь двойныя стекла оконъ, уныло-таинственно трепетала на стѣнѣ темнѣющей комнаты.

Евгенія Петровна съ Полинькой бросили иглы и, откинувшись въ кресла, молча смотрѣли другъ на друга.

— Мнѣ, конечно,—произнесла, вздохнувъ, Полинька:—я въ него вѣрю и все перенесу: назадъ ужъ возвращаться поздно, да и... я думаю, что... онъ самъ меня не броситъ.

— Ни за что,—подтвердила Евгенія Петровна.

— Да, — спокойнѣе отвѣтила Полинька, какъ будто нуждавшаяся въ этомъ подтвержденіи:—но за что же она его-то мучитъ?

Евгенія Петровна промолчала.

— И ничего нельзя подѣлать! Некуда уйти, некуда скрыться!—высказывала свою мысль Полинька.

— Непріятное положеніе,—отвѣчала Женни и въ то же мгновеніе, оглянувшись на растворенную дверь дѣтской, вскрикнула, какъ вскрикиваютъ дѣти, когда страшно замаскированный человѣкъ захватываетъ ихъ въ уголкѣ, изъ котораго некуда вырваться.

— Что ты! что ты!—останавливала ее Полинька и, взглянувъ по тому же направленію, сама вскрикнула.

Въ облитой блѣднорозовымъ полусвѣтомъ, полусумракомъ дѣтской, какъ привидѣніе, сложивъ руки на груди, стояла Лиза въ своемъ черномъ капорѣ и черной атласной шубкѣ, съ обрывкомъ какого-то шарфа на шеѣ. Она стояла молча и не шевелясь.

— Лиза! — окликнула ее, оправляясь, Евгенія Петровна.

Она разняла руки и въ отвѣтъ поманила ее къ себѣ пальцемъ.

Обѣ женщины разомъ вошли въ дѣтскую и взяли гостью за руки.

Руки Лизы были холодны какъ ледъ; лицо ея, какъ говорятъ, осунулось и теперь скорѣе совсѣмъ напоминало лицо матери Агніи, чѣмъ личико Лизы; безпорядчно подоткнутая въ нѣсколькихъ мѣстахъ юбка ея платья была мокра снизу и смерзлась, а теплые бархатные сапоги выглядывали изъ-подъ обитыхъ юбокъ какъ двѣ промерзлыя рѣдьки.

— Не кричите такъ, не кричите,—прошептала Лиза.

— Ты напугала насъ.

— Глупо пугаться! ничего нѣтъ страшнаго, — отвѣчала она попрежнему все шопотомъ. — Пошли скорѣй нанять мнѣ тутъ гдѣ-нибудь комнату, возлѣ тебя чтобы,—просила она Женни.

— Да зачѣмъ же это сейчасъ?—уговаривала ее хозяйка.— Я одна, мужа нѣтъ, оставайся; дай я тебя раздѣну.

Лиза ни за что не хотѣла остаться у Евгеніи Петровны.

— Пойми ты,—говорила она ей на ухо:—что я никого, рѣшительно никого, кромѣ тебя, не могу видѣть.

Послали дѣвушку посмотрѣть комнату, которая отдавалась отъ жильцовъ по задней лѣстницѣ. Комната была свѣтлая, большая, хорошо меблированная и перегороженная прочно уставленными ширмами краснаго дерева. Лиза велѣла взять ее и послала за своими вещами.

— Завтра же еще это можно будетъ сдѣлать,—говорила ей Евгенія Петровна.

— Нѣтъ, пожалуйста, позволь сегодня. Я хочу все сегодня кончить,—говорила она, давая дѣвушкѣ ключи и деньги на расходы.

Вошла возвратившаяся съ прогулки Абрамовна, обхватила Лизину голову, заплакала и вдругъ откинулась.

— Сѣдые волосы!—воскликнула она въ ужасѣ.

Женни нагнулась къ головѣ Лизы и увидѣла, что половина ея волосъ бѣлые.

Евгенія Петровна отдѣлила прядь наполовину сѣдыхъ волосъ Лизы и перевѣсила ихъ черезъ свою ладонь у нея передъ глазами. Лиза забрала пальцемъ эти волоса и небрежно откинула ихъ за ухо.

— Гдѣ ты была?—спрашивала ее Евгенія Петровна.

— Послѣ,—отвѣчала Лиза.

Только когда Евгенія Петровна одѣвала ее за драпировкою въ свое бѣлье и теплый шлафрокъ, Лиза долго смотрѣла на огонь лампады, лицо ея стало какъ будто розовѣть, оживляться, и она прошептала:

— Я видѣла, какъ онъ умеръ.

— Ты видѣла Райнера?—спросила Женни.

— Видѣла.

— Ты была при его казни!

Лиза молча кивнула въ знакъ согласія головою.

Въ домѣ шептались, какъ при опасномъ больномъ. Няня обряжала нанятую для Лизаветы Егоровны комнату; сама Лиза молча лежала на кровати Евгеніи Петровны. У нея былъ лихорадочный ознобъ.

Черезъ два или три часа привезли вещи Лизы, и, еще черезъ часъ, она перешла въ свою новую комнату, гдѣ все было установлено въ порядкѣ и въ печкѣ весело потрескивали сухія еловыя дрова.

Ознобъ Лизы не прекращался, несмотря на высокую температуру усердно натопленной комнаты, два теплыя одѣяла и нѣсколько стакановъ выпитаго ею бузиннаго настоя.

Послали за Розановымъ.

Лизавета Егоровна встрѣтила его улыбкой и довольно крѣпко сжала его руку.

— Лихорадка,—сказалъ Розановъ:—простудились?

— Вѣрно,—отвѣчала Лиза.

— Далеко ѣздили?—спросилъ Розановъ.

Лиза кивнула утвердительно головою.

— Въ одной своей городской шубкѣ,—подсказала Евгенія Петровна.

— Гм! — произнесъ Розановъ, написалъ рецептъ и велѣлъ приготовить теплую ванну.

Къ полуночи ознобъ неожиданно смѣнился жестокимъ жаромъ, Лиза начала покашливать и къ утру у нея появилась мокрота, окрашенная алымъ кровянымъ цвѣтомъ.

Розановъ бросился за Лобачевскимъ.

Въ восьмомъ часу утра они явились вмѣстѣ. Лобачевскій внимательно осмотрѣлъ больную, выслушалъ ея грудь, взялъ опять Лизу за пульсъ и, смотря на секундную стрѣлку своихъ часовъ, произнесъ:

— Pneumonia, quae occupat magnam partem dextri et apecem pulmoni sinistri, complicata irritatione systemae nervorum.—Pulsus filiformis *).

— Mea opinione, — отвѣчалъ на томъ же мертвомъ языкѣ Розановъ: — quod hic est indicatio ad methodi medendi antiflogistica; hirudines medicinales numeros triginta et nitrum **).

— Prognosis laetalis,—еще ниже заговорилъ Лобачевскій.— Consolationis gratia possumus proscribere amygdalini grana quatuor in emulsione amygdalarum dulcium uncias quattuor,— et nihil magis! ***).

---

*) Воспаленіе, которое уже занимаетъ бо́льшую часть праваго легкаго и верхушку лѣваго, причемъ все это осложняется жестокою нервною возбужденностью. Пульсъ нитеобразный.

**) По моему мнѣнію, нужно употребить методъ противовоспалительный: тридцать піявокъ и селитру внутрь.

***) Предсказаніе безнадежное. Для успокоенія больной можемъ прописать амигдалинъ четыре грана въ четырехъ унцахъ миндальной эмульсіи,—и ничего болѣе.

— Нельзя ли перевести этотъ приговоръ на такой языкъ, чтобы я его понимала,—попросила Лиза.

Розановъ затруднялся отвѣтомъ.

— Удивительно! — произнесла съ снисходительной ироніей больная. — Неужто вы думаете, что я боюсь смерти! Будьте честны, господинъ Лобачевскій, скажите, что̀ у меня? Я желаю знать, въ какомъ я положеніи, и смерти не боюсь.

— У васъ воспаленіе легкихъ,—отвѣчалъ Лобачевскій.

— Одного?

— Обоихъ.

— Значитъ finita la comedia?

— Положеніе трудное.

— Выйдите,—сказала она, давъ знакъ Розанову, и взяла Лобачевскаго за руку.

— Люди передъ смертью бываютъ слабы, — начала она едва слышно, оставшись съ Лобачевскимъ. — Физическія муки могутъ заставить человѣка сказать то, чего онъ никогда не думалъ; могутъ заставить его сдѣлать то, чего бы онъ не хотѣлъ. Я желаю одного, чтобы этого не случилось со мною... но если мои мученія будутъ очень сильны...

— Я этого не ожидаю,—отвѣчалъ Лобачевскій.

— Но если бы?

— Что же вамъ угодно?

— Убейте меня разомъ.

Лобачевскій молчалъ.

— Уважьте мое законное желаніе...

— Хорошо,—тихо произнесъ Лобачевскій.

Лиза съ благодарностью сжала его руку.

Весь этотъ день она провела въ сильномъ жару, и нервное раздраженіе ея достигало крайнихъ предѣловъ: она вздрагивала при малѣйшемъ шорохѣ, но старалась владѣть собою. Амигдалина она не хотѣла принимать и пила только ради слезъ и просьбъ падавшей передъ нею на колѣни старухи.

Передъ вечеромъ у нея началось въ груди хрипѣніе, которое становилось слышнымъ по всей комнатѣ.

— Ага, ужъ началась музыка,—произнесъ шопотомъ Лобачевскій, обращаясь къ Розанову.

— Да, худо.

— Къ утру все будетъ кончено.

— Вы не бойтесь, — сказалъ онъ, держа за руку больную.—Большихъ мученій вы не испытаете.

— Я вѣрю вамъ,—отвѣчала Лиза.

— Батюшка!..—трепеща всѣмъ тѣломъ и не умѣя удержать въ повиновеніи дрожащихъ губъ, остановила Лобачевскаго на лѣстницѣ Абрамовна.

— Умретъ, старушка, умретъ, ничего нельзя сдѣлать.

— Батю-ш-ш-шка!—опять простонала старуха.

— Ничего, ничего, няня, нельзя сдѣлать, — отвѣчалъ, спускаясь по ступенямъ, Лобачевскій.

Все существо старухи обратилась съ этой минуты въ живую заботу о томъ, чтобы больная исповѣдовалась и причастилась.

— Матушка, Лизушка, — говорила она, заливаясь слезами:—вѣдь отъ этого тебѣ хуже не будетъ. Ты вѣдь христіанскаго отца съ матерью дитя: пожалѣй ты свою душеньку.

— Оставьте меня,—говорила, отворачиваясь, Лиза.

— Ангелъ мой!—начинала опять старуха.

— Нельзя-ль ко мнѣ привезть Бертольди?—отвѣчала Лиза.

— На что вамъ Бертольди?—спокойно урезонивалъ больную Розановъ. — Она только будетъ раздражать васъ. Вы сами хотѣли избѣгать ихъ; теперь же у васъ съ ними вѣдь ничего нѣтъ общаго.

— Однако, оказывается больше, чѣмъ я думала, — отвѣчала раздражительно Лиза.

Розановъ замолчалъ.

— Лиза, послушайся няни, — упрашивала со слезами Женни.

— Матушка! другъ мой! послушайся няни, — умоляла, стоя у кровати на колѣняхъ, со сложенными на груди руками, старуха.

— Лизавета Егоровна! Гейне, умирая, поручалъ свою безсмертную душу Богу, отчего же вы не хотите этого сдѣлать хоть для этихъ женщинъ, которыя васъ такъ любятъ?—упрашивалъ Розановъ.

— Хорошо,—произнесла съ видимымъ усиліемъ Лиза.

Абрамовна вскочила, поцѣловала руку больной и послала свою кухарку за священникомъ, которая возвратилась съ какою-то длинненькою связочкою, завернутою въ чистенькій носовой платочекъ.

Сверточекъ этотъ она осторожно положила на стулъ, въ ногахъ Лизиной постели.

Больной становилось хуже съ каждою минутою. По цѣлой комнатѣ слышалось легочное клокотанье, и изъ груди появлялись окрашенныя кровью мокроты.

Пришелъ пожилой священникъ, съ прекраснымъ блѣднымъ лицомъ, обрамленнымъ ниспадающими по обѣ стороны черными, волнистыми волосами, съ легкою просѣдью.

Онъ поклонился Евгеніи Петровнѣ и Розанову, молча раскаталъ свернутый эпитрахиль, надѣлъ его, взялъ въ руки крестъ и съ дароносицею вошелъ за Абрамовною къ больной.

— Попросите всѣхъ выйти изъ этой комнаты,—шепнулъ онъ нянѣ.

Они остались вдвоемъ съ Лизою.

Священникъ тихо произнесъ предъисповѣдныя слова и наклонился къ больной.

Лиза хрипѣла и продолжала смотрѣть въ стѣну.

. . . . . .

Священникъ вздохнулъ, осѣнивъ ее крестомъ, и сильно взволнованный вышелъ изъ-за ширмы.

Провожая его, Розановъ хотѣлъ дать ему деньги. Священникъ отнялъ руку.

— Не безпокойтесь; не за что мнѣ платить, — сказалъ онъ.

Розановъ не нашелся ничего сказать.

Когда Розановъ возвращался въ комнату больной, въ передней его встрѣтила нѣмка-хозяйка съ претензіею, что къ ней перевезли умирающую.

— Вамъ будетъ заплачено за всѣ безпокойства, — отвѣтилъ ей, проходя, Розановъ.

Усиливающееся легочное хрипѣніе въ груди Лизы предсказывало скорую смерть.

Заѣхалъ Лобачевскій и, не заходя за ширмы, сказалъ:

— Конецъ.

— Вы очень изнурены, это для васъ вредно, усните, — посовѣтовалъ онъ Евгеніи Петровнѣ.

Та махнула опять рукою и заплакала.

— Перестань, Женни, — произнесла чуть внятно Лиза, давясь мокротой. — Душитъ меня, — проговорила она еще тупѣе черезъ нѣсколько времени и тотчасъ же, дѣлая надъ

собою страшное усиліе, выговорила твердо: — Съ ними у меня общаго... хоть ненависть... хоть неумѣнье мириться съ тѣмъ обществомъ, съ которымъ всѣ вы миритесь... А съ вами... ничего,—договорила она и захлебнулась.

— Батюшка! колоколецъ ужъ бьетъ, — закричала изъ-за ширмы стоявшая возлѣ умирающей Лизы Абрамовна.

Розановъ метнулся за ширмы. Лиза съ выкатившимися глазами судорожно ловила широко раскрытымъ ртомъ воздухъ.

Евгенія Петровна упала въ дурнотѣ со стула; растерявшійся Розановъ бросился къ ней.

Когда онъ лилъ воду сквозь сжатые зубы Евгеніи Петровны, въ больной груди умирающей прекратилось хрипѣніе.

Посадивъ Вязмитинову, Розановъ вошелъ за ширмы. Лиза лежала навзничь, закинувъ назадъ голову, зубы ея были стиснуты, а посинѣвшія губы открыты. На неподвижной груди ея лежалъ развернутый платочекъ Абрамовны съ тремя восковыми свѣчечками, четвертая тихо теплилась въ замершей рукѣ Лизы. Абрамовна, наклонивъ голову, шептала молитву и заводила вѣками остановившіеся глаза Лизы.

Похороны Лизы были просты, но не обошлись безъ особыхъ заявленій со стороны нѣкоторыхъ гражданъ. Одинъ изъ нихъ прошелъ въ церковь со стеариновою свѣчкою и во все время отпѣванія старался вылѣзать наружу. Съ этою же свѣчкою онъ мыкался всю дорогу до кладбища и, наконецъ, взлѣзъ съ нею на земляной отвалъ раскрытой могилы.

— Господа, мы просимъ, чтобъ рѣчей не было, этого не желала покойница и не желаемъ мы,—произнесъ Розановъ, замѣтя у гражданина со стеариновою свѣчою какую-то тетрадку.

Всякіе гражданскіе мотивы были какъ-то ужасно противны въ эти минуты, и земля на крышку Лизинаго гроба посыпалась при одномъ церковномъ моленіи о вѣчномъ покоѣ.

Баронесса Альтерзонъ была на похоронахъ сестры и нашла, что она, бѣдняжка, очень перемѣнилась.

Бѣлоярцевъ шелъ на погребеніе Лизы тоже съ стеариновою свѣчою, но все время не зажигалъ ее и продержалъ въ рукавѣ шубы. Тонкое, лисье чутье давало ему чувствовать, что погода скоро можетъ перемѣниться и нужно поубрать парусовъ, чтобы было на чемъ послѣ пролавировать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Новѣйшіе моды и фасоны.

(Послѣдняя глава вмѣсто эпилога.)

Девятаго мая, по случаю именинъ Николая Степановича, у Вязмитиновыхъ была пирушка. Кромѣ обыкновенныхъ посѣтителей этого дома, мы встрѣчаемъ здѣсь множество гостей, вовсе намъ не знакомыхъ, и нѣсколько такихъ лицъ, которыя едва мелькнули передъ читателемъ въ самомъ началѣ романа и которыхъ читатель имѣлъ полное право позабыть до сихъ поръ. Здѣсь вдова камергерша Мерева, ея внучка, которой Помада когда-то читалъ чистописаніе и которая нынче уже выходитъ замужъ за генерала; внукъ камергерши въ гусарскомъ мундирѣ, съ золотушнымъ шрамомъ, выходящимъ на щеку изъ-подъ лѣвой челюсти; Алексѣй Павловичъ Зарницынъ въ вицъ-мундирѣ и съ крестомъ за введеніе мирового положенія о крестьянахъ и, наконецъ, братецъ Евгеніи Петровны, Ипполитъ Петровичъ Гловацкій, котораго нѣкогда съ такими усиліями старались отратовать отъ тяжелой отвѣтственности, грозившей ему по университетскому дѣлу. Теперь Ипполитъ Гловацкій возмужалъ, служитъ чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ и старается держать себя государственнымъ человѣкомъ.

Губернія налетѣла сюда, какъ обыкновенно губерніи налетаютъ: одинъ станетъ собираться, другому дѣлается завидно,—дѣло сейчасъ находится, и, смотришь, нѣсколько человѣкъ, свободно располагающихъ временемъ и извѣстнымъ капиталомъ, разомъ снялись и полетѣли вереницею зѣвать на зеркальныя окна Невскаго проспекта и изучать то особенное чувство благоговѣйнаго трепета, которое охватываетъ человѣка, когда онъ прикасается къ топазовой ручкѣ звонка у квартиры могущественной особы.

Камергерша Мерева ѣхала, потому что сама хотѣла отобрать и приготовить приданое для выходящей за генерала внучки; потомъ желала просить полкового командира о внукѣ, только что произведенномъ въ кавалерійскіе корнеты, и, наконецъ, хотѣла повидаться съ какими-то старыми пріятелями и основательно разузнать о намѣреніяхъ правительства по крестьянской реформѣ.

Камергерша Мерева была твердо увѣрена, что вѣчное признаніе за крестьянами правъ личной свободы дѣло рѣ-

шительно невозможное, и постоянно выискивала вездѣ слуховъ, благопріятствующихъ ея надеждамъ и ожиданіямъ.

Алексѣй Павловичъ Зарницынъ поѣхалъ въ Петербургъ, потому что поѣхала Мерева и потому что самому Алексѣю Павловичу давно смерть какъ хотѣлось прокатиться. Практическая и многоопытная супруга Алексѣя Павловича давно вывела его въ уѣздные предводители дворянства и употребила его для поправленія своихъ отношеній съ камергершей, которая не хотѣла видѣть Кожухову съ тѣхъ поръ, какъ та, заручившись дарственною записью своего перваго мужа, выжила его изъ его собственнаго имѣнія. Не сама Мерева, а ея связи съ аристократическимъ міромъ Петербурга были нужны Катеринѣ Ивановнѣ Зарницыной, пожелавшей въ виду кивающей ей старости оставить деревенскую идиллію и пожить окнами на Большую Морскую или на Милліонную. Катеринѣ Ивановнѣ задумалось повести жизнь такъ, чтобы Алексѣй Павловичъ въ двѣнадцать часовъ уходилъ въ должность, а она бы выходила подышать воздухомъ на Англійскую набережную, встрѣчалась здѣсь съ однимъ или двумя очень милыми несмысленышами въ мундирахъ конногвардейскихъ корнетовъ, съ едва пробивающимся на верхней губѣ пушкомъ, чтобы они поговорили про городъ, про скоромные скандалы, прозябли, потомъ зашли къ ней, Катеринѣ Ивановнѣ, усѣлись въ самомъ уютномъ уголкѣ съ чашкою горячаго шоколада и, согрѣваясь, впадали въ то пріятное состояніе, для котораго еще и итальянцы не выдумали до сихъ поръ хорошаго названія. И такъ далѣе: все «въ самомъ, въ самомъ игривомъ», и все при неотмѣнномъ присутствіи корнета съ пробивающимся на верхней губѣ пушкомъ.

Катерина Ивановна, долго засидѣвшаяся въ провинціальной глуши, обманывала себя, преувеличивая свѣтское значеніе старой камергерши. Однѣ петербургскія связи Меревой отъ времени слишкомъ вытянулись и ослабѣли, другія уже вовсе не существовали. Но Катерина Ивановна не брала этого въ расчетъ, всячески заискивала расположенія Меревой сама и возила къ ней на поклонъ своего мужа. Алексѣй Павловичъ давно утратилъ свою автономію и плясалъ по жениной дудкѣ. Онъ былъ снаряженъ и отправленъ въ Петербургъ, съ цѣлію спеціально служить камергершѣ и открыть себѣ при ея посредствѣ служебную дорогу, но онъ

всѣмъ разсказывалъ и даже самъ былъ глубоко убѣжденъ, что ѣдетъ въ Петербургъ для того, чтобы представиться министру и получить отъ него инструкцію по нѣкоторымъ весьма затруднительнымъ вопросамъ, возникающимъ изъ современныхъ дворянскихъ дѣлъ.

Губернаторскій чиновникъ особыхъ порученій Ипполитъ Гловацкій, огорчаемый узкостью губернской карьеры, поѣхалъ съ Зарницынымъ, чтобы при содѣйствіи зятя перемѣститься на службу въ Петербургъ.

— Какъ же ты оставишь отца?—спрашивала его Евгенія Петровна.

— А что же, матушка, дѣлать! Нельзя же мнѣ съ этихъ поръ закабалить себя въ провинціи и погубить свою карьеру.

— Это, къ сожалѣнію, очень грустно, но совершенно справедливо,—замѣтилъ Вязмитиновъ.

— Я сама поѣду весною съ дѣтьми къ отцу,—отвѣчала Евгенія Петровна.

— Лучше перевеземъ его сюда.

— Нѣтъ, зачѣмъ же! Для чего тащить его изъ-подъ чистаго неба въ это гадкое болото! Лучше я къ нему поѣду; мнѣ самой хочется отдохнуть въ своемъ старомъ домикѣ. Пошиву съ отцомъ, погощу у матери Агніи, поставлю памятникъ на материной могилѣ.

— А что мать Агнія?—спросилъ Вязмитиновъ, обращаясь къ Меревой.

Вся эта бесѣда происходитъ за круглымъ чайнымъ столомъ въ день упомянутыхъ именинъ Вязмитинова.

Камергерша сложила свои сухія, собранныя въ смокву губы и, произнося русское *у*, не какъ русское *ю*, а какъ французское *u*, отвѣчала: «ужасная чудиха!»

— Помнишь, Ипполитъ, какъ она когда-то не могла простить тебѣ твоего отзыва о монастыряхъ и о Пушкинѣ?—говорилъ весело Вязмитиновъ.

— Однако, простила же и, можетъ-быть, благодаря ей Ипполитъ не сдѣлался солдатомъ,—вмѣшалась Евгенія Петровна.

— Что ея племянница?—освѣдомилась Мерева.

— Лиза? Она умерла.

— Скажите! Какъ это странно! Отчего же это она умерла?

— Простудилась.

— Всю жизнь изжила,—подсказалъ Вязмитиновъ.

— Какой ты нынче острогонъ!—замѣтилъ, ставя на столъ свою чашку, Розановъ.

— Съ ней тамъ опять была исторія почти въ томъ же родѣ,—начала, выдавливая слова, Мерева.—На моего внука разсердилась:—вотъ на него,—пояснила камергерша, указывая на золотушнаго гусара.

— Это вы о комъ говорите?

— Объ игуменьѣ.

— Извините, пожалуйста, я не понялъ.

— Да. Представьте себѣ, у нихъ живописцы работали. Ню, она на воротахъ назначила нарисовать страшный судъ,—картину. Ню, мой внукъ, разумѣется, мальчикъ молодой... знаете, скучно, онъ и далъ живописцу двадцать рублей, чтобы тотъ въ аду нарисовалъ и Агнію, и всѣхъ ея главныхъ помощницъ.

Нѣсколько человѣкъ захохотали и посмотрѣли на молодого гусара.

— Ню, такъ и сдѣлалъ,—заключила, улыбаясь, Мерева.—Старуха разсердилась, прогнала живописца и велѣла всѣ лица перерисовать.

— Гласность!—замѣтилъ какой-то желчный пожилой чиновникъ.

— Да, а себя, говорятъ, такъ и велѣла оставить.

— Все это было бы смѣшно, когда бы не было такъ глупо,—сказалъ за стуломъ Евгеніи Петровны Розановъ.

— Именно,—отвѣчала хозяйка.

О Ѳеоктистѣ Мерева ничего не знала.

— А объ этомъ,—говорила она, захвативъ одного статскаго генерала со звѣздою:—я хоть и въ провинціи живу, но могу вамъ сообщить самыя вѣрныя свѣдѣнія, которыя прямо идутъ изъ самыхъ вѣрныхъ источниковъ. Австрійскій императоръ, французскій императоръ и прусскій король писали къ нашему императору, что такъ какъ у нихъ крестьяне всѣ освобождены безъ земли, а нашъ императоръ далъ крестьянамъ землю, то они боятся, что ихъ крестьяне, узнавши про это, бунтъ сдѣлаютъ, и просили нашего императора отобрать у нашихъ крестьянъ землю назадъ. Ню, и нашъ императоръ принялъ это во вниманіе. Я это навѣрное знаю, потому что нашъ владыка былъ здѣсь въ Петербургѣ и его регентъ, который съ нимъ тоже былъ здѣсь, все это мнѣ самой разсказывалъ.

— Смѣю васъ увѣрить, ваше превосходительство, что все это чистѣйшій вздоръ, — распинался передъ Меревою статскій генералъ, стараясь ее всячески урезонить.

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Нѣтъ, вы ужъ, пожалуйста, не говорите мнѣ этого,—отпрашивалась Мерева.

— Ну, и хорошо; ну, и положимъ, что должность, какъ ты говоришь, самостоятельная; ну что же я на ней сдѣлаю?—спрашивалъ въ углу Ипполитъ у Вязмитинова, который собирался сейчасъ просить о немъ какого-то генерала.

— Можешь самостоятельно работать, можешь заявлять себя съ выгодной стороны и проводить полезную иниціативу.

— Да... иниціатива, это такъ... но мѣсто это, все-таки, выходитъ въ восьмомъ классѣ;—что же я получу на немъ? Мнѣ нуженъ классъ, дорога. Нѣтъ, ты лучше проси о томъ мѣстѣ. Пускай оно тамъ и пустое, да оно въ седьмомъ классѣ,—это важно, если меня съ моимъ чинишкомъ допустятъ къ исправленію этой должности.

— Если ты такъ смотришь, пусть будетъ по-твоему, — отвѣчалъ Вязмитиновъ.

— Да какъ же смотрѣть-то иначе?

— Пожалуй, можетъ-быть, ты и правъ.

— Нѣтъ, позвольте,—говорили на перебой молодая супруга одного начальника отдѣленія и внучка камергерши Меревой, забивая на смерть Зарницына и еще нѣсколькихъ молодящихся чиновниковъ. — Что же вы, однако, предоставили женщинѣ?

— Нашъ законъ... нашъ законъ признаетъ за женщиною право собственности и по выходѣ замужъ, у насъ женщина имѣетъ право подавать свой голосъ на выборахъ...—исчислялъ Зарницынъ.

— Да это законъ, а вы-то, вы-то сами что̀ предоставили женщинѣ? Что̀ у васъ женщина въ семьѣ? Мать, стряпуха, нянька вашихъ глаксивыхъ ребятъ, и только.

— Въ семьѣ каждая женщина должна...

— *Должна!* Вотъ опять *должна!* Я слышать не могу этого ненавистнаго слова: *женщина должна.* Отчего же, я васъ спрашиваю, мужчина не долженъ?

— Но позвольте, я хотѣлъ сказать, что женщина должна сама себя поставить, сама себѣ создать соотвѣтственное положеніе.

— Женщина *должна,* видите, создавать себѣ это положеніе! А отчего же *вы* не хотите ей сами устроить это положеніе? Отчего женщина не видитъ въ семьѣ предупредительности? Отчего желаніе ея не угадывается?

— Но, душечка, нельзя же, чтобы мужъ могъ отгадывать каждое женино желаніе,—вмѣшался начальникъ отдѣленія, чуя, что въ его огородъ полетѣли каменки.

— Если любитъ, такъ все отгадаетъ,—зарѣшила дама.— Женихами же вы умѣете отгадывать и предупреждать наши желанія, а женитесь... Говорятъ: «у ня молодой мужъ»,—да что мнѣ или другой изъ того, что у меня молодой мужъ, когда для него все равно, счастлива я или несчастлива. Вы говорите, что вы работаете для семьи,— это вздоръ; вы для себя работаете, а чтобы предупредить какое-нибудь пустое желаніе жены, объ этомъ вы никогда не заботитесь.

— Да, душечка, какое же желаніе?—заискивалъ опять начальникъ отдѣленія.

— Ну, самое пустое, ну чепчикъ, ну ленту, которая нравится,—бездѣлицу, да предупреди ее.

— Душечка, да отчего же женѣ самой не купить себѣ чепчикъ или ленту?

— Не лента дорога, а вниманіе: въ этомъ обязанность мужа.

— Вотъ въ чемъ обязанность мужа! Слышали?—спросилъ Евгенію Петровну Розановъ,—та только улыбнулась.

— Это правда,—говорила камергерша Мерева сентиментальной сорокалѣтней женѣ богатаго домовладѣльца. — Я всегда говорила: въ молодыхъ мужьяхъ никакого проку нѣтъ, всѣ только о себѣ думаютъ. Вонъ женихъ моей внучки— генералъ и, разумѣется, хоть не старъ, но въ настоящихъ лѣтахъ, такъ это любовь. Онъ ее, какъ ребенка, лелѣетъ. Смѣшно даже, разскажу вамъ: онъ съ нею часто разговариваетъ, какъ съ ребенкомъ, знаете такъ: «стё, стё ти, моя дюся? да какая ти у меня клясавица», и привыкъ такъ. Является онъ къ своему дивизіонному начальнику, да забылся и говоритъ: «цесть имѣю васему превосходительству долёзить». Даже начальникъ разсмѣялся: «что это, говоритъ, съ вами такое?» Извините, говоритъ, ваше превосходительство, это я съ невѣстой своей привыкъ.—Такъ вотъ это любовь!

— Да, я имѣю трехъ взрослыхъ дочерей,—стонала сентиментальная сорокалѣтняя домовладѣлица.—Одну я выдала за богатаго купца изъ Астрахани. Онъ вдовецъ, но они счастливы. Дворяне богатые нынче довольно рѣдки; чиновники зависятъ отъ мѣста: доходное мѣсто, и хорошо; а то и ѣсть нечего; ученые получаютъ содержаніе небольшое: я рѣшила всѣхъ моихъ дочерей за купцовъ отдать.

— Это такъ,—отвѣчала камергерша, нѣсколько обиженная предпочтеніемъ, оказываемымъ купеческому карману.—Только будетъ ли ихъ склонность?

— Н...ну, какія склонности! Помилуйте, это все выдумки.—Я сказала, чтобы у меня въ домѣ этихъ русскихъ романовъ не было. Это все русскіе романы дѣлаютъ. Пусть читаютъ по-французски: по крайней мѣрѣ, языкъ совершенствуютъ.

— Вотъ это очень, очень благоразумно, — подтверждала Мерева.

— Да сами согласитесь, къ чему они все это наклоняютъ, наши писатели? Я не вижу ничего хорошаго во всемъ, къ чему они все наклоняютъ. Трудъ, трудъ, да трудъ затрубили, а мои дочери не такъ воспитаны, чтобы трудиться.

— А кто же будетъ выходить за бѣдныхъ людей?—вмѣшался Зарницынъ.

— За бѣдныхъ?.. — Домовладѣлица задумалась и, наконецъ, сказала: — пусть кто хочетъ выходитъ; но я моихъ дочерей отдамъ за купцовъ...

— За человѣка страшно! — произнесъ, пожимая плечами и отходя въ сторону, Зарницынъ.

— Просто дура,—отвѣтилъ ему кто-то.

Зарницынъ сѣлъ у окошечка и небрежно переворачивалъ глазированные листы лондонской русской газеты.

— Что читаешь?—спросилъ его, подсаживаясь, Розановъ.

— «Слова, слова, слова»,—отвѣчалъ, снисходительно улыбаясь, Зарницынъ.

— Гамлетъ! Зачѣмъ ты только своихъ словъ не записываешь? Хорошо бы провѣрить, что̀ ты переговорилъ въ нѣсколько лѣтъ.

— «Слова!»

— Именно всѣ вы, какъ посмотришь на васъ, не больше, какъ «слова, слова и слова».

— Ну, а что твой камрадъ Звягинъ, съ которымъ вы университетъ переворачивали: гдѣ онъ нынче воюетъ? — спрашивалъ за ужиномъ Ипполита Вязмитиновъ.

— Звягинъ воюетъ? помилуй! смиренный селянинъ, женатъ, двое дѣтей, служитъ мировымъ посредникомъ и мхомъ обрастаетъ.

— На комъ онъ женатъ?

— Никона Родивоновича помнишь?

— Еще бы!

— На его дочкѣ, на Ульяночкѣ.

— Господи Боже мой! а мотался, мотался, бурлилъ, бурлилъ!

— Изъ бродячихъ-то дрождей и пиво бываетъ, — возразилъ Розановъ.

— А ужъ поколобродилъ и подурилъ.

— Всѣ мы на свой пай и поколобродили, и подурили.

— Н-нну, не всѣ, я думаю, одинаково, — съ достоинствомъ отвѣчалъ Вязмитиновъ. — Иное дѣло увлекаться, иное метаться, какъ угорѣлому, на всякую чепуху.

— Да-съ, можемъ сказать, что, поистинѣ, какую-то безшабашную пору прожили, — вмѣшался еще не старый статскій генералъ. — Ужъ и теперь даже вспомнить странно; самъ себѣ не вѣришь, что собственными глазами видѣлъ. Всюду рвались и вездѣ осрамились.

— Вещество мозга до сихъ поръ еще недостаточно выработано, — весьма серьезно вставилъ Лобачевскій.

— Н-нну, иные и съ этимъ веществомъ да никакихъ безобразныхъ чудесъ не откалывали и изъ угла въ уголъ не метались, — резонировалъ Вязмитиновъ. — Вотъ моя жена была со всѣхъ сторонъ окружена самыми эмансипированными подругами, а не забывала же своего долга и не увлекалась.

— Почему вы это знаете? — спросила Евгенія Петровна съ тонкой улыбкой.

— А что? — подозлилъ Розановъ.

— Ну, по крайней мѣрѣ, ты же не моталась, не рвалась никуда.

— Потому что некуда, — опять полушутя отвѣтила Евгенія Петровна.

— А мое мнѣніе, не намъ съ тобой, братъ, Николай Степановичъ, быть строгими судьями. Мы съ тобой видѣли,

какъ порывались молодыя силы, какъ не могли онѣ отыскать настоящей дороги и какъ въ криворосъ ударились. Намъ съ тобой простить наши личныя оскорбленія да пожалѣть о заблужденіяхъ,—вотъ наше дѣло.

Вязмитиновъ замолчалъ.

— Нѣтъ, позволь, позволь, братъ Розановъ, — вмѣшался Зарницынъ.—Я сегодня встрѣчаю Птицына. — Ну, старый товарищъ, поздоровались и разговорились! «Ты, говорю ему, у насъ первый либералъ нынче». — Кой чортъ, говоритъ, либералъ: я тебѣ скажу: всѣ либералы свиньи. — «Ты-жъ, говорю, самъ крайній и пишешь въ этомъ родѣ!»—А чортъ ихъ, говоритъ, возьми: мало ли что мы пишемъ! Я бы, говоритъ, даже давно написалъ, что они свиньи.—«Да что же, спрашиваю?» — Напечатаютъ, говоритъ, что я пьяный на тротуарѣ валялся,—и самъ смѣется... Ну, что это за люди, я васъ спрашиваю?

— Комикъ! комикъ!—остановилъ его Розановъ.—Ну, а мало ли, что мы съ тобой говоримъ? Что-жъ мы-то съ тобой за люди?

— Повторяю вамъ, вещество человѣческаго мозга недостаточно выработано,—опять произнесъ Лобачевскій.

— Ну, а я на моемъ стою: некуда было идти силамъ, онѣ и пошли въ криворосъ. Вонъ за Питеромъ во всю ширь распахивается великое земское дѣло; оно прибрало къ себѣ Звягина, соберетъ къ себѣ и всѣхъ.

— Только ужъ не вашихъ петербургскихъ гражданъ.

— Граждане тоже люди русскіе,—перебилъ Розановъ:— еще посмотримъ, что̀ изъ нихъ будетъ, какъ они промежъ себя разбираться станутъ.

— Ню, а вашъ братъ непремѣнно очень, очень далеко пойдетъ,—радовала Евгенію Петровну на прощаньѣ Мерева.

— Онъ довольно способный мальчикъ,—равнодушно отвѣчала Вязмитинова.

— Этого мало, — съ удареніемъ и жестомъ произнесла Мерева: — но онъ очень, очень искательный молодой человѣкъ: очень искательный молодой человѣкъ, который не можетъ не пойти далеко.

Въ эту же пору, когда гости Вязмитинова пировали у него на именинахъ, въ пустынной улицѣ, на которой стоялъ *Домъ Согласія,* происходила сцена иного характера.

Въ *Домѣ* царствовала невозмутимая тишина, и въ тем-

ныхъ стеклахъ оконъ только игралъ блѣдный мѣсяцъ. Штатъ *Дома* былъ въ разстройствѣ. Прорвичъ уѣхалъ къ отцу; Бѣлоярцевъ хандрилъ и надумалъ проѣхаться съ Бертольди въ Москву, чтобы сообразить, не выгоднѣе ли тамошнія условія для перенесенія гуда *Дома Согласія.* Дома оставались только Каверина, Ступина и Ольга Александровна. Каверина, обвязанная платкомъ, валялась съ больными зубами по постели и перелистывала какую-то книгу, а Ступина, совсѣмъ одѣтая, спала у нея на диванѣ и сладко поводила во снѣ своими пунсовыми губками.

Ольги Александровны Розановой не было дома.

Часу въ одиннадцатомъ, въ концѣ пустой улицы, послышалось тихое дребезжаніе извозчичьихъ дрожекъ. Утлый экипажъ долго ползъ по немощеной улицѣ и, не доѣзжая нѣсколькихъ саженъ до дома, занятаго гражданами, остановился въ тѣни, падавшей отъ высокаго деревяннаго забора.

Съ дрожекъ легко спрыгнула довольно стройная женская фигура, закутанная въ широкій драповый бурнусъ и большой мериносовый платокъ.

— Подходи вотъ туда,—указала фигура на крайнія окна и, держась тѣневой полосы, скользнула въ незапертую калитку пустыннаго дома.

Черезъ нѣсколько минутъ рама въ одномъ изъ указанныхъ вошедшею въ домъ женщиною оконъ задрожала. Долго она не уступала усиліямъ слабой руки, но, наконецъ, открылась и хлопнула половинками по ломаннымъ откосамъ.

Въ то же мгновеніе въ раскрытомъ окнѣ показался большой узелъ въ бѣлой простынѣ и полетѣлъ внизъ. За этимъ узломъ послѣдовалъ точно такой же другой.

Прежде чѣмъ къ этимъ узламъ осторожно подскочилъ и взялъ ихъ оставшійся въ тѣни извозчикъ, въ другомъ концѣ дома торопливо распахнулись разомъ два другія темныя окна и въ каждомъ изъ нихъ показалось по женской головѣ.

Перепуганный извозчикъ, при этомъ новомъ явленіи, рѣшительно схватилъ оба узла и помчался съ ними, насколько ему позволяла ихъ тяжесть, къ стоявшимъ въ тѣни дрожкамъ.

— Воры! Воры!—закричали въ окнахъ Каверина и Ступина, не сводя глазъ съ убѣгавшихъ подъ заборомъ бѣлыхъ узловъ.

Въ это время на заднемъ ходѣ хлопнула сильно пущен-

ная дверь, что-то едва слышно скатилось по лѣстницѣ и изъ калитки опять выскочила знакомая намъ женская фигура.

— Воры! воры!—еще громче закричали обѣ женщины.

— Гдѣ, матушка?—вертя во всѣ стороны головой освѣдомлялся выбѣжавшій спросонья изъ передней Мартемьянъ Ивановъ.

Каверина вмѣсто отвѣта ткнула его въ окно и указала на узлы, отъѣзжавшіе на дрожкахъ вмѣстѣ съ вышедшею изъ калитки женщиною.

Мартемьянъ Ивановъ загромыхалъ по каменнымъ ступенямъ лѣстницы и, выправившись изъ калитки, побѣжалъ было по улицѣ вдогонку за похитителями, но на десятомъ шагу упалъ и, медленно поднявшись, началъ сидя переобуваться.

— Бѣги же, бѣги скорѣе!—кричали ему женщины.

Мартемьянъ Ивановъ только кряхтѣлъ и обувался.

— Что за увалень!—говорила, глядя на него съ отчаяніемъ, Каверина.

— Ды-ть, матушка, нѣшь онъ тому причиненъ?—ублажала ее появившаяся у нихъ за спинами Марѳа.—Онъ бы и всей своей радостной радостью радъ, да гдѣ-жъ ему догнать лошадь! Когда бы у него обувка, какъ у добрыхъ людей, ну еще бы, а то вѣдь у него сапожищи-то—демоны неспособные.

Мартемьянъ Ивановъ посидѣлъ среди улицы, вздѣлъ предательски свалившагося съ ноги неспособнаго демона и, разведя врозь руками, въ уныніи пошелъ назадъ, чтобы получить новыя инструкціи.

Тревога была напрасная: воровъ никакихъ не было. Ольга Александровна, не совладѣвъ съ собою и не найдя въ себѣ силы переговорить съ гражданами и обличить передъ ними свою несостоятельность къ продолженію гражданскаго образа жизни, просто-напросто рѣшилась убѣжать *къ мужу*, какъ другія убѣгаютъ *отъ мужа*.

— Водевиль! — говорила Ступина, ходя по опустѣвшей комнатѣ Ольги Александровны и держа въ рукахъ оставленную тою на столѣ лаконическую записку.

— А мы, матушка, съ Мартемьяномъ хотимъ завтра...— проговорила Марѳа.

— Что такое завтра?—спросила Каверина.

— Прочь отъ васъ.

— Вотъ вамъ и сюрпризъ!—отнеслась она къ Ступиной.

— Кажется, намъ всѣмъ уже пора отсюда убираться, — отвѣчала Ступина, давно желая вырваться изъ этой сладкой жизни.

Каверина ничего не отвѣтила: она думала то же самое, что̀ Ступина.

Розановъ возвратился домой отъ Вязмитиновыхъ весьма поздно. Проходя черезъ свою гостиную, онъ едва не упалъ, наткнувшись на большой узелъ, и въ то же время увидалъ, что съ стоящаго здѣсь мягкаго дивана поднялась и сѣла женская фигура въ спальномъ чепцѣ и бѣлой кофтѣ.

— Что это?—спросилъ изумленный Розановъ.

— То, что я не могу такъ оставить на вашихъ рукахъ моего ребенка,—отвѣчала фигура.

Розановъ узналъ голосъ жены.

— Что же вамъ, наконецъ, еще угодно?— спросилъ онъ спокойно.

Ольга Александровна задорно сапнула.

— Я знаю мои права, — произнесла она, поворачиваясь и толкая локтемъ уснувшую возлѣ нея дѣвочку.

— Ну-съ!

— Я... я должна обезпечить моего ребенка.

Дитя проснулось, сѣло и, ничего не понимая изъ происходящей вокругъ него сцены, терло глазки и клонилось къ оставленной подушкѣ.

— Я должна ее обезпечить,—еще смѣлѣе и громче произнесла Ольга Александровна.

Докторъ молча прошелъ въ свой кабинетъ и на утро распорядился только заставить шкапомъ однѣ двери, чтобы такимъ образомъ раздѣлить свою квартиру на двѣ какъ бы отдѣльныя половины.

Спустя мѣсяцъ послѣ только-что разсказанныхъ событій, далеко отъ Петербурга, по извилистой дорожкѣ, проложенной луговою поймою рѣки Саванки, передъ вечеромъ катились незатѣйливые бѣгунцы, на которыхъ сидѣлъ коренастый молодой купецъ въ сѣромъ люстриновомъ сюртукѣ и старомодномъ картузѣ съ длиннымъ прямымъ козырькомъ.

Послѣ страшно знойнаго дня, среди котораго подъ па-

лящими лучами солнца такъ и вспиралась, такъ кишмя и кишѣла въ высокой травѣ всяческая мелкая тварь Божія, вызванная изъ прогрѣтой и вспаренной почвы, — насталъ упоительный вечеръ. Готовая къ покосу трава тихо стояла окаменѣвшимъ зеленымъ моремъ; ея крошечные безпокойные жильцы спустились къ розовымъ корнямъ и пестрые ужи съ сѣрыми гадинами, зачуявъ вечернюю прохладу, ушли въ свои норы. Только высокія будылья чемерицы и коневьяго щавелю торчали надъ засыпающимъ зеленымъ моремъ, оставаясь наблюдать, какъ въ сонную траву налетятъ коростели и пойдутъ трещать про свои неугомонныя ночныя заботы.

Молодого человѣка, проѣзжающаго въ этотъ хорошій вечеръ по саванскому лугу, зовутъ Лукою Никоновичемъ Маслянниковымъ. Онъ сынъ того Никона Родіоновича Маслянникова, которымъ въ началѣ романа похвалялся мѣщанинъ, какъ сильнымъ человѣкомъ: захочетъ тебя въ острогъ посадить, — засадитъ; захочетъ въ полиціи розгами отодрать, — тоже отдеретъ въ лучшемъ видѣ.

Лукѣ Никоновичу перевалило уже за тридцать лѣтъ; входя въ постоянный возрастъ, онъ, по русскому обычаю, началъ вширь добрѣть и на его правильномъ молодомъ лицѣ постоянно блуждала тихая задумчивость и сосредоточенность. Велъ себя Лука Никоновичъ вообще не фертикомъ торговаго сословія, а человѣкомъ солиднымъ и дѣловымъ. Схоронивъ, три года тому назадъ, своего грознаго отца, онъ не расширялъ своей торговли, а купилъ болѣе двухъ тысячъ десятинъ земли у камергерши Меревой, взялъ въ долгосрочное арендное содержаніе три большія помѣщичьи имѣнія и всей душой пристрастился къ сельскому хозяйству. Лука Никоновичъ былъ женатъ, по приказанію родительскому, на богатой дѣвушкѣ, которой онъ не любилъ и съ которою въ жизни не нашелъ никакого утѣшенія; но сестру свою, Ульяну Никоновну, онъ выдалъ замужъ за мирового посредника Звягина, по взаимной склонности, и жилъ съ зятемъ въ большой дружбѣ, любилъ сестру, раздѣлился съ нею по-братски, крестилъ ея дѣтей и заботился поокруглить и расширить небольшой наслѣдственный зятнинъ участокъ.

— Ты послужи обществу, а это я за тебя устрою, — говорилъ онъ зятю.

У широкаго перелога Лука Никоновичъ взялъ налѣво и, проѣхавъ нѣсколько шаговъ, остановился.

Въ сторонѣ отъ дорожки, въ густой травѣ, сидѣла молодая женщина съ весьма красивымъ, открытымъ русскимъ лицомъ. Она закручивала стебельки цикорія и давала ихъ двухлѣтнему ребенку, котораго держала у себя на колѣняхъ. Возлѣ нея сидѣла дѣвочка лѣтъ восьми или девяти и лѣниво дергала за дышельце тростниковую дѣтскую телѣжку.

— Здравствуй, дворянка! — крикнулъ Лука Никоновичъ, осадивъ вожжами свою лошадь.

— Братъ, здравствуй! — радостно отвѣтила молодая женщина и, подойдя къ дрожкамъ, поцѣловала его въ губы.

— Что твой милый баринъ—дома?

— Дома; вчера пріѣхалъ и завтра опять собирается. Господи, что̀ это за служба такая: почти и не видимся.

— Лучше, не скоро другъ другу наскучите. — Садитеська, я довезу тебя.

Ульяна Никоновна прыгнула къ брату на бѣгунцы, взяла у дѣвочки ребенка, и они поѣхали.

— Нельзя, матушка: надо служить обществу,— говорилъ ей ѣдучи Лука Никоновичъ.—Отпираться отъ такой службы стыдъ зазритъ.

У подъѣзда низенькаго, крытаго соломой, дома ихъ встрѣтилъ молодой человѣкъ съ симпатичною наружностью.

— Здравствуйте, господинъ Звягинъ! — привѣтствовалъ его Лука Никоновичъ.

— Газетъ привезъ?

— Привезъ, братъ, тебѣ и газетъ, и новостей со всѣхъ волостей.

Хозяйка и гость сѣли у крылечка.

— Командирша наша тебѣ кланяется.

— Мерева пріѣхала?

— Пріѣхала, братъ.

— Всѣхъ тамъ видѣла? — съ легкой гримасой спросилъ Звягинъ.

— Всѣхъ: и князей, и королей, и министровъ: всѣхъ, говоритъ, видѣла. Году, говоритъ, не пройдетъ, крестьяне опять наши будутъ.

— Не будутъ ли еще ихъ брату денегъ раздавать за убытки?

— Нѣтъ, этого, должно, не надѣется; денегъ у меня опять

просила.—Ты, говоритъ, Лука Никоновичъ, мужикамъ даешь, а мнѣ дать не хочешь. — Мужики, говорю, ваше превосходительство, деньгу въ дѣло обращаютъ, а вамъ на что она?— Видишь, говоритъ, я внучку снаряжаю. — Ну, говорю, это, сударыня, кабы за ровню, точно что помочь надо; а такой, говорю, почтенный женихъ этакую невѣсту и безъ всего долженъ взять да на ручкахъ носить и пыль обдувать.

— Ужъ и правда!—вмѣшалась Ульяна Никоновна.

— И все тутъ?

— Къ Александру Тихонычу дочка вчерашняго числа пріѣхала изъ Петербурга. Съ мужемъ, говорятъ, совсѣмъ рѣшилась: проситъ отца въ монастырѣ келейку ей поставить и тамъ будетъ жить бѣлицей.

— Это та, что за докторомъ-то была?—спросила Ульяна Никоновна и, получивъ утвердительный отвѣтъ, добавила:— о, Господи! ужъ когда же это она у нихъ уходится?

— А вотъ теперь уходится. И мнѣ, братъ ты мой, радость. Представленіе мое разрѣшено: получилъ депешу, что представленіе головы разрѣшено во всѣхъ частяхъ.

— Теперь, значитъ, и пожарная команда, и ремесленная школка, и больница, все у тебя закипитъ.

— Закипитъ, братъ. Первое дѣло подберу сиротъ, да въ школу, чтобы не пропадали, а потомъ въ Москву.

— Чего это?

— Секретаря себѣ изъ студентовъ хочу взять въ думу. Пятьсотъ рублей своихъ дамъ, пятьсотъ соберу, да чтобы человѣкъ былъ. Возьми жалованье и живи честно.

— А надъ повымъ любишь еще подтрунивать.

— Да надъ чѣмъ новымъ! Вонъ Бахарева зять стальныхъ плуговъ навезъ мужикамъ,—извѣстно и надо смѣяться. А хорошаго, ученаго человѣка привезть, заплатить ему хорошо, да тогда и работу съ него спрашивать,—смѣху нѣтъ никакого.

— У меня тоже есть чѣмъ похвалиться: Боровковская волость составила приговоръ, чтобы больше уже не сѣчься.

— Ну, вотъ видишь! Я говорилъ, сами надумаются. Такъ-то, матушка-сестрица: вотъ и пойдетъ у насъ городъ городомъ. Чего добраго, нате вамъ, еще и театръ заведемъ. Знай нашихъ!

— Заведи, заведи, а наѣдетъ на тебя какой-нибудь пи-

сака, да такъ тебя отдѣлаетъ, что всѣ твои восторги разлетятся,—шутилъ Звягинъ.

— Ну, какъ же важное блюдо на лопатѣ твой писатель. Знаемъ мы ихъ—теплые тоже ребята; ругай другихъ больше, подумаютъ, самъ, молъ, должно, всѣхъ умнѣй. Нѣтъ, братъ, насъ съ дороги этими сочиненіями-то не сшибешь. Имъ тамъ сочиняй да сочиняй, а тутъ что устроилъ, такъ то и лучше того, чѣмъ не было ничего. Я, знаешь, урывалъ время, все читалъ, а нонче ничего не хочу читать,—осерчалъ.

— Сердитъ ужъ ты очень бываешь, Лука Никоновичъ?

— Я, братъ, точно, сердитъ. Сердитъ я разъ потому, что мнѣ дохнуть некогда, а людямъ все пустяки на умѣ; а то тоже я терпѣть не могу, какъ кто не дѣло говоритъ. Мутоврятъ народъ тотъ туда, тотъ сюда, а сами, ей право, великое слово тебѣ говорю, дороги никуда не знаютъ, безъ нашего брата не найдутъ ея никогда. Все будутъ кружиться и все сѣсть будетъ некуда.

Оглавленіе

XI ТОМА.

Некуда. Романъ въ трехъ книжкахъ.

Книга третья: **На Невскихъ берегахъ.**

		стр.
I.	Старые знакомые на новой почвѣ	5
II.	«Domus»	8
III.	Гражданская семья и генералъ безъ чина	20
IV.	Вопросы дня	30
V.	Дуэнья	35
VI.	Тополь да березка	37
VII.	Мірское и гражданское житье	42
VIII.	Первый блинъ	48
IX.	Девятый валъ	55
X.	Камрады	70
XI.	Совершенно независимая дама	74
XII	Анекдотъ	78
XIII.	Опыты и упражненія	86
XIV.	Начало конца	96
XV.	Механики	99
XVI.	Неожиданный оборотъ	106
XVII.	И сырыя дрова загораются	111
XVIII.	Землетрясеніе	120
XIX.	Въ Бѣловѣжѣ	126
XX.	Что предсказывали старый зубръ, филинъ и собака	134
XXI.	Баронъ и баронесса	141
XXII.	У редактора отсталаго журнала	149
XXIII.	Post scriptum	157
XXIV.	Смерть	162
XXV.	Новѣйшіе моды и фасоны	172

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. И. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1902.

Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

ОСТРОВИТЯНЕ.

ПОВѢСТЬ.

Овцы царя Авгіаса не вмѣстѣ, въ стадахъ раздѣленныхъ
Въ кругахъ разныхъ пасутся; однѣ по долинамъ—
Вдоль береговъ Элизента, другія у водъ освященныхъ
Старца-Алфея, иныя по злачнымъ Бупроза вершинамъ,
Прочія въ здѣшнихъ окрестностяхъ. Каждое стадо
Вечеромъ съ пастбищъ собрать намъ въ овчарни отдѣльныя надо.

Идиллія Ѳеокрита.

---

* * *

Очень давно когда-то всего на нѣсколько минутъ я встрѣтилъ одно весьма жалкое существо, которое потомъ безпрестанно мнѣ припоминалось въ теченіе всей моей жизни, и теперь, какъ живое, стоитъ передъ моими глазами: это была слабая, изнеможенная и посинѣвшая отъ мокроты и стужи дѣвочка на высокихъ ходуляхъ. Въ тотъ день, когда я увидѣлъ этого ребенка, въ Петербургѣ ждали наводненія; съ моря сердито свисталъ порывистый вѣтеръ и носилъ по улицамъ цѣлыя облака холодныхъ брызгъ, которыми раздобывался онъ гдѣ-то за угломъ каждаго дома, но гдѣ именно онъ собиралъ ихъ — надъ крышей, или за цоколемъ — это оставалось его секретомъ, потому что съ чернаго неба не падало ни одной капли дождя. Въ этотъ ненастный, холодный день она вошла на грязный, мощеный дворъ изъ-подъ черной арки воротъ, въ сопровожденіи еще болѣе ея изнеможеннаго итальянскаго жида, который находился съ нею въ товариществѣ по добыванію хлѣба, и въ сопровожденіи цѣлой толпы зѣвакъ, съ утра бродившихъ для наблюденія, какъ выступаютъ изъ береговъ Лиговка, Мойка и Фонтанка. Блѣдный, чахоточный жидъ, сгибаясь въ три погибели, несъ покрытую клеенчатымъ чехломъ шарманку; праздные люди гордо несли на своихъ лицахъ спокойную тупость безсмы-

слія. Дѣвочка на ходуляхъ была самымъ замѣчательнымъ лицомъ во всей этой компаніи и съ помощью своихъ ходуль возвышалась нагляднымъ образомъ надо всѣми. По силѣ производимаго ею впечатлѣнія, съ нею не могъ соперничать даже ея товарищъ, хотя это былъ экземпляръ, носившій, кромѣ шарманки, чахотку въ груди и слѣды всѣхъ страданій, которыми несчастнѣйшій изъ жидовъ участвуетъ съ банкиромъ Ротшильдомъ въ искупленіи грѣховъ падшаго племени Израиля. Во-первыхъ, дѣвочка была богиней: на ней былъ фантастическій нарядъ изъ перемятой кисеи и рыжаго плиса; все это было украшено гирляндами коленкоровыхъ цвѣтовъ, позументомъ и блестками; а на ея высокомъ, бѣломъ лбу лежала блестящая мѣдная діадема, придававшая что-то трагическое этому блѣдному профилю, напоминавшему длинный профиль Рашели, когда эта пламенная еврейка одѣвалась въ костюмъ Федры. Нѣтъ сомнѣнія, что вошедшая на ходуляхъ дѣвочка тоже должна была воплощать въ себѣ понятіе о какомъ-то трагическомъ величіи. Она вошла твердою и спокойною поступью, и когда сопровождавшій ее жидъ завертѣлъ свою шарманку, она запѣла:

Въ Нормандіи баронъ,
Большой любитель псовъ,
Жилъ съ деревенской простотою.

Въ ея голосѣ, которымъ она пропѣла эту рыцарскую пѣсню, было столько же скромной твердости, сколько въ ея тихомъ шествіи на ходуляхъ; но эта рыцарская пѣсня не нашла сочувствія ни въ комъ, кромѣ одной слабонервной дворняжки, начавшей подвывать пѣвицѣ самымъ раздирающимъ голосомъ и успокоившейся только послѣ пинка, отпущеннаго ей сострадательнымъ прохожимъ.

Несравненно болѣе общаго вниманія у зрителей дѣвочка встрѣтила тогда, когда она проплясала передъ ними на ходуляхъ какой-то импровизированный matelot. Я видѣлъ, какъ при самомъ началѣ этого танца всѣ самыя тупыя лица осклабились и праздныя руки безсмысленно зашевелились, а когда дѣвочка разошлась и запрыгала, каждую секунду рискуя поскользнуться и, въ самомъ счастливомъ случаѣ, только переломить себѣ ногу, публика даже начинала приходить въ восторгъ. Изъ всѣхъ людей, стоявшихъ на дворѣ, и изъ всѣхъ, глазѣвшихъ на эту пляску въ окна,

лишь одно мрачное лицо еврея упорно хранило свое угрюмое выраженіе, да еще было спокойно лицо самой танцорки. Черные глаза жида то обходили дозоромъ окна всѣхъ окружающихъ дворъ пяти этажей, то съ ненавистью и презрѣніемъ устремлялись на публику партера, вовсе и не помышлявшую достать изъ кармана мѣдный грошъ на хлѣбъ голодному искусству.

— Если бы она плясала въ длинномъ платьѣ, она бы, по крайней мѣрѣ, вымела бы мнѣ дворъ,—проговорилъ присутствовавшій въ партерѣ дворникъ.

Дворникъ сдѣлалъ именно такое заключеніе, какое онъ долженъ сдѣлать: «собакѣ снится хлѣбъ, а рыба—рыбаку». Естественнѣй этого ничего быть не можетъ.

По мановенію дворника, прежде всѣхъ и проворнѣе всѣхъ поспѣшила исчезнуть подъ аркою воротъ захожая публика, наслаждавшаяся par grace всѣми вокальными и хореграфическими талантами дѣвочки на ходуляхъ; за публикой, сердито ворочая большими черными глазами въ просторныхъ орбитахъ, потянулъ, изнемогая подъ своей шарманкой, чахоточный жидъ, которому дѣвочка только-что успѣла передать выкинутый ей за окно пятакъ, и затѣмъ уже сзади всѣхъ и спокойнѣе всѣхъ пошла сама дѣвочка на ходуляхъ. Она удалялась въ томъ же спокойномъ и гордомъ молчаніи, съ которымъ входила назадъ тому нѣсколько минутъ на этотъ дворъ, но изъ глазъ моихъ до сихъ поръ не скрывается ея блѣдный, спокойный лобъ, ея взоръ гордый и профиль Рашели, этой царственной жидовки, знавшей съ нею умершій секретъ трогать до глубины онѣмѣвшія для высокаго чувства сердца буржуазной Европы. Память моя въ своихъ глубочайшихъ нѣдрахъ сохранила дѣтскій обликъ ходульной плясуньи, и сердце мое и нынче рукоплещетъ ей, какъ рукоплескало въ тотъ ненастный день, когда она, серьезная и спокойная, не даря ни малѣйшаго вниманія ни глупымъ восторгамъ, ни дерзкимъ насмѣшкамъ, плясала на своихъ высокихъ ходуляхъ и ушла на нихъ съ гордымъ сознаніемъ, что не даровано помазанья свыше тѣмъ, кто не почувствовалъ драмы въ ея даровомъ представленіи.

Я никогда ни одного слова не разсказывалъ о томъ, какъ приходила эта дѣвочка и какъ она плясала на своихъ высокихъ ходуляхъ, ибо во мнѣ всегда было столько такта, чтобы понимать, что во всей этой исторіи ровно нѣтъ ни-

Овцы царя Авгіаса не вмѣстѣ, въ стадахъ раздѣленныхъ
Въ кругахъ разныхъ пасутся; однѣ по долинамъ—
Вдоль береговъ Элизента, другія у водъ освященныхъ
Старца-Алфея, иныя по злачнымъ Бупроза вершинамъ,
Прочія въ здѣшнихъ окрестностяхъ. Каждое стадо
Вечеромъ съ пастбищъ собрать намъ въ овчарни отдѣльныя надо.

Идиллія Ѳеокрита.

---

* * *

Очень давно когда-то всего на нѣсколько минутъ я встрѣтилъ одно весьма жалкое существо, которое потомъ безпрестанно мнѣ припоминалось въ теченіе всей моей жизни, и теперь, какъ живое, стоитъ передъ моими глазами: это была слабая, изнеможенная и посинѣвшая отъ мокроты и стужи дѣвочка на высокихъ ходуляхъ. Въ тотъ день, когда я увидѣлъ этого ребенка, въ Петербургѣ ждали наводненія; съ моря сердито свисталъ порывистый вѣтеръ и носилъ по улицамъ цѣлыя облака холодныхъ брызгъ, которыми раздобывался онъ гдѣ-то за угломъ каждаго дома, но гдѣ именно онъ собиралъ ихъ — надъ крышей, или за цоколемъ — это оставалось его секретомъ, потому что съ чернаго неба не падало ни одной капли дождя. Въ этотъ ненастный, холодный день она вошла на грязный, мощеный дворъ изъ-подъ черной арки воротъ, въ сопровожденіи еще болѣе ея изнеможеннаго итальянскаго жида, который находился съ нею въ товариществѣ по добыванію хлѣба, и въ сопровожденіи цѣлой толпы зѣвакъ, съ утра бродившихъ для наблюденія, какъ выступаютъ изъ береговъ Лиговка, Мойка и Фонтанка. Блѣдный, чахоточный жидъ, сгибаясь въ три погибели, несъ покрытую клеенчатымъ чехломъ шарманку; праздные люди гордо несли на своихъ лицахъ спокойную тупость безсмы-

слія. Дѣвочка на ходуляхъ была самымъ замѣчательнымъ лицомъ во всей этой компаніи и съ помощью своихъ ходуль возвышалась нагляднымъ образомъ надо всѣми. По силѣ производимаго ею впечатлѣнія, съ нею не могъ соперничать даже ея товарищъ, хотя это былъ экземпляръ, носившій, кромѣ шарманки, чахотку въ груди и слѣды всѣхъ страданій, которыми несчастнѣйшій изъ жидовъ участвуетъ съ банкиромъ Ротшильдомъ въ искупленіи грѣховъ падшаго племени Израиля. Во-первыхъ, дѣвочка была богиней: на ней былъ фантастическій нарядъ изъ перемятой кисеи и рыжаго плиса; все это было украшено гирляндами коленкоровыхъ цвѣтовъ, позументомъ и блестками; а на ея высокомъ, бѣломъ лбу лежала блестящая мѣдная діадема, придававшая что-то трагическое этому блѣдному профилю, напоминавшему длинный профиль Рашели, когда эта пламенная еврейка одѣвалась въ костюмъ Федры. Нѣтъ сомнѣнія, что вошедшая на ходуляхъ дѣвочка тоже должна была воплощать въ себѣ понятіе о какомъ-то трагическомъ величіи. Она вошла твердою и спокойною поступью, и когда сопровождавшій ее жидъ завертѣлъ свою шарманку, она запѣла:

Въ Нормандіи баронъ,
Большой любитель псовъ,
Жилъ съ деревенской простотою.

Въ ея голосѣ, которымъ она пропѣла эту рыцарскую пѣсню, было столько же скромной твердости, сколько въ ея тихомъ шествіи на ходуляхъ; но эта рыцарская пѣсня не нашла сочувствія ни въ комъ, кромѣ одной слабонервной дворняжки, начавшей подвывать пѣвицѣ самымъ раздирающимъ голосомъ и успокоившейся только послѣ пинка, отпущеннаго ей сострадательнымъ прохожимъ.

Несравненно болѣе общаго вниманія у зрителей дѣвочка встрѣтила тогда, когда она проплясала передъ ними на ходуляхъ какой-то импровизированный matelot. Я видѣлъ, какъ при самомъ началѣ этого танца всѣ самыя тупыя лица осклабились и праздныя руки безсмысленно зашевелились, а когда дѣвочка разошлась и запрыгала, каждую секунду рискуя поскользнуться и, въ самомъ счастливомъ случаѣ, только переломить себѣ ногу, публика даже начинала приходить въ восторгъ. Изъ всѣхъ людей, стоявшихъ на дворѣ, и изъ всѣхъ, глазѣвшихъ на эту пляску въ окна,

лишь одно мрачное лицо еврея упорно хранило свое угрюмое выраженіе, да еще было спокойно лицо самой танцорки. Черные глаза жида то обходили дозоромъ окна всѣхъ окружающихъ дворъ пяти этажей, то съ ненавистью и презрѣніемъ устремлялись на публику партера, вовсе и не помышлявшую достать изъ кармана мѣдный грошъ на хлѣбъ голодному искусству.

— Если бы она плясала въ длинномъ платьѣ, она бы, по крайней мѣрѣ, вымела бы мнѣ дворъ,—проговорилъ присутствовавшій въ партерѣ дворникъ.

Дворникъ сдѣлалъ именно такое заключеніе, какое онъ долженъ сдѣлать: «собакѣ снится хлѣбъ, а рыба—рыбаку». Естественнѣй этого ничего быть не можетъ.

По мановенію дворника, прежде всѣхъ и проворнѣе всѣхъ поспѣшила исчезнуть подъ аркою воротъ захожая публика, наслаждавшаяся par grace всѣми вокальными и хореграфическими талантами дѣвочки на ходуляхъ; за публикой, сердито ворочая большими черными глазами въ просторныхъ орбитахъ, потянулъ, изнемогая подъ своей шарманкой, чахоточный жидъ, которому дѣвочка только-что успѣла передать выкинутый ей за окно пятакъ, и затѣмъ уже сзади всѣхъ и спокойнѣе всѣхъ пошла сама дѣвочка на ходуляхъ. Она удалялась въ томъ же спокойномъ и гордомъ молчаніи, съ которымъ входила назадъ тому нѣсколько минутъ на этотъ дворъ, но изъ глазъ моихъ до сихъ поръ не скрывается ея блѣдный, спокойный лобъ, ея взоръ гордый и профиль Рашели, этой царственной жидовки, знавшей съ нею умершій секретъ трогать до глубины онѣмѣвшія для высокаго чувства сердца буржуазной Европы. Память моя въ своихъ глубочайшихъ нѣдрахъ сохранила дѣтскій обликъ ходульной плясуньи, и сердце мое и нынче рукоплещетъ ей, какъ рукоплескало въ тотъ ненастный день, когда она, серьезная и спокойная, не даря ни малѣйшаго вниманія ни глупымъ восторгамъ, ни дерзкимъ насмѣшкамъ, плясала на своихъ высокихъ ходуляхъ и ушла на нихъ съ гордымъ сознаніемъ, что не даровано помазанья свыше тѣмъ, кто не почувствовалъ драмы въ ея даровомъ представленіи.

Я никогда ни одного слова не разсказывалъ о томъ, какъ приходила эта дѣвочка и какъ она плясала на своихъ высокихъ ходуляхъ, ибо во мнѣ всегда было столько такта, чтобы понимать, что во всей этой исторіи ровно нѣтъ ни-

какой исторіи. Но у меня есть другая исторія, которую я вознамѣрился разсказать вамъ, и эта-то исторія такова, что когда я о ней думаю, или, лучше сказать, когда я начиналъ думать объ одномъ лицѣ, замѣшанномъ въ эту исторію и играющемъ въ ней столь важную роль, что безъ него не было бы и самой исторіи, я каждый разъ совершенно невольно вспоминаю мою дѣвочку на ходуляхъ. И такъ какъ онѣ не разлучались въ головѣ моей и глядѣли на меня обѣ, когда я думалъ только объ одной изъ нихъ, то я не хочу разлучать ихъ передъ твоими глазами, читатель. Тебѣ было бъ жалко, какъ онѣ заплакали бы, заплакали бы, разлучаясь, эти милыя дѣти.

Я лучше желаю, чтобы въ твоемъ воображеніи въ эту минуту пронеслось блѣдное, спокойное личико полуребенка въ парчевыхъ лохмотьяхъ и приготовило тебя къ встрѣчѣ съ другимъ существомъ, которое въ нашъ вѣкъ, шагающій такой практической походкой, вошло въ жизнь, не трубя передъ собою, но на очень странныхъ ходуляхъ, и на нихъ же и ушло съ гордымъ спокойствіемъ въ темную, неизвѣстную даль.

Маничка Норкъ! гдѣ бы ни была ты теперь, восхитительное дитя Васильевскаго Острова, по какой бы далекой землѣ ни ступали нынче твои маленькія, слабыя ножки, какое бы солнце ни грѣло твое хрустальное тѣло—всюду я шлю тебѣ мой душевный привѣтъ и мой поклонъ до земли. Всюду я шлю тебѣ, незлобный земной ангелъ, мою просьбу покорную, да простишь ты мнѣ, что я рѣшаюсь разсказать людямъ твою сердечную повѣсть. Протяни мнѣ твои маленькія, прозрачныя ручки; дохни на эти строки твоимъ чистымъ дыханіемъ и поклонись изъ нихъ своей граціозной головкой всему широкому міру Божьему, куда случай занесетъ неискусный разсказъ мой про твою заснувшую весну, про твою любовь до слезъ, про твои горячіе, пламенные восторги! И чувствуетъ сердце мое, что дошла до тебя моя просьба; я слышу откуда-то, изъ какого-то суроваго далека твой благословляющій голосъ, вижу твою милую головку, поэтическую головку Титаніи, мелькающую въ тѣни темныхъ деревьевъ стараго, сказочнаго лѣса Оберона, и начинаю свой разсказъ о тебѣ, приснопамятный другъ мой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Я обязанъ представить вамъ героиню моей повѣсти и нѣкоторыхъ лицъ ея семейства. Маничка Норкъ была петербургская, васильеостровская нѣмка. Ея мать, Софья Карловна Норкъ, тоже была нѣмка русская, а не привозная; да и не только Софья Карловна, а даже и ея-то матушка, Мальвина Ѳедоровна, которую лѣтъ пятнадцать уже перекатываютъ по комнатамъ на особо устроенномъ креслѣ на высокихъ колесцахъ, такъ и она и родилась, и прожила весь свой вѣкъ на Островѣ. Отца своего Маничка Норкъ не помнила, потому что осталась послѣ него груднымъ ребенкомъ: онъ умеръ, когда еще старшей Маниной сестрѣ, Бертѣ Ивановнѣ, шелъ всего только шестой годъ отъ роду. Софья Карловна Норкъ овдовѣла въ самыхъ молодыхъ годахъ и осталась послѣ мужа съ тремя дочерьми: Бертой, Идой и Марьей или Маней, о которой будетъ идти начинающійся разсказъ. Мужъ Софьи Карловны, Іоганъ-Христіанъ Норкъ былъ по ремеслу токарь, а по происхожденію петербургскій нѣмецъ. Онъ былъ человѣкъ пунктуально вѣрный, неутомимо трудолюбивый и безукоризненно честный. Работая всѣми этими качествами, Іоганъ-Христіанъ Норкъ за сорокъ лѣтъ неусыпнаго труда успѣлъ сгоношить себѣ кое-какую копейку и, отходя къ предкамъ, оставилъ своей вѣрной подругѣ, Софіи Норкъ, кромѣ трехъ дочерей и старой бабушки, еще три тысячи рублей серебромъ государственными кредитными билетами и новенькое токарное заведеніе. Софія Норкъ, схоронивъ мужа, не опустила ни головы, ни рукъ. Оплакавъ свою потерю, она стала думать, какъ ей прожить съ дѣтьми своей головою. Софья Карловна была въ состояніи это обдумать, потому что у нея отъ природы былъ ясный практическій смыслъ, и она знала свое маленькое дѣло еще при мужѣ. Еще и ему она была серьезною помощницею. Не говоря о томъ, что она была хорошей женою, хозяйкою и матерью, она умѣла и продавать въ магазинѣ разныя издѣлія токарнаго производства; понимала толкъ въ работѣ настолько, что могла принимать всякіе, относящіеся до токарнаго дѣла заказы, и, мало этого, на окнѣ ихъ магазина на большомъ, бѣломъ листѣ шляпнаго картона было крупными, четкими буквами написано, на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ: *здѣсь починяютъ, чи-*

стятъ, а также и вновь обтягиваютъ матеріей всякіе, дождевые и лѣтніе зонтики. Это было уже собственное производство Софьи Карловны, которымъ она занималась не по нуждѣ какой крайней, а единственно по страстной любви своей къ труду и изъ желанія собственноручно положить хоть какую-нибудь, хоть маленькую, хоть крохотную лепту въ свою семейную корвану. Результаты, однако, скоро показали, что лепта, добываемая Софьею Карловною черезъ обтягиваніе матеріей всякихъ дождевыхъ и лѣтнихъ зонтиковъ, совсѣмъ и не была даже такою ничтожною лептою, чтобы ея не было замѣтно въ домашней корванѣ; а главное-то дѣло, что лепта эта, какъ грошъ евангельской вдовицы, клалась весело и усердно, и не только радовала Іогана-Христіана Норка при его счастливой жизни, но даже помогла ему и умереть спокойно, съ упованьемъ на Бога и съ надеждой на Софью Карловну.

— Софья!—говорилъ онъ, мучительно борясь со смертью:— дѣти... я на тебя... на тебя надѣюсь...

— О, мой Іоганусъ!—отвѣчала, рыдая, Софья Карловна.

— Маньхенъ, — продолжалъ хрипя умирающій: — береги ее... мою горсточку... мою маленькую...

— О, всѣхъ! всѣхъ, мой Іоганусъ! — отвѣчала опять Софья Карловна, и васильеостровскій нѣмецъ Іоганъ-Христіанъ Норкъ такъ спокойно глядѣлъ въ раскрывавшіяся передъ нимъ темныя врата сѣни смертной, что если бы вы видѣли его тихо меркнувшія очи и его посинѣвшую руку, крѣпко сжимавшую руку Софьи Карловны, то очень можетъ быть, что вы и сами пожелали бы предъ вашимъ походомъ въ вѣчность услыхать не вопль, не вой, не стоны, не многословныя увѣренія за тѣхъ, кого вы любили, а только одно это слово; одно ваше имя, произнесенное такъ, какъ произнесла имя своего мужа Софья Карловна Норкъ въ отвѣтъ на его просьбу о дѣтяхъ.

Но дороже всего не то, что Софья Карловна умѣла хорошо сказать это слово; это, конечно, важно было только для умиравшаго, а для оставшихся жить всего важнѣе было, что всю музыку этого слова она выдержала.

Токарное производство мужа послѣ его смерти у Софьи Карловны не прекратилось и шло точно такъ же, какъ и при покойникѣ, а на другомъ окнѣ магазина, въ pendant къ вывѣскѣ о зонтикахъ, выступила другая, объявлявшая,

что *здѣсь чистятъ и передѣлываютъ соломенныя шляпы, а также берутъ въ починку резиновыя калоши и клеятъ разбитое стекло.* Прошелъ годъ, два, пять лѣтъ, вывѣски эти неизмѣнно оставались на своихъ мѣстахъ; Софья Карловна неизмѣнно содержала то же самое заведеніе и исправно платила деньги за ту же самую квартиру на Большомъ проспектѣ. Въ это время дѣти подросли, бабушка совсѣмъ выжила изъ вѣка, хотя, впрочемъ, все-таки попрежнему ѣздила на своемъ колесномъ креслѣ, а Софья Карловна все трудилась, трудилась безъ отдыха, безъ сторонней помощи и вся жила въ своихъ дѣтяхъ. Берта и Ида ходили въ нѣмецкую школу и утѣшали мать прекрасными успѣхами; любимица покойника, Маньхенъ, его крохотная «горсточка», какъ называлъ онъ этого ребенка, бѣгала и шумѣла, то съ сафьяннымъ мячикомъ, то съ деревяннымъ обручемъ, который гоняла по всѣмъ комнатамъ и магазину.

«О, мой Іоганусъ!» — думала Софья Карловна, вздыхая и уныло глядя на рѣзвившагося ребенка.

— О, мой милый Іоганусъ! — говорила она вслухъ, ловя убѣгавшую Маньхенъ и прижимая дѣвочку къ своему увядшему плечу, откуда трудовой потъ давно вытравилъ поцѣлуи истлѣвшаго Іогануса, но съ которыми, можетъ-быть, не хотѣла разставаться упрямая память.

Такъ опять шли годы. Состояніе Норкъ, благодаря неусыпнымъ трудамъ матери, не разстраивалось; фрейлейнъ Берта «отучилась» въ школѣ и прямо съ скамьи сдѣлалась невѣстой нѣкоего Фридриха Шульца, очень хорошаго молодого человѣка, служившаго въ одной коммерческой конторѣ и получавшаго большое содержаніе. Приданымъ за Бертой Ивановной пошли: во-первыхъ, ея писаная красота и молодость, а во-вторыхъ, доброе имя ея матери, судя по которой практичный Фридрихъ Шульцъ ждалъ найти доброе яблочко съ добраго дерева. Берта его не обманула. Вторая дѣвица Норкъ, Ида Ивановна, только-что доучилась; а одиннадцатилѣтнюю Маничку только отвели въ школу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Въ народныхъ сказкахъ нашихъ часто сказывается, что изъ трехъ дѣтей, рожденныхъ отъ однихъ и тѣхъ же роди-

телей, третій, самый младшій, задается либо всѣхъ умнѣе, либо всѣхъ сильнѣе, либо всѣхъ счастливѣе и удачливѣй. Ходя по русской землѣ, зашла эта сказка и въ семью покойнаго русскаго нѣмца Іогана Норка. Маня была дитя совершенно, что говорятъ, «особенное», какое-то совсѣмъ необыкновенное. Умна и пытлива она была необычайно; добротѣ и чистосердечію ея не было мѣры и предѣловъ: никто въ цѣломъ домѣ не могъ припомнить ни одного случая, чтобы Маничка когда-нибудь на кого-нибудь разсердилась, или кого-нибудь чѣмъ-нибудь обидѣла. Всѣ, знавшіе этого ребенка, удивлялись на него и со страхомъ говорили: охъ, она не будетъ жить на свѣтѣ!

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ,—настаивала старая русская кухарка Норковъ:—что наша барышня, Марья Ивановна, не жилецъ на этомъ свѣтѣ, такъ я за это голову свою дамъ на отсѣченье, что она не жилецъ.

Кухаркѣ головы не отрубили, и Маша росла на общую семейную радость и утѣшеніе.

Для матери и разсыпавшейся пепломъ бабушки этотъ ребенокъ былъ идоломъ; сестры въ ней не слыхали души; слуги любили ее до безумія; а старый подмастерье Норка, суровый Германъ Верманъ, даже часто отказывалъ себѣ въ пятой гальбѣ пива единственно для того только, чтобы принести завтра фрейлейнъ Марьѣ хоть апельсинъ, хоть два пирожныхъ, хоть, наконецъ, пару яблокъ. Однимъ словомъ, Маня была домашній идолъ въ полномъ значеніи этого слова. Одно только въ ней сызрана начало тревожить ея мать и бабушку — это какой-то странный, необъяснимый для нихъ переломъ въ ея характерѣ, подготовленный, конечно, ея слишкомъ раннимъ развитіемъ и совершившійся на девятомъ году ея дѣтской жизни. Переломъ этотъ выразился тѣмъ, что неудержимая рѣзвость и безпечная веселость Мани вдругъ оставили ее, словно отлетѣли: легла спать вечеромъ одна дѣвушка, встала другая. Думали, что она больна, попробовали полѣчить — ничто не помогло; добивались у нея, не видала ли она чего-нибудь необыкновеннаго во снѣ — это стало сильно досаждать дѣвочкѣ, она разстроилась и заплакала. Ее оставили въ покоѣ, думая, что это она такъ загрустила и что это непремѣнно пройдетъ. Опять ошиблись: ни игры, ни шалости больше не манили къ себѣ Маню — возвратить ее къ нимъ не было

никакой возможности. Маня, которую, щадя ея слабое здоровье, долго не сажали за книжку, вдругъ выучилась читать по-нѣмецки необыкновенно быстро; по-русски она стала читать самоучкой безъ всякаго указанія. Съ этихъ поръ ее нельзя было разлучить съ книгою. Ручнымъ работамъ она училась усердно и понятливо, но обыкновенно спѣшно, торопливо кончала свой урокъ у старой бабушки, или у старшей сестры и сейчасъ же бѣжала къ книгѣ, забивалась съ нею въ уголъ и зачитывалась до того, что не могла давать никакого отвѣта на самые простые, обыденные вопросы домашнихъ. Ни веселаго хохота, ни дѣтскихъ игръ не знала съ этихъ поръ Маня; всѣ тѣ, небольшія конечно, удовольствія, которыя доставляла ей мать, она принимала съ благодарностію, но они ее вовсе не занимали. Чтеніе развивало въ ней страшную впечатлительность, которая обратила на себя серьезное вниманіе родныхъ только послѣ слѣдующаго случая. Взяла ее замужняя сестра одинъ разъ въ театръ на *Уголино,* и сама была не рада съ нею, ни спектаклю, ни жизни. Маня разрыдалась въ ложѣ и послѣ того шесть недѣль вылежала въ нервной лихорадкѣ. Каждую почти ночь во время болѣзни она срывалась съ кроватки, плакала и кричала:

— Съѣшьте меня! Меня, меня съѣшьте скорѣй!

Впечатлительности дѣвочки стали бояться серьезно. Ее старались удалять отъ всего, что̀ могло, по соображенію родныхъ, сильно вліять на ея душу: отнимали у нея книги, она безропотно отдавала ихъ и, садясь, молчала по цѣлымъ днямъ, лишь машинально исполняя что̀ ей скажутъ, но попрежнему часто невпопадъ отвѣчая на то, о чемъ ее спросятъ. Родные теряли голову съ этой воспріимчивостью Маши. Какъ тщательно они ни берегли ее, но невозможно же все-таки было удалить ее отъ всего, что̀ различными путями добивалось въ ея душу, съ чѣмъ говорило ея чуткое сердечко. Оно говорило съ визгливою пѣснью русской кухарки; съ косящимся на солнце ощипаннымъ орломъ, котораго напоказъ зѣвакамъ таскалъ лѣтомъ по Острову ощипанный и полуголодный мальчикъ; говорило оно и съ умными глазами остриженнаго пуделя, танцующаго въ красномъ фракѣ, подъ звуки разбитой шарманки—со всѣми и со всѣмъ умѣло говорить это маленькое, чуткое сердечко, и унять его говорливость, научить его молчанію не смогъ

даже самъ пасторъ Абель, который, по просьбѣ Софьи Карловны Норкъ, со всѣхъ рѣшительно сторонъ, глубокомысленно обсудилъ душевную болѣзнь Мани и снабдилъ ее книгами особеннаго выбора.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Мое знакомство съ семействомъ Норкъ началось въ гораздо позднѣйшую эпоху, чѣмъ Манино дѣтство, и началось это знакомство довольно оригинальнымъ образомъ, и притомъ непосредственно черезъ Маню.

Дѣло это-таки, впрочемъ, ужъ было давненько. Жилъ я тогда на Васильевскомъ Островѣ, неподалеку отъ извѣстной нѣмецкой школы. Одинъ разъ лѣтомъ возвращался я откуда-то изъ-за Невы; погода была ясная и жаркая; но вдругъ съ Ладоги дохнулъ вѣтеръ; въ воздухѣ затряслось, зашумѣло; небо нахмурилось, волны на Невѣ сразу метнулись, какъ бѣшеныя; набѣжалъ настоящій шквалъ, и яликъ, на которомъ я переправлялся къ Румянцевской площади, зашвыряло такъ, что я едва держался, а у гребца то одно, то другое весло, не попадая въ воду и сухо вертясь въ уключинахъ, звонко ударялось по бортамъ. Кое-какъ я перебрался на свой Островъ, и чуть только ступилъ на берегъ, какъ хлынулъ азартнѣйшій холодный ливень; вѣтеръ неистово засвисталъ и понесся вдоль линій; крупныя капли били какъ градины: душъ былъ необыкновенный. Я бросился бѣжать, какъ поспѣвали ноги, словно ребенокъ, преслѣдуемый страшными привидѣніями, и, влетѣвъ на свой подъѣздъ, совсѣмъ было-сбилъ съ ногъ спрятавшихся здѣсь отъ дождя двухъ молоденькихъ дѣвочекъ. Обѣ онѣ были мокрехоньки и робко жались у стѣнки. На обѣихъ на нихъ были коричневыя, люстриновыя платьица и черные передничкн съ лифами и гофрированными черными же обшивками. Поверхъ платьица на одной изъ дѣвочекъ, черномазенькой и востролиценькой брюнеточкѣ, была надѣта пестрая шерстяная тальмочка, а на другой, которую я не успѣлъ разглядѣть сначала, длинная черная тальма изъ легкаго дамскаго полусукна. На головѣ первой дѣвочки была швейцарская соломенная шляпа съ хорошенькими цвѣтами и широкой коричневой лентой, а на второй почти такая же шляпа изъ сѣраго кастора, съ одною черною бархаткой по тульѣ и безъ всякой другой отдѣлки. У обѣ-

ихъ на рукахъ висѣли зеленые шерстяные мѣшечки, въ которыхъ, сквозь взмокшую матерію, ясно обрисовывались корешки книгъ и пеналы.

— Бѣдныя двѣ дѣвочки, какъ тутъ пріютились у насъ на подъѣздѣ! — сказалъ я, представляясь въ видѣ Язона мутнымъ очамъ добродѣтельнѣйшей въ мірѣ чухонки Эрнестины Крестьяновны, исправлявшей въ моей одинокой квартирѣ должность кухарки и камердинера и называвшей, въ силу многосложности лежавшихъ на ней обязанностей, свое единственное лицо собирательнымъ именемъ: *прислуги.*

— О, мейнъ Готъ! дасъ истъ шреклихъ!—заговорила моя «прислуга».

— Да, говорю, позвать бы ихъ къ намъ, Эрнестина Крестьяновна, чтобъ не простудились онѣ тамъ, стоючи мокрыя на сквозномъ вѣтру.

— O ja, ja! Gott bewahr,—залепетала «прислуга» и побѣжала на лѣстницу.

— Ну, сто?—начала она, появляясь черезъ минуту назадъ съ растопыренными руками и съ неописаннымъ смущеніемъ на лицѣ: — одинъ какъ совсѣмъ коцитъ, а другой совсѣмъ не коцитъ; ну, и сто я здѣляйть?

Я вышелъ на подъѣздъ самъ. Дѣвочки попрежнему жались у стѣнки; черненькая нѣсколько выдавалась впередъ, а другая совсѣмъ западала за ея плечико.

— Войдите, сдѣлайте милость, къ намъ, пока перейдетъ дождикъ, — сказалъ я, обращаясь къ обѣимъ дѣтямъ безразлично.

Черненькая взглянула на меня быстро, но ничего не отвѣтила, а по глазамъ ея видно было, что ей тутъ очень неловко и что она рѣшительно не прочь бы зайти и пообогрѣться въ комнатѣ.

— Пожалуйста, зайдите!—повторилъ я, и въ эту минуту замѣтилъ изъ-подъ локтя передней дѣвочки крошечную ручонку, которая безпрестанно теребила и трясла этотъ локотокъ сосѣдки изо всей своей силы.

— Мы вамъ ничего худого не сдѣлаемъ; намъ только жаль, что вы здѣсь стоите,—обратился я къ черненькой и снова замѣтилъ, что ручонка ея сосѣдки подъ ея локоткомъ задергала съ удвоеннымъ усердіемъ.

— Она не хочетъ, а я безъ нея не могу, — отвѣчала, краснѣя и застѣнчиво улыбаясь, черненькая дѣвочка, и чуть

только она произнесла эти слова, какъ безпокойная ручка, назойливо теребившая ея локотокъ, отпала и юркнула подъ мокрую черную тальму.

— Какъ вамъ не стыдно бояться!

— Я ничего не боюсь, — чуть слышно прошептала задняя дѣвочка и въ ту же секунду тронулась съ мѣста; черненькая тоже пошла съ нею, и обѣ рядышкомъ онѣ вступили въ мои аппартаменты, которые, впрочемъ, выглядывали очень уютно и даже комфортно, особенно со входа съ непогожаго надворья. Впрочемъ, теперешній видъ моего жилья очень много выигрывалъ оттого, что предупредительная Эрнестина Крестьяновна въ одну минуту развела въ каминѣ самый яркій, трескучій огонекъ.

Завидя въ передней гостей, «прислуга» моя выбѣжала уточкой и начала около нихъ кататься, стаскивая съ нихъ мокрыя тальмы и шляпы, встряхивая ихъ юбочки и обтирая ихъ козловые сапожки.

Черезъ минуту гостьи, держась рука за руку, робко вступили въ мою зальцу и, пройдя три шага отъ двери, тотчасъ сдѣлали мнѣ самый милый книксенъ.

— Пожалуйте сюда къ камину, — попросилъ я ихъ въ кабинетъ.

Дѣвочки двинулись впередъ, снова держась рука за руку, и, оглянувшись по новой комнатѣ, обѣ стали у огня.

— Садитесь, — попросилъ я ихъ, пододвигая имъ два кресла.

Дѣвочки вмѣстѣ поклонились, очень оригинально усѣлись вдвоемъ на одномъ креслѣ, расправили юбочки и сушили ножки.

— А я сицасъ будить горяцій кофе давай, — радостно объявила Эрнестина Крестьяновна и уплыла въ кухню.

Я сталъ себѣ свертывать папироску и молча разсматривалъ моихъ гостей. Обѣ онѣ были не дѣвочки и не дѣвушки, а среднее между тѣмъ и другимъ, какъ говорятъ— *подросточки*. Черненькой, на видъ, было лѣтъ пятнадцать, и правильныя, тонкія черты ея лица обѣщали изъ нея современемъ что-то очень красивое; но это должно было случиться, когда линіи лица протянутся до назначенныхъ имъ точекъ и живыя краски юности расцвѣтятъ дѣтскую смуглость нѣжной, тонкой кожи. Другая, которая, стоя въ коридорѣ, все западала за свою подругу, была совсѣмъ въ

иномъ родѣ: по росту и сложенію ей можно было дать лѣтъ тринадцать, а по лбу и бровямъ гораздо болѣе, чѣмъ ея подругѣ. Эта дѣвочка была некрасивая и никогда не обѣщавшая быть красавицей, но вся она была какое-то счастливѣйшее сочетаніе ума, граціи и прелести. Фигурка ея была необыкновенно стройная, такая «миньонная», волосы тонкіе, легкіе, свѣтло-пепельнаго цвѣта; носикъ строгій, губки довольно полныя; правильно оканчивающійся подбородокъ и удивительной тонкости и бѣлизны шейка, напоминающая красивую и гибкую шейку цецарки. Но всего замѣчательнѣй въ этомъ лицѣ были глаза, эти окна души, какъ ихъ называли поэты — окна, въ которыя внутренній человѣкъ смотритъ на свѣтъ изъ своего футляра. Большіе бирюзовые глаза эти были непремѣнно очень близоруки. Это заключеніе возникало у меня вслѣдствіе того, что дѣвочка при каждомъ, относящемся къ ней вопросѣ, поворачивалась къ говорящему всѣмъ тѣломъ, выдвигала нѣсколько впередъ головку и мило щурила свои глазки, чтобы лучше разглядѣть того, кто говорилъ съ нею. Ничего въ мірѣ нѣтъ мудренѣе и неразгаданнѣе такихъ близорукихъ глазъ. Можно подумать, что они долго глядятъ не видя ничего, кромѣ свѣта, и вдругъ сосредоточатся на чемъ-нибудь одномъ, взглянутъ глубоко и тотчасъ же спрячутся за свои таинственныя рѣсницы, точно робкія серны, убѣгающія за нагорныя сосны.

Замѣчаютъ, что большинство близорукихъ людей бываютъ очень мечтательны и что у нихъ весьма часто бываетъ сильно развита фантазія. Можетъ-быть, въ этомъ замѣчаніи есть своя доля правды.

Въ то время, когда я, разсматривая моихъ гостей, предавался всѣмъ этимъ соображеніямъ, «прислуга» вошла и поставила на столъ подносъ съ тремя чашками горячаго кофе.

— Фрейлинъ, битте зеръ тринкенъ зей шнеллеръ кафе,— пригласила Эрнестина Крестьяновна.

Черненькая дѣвочка толкнула слегка локоткомъ пепельную блондинку, и обѣ ни съ мѣста.

Я всталъ и подалъ имъ кофе.

— Ахъ, поставьте, мы возьмемъ сами, — отвѣчала, конфузясь, брюнетка.

Она встала, отряхнула начинавшія высыхать юбочки и, подойдя къ столу, кликнула:

— Маньхенъ!

— Мм!—отозвалась Маньхенъ и, полуоборотясь, прищурила глазки.

— Бери же! — произнесла, продолжая безпрестанно мѣняться въ лицѣ, чернушка.

Маня еще прищурилась, пока разсмотрѣла стоящій на столѣ кофе, и торопливо отвѣчала по-нѣмецки:

— Ich danke sehr, Klara; ich will nicht.

— Отчего же вы не хотите согрѣться?—спросилъ я какъ сумѣлъ ласковѣе.

— Благодарю васъ, — отвѣчала чистымъ русскимъ языкомъ Маня.

— Вы церемонитесь?

— Нѣтъ... я... не озябла.

— Чашка кофе все-таки вамъ не повредитъ.

Маня опять прищурила глазки, встала, и, слегка покачиваясь на своихъ ножкахъ, подошла къ столику.

Теперь я разсмотрѣлъ, что платья обѣихъ дѣвушекъ были не совсѣмъ коротенькія, но на подъемѣ такъ, что всѣ ихъ полусапожки и даже съ полвершка бѣленькихъ чулочекъ были открыты. Дождь на дворѣ не прекращался; вѣтеръ сердито рвалъ въ каминной трубѣ и ударялъ въ окна цѣлыми потоками крупнаго ливня; а вдалекѣ гдѣ-то грянулъ громъ и раскатился по небу.

— Громъ!—проговорила Маня.

— Да, а вы боитесь грома?

— Я? — да, я боюсь грома; а моя мама... Ида... Онѣ знаютъ, что я боюсь.

— Хотите, мы пошлемъ сказать, чтобы о васъ не безпокоились? Далеко вы живете?

— Вотъ тутъ, всего черезъ двѣ линіи; тутъ магазинъ нашъ, магазинъ Норкъ.

Я отвѣчалъ, что знаю, гдѣ ихъ магазинъ.

— Но посылать, пожалуйста, не надо.

— Нѣтъ, нѣтъ, не надо, какъ можно! — заговорила она, увидя, что я хотѣлъ повернуться къ кухнѣ.

— Нѣтъ, прошу васъ, пожалуйста, не посылайте бѣдную старушку.

Я вызвался сходить самъ.

— Ахъ, нѣтъ, пожалуйста, не надо!

— Но ваши будутъ безпокоиться.

— Нѣтъ, пожалуйста... Они догадаются, что мы съ Кларинькой куда-нибудь зашли. Теперь я вспомнила, что они подумаютъ, что мы ждемъ въ школѣ.

Сколько я ни старался уговаривать Маньхенъ, она ни за что не соглашалась ни пустить меня по дождю, ни послать «бѣдную старушку».

А погода, дѣйствительно, разыгралась во всю свою финскую мочь; все небо заволокло черною, свинцовою тучею; удары грома катились быстрѣе и непосредственнѣе вслѣдъ за скользившими зигзагами молніи.

— Маня, сколько здѣсь книгъ!—сказала изъ угла, стоя у моего книжнаго шкапа, Кларинька.

Маня сощурила глазки и, держа въ зубкахъ отломленный кусочекъ сухарика, наклонила головку впередъ по голосу Клары.

— Гдѣ? — спросила она, очень внимательно и необыкновенно тихо.

— Вотъ цѣлый шкапъ.

Маня такъ и пошла къ шкапу съ чашкою въ рукахъ и кусочкомъ сухарика между зубками.

— Вы любите книги? — спросилъ я, подходя вслѣдъ за нею къ шкапу.

— Да, я люблю,—уронила она едва слышно.

— Сколько ихъ тутъ!—удивлялась Клара.

Маня воззрилась въ корешки книгъ, какъ газель въ лѣсную чащу; сухарикъ такъ попрежнему оставался неразгрызенный въ ея губкахъ.

— Вы много читаете?—спросилъ я Клару.

— Я? Нѣтъ; я такъ читаю... когда захочется; а она всегда читаетъ.

— Маньхенъ! —добавила она: —посмотри, цѣлый Пушкинъ.

Маня передвинулась молча и опять стала глядѣть въ переплеты; я не сводилъ глазъ съ ея живыхъ, то щурившихся, то широко раскрывавшихся глазъ и блѣднаго, прозрачнаго личика.

Она читала названья книгъ съ такою жадностію, какъ будто кушала какой-нибудь сладкій запрещенный плодъ, и читала не одними глазами, а всѣмъ своимъ существомъ. Это видно было по ея окаменѣвшимъ ручкамъ, по ея вытянутой шейкѣ, по ея губкамъ, которыя хотя не двигались

сами, но около которыхъ, подъ тонкой кожицей, что-то шевелилось какъ гусеница.

Такъ прошло семь или восемь минутъ. Маня все стояла у шкапа, и червячокъ все ворочался около ея губокъ, какъ вдругъ раздался страшный ударъ грома и съ трескомъ раскатился по небу. Маня слабо вскрикнула, быстро бросила на полъ чашку и, забывъ всякую застѣнчивость, сильно схватилась за мою руку.

Разлетѣвшаяся вдребезги чашка и зазвенѣвшая по полу ложечка испугали ее еще болѣе.

— Идти! идти!—прошептала она, схватившись въ испугѣ за мою руку и совсѣмъ подбиваясь подъ мой локоть.

Я не могъ понять, что̀ значитъ ея *идти*, и старался какъ умѣлъ и какъ могъ ее успокоить, но она все тревожилась, вздрагивала, зорко смотрѣла впередъ, и каждый разъ крѣпче жалась ко мнѣ при всякомъ новомъ ударѣ.

— Какъ жаль, что вы такъ боитесь грома! — началъ я, когда гроза утихла и небо стала понемножку свѣтлѣть и разъясниваться.

Маня, молча, взглянула на меня, потомъ на разбитую чашку и пролитый кофе, и опять прошептала:

— *Идти.*

— Теперь невозможно идти.

Дѣвушка задумалась.

— Васъ вѣрно напугалъ кто-нибудь?

— Н-нѣтъ... это такъ... вліяніе...

Все существо Мани опять разомъ выразило, что ей очень тяжело отъ этого *вліянія*, и тоненькій червячокъ снова забѣгалъ подъ кожей около ея губокъ.

— Идти, — заговорила она, крѣпко сжимая мою руку:— нужно скорѣе идти... идти...

Она задрожала и жалась ко мнѣ съ выраженіемъ ужаса и какъ будто съ мольбой, чтобъ я удерживалъ ее, чтобъ не пускалъ ее куда-то *идти*.

Гроза стихла.

Я ничего не сталъ разспрашивать Маню объ этомъ, какъ она называла, «вліяніи», и какъ только немножко распогодилось, одѣлся и пошелъ проводить ихъ. Магазинъ Норкъ былъ отъ моей квартиры въ нѣсколькихъ минутахъ ходьбы. Мы всѣ втроемъ перешли это разстояніе очень скоро и, едва успѣли взяться за дверную ручку, какъ въ магазинѣ

раздался сумасшедшій крикъ, и въ одно мгновеніе Маня совсѣмъ исчезла въ какой-то необъятной кучѣ свѣтлаго ситца. Ситецъ этотъ закутывалъ Маню, шевелился около нея, пожиралъ ее и издавалъ слабое, почти мышиное пищаніе, а вдалекѣ, гдѣ-то комнаты за двѣ, послышалось порывистое дерганье, какъ будто кто-то тянулъ слабою рукою колодезный цеборъ. Звуки эти все слышались ближе и ближе и, наконецъ, въ противоположной двери показалось высокое желѣзное кресло съ большими колесами, круглые ободы которыхъ были тщательно обмотаны зеленой суконной покромкой. На этомъ креслѣ, положа руки на ободья колесъ, сидѣла сама старость съ младенчески шаткой головой и ушедшими въ затылокъ глазами. Темный полосатенькій капотъ и бѣлый чепецъ, которымъ была покрыта подъѣхавшая фигура, слегка тряслись и дрожали. Даже пестрый шотландскій плэдъ, закрывавшій недвижимыя ноги старушки, слегка шевелился.

При появленіи этого кресла, ситецъ, поглотившій Маню, заворошился еще сильнѣе; изъ него поднялись двѣ красноватыя руки, взмахнули на воздухѣ и опять утонули въ складкахъ, а насупротивъ ихъ показалась пара другихъ, болѣе свѣжихъ рукъ, и эти тоже взмахнули и также исчезли въ ситцевой пѣнѣ. Затѣмъ показалась головка Мани, а возлѣ нея, у самыхъ щекъ, отцвѣтшая женская голова съ полусѣдыми локонами и гладко причесанная бѣлокурая головка дѣвушки, волоса которой громко объявляли о своемъ ближайшемъ родствѣ съ волосами Мани. Это были ея мать и сестра Ида, а въ дверяхъ на креслѣ—Манина бабушка.

Мы съ дѣвочкой Кларой двое оставались сторонними зрителями этой сцены и на насъ никто не обращалъ ровно никакого вниманія. Маню обнимали, цѣловали, ощупывали ея платьице, волосы, трогали ее за ручки, за шейку, ласково трепали по щечкамъ и вообще какъ бы старались удостовѣриться, не сонъ ли все это? не привидѣніе ли? дѣйствительно ли это она, живая Маня съ своей маленькой и слабою плотью?

Мнѣ очень хотѣлось уйти и не мѣшать этой семейной сценѣ, но въ то же время я чувствовалъ необходимость разсказать въ оправданіе дѣвушекъ, гдѣ онѣ были и по какому случаю попали ко мнѣ.

— Ахъ, какъ мы васъ можемъ благодарить! Я не умѣю

сказать вамъ, какъ я вамъ благодарна, — отвѣчала мнѣ восторженно Софья Карловна, когда Маня перешла въ объятія бабушки, а я наскоро разсказалъ кое-какъ всю эту исторію.

Софья Карловна непремѣнно просила меня остаться пить чай; она говорила, что сейчасъ будетъ ея зять, который уже цѣлый часъ рыщетъ съ своимъ знакомымъ художникомъ Истоминымъ по всему Острову, отыскивая вездѣ бѣдную Маню. Я отказался отъ чаю и вышелъ.

Софья Карловна, прощаясь, взяла съ меня слово, чтобы я непремѣнно зашелъ къ нимъ и былъ бы ихъ хорошимъ знакомымъ. Я далъ такое слово и сдержалъ его, даже и во второмъ отношеніи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

На другое утро ко мнѣ зашелъ незнакомый, очень щеголевато и въ то же время очень солидно одѣтый, плотный, коротко остриженный господинъ съ здоровымъ смуглымъ лицомъ, бархатными бакенбардами и очень хорошими черными глазами. Онъ назвалъ себя Фридрихомъ Шульцемъ; сказалъ, что онъ зять мадамъ Норкъ и что пришелъ поблагодарить меня отъ тещи и отъ себя за вниманіе, оказанное вчера дѣтямъ. Фридрихъ Шульцъ говорилъ немного, держался съ тактомъ и вообще велъ себя человѣкомъ выдержаннымъ. Въ заключеніе своего короткаго визита онъ выразилъ надежду, что мы будемъ знакомы, и мы съ нимъ простились.

Черезъ день послѣ визита, сдѣланнаго мнѣ Шульцемъ, я отправился къ Норкамъ узнать о здоровьѣ Мани. Это было передъ вечеромъ. Маня сама отперла мнѣ двери и этимъ сдѣлала вопросъ о ея здоровьѣ почти неумѣстнымъ, но, тѣмъ не менѣе, меня всѣ встрѣтили здѣсь очень радушно, и я очень скоро не только познакомился съ семействомъ Норковъ, но даже сталъ въ немъ почти своимъ, или, по крайней мѣрѣ, очень близкимъ человѣкомъ.

Здѣсь я долженъ сдѣлать нѣкоторое, весьма короткое, впрочемъ, отступленіе для того, чтобы познакомить читателя со всѣми лицами семейства Норковъ въ ту именно пору, къ которой относится этотъ разсказъ, и при этомъ показать ихъ чистенькое жилище.

Самымъ старымъ лицомъ здѣсь была утлая бабушка

Норкъ. Ей было уже восемьдесятъ-три года; она была нѣкогда и умна, и красива, и добродѣтельная; нынче она была просто развалина, но развалина весьма опрятная, не обдававшая ни пылью, ни плѣсенью и не раздражавшая ничьего уха скрипомъ желѣзныхъ ставенъ, которыя во всѣхъ развалинахъ такъ безтолково двигаются изъ стороны въ стороны и несносно скрипятъ на заржавѣвшихъ крючьяхъ. У старушки Норкъ оставалось довольно ума и очень много сердца, для того, чтобы любить каждый листочекъ дерева, выросшаго изъ ея праматеринскаго лона, и между всѣми этими вѣточками и листочками, самымъ любимымъ листкомъ старушки была опять-таки та же младшая внучка, Маничка Норкъ. О Софьѣ Карловнѣ мы знаемъ достаточно, чтобы не говорить о ней въ особенности. Она осталась навсегда доброю матерью и хорошею хозяйкою, но съ лѣтами послѣ мужа значительно располнѣла; горе и заботы провели у нея по лбу двѣ глубокія морщины; а торговыя столкновенія и расчеты пріучили ея лицо къ нѣсколько суровому, такъ сказать, суходѣльному выраженію, которое замѣчается почти у всѣхъ женщинъ, поставленныхъ въ необходимость лично вести дѣла не женскаго хозяйства. Берта Ивановна Шульцъ была прежде всего и больше всего красавица, здоровая, свѣжая, бѣлая, роскошная, очень добрая, угодливая, вѣрная жена, страстно нѣжная мать и безцѣнная хозяйка. Лучшимъ аттестатомъ семейнымъ добродѣтелямъ Берты Ивановны былъ мужъ ея, Фридрихъ Фридриховичъ Шульцъ. Всегда практически умный, здоровый и веселый Фридрихъ Шульцъ, въ качествѣ мужа Берты Ивановны, раздобрѣлъ еще болѣе; его веселый смѣхъ со времени женитьбы сталъ слышаться еще чаще и громче, а на лицѣ его явилось еще болѣе самоувѣренности. Въ этой самоувѣренности, которая лежала на лицѣ Шульца, не было, впрочемъ, ничего заносчиваго и обиднаго. Только при взглядѣ на свою жену, или при разговорѣ о ней, Фридрихъ Шульцъ примѣшивалъ къ своей безобидной самоувѣренности нѣкоторую надменность.

— Ну-ка, — говорило тогда его лицо гостямъ, угощавшимся у его хлѣбосольной трапезы:—ну-ка, скажите-ка, мои голубчики, у кого изъ васъ есть такая жена?

— А ни у кого у васъ нѣтъ такой жены, да и ни у кого не можетъ быть такой жены,—добавляло оно, слѣдя за плававшей лебедью Бертой Ивановной.—А вотъ посмотрите,

какой еще я куплю моей Бертинькѣ домъ — такъ тоже у васъ ни у кого и дома такого никогда не будетъ.

Ссоръ и неладовъ у этого супружества никогда не бывало. Ибо если иногда Берта Ивановна, отягощаясь далеко за полночь заходившими у мужа пирушками, и говорила ему по-нѣмецки; «лучше бы они, Фрицъ, пораньше къ тебѣ собирались», то Фридрихъ Фридриховичъ обыкновенно отвѣчалъ на это своей женѣ по-русски: «Эй, Берта Ивановна, смотрите, чтобъ мы съ вами, мой другъ, какъ-нибудь не поссорились!» и тѣмъ все дѣло и кончалось.

Ида Ивановна, остававшаяся до сихъ поръ дѣвушкою, была иной человѣкъ, чѣмъ ея сестра, Берта Шульцъ, и совсѣмъ иной, чѣмъ сестра ея Маня. Ида была очень недурна собой. Ростъ у нея былъ прекрасный и фигура очень стройная, такъ что, глядя сзади на ея роскошныя плечи, гибкую талію и граціозную шейку, на которой была граціозно поставлена пропорціональная головка, обремененная густѣйшими русыми волосами, можно было держать пари, что передъ вами женщина, не разъ заставлявшая усиленно биться не одно мужское сердце; но стоило Идѣ Ивановнѣ повернуться къ вамъ своимъ милымъ и даже, пожалуй, красивымъ лицомъ, и вы сейчасъ спѣшили взять назадъ составившееся у васъ на этотъ счетъ предположеніе. У Иды Ивановны былъ высокій, строгій профиль, почти безъ кровинки во всемъ лицѣ; открытый, благородный лобъ ея былъ просто прекрасенъ, но его ледяное спокойствіе дѣйствовало какъ-то очень странно; оно не говорило: «оставь надежду навсегда», но говорило: «прошу на благородную дистанцію!» Небольшой, тонкій носъ Иды Ивановны шелъ какъ нельзя болѣе подъ-стать ея холодному лбу; широко разставленные, глубокіе сѣрые глаза смотрѣли умно и добро, но немножко иронически; а въ блѣдныхъ щекахъ и нѣсколько узенькомъ подбородкѣ было много какой-то пассивной силы, силы терпѣнія. Въ губахъ у старшей дѣвицы Норкъ было нѣчто общее съ Манею, но это *нѣчто* и здѣсь было совершенно неуловимо. Оно и здѣсь тоже совсѣмъ не принадлежало самимъ устамъ Иды Ивановны, а это именно былъ опять такой же червячокъ, который шевелился, пробѣгалъ по ея верхней губѣ и снова скрывался гдѣ-то, не то въ крови, не то въ воздухѣ.

Самыя уста Иды Ивановны были необыкновенно странны:

это не были тонкія, блѣдныя губы, постоянно ропщущія на свое малокровіе: это не былъ пунсовый ротикъ, протестующій противъ спокойнаго величія стального лица живыхъ особъ, напрасно носящихъ холодную маску Діаны. Уста Иды были въ мѣру живы и въ мѣру красны; но и опять вы почему-то понимали, что они никогда никого не поцѣлуютъ инымъ поцѣлуемъ, какъ поцѣлуемъ родственной любви и дружбы. Оставивъ пансіонъ, Ида Ивановна на другой же день поставила себѣ стулъ за прилавокъ магазина и сдѣлалась самой усердной и самой полезной помощницей своей матери. Софья Карловна не ставила Иду Ивановну никому въ примѣръ, и даже не такъ, можетъ-быть, нѣжно любила ее, какъ Маню, но зато высоко ее уважала и скоро привыкла ничего не предпринимать и ни на что не рѣшаться безъ совѣта Иды. О томъ, что Ида Ивановна тоже дѣвушка, что она тоже можетъ кого-нибудь полюбить и выйти замужъ, въ семействѣ Норкъ, кажется, никто не подумалъ ни одного раза. Даже практическому Шульцу, относившемуся къ свояченицамъ и къ тещѣ съ самымъ горячимъ участіемъ, и ему сдавалось, что Ида совсѣмъ что-то такое, такъ собственно и рожденное исключительно для семьи Норковъ и имѣющее здѣсь, въ этой семьѣ, свое вѣковѣчное мѣсто. Есть такія странныя дѣвушки, такъ уже вотъ и прикрѣпленныя на всю жизнь свою къ родимой семьѣ. Такъ это на нихъ и знаменуется: взглянешь и сейчасъ это видишь. Такихъ дѣвушекъ очень часто приходится встрѣчать въ нашемъ сельскомъ духовенствѣ, и особенно много ихъ въ благовоспитанныхъ семьяхъ небогатыхъ петербургскихъ нѣмцевъ. Чуть не съ колыбели какая-то роковая судьба обрекаетъ ихъ въ хранительницъ родительской старости, да въ няньки сестриныхъ дѣтей, и этотъ оброкъ такъ вѣрно исполняется ими до гроба. Они дѣлаются *крѣпкими* своему положенію до того, что упасть, или немножко пошатнуться, или скользнуть, хотя немножечко одной ногою, для нихъ ужъ невозможно. Не знаю, надобно ли къ этому ужъ прямо родиться или можно себя пріучить жить для такихъ цѣлей, но знаю, что такова именно была Ида, хотя на прекрасномъ лицѣ ея и не было написано: «навѣкъ оставь надежду». Печать иная почивала на этомъ обликѣ: вамъ ввѣрить ей хотѣлось все, что вамъ мило и дорого на свѣтѣ, и ваше внутреннее чув-

ство вамъ за нее клялось, что ни соблазнъ любовныхъ словъ, ни золото, ни почести, ни діадема королевы врасплохъ ее застать не могутъ и не возьмутъ ее въ осаду. Око ея было свѣтло, сердце чисто.

Въ заключеніе упомяну еще о подмастерьѣ Германѣ Верманѣ, который самъ себя не отдѣлялъ отъ семейства Норковъ и котораго грѣхъ было бы отдѣлить отъ него въ этомъ разсказѣ.

Германъ Верманъ былъ небольшой, очень коренастый старикъ, съ угловатою головою и густыми черными, съ просѣдью волосами, которые всѣ называли *дикими* и по которымъ Ида Ивановна самого Вермана прозвала «Соважемъ». Соважъ былъ старикъ честнѣйшій и добрѣйшій, хорошій мастеръ и хорошій пьяница. По наружности онъ болѣе былъ похожъ на француза, чѣмъ на нѣмца, а по нраву на англичанина; но въ существѣ онъ былъ все-таки нѣмецъ, и самый строгій нѣмецъ.

Жили Норки въ небольшомъ деревянномъ домѣ на углу одной изъ ближайшихъ линій и Большого проспекта, дома котораго, какъ извѣстно, имѣютъ вдоль фасадовъ довольно густые и тѣнистые садики, дѣлающіе проспектъ едва ли не самою пріятною улицей не только Острова, но и всего Петербурга. Въ пяти окнахъ, выходившихъ на линію, у Норковъ помѣщался магазинъ и мастерская, въ которой жилъ и работалъ съ учениками Германъ Верманъ. Жилыя комнаты (которыхъ счетомъ было четыре) всѣ выходили окнами въ густой садикъ по Большому проспекту. Здѣсь, тотчасъ влѣво отъ магазина, была большая, очень хорошо меблированная зала, съ занавѣсками, вязанными руками Иды Ивановны, съ мебелью, покрытою бѣлыми чехлами, и съ хорошимъ фортепьяно. Далѣе шла маленькая гостиная для короткихъ друзей. Это просто былъ кусокъ спальни Софьи Карловны, отдѣленный красивыми ширмами краснаго дерева и установленный мягкою голубою мебелью. За ширмами была самая спальня. Другія двѣ комнаты, выходившія окнами на дворъ, отдѣлялись отъ двухъ первыхъ широкимъ свѣтлымъ коридоромъ. Въ углѣ коридора, совершенно въ сторонкѣ, была комната бабушки, а прямо противъ импровизированной гостиной—большая и очень хорошая комната Иды и Мани. Комната эта была ихъ спальнею и тутъ же стояли два маленькіе письменные стола. Далѣе, въ концѣ

коридора, сейчасъ за комнатою дѣвицъ, была кухня, имѣвшая, посредствомъ особаго коридорчика, сообщеніе съ мастерскою, гдѣ жилъ Германъ Верманъ; а изъ кухни на дворъ шелъ особый, черный ходъ съ деревяннымъ крылечкомъ.

Квартира эта по улицѣ была въ первомъ этажѣ, но со двора подъ нею былъ еще устроенъ невысокій полуэтажъ, и какъ разъ подъ однимъ изъ оконъ дѣвицъ выходило крыльцо этого полуэтажа, покрытое широкимъ навѣсомъ изъ кровельнаго желѣза.

Жило семейство Норковъ какъ нельзя тише и скромнѣе. Кромѣ какихъ-то двухъ старушекъ и пастора Абеля, у нихъ запросто не бывалъ никто. Съ выходомъ замужъ Берты Ивановны, которая поселилась съ своимъ мужемъ черезъ два дома отъ матери, ежедневнымъ ихъ посѣтителемъ сдѣлался зять. Шульцъ вмѣстѣ съ женою навѣщалъ тещину семью аккуратно каждый вечеръ и былъ настоящимъ ихъ семьяниномъ и сыномъ Софьи Карловны. Потомъ въ домѣ ихъ, по извѣстному читателямъ случаю, появился я, и въ тотъ же день, вслѣдъ за моимъ выходомъ, Шульцъ привезъ художника Истомина.

Художникъ Романъ Прокофьевичъ Истоминъ, еще очень незадолго передъ этимъ событіемъ, выдѣлился изъ ряда своихъ товарищей одною весьма талантливою работою, давшею ему сразу имя, деньги, знакомства многихъ великихъ міра сего и расположеніе множества женщинъ. Все это, вмѣстѣ взятое, съ одной стороны дѣлало Истомина уже въ то время лицомъ довольно интереснымъ, а съ другой— снабжало его кучею враговъ и завистниковъ, которыхъ всегда такъ легко пріобрѣтаетъ себѣ всякое дарованіе, не только въ средѣ собратій по профессіи, но и вообще у всего мѣщанствующаго разума, живо чувствующаго безсиліе своей практической лошади передъ огневымъ конемъ таланта. Талантливости Истомина не отвергалъ никто, но одни находили, что талантливость эта все-таки не имѣетъ того значенія, которое придаютъ ей; другіе утверждали, что талантъ Истомина самъ по себѣ великъ, но что онъ принимаетъ ложное направленіе; что деньги и покровительства губятъ его, а въ это время Истоминъ вышелъ въ свѣтъ съ другою работою, показавшею, что талантъ его не губится ни знакомствами, ни деньгами, и его завистники обратились въ злѣйшихъ его враговъ. Истомину шла удача за

удачею въ жизни и необыкновенное счастье въ любви. У него бывали любовницы во всѣхъ общественныхъ слояхъ, начиная съ академическихъ натурщицъ до... ну, да до самыхъ неприступныхъ Діанъ и грандесъ, покровительствующихъ искусствамъ. Послѣднее обстоятельство имѣло на художественную натуру Истомина свое неотразимое вліяніе. Красивое, часто дышавшее истиннымъ вдохновеніемъ и страстью лицо Истомина стало дерзкимъ, вызывающимъ и надменнымъ; на зло своимъ врагамъ и завистникамъ, онъ началъ выставлять на видъ и напоказъ всѣ выгоды своего положенія—квартиру свою онъ обратилъ въ самую роскошную студію, одѣвался богато, жилъ весело, о женщинахъ говорилъ нехотя, съ гримасами, пренебрежительно и всегда цинически.

Я слышалъ объ Истоминѣ много хорошаго и еще больше худого, но самъ никогда не видалъ его. Извѣстно мнѣ было, что онъ существуетъ, что онъ едва ли не одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ молодыхъ талантовъ въ академіи, что онъ идетъ въ гору—и только. Зналъ я также, что Истоминъ состоитъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ Фридрихомъ Шульцемъ, а отъ Иды Ивановны слыхалъ, что Шульцъ вообще страстный охотникъ водить знакомство съ знаменитостями и потому ухаживаетъ и за Истоминымъ.

— Это Ахиллесова пята нашего Фрица,—шутила Ида.

Только я и зналъ объ Истоминѣ. Въ домѣ Норковъ со дня своего перваго посѣщенія онъ не былъ ни разу, да и нечего было ему здѣсь и дѣлать въ этой тихой, скромнѣйшей семьѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Сблизясь съ семействомъ Норковъ, я, разумѣется, познакомился ближе и съ Фридрихомъ Шульцемъ. Человѣкъ этотъ, какъ я уже сказалъ выше, съ первой же встрѣчи показался мнѣ образцомъ самой хорошей порядочности, но... Богъ его знаетъ, что̀ въ немъ было такое, что̀ какъ-то не располагало къ нему и не влекло. Фридрихъ Фридриховичъ былъ и хлѣбосолъ, и человѣкъ не только готовый на всякую послугу, но даже напрашивавшійся на нее; онъ и патріотизму русскому льстилъ, стараясь какъ нельзя болѣе во всемъ русить; и за дѣла его можно было только уважать его, а все-таки онъ какъ-то не располагалъ человѣка искренно

въ свою пользу. Опредѣлительно въ немъ чувствовался недостатокъ простоты, благоуханно почившей въ воздухѣ, которымъ дышало семейство Норковъ. Зайдешь, бывало, къ Фридриху Фридриховичу—онъ встрѣчаетъ радушно: «добро пожаловать!» кричитъ, бывало, еще чуть ногу за порогъ переставишь:—«Проходите, батюшка, къ моей бабѣ, а я тутъ съ людишками поразверстаюсь», докончитъ онъ, указывая на стоящихъ артельщиковъ. Кажется, будто и чистосердечно, и привѣтливо, и просто, а чувствуешь, что нѣтъ во всемъ этомъ ни чистосердечія, ни простоты, ни привѣта. Пойдешь къ Бертѣ Ивановнѣ—та тоже встрѣтитъ съ улыбкой, съ вѣчно одинаковой, доброй улыбкой; разскажетъ, что ея Фрицъ совсѣмъ измучился; что они ѣздили вчера смотрѣть Газе, и что Газе въ Людовикѣ, по ея мнѣнію, гораздо лучше, чѣмъ въ Кромвелѣ, а что о Раабе и о Гювартъ, право, гораздо больше говорятъ, чѣмъ они заслуживаютъ. Но и отъ этой доброй улыбки Берты Ивановны, и отъ этихъ ея разсказовъ не согрѣвается душа и не теплѣетъ на сердцѣ. Проболтаешь съ полчаса, входитъ Фридрихъ Фридриховичъ, отдуется, упадетъ съ видомъ утомленія на диванъ и, разгладивъ бархатные бакенбарды, начинаетъ:

— А у меня, милостивецъ мой, опять какой мудреный крендель нынче завернулся. Тутъ, прости меня Господи, съ этой ерундой съ своей не можешь никакъ себя хорошенько сообразить, а вчера только пріѣзжаю, застаю повѣстку, что молодые Коровниковы выпросили меня себѣ попечителемъ. Ну, помилуйте, скажите, что̀ это такое?! Вѣдь это же, наконецъ, наказаніе! Развѣ мало, говорю, у васъ, господа, своихъ русскихъ?—Найдется, чай, довольно охотниковъ, мильоннымъ состояніемъ опекать.—Нѣтъ, свое твердятъ:—«Мы васъ, Фридрихъ Фридриховичъ!» «Да, что̀, говорю, васъ! кислый квасъ! Что̀ такое неправда за *меня?* что̀ я, въ самомъ дѣлѣ, за такое особенное? вѣдь я, говорю, господа, нѣмецъ, шпрехензидеичъ, Иванъ Андреичъ колбасникъ!»—Нѣтъ, опять свое: *вы да мы, мы да вы,* да и давай цѣловаться. Ну, что̀ вы тутъ съ такимъ народомъ прикажете разговаривать?

Поставитъ, бывало, Фридрихъ Фридриховичъ въ самое непріятное положеніе, такимъ совершенно, впрочемъ, правдивѣйшимъ разсказомъ, и смотритъ въ глаза, пока ему со-

чинишь какую-нибудь любезность. Впрочемъ, если онъ замѣтитъ, что ужъ вы очень затрудняетесь, то, не дожидаясь отвѣта, крикнетъ:

— Бертинька! а ну, дай намъ, матушка, что-нибудь такое позабавиться.

И изъ комнаты Берты Ивановны тотчасъ же появляется подносъ съ холодною закускою, графинчикомъ Doppel-corn, бутылкой хересу и бутылкой портеру.

— Безъ соли, безъ хлѣба—худая бесѣда. Нашъ братъ, русскій человѣкъ, любитъ почавкать,—начинаетъ Фридрихъ Фридриховичъ, давая вамъ чувствовать, что когда онъ, десять минутъ назадъ, называлъ себя нѣмецкимъ человѣкомъ, то это онъ шутилъ, а что, въ самомъ-то дѣлѣ, онъ-то и есть настоящій русскій человѣкъ, и вслѣдъ за этой оговоркой, Шульцъ заводитъ за хлѣбомъ-солью бесѣду, въ которой ужъ гостю приходится только молчать и слушать Фридриха Фридриховича со всяческимъ, впрочемъ, правомъ хвалить его умъ, его добродѣтель, его честность, его жену, его лошадь, его мебель, его хлѣбъ-соль и его сигары.

У Норковъ же было совершенно иное. Проходишь, бывало, черезъ магазинъ—Ида Ивановна чаще всего стоитъ съ какимъ-нибудь покупателемъ и продастъ ему папиросную машинку, или салатную ложку; поклонишься, проходя, какъ попало, Идѣ, она кивнетъ головою, тоже чуть замѣтно, и попрежнему ведетъ свое дѣло съ покупателемъ. Придешь въ залу—никого нѣтъ, но все смотритъ такъ привѣтно: и фортепьяно, и закрытая чехлами мебель, какъ будто говорятъ вамъ: «Здравствуйте-съ! просимъ покорно садиться». Вы и садитесь. Такъ именно было со мною въ третье посѣщеніе Норковъ. Я прошелъ мимо Иды Ивановны, стоявшей въ магазинѣ, и сѣлъ, не зная, что мнѣ дѣлать, но чувствуя, что мнѣ совсѣмъ здѣсь хорошо и ловко.

Черезъ двѣ или три минуты Ида Ивановна сбыла съ рукъ покупателя и показалась въ залѣ. Выйдя изъ магазина, она въ обѣихъ рукахъ держала по ломтю спѣлой дыни, посыпанной сахаромъ.

— Нехорошая дыня,—сказала она, протягивая мнѣ ломтикъ въ своей тонкой, бѣлой рукѣ, и въ то же время сама начала другой.

— Нѣтъ, ничего,—отвѣчалъ я, отвѣдавъ дыни.

— Водянистая; нынче лѣто такое гадкое, всѣ фрукты какіе-то водянистые.

— А что ваша сестра?

— Маня? Она все возится съ вашими книгами.

— А я ей еще принесъ.

Ида Ивановна покачала головой и выговорила:

— Вы намъ ее совсѣмъ испортите. Подите къ ней, если хотите, въ ея комнату.

— Можно?

— Отчего же? Тамъ убрано. Я одна тутъ; мнѣ нельзя отойти отъ магазина; мамы нѣтъ дома, а бабушка ужъ закатилась и спитъ.

Я поблагодарилъ и коридорчикомъ прошелъ къ комнатѣ Иды и Мани.

— Войдите,—сказала Маня, когда я второй разъ постучался у ея двери.

Я засталъ Маню сидѣвшею на окнѣ, съ котораго до половины была сдвинута синяя тафтяная занавѣска. На колѣняхъ у Мани лежала моя книга.

— Здравствуйте!—сказала она, щурясь и осторожно спуская на полъ свои крошечныя ножки. — А я такъ и думала, что это вы.

— Отчего же это вы такъ думали?

— Такъ... читала и какъ-то про васъ вспомнила, а вы и пришли.—Садитесь.

Я сѣлъ. Маня выбѣжала на минуту и вернулась съ пепельницею, сигарою и спичками.

— Курите, — сказала она, ставя передо мною спички и подавая мнѣ сигару.

Я поблагодарилъ.

— Это Фрицева сигара: онъ всегда хорошія сигары куритъ; вы попробуйте.

Я взялъ сигару и закурилъ: сигара, точно, оказалась очень хорошею.

— Довольны вы книгою? — началъ я, чтобы съ чего-нибудь начать.

— Да,—отвѣчала торопливо Маня.—Это такъ по-русски; такое... дѣйствительное.

— Вы любите болѣе дѣйствительное?

Дѣвушка задумалась.

— Я много читала,—начала она тихо:—но вы меня не

чинишь какую-нибудь любезность. Впрочемъ, если онъ замѣтитъ, что ужъ вы очень затрудняетесь, то, не дожидаясь отвѣта, крикнетъ:

— Бертинька! а ну, дай намъ, матушка, что-нибудь такое позабавиться.

И изъ комнаты Берты Ивановны тотчасъ же появляется подносъ съ холодною закускою, графинчикомъ Doppel-corn, бутылкой хересу и бутылкой портеру.

— Безъ соли, безъ хлѣба—худая бесѣда. Нашъ братъ, русскій человѣкъ, любитъ почавкать,—начинаетъ Фридрихъ Фридриховичъ, давая вамъ чувствовать, что когда онъ, десять минутъ назадъ, называлъ себя нѣмецкимъ человѣкомъ, то это онъ шутилъ, а что, въ самомъ-то дѣлѣ, онъ-то и есть настоящій русскій человѣкъ, и вслѣдъ за этой оговоркой, Шульцъ заводитъ за хлѣбомъ-солью бесѣду, въ которой ужъ гостю приходится только молчать и слушать Фридриха Фридриховича со всяческимъ, впрочемъ, правомъ хвалить его умъ, его добродѣтель, его честность, его жену, его лошадь, его мебель, его хлѣбъ-соль и его сигары.

У Норковъ же было совершенно иное. Проходишь, бывало, черезъ магазинъ—Ида Ивановна чаще всего стоитъ съ какимъ-нибудь покупателемъ и продастъ ему папиросную машинку, или салатную ложку; поклонишься, проходя, какъ попало, Идѣ, она кивнетъ головою, тоже чуть замѣтно, и попрежнему ведетъ свое дѣло съ покупателемъ. Придешь въ залу—никого нѣтъ, но все смотритъ такъ привѣтно: и фортепьяно, и закрытая чехлами мебель, какъ будто говорятъ вамъ: «Здравствуйте-съ! просимъ покорно садиться». Вы и садитесь. Такъ именно было со мною въ третье посѣщеніе Норковъ. Я прошелъ мимо Иды Ивановны, стоявшей въ магазинѣ, и сѣлъ, не зная, что мнѣ дѣлать, но чувствуя, что мнѣ совсѣмъ здѣсь хорошо и ловко.

Черезъ двѣ или три минуты Ида Ивановна сбыла съ рукъ покупателя и показалась въ залѣ. Выйдя изъ магазина, она въ обѣихъ рукахъ держала по ломтю спѣлой дыни, посыпанной сахаромъ.

— Нехорошая дыня,—сказала она, протягивая мнѣ ломтикъ въ своей тонкой, бѣлой рукѣ, и въ то же время сама начала другой.

— Нѣтъ, ничего,—отвѣчалъ я, отвѣдавъ дыни.

— Водянистая; нынче лѣто такое гадкое, всѣ фрукты какіе-то водянистые.

— А что ваша сестра?

— Маня? Она все возится съ вашими книгами.

— А я ей еще принесъ.

Ида Ивановна покачала головой и выговорила:

— Вы намъ ее совсѣмъ испортите. Подите къ ней, если хотите, въ ея комнату.

— Можно?

— Отчего же? Тамъ убрано. Я одна тутъ; мнѣ нельзя отойти отъ магазина; мамы нѣтъ дома, а бабушка ужъ закатилась и спитъ.

Я поблагодарилъ и коридорчикомъ прошелъ къ комнатѣ Иды и Мани.

— Войдите,—сказала Маня, когда я второй разъ постучался у ея двери.

Я засталъ Маню сидѣвшею на окнѣ, съ котораго до половины была сдвинута синяя тафтяная занавѣска. На колѣняхъ у Мани лежала моя книга.

— Здравствуйте!—сказала она, щурясь и осторожно спуская на полъ свои крошечныя ножки. — А я такъ и думала, что это вы.

— Отчего же это вы такъ думали?

— Такъ... читала и какъ-то про васъ вспомнила, а вы и пришли.—Садитесь.

Я сѣлъ. Маня выбѣжала на минуту и вернулась съ пепельницею, сигарою и спичками.

— Курите, — сказала она, ставя передо мною спички и подавая мнѣ сигару.

Я поблагодарилъ.

— Это Фрицева сигара: онъ всегда хорошія сигары куритъ; вы попробуйте.

Я взялъ сигару и закурилъ: сигара, точно, оказалась очень хорошею.

— Довольны вы книгою? — началъ я, чтобы съ чего-нибудь начать.

— Да,—отвѣчала торопливо Маня.—Это такъ по-русски; такое... дѣйствительное.

— Вы любите болѣе дѣйствительное?

Дѣвушка задумалась.

— Я много читала,—начала она тихо:—но вы меня не

разспрашивайте. Я все читаю. Это вотъ хорошая книга,— продолжала она, указывая на мой томикъ «Записокъ охотника»: — нравится мнѣ, а я не могу разсказать, почему... Такъ какое-то вліяніе такое... Жаль прочесть скоро. А другія книги читаешь... даже спѣшишь. Такъ читаешь... — Маня махнула ручкой.

— Безъ вліянія?

Дѣвушка смотрѣла на меня долго и, пожавъ плечиками, сказала:

— Я не знаю, право, какое жъ другое слово?

Мнѣ стало стыдно своей попытки слегка подтрунить надъ Маней.

— Видите, — говорила она, робѣя и потупляя глазки:— Шиллера, Гёте, Ауэрбаха — все это я брала у Фрица; все кое-какъ знаю; и еще разныя тамъ книги у него брала... а это новое совсѣмъ, и такое понятное... какъ самой будто все это хочется почувствовать: вѣдь это-жъ вліяніе значитъ?

— Вы знаете, — говорила она мнѣ, прощаясь: — вы не думайте, что мои родные, въ самомъ дѣлѣ, сердятся, что я читаю книги. Фрицъ сказалъ, что ваши книги мнѣ всегда можно читать, и мама мнѣ тоже позволила.

— Очень радъ,—отвѣчалъ я и ушелъ, пожавъ ея ручку.

Фридрихъ Фридриховичъ, значитъ, ко мнѣ благоволилъ, и я далъ себѣ слово дорожить этимъ благоволеніемъ для Мани.

Такъ прошло нашему знакомству, надо полагать, мѣсяца три или четыре. Въ это время я познакомился у Шульца съ нѣсколькими знаменитостями, впрочемъ не первой руки— и, между прочимъ, съ Романомъ Прокофьевичемъ Истоминымъ. При всѣхъ предубѣжденіяхъ противъ этого человѣка, онъ мнѣ очень понравился. Кромѣ таланта, выразительной наружности и довольно рѣдкой въ русскомъ художническомъ кружкѣ образованности, къ нему влекла его хорошая, страстная рѣчь, гордое пренебреженіе къ врагамъ и завистникамъ, и смѣлая, твердая рѣшимость, соединенная (когда онъ хотѣлъ этого) съ утонченнѣйшею мягкостью и теплотою обращенія. Я на Романа Прокофьича тоже, кажется, произвелъ впечатлѣніе довольно выгодное, и со второго или съ третьяго свиданія, мы стали держать себя по отношенію другъ къ другу добрыми пріятелями. Это еще не рѣшено, да и врядъ-ли это когда-нибудь будетъ рѣшено, почему съ однимъ человѣкомъ почти ни съ того, ни

съ сего, легко сходишься, самъ того не замѣчая, а съ другимъ ни отъ того, ни отъ сего, при всѣхъ усиліяхъ сойтись, никакъ не сойдешься. Почти совершенно другъ друга путемъ не зная и не вѣдая, сошлись мы съ Романомъ Прокофьичемъ такъ, что вдругъ очутились на одной квартирѣ. Онъ напалъ случайно на очень хорошій бель-этажъ небольшого домика; въ этомъ бель-этажѣ приходилось по три одинокихъ комнаты со сторонъ и посерединѣ необыкновенно изящный круглый залъ, оклеенный темносиними парижскими обоями съ широкимъ золотымъ карнизомъ. Я взялъ себѣ три комнатки налѣво, а Романъ Прокофьичъ три комнаты направо, да этотъ очаровательный залъ подъ мастерскую. Дверь изъ залы на мою половину заперли, завѣсили синимъ сукномъ, и зажили мы съ Истоминымъ, сходясь часто, но никогда не мѣшая другъ другу не во-время. Ко всему этому для меня было большою находкой, что Истоминъ часто и, не заходя ко мнѣ изъ-за своей стѣны, разсѣивалъ налегавшую на меня тоску одиночества музыкою, которую онъ очень любилъ и въ которой зналъ толкъ, хотя никогда ею не занимался путемъ, а игралъ на своемъ маленькомъ, звучномъ піанино такъ, самъ для себя, и самъ для себя пѣлъ очень недурно, даже довольно трудныя вещи.

Живя въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ, я, противъ всякаго желанія, убѣдился, что Истоминъ, дѣйствительно, былъ женскимъ кумиромъ. Минуту, кажется, трудно было улучить такую, когда-бъ у него не была въ гостяхъ какая-нибудь женщина, и все это были женщины комильфотныя—«дамы сильныхъ страстей и густыхъ вуалей». Невольно слыхалъ я изъ-за моихъ дверей и нѣжныя ласки, и страстные, кровь кипятящіе вздохи, и бѣшеные взрывы ревности, и опасенія, и страхи, и тѣ ехидныя слова, которыми страсть оправдываетъ себя передъ разсудкомъ, и привыкъ я ко всему этому очень скоро и на все это не обращалъ давно никакого вниманія.

— Я очень часто слышу, любезный Истоминъ, что говорятъ ваши дамы,—разъ или два намекалъ я моему сосѣду.

— Нельзя же, голубчикъ, безъ этого—надо же имъ гдѣнибудь и поговорить,—отвѣчалъ онъ мнѣ, словно не понимая моего намека.

Такъ мы и жили. Къ намъ обоимъ заходилъ иногда Фрицъ Фрицовичъ (такъ звалъ Шульца Истоминъ), и мы

частенько навѣщали Фрица Фрицовича. Навѣщая насъ, бездомовниковъ, Фридрихъ Фридриховичъ являлся человѣкомъ самымъ простодушнымъ и безпретендательнымъ: все ему, бывало, хорошо, что̀ ни подашь; все ловко, гдѣ его ни посадишь. Зайдя же ко мнѣ второй разъ, онъ прямо спросилъ:

— А не пьютъ ли у васъ въ деревнѣ въ это время водки?

— Извините, говорю, Фридрихъ Фридриховичъ, водка есть, но закусить, кажется, нечѣмъ.

— Ну, что̀ тамъ, отвѣчаетъ, за закуска еще; истинные таланты не закусываютъ. А вы вотъ, говоритъ, поаккомпанируйте-ка!

Я опять извиняюсь; говорю:

— Рано, не могу утромъ пить.

— Ну, да я, впрочемъ, солистъ, — отвѣчалъ Шульцъ и спокойно выпилъ вторую рюмку.

Таковъ онъ былъ и всегда, и во всемъ, и я, и Истоминъ держались съ нимъ безъ всякой церемоніи. Къ Норкамъ Истоминъ не ходилъ и не тянуло его туда. Только нужно же было случиться такому грѣху, что попалъ онъ, наконецъ, въ эту семью и что на общее горе - злосчастіе его туда потянуло.

Объ этомъ теперь и наступаетъ повѣствованіе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Разъ, вскорѣ какъ стала зима, сижу я у себя и работаю. Вдругъ, этакъ часу въ первомъ, слышу звонокъ. Является моя «прислуга» и шепчетъ:

— Тамъ одинъ какой-то дама васъ спрашиваетъ.

Выхожу я—смотрю, Ида Ивановна сидитъ на диванѣ и улыбается, а возлѣ нея картонный ящикъ и большущій свертокъ въ толстой синей бумагѣ.

— Здравствуйте! — говоритъ Ида Ивановна: — устала я до смерти.

— Кофе, говорю, чашечку, хотите?

— А крѣпкій, спрашиваетъ,—у васъ кофе варятъ?

— Какой хотите сварятъ.

— Ну, такъ дайте; только самаго крѣпкаго.

«Прислуга» моя захлопотала.

— А вѣдь я къ вамъ это какъ попала?—начала съ своимъ обыкновеннымъ спокойствіемъ Ида Ивановна.—Я вотъ

контрабанды накупила и боюсь нести домой, чтобъ не попасться съ нею кому не слѣдуетъ. Къ Бертѣ зайти еще пуще боюсь, чтобы не встрѣтиться.—Пусть это все у васъ полежитъ.

— Извольте, говорю,—съ радостью.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, это не то, что контрабанда, а разныя, знаете, такія финти-фанты, которыя надо сберечь, чтобъ ихъ пока не увидали дома. Дайте-ка мнѣ какой-нибудь ящикъ въ вашемъ комодѣ; я сама все это хорошенько уложу своими руками, а то вы все перемнете.

Я очистилъ ящикъ; Ида Ивановна все въ него бережненько посложила.

— Вы знаете, что̀ это такое? — начала она, садясь за кофе.—Это здѣсь платьице, мантилька и разныя такія вещицы для Мани. Вѣдь черезъ четыре дня ея рожденіе; ей шестнадцать лѣтъ будетъ—первое совершеннолѣтіе; ну, такъ мы всѣ готовимъ ей сюрпризы, и я не хочу, чтобы кто-нибудь зналъ о моемъ подаркѣ. Я нарочно даже чужой модисткѣ заказывала. Вы тоже, смотрите, пожалуйста, не проговоритесь.

— Нѣтъ, зачѣмъ же!

— То-то: зачѣмъ! Это всегда такъ ни зачѣмъ дѣлается.— Я тогда утромъ пришлю дѣвушку, вы ей все это и отдайте.

— Хорошо-съ, говорю, Ида Ивановна,—и тотчасъ, какъ проводилъ ее за двери, отправился на Невскій, взялъ новое изданіе Пушкина и отдалъ его Миллеру переплесть въ голубой атласъ со всякими приличными украшеніями и съ вытисненнымъ именемъ Маріи Норкъ.

Вечеромъ въ тотъ же день я зашелъ къ Норкамъ и засталъ въ магазинѣ одну Иду Ивановну.

— Послушайте-ка!— позвала она меня къ себѣ: — вотъ умора-то! Бабушка посылала Вермана купить канарейку съ клѣткой и этотъ Соважъ таки-протащилъ ей эту клѣтку такъ, что никто ея не видалъ; бабушка теперь ни одной души не пускаетъ къ себѣ въ комнату, а канарейка трещитъ на весь домъ, и Манька-плутовка догадывается, на что̀ эта канарейка.—Преуморительно.

— Да чего это, говорю, вы, Ида Ивановна, такъ ужъ очень со всѣмъ этимъ секретничаете?

— Ахъ, какъ же! Вѣдь ужъ если все это дѣлать, то надо

сюрпризомъ! Неужто-жъ вы не понимаете, что это сюрпризомъ надо?

При всемъ желаніи Иды Ивановны ничѣмъ не нарушать обыденный порядокъ, весь домъ Норковъ точно приготовлялся къ какому-то торжественному священнодѣйствію. Маня замѣчала это, но дѣлала видъ, что ничего не понимаетъ, краснѣла, тупила въ землю глаза и безвыходно сидѣла въ своей комнатѣ.

Наступилъ, наконецъ, и долгожданный день совершеннолѣтія. Дѣвушка Иды Ивановны ранехонько явилась ко мнѣ за оставленными вещами, я отдалъ ихъ и побѣжалъ за своимъ Пушкинымъ. Книги были сдѣланы. Часовъ въ десять я вернулся домой, чтобы переодѣться и идти къ Норкамъ. Когда я былъ уже почти совсѣмъ готовъ, ко мнѣ зашелъ Шульцъ. Въ рукахъ у него была длинная цилиндрическая картонка и небольшой свертокъ.

— Посмотрите-ка, отецъ родной! — сказалъ онъ, вытаскивая изъ картонки огромную соболью муфту съ бѣлымъ атласнымъ подбоемъ и большими шелковыми кистями.

— Прелесть,—произнесъ я, погладивъ рукою муфту.

Фридрихъ Фридриховичъ подулъ противъ шерсти на то мѣсто, гдѣ прошла моя рука, и, встряхнувъ муфту, опустилъ ее снова въ картонку.

— А эта-съ штукенція? — запыталъ онъ, раскатавъ дорогой соболій же воротникъ, совсѣмъ ужъ готовый и настеганный на шелковую подкадку.

— Хорошо.

— Оцѣните?

— Рублей триста.

— Пятьсотъ!

— Очень хорошо.

— А Бертинька повезла этакую бархатную, нынѣшнюю шубку на гагачьемъ пуху; знаете, какія нынче дѣлаютъ, съ этакой кружевной пелериной. Понимаете, ее и осенью можно носить съ кружевомъ, и зимой: пристегнула вотъ этотъ воротничишко—вотъ и зимняя вещь. Хитра голь на выдумки: правда? — воскликнулъ онъ, самодовольно улыбнувшись и ударивъ меня фамильярно по плечу.

— Да это все кому же?

— Да Манькѣ же, Манькѣ!—Шульцъ перемѣнилъ голосъ и вдругъ заговорилъ тономъ особенно мягкимъ и серьез-

нымъ:—вѣдь, что жъ, правду сказать, нужно, въ самомъ дѣлѣ, какъ говорится, соблюдать не одну же форменность.

Гдѣ это и при какихъ это случаяхъ *говорится,* что «нужно соблюдать не одну форменность» — это осталось секретомъ Фридриха Фридриховича. Онъ, очевидно, цацкался передо мною съ своими дорогими подарками и, попросивъ меня одѣваться поскорѣе, понесъ свои коробки къ Истомину.

Черезъ пять или десять минутъ я засталъ ихъ съ Истоминымъ, разсуждавшихъ о чемъ-то необыкновенно весело. Рядомъ съ муфтою Мани на диванѣ лежала другая муфта, нѣсколько поношенная, но несравненно болѣе дорогая и роскошная.

— Эта, ваше степенство, не по нашимъ капиталамъ,— говорилъ Фридрихъ Фридриховичъ, выводя пальцемъ эсы по чужой муфтѣ, которая видимо сбила съ него изрядную долю самообожанія. — Какія ручки, однако, должны носить эту муфту?

— Ручки весьма изрядныя,—отвѣчалъ, тщательно повязывая передъ зеркаломъ галстукъ, Истоминъ. — Насчетъ этихъ ручекъ есть даже нѣкоторый анекдотъ,—добавилъ онъ, повернувшись къ Шульцу.—У этой барыни мужъ дорогого стоитъ. У него руки совсѣмъ мацерированныя: по двадцати разъ въ день ихъ моетъ; самъ ни за что почти не берется, руки никому не подаетъ безъ перчатки и увѣряетъ всѣхъ, что и жена его не можетъ дотронуться ни до чьей руки.

Фридрихъ Фридриховичъ вдругъ такъ и залился счастливѣйшимъ смѣхомъ.

— Ну, что жъ, онъ вѣдь и правъ! Мужъ-то, я говорю, онъ вѣдь и правъ!—взвизгивалъ Фридрихъ Фридриховичъ.— Она вѣдь *за руки* только не можетъ трогаться.

Я видѣлъ въ зеркало какъ Истоминъ, снова взявшійся за свой галстукъ, тоже самодовольно улыбнулся.

— Понюхайте-ка,—сказалъ, завидя меня и поднимая муфту, Фридрихъ Фридриховичъ:—чѣмъ, сударь, это пахнетъ?

Не понимая, въ чемъ дѣло, я поднесъ муфту къ лицу. Она пахла тѣми тонкими англійскими духами, которые, по словамъ одной моей знакомой дамы, сообщаютъ всему *запахъ счастья.*

— Счастьемъ пахнетъ,—отвѣчалъ я, кладя на столъ муфту.

— Да-съ, вотъ какія у Романа Прокофьича бываютъ гостьи, что все отъ нихъ счастьемъ пахнетъ.

Шульцъ опять расхохотался.

— А позвольте-ка, господа, лучше прибрать это счастье къ мѣсту, — проговорилъ Истоминъ: — сравнили, и будетъ сю любоваться, а то чего добраго... ее тоже, пожалуй, кое-кто знаетъ.

— Ну-съ! такъ во походъ пошли гусары? — спросилъ Шульцъ, видя, что Истоминъ совсѣмъ готовъ.

Я взялъ мою шляпу и мои книги, обернутыя яркою цвѣтною бумагою.

— Тоже подарокъ?—спросилъ Шульцъ.

Я отвѣчалъ утвердительно.

Истоминъ остановился посреди комнаты.

— Что жъ это, господа? — заговорилъ онъ. — Вѣдь это ужъ не хорошо: всѣ вы съ подарками, а я съ пустыми руками.

— Ну, ничего! что̀ тамъ еще за подарки!—Вы нечаянный гость; я скажу, что утащилъ васъ насильно,—убѣждалъ его Фридрихъ Фридриховичъ.

— Да! да позвольте-ка-съ еще! У меня и у самого сейчасъ найдется для нея подарокъ, — воскликнулъ Романъ Прокофьичъ и, торопливо вытащивъ изъ-за мольберта одинъ изъ стоявшихъ тамъ запыленныхъ картоновъ, вырѣзалъ изъ него прихотливый, неправильный овалъ, обернулъ этотъ кусокъ бумагою, и мы вышли. Не знаю почему, но мнѣ было ужасно непріятно, что Истоминъ, послѣ этого циническаго разговора о дамской муфтѣ, идетъ въ домъ Норковъ, да еще вмѣстѣ съ нами, и въ этотъ святой для цѣлаго семейства день совершеннолѣтія Мани. Тѣмъ, кто знакомъ съ предчувствіями, я могу сказать, что у меня были самыя гадкія предчувствія, и они усилились еще болѣе, когда передъ нами отворилась дверь въ залу и отъ стѣны, у которой стояло бабушкино кресло и сидѣло нѣсколько родныхъ и стороннихъ особъ, отдѣлилась навстрѣчу намъ фигура Мани, бѣленькая и легонькая, какъ морская пѣна.

Я никогда не забуду всѣхъ мельчайшихъ подробностей здѣшней картины, навсегда запечатлѣвшейся въ моей памяти.

Вся зала была обновлена въ это самое утро. Обновленіе ея состояло въ томъ, что на окнахъ были повѣшены новыя занавѣси; съ фортепьяно была снята клеенка, бронзовые канделябры были освобождены изъ окутывавшей ихъ цѣлый годъ кисеи и обитые голубымъ рипсомъ стулья и кресла

нескромно сбросили съ себя свои коленкоровыя сорочки. Кромѣ того, почти во всю залу (она же и гостиная) былъ разостланъ огромный англійскій коверъ, принесенный съ собою въ приданое еще бабушкой. Вдоль одной стѣны, прямо противъ двери, на своемъ подвижномъ креслѣ сидѣла сама бабушка. Старушка была одѣта въ бѣломъ пикейномъ капотѣ, съ множествомъ кружевныхъ обшивокъ и кругленькими, похожими на горошенки, бѣленькими же пуговками. На старческой головѣ бабушки былъ высокій полуфламандскій чепчикъ съ туго накрахмаленными оборками и полосатыми лентами, желтой и оранжевой. Рядомъ съ кресломъ старушки, въ другомъ креслѣ, помѣщался пасторъ Абель въ длинномъ черномъ сюртукѣ и бѣломъ галстукѣ. Возлѣ пастора сидѣла мадамъ Норкъ, тоже въ бѣломъ платьѣ и съ натуральными сѣдыми буклями; у плеча мадамъ Норкъ стоялъ Германъ Верманъ, умытый, вычищенный и долго чесавшійся, но непричесанный, потому что его «дикіе» волосы ни за что не хотѣли ложиться и топорщились, по обыкновенію, во всѣ стороны. На Германѣ Верманѣ былъ свѣтло-коричневый фракъ, бѣлый жилетъ, очень кургузыя синія панталоны и красный галстукъ, едва схватывавшій огромнѣйшіе тугіе полисоны немилосердно накрахмаленной манишки. Далѣе сидѣла Ида Ивановна, Берта Шульцъ, булочница Шперлингъ и ея дочь, наша старая знакомая, подруга Мани, Клара Шперлингъ. Кромѣ пастора и Вермана, всѣ рѣшительно были одѣты во все бѣлое, а черненькая Клара Шперлингъ смотрѣла настоящей мухой въ сметанѣ.

Маня стояла между бабушкой и пасторомъ, который говорилъ ей что-то такое, что̀ дѣвушку видимо приводило въ состояніе нѣкоторой ажитаціи, а у ея старой бабушки выдавливало слезы.

При нашемъ появленіи въ дверяхъ, пасторъ и бабушка разомъ освободили ручки Мани, и дѣвушка, заколыхавшись какъ кусокъ бѣлой пѣны, вышла навстрѣчу намъ на середину комнаты.

Далѣе Шульцъ не пустилъ ее. Онъ поднялъ торжественно передъ собою ладонь и далъ почувствовать, что сейчасъ начнется что-то такое, требующее благоговѣйнѣйшей тишины и вниманія.

Съ этимъ онъ кашлянулъ, поднялъ на Маню самый офиціальный взглядъ и произнесъ:

— Сестра!

— Тсс! — пронеслось по залѣ, хотя, впрочемъ, и безъ того никто не нарушалъ ни малѣйшей тишины.

— Привѣтствую тебя въ этотъ торжественный день твоей жизни!—началъ Шульцъ тономъ и дикціею проповѣдника.— Привѣтствую тебя не какъ ребенка, а какъ женщину— какъ человѣка, который отнынѣ получаетъ въ обществѣ свои права и принимаетъ свои обязанности передъ семьей и передъ обществомъ. Дай Богъ... (пасторъ, а за нимъ и всѣ присутствующіе при словѣ «Богъ» поднялись съ мѣстъ и стали. Шульцъ продолжалъ еще торжественнѣй...) Дай Богъ, повторяю я, преданнѣйшій слуга и братъ твой, усердно моля за тебя умершаго на крестѣ Спасителя, чтобы всѣ великія и святыя обязанности женщины стали для тебя ясны, какъ ясно это солнце, освѣщающее дорогой для всѣхъ насъ день твоего совершеннолѣтія (солнце ярко и весело смотрѣло въ окна черезъ невысокія деревья палисадника). Дай Богъ, чтобы зло и неправда человѣческая бѣжали отъ тебя, какъ тьма бѣжитъ отъ лучей этого солнца! Honestus rumor, alterum patrimonium est, говоритъ мудрая латинская пословица, то-есть: хорошая репутація замѣняетъ наслѣдство; а потому болѣе всего желаю тебѣ, чтобы въ твоемъ лицѣ и мы, и всѣ, кто тебя встрѣтитъ въ жизни, видѣли повтореніе добродѣтелей твоей высокопочтенной бабушки, твоего честнаго отца, душа котораго теперь присутствуетъ здѣсь съ нами (Софья Карловна заморгала глазами и заплакала), твоей матери, взлелѣявшей и воспитавшей своими неусыпными трудами и тебя, и сестеръ твоихъ, изъ которыхъ одной я обязанъ всѣмъ моимъ счастьемъ! (Берта Ивановна заплакала; Шульцъ подошелъ, поцѣловалъ руку жены, тоже отеръ слезу и закончилъ). Дѣвица Марія Норкъ! дорогая, новорожденная сестра наша, прими наше братское привѣтствіе и осчастливь себя и насъ воспитаніемъ въ себѣ тѣхъ высокихъ качествъ, которыхъ мы въ правѣ ждать отъ твоего прекраснаго сердца.

Произнеся эту, всеконечно заранѣе обдуманную рѣчь, Фридрихъ Шульцъ вдругъ всталъ на колѣни, взялъ Маню за обѣ руки, и сильно растроганнымъ голосомъ, въ которомъ въ самомъ дѣлѣ дрожали искреннія слезы, проговорилъ:

— Матушка! Машуточка! утѣшь-оправдай на себѣ нашу

родную, русскую пословицу, что «отъ яблоньки яблочко недалеко катится!»

Шульцъ взялъ и поклонился Манѣ въ ноги, вѣско ударивъ лбомъ о полъ.

Маня быстро опустилась, схватила зятя за плечи, и оба вмѣстѣ поднялись на ноги.

Фридрихъ Фридриховичъ поцѣловалъ ее въ губы и потомъ еще разъ поцѣловалъ одну за другою обѣ ея руки.

Я подошелъ и въ замѣшательствѣ тоже поцѣловалъ Манину руку. Маня, у которой глаза давно были полны слезъ, смѣшалась еще болѣе, и рука ея дрогнула. За мною въ ту же минуту подошелъ къ ней Истоминъ, сказалъ что-то весьма почтительное, и смѣло взялъ и также поцѣловалъ руку Мани. Дѣвушка совсѣмъ переконфузилась и пошатнулась на мѣстѣ.

На ея счастье, Шульцъ, который въ это время успѣлъ уже обмахнуть голубымъ фуляромъ свои панталоны и лацканы фрака, сказалъ:

— Позволь, матушка, отдать тебѣ на память объ этомъ днѣ вотъ эти бездѣлушки.

Онъ вынулъ муфту и воротникъ и, подавая ихъ Манѣ, добавилъ:

— Пусть это будетъ дополненіемъ къ подарку сестры твоей Берты.

— На что̀ такъ много? — заговорила Маня, потерянно глядя во всѣ стороны и прикладывая къ пылающимъ щекамъ свои ручки.

— Марья Ивановна! — позвольте мнѣ просить васъ принять и отъ меня на память вотъ это,—сказалъ я, подавая ей пять томовъ Пушкина.

Маня прищурила глазки, взглянула на переплетъ, протянула мнѣ обѣ ручки и отвѣчала:

— Благодарю васъ: я возьму.

— А я, Марья Ивановна, не зналъ, что сегодня день вашего рожденія и что я васъ увижу нынче,—началъ Истоминъ. — Я принесъ вамъ то, что̀ у меня было дома, и вы тоже будете такъ снисходительны — возьмете это отъ меня на память о моемъ знакомствѣ съ вами и о вашемъ совершеннолѣтіи.

Истоминъ сбросилъ съ картона бумагу и подалъ его Манѣ; та взглянула и зардѣлась.

Всѣ мы подошли къ картону и всѣ остановились въ изумленіи и восторгѣ. Это былъ кусокъ прелестнѣйшаго этюда, приготовленнаго Истоминымъ для своей новой картины, о которой уже многіе знали и говорили, но которой до сихъ поръ никто не видалъ, потому что при каждомъ появленіи посѣтителей, допускавшихся въ мастерскую художника, его мольбертъ съ подмалеваннымъ холстомъ упорно поворачивался къ стѣнѣ.

На поднесенномъ Манѣ кускѣ картона, величиною болѣе полуаршина, была молодая русалка, въ первый разъ всплывшая надъ водою. Этюдъ былъ писанъ въ три тона. Русалка, впервые вынырнувшая со дна рѣчки, прыгнула на сонный берегъ, гдѣ дикій тминъ растетъ и гдѣ цвѣтутъ, качаяся, фіалки возлѣ буквицъ. Вся она была цѣломудренно закрыта тминомъ, сквозь стебли котораго только кое-гдѣ чуть-чуть очерчивались свѣжіе контуры ея тѣла. Одна голова съ плечами любопытно выставлялась впередъ и внимательно смотрѣла удивленными очами на невѣдомый для нея надводный міръ. Никакое другое искусство, кромѣ живописи, не могло такъ выразить всего, что̀ выражала эта восхитительная головка. Любопытство, ужасъ, восторгъ и болѣзненная тревога — все это разомъ выступало на этихъ сломанныхъ бровкахъ, полуоткрытомъ ротикѣ, прищуренныхъ глазкахъ и поблѣднѣвшихъ щекахъ. Но всего болѣе поразило всѣхъ въ этой головкѣ какое-то странное, наводящее ужасъ сходство русалки съ Манею. Это не былъ вѣрный голбейновскій портретъ и не эффектная головка Греза: это было что-то такое... какъ бы случайное сходство, какъ бы портретъ съ двойника, или какъ будто это она, Маня, но въ лунатизмѣ, что-ли, или въ какомъ-то непонятномъ для насъ восторженномъ состояніи.

— Она впервые видитъ свѣтъ. По миѳологіи, у нихъ тоже есть совершеннолѣтіе, до котораго молодая русалка не можетъ всплыть надъ водою,—началъ мягко и пріятно разсказывать Истоминъ.— Это очень поэтическій, славянскій миѳъ. Вообразите себѣ, что она, до извѣстныхъ тамъ лѣтъ своей жизни, жила въ кристальныхъ палатахъ на днѣ рѣки; слыхала тамъ о корабляхъ, о буряхъ, о людяхъ, о ихъ любви, ненависти, о горѣ. Она плавала въ глубинѣ, видала, какъ въ воду опускается столбъ луннаго свѣта, слышала на берегахъ шумъ другой жизни; надъ головою ея пробѣгали

корабли, отрѣзавшіе лунный свѣтъ отъ дна рѣчного; но она ничего, рѣшительно ничего не видала, кромѣ того, что̀ тамъ есть у нихъ подъ водою. Она знаетъ, что ея мать когда-то утонула оттого, что былъ когда-то человѣкъ, который любилъ ее, потомъ разлюбилъ, «покинулъ и на женщинѣ женился»; но ка̀къ все это тамъ? что̀ тамъ такое? какіе это живые люди? какъ тамъ надъ водою дышатъ? какъ любятъ и покидаютъ? — все это ей совершенно непонятно. И вотъ ея совершеннолѣтіе исполнилось; здѣсь вы видите, какъ она только-что всплыла; надводный воздухъ остро рѣжетъ ея непривычное тѣло и въ груди ей больно отъ этого воздуха, а между тѣмъ все, что̀ передъ нею открылось, поражаетъ ее; вдругъ все это, что̀ понималось смутно, уясняется; все начинаетъ ей говорить своимъ языкомъ, и она... Видите... Здѣсь на этомъ кускѣ, впрочемъ, нѣтъ этого, а тамъ — на цѣлой картинѣ, тутъ влѣво рѣзвятся другія русалки хохотуши, щекотуши — всѣ молодыя, красивыя... Одна изъ нихъ слышитъ, что

Птичка подъ кустами
Встрепенулася во мглѣ;

Другая шепчетъ:

Между мѣсяцемъ и нами,
Кто-то ходитъ по землѣ.

А эта вся... одна, закрывшись дикимъ тминомъ, въ сто глазъ и столько же ушей все слушаетъ, все видитъ; и не птичка, не тотъ, кто ходитъ гдѣ-то по землѣ, а *все, все разомъ* оковало ее, и вотъ она, вы видите, какая! Не знаю, впрочемъ, сумѣлъ ли я хоть плохо передать холсту, что̀ думалъ и что̀ хотѣлось бы сказать этой картиной чувству,— докончилъ тихо Истоминъ, осторожно поставивъ картонъ на свободное кресло.

Истоминъ былъ очень хорошъ въ эту минуту. Если бы здѣсь было нѣсколько женщинъ, впечатлительныхъ и способныхъ увлекаться, мнѣ кажется, онѣ всѣ вдругъ полюбили бы его. Это былъ художникъ-творецъ, въ самомъ обаятельномъ значеніи этого слова. Фридрихъ Фридриховичъ, глядя на него, пришелъ въ неподдѣльный, художественный восторгъ. Онъ схватилъ обѣ руки Истомина, сжалъ ихъ и, глядя ему въ глаза, проговорилъ съ жаромъ:

— Вы будете велики! Вы будете нашею гордостью; вы будете славою русскаго искусства!

Истоминъ покраснѣлъ, обнялъ Шульца и торопливо отошелъ къ окошку, и — чудо чудное! на глазахъ его вдругъ мелькнули нервныя слезы.

Чортъ его знаетъ, до чего онъ становился прекрасенъ въ этомъ разстройствѣ!

Я подошелъ къ окну и сталъ рядомъ съ Истоминымъ.

— Дьяволъ бы совсѣмъ взялъ эту глупость!—началъ онъ мнѣ на ухо, стараясь въ то же время сморгнуть и утереть свою слезу. — Выдумать еще надо что-нибудь глупѣе, какъ придти на семейный праздникъ для того, чтобы поздравить дѣвушку и вдругъ самому напроситься на общее вниманіе!

Истоминъ нетерпѣливо дернулъ зубами уголокъ своего платка и сунулъ его сердито въ карманъ фрака.

Онъ былъ совершенно правъ. О Манѣ и ея празднествѣ совершенно забыли. Всѣ столпились около этюда, который теперь держалъ въ рукахъ пасторъ Абель. Даже старушка-бабушка взялась руками за колеса своего кресла и поѣхала, чтобы соединиться съ прочими у картины. Пасторъ Абель держалъ картину въ одной лѣвой рукѣ и, сильно откинувшись головою назадъ, разсматривалъ ее съ чинной улыбкой аугсбургскаго исповѣданія; всѣ другіе жались около пасторовыхъ плечъ, а выѣхавшая бабушка зазирала сбоку. Однако, старушкѣ было очень хорошо видно картину, потому что она первая заговорила:

— Aber warum?.. какъ она совсѣмъ выглядитъ похожа на Маньхенъ!

Всѣ въ одну минуту оглянулись на Маню, которая стояла на своемъ прежнемъ мѣстѣ и смотрѣла на Истомина, вытягивая впередъ голову, точно хотѣла сейчасъ тронуться и подбѣжать къ нему.

— Есть сходство,—произнесъ съ достоинствомъ пасторъ.

— Совсѣмъ Маня! — подтвердила съ восклицаніемъ Ида Ивановна.

— Романъ Прокофьичъ! Зачѣмъ это такое сходство? Вѣдь это не нарочно писано; я самъ видѣлъ, какъ вы вырѣзали этотъ кусокъ изъ цѣлаго картона, — заговорилъ Фридрихъ Фридриховичъ.

Истоминъ обернулся, закинувъ назадъ разсыпавшіеся черные кудри, и, дѣлая шагъ къ сгруппировавшейся семьѣ, сказалъ:

— Это?.. это художественная вольность, которую вы

должны простить мнѣ и которую никто не въ правѣ поставить намъ ни въ судъ, ни въ осужденіе. Фантазія сама по себѣ все-таки фантазія человѣческая; она слаба и ничтожна передъ осуществленною фантазіею природы, передъ натурою. Я очень долго бился съ этой головкой и она мнѣ все не удавалась. Для такихъ лицъ нѣтъ много натурщицъ. Наши натурщицы все слишкомъ обыкновенныя лица, а остановить первую встрѣчную женщину, которая подходитъ подъ вашъ образъ, слишкомъ романтично и ни одна не пойдетъ. Настолько нѣтъ ни въ комъ сочувствія къ искусству. Въ тотъ именно день, когда, помните, Марья Ивановна въ бурю долго не приходила домой, и когда мы ее искали, я въ первый разъ увидѣлъ ея головку и... это была именно та головка, которой мнѣ недоставало для картины.

— Зачѣмъ же вы ее, мой голубчикъ, вырѣзали-то? — говорилъ съ добродушнымъ упрекомъ Фридрихъ Фридриховичъ.

— А что-съ?

— Да вѣдь она-жъ нужна вамъ.

— Я теперь сто разъ кряду нарисую вамъ ее на память,—отвѣчалъ небрежно Истоминъ.

— Только она, что-то, знаете какъ будто... измѣнена въ чемъ-то.

— Да, выраженіе, конечно... Это дѣлаетъ масса новыхъ впечатлѣній, которыя охватываютъ ее... Это такъ и нужно.

— И есть что-то страшное,—замѣтила бабушка.

— Да-да, именно страшное есть, — утверждалъ пасторъ, вертя мизинцемъ свободной руки надъ бликами, падавшими на носъ и освѣщенную луною щеку русалки.

— Гм! наша Маньхенъ попадаетъ на историческую картину, которою будутъ восхищаться десятки тысячъ людей... Богъ знаетъ, можетъ-быть, даже и цѣлыя поколѣнія! — воскликнулъ весело Фридрихъ Фридриховичъ, оглядываясь на Маню, которая только повернулась на ногахъ и опять стояла на томъ мѣстѣ, не сводя глазъ съ Истомина.

— Извольте, фрейлейнъ Марія, вашу картину,—произнесъ пасторъ, подавая ей картину.

Маня взяла этюдъ и, зардѣвшись, сдѣлала Истомину полудѣтскій книксенъ.

— Нѣтъ, господа, ужъ потрудитесь ваши подарки сами положить на ея совершеннолѣтній столикъ, — попросила насъ Софья Карловна.

— Пожалуйте! — позвала она, подходя къ двери своей крошечной гостиной.

Мы всѣ довольно торжественно прошли съ своими приношеніями черезъ маленькую гостиную и коридорчикъ и вступили въ комнату новорожденной. Комната эта была вся освѣжена и глядѣла олицетвореніемъ дѣвственнаго праздника Мани. На окнахъ были новыя бѣлыя кисейныя занавѣски съ пышными оборками наверху и съ такими же буфами у подвязей; посрединѣ окна, подходившаго ближе къ ясеневой кроваткѣ Мани, на длинной мѣдной проволокѣ висѣла круглая металлическая клѣтка, въ которой порхала подаренная бабушкой желтенькая канарейка; весь уголъ комнаты, въ которомъ стояла кровать, былъ драпированъ новымъ голубымъ французскимъ ситцемъ и надъ этою драпировкою, въ самомъ углѣ, склоняясь на Манино изголовье, висѣло большое черное распятіе съ вырѣзанною изъ слоновой кости бѣлою фигурою Христа. Вся дѣвственная постелька Мани, ничѣмъ, впрочемъ, не отличавшаяся отъ постели Иды Ивановны, была бѣла какъ кипѣнь и въ головахъ ея стоялъ небольшой столъ, весь сверху до низу обдѣланный бѣлою кисеею съ буфами, оборками и широкими розовыми лентами по угламъ. На этомъ столѣ, посрединѣ помѣщался на большомъ подносѣ очень хорошій тортъ съ латинскими буквами «M и N». Около торта размѣщались принесенныя сегодня пасторомъ: нѣмецкая библія въ зеленомъ переплетѣ съ золотымъ обрѣзомъ; большой красный дорогой стаканъ съ гравированнымъ видомъ Мюнхена, и на немъ, на бѣлой ниточкѣ, чья-то карточка; рабочая корзиночка, съ бумажкою, на которой было написано: «Клара Шперлингъ», и, наконецъ, необыкновенно искусно сдѣланный швейцарскій домикъ, съ слюдовыми окнами, балкончиками, дверьми, загородями и камнями на крышѣ. На чистомъ липовомъ ящикѣ, изъ котораго домикъ этотъ былъ вынутъ и въ который онъ снова могъ вдвигаться, на дощечкѣ было тщательно выписано имя Германа Вермана, и ниже годъ, мѣсяцъ и число настоящаго празднества. Рядомъ съ этимъ бѣлымъ столомъ стоялъ роскошный, ажурный рабочій столикъ, отдѣланный внутри зеленою тафтою. Это былъ подарокъ матери. На этомъ столикѣ лежало бархатное пальто, принесенное Бертой Ивановной, и сюда же Шульцъ положилъ соболевый воротникъ и муфту. Я поло-

жилъ сочиненія Пушкина къ стѣнѣ на бѣломъ столикѣ, а Истоминъ поставилъ на эти книги свою картину.

— Какая прекрасная работа! — сказалъ онъ, разсматривая деревянный швейцарскій домикъ.

— Это нашъ добрый Германъ сдѣлалъ, — отвѣчала ему Софья Карловна.

— Прелестная, замѣчательная работа!—продолжалъ Истоминъ, обращаясь къ Герману.

Тотъ заложилъ большой палецъ правой руки въ петлю своего коричневаго фрака и поклонился Истомину съ достоинствомъ.

Пасторъ, Ида и всѣ, кромѣ бабушки, были въ этой комнатѣ и цѣлой компаніей всѣ снова возвратились въ залу, гдѣ насъ ждалъ кофе, русскій пирогъ съ дичиннымъ фаршемъ и полный завтракъ со множествомъ всякаго вина. Софья Карловна безпрестанно выбѣгала и суетилась, Маня сидѣла возлѣ бабушки; Берта Ивановна усердно кушала, держа какъ-то на отлетѣ оба тоненькіе мизинца своихъ маленькихъ бѣлыхъ ручекъ. Мужчины всѣ ѣли очень прилежно, но Ида Ивановна все-таки наблюдала за ними и, стоя у стола, безпрестанно подкладывала то тому, то другому новыя порціи.

— Ѣшьте,—говорила она мнѣ, кладя второй кусокъ очень вкусной рыбы.

— Полноте, Ида Ивановна! не могу никакъ, — отпрашивался у нея я.

— Ѣшьте-ка, ѣшьте,—отвѣчала она съ вѣчнымъ своимъ спокойствіемъ, не принимая отъ меня никакихъ оправданій. Съ другими она поступала совершенно такъ же, только вмѣсто фамильярнаго *ѣшьте*, на всѣ ихъ отговорки, тихо отвѣчала имъ *кушайте*.

— Не выбрасывать же стать,—шепнулъ я ей, возлѣ ея локтя.

Ида Ивановна съ едва замѣтной улыбкой толкнула меня въ плечо и опять потащила кому-то новый кусокъ жаркого.

Фридрихъ Фридриховичъ не уступалъ свояченицѣ: какъ она угощала всѣхъ яствами, такъ онъ еще усерднѣе наливалъ гостей то тѣмъ, то другимъ виномъ. Даже когда пустыя блюда совсѣмъ сошли со стола и половина Маничкинаго торта была проглочена съ шампанскимъ, Фридрихъ Фридриховичъ и тогда все-таки не давалъ намъ отдыха.

— Позвольте, господа,—говорилъ онъ, не выпуская никого изъ-за стола.—Это все требуется непремѣнно допить.

— Помилуйте, Фридрихъ Фридриховичъ, куда же намъ еще пить!—отмаливались гости въ виду цѣлыхъ трехъ бутылокъ шампанскаго съ подрѣзанными проволоками у пробокъ.

— Нѣтъ, позвольте! Это совсѣмъ невозможно такъ оставлять,—убѣждалъ Фридрихъ Фридриховичъ..—Открытую бутылку нельзя оставлять въ хозяйствѣ. Это, во-первыхъ, значитъ зло оставлять, а потомъ отъ этого, наконецъ, прислуга балуется.

— Пожалуйте-ка,—относился онъ, приближая горлышко бутылки къ стакану пастора.

— О, ихъ канъ нихтъ, либеръ геръ Шульцъ! — отмаливался пасторъ.

— Ничего, господинъ пасторъ, ничего; это васъ подкрѣпитъ, — убѣждалъ Шульцъ и, дополнивъ стаканъ его аугсбургскаго преподобія, относился съ тѣми же доводами къ другимъ.

— Это васъ подкрѣпитъ, — говорилъ онъ, упрямо заставляя насъ непремѣнно допить все, и прибавлялъ: — пожалуйста, господа! пожалуйста, потрудитесь! пожалуйста, прошу васъ, чтобъ послѣ насъ люди не баловались.

Пасторъ, отстрадавъ, стукнулъ пустымъ стаканомъ и отдулся, а Шульцъ наступалъ на него снова, приглашая выпить «въ пользу дѣтскихъ пріютовъ».

— Капли не выпью больше, господинъ Шульцъ,— отказывался пасторъ.

— Въ пользу дѣтскихъ пріютовъ-то, господинъ пасторъ?

— Ни за что, господинъ Шульцъ.

— Въ пользу дѣтскихъ пріютовъ ни за что?

— О, mein Gott!—вздыхалъ сдававшійся на сильные доводы пасторъ.

Шульцъ налилъ ему стаканъ и внушительно замѣтилъ, что въ пользу дѣтскихъ пріютовъ и думать нельзя отказываться.

И въ пользу дѣтскихъ пріютовъ было, дѣйствительно, допито все такъ, что людямъ послѣ насъ ужъ не надъ чѣмъ было баловаться.

Вино рѣшительно оказало на всѣхъ свое, пока, впрочемъ, только хорошее вліяніе. Всѣ сдѣлались сердечнѣе и веселѣе.

Истоминъ, вставши изъ-за стола, отнесся съ большими комплиментами къ Верману.

— О, помилуйте! — сконфузился старый токарь, попрежнему стараясь усмирять свои торчащіе волосы.

— Я вамъ говорю не любезность, а я вамъ говорю просто, что я не видалъ такой легкой и отчетливой работы; это просто художественная... прекрасная вещь,—настаивалъ Истоминъ.

— Ню что это? Это, такъ будемъ мы смотрѣть совсѣмъ какъ настоящая бездѣлица. Что̀ говорить о мнѣ? Вотъ вы! вы артистъ, вы художникъ! вы можете — ви заттъ манъ дизэ?.. *творить!* А мы, мы люди... мы простой *ремесленникъ*. Мы совсѣмъ не одно... Я чувствую какъ это, что есть очень, что очень прекрасно; я все это могу очень прекрасно понимать... но я шары на бильярды дѣлать умѣю! Вотъ мое художество!

Истоминъ съ неподдѣльнымъ жаромъ взялъ Вермана за обѣ руки и, привлекая его къ себѣ, сказалъ:

— Всякій, кто чувствуетъ прекрасное, тотъ, либеръ геръ Верманъ, художникъ и истинный художникъ.

Истоминъ поцѣловалъ старика, и такъ крѣпко поцѣловалъ его и обнялъ, что обѣ крюковатыя ножки Соважа приподнялись отъ пола, дрыгнули на воздухѣ и показали свои подошвы.

Маничка смотрѣла на все это и (можетъ-быть, мнѣ это показалось) смотрѣла теперь именно тѣмъ самымъ взглядомъ, какимъ глядѣла изъ-за тмина и буквицъ истоминская русалка.

Сильно подгулявшіе разошлись по домамъ гости Норковъ и разошлись съ тѣмъ, чтобы вечеромъ непремѣнно сойтись здѣсь снова. Шульцъ хотѣлъ, чтобы мы всѣ провели вечеръ у него.

— У меня свободнѣй, очень дольше побаловать будетъ можно, — убѣждалъ онъ тещу, говоря, что здѣсь у нея неловко безпокоить бабушку; но сама бабушка, которой ближе всѣхъ касалась эта отговорка, рѣшительно возстала противъ перенесенія Манинаго праздника изъ материнскаго дома къ зятю.

— Ну, такъ ко мнѣ, господа, завтра зубы полоскать?— приглашалъ неотступный Шульцъ.

— Это можете, — сказала ему съ тихой улыбкою близко стоявшая Ида.

— Могу-съ?

— Можете, а сегодня это очень странно, что̀ вамъ за фантазія пришла уводить къ себѣ нашихъ гостей!

— Ну, да, да; у васъ, Ида Ивановна, всегда все странно. У васъ, — продолжалъ, выходя, Шульцъ: — все это... цирлихъ — манирлихъ... все это на тонкой деликатности; а у насъ, знаете, все попросту, по-мужицки. Такъ? — спросилъ онъ, ударивъ по плечу довольно крѣпко Истомина. Тотъ сильно вздрогнулъ и разсердился, не знаю, за то ли, что Шульцъ такъ пошутилъ съ нимъ, или за то, что онъ самъ вздрогнулъ.

Такъ окончился нашъ сытный завтракъ, а въ восемь часовъ вечера мы снова были у Норковъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Несмотря на то, что семейство Норкъ, какъ я уже одинъ разъ сказалъ, жило очень скромно и мнѣ никогда не доводилось видѣть у нихъ почти никого стороннихъ, но въ этотъ вечеръ оказалось, что знакомство у нихъ все-таки гораздо обширнѣе, чѣмъ я предполагалъ. Кромѣ семейства пастора, который явился съ женою и двумя взрослыми дочерьми, набралось еще штукъ до восьми молодыхъ нѣмецкихъ дамъ и дѣвицъ. Мужчинъ, правда, было немного: всего три какіе-то неизвѣстные мнѣ солидные господина, молодой помощникъ пастора, учитель изъ Анненшуле, неизбѣжный на всякомъ земномъ пространствѣ полякъ, съ черными висячими усами, котораго Шульцъ весьма фамильярно называлъ почему-то «паномъ Кошутомъ», и сынъ булочника Шперлинга, свѣжій, веселый, бѣлокурый нѣмецъ, точно испеченный въ собственной булочной на домашнихъ душистыхъ сливкахъ и розовомъ маслѣ. Вечеръ шелъ по-нѣмецки. Солидные господа и пасторъ сѣли за карты, курили гамбургскія сигары и потягивали некрѣпкіе пунши, а остальное все немилосердно плясало. Плясалъ Шульцъ, плясала Ида Ивановна, плясала Софья Карловна, хотя и отказывавшаяся, но весьма слабо отказывавшаяся и, наконецъ, даже вовсе не отказавшаяся отъ гросфатера, который, при общихъ аплодисментахъ, протанцовала съ зятемъ. Не танцовала рѣшительно только одна бабушка, которая не могла оставить своего кресла, но и она сидѣла весь вечеръ и любовалась молодыми. На счастье ея, дѣйствительно, было чѣмъ любоваться. Извѣстное дѣло, что

если не гнаться за легкостью построенія рукъ и ногъ, да не требовать отъ каждаго лица особаго выраженія, то едва ли гдѣ-нибудь въ Петербургѣ можно набрать столько свѣженькихъ лицъ, бѣлыхъ плечъ и хорошихъ бюстовъ, сколько увидишь ихъ, находясь между добродѣтельнѣйшими васильевскими островитянками нѣмецкаго происхожденія. Разгорѣвшись отъ кадрилей и вальсовъ, пышныя гостьи Норковъ были точно розы: одна другой краше, одна другой свѣжѣе, и всѣ ихъ сочные бюсты, и всѣ ихъ добродѣтельныя уста говорили въ одно слово:

— Oh! Wir möchten *noch* ein bischen tanzen! (О, мы хотимъ еще танцовать).

Но лучше всѣхъ, эффектнѣй всѣхъ и всѣхъ соблазнительнѣй на этомъ праздникѣ все-таки была дочь хозяйки, Берта Ивановна Шульцъ, и зато ей чаще всѣхъ доставался и самый лучшій кавалеръ, Романъ Прокофьичъ Истоминъ. Какъ только Романъ Прокофьичъ первый разъ ангажировалъ Берту Ивановну на туръ вальса и роскошная нѣмка встала и положила свою бѣлую, далеко открытую матовую руку на плечо славянскаго богатырь-молодца, въ комнатѣ даже все тихо ахнуло и зашептало:

— Ein hübsches Pärchen! (Красивая пара!) Nu, das ist Mal ein Pärchen! Ein besseres Paar kann's nicht. (Вотъ такъ пара! Лучше этой пары ужъ быть не можетъ!)

Одинъ изъ солидныхъ гостей, стоя на этотъ случай у дверей залы, забылъ гдѣ онъ и съ кѣмъ онъ говоритъ и, изогнувшись сладострастнымъ сатиромъ, таинственно шепталъ на ухо Шульцу:

— Вотъ бы, я говорю, этой дамѣ какого мужа-то надо.

— И я то же самое думаю, — отвѣчалъ спокойно Фридрихъ Фридриховичъ, и съ невозмутимой увѣренностью въ своемъ превосходствѣ продолжалъ любоваться могучимъ Истоминымъ, поворачивающимъ на своей рукѣ вальяжную и, какъ лебедь, красивую Берту Ивановну.

Чуть только эта пара окончила второй кругъ и Истоминъ, остановившись у кресла Берты Ивановны, низко ей поклонился, всѣ словно по сигналу захлопали имъ въ ладоши и усерднѣе всѣхъ другихъ хлопалъ самъ, пробиравшійся къ женѣ, Фридрихъ Фридриховичъ.

— О, вы! — говорилъ онъ, улыбаясь и грозя пальцемъ стоявшему возлѣ Берты Ивановны Истомину. — Нѣтъ, ужъ

вы меня извините, я съ вами мою жену на необитаемый островъ ни за что не отпущу.

Берта Ивановна вспыхнула. Истомину тоже эта выходка не понравилась.

— Отчего же это? — отвѣчалъ онъ съ недовольной гримасой Шульцу.

— Отчего? Ну, батюшка, не хитрите, мы васъ не сегодня знаемъ! Нѣтъ, Бертинька, нѣтъ, мой другъ, какъ ты хочешь, а я тебя съ нимъ на необитаемый островъ не отпущу.

— Фридрихъ, — произнесла, краснѣя и качая съ упрекомъ головкой, Берта Ивановна, которую все это конфузило, но въ то же время, однако, было въ свою очередь и довольно пріятно.

— Ну, ну, ну, мамушка, пущу ужъ, пущу, — отвѣчалъ Фридрихъ Фридриховичъ, цѣлуя женину руку и отходя затѣмъ подъ руку съ тещей въ сторону для какихъ-то хозяйственныхъ совѣщаній.

Всѣхъ незамѣтнѣе на этомъ танцовальномъ вечерѣ были Ида Ивановна и Маня. Ида Ивановна танцовала много и съ чисто-нѣмецкимъ упоеніемъ, но все-таки она была совершенно незамѣтна, а Мани совсѣмъ даже было и не видно. Истоминъ, какъ вѣжливый кавалеръ, пригласилъ на одну кадриль и одинъ вальсъ Иду Ивановну и потомъ ангажировалъ на слѣдующій вальсъ Маню. Миніатюрная Маня, рядомъ съ Истоминымъ, смотрѣла совсѣмъ ребенкомъ. Крошечной, граціозной пташечкой она носилась возлѣ сильной фигуры Истомина, совсѣмъ лежа на его рукѣ и едва касаясь пола своими крохотными, вовсе не нѣмецкими ножками. Балъ Норковъ заходилъ уже за полночь; гдѣ-то за стѣною началъ раздаваться стукъ посуды и ложекъ, и солидные господа уже не разъ посматривали на свои брегеты. Танцамъ приходилъ конецъ; нужно было ужинать и послѣ ужина расходиться, а сочныя плечи и добродѣтельно-пряныя уста еще просились потанцовать.

— Oh! nur *noch* ein Mal! Nur noch ein einziges, kleines Mal! (О! еще одинъ разочекъ! Одинъ маленькій, крошечный разочекъ)! — говорили, складываясь сердечкомъ, пряныя губки.

Фридрихъ Фридриховичъ вступился въ ихъ спасенье; онъ далъ солиднымъ господамъ по настоящей гаванской сигарѣ,

попросилъ тещу повременить съ ужиномъ; усадилъ Иду Ивановну за рояль и далъ черноусому поляку порученіе устроить какую-нибудь мазурку похитрѣе.

— Панъ Кошутъ! бондзь-ну, панъ ласковъ, зробь намъ мазуречку... этакую. — Шульцъ закусилъ губу и проговорилъ:—этакую, чтобъ кровь старая заговорила.

— Moge, moj pane, moge, — отвѣчалъ, распаркиваясь, панъ Кошутъ и вдругъ вошелъ въ свою сферу.

Онъ попросилъ немножко въ сторону одну изъ дочерей пастора и, переговоривъ съ нею, объявилъ оригинальную мазурку *par confidence*. Условіями этой мазурки требовалось, чтобы дамы сѣли по одной стѣнѣ, а мужчины стали по другой, напротивъ дамъ, и чтобы дамы выбирали себѣ кавалеровъ, довѣряя имя своего избраннаго одной общей довѣренной, которою и взялась быть младшая дочь пастора. Каждый мужчина долженъ былъ угадать, какая дама его выбрала, выйти и передъ тою остановиться. Если же мужчина ошибался — причемъ обыкновенно начинался веселый хохотъ — то плохой отгадчикъ, при общемъ смѣхѣ, возвращался съ носомъ на свое мѣсто и выходилъ слѣдующій и затѣмъ, когда эта пара кончила, дама, избравшая прежняго кавалера, отосланнаго за недогадливость за фронтъ, должна была сама встать, подать руку недогадливому избраннику и танцовать съ нимъ. Разумѣется, при такихъ условіяхъ, особенно съ незнакомыми почти дамами, мужчины безпрестанно ошибались и при смѣнѣ каждой цары въ залѣ Норковъ начинался самый веселый хохотъ. Наконецъ, дошла очередь и до Истомина. Онъ стоялъ предпослѣднимъ, послѣ него оставался только одинъ дирижеръ мазурки, самъ черноусый Кошутъ. Истоминъ замѣтилъ давно, что всѣ подходившіе къ Манѣ отходили отъ нея ни съ чѣмъ и что она сама никого не выбирала, и потому, какъ только до него дошла его очередь, онъ прямо разошелся къ Манѣ, остановился передъ нею и поклонился.

Маня слегка покраснѣла и тихо сказала:

— Я васъ не выбирала.

Всѣ дружно засмѣялись.

Истоминъ засмѣялся такъ же искренно, какъ всѣ тѣ, кому онъ доставилъ это удовольствіе, и, махнувъ рукою спѣшнымъ шагомъ удалился къ мужской стѣнѣ.

На его мѣсто, разглаживая усы, выступалъ полякъ.

— На ура иду! — сказалъ онъ, сталкиваясь съ Истоминымъ и, остановясь передъ Манею, щелкнулъ каблуками и поклонился à la Кшесиньскій.

Ко всеобщему удивленію, Маня встала и подала ему свою ручонку.

Ида Ивановна заиграла. Полякъ вѣжливо остановилъ ее и вкрадчивымъ голосомъ сказалъ:

— Нельзя ли старую мазурку Хлопицкаго?

Ида Ивановна покопалась въ кучѣ лежавшихъ на фортепьяно нотъ, достала оттуда одну тетрадь, положила ее на пюпитръ и раздался Хлопицкій.

Полякъ сжалъ ручку Мани, выпалъ лѣвой ногою, топнулъ и пошелъ, и пошелъ. Какъ перышко, привязанное къ легкой воланной пробкѣ, мелькала возлѣ него Маня. Отчаяннымъ мазуромъ леталъ онъ, тормоша и подбрасывая за руку свою легкую даму; становился передъ ней, не теряя такта, на колѣни, вскакивалъ, снова несся, глядѣлъ ей съ удалью въ ея голубиные глазки, отрывался и, ловя налету ея руки, увлекалъ ее снова и, наконецъ, опустившись на колѣно, перенесъ черезъ свою голову ея руку, раболѣпно поцѣловалъ концы ея пальцевъ и, не поворачиваясь къ дамамъ спиною, задомъ отошелъ на свое мѣсто.

Зальца трещала отъ рукоплесканій, и переконфуженная Маня не знала, куда ей смотрѣть и куда дѣваться.

Послѣ такого танцора не легко было пуститься въ мазурку, даже и въ этомъ пріятельскомъ, фамильномъ кружкѣ, и Истоминъ началъ надѣяться, что авось-либо его никто не выберетъ.

Но... въ ряду дамъ шелъ тихій смѣхъ, шопотъ и подергиванье.

— Aber *das muss*; nichts zu machen, *das muss*, *das muss*, — повторяла стоявшая у женскаго фланга дочь пастора, и вотъ величественная Берта Ивановна, расправляя нарочно долго юбку своего платья, медленно отдѣлилась отъ стула и стала застѣнчиво, но съ королевской осанкой.

— Das muss! das muss!—настойчиво кричали ей сквозь веселый смѣхъ со всѣхъ сторонъ женщины.

Берта Ивановна засмѣялась и, закусивъ нижнюю губку, тронулась королевскою поступью къ Истомину. Они подали другъ другу руки и стали на мѣсто.

Ида Ивановна смотрѣла на нихъ молча и серьезно: въ

это время Ида Ивановна смѣялась. Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, удивительная дѣвушка была эта Ида Ивановна! При своей великой внѣшней скромности, она страсть какъ любила пошалить, слегка подтрунить надъ кѣмъ-нибудь, на чей-нибудь счетъ незлобиво позабавиться; и умѣла она сшалить такъ, что это почти было незамѣтно; и умѣла она досыта насмѣяться такъ, что не только мускулы ея лица, а даже самые глаза оставались совершенно спокойными. Надо было очень хорошо знать эти глаза, чтобы по легкому, едва замѣтному измѣненію ихъ блеска, догадаться, что Ида Ивановна хохочетъ во всю свою глубоко спрятанную душу.

Въ эту минуту ей хотѣлось посмѣяться разомъ надъ madame Шульцъ и надъ Истоминымъ, и она оставила ихъ постоять на виду до тѣхъ поръ, пока мѣшавшаяся Берта Ивановна раскраснѣлась до non plus ultra и, наконецъ, крикнула:

— Да ты, по крайней мѣрѣ, играй же, Ида!

— Играйте, Идинька!—проговорили на женской сторонѣ.

— Spielen Sie doch, Ida!—одновременно крикнули ей съ нѣкоторой строгостію зять и Софья Карловна.

— Я не знаю, какую они хотятъ мазурку?

Берта Ивановна назвала очень лянгзамную мазурку; Ида заиграла ее ужъ совсѣмъ *langsam*.

Это собственно и было, впрочемъ, нужно. Держась рѣдкаго, медленнаго тэмпа музыки, Истоминъ, безъ всякаго мазурнаго ухарства, началъ словно репрезентовать подъ музыку свою прекрасную королеву, словно говорилъ: а ну-те-ка — каковы мы вотъ такъ? а ну-те-ка посмотрите насъ еще вотъ этакъ? да еще вотъ этакъ?

Никто имъ, этимъ красавцамъ, не хлопалъ; но всѣ на нихъ смотрѣли съ удовольствіемъ.

— Красивая пара! прелесть какая красивая! — опять шептали о нихъ потихоньку.

Берта Ивановна съ Истоминымъ, должно быть, это слышали, а если не слышали, такъ чувствовали. Берта Ивановна не гнула головы на бокъ, какъ француженка и не подлетала бокомъ, какъ полька, а плыла себѣ хорошей лебедью и давала самый красивый изгибъ своей лебяжьей шеѣ. Ида тоже любовалась сестрою, и ей вздумалось еще подшутить надъ нею. Она быстро перемѣнила аккордъ и заиграла вальсъ. Истоминъ улыбнулся Идѣ Ивановнѣ, про-

ворно обнялъ талію madame Шульцъ и началъ попрежнему вальсировать граціозно, поворачивая свою роскошную даму. Идѣ Ивановнѣ было и этого мало: давъ парѣ сдѣлать два круга по залѣ, она неожиданно заиграла самую старинную польку. Художникъ и сама madame Шульцъ засмѣялись.

— Хорошо же!—сказалъ Истоминъ и, сложивъ свои руки на груди, сталъ полькировать съ Бертой Ивановной по самой старинной модѣ. Развеселившаяся Берта не дала сконфузить своего кавалера: шаля, закинула она назадъ свои бѣлыя руки и пошла въ тактъ отступать. Гости опять начали имъ аплодировать и смѣяться.

— Ахъ вы, ненавистные красавцы! никакъ не собьешь ихъ! — спокойно шепнула Манѣ Ида Ивановна и вдругъ громкими аккордами взяла:

Ужъ какъ по мосту-мосту,
По калиновому.

— Вотъ что!.. Ну, такъ выручайте же, Берта Ивановна!— крикнулъ Истоминъ и пошелъ русскую, какъ и самъ извѣстный цыганъ Илья ее не хаживалъ.

Не посрамила и Берта Ивановна земли русской, на которой родилась и выросла — вынула изъ кармана бѣлый платокъ, взяла его въ руку, повела плечомъ, грудью тронула, соболиной бровью мигнула и втупикъ поставила всю публику своей разудалою пляскою. Полякъ съ своей залихватской мазуркой и его миньонная дамочка были въ карманъ спрятаны этой парой.

Полы машутся, раздуваются

пѣлъ, хлопая ладошами, Фридрихъ Фридриховичъ, не зная, что бы ему еще можно сдѣлать отъ радости. На выручку ему Истоминъ подхватилъ:

То-то лента, то-то лента,
То-то алая моя!
Ала, ала, ала—ла
Мнѣ сударушка дала.

Съ этимъ Истоминъ повернулъ Берту Ивановну за одну ручку около себя, низко ей поклонился, по-русски, и посадилъ ее на мѣсто.

— Сто-то-то-й! стойте! стойте! стойте! — кричалъ сквозь аплодисменты и крики *bravo* Фридрихъ Фридриховичъ. — Нѣтъ! по-нашему, по-русски, такъ не расходятся!

Истоминъ нагнулся и поцѣловалъ у Берты Ивановны руку.

— Н-нѣтъ-съ! Нѣтъ-съ! и это все не то, не то! Это опять по-заморски, а у насъ, *кто съ кѣмъ танцуетъ, тотъ того и цѣлуетъ*,—говорилъ Шульцъ, сводя за руки Истомина съ своею женою.

— Фридрихъ! Фридрихъ, ты съ ума сошелъ!—шептала, красная, какъ вишня, Берта Ивановна.

— *Кто съ кѣмъ танцуетъ, тотъ того и цѣлуетъ*, это разъ сказано и навсегда крѣпко, — настаивалъ, ничему не внимая, неумолимый Шульцъ.

— Съ моей стороны препятствій нѣтъ, — отвѣчалъ Истоминъ.

— А жена, какъ дьяконъ читаетъ, должна во всемъ повиноваться своему мужу,—зарѣшилъ Шульцъ.

— Ну, Фридрихъ!—сказала, улыбнувшись, Берта Ивановна и подвинула свою голову къ художнику весьма спокойно, но тотчасъ же оторвала свои влажныя уста отъ сухихъ, пунцовыхъ губъ Истомина.

— О, мой Фридрихъ, какъ я устала! — произнесла она торопливо, кидая на плечи мужа обѣ свои руки и поспѣшно цѣлуя его въ обѣ щеки, какъ бы желая этими законными поцѣлуями стереть съ своихъ губъ поцѣлуй Истомина.

— Это поцѣлуй позволительный, — говорилъ Шульцъ, объясняя свою оригинальную выходку нѣсколько изумленнымъ нѣмцамъ.

— Позволительный, или позволенный, вы хотите сказать?—спросилъ Истоминъ.

— И позволительный, и позволенный, — отвѣчалъ Фридрихъ Фридриховичъ.

Художникъ молча отошелъ къ окошку и надулся.

Въ залѣ стали накрывать на столъ; дамы вышли поотдохнуть въ спальню Софьи Карловны, а мужчины жались по угламъ.

— Что съ вами такое вдругъ сдѣлалось? Какая муха васъ укусила? — спросилъ я, взявъ за руку Истомина, на лицѣ котораго я ужъ давно привыкъ читать всѣ его душевныя движенія.

— Такъ... не по себѣ,—отвѣчалъ онъ нехотя.

— Пульсъ неровный и частый,—пошутилъ я, держа его за руку.

— Какой ужъ, однако, въ самомъ дѣлѣ, колбасникъ этотъ

Шульцъ; терпѣть я его не могу въ нѣкоторыя минуты!— проговорилъ, нервно кусая ногти, Истоминъ.

Пунцовыя губы его тихо вздрагивали подъ черными усами и говорили мнѣ, что въ безпокойной крови его еще горитъ влажный поцѣлуй Берты Ивановны. Если бы пасторъ Абель вздумалъ въ это время что-нибудь заговорить на тему: «не пожелай жены искренняго твоего», то Романъ Прокофьичъ, я думаю, едва ли былъ бы въ состояніи увлечься это проповѣдью.

У маленькаго столика, передъ соленой закуской, поданной къ водкѣ за минуту до ужина, Шульцъ опять было началъ шутить съ Истоминымъ.

— Нѣтъ, батюшка мой, на дуэль! и слушать ничего не хочу; на дуэль! Помилуйте, совсѣмъ сбилъ бабу съ толку: и по-русски плясать пошла, и сама его выбираетъ себѣ. Нѣтъ-съ, мы съ тобой, родной мой, безъ дуэли не кончимъ!

— Кончите,—сухо отвѣтилъ Истоминъ и отошелъ къ большому столу.

Онъ упорно промолчалъ все время за ужиномъ, ѣлъ очень мало и почти ничего не пилъ. Отъ угощеній Шульца онъ отдѣлывался нетерпѣливо и рѣшительно.

— Не хочу и не буду пить.

— Въ пользу дѣтскихъ пріютовъ!—упрашивалъ Шульцъ.

— Довольно повторяться; все это совершенно напрасно будете говорить,—отвѣчалъ онъ хлѣбосольному Шульцу.

Какъ всѣ женскіе любимцы, Истоминъ былъ очень капризенъ, и чѣмъ болѣе за нимъ ухаживали, чѣмъ болѣе его умасливали, тѣмъ онъ обыкновенно становился хуже. Его нужно было не раздражать и не гладить по головкѣ, а оставлять самому себѣ, пока онъ уходится въ совершенномъ покоѣ.

Практическій Шульцъ, или не зналъ этой струнки въ Истоминѣ, или поддерживавшееся понемножку цѣлый день слегка праздничное состояніе головы Фридриха Фридриховича дѣлало его нѣсколько безтактнымъ. Чѣмъ Истоминъ болѣе ершился, тѣмъ внимательнѣе и любезнѣе становился къ нему Фридрихъ Фридриховичъ. Знакомство съ знаменитостями было у Фридриха Фридриховича, дѣйствительно, его Ахиллесовою пятою. Эта слабость заставляла его дѣлать изъ Истомина извѣстность столь крупную, какою онъ въ самомъ дѣлѣ не былъ—льстить ему и поблажать его разнузданности,

которую художникъ считалъ въ себѣ страстностью. Теперь эта слабость Шульца разжигала въ немъ желаніе во что бы то ни стало показать своимъ, что этотъ замѣчательный художникъ Истоминъ, ему, Фридриху Шульцу, приходится самый близкій другъ и пріятель. Если брать мѣриломъ дружбы деньги, что̀, можетъ статься, будетъ и не совсѣмъ неосновательно, то если бы Истоминъ попросилъ у Шульца взаймы на слово десять тысячъ рублей, Шульцъ бы только обрадовался возможности услужить ими своему другу; если бы у него на этотъ случай не было въ рукахъ такихъ денегъ, то онъ досталъ бы ихъ для друга со дна моря. А какой ему Романъ Прокофьичъ былъ другъ?—Да никакой!

О, Господи, Господи! сколько удивительныхъ коньковъ есть у странствующаго по лицу земли человѣчества! И чего ради все это бываетъ?! Чего ради вся эта суета, давка и напраснѣйшая трата добрыхъ и хорошихъ силъ на вѣтеръ, на призракъ, на мечтаніе! Сколько, въ самомъ дѣлѣ, есть разныхъ этихъ генераловъ Джаксоновъ, и на сколько ладовъ каждый человѣкъ умудряется умереть за своего Джаксона!

Романъ Прокофьичъ былъ не худой человѣкъ въ иныхъ случаяхъ, даже добрый человѣкъ, способный иногда растрогаться чужимъ горемъ до слезъ, увлечься до нѣкотораго самоотверженія, но *любить* онъ никого не могъ, потому что *нечѣмъ* ему было любить. У него съ рода-родясь не было никакихъ друзей, а были у него только кое-какіе невзыскательные пріятели, съ которыми онъ, какъ напримѣръ со мною, не былъ ничѣмъ особенно связанъ, такъ что могли мы съ нимъ, я думаю, цѣлый свой вѣкъ прожить въ ладу и въ согласіи вмѣстѣ, а могли и завтра, безъ особаго другъ о другѣ сожалѣнія, разстаться хотя и на вѣчныя времена. Женщинъ же, которыя его любили и которыхъ онъ и самъ въ простотѣ сердца называлъ своими «любовницами», онъ обыкновенно ставилъ въ положенія тайныхъ наложницъ—положенія, исключающія изъ себя все, что̀ вноситъ въ жизнь истинную поэзію и облагораживаетъ ближайшія отношенія женщины къ человѣку, передъ которымъ онъ увольняетъ сдерживающую ее скромность.

Романъ Прокофьичъ, впрочемъ, былъ человѣкъ необезличѣвшій, и женщины любили его не за одну его наружность. Въ немъ еще цѣла была своя *натура*—натура, можетъ-быть, весьма неодобрительная, но все-таки это была

натура изъ числа тѣхъ, которыя при стереотипности всего окружающаго могутъ производить впечатлѣніе, и обыкновенно производятъ его на женщинъ пылкихъ и всѣмъ сердцемъ ищущихъ *человѣка*, въ которомъ мерцаетъ хотя какая-нибудь малѣйшая Божія искра, хотя бы и заваленная цѣлою бездною всякаго грѣховнаго мусора.

Вы можете считать его даже уродомъ, даже уродомъ пожалуй въ нашъ вѣкъ и невозможнымъ, но, тѣмъ не менѣе, онъ живой человѣкъ и на Васильевскомъ Островѣ еще непремѣнно есть зеркала, въ которыя онъ и до днешняго дни смотрится.

На Васильевскомъ Островѣ есть свои особенные, островскіе, доживающіе типы; это, такъ сказать, *васильеостровскіе могиканс*. Въ ряду этихъ могиканъ самые оригинальные и близкіе къ уничтоженію — прихотники, люди, кажется, нигдѣ, кромѣ Острова, невозможные; люди, усвоившіе себѣ свои, весьма исключительныя, прихоти и возводящіе эти прихоти во что-то законное и неотразимое. Здѣсь еще, да здѣсь, не въ далекомъ провинціальномъ захолустьи, а въ Петербургѣ, въ двухъ шагахъ отъ университета и академій сидятъ, напримѣръ, какъ улитки, уткнувшись въ самый узкій конецъ своей раковины, нѣкоторые оригинальные ученые, когда-то что-то претерпѣвшіе и съ тѣхъ поръ упорно дѣлающіе, въ теченіе многихъ лѣтъ, всему обществу самую непростительную гримасу. Они употребляютъ всѣ зависящія отъ нихъ средства быть не тѣмъ, чѣмъ они созданы, изолироваться и становиться «не отъ міра сего». Должно признаться, что нѣкоторые изъ нихъ достигаютъ въ этомъ искусствѣ до такого совершенства, что, дѣйствительно, утрачиваютъ, наконецъ, всякую способность понимать свое время: одинъ такой оригиналъ, выползая на минуту изъ своей раковины, положимъ, не находитъ для себя безопаснымъ ни одного кресла въ театрѣ; другой стремглавъ бѣжитъ отъ извозчика, который по ошибкѣ завернетъ съ нимъ не въ тотъ переулокъ, куда ему сказано; третій огуломъ смущается отъ взгляда каждаго человѣка, и всѣ они вмѣстѣ готовы сжечь цѣлый историческій трудъ свой, если на нихъ искоса посмотритъ кухарка, подавшая приготовленное для нихъ жаркое. Ни прежняя жизненная дѣятельность, ни новые труды не даютъ основанія сомнѣваться, что у этихъ людей головы способны работать здраво, когда

захотятъ, чтобы они работали. Выпяливать глаза и забиваться въ уголъ, для этихъ людей, очевидно, ихъ прихоть: имъ, вѣроятно, и самимъ нелегко служить этой прихоти, но они непреклонны: девизъ ихъ — русская пословица: «тѣшь мой обычай, пляши въ головахъ». Отстать отъ этой прихоти для нихъ значитъ перестать быть самимъ собою: въ ней крѣпость ихъ слабости.

Еще болѣе странныхъ и еще менѣе достойныхъ извиненія прихотниковъ встрѣчается здѣсь среди людей, надышавшихся въ юности воздухомъ васильеостровской академіи художествъ и воспріявшихъ на себя ея преданія. Вѣчное дѣтство и, къ несчастію, весьма нехорошее, испорченное дѣтство этихъ людей поистинѣ изумительно. Германскій студентъ, оканчивая курсъ въ своемъ университетѣ и отпировавъ съ товарищами послѣднюю пирушку, перестаетъ быть безпокойнымъ буршемъ и входитъ въ общество людей съ уваженіемъ къ ихъ спокойствію, къ ихъ общественнымъ законамъ и къ ихъ морали; они снимаетъ свою корпоративную кокарду и съ нею снимаетъ съ себя обязательство содержать и вносить въ жизнь свою буршескую, корпоративную нравственность. Буршъ спѣшитъ сдѣлаться гражданиномъ страны своей и человѣкомъ *своего времени*, принося внутреннюю присягу совѣсти передъ кодексомъ нравственности болѣе широкимъ, чѣмъ кодексъ, регламентирующій несложныя отношенія одинокаго бурша. Такимъ образомъ буйный буршъ, какъ бы онъ ни провелъ время своего студенчества, не вноситъ изъ своей корпораціи въ общество никакихъ преданій, обязывающихъ его враждебно идти въ разрѣзъ со всѣми людьми земли своей. Не то представляетъ нашъ художникъ и именно, въ это время, уже рѣшительно только одинъ нашъ, русскій художникъ, человѣкъ по преимуществу еще очень мало развитый, или, чаще всего, вовсе неразвитый и кругомъ невѣжественный. Съ тѣхъ поръ, какъ Екатерина Вторая построила на островской набережной Большой Невы храмъ *свободнымъ художествамъ*, заведеніе это выпустило самое ограниченное число замѣчательныхъ талантовъ и довольно значительное число посредственности, дававшей нѣкогда какіе-то задатки, а потомъ безслѣдно заглохшей. Всѣ эти таланты и посредственность, а вкупѣ съ нею и вся художественная бездарность—вынесли изъ воспитательной среды этого заведенія

художественныя прихоти великихъ дарованій: они любятъ поощрять въ себѣ разнузданность страстей и страстишекъ; воспитываютъ въ себѣ характеры примитивные и бредятъ любовью къ женщинамъ и любовью къ природѣ, не понимая самыхъ простыхъ обязательствъ, вытекающихъ изъ любви къ женщинѣ, и не щадя природы человѣка въ самыхъ глубочайшихъ нѣдрахъ человѣческаго духа. Всѣ поколѣнія русской художественной семьи, начиная съ тѣхъ, которыя видѣли на президентскомъ креслѣ своихъ совѣтовъ императрицу Екатерину, до тѣхъ, при которыхъ нынче обновляется неотвѣчающее современнымъ условіямъ екатерининское зданіе — всѣ они отличались прихотничествомъ, всѣ требовали отъ жизни чего-то такого, чего она не можетъ давать въ это время, и того, что имъ самимъ вовсе не нужно, что разбило бы и разрушило ихъ мѣщанскіе организмы, неспособные снести осуществленія единственно лишь изъ одной прихоти заявляемыхъ художественныхъ запросовъ. Кромѣ извѣстнаго числа ловкихъ людей, которые къ извѣстной порѣ своего возраста являютъ одинаковую степень сообразительности, не стѣсняясь тѣмъ, прошла ли ихъ юность подъ отеческимъ кровомъ, въ стѣнахъ пажескаго корпуса, въ залахъ училища правовѣдѣнія, или въ натурныхъ классахъ академіи, кромѣ этихъ *художниковъ-практиковъ*, о которыхъ говорить нечего, остальное все очень трудно разстается съ отживающими традиціями. На нашей уже памяти доживало поколѣніе художниковъ, проводившихъ бо́льшую половину своей жизни въ пьяномъ видѣ. Академическое преданіе убѣждало этихъ людей, что трезвый, воздержный и самообладающій художникъ вовсе не художникъ; оно оправдывало эту порочную слабость, дѣлало ее принадлежностью художника и насаждало около стѣнъ васильеостровской академіи цѣлый классъ людей, утверждавшихъ за собою право не владѣть собою, ибо страсти ихъ велики безъ мѣры и головою выше всякихъ законовъ. Сила преданія тиранствовала надъ этими нравами до тѣхъ поръ, пока общественное чуждательство отъ сближенія съ людьми, пьянствующими ex professo, вдругъ показало тогдашнимъ художникамъ, что они могутъ остаться за флагомъ, ибо на смѣну ихъ является новое поколѣніе, не манкирующее явно благопристойностью. Освободивъ себя отъ тираніи этого преданія, нынѣшній художникъ уже не пре-

небрегаетъ многимъ, что можетъ быть пришлифовано къ нему, не нарушая его художественнаго настроенія: онъ отдалъ публичнымъ канканерамъ свои небрежно повязанные галстуки, уступилъ «болванамъ петербургскаго нигилизма» длинную гривку и ходитъ нынче совсѣмъ человѣкомъ: даже немножко читаетъ. Оцивилизовавшись внѣшнимъ образомъ, васильеостровскій художникъ, однако, упорнѣйшимъ образомъ хранитъ въ себѣ еще послѣднее завѣщаніе старыхъ преданій: онъ боится давать взрасти внутри себя человѣку самообладающему. Онъ и до нынѣшняго дня вѣритъ, что это самообладаніе можетъ уничтожить въ немъ художника и считаетъ своею обязанностью приносить все въ жертву прихотей, по преданію отличавшихъ прежнихъ людей его среды. Выражается это очень странно, въ видѣ *страстности;* но это не страстность, заставляющая современнаго человѣка хоть на минуту перенестись въ эпоху нибелунговъ, олимпійскихъ боговъ и вообще въ эпохи великихъ образовъ и грандіознаго проявленія гигантскихъ страстей: это въ жизни прихоть, оправдываемая преданіями; въ творчествѣ — служеніе чувственности и неумѣнье понять круглымъ счетомъ ровно никакихъ задачъ искусства, кромѣ задачъ сухо-политическихъ, мелкихъ, или конфортативныхъ, разрѣшаемыхъ въ угоду своей субъективности. Это просто неотразимое вліяніе кружка и особенностей воспитанія, исключающихъ у насъ возможность появленія Рубенса, Тинторето, Тиціана и Веласкеца, но зато производящихъ бездарнѣйшихъ людей да учителей рисованія, или чиновниковъ академіи, да художниковъ Истоминыхъ. Зданіе академіи художествъ начинаютъ исправлять и передѣлывать въ годъ открытія другого зданія, въ которомъ общество русское, недавно судимое при закрытыхъ дверяхъ, само въ лицѣ избранныхъ людей своихъ станетъ судьею *факта* по совѣсти и по убѣжденію внутреннему. Вровень съ карнизами этого зданія приподнимется и станетъ во главѣ угла камень, который долго отвергали зиждущіе: встанетъ *общественное мнѣніе*, встанетъ *правда народа*. Опера-фарсъ «Орфей въ аду», поставленная на русской петербургской сценѣ зимою, предшествовавшею открытію въ столицѣ зданія суда, представляла *общественное мнѣніе* одѣтымъ въ ливрею, дающую ему видъ часовой будки у генеральскаго подъѣзда; но близокъ часъ, когда

дирекція театровъ должна будетъ сшить для актрисы Стрѣльской, изображающей «*общественное мнѣніе*», новую одежду. Рисунокъ этой одежды пускай внимательно обсудятъ послѣдніе могикане екатерининскаго храма «свободнымъ художествамъ», ибо въ этой одеждѣ общественное мнѣніе выйдетъ изъ будки, наложитъ свою правдивую десницу на всѣ дѣла, нынѣ снисходительно оправдываемыя заблужденіями, и нелицепріятно скажетъ свое безапелляціонное: *виновенъ*.

Каковы бы ни были свойства тѣхъ печальныхъ случайностей, которыя дали строителю академіи Кокоринову мысль, совершивъ свою работу, удавиться въ построенныхъ имъ стѣнахъ, а великому въ исторіи русскаго искусства Карлу Брюллову другую, нѣсколько банальную мысль снять на границѣ Россіи бѣлье, платье и обувь и нагишомъ перейти въ Европу, гдѣ его иностранные друзья приготовили ему новое, небывавшее въ Россіи платье, ученики Брюллова — тутъ, въ обѣихъ этихъ выходкахъ — строителя академіи и знаменитѣйшаго изъ ея профессоровъ, есть что-то, отчего можно задуматься. Ученики Брюллова должны бы, кажется, припомнить этотъ аллегорическій призывъ къ обновленіе и сбросить свои демоническіе плащи, время которыхъ, увы, невозвратно минуло. Въ наше время неудобно забывать, что какъ выпяленные изъ орбитъ глаза нѣкоторыхъ ученыхъ, смущающихся взглядами подающей имъ жаркое кухарки, обусловливаютъ успѣхъ людей менѣе честныхъ и менѣе ученыхъ, но болѣе живыхъ и чуткихъ къ общественному пульсу, такъ и не въ мѣру выпяливаемыя художественныя прихоти и страсти художниковъ обусловливаютъ успѣхъ непримиримыхъ враговъ искусства: людей, неуважающихъ ничего, кромѣ положенія и прибытка, и теоретиковъ, поставившихъ себѣ миссіею игнорированье произведеній искусства и опошленіе самихъ натуръ, чувствующихъ неотразимость художественнаго призванія.

Время громко говоритъ художникамъ: берите изъ своихъ преданій все, что не мѣшаетъ вамъ быть гражданами, полными чувствъ гражданской доблести, но сожгите все остальное вмѣстѣ съ старыми манкенами, дѣланными въ дни младенчества анатоміи и механики, и искреннѣе подайте руку современной жизни.

Какъ ни старо аллегорическое сравненіе жизни съ моремъ,

но не мѣшаетъ иногда вспомнить и старое. Море выбрасываетъ все, что̀ не умѣетъ держаться на его волнахъ, борясь съ дыханіемъ бурь и съ грозой непогоды, но оно выбрасываетъ и то, что̀ падаетъ на дно его безднъ, будучи чуждо этимъ глубокимъ безднамъ.

Возвращаемся, впрочемъ, къ нашимъ пирующимъ нѣмцамъ и къ ихъ своенравному гостю.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Чѣмъ упрямѣе дулся Романъ Прокофьичъ, тѣмъ усерднѣй волочился за нимъ Фридрихъ Фридриховичъ. Не находя мѣста прямому ухаживанью, онъ начиналъ это издали, самыми окольными путями. Маневры Шульца въ этомъ случаѣ были презанимательны, и хотя это довольно часто напоминало «намеки тонкіе на то, чего не вѣдаетъ никто», но Истоминъ понималъ ихъ и все это, что называется, его все болѣе накручивало и заводило. А Фридрихъ Фридриховичъ все-таки продолжалъ усердствовать. Онъ даже до того увлекся своей внимательностью, что въ присутствіи всѣхъ солидныхъ нѣмцевъ и самого пастора Абеля началъ окончательно объявлять себя человѣкомъ русскимъ и отдавать тонкое предпочтеніе всему русскому. Никогда не изобличая особеннаго знакомства съ русской исторіей и геральдикой, Шульцъ вдругъ заговорилъ о Строгановыхъ, о гостѣ Петрѣ Строгановѣ и нѣмцѣ Данилѣ Эйлофѣ, возставшихъ за Шуйскаго, противъ царика Тушинскаго. Тутъ въ этихъ рѣчахъ было все: и желаніе бортоваться бортъ о бортъ съ фамиліей Строгановыхъ, и похвала Эйлофу, «нѣмцу греческой вѣры», и похвала самой вѣрѣ греческой, и готовность Шульца во всемъ сдѣлаться вторымъ Эйлофомъ.

Отъ старыхъ дней Шульцъ перешелъ и къ настоящему времени.

— Что-жъ,— говорилъ онъ съ мягчайшею скромностью:— у насъ въ Россіи теперь, особенно при нынѣшнемъ государѣ, житье людямъ самое лучшее, какъ въ чужихъ краяхъ.

Отъ вопросовъ столь крупной, такъ сказать, государственной важности, дѣло точно въ томъ же направленіи доходило и до частностей: Шульцъ началъ хвалить нашу общественную жизнь, нашъ Петербургъ, съ его каналами, мостами и дворцами.

Кто-то было похвалилъ Берлинъ.

— Помилуйте! — вступился Шульцъ: — ну, что̀ тамъ за Берлинъ! воробью лѣтомъ напиться негдѣ; а вѣдь у насъ, вѣдь это я, ей-Богу, не знаю—вѣдь это Венеція!

— Да и ледъ въ маѣ плаваетъ,—подсказалъ Истоминъ.

Шульцъ разсмѣялся и ударилъ Истомина товарищески по плечу.

Въ это время кто-то заговорилъ о театрахъ; какіе театры въ Берлинѣ и въ Вѣнѣ; вспомнили о Янаушекъ и о Газе.

— Что же Газе! Ну, что-жъ такое Газе! — восклицалъ съ кислою миною Фридрихъ Фридриховичъ поклонникамъ нѣмецкаго Гаррика. — Видѣлъ-съ я и Газе, и Дависона, а ужъ я не говорю объ этомъ чортѣ, объ Ольриджѣ... но... но, я спрашиваю васъ... ну, что̀ же это такое? Конечно, тамъ въ Отелло онъ хорошъ, ну ни слова — хорошъ; но вѣдь это... вѣдь это все-таки не то же, напримѣръ, что нашъ Василій Васильевичъ, который вездѣ и во всемъ артистъ.

На лицахъ нѣмцевъ выразилось общее недоумѣніе и даже перепугъ.

Одинъ недоумѣвающій нѣмецъ, остолбенѣвшій съ кускомъ говядины во рту, торопливо пропустилъ глотокъ вина и спросилъ:

— Это какой Василь Васичь?

— Да Самойловъ-съ.

— А-га, Самойловъ! — произносилъ недоумѣвающій нѣмецъ, точно проглатывалъ въ нѣсколько пріемовъ большую маринованную устрицу.

— Да-съ, да, Самойловъ! Что̀ можетъ сравниться, я говорю, когда онъ произнесетъ это, знаете: «О, защитите насъ, святыя силы неба!» О, я вамъ скажу, это не шутка-съ!

— Очень хорошо, — соглашался недоумѣвающій нѣмецъ, проглатывая вторую устрицу.

— Ну, зато ужъ опера русская! — заводила, покачивая головою, булочница Шперлингъ.

— Да, опера того... нехороша была, не теперь-съ, а *была!*— отвѣчалъ съ соболѣзнованіемъ Фридрихъ Фридриховичъ:—но пѣвцы хорошіе все-таки всегда были. Итальянцы, тамъ, конечно, итальянцами; но да-съ, а я вѣдь за всѣхъ этихъ итальянцевъ не отдамъ вамъ нашего русскаго Осипа Аѳанасьевича. Да-асъ! не отдамъ! Осипа Аѳанасьевича не отдамъ!

— Кто это Осипъ Аѳанасьевичъ? — освѣдомлялся опять недоумѣвающій нѣмецъ.

— Осипъ Аѳанасьевичъ! А вы такой башибузукъ, что не знаете, кто такой Осипъ Аѳанасьевичъ! Откуда вы пріѣхали?

— Что-жъ такое... я вѣдь, кажется... ничего... — бормоталъ, испугавшись, нѣмецъ.

— Ничего! Нѣтъ, я васъ спрашиваю: откуда вы къ намъ въ Петербургъ пріѣхали?

Нѣмецъ встревожился и даже пересталъ жевать. Мѣняясь въ лицѣ, онъ произнесъ:

— Да, да, да; конешно, конешно... ich weiss schon... это высочайше...

— Перестаньте, пожалуйста, Богъ знаетъ что̀ говорить, это высочайшій басъ! понимаете вы: это—Петровъ, басъ! Осипъ Аѳанасьевичъ — нашъ Петровъ! — разъяснилъ ему болѣе снисходительно Фридрихъ Фридриховичъ. — Пѣвецъ Петровъ, понимаете: пѣвецъ, *пѣвецъ!*

— Петтрофъ пѣвецъ,—улыбался, блаженно успокоиваясь, нѣмецъ.

— Да-съ; это бархатъ, это бархатъ! Знаете, какъ у него это:

Друзья! тамъ-тамъ-тамъ-тамъ-та-ра-ри,
Друзья! томъ-томъ-та-ра-ра-ра,
Тримъ-тамъ-тамъ-тамъ-тамъ-та-ра-ри,
Тромъ-томъ-томъ-та-ра-ра-ра!

Фридрихъ Фридриховичъ напѣлъ кусочекъ изъ извѣстной въ репертуарѣ Петрова партіи Бертрама — и взглянулъ исподлобья на Истомина: тотъ все супился и молчалъ. Съ каждымъ лестнымъ отзывомъ Фридриха Фридриховича, съ каждой его похвалой русской талантливости лицо художника подергивалось и становилось нетерпѣливѣе. Но этой войны Истомина съ Шульцемъ не замѣчалъ никто, кромѣ Иды Ивановны, глаза которой немножко смѣялись, глядя на зятя, да еще кромѣ Мани, все лицо которой выражало тихую досаду.

Гости поотошли въ сторону отъ своихъ обыкновенныхъ темъ и говорили о музыкѣ, или собственно Богъ знаетъ о чемъ говорили.

Собственная особа Фридриха Фридриховича все больше увлекалась артистическимъ патріотизмомъ: онъ сорвался съ петель и ужъ немножко хлестаковствовалъ:

— Самойловъ...—говорилъ онъ:—я съ нимъ тоже знакомъ, но это... такъ вамъ сказать, онъ не простецъ: онъ

этакій волкъ съ клычкомъ; Ришелье этакой; ну, а Петровъ,— продолжалъ Шульцъ, придавая особенную теплоту и мягкость своему голосу:—это нашъ братъ простопòръ; это *душа!* Я, бывало, говорю ему въ Коломягахъ лѣтомъ: ну, чтò, братъ, Осипъ Аѳанасьичъ?

— Такъ, говоритъ, все, братъ Шульцъ, помаленьку. Спой прошу; ну, другой разъ споетъ, а другой разъ говоритъ: «самъ себѣ спой».—Простопоръ!

Слушая Фридриха Фридриховича, гости, ожидавшіе ужина, такъ и рѣшились держаться артистическихъ вопросовъ.

Какъ-то началъ разсказывать, что Леонова «тоже воспѣваетъ»; а кто-то другой замѣтилъ, что надо говорить не «воспѣваетъ», а «поятъ»; еще кто-то вмѣшался, что даже не «поятъ», а «спаиваютъ», и, наконецъ, ужъ вышло, что никто ничего не могъ разобрать. Опять потребовалось посредство Фридриха Фридриховича, который долго разъяснялъ разницу понятій, выражаемыхъ словами: «пить», «пѣть», «паять», «воспѣвать» и «спаивать». Выходило чортъ знаетъ чтò такое несуразное, что Леонова то поетъ, то паяетъ, то воспѣваетъ, то спаиваетъ. Ухищряясь выговаривать искомое слово какъ можно правильнѣе, кто-то одинъ разъ сказалъ даже: «потѣетъ»; но Фридрихъ Фридриховичъ тотчасъ же остановилъ этого филолога, замѣтя ему:

— Ну, ужъ сдѣлайте вашу милость—все чтò вамъ угодно, только не потѣетъ.—Этого даже, пожалуйста, и не говорите никогда; никогда этого нигдѣ не говорите, потому что это не говорится-съ, да, не говорится-съ.

Послѣ ужина гости скоро стали прощаться. Семейство пастора и всѣ солидные господа и ихъ дамы разошлись первые. Фридрихъ Фридриховичъ удержалъ въ залѣ только меня, Истомина, поляка, испеченнаго въ собственной булочной розоваго Шперлинга, и одного солиднаго господина.

— Вѣдь это напрасно,—говорилъ ему Истоминъ:—я ничего не стану пить.

— Ну-съ, это мы будемъ видѣть, какъ вы не выпьете!— отвѣчалъ Шульцъ.

Истоминъ поставилъ на столъ свою шляпу, взялъ съ окна принесенный Манею томъ Пушкина, придвинулся къ столу и началъ смотрѣть въ книгу.

Черезъ залу прошла въ магазинъ (изъ котораго былъ прямой выходъ на улицу) Берта Ивановна. Она не хотѣла

ни торопить мужа домой, ни дожидать его и уходила, со всѣми раскланиваясь и всѣмъ подавая руки. Ее провожали до дверей Ида Ивановна и Маня. Я всталъ и тоже вышелъ за ними.

— Устала ужасно я,—жаловалась Берта Ивановна, когда я застегивалъ на ней шубу.

— Очень ужъ вы,—говорю ей,—расплясались.

— Ахъ, я вѣдь люблю поплясать!

— И вашъ Истоминъ-то... Ну, я не думала, что онъ такой кузнечикъ,—проговорила Ида Ивановна.

— Совсѣмъ странно,—тихо сказала Маня.

— Онъ совсѣмъ испугалъ меня... Ну, Фридрихъ! ну, погоди, я тебѣ это припомню!—закончила Берта Ивановна, относясь къ залѣ, изъ которой слышался голосъ мужа.

Я проводилъ Берту Ивановну до дома и тѣмъ же путемъ возвратился. Когда я пришелъ назадъ, въ магазинѣ была совершенная темнота, а въ залѣ компанія допивала вино, и Фридрихъ Фридриховичъ велъ съ солиднымъ господиномъ бесѣду о національныхъ добродѣтеляхъ.

— О, не думайте!—говорилъ онъ солидному господину:—нашъ нѣмецкій народъ—это правда, есть очень высокообразованный народъ; но нашъ русскій народъ—тоже очень умный народъ.—Шульцъ поднялъ кулакъ и произнесъ:—шустрый народъ, понимаете, что называется, шустрый? Здравый смыслъ, здравый смыслъ, вотъ чѣмъ мы богаты!

— Ну, да; ну, позвольте: теперь будемъ говорить Петербургъ. (Нѣмецъ оглянулся по сторонамъ и, видя, что послѣдняя изъ дамъ, Ида Ивановна, ушла во внутренніе аппартаменты, добавилъ):—женитьбомъ пренебрегаютъ, а каждый, какъ это говорится, имѣетъ своя сбока прибôка. Чѣмъ это кончится? Это какъ совсѣмъ Парижъ.

— Сбоку припека говорится,—поправилъ Фридрихъ Фридриховичъ и продолжалъ въ другомъ тонѣ:—ну, только тутъ надо соображать, какія тутъ есть обстоятельства. Это нельзя не соображать.

— Это совсѣмъ не отвиситъ отъ обстоятельствовъ,—отвѣчалъ, махнувъ рукою, нѣмецъ.

— То-есть, положимъ, по-русски говорится *не зависитъ*: а не «не отвиситъ», ну, ужъ пусть будетъ по вашему, отчего-же это по-вашему отвиситъ?

— Отъ свой карахтеръ.

— Гм!.. Нѣтъ-съ, этакъ разсуждать нельзя.

— Это, вѣрно, такъ, что отъ карахтеръ. Вотъ будемъ говорить чиновникъ—у него маленькія обстоятельства, а онъ женится; нѣмецкій всякій женится; полковой офицеръ женится; а прочій такой и съ хорошій обстоятельство, а не женится. Нашъ нѣмецкій художникъ женится, а русскій художникъ не женится.

— Это камушекъ въ вашъ огородъ,—сказалъ Шульцъ, трогая Истомина за руку.

Истоминъ молча приподнялъ голову, спросилъ: что̀? и хлебнулъ изъ непочатаго стакана.

— Художникъ-съ,—началъ Фридрихъ Фридриховичъ, не отвѣчая Истомину и касаясь теперь руки солиднаго гостя:— совсѣмъ особое дѣло. Художникъ, поэтъ, литераторъ, музыкантъ—это совсѣмъ не фамилійные люди. Это совсѣмъ, совсѣмъ не фамилійные люди! Имъ нужно... это... впечатлѣніе, а не то, что̀ намъ съ вами. У насъ съ вами, батюшка мой, что̀ жена-то? копилка, копилка. Ну, а ихъ одна вдохновляетъ такъ, другая—иначе, ихъ дѣло такое, а не то, что по-нашему: сидѣть, да женины ноги грѣть. Это совсѣмъ не то, что мы съ вами: имъ женъ не нужно.

— То-есть намъ женъ нѣтъ, можетъ-быть, вы хотите сказать,—вмѣшался тихо Истоминъ.—Намъ нѣту женъ; еще не выросли онѣ на нашу долю, любезный Фридрихъ Фридриховичъ.

— Чужія на вашу долю выросли, ха-ха-ха!—Шульцъ такъ и раскатился.

— Чужія! то-то вотъ вы заливаетесь, а вмѣсто того, лучше путемъ-то скажите-ка, гдѣ эти женщины для насъ, пролетаріевъ? Не вы ли вашу Кларочку такъ воспитываете?

— И очень, батюшка, Романъ Прокофьичъ, и очень, государь мой, и очень.

— Ну, какъ же!

— Да-съ, да; а вы вотъ скажите, бывали ли... есть ли, наконецъ, у художниковъ идеалы-то простые? Можете ли вы себѣ представить, какую бы вы себѣ хотѣли жену?

— Могу-съ и представлю.

— Кто это, напримѣръ?

— Анна Денманъ.

— Что̀ сіе такое за Денманъ?

— Денманъ?.. Денманъ... это *сіе,* которое ни за какія

коврижки не покупается, Фридрихъ Фридриховичъ. Денманъ—это англичанка, жена скульптора, Джона Флаксмана. А хотите знать, что̀ она сдѣлала?—и это разскажу вамъ.—Когда Флаксманъ женился на ней, ему сказалъ пріятель: «Вы, Флаксманъ, теперь погибли для искусства».—«Анна, я теперь погибъ для искусства?» говорилъ, придя домой, Флаксманъ.—«Что̀ случилось съ тобою? Кто это сдѣлалъ?»—встревожилась Денманъ.—«Это случилось въ церкви,—отвѣчалъ Флаксманъ,—и сдѣлала это Анна Денманъ», и все ей разсказалъ.—«Анна Денманъ не погубитъ таланта»,—отвѣчала жена и повела Флаксмана въ Римъ, во Флоренцію; она одушевляла его; терпѣла съ нимъ всякую нужду; она сама сдѣлалась художникомъ и вдохновила мужа создать великую статую великаго Данте—Данте, котораго тоже вела женщина, его безсмертная Беатриче. Понимаете, благодѣтель мой, Фридрихъ Фридриховичъ! что для художника возможна подруга, очень возможна; да понимаете ли, какая подруга для него возможна?.. Пусть ваша Клара будетъ Анною Денманъ.

— О! очень пусть; очень.

— Ну, вотъ тогда и еще кто-нибудь, кромѣ Флаксмана, скажетъ во всеуслышаніе, что «жена не помѣха искусству». Только вѣдь, батюшка, Фридрихъ Фридриховичъ, кто хочетъ взрастить такое чистое дитя, тотъ не спрашиваетъ дочку: «Кларинька, какой тебѣ, душечка, домъ купить?» а учитъ ее щенка слѣпого жалѣть, мышку, цыпленка; любить не палаты каменныя, а лужицу, что̀ послѣ дождя становится.

— А что-жъ, я былъ бы очень радъ.

— Э, полноте-ка, пожалуйста! Ну, на что̀ вамъ все это въ вашей дочери? Что̀ мы, въ самомъ дѣлѣ, такое всѣ-то какіе есть искусники? Вѣдь ужъ какъ вы тамъ хотите, а ваша лисья шуба вамъ милѣй Шекспира?.. что̀? Ей-Богу правда! Не думаете ли вы, взаправду, что мы какая-то соль земли? напротивъ, вы и сами того убѣжденія, что мы такъ что-то этакое, назначенное для вашего развлеченія, какіе-то этакіе брелоки, что ли. къ вашей цѣпочкѣ. Вѣдь такъ? Вотъ этакой мѣховщикъ Кунъ, что ли, который вамъ шубы шьетъ, какой-нибудь Никита Селивановичъ, который своимъ братомъ-скотомъ торгуетъ; банкиры, спекулянты пеньковаго буяна, да что-нибудь еще въ этомъ родѣ—вотъ это люди! Они, дѣйствительно, дѣла дѣлаютъ, которыя всѣ

сейчасъ можно привесть въ копейки — они, значитъ, и нужны, а мы... да въ самомъ дѣлѣ, пусть чортъ самъ разберетъ, на что мы?— Ни Богу свѣчка, ни чорту ожегъ.

— Чорта не поминай! чорта, братецъ, не поминай! отъ этого, мужикъ говорилъ, худо бываетъ. Лучше Богу помолись, такъ онъ тебѣ и жену дастъ,—умилительно фамильярничалъ Фридрихъ Фридриховичъ.

— Да; вы, небось, молитесь!

— А то какъ бы вы думали?

— Ну, вамъ и книги въ руки.—За это же Богъ и далъ вамъ Берту Ивановну.

— Копилку свою.

— Да, копилку, и очень красивая копилка; и у васъ всегда всѣ пуговицы къ рубашкамъ пришиты, и вы можете спать всегда у бѣлаго плечика.—Чудесно!! И всему этому такъ и быть слѣдуетъ, голубчикъ. У Берты Ивановны Шульцъ есть домъ — полная чаша; у Берты Ивановны Шульцъ — сундуки и комоды ломятся отъ уборовъ и нарядовъ; у Берты Ивановны Шульцъ—мужъ, нѣжнѣйшій Фридрихъ, который много что скажетъ: «Эй, Берта Ивановна, смотрите, какъ бы мы съ вами не поссорились!»—Берта Ивановна вся куплена.

Шульцъ самодовольно улыбнулся.

— Что, угадалъ вѣдь я?—продолжалъ Истоминъ:—а въ будущемъ, у нея и состояніе, и почетъ, и дѣтская любовь, и общее уваженіе — такъ чего же ей бояться или печалиться, и какъ ей не цѣловать васъ сладко! Не такъ ли-съ?

Шульцъ съ улыбкой качнулъ головою и проговорилъ:

— Ну, разсуждайте, разсуждайте!

— Да-съ, такъ-съ это, именно такъ-съ, — продолжалъ Истоминъ:—и все это такъ именно потому, что сынове міра сего мудрѣйши сыновъ свѣта суть, *въ своемъ родѣ*. Праздникъ на вашей улицѣ. Женщины, не наши однѣ русскія женщины, а всѣ почти женщины, въ цѣломъ мірѣ, вездѣ онѣ одной съ вами религіи—одному съ вами золотому богу кланяются. Всегда онѣ насъ продадутъ за васъ, будьте въ этомъ благонадежны.

— А съ вами насъ обманутъ?

— Ну, вѣдь, сердце, батюшка Фридрихъ Фридриховичъ, не щепка, а праздность, какъ вамъ, должно-быть, изъ прописи извѣстно, есть мать всѣхъ заблужденій и пороковъ.

Да и то, вѣдь, что̀ жъ *обманетъ*... какой тамъ обманъ?.. пошалитъ. то-есть, бездѣлицу—только и всего. Не убудетъ же ея оттого, что кто-нибудь ее отмѣтитъ своимъ минутнымъ вниманіемъ.

— Ха-ха-ха—отмѣтитъ! это пустяки называется!

— Да, пожалуй, что и въ самомъ дѣлѣ, пустяки.

— Ну, покорно васъ благодарю.

— Не за что еще пока,—отвѣчалъ небрежно Истоминъ и непосредственно началъ: — знаете, Фридрихъ Фридриховичъ, въ человѣческой породѣ бабы-то, воля ваша, должнобыть, смысленнѣе самцовъ.

— Право?

— Право-съ. Вы, вонъ-съ, изволите говорить: «что намъ все нужно *разнообразіе*». Правда? Вѣдь, вы именно это думали: *разнообразіе*, и даже разнообразіе именно въ самомъ узкомъ значеніи?

— Н-ну...—началъ-было Шульцъ.

— Нѣтъ, позвольте!—перебилъ его Истоминъ.—Я очень усталъ, и мнѣ говорить не хочется; но, ужъ не знаю, зачѣмъ-то, однако, я нахожу нужнымъ заплатить вамъ за откровенность откровенностью. Вы и вотъ всѣ такіе хорошіе люди, какъ вы (само собою, въ искренность этихъ словъ вы вѣрите)—такъ всѣ такіе-то вотъ люди — наши злѣйшіе враги и предатели. Да-съ, предатели. Привѣчая и лаская насъ, первые вы стараетесь гадить намъ всѣми возможными средствами и преимущественно гадить у женщинъ. Вы имъ представляете насъ чудаками, химеристами, потому только, что мы на васъ не похожи, и потому, что вамъ выгодно дѣлать насъ шутами. «Точно, молъ, душечка, онъ интересенъ—пріятно быть съ нимъ вмѣстѣ; но, а представь-ка ты, что̀ бы съ тобой было, если бы ты была его, а не моя?» Это все очень умно съ вашей стороны, только очень толсто, нехитро. Женщины вообще, вѣдь, по натурѣ и не очень довѣрчивы, и не очень робки, и совсѣмъ не такъ цѣломудренны, какъ практичны. Запугать вы ихъ нами не запугаете, а любопытство ихъ раздразнить—раздразните,—вотъ вамъ и рога за ваши старанія.

— Чужеядны вы, господа.

— Да, птицы небесныя!—не жнемъ, не сѣемъ, а живы; но дѣло-то все не въ томъ! А зачѣмъ вы, подъ видомъ дружбы и доброжелательства, мараете нашу репутацію? за-

чѣмъ вы насъ унижаете, возвышая какъ будто насъ надъ цѣлою толпою? Почемъ вы знаете, что мы не любимъ, да и любить не можемъ? А можетъ-быть намъ *некого* скорѣй любить! Натурщицъ полногрудыхъ, что ли? или купчихъ шестипудовыхъ? или кисейныхъ барышень? чиновницъ, и день и ночь мечтающихъ о шляпкахъ? иль этихъ Мессалинъ сластолюбивыхъ? Кого жъ? кого, по-вашему, я долженъ полюбить? Молчите? Слава Богу! А вы теперь скажите, или намекните, или такъ хоть въ ту сторону кивните пальцемъ, гдѣ, по вашимъ соображеніямъ, находится *женщина*, не ваша женщина, а *наша*, которой мила наша, а не ваша: женщина, которая мнѣ обѣщала бы поддержку на борьбу со всякою бѣдою, которая бы принесла хоть каплю масла для той искры, которая меня одушевляетъ! Ваши женщины! Богъ съ ними совсѣмъ! Придти тайкомъ, соорудить рога оленьи мужу — онѣ готовы; но чтобы съ нами горе наше черпать, нуждѣ въ глаза смѣяться, любить мой трудъ, мою работу... Нѣтъ! Она скорѣй убьетъ всѣ искорки таланта, а не раздуетъ, не освѣжитъ его и не согрѣетъ. «Вотъ, скажетъ, Фридрихъ Фридриховичъ — вотъ мужъ примѣрный! Жена его спитъ на лебяжьемъ пуху, купается въ розовомъ маслѣ, а ты...», да и пойдетъ меня... мою свободу, мою свободу; будетъ мнѣ въ моихъ глазахъ же гадить! Станетъ упрекать меня за то, что я пренебрегаю тамъ какой-то вовсе мнѣ не нужной чепухою; станетъ ровнять меня съ купцомъ, или съ казнокрадомъ!.. Да, нѣтъ, оставьте, господа, вы говорить о насъ, попорченныхъ и сумасбродныхъ людяхъ! Кого вы называете любовницами нашими? Да развѣ, въ самомъ дѣлѣ, есть, что ли, женщины, способныя любить? Не вѣрьте, не вѣрьте, батюшка Фридрихъ Фридриховичъ! Никто насъ не любитъ. Просто соскучатся съ благоразумными мужьями, да пошалятъ; а гдѣ тамъ имъ, грѣшнымъ, любить!

Истоминъ нетерпѣливо качнулъ головою и произнесъ:

— Баловницы онѣ, а не любовницы,—и опять раскрылъ томъ Пушкина.

— Ну, да,—заговорилъ Фридрихъ Фридриховичъ:—женщины... того... Онѣ, конечно... мало еще всему этому сочувствуютъ; но, вѣдь, если всѣ станутъ сочувствовать, то...

— Что такое *всѣ?* что *всѣ?* — нервно перебилъ его Истоминъ.

Шульцъ снова просыпалъ кое-какъ свою фразу.

— Всѣ! всѣ! — тихо и снисходительно повторилъ художникъ.—Да вы хоть вотъ это бъ прочитали,—продолжалъ онъ, глядя въ раскрытую страницу на Моцартѣ и Сальери:— что если бъ всѣ такъ чувствовали, тогда бъ не могъ

И міръ существовать; никто бъ не сталъ
Заботиться о нуждахъ низкой жизни,
Всѣ бъ предались свободному искусству!
Насъ мало, избранныхъ счастливцевъ праздныхъ,
Пренебрегающихъ презрѣнной пользой,
Единаго прекраснаго жрецовъ.
Не правда ль? Но я нынче нездоровъ:
Мнѣ что-то тяжело; пойду засну.
Прощайте.

— И *прощайте*, и это тутъ написано?—спросилъ Шульцъ.

— Вотъ, представьте себѣ, и это здѣсь написано,—отвѣчалъ Истоминъ, пожимая всѣмъ руки и торопливо выходя изъ залы.

Только-что мы съ нимъ переступили въ темный магазинъ, какъ Истоминъ нервно вздрогнулъ, схвативъ меня за плечо и, тихо вскрикнувъ: кто это? — вдругъ остановился. Отъ сѣраго пятна, которымъ обозначалось окно, медленно отдѣлилась и, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, стала миніатюрная фигура.

— Марья Ивановна! это вы?—спросилъ Истоминъ.

Фигура ничего не отвѣтила, но тронулась тихо вдоль стѣны къ двери, какъ китайская тѣнь. Эта была Маша. Истоминъ взялъ ее за руку и крѣпко поцѣловалъ въ ладонь.

Когда я пожалъ руку Мани, рука эта была холодна какъ ледъ, и въ тихомъ «прощайте», которое выронила мнѣ Маня, было что-то болѣзненное, какъ далекій крикъ подстрѣленной птицы.

Долго я проворочался, придя домой, на моей постели и не могъ уснуть до свѣта. Все смущалъ меня этотъ холодъ и трепетъ, этотъ слабый звукъ этого слабаго *прощайте*, и тысячу разъ хотѣлось мнѣ встать и спросить Истомина, зачѣмъ онъ, прощаясь, поцѣловалъ Манину руку, и поцѣловалъ ее какъ-то странно—въ ладонь. Утромъ я опять думалъ объ этомъ, и все мнѣ было что-то такое очень невесело.

Часу въ двѣнадцатомъ на другой день зашелъ ко мнѣ Фридрихъ Фридриховичъ.

— Долго, спрашиваю, вы еще посидѣли послѣ насъ?

— А, нѣтъ, говоритъ.—Вдругъ, какъ этотъ нашъ раздраженный маэстро ушелъ, мы всѣ раззѣвались и пошли.

Опять мнѣ это не понравилось. Значитъ, съ выходомъ Истомина, на его словахъ оборвалась и рѣчь человѣческая. Хорошо, говорятъ, тому, за кѣмъ остается послѣднее слово въ бесѣдѣ!

А Фридрихъ Фридриховичъ, чортъ его знаетъ, со вчерашняго похмелья, что ли, вдругъ начинаетъ мнѣ, шутя, сообщать, что Берта Ивановна дома его порядочно выпудрила за то, что онъ заставлялъ ее цѣловаться съ Истоминымъ. «Говоритъ, просто, говоритъ, какъ удавъ, такъ и впивается. Если бъ, говоритъ, ты не стоялъ возлѣ меня, такъ я бы, кажется, не знала, что съ собой дѣлать?»

— А вечеромъ же, глядите, не забудьте, приходите на полосканіе зубъ.

Что-то ужасно мнѣ не хотѣлось, но, однако, обѣщалъ, что приду.

— И удава тащите.

Я обѣщалъ и это; но удавъ не пошелъ.

— Чортъ съ нимъ совсѣмъ,—сказалъ онъ, когда я передалъ ему Шульцево приглашеніе и разсказывалъ, какъ тотъ усердно его проситъ.

Истоминъ наотрѣзъ отказался и, усѣвшись за піанино, началъ что-то безъ толку напѣвать и наигрывать.

Я ушелъ одинъ.

Полосканіе зубъ совсѣмъ не задалось: самъ Шульцъ всталъ послѣ сна невеселый, мнѣ тоже не хотѣлось ни пить, ни говорить; Бертѣ Ивановнѣ, очевидно, хотѣлось спать, а Ида съ Маней пришли на минутку и скоро стали снова прощаться. Я всталъ и пошелъ вслѣдъ за ними. Шульцъ и не удерживалъ; онъ самъ свѣтилъ намъ, пока мы надѣвали свои шубы, зѣвалъ и, закрывая рукою ротъ, говорилъ:

— А тому удаву скажите, что это не по-пріятельски. Я ему за это, какъ придетъ, стаканъ рейнвейну за шиворотъ вылью.

— Кто это «удавъ»?—спросила, идучи дорогою, тихо Ида.

Я говорю:

— Истоминъ.

— Ужъ и правда.

— Что это?

— Удавъ.

— Онъ вамъ не нравится?

— Не нравится.

Ида сдѣлала гримасу.

— А за что, смѣю спросить?

— Онъ духовъ вызываетъ.

— Какъ это, говорю, духовъ?

— А такъ... привидѣній. Тѣ лучше, которые вокругъ себя живыхъ людей терпятъ.

Ну, думаю себѣ, удавъ, удавъ! И сѣлъ этотъ удавъ въ моемъ воображеніи около Мани, и пошелъ онъ обвиваться около нея крѣпкими кольцами; пошелъ смотрѣть ей въ очи и сосать ея бѣленькую ладонь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Пробѣжалъ еще мѣсяцъ. Живемъ мы опять спокойно, зима идетъ своимъ порядкомъ, по сѣрому небу летаютъ бѣлыя, снѣговыя мухи; по вонючей и холодной петербургской грязи ползаютъ извозчичьи клячи, однимъ словомъ—все течетъ, какъ ему Господь повелѣлъ. Въ Романѣ Прокофьичѣ я не замѣчаю никакой перемѣны; а между тѣмъ въ немъ была нѣкоторая перемѣна, только не очень явно давала она себя чувствовать. Художественно лѣнивый и нервный, Истоминъ сталъ еще нервнѣе, безпечнѣй и лѣнивѣй. Мѣсяца три спустя послѣ Манинаго праздника, я какъ-то вдругъ замѣтилъ, что Истоминъ ужъ совсѣмъ ничего не работаетъ и за кисть даже не берется. Картина стояла обороченная къ стѣнѣ и на подрамкѣ ея лежалъ густой слой сѣрой пыли. Увеличилась нѣсколько обычная лѣнь и ничего болѣе, думалъ я, и опять совсѣмъ забывалъ даже, что Истоминъ ничего не работаетъ и валяется. Но мало-по-малу, наконецъ, вниманіе мое стало останавливаться на другихъ, болѣе странныхъ явленіяхъ въ характерѣ и привычкахъ Истомина. Романъ Прокофьичъ прежде всего сталъ иначе относиться къ неоставлявшимъ его дамамъ сильныхъ страстей и густыхъ вуалей. Перешвыривая ими съ необыкновенною легкостью и равнодушіемъ, онъ прежде всегда дѣлалъ это очень спокойно, безъ всякихъ тревогъ и раздраженій, а съ нѣкотораго времени сталъ вдругъ жаловаться, что онѣ ему надоѣдаютъ, что ему нѣтъ покоя и даже нѣсколько разъ выражалъ намѣреніе просто-за-просто повышвыривать ихъ всѣхъ на улицу. Наконецъ, въ одно сѣрое

утро, валяясь въ своемъ черномъ бархатномъ пиджакѣ по богатому персидскому ковру, которымъ у него была покрыта низенькая турецкая оттоманка, онъ позвалъ при мнѣ своего человѣка и сказалъ ему:

— Янко! Сдѣлай ты милость, вступись въ мое спасенье.

Янко остановился и глядѣлъ на него въ недоумѣніи.

— Будь благодѣтель, освободи ты меня отъ всякихъ барынь.

— Слушаю-съ, Романъ Прокофьичъ,—отвѣчалъ Янко.

— Какія жъ ты для этого полагаешь предпринять мѣры?

— А пущать ихъ къ вамъ, Романъ Прокофьичъ, не буду.

— Это — довольно тонко и находчиво; я это одобряю, Янко,—отвѣчалъ спокойно Истоминъ, и заговорилъ со мною о скукѣ, о тоскѣ, о томъ, что ему, главнымъ образомъ, Петербургъ опостылѣлъ и что съ весною непремѣнно надо уѣхать куда-нибудь подальше.

Въ это время Истоминъ очень много читалъ и даже собирался что-то писать противъ гоголевскихъ мнѣній объ искусствѣ; но писанія этого, впрочемъ, никогда не происходило. Онъ очень много читалъ этой порою, но и читалъ необыкновенно странно. Иногда онъ въ эту полосу своего упорнаго домосѣдства, молча, входилъ ко мнѣ въ своемъ бархатномъ пиджакѣ и яркихъ канаусовыхъ шароварахъ, молча бралъ съ полки какую-нибудь книгу и молча же уходилъ съ нею къ себѣ.

Я заставалъ его часто, что онъ крѣпко спалъ на своей оттоманкѣ, а книга валялась около него на полу, и потомъ онъ вскорѣ приносилъ ее и ставилъ на мѣсто. Въ другой разъ онъ нападалъ на какую-нибудь небольшую книжонку и читалъ ее удивительно долго и внимательно, точно какъ будто или не понималъ ея, или старался выучить наизусть. Долѣе всего онъ возился надъ Гейне, часто по цѣлымъ часамъ останавливаясь надъ какою-нибудь одной пѣсенкой этого поэта.

— «Трубятъ голубые гусары»,—сказалъ я однажды, заходя къ нему и заставая его лежащимъ съ маленькимъ томикомъ Гейне.

— Что?—спросилъ онъ, наморща брови.

Я опять повторилъ строфу легкаго стихотворенія, которое нѣкогда очень любилъ и очень хвалилъ Истоминъ.

— Кой чортъ *гусары*! — отвѣчалъ Романъ Прокофье-

вичъ. — Я все читаю объ этой «невыплаканной слезинкѣ». Эхъ, Господи, какъ люди писать-то умѣютъ! что это за прелесть, эта крошка Вероника!—ея и нѣтъ, а между тѣмъ ее чувствуешь, — проговорилъ онъ, лѣниво приподнимаясь съ оттоманки и закуривая сигару.

— «Она была достойна любви, и онъ любилъ ее; но онъ не былъ достоинъ любви, и она его не любила»—это старая исторія, которая будетъ всегда нова, — произнесъ онъ серьезно, и съ закуренной сигарой снова повалился на коверъ, закрылъ ноги клѣтчатымъ пушистымъ плэдомъ и сталъ читать далѣе.

Черезъ заклеенную дверь я слышалъ разъ, какъ онъ громко декламировалъ вслухъ:

Съ толпой безумною не стану
Я пляску дикую плясать,
И золоченому болвану,
Поддавшись гнусному обману,
Не стану ладанъ воскурять.
Я не повѣрю рукожатьямъ
Мнѣ яму роющихъ друзей;
Я не отдамъ себя объятьямъ
Надменныхъ наглостью своей
Прелестницъ...
Нѣтъ, лучше пасть, какъ дубъ въ ненастье,
Чѣмъ камышомъ остаться жить,
Чтобы потомъ считать за счастье—
Для франта тросточкой служить.

Я слышалъ также, какъ послѣ этой послѣдней строфы книга ударилась объ стѣну и полетѣла на полъ.

Черезъ минуту Истоминъ вошелъ ко мнѣ.

— А что вы думаете,—спросилъ онъ меня снова: — что вы думаете объ этой «невыплаканной слезинкѣ»?

— А вѣдь вы больны, Романъ Прокофьичъ,—сказалъ я ему вмѣсто отвѣта.

— Должно-быть, въ самомъ дѣлѣ, боленъ, — произнесъ Истоминъ.

Онъ приподнялся, посмотрѣлъ на себя въ зеркало и, не говоря ни слова, вышелъ.

Ладить съ Романомъ Прокофьевичемъ не было никакого средства. Его избалованная натура кипѣла и волновалась безпрестанно. Онъ рѣшительно не принималъ никого и высказывался только самыми странными выходками.

— Знаете, — говорилъ онъ мнѣ однажды: — какъ бы это было хорошо пристрѣлить какую-нибудь каналью?

— Чѣмъ же это, — спрашиваю,—такъ очень хорошо бы было?

— Воздухъ бы немножко расчистился, а то сперлось ужъ очень.

Романъ Прокофьевичъ поставилъ на край этажерки карту, выстрѣлилъ въ нее изъ револьвера и попалъ.

— Хорошо?—спросилъ онъ, показывая мнѣ туза, пробитаго въ самое очко, и вслѣдъ за этимъ кликнулъ Янка.

— Милый Яни! Подержи-ка, — сказалъ онъ, подавая слугѣ карту.

Янко спокойно поставилъ на своей стриженой головѣ карту и деликатно придерживалъ ее за нижніе углышки обѣими руками.

Истоминъ отошелъ, приподнялъ пистолетъ и выстрѣлилъ: новая карта опять была пробита въ самой серединѣ.

Я зналъ, что такія забавы у нихъ были дѣломъ весьма обыкновеннымъ, но все-таки эта сцена встревожила меня и притомъ въ комнатѣ становилось тяжело дышать отъ порохового дыма.

— Пойдемте лучше ко мнѣ!—позвалъ я Истомина.

— А здѣсь развѣ не все равно?

— Теперь здѣсь, дѣйствительно, воздухъ очень спертъ.

— Да, здѣсь воздухъ спирается, спирается,—заговорилъ Истоминъ, двигая своими черными бровями. — Здѣсь воздухъ ужасно спирается,—закончилъ онъ, желая придать своему лицу какъ можно больше страданія и вообще скорчивъ грустную рожу.

Это было невыносимо противно. Передъ кѣмъ это, для кого и для чего онъ ломался?

И нѣсколько дней все онъ ходилъ смирнёхонекъ и все напѣвалъ:

Любить мечты не преступленье,
И я люблю мою мечту.

Надоѣла ужъ даже мнѣ эта пѣсня.

Шульцъ, встрѣчаясь со мною у Норковъ очень часто освѣдомлялся у меня объ Истоминѣ.

— Что̀ нашъ жукъ-отшельникъ дѣлаетъ? — спрашивалъ онъ.

Я отвѣчалъ, что хандритъ.

— Заряжается вѣрно чѣмъ-нибудь!—восклицалъ Шульцъ:— я знаю эти капризныя натуры: вдохновенія нѣтъ, сейчасъ и бѣситься,—самодовольно разъяснилъ онъ, обращаясь къ Идѣ Ивановнѣ и Манѣ.

Ни та, ни другая не отвѣчали ему ни слова.

У этихъ обѣихъ дѣвушекъ Фридрихъ Шульцъ большимъ расположеніемъ похвалиться не могъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Чудачества Истомина продолжались. Онъ, какъ говорилъ о немъ Шульцъ, все не переставалъ *капризничать* и не возвращался къ порядку. Видно было, что ему, дѣйствительно, приходилось тяжело; становилось, что называется, не въ мочь; онъ искалъ исхода и не находилъ его; онъ нуждался въ какомъ-нибудь толчкѣ, который бы встряхнулъ его и повернулъ лицомъ къ жизни. Но этого толчка не случалось и придумать его было невозможно, а, наконецъ, Истоминъ сочинилъ его себѣ самъ.

Въ одинъ изъ тѣхъ короткихъ промежутковъ этой безпокойной полосы, когда Истоминъ переставалъ читать запоемъ, страстно увлекаясь и бѣснуясь, и, наоборотъ, становился неестественно смиренъ, и грустный бродилъ тише воды, ниже травы, я зашелъ къ нему прямо съ улицы и сказалъ, что на-дняхъ даютъ обѣдъ для одного почтеннѣйшаго человѣка, котораго очень уважалъ и почиталъ Истоминъ.

— Я, говорю, — записалъ на обѣдъ и себя, и васъ, Романъ Прокофьичъ!

— Очень, отвѣчаетъ, — мило сдѣлали. А сколько денегъ?

Я сказалъ.

Истоминъ взялъ свое портмонэ и, подавая мнѣ ассигнацію, тепло пожалъ мою руку.

— Пойдете?—спросилъ я.

— Какъ же, непремѣнно пойду.

Въ день этого обѣда Истоминъ съ самаго утра не надѣвалъ своего пиджака и былъ очень спокоенъ, но молчаливъ. За юбилейнымъ обѣдомъ онъ равнодушно слушалъ разныя пышныя и сухія рѣчи; ѣлъ мало и выпилъ только два бокала шампанскаго.

Все время обѣда мы сидѣли съ нимъ рядомъ и послѣ стола вмѣстѣ вышли въ небольшую комнату, гдѣ собралась цѣлая толпа курящаго народа. Истоминъ сѣлъ у окна, вы-

нулъ дорогую баядеру, закурилъ ее и равнодушно сталъ смотрѣть на плетущихся по взмѣшанному, грязному снѣгу ванекъ и на перебѣгавшихъ въ суетѣ пѣшеходовъ. Противъ Истомина, въ амбразурѣ того же окна, сидѣла не молодая и не старая дама, которая еще не прочь была нравиться и очень могла еще нравиться, а между ними, на лабрадоровомъ подоконникѣ этого же самаго окна, помѣщался небольшой бѣлокуренькій господинчикъ съ жиденькими войлоковатыми волосами и съ физіономіей кладбищенскаго, тенористаго дьякона. Дама не безъ эффекта курила очень крѣпкую сигару, а бѣлокурый господинъ тянулъ тоненькую мариландскую папироску. Обѣ эти особы вели оживленный разговоръ объ искусствѣ вообще и въ различныхъ его примѣненіяхъ въ жизни. Дама была изъ тѣхъ новыхъ, даже самоновѣйшихъ женщинъ, которыя мудренѣе нигилистовъ и всего доселѣ появлявшагося въ женскомъ родѣ: это демократки съ желаніемъ барствовать; реалистки съ стремленіемъ опереться на всякій предразсудокъ, если онъ представляетъ имъ хотя самую фиктивную опору; проповѣдницы, что «не о хлѣбѣ единомъ человѣкъ живъ будетъ», а сами за хлѣбъ продающіе и тѣло, и честную кровь свою. Безтолковѣе и гаже этого ассортимента фразъ, ходячихъ въ юбкахъ, кажется, еще ничего никогда не было. Передъ мало-мальски умнымъ и логическимъ человѣкомъ онѣ бываютъ жалки до самой послѣдней степени: масса противорѣчій сбиваетъ ихъ. Дама, о которой идетъ рѣчь, безпрестанно путалась во всѣхъ своихъ положеніяхъ и кидалась изъ одной стороны въ другую, какъ нарочно открывая кладбищенскому дьякону полнѣйшую возможность побивать ее на всѣхъ пунктахъ. Около этой пары, къ которой случайно помѣщался ближе всѣхъ Истоминъ, сгруппировалась очень густая толпа, внимательно слѣдившая за ихъ рѣчами. Дама, при всей своей внѣшней храбрости, очевидно мѣшалась и, какъ я сказалъ, безпрестанно впадала въ противорѣчія. Всѣ свои усилія она устремляла только на то, чтобы не соглашаться, частила, перебивала и городила вздоръ. Тенористый вахлачокъ, напротивъ, говорилъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ и такимъ тономъ, какимъ, вѣроятно, Пилатъ произнесъ свое *еже писахъ—писахъ*.

Онъ рѣшительно утверждалъ, что художество отжило свой вѣкъ и что искусство только до тѣхъ поръ и терпимо, пока

человѣчество еще глупо; да и то терпимо въ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ помогать разуму проводить нужныя гражданскія идеи, а не рисовать нимфъ, да яблочки.

— Но вы забываете, что у всякаго свой талантъ... — перебивала дама.

— А что̀ такое талантъ? — спокойно вопрошалъ тенористый дьяконъ, и опять ядовито захихикалъ.

— Да вы знаете ли искусство-то? понимаете вы что-нибудь въ искусствѣ? — частила дама, Богъ знаетъ какъ передавшаяся вдругъ совсѣмъ на сторону чистаго искусства для искусства.

— Знаю-съ, знаю,— отвѣчалъ, звонко прихихикивая, тенористый дьяконъ. — Если толстая, голая женщина нарисована, такъ это значитъ Рубенсъ упражнялся. Большой безстыдникъ!

Тенористъ опять захихикалъ, кашлянулъ и отмахнулся рукою отъ налегшей на него струи сигарнаго дыма. Изъ толпы высунулись впередъ двѣ шершавенькія мордочки, оскалили зеленые зубы и также захохотали.

Я случайно взглянулъ на Истомина: онъ сидѣлъ, вытянувъ ноги и сложивъ ихъ одну на другую; сигару свою онъ держалъ между двумя пальцами правой руки и медленно пускалъ тоненькую струйку синяго табачнаго дыма прямо въ носъ тенористому дьякону.

— Такъ, по-вашему, что жъ, художниковъ надо выгнать, что ли?—приставала дама.

— Выгнать-съ?—Нѣтъ, это Платонъ предлагалъ увѣнчать всѣхъ этихъ безстыдниковъ лаврами, и потомъ выгнать, а по-моему, на что̀ на нихъ лавры истреблять?

— Платонъ это говорилъ о поэтахъ.

— Это все равно-съ; жрецы свободнаго искусства!

Тенористъ снова захихикалъ и снова закашлялся еще сильнѣе. Въ носъ ему такъ и била тоненькая дымовая струйка, вылетавшая крутымъ шнурочкомъ изъ-подъ усовъ Истомина и бившая оратора прямо въ носъ.

— Ихъ къ дѣлу надо обратить,—продолжалъ онъ, отмахнувшись отъ дыма.

— Да-съ, землю пахать, что ли?—допрашивала съ азартомъ дама.

— Кто къ чему годенъ окажется: кто камни тесать, кто мосты красить.

— Прекрасно-съ, прекрасно! Только какъ вы этого достигнете?

— Чего-съ это?

— Того, чтобъ художники обратились въ ремесленниковъ.

— Исправительными мѣрами-съ.

— Га! то-есть сѣчь ихъ будете?

— Это по усмотрѣнію-съ, по усмотрѣнію,—отвѣчалъ бѣленькій теноръ, глядя въ толпу и попрежнему стуча по стѣнѣ задниками своихъ сапожекъ.

— Это прелесть! это чудо что такое!.. Это совершенство!—восхищалась дама, покрывая все довольно громкимъ смѣхомъ. — Представьте себѣ, господа, бѣднаго Рафаэля, который мазилкой мостъ краситъ на большой дорогѣ! или Канову, который тумбы обтесываетъ!.. Это чудо! Это совершенство! прелесть! Ну, а пѣвцовъ, скульпторовъ, музыкантовъ, актеровъ—ихъ всѣхъ куда дѣвать?

— Зачѣмъ же ихъ дѣвать куда-нибудь? — Перестанутъ имъ деньги давать, такъ они сами и пѣть, и плясать перестанутъ.

— То-то! а вѣдь ихъ много; пожалуй, еще отпоръ дадутъ,—частила, вовсе ужъ не вслушиваясь, дама.

— Ну, не дадутъ-съ... при этомъ словѣ тенористый дьяконъ вздрогнулъ и быстро отодвинулся отъ подлѣзшей къ его лицу новой струи дыма.

— Почему?—спросилъ его рѣзко Истоминъ.

— Что это? отпоръ-то? Да какой же отпоръ? Картинки какъ-то на Дрезденскій мостъ потребовались, такъ и тѣхъ пожалѣли.

— Это совсѣмъ не идетъ къ дѣлу.

— А мы развѣ съ вами о дѣлахъ говоримъ?

Теноръ захихикалъ и добавилъ:

— Смѣшно!

— А вы не смѣйтесь,—остановилъ его, блѣднѣя, Истоминъ.

— Отчего же-съ?—Это правительствомъ не запрещено.

— Оттого, что мнѣ это не нравится.

— Напрасно-съ.

— Напрасно! Вы говорите — *напрасно!* А что ежели я, *безстыдникъ*, художникъ Истоминъ, сейчасъ послѣ этого «напрасно», объявлю, что всякому, кто посмѣетъ при мнѣ сказать еще хотя одно такое гнусное слово объ искусствѣ,

котораго онъ не понимаетъ, то я ему сейчасъ вотъ этими самыми руками до ушей ротъ разорву?

Истоминъ всталъ, прижалъ ногою колѣна тенора къ подоконнику и, взявъ сигару въ зубы, показалъ ему два большіе пальца своихъ рукъ.

— Я тогда ничего-съ болѣе не скажу,—отвѣчалъ, нимало не теряясь и попрежнему хихикая, тенористый дьяконъ.

— То-то, надѣюсь, что не скажете! — отвѣчалъ, доканчивая свою нелѣпую выходку, Истоминъ и смѣшался съ толпою.

— Доказалъ, однако!—иронически проговорила, высовываясь изъ толпы, прежняя шершавенькая мордочка.

— Да-съ; я полагаю, что у этого человѣка очень развито правое плечевое сочлененіе, а это очень важно при спорахъ въ Россіи,—отвѣчалъ мордочкѣ теноръ и легко снялся съ подоконника.

Черезъ полчаса я видѣлъ, какъ Истоминъ, будто ни въ чемъ не бывало, живо и весело ходилъ по залѣ. Съ обѣихъ сторонъ у его локтей бѣгали за нимъ двѣ дамы: одна была та самая, что курила крѣпкую сигару и спорила, другая — мнѣ вовсе незнакомая. Обѣ онѣ залѣзали Истомину въ глаза и просили у него позволенія посѣтить его мастерскую, отъ чего онъ упорно отказывался и, надо полагать, очень смѣшилъ ихъ, потому что обѣ онѣ безпрестанно хохотали.

Бѣловойлочный противникъ Истомина тоже сидѣлъ здѣсь на одномъ изъ дивановъ этой же залы и около него помѣщались два молодые господина, смотрѣвшіе не то обиженными ставленниками, не то недовольными регистраторами духовной консисторіи.

Ставленники бросали на художника самые суровые взгляды, но, однако, никакого новаго столкновенія здѣсь не произошло. Но угодно же было судьбѣ, чтобы Истоминъ, совершивъ одно безобразіе, докончилъ свой день другимъ, заключилъ его еще болѣе странной и неоправдываемой выходкой. Совсѣмъ въ шубахъ и шапкахъ мы натолкнулись на эту тройку между двойными дверями подъѣзда.

— Не могу-съ, не могу,—говорилъ, пробираясь впереди насъ и хихикая, теноръ. — Ничего-съ здѣсь не могу говорить, ротъ разорвутъ.

— Полно острить-то! — произнесъ сзади его Истоминъ,

и, взявшись за края его мѣховой шапки, натянулъ ему ее по самую бороду. Теноръ издалъ изъ-подъ шапки какой-то глухой звукъ и, какъ страусъ, замоталъ головою во всѣ стороны. Оба ставленника разомъ принялись сдергивать съ учительской головы ни за что не хотѣвшую слѣзать шапку.

Истоминъ былъ очень веселъ, смѣялся и, придя домой, началъ переставлять и перетирать въ своей мастерской давно забытые подмалевки и этюды.

На другой день, часу въ десятомъ утра, только что я отворилъ дверь въ залу Истомина, меня обдалъ его громкій, веселый хохотъ, такъ и разносившійся во всей квартирѣ. Истоминъ уже былъ одѣтъ въ канаусовыхъ шароварахъ и бархатномъ пиджакѣ и катался со смѣху по ковру своей оттоманки.

— Здравствуйте!—весело произнесъ онъ, протягивая мнѣ руку и обтирая платкомъ выступившія отъ хохота слезы.— Садитесь скорѣй, или лучше прямо ложитесь загодя, а то Меркулъ Ивановъ васъ сейчасъ уложитъ.

Меркулъ Ивановъ былъ огромный, трехъэтажный натурщикъ, прозывавшійся въ академіи Голіаѳомъ. Онъ былъ необыкновенно хорошо сложенъ, слылъ за добродушнѣйшаго человѣка и пьянствовалъ какъ настоящій академическій натурщикъ. Теперь онъ былъ, очевидно, послѣ каторжнаго похмелья и, стоя у притолки Истомина, жался, вздрагивалъ и водилъ по комнатѣ помутившимися глазами.

— Вотъ послушайте, — началъ Истоминъ: — я говорю Меркулу Иванову, чтобъ онъ болѣе не пилъ; что иначе онъ до чортиковъ допьется, а онъ, вотъ послушайте, что̀ отвѣчаетъ.

— Это, помилуй Богъ, Романъ Прокофьичъ, — зацѣдилъ сквозь зубы, вздрагивая, натурщикъ.

— Да... а, онъ говоритъ... да ну, разсказывай, Меркулъ Иванычъ, что̀ ты говорилъ?

— Я-то, Романъ Прокофьичъ... что это... помилуй Богъ совсѣмъ; я крещеный человѣкъ... какъ онъ можетъ ко мнѣ подходить, дьяволъ?

— А что̀ ты видаешь-то?

— Хххаррри этакія... маски... Романъ Прокофьичъ... это золото... уголь сыпется...—разсказывалъ, отпихиваясь отъ чего-то ладонью, натурщикъ. — Ну, что только чччоорта,

Романъ Прокофьичъ... Этого никакъ онъ, Романъ Прокофьичъ, не можетъ. Онъ теперь, если когда и стоитъ... то онъ издали стоитъ... онъ золлото это, уголь, все это собираетъ... а ко мнѣ, Романъ Прокофьичъ, не можетъ.

Смѣшно это, точно, разсказывалъ несчастный Голіаѳъ, но ужъ Истоминъ смѣялся надъ этимъ разсказомъ совсѣмъ паче естества, точно вознаграждалъ себя за долговременную тоску и скуку. Онъ катался по ковру, щипалъ меня, трясъ за руку и визжалъ какъ ребенокъ, которому брюшко щекочутъ.

— Ну, а клотовскій форматоръ же что?—заводилъ опять натурщика Истоминъ.

— Т-тотъ... тотъ, Романъ Прокофьичъ, дѣйствительно, что допился,—отвѣчалъ, вздыхая, Меркулъ Ивановъ.

— То-то, разскажи имъ, разскажи, какъ онъ допился?

Меркулъ Ивановъ повернулъ голову исключительно ко мнѣ и заговорилъ.

— Уговорились мы, Романъ Прокофьичъ, идти...

— Ты имъ разсказывай,—перебилъ его Истоминъ, показывая на меня.

— Я и то, Романъ Прокофьичъ, имъ это,—отвѣчалъ натурщикъ.—Уговорились мы, Романъ Прокофьичъ,—продолжалъ онъ, глядя на меня,—идти съ нимъ, съ этимъ Арешкой, въ трактиръ... Чай, Романъ Прокофьичъ, пить хотѣли. Въ третьей линіи тутъ, изволите знать?

— Ну, знаю!—крикнулъ Истоминъ.

— Я и говорю ему: не пей, говорю, ты, Арешка, водки, потому видишь, говорю, какъ отъ нея послѣ того тягостно. Приходи, зову его, лучше въ шестомъ часу ко мнѣ и пойдемъ въ третьей линіи чай пить. Только онъ что же, Романъ Прокофьичъ! Я его жду теперь до седьмого часу, а е-его, пподлеца—вотъ нѣту. Я теперь, разумѣется, пошелъ ззза нимъ. Пррихххажжу, а онъ, мерзавецъ, лежитъ въ мастерской теперь подъ самыми подъ этими подъ канатами, что, изволите знать, во второй этажъ формы подымаютъ. Голова его теперь пьяная подъ самыми подъ этими канатами и то-то-исть по этимъ, Романъ Прокофьичъ, по канатамъ... чертей! То-есть столько, Романъ Прокофьичъ, чертей вездѣ! И вотъ этакіе, и вотъ этакіе, и вотъ этакіе... какъ блохи, такъ и сидятъ.

Меркулъ Ивановъ плюнулъ и перекрестился.

— Гибель!—продолжалъ онъ.—Я тутъ же, Романъ Прокофьичъ, и сказалъ: пропади ты, говорю, совсѣмъ и съ чаемъ; плюнулъ на него, а съ этихъ поръ, Романъ Прокофьичъ, я его, этого подлаго Арешку, и видѣть я не хочу. А на натурѣ мнѣ эту недѣлю, Романъ Прокофьичъ, стоять не позвольте, потому, ей-Богу, весь я, Романъ Прокофьичъ, изслабѣлъ.

Тѣшилъ этотъ наивный разсказъ Истомина безъ мѣры и развеселилъ его до того, что онъ вскочилъ и сказалъ мнѣ:

— Не пройдемся ли провѣтриться? погода ужъ очень, кажется, хороша.

Я былъ согласенъ идти; погода, дѣйствительно, стояла веселая и ясная. Мы одѣлись и вышли.

Не успѣли мы сдѣлать нѣсколько шаговъ къ мосту, какъ нагнали Иду Ивановну и Маню: онѣ шли за какими-то покупками на Невскій.

— Мы пойдемъ провожать васъ, — напрашивался я къ Идѣ Ивановнѣ.

— Если вамъ нечего больше дѣлать, такъ провожайте,— отвѣчала она съ своимъ всегдашнимъ спокойно-насмѣшливымъ выраженіемъ въ глазахъ.

Я пошелъ около Иды Ивановны, а Истоминъ какъ-то случайно выдвинулся впередъ съ Манею, и такъ шли мы до Невскаго; заходили тамъ въ два или три магазина и опять шли назадъ тѣмъ же порядкомъ: я съ Идой Ивановной, а Маня съ Истоминымъ. На одномъ какомъ-то поворотѣ мнѣ послышалось, будто Истоминъ говорилъ Манѣ, что онъ никакъ не можетъ забыть ея лица; потомъ еще разъ послышалось мнѣ, что онъ нервнымъ и настойчивымъ тономъ добивался у нея «да, или нѣтъ?» и потомъ я ясно слышалъ, какъ, прощаясь съ нимъ у дверей своего дома, Маня робко уронила ему тихое «да».

Вечеромъ въ этотъ день мнѣ случилось проходить мимо домика Норковъ. Пробираясь черезъ проспектъ, я вдругъ замѣтилъ, что въ ихъ темномъ палисадникѣ какъ будто мигнулъ огонекъ отъ сигары.

— Кто бы это тутъ прогуливался зимою? — подумалъ я и рѣшилъ, что это вѣрно Верманъ затворяетъ ставни.

— Herr Werman! — позвалъ я сквозь рѣшётку палисадника.

Сигара спряталась и что-то тихо зашумѣло мерзлымъ кустомъ акаціи.

«Неужто воръ! — но гдѣ же воры ходятъ съ сигарой? Однако, кто же это?»

Я перешелъ на другую сторону и тихо завернулъ за уголъ.

Не успѣлъ я взяться за звонокъ своей двери, какъ на лѣстницѣ послышались шаги, и въ темнотѣ опять замигала знакомая сигара: это былъ Истоминъ.

«Итакъ, это онъ былъ тамъ», сказала мнѣ какая-то твердая догадка.

«И что̀ ему нужно? что̀ онъ тамъ дѣлалъ? чего задумалъ добиваться?..»

Это обозлило меня на Истомина, и я не старался скрывать отъ него, что мнѣ стало тяжело и непріятно въ его присутствіи. Онъ на это не обращалъ, кажется, никакого вниманія, но сталъ заходить ко мнѣ рѣже, а я не сталъ ходить вовсе, и такъ мы, ни съ того, ни съ сего, раздвинулись.

Я имѣлъ полное основаніе бояться за Маню: я зналъ Истомина и видѣлъ, что онъ пріударилъ за нею не шутя, а изъ этого для Мани не могло выйти ровно ничего хорошаго.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Опасенія мои начали возрастать очень быстро. Зайдя какъ-то къ Норкамъ, я узналъ, что Истоминъ предложилъ Манѣ уроки живописи. Это *да*, которое я слышалъ при концѣ нашей прогулки, и было то самое *да*, которое упрочивало Истомину спокойное мѣсто въ теченіе цѣлаго часа въ день возлѣ Мани. Но что̀ онъ дѣлалъ въ садикѣ? Неужто къ нему выходила Маня? Не можетъ быть. Это просто онъ былъ *влюбленъ*, то-есть сказалъ себѣ: «Камилла быть должна моей, не можетъ быть иначе», и безумствовалъ, свирѣпѣя, что она не *его* сейчасъ, сію минуту. Онъ даже могъ вѣрить, что есть какая-то сила, которая заставитъ ее выйти къ нему сейчасъ. Наконецъ, онъ просто хотѣлъ быть ближе къ ней—къ стѣнамъ, въ которыхъ она сидѣла за семейною лампою.

Уроки начались; Шульцъ былъ необыкновенно доволенъ такимъ вниманіемъ Истомина; мать ухаживала за нимъ и поила его кофе, и только одна Ида Ивановна молчала. Я ходилъ рѣдко, и то въ тѣ часы, когда не ожидалъ тамъ встрѣтить Истомина.

Разъ однъ, въ самомъ началѣ марта, въ сумерки, вдругъ сдѣлалось мнѣ какъ-то нестерпимо скучно: просто вотъ бѣжалъ бы куда-нибудь изъ дому. Я взялъ шапку и ушелъ со двора. Думалъ даже самъ зайти къ Истомину, но у него не дозвонился: оно и лучше, потому что въ такія минуты не утерпишь и, пожалуй, скажешь *грустно*, а мы съ Романомъ Прокофьевичемъ въ эту пору другъ съ другомъ не откровенничали.

Пойду, думаю, къ Норкамъ, и пошелъ.

Прохожу по проспекту и вижу, что подъ окномъ въ магазинѣ сидитъ Ида Ивановна: поклонился ей, она погрозилась и сдѣлала гримаску.

— Что̀ это вы, Ида Ивановна, передразнили меня, кажется?—говорю, входя и протягивая ей черезъ прилавокъ руку.

— А развѣ, спрашиваетъ, видно?

— Еще бы, говорю, не видѣть!

— Вотъ завидные глаза! А я о васъ только сейчасъ думала: что̀ это, въ самомъ дѣлѣ, какая нынче молодежь стала? Помните, какъ мы съ вами хорошо познакомились — такъ просто, славно, и вотъ, ни съ того, ни съ сего, ужъ и раззнакомливаемся: зачѣмъ это?

Я началъ оправдываться, что я и не думалъ раззнакомливаться.

— Эхъ, вы, господа, господа! Вѣтеръ у васъ еще все въ головѣ-то ходитъ, — проговорила въ отвѣтъ мнѣ Ида Ивановна.—Нѣтъ; въ наше время молодые люди совсѣмъ не такіе были.

— Какіе жъ, спрашиваю,—тогда были молодые люди?

— А такіе были молодые люди—хорошіе, дружные; придутъ, бывало, вечеромъ къ молодой дѣвушкѣ, да сядутъ съ ней у окошечка, начнутъ вотъ вдвоемъ попросту орѣшки грызть, да разсказывать, что̀ они днемъ видѣли, что̀ слышали—вотъ такъ это молодые люди были: а теперь я ужъ не знаю, съ кого дѣтямъ и примѣръ брать.

— Это, говорю,—кажется, ваша правда.

— Да, кажется, что правда; сами въ примѣрахъ нуждаетесь—садитесь-ка вотъ, давайте съ горя орѣхи ѣсть.

Ида Ивановна двинула по подоконнику глубокую тарелку каленыхъ орѣховъ и, показавъ на цѣлую кучу скорлупы, добавила:

— Видите, сколько я одна отстрадала.

— Ну-съ, разсказывайте, что̀ вы подѣлывали?—начала она, когда я помѣстился на другомъ стулѣ и вооружился поданной мнѣ вѣсовой гирькой.

— Скучалъ, говорю,—больше всего, Ида Ивановна.

— Это мы и сами умѣемъ.

— А я думалъ, что вы этого-то и не умѣете.

— Нѣтъ, умѣемъ; мы только не разсказываемъ этого всѣмъ и каждому.

— А вы развѣ все равно, что всѣ и каждый?

— Да-съ, положимъ, что и все равно. А вы скажите, нѣтъ ли войны хорошей?

— Есть, говорю,—китайцы дерутся.

— Это все опять въ пользу дѣтскихъ пріютовъ?—умные люди.

— Папа, говорю,—боленъ.

— Папа умеръ.

— Нѣтъ, еще не умеръ.

Ида разсмѣялась.

— Вы, должно быть,—говоритъ,—совсѣмъ никакихъ игръ не знаете?

— Нѣтъ, говорю,—знаю.

— Ну, какъ же вы не знаете, что есть такая игра, что выходятъ другъ къ другу два человѣка съ свѣчами и одинъ говоритъ: «Папа боленъ», а другой отвѣчаетъ: «Папа умеръ», и оба должны не разсмѣяться, а кто разсмѣется, тотъ папа, и даетъ фантъ. А дальше?

— Дальше?—дальше Андерсена сказки по-русски переводятся.

— Ага! то-то, господа, видно, безъ нѣмцевъ не обойдетесь.

— Онъ, спасибо, Ида Ивановна, не нѣмецъ, а датчанинъ.

— Это все равно-съ; ну, а еще что̀?

— Выставка художественная будетъ скоро.

— Не интересно.

— Нефъ, говорятъ, новую дѣвочку нарисуетъ.

— Пора бы на старости лѣтъ постыдиться.

— Красота!

— Ужасно какъ красиво! Разбейте-ка мнѣ вотъ этотъ орѣхъ.

— Истоминъ нашъ что-то готовитъ, тоже, кажется, изъ міра ваннъ и купаленъ.

Ида улыбнулась, тронула меня за плечо и показала рукою на дверь въ залу. Я прислушался — оттуда былъ слышенъ тихій говоръ.

— Онъ у васъ?—спросилъ я полушопотомъ.

Ида молча качнула головою.

Слышно стало, что говорившіе въ залѣ, замѣтя наше молчаніе, тоже вдругъ значительно понижали голосъ и не знали, на какой имъ остановиться нотѣ. Впрочемъ, я не слыхалъ никакого другого голоса, кромѣ голоса Истомина, и потому спросилъ тихонько:

— Съ кѣмъ онъ тамъ?

— Чего вы шепчете?—проговорила, улыбаясь, Ида.

— Я не шепчу, а такъ...

— Я такъ... Что̀ такъ? Какъ это всегда смѣшно выходитъ!

Ида беззвучно разсмѣялась.

Это и дѣйствительно выходитъ смѣшно, но только смѣшно послѣ, а въ тѣ именно минуты, когда никакъ не заговоришь такимъ тономъ, который бы отвѣчалъ обстановкѣ, это бываетъ не смѣшно, а предосадно.

Если вамъ, читатель, случалось разговаривать рядомъ съ комнатой, въ которой сидятъ двое влюбленныхъ, или если вамъ случалось бесѣдовать съ женщиной, съ которой говорить хочется и нужно, чтобы другіе слышали, что вы не молчите, а въ то же время не слыхали, о чемъ вы говорите съ нею, такъ вамъ объ этомъ нечего разсказывать. Тутъ вы боитесь всего: движенія вашего стула, шелеста платья вашей собесѣдницы, собственнаго кашля,—все васъ, кажется, выдаетъ въ чемъ-то, ото всего вамъ неловко. Для нѣкоторыхъ людей нѣтъ ничего затруднительнѣе, какъ выборъ камертона для своего голоса въ подобномъ положеніи.

— Мутерхенъ моей нѣтъ дома,—проговорила, тщательно разбивая на окнѣ новый крѣпкій орѣхъ, Ида.

— Гдѣ же это она?

— У Шперлинговъ; тамъ, кажется, Клареньку замужъ выдаютъ.

Разговоръ опять прервался, и опять Ида, слегка покраснѣвъ и закусивъ нижнюю губку, долго стучала по орѣху; но, наконецъ, это кончилось: орѣхъ разбился. Стала тишь совершенная.

— Вонъ Соважъ пошелъ домой, — проронила, глядя въ окно, дѣвушка.

Я хотѣлъ отвѣтить ей *да*, но и этого не успѣлъ, и не успѣлъ по самой пустой причинѣ, — не успѣлъ потому, что въ это мгновенье въ залѣ передвинулся по полу стулъ. Онъ, конечно, передвинулся такъ себѣ, самымъ обыкновеннымъ и естественнымъ образомъ, какъ будто кто пересѣлъ съ мѣста на мѣсто, и ничего болѣе; но и мнѣ, и Идѣ Ивановнѣ вдругъ стало удивительно неловко. Сидѣвшимъ въ залѣ тоже было не ловче, чѣмъ и намъ. Ясно, что они чувствовали эту неловкость, ибо Истоминъ тотчасъ забубнилъ что-то самымъ ненатуральнымъ, сдавленнымъ голосомъ, и въ то же время начало слышаться отчетливое перевертываніе большихъ листовъ бумаги. Истоминъ произносилъ имена Ніобеи, Эвридики, Психеи, Омфалы, Медеи, Елены.

Маня только пискнула одинъ разъ что-то въ родѣ «да», или «дальше»—даже и разобрать было невозможно.

— Что̀ это, они гравюры разсматриваютъ?

Ида кивнула утвердительно головою и опять съ двойнымъ усиліемъ ударила по орѣху.

Мы больше не могли говорить другъ съ другомъ.

Истоминъ повыровнялъ голосъ и разсказывалъ въ залѣ что-то о Кипридѣ. Все слышались мнѣ имена Гнатэны, Праксителя, Фрины Мегарянки.

Дѣло шло здѣсь о томъ, какъ она, эта Фрина,

«не внимая
Шопоту ближней толпы, развязала ремни у сандалій,
Пышныхъ волосъ золотое руно до земли распустила;
Перевязь персей и поясъ лилейной рукой разрѣшила;
Сбросила ризы съ себя и, лицомъ повернувшись къ народу,
Медленно, словно заря, погрузилась въ лазурную воду.
Ахнули тысячи зрителей, смолкли свирѣль и пектида;
Въ страхѣ упавъ на колѣни, всѣ жрицы воскликнули громко:
«Чудо свершается, граждане! Вотъ она, матерь-Киприда».

— Ну-съ, и съ тѣхъ поръ ею плѣненный Пракситель навѣки оставилъ Гнатэну и ушелъ съ Мегарянкою Фриной и навѣки ее сохранилъ въ своихъ работахъ. А когда онъ вдохнулъ ее въ мраморъ, то мраморъ холодный сталъ огненной Фриной,—разсказывалъ Манѣ Истоминъ: — вотъ это и было то чудо.

— А бабушка давно закатилась? — спросилъ я, наконецъ, Иду.

Дѣвушка хотѣла мнѣ кивнуть головою, но на половинѣ

склона вздрогнула, быстро вскочила со стула и громко проговорила:

— Вотъ, слава Богу, и мамаша!

Съ этими словами она собрала горстью набросанную на окнѣ скорлупу, ссыпала ее проворно въ тарелку и быстро пошла навстрѣчу матери. Софья Карловна, дѣйствительно, въ это время входила въ дверь магазина.

Въ эти же самыя минуты, когда Ида Ивановна встрѣчала входящую мать, я ясно и отчетливо услыхалъ въ залѣ два, три, четыре раза повторенный поцѣлуй,— поцѣлуй несомнѣнно насильственный, потому что онъ прерывался робкимъ отодвиганіемъ стула и слабымъ, но отчаяннымъ «Бога ради, пустите!»

Теперь мнѣ стали понятны и испугъ Иды, и ея радостный восклик:—«Вотъ и мамаша!»

Это все было совершенно по-истомински и похоже, какъ двѣ капли воды, на его всегдашнія отношенія къ женщинамъ. Его правило— онъ говорилъ—всегда такое: безъ мѣры смѣлости, изрядно наглости; поднесите все это женщинѣ на чувствительной подкладкѣ, да не давайте ей опомниваться, и я поздравляю васъ съ всегдашнимъ успѣхомъ.

Здѣсь были и смѣлость, и наглость, и чувствительная подкладка, и недосугъ опомниться; неразрѣшеннымъ оставалось: быть ли успѣху?.. А отчего и нѣтъ? Отчего и не быть? Правда, Маня прекрасное, чистое дитя—все это такъ; но это дитя позволило насильно поцѣловать себя и *прошептало,* а не *прокричало* «пустите!» — Для опытнаго человѣка это обстоятельство очень важно,—обстоятельство, въ девяносто девяти случаяхъ изо ста ручающееся нахалу за непремѣнный успѣхъ.

Такъ точно думалъ и Истоминъ. Самодовольный, какъ дьяволъ, только-что заманившій странника съ торной дороги въ пучину, подъ мельничныя колеса, художникъ стоялъ, небрежно опершись руками о притолки въ дверяхъ, которыя вели въ магазинъ изъ залы, и съ фамильярностью самаго близкаго, семейнаго человѣка проговорилъ вошедшей Софьѣ Карловнѣ:

— Тебя, о матерь, срѣтаемъ собрашеся вкупѣ! Приди и открой намъ объятія отчи!

— Ахъ, Романъ Прокофьичъ! — отвѣчала старуха, сни-

мая съ себя и складывая на руки Иды свой шарфъ, капоръ и черный суконный бурнусъ.

— И вы тоже!—обратилась она, протянувъ другую руку мнѣ.—Вотъ и прекрасно; у каждой дочери по кавалеру. Ну, будемъ, что ли, чай пить? Идинька, вели, дружочекъ, Авдотьѣ поскорѣе намъ подать самоварчикъ. А сами туда, въ мой уголокъ, пойдемте, — позвала она насъ за собою и пошла въ залу.

Въ залѣ, у небольшого кругленькаго столика, между двумя тѣсно сдвинутыми стульями, стояла Маня. Она была въ замѣшательствѣ и потерянно перебирала кипу желтоватыхъ старыхъ гравюръ, принесенныхъ ей Истоминымъ.

— Рыбка моя тихая, что жъ это ты здѣсь одна?—отнеслась къ ней Софья Карловна.

Маня посмотрѣла съ удивленіемъ на мать, положила гравюру, отодвинула рукою столикъ и тихо поправила волосы.

— Тебя, мою нѣмушу, всегда забываютъ. Молчальница ты моя милая! все-то она у насъ молчитъ, все молчитъ. Идка скверная, всѣхъ къ себѣ позабираетъ, а она, моя горсточка, и сидитъ одна въ уголочкѣ.

— Нѣтъ, мама, со мною здѣсь Романъ Прокофьичъ сидѣлъ, — тихо отвѣтила Маня и нѣжно поцѣловала обѣ материны руки.

На лѣвой щечкѣ у Мани пылало яркое пунцовое пятно: это здѣсь къ ея лицу прикасались жадныя уста удава.

— Романъ Прокофьичъ съ тобой сидѣлъ?—ну, и спасибо ему за это, что онъ сидѣлъ. Господи, Боже мой, какія мы, Романъ Прокофьичъ, всѣ счастливыя,—начала, усаживаясь въ своемъ уголкѣ за покрытый скатертью столъ. Софья Карловна.—Всѣ насъ любятъ, всѣ съ нами такіе добрые.

— Это вы-то такіе добрые.

— Нѣтъ, право. Ахъ, да! что̀ со мной сейчасъ было... Софья Карловна весело разсмѣялась.

— Здѣсь, возлѣ моихъ дочерей, возлѣ каждой по кавалеру, а тамъ какой-то господинъ за мною вздумалъ ухаживать.

— Какъ это, мамаша, за вами? — спросилъ Истоминъ, держась совсѣмъ членомъ семейства Норковъ, и даже называя m-me Норкъ «мамашей».

— Да такъ, вотъ, присталъ ко мнѣ дорогой въ провожатые, да и только.

Мы всѣ разсмѣялись.

— Ну, я и говорю у бертинькинаго подъѣзда: «очень, говорю, батюшка, вамъ благодарна, только постойте здѣсь минуточку, я сейчасъ зайду внучковъ перекрещу, тогда и проводите, пожалуйста», — онъ и драла: стыдно стало, что за старухой увязался.

— Молодецъ, моя мама! — похвалила уставлявшая на столъ чайный приборъ Ида.

— Да, вотъ подите, право, какіе нахалы! Старухамъ, намъ, ужъ и тѣмъ прохода нѣтъ, какъ вечеръ. Вы знаете, вѣдь, что̀ съ Идинькой въ прошломъ году случилось?

— Нѣтъ, мы не знаемъ.

— Какъ же! поцѣловалъ ее какой-то негодяй у самаго нашего дома.

— Вотъ какъ, Ида Ивановна! — отозвался, закручивая усъ, Истоминъ.

— Да-съ, это такъ, — довольно небрежно отвѣтила ему, обваривая чай, Ида.

— Ты разскажи, Идоша, какъ это было-то.

— Ну, что, мама, имъ-то разсказывать; это еще и ихъ, пожалуй, выучишь этому секрету.

— Ну, полно-ка тебѣ врать, Ида.

— Мнѣ даже кажется, что Романъ Прокофьичъ въ этомъ чуть ли не участвовалъ.

— Въ чемъ это? Богъ съ вами, Ида Ивановна, что̀ это вы говорите?

— А что̀ жъ, вѣдь вы тогда не были съ нами еще знакомы?

— Ну, да, какъ же! станетъ Романъ Прокофьичъ... Перестань, пожалуйста.

— Перестану, мама, извольте, — отвѣчала Ида съ нѣсколько комической покорностью, и стала наливать намъ стаканы.

Во все это время она не садилась и стояла передъ самоваромъ на ногахъ.

— Видите,—начала Софья Карловна:—вотъ такъ-то часто говорятъ *ничего, ничего*; можно, говорятъ, и одной женщинѣ идти; если, дескать, сама не подастъ повода, такъ никто ее и не тронетъ; а выходитъ, что совсѣмъ не ничего. Идетъ, представьте себѣ, Идинька отъ сестры, и еще сумерками только, а за нею вдругъ два господина; одинъ го-

воритъ: «я ее поцѣлую», а другой говоритъ: «не поцѣлуешь»; Идочка бѣжать, а они за нею; догнали у самаго крыльца и поцѣловали.

— Такъ и поцѣловали?

— Такъ и поцѣловали.

— Ида Ивановна! да какъ же вы это оплошали? Какъ же васъ поцѣловали, а? — разспрашивалъ съ удивленіемъ Истоминъ.

— Очень просто,—отвѣчала Ида:—взяли за плечи, да и поцѣловали.

— И вы ему не плюнули въ лицо?

— Ну, такъ! чтобъ онъ еще меня приколотилъ?

— Экъ, куда хватили,—такъ ужъ и приколотитъ?

— А что жъ? отъ васъ всего дождешься,—добавила, улыбаясь, Ида.

— Мнѣнія, стало-быть, вы о мужчинахъ невысокаго, Ида Ивановна?—пошутилъ художникъ.

— Извольте, мама, вамъ чаю,—проговорила Ида матери, а Истомину не отвѣтила ни слова, будто и не разслышала его вопроса.

— Благодарю, Идочка.

Софья Карловна хлебнула чаю и вдругъ затуманилась.

— Ужасно, ей-Богу,—начала она, мѣшая ложкой: — береги, корми, лелѣй дитя, вѣтра къ нему не допускай, а первый негодяй хвать ее и обидитъ. Шперлинги говорятъ: устроимъ уроки, чтобъ музыкѣ дѣтей учить. Конечно, оно очень дешево, но, вѣдь, вотъ какъ подумаешь, что надо вечеромъ съ одной дѣвкой посылать, такъ и Богъ съ ними, кажется, и уроки.

— Ничего,—сказала, подумавъ, Ида.

— Какъ, мой дружокъ, ничего-то? Ты дѣвушка взрослая, а она дитя.

— Это еще, вѣдь, нескоро, мама; тогда успѣемъ еще подумать.

— Успѣть-то, конечно... А я это... Да, ну, видѣла я, Идочка, жениха. Не нравится онъ мнѣ, мой дружочекъ: во-первыхъ, старъ онъ для нея, а во-вторыхъ, такъ что-то... не нравится; а она, говорятъ, будто его любитъ, да я этому не вѣрю.

— Не знаю, мамочка.

— Говорятъ, что любитъ; да только вздоръ это, я думаю. Ужъ кто кого любитъ, такъ это видно.

Ида промолчала и, взявъ въ руки одну изъ принесенныхъ сюда сестрою гравюръ, посмотрѣла ее и тотчасъ же равнодушно положила на мѣсто.

— У васъ, Ида Ивановна, есть идеалъ женщины?—спросилъ Истоминъ.

— Есть-съ,—отвѣчала, улыбнувшись, Ида.

— Покажите намъ ее здѣсь.

— Здѣсь нѣтъ ея.

— Кто же это такая?—Антигона вѣрно?

— Нѣтъ, не Антигона.

— Нѣтъ, безъ шутокъ, скажите, пожалуйста, какой изъ всѣхъ извѣстныхъ вамъ женщинъ вы больше всѣхъ сочувствуете?

— Моей мамѣ, — отвѣтила спокойна Ида и отправилась къ бабушкѣ съ кружкою шалфейнаго питья, приготовленнаго на ночь старушкѣ.

— Романъ Прокофьичъ!—тихо позвала Софья Карловна художника.

Истоминъ нагнулся.

— Какая, я говорю, у меня дочь-то!

— Это вы объ Идѣ Ивановнѣ?

— Да, Идочка-то; я о ней вамъ говорю. Вѣдь это, истинно надо сказать правду, счастливая и пресчастливая я мать. Вы знаете, какъ это странно, вотъ я нынче часто слышу, многіе говорятъ, и Фрицъ тоже любитъ спорить, что снамъ не должно вѣрить, что будто сны ничего не значатъ; а я, какъ хотите, ни за что съ этимъ не могу согласиться. Мы все съ Авдотьюшкой другъ другу сны разсказываемъ.—Старуха подвинулась къ Истомину и заговорила: — Представьте вы себѣ, Романъ Прокофьичъ, что когда я была Идинькой беременна... Маничка, выйди, моя крошечка; поди тамъ себѣ пелериночку поправь.

Маня, слегка покраснѣвъ, встала и вышла за сестрою.

— Да; такъ вы представьте себѣ, Романъ Прокофьичъ, девять мѣсяцевъ кряду, каждую ночь, каждую ночь мнѣ все снилось, что меня какой-то маленькій ребенокъ грудью кормитъ. И что жъ бы вы думали? Родила я Идочку, какъ разъ вотъ, рѣшительно, какъ двѣ капли воды, то самое дитя, что меня кормило... Боже мой! Боже мой! вы не знаете, какъ я сокрушаюсь о моемъ счастьѣ! Я такая счастливая мать, такая счастливая мать, такія у меня

добрыя дѣти, что я боюсь, боюсь... не могу я быть спокойна. Ахъ, не могу быть спокойна!

Истоминъ, мнѣ показалось, смутился при выраженіи этой внезапной и неудержимой грусти Софьи Карловны. Онъ хотѣлъ ее уговаривать, но это ему не удавалось.

— Представьте себѣ, если посудить здраво,—продолжала старуха: — вѣдь сколько есть на свѣтѣ несчастныхъ родителей — вѣдь это ужасъ! Вѣдь это, Романъ Прокофьичъ, самое большое несчастіе. У кого нѣтъ дѣтей, говорятъ, горе, а у кого дурныя дѣти — вдвое. Ну, а я — чѣмъ я этого достойна...—старуха пригнулась къ полу и, какъ будто поднимая что-то, со страхомъ и благоговѣніемъ шептала:— чѣмъ я достойна, что у меня дѣти... ангелы?.. Мои ангелы! мои ангелы!—заговорила она громко при появленіи въ эту минуту въ дверяхъ обѣихъ дочерей своихъ.

— Идинька! Идинька! дитя мое! другъ мой!—звала она и, раскрывъ дрожащія руки, безъ всякой причины истерически заплакала.—Идочка! ангелъ, министръ мой, что̀ мнѣ все что-то кажется страшное; что̀ мнѣ все кажется, что у меня берутъ васъ, что мы разстаемся!

Она обхватила руками шею дочери и, не переставая дрожать и плакать, жарко цѣловала ее въ глаза, въ лобъ и въ голову.

— Успокойтесь, мама, я всегда буду съ вами.

— Со мною, да, со мною!—лепетала Софья Карловна:— да, да, ты со мною. А гдѣ же это моя нѣмушка,—искала она глазами по комнатѣ и, отпустивъ Иду, взяла младшую дочь къ себѣ на колѣни.—Нѣмуша моя! рыбка нѣмая! что̀ ты все молчишь, а? Когда жъ ты у насъ заговоришь-то? Романъ Прокофьичъ! когда она у насъ заговоритъ?—обратилась опять старуха къ Истомину, заправляя за уши выбѣжавшую косичку волосъ Мани. — Идинька, вели, мой другъ, убирать чай.

Ида кликнула кухарку и стала сама помогать ей, а Софья Карловна еще разъ поцѣловала Маню и, сказавъ ей:

— Поди, гуляй, моя крошка, сама поплелась за свои ширмы.

— Идочка, бабушка давно легла?—спрашивала она оттуда.

— Давно, мамаша,—отвѣтила Ида, уставляя въ шкапы перемытую посуду, и, положивъ на карнизъ шкапа ключъ, сказала мнѣ:

— Пойдемте, пожалуйста, немножко пройдемтесь, голова страшно болитъ.

Когда мы проходили залу, Истоминъ стоялъ попрежнему съ Маней у гравюръ.

— Куда ты?—спросила Маня сестру.

— Хочу пройтись немножко; у меня страшно голова болитъ.

— Это вамъ честь дѣлаетъ,—вмѣшался Истоминъ.

— Да, значитъ, голова есть; я это знаю,—отвѣчала Ида, и стала завязывать передъ зеркаломъ ленты своей шляпы. Ей, кажется, хотѣлось, чтобы и Маня пошла съ нею, но Маня не трогалась. Истоминъ вертѣлся: ему не хотѣлось уходить и неловко было оставаться.

— Ида Ивановна, — спросилъ онъ, переворачивая свои гравюры: — да покажите же, пожалуйста, какая изъ этихъ женщинъ вамъ больше всѣхъ нравится! Которая ближе къ вашему идеалу?

— Ни одна, — довольно сухо на этотъ разъ отвѣтила Ида.

— Безъ шутокъ? У васъ нѣтъ и идеала?

— Я вамъ этого не сказала, а я сказала только, что здѣсь нѣтъ ея,—произнесла дѣвушка, спокойно вздергивая на пажи свою верхнюю юбку.

— А кто же, однако, такая, вашъ идеалъ?

— Мать Самуила.

— Вонъ кто!.. Родители мои, что̀ за елейность! за что̀ бы это она въ такой фаворъ попала?

— За то, что она воспитала такого сына, который былъ и людямъ милъ, и Богу любезенъ.

Истоминъ промолчалъ.

— А вашъ идеалъ, сколько я помню, Анна Денманъ?

— Анна Денманъ,—отвѣчалъ съ поклономъ художникъ.

— То-то, я это помню.

— И должны сознаться, что мой идеалъ гораздо лучше вашего.

— Всякому свое хорошо.

— Нѣтъ-съ, не все хорошо! Если бы вы, положимъ, встрѣтили свой идеалъ, что жъ бы, какія бы онъ вамъ принесъ радости? Вы могли бы ему поклониться до земли?

— Да.

— А я свой могъ бы цѣловать.

— Вотъ это, въ самомъ дѣлѣ, не входило въ мои соображенія,—отшутилась Ида.

— Да какъ же! Это, вѣдь, тоже — «всякому свое». Въ пѣснѣ поется:

Сѣй мати мучицу,
Пеки пироги;
Къ тебѣ будутъ гости,
Ко мнѣ женихи;
Тебѣ будутъ кланяться,
Меня цѣловать.

Романъ Прокофьичъ, видно, вдругъ совсѣмъ позабылъ даже, гдѣ онъ и съ кѣмъ онъ. Цѣли, ближайшія цѣли его занимали такъ, что онъ даже склоненъ былъ не скрывать ихъ и поднести почтенному семейству даръ свой, не завертывая его ни въ какія бумажки.

Ида не отвѣтила ему ни слова.

— Мама! — крикнула она, идучи къ двери: — посидите, дружокъ мой, въ магазинѣ. Запирать еще рано—я сейчасъ вернусь.

Мы обошли три линіи, не сказавъ другъ другу ни слова; дорогой я два или три раза начиналъ пристально смотрѣть на Иду, но она не замѣчала этого и твердой походкой шла, устремивъ неподвижно свои глаза впередъ. При блѣдномъ лунномъ свѣтѣ она была обворожительно хороша и характерна.

Когда мы повернули къ ихъ дому, я рѣшился сказать ей, что она, кажется, чѣмъ-то очень разстроена.

— Нѣтъ, чѣмъ же разстроена? У меня просто голова болитъ невыносимо,—отвѣтила она, и съ тѣмъ мы съ нею и простились у подъѣзда.

«А что это Софья Карловна все такъ совѣщательно обращается къ почтенному Роману Прокофьичу?—раздумывалъ я, оставшись самъ съ собою. — Плѣнилъ онъ ее просто своей милой короткостью, или она задумала женихомъ его считать для Мани?»

«Не быть этому и не бывать, моя Божья старушка. Не нужна ему Анна Денманъ, съ руки ему больше Фрина-Мегарянка»,—рѣшилъ я себѣ, и не одинъ я такъ рѣшалъ себѣ это.

Вскорѣ послѣ того, такъ во второй половинѣ марта, Ида Ивановна зашла ко мнѣ, посидѣла, повертѣлась на какомъ-то общемъ разговорѣ и вдругъ спросила:

— Вы, кажется, немножко разладили съ Истоминымъ?

— Не разладилъ,—отвѣчалъ я:—а такъ что-то въ родѣ черной кошки между нами пробѣжало.

— Я это замѣтила, — отвѣчала Ида, и черезъ минуту добавила: — если вы насъ любите, поговорите-ка вы съ нимъ хорошенько...

Удивительные глаза Иды Ивановны диктовали, о чемъ я долженъ поговорить.

— Хорошо, Ида Ивановна, я поговорю.

— Вы помните, какъ мы съ вами ѣли недавно орѣхи?

— Помню-съ.

— Я думаю, чи одинъ человѣкъ въ своей жизни не съѣлъ за одинъ разъ столько этой гадости, сколько я ихъ тогда перегрызла. Это, понимаете, отчего такъ ѣлось?.. Это я себя кусала, потому что во мнѣ вотъ что̀ происходило.

Ида, наморщивъ лобъ, повернула рукою возлѣ своего сердца.

— У меня ужасный слухъ, особенно когда я слышу то, чего не хотѣла бы слышать.

Она вздохнула.

— Я обо всемъ поговорю,—сказалъ я.

Дѣвушка пожала мнѣ руку, сказала:

— Пожалуйста, поговорите,—и ушла.

На другой день я зашелъ утромъ къ Истомину. Онъ былъ очень привѣтливъ и держалъ себя такъ, какъ будто между нами передъ этимъ не было никакого дутья другъ на друга.

— Вы не знаете,—началъ онъ весело:—какія на меня нынче посыпались напасти? Я, вѣдь, вчера совсѣмъ чуть не разссорился съ Шульцемъ.

— За что это?

— А вотъ подите! Берта Ивановна разсуждала обо мнѣ, какой я негодный для жизни человѣкъ, и сказала, что если бы она была моею женой, такъ она бы меня кусала: а я отвѣчалъ, что я могу доставить ей это удовольствіе и въ качествѣ чужой жены. Я, молъ, очень люблю, когда хорошенькія женщины приходятъ въ такое состояніе, что желаютъ кусаться. А она, дура, сейчасъ расплакалась. Да, впрочемъ, чортъ съ ними! Я былъ и радъ; очень ужъ надоѣло это столь постоянное знакомство.

— А у Норковъ какъ?

— Тамъ... мы занимаемся,—сказалъ, принимая серьезное выраженіе, Истоминъ.

— И успѣваете?

Художникъ взглянулъ на меня, улыбнулся и, расправляя усъ, отвѣчалъ:

— И успѣваемъ.

— А далѣе что будетъ, Романъ Прокофьичъ?

— А-а! Вы, вѣрно, ко мнѣ и волей и неволей, и своей охотой. Почтенное семейство, вѣрно, ужъ не радо и дешевизнѣ? Успокойте ихъ, пожалуйста: это, вѣдь, полезно дѣвочкамъ—это ихъ развиваетъ.

— А если этого развитія, Романъ Прокофьичъ, не желаютъ совсѣмъ? Если его боятся?

— Да вздоръ все это! совсѣмъ никто ничего и не боится, а это все Идиша эта сочиняетъ. Этакой, чортъ ее возьми, крендель выборгскій,—проговорилъ онъ съ раздраженіемъ, садясь къ столу, и тутъ же написалъ m-me Норкъ записку, что онъ искренно сожалѣетъ, что, по совершенному недосугу, долженъ отказаться отъ уроковъ ея дочери. Написавъ это, онъ позвалъ своего человѣка и велѣлъ ему отнести записку тотчасъ же къ Норкамъ.

Послѣ этого мы опять встрѣчались съ Истоминымъ изрѣдка и только на минуты, а къ тому же настала весна—оба мы спѣшили разстаться съ пыльнымъ Петербургомъ и оба въ половинѣ апрѣля уѣхали: я на Днѣпръ, а Истоминъ въ Ялту.

Въ послѣднее время моего пребыванія въ Петербургѣ мы съ Идой Ивановной ничего не говорили о Манѣ, и я, признаюсь, не замѣчалъ въ Манѣ никакой перемѣны; я и самъ склоненъ былъ думать, что Ида Ивановна все преувеличиваетъ и что опасенія ея совершенно напрасны; но когда я пришелъ къ нимъ, чтобы проститься передъ отъѣздомъ, Ида Ивановна сама ввела меня во всѣ свои опасенія.

Это было вечеромъ, въ довольно позднія весеннія сумерки. Мани и m-me Норкъ не было дома. Я только простился со старушкой-бабушкой и вышелъ снова въ магазинъ къ Идѣ Ивановнѣ. Дѣвушка сидѣла и вязала какую-то косынку.

— Присядьте,—сказала она:—посидимте вдвоемъ напослѣдяхъ.

Я сѣлъ.

— Истоминъ тоже ѣдетъ?—спросила Ида.

— Да, онъ ѣдетъ.

— Зачѣмъ онъ пересталъ совсѣмъ бывать у насъ? Какъ это нехорошо съ его стороны!

— Вѣдь вы же сами, Ида Ивановна, — говорю: — этого желали.

— Нѣтъ, я этого никогда не желала, — отвѣчала она тихо, покачавъ головою. — Я желала, чтобы не было болѣе уроковъ — это правда, я этого желала; но чтобы онъ совсѣмъ пересталъ къ намъ ходить, чтобы показалъ этимъ пренебреженіе къ нашему семейству... я этого даже не могла пожелать.

— Да что̀ жъ вамъ до этого пренебреженія?

— Да я совсѣмъ не о пренебреженіи говорю.

— А для всего другого это еще лучше.

— Нннѣтъ! Из-звините! не лучше, а это очень нехорошо; «для всего остального» это ужасно нехорошо! Я понимаю эту скверную, злую тактику, и вы ее тоже сейчасъ поймете,—сказала она, вставая, и чрезъ минуту возвратилась съ знакомымъ мнѣ томомъ Пушкина.

— Это что̀ такое? — спросила она, поднося къ моимъ глазамъ развернутую книгу и указывая пальцемъ на кланцифру.

— «Моцартъ и Сальери»,—прочиталъ я.

— А это?—спросила Ида тѣмъ же тономъ и водя пальцемъ по чуть замѣтнымъ желтоватымъ пятнамъ на бумагѣ.

— Слезы, что-ль?—отвѣчалъ я, недоумѣвая.

— А это слезы!—произнесла, возвысивъ голосъ, Ида и съ холоднымъ презрѣніемъ далеко отшвырнула отъ себя книгу.

Такъ я оставилъ семейство Норковъ на цѣлое лѣто.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Украинская осень удержала меня до тѣхъ поръ, пока бѣлые днѣпровскіе туманы совсѣмъ перестали о полуночи спускаться облачною завѣсою и зарею взмывать волнами къ голубому небу. Я переѣхалъ днѣпровскій мостъ въ послѣднихъ числахъ ноября мѣсяца; прострадалъ дней десять въ дорогѣ и, наконецъ, измученный явился въ Петербургъ. Здѣсь ужъ было очень холодно и, по обыкновенію, сыро, что̀, впрочемъ, все-таки идетъ Петербургу гораздо болѣе, нежели его демисезонное лѣто, которое ему совсѣмъ не къ лицу, не къ чину и не къ характеру, которое ему никогда

не удается, да и вовсе ему не нужно: зима съ окаменѣвшею Невою, съ катками, оперой и съ газомъ въ фонаряхъ ему гораздо больше кстати.

А лѣтомъ скученъ этотъ городъ
Съ его туманомъ и водой!

Не дай вамъ Богъ, свѣжій человѣкъ, пріѣхать сюда впервые лѣтомъ: здѣсь нѣтъ ничего, чѣмъ тепло и мило лѣто въ нашихъ пыльныхъ Кромахъ и въ Пирятинѣ:

Нѣтъ милыхъ сплетенъ—все сурово;
Законъ сидитъ на лбу людей,
Все удивительно и ново,
А нѣту теплыхъ новостей.

Своей волею я никогда не поѣду въ Петербургъ лѣтомъ и никому этого не посовѣтую. Въ тотъ годъ, къ которому относится мой разсказъ, я пріѣхалъ сюда осенью. Запасшись той благодатной силой, которую льетъ въ изнемогшій составъ человѣка украинское свѣтлое небо — это чудное, всеобновляющее небо, подъ которое знакомая съ нимъ душа такъ назойливо просится, подъ которое вѣчно что-то манитъ неизбалованнаго природой русскаго художника и откуда — увы!—также вѣчно гонятъ его на сѣверъ ханжи, мораль и добродѣтель. Истомина я уже засталъ въ Петербургѣ; онъ вернулся сюда назадъ тому мѣсяца два, успѣлъ осмотрѣться и работалъ; даже, по собственнымъ его словамъ, очень усердно и очень успѣшно работалъ. Встрѣтились мы съ нимъ пріятелями; разсказали другъ другу, какъ кто провелъ лѣто; а о Норкахъ ни я его ничего не спросилъ, ни онъ мнѣ не сказалъ ни слова.

Мнѣ, какъ обыкновенно бываетъ послѣ долгой отлучки, предстояло много непріятныхъ хлопотъ; прозябшая квартира отогрѣвалась плохо; вездѣ, кромѣ одной комнаты, примыкавшей къ мастерской Истомина, подъ потолками держалась зелеными облаками вредная сырость; окна холодно плакали и мерзли; все было не на своемъ мѣстѣ и ни къ чему не хотѣлось притронуться. «Прислуга» моя, соблюдавшая до сихъ поръ непростительную экономію на топливѣ, теперь, въ моихъ же интересахъ, непремѣнно хотѣла привести все въ должный порядокъ двумя своими старческими руками, и оттого все у насъ съ нею шло ужасно медленно. Прошла недѣля со дня моего возвращенія въ Петербургъ,

а я все еще ютился въ одной комнатѣ: ни къ кому изъ знакомыхъ не показывалъ глазъ и только сумерками выходилъ пройтись по набережной и тѣмъ же слѣдомъ назадъ домой.

Два или три раза, когда я возвращался съ этихъ прогулокъ, навстрѣчу мнѣ на нашей лѣстницѣ попадалась какая-то востроглазая, черненькая дѣвочка, лѣтъ восемнадцати, одѣтая въ темное шерстяное платье, фланелевый клѣтчатый салопъ и красный терновый капоръ. Такъ какъ по этой лѣстницѣ въ цѣломъ этажѣ не жило никого, кромѣ меня и Истомина, то мнѣ нѣсколько разъ приходило въ голову, что̀ это за дѣвушка и куда она ходитъ? Я даже освѣдомился объ этомъ у своей Эрнестины Крестьяновны, но моя «прислуга» не могла дать мнѣ на этотъ счетъ никакого опредѣленнаго отвѣта. Потомъ, случилось мнѣ какъ-то дня черезъ два выйти изъ дому часу въ девятомъ вечера, и только-что я переступилъ порогъ своей двери, какъ у дверей Истомина предсталъ мнѣ знакомый красный капоръ. При моемъ появленіи, капоръ быстро повернулся ко мнѣ спиною и сильно дернулъ два раза мѣдную шишку звонка.

Дверь Истомина отворилась, и голосъ Янка сказалъ гостьѣ:

— Оборвешь такъ, востроглазая!

Что̀ же еще было добиваться, что̀ это за дѣвица? Человѣкъ же былъ и Янко; нуженъ же былъ, разумѣется, и ему свой романъ въ жизни.

Позднѣйшія обстоятельства показали, что правильное появленіе вечерами на нашей лѣстницѣ этой востроглазой дѣвушки, въ самомъ дѣлѣ, было достойно особеннаго вниманія, но что хотя Янко, въ качествѣ живого человѣка, имѣлъ полнѣйшее право на свой собственный романъ въ Петербургѣ, однакоже, тѣмъ не менѣе, эта востроглазая особа совсѣмъ не была героинею его романа.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Есть на свѣтѣ такіе люди (и ихъ очень не мало), которые необыкновенно легко привязываются ко всему: къ мѣстамъ, къ людямъ, къ собакамъ, къ изношеннымъ туфлямъ, къ дерзкой прислугѣ и къ старому халату. Такіе люди разлучаются съ предметами своей привязанности только въ случаѣ самой крайней необходимости, или по причинамъ отъ нихъ независящимъ; да и то для нѣкоторыхъ изъ та-

кихъ людей всякая подобная разлука необыкновенно тяжела и долгое время совершенно невознаградима, а иногда и совсѣмъ не переносна. Я зналъ одного человѣка, очень умнаго, образованнаго и въ своемъ родѣ стоика, который съ геройскимъ мужествомъ переносилъ отъ своей жены самыя страшныя семейныя сцены за привязанность къ старому ватному халату; и у этого халата ниже поясницы давно была огромная дыра, обшлага мотались бахромою, углы полъ представляли рядъ сметанныхъ на живую нитку лентъ или покромокъ. Этотъ привязчивый человѣкъ, опасаясь за судьбу своего износившагося друга, самъ тщательно запиралъ его въ гардеробный шкапъ и всячески охранялъ его отъ рукъ давно покушавшейся на него супруги. Но, несмотря на все это, драгоцѣнный халатъ все-таки въ одинъ прекрасный день исчезъ изъ гардероба и на мѣстѣ его висѣлъ новый. Такимъ это было горемъ для моего знакомаго, что у него чуть не развилась настоящая nostalgia со всѣми явленіями рекрутской тоски по родинѣ. Прошли съ тѣхъ поръ цѣлые годы, а онъ все, глядишь, при какомъ-нибудь разговорѣ о хорошихъ вещахъ и заговоритъ: «нѣтъ, вотъ, господа, былъ у меня одинъ разъ халатъ, такъ ужъ никогда у меня такого халата не будетъ—мяконькій, пріятный!»

— Да помилуйте,—утѣшали его:—у васъ и этотъ халатъ прекрасный.

— Ну, ужъ какой же это прекрасный халатъ! Какъ его можно назвать прекраснымъ!—возражалъ мой знакомый.— Тотъ халатъ, я вамъ говорю, былъ такой, что сидишь въ немъ, бывало, точно въ литерной ложѣ въ Большомъ театрѣ.

Я тоже имѣю несчастіе принадлежать къ несчастному разряду людей, одаренныхъ непрактичною способностью привыкать и привязываться къ вещамъ, къ мѣстамъ и — что всего опаснѣе—къ людямъ.

Пока моя запущенная квартира устраивалась и приводилась въ порядокъ, я по необходимости держался одного моего кабинетца, или даже, лучше сказать, одного дивана, который стоялъ у завѣшенной сукномъ двери на половину Истомина; и такъ я за это время пріучился къ этому уголку, что когда въ жилищѣ моемъ все пришло въ надлежащій порядокъ, я и тогда все-таки держался одного этого угла.

Одинъ разъ, въ самыя сумерки, усталый болѣе чѣмъ когда-либо, я почувствовалъ легкую нервную дрожь, завер-

нулся въ теплый мерлушичій тулупчикъ, прилегъ въ уголокъ дивана и забылся очень крѣпкимъ и сладкимъ сномъ. Снилась мнѣ золотая Украйна, ея рѣки глубокія и чистыя, сѣдые глинистые берега, покрытые блѣдно-голубою каймою цвѣтущаго льна; лица, лица, ненавистно-милыя лица, стòившія столькихъ слезъ, столькихъ терзающихъ скорбей и гнетущаго горя, и вдругъ все это тряслось, рѣдѣло, замѣнялось темнымъ боромъ, въ которомъ лохматою вѣдьмою носилась метель и съ дикимъ визгомъ обсыпала тонкими, иглистыми снѣжинками лукавую фигуру лѣшаго, а самъ лѣшій сидѣлъ гдѣ-то подъ сосною и, не обращая ни на что вниманія, подковыривалъ пенькою старый лыковый лапоть. Смѣнялась и эта картина, и шевелилось передо мною какое-то огромное, ослизшее, холодное чудовище, съ миріадами газовыхъ глазъ на черномъ, шевелящемся тѣлѣ, по которому ползли, скакали, прыгали и спотыкались куда-то вѣчно спѣшащіе люди, слышались сиплыя рѣчи, дѣтскіе голоса, распѣвающіе подъ звуки разбитыхъ шарманокъ, и темный уголъ моей комнаты, въ окнѣ которой слабо мерцалъ, едва достигавшій до него свѣтъ уличнаго фонаря. Мнѣ все спалось; спалось нѣсколько слабѣе, но еще слаще и, ютясь все крѣпче въ уголокъ моего дивана, я вдругъ услыхалъ, какъ чей-то маленькій голосъ откуда-то изъ-подъ шерстяной обивки говорилъ кому-то такія ласковыя рѣчи, что именно, кажется, такія рѣчи только и могутъ прислышаться во снѣ. Никакъ я не могъ запомнить этихъ хорошихъ словъ и сталъ просыпаться.

— Мой идолъ... идолъ... и-д-о-л-ъ!—съ страстнымъ увлеченіемъ говорилъ маленькій голосъ въ минуту моего пробужденія.—Какой ты пріятный, когда ты стоишь на колѣняхъ!.. Какъ я люблю тебя, какъ много я тебѣ желаю счастья! Я вѣрю, я просто чувствую, я знаю, что тебя ждетъ слава; я знаю, что вся эта мелкая зависть передъ тобою преклонится и женщины толпами цѣлыми будутъ любить тебя, боготворить, съ ума сходить. Моя любовь читаетъ все впередъ, что̀ будетъ; она чутка, мой другъ! мой превосходный, мой божественный художникъ!

Романъ Прокофьевичъ сдѣлалъ слабое, чуть слышное движеніе.

— Постой, постой!—остановилъ его маленькій голосъ.— Останься такъ; постой передо мною на колѣняхъ. Я такъ

люблю ласкать тебя, мой славный. Ты такъ *высокъ*, что я не достаю твоихъ кудрей, когда ты встанешь. А я люблю, какъ я люблю вотъ эти черныя, вотъ эти демонскія кудри!.. Охъ, когда бъ ты зналъ, какъ я люблю тебя, мой Ромцю! Какъ много я тебѣ желаю счастья, славы и... любви... Постой, постой!.. дай мнѣ сказать тебѣ про все. Ты знаешь... я дышать не могу, когда вдвоемъ съ тобою. Въ груди тутъ у меня, нѣтъ... это... нѣтъ ничего того, что̀ тамъ у всѣхъ бываетъ, а только — сердце. Огромное, во всей груди все сердце... и въ этомъ сердцѣ все огонь; огонь и рана, Ромцю... И мнѣ такъ хочется тогда... вотъ и теперь... такое что-то сдѣлать для тебя... что̀ было бъ выше силъ моихъ... Когда бы зналъ, какъ хочется мнѣ быть для тебя несчастной... такой несчастной, чтобы мое несчастье испугало бы всѣхъ... а чтобы ты... О, чтобы ты былъ счастливъ! счастливъ!.. и чтобы это счастье я тебѣ купила! Но... я не знаю... а ты не говоришь, что̀ сдѣлать для тебя. Какъ мнѣ погибнуть? какъ? Учи меня, учи, учи скорѣе, Ромцю...

Маленькій голосъ задрожалъ и продолжалъ, трясясь и млѣя:

— Мнѣ снилось разъ, какое счастье... Не помню, я чего-то начиталась, усталая уснула, и вижу, что на тебѣ вѣнокъ, и что тебя везутъ въ какой-то колесницѣ; что женщины всѣ на колѣняхъ стоятъ передъ тобою и говорятъ про что-то, про славу, про любовь или еще про что-то... а я ничего не умѣю сказать тебѣ. Не умѣю даже сказать, что я люблю тебя и... Постой, Ромцю! Постой, не уходи... Я бросилась подъ лошадей твоихъ, и ихъ копыта, и эти острыя колеса впились мнѣ въ грудь... и такъ легко мнѣ было, Ромцю. Ахъ, какъ легко! ахъ, какъ легко! — какое было счастье! О, гдѣ тотъ Римъ, въ который я могу нести вслѣдъ за тобой твой мольбертъ, холстъ, твою палитру, краски... Боже! Боже! какія горести, какое зло Ты можешь мнѣ послать, чтобъ я забыла за ними благословлять Тебя, если только одинъ лучъ его славы упадетъ на мою голову? Оставь, брось этотъ страшный городъ! Брось деньги, брось, возненавидь ихъ... Пойдемъ! Пойдемъ отсюда, мой Ромцю! Мы станемъ жить одни, тихонько; къ намъ не заглянетъ скука — не бойся. И когда ты будешь счастливъ, славенъ... и тогда... О, что̀ жъ тогда?.. О, говори мнѣ, что̀ жъ тогда, когда всѣ будутъ знать, что я тебя лелѣяла, что я тебѣ служила... что я твой другъ?..

— Что ты моя любовь.

— Что я твоя любовь!.. О, нѣтъ, не нужно, чтобы это знали, пока я буду жить... Нѣтъ... тогда .. я поскорѣй умру, и на моей могилѣ пускай напишутъ, что ты любилъ меня! Живой ты мнѣ одной, наединѣ... скажи одно *спасибо*.

— А ты мнѣ чѣмъ отвѣтишь?

Вышла коротенькая паузка, послѣ которой слабый голосокъ стыдливо и восторженно сказалъ:

— Я чѣмъ отвѣчу?

— Поцѣлуемъ?

— Да.

— Однимъ?

— Ахъ, полно говорить объ этомъ!

— Милліономъ, если хочешь.

— Милліонъ, милліонъ! охъ, какъ далеко тотъ милліонъ!

Истоминъ смолчалъ секунду и прошепталъ:

— Сейчасъ... теперь... сію минуту...

— Руки! руки больно! руки!

— Одинъ, сейчасъ въ задатокъ! Сейчасъ, сейчасъ — онъ все равно одинъ изъ моего милліона.

— Одинъ... ты лжешь; ты страшенъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего, не бойся. Я вѣдь одинъ.

Она была въ смущеніи и молчала.

— Отказъ?

— Нѣтъ; на, цѣлуй.

— Да; разъ... одинъ, но безконечный! — и онъ смялъ и задушилъ ее въ своихъ объятіяхъ.

Позднѣе опять слышался разговоръ, но такой частый, что его понять было невозможно; слова неслись какъ мелкій песокъ, сгоняемый вѣтромъ съ пригорка въ долину. Мнѣ опять стало спаться и стала сниться эта долина, сухая, сѣрая, пыльная, безъ зелени, совсѣмъ безъ признака жизни; вѣтеръ гналъ въ нее тучи песчаной пыли, свивалъ ихъ столбомъ облачнымъ и шибко поднималъ вихремъ къ небу. Въ самой серединѣ этого крутящагося сѣраго столба мелькала тоже совершенно сѣрая, изъ пыли скатанная человѣческая фигура; она долго вертѣлась валуномъ и, наконецъ, разсыпалась, и когда она разсыпалась, я увидалъ, что это была бабушка Норкъ.

Я проснулся совсѣмъ; за стѣной у меня было все тихо;

на улицѣ мерцали фонари; гдѣ-то ныла разбитая шарманка и подъ ея унылые звуки разбитый голосъ пѣлъ:

Танценъ дами, стидъ откиновъ,
Кавалеренъ безъ затѣй,
Схватитъ дѣвишка, обниметъ,
И давай вертѣться съ ней.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Былъ вскорѣ за этимъ новый человѣконенавистный петербургскій день съ семью различными погодами, изъ которыхъ самая лучшая въ одно и то же время мочила и промораживала. Пробитый насквозь чичеромъ, чередовавшимся съ гнилою мокредью и морозомъ, я возвратился домой съ насморкомъ и лихорадочнымъ ознобомъ, и совсѣмъ больной, укутавшись потеплѣе, повалился на свой уютный диванъ. Дышалось мнѣ тяжело и во всемъ тѣлѣ безпрестанно ощущалась непріятная наклонность вздрагивать; но, тѣмъ не менѣе, я, должно-быть, заснулъ очень скоро, потому что скоро же очень изъ моей пустой и темной залы стали доноситься до меня мягкіе, но тяжелые медвѣжьи шаги, сапъ, глубокіе вздохи и какое-то мягкое кувырканье. Прошла еще пара минутъ и въ дверяхъ, прямо противъ моего лица, показался на заднихъ лапахъ огромный бурый съ просѣдью медвѣдь. Онъ держался одною передною лапою за притолку, медленно покачивался и, далеко высунувъ свой пурпурно-красный языкъ, тяжело дышалъ и щурился. Отъ него, какъ отъ раскаленной чугунной печки, било въ меня несноснымъ, сухимъ жаромъ; лишенный всякаго эпителія, тифозный языкъ моего гостя мотался и вздрагивалъ; его липнущіе маленькіе глаза наводили дрему непробудную. Медвѣдь подошелъ къ моему дивану, закрылъ мое лицо своей пушистой грудью и началъ лизать мою голову своимъ острымъ языкомъ. Не могъ я опредѣлить себѣ—хорошо мнѣ отъ этого, или худо; не могъ я крикнуть, не въ силахъ былъ повернуться. Сгорая сухимъ жаромъ горячки, я безпрестанно путался въ какихъ-то нелѣпыхъ представленіяхъ, слышалъ то дѣтскій шопотъ, то медвѣжьи вздохи, то звонъ и заунывную пѣсню «про солому». Это становилось несносно; хотѣлось во что-нибудь вслушиваться, что-нибудь понять и проснуться, но развинченное тѣло лежало пластомъ и всякія трезвыя впечатлѣнія были

чужды больной головѣ моей. Въ такомъ состояніи прошло, должно-быть, очень много времени, прежде чѣмъ окружающій меня горячій воздухъ сталъ какъ будто немного тонѣть, разрѣжаться и съ тѣмъ вмѣстѣ заворочался и началъ спускаться къ ногамъ давившій меня медвѣдь.

Едва онъ чуть поосвободилъ мою голову, до моего слуха сейчасъ же, съ первою струйкою свѣжаго воздуха, донеслось какое-то знакомое, необыкновенно ласковое слово.

Я ту же секунду по этому голосу узналъ знакомый маленькій голосъ, но мозгъ мой все-таки безпрестанно сбивался съ пути, усыпалъ и путался. Ласковыя слова долетали до меня съ различными перерывами, и по временамъ совсѣмъ какъ-то доходили звуками безъ значенія.

— Я не могу,—говорилъ мужской голосъ:—я люблю тебя, тебя одну и тебя первую люблю я. Я чувствую, что при тебѣ только я становлюсь хоть на минуту человѣкомъ.

— Не говори этого, Ромцю; ты самъ не знаешь, чего ты хочешь,—отвѣчалъ маленькій голосъ.

— Я рѣшилъ это,—говорилъ Романъ Прокофьичъ:—слышишь, я рѣшилъ. Я готовъ сдѣлать это противъ твоей воли.

— Поди, поди лучше сюда и сядь!.. Сиди и слушай,—начиналъ голосъ:—я не пойду за тебя замужъ ни за что; понимаешь: *ни за что на свѣтѣ!* Пусть мать, пусть сестры, пусть бабушка, пусть всѣ просятъ, пусть онѣ стоятъ передо мною на колѣняхъ, пускай умрутъ отъ горя—я не буду твоей женой... Я сдѣлаю все, все, но твоего несчастья... нѣтъ... ни за что! нѣтъ, ни за что на свѣтѣ!

— О чемъ же ты плачешь?

— О томъ, что ты меня не понимаешь. Ты говоришь, что я ребенокъ... Да развѣ бъ я не хотѣла быть твоею Анной Денманъ... Но, Боже мой! когда я знаю, что я когда-нибудь переживу твою любовь, и чтобъ тогда, когда ты перестанешь любить меня, чтобъ я связала тебя долгомъ? чтобъ ты, противъ желанія всякаго, обязанъ былъ работать мнѣ на хлѣбъ, на башмаки, дѣтямъ на одѣяла? Чтобъ ты меня возненавидѣлъ послѣ? Нѣтъ, Романъ! Нѣтъ! я не такъ тебя люблю: я *за тебя* хочу страдать, но не хочу твоихъ страданій.

— О, Боже мой, о, Боже мой! какъ хороша, какъ дивно хороша ты, Маня!—прошепталъ Истоминъ.

— Опять все красота!

— Всегда о красотѣ. Она моя! моя! Скажи скорѣй: моя она?

— Твоя.

— Уйди жъ теперь.

— Зачѣмъ?.. Куда идти?

— Бѣги, спасайся... Ты думаешь—я человѣкъ? Нѣтъ, я не человѣкъ: въ меня съ твоимъ вчерашнимъ поцѣлуемъ вошелъ нечистый духъ, глухой ко всѣмъ страданіямъ и слезамъ... бѣги. Онъ жертвы, жертвы проситъ!

— Жертвы?

— Да! тебя, тебя онъ требуетъ на жертву.

— На жертву?.. Я готова.

— Ребенокъ! понимаешь ли, что̀ ты сказала? Понятно ли тебѣ, какой я жертвы требую?

— Нѣтъ,—рѣшительно отвѣтила Маня.

— О, дьяволъ! тебѣ такого чистаго ягненка еще никто не приносилъ на жертву!

— Я ничего не понимаю. Мнѣ жаль тебя, мой Ромцю; жаль, тебя мнѣ жаль!

— Такъ поцѣлуй меня скорѣе.

— Цѣлую; на́, цѣлую!

— Цѣлуй... такъ, какъ ты меня цѣлуешь... да, какъ ты сестеръ цѣлуешь... иначе, ждетъ бѣда!.. Нѣтъ; я не поцѣлую тебя!

И долго-долго было и тихо, и жутко; и вдругъ среди этой мертвой тишины сильный голосъ нервно вскрикнулъ:

— Я погублю тебя!

И въ то же мгновеніе прозвучало тихое, но смѣлое:

— Губи!

— Маня! Маня!—усиливался я закричать сколько было мочи, но чувствовалъ сквозь сонъ, что изъ устъ моихъ выходили какіе-то нѣмые, неслышные звуки. Маня! попробовалъ я вскрикнуть въ совершенномъ отчаяніи и, сдѣлавъ надъ собой послѣднее усиліе, спрыгнулъ въ полуснѣ съ дивана такъ, что старыя пружины брязгнули и загудѣли.

На этотъ шумъ изъ-за истоминскихъ дверей отвѣтилъ слабый, перекушенный стокъ.

Какъ ошеломленный ударомъ въ голову, выскочилъ я въ другую комнату и прислонился лбомъ къ темному, запотѣвшему стеклу. Въ глазахъ у меня вертѣлись тонкія огненныя кольца, мелькалъ бѣлый лобикъ Мани и ея маленькая, закушенная губка.

Я перебѣжалъ впопыхахъ свою залу, схватилъ въ передней съ вѣшалки пальто, взялъ шляпу и выскочилъ за двери. Спускаясь по лѣстницѣ, слабо освѣщенной крошечною каминною лампою, я на одномъ поворотѣ, носъ къ носу, столкнулся съ какою-то маленькой фигурой, которая быстро посторонилась и, какъ летучая мышь, безъ всякаго шума шмыгнула по ступенямъ выше. Когда эта фигурка пробѣгала подъ лампою, я узналъ ее по темному шерстяному платью, клѣтчатому фланелевому салопу и красному капору.

Спѣшными и неровными шагами обогнулъ я торопливо линію, перебѣжалъ проспектъ и позвонилъ у домика Норковъ.

Мнѣ отперла дверь Ида Ивановна. Держа въ одной рукѣ свѣчу, она посмотрѣла на меня безъ всякаго удивленія, отодвинулась къ стѣнкѣ и съ своей обыкновенной улыбкой нѣсколько комически произнесла:

— Честь и мѣсто.

— Здравствуйте, Ида Ивановна!—началъ я, протягивая ей руку.

— Проходите, проходите, тамъ успѣемъ поздороваться,— отвѣчала дѣвушка, поворачивая въ двери довольно тугой ключъ.

Въ маленькой гостиной сидѣли за чаемъ бабушка и madame Норкъ.

— О, хорошо жъ вы насъ любите!—первая заговорила навстрѣчу мнѣ старушка.

— Да, хорошо вы съ нами сдѣлали!—поддерживала ее, съ относящимся ко мнѣ упрекомъ, madame Норкъ.—Мѣсяцъ, слышимъ, въ Петербургѣ, и навѣстить не придете. Я Идинькѣ ужъ нѣсколько разъ говорила, что̀ бы это, говорю, Идинька, могло такое значить?

— А Ида Ивановна,—спрашиваю,—что̀ же вамъ отвѣчала?

— Не помню я что-то, что̀ она мнѣ такое отвѣчала.

— Кажется, ничего, мама, не отвѣчала,—откликнулась Ида и поставила передо мною стаканъ чаю.

Я освѣдомился о Бертѣ Ивановнѣ, о ея мужѣ и даже о Германѣ Верманѣ спросилъ, и обо всѣхъ объ нихъ получилъ самыя спокойныя извѣстія; но спросить о Манѣ никакъ не рѣшался. Я все ждалъ, что Маня дома, что вотъ-вотъ она сама вдругъ покажется въ какой-нибудь двери и разомъ сдунетъ всѣ мои подозрѣнія.

— А слыхали вы, у насъ въ аннинской школѣ недавно

какое ужасное несчастіе-то было?—начала послѣ первыхъ привѣтствій Софья Карловна.

— Нѣтъ, говорю, не слыхалъ.—Что̀ такое?

— Ахъ, ужасно! Представьте себѣ, одна маленькая дѣвочка стальное перо проглотила.

— Это бываетъ въ школахъ,—подсказала, вздохнувши, бабушка.

— Да, это бываетъ по тремъ причинамъ,—проговорила Ида Ивановна.

— Что такое, другъ мой, по тремъ причинамъ?—прошептала старушка.

— Это, бабушка, такъ говорится.

— Какъ говорится?

— Ахъ, Боже мой, бабушка! Ну, просто такъ говорятъ что все, что̀ бываетъ, бываетъ по тремъ причинамъ.

— Все-то ты, Идинька, врунья; всегда ты все что-нибудь врешь,—произнесла серьезно Софья Карловна и тихонько добавила:—Охъ, эти дѣти, дѣти! Сколько за ними, право, смотрѣть надо! Вы вотъ не повѣрите, кажется, ужъ Маня и не маленькая, а каждый разъ, пока ее не дождешься, Богъ знаетъ чего не надумаешься.

— А гдѣ же,—говорю,—Марья Ивановна?

— А на урокѣ. Уроки пѣнія тутъ эти Шперлинги затѣяли; оно, конечно, уроки обходятся недорого, потому что много ихъ тамъ—дѣвицъ двадцать, или еще и больше разомъ собирается, только все это по вечерамъ... такъ, право, непріятно, что мочи нѣтъ. Идетъ ребенокъ съ одной дѣвчонкой... на улицѣ можно ждать непріятностей.

— Kleine непріятность не мѣшаетъ grosse удовольствію, Muterchen!—пошутила Ида Ивановна.

— Охъ, да полно тебѣ, право, остроумничать, Ида!—отвѣчала съ неудовольствіемъ m-me Норкъ.—Совсѣмъ не умно это твое остроуміе. А мы нынче тоже какъ-то прескучно провели время,—продолжала она, обратившись ко мнѣ.—Ѣздили раза два въ Павловскъ, да все не съ кѣмъ, все и тамъ было скучно.

— Съ кукушкой говорили,—сказала Ида.

— Да; сядемъ да спрашиваемъ, сколько кому лѣтъ жить? Мнѣ все семь, или восемь, а Маня спроситъ, она сразу и замолчитъ.

— А вамъ, Ида Ивановна?

— О, ей, кажется, сто лѣтъ куковала. Ужъ она, бывало, кричитъ ей: «будетъ, будетъ! довольно!» а та все кукуетъ.

— Я безсмертная,—проговорила Ида.

— Ну да, какъ же, безсмертная!

— Увидите.

— Ну да, разсказывай, разсказывай! Глупая ты, право, Ида!—пошутила, развеселившись, старушка.

Ида, кажется, этого только и добивалась: она сейчасъ же обняла мать и, держа ее за плечи руками, говорила весело:

— Всѣ умрутъ, мамочка, на островѣ, всѣ, всѣ, всѣ; а я все буду жить здѣсь.

— Почему жъ это такъ?—смѣялась, глядя въ глаза дочери, старушка.

— А потому, что безъ меня, мама, здѣсь ничему быть нельзя.

— О, шутиха, шутиха!

Мать съ дочерью снова весело обнялись и поцѣловались.

Въ это же время у парадной двери рѣзко брякнулъ и жалобно закачался звонокъ.

Софья Карловна вздрогнула, вскочила со стула и даже вскрикнула.

— Ну, да что же это такое со мной въ самомъ дѣлѣ?—произнесла она, жалуясь и держась за сердце.—Ида! чего же ты стоишь?

Ида Ивановна пошла отпереть дверь и мимоходомъ толкнула меня за ширму, чтобы показать Манѣ сюрпризомъ.

Черезъ секунду въ магазинѣ послышалось разомъ нѣсколько легкихъ шаговъ, и Ида Ивановна сказала, что у нихъ былъ я, и только будто бы ушелъ сію минуту.

Маня ничего не отвѣтила.

— Вы его не встрѣтили?—продолжала Ида Ивановна.

— Нѣтъ, не встрѣтили, — уронила чуть слышно Маня. Она сняла съ головы капоръ, подошла прежде къ матерной, а потомъ къ бабушкиной рукѣ и молча сѣла къ налитой для нея чашкѣ.

Я глядѣлъ на Маню сквозь широкій створъ ширменныхъ полъ: она немножко подвыросла, но перемѣнилась очень мало; лицо ея было, по обыкновенію, блѣдно и хранило нѣсколько неестественное спокойствіе, которому рѣзко противорѣчила блуждающая острота взгляда.

Я вышелъ изъ-за ширмы и подошелъ къ столу. Маня прищурила свои глаза, всмотрѣлась въ меня и сказала:

— Такъ вотъ это въ чемъ дѣло!

Съ этими словами она протянула мнѣ свою ручку, спросила, какъ я здоровъ, давно ли пріѣхалъ, и опять спокойно занялась чаемъ, а въ комнату вошла горничная дѣвушка съ трубкою перевязанныхъ лентою нотъ и положила ихъ на столъ возлѣ Мани. Хотя на этой дѣвушкѣ не было теперь клѣтчатаго салопа, но на ней еще оставался ея красный капоръ, и я узналъ ее по этому капору съ перваго взгляда.

«Кончено!» подумалъ я себѣ, глядя на Маню. А она сидитъ такая смирненькая, такая тихонькая, что именно какъ рыбка, и словечка не уронитъ. Даже зло какое-то беретъ, и не знаешь, на что злиться.

«А впрочемъ, и что же мнѣ такое въ самомъ дѣлѣ Маничка Норкъ? На погостѣ жить—всѣхъ не оплачешь», разсуждалъ я снова, насилу добравшись до своей постели.

На другое утро я ужъ совсѣмъ никакъ не могъ подняться: прикинешься на минуточку и опять сейчасъ одолѣваетъ тяжелая спячка. Я послалъ за докторомъ и старался крѣпиться. Часу во второмъ ко мнѣ вошелъ Истоминъ; онъ былъ необыкновенно счастливъ и гадокъ; здоровое лицо его потеряло всю свою мягкость и сіяло отвратительнѣйшимъ самодовольствомъ.

— Нездоровы?—спросилъ онъ меня отрывисто.

Я отвѣчалъ, что боленъ, и не сказалъ ему болѣе ни слова. Истоминъ отошелъ къ окну, постоялъ, побарабанилъ пальцами по стекламъ, и затѣмъ, замѣтивъ мнѣ наставительно, что «надо беречься», вышелъ.

Съ этой минуты я не видалъ ни Истомина, ни Мани въ теченіе очень долгаго времени, потому что у меня начался тифъ, послѣ котораго я оправлялся очень медленно.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Подходило дѣло къ веснѣ. Въ Петербургѣ хотя еще и не ощущалось ея приближенія, но люди, чуткіе къ жизни природы, начинали уже порываться вдаль, кто подъ родныя, сельскія липы, кто къ чужимъ краямъ. «Прислуга» моя донесла мнѣ, что Романъ Прокофьичъ тоже собирается за границу, а потомъ вскорѣ онъ и самъ какъ-то удостоилъ меня своимъ посѣщеніемъ.

— Думаю проѣхать въ Италію,—объявилъ онъ мнѣ.

Я принялъ это извѣстіе очень спокойно и даже не вспомнилъ, кажется, въ эту минуту о Манѣ, а только спросилъ Истомина, какъ же быть съ квартирой?

— А пусть все такъ и остается, какъ было, я къ осени ворочусь.

— Ну, говорю,—и прекрасно.

Недѣли чрезъ полторы или черезъ двѣ онъ уѣхалъ и не подавалъ ни мнѣ, ни слугѣ своему никакой вѣсточки. На первыхъ порахъ послѣ его отъѣзда, онъ прислалъ нѣсколько писемъ Манѣ, которыя были адресованы въ его пустую квартиру. За этими письмами прибѣгала та же черномазенькая дѣвочка, и черезъ нее они, вѣроятно, исправно попадали въ руки Мани. Я не учащалъ къ Норкамъ и, когда ужъ необходимо было завернуть къ нимъ, заходилъ на самое короткое время. Ужасно тяжело было мнѣ всѣхъ ихъ видѣть и думать: «ахъ, друзья мои, не знаете вы, какая надъ вами бѣда рухнула!» Что же касается до самой Мани, то кроткая, всегда мало говорившая, всегда молчаливая дѣвушка, ничѣмъ не выдавала своего душевнаго состоянія: она только прозрачнѣла, слегка желтѣла, какъ топазъ, и Софья Карловна не разъ при мнѣ печалилась, что у Мани волосы начали ужасно сѣчься и падать.

Старушки дѣлали мнѣ часто выговоры и замѣчанія, что я ихъ разлюбилъ и забываю; и Маня тоже нѣсколько разъ спрашивала меня, чѣмъ онѣ мнѣ надоѣли? Только одна Ида никогда не заводила объ этомъ никакой рѣчи ни въ серьезъ, ни въ шутку. Я очень хорошо чувствовалъ, что это не было со стороны Иды холоднымъ равнодушіемъ къ характеру нашихъ отношеній, а сдавалось мнѣ, что она какъ будто видѣла меня насквозь и понимала, что я не пересталъ любить ихъ добрую семью, а только неловко мнѣ бывать у нихъ чаще. Не знаю я, чѣмъ Ида объясняла себѣ эту мою неловкость, но только она всегда деликатно освобождала меня отъ всякихъ вопросовъ, и послѣ какого бы промежутка времени мы съ нею ни встрѣтились, она всегда заговаривала со мною одинаково: коротко, ровно и тепло, точно только мы вчера разстались и завтра свидимся снова.

Разъ какъ-то, посреди лѣта, я не былъ у Норковъ кряду съ мѣсяцъ, и думалъ, что какъ бы мы ужъ и въ самомъ дѣлѣ не разошлись вовсе. Въ тотъ же самый день, какъ

мнѣ пришла въ голову эта мысль, только-что я усѣлся было позднимъ вечеромъ поработать, слышу, снизу, съ тротуара какой-то женскій голосъ позвалъ меня по имени. Взглянулъ я внизу—смотрю—Ида Ивановна и съ нею подъ руку Маня. Обѣ онѣ въ одинакихъ черныхъ шелковыхъ казакинахъ, и коймы по подоламъ барежевыхъ платьевъ однѣ и тѣ же, и въ рукахъ совершенно одинаковые темные антукà. На длинныхъ тротуарахъ линіи, освѣщенной бѣлымъ свѣтомъ лѣтней ночи, кромѣ двухъ сестеръ Норкъ, не было видно ни души.

— Чтò это вы дѣлаете дома?—спросила меня, спокойно глядя вверхъ, Ида.

Маня только кивнула мнѣ головкой.

При блѣдномъ свѣтѣ бѣлой ночи я видѣлъ, какъ личико Мани хотѣло сложиться въ самую веселую улыбку, но это не удалось ей.

— Чтò я дѣлаю?—Хочу поработать немножко, Ида Ивановна.

— Охота!

— Das muss, Ида Ивановна, а не охота.

— Sie müssen—отлично; но чтò это вы, въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ глазъ не показываете? Не думаете ли вы, чего добраго, что за вами ухаживать станутъ? Дескать: «куманечикъ, побывай, душа-радость, побывай!»

Глаза Иды Ивановны потихоньку улыбались и лицо ея, по обыкновенію, было совершенно спокойно. Маня опять хотѣла улыбнуться, но тотчасъ потупилась и стала тихо черкать концомъ зонтика по тротуарной плитѣ.

— А, кстати о выстрѣлѣ, чтò вашъ сосѣдъ дѣлаетъ? — спросила Ида Ивановна.

— Это, въ самомъ дѣлѣ, думаю, кстати о выстрѣлѣ, и отвѣчаю, что Истоминъ за границею.

— Я это знаю; я хотѣла спросить, чтò онъ тамъ дѣлаетъ?

— Не знаю, право, Ида Ивановна; вѣрно хандритъ или работаетъ.

— А вы развѣ не переписываетесь?

Маня прилегла къ сестриному плечу.

— Нѣтъ, говорю, — переписывались, да вотъ мѣсяца съ полтора какъ-то нѣтъ отъ него ни слова.

— Таки совсѣмъ ни слова?

— Совсѣмъ ни слова.

— Вотъ постоянство здѣшнихъ мѣстъ!

— Мѣста, Ида Ивановна, непостоянныя.

— Вѣрно такъ вамъ и слѣдуетъ,—отвѣчала Ида и, кивнувъ головкой, пошла, крикнувъ мнѣ:—пусть вамъ ангелы святые снятся.

Маня, трогаясь съ мѣста, еще разъ хотѣла мнѣ улыбнуться какъ можно ласковѣй, но и на этотъ разъ улыбка не удалась ей и свернулась во что-то суровое и тревожное.

«Однако, что̀-жъ бы это такое могло значитъ?» думалъ я, когда дѣвушки скорыми шагами скрылись за угломъ проспекта. «Неужто Маня *все* разсказала сестрѣ? неужто у Иды Ивановны до того богатырскія силы, что, узнавъ отъ Мани все, что̀ та могла разсказать ей, она все-таки еще можетъ сохранять спокойствіе и шутить? Это ужъ даже и непріятно такое самообладаніе!» И мнѣ на минуту показалось, что Ида Ивановна совсѣмъ не то, чѣмъ я ее представлялъ себѣ; что она ни больше, ни меньше какъ весьма практическая нѣмка: имѣетъ въ виду поправить неловкій шагъ сестры бракомъ, и наконецъ просто-напросто *ищетъ зятя своей матери*... Похвальная родственная заботливость, и только. Пришло мнѣ въ голову также, что, можетъ-быть, и сама Маня надумалась, нашла свои странныя экзальтаціи смѣшными и сама пожелала сдѣлать Истомина своимъ мужемъ... А можетъ быть даже, что и все это была одна собачья комедія, въ которой и Маня тоже искала *зятя своей матери*.

Даже скверно становилось отъ этихъ предположеній.

— Не можетъ ничего этого быть! — уговаривалъ я себя на другой день. — Вѣрно Ида Ивановна знаетъ очень немногое; вѣрно она безъ всякихъ словъ Мани знаетъ только одно, что сестра ея любитъ Истомина, и замѣчаетъ, что неизвѣстность о немъ ее мучитъ.

Дней черезъ пять, или черезъ шесть, въ теченіе которыхъ я попрежнему ни разу не собирался къ Норкамъ и оставался насчетъ всѣхъ ихъ при своемъ послѣднемъ предположеніи, въ одно прекрасное утро ко мнѣ является Шульцъ.

— Вотъ, батюшка мой, исторія-то!—началъ онъ, не вынимая изо рта сигары и вытаскивая изъ кармана какое-то измятое письмо.

— Что̀, спрашиваю, за исторія?

— Да такая, говоритъ, исторія, что хуже иной географіи:—Истоминъ дрался на дуэли и очень дурно раненъ.

Фридрихъ Фридриховичъ далъ мнѣ нѣмецкое письмо, въ которомъ было написано: «Шесть дней тому назадъ, вашъ компатріотъ господинъ фон-Истоминъ имѣлъ непріятную исторію съ русскимъ княземъ N, съ женою котораго онъ три недѣли тому назадъ пріѣхалъ изъ Штутгарта и остановился въ моей гостиницѣ. Послѣдствіемъ этой Geschichte у г. фон-Истомина съ мужемъ его дамы была дуэль, на которой г. фон-Истоминъ раненъ въ лѣвый бокъ пулею, и положеніе его признается врачами небезопаснымъ, а между тѣмъ г. фон-Истоминъ, проживая у меня съ дамою, изъ-за которой воспослѣдовала эта непріятность, состоитъ мнѣ должнымъ столько-то за квартиру, столько-то за столъ, столько-то за прислугу и экипажи, а всего до сихъ поръ столько-то (стояла весьма почтенная цифра). Да сверхъ того (продолжало письмо) теперь я несу для г. фон-Истомина всѣ издержки по лѣченію и различнымъ хлопотамъ, возникшимъ изъ этого дѣла, и наличныхъ денегъ у г. фон-Истомина нѣтъ. Вслѣдствіе всего этого, г. фон-Истоминъ поручилъ мнѣ написать вамъ о его положеніи и просить васъ выслать мнѣ мой долгъ и г. фон-Истомину тысячу русскихъ рублей, съ переводомъ на мое имя. Парма, годъ, мѣсяцъ и число. Адресъ: такому-то, хозяину «Hôtel de Venize».

— Посылать, или не посылать?—спросилъ Шульцъ, видя, что я дочиталъ письмо до конца.

Я былъ въ большомъ затрудненіи, что отвѣтить.

— Ну, а если это подлогъ?—допрашивалъ меня Шульцъ.

— Какъ это узнать, Фридрихъ Фридриховичъ?

— То-то, я вѣдь говорю, что все это, какъ говорится, оселокъ: — тутъ самъ чортъ семь разъ ногу сломаетъ и ни разу ничего не разберетъ.

— Рискъ,—отвѣчаю:— конечно, есть.

— Ну, только ужъ воля ваша, а мой згадъ всегда такой, что лучше рисковать деньгами, чѣмъ человѣкомъ. Деньги, конечно, вещь нужная, но все-таки, словомъ сказать, это дѣло нажитое.

Я съ особеннымъ удовольствіемъ согласился съ Шульцемъ и, провожая его къ двери, съ особеннымъ удовольствіемъ пожалъ его руку. Фридрихъ Фридриховичъ уѣхалъ отъ меня съ самымъ дѣловымъ выраженіемъ на лицѣ, и

часа черезъ два заѣхалъ съ банкирскимъ векселемъ на торговый домъ въ Пармѣ.

Деньги, нужныя на выручку Истомина, были отосланы; но что это была за дуэль и вообще что это за исторія — разгадывать было весьма мудрено и трудно.

«Одно только очень желательно,—думалъ я въ этотъ день по уходѣ Шульца,—желательно, чтобы Фридрихъ Фридриховичъ сохранилъ въ тайнѣ это свое хорошее великодушіе и не распространился объ этой исторіи у Норковъ. Только нѣтъ — гдѣ ужъ Фридриху Фридриховичу отказать себѣ въ такомъ удовольствіи».

Такъ-таки все это на мое и вышло, и вотъ какъ я это узналъ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Густыми сумерками на другой день слышу у себя звонокъ, этакій довольно нерѣшительный и довольно слабый звонокъ, а вслѣдъ затѣмъ легкіе, торопливые шаги, и въ мою комнату не вошла, а вбѣжала Маничка Норкъ.

— Убитъ?—прошептала она, подскочивъ ко мнѣ и быстро дернувъ меня за руку.

Такъ варомъ меня и обварило.

— Только раненъ,—отвѣчалъ я какъ можно спокойнѣе.

Маня выпустила мою руку и сѣла на кресло.

Я опустилъ у оконъ шторы, зажегъ свѣчи и взглянулъ на Маню: лицо у нея было не блѣдно, а бѣло, какъ у человѣка зарѣзаннаго, и зрачки глазъ сильно расширены.

Я пробовалъ два или три раза говорить съ нею, но она не отвѣчала ни слова и, наконецъ, сама спросила:

— Это, что такое «кстати о выстрѣлѣ»?

Я не понялъ.

— Сестра третьягодня сказала вамъ: «кстати о выстрѣлѣ»—что это такое значило?—повторила Маня.

— Такъ, говорю, есть какой-то анекдотъ о хвастунѣ, который сдѣлалъ одинъ разъ удачный выстрѣлъ и потомъ цѣлую жизнь все разсказывалъ «кстати о выстрѣлѣ».

— Это неправда,—отвѣчала Маня, покачавъ головой.

— Увѣряю васъ, что это не имѣло никакого другого значенія.

— Вы знали, и Ида знала объ этомъ несчастіи — объ этомъ ужасномъ несчастіи!..

Маня закрыла свое личико бѣлымъ платкомъ; она не плакала, но ея тоненькія плечики и вся ея хрустальная фигурка дрожала и билась о спинку кресла.

Я принесъ стаканъ воды и нѣсколько разъ просилъ Маню выпить. Она отняла отъ сухихъ глазъ платокъ и, не трогая стакана, быстро спросила меня:

— Кто это, который убилъ его?

— Вовсе онъ не убитъ,—отвѣчалъ я тихо и подвинулъ ей стаканъ съ водою.

Маня нетерпѣливо толкнула отъ себя стаканъ, такъ что вода далеко плеснулась черезъ края по столу, и сама встала съ кресла.

— Марья Ивановна!—сказалъ я, какъ умѣлъ мягче.

— Что?

— Послушайтесь меня, Марья Ивановна. Не идите сейчасъ домой; успокойтесь прежде хоть немножко.

Маня постояла еще съ минуту и опять спросила:

— Что такое? я не поняла.

— Хоть воды глотокъ выпейте.

— Оставьте, — отвѣчала она шопотомъ и нагнулась въ одну сторону, взявшись рукою за кресло.

Черезъ минуту она распрямилась, сама выпила весь стаканъ воды, простилась со мной и сказала, что идетъ домой.

Со страхомъ и трепетомъ ждалъ я большой исторіи у Норковъ, но во всякомъ случаѣ не такой, какая совершилась.

Часу въ третьемъ ночи, только-что я успѣлъ заснуть самымъ крѣпкимъ сномъ, вдругъ слышу кто-то сильно толкаетъ меня и зоветъ по имени. Открываю глаза и вижу, что передо мною стоитъ, со свѣчою въ рукахъ, моя старуха.

— Сейчасъ надо,—проговорила она, суя мнѣ подъ носъ маленькую записочку.

«Придите къ намъ сію минуту».

«Ида».

Это все, что было написано на поданномъ мнѣ крошечномъ клочкѣ бумажки.

Спрашиваю старуху:

— Кто принесъ эту записку?

Говоритъ, что:

— Принесла дѣвочка, сунула въ дверь и ушла, сказавъ, что ей некогда ждать отвѣта.

Я одѣлся въ одну минуту и побѣжалъ къ Норкамъ. Ночь стояла темная и бурная; хлесталъ мелкій дождь, перемѣшанный съ снѣгомъ, и со стороны Гавани, черезъ Смоленское поле, доносились частые выстрѣлы сигнальной пушки. Несмотря на то, что разстояніе, которое я долженъ былъ перебѣжать, было очень не велико, я началъ сильно дрожать отъ нестерпимой сиверки и чичера. Подъѣздъ Норковъ, противъ обыкновенія, былъ отпертъ и въ магазинѣ на прилавкѣ горѣла свѣча въ большомъ мѣдномъ подсвѣчникѣ. Съ перваго шага за порогъ чувствовалось, что сюда пришло въ гости ужасное несчастіе. Что-то феральное и неотразимое чудилось во всемъ: въ зажженныхъ и безъ всякаго смысла разставленныхъ свѣчахъ, въ сбитыхъ мебельныхъ чехлахъ, въ сухомъ и безтолковомъ хлопаньи дверей. Тревога такой обстановки сообщается ужасно быстро, и я почувствовалъ ее, какъ только вошелъ въ залу. Здѣсь на фортепьяно горѣла безъ всякой нужды другая свѣча и рядомъ съ нею ночная лампочка, а на диванѣ лежало что-то большое, престранное-странное, какъ будто мертвецъ, закрытый бѣлою простынею. Я подумалъ, что это оставлены на ночь шубы; но изъ-подъ одного края простыни выставлялись наружу двѣ ноги, обутыя въ бѣлые чулки и голубыя суконныя туфли. Простыня не шевелилась и не двигалась. Господи, что бы это такое значило? Дверь изъ залы въ комнату Софьи Карловны была открыта, и она сидѣла прямо противъ двери на большомъ голубомъ креслѣ, а сзади ея стоялъ Германъ Верманъ и держалъ хозяйку за голову, какъ будто ей приготовлялись дергать зубы. Въ ногахъ Софьи Карловны стояла на колѣняхъ кухарка и выжимала въ рукахъ мокрое полотенце. Увидѣвъ меня, madame Норкъ горько-прегорько заплакала и задергала головою въ крѣпкихъ ладоняхъ Германа.

— Что это у васъ такое? — спросилъ я, чуть слышно нагинаясь къ уху кухарки.

Софья Карловна еще отчаяннѣе воззрилась въ меня необыкновенно жалобнымъ взоромъ и часто залепетала:

— Циги-циги-циги.

Я взялъ ее за руку и пригнулся ухомъ къ ея лицу.

— Циги-циги-циги,—лепетала старуха, качая головою и заливаясь слезами. Языкъ ни за что ей не повиновался; она это чувствовала и жаловалась однѣми слезами.

Въ коридорчикѣ, отдѣлявшемъ комнату Софьи Карловны отъ комнаты дѣвицъ, послышался легкій скрипъ двери и тихій, болѣзненный стонъ, въ которомъ я узналъ голосъ Мани, а вслѣдъ затѣмъ на порогѣ торопливо появилась Ида Ивановна: она схватила меня мимоходомъ за руку и выдернула въ залу.

— Доктора?—спросилъ я, глядя ей въ лицо.

— Акушера,—прошептала она, крѣпко сдавивъ мою руку.

Софья Карловна во всѣ глаза глядѣла то на меня, то на Иду Ивановну и плакала; Верманъ попрежнему держалъ ее за голову, а кухарка обкладывала лобъ мокрымъ полотенцемъ.

— А бабушка?—шепнулъ я Идѣ, надѣвая брошенное на фортепьяно пальто.

Ида погрозила мнѣ пальцемъ и, приложивъ его къ своимъ губамъ, приподняла уголъ простыни съ лежавшей на диванѣ кучи. Изъ-подъ этого угла выставилось блѣдно-синее лицо старухи.

— Умерла!

— И въ Маниной комнатѣ, — отвѣчала Ида. — И не забудьте,—продолжала дѣвушка: — что она *встала* съ своего кресла, что она, безногая, *пошла*, *прокляла* ее и умерла. Ахъ, что̀ здѣсь дѣлается! что̀ здѣсь дѣлается! Я не знаю, какъ я въ эту ночь не сошла съ ума.

Я не утерпѣлъ и сказалъ:

— Да вы, Ида Ивановна, крѣпитесь.

— Я крѣпка,—отвѣчала, вздрогнувъ, Ида:—о-о! не бойтесь, въ несчастіи всякій крѣпокъ.

Въ эту секунду изъ дальнихъ комнатъ опять донесся слабый стонъ, и Софья Карловна залепетала:

— Циги-циги-циги.

— Бѣгите! — крикнула Ида и сама бросилась изъ магазина.

Сбѣгая съ подъѣзда, я столкнулся съ Шульцемъ и его женою, но впопыхахъ мы даже не поклонились другъ другу. Я видѣлъ, что Шульцъ дрожалъ.

Одна Ида Ивановна сохранила при этихъ ужасныхъ обстоятельствахъ все присутствіе духа. Она распорядилась вытребовать меня прежде Шульца нарочно, чтобы меня, а не его и не кого-нибудь изъ прислуги послать за акушеромъ.

При всѣхъ стараніяхъ я едва только къ шести часамъ

утра могъ привезть къ Норкамъ акушера, какого-то развинченнаго, сѣраго господина, который спросонья цѣлый часъ сморкался и укладывалъ свои варварскіе инструменты въ такой длинный замшевый мѣшокъ, что всѣ его руки входили туда по самыя плечи, какъ будто и ихъ тоже слѣдовало завязать тамъ вмѣстѣ съ инструментами.

— Вы, пожалуйста, по возможности старайтесь, чтобы семейство не замѣтило вашей спеціальности,—просилъ я этого барина, подвозя его къ дому Норковъ.

Акушеръ посмотрѣлъ на меня, высморкался и свернулъ свой мѣшокъ нѣсколько поаккуратнѣе.

Ида Ивановна встрѣтила насъ въ магазинѣ, пригласила врача-спеціалиста за собою, а мнѣ сказала:

— Идите пока домой.—Здѣсь никого не надо.

Въ отворенныя двери магазина, я видѣлъ, что бабушка уже лежала на столѣ.

Тяжелая полоса потянулась надъ бѣднымъ семействомъ Норковъ. Похороны бабушки отбывались, какъ бы потаймя, безъ всякаго шума и наскоро. Столбняковое состояніе Софьи Карловны окончилось въ минуту ея прощанія съ гробомъ матери: она разрыдалась и заговорила. Виновница всѣхъ этихъ бѣдъ, слабая Маня, хотя и разрѣшилась въ страшныхъ мукахъ мертвымъ, еще не сформировавшимся ребенкомъ, но оставалась въ положеніи самомъ неутѣшительномъ. Много дней кряду она провела въ постоянномъ забытьѣ и безъ сознанія; къ этому присоединились другія явленія, заставлявшія всѣхъ безпрестанно ждать еще худшаго и опасаться то за Манину жизнь, то за ея разсудокъ.

Въ домѣ Норковъ все шло тихо и уныло. Ни Софья Карловна, ни Ида Ивановна, ни madame Шульцъ хотя и не надѣли по бабушкѣ плерезовъ, чтобы не пугать ими Мани, но ходили въ черныхъ платьяхъ, значеніе которыхъ Манѣ не трудно было разгадать, если только эти платья когда-нибудь останавливали на себѣ ея вниманіе. Обо всемъ, что̀ произошло, что̀, какъ нежданная туча, разразилось надъ этимъ семействомъ, никто никогда не заводилъ ни слова. Всѣ избѣгали самомалѣйшаго намека на то, что̀ случилось, и жили по англійской пословицѣ, запрещающей въ домѣ повѣшеннаго говорить о веревкѣ.

Но тяжелая полоса, я говорю, еще тянулась. Находясь по своимъ дѣламъ въ Москвѣ, этакъ черезъ мѣсяцъ, что ли,

послѣ описанной исторіи, я получилъ отъ Иды Ивановны письмо, въ которомъ она дѣлала мнѣ нѣкоторыя порученія и, между прочимъ, писала: «Семейныя несчастія наши не прекращаются; Маня въ самомъ печальномъ положеніи: у нея развивается меланхолія съ самыми странными припадками. Какъ мы ни золотимъ себѣ эту новую пилюлю, которую судьба заставляетъ насъ проглотить, но вся ея горечь все-таки наружи. Ясно, что это просто тихое сумасшествіе. Я хотѣла въ этомъ удостовѣриться и пригласила доктора N; онъ сказалъ, что я права. Онъ сказалъ, впрочемъ, что положеніе сестры не безнадежно, но что больную слѣдуетъ лѣчить скоро и внимательно, удаливъ ее прежде всего отъ всѣхъ лицъ и предметовъ, которые напоминаютъ ей прошлое. Нечего дѣлать, надо велѣть молчать сердцу и брать въ руки голову: я приготовляю мать къ тому, чтобы она, для Маниной же пользы, согласилась позволить мнѣ помѣстить сестру въ частную лѣчебницу доктора для больныхъ душевными болѣзнями».

Еще позже, недѣли черезъ двѣ, Ида писала мнѣ: «Мы пятый день отвезли Маню къ N. Ей тамъ прекрасно: помѣщеніе у нея удобное, уходъ хорошій и содержаніе благоразумное и отвѣчающее ея состоянію. Докторъ N надѣется, что она выздоровѣетъ очень скоро, и я тоже на это надѣюсь. Я видѣла ее вчера; она меня узнала; долго на меня смотрѣла, заплакала и спросила о маменькѣ, а потомъ сказала, что ей здѣсь хорошо и что ей хочется быть тутъ одной, пока она совсѣмъ выздоровѣетъ».

Маня долго, однако, проболѣла. Зима проходила, а она все еще оставалась въ лѣчебницѣ. Ида Ивановна одна навѣщала сестру два раза каждую недѣлю и привозила о ней домой самыя радостныя вѣсти. Мѣсяца за полтора до выхода Мани изъ заведенія, я одинъ разъ провожалъ Иду Ивановну и видѣлъ Маню. Она была очень блѣдна, и эта блѣдность еще болѣе увеличивалась отъ черной шелковой шапочки, которая была на ея обритой головкѣ; но въ общемъ Маня мнѣ показалась совершенно здоровою. Ея болѣзненная впечатлительность, дѣйствительно, замѣтно уменьшалась. Никогда я не видалъ ее болѣе спокойною, хотя Ида Ивановна разсказывала и самъ я замѣтилъ, что у нея зато явился свой новый пунктикъ, новое *вліяніе*. Маня всею душою привязалась къ доктору N. Насколько это чувство

можно было анализировать въ Манѣ, оно имѣло что-то очень много общаго съ отношеніями нѣкоторыхъ молодыхъ религіозныхъ и несчастныхъ въ семьѣ русскихъ женщинъ къ ихъ духовнымъ отцамъ; но, съ другой стороны, это было что-то и не то. Что-то строгое и равноправное заявлялось въ каждомъ обращеніи Мани къ N, но въ то же время все это выражалось съ безграничнѣйшимъ довѣріемъ и теплѣйшей дружбой. Когда докторъ N позволялъ себѣ заговорить съ Манею о чемъ-нибудь въ нѣсколько наставительномъ тонѣ, Маня выслушивала его съ глубокимъ вниманіемъ и спокойствіемъ; но тотчасъ же, какъ только онъ произносилъ послѣднее слово, Маня откашливалась и начинала возражать ему, сохраняя свое всегдашнее граціозное спокойствіе и тихую самостоятельность. Она писала дневникъ и всякій день давала его просматривать доктору. Этотъ дневникъ и служилъ у нихъ предметомъ разговоровъ, изъ которыхъ выходили ихъ временныя несогласія, но которыхъ, кромѣ ихъ двухъ, никто никогда не слышалъ.

Проходило лѣто; докторъ N давно говорилъ Манѣ, что она совершенно здорова и безъ всякой для себя опасности можетъ уѣхать домой. Маня не торопилась. Она отмалчивалась и все чего-то боялась, но, наконецъ, въ половинѣ сентября, вдругъ сама сказала сестрѣ, что она хочетъ оставить больницу.

Пятнадцатаго числа Ида Ивановна взяла карету и поѣхала за Маней. Въ домѣ давно все было приготовлено къ ея пріему. Ида Ивановна перешла въ комнату покойной бабушки, а ихъ бывшая комната была отдана одной Манѣ, чтобы ее ужъ ровно никто и ничѣмъ не обезпокоилъ. Положено было не надоѣдать Манѣ никакимъ особеннымъ вниманіемъ и не стѣснять ее ничьимъ сообществомъ, кромѣ общества тѣхъ, которыхъ она сама пожелаетъ видѣть.

Возвратясь домой, Маня немножко сплакнула, поблагодарила мать за ея любовь и вниманіе и тихо заключилась въ свою комнатку. Съ тѣхъ поръ сюда не входилъ никто, кромѣ Иды, которая сообщала мнѣ иногда по секрету, что Маня до жалости грустна и все-таки по временамъ тяжело задумывается.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Въ эту самую пору, съ птичьимъ отлетомъ въ теплыя страны, изъ теплыхъ странъ совершенно неожиданно воз-

вратился Романъ Прокофьичъ Истоминъ. Онъ явился свѣтлымъ, веселымъ, сіяющимъ и невозмутимо - спокойнымъ. Было около девяти часовъ утра, когда онъ вошелъ ко мнѣ въ какомъ-то щегольскомъ пиджакѣ и съ легкимъ саквояжемъ изъ лакированной кожи. Онъ обнялъ меня, расцѣловалъ и попросилъ чаю. За чаемъ мы говорили обо всемъ, кромѣ Норковъ и загадочной дуэли. Истоминъ ни о тѣхъ, ни о другой не заговаривалъ, а я не находилъ удобнымъ наводить его теперь на этотъ разговоръ. Такъ мы отпили чай, и Истоминъ, переодѣвшись, отправился куда-то изъ дома.

Послѣ обѣда мы опять начали кое-о-чемъ перетолковывать.

— А что это вы ничего не разскажете о вашей дуэли?— спросилъ я Романа Прокофьича.

— Есть про что̀ говорить! — отвѣчалъ онъ, разматывая передъ зеркаломъ свой галстукъ.

— А мы тутъ совсѣмъ было васъ похоронили, особенно Фридрихъ Фридриховичъ.

— Ему о всемъ забота!

— А вы у Норковъ не были?

— Нѣтъ, не былъ.

— Вы знаете, что Маня-то выздоровѣла?

— Выздоровѣла!—скажите, пожалуйста! Вотъ слава Богу. Очень радъ, очень радъ, что она выздоровѣла.—Я часто о ней вспоминалъ. Прелестная дѣвочка!

— Еще бы!—смѣло можетъ сказать, что «я вся огонь и воздухъ, и предоставляю остальныя стихіи низшей жизни»!

— Да, да; все остальное низшей жизни! чудное, чудное дитя! Я бы очень желалъ на нее взглянуть. Перемѣнилась она?

— Очень.

— Отцвѣла?

— Да, поотцвѣла.

— Странный народъ эти женщины! — какъ у нихъ это скоро. Я говорю, какъ онѣ скоро отцвѣтаютъ-то!

Истоминъ прошелся раза два по комнатѣ и продекламировалъ: «да, какъ фарфоръ бренны женскія особы».

— А что̀, какъ она?.. спокойна она? — спросилъ онъ, остановясь передо мною.

— Кажется, спокойна.

— Неужто-таки совсѣмъ спокойна?

— Говорятъ, и мнѣ тоже такъ кажется.

— Таки-вотъ совсѣмъ, *совсѣмъ спокойна?*

Я посмотрѣлъ на Истомина съ недоумѣніемъ и отвѣчалъ:

— Да, совсѣмъ спокойна.

Истоминъ заходилъ по комнатѣ еще скорѣе и потомъ сталъ тщательно надѣвать перчатки, напѣвая: «Гопъ, мои гречаники! гопъ, мои бѣлы!»

— Ну, а чортова Идища?

— Что̀ такое?

— Не больна, не уязвлена страстью?

— Это, говорю, забавный и странный вопросъ, Романъ Прокофьичъ.

— Забавно, быть-можетъ, а чтобы странно, то нѣтъ,—процѣдилъ онъ сквозь зубы и, уходя, снова запѣлъ: «святой Ѳома, не вѣрю я...»

Опять Истоминъ показался мнѣ такимъ же художественнымъ шалопаемъ, какъ въ то время, когда пѣлъ, что «любить мечту не преступленье» и стрѣлялъ въ карту, поставленную на головѣ Яна.

Онъ возвратился ночью часу во второмъ необыкновенно веселый и легъ у меня на диванѣ, потому что его квартира еще не была приведена въ порядокъ.

— Ѣли вы что-нибудь?—освѣдомился я, глядя какъ онъ укладывается.

— Ѣлъ, пилъ, гулялъ и жизнью наслаждался, и на сей разъ ничего отъ нея болѣе не требую, кромѣ вашего гостепріимнаго крова и дивана,—отвѣчалъ не въ мѣру развязно Романъ Прокофьичъ.

«Шалопай ты былъ, шалопай и есть»,—подумалъ я, засыпая.

— Сдѣлайте милость, перемѣните вы эту ненавистную квартиру,—произнесъ за моимъ стуломъ голосъ Иды Ивановны, когда на другой день я сидѣлъ одинъ-одинешенекъ въ своей комнатѣ.

— Я ужъ забыла счетъ,—продолжала дѣвушка:—сколько разъ являюсь я сюда къ вамъ, и всегда по милости какого-нибудь самаго сквернаго обстоятельства, и всегда съ растрепанными чувствами.

— Что̀ опять такое сдѣлалось?

— Истоминъ пріѣхалъ?

— Пріѣхалъ.

Ида Ивановна громко ударила ладонью по столу и проговорила:

— Я отгадала.

— Что̀ же, спрашиваю,—далѣе?

— Маня не въ себѣ.

— Худо ей?

— Да я не знаю, худо это, или хорошо, только они видѣлись.

— Развѣ былъ у васъ Истоминъ?

— Тогда бы онъ былъ не Истоминъ. Онъ не былъ у насъ, но Манѣ, должно-быть, было что-нибудь передано, сказано, или ужъ я не знаю, что̀ такое, но только она вчера первый разъ спросила про ту картину, которую онъ подарилъ ей; вытирала ее, переставляла съ мѣста на мѣсто и потомъ цѣлый послѣ-обѣдъ ходила по залѣ, а ночь не спала и теперь вотъ что̀: подайте ей Истомина! Сегодня встала, плачетъ, дрожитъ, становится на колѣни, говоритъ: «я не вытерплю, я опять съ ума сойду». — Скажите, Бога-ради, что̀ мнѣ съ нею дѣлать? Ввести его къ намъ... при матери и при Фрицѣ... вѣдь это — невозможно, невозможно.

Рѣшили на томъ, что я переговорю съ Истоминымъ и постараюсь узнать, каковы будутъ на этотъ счетъ его намѣренія.

— Знаете что̀,—говорила мнѣ, прощаясь у двери, Ида:— первый разъ въ жизни, я начинаю человѣка ненавидѣть! Я бы очень, очень хотѣла сказать этому генію, что онъ... самый вредный человѣкъ, какого я знаю.

— И будетъ случай, что я ему это скажу, — добавила она, откинувъ собственною рукою дверную задвижку.

— Маня Норкъ очень хочетъ повидаться съ вами,—передалъ я безъ обиняковъ за обѣдомъ Истомину.

— А! это съ ея стороны очень мило, только къ несчастію неудобно; а то бы я и самъ радъ ее видѣть.

— Отчего же,—говорю:—неудобно? — Пойдемте къ нимъ вечеромъ.

Истоминъ ѣлъ и ничего не отвѣтилъ.

— Вы не пойдете? — спросилъ я его, собираясь сумерками къ Норкамъ.

— Нѣтъ, не пойду, не пойду,—отвѣчалъ онъ торопливо и сухо.

— Напрасно,—говорю.

— Мой милый другъ! не тратьте лучше словъ *напрасно.*

— Надо васъ послушаться, — отвѣтилъ ему я и пошелъ къ Норкамъ, размышляя, что̀ за чушь такую я дѣлалъ, приглашая съ собою Истомина сегодня же.

Ида Ивановна выслушала мой рапортъ и пошла къ Манѣ, а, прощаясь, сунула мнѣ записочку для передачи Роману Прокофьичу, и сказала:

— Если онъ этого не сдѣлаетъ, это ужъ будетъ просто безчеловѣчно! Маня проситъ его униженно, и если онъ не пойдетъ,—я не знаю, что̀ онъ тогда такое. Приходите завтра вмѣстѣ въ пять часовъ — нашихъ никого не будетъ дома, потому что maman поѣдетъ съ Шульцами въ Коломну.

Я вручилъ Истомину Манину записку. Онъ прочелъ ее и подалъ мнѣ.

«Милый!—писала Маня:—я не огорчу тебя никакимъ словомъ, приди только ко мнѣ на одну минутку».

— Да; она очень хочетъ васъ видѣть и завтра вечеромъ у нихъ, кромѣ Иды Ивановны, никого не будетъ дома,— сказалъ я, возвращая Истомину Манину записку.

Онъ взялъ у меня клочокъ, мелко изорвалъ его и ничего не отвѣтилъ.

На другой день, ровно въ пять часовъ вечера, Истоминъ вошелъ ко мнѣ въ пальто и шляпѣ.

— Пойдемте! — сказалъ онъ съ скверным выраженіемъ въ голосѣ, и лицо у него было злое, надменное, рѣшительное и тревожное.

Я всталъ, одѣлся, и мы вышли.

— Вы увѣрены, что, кромѣ дѣвушекъ, у нихъ никого нѣтъ дома?—спросилъ онъ меня, лѣниво сходя за мною съ лѣстницы.

— Я въ этомъ увѣренъ,—отвѣчалъ я и снова повторилъ ему слова Иды Ивановны.

Истоминъ позеленѣлъ и спряталъ руку за бортъ своего пальто. Мнѣ казалось, что, несмотря на теплый вечеръ, ему холодно и онъ дрожитъ.

Молча, не сказавъ другъ другу ни слова, дошли мы до квартиры Норковъ и позвонили.

— Глядите, можетъ-быть, старуха дома? — проговорилъ за моимъ плечомъ какимъ-то упавшимъ голосомъ Истоминъ.

Я ничего не успѣлъ ему отвѣтить, потому что насъ встрѣтила Ида Ивановна.

Истоминъ поклонился ей молча, она тоже отвѣчала ему однимъ поклономъ.

— Подождите,—сказала она, введя насъ въ залу, и сама вышла.

Истоминъ подошелъ-было къ окну, но тотчасъ же снова отошелъ вглубь комнаты и сѣлъ, облокотясь на фортепьяно.

Тревожно и съ замираніемъ сердца я ждалъ момента этого страннаго свиданія.

Минуты черезъ двѣ въ залу возвратилась Ида Ивановна.

— Потрудитесь идти за мною,—сказала она Истомину.

Онъ всталъ и смѣло пошелъ черезъ спальню Софьи Карловны въ комнату Мани.

Ида Ивановна пропустила его впередъ и, взявъ меня за руку, пошла слѣдомъ за Романомъ Прокофьичемъ.

Идучи за Идой Ивановной, я чувствовалъ, что ея рука, которою она держала мою руку, была совершенно холодна. Я посмотрѣлъ ей въ глаза—они были спокойны, но какъ бы ждали откуда-то неминуемой бѣды и были на-стражѣ.

Истоминъ подошелъ къ двери Маниной комнаты и остановился. Дверь была отворена и позволяла видѣть всю внутренность покоя. Комната была въ своемъ обыкновенномъ порядкѣ: все въ ней было безукоризненно чисто, и заходившее солнце тепло освѣщало ее сквозь опущенныя бѣлыя шторы. Маня, въ бѣломъ пеньюарѣ, съ очень коротко остриженными волосами на головѣ, сидѣла на своей постели и смотрѣла себѣ на руки.

— Сестра!—тихо позвала Ида Ивановна.

Маня тихо подняла голову, прищурила свои глазки, взвизгнула и, не касаясь ногами пола, перелетѣла съ кровати на грудь Истомина.

Въ это же мгновеніе, Истоминъ рѣзко оттолкнулъ ее и, прыгнувъ на средину комнаты, тревожно оглянулся на дверь.

Отброшенная Маня держалась за голову и съ каждымъ дыханіемъ порывалась съ мѣста къ Истомину.

— Не отгоняй меня! не отгоняй!—вскрикнула она голосомъ, который обрывался на каждомъ словѣ, и съ протянутыми впередъ руками снова бросилась къ художнику.

Истоминъ однимъ прыжкомъ очутился на окошкѣ, открылъ раму и выскочилъ на желѣзную крышу кухоннаго крыльца.

Въ рукѣ его я замѣтилъ щегольскую оленью ручку дорогого охотничьяго ножа, который обыкновенно висѣлъ у него на коврѣ надъ постелью. Чуть только кровельные листы загремѣли подъ ногами художника, мимо оконъ пролетѣло большое полѣно и, ударившись о стѣну, завертѣлось на камняхъ.

Я выглянулъ въ окно и увидалъ на кухонномъ крыльцѣ Вермана. Истомина ужъ не было и помину. Соважъ стоялъ съ взъерошенными волосами и въ лѣвой рукѣ у него было другое полѣно.

— Я, это я,—говорилъ Соважъ, потрясая полѣномъ.

Маня тихо и молча перебирала ручками свои короткіе волосы.

Я рѣшительно не помню, что̀ послѣ было и какъ я вышелъ. Я опомнился за воротами, столкнувшись лицомъ къ лицу съ Верманомъ. Соважъ стоялъ на улицѣ въ однихъ панталонахъ и толстой серпинковой рубашкѣ и страшно дымилъ гадчайшею сигарой.

— Германъ! зачѣмъ вы это сдѣлали?—спросилъ я его въ сильномъ волненіи.

— Да!—отвѣчалъ Соважъ:—да!.. бревномъ сакрамента... мерзавца... О, я его здѣсь подожду! я долго подожду, съ этой самой орудія!

Германъ кивнулъ головою назадъ и позволилъ мнѣ разглядѣть лежавшее у него за пятками полѣно.

— Другъ мой, это безполезно.

— Я не другъ вашъ!—отвѣчалъ сердито Верманъ:— понимайте! Я не другъ того, у кого другъ такой портной.

— Какой портной, Верманъ?

— Какой? какой портной? — Какой безъ узла шьетъ — вотъ какой. Нѣтъ; ти, каналья, съ узломъ нитка шей! да, съ узломъ, съ узломъ, чортъ тебя съѣшь съ твоей шляпой и съ палкой!

Соважъ вдругъ поднялъ надъ головою лежавшее у него за каблуками полѣно и, заскрипѣвъ зубами, какъ-то не проговорилъ, а *прогавкалъ:*

— Портной безъ узла! я тебя... въ столбъ вобью!

Полѣно треснулось съ этимъ словомъ о тумбу, и одно и другая одновременно раскололись.

Соважъ стоялъ и ерошилъ свои волосы надъ разбитою тумбою. На улицѣ не было ни души.

Я долго смотрѣлъ на безмолвнаго Германа — и представьте себѣ, о чемъ размышлялъ я?—Маня, вся только-что разыгравшаяся сцена, все это улетѣло изъ моей головы, а я съ непостижимѣйшимъ спокойствіемъ вспомнилъ о томъ коренастомъ, малорослом германскомъ дикарѣ, который въ вѣнскомъ музеѣ стоитъ передъ долговязымъ римляниномъ, и мнѣ становилось понятно, какъ этотъ коренастый дикарь могъ побить и выгнать рослаго, въ шлемъ и латы закованнаго потомка Германика и Агриппины.

Это непостижимо, какимъ это образомъ въ такія страшныя, критическія минуты вдругъ иной разъ вздумается о томъ, о чемъ бы, кажется, нѣтъ никакой стати и думать въ подобныя минуты.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Возвратясь домой, я не пошелъ къ Истомину. Было ясно, изъ-за чего онъ разыгралъ всю эту гадкую исторію: ему вообразилось, что его женятъ на Манѣ, и все это свиданіе онъ счелъ за подготовленную сцену — за засаду. Досадно было, зачѣмъ же онъ шелъ на это свиданіе? чего же онъ хотѣлъ, чего еще добивался отъ Мани?

Въ одиннадцатомъ часу утра на другой день ко мнѣ является Шульцъ—блѣдный и оскорбленный.

— Здравствуйте,—говоритъ:—и одѣвайтесь—пойдемте къ Истомину.

— И что̀,—спрашиваю:—будетъ?

— Будетъ?—дуэль будетъ. Я убью его.

— Или онъ васъ.

— Или онъ меня.

— Зачѣмъ же вамъ я-то?

— А я хочу имѣть свидѣтеля при этомъ разговорѣ.

Мы вошли къ Истомину; онъ лежалъ на диванѣ, закинувъ руки за затылокъ и уложивъ ногу на ногу. При нашемъ приходѣ онъ прищурилъ глаза, но не приподнялся и не сказалъ ни слова.

— Господинъ Истоминъ!—началъ сухо Шульцъ:—я много ошибся въ васъ...

— Сдѣлайте милость со всѣмъ этимъ къ чорту!—вскрикнулъ, порвавшись съ дивана, Истоминъ. — Я терпѣть не могу присутствовать при составленіи обо мнѣ критическихъ приговоровъ. Мнѣ все равно, что̀ обо мнѣ думаютъ.

— Да; это очень можетъ быть; говорятъ, что въ Россіи есть такіе люди, которымъ все равно, что о нихъ думаютъ; но я во всякомъ случаѣ увѣренъ, что вы честный человѣкъ, господинъ Истоминъ.

— А мнѣ доставляетъ большое удовольствіе замѣтить вамъ, что вы еще разъ ошибаетесь: я нечестный человѣкъ, господинъ Шульцъ.

Шульцъ немного сконфузился и спросилъ:

— Отчего?

Истоминъ разсмѣялся; онъ всталъ на ноги и, заложивъ руки въ карманы, отвѣчалъ:

— Оттого, господинъ Шульцъ, что я нѣсколько разъ хотѣлъ быть какъ слѣдуетъ честнымъ человѣкомъ, и мнѣ это никогда не удавалось — теперь охоты болѣе къ этому не имѣю. Еще оттого, господинъ Шульцъ, что не стоитъ быть честнымъ человѣкомъ, и, наконецъ, оттого, г. Шульцъ, что быть честнымъ человѣкомъ, значитъ или быть дуракомъ, или походить на васъ, а я не хочу ни того, ни другого.

— Я, господинъ Истоминъ, хочу не замѣчать вашихъ невѣжливостей...—Шульцъ поперхнулся, сдавилъ рукою горло и добавилъ:—Я удивляюсь только, господинъ Истоминъ, какъ вы можете быть такъ покойны.

— Значитъ, вы не большой мудрецъ, г. Шульцъ; большіе мудрецы ничему не удивлялись.

— Можетъ-быть... Простите, пожалуйста; я не для разговоровъ къ вамъ пришелъ... у меня горло сдавливаетъ, г. Истоминъ.

— Ага! сдавливаетъ — это хорошо, что сдавливаетъ; я слыхалъ, что съ приближеніемъ къ полюсамъ, всѣ собаки всегда перестаютъ лаять!

Шульцъ такъ и подпрыгнулъ.

— Лаять! — вскрикнулъ онъ: — лаять! Я лаю, господинъ Истоминъ; я лаю, да я молчкомъ не кусаюсь, да-съ; я вѣрная собака, господинъ Истоминъ; я не кусаюсь. Одинъ человѣкъ на свѣтѣ, котораго я захотѣлъ загрызть — это *вы*. Я вызываю васъ на дуэль, г. Истоминъ.

— Сдѣлайте милость! мнѣ давно хочется убить кого-нибудь, и я очень радъ, что это будетъ такой почтенный человѣкъ, какъ вы. Позвольте, вотъ одно короткое распоряженіе только сдѣлаю.

Истоминъ подошелъ къ столу и написалъ:

«Я застрѣлился оттого, что мнѣ надоѣло жить».

Онъ подалъ эту записку мнѣ и сказалъ, не глядя мнѣ въ глаза:

— Это про всякій случай, если я подвернусь подъ негоціантскую пулю.

Съ этимъ вмѣстѣ Истоминъ досталъ изъ стола пару пистолетовъ и подалъ ихъ оба на выборъ Шульцу.

— Извольте; я могу стрѣляться безъ секунданта, а моя квартира, надѣюсь, гораздо безопаснѣе парголовскаго лѣса.

Лицо у Истомина было злое и кровожадное.

— Я такъ не могу, — отвѣчалъ Шульцъ:—у меня жена, дѣти и состояніе: мои распоряженія нельзя сдѣлать въ одну минуту. Будемте стрѣляться послѣзавтра за Коломягами.

— Извольте, я могу подождать. — Янъ! подай пальто господину Шульцу, — крикнулъ громко Истоминъ, и снова повалился на диванъ и уткнулся лицомъ въ подушку.

Дуэли, однако, не было—ее не допустила Ида Ивановна.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

— Господинъ Истоминъ! — сказала Ида, входя къ нему вечеромъ въ тотъ же день, когда произошло это объясненіе.— Я увѣрена, что вы меня не выгоните и не оскорбите.

Истоминъ вскочилъ съ дивана, вѣжливо поклонился ей и подалъ стулъ.

— Вы, взамѣнъ того, можете быть спокойны, что я пришла къ вамъ не съ объясненіями. Никакія объясненія не нужны.

— Благодарю васъ,—отвѣчалъ Истоминъ.

— Прошедшему нѣтъ ни суда, ни порицанія. Если это была любовь — она не нуждается въ прощеніи; если это было увлеченіе—то... пусть и этому проститъ Богъ, давшій вамъ такую натуру. Вотъ вамъ моя рука, Истоминъ, въ знакъ полнаго прощенія вамъ всего отъ всей нашей семьи и... *отъ нея самой.*

Истоминъ взялъ и съ жаромъ поцѣловалъ протянутую ему руку Иды.

Дѣвушка тихо высвободила свою руку и отошла къ окну.

— Ида Ивановна! — сказалъ, подходя ближе къ ней, Истоминъ. — Столько презрѣнія къ себѣ, сколько чувствую я, повѣрьте, не испытывалъ ни одинъ человѣкъ.

— Радуюсь, узнавая, что вы способны осуждать себя.

Истоминъ остановился.

— Ида Ивановна, неужто вы, въ самомъ дѣлѣ, меня простили!

— Monsieur Истоминъ, если я сказала, что я пришла къ вамъ не за тѣмъ, чтобы вызывать васъ на объясненія, то я и не за тѣмъ пришла, чтобы шутить съ вами для своего удовольствія,—отвѣчала спокойно Ида.—Если вы въ этомъ сомнѣваетесь, то я бы желала знать, что̀ такое именно вы считаете непростительнымъ изъ вашихъ поступковъ?

— Мое гадкое охлажденіе къ вашей сестрѣ, которая меня любила!

Ида пожала плечами и сказала:

— Ну, къ несчастію, не всякій человѣкъ умѣетъ не охлаждаться. — Вы виноваты въ другомъ: въ вашемъ недостойномъ вчерашнемъ подозрѣніи; но не будемъ лучше говорить объ этомъ. Я пришла не за тѣмъ, чтобы вынесть отъ васъ въ моемъ сердцѣ вражду, а я тоже человѣкъ и... не трогайте этого лучше.

— Я все готовъ сдѣлать, чтобъ заслужить ваше прощеніе.

— Все?.. а что̀ это такое, напримѣръ, вы можете сдѣлать *все*, чтобы *заслужить* прощеніе въ такомъ поступкѣ?— спросила она, слегка покраснѣвъ, Истомина.

— Я знаю, что мой поступокъ заслуживаетъ презрѣнія.

— Да! вѣчнаго презрѣнія!

— Да; презрѣнія, презрѣнія; но... я могу имѣть, наконецъ, добрыя намѣренія...

— Добрыя намѣренія! Можетъ-быть. Добрыми намѣреніями, говорятъ, весь адъ вымощенъ.

Истоминъ промолчалъ.

— Вы можете получить прощеніе, какъ милостыню, а не заслужить его!.. Видите, я говорила вамъ, чтобъ вы меня не трогали.

— Говорите все; казните, какъ хотите.

— Это все равно, — продолжала, сдвигая строго брови, Ида: — мы васъ простили; а ваша казнь?.. она придетъ сама, когда вы вспомните вчерашнюю свою продѣлку.— Мой Боже! такъ оскорбить женщину, которая васъ такъ любила, и послѣ жить!.. Нѣтъ; сдѣлавши такое дѣло, я, женщина, я бъ не жила пяти минутъ на свѣтѣ.

Истоминъ сильно терзался.

— Простите, не упрекайте вы меня: я хоть сейчасъ готовъ на ней жениться,—говорилъ онъ, ломая руки.

— Какая честь высокая! — сказала, презрительно кусая губы, Ида: — да вы спросите лучше: какая женщина за васъ пошла бы? Конечно, дуръ и всякихъ низкихъ женщинъ много есть на свѣтѣ; но какъ же Маню-то вы смѣете равнять со всякой дрянью?.. Вы слушайте, Истоминъ! вы знайте, что я теперь бѣшусь, и я вамъ, можетъ-быть, скажу такое, что̀ я вовсе не хотѣла вамъ сказать и чего вы, вѣрно, давно не слыхивали... Вы должны были сберечь мою сестру отъ увлеченій; да, сберечь, сестра *любила* васъ; она за васъ не собиралась *замужъ*, а такъ *любила*, сама не зная почему; вы увлекли ее... Богъ знаетъ для чего, на что? и теперь...

— И теперь она меня не любитъ больше? — произнесъ съ оскорбленіемъ и испугомъ Истоминъ.

— Гм! часъ отъ часа не легче... Какой вы жалкій человѣкъ, m-r Истоминъ! Утѣшу васъ: нѣтъ, *любитъ*. Радуйтесь и торжествуйте—*любитъ*. Но вы... Вотъ отгадайте-ка, что̀ я хочу вамъ досказать?

— Что я любви не сто̀ю? это вѣрно?

— Совсѣмъ не то; къ несчастію, женщинамъ перебирать-то много некѣмъ, m-r Истоминъ! Нѣтъ, вѣрно, сто̀ите, пожалуй. Когда бы не было въ васъ ничего, что, на несчастье женщины, ей можетъ нравиться при нынѣшнемъ безлюдьи, такъ васъ бы этакъ не любили! но вы... да вы сами, подумайте, развѣ вы можете кого-нибудь любить? У васъ была худая мать, Истоминъ, худая мать; она дурно васъ воспитывала, дурно, дурно воспитывала!—докончила Ида и, чего бы, кажется, никакъ нельзя было отъ нея ожидать, она съ этимъ словомъ вдругъ сердито стукнула концомъ своего бѣлаго пальца въ красивый лобъ Романа Прокофьича.

Художникъ не пошевелился.

— Вы правы; вы безконечно правы, — шепталъ онъ потерянно: — но вы повѣрьте... это все не такъ... вы судите по жалобамъ однимъ...

— Оставьте! перестаньте, monsieur Истоминъ, говорить такіе вздоры! Какія жалобы? Кто слышалъ эти жалобы отъ порядочной женщины? Куда? кому можетъ честная женщина жаловаться за оскорбленіе ея чувства?.. Для этихъ жалобъ земля еще слишкомъ тверда, а небо слишкомъ высоко.

Вышла минутная пауза. Ида покачала головою и, какъ будто что-то вспомнивъ, заговорила:

— А васъ любили въ самомъ дѣлѣ, и еще какъ преданно, какъ жарко васъ любили! Не Маня, можетъ-быть, одна, а и другія, серьезнѣе и опытнѣе Мани женщины въ своемъ пріятномъ заблужденіи васъ принимали за человѣка, съ которымъ женщинѣ пріятно было бы идти объ руку...

Ида Ивановна на минуту остановилась; Истоминъ смотрѣлъ на нее, весь дрожа, млѣя и волнуясь.

— Но этого не можетъ быть! — прошепталъ онъ послѣ новой паузы, отодвигаясь со страхомъ на шагъ далѣе отъ Иды.

— Чего?

— Того, что̀ вы сказали.

— Отчего?—продолжала, спокойно глядя, дѣвушка.

— Нѣтъ; этого не можетъ быть!

Дѣвушка опять долго, безъ устали смотрѣла въ лицо художнику и, наконецъ, она его поняла и поблѣднѣла. Въ эту же терцію бѣлый червячокъ шевельнулся у нея надъ верхней губою.

— Что̀ дѣлаютъ изъ человѣка его дурныя страсти!— начала она, покачавъ головою. — И это вамъ не стыдно подумать то, что̀ вы подумали! О, Боже мой! простая дѣвушка, которая ни разу никому не объяснялась въ чувствахъ, которая и говорить-то объ нихъ не умѣетъ, и безъ всякаго труда, безъ всякаго особаго старанія, въ какое она васъ ставитъ теперь положеніе? Что̀ вы даете мнѣ читать по вашему лицу? Я такой страшной надписи никогда не читывала. Неужто вы подумали, что женщина, которая любила васъ окромя Мани,—я?.. И вы бы, Истоминъ, хотѣли этого? Возвысьтеся хоть разъ до правды передъ женщиной: вѣдь это правда?.. такъ?.. вы бъ этого хотѣли?

Истоминъ не зналъ, что̀ говорить и думать.

— Боже! Боже!.. ну, такъ ужъ далеко моя фантазія не уходила!—продолжала, не выдержавъ, Ида.—Польщу вамъ лишнею побѣдой, и вы со всею вашей силой, со всѣмъ своимъ талантомъ громкимъ, какъ пудель, ляжете вотъ здѣсь къ моимъ ногамъ и поползете куда вамъ прикажу!.. И все изъ-за чего? изъ-за того, чтобы взойти въ паѳосъ, потоки громкихъ фразъ пустить на сцену и обмануть еще одну своимъ минутнымъ увлеченіемъ... да?

— Не понимаю, зачѣмъ намъ говорить о томъ, чего не будетъ?

— О, да! о, да! мнѣ кажется, что этого не будетъ; вы это вѣрно угадали, — подхватила съ полной достоинства улыбкой Ида. — А вѣдь смотрите: я даже не красавица, Истоминъ, и что̀ изъ васъ я сдѣлала?.. Смѣшно подумать, право, что я, я, Ида Норкъ, теперь для васъ, должно быть, первая красавица на свѣтѣ? что я сильнѣй всѣхъ этихъ умницъ и красавицъ, которыя сдѣлали васъ такимъ, какъ вы теперь... обезоруженнымъ, несчастнымъ человѣкомъ, рабомъ своихъ страстей.

— Спасибо вамъ за эти горькія слова! Я не забуду ихъ, — покорно отвѣчалъ художникъ, протягивая дѣвушкѣ съ благодарностью обѣ руки.

Ида ему не подала ни одной своей руки и проговорила:

— Я не хотѣла васъ учить: вы сами напросились на урокъ. Запомните его; Богъ знаетъ, можетъ-быть, еще и пригодится.

— Ида Ивановна! честью клянусь вамъ, меня первый разъ въ жизни такъ унижаетъ женщина, и если бы эта женщина не была вы, я бы не снесъ этихъ оскорбленій.

— Гм!.. Что̀ же такое, однако, я для васъ, въ самомъ дѣлѣ?—проговорила она, сдвигая брови и поднимая голову.

Ида измѣнила позу и сказала, вздохнувъ:

— Ну, однако, довольно, monsieur Истоминъ, этой комедіи. Униженій передъ собою я не желаю видѣть ничьихъ, а вашихъ всѣхъ менѣе; взволнована же я, вѣроятно, не менѣе васъ. Въ двадцать четыре года выслушать, что̀ я отъ васъ выслушала, да еще такъ внезапно, и потомъ въ ту пору, когда семейная рана пахнетъ горячей кровью, согласитесь, этого нельзя перенесть безъ волненія. Я запишу этотъ день въ моей библіи; замѣтьте и вы его на томъ, что̀ у васъ есть завѣтнаго.

Лицо Иды вдругъ выразило глубокое негодованіе; она сдѣлала одинъ шагъ ближе къ Истомину и, глядя ему прямо въ лицо, заговорила:

— Забыто все! и мать моя, и бабушка, и Маня, и нашъ позоръ семейный—все позабыто! Все *молодость*,—передразнила она его съ презрѣніемъ.—По-вашему, на всѣ гадости молодость право имѣетъ. Ахъ, вы этакой молодой палачъ! Что̀ мать моя?.. что̀ ея за жизнь теперь?.. Вѣдь вы въ нашъ

тихій домъ взошли, какъ волкъ въ овчарню, вы нашъ палачъ? — Вы молоды, здоровы и думаете, что старость — это ужъ... дрова гнилыя, соръ, такая дрянь, которая и сожалѣнія даже ужъ не стоитъ?.. Какая почтенная у васъ натура? — Скажите мнѣ... Вамъ никогда не говорила ваша мать, что тотъ проклятъ, чья молодость положитъ лишнюю морщину на лбу у старости? — Нѣтъ — не сказала?.. Говорите же, вѣдь не сказала? — О, да! пускай ее за это Господь проститъ, но я... я, женщина, и я скорѣе васъ прощу, а ей... хотѣла бы простить, да не могу: столько доброты нѣтъ въ моемъ сердцѣ.

Ида сложила на груди руки, быстро сѣла въ стоявшее возлѣ нея кресло, посмотрѣла минуту въ окно и, снова взглянувъ въ лицо Истомину, продолжала:

— Не знаю, да, клянусь вамъ, истинно не знаю, кого могли вы увлекать когда-нибудь?—Дѣтей, подобныхъ Манѣ, или такихъ, которыхъ нечего и увлекать... а я!.. Да, впрочемъ, вѣдь за что-жъ бы для меня вамъ сдѣлать исключенье?—Ну, да! скорѣй, скорѣй теперь, Истоминъ, на колѣни! Вы будете прекрасны, я не устою передъ этимъ, и мы двойнымъ, нигдѣ, мнѣ кажется, еще неслыханнымъ стыдомъ, покроемъ нашу семью. Старуха выдержитъ: она молиться будетъ и снесетъ; не то, не выдержитъ—стара, туда ей и дорога... Ну, что-жъ вы стали? — руку! давайте руку на позоръ!

Истоминъ молча пряталъ глаза въ темный уголъ; на лбу его были крупныя капли пота и волосы вспутались, точно его кто растрепалъ.

— Вамъ поздно думать о любви,—начала, медленно приподнимаясь съ кресла, Ида...—Мы васъ простили, но за вами, какъ Авелева тѣнь за Каиномъ, пойдетъ повсюду тѣнь моей сестры. Каждый цвѣтокъ, которымъ она невинно радовалась; птичка, за которой она при васъ слѣдила по небу глазами, само небо, подъ которымъ мы ее лелѣяли для того, чтобы вы отняли ее у насъ—все это за нее заступится.

Истоминъ все слушалъ, все не двигался и не издавалъ ни звука.

— Я вамъ сказала минуту назадъ, что женщинамъ, къ несчастію, перебирать-то много некѣмъ, а вѣдь любить... кому же съ живою душою не хотѣлось любить. Но, m-r Истоминъ, есть женщины, для которыхъ лучше отказаться

отъ малѣйшей крупицы счастія, чѣмъ связать себя съ нулемъ, да еще... съ нулемъ, нарисованнымъ въ квадратѣ. Я одна изъ такихъ женщинъ.

Истоминъ сверкнулъ глазами и тотчасъ же усмирѣлъ снова. Но Ида тѣмъ же самымъ тономъ продолжала:

— Молитесь лучше, чтобы вашей матери прощенъ былъ тяжкій грѣхъ, что вамъ она не вбила вонъ туда въ тотъ лобъ и въ сердце хоть пару добрыхъ правилъ, что не внушила вамъ, что женщина вамъ не игрушка; и вотъ за то теперь, когда вамъ тридцать лѣтъ—вамъ дѣвушка читаетъ наставленія! А вы еще ее благодарите, что васъ она, какъ мальчика, бранитъ и учитъ! и вы не смѣете въ лицо глядѣть ей, и самому себѣ теперь вы гадки и противны.

— Больнѣй, больнѣй меня казните, Бога-ради!

— Ахъ, какъ это противно, если бы вы знали! Вы, Бога-ради, бросьте всѣ эти фразы и эту, вовсе мнѣ не нужную покорность, — отозвалась нетерпѣливо Ида. — Какая казнь! На что она кому-нибудь?.. Я къ вамъ пришла совсѣмъ за другимъ дѣломъ, а не казнить васъ: отвѣтьте мнѣ, если можете, искренно; жаль вамъ мою сестру или нѣтъ?

— Вы знаете впередъ, что я вамъ отвѣчу.

— Нѣтъ, не знаю. Я васъ спрашиваю поистинѣ, искренно... Я еще такихъ словъ отъ васъ не слыхала.

— Жаль.

— И способны вы хоть что-нибудь принесть ей въ жертву?

— Все! мой Боже! все, что вы прикажете!

— Ни жизни и ни чести я у васъ не попрошу. Садитесь и пишите, что я вамъ буду говорить.

Это было сказано тихо, но съ такою неотразимой внушительностью, съ какою развѣ могло соперничать только одно приказаніе королевы Маргариты, когда она велѣла встрѣченному лѣсному бродягѣ беречь своего королевскаго сына.

Такихъ приказаній нельзя не слушаться безъ разбора, даетъ ли ихъ мѣщанка, или королева и, дабы властительная способность отдавать такія приказанія не сдѣлалась банальной, природа отмѣчаетъ ею мѣщанокъ съ неменьшею строгостію, чѣмъ королевъ.

Истоминъ подошелъ къ столу и взялъ перо.

Ида стала у него за стуломъ и глядѣла черезъ плечо въ бумагу.

— Пишите, — начала она твердо: — «Милостивый государь, Фридрихъ Фридриховичъ!»

— Это къ Шульцу? — спросилъ Истоминъ, какъ смирный ребенокъ, пораженный величиною урока, спрашиваетъ: «это всю страницу выучить?»

— «Милостивый государь, Фридрихъ Фридриховичъ!» — продолжала Ида.

Художникъ написалъ.

Дѣвушка продолжала далѣе:

— «Я искренно раскаиваюсь во всемъ, что̀ дало вамъ поводъ вызвать меня на дуэль. Я считаю себя передъ вами виноватымъ и прошу у васъ прощенія»...

Истоминъ остановился и, не поднимая головы, закусилъ зубами перо.

— «И прошу у васъ прощенія», — повторила, постоявъ съ секунду, Ида.

— *И прошу у васъ прощенія!* — выговорила она, еще настойчивѣе и слегка толкнувъ Истомина концами пальцевъ въ плечо.

Художникъ вздохнулъ и четко написалъ: «прошу у васъ прощенія».

— «И даю мое честное слово, — продолжала, стоя въ томъ же положеніи, дѣвушка: — что мое присутствіе болѣе не нарушитъ спокойствія того лица, за которое вы благородно потребовали меня къ отвѣту: я завтра же уѣзжаю изъ Петербурга и надолго».

— Позвольте мнѣ послѣднее слово замѣнить другимъ?

— Какимъ?

— Я желаю написать: «навсегда».

— Напишите, — сказала, подумавъ, Ида, и когда Истоминъ подписалъ, какъ принято, свое письмо, она тихо засыпала золотистымъ пескомъ исписанный листокъ, тщательно согнула его ногтемъ и положила подъ корсажъ своего строгаго платья.

— Проводите меня до двери—я боюсь вашей собаки.

Истоминъ ударилъ ногою своего водолаза и пошелъ немного сзади Иды.

— Прощайте,—сказала она ему у двери.

Онъ ей молча поклонился.

— Послушайте! — позвала Ида снова, когда Истоминъ

только-что повернулъ за нею ключъ и еще не успѣлъ отойти отъ двери.

Художникъ отперъ.

— Въ несчастіи трудно владѣть собою и быть справедливымъ:—я много сегодня сказала вамъ,—начала, сдвинувъ брови, Ида. — Я недовольна этимъ; я васъ обидѣла болѣе, чѣмъ имѣла права.

Истоминъ опять отвѣчалъ молчаливымъ поклономъ.

— Да,—заключила дѣвушка.—Я это чувствую, и я вернулась сказать вамъ, что и васъ мнѣ тоже жаль искренно.

Ида протянула Истомину руку.

— Прощайте,—добавила она тихо, отвѣтивъ на его пожатіе, и снова вышла за двери.

Романъ Прокофьичъ сдержалъ обѣщаніе, данное Идѣ: онъ уѣхалъ на другой же день, оставивъ всѣ свои дѣла въ совершенномъ безпорядкѣ. Недѣли черезъ три я получилъ отъ него вѣжливое письмо съ просьбою выслать ему нѣкоторыя его вещи въ Тифлисъ, а остальныя продать и съ квартирою распорядиться по моему усмотрѣнію.

Въ своемъ письмѣ Истоминъ, между прочими строками дѣлового характера, лаконически извѣщалъ, что намѣренъ изучать природу Кавказа, а тамъ, можетъ-быть, проѣдетъ посмотрѣть на берега Сыръ-Дарьи.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Прошелъ годъ, другой — о Романѣ Прокофьичѣ не было ни слуха, ни духа. Ни о самомъ о немъ не приходило никакихъ извѣстій, ни работъ его не показывалось въ свѣтѣ, и великія ожиданія, которыя онъ когда-то посѣялъ, рухнули и забылись, какъ забылись многія большія ожиданія, рано возбужденныя и рано убитыя многими подобными ему людьми. Норки жили попрежнему; Шульцъ тоже. Онъ очень долго носился съ извинительной запиской Истомина и даже держался слегка дуэлистомъ, но, наконецъ, и это надоѣло, и это забылось.

Маня Норкъ жила совсѣмъ невидная и неслышная; но черная тоска не переставала грызть ее. Мѣста, стѣны, люди—все видимо тяготило ее. Пользуясь своей безграничной свободой въ домѣ, она часто уходила ко мнѣ и просиживала у меня цѣлые дни, часто не сказавъ мнѣ ни одного слова. Иногда, впрочемъ, мы бесѣдовали, даже ва-

рили себѣ шоколадъ и даже смѣивались, но никогда не говорили о прошломъ. Чего ждала она и чего ей сколько-нибудь хотѣлось отъ жизни—она никогда не высказывала. Разъ только помню, когда, въ какомъ-то разговорѣ, я спросилъ ее, какая доля, по ея мнѣнію, самая лучшая?—она отвѣчала, что доля пушкинской Татьяны.

— А почему?—спросилъ я.

— До потому, что для бѣдной Тани всѣ были жребіи равны,—отвѣчала Маничка.

Такъ это все и жилось тихо. Во все это время насъ потревожило немножко только одно газетное извѣстіе о какой-то битвѣ русскихъ съ черкесами въ ущельяхъ Дарьяла. Романическая была исторія! Писали, какая была ночь, какъ вечеръ быстро смѣнялся тьмою, какъ осторожно наши шли обрывомъ взорванной скалы, какъ сшиблись въ свалкѣ и крикнулъ женскій голосъ въ толпѣ чеченцевъ; что на этотъ голосъ изъ-за нашихъ рядовъ вынесся находившійся въ экспедиціи художникъ И., что онъ рубилъ своихъ за басурманку, съ которой былъ знакомъ и считался кунакомъ ея брату, и что храбрѣйшій офицеръ, какой-то N или Z, ему въ лицо стрѣлялъ въ упоръ, и если не убилъ его, такъ какъ пистолетъ случайно былъ лишь съ холостымъ зарядомъ, то вѣрно ослѣпилъ. «Измѣнникъ обнялъ дѣвушку и вмѣстѣ съ ней скатился въ бездну», было написано въ газетѣ.

Всѣ мы были увѣрены, что это дѣянія Истомина, и тщательно скрывали это отъ Мани. Такъ это, наконецъ, и прошло. Маня попрежнему жила очень тихо и словно ни о чемъ не заботилась; словно она все свое совершила и теперь ей все равно; и вдругъ, такъ мѣсяца за полтора передъ лондонской всемірной выставкой, она совершенно неожиданно говоритъ мнѣ:

— А знаете, я съ Фридрихомъ Фридриховичемъ поѣду за границу.

Смотрю, и въ самомъ дѣлѣ у Норковъ идутъ сборы — снаряжаютъ Маню за границу.

— Чего это ѣдетъ Маня?—спросилъ я разъ Иду.

— А отчего-жъ,—отвѣчаетъ,—ей и не ѣхать?

Старуха-мать ходитъ съ наплаканными глазами, но тоже собираетъ Маню бодро.

— А вы,—спрашиваю Маню,—какъ ѣдете:—радуетесь или нѣтъ?

— Мнѣ все равно, — отвѣтила Маня спокойно и равнодушно.

Ида знала пружины, выдвигавшія Маню изъ Россіи за границу, но молчала какъ рыба, и только когда Маня сѣла въ вагонъ, а Фридрихъ Фридриховичъ съ дорожною сумкою черезъ плечо цѣловалъ руку плачущей старухи Норкъ, Ида Ивановна посмотрѣла на него долгимъ, внимательнымъ взглядомъ и, закусивъ губы, съ злостью постучала кулакомъ по своей ладони.

Черезъ три мѣсяца Шульцъ писалъ изъ одного маленькаго шверинскаго городка, что Маня выходитъ замужъ за одного машиннаго фабриканта родомъ изъ Сарепты, но имѣющаго въ мѣстечкѣ Плау свою наслѣдственную фабрику. Маня тоже писала объ этомъ матери и сестрѣ и просила у старухи благословенія.

— Вотъ нашъ милый Фрицынька какія штучки устраиваетъ!—сказала съ ироніей Ида, сообщивъ мнѣ извѣстіе о Маниномъ замужествѣ.— Смылъ семейное пятно съ громкаго имени Норковъ.

— Вы, Ида Ивановна, противъ этого замужества?

— Я ни противъ чего; но, помилуйте, что-жъ это можетъ быть за замужество, да еще для такой восторженной и чуткой женщины, какъ Маня? И представьте себѣ, что еще когда онъ только заговаривалъ, чтобы повезть ее *поразвлечься*, я тогда очень хорошо предвидѣла и знала все, чѣмъ это окончится.

— Чего-жъ вы ей объ этомъ не сказали?

— Я говорила ей—она отвѣтила: «мнѣ все равно»—и только.

— Дай Богъ одно теперь,—сказалъ я:—чтобъ это, по крайней мѣрѣ, было что-нибудь похожее на человѣка.

— На ангела, на ангела, а не на человѣка!—перебила Ида.—Человѣка мало, чтобы спасти ее. Ангелъ! Ангелъ!—продолжала она, качая головою:—слети же, въ самомъ дѣлѣ, разъ еще на землю; вселися въ душу мужа, съ которымъ связана жена, достойная любви, безъ силъ любить его любовью, и покажи, что̀ можетъ сдѣлать этотъ бѣдный человѣкъ, когда въ его душѣ живутъ не демоны страстей, а ты, святой посланникъ неба?

Фридрихъ Шульцъ возвратился совсѣмъ отцомъ и покровителемъ. Маня, по его мнѣнію, была пристроена прекрасно

и сама она два или три раза писала мнѣ и Идѣ Ивановнѣ, что ей хорошо. «Одно только,—добавляла она въ послѣднемъ письмѣ:—тяжкія бываютъ минуты тоски, хочется куда-то бѣжать, куда-то броситься, и все представляется, будто я еще сдѣлаю что-то ужасное».

Въ семьѣ Норковъ такъ всѣ чего-то и ожидали: ни Ида матери, ни мать Идѣ не говорили другъ другу ни про какія опасенія; но стоило только кому-нибудь при нихъ невзначай произнесть слово: *новость*, какъ обѣ эти женщины блѣднѣли и окаменѣвали.

Софья Карловна старѣлась не по днямъ, а по часамъ и даже часто совсѣмъ теряла память.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Переносимся на короткое время далеко въ Германію, въ Сѣверный Шверингъ.

Маленькое мѣстечко Плау, расположенное при небольшомъ Плаускомъ озерцѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Доберана, все на праздничной ногѣ. Изъ высокой дымовой трубы на фабрикѣ изобрѣтателя качающихся паровыхъ цилиндровъ, доктора Альбана, уже третій день не вылетаетъ ни одной струи дыма; пронзительный фабричный свистокъ не раздается въ покрытыхъ снѣгомъ поляхъ; на дворѣ сумерки; густая, сѣрая луна изъ-за горы поднимается тускло; деревья индивѣютъ. Вездѣ тихо-тихохонько: только въ полумракѣ на синемъ льду озера катается на конькахъ нѣсколько прозябшихъ мальчиковъ; на улицѣ играютъ и вертятся на спинахъ двѣ собаки; но Плау не спитъ и не скучаетъ; въ окошкахъ его чистенькихъ красныхъ домиковъ вездѣ горятъ веселые огоньки и суетливо бѣгаютъ мелкія тѣни; нѣсколько тѣней чешутся передъ маленькими гамбургскими зеркальцами; двѣ тѣни шнуруютъ на себѣ корсеты, одна даже пудритъ себѣ шею. Все это прекрасно видно съ улицы, на которой играютъ двѣ собаки, но собаки не обращаютъ на это никакого вниманія и продолжаютъ вертѣться въ мягкомъ снѣжку. Сегодня вечеромъ все Плау намѣрено танцовать у преемника Альбана, доктора Риперта. Каждый годъ докторъ Рипертъ даетъ своимъ сосѣдямъ очень веселый вечеръ на третій день Рождества Христова, и у него въ этотъ день обыкновенно бываетъ все Плау; но нынче дѣло не ограничится одними плаузсцами. Нынче

у Риперта будетъ на вечерѣ Беръ—человѣкъ, который цѣлый вѣкъ сидитъ дома, самъ дѣлаетъ сбрую на своихъ лошадей; ложится спать въ девять часовъ непремѣнно и, къ довершенію всѣхъ своихъ чудачествъ, женился на русской, которая, однако, заболѣла, захирѣла и, говорятъ, непремѣнно скоро умретъ съ тоски. Это очень романическая пара: одни говорятъ, что Беръ увезъ свою жену; другіе разсказываютъ, что онъ купилъ ее. «Гдѣ же купить?—Помилуйте, гдѣ же въ нашъ вѣкъ въ Европѣ продаются на рынкахъ женщины?» Этакъ говорили скептики, но какъ скептиковъ даже и въ Германіи меньше, чѣмъ легковѣрныхъ, то легковѣрные ихъ перекричали и рѣшили на томъ, что «а вотъ же купилъ!» Но это ужъ были старые споры; теперь говорилось только о томъ, что эта жена умираетъ у Бера, въ его волчьей норѣ, и что онъ, наконецъ, рѣшился вывезти ее, дать ей вздохнуть другимъ воздухомъ, показать ее людямъ. По правдѣ сказать, все Плау-таки ужъ давно скандализировано тѣмъ, что Беръ никому не покажетъ своей жены. Многіе считали это сначала просто пренебреженіемъ, и успокоились только, когда распространился слухъ, что Беръ сектантъ, гернгутеръ, пуританинъ и даже ханжа, но тѣмъ интереснѣе, что этотъ пуританинъ сегодня явится въ обществѣ, да еще вдобавокъ съ своей русской женою. А что они сегодня явятся, въ этомъ не было никакого сомнѣнія, потому что madame Рипертъ сама объявила объ этомъ дочерямъ кузнеца Шмидта и столяра Тишлера, и совѣтовала имъ пріодѣться. Весь вопросъ теперь могъ заключаться только въ томъ, будетъ ли сектантъ Беръ играть въ карты, и позволитъ ли онъ танцовать своей женѣ. Всѣ, впрочемъ, довольно единогласно рѣшали, что играть въ карты онъ, можетъ-быть, и станетъ, но танцовать своей женѣ ужъ навѣрно не позволитъ.

— Я, мама, ни за что не пошла бы замужъ за гернгутера,—говорила матери одна изъ дочерей Тишлера.

— И я тоже,—подкрѣпила другая.

Съ этими словами онѣ вошли на высокое каменное крыльцо фабриканта.

То же самое говорили черезъ нѣсколько минутъ, всходя на это крыльцо, дочери Шмидта.

Самъ Рипертъ, встрѣчая гостей въ углу своей залы и подавая имъ толстую руку съ огромнымъ перстнемъ на

большомъ пальцѣ, тоже выразился кому-то о гернгутерѣ очень неблагопріятно.

Тѣмъ не менѣе, конечно, при каждомъ шумѣ въ сѣняхъ, всѣ съ любопытствомъ взглядывали на двери.

Изчужа можно было предполагать, что сюда на этотъ вечеръ ожидаютъ прибытія Кармакдойля, или Рауля Синей-Бороды.

Наконецъ они пріѣхали. Это была поистинѣ очень торжественная минута. Они пріѣхали на какихъ-то оригинальныхъ саняхъ, запряженныхъ парою очень хорошихъ лошадей, но безъ кучера. За ними прибѣжала огромная лохматая собака, которую Беръ назвалъ Рапò, и велѣлъ ей лечь въ сани. Собака въ ту же секунду вспрыгнула въ сани, свернулась кольцомъ и легла на указанное ей мѣсто. Беръ вынулъ изъ кармана шубы тонкій ременный чембуръ и собственноручно привязалъ своихъ лошадей къ столбу. Конюхъ Риперта предложилъ-было Беру свои услуги поберечь его лошадей, но тотъ коротко отвѣчалъ: «не надо». Всѣ, которымъ послѣ захотѣлось поближе полюбоваться заиндивѣвшей парой прекрасныхъ коней Бера, согласились, что беречь ихъ, дѣйствительно, было *не надо*. Каждому человѣку, подходившему къ лошадямъ ближе пяти шаговъ, Рапò давалъ самый энергическій знакъ удалиться. Покрытый морозною пылью, лохматый песъ былъ такъ же немногорѣчивъ, какъ его хозяинъ; онъ не рычалъ при приближеніи человѣка, а молча вскакивалъ во весь свой ростъ въ саняхъ, становился передними лапами на край и выжидалъ перваго движенія подходившаго, чтобы броситься ему на грудь и перекусить горло.

Слесарный подмастерье, который, бывши одинъ разъ въ Лейпцигѣ, купилъ себѣ тамъ на ярмаркѣ иллюстрированный экземпляръ «Парижскихъ тайнъ» и зналъ эту книгу какъ свои пять пальцевъ, увѣрялъ, что точно такая собака была у Дагобера.

— Можетъ-быть, это она и есть?—заподозрилъ Риперповъ конюхъ.

— Я много не прозакладую, что это не она,—отвѣчалъ слесарный ученикъ.

Все дышало какою-то таинственностью около саней страннаго гостя: словно все это прилетѣло изъ какого-то другого міра. Лошади сильныя, крѣпкія какъ львы, вороныя и всѣ

покрытыя серебряною пылью инея, насѣвшаго на ихъ потную шерсть, стоятъ тихо какъ вкопанныя; только сѣдыя, заиндивѣвшія гривы ихъ топорщатся на морозѣ и изъ ноздрей у нихъ вылетаютъ четыре дымныя трубы, широко расходящіяся и исчезающія высоко въ тихомъ, морозномъ воздухѣ; сани съ непомѣрно высокимъ переднимъ щиткомъ похожи на адскую колесницу; страшный песъ напоминаетъ Цербера: когда онъ встаетъ, луна бросаетъ на него тѣнь такъ странно, что у него вдругъ являются три головы: одна смотритъ на поле, съ котораго пріѣхали всѣ эти странныя существа, другая—на лошадей, а третья—на тѣхъ, кто на нее смотритъ.

— Я бы, однако, далъ довольно дорого, чтобы посмотрѣть на самого этого гостя,—проговорилъ слесарный ученикъ, который, впрочемъ, потому и былъ такъ щедръ, что никому не могъ ничего дать.

— Это можно сдѣлать очень просто,—отвѣчалъ безкорыстный конюхъ:—ты становись мнѣ на плеча, смотри въ окно и хорошенько мнѣ все разсказывай.

Они такъ и сдѣлали: конюхъ сталъ, опершись руками въ стѣну, а слесарный ученикъ взмостился ему на плечи, но морозъ очень густо разрисовалъ окна своими узорами, и слесарный ученикъ увидѣлъ на стеклахъ только однѣ сѣдыя полосы, расходящіяся рогами.

— Я тебѣ скажу,—говорилъ съ конюховыхъ плечъ слесарный ученикъ:—что я вижу что-то странное: я вижу какъ будто огонь и какіе-то ледяные рога...

И онъ не договорилъ, что онъ видѣлъ, еще болѣе потому, что въ это время стоявшаго противъ дверей конюха кто-то ужасно сильно толкнулъ кулакомъ въ брюхо и откинулъ его отъ стѣны на цѣлую сажень. Слесарный ученикъ отлетѣлъ еще далѣе и вдобавокъ чрезвычайно несчастливо воткнулся головою въ кучу снѣга, которую онъ самъ же и собралъ, чтобы слѣпить здѣсь бѣлаго великана, у котораго въ пустой головѣ будетъ горѣть фонарь, когда станутъ расходиться по домамъ гости.

Всѣ эти обстоятельства чрезвычайно странно вязались съ какою-то святочной чертовщиной, потому что когда слесарный ученикъ и конюхъ встали, у нихъ у обоихъ звенѣло въ ушахъ, и они оба были поражены самымъ неожиданнымъ зрѣлищемъ: по бѣлому, ярко освѣщенному луною

полю дѣйствительно несся чортъ. Онъ скакалъ на той самой парѣ серебряныхъ лошадей, извергавшихъ изъ ноздрей цѣлые клубы дыма; у самого чорта лежало что-то бѣлое на колѣняхъ, а сзади его, трепля во всю мочь лохматыми ушами, неслась Дагоберова собака. И когда этотъ адскій поѣздъ быстро выѣхалъ въ мелкій перелѣсокъ, что̀ начинался тотчасъ за полемъ, то и чортъ, и собака разомъ закричали что-то неимовѣрно страшное. На этомъ разстояніи и слесарному ученику, и конюху стало видно, что паръ, которымъ дышали лошади, болѣе не поднимался вверхъ расходящимися трубами, а ложился конямъ на спины, и у нихъ на спинахъ выросли громадныя крылья, на которыхъ они, чортъ ихъ знаетъ куда и дѣлись, вмѣстѣ съ санями, собакой и хозяиномъ.

— Я никогда въ жизнь мою не ожидала такого скандала,—говорила, возвращаясь домой, кузнечиха Шмидтъ столярихѣ Тишлеръ.

— И я тоже,—отвѣчала Тишлеръ.

Старшая дѣвица Шмидтъ хотѣла-было блеснуть образованностью и выговорила «et moi aussi», но мать ее тотчасъ остановила и сказала:

— Я полагаю, что ты еще, слава Богу, не русская барышня, чтобы не умѣть говорить на своемъ языкѣ.

Мѣстечко было до того взволновано этимъ событіемъ, что нѣсколько человѣкъ тотчасъ же отправились къ старому кузнецу Шмидту, разбудили его и заставили ударить три раза молотомъ по пустой наковальнѣ, и только тогда успокоились, когда онъ это исполнилъ, такъ какъ извѣстно, что эти три удара совершенно прочно заклепываютъ цѣпь сорвавшагося чорта сѣверо-германскихъ прибрежій.

А вотъ въ чемъ, въ самомъ дѣлѣ, состояло происшествіе: все это надѣлала русская барышня.

Madame Шмидтъ такъ разсказывала дома эту исторію мужниному молотобойцу, которому она имѣла привычку приносить ужинъ въ особую каморку, когда уже все ея честное семейство засыпало, или мнилось заснувшимъ.

— Они вошли,—говорила madame Шмидтъ.—Онъ такой, какъ этотъ чортъ, который нарисованъ въ Кёльнѣ. Ты, можетъ-быть, не видалъ его, но это все равно: онъ маленькій, голова огромная, но волосы всѣ вверхъ. Я полагаю, что онъ непремѣнно долженъ ѣсть сырое мясо, потому что

у него глаза совершенно красные, какъ у пьянаго француза. Фи, я терпѣть не могу французовъ.

Молотобоецъ сдѣлалъ «гм!» такъ, какъ будто онъ въ этомъ сомнѣвался, и залилъ свое сомнѣніе новою кружкой пива.

— А Робертъ Вейсъ, который долженъ быть играть на фортепьяно, ушелъ къ совѣтнику... и онъ былъ пьянъ къ тому же! Да! я и забыла тебѣ сказать, что съ нимъ пріѣхала его жена. Она изъ Россіи. Она очень недурна, но я думаю, что она глупа, и послѣ я въ этомъ еще больше убѣдилась. У нея, во-первыхъ, нѣтъ роста: она совершенно карманная женщина. Я думаю, это вовсе не должно нравиться мужчинамъ. Хотя у мужчинъ бываютъ и очень дикіе вкусы, но большой ростъ все-таки очень важное дѣло.

Madame Шмидтъ была очень большого роста.

Молотобоецъ опять только промычалъ: «гм!»

— Да; я увѣрена, что это не можетъ нравиться, — продолжала madame Шмидтъ.—Это, конечно, строго соображая, не ея вина, и я ее за это строго не осуждаю, но все-таки такая женщина не можетъ дѣйствовать на человѣка.

Молотобоецъ опять промычалъ: «гм!»

— Да все это еще простительно, если смотрѣть на вещи снисходительнымъ глазомъ: она вѣдь могла быть богата, а Беръ, говорятъ, слишкомъ жаденъ и самъ своихъ лошадей кормитъ. Я этому вѣрю, потому что на свѣтѣ есть всякіе скареды. Но Вейса не было, а онъ долженъ былъ играть на фортепьяно. Позвали этого русскаго Ивана, что лѣпитъ формы, и тутъ-то началась потѣха. Ты знаешь, какъ онъ страшенъ? Онъ вѣдь очень страшенъ, ну, и потому ему надѣли на глаза зеленый зонтикъ. Все равно, онъ такъ распорядился, что ему глаза теперь почти не нужны.

— Ненужны,—произнесъ молотобоецъ.

— Онъ сѣлъ за фортепьяно съ зонтикомъ. Но онъ ужасно сбивалъ всѣхъ съ такта. Я никогда не слыхала, чтобы хотя одинъ музыкантъ игралъ такъ дурно. Это, конечно, очень понятно, потому что у него почти все равно, что нѣтъ глазъ, но дѣвицы были этимъ очень недовольны, всѣ молодые люди хотѣли его выслать... Штромъ сказалъ: я дамъ одинъ пять талеровъ тому, кто намъ сыграетъ хорошо хоть два вальса. А она... нужно тебѣ сказать, что она не танцовала, она сѣла за фортепьяно и сыграла пять вальсовъ. Я не могу сказать, чтобы она играла хуже madame

Рипертъ. Но ты себѣ представь, что она зато сдѣлала! Ей, конечно, никто не смѣлъ заплатить пять талеровъ; но она сама взяла его шляпу и пошла у всѣхъ собирать для него деньги! Со мною, разумѣется, не было ничего, ни одного зильбергроша, потому что я шла, вѣдь, надѣюсь, въ семейный домъ, а не на складчину. Но мужчины наклали ей очень много денегъ. Ея мужъ положилъ десять талеровъ, а Рипертъ, ты знаешь, какой онъ пустой человѣкъ: онъ изъ тщеславія положилъ двѣнадцать. Это, я говорю, не правда ли, такъ очень бы хорошо играть, за такую цѣну? — Это и ты бы, я думаю, радъ былъ играть, если бы умѣлъ.

— Да, если бъ умѣлъ,—отвѣчалъ молотобоецъ.

— Вотъ тутъ зато и вышла цѣлая исторія. Да; я ужасно жалѣла, что я взяла туда съ собою моихъ дочерей. Тутъ онъ снялъ свой зонтикъ; она закричала: «ахъ!» онъ закричалъ: «ахъ!» онъ затрясся и задрожалъ: она упала, а этотъ ея звѣрь, этотъ проклятый гернгутеръ-то, взялъ ее въ охапку, выбѣжалъ съ нею на дворъ и уѣхалъ. Каково, я тебя спрашиваю, это перенесть madame Рипертъ?—Согласенъ ли ты, что вѣдь это можно назвать происшествіемъ?

Молотобоецъ отвѣчалъ, что онъ съ этимъ согласенъ.

Madame Рипертъ это, дѣйствительно, не могло понравиться, тѣмъ болѣе, что черезъ три дня послѣ этого она имѣла удовольствіе прочитать всю эту исторію въ игривомъ фельетонѣ трехгрошовой доберанской газеты. Да и скажите, пожалуйста, что здѣсь такого, что могло бы понравиться-то уважающей себя женщинѣ?

Вотъ другое бы дѣло, если бы въ доберанской газетѣ напечатали другую исторію, которая случилась гораздо послѣ; но про эту исторію доберанская газета рѣшительно не могла узнать ничего, потому что исторія эта разыгралась въ очень темномъ яру и съ такою скромностью, съ которою обыкновенно совершаются, дѣйствительно, любопытныя исторіи. Въ этомъ узкомъ темномъ яру, заваленномъ тучами бѣлаго снѣга, стояло странное красное зданіе: это были двѣ круглыя, красныя башни, соединенныя узкимъ корпусомъ, внизу котораго помѣщались кузня и точильня, а вверху жилье въ пять высокихъ готическихъ оконъ. Зданіе это въ Плау называли «норою Бера».

У этого страннаго зданія, въ темномъ яру, куда никогда не западалъ блѣдный лучъ мѣсяца, остановилась пара по-

сребренныхъ лошадей, ускакавшихъ на третій день Рождества изъ Плау.

Изъ саней тогда вышелъ тотъ же приземистый Кармакдойль и вынесъ на рукахъ молодую женщину, которую онъ всю дорогу согрѣвалъ въ своей шубѣ. Онъ внесъ ее въ длинную комнату, занимавшую половину коридора, который соединялъ двѣ башни; свистнулъ своей собакѣ, повернулъ въ дверяхъ ключъ и вышелъ.

Въ этомъ, конечно, нѣтъ еще никакой исторіи. Исторія началась собственно на другой день, или на другую ночь, а разыгралась еще гораздо позже.

На слѣдующую ночь, въ лѣвой башнѣ, подъ которой приходилась конюшня, гдѣ стояла пара лошадей, изумлявшихъ своею силой и крѣпостью плаузскаго Рипертова конюшаго, въ круглой, красной комнатѣ горѣлъ яркій-преяркій огонь. Этотъ огонь пылалъ въ простомъ кирпичномъ каминѣ, куда сразу была завалена цѣлая куча колючаго, сухого вереска.

Передъ каминомъ, въ углу, на старомъ креслѣ, обитомъ зеленымъ сафьяномъ, помѣщался Беръ, одѣтый въ толстыя лосинныя штаны и желтую, стеганную нанковую куртку. У ногъ его, на шкурѣ дикой козы, лежалъ, протянувъ морду къ камину, Рапо.

Если бы я искалъ случая *подражать,* въ чемъ меня такъ любезно упрекаютъ добрые друзья мои, то я могъ бы списать здѣсь цѣлую картину у Вальтеръ-Скотта, и она пришлась бы сюда какъ нельзя болѣе кстати. На дворѣ была морозная ночь; полная луна ярко свѣтила на полѣ и серебрила окраины яра, но не заходила въ ущелье, гдѣ было бы темно совсѣмъ, какъ въ преисподней, если бы изъ кузнечнаго горна, передъ которымъ правили насѣки, не сыпались красныя искры, да не падалъ красный пукъ свѣта изъ окна хозяйской круглой комнаты. Въ дальнемъ углу оврага выли въ перекличку два волка, вторя другъ другу раздирающимъ унисономъ.

Беръ сидѣлъ въ своей комнатѣ одинъ, съ своей лохматой собакой. Каминный огонь прихотливо озарялъ его круглую нору. Это была комната въ башнѣ, увѣшанная кругомъ машинными ремнями, конскими хомутами, тяжелыми насѣками, буравами и винтовыми досками. Въ одномъ заворотѣ у камина стоялъ тяжелый токарный станокъ съ подвижнымъ

патрономъ, въ другомъ—желѣзная кровать хозяина, покрытая верблюжьимъ войлокомъ. Противъ нея помѣщался старинный комодъ съ львиными лапами вмѣсто ручекъ. На стѣнѣ висѣли два двуствольныя ружья, а между ними огромное черное распятіе. Болѣе здѣсь не было никакой мебели и никакихъ украшеній.

Робертъ Беръ сидѣлъ здѣсь, не выходя никуда съ самаго утра. Правда, онъ вышелъ на минуту передъ вечеромъ, но только для того, чтобы велѣть принесть себѣ новую кучу вереска, но тотчасъ же возвратился сюда снова, сѣлъ противъ камина, и съ тѣхъ поръ уже не вставалъ съ этого мѣста. Онъ даже не зашелъ сегодня къ своимъ лошадямъ, чѣмъ онъ не манкировалъ ни одинъ день въ жизни.

Теперь онъ сидѣлъ тихо, какъ человѣкъ, одержавшій побѣду надъ внутреннимъ врагомъ своимъ и довольный своею силою. Передъ нимъ лежала большая книга, развернутая на страницѣ, на которой широкою красною чертою была подчеркнута строка: *«И не восхотѣ обличити ю, но восхотѣ тай пустити ю»*.

Робертъ Беръ былъ очень разстроенъ: окружающіе его замѣтили это потому, что онъ былъ необыкновенно тихъ и бездѣйствовалъ, тогда какъ обыкновенно у него въ крови всегда бѣгала ртуть и руки его постоянно искали работы.

Ровно въ одиннадцать часовъ въ толстую дубовую дверь круглой комнаты раздались три легкіе удара. Услыхавъ этотъ стукъ, Беръ вскочилъ съ своего кресла, сжалъ руки у сердца и, пошевеливъ беззвучно устами передъ распятіемъ, произнесъ: «войдите», и снова опустился на прежнее мѣсто.

Изъ темнаго пространства, открытаго повернувшеюся на широкихъ петляхъ дубовою дверью, тихо вступила бѣлая, женская фигура.

Беръ не шевелился и не поднималъ кверху опущенной головы; уста его продолжали тихо двигаться, а глаза смотрѣли на сложенныя на колѣняхъ руки.

Женщина подошла къ самому креслу Бера, сбросила съ головы бѣлую шерстяную косынку, которою была покрыта, и, опершись локтемъ на карнизъ камина, проговорила:

— Я пришла въ тотъ часъ, когда вы хотѣли.

Эта женщина была Марія Норкъ.

— Да,—отвѣчалъ Беръ:—да, я хотѣлъ этого, Марія: намъ надо поговорить съ тобой.

— Я васъ слушаю.

— Ты сядь, разговоръ можетъ выйти немного продолжителенъ.

Онъ подвинулъ ей ногою простой деревянный табуретъ, и опять сказалъ:

— Сядь! сядь!

Она сѣла. Вышла очень продолжительная пауза. Положеніе молодой женщины становилось невыносимымъ: она была слаба, волновалась ожиданіями предстоящаго тяжелаго объясненія, и ее томилъ неосвобождающій ее ни на минуту проницательный взглядъ мужа.

Наконецъ, Беръ положилъ конецъ этой сценѣ. Онъ переложилъ лѣвую ногу на правую и проговорилъ:

— Итакъ, Марія!..

Женщина вскинула голову и, замѣтя новую склонность Бера къ паузамъ, спокойно сказала:

— Я васъ слушаю.

— Вы... его любите?

— Нѣтъ.

Беръ подумалъ и произнесъ тихо:

— Будемъ откровенны.

— Я вамъ отвѣчала откровенно,—подтвердила Маня.

Беръ остановился и стоялъ, то широко раскрывая вѣки, то быстро захлопывая ихъ и затѣмъ опять снова раскрывая.

Маня молчала, собирая рукою подъ подбородкомъ свои разбѣжавшіеся пепельные волосы.

— Вы, однако, любили его?—пробурчалъ Беръ.

— Онъ сдѣлалъ все, чтобы убить мою любовь къ себѣ.

— Какъ?

Маня задумалась, покраснѣла и, глядя въ огонь, добавила:

— Если ему удалось унизить меня одинъ разъ — я не хочу увеличивать мое униженіе разсказомъ, какъ я его понимаю. Вамъ не нужно это. Я не знаю, чего вы отъ меня хотите? Теперь глухая ночь; здѣсь всѣ вамъ преданы, начиная отъ этой собаки, которая готова загрызть меня, если вы ей это прикажете; отойдя кругомъ на пять миль, нѣтъ человѣческаго жилья; зима, морозъ, въ оврагѣ волки воютъ; вы — всѣ говорятъ, вы страшный человѣкъ; никто еще ни жалости и ни улыбки не видывалъ на вашемъ лицѣ ужасномъ; и вы меня силою позвали на допросъ!.. Вы здѣсь меня хотите пытать? Пытать меня будете?—Пытайте.

Маня сдѣлала два шага къ мужу и прошептала:

— Я не боюсь васъ!

— Вы слышали? — повторила она громко: — *я не боюсь васъ*. Поймите вы, что тѣмъ, кому, какъ мнѣ, жизнь—бремя, тѣмъ смерть есть высшее блаженство.

— Вамъ въ тягость жизнь?

— Да; она давно, давно мнѣ въ тягость.

— Вамъ скучно здѣсь?

— Вездѣ равно мнѣ скучно.

— Вы ненавидите меня?

— Я не люблю васъ.

— Не ненавидите, однако?

— Не ненавижу, потому что я не умѣю ненавидѣть. Я не люблю васъ; мнѣ съ вами тяжело. Я думаю и этого довольно, чтобъ для меня всю цѣну потеряла жизнь.

— А если бъ Богъ вамъ далъ теперь другую жизнь?

— Я бъ не взяла ея.

— Зачѣмъ?

— Затѣмъ, что для меня жить снова невозможно.

— Я вѣрю вамъ, Марія: и я бы тоже не взялъ.

Беръ снова опустилъ голову и снова задумался.

— Прощайте,—проговорила тихо, вставая, Маня.

— Нѣтъ, пару словъ еще.

Маня снова безропотно сѣла.

— Такъ жить нельзя,—произнесъ Беръ.

— Живу, какъ Богъ судилъ мнѣ,—отвѣчала, нервно подергиваясь, Маня.

— Да, какъ Богъ судилъ... Нѣтъ, Богъ такъ не судилъ, Марія. Богъ не судилъ намъ жить съ тобой.

Беръ взялъ жену сильно за руку и еще разъ добавилъ:

— Богъ не судилъ.

Маня спокойно смотрѣла на мужа.

— Но Богомъ суждена для всѣхъ одна дорога: то путь къ добру, Марія. Нѣтъ положенія, въ которомъ человѣкъ не нашелъ бы средства быть полезнымъ людямъ и помириться съ собою.

Беръ приподнялся и сказалъ:

— Марія!—жить одному, это... несносно тяжело!

— Да, это тяжело.

— А жить вдвоемъ и врознь желать и порознь думать, и вѣчно тяготить другъ друга, и понимать все это—еще тяжеле.

— Еще тяжеле.

— Да, еще тяжеле. Одинъ въ постелю ляжетъ, поплачетъ въ изголовье, въ своемъ углѣ онъ перемучитъ горе свое, помолится, когда душа молитвы хочетъ, и станетъ выше, чище—приблизится страданьемъ къ Богу.

— Да.

— Союзъ хорошъ, когда одна душа святитъ собой другую.

— Что жъ вы хотите?

— Ты не раба моя. Я далъ обѣтъ тебя сберечь, и я хочу его исполнить.—Разстанемся.

Маня, молча, изумленными глазами смотрѣла на мужа.

— Съ тобою въ провожатые я не пошлю своихъ упрековъ. Я виноватъ во всемъ. Я думалъ, если я соединю въ одномъ гнѣздѣ два горя, два духа, у которыхъ общаго такъ мало съ міромъ, какъ у меня и у тебя, то, наконецъ, они поймутъ другъ друга. Я, сирота сѣдой, хотѣлъ ожить, глядясь въ твои глаза, Марія, и какъ уродъ обезобразилъ зеркало своимъ лицомъ. Не ожилъ я, и ты завяла. Ты хочешь умереть, а я хочу тебѣ дать жизнь. Хотѣла бы ты жить съ нимъ? съ тѣмъ... кого любила?

— Нѣтъ,—спокойно отвѣчала Маня.

— Скажи еще! скажи еще мнѣ это слово!

— Я не хочу съ нимъ жить,—твердо повторила Маня.

— О, не ходи! о, не ходи къ нему!

Беръ тихо взялъ ее за руку и, показывая другою черезъ окно вдаль, заговорилъ:

— Тамъ, за этою норой, Марія, цѣлый міръ, прекрасный, вѣчно юный; тамъ — поля, лѣса, тамъ рѣки свѣжія, моря и люди, тамъ Божій міръ: я весь его тебѣ открою. Кто ошибается любя, тотъ всѣхъ способнѣй съ любовью жъ поправлять самъ ошибки. Пусть мертвые хоронятъ своихъ мертвецовъ, но ты жива и жива душа моя, чтобы оставить тебя. Тебѣ не за что умереть. Великая тоска въ душѣ живой должна создать великія рѣшенья. Марія! посмотри, одна ли ты несчастлива! Есть много женщинъ, которымъ, какъ тебѣ, не посчастливилось у очага, и онѣ не изнывали духомъ, онѣ себѣ у Бога не просили смерти, и не пошли путемъ лукавымъ. Онѣ создали себѣ мѣсто въ жизни; создали его себѣ у каждаго очага, гдѣ вечеромъ тихо горитъ обрубокъ дерева, передъ которымъ садится мать съ дѣтьми. Да, Марія, когда семейство садится у этого камина и мать,

читая добрую книгу дѣтямъ, ведетъ ихъ дѣтскую фантазію по дѣвственнымъ лѣсамъ, черезъ моря, черезъ горы, къ тѣмъ жалкимъ дикарямъ, которые не знаютъ ни милосердія, ни правды, тогда надъ яркимъ огонькомъ вверху — я это самъ видалъ въ былые годы — тогда является дѣтямъ старушка, въ фланелевомъ капотѣ, съ портфеликомъ у пояса и съ суковатой палочкой въ рукѣ. Она киваетъ бѣленькимъ чепцомъ оттудова ребенку; онъ улыбается, глядитъ ей въ добрые глаза и засыпаетъ, слушая ея разсказы. И въ этотъ часъ, когда такое множество людей найти не могутъ во снѣ покоя, невинное дитя спитъ сладкимъ сномъ и въ этомъ снѣ еще все улыбается ей, доброй бабушкѣ, старушкѣ Идѣ Пфейферъ. Иди за ней, иди, моя Марія! Тебѣ со мной тоска. Изломанную жизнь клеить напрасно. Тоска, какъ цѣпкая трава, перерастаетъ дерево, вокругъ котораго она завьется. Иди, у ногъ твоихъ прошу тебя, иди!—Беръ сталъ передъ женою на колѣни и добавилъ: — Она, старушка Пфейферъ, зоветъ тебя себѣ на смѣну; она тебѣ примѣръ и подкрѣпленье. Не отдавай напрасно жизнь тоскѣ и возврати талантъ сребра, который далъ тебѣ Создатель.

— А ты?—спросила тихо Маня.

— Ты говоришь мнѣ *ты*. Благодарю тебя.

Беръ поднялся съ колѣнъ и продолжалъ:

— Я... я, какъ жилъ встарь, опять попрежнему я буду жить въ моей норѣ и буду счастливъ.

Онъ сморгнулъ слезу и добавилъ:

— Повѣрь, мнѣ будетъ хорошо; да, хорошо. Блаженнѣйшимъ покоемъ полна будетъ моя душа, когда я вспомню о тебѣ. Тогда я стану здѣсь, вотъ здѣсь, передъ крестомъ, вздохну... быть-можетъ, и заплачу, но тогда я буду *мужъ*, Марія. Я буду гордый мужъ, мужъ силы, мужъ, который не сгубилъ, а спасъ тебя и поднялъ. Марія! — продолжалъ Беръ, складывая у подбородка кисти своихъ рукъ:—чтобы соблюсти душу твою, я долженъ потерять ее для себя: иначе нѣтъ спасенія. Впередъ, мой другъ! Впередъ, моя Марія! Тоска... мечтанія безплодныя... конецъ, конецъ всему! На бой, на жизнь! Иди, иди, молю тебя, моя Марія!

Маня тихо подала обѣ свои прозрачныя ручки мужу, положила ему на грудь свою голову и прошептала:

— Иду! Благослови меня, мой Робертъ.

Беръ взялъ ея руки и молча подвелъ ее къ окну: луна

совсѣмъ садилась; синее небо подергивалось легкою предразсвѣтною пеленою и на горизонтѣ одиноко мерцала одна утренняя звѣзда.

— Она одна,—произнесъ съ чувствомъ Беръ:—и мы съ тобою будемъ одиноки. Всегда вотъ въ этотъ часъ, когда она одна становится на небѣ, я стану на нее смотрѣть и думать о тебѣ; проснись и ты тогда и тоже погляди, и трое одинокихъ будемъ вмѣстѣ.

— Мы будемъ вмѣстѣ,—прошептала Маня.

— И будемъ чисты, какъ она.

— Да, да, мы будемъ чисты.

— О, да, мы будемъ чисты; мы счастливы, и всегда, вспоминая другъ друга, будемъ смотрѣть вверхъ. Душа! несись, лети отсюда туда и встрѣться тамъ съ сіяющей душой моей Маріи! — проговорилъ онъ въ молитвенномъ созерцаніи и тотчасъ же добавилъ: — теперь иди, засни, Господь съ тобой, моя малютка!

Онъ проводилъ жену съ свѣчою до двери, потомъ вернулся и простоялъ у окна, пока утренняя звѣзда совершенно исчезла въ заревѣ разсвѣта.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Весной распускались сирени, въ поляхъ пробивалася травка; очистилось море отъ льда и тихо у пристани колыхался большой пароходъ, готовый на завтра отчалить далеко.

Въ нижнемъ этажѣ Беровой башни, какъ разъ подъ той комнатой, гдѣ происходила послѣдняя сцена, въ такой же точно по размѣрамъ, но въ совершенно иной по убранству комнатѣ, густыя сумерки застаютъ двухъ человѣкъ. Молодая женщина, одѣтая въ сѣрой фланелевой блузѣ, сидитъ въ старинномъ креслѣ спиной къ открытому окну, въ которое лѣзутъ густыя вѣтки сирени. Голова этой женщины покоится на слабой бѣленькой ручкѣ, опирающейся локтемъ о столъ и поддерживающей ладонью подбородокъ; большіе голубые глаза ея устремлены въ уголъ, гдѣ въ густой темнотѣ помѣщается мужская фигура, нѣсколько согбенная и опустившаяся. Мужчина сидитъ на креслѣ съ опущенной головой и руками, схваченными у себя на колѣняхъ.

Это Маня и Истоминъ, котораго Беръ привезъ сегодня, чтобы онъ могъ проститься завтра съ Маней.

Самого хозяина здѣсь не было: онъ съ кривымъ ножомъ

въ рукахъ стоялъ надъ грушевымъ прививкомъ, въ углу своего сада, и съ такою пристальностью смотрѣлъ на солнце, что у него безпрестанно моргали его красные глаза и безпрестанно на нихъ набѣгали слезы. Губы его шептали молитву, читанную тоже въ саду. «Отче! — шепталъ онъ:—не о всемъ мірѣ молю, но о ней, которую Ты далъ мнѣ, молю Тебя: спаси ее во имя Твое!»

Въ комнатѣ была тишина невозмутимая.

«И это онъ!» думала Маня, глядя на человѣка, котораго она нѣкогда такъ страстно любила. Онъ самъ, тотъ чудный человѣкъ, который блисталъ такою гордой смѣлостью и вызывалъ ея младенческую душу на подвигъ Анны Денманъ. Какъ это было?—И передъ нею Петербургъ, ея совершеннолѣтіе, и бабушка съ своею канарейкой, и Верманъ съ домикомъ, и Ида... Воспоминанія обрываются при этомъ дорогомъ имени, и вдругъ выступаетъ какая-то дѣйствительность, но такая смутная, точно ѣдешь въ крытомъ возкѣ по скрипучему первозимку — и кажется, что ѣдешь, и кажется, что и не ѣдешь, а будто какъ живешь какой-то сладкою забытой жизнью; и все жужжитъ, жужжитъ по снѣгу гладкій полозъ подъ ушами и все, и взадъ и впередъ, дергается разомъ—и память, и дорога.

Имя Иды, какъ толчокъ, какъ пень заѣзженный, какъ придорожная могила толкнула на минуту Маню, и снова поползли предъ ней воспоминанья. Ей вспомнилось, какъ снилась ей тогда всю ночь до утра Анна Денманъ, и эта Анна Денманъ была сама она; а онъ былъ Джономъ Флаксманомъ. Иль просто онъ былъ — онъ, а она — она, и они шли вмѣстѣ. *Она* была *нужна* ему. О, сколько было въ этомъ счастья! О, какъ ей хотѣлось жить, какъ все свѣтло ей свѣтилось въ будущемъ. Они пришли въ деревню; былъ вечеръ тихій; собака лаяла; имъ дали уголъ на сѣновалѣ: онъ спитъ, она его лелѣетъ... Потомъ ей видится Италія, Неаполь, Римъ и Палестина — она вездѣ ему нужна, она ему подруга; у ней нѣтъ для себя желаній, она вся жертва, и это жизнь ея—та жизнь, какой она хотѣла. И наконецъ, ужъ онъ великъ и говоритъ ей: «Ты, Анна Денманъ, ты была нужна мнѣ; ты была моею силой; у насъ теперь есть домъ, и въ палисадникѣ окна, и съ нами будетъ мать твоя, и бабушка, и Ида...» И вновь толчокъ: проснулась бабушка и встала съ кресла, и пошла, и прокляла ее... Все это ни-

чего: проклятымъ Богъ не внемлетъ. Тяжелый сонъ опять: садъ въ домѣ сумасшедшихъ; душа больна, и надъ всѣмъ преобладаетъ одно желаньо—спрятаться, бѣжать куда-то, а изъ кустовъ ей все киваетъ кто-то и говоритъ ей: «Здравствуй! здравствуй!» Опять жужжатъ полозья: и вдругъ дребезжитъ разбитое окно; стукъ, трескъ, хаосъ кругомъ, и снова Ида. И все идетъ, какое-то все ближе уясненіе, и, наконецъ, разражается огненной молоньею и гремитъ небесной грозою. Все стало ясно... Такъ вотъ на что! *Такъ вотъ на что̀ была нужна я!* восклицаетъ Маня, и передъ нею прямо *онъ* и *завтра*. *Завтра* — это день, которому довлѣетъ его міръ и его злоба. *Онъ* — это кумиръ, поверженный и втоптанный судьбой въ болото. Но съ восходомъ на востокъ этого *завтра, ему* никто ужъ не подастъ руки и не поможетъ. Маня задумалась и заплакала, и сквозь застлавшія взглядъ ея слезы увидала, что среди комнаты, на сѣромъ фонѣ сумеречнаго свѣта, какъ братья обнялись и какъ враги боролись два ангела: одинъ съ кудрями свѣтлыми и легкими, какъ горный ленъ, другой— съ лицомъ, напоминающимъ египетскихъ красавицъ. Они боролись долго, и свѣтлый ангелъ одолѣлъ.

Маня встала и подошла къ Истомину.

— Не думайте, что вы виновны такъ, какъ вамъ сказала Ида, и это я прошу васъ сдѣлать въ память обо мнѣ. Да, я прошу васъ: въ память обо мнѣ.

Проговоривъ эти слова, Маня подала руку художнику; онъ сжалъ ее.

— Мы поднимались на ходули; мы въ самомъ дѣлѣ ниже, чѣмъ мы думали.

Истоминъ выронилъ молча ея руку.

«О,—думалъ онъ:—какъ ты растешь! какъ ты растешь, моя одинокая Денманъ!»

Маня продолжала:

— Мы упали. Не будемъ плакать и простимъ другъ другу все прошлое передъ разлукой.

Истоминъ не удержался и зарыдалъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Не надо слезъ — не надо ихъ, не надо. Миръ прошлому. — Я ѣду съ миромъ въ сердцѣ, не возмущайте тишины, которая теперь въ душѣ моей. Не думайте, что вы несчастливѣй другихъ: здѣсь всѣ несчастны, и вы,

и я, и *онъ*... Онъ, можетъ-быть, несчастнѣй всѣхъ, и онъ всѣхъ меньше насъ достоинъ своего несчастія.

Маня нѣжно положила ручку на плечо Истомина и сказала съ болью:

— Онъ все свое горе отъ меня спряталъ; не дайте жъ никому превзойти васъ въ послѣднемъ великодушіи ко мнѣ!

Слѣпой художникъ утихъ.

— Я хотѣла вамъ сказать слово «миръ» — это все, что я могу сдѣлать. Онъ разгадалъ это, и привезъ васъ. Благодарю, что вы пріѣхали.—Теперь все кончено.

Маня коснулась своей рукою головы Истомина и проговорила:

— Забвенье прошлому; моей душѣ покой... а вамъ... моя слеза и вѣчное благословеніе.

Маня сама тихо заплакала, прислонясь къ стѣнѣ своею головкой.

— Аминь,—произнесъ, стоя въ саду и глядя внутрь комнаты въ окно, гернгутеръ.

— Аминь, аминь, — повторили въ одно и то же время Маня и художникъ.

Сѣрое утро, взошедшее за этой ночью, освѣтило несшуюся по дорогѣ отъ норы Бера рессорную таратайку, запряженную парою знакомыхъ намъ вороныхъ коней. Лошадьми, по обыкновенію, правилъ Беръ; рядомъ съ нимъ сидѣла его жена; сзади ихъ, на особомъ сидѣньи, помѣщался художникъ.

Они ѣхали шибко и въ седьмомъ часу утра остановились у пристани, гдѣ величаво качался собравшійся въ далекую экспедицію паровой корабль.

— Накрапываетъ дождь—путь добрый будетъ,—проговорилъ, высаживая жену, молчавшій во всю дорогу Беръ.

— О чемъ же мы съ тобой попросимъ одинъ другого передъ разлукой? — спросилъ Беръ, держа въ своихъ рукахъ женины руки.

Маня молча взглянула на Истомина. Беръ отвѣтилъ ей крѣпкимъ пожатіемъ.

— А когда пройдутъ... многіе, многіе годы...—заговорилъ онъ и остановился.

— Тогда я возвращусь къ тебѣ,—договорила Маня.

— Чтобы мой старый слухъ могъ упиваться гармоніей твоихъ бесѣдъ про безпредѣльный міръ, который ты увидишь.

— Про миръ души моей, который ты создалъ, — закончила, становясь ногою на трапъ, Маня.

Черезъ полчаса, дымящійся пароходъ, качаясь, отчаливалъ отъ берега и на его палубѣ стояла Маня. Она была во вчерашнемъ сѣромъ платьѣ, въ широкой шляпѣ и съ лакированной сумкой на груди.

На берегу стояли Беръ и рядомъ съ нимъ Истоминъ.

— Завидую и въ первый разъ завидую въ жизни, Марія, — заговорилъ, глядя на жену, Беръ. — Передъ тобою раскроется широкій океанъ чудесъ и, какъ ласточка глотаетъ на лету муху, проглотитъ онъ твою кручину.

Маня въ отвѣтъ молча перекрестила мужа.

Тяжелыя колеса парохода заколотили, вода запѣнилась, задрожали трубы, и пароходъ пошелъ скорымъ ходомъ въ море.

Не сводя глазъ съ жены, Беръ показалъ ей рукою по направленію, гдѣ предъ зарей стоитъ утренняя звѣзда; туда же поднялась и снова опустилась окутанная тяжелымъ, сѣрымъ рукавомъ слабая ручка Мани.

Пароходъ скрылся на горизонтѣ.

— Садитесь,—пригласилъ Истомина Беръ, подбирая свои вожжи.

Художникъ махнулъ рукой.

— На васъ лежитъ ея благословенье, и я хочу, чтобы оно принесло покой вамъ.

Истоминъ сѣлъ молча, какъ автоматъ, и они поѣхали, не говоря во всю дорогу другъ другу ни слова.

Они уже долго ѣхали. Утро оставалось такое же сырое и тихое; воздухъ не согрѣвался; по сѣрому небу не ползло ни облачка: все сѣрѣло какъ опрокинутая миска, и только съ сѣвера на югъ какъ будто тянулся какой-то крошечный обрывокъ мокрой бечевки; не было это облако, не была это и бечевка.

Истоминъ сидѣлъ, закрывши глаза и сложивъ на груди руки; Беръ молча правилъ лошадьми и заставлялъ себя спокойно слѣдить за тѣмъ, что̀ тамъ ползло по небу шнурочкомъ.

Истоминъ былъ въ тупомъ состояніи деревяннаго покоя. У несчастья есть свое милосердіе; какъ кредиторъ, чтобы вѣрнѣй получить по документу долгъ, оно даетъ душѣ передышку. Человѣкъ самъ этой передышки себѣ ни за что

не сумѣлъ бы устроить. И такая льгота дается намъ только при большомъ горѣ, при несчастіи, такъ сказать, вдосталь дошибающемъ человѣка. Извѣстно, что многіе изъ людей, приговоренныхъ къ смерти, въ послѣднюю ночь передъ казнью останавливались воспоминаніемъ на какомъ-нибудь мелкомъ, самомъ незначительномъ случаѣ своей юности; забывали за этимъ воспоминаньемъ ожидавшую ихъ плаху и какъ бы усыпали, не закрывая глазъ. Нѣкоторые изъ нихъ сами разсказывали, что они въ это время видѣли лучшіе сны. Умный и весьма наблюдательный священникъ, которому печальная обязанность поручаетъ послѣдніе дни осужденныхъ на-смерть, говорилъ пишущему эти строки, что ему никогда не случалось видѣть осужденнаго въ такомъ настроеніи, о какомъ Викторъ Гюго такъ неловко разсказываетъ въ своемъ «Dernier jour d'un condamné». Бываетъ въ большинствѣ случаевъ гораздо проще. Въ большинствѣ случаевъ, если несчастный не находится подъ вліяніемъ горячаго раскаянія, возвышающаго человѣка до игнорированія ожидающей его завтра смерти, и если онъ въ такомъ настроеніи не молится и не плачетъ, то чаще всего онъ впадаетъ въ какое-то мечтательное забытье. Онъ забудется и мечтаетъ: мечтаетъ совершенно нехотя, непроизвольно. Въ этомъ забытьѣ вдругъ, совершенно внезапно врывается въ мозгъ искра сознанія дѣйствительности, и человѣкъ вскакиваетъ, трепеща, какъ осиновый листъ. Въ эту минуту, онъ, вѣроятно, всадилъ бы себѣ въ бокъ ножъ съ стоическимъ спокойствіемъ Катона, или разбилъ бы себѣ голову объ уголъ мрачной амбразуры входа; но громъ цѣпей, ночная лампа и неподвижный часовой довершаютъ пробужденіе, и завтрашній мертвецъ тяжело опускается, иногда стонетъ и снова забывается. Одному изъ такихъ несчастныхъ постоянно грезилась мать: она подходила къ нему, развязывала воротъ у его рубашки и, крестя его лицо, шептала: «Христосъ съ тобой, усни спокойно; а завтра...» Осужденный ни одного раза не могъ дослушать, что обѣщала ему его мать «завтра». Это роковое слово будило его, и онъ, стоная, повторялъ: «Охъ, куда дѣться?.. куда дѣваться?» — и забывался снова, и снова мать выходила къ нему изъ черной стѣны каземата.

Есть что-то непостижимое въ этой, такъ сказать, физіологіи безвозвратнаго отчаянья.

Въ интересной, но надоѣдающей книжкѣ «Послѣдніе дни самоубійцъ», есть разсказъ про одну дѣвушку, которая, рѣшившись отравиться съ отчаянія отъ измѣны покинувшаго ее любовника, поднесла уже къ губамъ чашку съ ядомъ, какъ вдругъ вспомнила, что, грустя и тоскуя, она уже болѣе десяти ночей не ложилась въ постель. Въ это мгновеніе она почувствовала, что ей страшно хочется спать. Она тщательно спрятала чашку съ ядомъ, легла, выспалась и, вставъ на утро, съ свѣжею головою записала все это въ свой дневникъ и затѣмъ отравилась.

Трудно было предсказать, что разбудитъ теперь Истомина изъ того забытья, въ которое впалъ онъ. Изъ всей окружающей его дѣйствительности онъ только сознаетъ одно, что онъ ѣдетъ; но кто онъ такой и куда, и зачѣмъ онъ ѣдетъ—это ему совершенно непонятно. Что это за мѣстность, какой это день и какая пора дня?—тоже не уясняется. Но вотъ наконецъ-то... теперь все это ясно: это лѣтнія сумерки на степяхъ за Окою. Двѣ косматыя лошадки, меньше похожія на лошадей, чѣмъ на вылинявшихъ медвѣжатокъ, частятъ некованными ногами по мягкой грунтовой дорожкѣ. Мужичокъ, съ желтой мычкой на подбородкѣ и въ разноцвѣтномъ зипунишкѣ, сидитъ и трясется на грядкѣ, на которой бы воробью сидѣть впору. Ему скучно. И вотъ онъ мѣтится, мѣтится во что-то волжанковымъ кнутовищемъ. Увидѣвъ такіе прицѣлы изъ-подъ рогожной кибитки, покрытой сѣдою дорожною пылью, на четвереренькахъ выползаетъ черненькій мальчикъ: онъ тихо, затаивъ дыханіе, подвигается къ переднему вязку телѣги. Волжанковая палочка все надходитъ надъ свою цѣль: эта цѣль — зеленоголовый слѣпень — онъ блаженствуетъ, сидя у перекрестныхъ ремней шлеи и внизъ отъ этого мѣста по шерсти лохматой лошадки сочатся кровавыя капли. Но щелкнула волжанка, слѣпень кувырнулся, и въ то же мгновенье упалъ покатясь подъ телѣгу. Ребенокъ выкрикнулъ отъ радости, обнялъ ручонкой загорѣлую шею сосѣда-охотника и поцѣловалъ его въ его желтую мычку.

Засмѣялся мужикъ и еще кто-то назади засмѣялся, въ кибиткѣ. Смѣхъ это, или не смѣхъ? Что-то какъ будто не смѣхъ, или смѣхъ вмѣстѣ съ кашлемъ.

— У, да какъ же хорошо-то кругомъ, то-есть что жъ тутъ, по правдѣ говоря, и хорошаго-то? Ничего очень хо-

рошаго, да такъ легко, и ото всего, отъ чего вы хотите, вѣетъ этой тихою радостью русской картины. Вонъ на пыльной дорогѣ ряды перекрестныхъ колей отъ телѣжныхъ колесъ; по высокому рубежу куда-то спѣшитъ голубокъ, и безпрестанно путаясь ножками въ травкѣ, идетъ поневолѣ развалистымъ шагомъ: онъ тащитъ въ клювѣ вѣтку и высоко закидываетъ головку, чтобъ перекинуть свою ношу черезъ высокіе стебли; на вспаханномъ полѣ свищетъ овражекъ и, свистнувъ, тотчасъ же нырнетъ, а потомъ опять выскочитъ, сядетъ и утирается бархатной лапкой. Солнце садится за лѣсомъ, луга закрываются на ночь фатой изъ тумана; зеленыя сосны чернѣютъ, а тамъ гдѣ-нибудь замелькаютъ кресты и встаетъ за горой городочекъ, покрытый соломой — вотъ ты и вся здѣсь, родная картинка, а тепло на душѣ каждый разъ, когда про тебя вспомянется.

Полно и крѣпко забилось въ мятежной груди Истомина его русское сердце. Еще чутче становится онъ къ давно минувшему. Не только мысленное око его не знаетъ преградъ, его ухо тоже слышитъ Богъ-вѣсть когда и гдѣ раздавшіеся звуки.

— А вотъ это видишь,—говоритъ ему изъ-подъ пыльной кибитки слабый женскій голосъ, перебиваемый удушливымъ кашлемъ.—Гляди вонъ туда, вонъ высоко, высоко подъ небомъ—это летятъ журавли.

— На ночлегъ поспѣшаютъ,—досказываетъ мужичокъ съ желтой мычкой.

Сколько разсказовъ начинается объ этихъ журавляхъ! И какіе все хорошіе разсказы!—вѣкъ бы ихъ слушалъ, если бы только опять ихъ точно такъ же разсказывали. Рѣчь идетъ про порядки, какіе ведутъ эти птицы, про путину, которую каждый годъ они держатъ, про судъ, которымъ судятъ преступившихъ законы журавлинаго стада. Все это такъ живо, веселѣй чѣмъ у Брема. Какъ памятны всѣ впечатлѣнія первой попытки вздохнуть однимъ дыханьемъ съ природой.

Впечатлѣніе это вспоминается необыкновенно рѣдко, случайно, безъ всякой стати, какъ вспоминается иногда вещь давно-давно забытая когда-то на грязномъ столѣ почтовой станціи глохого, пустыннаго тракта.

Стрѣлою, пущенною съ тугой тетивы, несется въ памяти въ погоню за этой порою другая пора: пора сладкой юности, годы тревогъ и страстей. И недвижно стоитъ только

одинъ какой-то день; одинъ изъ множества дней, стоитъ онъ какъ звѣзда, уснувшая на зенитѣ. Стоитъ онъ долго— ничто его не сдвигаетъ, ничто не трогаетъ съ мѣста. Это и есть тотъ день, отъ котораго въ виду смерти станешь спрашивать: «куда дѣться?—куда дѣваться?» Этотъ день бѣлъ, какъ освѣщенное солнцемъ сжатое поле, на которомъ нѣтъ ни жнецовъ, ни птицъ, уносящихъ колосья; на которомъ не слышно ни дѣтскаго плача, ни жалобъ клянущей жизнь плоти, ни шелеста травы, ни стрекота букашекъ— все мертво и тихо, какъ въ опаленной долинѣ Іерихона, и надо всѣмъ этимъ безмолвіемъ шагаетъ, не касаясь ногами земли, одинъ ужасный призракъ. Этотъ призракъ измѣнчивъ, какъ хамелеонъ—это женщина, появляющаяся то съ головой, остриженной какъ у цезарскаго рекрута, то съ лакированной сумочкой на груди. Но и она исчезаетъ, и въ ту минуту, когда она уже исчезла, когда не стало ея, художникъ вернулся къ дѣйствительности. Онъ сдѣлалъ этотъ переходъ съ такою быстротою, что его трудно опредѣлить словомъ. Какъ быстро упалъ съ поднебесья внезапный крикъ пролетавшей журавлиной стаи, такъ быстро, услыхавъ этотъ крикъ, Истоминъ выпрыгнулъ изъ таратайки, сталъ на ноги и, прижавъ къ груди руки, затрясся отъ внутренняго зноба.

Онъ не видалъ этихъ птицъ, когда онѣ подлетали, тянувшись по небу шнурочкомъ: одинъ Беръ видѣлъ, какъ этотъ шнурокъ все подвигался въ треугольникъ, состоящій изъ отдѣльныхъ точекъ, расположенныхъ какъ камни, обозначающіе могилу араба, похороненнаго среди песчаной Сахары, и когда съ неба неожиданно упало это рѣзкое, заунывное турчанье, оно для Истомина было безъ сравненія страшнѣе слова матери, которое нарушало покой ночи осужденнаго на смерть.

«Ага! летятъ ужъ Ивиковы журавли... да, да, пора конецъ положить», подумалъ Истоминъ, стоя съ открытой головою внизу пролетающей стаи. А стая все летитъ и летитъ, и все сильнѣе и чаще падаютъ отъ нея къ низу гортанные звуки.

Этотъ крикъ имѣетъ въ себѣ что-то божественное и угнетающее. У кого есть сердечная рана, тотъ не выноситъ этого крика, онъ ее разбередитъ. Убійцы Ивика, закопаннаго въ лѣсу, вздрогнули при этихъ звукахъ и сами назвали дѣла свои.

— Простимтесь же лучше здѣсь, чѣмъ подъ вашей кровлей,—заговорилъ, проводя глазами журавлей, Истоминъ. — Не думайте, что я неблагодаренъ. Въ благодарность вамъ я буду отъ васъ очень далеко.

— А мой уголъ, хлѣбъ и мой привѣтъ...

— Да, да, пусть они подождутъ меня...

Истоминъ почесалъ себя ногтями по голой груди и добавилъ:

— Кончаю тѣмъ, что и за это не въ правѣ обижаться, но только вотъ что: Калину угла-то ничьего не нужно... Прощайте, Беръ—вамъ здѣсь направо, а я пойду налѣво—такимъ манеромъ, дастъ Господь, мы другъ другу на дорогѣ не встрѣтимся. Я, должно быть, ужъ не обойду вокругъ свѣта.

— Иди,—сказалъ ему спокойно Беръ.

— Аминь — иди, пока споткнешься на свою могилу,— отвѣтилъ ему Истоминъ и пошелъ влѣво.

Такъ они и разстались на этой дорогѣ.

Въ домѣ Норкъ обо всемъ этомъ не знали ничего, по попрежнему страшно боялись слова *новость*.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Наконецъ, чего долго ждешь, того иногда и дождешься: въ домъ Норковъ, какъ съ неба упала новость. Религіозное настроеніе Софьи Карловны такъ и приняло ее, какъ посланницу неба, несмотря на то, что новость эту принесъ имъ полицейскій городовой Васильевскаго Острова.

Городовой явился въ магазинъ Норковъ передъ вечеромъ пятаго мая и, заставъ здѣсь одну Иду, просилъ ее немедленно послать кого-нибудь въ мертвецкій покой, чтобы «обознать» принадлежащее имъ *тѣло*, найденное у берега въ Чекушахъ.

Ида поблѣднѣла. Вермана четвертый день не было дома, и новость эта могла касаться его непосредственно. Совсѣмъ перваго мая отправился на екатерингофское гулянье и не могъ встрѣтить серьезныхъ препятствій отыскаться на пятый день въ видѣ тѣла, принадлежащаго Норкамъ.

Въ это время Ида также припомнила странную исторію, которую на другой день екатерингофскаго гулянья принесла домой Авдотья, ходившая навѣстить свою сестру въ Чекуши.

Въ исторіи этой тоже былъ замѣшанъ чортъ, и притомъ замѣшанъ и скомпрометированъ гораздо сильнѣе, чѣмъ въ

святочной исторіи въ Плау, потому что здѣсь онъ напалъ на людей не легковѣрныхъ и остался въ дуракахъ.

Дѣло было вотъ въ чемъ: ночью съ перваго на второе мая очередные рыбаки на тоняхъ, при свѣтѣ бѣлой ночи, видѣли, какъ кто-то страшный и издали немножко схожій съ виду съ человѣкомъ, бросился съ екатерингофскаго берега въ Неву. Рыбаки, имѣющіе безпрестанныя столкновенія съ водяными чертями, служащими по ихъ департаменту, тотчасъ сообразили, что это ни болѣе, ни менѣе, какъ одна изъ тысячи продѣлокъ потѣшающагося надъ ними дьявола, ибо человѣку не могло придти въ голову попробовать переплыть Неву въ этомъ мѣстѣ. Пока рыбаки разсуждали, для какой бы цѣли было дьяволу морочить ихъ такимъ образомъ, дьяволъ началъ кряхтѣть. По водѣ далеко было слышно, какъ онъ тяжело отдувался. Рыбаки отвернулись къ гаваньской церкви и стали молиться. Огорченный обращеніемъ ихъ къ храму, дьяволъ, чтобъ увеличить соблазнъ, началъ кричать человѣческимъ голосомъ и звать себѣ на помощь. Рыбаки опустились въ лодкахъ на колѣни и стали молиться еще жарче. Какъ ни выбивался злой духъ изъ послѣднихъ силъ своихъ, чтобы подмануть христіанскую душу, это не удалось ему, потому что, хотя онъ и очень вѣрно подражалъ человѣческому голосу, но прежде чѣмъ рыбаки, глядя на гаваньскую церковь, окончили ограждающую ихъ молитву, на правомъ берегу въ Чекушахъ пропѣлъ полночный пѣтухъ, и съ его третьимъ крикомъ и видѣнье, и крики о помощи смолкли.

Третьяго дня чортъ этотъ благополучнѣйшимъ образомъ былъ выкинутъ волненьемъ на берегъ въ тѣхъ же Чекушахъ, и былъ отправленъ въ мертвецкій покой.

Быстро сочетавъ всѣ эти обстоятельства въ своемъ соображеніи, Ида, не говоря ни слова матери, бросилась къ зятю. Шульцъ тотчасъ поѣхалъ и, возвратясь черезъ полчаса, объявилъ, что утопленникъ, дѣйствительно, есть токарный подмастерье Германъ Верманъ, которому на гробъ и погребенье, онъ, Шульцъ, оставилъ двадцать пять рублей, прося знакомаго квартальнаго доставить ихъ пастору.

— А все-таки это страшная мерзопакость, — порѣшилъ Шульцъ. — На меня это такъ дурно подѣйствовало, что я просто самъ не свой теперь.

Шульцъ не любилъ первой бѣды, хотя она его обходила

и издалека. Изъ наблюденій собственныхъ, изъ старческихъ повѣрій, какъ и изъ словъ великаго Шекспира, Шульцъ состроилъ убѣжденіе, что радости рѣзвятся и порхаютъ въ одиночку, а «бѣды ходятъ толпами» и старушка-горе неспѣшлива.

Торопиться ей не нужно:
Посидѣть съ работой любитъ.

Тому, что «бѣды ходятъ толпами», вѣрили, впрочемъ, всѣ въ семействѣ Норковъ, и потому, когда Шульцъ объявилъ, что, по случаю этого несчастья, онъ откладываетъ на недѣлю переходъ въ свой новый домъ, отстроенный на Среднемъ проспектѣ, то и Берта Ивановна, и Софья Карловна это совершенно одобрили.

— Непріятно, чтобъ это осталось воспоминаніемъ въ одинъ и тотъ же день,—объявилъ Фридрихъ Фридриховичъ.

Берта Ивановна и m-me Норкъ обѣ сказали то же самое.

Ида, правда, ничего не сказала, но это, вѣроятно, потому, что ее вообще очень мало занималъ вопросъ о новомъ домѣ зятя. Она стояла возлѣ кресла матери, которая, разстроившись смертью Вермана, совсѣмъ распадалась, сидѣла опустя руки и квахтала, какъ изслабѣвшая на гнѣздѣ куриная насѣдка. Ида, молча, соединяла въ небольшомъ стеклянномъ пузыречкѣ немного выдохшуюся нашатырную соль съ какимъ-то безцвѣтнымъ спиртомъ. Она нюхала эту смѣсь, встряхивала ее, держа пузырекъ между большимъ и указательнымъ пальцемъ правой руки, смотрѣла на нее, прищуря одинъ глазъ на свѣтъ, и, снова понюхавъ, опять принималась трясти снова.

— Стоитъ ли, сестра, возиться съ этой дрянью?—проговорилъ ей Шульцъ.

Ида, не отвѣчая зятю, молча дала понюхать матери спирту и, опустивъ склянку въ карманъ, молча облокотилась на материно кресло.

— Сядь, Ида,—не люблю, когда ты стоишь надо мною,—произнесла старуха.

Ида сѣла на первый ближайшій стулъ. Старуха опять начала квахтать и водить по угламъ своими старческими глазами.

— Бѣдняжка,—заговорила она:—какая смерть-то страшная; теперь вода еще холодная... Мученье, бѣдненькій, какое перенесъ... а?—Идочка!—я говорю, мученье-то какое—правда?

— Это, мама, одна минута.

— Ну, какъ одна минута! Какъ, право, ты все, Идинька, какъ-то такъ легкомысленно все любишь говорить!—Кричалъ, вѣдь, онъ, говорятъ тебѣ, такъ это не минута.

Старуха опять закахтала и, закашлявшись отъ поднесеннаго ей снова Идой спирта, слегка толкнула ее по рукѣ и досадливо проговорила:

— Поди на мѣсто.

Старушка, съ самаго отъѣзда Мани, во всѣ тяжелыя минуты своей жизни, позволяла себѣ капризничать съ Идою, какъ иногда больной ребенокъ капризничаетъ съ нѣжно-любимой матерью, отталкивая ея руку, и потомъ молча притягивая ее къ себѣ снова поближе.

— Не старъ еще вѣдь былъ?—заговорила черезъ минуту Софья Карловна.—А, впрочемъ... пятьдесятъ четвертый годъ...

— Что вы говорить изволите, маменька? — отозвался Шульцъ, быстро подходя къ тещѣ отъ окна, у котораго стоялъ во время ея послѣднихъ словъ.

— Я говорю, что покойникъ-то... Онъ и въ тотъ годъ, когда Іоганусъ умеръ, онъ также закутился и переплылъ сюда съ гулянья... А нынче, вѣрно, старъ... Ужъ какъ хотите, а пятьдесятъ четвертый годъ... не молодость.

— Лѣта хорошія.

— Да; пожилъ.

— Другіе не живутъ и этого.

Старуха засмутилась и тихо сказала:

— Ну, да; кутятъ все.

Ида опустила глаза и пристально посмотрѣла на Шульца.

— Да, все кутилъ, кутилъ покойникъ. Я тридцать лѣтъ его ужъ знаю—все кутилъ.

— Неужто тридцать лѣтъ?

Ида опять пристальнѣе и еще съ бо́льшимъ удивленіемъ поглядѣла черезъ плечо на зятя и обернулась къ матери. Старушка провела рукою по рукѣ, какъ будто она зябла, и опять тихимъ голосомъ отвѣчала:

— Что-жъ, тридцать лѣтъ! Да, вонъ, твоей женѣ теперь ужъ двадцать девять. Года мои считать немудрено: я въ двадцать замужъ шла, а къ году родилася Бертинька, вотъ вамъ и всѣ пятьдесятъ... А умирать еще не хочется... пока не съѣзжу къ Манькѣ. Теперь я ужъ къ ней непремѣнно поѣду.

Шульцы ушли къ себѣ довольно поздно; старуха оставила Иду спать на диванѣ въ своей комнатѣ и нѣсколько разъ начинала безпокойно увѣрять ее, что кто-то стучится. Ида разъ пять вставала и ходила удостовѣряться.

— Намъ велика, Идинька, двоимъ эта квартира,—старалась старушка заговаривать съ дочерью, когда та возвращалась.

— Подумаемъ, мама, что́ сдѣлать, — отвѣчала, укладываясь, Ида.

— Непремѣнно надо подумать.

— Подумаемъ.

— И то... я, знаешь, Идочка, безъ шутокъ, право, въ нынѣшнемъ году поѣду къ Манѣ.

— Что-жъ, мама, и прекрасно; поѣзжайте съ Богомъ.

— А то тоска мнѣ.

— Да; поѣзжайте, душка, поѣзжайте.

Старуха заснула.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Прошла недѣля, Вермана схоронили; Шульцъ перебрался въ свой домъ, надъ воротами котораго, на мраморной бѣлой доскѣ, было изсѣчено имя владѣльца и сочиненный имъ для себя гербъ. Шульцъ нигдѣ не хлопоталъ объ утвержденіи ему герба и не затруднялся особенно его избраніемъ; онъ, какъ чисто русскій человѣкъ, зналъ, что «у насъ въ Разсеи изъ эстого просто» и изобразилъ себѣ муравейникъ съ извѣстной надписью голландскаго червонца: «Concordia res parvae crescunt».

У Фридриха Фридриховича переходъ въ свой домъ совершился со всякой торжественностью: утромъ у него былъ приходскій православный священникъ, пѣлъ въ залѣ молебенъ и служилъ водосвятіе; потомъ священникъ взялъ въ одну руку крестъ, а въ другую кропило, а Фридрихъ Фридриховичъ поднялъ новую суповую чашу съ освященною водою, и они вмѣстѣ обошли весь домъ, утверждая зданіе во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Въ залѣ, когда священникъ разоблачился и сталъ благословлять подходящую прислугу, Шульцъ тоже испросилъ и себѣ его благословенія и поцѣловалъ его руку. Священникъ сконфузился.

— Батюшка!—проговорилъ Шульцъ:—этого нашъ долгъ требуетъ.

Священникъ хотѣлъ что-то отвѣчать, но Шульцъ предупредилъ его.

— Оно, конечно, это ни для меня и ни для васъ не нужно; но это такъ долгъ повелѣваетъ.

Шульцъ пригнулся къ уху священника и, слегка кося глазами на суетившуюся прислугу, добавилъ:

— Для нихъ этотъ примѣръ совсѣмъ необходимый.

Священникъ согласился.

— Основательно, весьма основательно, Фридрихъ Фридриховичъ,—отвѣтилъ онъ Шульцу.

— Эхъ, батюшка, да зовите меня просто Ѳедоръ Ѳедорычемъ. Вѣдь это вшистко едно, що конь, що лошадь.

— Такъ-съ, Ѳедоръ Ѳедорычъ; такъ-съ.

— Ну, такъ этому и оставаться.

Два дня происходила переноска мебели и установка хозяйской квартиры, на третій день вечеромъ былъ назначенъ банкетъ. Берта Ивановна говорила, что банкетъ слѣдуетъ отложить, что она рѣшительно не можетъ такъ скоро устроиться, но Шульцъ пригналъ цѣлую роту мебельщиковъ, драпировщиковъ и офиціантовъ, и объявилъ, чтобъ завтра все непремѣнно было готово.

— Ужасно это, ей-Богу, у тебя все какъ вдругъ, Фрицъ,—говорила, слегка морщась, Берта Ивановна.

— А вы вотъ лучше смотрите-ка, Берта Ивановна, какъ бы мы съ вами въ новомъ домѣ не поссорились,—отвѣчалъ ей супругъ, собственноручно приколачивая съ обойщикомъ карнизы драпировокъ.

Берта Ивановна съ этихъ поръ не возражала уже мужу ни слова.

Банкетъ былъ громкій: были здѣсь всѣ, кого зналъ Шульцъ и кто зналъ Шульца: старый хозяинъ, новые жильцы собственнаго дома, пасторъ, русскій священникъ и три конторщика.

— У насъ, батюшка, по-христіански — съ чадами и домочадцы,—говорилъ Шульцъ, указывая священнику на жавшихся въ уголкѣ трехъ младшихъ конторщиковъ, вступающихъ завтра въ должность по новооткрываемой конторѣ.

Выпито было столько, что самъ Шульцъ, поправляя потный хохолъ, шепталъ:

— Однако, чортъ возьми, мы, что называется, кажется, засвѣтили!

Но, тѣмъ не менѣе, онъ, однако, опять насѣдалъ на гостей съ новой бутылкой и самыми убѣдительными доводами. Наливая стаканъ своему домовому доктору, который выразилъ опасеніе, не будетъ ли въ новомъ домѣ сыро?—Шульцъ говорилъ:

— Это, Альбертъ Вилибальдовичъ, сырость вытягиваетъ.

Докторъ отвѣчалъ:

— Но для здоровья — особенно у кого короткая шея... это...

Докторъ лукаво погрозилъ Шульцу съ улыбкою пальцемъ.

— Да; но иногда-то?—иногда?

— Ну, иногда... да, это конечно!—заканчивалъ докторъ.

Шульцъ напалъ на священника.

— Вино, батюшка, веселитъ сердце человѣка.

— До извѣстной мѣры-съ, Ѳедоръ Ѳедорычъ, до извѣстной мѣры,—отвѣчалъ священникъ.

— Ну, этого въ Писаніи не сказано.

— А, не сказано-съ, но тамъ зато сказано: «не упивайтесь, въ немъ-бо»...—Священникъ кашлянулъ и договорилъ:—«въ немъ-бо есть грѣхъ».

Шульцъ разрѣшалъ и это затрудненіе. Ударяя рукою по столу, онъ проговорилъ:

— Грѣхъ, батя, это пусть будетъ самъ собою, а вы вотъ это выкушайте.

Священникъ отвѣчалъ: «оно конечно», и хлебнувъ вина, досказалъ: «не всегда все въ своей совокупности».

На другой день послѣ этого пира, Шульцъ сидѣлъ вечеромъ у тещи, вдвоемъ съ старушкой въ ея комнатѣ, а Берта Ивановна съ сестрою въ магазинѣ. Авдотья стояла, пригорюнясь и подпершись рукой, въ коридорѣ: все было пасмурно и грустно.

— Я не знаю, право, Ида, что̀ тебѣ такое; изъ-за чего ты споришь?—говорила, глядя на сестру, Берта Ивановна.

— Я и не спорю,—отвѣчала Ида.

— Мама этого хочетъ.

— А, мама хочетъ, такъ та̀къ и будетъ, какъ она хочетъ.

— Но непріятно, что ты дѣлаешь это съ неудовольствіемъ.

— Это все равно, Берта.

— Ты, Ида, дѣлаешься какая-то холодная.

Ида промолчала.

— Я знаю, что Фридрихъ добрый родной и онъ васъ любитъ, и я люблю... не знаю, что тебѣ такое?

— Я вѣрю этому,—отвѣчала Ида.

— Но что-жъ тебѣ такое?—что тебѣ этого не хочется?

— Не хочется? — проговорила, вздохнувши, Ида. — Не хочется мнѣ, Берта, потому, что просторнѣй жить—тѣснѣе дружба.

— Мы не поссоримся.

— И не поссорившись не всегда хорошо бываетъ.

— Да отчего же, Ида?—отчего?—ты разскажи.

— Неровныя отношенія.

— Мой Господи, какъ будто мы чужіе! Вѣкъ цѣлый прожили, всякій день видались: вѣдь все равно и такъ какъ вмѣстѣ жили. Ты посуди, въ самомъ дѣлѣ, какая-жъ разница?

— Большая, Берта, разница. Жить порознь, хоть и всякій день видѣться, не то, что вмѣстѣ жить. Надо очень много деликатности, Берта, чтобы жить вмѣстѣ.

— Все у тебя, Ида, деликатность и деликатность; неужто ужъ и между родными все деликатность?

— Съ родными больше, чѣмъ съ чужими.

— Не понимаю; Фрицъ, кажется, очень деликатный человѣкъ. Развѣ я чѣмъ-нибудь — такъ ты вѣдь мнѣ прямо все говоришь.

— Вмѣстѣ живя, Берта, нужна постоянная деликатность; пойми ты — *постоянная:* кто не привыкъ къ этому — это очень нелегко, Берта. Твой мужъ—онъ, говоришь ты, добрый родной — я противъ этого не скажу ни слова; но онъ, напримѣръ, недавно говорилъ же при матери такъ, что она какъ будто стара ужъ.

— Господи, какія мелочи! Я Богъ знаетъ какъ увѣрена, что онъ и не замѣтилъ этого.

— Мелочи! Я знаю, что это мелочи, и что онъ даже не замѣтилъ, какъ это дѣйствуетъ на маму, и я на него за это ни крошечки не сержусь. Понимаешь, это *теперь* ровно ничего не значило, кромѣ неловкости.

— А если бы вы жили у насъ?

— А если бы мы жили у васъ и онъ бы сказалъ это, это была бы ужасная неделикатность. Ты не сердись—я не хочу непріятностей — я говорю тебѣ, что онъ сказалъ это безъ умысла, но мнѣ бы это показалось... могло бы пока-

заться... что мать моя въ тягость, что онъ рѣшилъ себѣ, что ей довольно жить; а это-бъ было для меня ужасно.

— Я скажу это Фридриху.

— Сдѣлай милость, скажи,—отвѣчала спокойно Ида.

Черезъ минуту m-me Норкъ позвала ее къ себѣ. Дѣвушка взошла и молча стала передъ матерью. Софья Карловна взяла ея руки и сказала:

— Ну, какъ же, Ида?

— Какъ вамъ угодно, мама.

— Ты согласись.

— Мама, я съ вами всегда согласна.

— Да, согласись. Гдѣ намъ теперь искать другого подмастерья? Я старая, ты дѣвушка... похлопотали... У насъ свое есть — мы въ тягость имъ не будемъ. — Дай ручку— согласись?

Ида подала матери руку.

— Ну, Берточка!—позвала старушка:—согласна—пусть будетъ такъ, какъ вы хотите съ мужемъ.

Берта Ивановна опустилась у материнскаго кресла на колѣни и, поцѣловавъ ея руку, осталась въ этомъ положеніи.

M-me Норкъ долго ласкала обѣихъ дочерей и проговорила сквозь слезы:

— Вотъ и Манька моя будетъ рада, дурка, какъ узнаетъ!— Ида! я говорю, Манька-то наша: она какъ узнаетъ, что мы вмѣстѣ живемъ—она обрадуется!

— Обрадуется, мама, — отвѣтила Ида, проводивъ Шульцевъ, уложила старушку въ постелю, а сама до самаго свѣта просидѣла у ея изголовья.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Фридрихъ Шульцъ самъ взялся разверстать и покончить всѣ дѣла тещи. На другой же день онъ явился къ тещѣ съ двумя старшими дѣтьми и съ большимъ листомъ картона, на которомъ въ собственной торговой конторѣ Фридриха Фридриховича было мастерски награвировано на русскомъ и на нѣмецкомъ языкѣ:

«*Токарное заведеніе, магазинъ и квартира передаются. Объ условіяхъ отнестись въ контору негоціанта Шульцъ et C-nie, В. О., собственный домъ на Среднемъ проспектѣ*».

Шульцъ собственноручно поставилъ этотъ картонъ на окно, у котораго обыкновенно помѣщалась за прилавкомъ

Ида. Далеко можно было читать эту вывѣску и имя негоціанта Шульца. Впрочемъ, вывѣска эта не принесла никакой пользы. Преемниковъ госпожѣ Поркъ Шульцъ отыскалъ безъ помощи вывѣски и самъ привелъ ихъ тещѣ. Заведеніе, квартира, готовый товаръ и мебель—все было продано разомъ. Старушка удержала за собою только одну голубую мебель, къ которой она привыкла.

— А вы, сестра, не оставите ли себѣ чего? — отозвался Шульцъ, надѣвая въ магазинѣ свою высокую негоціантскую шляпу.

— Нѣтъ, ничего,—отвѣчала Ида.

— Любимое что-нибудь?

— У меня вещей любимыхъ нѣтъ.

— Фортепьянъ, Идочка, фортепьянъ-то себѣ оставь,—послышался изъ залы голосъ Софьи Карловны.

— Нѣтъ, мамочка, не надо, — отвѣчала, встрепенувшись, Ида.

— Оставь, дружокъ,—убѣждала, выползая, старушка.

— Мама, да какая я музыкантша?

— Мнѣ когда-нибудь вечеркомъ поиграешь; я люблю, когда ты играешь.

— Я вамъ на сестриномъ поиграю, когда прикажете,— отвѣчала, разсмѣявшись, Ида.

— И то дѣло; есть у насъ и своя этакая балалайка,— зарѣшилъ Шульцъ, и отправился домой писать съ преемникомъ условіе.

Въ этотъ же день Шульцъ, обогнавъ меня на своемъ гнѣдомъ рысакѣ, остановился и разсказалъ, что онъ перевозитъ свояченицу и тещу «въ свою хату».

— Что жъ имъ тормошиться-то больше? — разсуждалъ онъ.—Слава Богу, есть своя изба, хоть плохенькая, да собственная, авось размѣстимся.—Онъ понизилъ голосъ до тона глубокой убѣдительности и заговорилъ: — я вѣдь еще какъ строилъ, такъ это предвидѣлъ, и тамъ, помилуйте, вы посмотрите вѣдь, какъ я для нихъ устроилъ. Вѣдь не чужія жъ, въ самомъ дѣлѣ, да, наконецъ, у нихъ вѣдь и свое есть.

— Есть развѣ?

— Ну да, еще бы! Тысячъ восемь теперь всего-то наберется. Случись вѣдь что съ старушкой, такъ вѣдь сестрѣ на всемъ готовомъ и процентовъ истратить некуда. Да, что:

я вамъ скажу, еще дай Богъ всякому такъ кончить, какъ они.—Шульцъ крикнулъ кучеру: пошелъ!

Вотъ ужъ и слово *кончить* примѣнилось къ тебѣ, дорогая Ида Ивановна! Вотъ и масштабъ для тебя составленъ и дорога твоя предусмотрѣна: непочатыми будутъ твои капиталы и процентовъ тебѣ не прожить.

«Еще и всякому такъ дай Богъ кончить!...»

О, Боже! Боже! какъ страшно и какъ холодно становится на свѣтѣ живому человѣку, когда сведешь его на этотъ узкій, узкій путь, размѣренный масштабомъ теплаго угла, кормленья и процентовъ! А еще и тебѣ скажутъ ближніе твои: благо тебѣ, искренній, зане многимъ на землѣ и еще того хуже; зане у многихъ на землѣ нѣтъ ни угла, ни крова, ни капитала въ карманѣ, ни капитала въ головѣ, ни капитала въ характерѣ и въ нравѣ. Но и чрезъ золото такъ точно льются слезы, какъ льются онѣ и черезъ лохмотья нищеты, и если поражаетъ насъ желтолицый голодъ и слеза униженія, текущая изъ глазъ людей нищихъ духомъ, то, можетъ-быть, мы нашли бы еще болѣе поражающаго, опустясь въ глубину могучихъ душъ, молчащихъ вѣчно, душъ, замкнутыхъ въ средѣ, гдѣ одинаковы почти на видъ и сила, и безсилье. Мы ужаснулись бы, глядя, какъ ихъ гнететъ и давитъ спящая ихъ собственная сила; какъ ихъ духъ, вѣдунъ нѣмой, томится и цѣлый вѣкъ все душитъ человѣка. Такъ Святогоръ, народный богатырь нашего эпоса, спитъ въ желѣзномъ гробѣ; накипаютъ на его гробѣ закрытомъ все новые обручи; душитъ-бьетъ Святогора его богатырскій духъ; хочетъ витязь кому-бъ силу сдать, не беретъ никто; и все крѣпче спирается могучій духъ, и все тяжче онъ томитъ витязя, а желѣзный гробъ все качается.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Я вечеромъ пошелъ къ Норкамъ. Ида Ивановна сидѣла одна въ магазинѣ, закрытая отъ окна неснятою еще вывѣскою о передачѣ магазина.

Подавая мнѣ руку, она только молча кивнула головою.

Я сѣлъ въ простѣнкѣ, такъ что если бы кто подошелъ съ улицы даже къ самому окну, то меня ему все-таки не было бы видно.

Ида сама разсказала мнѣ, что они прекращаютъ торговлю и переселяются къ Шульцу.

— Вы вѣдь, — спросилъ я: — нехотя это дѣлаете, Ида Ивановна?

Дѣвушка помолчала, сдвинула слегка брови и отвѣчала:

— Нѣтъ... все равно ужъ! Пусть будетъ какъ мамѣ угодно.

— Вашъ вѣкъ, можно думать, длиннѣе Софьи Карловнинаго.

— Если мама умретъ, я тогда пойду къ Манѣ,—произнесла Ида скороговоркой и, быстро распахнувъ окно, добавила:—фу, Господи, какъ жарко!

Она высунула головку за окно, и мнѣ кажется, она плакала, потому что когда она черезъ минуту откинулась и снова сѣла на стулъ, у нея на лбу были розовыя пятна.

— Фрицъ идетъ,—проговорила она, принимаясь за оставленную работу.

Я посмотрѣлъ въ окно, никого не было видно.

— Онъ далеко еще, не увидите.

— А какъ же вы-то его увидали?

— Я не вижу его.—Ида улыбнулась и добавила: — мой носъ полиціймейстеръ, я его сигару слышу.

Въ эту минуту щелкнула калитка палисадника и подъ окномъ, дѣйствительно, явился Шульцъ.

Не знаю почему, я не поднялся, не заявилъ ему о своемъ присутствіи, а остался, вовсе не замѣчаемый имъ, попрежнему за простѣнкомъ.

— Ну, да, — началъ Шульцъ: — я всегда говорилъ, что бѣды ходятъ толпами.

— Тише,—проговорила Ида.

Она встала, затворила дверь изъ магазина въ комнаты и снова сѣла на свое мѣсто.

— Что̀ такое?

— Вотъ что,—началъ Шульцъ:—Маня оставила мужа.

Ида вскочила и стала у шкапа. Шульцъ говорилъ голосомъ нервнымъ и дрожащимъ.

— Мнѣ вотъ что̀ пишетъ мужъ ея. Не безпокойтеся давать мнѣ свѣчки, а вамъ прочту и такъ, и Шульцъ прочелъ холодное, строгое и сухое письмо Бера, начинавшееся словами: «На девятое письмо ваше имѣю честь отвѣчать вамъ, что переписка между нами дѣло совершенно излишнее». Далѣе въ письмѣ было сказано, что «мы съ Маріей разстались, потому что я не хотѣлъ видѣть ее ни въ са-

ванѣ, ни въ сумасшедшемъ домѣ». Извѣстное намъ дѣло было изложено самымъ короткимъ образомъ и затѣмъ письмо непосредственно оканчивалось казенною фразой и крючковатой подписью Бера.

— Какъ вамъ это нравится? — спросилъ Шульцъ, дочитавъ письмо.

Ида молчала.

— Вѣдь этого не можетъ быть! Вѣдь это вздоръ! все это выдумка!

— Не говорите только, пожалуйста, объ этомъ матери.

— Да нечего и говорить... это невозможно!.. das ist nicht möglich.

— Конечно,—уронила Ида.

Шульцъ посмотрѣлъ въ глаза своей ученицѣ и, черкнувъ по зажигательницѣ спичкой, сказалъ:

— Я думаю, однако, пѣнію время, а молитвѣ часъ. Вы еще молоды, чтобы надо мною смѣяться.

— А!.. Вотъ то-то-бъ вамъ поменьше хлопотать! Да! да не das ist nicht möglich, а это gewiss, Herr Schulz, gewiss... *вы* погубили нашу Маню.

— Покорно васъ благодарю, — произнесъ съ шипѣніемъ Шульцъ.

— Вы! вы! и вы!—послала ему въ напутствіе Ида, и съ этими словами, съ этимъ взрывомъ гнѣва она уронила на грудь голову, за нею уронила руки, вся пошатнулась на бокъ всей своей стройной фигурой и заплакала цѣлыми рѣками слезъ, ничего не видя, ничего не слыша и не сводя глазъ съ одной точки посерединѣ пола.

Она плакала какими-то мертвыми, ледяными слезами. О такихъ слезахъ никто не разсказывалъ ни въ одной исторіи, ни въ одной сказкѣ. Обыкновенно думаютъ, что самая больная слеза есть слеза самая теплая, «горючая», какъ называютъ ее сказки и былины нашего эпоса. Усталый витязь, уснувшій непробуднымъ сномъ на колѣняхъ красавицы, которую онъ долженъ былъ защитить отъ выходившаго изъ моря чудовища, пробудился отъ одной слезы, павшей на его лицо изъ глазъ дѣвушки при видѣ вышедшаго змѣя. Такъ горяча слеза молодой жизни, просящей защиты. Но есть еще другія, болѣе страшныя слезы, и хотя ихъ нельзя назвать горючими, но онѣ заставляютъ васъ трепетать, когда текутъ по женскимъ щекамъ.

Есть много извѣстныхъ женскихъ лицъ, трудясь надъ изображеніями которыхъ, даровитые художники представили этихъ женщинъ плачущими. Таковы извѣстныя изображенія: нѣжной дочери короля Лира, *Корделіи*; цѣломудренной римлянки *Лавиніи*, дочери Тита Андроника; развѣнчанной *Маріи Антуанеты* въ минуту ея прощанія съ дѣтьми; *Алиціи Паули Монти*; *Орлеанской Дѣвы*; св. *Маріи Магдалины*, изъ русскихъ — *Ксеніи Годуновой* и, наконецъ, еще такъ изображена *Констанція*, вдова, устами которой Шекспиръ сказалъ краснорѣчивѣйшее опредѣленіе скорби. Изучая эти плачущія лица, вы чувствуете, что каждое изъ нихъ плачетъ *своими слезами*, и даже какъ будто чувствуете температуру этихъ слезъ. *Корделія*, молящаяся за сумасшедшаго отца; *Лавинія*, обезчещенная, съ обрубленными руками; *Марія Антуанета*, утопшая въ крови и бѣдахъ; царевна *Ксенія Годунова*, эта благоуханная, чистая роза, кинутая въ развратную постель самозванца, и *Констанція*, научающая скорбь свою быть столь гордой, чтобы пришли къ ней короли

«Склоняться предъ величьемъ тяжкой скорби»,

все это женщины съ различными скорбями. Пересчитавъ столько женскихъ обликовъ, я, кажется, имѣю довольно большой выборъ для сравненія; но какъ ни многорѣчивы эти прекрасныя, высоко-художественныя изображенія, я ни передъ однимъ не смѣлъ бы вамъ сказать: мнѣ кажется, что Ида плакала вотъ этакъ!—Она плакала совсѣмъ иначе.

Еще одно женское лицо, также плачущее, останавливаетъ на себѣ наше вниманіе въ роскошномъ изданіи L'Abbé и G. Darboy: «Les femmes de la Bible». Это высокая и стройная библейская красавица, которая стоитъ передъ вами полуобнаженная: она плачетъ только ступивши ногою съ постели, ея станъ едва лишь покрытъ ветхозавѣтною восточною рубашкой, то-есть кускомъ холста, завязаннымъ надъ лѣвою ключицей. Другое плечо, грудь, шея и правая рука обнажены. Рука въ запястьяхъ, которыя не были сняты ночью — виситъ, какъ стебель, лѣвая, также нагая отъ самаго локтя, держитъ упавшую голову. Изъ глазъ тихо катятся холодныя, крупныя слёзы, и катятся какъ градины на раскаленную ниву. За этою фигурой вы видите двухспальную постель, часть смятаго изголовья и больше ничего: все остальное закрываетъ пестрое восточное одѣяло, которое

женщина потянула, проснувшись, и, судорожно сжавъ его край, плачетъ ледяною слезою.

Я не знаю, беретесь ли вы отгадать, кто эта библейская женщина?.. Это дочь Рагуила, та несчастная красавица Сара, которая семь разъ всходила на брачное ложе и видѣла всѣхъ семерыхъ мужей своихъ умершими и оставившими ее дѣвой. Художникъ изобразилъ моментъ пробужденія ея въ первую ночь седьмого брака: она ужъ не въ испугѣ, не въ ужасѣ и не въ отчаяньи. Ей не идетъ *горючая* слеза скорбей, живыхъ еще хотя бъ *надеждою*, хотя бъ однимъ *желаньемъ*, переживающимъ надежду: у ней даже желаній нѣтъ. Она не ждетъ еще пришествія Товіи, который долженъ сжечь въ ея опочивальнѣ рыбье сердце: она одна теперь съ умершею надеждой жить и съ улетѣвшими желаньями; она застыла и ея слезы падаютъ оледенѣлыми.

Такова была, плачучи, Ида.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Глава вмѣсто эпилога.

Съ тѣхъ поръ, какъ передъ нами плакала Ида, до дня, въ который вы прочтете эту повѣсть, минули не одна весна и не одно лѣто. Въ это время въ трехъ прекрасныхъ комнатахъ на антресоляхъ въ домѣ богатаго негоціанта Шульца умерла Софья Карловна Норкъ. Въ теченіе пяти лѣтъ, которыя старушка провела у дочери и у зятя, ни она, ни Ида не имѣли ни малѣйшаго основанія пожалѣть о томъ, что онѣ оставили свое хозяйство. Шульцъ угождалъ матери и благоговѣлъ передъ Идой. Старушка умерла отъ рака въ желудкѣ. Цѣлый годъ ее томили голодомъ, чтобы удерживать развитіе болѣзни и облегчить ей послѣдній шагъ въ вѣчность. Софья Карловна сдѣлалась младенцемъ.

— Идочка! — часто шептала она потихоньку, вскакивая на своей кроваткѣ: — дай ты мнѣ, мой другъ, немножко булочки.

— Мамочка, невозможно вамъ, голубчикъ, булочки! — отвѣчала Ида.

— Ну, съ булавочную головку дай.

— Ну, стòитъ ли, мама, съ булавочную головку?

— Стòитъ, мама моя, стòитъ, — отвѣчала старушка, называя дочь своею матерью.

Ида будто не слыхала и начинала про себя читать, или работать.

— Ну, что жъ, и Богъ съ тобой.—говорила старушка.— Я все, бывало, видѣла во снѣ, какъ тебя носила, что ты меня кормишь, — а ты не хочешь, ну, и Богъ съ тобой: стало-быть, это неправда.

Ида не выдерживала и давала матери кусочекъ съ гороховину.

— Да я не хочу изъ твоихъ рукъ,—хитрила старушка.— Что ты мнѣ не вѣришь! Я не дитя. Ты дай мнѣ, я и сама отломлю.

Ида знала, чѣмъ это кончится, но подавала матери ломтикъ, и Софья Карловна скоро-скоро выколупывала дрожащими пальцами мякишъ, совала его себѣ въ ротъ и, махая руками, шептала: «убери! убери поскорѣй, убери, а то сестра придетъ!»

День-ото-дня старушка все болѣе и болѣе уподоблялась младенцу невинному и попрежнему все хитрила съ Идой, подговариваясь то подъ кофе, то подъ бисквиты, которые она будто видѣла во снѣ.

— Мама, вамъ этого не снилось,—отвѣчала Ида.

— Какъ не снилось! Вотъ новости! Какъ это не снилось?

— Не снилось, мама, не снилось, потому что вамъ этого невозможно.

— Да! невозможно, а все-таки снится, — отвѣчала, обижаясь и отстаивая свою хитрость, Софья Карловна.

Наконецъ, дни Софьи Карловны были сочтены и загорѣлася ея послѣдняя заря. Дѣти знали это отъ доктора, но старушка не знала своего положенія.

— Мнѣ, Идочка, сегодня снилось,—говорила она:—будто мнѣ можно полчашки кофею.

— Можно, мама,—отвѣчала Ида.

— Можно! — переспросила изумленная старушка и, посмотрѣвши съ упрекомъ на дочь, вдругъ горько заплакала.

— Подать вамъ, мама?

— Нѣтъ, нѣтъ, не надобно, не надобно... Мнѣ это вредно, — отвѣчала Софья Карловна и закрыла свои прозрачныя вѣки, тонкія какъ перепонки крыла летучей мыши. Изъ-подъ этихъ вѣкъ выдавились и остановились въ углахъ глазъ двѣ тощія слезинки.

— Почитай,—попросила она дочь.

На небѣ садился ранній зимній вечеръ, съ однимъ изъ тѣхъ странныхъ закатовъ, которые можно видѣть въ сѣверныхъ широтахъ зимою — закатъ желтый, какъ отблескъ янтаря, и сухой. По этому янтарному фону, снизу отъ краевъ горизонта клубится словно дымъ куреній, возносящійся къ таинственному престолу, сокрытому этимъ удивительнымъ свѣтомъ.

Съ антресолей Шульца, если сидѣть въ глубинѣ комнатъ, не видно было черты горизонта, и потому, когда загорается зимою надъ Петербургомъ такая янтарно-огненная заря, отсюда не видать тѣней, которыя туманными рубцами начинаютъ врѣзываться снизу впоперекъ янтарной зари, и задвигаютъ, словно гигантскими заставками, эту гигантскую дверь на усыпающее небо.

Такая заря горѣла, когда Ида взяла съ этажерки свою библію. Одна самая нижняя полоса уже вдвигалась въ янтарный фонъ по красной чертѣ горизонта. Эта полоса была похожа цвѣтомъ на полосу до-красна накаленнаго чугуна. Черезъ нѣсколько минутъ она должна была остывать, синѣть и, наконецъ, сравняться съ темнымъ фономъ самаго неба.

Ида знала эту доску, знала, что за нею нѣсколько выше скоро выдвинется другая, потомъ третья, и каждая будетъ выдвигаться одна послѣ другой, и каждая будетъ, то цѣлыми тонами, то полутонами свѣтлѣй нижней, и, наконецъ, на самомъ верху, вслѣдъ за полосами, подобными прозрачнѣйшему розовому крепу, на мгновеніе сверкнетъ самая странная — бѣлая, словно стальная пружина, только-что нагрѣтая въ бѣлокалильномъ пламени, и когда она явится, то всѣ эти доски вдругъ сдвинутся, какъ легкія дощечки зеленыхъ жалюзи въ окнѣ опочивальнаго покоя, и плотно закроютъ двери на небо.

Евреи вѣрятъ, что небо запирается каждый вечеръ, и если вы хотите, то вы можете видѣть, какъ это производится невидимыми руками, задвигающими зорю и повертывающими послѣднюю пружину этихъ задвижекъ.

При такой зарѣ, покуда не забрана половина облитаго янтаремъ неба, въ комнатахъ Иды и ея матери держится очень странное освѣщеніе — оно не угнетаетъ какъ бѣлая ночь, и не радуетъ, какъ свѣтъ, падающій лучомъ изъ-за тучи, а оно приноситъ съ собою что-то фантасмагориче-

ское: при этомъ освѣщеніи измѣняются цвѣта и положенія всѣхъ окружающихъ васъ предметовъ: лежащая на столѣ головная щетка оживаетъ, скидывается черепахой, и шевелитъ своею головкой; у стараго жасмина вырастаютъ вмѣсто листьевъ голубиныя перья; по лицу сидящаго противъ васъ человѣка протягиваются длинные, тонкіе, фосфористые блики и хорошо знакомые вамъ глаза свѣтятъ совсѣмъ не тѣмъ блескомъ, который всегда вы въ нихъ видѣли.

То же самое происходитъ въ это время съ вашимъ лицомъ и со всѣми лицами, которыя будутъ освѣщены этимъ свѣтомъ.

Ида знала всю прихотливость этого освѣщенія; любуясь его причудами, она посмотрѣла вокругъ себя на стѣны, на цвѣты, на картины, на Манинъ портретъ, на усаживающуюся на жердочкѣ канарейку: все было странно — все преображалось. Ида оглянулась на мать: лицо Софьи Карловны, лежавшей съ закрытыми вѣками, было словно освѣщенный трафаретъ, на которомъ прорѣзаны линіи лба, носа, губъ, а остальное все темно.

Дѣвушка открыла вѣчную книгу на томъ мѣстѣ, гдѣ въ ней лежала широкая, матовая, голубая лента, и вѣчная книга приготовилась разсказывать своимъ торжественно простымъ языкомъ свои удивительныя повѣсти.

«Упалъ, погрязая во злѣ, народъ Израилевъ до того, что не было мужа способнаго спасти его, и возопили сыны Израилевы ко Господу», начала читать Ида.

«И была въ то время судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова.

«Она жила подъ пальмою Девориною, между Раммою и Вефилемъ на горѣ Ефремовой, и приходили къ ней туда сыновья Израилевы на судъ.

«И призвала Девора Варака и сказала ему: повелѣваетъ тебѣ Іегова: возьми десять тысячъ мужей, а я приведу къ тебѣ, къ потоку Киссону, Сисару, врага народа моего, и колесницы его, и многолюдное войско его и предамъ ихъ въ руки твои.

«Варакъ же сказалъ ей: если ты пойдешь со мною, я пойду; а если не пойдешь со мною, я не пойду.

«И сказала Девора: хорошо, пойду съ тобой, но не тебѣ будетъ слава въ семъ пути, а въ руки женщины предастъ Господь врага народа своего.

«И встала Девора и пошла съ Варакомъ въ Кедошъ».

Проходитъ шумъ битвы; убитый Сисара лежитъ, лежитъ съ нимъ и все его войско, а Девора опять стоитъ подъ своею пальмою и Варакъ у ногъ ея и поетъ Девора:

«Слышите, цари, внемлите, вельможи: я пою, я брящаю Іеговѣ-Богу, передъ которымъ, когда шелъ онъ, земля тряслась, небо капало, горы растаявали и облака проливали воду.

«Ѣздящіе на ослицахъ бѣлыхъ, сидящіе на коврахъ, пойте пѣснь.

«Не было вождей у Израиля, ни одного не было, пока не возстала я, Девора, пока не возстала я, мать народа моего».

Брящаетъ Девора, стоя подъ пальмою Девориною между Раммою и Вефилемъ, и поетъ долгую пѣснь Іеговѣ сердце и умъ пророчицы, видя возставшую доблесть народа своего. И на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ списана пѣсня Деворы, вѣчная книга уже начинаетъ новую повѣсть: тутъ не десять тысячъ мужей боятся идти и зовутъ съ собою женщину, а горсть въ три сотни человѣкъ идетъ и гонитъ несмѣтный станъ враговъ своихъ. И какъ это сдѣлано! и какъ это разсказано въ вѣчной книгѣ! Оживляется Ида, читая объ этомъ страшномъ походѣ героевъ съ свѣтильниками, опущенными въ глиняные кувшины; тише дышитъ больная старушка, въ сотый разъ слушающая эту исторію, и поворачиваетъ къ свѣту свое лицо; и нынѣ, какъ въ дѣтствѣ, она ждетъ, когда разлетится въ черепья кувшинъ Гедеоновъ и за нимъ треснутъ другіе кувшины и разольется во тьмѣ полуночи свѣтъ, въ нихъ скрытый... И вотъ это свершилось... звеня разлетѣлись кувшины и идетъ облако свѣта во тьмѣ. О, какъ чуденъ сегодня этотъ свѣтъ свѣтильника, долго бывшаго заключеннымъ въ глиняномъ сосудѣ; какимъ блистаньемъ покоя осѣнилъ онъ мать сестеръ Норковъ. Да; это самъ, «одѣянный свѣтомъ, какъ ризою», сталъ у ея изголовья и назвалъ ея душу, и душа вопросила его: «Какъ имя твое?» но онъ отвѣтилъ ей, что отвѣтилъ видѣвшему его лицомъ къ лицу Іакову — онъ сказалъ ей: «что тебѣ въ имени моемъ?—*оно чудно*».

Въ комнатѣ вовсе стемнѣло; Ида свернула книгу, положила ее на прежнее мѣсто и, опершись локтемъ о подоконникъ, отдыхала глазами на густѣвшемъ закатѣ.

Уже почти всѣ звенья янтарныхъ дверей были забраны, и въ яркихъ просвѣтахъ между темныхъ полосъ клубились легкія струйки тумана. Густой массой сначала мятутся онѣ внизу, потомъ быстро несутся кверху, какъ легкія тѣни въ длинныхъ одеждахъ, и исчезаютъ вверху, гдѣ смыкается небо.

«Да, закрывается небо и отошедшія души спѣшатъ, чтобъ не скитаться до утра у запертой двери», подумала Ида, и съ этою мыслью невольно вздрогнула: ей показалось, что въ это мгновеніе ея тихая мать тоже стоитъ у порога той двери, откуда блистаетъ фантастическій свѣтъ янтаря, догорѣвъ надъ полуночнымъ краемъ.

Это такъ и было: Софья Карловна умерла во время Идинаго чтенія—умерла счастливо, покушавъ долго снившейся ей булочки, слушая чудную повѣсть, которую читалъ для нея милый голосъ, и сохраняя во всей свѣжести вчера принесенную Шульцемъ новость о Манѣ.

Вчера Фридрихъ Фридриховичъ прочелъ въ «Allgemeine Zeitung» статью, посвященную разбору дѣтской книжки путешествій, написанной путешественницей Маріей Норкъ. О самой путешественницѣ и до сихъ поръ нѣтъ очень подробныхъ извѣстій, но книга говоритъ за нее, гдѣ она была и какими очами на все смотрѣла. Это было событіе, давшее много чистыхъ и теплыхъ минутъ семейству Шульца, и особенно Идѣ и ея матери. Вѣроятно, не менѣе радостей принесла эта книжка одинокому Беру, такъ горячо хлопотавшему «поднять душу живую».

Одного Истомина она могла бы потревожить. Эта радостная новость, можетъ-быть, опять взлетѣла бы надъ нимъ Ивиковыми журавлями и, напомнивъ ему отринутое счастье, заставила бы задрожать за неузнатую Денманъ. Но Истоминъ давно куда-то безслѣдно исчезъ и, навѣрное, никогда объ этомъ не узнаетъ.

Фридрихъ Фридриховичъ и сегодня такой же русскій человѣкъ, какимъ почиталъ себя цѣлую жизнь. Даже сегодня, можетъ-быть, больше, чѣмъ прежде: онъ выписываетъ «Московскія Вѣдомости», очень сердитъ на поляковъ, сочувствуетъ русскимъ въ Галиціи, трунитъ надъ гельсингфорскими шведами, участвовалъ въ подаркѣ Комиссарову и говорилъ двѣ рѣчи американцамъ. Въ театры онъ ѣздитъ только, когда даютъ Островскаго.

— Ужасно люблю этихъ канальевъ-самодуровъ, — гово-

ритъ онъ женѣ.—Какъ ты думаешь, Берта Ивановна, отчего бы это у меня вкусъ такой?

Берта Ивановна на это ему ничего не отвѣчаетъ.

— Оттого, можетъ-быть, Фрицъ, что вы сами... — шутя говоритъ за сестру Ида.

— Что-съ?—оттого, что я самъ самодуръ, вы это хотите сказать, Ида?

— Да.

— Въ самой вещи!

— Такъ—немножечко.

Фридрихъ Фридриховичъ задумывается и, нимало не обижаясь, отвѣчаетъ:

— Что жъ, очень можетъ быть, что вы и правы, потому, матушка-сестрица, что я отъ міра не прочь и на міръ не челобитчикъ.

Берта Ивановна вся въ мужѣ, въ вязаньѣ и въ хозяйствѣ.

Иду Поркъ вы, если хотите, можете видѣть, даже не будучи знакомы съ Фридрихомъ Шульцемъ. Домъ Шульца отыскать не трудно, а необыкновенно чистыя, большія окна одной половины перваго этажа, завѣшанныя дорогими гардинами, укажутъ вамъ собственное помѣщеніе хозяйскаго семейства. Въ эти свѣтлыя окна видна вся внутренность просторныхъ покоевъ негоціанта и особенно видна огромная свѣтлая зала, въ углахъ которой красуются двѣ довольно дорогія гипсовыя статуи новогородскаго мужика и бабы, которыхъ со дня перенесенія ихъ сюда съ художественной выставки Фридрихъ Фридриховичъ назвалъ Иваномъ Коломенскимъ и Марьей Коломенской. Лѣтомъ у средняго окна залы, на спокойномъ креслѣ, передъ опрятнымъ рабочимъ столикомъ, почти всегда сидитъ молодая женщина, которой нынче уже лѣтъ за тридцать. На бѣлой шеѣ, плечахъ и груди у нея уже слегка образуется полнота; но она еще очень граціозна и необыкновенно мила: строгое платье ея сдѣлано прекрасно, фигура стройна, пепельные волосы ложатся по плечамъ длинными локонами. Это Ида Поркъ. Наружно она только пополнѣла, сильный подбородокъ ея немножко еще приподнялся, да она перемѣнила прежнюю простую прическу на болѣе сложную. Въ тотъ день, когда она шутя завила себѣ въ первый разъ локоны и вышла такъ къ чаю, сестра ея и Фридрихъ Фридрихо-

вичъ невольно вскрикнули, а дѣти бросились за кресло Берты Ивановны и шептали:

— Бабушка! бабушка!

— Я такъ теперь и останусь бабушкой, — отвѣчала весело Ида; и она такъ и осталась съ прекрасными локонами, которые еще не скоро посѣдѣютъ, чтобы довести сходство Иды съ матерью до нераздѣлимаго подобія.

Около Иды всегда кругомъ дѣти, и они ей не мѣшаютъ, потому что въ нихъ-то и ожили снова ея глубокія симпатіи.

Зимою, когда дни коротки и сумрачны, вамъ удобнѣе разсмотрѣть Иду Ивановну вечеромъ. Фридрихъ Фридриховичъ, возвратясь въ эту пору съ биржи домой и плотно пообѣдавъ, а потомъ поцѣловавъ руки жены и свояченицы, обыкновенно отправляется всхрапнуть на мягкомъ диванѣ въ жениной спальнѣ. Въ это время, попрежнему красивая, хотя сильно раснолнѣвшая Берта Ивановна расхаживаетъ на цыпочкахъ по столовой и охраняетъ мужнино спокойствіе, а въ залѣ, въ огромномъ изящномъ каминѣ, работы Санъ-Галли, стараніями дѣтей, разводится яркое пламя. Къ этому огню прикатывается большое, стальное, качающееся кресло: на немъ садится Ида. Около нея цѣлая дѣтская группа: одинъ у нея лежитъ на колѣнахъ и весело грѣется; старшіе трое тѣснятся у теткиныхъ плечъ и съ жадностью ловятъ ея каждое слово, а пятый, кудрявый мальчишка, по пятому году, постоянно любитъ дремать, какъ котенокъ, у нея за спиною.

Долго пылаетъ этотъ привѣтный огонь, и долго, и плавно текутъ передъ нимъ живыя бесѣды. Картина бываетъ такая прекрасная и внушающая, что на нее поневолѣ засматривается и дѣловой человѣкъ съ наморщеннымъ лбомъ, поспѣшающій къ дѣлу на истерзанной клячѣ петербургскаго ваньки, и веселая компанія, отправляющаяся на нанятой вскладчину тройкѣ, чтобы убить гдѣ-то и время, и деньги — и пѣшеходъ, тихо плетущійся къ своей одинокой каморкѣ. Пѣшеходъ даже часто останавливается здѣсь передъ окнами Шульцевой залы, и иногда въ темный вечеръ ихъ столкнется здѣсь и двое, и трое: тотъ изъ Уфы, другой — изъ Кіева, а третій изъ дальней Тюмени, и каждый, стоя здѣсь на этомъ тротуарѣ, переживаетъ хотя одну изъ тѣхъ минутъ, когда собственная душа его была младенчески чиста, и раскрывалась для воспріятія благого слова, какъ ча-

шечка ландыша раскрывается зарею, для принятія капли питающей росы.

И долго-долго иной разъ застоится здѣсь забывшись мой прохожій, и потомъ, закрывшись воротникомъ, зашагаетъ, выглядывая однимъ глазомъ, какъ Оденъ сѣверной саги, потерявшій свой другой глазъ при покушеніи украсть меду поэзіи у Гунледа.

Не нянькины сказки, а полныя смысла прямого ведутся у Иды бесѣды. Читаетъ она здѣсь изъ Плутарха про великихъ людей; говоритъ она дѣтямъ о матери Вольфганга Гёте; читаетъ имъ Смайльса Zelf-Help—книгу, убѣждающую человѣка «самому себѣ помогать»; читаетъ и про тебя, кроткая Руѳь, обрѣтшая себѣ, ради достоинствъ души своей, отчизну въ землѣ чуждой.

И крѣпнетъ дѣтскій духъ въ этихъ бесѣдахъ, и какъ шептунъ-трава, тихо растутъ и вырастаютъ въ нихъ и рѣшимость, и воля, и воспитывается то, что далекій потомокъ, можетъ-быть, условится называть въ человѣкѣ прямою добродѣтелью гражданина.

Но не слыхать этихъ бесѣдъ Иды за окнами Шульцева дома, и проносящіеся мимо этихъ оконъ сами себѣ надоѣвшіе праздные, скучные люди, и молчаливо бредущій прохожій, слышатъ и понимаютъ изъ нихъ не болѣе, чѣмъ каменный коломенскій Иванъ и его расплывшаяся Марья, истуканами стоящіе въ залѣ, гдѣ васильеостровская Ида, своимъ незримымъ рукоположеніемъ, низводитъ наслѣдственную благодать духа на дѣтей васильеостровскаго Шульца.

Оглавленіе

XII ТОМА.

Островитяне. Повѣсть.

стр.

* * * 5
Глава первая 9
Глава вторая 11
Глава третья 14
Глава четвертая 22
Глава пятая 28
Глава шестая 34
Глава седьмая 50
Глава восьмая 65
Глава девятая 77
Глава десятая 81
Глава одиннадцатая 89
Глава двѣнадцатая 104
Глава тринадцатая 106
Глава четырнадцатая 111
Глава пятнадцатая 117
Глава шестнадцатая 122
Глава семнадцатая 128
Глава восемнадцатая 135
Глава девятнадцатая 137
Глава двадцатая 145
Глава двадцать первая 148
Глава двадцать вторая 161
Глава двадцать третья 170
Глава двадцать четвертая 174
Глава двадцать пятая 178
Глава двадцать шестая 180
Глава двадцать седьмая. Глава вмѣсто пролога 184

Stanford University Libraries
3 6105 013 494 906

891
L7
ed.
v.9

JUN 1 61

MAY 27 '62

MAY 18 '67

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this b
please return it as soon as possible,
not later than the date due.